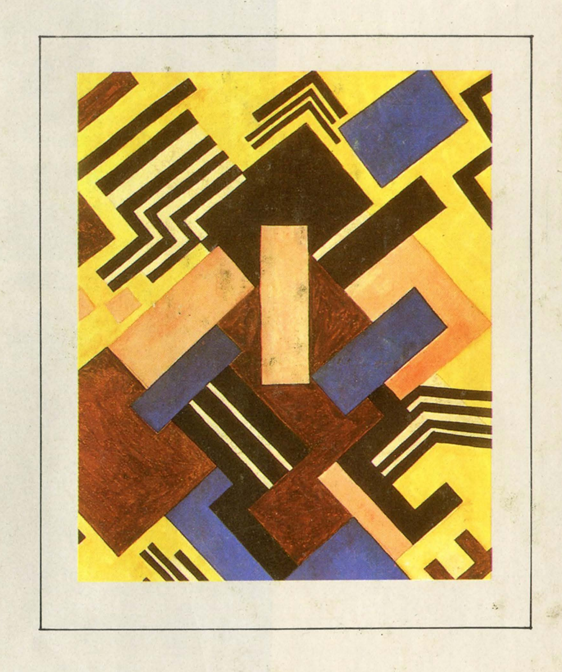
МАРИНА
ЦВЕТАЕВА
ПИСЬМА

МАРИНА

ЦВЕТАЕВА

ПИСЬМА



Эллис Лак

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

EL
ELLIS LUCK
ЭЛЛИС ЛАК

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Собрание сочинений в семи томах

Москва
Эллис Лак
1995

МАРИНА
ЦВЕТАЕВА

Собрание сочинений
в семи томах

Том 6

ПИСЬМА

Москва
Эллис Лак
1995

ББК 84 Ря44
Ц 25

Вступительная статья Анны Саакянц

Составление, подготовка текста и комментарии
Льва Мнухина

Художник А. А. Семенов

В оформлении суперобложки использованы
фрагменты картин О. В. Розановой

Ц $\frac{4700000000-016}{130(03)-95}$ Без объявл.

ISBN 5-7195-0017-0 (Т. 6)
ISBN 5-7195-0012-X

ПИСЬМА ПОЭТА

Сколько писем написала в своей жизни Марина Цветаева? Точно сказать, конечно, невозможно. Что свыше тысячи — несомненно, хотя число включенных в данное собрание сочинений до тысячи не дотягивает: некоторые письма хранятся в закрытом до начала следующего века цветаевском архиве, что-то еще не обнаружено, многое пропало — письма к Борису Пастернаку (подавляющее большинство), Сергею Волконскому, Марку Слониму, Анастасии Цветаевой — и не только к ним. Частично письма, например к Пастернаку, — говорила Ариадна Эфрон, — можно восстановить по их черновым наброскам в рабочих тетрадях поэта, путем тщательного расшифровывания цветаевской «скорописи». Это — задача будущего.

Письма Марины Цветаевой — не что иное, как продолжение ее прозаических произведений, со всеми их особенностями и свойствами. И относилась Марина Ивановна к своим письмам, как к *прозе*. Наиболее важные обычно заносила сначала в черновую тетрадь, в виде дневниковых записей, а дальнейшую судьбу этих записей уже диктовали обстоятельства: одни использовались в очерках (как, например, диалог с Антокольским о женщинах и мужчинах, много лет спустя перекочевавший в «Повесть о Сонечке»), другие становились содержанием писем.

Ничто так не характеризует Цветаеву — человека, как ее письма. Даже если на одну чашу весов положить всю ее поэзию и прозу, а на другую — только письма, — вторая чаша, по-моему, перевесит. *Быт* и *бытие* поэта, в своем неизбывном противостоянии, — вот, пожалуй, то, что составляет суть цветаевских писем; в одних быт «торжествует», отнимает время у творчества, в других — уходит прочь, уступая место Лирике... Потребность писать — что это, как не великая «графомания» великих «одержимых»! «Пишите, пишите больше!» — заклинала Цветаева, когда ей было двадцать лет. А в шестнадцать — убеждала своего корреспондента П. Юркевича: «Вы вчера меня спросили, о чем писать мне. Пишите обо всем, что придет в голову. Право, только такие письма и можно ценить. Впрочем, если неохота писать откровенно — лучше не пишите».

В письмах к тому же адресату юная Цветаева неуклюже «выясняет отношения», копается в себе, пытается исправить возникшую, как ей кажется, неловкость при общении. Так будет всегда: и в письмах к Е. Ланну (1921 г.), и к Е. Тагеру (1940 г.), и во многих-многих других.

Эти «выяснения отношений» отпугивали некоторых, особенно мужчин. Цветаева, будучи истинным Достоевским в поэзии по силе психологизма, тем не менее так никогда и не поняла простой истины: всякая безмерность отталкивает или, во всяком случае, настораживает. Женское начало было в ней столь сильно, что как бы переходило в свою противоположность: она становилась по-мужски агрессивной.

Быть может, самым ярким примером сказанного служат два письма к К. Родзевичу. Первое — изумительное «стихотворение в прозе», не письмо — «Песнь Песней» по страстности и красоте (как, впрочем, и многие цветаевские письма). Женщина пишет возлюбленному, и минувшее свидание оживает в поэтическом слове. А следом, на другой день, она ему же — посылает рассуждения о литературе, об особенности речи князя Волконского, — ей хочется, чтобы адресат узнал ее лучше и в этом, ином, качестве, чтобы ее знали и любили *всю*. Жажда абсолюта. Жа̀жда невозможного. Отрывок из второго письма к Родзевичу — не что иное, как самое настоящее женское кокетство, желание показаться «во всей красе», — разумеется, по-цветаевски, без масок, без притворств. И неизбежно переходящее некую грань. Вспомним знаменитые ахматовские строки: «Есть в близости людей заветная черта,//Ее не перейти влюбленности и страсти». Цветаева всегда хотела *за* черту, она «пересекала границу». И оказывалась в одиночестве.

В юношеских стихах цветаевская лирическая героиня заклинает читателя *любить* ее, любить «за правду, за игру», за «безудержную нежность и слишком гордый вид...» Она требует понимания и, добиваясь этого понимания, объясняет себя, *сказывает* себя, вкладывая себя в свою героиню. В письмах происходит то же самое, только, может быть, более реалистично и безоглядно. В одном из лучших своих стихотворений Марина Цветаева сравнивает себя — Поэта — с горой, которую не надо тревожить: «На оклик гортанный певца//Органною бурею мщу!» («Не надо ее окликать...»).

Но не всегда требовался «оклик». К письму Цветаеву могли побудить самые разные обстоятельства. Одиночество, тоска, желание найти опору в старшем, умном друге заставили ее написать М. Волошину. Ревниво-соперническое чувство, возникшее после того, как Ася Цветаева начала переписываться с В. Розановым, подтолкнуло и Марину включиться в эту переписку — и, по-видимому, взять «реванш». Живо и выразительно рассказала она в письмах о своей семье, о своем богоборчестве и неприятии старости и смерти, о радости своего материнства и замужества, — словом, постаралась предстать перед адресатом «во всей красе». И явила, возможно, сама того не ведая, одно из своих трудных, порою отталкивающих людей, свойств. Поверх всех «барьеров» возраста, ранга и всего прочего — Цветаева обращалась к людям с просьбами, даже требованиями, поддержки и помощи. И она настоятельнейше, как бы заранее отметая возражения, ждет от Розанова, чтобы тот помог Сергею сдать экзамены экстерном. «Так слушайте: тотчас же

по получении моего письма...», — пишет она и далее дает распоряжение, что надлежит сделать ее пожилому адресату. «Ради Бога, не перепутайте!» (фамилию директора феодосийской гимназии, на помощь которого она рассчитывает).

Просьбы — лейтмотив цветаевского эпистолярия: прислать любимую книгу, присмотреть за ребенком, перепечатать рукопись... «Я — нелегкий человек, — призналась Цветаева еще в молодости, — и мое главное горе — брать что бы то ни было от кого бы то ни было» (письмо В. Эфрон, сентябрь 1917 г.). И немного позже записала в дневнике, что стыдно не брать, а *давать*, что благодарность дающему — за хлеб, например, — это низшая ступень духа, вроде собачьей; истинная благодарность человеку может быть только за *сущность* его: «Спасибо за то, что ты есть»; «Купить меня можно — только всем небом в себе». Вот здесь и кроется тайна цветаевской «неблагодарности». А может быть, — высшей благодарности Поэта?

Потому что сама Марина Цветаева «отдаривала» сторицей: она дарила щедро и безоглядно — «все небо в себе» — и тоже «поверх барьеров». Конечно, она не всегда рассчитывала силы собеседника, однако тем самым возвышала, поднимала его до себя. Таковы, например, письма к А. Вишняку, А. Бахраху, Н. Гронскому, позже — к Ю. Иваску. Цветаева «заливала и забивала» своих корреспондентов романтикой и философией, — так же как некогда ее мать, Мария Александровна Мейн, «заливала и забивала» дочерей высоким, вечным, непреходящим: Музыкой, Лирикой («Мать и музыка»).

Особое место занимают письма поэта к «равновеликим»: Рильке, Пастернаку. Лето 1926 г. подарило нам переписку всех троих; после кончины Рильке продолжился диалог Цветаевой с Пастернаком, начавшийся еще в 1922 г. Двойственность этих цветаевских писем — в сочетании, казалось бы, несочетаемого: «заоблачная» и одновременно «земная» интимность «избранных»; воспарения в запредельность — и женская ревность и обиды, «выяснение отношений»; высокая поэзия — и некая душевная близорукость, непонимание деликатных намеков Рильке на то, что он серьезно болен...

То же — в письмах к Н. Гронскому. Все переплелось в них: и покровительственно-дружественное отношение к юноше, и товарищество в какой-то мере равных духом, и поучения молодому поэту, и внезапная вспышка увлечения и ревности, и обилие бытовых просьб и поручений (починить детскую коляску, научить снимать, перепечатать поэму), рассуждения о любви, мечты о настоящем, не отягощенном бременем быта, общении в тишине и величии гор...

О встречах «на воле», «в просторах души» Марина Ивановна мечтает в письмах к Рильке, Гронскому, Пастернаку, Штейгеру — и ни одной не осуществляется: Рильке умирает, Гронский не может приехать (в другой раз не может Цветаева), с Пастернаком и Штейгером получаются *невстречи*, то есть разочарования, остывание чувств. Судьба творит собственный сюжет, вопреки цветаевским мечтам: сюжет *разлуки*. Впрочем, сама Цветаева всегда предвидит разлуку.

Ариадна Эфрон нашла самые точные слова: Марина Ивановна, — писала она, — обольщалась людьми — и неизменно, «перестрадав, развенчивала» их (речь идет, понятно, не о Пастернаке и Рильке). Мы же прибавим: после «развенчания» наступал черед *литературы*. Так, избавляясь от «наваждения» — увлечения Е. Ланном, Цветаева объясняла ему это в письме и сообщала, что пишет поэму (вдохновленную им) — речь идет о поэме «На Красном Коне». Переболев другим увлечением, она сделала из своей переписки с адресатом (А. Вишняком) маленький роман в письмах («Флорентийские ночи») и перевела его на французский. После смерти Н. Гронского она забрала у его родителей свои письма к нему и намеревалась издать их переписку.

Письма Марины Цветаевой безмерно важны, помимо прочего, как незаменимая хроника «трудов и дней» поэта. Самая длинная такая «хроника» — письма к А. Тесковой, цветаевскому «чешскому другу», — которые она писала регулярно с 1925 по 1939 г., включая день отъезда из Франции. В свое время владелец писем В. Морковин обещал прислать их в московский архив Цветаевой, но не сделал этого, а издал в исковерканном большими купюрами виде (см. комментарии к письмам А. Тесковой). До сих пор они, сначала по его воле, а затем по воле его вдовы, закрыты в Праге.

Почти такая же длинная хроника «трудов и дней» поэта — с 1926 по 1934 г. содержится в письмах Марины Цветаевой к С. Н. Андрониковой-Гальперн, которая много лет подряд присылала ей деньги. Возможно, переписка продолжалась и позже, так как Саломея Николаевна недоумевала, куда делись более поздние письма. Переправив в середине 60-х годов, по просьбе Ариадны Эфрон, сохранившиеся у нее цветаевские письма в Россию, она позаботилась, однако, чтобы на Западе остались их ксерокопии. И постепенно эти письма стали появляться в эмигрантской печати. Дочь Цветаевой относилась к ним мучительно и ревниво. Помню, как однажды она показала мне пачку писем, вынула одно, прочла вслух и сказала, что не хотела бы видеть их в печати: они «неприятные». Ее коробило, что почти в каждом содержалось напоминание об «иждивении», просьба ввиду неожиданных расходов заплатить вперед… Принимая помощь как нечто само собою разумеющееся, с великолепной неблагодарностью Поэта (хотя на словах всегда благодарила), Цветаева рассказывала о своем быте, о житейских проблемах. В самих этих подробностях: расходы, переезды, встречи — заключены драгоценные крупицы цветаевского жития. А в некоторых письмах находим и сокровенные мысли: о творческих замыслах, о любви, о человеческих отношениях, — возможно, и в не столь глубокой форме, как, например, в письмах к А. Берг или к А. Тесковой. Видимо, Марина Ивановна ощущала (другой вопрос, насколько верно) некую интеллектуальную разницу между своими корреспондентками; письма «Саломее» напоминают письма к О. Колбасиной-Черновой (житейские подробности с нечастыми лирико-философскими отвлечениями).

По письмам Марины Ивановны к женским корреспондентам видно, что с ними ей было легче и проще; она могла пожаловаться на мужскую неверность, слабость, на то, что ее «так мало, так вяло» любили... Впрочем, она и Пастернаку призналась: «Я не нравлюсь *полу*». Какая женщина решится признаться в подобных вещах? Не нам судить (да и не в том дело), насколько права была Цветаева, одно ясно: ее предельная — и запредельная! — откровенность — это искренность гениальной личности поэта, а поэт, по Цветаевой, — «утысячеренный человек».

А. Саакянц

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Письма М. И. Цветаевой — обширный и важный раздел ее литературного наследия. Первое из них помечено 20 мая 1905 г., когда Цветаевой не было и тринадцати лет, последнее написано 31 августа 1941 г., в день гибели.

Цветаевские письма — незаменимый источник для полного воссоздания биографии поэта, ибо они отражают все этапы его жизненного пути, духовной и творческой эволюции. Кроме того, они позволяют рассматривать Марину Цветаеву в контексте времени, всесторонне раскрывать биографические и творческие связи и отношения с современниками. Известно, что большинство ее адресатов — писатели, поэты, критики, издатели.

В настоящем издании предпринята попытка собрать все известные письма Цветаевой. Число их приближается к 900. До сих пор единственным подобным изданием на русском языке был сборник «Неизданные письма» (Париж: YMCA-PRESS, 1972). В него вошло 169 писем, подготовленных и обстоятельно прокомментированных Г. и Н. Струве.

Письма Цветаевой (к А. Штейгеру, Р. Гулю, Ю. Иваску, А. Бахраху и др.) начали систематически появляться в печати с середины 1950-х годов в западных изданиях. В России первая подборка писем (всего 23) была опубликована А. Эфрон в 1969 г. в журнале «Новый мир» (№ 4). Среди адресатов этих писем — В. Брюсов, А. Ахматова, Б. Пастернак, М. Горький, В. Ходасевич и многие другие. В том же году в Праге вышло первое отдельное издание писем (к А. Тесковой), подготовленное В. Морковиным. В уже упомянутых «Неизданных письмах» впервые увидели свет письма к О. Колбасиной-Черновой и ее дочери Ариадне, В. Сосинскому, Д. Шаховскому, В. Буниной.

Число опубликованных писем продолжает расти. Неизвестные письма поэта, неожиданные адресаты обнаруживаются до сих пор. Только за последние годы было обнародовано более 100 ранее не публиковавшихся писем Цветаевой, в том числе к Р. Ломоносовой, В. Булгакову, П. Юркевичу, П. и В. Сувчинским, А. и В. Богенгардтам, М. Цетлиной. Отдельными изданиями вышли письма Цветаевой к А. Берг (Париж,

1990), В. Булгакову (Прага, 1992), А. Штейгеру (Москва, 1994) и переписка между Р.-М. Рильке, М. Цветаевой и Б. Пастернаком (Москва, 1990).

Подготовка данного издания в том виде, в каком оно задумано составителем, стало возможным лишь благодаря усилиям многих ученых и литературоведов. Особо следует отметить научную подготовку текстов и комментариев в публикациях цветаевских писем Г. П. и Н. А. Струве, С. Карлинского, В. В. Морковина, В. П. Купченко, К. М. Азадовского, Е. В. и Е. Б. Пастернаков, А. А. Саакянц, В. А. Швейцер, Дж. Малмстада, Р. Дэвиса, Е. И. Лубянниковой, Е. Б. Коркиной, Д. А. Беляева, С. Витале.

В настоящем издании письма собраны по адресатам и расположены в хронологическом порядке (по датам первого письма).

Письма печатаются по оригиналам или копиям с оригиналов, а при отсутствии или недоступности их — по первой полной публикации. В ряде случаев источники публикаций не указываются: это означает, что письма печатаются по копиям (фото- или машинописным) из архива составителя. При ссылке на источник указание «публикация такого-то», естественно, подразумевает публикацию, подготовку текста и комментарии.

Пропуски в текстах писем обозначены в угловых скобках ⟨...⟩, кроме писем к А. А. Тесковой, что оговорено в комментариях к ним.

Авторские даты и указания мест написания помещены слева (вверху или внизу, в зависимости от авторского написания) и выделены курсивом. Даты, установленные по почтовым штемпелям или по содержанию, заключены в угловые скобки. Слова, введенные Цветаевой в датировку (обозначение дня, название праздника и т. д.), сохраняются. Оставлено без изменения обозначение календарного стиля: после 1 февраля 1918 г. Цветаева долгое время придерживалась старого («русского») стиля или ставила две даты — по старому и новому стилю.

В письмах по возможности сохранены *особенности орфографии и пунктуации М. И. Цветаевой (знаки препинания воспроизводятся, как правило, по текстам публикуемых источников).*

При воспроизведении текста писем недописанные и сокращенные слова, кроме общепринятых и некоторых наиболее часто употребляемых сокращений, раскрываются в угловых скобках. Слова и фразы, подчеркнутые в подлиннике, выделяются курсивом или разрядкой.

В комментариях даны краткие сведения об их адресатах и необходимые пояснения к текстам писем.

Составитель приносит глубокую благодарность за предоставление материалов и помощь в подготовке издания к печати К. М. Азадовскому, Е. Н. Берг, Н. Н. Бунину, Г. Ванечковой, С. Витале, Т. Гладковой,

А. А. Демской, Л. Я. Дворниковой, А. Доменик, Р. Дэвису, А. К. Ельчанинову, Ю. М. Каган, С. Карлинскому, В. Козовому, Т. М. Корзинкиной, Е. Б. Коркиной, И. В. Кудровой, В. В. Леонидову, В. Лосской, Е. И. Лубянниковой, Э. Мок-Бикер, В. Познер, А. Ф. Поповской, М. А. Разумовской, А. А. Саакянц, Н. А. Струве, А. Сумеркину, Л. М. Турчинскому, В. М. Черкасову, В. А. Швейцер, Ж. Шерону, Е. Г. Эткинду, О. П. Юркевич, сотрудникам отдела рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого, редакции парижской газеты «Русская мысль», а также В. С. Мнухиной, Т. Н. Полуэктовой, М. М. Уразовой, сотрудникам Дома Марины Цветаевой: Э. С. Красовской,Т. И. Дубровиной, И. М. Невзоровой. В подготовке к публикации писем Цветаевой к Б. Л. Пастернаку, О. Е. Колбасиной-Черновой, А. В. Черновой, Р.-М. Рильке, В. Б. Сосинскому, Д. А. Шаховскому принимал участие Ю. П. Клюкин.

Л. Мнухин

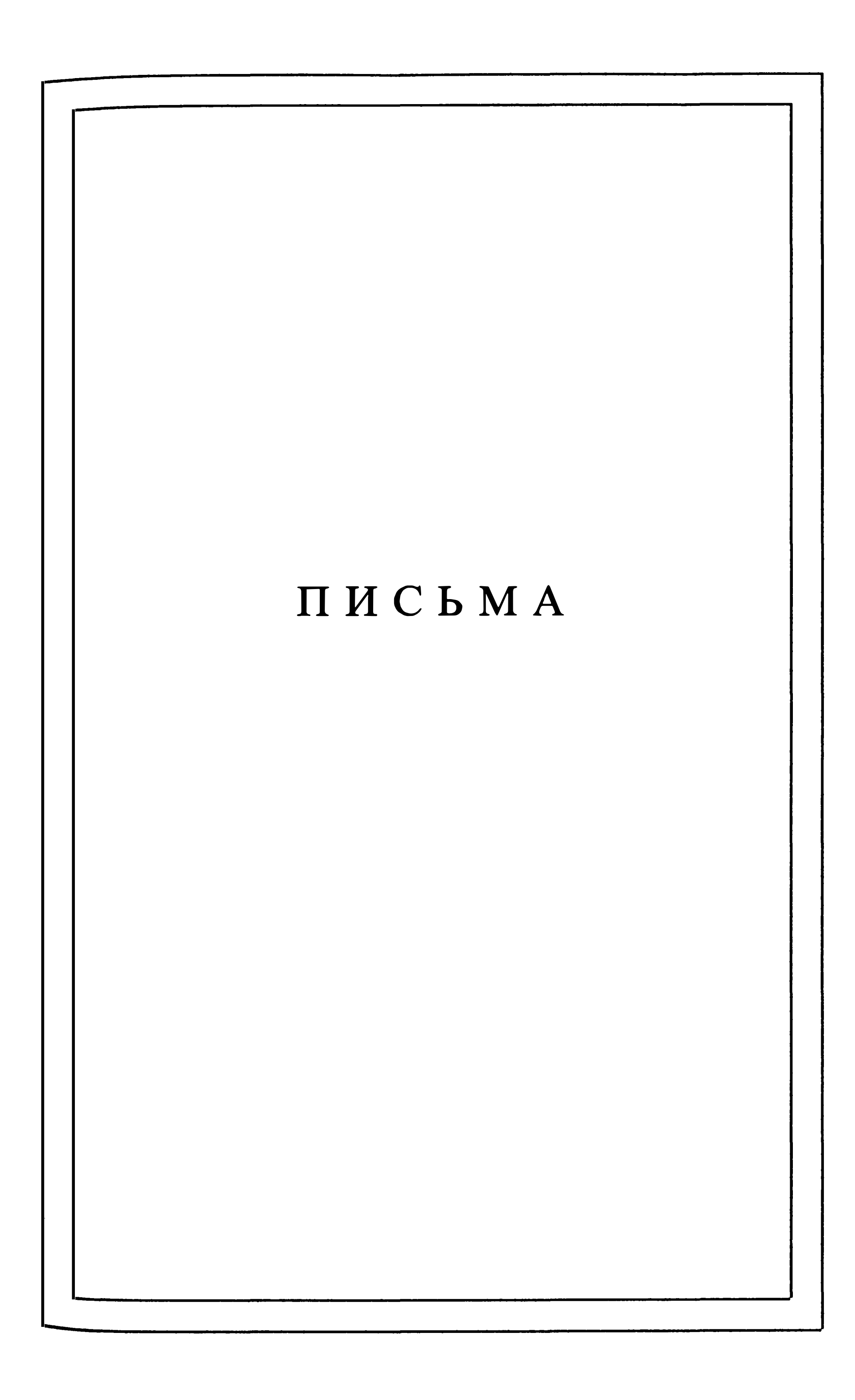
СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В КОММЕНТАРИЯХ

А. Саакянц	Саакянц А. Марина Цветаева: Страницы жизни и творчества (1910—1922). М.: Сов. писатель, 1986.
А. Цветаева	Цветаева А. Воспоминания. М.: Сов. писатель, 1983.
А. Эфрон	Эфрон А. О Марине Цветаевой: Воспоминания дочери. М.: Сов. писатель, 1989.
Вестник РХД	Вестник Русского Христианского Движения. Париж; Нью-Йорк; Москва.
В. Лосская	Лосская В. Марина Цветаева в жизни. Неизданные воспоминания современников. М.: Культура и традиции; Дом Марины Цветаевой, 1992.
В. Швейцер	Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. Fontenay-aux-Roses; Синтаксис, 1988.
ВЛ	Журнал «Вопросы литературы». Москва.
Воспоминания о Цветаевой	Воспоминания о Марине Цветаевой. М.: Сов. писатель, 1992.
ЕРО	Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год. Л.: Наука, 1977.
Звезда	Журнал «Звезда». Спб. 1992. № 10 (номер, посвященный М. Цветаевой).
Каталог юбилейной выставки	Марина Цветаева. 1892—1992. Каталог юбилейной выставки. М.: Дом Марины Цветаевой, 1992.
ЛО	Журнал «Литературное обозрение». Москва.
М. Белкина	Белкина М. Скрещение судеб. М.: Книга, 1988.
Минувшее	Минувшее. Исторический альманах. Париж: Атенеум.
Небесная арка	Небесная арка: Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке. Подгот. текстов, состав., пер. и примеч. К. М. Азадовского. Спб.: Акрополь, 1993.
НП	Марина Цветаева. Неизданные письма. Под общ. ред. Г. П. Струве и Н. А. Струве. Париж, YMCA-PRESS, 1972.

Переписка Пастернака	Переписка Бориса Пастернака. М.: Худож. лит., 1990.
Письма к Берг	Марина Цветаева. Письма к Ариадне Берг. 1934—1939. Подгот. текста, пер. и коммент. Н. А. Струве. Париж: YMCA-PRESS, 1990.
Письма 1926 г.	Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева. Письма 1926 года. М.: Книга, 1990.
Письма к Тесковой	Марина Цветаева. Письма к Анне Тесковой. Прага: Academia, 1969.
Поэт и время	Марина Цветаева. Поэт и время. Выставка к 100-летию со дня рождения (1892—1992). М.: Галарт, 1992.
Рус. мысль	Газета «Русская мысль» (Париж).
Соч. 84.1 (или *2*)	Цветаева М. Сочинения: В 2 т. Т. 1 (или 2). М.: Худож. лит., 1984.
Соч. 88.1 (или *2*)	То же, 1988.
С. Полякова	Полякова С. Закатные оны дни: Цветаева и Парнок. Анн Арбор: Ardis, 1983.
Стихотворения и поэмы	Цветаева М. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1990 (Библиотека поэта. Большая серия).
Труды симпозиума в Лозанне	Марина Цветаева. Труды 1-го международного симпозиума (Лозанна, 30.VI—3.VII 1982). Под ред. Р. Кембалла в сотрудничестве с Е. Г. Эткиндом и Л. М. Геллером. Bern; Berlin; Frankfurt am Main, New York; Paris; Wien: Peter Lang, 1991.

В ссылках на перечисленные ниже журналы и газеты (полужирный шрифт), упоминаемые в комментариях, не указывается место их издания:

Аполлон (Петербург)
Благонамеренный (Брюссель)
Версты (Париж)
Возрождение (Париж)
Воля России (Прага)
Дни (Берлин; Париж)
Звено (Париж)
Новый журнал (Нью-Йорк)
Новое русское слово (Нью-Йорк)
Последние новости (Париж)
Руль (Берлин)
Руски архив (Белград)
Русская мысль (София; Прага; Париж)
Своими путями (Прага)
Современные записки (Париж)



П И С Ь М А

М. А. МЕЙН

⟨20-го мая 1905 г.⟩[1]

Дорогая мама.

Вчера получили мы твою милую славную карточку. Сердечное за нее спасибо! Как мы рады, что тебе лучше, дорогая, ну вот, видишь, Бог помог тебе. Даю тебе честное слово, дорогая мамочка, что я *наверное* знала, что — тебе будет лучше и видишь, я не ошиблась! Может быть мы все же вернемся в Россию! Как я рада, что тебе лучше, родная. Знаешь, мне купили платье (летнее). У меня только оно и есть для лета. Fr⟨äulein⟩ Brinck[2] находит, что я должна иметь еще одно платье. Крепко целую!

Муся[3].

Мейн Мария Александровна (1868—1906) — мать М. И. Цветаевой. О ней см. очерк «Мать и музыка» в т. 5.

Коротенькое письмо двенадцатилетней девочки своей матери является самым ранним из дошедших до нас писем Цветаевой. Написано оно в расположенном недалеко от Фрейбурга пансионе, где юные сестры Цветаевы, Марина и Ася, заканчивали учебный 1904/05 год. М. А. Мейн в это время лечилась в немецком санатории Санкт-Блазиен.

Впервые — *Рус. мысль*. 1991. 10 мая. Печатается по тексту первой публикации.

[1] Письмо датировано по почтовому штемпелю. Цветаева отвечает на одно из редких писем матери, где говорилось о временном улучшении ее здоровья. В целом же сообщения из санатория были неутешительны. «Мамины письма шли часто, но вести были все те же: неспадающая температура, неопределенные высказывания докторов» (*А. Цветаева*. С. 176).

[2] Одна из сестер Бринк, владелиц пансиона (Паулина или Энни).

[3] Цветаева подписалась именем, которым обычно ее называла мать.

А. А. ИЛОВАЙСКОЙ

1

⟨Лето 1905⟩[1]

Дорогая Александра Александровна.

Извините пожалуйста что мы так долго Вам не писали, но последнее время мы ни о чем другом не могли думать, как о нашем освобождении из пансионской тюрьмы[2]. Здесь в Sanct Blasien природа чудесная, темные горы, покрытые густым

еловым лесом, водопады, земные долины! А воздух-то какой чудный весь пропитанный смолой. Мы весь день гуляем в лесу и вполне наслаждаемся нашей волюшкой. Да, после Insti⟨tu⟩te Brinck St. Blasien просто рай. Тут есть две собаки и несколько кошек, которые живут с нами в большой дружбе. Ну, а что Лёра[3] и Оля[4] поделывают в Крыму? Давно мы ничего о них не слышали. Кланяйтесь пожалуйста Дмитрию Ивановичу[5] от меня, и Оле с Лёрой тоже, когда Вы им напишите. Крепко целует Вас

Ваша Маруся

2

Ялта, 8-го января 1906[1]

Многоуважаемая Александра Александровна!

Сердечно благодарим Вас за Ваш чудный подарок. Какая это прекрасная книга, как дивно сделаны рисунки! Мы страшно любим книги и у нас скопилась порядочная библиотека. Ваша чудная книга доставила нам огромное удовольствие. Я как раз учу историю и «Царь Иоанн Грозный»[2] пришелся мне как нельзя более кстати. Живем мы в Ялте ничего себе, учимся, ожидаем письма из Москвы всегда с большим нетерпением. Мы готовимся в мае держать экзамен; Ася во второй, а я в четвертый класс и должны много учиться. Я должна пройти программу первых трех классов в эту зиму, Ася проходит программу первого.

Погода у нас очень хорошая, так тепло, что ходим в сад только в платьях. Но все же как ни хороша ялтинская погода и природа, сама она, Ялта препротивная и мы только и думаем, как бы поскорей в Москву. Ведь мы уже больше трех лет не видали Андрюши[3], а Лёры больше двух. И вообще, в гостях хорошо, а дома куда лучше!

Еще раз благодарим Вас сердечно за Вашу чудную книгу. Сердечный привет от мамы и нас Вам и многоуважаемому Дмитрию Ивановичу.

Маруся и Ася Цветаевы

Иловайская (урожденная Коврайская) Александра Александровна (1852–1929) — вторая жена Д. И. Иловайского. О семье Иловайских см. очерк «Дом у Старого Пимена» и комментарии к нему в т. 5.

Письмо 2 впервые — *Поэт и время.* С. 62. Печатается по тексту первой публикации.

1

[1] Письмо написано не ранее 25 июля, когда И. В. Цветаев должен был забрать дочерей и отвезти к матери в Санкт-Блазиен (см. комментарии к письму к М. А. Мейн).

[2] С первых дней пребывания в пансионе Бринк сестры Цветаевы чувствовали себя там, как в заточении. «Узкая уличка, в которой не помню садов ⟨...⟩ Глухо отсутствуют в памяти двери в пансионе Бринк, словно их поглотила тоска нашего вхождения в них. У стен каменной лестницы на второй и выше цвета не было.

Что было в первом этаже? Классы. Туда входили приходящие ученицы-счастливицы, имевшие дом и родных. Мы видели их только на уроках. Нам, пансионеркам, было запрещено дружить с ними. Пансион Бринк был темницей. И мечта была одна: на свободу!» (*А. Цветаева.* С. 160–161).

[3] Валерия Цветаева.

[4] Ольга, дочь Д. И. и А. А. Иловайских. О ней см. письма к В. Н. Буниной и комментарии к ним (т. 7).

[5] Д. И. Иловайский.

2

[1] Для продолжения лечения М. А. Мейн в конце лета 1905 г. семья Цветаевых из Германии перебралась в Ялту.

[2] «Царь Иоанн Грозный, его царствование, его деяния, его жизнь, современники и деятели в портретах, гравюрах, живописи, скульптуре, памятниках зодчества и пр. и пр.». Под ред. Н. Головина и Л. М. Вольфа. Спб., т-во М. О. Вольф (1904).

[3] Андрей Цветаев.

П. И. ЮРКЕВИЧУ

1

⟨*Таруса, 22.06.1908*⟩[1]

Хочу Вам писать откровенно и не знаю, что из этого получится, — по всей вероятности ерунда.

Я к Вам приручилась за эти несколько дней и чувствую к Вам доверие, не знаю почему.

Когда вчера тронулся поезд я страшно удивилась — мне до последней минуты казалось, что это все «так», и вдруг к моему ужасу колеса двигаются и я одна. Вы наверное назовете это сентиментальностью, — зовите как хотите.

Я почти всю ночь простояла у окна. Звезды, темнота, кое-где чуть мерцающие огоньки деревень, — мне стало так грустно.

Где-то недалеко играли на балалайках, и эта игра, смягченная расстоянием, еще более усиливала мою тоску.

Вы вот вчера удивились, что и у меня бывает тоска. Мне в первую минуту захотелось все обратить в шутку — не люблю я,

когда роются в моей душе. А теперь скажу: да, бывает, всегда есть. От нее я бегу к людям, к книгам, даже к выпивке, из-за нее завожу новые знакомства.

Но когда тоска «от перемены мест не меняется» (мне это напоминает алгебру «от перемены мест множителей произведение не меняется») — дело дрянь, так как выходит, что тоска зависит от себя, а не от окружающего.

Иногда, очень часто даже, совсем хочется уйти из жизни — ведь все то же самое. Единственно ради чего стоит жить — революция[2]. Именно возможность близкой революции удерживает меня от самоубийства.

Подумайте: флаги, Похоронный марш[3], толпа, смелые лица — какая великолепная картина.

Если б знать, что революции не будет — не трудно было бы уйти из жизни.

Поглядите на окружающих, Понтик[4], обещающий со временем сделаться хорошим пойнтером, ну скажите, неужели это люди?

Проповедь маленьких дел у одних[5], — саниновщина у других[6].

Где же красота, геройство, подвиг? Куда девались герои?

Почему люди вошли в свои скорлупы и трусливо следят за каждым своим словом, за каждым жестом. Всего боятся, — поговорят откровенно и уж им стыдно, что «проговорились». Выходит, что только на маскараде можно говорить друг другу правду. А жизнь не маскарад!

Или маскарад без откровенной дерзости настоящих маскарадов.

От пребывания моего в Орловке у меня осталось самое хорошее впечатление. Сижу перед раскрытым окном, — все лес. Рядом со мной химия, за к⟨отор⟩ую я впрочем еще не принималась[7], так как голова трещит.

Сейчас 9 1/2 ч. утра. Верно, вы с Соней[8] собираетесь провожать Симу[9]. Как бы я хотела сидеть теперь в милом тарантасе, вместо того, чтобы слышать как шагает Андрей в столовой, ругаясь с Мильтоном[10].

Папа еще не приехал[11].

Вчера в поезде очень хотелось выть, но не стоит давать себе волю. Вы согласны?

Нашли ли Вы мою «пакость», которую можете уничтожить в 2 секунды и уничтожили ли?

После Вашей семьи мне дома кажется все странным. Как мало у нас смеха, только Ася[12] вносит оживление своими отчаянными выходками. У Вас прямо можно отдохнуть.

Милый Вы черный понтик (бывают ли черные, не знаете?) я наверное без Вас буду скучать. Здесь решительно не с кем иметь

дело, кроме одной моей знакомой — г⟨оспо⟩жи химии, но она до того скучна, что пропадает всякая охота иметь с ней дело[13].

Видите, понемногу впадаю в свой обычный тон, до того не привыкла по-настоящему говорить с людьми.

Как странно все, что делается: сталкиваются люди случайно, обмениваются на ходу мыслями, иногда самыми заветными настроениями и расходятся все-таки чужие и далекие.

Просмотрите в одном из толстых журналов, к⟨отор⟩ые имеются у Вас дома, небольшую вещичку (она кажется называется «Осень» или «Осенние картинки»⟨)⟩. Там есть чудные стихи, к⟨отор⟩ые кончаются так

...«И все одиноки»...[14].

Вам они нравятся? Слушайте, удобно ли Вам писать на Вас? М. б. лучше на Сонино имя? Для меня-то безразлично, а вот как Вам?

Приходите ко мне в Москву, если хотите с Соней (по-моему лучше без). Адр⟨ес⟩ она знает. М. б. мы с Вами так же быстро поссоримся, как с Сергеем[15], но это не важно.

Вы вчера меня спросили, о чем писать мне. Пишите обо всем, что придет в голову. Право, только такие письма и можно ценить. Впрочем, если неохота писать откровенно — лучше не пишите.

Удивляюсь как Вы меня не пристукнули, когда я рассказывала Соне в смешном виде Андреевскую Марсельезу[16].

Что у Вас дома? Горячий привет всем, включая туда Нору, Буяна и Утеху[17].

Ах, Петя, найти бы только дорогу!

Если бы война! Как встрепенулась бы жизнь, как засверкала бы!

Тогда можно жить, тогда можно умереть! Почему люди спешат всегда надеть ярлыки?

И Понтик скоро будет с ярлыком врача или учителя[18], будет довольным и счастливым «мужем и отцом», заведет себе всяких Ев и тому подобных прелестей.

Сценка из Вашей будущей жизни

— «Петя, а Петь!»

— «Что?»

— «Иди скорей, Тася без тебя не ложится спать, капризничает!» —

— «Да я сочинения поправляю». —

— «Все равно, брось, наставь им троек, больше не надо, ну а хорошим ученикам четверки. Серьезно же, иди, Тася совсем от рук отбилась». —

— «Неловко, душенька, перед гимназистами...»

— «Ах, какой ты, Петя, несносный. Все свои глупые студенческие идеи разводишь, а тем временем Тася Бог знает что выделывает!» —

— «Хорошо, милочка, иду...»

Через несколько минут раздается «чье-то» пенье. «Приди котик ночевать, Мою Тасеньку качать»...

— «Папа, а что это ты разводишь, мама говорила?»
— «Идеи, голубчик, студенты всегда разводят идеи». —
— «А-а... Много?» —
— «Много. Что тебе еще спеть?» —
— «Как Бог царя хоронил[19], это все мама поет».
— «Хорошо, детка, только засыпай скорей!» —

Раздаются звуки национального гимна

Ad infinitum*

Пока прощайте, не сердитесь, крепко жму Вам обе лапы

МЦ.

Адр⟨ес⟩ Таруса. Калуж⟨ская⟩ губ⟨ерния⟩. Мне.

Передайте Соне эту открытку от Аси.

Пишите скорей, а то химия, Андрей, алгебра... Повеситься можно!

2

Таруса, 13-го июля 1908

Как часто люди расходятся из-за мелочей. Я рада, что мы с Вами снова в мире, мне не хотелось расходиться — с Вами окончательно, потому что Вы — славный. Только и мне трудно будет относиться к Вам доверчиво и откровенно, как раньше. О многом буду молчать, не желая Вас обидеть, о многом — не желая быть обиженной. Я все-таки себе удивляюсь, что первая подошла к Вам. Я очень злопамятная и никогда никому не прощала обиды (не говоря уже об извинении перед лицом меня обидевшим).

Впрочем, все это Вам должно быть надоело, — давайте говорить о другом.

Погода у нас серая, ветер пахнет осенью. Хорошо теперь бродить по лесу одной. Немножко грустно, чего-то жаль.

Учу немного свою химию, много — алгебру, читаю. Прочла «Подросток» Достоевского[1]. Читали ли Вы эту вещь? Напишите — тогда можно будет поговорить о ней. Вещь по-моему глубокая, продуманная.

Приведу Вам несколько выдержек.

«В нашем обществе совсем не ясно, господа, Ведь Вы** Бога отрицаете, подвиг отрицаете, какая же косность, глухая, слепая, тупая может заставить меня действовать так, если мне выгоднее

---

* До бесконечности *(лат.)*.

** Я вдруг вообразила, что это я говорю с Вами и поэтому употребляю большую букву В *(примеч. М. Цветаевой)*.

иначе. Скажите, что я отвечу чистокровному подлецу на вопрос его, почему он непременно должен быть благородным.

Что мне за дело до того, что будет через тысячу лет с человечеством, если мне за это, по-Вашему» (опять, точно я Вам это говорю, хотя и я могла бы сказать нечто подобное, особенно насчет подвига), «ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига не будет? Да черт с ним, с человечеством, и с будущим, я один только раз на свете живу!» —

«У многих сильных людей есть, кажется, натуральная потребность найти кого-нибудь или что-нибудь, чтобы преклониться.

Многие из очень гордых людей любят верить в Бога, особенно несколько презирающие людей. Сильному человеку иногда очень трудно перенести свою силу. Эти люди выбирают Бога, чтоб не преклоняться перед людьми: преклоняться перед Богом не так обидно. Из них выходят чрезвычайно горячо верующие, — вернее сказать — горячо желающие верить, но желания они принимают за самую веру. Из этаких особенно часто выходят разочаровывающиеся».

«Самое простое понимается всегда лишь под конец, когда уже перепробовано все, что мудреней и глупей». —

«На свете силы многоразличны, силы воли и хотения в особенности. Есть t° кипения воды и есть t° каления красного железа». — (И здесь химия. О, Господи!)

«Мне вдруг захотелось выкрасть минутку из будущего и попытать, как это я буду ходить и действовать». —

Вам понятно такое ощущение?

«Вообще до сих пор во всю жизнь, во всех мечтах моих о том, как я буду обращаться с людьми — у меня всегда выходит очень умно, чуть же на деле — очень глупо!

Я мигом отвечал откровенному откровенностью и тотчас же начинал любить его. Но все они тотчас меня надували и с насмешкой от меня закрывались». —

Не находите ли Вы, что последнее часто верно? Я без всяких намеков, Вы не думайте. Но и Вы, очень Вас прошу, обходитесь без них. Теперь я невольно над каждым словом думаю — не ехидство ли какое.

Теперь, чтобы закончить письмо как следует, спишу Вам одни стихи Евгения Тарасова, к⟨отор⟩ые должны Вам напомнить одно настроение в Вашей жизни[2].

— Они лежали здесь, в углу,
В грязи зловонного участка,
Их кровь, густая, словно краска
Застыла лужей на полу.
Их подбирали, не считая,
Их приносили — без числа,
На неподвижные тела
Еще не конченных кидая,
Здесь были руки — без голов,
Здесь были руки — словно плети,
Лежали скомканные дети,
Лежали трупы стариков,
У этих — лица были строги,
У тех — провалы вместо лиц,
Смотрели вверх, глядели ниц,
И были босы чьи-то ноги,
И чья-то грудь была жива,
И чьи-то пальцы шевелились,
И губы гаснущих кривились,
Шепча невнятные слова…
Декабрьский день светил им скупо,
Никто не шел, чтоб им помочь…
И вот, когда настала ночь —
Живых не стало, были трупы.
И вот лежали там, в углу,
Лежали тесными рядами,
Все — с искаженными чертами
И кровь их стыла на полу.

Да, это посерьезнее будет, чем «намеки» и «упреки».

Пишите, я всегда рада Вашим письмам. Всего лучшего.

МЦ.

⟨*Приписки на полях:*⟩

Завидую Вашим частым поездкам, часто вспоминаю об Орловке. Спасибо за пожелание «спокойных дней», мне они не нужны, уж лучше какие ни на есть бурные, чем спокойные. Я шучу.

Числа до 18-го пишите в Тарусу, впрочем, когда я уеду — напишу и дам моск⟨овский⟩ адр⟨ес⟩.

Как же Вы решили насчет университета?

Вы с Сережей чудаки! Сами ложатся спать, а др⟨угим⟩ желают спокойной ночи. Я получила письмо среди белого дня и спать совсем не хочу.

Письмо даже на ощупь шершавое, попробуйте. А все-таки Вы славный! (Логики в посл⟨еднем⟩ восклицании нет, ну да!..)

Что милая Норка, Буян, моя симпатия, Утеха и пр⟨очие⟩. Мне в настоящую минуту хочется погладить Вас по шерстке, т. е. против.

Написала одни стихи, — настроение и мысли в вагоне 21-го июля, когда я уезжала из Орловки. Прислать?[3] —

А «больные» вопросы, Вы правы, теперь не следует затрагивать, лучше когда-нибудь потом. Как хорошо, что Вы все так чутко понимаете.

Я Вас очень за это ценю.

Что Соня? Хандрит ли? Какие известия от Сережи? План относительно Евг. Ив. я не оставила, дело за согл⟨асием⟩ Собко[4].

3

4-го VIII 08

Извиняюсь за последнее письмо. Сознаюсь, что оно было пошло, дрянно и мелко.

Приму во внимание Ваш совет насчет «очарований» и «разочарований». Соглашаюсь с Вами, что слишком люблю красивые слова. Мне было страшно тяжело эти последние дни. Учиться я совсем не могла. Сначала была обида на Вас, а потом возмущение собой. Правда всегда останется правдой, независимо от того, приятна она или нет. Спасибо Вам за неприятную правду последнего письма. Таких резких «правд» я еще никогда ни от кого не слыхала, но, мирясь с резкостью формы, я почти совсем согласна с содержанием.

Только зачем было писать так презрительно? Я сознаю, что попала в глупое и очень некрасивое положение: сама натворила Бог знает что и теперь лезу с извинениями. М. б. Вы будете надо мной смеяться, — но я не могу иначе, жить с сознанием совершенной дрянности слишком тяжело. Все же и с Вашей стороны было несколько ошибок.

1) Вы могли предоставить моей деликатности решение вопроса о «рассчитывании на Вас в Москве», уверяю Вас, что я и без Вашего замечания не стала бы злоупотреблять Вашим терпением.

2) Вы должны были повнимательнее прочесть мое письмо и понять из него, что мое мнение о Вас как о «charmant jeune homme»* и дамск⟨ом⟩ кав⟨алере⟩ было *до* знакомства, а другое после, так что моя логика оказалась вовсе не такой скверной.

---

* «Очаровательном молодом человеке» *(фр.)*.

Впрочем мои промахи бесконечно больше Ваших, так что не мне Вас упрекать.

Отношусь к Вам как к славному, хорошему товарищу и как товарища прошу прощения за все. Прежде чем написать это я пережила много скверных минут и долго боролась со своим чертовским самолюбием, к⟨оторо⟩му никто до сих пор не наносил таких чувствительных ударов как Вы.

Ваше дело — простить мне или нет.

Не знаю как выразить Вам все мое раскаяние, что обидела такого милого, сердечного человека, как Вы и притом так дрянно, с намеками, чисто по-женски.

Как товарищу протягиваю Вам руку для примирения.

Если ее не примете — не обижусь.

Ваша МЦ.

P. S. Если будете писать — пишите по прежнему адр⟨есу⟩[1] прямо мне. Насчет химии и алгебры я ведь шутила, неужели Вы приняли за серьезное? —

4

Москва, 21-го июля 1916 г.

Милый Петя,

Я очень рада, что Вы меня вспомнили. Человеческая беседа — одно из самых глубоких и тонких наслаждений в жизни: отдаешь самое лучшее — душу, берешь то же взамен, и все это легко, без трудности и требовательности любви.

Долго, долго, — с самого моего детства, с тех пор, как я себя помню — мне казалось, что я хочу, чтобы меня любили.

Теперь я знаю и говорю каждому: мне не нужно любви, мне нужно понимание. Для меня это — любовь. А то, что Вы называете любовью (жертвы, верность, ревность), берегите для других, для другой, — мне этого не нужно. Я могу любить только человека, который в весенний день предпочтет мне березу. — Это моя формула.

Никогда не забуду, в какую ярость меня однажды этой весной привел один человек — поэт[1], прелестное существо, я его очень любила! — проходивший со мной по Кремлю и, не глядя на Москву-реку и соборы, безостановочно говоривший со мной обо мне же. Я сказала: «Неужели Вы не понимаете, что небо — поднимите голову и посмотрите! — в тысячу раз больше меня, неужели Вы думаете, что я в такой день могу думать о Вашей любви, о чьей бы то ни было. Я даже о себе не думаю, а, кажется, себя люблю!»

Есть у меня еще другие горести с собеседниками. Я так стремительно вхожу в жизнь каждого встречного, который мне

чем-нибудь мил, так хочу ему помочь, «пожалеть»[2], что он пугается — или того, что я его люблю, или того, что он меня полюбит и что расстроится его семейная жизнь.

Этого не говорят, но мне всегда хочется сказать, крикнуть: «Господи Боже мой! Да я ничего от Вас не хочу. Вы можете уйти и вновь прийти, уйти и никогда не вернуться — мне все равно, я сильна, мне ничего не нужно, кроме своей души!»

Люди ко мне влекутся: одним кажется, что я еще не умею любить, другим — что великолепно и что непременно их полюблю, третьим нравятся мои короткие волосы, четвертым, что я их для них отпущу, всем что-то мерещится, все чего-то требуют — непременно другого — забывая, что все-то началось с меня же, и не подойди я к ним близко, им бы и в голову ничего не пришло, глядя на мою молодость.

А я хочу легкости, свободы, понимания, — никого не держать и чтобы никто не держал! Вся моя жизнь — роман с собственной душою, с городом, где живу, с деревом на краю дороги, — с воздухом[3]. И я бесконечно счастлива.

Стихов у меня очень много, после войны издам сразу две книги[4]. Вот стихи из последней[5]:

Настанет день — печальный, говорят:
Отцарствуют, отплачут, отгорят
— Остужены чужими пятаками —
Мои глаза, подвижные, как пламя.
И — двойника нащупавший двойник —
Сквозь легкое лицо проступит — лик.

О, наконец, тебя я удостоюсь,
Благообразия прекрасный пояс!

А издали — завижу ли я вас? —
Потянется, растерянно крестясь,
Паломничество по дорожке черной
К моей руке, которой не отдерну,
К моей руке, с которой снят запрет,
К моей руке, которой больше нет.

На ваши поцелуи, о живые,
Я ничего не возражу — впервые:
Меня окутал с головы до пят
Благоразумия прекрасный плат.
Ничто уже меня не вгонит в краску,
Святая у меня сегодня Пасха.

По улицам оставленной Москвы
Поеду — я и побредете — вы.
И не один дорогою отстанет,

И первый ком о крышку гроба грянет, —
И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон!

— Прости, Господь, погибшей от гордыни
Новопреставленной болярине* Марине!

Это лето вышло раздробленное. Сначала Сережа был в Коктебеле[6], я у Аси (у нее теперь новый мальчик — Алексей), теперь мы съехались[7]. Он все ждет назначения, вышла какая-то путаница. Я рада Москве, хожу с Алей в Кремль, она чудный ходок и товарищ[8]. Смотрим на соборы, на башни, на царей в галерее Александра II, на французские пушки[9]. Недавно Аля сказала, что непременно познакомится с царем[10]. — «Что же ты ему скажешь?» — «Я ему сделаю вот какое лицо!» (И сдвинула брови). — Живу, совсем не зная, где буду через неделю, — если Сережу куда-нибудь ушлют, поеду за ним. Но в общем все хорошо.

Буду рада, если еще напишете, милый Петя, я иногда с умилением вспоминаю нашу с Вами полудетскую встречу: верховую езду и сушеную клубнику в мезонине Вашей бабушки[11], и поездку за холстинами, и чудную звездную ночь.

Как мне тогда было грустно! Трагическое отрочество и блаженная юность.

Я уже наверное никуда не уеду, пишите в Москву. И если у Вас сейчас курчавые волосы, наклоните голову, и я Вас поцелую.

МЭ.

Юркевич Петр Иванович (1889—1968) — врач, специализировался в области военной терапии.

«Другом моих 15-ти лет» называла его Цветаева (*Минувшее,* 11, 1991. С. 335—336). После 1908 г. встречи Цветаевой и Юркевича стали эпизодическими, а вскоре и вовсе прекратились. В 1916 г. П. И. Юркевич предпринял попытку возобновить прежнюю дружбу с Цветаевой и написал ей письмо. Цветаева откликнулась, но судя по ответу («А то, что Вы называете любовью 〈...〉, берегите для других, для другой, — мне этого не нужно...»), это письмо должно было стать последним в их переписке.

Впервые полностью — *Минувшее*, 11, 1991 (публикация Е. И. Лубянниковой и Л. А. Мнухина). Печатаются по тексту публикации и с частичным использованием примечаний. Письмо 4 публиковалось и раньше, но с небольшими сокращениями (Таллинн. 1986. № 2; *Соч. 88, 2*).

1

[1] Письмо датируется следующим после отъезда (21 июня 1908 г.) Цветаевой из Орловки (см. письмо 2).

* Так в оригинале письма и в первой публикации.

[2] Об увлечении Цветаевой революцией в детские и отроческие годы рассказано ее младшей сестрой (*А. Цветаева.* С. 203—205). О «революционности» юной Цветаевой писали также ее гимназические подруги, например В. К. Генерозова: «Преклоняясь перед борцами революции, Марина мечтала и сама принимать участие в борьбе за свободу и светлое будущее людей. Марина старалась и меня познакомить с революционным движением, снабжая меня запрещенными в то время книгами...» (Там же. С. 237). «С 14-ти до 16-ти лет я бредила революцией...»—спустя несколько лет писала Цветаева В. В. Розанову (см. письмо 2 к нему).

[3] Имеется в виду популярная революционная песня неизвестного автора «Вы жертвою пали в борьбе роковой...». По воспоминаниям сестры поэта, «Похоронный марш» был неизменным спутником их ялтинской жизни 1905—1906 гг. (*А. Цветаева.* С. 205). В 1936 г. М. И. Цветаева перевела его на французский язык. Автограф перевода хранится в РГАЛИ.

[4] Семейное прозвище П. И. Юркевича.

[5] Культ «мелких дел» возник в период кризиса народничества, когда в середине 1880-х гг. народник Я. В. Абрамов (1858—1906) выступил в газете «Неделя» с проповедью «теории малых дел».

[6] Правильнее: «санинщина»—по имени главного героя романа М. П. Арцыбашева «Санин» (1907), проповедовавшего цинизм и аморальность.

[7] Цветаевой предстояла сдача экзаменов при поступлении в 6-й класс гимназии М. Г. Брюхоненко.

[8] Софья Ивановна Юркевич (по мужу—Липеровская; 1892—1973)—сестра адресата, училась в одной гимназии с Цветаевой. Впоследствии—педагог, автор ряда книг по русской литературе для школьников и учителей. О своих встречах с Цветаевой оставила воспоминания. См.: *Воспоминания о Цветаевой.* С. 31—41).

[9] Речь идет о Симе Мусатовой, соученице М. Цветаевой по гимназии А. С. Алферовой в 1907—1908 гг.

[10] *Андрей* Иванович Цветаев. *Мильтон*—собака Цветаевых, которую Андрей привозил с собой в Тарусу.

[11] Летом 1908 г. И. В. Цветаев бывал на своей даче в Тарусе наездами, когда позволяли служебные дела.

[12] Анастасия Ивановна Цветаева. В то время училась в гимназии В. В. Потоцкой, в 1908 г. перешла в 4-й класс.

[13] В воспоминаниях Т. Н. Астаповой приводится отзыв Цветаевой об изучавшихся в гимназии естественных науках: «...по-моему, они скучны. Вот химия мне еще нравится, пожалуй: во время опытов в пробирках получаются такие красивые цвета!» (Юность. 1984. № 8. С. 96).

[14] Цветаева имеет в виду рассказ швейцарского писателя Г. Гессе (1877—1962) «Осенью, пешком», опубликованный в журнале «Русская мысль» (1908, № 4) в переводе А. Ф. Даманской. В последней главе рассказа приведено стихотворение «В раздумье брожу сквозь туман по земле...», оканчивающееся строкой «И все одиноки»; оно также принадлежит перу Гессе.

[15] *Сергей* Иванович Юркевич (ок. 1888—1919), брат П. И. Юркевича, врач-терапевт. Во время первой мировой войны работал военным хирургом. О какой размолвке с С. И. Юркевичем идет речь в письме М. Цветаевой, неясно. В воспоминаниях А. И. Цветаевой описывается первое посещение им цветаевского дома в Москве зимой 1907/08 г.: «Он сидел на маленьком нашем красном диванчике и говорил о чем-то с Мариной, «наверное, о революционном»,—думала я, не очень слушая, любуясь Сережей. Так же неуверенно, то вспыхивая, то преодолевая застенчивость, мгновенно переходившую в гордость, взглядывала на него Марина» (*А. Цветаева.* С. 255).

[16] Рассказ Л. Н. Андреева «Марсельеза» (1903).

[17] Клички собак в Орловке.

[18] В выборе будущей профессии П. И. Юркевич колебался между филологией и медициной. Осенью 1908 г. он поступил на историко-филологический факультет Московского университета, однако под влиянием брата, студента-медика, вскоре перешел на медицинское отделение того же университета.

[19] Намек на российский национальный гимн «Боже, Царя храни» (музыка А. Ф. Львова, слова В. А. Жуковского). Официально он был принят в России в 1833 г. В 1908 г. торжественно отмечалось его 75-летие.

2

[1] По-видимому, это первое знакомство Цветаевой с творчеством Ф. М. Достоевского. Много позже Цветаева признавалась в одном из писем, что Достоевский ей «в жизни как-то не понадобился» (см. письмо 4 к Ю. П. Иваску в т. 7).

Приведенные в настоящем письме выдержки из романа «Подросток» в ряде случаев Цветаевой несколько изменены.

[2] *Тарасов* Евгений Михайлович (1882—1946)—революционный поэт. Цветаева приводит полный текст его стихотворения «Они лежали здесь в углу...» из книги «Стихи» (Спб., Новый Мир, 1906), написанного в связи с расправой над участниками Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. Возможно, Цветаева воспроизвела его по памяти, так как в сравнении с книжным источником имеются разночтения.

В «Ответе на анкету» (1926) Цветаева поставила стихи Е. М. Тарасова в ряд «душевных событий» своего отрочества (см. т. 4).

[3] Было ли послано упомянутое стихотворение, неизвестно; в архиве адресата оно не обнаружено. Нет такого стихотворения и среди дошедшей до нас ранней лирики Цветаевой. Вместе с тем в бумагах П. И. Юркевича имелось другое стихотворение Цветаевой, обращенное к нему («Месяц высокий над городом лег...»—см. т. 1) и относящееся, по-видимому, к осени 1908 г., когда в Москве продолжилась дружба корреспондентов.

Что касается даты «21-го июля», то это, вероятно, описка Цветаевой; исходя из датировки письма, следует читать «21-го июня».

[4] Кто такие «Евг. Ив.» и «Собко», не установлено.

3

[1] То есть в Тарусу, где Цветаева собиралась провести остаток лета.

4

[1] Речь идет об О. Мандельштаме, которому Цветаева в 1916 г. «дарила Москву». Этот эпизод Цветаева вспоминает спустя семь лет в письме 5 к А. В. Бахраху.

[2] Ср.: «Пожалеть тебя, у тебя навек//Пересохли губы» («Не сегодня-завтра растает снег...», 1916). См. т. 1.

[3] Аналогичные высказывания-формулы Цветаева давала раньше, в 1914 г., в письмах к В. В. Розанову и П. Я. Эфрону.

[4] Имеются в виду сборники «Юношеские стихи» (1912—1915) и «Версты» (стихи 1916 г.). При жизни автора увидела свет лишь вторая книга, вышедшая в Госиздате в 1922 г.

[5] Стихотворение написано 11 апреля 1916 г. Впервые опубликовано в журнале «Северные записки» (1917. № 1. С. 25). Вошло в «Версты. I» с вариантом в предпоследней строке. См. также т. 1.

[6] *Сергей* Яковлевич Эфрон, муж М. И. Цветаевой, в мае 1916 г. в связи с призывом прошел военно-врачебную комиссию, однако из-за путаницы с документами долгое время находился в неведении относительно службы в армии. Не дождавшись решения этого вопроса, уехал в Коктебель, где пробыл с 12 июня по 8 июля.

[7] А. И. Цветаева в то время жила в городке Александрове Владимирской губернии, где проходил службу ее второй муж, М. А. Минц. М. И. Цветаева жила в александровском доме с 20-х чисел июня около трех недель, ее сестра на это время уехала в Москву перед родами. Алеша Минц-Цветаев родился 25 июня 1916 г., умер летом следующего года от дизентерии.

[8] Дочь М. И. Цветаевой, Ариадна Эфрон, помогала матери по дому, поддерживала ее в трудные минуты. Упомянутые в письме «походы» по Москве нашли отражение в стихотворениях «Четвертый год...» и «Облака вокруг...». См. также письма к А. Эфрон.

[9] Портретная галерея императора Александра II и его предшественников была построена в Кремле скульптором А. М. Опекушиным в конце прошлого века. Уничтожена в 1918 г. *Французские пушки*—трофейные пушки наполеоновской армии, установленные вдоль фасадов Арсенала.

[10] Подразумевается Николай II.

[11] *Иванская* Наталья Орестовна (в первом замужестве Жданова) — бабушка П. И. Юркевича по материнской линии.

В. К. ГЕНЕРОЗОВОЙ

⟨*Начало 1909*⟩

Дорогая Валенька!

Мне сегодня было с Вами хорошо, как во сне. Никогда не думала, что встречусь с Вами при таких обстоятельствах[1]. Так ясно вспомнилось мне милое прошлое. Я люблю Вас по-прежнему, Валенька, больше всех, глубже. Никогда я не уйду от Вас. Что мне сказать Вам? Слишком много могу сказать. Будь я средневековым рыцарем, я бы ради Вашей улыбки на смерть пошла. Вам теперь очень грустно. Как мне жаль, что я не могу быть с Вами. Милая Кисенька моя, думаю, что вскоре напишу Вам длинное письмо. Если будете слишком грустить – напишите мне, я Вас пойму. Помните, что я Вас очень люблю.

Ваша МЦ.

Перечитала сегодня Ваши письма[2]. У меня они все. Стихи пришлю, Кисенька милая.

Генерозова (по мужу – Перегудова) Валентина Константиновна (1892 – 1967) – гимназическая подруга Цветаевой.

С В. К. Генерозовой Цветаева познакомилась и подружилась в 1906 г. в московской гимназии фон Дервиз. «Мы не были подругами в общепринятом понимании этого слова. Между нами была какая-то особенная дружба, большая, искренняя, родившаяся благодаря такому особенному человеку, каким была Марина», – писала в своих воспоминаниях о Цветаевой В. К. Генерозова. В них подробно описана дружба двух гимназисток, их встречи, там же приводятся тексты двух сохранившихся писем М. Цветаевой (*Воспоминания о Цветаевой.* С. 22 – 30). В. К. Генерозовой Цветаева посвятила стихотворение «У кроватки». См. т. 1.

Печатается по тексту воспоминаний В. К. Генерозовой.

[1] В 1907 г. Цветаева, проучившись один год, оставила гимназию фон Дервиз. Более года подруги не виделись. Письмо написано под впечатлением первой после перерыва встречи, когда В. К. Генерозова посетила дом Цветаевых в Трехпрудном переулке.

[2] Переписка Цветаевой и Генерозовой длилась до начала 1910 г., вплоть до отъезда В. К. Генерозовой к родственникам в Саратов. В сохранившемся отрывке из другого письма, одного из последних, Цветаева писала ей: «Конечно, Валя, так и нужно было ожидать. Все хорошее кончается всегда. Сошлись на мгновенья, взялись за руки, посмотрели друг другу в глаза и прочли там, я думаю, хорошие слова. Вы такая чуткая и нежная! Лучше Вас друга не найду никогда. Думаю о Вас и тоскую и желаю Вам быть счастливой, как только можно быть.

⟨...⟩ Кто знает, может быть, мы еще встретимся с Вами в жизни, может быть, заглянув друг другу в глаза, рассмеемся и скажем: «Да, это та!» Все возможно. А теперь мы ничего не знаем. Будущее скрыто!..» В целом же переписка Цветаевой и Генерозовой не сохранилась.

В. И. ЦВЕТАЕВОЙ

⟨*Ялта, апрель 1909*⟩

Милая Валечка. Если бы ты знала, как хорошо в Ялте![1] Я ничего не читаю и целый день на воздухе, то у моря, то в горах. Фиалок здесь масса, мы рвем их на каждом шагу. Но переезд морем из Севастополя в Ялту был ужасный: качало и закачивало всех[2]. Приеду верно 3-го или 4-го. Всего лучшего.

МЦ.

Цветаева Валерия Ивановна (1883–1966) — единокровная сестра М. И. Цветаевой, дочь И. В. Цветаева от первого брака.

Впервые — *Поэт и время*. С. 63. Печатается по тексту первой публикации.

[1] На пасхальные каникулы Цветаева с группой соучениц по гимназии М. Г. Брюхоненко совершила поездку в Крым. Эту поездку описала в своих воспоминаниях одна из ее участниц, Т. Н. Астапова (Юность. 1984. № 8. С. 98).

[2] Цветаева проделала этот путь второй раз. Первый, летом 1905 г., она также перенесла с трудом. «Море до Ялты так качало наш пароход, что мы обе измучились. ⟨...⟩ Маруся выражала свое отношение к качке — беспрерывно. Я крепилась долго, но — сдалась» (*А. Цветаева*. С. 185).

ЭЛЛИСУ

1

Париж, 22-го июня 1909 г.

Милый Лев Львович! У меня сегодня под подушкой были Aiglon* и Ваши письма[1], а сны — о Наполеоне — и о маме. Этот сон о маме я и хочу Вам рассказать[2]. Мы встретились с ней на одной из шумных улиц Парижа. Я шла с Асей. Мама была как всегда, как за год до смерти — немножко бледная, с слишком темными глазами, улыбающаяся. Я так ясно теперь помню ее

* Орленок *(фр.)*.

лицо! Стали говорить. Я так рада была встретить ее именно в Париже, где особенно грустно быть всегда одной[3]. — «О мама! — говорила я, — когда я смотрю на Елисейские поля, мне так грустно, так грустно». И рукой как будто загораживаюсь от солнца, а на самом деле не хотела, чтобы Ася увидела мои слезы. Потом я стала упрашивать ее познакомиться с Лидией Александровной[4]. — «Больше всех на свете, мама, я люблю тебя, Лидию Александровну и Эллиса»* («А Асю? — мелькнуло у меня в голове. — Нет, Асю не нужно!») «Да, у Лидии Александровны ведь кажется воспаление слепой кишки», — сказала мама. — «Какая ты, мама, красивая! — в восторге говорила я, — как жаль, что я не на тебя похожа, а на...» хотела сказать «папу», но побоялась, что мама обидится, и докончила: «неизвестно кого! Я так горжусь тобой». — «Ну вот, — засмеялась мама, — я-то красивая! Особенно с заострившимся носом!» Тут только я вспомнила, что мама умерла, но нисколько не испугалась. — «Мама, сделай так, чтобы мы встретились с тобой на улице, хоть на минутку, ну мама же!» — «Этого нельзя, — грустно ответила она, — но если иногда увидишь что-нибудь хорошее, странное на улице или дома, — помни, что это я или от меня!» Тут она исчезла. Сколько времени прошло — я не знаю. Снова шумная улица. Автомобили, трамваи, омнибусы, кэбы, экипажи, говор, шум, масса народа. Вдруг я чувствую, что за мной кто-то гонится. Мама? Но я боюсь, значит не она. Что-то белое настигает меня, хватает и душит. Перехожу через улицу. Прямо на меня трамвай. Я ухожу с рельс, иду в противоположную сторону, а трамвай за мной.

Освободившись наконец от него, вижу насторожившийся автомобиль, выжидающий, куда я двинусь, чтобы кинуться за мной. Тут я начинаю понимать, что *что-то здесь неладно*. Я вижу, что кто-то узнал наш с мамой уговор и хочет меня наставить против мамы, хочет, чтобы я, напуганная *преследованием вещей* и неприятными неожиданностями, наконец сказала: «Оставь меня в покое!» Я поняла также, что мама бессильна предупредить меня и теперь мучается. Перехожу на другой тротуар. Вечереет. Около стены с афишами стоят трое людей — маленькая старушонка, ребенок и старик. Я начинаю говорить о маме, но старуха ничего не понимает, не слышит. Я начинаю думать, что мне только кажется, будто я говорю. Вдруг я стою перед ней и шевелю губами? Как только я это подумала, мне стало ясно, почему она меня не слышит, но все же я продолжала мысленно мою фразу, которая кончалась словами «уничтожить». Моя старуха в то же мгновение вынимает из кармана мел и пишет на стене «уничтожить», то есть *не произнесенное* мною слово. Тогда я начинаю

* Это было во сне *(примеч. М. Цветаевой)*.

расспрашивать ее: «Вы знали маму? Вы любили ее?» — «Подленькая она была, прилипчивая, — шипит старушонка, — голубка моя, верь мне». В ее шепоте что-то заискивающее, хитрое и вместе с тем робкое. Тогда я обращаюсь к стоящей за мной барышне — высокой, в голубом платье и pince-nez — и упавшим голосом спрашиваю ее: — «А что думаете о маме Вы?» — «У нее было очень много книг, оттого ей все завидуют», — неопределенно отвечает барышня. — «Мама была прямая как веревка, натянутая на лук! — кричу я звенящим и задыхающимся от негодования и огромного усилия голосом, — она была слишком прямая. Согнутый лук был слишком согнут и, выпрямляясь, разорвал ее!»

Всё исчезает. Светлый вечер у нас в Трехпрудном. В детской, на Асиной кровати сидит какой-то незнакомый господин — следователь в голубой рубашке, с огромной, спускающейся на грудь, черной бородой. У Асиного стола — барышня в pince-nez. В руках у нее перочинный нож и книга. Не знаю, под каким предлогом я выхожу из комнаты, спускаюсь по лестнице и вижу: навстречу ко мне, с трудом поднимаясь по ступенькам, идет померанцевое деревцо в кадке. Я толкаю его, но вдруг понимаю, что оно зеленое, милое, что ему трудно идти вверх, а оно все же идет, что это — мама! Я обнимаю его тонкий ствол, целую хрупкие листочки. Внизу, на краю стола в столовой лежит записка, начинающаяся словами «Дорогая Муся» (так меня звала мама). — «Нет, это не мама пишет! это не ее почерк, это снова *подлог*! Рассматриваю бумажку, и что же — на углу различаю слова, «следователь по судебным делам». Значит тот, наверху, тоже *враг*. Мчусь по лестнице и еще в дверях кричу: «Это Вы писали, а не мама, это подло, подло!»

Барышня в pince-nez рассматривает бумажку. Следователь, видя, что он в моих руках, поднимается с постели и грозно требует у барышни бумажку, желая уничтожить улику. Она быстро сует ему в руки книгу, перочинный нож и убегает вслед за мной. Улики налицо. За следователем поднимается полиция. Мы на улице. Идет трамвай. Из трамвая высовываются головы, машут платками. Я на всякий случай отвечаю. Может быть, среди всех этих фальшивых знаков и есть один настоящий, мамин. И как бы в награду за храбрость я вижу на площадке трамвая трех девушек, из которых левая немножко — о, чуть-чуть! — напоминает маму. Радости моей нет границ. Я беру ее под руку и вишу сбоку у трамвая. Ее глаза! Да, да! Она не может принять свой обычный вид, а то все узнают, но я-то все поняла! Перед нами идет другой трамвай, и с него свисает повешенный в красном костюме — может быть следователь.

Опять площадь. Милая барышня в pince-nez, моя помощница, улыбается. Я благодарю ее и сжимаю обеими руками ее маленькую, холодную ручку.

2 Зак 30

Вот и все. Спасибо за Ваши письма, за письма и за сон. Милый Чародей, непременно приезжайте в Тарусу. Многое, многое Вам расскажу.

МЦ.

2

Москва, 2-го декабря 1910 г.

Милый Эллис,

Вы вчера так внезапно исчезли,—почему? В Мусагете[1] было очень хорошо. Мне про него даже снились сны. У меня к Вам просьба: перемените, пожалуйста, в 2-х моих стихотворениях для альманаха[2] следующие места:

1) *Мальчик с розой*

Написано:	*Надо:*
Крепко сжал — —	Уронил
Но к губам его — —	И к губам его…

2) *На бульваре*

Написано:	*Надо:*
Ручку сонную разжала —	Ручки сонные…

Как я отвыкла от людей и разговоров! При малейшем разногласии с собеседником мне уже хочется уйти, становится так скверно! В Мусагете много милых и мне симпатичных людей. Я довольна, что там бываю, но… М. б. папа на несколько дней уедет в Петербург[3]. Если это будет,—известим Вас. Будет ли в воскресенье что-нибудь у Крахта?[4] И в к⟨отор⟩ом часу и что именно? Привет.

МЦ.

А мой сонет?[5]

3

3-го декабря 1911 г.

Дорогой Эллис,

Будьте поласковее с этой барышней[1],—это сестра Сережи, очень интересная и умная.

Забудьте на время о готической девушке с Библией в руках![2] С Библией, к⟨отор⟩ую она даже читать не умеет!

Не сердитесь за шутку и будьте помилей с Лилей.

МЦ.

Эллис (настоящие имя и фамилия — Кобылинский Лев Львович; 1879 — 1947) — поэт и переводчик, теоретик символизма.

Эллис, «переводчик Бодлера, один из самых страстных ранних символистов, разбросанный поэт, гениальный человек», в жизни юной Цветаевой в 1908 — 1909 гг. занимал особое место. Часто бывая в цветаевском доме, особенно весной 1909 г., он покорял сестер своей эрудицией, знанием русской и французской поэзии, своими нескончаемыми таинственными рассказами и сопутствующими этим рассказам артистическими изображениями в лицах. Эти встречи позднее М. Цветаева описала в поэме «Чародей» (1914). Благодаря Эллису она впервые вошла в литературные круги Москвы. Знакомство М. Цветаевой с Эллисом подробно описано в воспоминаниях ее сестры (*А. Цветаева.* С. 258 — 259, 283 — 285, 302 — 304, 321 — 322 и др.).

Письмо 1 — впервые в *НП* без даты и с ошибками. Печатается по тексту, сверенному по копии с оригинала и опубликованному в *Соч. 88, 2.*

Письмо 2 — впервые в кн.: А. Цветаева. Воспоминания (М.: Сов. писатель, 1971. С. 342 — 343) с двумя пропущенными фразами. Печатается по полному тексту.

Письмо 3 — впервые *Поэт и время.* С. 75. Печатается по тексту первой публикации.

1

[1] *Aiglon* — см. письмо к В. Я. Брюсову и комментарий 2 к нему. *Ваши письма* — письма Эллиса к М. Цветаевой, по-видимому, не сохранились.

[2] Сны в творчестве Цветаевой, в том числе эпистолярном, занимают важное место. Сон она называла «любимым видом общения». См., например, на эту тему посмертное письмо к Рильке (31 декабря 1926 г.), письма к Б. Пастернаку (9 февраля 1927 г.), С. Н. Андрониковой-Гальперн (12 — 14 августа 1932 г.), А. Берг (26 ноября 1938 г.).

[3] Летом 1909 г. М. Цветаева училась в Alliance Française (курсы французской литературы) в Париже. Чувство одиночества и тоски, которое испытывала М. Цветаева в своей первой самостоятельной поездке за границу, нашло отражение в написанном в эти дни стихотворении «В Париже» (см. т. 1).

Известно еще об одном письме Эллису, посланном Цветаевой из Парижа. Его содержание связано с нашумевшим в свое время инцидентом. Вот что писала об этом газета «Русские ведомости» от 5 августа 1909 г.: «На днях в читальном зале библиотеки Румянцевского и Публичного музеев обнаружено злоупотребление с книгами одного из постоянных посетителей библиотеки, некоего литератора Л. Коб⟨ылин⟩ского, писавшего в декадентских журналах под псевдонимом «Эллис»». Этот посетитель из выдаваемых ему книг для чтения вырезывал страницы текстов и брал себе. Проделка была замечена одним из служителей...» Узнав о грозящих Эллису неприятностях, Цветаева пишет ему письмо

в поддержку. Содержание этого письма, которое, видимо, не сохранилось, в пересказе Эллиса Андрею Белому приводит А. В. Лавров в комментариях к мемуарам А. Белого: «Вчера вдруг получаю письмо из Парижа от старшей дочери Цветаева, Маруси, моей большой поклонницы. Она все узнала от Аси, которая, кажется, не понимает серьезности дела. Маруся мне пишет, что она, веря в меня и не требуя никаких доказательств, считает своей обязанностью сделать все, чтобы меня спасти — «Если с вами что-нибудь сделают, я застрелюсь!» — пишет она... «Вас не смеют судить, и если бы вы раскрали 1/2 музея, то все равно они не смеют вас судить!..» Она пишет, что немедленно едет в Россию и «пойдет на все»... Быть может, это детская, смешная греза, но меня это тронуло до невыразимости» (Белый А. Между двух революций. М.: Худож. лит., 1990. С. 536—537).

[4] *Л. А. Тамбурер,* познакомившая Эллиса с сестрами Цветаевыми. Ей посвящены стихотворения М. Цветаевой «Последнее слово», «Эпитафия», «Жажда». См. т. 1.

2

[1] Символистское издательство, организованное в 1909 г. в Москве Э. К. Метнером (1872—1936) при ближайшем участии А. Белого и Эллиса, а также литераторов А. С. Петровского (1881—1958) и М. И. Сизова (1884—1956). Одним из основных направлений деятельности издательства был выпуск сборников современных русских поэтов-символистов.

[2] Речь идет об «Антологии», единственном коллективном поэтическом сборнике, вышедшем в издательстве «Мусагет» (июнь 1911 г.). Цветаева, видимо, по просьбе Эллиса, дала для антологии несколько своих стихотворений, не вошедших в ее первый сборник «Вечерний альбом». В итоге были опубликованы два стихотворения: «Девочка-смерть» и «На бульваре». Упоминаемое в письме стихотворение «Мальчик с розой» в антологию не попало. Позже все эти стихи вошли в раздел «Деточки» второго сборника М. Цветаевой «Волшебный фонарь» (1912).

[3] Поездки И. В. Цветаева в Петербург в это время были связаны с приобретением для Музея изящных искусств коллекции египтолога В. С. Голенищева и перевозкой ее в Москву. Сообщение Цветаевой Эллису о возможном отъезде отца было обусловлено тем, что после инцидента с библиотечными книгами Эллис мог бывать в цветаевском доме (в Трехпрудном переулке) только в отсутствие И. В. Цветаева. В воспоминаниях А. Цветаевой события, связанные с проступком Эллиса, ошибочно датируются весной 1910 г. вместо августа 1909 г. (*А. Цветаева.* С. 321—322).

[4] В студии скульптора К. Ф. Крахта (1868—1919), приятеля Эллиса, с конца 1910 г. проходили собрания группы поэтической молодежи. Эллис называл этот кружок «Молодым Мусагетом». По свидетельству А. Белого, среди других кружок посещали «Марина Цветаева и молодой Пастернак» (Белый А. Между двух революций. С. 333).

[5] О каком стихотворении идет речь, неизвестно. Среди дошедших до нас текстов ранней лирики Цветаевой есть два стихотворения, написанных в форме сонета: «Встреча» («Вечерний дым над городом возник...») и «Die stille Strasse». Они вошли в первый сборник «Вечерний альбом» (С. 3, 63–64).

3

[1] Цветаева рекомендует Эллису Е. Я. Эфрон, сестру мужа, отправлявшуюся за границу. Эллис в то время находился в Берлине.

[2] *...готическая девушка с Библией в руках!* — На обложке сборника стихов Эллиса «Stigmata» (Мусагет, 1911) изображена скульптура девушки с книгой, украшающая стену готического собора. Автор рисунка — Ася Тургенева.

В. Я. БРЮСОВУ

Москва, 15-го марта 1910 г.

Многоуважаемый Валерий Яковлевич,

Сейчас у Вольфа[1] Вы сказали: «...хотя я не поклонник Rostand»...

Мне тут же захотелось спросить Вас, почему? Но я подумала, что Вы примете мой вопрос за праздное любопытство или за честолюбивое желание «поговорить с Брюсовым». Когда за Вами закрылась дверь, мне стало грустно, я начала жалеть о своем молчании, но в конце концов утешилась мыслью, что могу поставить Вам этот же вопрос письменно.

Почему Вы не любите Rostand? Неужели и Вы видите в нем только «блестящего фразера», неужели и от Вас ускользает его бесконечное благородство, его любовь к подвигу и чистоте?

Это не праздный вопрос.

Для меня Rostand — часть души, очень большая часть[2].

Он меня утешает, дает мне силу жить одиноко. Я думаю — никто, никто не знает, не любит, не ценит его, как я.

Ваша мимолетная фраза меня очень опечалила.

Я стала думать: всем моим любимым поэтам должен быть близок Rostand. Heine, Victor Hugo, Lamartine, Лермонтов — все бы они любили его.

С Heine у него общая любовь к Римскому королю[3], к Mélessinde[4], триполийской принцессе; Lamartine не мог бы не любить

этого «amant du Rěve»*, Лермонтов, написавший «Мцыри», сразу увидел бы в авторе l'«Aiglon»** родного брата; Victor Hugo гордился бы таким учеником...

Почему же Брюсов, любящий Heine, Лермонтова, ценящий Victor Hugo, так безразличен к Rostand?

Если Вы, многоуважаемый Валерий Яковлевич, найдете мой вопрос достойным ответа, — напишите мне по этому поводу.

Моя сестра, «маленькая девочка в больших очках», преследовавшая Вас однажды прошлой весной на улице, — часто думает о Вас[5].

Искренне уважающая Вас

МЦветаева.

Адрес: Здесь, Трехпрудный переулок, собственный дом,
Марине Ивановне Цветаевой

Брюсов Валерий Яковлевич (1873 — 1924) — русский советский поэт.

Письмо послужило началом знакомства М. Цветаевой с В. Я. Брюсовым. Их отношения можно обозначить словом «любовь — вражда». В юности Цветаева приобрела трехтомное издание стихотворений Брюсова «Пути и перепутья» и написала статью-рецензию под названием «Волшебство в стихах Брюсова». В некоторых стихах поэта она нашла созвучие своим девическим настроениям: одиночеству, тоске по идеалу, несбыточной любви и т. п. В то же время Брюсов отталкивал ее своим рационализмом, экспериментаторством в поэзии. Брюсов откликнулся в печати на первый сборник стихов Цветаевой «Вечерний альбом». В ответ Цветаева дважды сдерзила Брюсову в обращенных к нему стихах. По-видимому, она раздражала Брюсова своим фрондерством. Эти сложные отношения поэтов старшего и младшего поколений на самом деле вытекали из полной противоположности их человеческих и творческих индивидуальностей. После кончины Брюсова Цветаева написала о нем большой мемуарный очерк-эссе «Герой труда», где дала живой и достаточно объективный портрет поэта и историю их взаимоотношений.

Впервые с незначительными сокращениями — Новый мир. 1969. № 4. Печатается по копии автографа.

[1] Речь идет о частном книжном магазине Вольфа в Москве, на Кузнецком мосту. *Вольф* Маврикий Осипович (польское имя — Болеслав Маурыцы; 1825 — 1883) — русско-польский издатель, книгопродавец.

[2] В юности Цветаева увлекалась творчеством Ростана (Rostand), особенно драмой «Орленок», которую она переводила в 1908 — 1909 гг. на русский. «...Марина, забыв обо всем, день за днем, и часто глубоко

* «Возлюбленного Мечты» *(фр.)*.

** См. перевод на с. 31.

в ночь кидалась в бой несходства двух языков, во вдохновенное преодоление трудностей ритма и рифмы. Любимейший из героев, Наполеон II, воплощался силой любви и таланта, труда и восхищенного сердца, — в тетрадь. Перевоплощался из французского языка — в русский» (*А. Цветаева.* С. 268).

Перевод пьесы не сохранился.

[3] *Римский король* — Наполеон II, герцог Рейхштадтский, герой пьесы «Орленок». Цветаева посвятила своему кумиру несколько стихотворений из ранней лирики («В Париже», «Герцог Рейхштадтский», «В Шенбрунне»). См. т. 1.

[4] *Мелисанда*, графиня Триполийская, жившая в XII в., — героиня пьесы Ростана «Принцесса Грёза»; она была воспета Г. Гейне в стихотворении «Жоффруа Рюдель и Мелисанда Триполи» и в его поэме «Иегуда бен Галеви».

[5] Встреча А. И. Цветаевой с Брюсовым описана в ее воспоминаниях (*А. Цветаева.* С. 282). М. И. Цветаева посвятила этому эпизоду стихотворение «Недоумение». См. т. 1.

М. А. ВОЛОШИНУ

1

Москва, 23-го декабря 1910 г.

Многоуважаемый Максимилиан Александрович,

Примите мою искреннюю благодарность за Ваши искренние слова о моей книге[1]. Вы подошли к ней как к жизни, и простили жизни то, чего не прощают литературе.

Благодарю за стихи[2].

Если Вы не боитесь замерзнуть, приходите в старый дом со ставнями[3]. Только предупредите, пожалуйста, заранее.

Привет.

Марина Цветаева.

2

Москва, 27-го декабря 1910 г.[1]

Многоуважаемый Максимилиан Александрович,

Благодарю Вас за письма.

В пятницу вечером я не свободна.

Будьте добры, выберите из остальных дней наиболее для Вас удобный и приходите, пожалуйста, часам к пяти, предупредив заранее о дне Вашего прихода.

Привет.

Марина Цветаева.

3

Многоуважаемый Максимилиан Александрович,

Приходите, пожалуйста, в пятницу часам к пяти.

Марина Цветаева.

Москва, 28-го декабря 1910 г.

4

Москва, 30-го декабря 1910 г.

Многоуважаемый Максимилиан Александрович,

Я в настоящее время так занята своим новым граммофоном (которого у меня еще нет), что путаю все дни и числа.

Если Ваша взрослость действительно не безнадежна[1], Вы простите мне мою рассеянность и придите 4-го января 1911 г., к 5 час⟨ам⟩, как назначили.

Так говорить — вежливо, длинно и прозой — мое великодушие. А так скажет — менее вежливо, короче и стихами — моя справедливость:

Кто виноват? Ошиблись оба...
Прости и ты, как я простила!

Марина Цветаева.

5

Москва, 5-го января 1911 г.

Я только что начала разрезать «La Canne de Jaspe»*[1], когда мне передали Ваше письмо. Ваша книга — все, что мы любим, наше — очаровательна. Я буду читать ее сегодня целую ночь. Ни у Готье, ни у Вольфа[2] не оказалось Швоба[3]. Я даже рада этому: любить двух писателей зараз — невозможно. Будьте хорошим: достаньте Генриха Манна. Если хотите блестящего, фантастического, волшебного Манна, — читайте «Богини», интимного и страшно мне близкого — «Голос крови», «Актриса», «Чудесное», «В погоне за любовью», «Флейты и кинжалы».

У Генриха Манна есть одна удивительно скучная вещь: я два раза начинала ее и оба раза откладывала на грядущие времена. Это «Маленький город».

---

* «Яшмовая трость» *(фр.)*.

Вся эта книга — насмешка над прежними, она даже скучнее Чехова.

Менее скучны, но так же нехарактерны для Манна «Страна лентяев» и «Смерть тирана»[4].

Я в настоящую минуту перечитываю «В погоне за любовью». Она у меня есть по-русски, т. е. я могу ее достать[5].

В ней Вас должен заинтересовать образ Уты, героини.

Но если у Вас мало времени, читайте только Герцогиню[6] и маленькие вещи: «Флейты и кинжалы», «Актрису», «Чудесное». Очень я Вам надоела со своим Манном?

У Бодлера есть строка, написанная о Вас, для Вас: «L'univers est égal á son vaste appétit»*. Вы — воплощенная жадность жизни[7].

Вы должны понять Герцогиню: она жадно жила. Но ее жадность была богаче жизни. Нельзя было начинать с Венеры!

До Венеры — Минерва, до Минервы — Диана![8]

У Манна так: едет автомобиль, через дорогу бежит фавн. Все невозможное — возможно, просто и должно. Ничему не удивляешься: только люди проводят черту между мечтой и действительностью. Для Манна же (разве он человек?) все в мечте — действительность, все в действительности — мечта. Если фавн жив, отчего ему не перебежать дороги, когда едет автомобиль?

А если фавн только воображение, если фавна нет, то нет и автомобиля, нет и разряженных людей, нет дороги, ничего нет. Все — мечта и все возможно!

Герцогиня это знает. В ней все, кроме веры. Она не мистик, она слишком жадно дышит апрельским и сентябрьским воздухом, слишком жадно любит черную землю. Небо для нее — звездная сетка или сеть со звездами. В таком небе разве есть место Богу?

Ее вера, беспредельная и непоколебимая, в герцогиню Виоланту фон Асси.

Себе она молится, себе она служит, она одновременно и жертвенник, и огонь, и жрица, и жертва.

Обратите внимание на мальчика Нино, единственного молившегося той же силе, как Герцогиня. Он понимал, он принимал ее всю, не смущался никакими ее поступками, зная, что все, что она делает, нужно и должно для нее.

Общая вера в Герцогиню связала их до гроба, быть может и после гроба, если Христос позволил им жить еще и остаться теми же.

Как смотрит Христос на Герцогиню? Она молилась себе в лицах Дианы, Минервы и Венеры. Она не знала Его, не понимала (не любила, значит — не понимала), не искала.

---

* «Вселенная равна своему огромному аппетиту» *(фр.)*.

Что ей делать в Раю? За что ей Ад? Она — грешница перед чеховскими людьми, перед ⟨*неразб*⟩, земскими врачами, — и святая перед собой и всеми, ее любящими.

Неужели Вы дочитали до сих пор?

Если бы кто-нибудь так много говорил мне о любимом им и нелюбимом мной писателе, я бы... нарочно прочла его, чтобы так же длинно разбить по всем пунктам.

Один мой знакомый семинарист (Вы чуть-чуть знаете его) шлет Вам привет и просит Вас извинить его неумение вести себя по-взрослому во время разговора[9]. Он не привык говорить с людьми, он слишком долго надеялся совсем не говорить с ними, он слишком дерзко смеялся над Реальностью.

Теперь Реальность смеется над ним! Его раздражают вечный шум за дверью, звуки шагов, невозможность видеть сердце собеседника, собственное раздражение — и собственное сердце.

Простите бедному семинаристу!

Марина Цветаева.

6

Какая бесконечная прелесть в словах:

«Помяни... того, кто, уходя, унес свой черный посох и оставил тебе эти золотистые листья»[1]. Разве не вся мудрость в этом: уносить черное и оставлять золотое?

И никто этого не понимает, и все, знающие, забывают это! Ведь вся горечь в остающемся черном посохе!

Не надо забвения, надо золотое воспоминание, золотые листья, к⟨отор⟩ые можно, разжав руку, развеять по ветру!

Но их не развеешь, их будешь хранить: в них будешь лелеять тоску о страннике с черным посохом. А черный посох, оставленный им, нельзя развеять по ветру, его сожжешь, и останется пепел — горечь, смерть!

Может быть, Ренье и не думал об этих словах, не подозревал всю их бездонную глубину, — не все ли равно!

Я очень благодарна Вам за эти стихи.

Марина Цветаева.

Москва, 7-го января 1911 г.

7

Благодарю Вас за книги, картину, Ваши терпеливые ответы и жалею, что Вы так скоро ушли.

Благодарю еще за кусочек мирты, — буду жечь его, несмотря на упрямство спички: у меня внизу затопят печку.

Сейчас Вы идете по морозной улице, видите людей и совсем другой. А я еще в прошлом мгновении.

Может быть и прав Вячеслав Иванов?[1]

Привет и благодарность. *Марина Цветаева.*

Москва, 10-го января 1911 г.

8

Москва, 28-го января 1911 г.

Благодарю Вас, Максимилиан Александрович, за письмо и книги.

Приходите. *Марина Цветаева.*

9

Многоуважаемый Максимилиан Александрович,

Только что получила от Л⟨идии⟩ А⟨лександровны⟩[1] извещение, что она больна. Мне очень неловко перед Вами. Она просила Вас извинить ее.

Привет. *Марина Цветаева.*

Москва, 21-го марта 1911 г.

10

Москва, 23-го марта 1911 г.

Многоуважаемый Максимилиан Александрович,

Вчера кончила Consuelo и Comtesse de Rudolstadt, — какая прелесть! Сейчас читаю Jacques[1].

Приходите: есть новости!

Завтра уезжаю за город, вернусь в пятницу.

Дракконочка все хворает, она шлет Вам свой привет[2].

У нас теперь телефон (181—08), позвоните, если Вам хочется прийти, и вызовите Асю[3] или меня.

Лучше всего звонить от 3—4.

Всего лучшего.

За чудную Consuelo я готова простить Вам гнусного M. de Bréot[4].

Привет Вам и Елене Оттобальдовне[5].

Марина Цветаева.

P. S. Можно ли утешаться фразой Бальмонта: «Дороги жизни богаты»?[6]

Можно ли верить ей?

Должно ли?

11

Многоуважаемый Максимилиан Александрович,

Я очень виновата перед Вами за телефон. Третьего дня и вчера я была дома от 3 до 4, сегодня — не могла. Почему Вы не вызвали Асю? Это она с Вами говорила.

Напишите мне, пожалуйста, когда придете. В пятницу или субботу я уезжаю надолго[1].

Приходите, если хотите и можете, завтра или в среду или в четверг, — только сообщите заранее, когда? Вызовите...

Впрочем лучше напишите.

Если же Вы эти вечера и сумерки заняты, мне остается только пожелать Вам доброй весны.

Привет.

Марина Цветаева.

Москва, 28-го марта 1911 г.

12

Многоуважаемый Максимилиан Александрович,

Посылаю Вам Ваши книги.

Travailleur de la mer* и Dumas куплю завтра же, как обещала[1]. Исполнится ли Ваше предсказание насчет благословения Вас за эти книги в течение целой жизни — не знаю.

Это можно будет проверить на моем смертном одре.

Поклон Елене Оттобальдовне, руку подкинутым младенцем — Вам[2].

До свидания (с граммофоном) в Коктебеле[3].

Марина Цветаева.

Москва, 1-го апреля 1911 г.

13

Гурзуф, 6-го апреля 1911 г.

Многоуважаемый Максимилиан Александрович,

Я смотрю на море — издалека и вблизи, опускаю в него руки — но все оно не мое, я не его. Раствориться и слиться нельзя. Сделаться волной?

Но не буду ли я любить его тогда?

Оставаться человеком (или «получеловеком», все равно!) — вечно тосковать, вечно стоять на рубеже. Должно, должно же существовать более тесное ineinander**. Но я его не знаю!

Цветет абрикосовое дерево, море синее, со мной книги...

Читаю сейчас Jean Paul'a «Flegeljahre»***[1] — бесконечно очаровательную, грустно-насмешливую, неподдельно романтическую книгу.

---

* Труженики моря *(фр.)*.
** Здесь: слияние *(нем.)*.
*** Жан Поль. «Озорные годы» *(нем.)*.

Наша дача — «моя» звучит слишком самоуверенно — над самым морем, к которому ведет бесчисленное множество лестниц без перил и почти без ступенек. Высота головокружительная. Приходится все время подбадривать себя строчкой из Бальмонта, заменяя слово «солнце» словом «море»:

«Я видела море, сказала она,
Что дальше — не все ли равно?!»[2]

Пусть это эстетство, мне оно дороже и ближе чужого опрощения!

Здесь еще довольно холодно. Сейчас лежала на скале и читала милые Flegeljahre. Эта скала называется крепостью, с нее чудный вид на море и Гурзуф[3].

В надписях на скалах есть что-то или очень пошлое, или очень трогательное — я еще не решила. Когда решу, буду или очень нападать на них, или очень защищать. Если бы только они были немного поумнее!

Я очень сильно загорела — все время сижу без шапки.

Мечтаю о купанье, но оно начинается только в мае. Может быть, это и есть самое тесное сближение с морем? Предпоследнее, конечно! Непременно напишите, что Вы об этом знаете.

Общество, выражаясь скромно, не совсем то: господин с дамой (бывают «дама с господином», но здесь наоборот), дама с колясочкой, два неопределенных субъекта — смесь с〈оциал〉-д〈емократа〉 с неучем — и все. Есть еще несколько маленьких детей, но до того грязных, что вся моя нежность от этого пропадает.

Господин (с дамой) уже старался познакомиться. Рассказывает о дружбе с одним виноделом, который его угощает, о погоде, о тоске одиноких прогулок — даму он не считает, — о своих занятиях по торговой части… Я улыбалась, говорила: «Да, да... Неужели? Серьезно?» Потом перестала улыбаться, перестала вскоре отвечать: «Неужели?» — а в конце концов сбежала.

Мне кажется, он не только никогда ничего не читал, но и вообще этого не умеет.

Дама (с колясочкой) занята только ею. Это, конечно, очень мило, но несколько однообразно. Есть еще одно маленькое женское существо, скучающее о муже и рассказывающее мне вот уже пять дней (от Москвы до Гурзуфа) свои радости и печали. Я улыбаюсь, говорю: «Да, да… Неужели? Серьезно?» — и, кажется, вскоре перестану улыбаться. Но восторг мой еще не прошел, не думайте!

Всего лучшего, иду гулять.

МЦ.

Адр⟨ес⟩: Гурзуф, Генуэзская крепость, дача Соловьевой, мне.

P. S. Не были ли Вы в Мусагете и у Крахта?[4] Что нового? Видели ли Драконну?

14

Гурзуф, 18-го апреля 1911 г.

Многоуважаемый Максимилиан Александрович,

Пишу Вам под музыку, — мое письмо, наверное, будет грустным. Я думаю о книгах.

Как я теперь понимаю «глупых взрослых», не дающих читать детям своих взрослых книг! Еще так недавно я возмущалась их самомнением: «дети не могут понять», «детям это рано», «вырастут — сами узнают».

Дети — не поймут? Дети слишком понимают! Семи лет Мцыри и Евгений Онегин гораздо верней и глубже понимаются, чем двадцати. Не в этом дело, не в недостаточном понимании, а в слишком глубоком, слишком чутком, болезненно-верном!

Каждая книга — кража у собственной жизни. Чем больше читаешь, тем меньше умеешь и хочешь жить сам.

Ведь это ужасно! Книги — гибель. Много читавший не может быть счастлив. Ведь счастье всегда бессознательно, счастье только бессознательность.

Читать все равно, что изучать медицину и до точности знать причину каждого вздоха, каждой улыбки, это звучит сентиментально — каждой слезы.

Доктор не может понять стихотворения! Или он будет плохим доктором, или он будет неискренним человеком. Естественное объяснение всего сверхъестественного должно напрашиваться ему само собой. Я сейчас чувствую себя таким доктором. Я смотрю на огни в горах и вспоминаю о керосине, я вижу грустное лицо и думаю о причине — естественной — его грусти, т. е. утомлении, голоде, дурной погоде; я слушаю музыку и вижу безразличные руки исполняющих ее, такую печальную и нездешнюю... И во всем так!

Виноваты книги и еще мое глубокое недоверие к настоящей, реальной жизни. Книга и жизнь, стихотворение и то, что его вызвало, — какие несоизмеримые величины! И я так заражена этим недоверием, что вижу — начинаю видеть — одну материальную, естественную сторону всего. Ведь это прямая дорога к скептицизму, ненавистному мне, моему врагу!

Мне говорят о самозабвении. «Из цепи вынуто звено, нет вчера, нет завтра!».

Блажен, кто забывается!

Я забываюсь только одна, только в книге, над книгой!

Но как только человек начинает мне говорить о самозабвении, я чувствую к нему такое глубокое недоверие, я начинаю подозревать в нем такую гадость, что отшатываюсь от него в то же мгновение. И не только это! Я могу смотреть на облачко и вспомнить такое же облачко над Женевским озером и улыбнусь[1]. Человек рядом со мной тоже улыбнется. Сейчас фраза о самозабвении, о мгновении, о «ни завтра, ни вчера».

Хорошо самозабвение! Он на Генуэзской крепости, я у Женевского озера 11-ти лет, оба улыбаемся, – какое глубокое понимание, какое проникновение в чужую душу, какое слияние!

И это в лучшем случае.

То же самое, что с морем: одиночество, одиночество, одиночество.

Книги мне дали больше, чем люди. Воспоминание о человеке всегда бледнеет перед воспоминанием о книге, – я не говорю о детских воспоминаниях, нет, только о взрослых!

Я мысленно все пережила, все взяла. Мое воображение всегда бежит вперед. Я раскрываю еще нераспустившиеся цветы, я грубо касаюсь самого нежного и делаю это невольно, не могу не делать! Значит я не могу быть счастливой? Искусственно «забываться» я не хочу. У меня отвращение к таким экспериментам. Естественно – не могу из-за слишком острого взгляда вперед или назад. Остается ощущение полного одиночества, к⟨оторо⟩му нет лечения. Тело другого человека – стена, она мешает видеть его душу. О, как я ненавижу эту стену!

И рая я не хочу, где все блаженно и воздушно, – я так люблю лица, жесты, быт! И жизни я не хочу, где все так ясно, просто и грубо-грубо! Мои глаза и руки как бы невольно срывают покровы – такие блестящие! – со всего.

Что позолочено – сотрется,
Свиная кожа остается![2]

Хорош стих?

Жизнь – бабочка без пыли.

Мечта – пыль без бабочки.

Что же бабочка с пылью?

Ах, я не знаю.

Должно быть что-то иное, какая-то воплощенная мечта или жизнь, сделавшаяся мечтою. Но если это и существует, то не здесь, не на земле!

Все, что я сказала Вам, – правда. Я мучаюсь, и не нахожу себе места: со скалы к морю, с берега в комнату, из комнаты в магазин, из магазина в парк, из парка снова на Генуэзскую крепость – так целый день.

Но чуть заиграет музыка,—Вы думаете—моя первая мысль о скучных лицах и тяжелых руках исполнителей?

Нет, первая мысль, даже не мысль—отплытие куда-то, растворение в чем-то...

А вторая мысль о музыкантах.

Так я живу.

То, что Вы пишите о море, меня обрадовало. Значит, мы—морские?[3]

У меня есть об этом даже стихи,—как хорошо совпало![4]

Курю больше, чем когда-либо, лежу на солнышке, загораю не по дням, а по часам, без конца читаю,—милые книги! Кончила «Joseph Balsamo»—какая волшебная книга! Больше всех я полюбила Lorenz'y, жившую двумя такими различными жизнями. Balsamo сам такой благородный и трогательный[5]. Благодарю Вас за эту книгу. Сейчас читаю M-me de Tencin, ее биографию[6].

Думаю остаться здесь до 5-го мая. Все, что я написала, для меня очень серьезно. Только не будьте мудрецом, отвечая,—если ответите! Мудрость ведь тоже из книг, а мне нужно человеческого, не книжного ответа.

Au revoir, Monsieur mon pére spiritu⟨e⟩*.

Граммофона, м. б., не будет.

МЦ.

15

Феодосия, 8-го июня 1911 г.

Дорогой Макс,

Ты такой трогательный, такой хороший, такой медведюшка, что я никогда не буду ничьей приемной дочерью, кроме твоей.

В последний вечер у тебя была тоска, а я думала, что ты просто злишься,—теперь я раскаиваюсь в своей резкости. Нужно было подойти к тебе, погладить тебя по лохматой гриве и сказать: «Ма-акс! Ма-акс!» или: «Кис-кис, кис-кис!», тогда ты сразу сделался бы хорошим, настоящим, тем, кто на все случаи жизни знает только одно утешение—«Баю бай бай, медведевы детки»...

Ты не должен меня забывать, я тебя так хорошо понимаю, особенно... в случае с Верочкой. Но и в другие тоже! Это лето было лучшим из всех моих взрослых лет, и им я обязана тебе.

Прими мою благодарность, мое раскаянье и мою ничем не... заменимую нежность.

МЦ.

* До свидания, мой духовный отец! *(фр.)*

⟨*Рукой С. Эфрона:*⟩
Ма-акс!
Привет и поцелуй от твоего дорогого Сережи.
P. S. Ха-ароший он был!!! Будь здоров. Твой до гроба

Сергей Эфрон.

Потапенка[1] тебя целует.

16

Самара, 15-го июля 1911 г.

Милый Макс,

Эта открытка напоминает мне тебя и Theophile Gautier[1]. Желаю тебе чувствовать себя так же хорошо, как я.

МЦ.

⟨*Рукой С. Эфрона:*⟩

Милый Макс!

Мы с Мариной часто вспоминаем твой Коктебель.

Целую Сережа.

Кланяйся от нас Елене Оттобальдовне. Мы ей скоро напишем.

17

Усень-Ивановский завод[1].
26-го июля 1911 г.

Дорогой Макс,

Если бы ты знал, как я хорошо к тебе отношусь!

Ты такой удивительно-милый, ласковый, осторожный, внимательный. Я так любовалась тобой на вечере в Старом Крыму[2], — твоим участием к Олимпиаде Никитичне[3], — твоей вечной готовностью помогать людям.

Не принимай все это за комплименты, — я вовсе не считаю тебя какой-нибудь ходячей добродетелью из общества взаимопомощи, — ты просто Макс, чудный, сказочный Медведюшка. Я тебе страшно благодарна за Коктебель, — pays de redemption*, как называет его Аделаида Казимировна[4], и вообще за все, что ты мне дал. Чем я тебе отплачу? Знай одно, Максинька: если тебе когда-нибудь понадобится соучастник в какой-нибудь мистификации[5], позови меня... Если она мне понравится, я соглашусь. Надеюсь, что другого конца ты не ожидал?

Я опять принялась за Jean Paul'a[6] — у него чудные изречения, напр⟨имер⟩: Так же нелепо судить мужчину по его знакомым, как женщину по ее мужу.

* Страна искупления *(фр.)*.

Нравится? Но не это в нем главное, а удивительная смесь иронии и сентиментальности. К тому же он ежеминутно насмехается над читателем, вроде Th. Gautier.

Что ты сейчас читаешь? Напиши мне по-настоящему или совсем не пиши.

Последнее мне напоминает один случай из нашего детства. «Он был синеглазый и рыжий», т. е. один чудный маленький мальчик в Nervi долго выбирал между Асей и мной и в конце концов выбрал меня, потому что мы тогда уехали. В Лозанне мы с ним переписывались обе, и однажды Ася получает от него такое письмо: «Пиши крупнее или совсем не пиши»[7].

Загадываю сейчас на тебя по «Джулио Мости» — драматической фантазии в 4-х дейст⟨виях⟩ с интермедией, в стихах. Сочинение Н. К., 1836 г.[8]

1. *Твое настоящее:*

Чем оправдаешь честного Веррино?

2. *Твое будущее:*

Я у него была: он предлагал
Какую-то свободную женитьбу.

Не моя вина, что выходят глупости!
Загадываю Лиле[9].

1. *Ее настоящее:*

И отпусти ей грех, когда возможно,
И просвети ее заблудший разум,
Но не карай несчастную!

2. *Ее будущее:*

И может быть, вдвоем гораздо больше
Найдешь источников богатства.

1. *Верино настоящее*[10]*:*

Готова ль ты свое оставить место
И домом управлять?

2. *Верино будущее:*

Что за история! Совсем одета
Так рано! Не спала, — постель в порядке...

Максинька, об одном тебя прошу: никого из людей не вталкивай в окно сестрам, как — помнишь? — втолкнул меня. Мне это будет страшно обидно. М. б. ты на меня за что-нибудь сердишься и тебе странно будет читать это письмо, — тогда читай все наоборот.

МЦ.

Адр⟨ес⟩: Усень-Ивановский завод, Уфимской губ⟨ернии⟩, Белебеевского уезда, Волостное правление, мне.

P. S. Пиши скорей, почта приходит только два раза в неделю и письма идут очень долго.

Скажи Елене Оттобальдовне, что я очень, очень ее люблю, Сережа тоже.

18

Усень-Ивановский завод,
11-го августа 1911 г.

Милый Максинька,

Одновременно с твоим ля́сым письмом, я получила 2 удивительно дерзких открытки от Павлова[1], друга Топольского[2].

Мое молчание на его 2-ое письмо он называет «неблаговидным поступком», жалеет, что счел меня за «вполне интеллигентного» человека и радуется, что не прислал своих «произведений».

Я думаю отправить ему в полк открытку такого содержания:

«Милостивый Государь, так как Вы, очевидно, иного далекого общества, кроме лошадиного, не знаете, то советую Вам и впредь оставаться в границах оного.

На слова, вроде «неблаговидный поступок» принято отвечать не словами, а жестом».

— Как хорошо, что лошадь женского рода!

С удовольствием думаю о нашем появлении в Мусагете[3] втроем и на ты! Ты ведь приведешь туда Сережу?

А то мне очень не хочется просить об этом Эллиса.

Спасибо за письмо, милый Медведюшка.

Меня очень обрадовало твое усиленное рисование, Сережу тоже, — по какой чудной картине ты нам подаришь, с морем, с горами, с полынью! Если ты о них забудешь при встрече в Москве, ты ведь позволишь нам напомнить, — vous refraîcher la mémoire?*

Сережа готовит тебе сюрприз, я ... мечтаю о твоих картинах, — видишь, *как* мы тебя вспоминаем!

Макс, я сейчас загадала на тебя по Jean Paul'у и вот что вышло: «Warum erscheinen uns keine Tierseelen?»**

— Доволен?

Довольно глупостей, буду писать серьезно.

Сперва о костюмах:

У меня с собой только серая юбка, разодранная уже до Коктебеля в 4-ех местах. Я ее каждый день зашиваю, но сегодня на меня упал рукомойник и разодрал весь низ. Мы и его и ее заклеили сургучом.

---

* Освежить вам память *(фр.)*.
** Почему нам не являются души животных? *(нем.)*

— Во-вторых, о Сережином питании: он выпивает по две бутылки сливок в день, но не растолстел.

— В-третьих, о моей постели: она скорей похожа на колыбель, притом на плохую. В середине ее слишком большое углубление, так что ложась в нее, я не вижу комнаты. Кроме того, парусина рвется не по часам, а по минутам. Стоит только шевельнуться, как слышится зловещий треск, после к⟨оторо⟩го я всю ночь лежу на деревяшке.

— В-четвертых, о книгах: я читаю Jean Paul'a, немецкие стихи и Lichtenstein[4]. Представь себе, Макс, что я совсем не изменилась с 12-ти л⟨ет⟩ по отношению к этой книге.

Жду письма с Мишиным дуэлем[5], Спящей Царевной, названием и описанием предназначенных нам картин, всем, что не лень будет описать — или не жалко.

Спасибо за Гайдана, 4 pattes* и затылок[6]. А когда ты в меня мячиком попал, я тебе прощаю.

МЦ.⟨...⟩

19

Усень-Ивановский завод
14-го августа 1911 г.

Милый Макс,

А когда ты мне запустил и попал мячиком в лицо, я тебе прощаю. Мы сейчас шли с Сережей по деревне и представляли себе, как бы ты вышел нам навстречу из-за угла, в своем балахоне, с палкой в руке и начал бы меня бодать. А я бы сказала: — «Ма-акс! Ма-акс! Я не люблю, когда бодаются!» Теперь я ценю тебя целиком, даже твое бодание. Но так как это письмо слишком похоже на объяснение в любви — прекращаю.

МЦ.

⟨...⟩ Это письмо написано до твоего, 10 дней тому назад.

20

Москва $\frac{\textit{22-го сент⟨ября⟩}}{\textit{5-го окт⟨ября⟩}}$ *1911 г.*

Милый Макс,

Спасибо за открытки.

Тебя недавно один человек ругал за то, что ты, с презрением относящийся к газетам, согласился писать в такой жалкой, как

* 4 лапы *(фр.).*

Московская[1]. Я защищала тебя, как могла, но на всякий случай напиши мне лучшие доводы в твою пользу.

Я не люблю, когда тебя ругают.

Эллис недавно уехал за границу. Мы вчетвером поехали его провожать, но не проводили, потому что он уехал поездом раньше. Лиля серьезно больна, долгое время ей запрещали даже сидеть. Теперь ей немного лучше, но нужно еще очень беречься. Из-за этого наш план с Сережей жить вдвоем расстроился. Придется жить втроем, с Лилей, может быть, даже вчетвером, с Верой, к⟨отор⟩ая, кстати, приезжает сегодня с Людвигом[2]. Не знаю, что выйдет из этого совместного житья, ведь Лиля все еще считает Сережу за маленького. Я сама очень смотрю за его здоровьем, но когда будут следить еще Лиля с Верой, согласись — дело становится сложнее. Я бы очень хотела, чтобы Лиля уехала в Париж. Только не пиши ей об этом.

Сережа пока живет у нас. Папа приезжает наверное дней через 5[3]. Ждем все (С⟨ережа⟩, Б⟨орис⟩[4], Ася и я) грандиозной истории из-за не совсем осторожного поведения. Наша квартира в 6-ом этаже, на Сивцевом-Вражке, в только что отстроенном доме. Прекрасные большие комнаты с итальянскими окнами. Все четыре отдельные.

Ну, что еще? Л⟨идия⟩ А⟨лександровна Тамбурер⟩ в отвратительном состоянии здоровья и настроения. Говорит все так же неожиданно. У нас в доме «кавардак» (помнишь?). Почти ничего не читаю и не делаю.

Максинька, узнай мне, пож⟨алуйста⟩, точный адр⟨ес⟩ Rostand и его местопребывание в настоящую минуту! Играет ли Сарра?[5] Если будет время, зайди Rue Bonaparte, 59 bis или 70 к M-me Gary[6] и расскажи ей обо мне и передай привет. Она будет очень рада тебе, а я — благодарна.

Ну, до свидания, пиши мне. Сережа, Борис и Ася шлют привет. Лиля очень сердится, что ты не пишешь.

МЦ.

P. S. Макс, мне 26-го будет 19 л⟨ет⟩, подумай! А Сереже — 18[7].

21

Москва, 1/14-го октября 1911 г.

Дорогой Макс,

Недавно, проходя по Арбату, я увидела открытку с кудрявым мальчиком, очень похожим на твой детский портрет, и вспомнила, как ты чудесно подполз к нам с Сережей, — помнишь, на твоей террасе? Завтра мы переезжаем на новую квартиру — Сережа, Лиля, Вера и я.

У нас с Сережей комнаты vis á vis* — Сережина темно-зеленая, моя малиновая. У меня в комнате будут: большой книжный шкаф с львиными мордами из папиного кабинета, диван, письменный стол, полка с книгами и… лиловый граммофон с деревянной (в чем моя гордость!) трубой[1]. У Сережи — мягкая серая мебель и еще разные вещи. Лиля и Вера устроятся как хотят. Вид из наших окон чудный — вся Москва[2]. Особенно вечером, когда вместо домов одни огни. Дома, где мы сейчас с Сережей, страшный кавардак: Ася переустраивает комнату. Кстати, один эпизод: папа не терпит Борю, и вот когда он ушел, Ася позвала Бориса по телефону. Когда в 1 ч вернулся папа, Борис побоялся, уходя, быть замеченным и остался в детской до 6 ч утра, причем спускался по лестнице и шел по зале в одеяле, чтобы быть похожим на женскую фигуру.

Ася перед тем прокралась вниз и на папин вопрос, что она здесь делает, ответила: «Иду за молоком» (которого, кстати, никогда не пьет). Мы с папой очень мило поговорили вчера о моем отъезде, он на все согласен. Присутствие Лили и Веры (в общем, очень ненужное) послужило нам на пользу.

Драконночка вечно мила и необыкновенна. Как ты верно заметил в ней несоответствие высказываемого с думаемым. Как-то недавно, например, она, утешая одну барышню, говорит ей такую вещь: «Нельзя же, в самом деле, открывать душу и лупить с ней во все лопатки!» Она очень полюбила Сережу: «Да, Се-ре-жа такой трога-тель-ный».

Ася: «А Боря трогательный?»

«Нет, он страш-ный».

Ты, Макс, конечно, больше любишь Бориса, ты отчего-то Сереже за все лето слова не сказал. Мне очень интересно — почему? Если из-за мнения о нем Лили и Веры — ведь они его так же мало знают, как папа меня. Ты, так интересующийся каждым, вдруг пропустил Сережу, — я ничего не понимаю!

26 сентября было Сережино 18-летие и мое 19-летие[3]. Это был последний день дома без папы. Мы сидели вчетвером наверху у Айзы[4] при канделябрах, обжирались конфетами и фруктами и вспоминали нашего незаменимого Медведюшку. Мы праздновали за раз 4 рождения — наши с Сережей, Асино, бывшее 14 сентября, и заодно Борино будущее, в феврале. Как бы ты на Асином месте вел себя с Борисом? Ведь нельзя натягивать вожжи с такими людьми. Как ты думаешь? — Из-за мелочей. — Напиши, если хочешь, об этом твое мнение. Ты ведь знаешь людей!

В Мусагете еще не была и не пойду до 2-го сборника[5]. Милый Макс, мне очень любопытно, что ты о нем скажешь, — неужели

* Напротив *(фр.)*.

стала хуже писать?[6] Впрочем, это глупости. Я задыхаюсь при мысли, что не выскажу всего, всего! Пока до свидания, Максинька, пиши. Ася тебя целует. Сережа тоже. Марина лохматится о твою львиную голову. У меня волосы тоже вьются... на концах.

МЦ.

Мой адр〈ес〉: Москва, Сивцев Вражек, д〈ом〉 Зайченко (или д〈ом〉 № 19) кв〈артира〉 11, мне.

22

Москва, 28-го октября 1911 г.

Дорогой Макс,

У меня большое окно с видом на Кремль. Вечером я ложусь на подоконник и смотрю на огни домов и темные силуэты башен. Наша квартира начала жить. Моя комната темная, тяжелая, нелепая и милая. Большой книжный шкаф, большой письменный стол, большой диван — все увесистое и громоздкое. На полу глобус и никогда не покидающие меня сундук и саквояжи. Я не очень верю в свое долгое пребывание здесь, очень хочется путешествовать! Со многим, что мне раньше казалось слишком трудным, невозможным для меня, я справилась и со многим еще буду справляться! Мне надо быть очень сильной и верить в себя, иначе совсем невозможно жить!

Странно, Макс, почувствовать себя внезапно совсем самостоятельной. Для меня это сюрприз, — мне всегда казалось, что кто-то другой будет устраивать мою жизнь. Теперь же я во всем буду поступать, как в печатании сборника. Пойду и сделаю. Ты меня одобряешь?

Потом я еще думала, что глупо быть счастливой, даже неприлично! Глупо и неприлично так думать, — вот мое сегодня.

Жди через месяц моего сборника, — вчера отдала его в печать[1]. Застанет ли он тебя еще в Париже?

Пра[2] сшила себе новый костюм — синий, бархатный с серебряными пуговицами — и новое серое пальто. (Я вместо кафтан написала костю́м.) На днях она у Юнге познакомилась с Софией Андреевной Толстой. Та, между прочим, говорила: «Не люблю я молодых писателей! Все какие-то неестественные! Напр〈имер〉, X. сравнивает Лев Николаевича с орлом, а меня с наседкой. Разве орел может жениться на наседке? Какие же выйдут дети?»[3].

Пра очень милая, поет и дико кричит во сне, рассказывает за чаем о своем детстве, ходит по гостям и хвастается. Лиля все хворает, целыми днями лежит на кушетке, Вера хо́дит в китайском, лимонно-желтом халате и старается приучить себя

к свободным разговорам на самые свободные темы. Она точно нарочно (и, наверное, нарочно!) употребляет самые невозможные, режущие слова. Ей, наверное, хочется перевоспитать себя, побороть свою сдержанность. — «Раз эти вещи существуют, можно о них говорить!» Это не ее слова, но могут быть ею подуманными. Только ничего этого ей не пиши!

До свидания, Максинька, пиши мне.

МЦ.

23

Москва, 3-го ноября 1911 г.

Дорогой Макс,

В январе я венчаюсь с Сережей, — приезжай[1]. Ты будешь моим шафером. Твое присутствие совершенно необходимо. Слушай мою историю: если бы Дракконочка[2] не сделалась зубным врачом, она бы не познакомилась с одной дамой, которая познакомила ее с папой; я бы не познакомилась с ней, не узнала бы Эллиса, через него не узнала бы Н⟨иленде⟩ра[3], не напечатала бы из-за него сборника, не познакомилась бы из-за сборника с тобой, не приехала бы в Коктебель, не встретилась бы с Сережей, — следовательно, не венчалась бы в январе 1912 г.

Я всем довольна, январь — начало нового года, 1912 г. — год пребывания Наполеона в Москве[4].

После венчания мы, наверное, едем в Испанию. (Папе я пока сказала — в Швейцарию.)[5] На свадьбе будут все папины родственники, самые странные. Необходим целый полк наших личных друзей, чтобы не чувствовать себя нелепо от пожеланий всех этих почтенных старших, которые, потихоньку и вслух негодуя на нас за не оконченные нами гимназии и сумму наших лет — 37, непременно отравят нам и январь, и 1912 год.

Макс, ты должен приехать!

Сборник печатается, выйдет, наверное, через месяц.

Сегодня мы с Асей в Эстетике читаем стихи[6]. Будут: Пра, Лиля, Сережа, Ася и Борис. Я говорила по телефону с Брюсовым (он случайно подошел вместо Жанны Матвеевны[7], просившей меня сообщить ей по телефону ответ), и между прочим такая фраза: «Одна маленькая оговорка, можно?» — «Пожалуйста, пожалуйста!»

Я, робким голосом:

— «Можно мне привести с собой мою сестру? Я никогда не читаю без нее стихов».

— «Конечно, конечно, будем очень счастливы».

Посмотрим, как они будут счастливы!

Я очень счастлива – мы будем совершенно свободны, – никаких попечителей, ничего.

Разговор с папой кончился мирно, несмотря на очень бурное начало. Бурное – с его стороны, я вела себя очень хорошо и спокойно. – «Я знаю, что (Вам) в наше время принято никого не слушаться»... (В наше время! Бедный папа!)... «Ты даже со мной не посоветовалась. Пришла и – «выхожу замуж!».

– «Но, папа, как же я могла с тобой советоваться? Ты бы непременно стал мне отсоветовать».

Он сначала: «На свадьбе твоей я, конечно, не буду. Нет, нет, нет».

А после: «Ну, а когда же вы думаете венчаться?»

Разговор в духе всех веков!

Тебе нравится моя новая фамилия?

Мои волосы отросли и вьются. Цвет русо-рыжеватый.

Над моей постелью все твои картинки. Одну из них, – помнишь, господин с девочкой на скамейке? – я назвала «Бальмонт и Ниника»[8]. Милый Бальмонт с его «Vache»*[9] и чайными розами!

Пока до свидания, Максинька, пиши мне.

Только не о «серьезности такого шага, юности, неопытности» и т. д.

МЦ.

24

Ваше письмо – большая ошибка[1].

Есть области, где шутка неуместна, и вещи, о к⟨отор⟩ых нужно говорить с уважением или совсем молчать за отсутствием этого чувства вообще.

В Вашем издевательстве виновата, конечно, я, допустившая слишком короткое обращение.

Спасибо за урок!

Марина Цветаева.

Москва, 19-го ноября 1911 г.

25

Москва, 3-го декабря 1911 г.

Дорогой Макс,

Вот Сережа и Марина, люби их вместе или по отдельности, только непременно люби и непременно обоих[1]. Твоя книга – прекрасная, большое спасибо и усиленное глажение по лохматой

* «Корова» *(фр.)*.

медвежьей голове за нее[2]. Макс, я уверена, что ты не полюбишь моего 2-го сборника. Ты говоришь, он должен быть лучше 1-го или он будет плох. «En poésie, comme en amour, rester á la même place — c'est reculer?»* Это прекрасные слова, способные воодушевить меня, но не изменить! Сегодня вечером с 9-тичасовым поездом уезжают за границу Ася и Лиля. С 10-тичасовым едет факир[3]. Увидишь их всех в Париже. Я страшно горячо живу.

Не знаю, увидимся ли в Париже, мы там будем в январе, числа 25-го. Пока до свидания. Скоро мы с Сережей едем к Тио[4], в Тарусу, потом в Петербург. Его старшая сестра очень враждебно ко мне относится[5].

МЦ.

26

Петербург, 10-го января 1912 г.

Милый Макс,

Сейчас я у Сережиных родственников в П⟨етер⟩бурге[1]. Я не могу любить чужого, вернее, чуждого. Я ужасно нетерпима.

Нютя[2] — очень добрая, но ужасно много говорит о культуре и наслаждении быть студентом для Сережи.

Наслаждаться — университетом, когда есть Италия, Испания, море, весна, золотые поля...

Ее интересует общество адвокатов, людей одной профессии. Я не понимаю этого очарования! И не принимаю!

Мир очень велик, жизнь безумно коротка, зачем приучаться к чуждому, к чему попытки полюбить его?

О, я знаю, что никогда не *научусь* любить что бы то ни было, просто, потому что слишком многое люблю непосредственно!

Уютная квартира, муж-адвокат, жена — жена адвоката, интересующаяся «новинками литературы»...

О, как это скучно, скучно!

Дело с венчанием затягивается, — Нютя с мужем выдумывают все новые и новые комбинации экзаменов для Сережи. Они совсем его замучили. Я крепко держусь за наше заграничное путешествие.

— «Это решено».

Волшебная фраза!

За к⟨отор⟩ой обыкновенно следуют многозначительные замечания, вроде: «Да, м. б. на это у Вас есть какие-нибудь *особенные* причины?».

---

* «В поэзии, как и в любви, остаться на одном и том же месте — значит отступать?» *(фр.)*

Я, право, считаю себя слишком достойной всей красоты мира, чтобы терпеливо и терпимо выносить каждую участь!

Тебе, Макс, наверное, довольно безразлично все, что я тебе сейчас рассказываю. Пишу все это наугад.

Пра очень трогательная, очень нас всех любит и чувствует себя среди нас, как среди очень родных. Вера очень устает, все свободное время лежит на диване. Недавно она перестала заниматься у Рабенек, м. б. Рабенек с ее группой[3], в точности не знаю.

Пока до свидания, пиши в Москву, по прежнему адр⟨есу⟩. Стихи скоро начнут печататься, последняя корректура ждет меня в Москве[4].

МЦ.

P. S. Венчание наше будет за границей[5].

27

Феодосия, 27-го декабря 1913 г.

Милый Макс,

Спасибо за письмо и книжечку Эренбурга[1]. О Сережиной болезни: присутствие туберкулеза на вырезанном отростке дало нам повод предположить его вообще в кишечнике. — Вот все данные, — 20-го С⟨ережа⟩ уехал в Москву. Сегодня получила от него письмо: Лиля в Петербурге, все остальные в Москве, кроме Аси Жуковской[2]. Завтра, или послезавтра С⟨ережа⟩ приезжает, 30-го мы с Асей говорим стихи на каком-то вечере «pour les noyes»*[3] (как я объяснила Blennard'y)[4]. А 31-го думаем приехать к тебе встречать Новый год, если только С⟨ережа⟩ не слишком устанет с дороги. П⟨етр⟩ Н⟨иколаевич⟩[5] уехал куда-то на три дня. Макс, напиши мне, пожалуйста, адр⟨ес⟩ Эренбурга, — надо поблагодарить его за книгу.

Всего лучшего, — не уезжаешь ли ты куда-нибудь на Новый год?

МЭ.[6]

28

Москва, 7-го августа 1917 г.

Дорогой Макс,

У меня к тебе *огромная* просьба: устрой Сережу в артиллерию, на юг. (Через генерала Маркса?[1])

---

* «Для утонувших» *(фр.)*.

Лучше всего в крепостную артиллерию, если это невозможно — в тяжелую. (Сначала говори о крепостной. Лучше всего бы — в Севастополь.)

Сейчас Сережа в Москве, в 56 пехотном запасном полку[2].

Лицо, к которому ты обратишься, само укажет тебе на форму перехода.

Только, Макс, умоляю тебя — не откладывай.

Пишу с согласия Сережи.

Жду ответа.

Целую тебя и Пра.

МЭ.

(Поварская, Борисоглебский пер⟨еулок⟩, д⟨ом⟩ 6, кв⟨артира⟩ 3.)

29

Москва, 9-го августа 1917 г., среда.

Милый Макс,

Оказывается — надо сделать поправку. Сережа говорит, что в крепостной артиллерии слишком безопасно, что он хочет в тяжелую*.

Если ты еще ничего не предпринимал, говори — в тяжелую, если дело уже сделано и неловко менять — оставь так, как есть. Значит, судьба.

Сереже очень хочется в Феодосию, он говорит, что там есть тяжелая артиллерия.

Милый Макс, если можно — не откладывай, я в постоянном страхе за Сережину судьбу. — И во всяком случае тяжелая артиллерия где бы то ни было лучше пехоты.

Скажи Пра, что я только что получила ее письмо, что завтра же ей отвечу, поблагодари ее.

Сегодня у меня очень занятой день, всё мелочи жизни. В Москве безумно трудно жить, как я бы хотела перебраться в Феодосию! — Устрой, Макс, Сережу, прошу тебя, как могу.

Целую тебя и Пра.

Недавно Сережа познакомился с Маргаритой Васильевной[1], а я — с Эренбургом. Вспомнила твой рассказ об épilatoire** — и потому — не доверяла. У нас с ним сразу был скандал, у него отвратительный тон сибиллы. Потом это уладилось[2].

Сереже Маргарита Васильевна очень понравилась, мне увидеться с ней пока не довелось.

МЭ.

---

* Я о крепостной написала тебе с чужих слов, не знала разницы *(примеч. М. Цветаевой)*.

** Удаляющий волосы *(фр.)*.

— Макс! Ты может быть думаешь, что я дура, сама не знаю, чего хочу, — я просто не знала разницы, теперь я уже ничего менять не буду. Но если дело начато — оставь, как есть. Полагаюсь на судьбу.

Сережа сам бы тебе написал, но он с утра до вечера на Ходынке, учит солдат, или дежурит в Кремле. Так устает, что даже говорить не может.

〈*Рукой С. Эфрона*〉

Милый Макс, ужасно хочу, если не Коктебель, то хоть в окрестности Феодосии. Прошу об артиллерии (легкая ли, тяжелая ли — безразлично), потому что пехота не по моим силам. Уже сейчас — сравнительно в хороших условиях — от одного обучения солдат — устаю до тошноты и головокружения. По моим сведениям — в окрестностях Феодосии артиллерия должна быть. А если в окрестностях Феодосии нельзя, то куда-нибудь в Крым — ближе к Муратову или Богаевскому[3].

— Жизнь у меня сейчас странная и не без некоторой приятности: никаких мыслей, никаких чувств, кроме чувства усталости — опростился и оздоровился. Целыми днями обучаю солдат — маршам, военным артикулам и пр. В данную минуту тоже тороплюсь на Ходынку.

Буду ждать твоего ответа, чтобы в случае неудачи предпринять что-либо иное. Но все иное менее желательно — хочу в Феодосию![4]

Целую тебя и Пра.

Сережа.

Пра напишу отдельно.

30

Москва, 24-го августа 1917 г.

Дорогой Макс,

Я еду с детьми[1] в Феодосию. В Москве голод и — скоро — холод, все уговаривают ехать. Значит, скоро увидимся.

Милый Макс, спасибо за письмо и стихи. У меня как раз был Бальмонт, вместе читали[2].

Макс, необходимо употребить твой последний ход[3], п. ч. в Москве переход из одной части в другую воспрещен. Но с твоим ходом это *вполне* возможно. Причина: здоровье. Сережа — блестящее подтверждение.

Макс, поцелуй за меня Пра, скоро увидимся. Пишу Асе, чтоб искала мне квартиру[4]. Недели через 2 буду в Феодосии.

МЭ.

31

Москва, 25-го августа 1917 г.

Дорогой Макс,

Убеди Сережу взять отпуск и поехать в Коктебель. Он этим бредит, но сейчас у него какое-то расслабление воли, никак не может решиться. Чувствует он себя отвратительно, в Москве сыро, промозгло, голодно. Отпуск ему, конечно, дадут. Напиши ему, Максинька! Тогда и я поеду, — в Феодосию, с детьми. А то я боюсь оставлять его здесь в таком сомнительном состоянии.

Я страшно устала, дошла до того, что пишу открытки. Просыпаюсь с душевной тошнотой, день как гора. Целую тебя и Пра. Напиши Сереже, а то — боюсь — поезда встанут.

МЭ.

32

Москва 21-го ноября / 4-го дек⟨абря⟩ 1920 г.

Дорогой Макс!

Послала тебе телеграмму (через Луначарско⟨го⟩)[1] и письмо (оказией). И еще писала раньше через грузинских поэтов — до занятия Крыма.

Дорогой Макс, умоляю тебя, дай мне знать, — места себе не нахожу, — каждый стук в дверь повергает меня в ледяной ужас, — ради Бога!!![2]

Не пишу, потому что не знаю, где и как и можно ли.

Передай это письмо Асе. Недавно ко мне зашел Е. Л. Ланн[3] (приехал из Харькова), много рассказывал о вас всех. Еще — устно — знаю от Э⟨ренбур⟩га[4]. Не трогаюсь в путь, потому что не знаю, что меня ждет. Жду вестей.

Поцелуй за меня дорогую Пра, как я счастлива, что она жива и здорова! Скажи ей, что я ее люблю и вечно вспоминаю. Всех вас люб⟨лю⟩, дорогой Максинька, а Пра больше всех. Аля ей — с последней оказией — написала большое письмо[5].

Я много пишу. Последняя вещь — большая — Царь-Девица[6]. В Москве азартная жизнь, всяческие страсти. Гощу повсюду, не связана ни с кем и ни с чем. Луначарский — всем говори! — чудесен. Настоящий рыцарь и человек.

Макс! Заклинаю тебя — с первой возможностью — дай знать, не знаю, какие слова найти.

Очень спешу, пишу в Тео[7] — среди шума и гама — случайно узнала от Э⟨ренбур⟩га, что есть оказия на юг.

Ну, будь здоров, целую всех Вас нежно, люблю, помню и надеюсь.

МЦ.

33

Москва, 14-го русск⟨ого⟩ марта 1921 г.

Дорогой Макс!

Только сегодня получила твое письмо, где ты мне пишешь о Соне. В настоящую минуту она уже должна быть на воле[1], ибо еще вчера (знала раньше из Асиных писем) Б. К. З⟨айц⟩ев был у К⟨аме⟩нева[2], и тот обещал телеграфировать. Речь была также об А⟨делаиде⟩ К⟨азимировне⟩. — Дело верное, Б⟨орис⟩ К⟨онстантинович⟩ поручился.

Обо мне ты уже наверное знаешь от Аси, повторяю вкратце: бешено пишу, это моя жизнь. За эти годы, кроме нескольких книг стихов, пьесы: «Червонный Валет» (из жизни карт), «Метель» (новогодняя харчевня в Богемии, 1830 г. — случайные), «Приключение» (Казанова и Генриэтта), «Фортуна» (Лозэн-младший и все женщины), «Конец Казановы» (Казанова 73 лет и дворня, Казанова 73 л⟨ет⟩ — и знать, Казанова 73 лет — и девочка 13 лет. Последняя ночь Казановы и столетия). — Две поэмы: Царь-Девица — огромная — вся сказочная Русь и вся русская я, «На красном коне» (Всадник, конь *красный* как на иконах) и теперь «Егорушка»[3] — русский Егорий Храбрый, крестьянский сын, моя последняя страсть. — Вся довременная Русь. — Эпопея.

Это моя главная жизнь. О людях — при встрече. Много низости. С⟨ережа⟩ в моей жизни — как сон.

О тех, судьбы которых могут быть тебе дороги: А. Белый за городом, беспомощен, пишет, когда попадает в Москву, не знает с чего начать, вдохновенен, затеял огромную вещь — автобиографию — пока пишет детство[4]. — Изумительно. — Слышала отрывки в Союзе Писателей. — Я познакомила с ним Ланна. Это было как паломничество, в тихий снежный день — куда-то в поля.

Из поэтов, кажется, не считая уехавшего Б⟨альмон⟩та, не служили только мы с ним. (Еще П⟨астер⟩нак.) Есть у нас лавка писателей: Б⟨ердяе⟩в, Ос⟨ор⟩гин, Гр⟨иф⟩цов, Дж⟨ивеле⟩гов[5], — всех дешевле продают, сочувственны, человечны. Сейчас в Москве миллиард поэтов, каждый день новое течение, последнее: ничевоки. Читаю в кафе, из поэтов особенно ни с кем не дружу, любила только Б⟨альмон⟩та и Вячеслава ⟨Иванова⟩,

оба уехали, *эта* Москва для меня осиротела. Ф. С⟨оло⟩губ в П⟨етербур⟩ге не служит, сильно бедствует, гордец. Видела его раз на эстраде— великолепен. Б⟨рю⟩сов—*гад,*—существо продажное (уж и покупать перестали,—должно быть дешево просит!) и жалкое, всюду лезет, все издеваются. У него и Адалис был ребенок, умер.

Сейчас в Москве М⟨андельшта⟩м, ко мне не идет, пишет, говорят, прекрасные стихи. На днях уехал за границу Э⟨ренбур⟩г, мы с ним дружили, он был добр ко мне, хотя в нем мало любви. Прощаю ему все за то, что его никто не любит. Скоро уезжают З⟨ай⟩цевы. Какой она изумительный человек![6] Только сейчас я ее увидела во весь рост.

— Москва пайковая, деловая, бытовая, заборы сняты, грязная, купола в Кремле черные, на них вóроны, все ходят в защитном, на каждом шагу клуб—студия,—театр и танец пожирают всё.—Но—свободно,—можно жить, ничего не зная, если только не замечать бытовых бед.

Я, Макс, уже ничего больше не люблю, ни-че-го, кроме содержания человеческой грудной клетки. О С⟨ереже⟩ думаю всечасно, любила многих, никого не любила.

Нежно целую тебя и Пра. Лиля и Вера в Москве, служат, здоровы, я с ними давно разошлась из-за их нечеловеческого отношения к детям,—дали Ирине умереть с голоду в приюте под предлогом ненависти ко мне[7]. Это—достоверность. Слишком много свидетелей.

Ася Ж⟨уков⟩ская вышла замуж за еврея—доктора[8]. С Ф⟨ельдштей⟩нами[9] не вожусь, были в прошлом году в большой передряге.

Милый Макс, буду бесконечно рада, если напишешь мне через ⟨sic⟩, тогда очень скоро получу письмо.

Передай Пра, что я ее помню и люблю и мечтаю о встрече с ней—Такой второй Пра нету!

М.

— Сейчас в М⟨оскве⟩ Бялик[10].—Еврейский театр «Габима», реж⟨иссер⟩—Станиславский. Играют на древнееврейском.

⟨*Приписки на полях:*⟩

Дружу еще со С⟨тепу⟩ном[11] и В⟨олкон⟩ским. Ст⟨еп⟩ун за городом, пишет роман, В⟨олкон⟩ский бедствует и пишет замечательную книгу: «Воспоминания», другая Д⟨екабрис⟩ты уже готова.

Нежно-нежно поцелуй за меня А⟨делаиду⟩ К⟨азимировну⟩ и Е⟨вгению⟩ К⟨азимировну⟩[12].

Только что узнала, что Вера Э⟨фрон⟩ через месяц ожидает ребенка. Эва с детьми за границей.

Посылаю тебе 10 экз⟨емпляров⟩ Репина[13]—может быть понадобятся?

34

Москва, 7-го р⟨усского⟩ ноября 1921 г.

Мой дорогой Макс!

Оказия в Крым! Сразу всполошилась, бросила все дела, пишу.

Во-первых, долг благодарности и дань восторга — низкий поклон тебе за С⟨ережу⟩[1]. 18-го января 1922 г. (через два месяца) будет четыре года, как я его не видела. И ждала его именно таким. Он похож на мою мысль, поэтому — портрет точен. Это моя главная радость, лучшее, что имею, уеду — увезу, умру — возьму.

Получив твои письма, подняли с Асей бурю[2]. Ася читала и показывала их всем, в итоге дошло до Л⟨уначар⟩ского, пригласил меня в Кремль. С Кремлем я рассталась тогда же, что и с Сережей, часто звали пойти, я надменно отвечала: «Сама поведу». Шла с сердцебиением. Положение было странно, весь случай странен: накануне дочиста потеряла голос, ни звука, — только *и*! (вроде верхнего *си* (si) Патти!). Но не пойти — обидеть, потерять право возмущаться равнодушием, упустить Кремль! — взяла в вожатые В⟨олькен⟩штейна («Калики» — услужливая академическая бездарность)[3].

После тысячи недоразумений: его ложноклассического пафоса перед красноармей⟨цем⟩ в будке (никто не понимал моего шепота: *явления* его!) и пр⟨очего⟩ — зеленый с белым Потешный дворец. Ни души. После долгих звонков — мальчишка в куцавейке, докладывает. Ждем. Большая пустая белая дворянская зала: несколько стульев, рояль, велосипед. Наконец, через секретаря: видеться вовсе не нужно, пусть т⟨овари⟩щ напишет. Бумаги нет, чернил тоже. Пишу на чем-то оберточном, собственным карандашом. Доклад, ввиду краткости, слегка напоминающий декрет: бонапартовский, в Египте. В⟨олькен⟩штейн (муж Сони) через плечо подсказывает. Я злюсь. — «Соню! Соню-то!». Я: — «А ччерт! Мне Макс важней!». — «Но С⟨офья⟩ Я⟨ковлевна⟩ — женщина и моя бывшая жена!»[4]. — «Но Макс тоже женщина и мой настоящий (indicatif présent)* друг!». Пишу про всех, отдельно Судак и отдельно К⟨окте⟩бель. Дорвалась, наконец, до Вас с Пра: «больные, одни в пустом доме»... — и вдруг иронический шип В⟨олькен⟩штейна: «Вы хотите, чтоб их уплотнили? Если так, Вы на верном пути!». Опомнившись, превращаю эти пять слов в тайнопись. Доклад кончен, уже хочу вручить мальчишке и вдруг: улыбаюсь, прежде чем осознаю! Упоительное чувство: «en présence de quelqu'un»**. Ласковые глаза: «Вы о голодающих Крыма? Все сделаю!». Я, вдохновенным шипом: — «Вы очень добры». —

* Указательное настоящее (время) *(фр.)*.
** Чьего-то присутствия *(фр.)*.

«Пишите, пишите, все сделаю!». Я, в упоении: «Вы ангельски добры!». — «Имена, адреса, в чем нуждаются, ничего не забудьте — и будьте спокойны, все будет сделано!». Я, беря его обе руки, самозабвенно: «Вы ц⟨арст⟩венно добры!». Ах, забыла! На мое первое «добры» он с любопытством, верней любознательностью, спросил (осведомился): — «А Вы всегда так говорите?». И мой ответ: «Нет, только сегодня, потому что Вы позвали!». Ласков, как сибирский кот (не сибирский ли?), люблю нежно. Говорила с ним в первый раз. Ася все эти дни вела денежную кампанию, сейчас столько богатых! все торгуют. Кажется, на твою долю выпадает м⟨иллио⟩н, от нас с Асей только сто т⟨ысяч⟩ (сверх м⟨иллио⟩на), я знаю, что это — ничто, это мы, чтоб устыдить наших богатых сотоварищей; нужно действовать самыми грубыми средствами: оглушать, — тогда бумажники раскрываются. Дай Бог, чтоб все дошло и чтоб это вас с Пра немножко вызволило[5].

М. И. К⟨узнецо⟩ва, наконец, устроилась, — в Летучей Мыши[6]. Играет «Женщину-змею»[7] (подходит? у нее ведь змеиные глаза!). С Майей[8] вижусь редко: дружит с Акс⟨еновым⟩ (рыжая борода) и Бобровым[9], с к⟨оторы⟩ми *не* дружу. Меня почему-то боится. А я *вся так* в С⟨ереже⟩, что духу нет подымать отношения. Все, что не необходимо, — лишне. Так я к вещам и к людям. Согласен ли? Я вообще закаменела, состояние ангела и памятника, очень издалека. Единственное мое живое (болевое) место — это С⟨ережа⟩. (Аля — тот же С⟨ережа⟩.) Для других (а *все* — другие!) делаю, что могу, но безучастно. Люблю только 1911 г⟨од⟩ — и сейчас, 1920 г⟨од⟩ (тоску по С⟨ереже⟩ — весть — всю эпопею!). Этих 10-ти лет, как не было, ни одной привязанности. Узнаешь из стихов. Любимейшие послать не решаюсь, их увез к С⟨ереже⟩ — Э⟨ренбур⟩г. Кстати, о Э⟨ренбур⟩ге: он оказался прекрасным другом: добрым, заботливым, *не* словесником! Всей моей радости я обязана ему[10]. Собираюсь. Обещают. Это моя последняя ставка. Если мне еще хочется жить здесь, то из-за С⟨ережи⟩ и Али, я та́к знаю, что буду жить еще и еще. Но С⟨ережу⟩ мне необходимо увидеть, просто войти, чтоб видел, чтоб видела. «Вместо сына», — так я бы это назвала, иначе ничто не понятно.

О М⟨оск⟩ве. Она чудовищна. Жировой нарост, гнойник. На Арбате 54 гастр⟨ономических⟩ магазина: дома извергают продовольствие. Всех гастр⟨ономических⟩ магаз⟨инов⟩ за последние три недели 850. На Тверской гастрономия «L'Estomac»*. Клянусь! Люди такие же, как магазины: дают только за деньги. Общий закон — беспощадность. Никому ни до кого нет дела. Милый Макс, верь, я не из зависти, будь у меня миллионы,

---

* Желудок *(фр.)*.

я бы все же не покупала окороков. Все это слишком пахнет кровью. Голодных много, но они где-то по норам и трущобам, видимость блистательна.

Макс, а вот веселая история: в Тифлисе перед б⟨ольшеви⟩ками были схоронены на кладбище шесть гробов с монпасье. Священники пели, родные плакали. А потом б⟨ольшеви⟩ки отрыли и засадили и священников, и родных. Достоверность.

О литераторах и литературе я тебе уже писала. Та же торговля. А когда не торгующие (хотя и сидящие за прилавком), как Бердяев[11], открывают рот, чтоб произнести слово «Бог», у меня всю внутренность сводит от скуки, не потому, что «Бог», а потому, что мертвый Бог, не растущий, не воинствующий, тот же, что, скажем, в 1903 г⟨оду⟩, – Бог литературных сборищ.

Только что письмо от Э⟨ренбур⟩га: почтой из Берлина. Шло десять дней. Утешает, обнадеживает, С⟨ережа⟩ в Праге, учится, Э⟨ренбур⟩г обещает к нему съездить. Завтра отправляю письмо С⟨ереже⟩, буду писать о тебе. Писала ли я тебе в прошлый раз (письмо с М⟨инд⟩линым) о большой любви С⟨ережи⟩ к тебе и Пра: «Мои наезды в К⟨окте⟩бель были единственной радостью всех этих лет, с Максом и Пра я совсем сроднился». Спасибо тебе, Макс, за С⟨ережу⟩ – за 1911 г⟨од⟩ и 1920 г⟨од⟩!

Какова будет наша следующая встреча?

Думаю, не в России. Хочешь в Париже? На моей Rue Bonaparte?*[12]

Герцыкам посылаю другие стихи, если доведется – прочти. Лучшей моей вещи ты не знаешь, «Царь-Девицы». У меня выходят две книжки: «Версты» (стихи) и «Феникс» (конец Казановы, драматическая сцена)[13]. В случае моего отъезда их перешлет тебе Ася. Ася живет очень трудно, хуже меня! Героична, совсем забыла: *я*. Всем настоящим эти годы во благо!

Поцелуй за меня Пра, прочти ей мое письмо, не пишу ей отдельно[14], потому что нет времени, поздно предупредили. Будь уверен, милый Макс, что неустанно с Асей будем измышлять всякие способы помочь Вам с Пра. Живя словом, презираю *слова*. Дружба – дело.

Обнимаю и целую тебя и Пра.

М.

---

* Улица Бонапарта *(фр.)*.

Волошин (настоящая фамилия Кириенко-Волошин) Максимилиан Александрович (1877—1932)—поэт, критик, художник.

С М. А. Волошиным Цветаева познакомилась и подружилась в конце 1910 г. Их встречи продолжались до 1917 г. включительно, письменное общение—вплоть до 20-х гг.

Подробно об этом см.: ее очерк «Живое о живом» (т. 4); Купченко В. Марина Цветаева. Письма к М. А. Волошину (*ЕРО*. С. 151—157); А. Саакянц. Комментарии (в кн.: *Соч. 84, 2*. С. 468—470).

Письма 1, 5, 6, 10, 14, 17, 20, 22—26, 28, 30—32, 34—впервые в *ЕРО* (публикация В. П. Купченко); письма 13, 18, 21—впервые в журнале «Новый мир». 1977. № 2 (публикация И. В. Кудровой); письмо 33 полностью—*Поэт и время*. С. 92—94 (фрагмент письма печатался ранее в кн.: *А. Саакянц*. С. 278). Эти письма печатаются по тексту первой публикации (с использованием комментариев), письмо 18, опубликованное в «Новом мире» с купюрами, приводится полностью.

1

[1] 11 декабря 1910 г. в газете «Утро России» появилась статья М. Волошина «Женская поэзия», в которой он писал о только что вышедшей первой книге стихов М. Цветаевой «Вечерний альбом» (М., 1910): «Она вся на грани последних дней детства и первой юности. Если же прибавить, что ее автор владеет не только стихом, но и четкой внешностью внутреннего наблюдения, импрессионистической способностью закреплять текущий миг, то это укажет, какую *документальную* важность представляет эта книга, принесенная из тех лет, когда обычно слово еще недостаточно послушно, чтобы верно передать наблюдение и чувство 〈...〉 «Вечерний альбом»—это прекрасная и непосредственная книга, исполненная истинно женским обаянием». Волошин первым отметил талант начинающего поэта. Затем о «Вечернем альбоме» появились отзывы В. Брюсова (Русская мысль. М. 1911. № 2. С. 233), Н. Гумилева (Аполлон. 1911. № 5. С. 78), М. Шагинян (Приазовский край. Ростов-на-Дону. 1911. 3 октября).

[2] Речь идет о стихотворении М. Волошина «К Вам душа так радостно влекома...», написанном 2 декабря 1910 г. под впечатлением полученного накануне от М. Цветаевой и прочитанного им «Вечернего альбома». Впервые было процитировано, видимо, по памяти, М. Цветаевой в очерке «Живое о живом», опубликованном в «Современных записках» (1933. № 52). Полный текст впервые воспроизведен в кн.: Волошин М. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1977. С. 182—183.

[3] Дом Цветаевых в Трехпрудном переулке, № 8.

2

[1] К письму приложено обращенное к М. Волошину стихотворение «Безнадежно-взрослый Вы? О, нет!..», написанное в тот же день (см. т. 1).

4

[1] М. Цветаева повторяет слова из своего стихотворения, которое она послала М. Волошину 27 декабря 1910 г. (см. письмо 2 и комментарий к нему).

5

[1] Книга рассказов Анри де Ренье (1864—1936), высоко ценимого М. Волошиным.

[2] Названия книжных магазинов в Москве по именам их основателей, И. И. Готье и М. О. Вольфа. *Готье* Иван Иванович (1772—1832); *Вольф*—см. комментарий 1 к письму к В. Я. Брюсову.

[3] *Швоб* Марсель (1867—1905)—французский писатель. Какую книгу М. Швоба искала М. Цветаева, неизвестно. Можно только предположить, что это была его книга «Воображаемые биографии» (М., 1909), которой в то время был увлечен М. Волошин.

[4] Имеется в виду роман Генриха Манна (1871—1950) «Учитель Гнус, или Конец одного тирана» (1905).

[5] Роман «Погоня за любовью» (перевод В. М. Фриче) был напечатан в «Полном собрании сочинений» (т. 5) Г. Манна, вышедшем в 1910 г. в издательстве «Современные проблемы».

[6] Имеется в виду трилогия Г. Манна «Богини, или Три романа герцогини Асси» (1903).

[7] Вторая строка из стихотворения Ш. Бодлера «Le voyage» («Плаванье»), в 1940 г. М. Цветаева перевела его на русский (см. т. 2).

Следует отметить, что в многочисленных переводах этого стихотворения, начиная с первого, выполненного П. Якубовичем, вторая строка переводилась вольно. Сравнение первой строфы этого стихотворения в переводах П. Якубовича, Эллиса, В. Комаровского, А. Ламбле, М. Цветаевой приведено в статье А. Саакянц «Марина Цветаева—не Адриан Ламбле» (*ВЛ*. 1986. № 6. С. 194—195). Приведем еще один вариант перевода, принадлежащий Е. Рачинской: «Вся вселенная—словно для игр и забав предназначенный зал...» (Новое русское слово. 1977. 9 октября).

[8] Названия частей трилогии Г. Манна «Богини», героиня которой проходит три стадии увлечения—политической борьбой («Диана»), искусством («Минерва»), любовью («Венера»).

[9] При первой встрече с М. Цветаевой (в то время она была острижена наголо после болезни) М. Волошин сказал: «Вы удивительно похожи на римского семинариста» («Живое о живом», т. 4).

6

[1] Цветаева цитирует стихотворение Анри де Ренье «Нет у меня ничего...» из сборника «Les jeux rustics et divins», 1908 («Игры поселян и богов»—*фр*.). М. Волошин перевел это стихотворение для статьи «Анри де Ренье» (Аполлон. 1910. № 4).

7

[1] Неясно, что именно имеется в виду; возможно, устный отзыв о поэзии Цветаевой, о котором упомянуто в очерке «Пленный дух»: «...он мне сказал, что мои стихи — выжатый лимон».

9

[1] Л. А. Тамбурер.

10

[1] Романы Жорж Санд (1804—1876) «Консуэло», «Графиня Рудольштадт» и «Жак».

[2] *Дракконочка,* Драконночка, Драконна — дружеское прозвище Л. А. Тамбурер.

[3] А. И. Цветаева.

[4] Речь идет о романе Анри де Ренье «Les rencontres de M. de Bréot» («Встречи господина де Брео»). Книга была прислана М. Волошиным. М. Цветаева так вспоминает о ее чтении: «Восемнадцатый век. Приличный господин, но превращающийся временами в фавна. Праздник в его замке. Две дамы — маркизы, конечно, — гуляющие по многолюдному саду и ищущие уединения. Грот. Тут выясняется, что маркизы искали уединения вовсе не для души, а потому, что с утра не переставая пьют лимонад. Стало быть — уединяются. Подымают глаза: у входа в грот, заслоняя солнце и вход, огромный фавн, то есть тот самый Monsieur Bréot. В негодовании захлопываю книгу. Эту — дрянь, эту — мерзость — мне?» Однако возмущение Цветаевой было недолгим: «Макс всегда был под ударом какого-нибудь писателя, с которым уже тогда живым или мертвым, ни на миг не расставался и которого внушал — всем. В данный час его жизни этим живым или мертвым был Анри де Ренье, которого он мне с первой встречи и подарил, как самое дорогое, очередное самое дорогое. Не вышло» («Живое о живом», т. 4). Этому эпизоду посвящено стихотворение М. Цветаевой «После чтения «Les rencontres de M. de Bréot» Regnier» (*ЕРО.* С. 162). См. также т. 1.

[5] Е. О. Кириенко-Волошина. См. письма к ней.

[6] Из книги К. Бальмонта «Горные вершины» (М., 1904).

11

[1] М. Цветаева собиралась в Крым, в Гурзуф. Она уехала в первых числах апреля.

12

[1] Книги В. Гюго (1802—1885) «Труженики моря» и Александра Дюма-отца (1802—1870), по-видимому, «Записки врача. Жозеф Бальзамо». Все пять томов «Жозефа Бальзамо» Дюма Волошин вскоре подарил Цветаевой.

[2] О «руке подкинутым младенцем» М. Цветаева позже вспоминала: «... в одно из наших первых прощаний, Макс — мне:

— М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩, почему вы даете руку так, точно подкидываете мертвого младенца?

Я, с негодованием:

— То есть?

Он спокойно:

— Да, да, именно мертвого младенца — без всякого пожатия, как посторонний предмет. Руку нужно давать открыто, прижимать вплоть, всей ладонью к ладони, в этом и весь смысл рукопожатия, потому что ладонь — жизнь ⟨...⟩

Максу я обязана крепостью и открытостью моего рукопожатия и с ними пришедшему доверию к людям» («Живое о живом»).

[3] После Гурзуфа М. Цветаева намеревалась приехать в Коктебель в дом М. Волошина. О граммофоне см. комментарий 1 к письму 21.

13

[1] *Поль Жан* (настоящие имя и фамилия — Иоганн Пауль Фридрих Рихтер; 1763 — 1825) — немецкий писатель.

[2] Неточная цитата из стихотворения К. Бальмонта «Весной в новолунье, в прозрачной тот час...» (из цикла «С морского дна», 7, 1902). У К. Бальмонта: «Я видела солнце, — сказала она, — //Что после — не все ли равно!»

[3] «Деревня Гурзуф расположена амфитеатром по юго-западному склону горы, впадающей в море, и состоит из татарских домиков и саклей и более или менее устроенных дач. На вершине скалы (на земле Соловьевой, владелицы ⟨имения⟩ Суук-Су) находятся развалины старой генуэзской крепости. Ниже развалин стоит красивая дача Соловьевой...» (Крым. Путеводитель. Под ред. К. Ю. Бумбера и др. Симферополь, 1914. С. 562.)

[4] См. комментарии 1, 2, 4 к письму 2 к Эллису.

14

[1] В 1903 г. сестры Цветаевы недолгое время жили в пансионе Лаказ в Лозанне рядом с Женевским озером.

[2] Цитата из сказки Х. К. Андерсена (1805 — 1875) «Старый дом».

[3] М. Волошин был увлечен гипотезой французского физиолога Рене Кентона (1867 — 1925) о происхождении жизни из морских глубин, о тождестве «между кровью и морской водой». На М. Цветаеву эта теория произвела впечатление: сам Волошин казался ей «настоящим чадом, порождением, исчадием земли ⟨...⟩ с дремучим лесом вместо волос, со всеми морскими и земными солями в крови» (*ЕРО*. С. 166).

[4] Имеется в виду стихотворение М. Цветаевой «Душа и имя». См. т. 1.

[5] Бальзамо (Balsamo) и Лоренца (Lorenz) — герои романа А. Дюма-отца «Записки врача. Жозеф Бальзамо».

[6] *Мадам де Тансен* (1685—1749), сестра лионского архиепископа, прославилась своими любовными интригами. Мать знаменитого впоследствии философа и математика д'Аламбера. В 1726 г. была посажена в Бастилию по обвинению в убийстве одного из своих любовников. Выпущенная оттуда, изменила образ жизни и собрала вокруг себя многих знаменитых литераторов. Главное ее произведение: «Mémoires du comte de Comminges».

15

[1] *Потапенка*—возможно, имеется в виду Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929), писатель, его имя встречается в письмах Волошина.

16

[1] Письмо написано на открытке, где изображены лев и львица в пустыне. *Theophile Gautier* (Теофиль Готье; 1811—1872)—французский писатель. Судя по дошедшим до нас портретам, обладал импозантной внешностью, немного напоминавшей льва.

17

[1] В начале июля М. Цветаева и ее будущий муж С. Я. Эфрон переехали из Коктебеля в Уфимские степи для лечения Сергея Яковлевича кумысом от туберкулеза.

[2] О совместной поездке коктебельцев в Старый Крым рассказывает А. И. Цветаева в своих «Воспоминаниях» (*А. Цветаева.* С. 391—392).

[3] *Сербинова О. Н.* (урожденная Ермакова; 1879—1955)—певица, жительница Старого Крыма.

[4] *Герцык А. К.* О своей дружбе с Герцык Цветаева писала в очерке «Живое о живом»: «...она в моей жизни такое же событие, как Макс, а я в ее жизни событие, может быть, большее, чем я в жизни Макса». Свой второй сборник «Волшебный фонарь» М. Цветаева подарила А. Герцык с такой надписью: «Моей волшебной Аделаиде Казимировне—Марина Цветаева. Москва, 27-го февраля 1912 г.» (Хранится в частном собрании).

[5] Страсти М. Волошина к «мифотворчеству» М. Цветаева посвятила многие страницы в очерке «Живое о живом».

[6] См. письмо 13 и комментарий 1 к нему.

[7] Подробно о пребывании сестер Цветаевых в 1902—1903 гг. в Нерви в Италии см.: *А. Цветаева.* С. 93—129. Там же говорится об их дружбе с Володей Миллером, сыном хозяина «Русского пансиона». М. Цветаева посвятила ему стихотворения «На скалах» («Он был синеглазый и рыжий...») и «Он был синеглазый и рыжий...» («Костюмчик полинялый...»). См. т. 1.

[8] Точное название книги: Джулио Мости. Драматическая фантазия в четырех частях с интермедией в стихах. Сочинения Н. К. (Н. В. Кукольника). Спб., 1836.

[9] *Лиля* — Е. Я. Эфрон.

[10] *Вера* — В. Я. Эфрон.

18

[1] Речь идет о малоизвестном поэте Николае Васильевиче Павлове, коктебельском соседе Волошина. Опубликовал в своем сборнике два стихотворения с эпиграфами из произведений Цветаевой («Распятые тени». Стихотворения. Одесса, 1917. С. 48, 54).

[2] А. Д. Топольскому посвящено стихотворение М. Цветаевой «Белоснежка» («Спит Белоснежка в хрустальном гробу...»). См. т. 1.

[3] О Мусагете см. письмо 2 к Эллису и комментарии 1, 2 к нему.

[4] Роман немецкого писателя В. Гауфа (1802—1827). Одно из самых любимых произведений М. Цветаевой в детстве и юности. Ее детские впечатления от этого романа нашли отражение в раннем стихотворении «Как мы читали «Lichtenstein». См. т. 1.

[5] Речь идет, по-видимому, о какой-то выходке Михаила Лямина, двоюродного брата М. Волошина. Лямин был психически больным, страдал манией преследования.

[6] Похоже, что М. Волошин вложил в письмо к Цветаевой отпечатки лап коктебельской собаки Гайдана и свое шуточное стихотворение «Гайдан». В нем от имени пса рассказывается о дружбе с Цветаевой, взявшей его под свое покровительство. (См.: Фейнберг Л. В Коктебеле, у Максимилиана Волошина. — Дон. 1980. № 7).

20

[1] В начале сентября 1911 г. М. Волошин выехал в Париж в качестве корреспондента ежедневной «Московской газеты». «Разве можно быть сотрудником такой бульварщины?» — спрашивала сына Е. О. Волошина в письме от 19 октября 1911 г. М. Волошин надеялся на заработок в «Московской газете», который позволил бы ему жить в Париже. Однако редакция подолгу задерживала гонорар и вскоре совсем отказалась от собственного парижского корреспондента. «Как только с моих плеч свалилось бремя позора» («Моск〈овская〉 Газ〈ета〉»), так моя жизнь страшно развернулась и удесятерилась», — писал он матери в ноябре 1911 г. (*ЕРО*. С. 170).

[2] *Квятковский* Людвиг Лукич (1894—1977) — художник.

[3] И. В. Цветаев в августе 1911 г. находился по делам музея в Германии, там заболел и вынужден был на месяц лечь в клинику в местечке Штрелен под Дрезденом.

[4] Б. С. Трухачев, за которого вскоре вышла замуж А. И. Цветаева.

[5] Сара Бернар, которой Цветаева очень увлекалась, исполняла главную роль в пьесе Э. Ростана «Орленок». Об отношении М. Цветаевой к Э. Ростану см. письмо к В. Я. Брюсову и комментарии 3 и 4 к нему.

[6] Хозяйка парижской квартиры М. Цветаевой в 1909 г.

[7] М. Цветаева любила повторять, что дата рождения у нее и С. Я. Эфрона в один день—26 сентября (см., например, следующее письмо). На самом деле дата рождения С. Я. Эфрона—29 сентября (на основании метрического свидетельства, хранящегося в частном архиве).

21

[1] А. С. Эфрон, дочь М. Цветаевой, вспоминает этот «граммофон с трубою в виде гигантской повилики: в нем жили голоса цыганок» (*А. Эфрон.* С. 56).

[2] См. предыдущее письмо.

[3] См. комментарий 7 к письму 20.

[4] *Айза*—экономка в доме Цветаевой.

[5] Второй сборник стихов М. Цветаевой «Волшебный фонарь» вышел в свет в феврале 1912 г.

[6] По сравнению с первым сборником вторая книга М. Цветаевой была встречена более сдержанно. Имелись негативные отклики, например Н. Гумилева (Аполлон. 1912. № 5), Б. Лавренева (под псевдонимом «Б. Сергеев», Жатва. 1912), В. Брюсова (Русская мысль. 1912. № 7), В. Ходасевича (альманах «Альциона», кн. 1, 1914) и др.

22

[1] См. комментарий 5 к письму 21.

[2] *Пра*—прозвище матери М. Волошина. М. Цветаева так писала об этом ее имени: «*Пра*—от прабабушки, а прабабушка не от возраста—ей тогда было пятьдесят шесть лет,—а из-за одной грандиозной мистификации, в которой она исполняла роль нашей общей прабабки, Кавалерственной Дамы Кириенко (первая часть их с Максом фамилии) 〈...〉 Но было у слова *Пра* другое происхождение, вовсе не шутливое—Праматерь, Матерь здешних мест, ее орлиным оком открытых и ее трудовыми боками обжитых, Верховод всей нашей молодости, Прародительница Рода—так и не осуществившегося, Праматерь—Матриарх—Пра». См. «Живое о живом», а также комментарии к письмам Е. О. Волошиной.

[3] Об этом есть в письме М. Волошина к матери: «О твоем знакомстве с С. А. Толстой мне писала уже Марина, еще подробнее, чем ты (о курице и орле). Это все очень поучительно» (*ЕРО.* С. 171). *С. А. Толстая* (урожденная Берс; 1844—1919)—вдова Л. Н. Толстого. *Юнге*—с семьей Юнге Цветаева была знакома по Коктебелю. Юнге Екатерина Федоровна (1843—1913)—художник, переводчица; Юнге Александр Эдуардович (1872—1921)—ботаник; Юнге (урожденная Котлярова, в первом браке Деген) Дарья Андреевна (ок. 1885—1955)—жена А. Э. Юнге.

23

[1] Венчание Марины Цветаевой с Сергеем Эфроном состоялось в Москве 27 января 1912 г.

[2] См. комментарий 2 к письму 10.

[3] В канун 1910 г. В. О. Нилендер сделал М. Цветаевой предложение и получил отказ. Ему посвящено несколько стихотворений М. Цветаевой в сборниках «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь».

[4] Об увлечении М. Цветаевой Наполеоном см. также ее письмо 72 к А. А. Тесковой.

[5] Во время свадебного путешествия М. Цветаева и С. Эфрон были во Франции, Германии и Италии.

[6] О чтении стихов М. Цветаевой «в унисон со своей сестрой» в «Обществе свободной эстетики» на вечере 3 ноября писали «Вечерняя газета» (М., 4 ноября 1911 г.) и газета «Раннее утро» (М., 5 ноября 1911 г.).

[7] *Ж. М. Брюсова* (урожденная Рунт; 1876—1965)—жена В. Я. Брюсова, переводчик.

[8] *Ниника*—Н. К. Бальмонт, дочь поэта.

[9] «*Vache*»—оскорбительное прозвище полицейских во Франции. В 1911 г. Бальмонта, находившегося в Париже, судили по ложному обвинению в оскорблении полиции (на самом деле полицейский неправильно расслышал слова Бальмонта, которые тот произнес по-русски своей спутнице).

24

[1] В очерке «Живое о живом» М. Цветаева писала: «В ответ на мое извещение о моей свадьбе с Сережей Эфроном Макс прислал мне из Парижа вместо одобрения или, по крайней мере, ободрения—самые настоящие соболезнования, полагая нас обоих слишком настоящими для такой лживой формы общей жизни, как брак. Я, новообращенная жена, вскипела: либо признавай меня всю, со всем, что я делаю и сделаю (и не то еще сделаю!)—либо...». См. т. 4.

25

[1] Письмо написано на обороте фотокарточки М. Цветаевой и С. Эфрона.

[2] Неизвестно, о какой книге идет речь. До этого времени у М. Волошина вышла только одна книга («Стихотворения». 1900—1910. М.: Гриф, 1910), но ее он наверняка уже подарил М. Цветаевой.

[3] Шуточное прозвище Б. С. Трухачева.

[4] *Тио, Тьо* (от слова «тетя»)—домашнее прозвище Сусанны Давыдовны Мейн (1845—1919).

[5] Анна Яковлевна Эфрон (в замужестве Трупчинская; 1883—1971) вначале была недовольна ранним браком брата.

26

[1] Родственники — А. Я. Эфрон и ее муж, Александр Владимирович Трупчинский (1877 — 1938), юрист.

[2] А. Я. Эфрон.

[3] *Рабенек* (урожденная Бартельс, в первом браке Книппер) Елена (Элла) Ивановна (1875 — 1940) — танцмейстер, преподавала сценическое движение в Художественном театре, руководила собственной школой ритма и грации.

[4] В Доме-музее М. Волошина в Коктебеле хранится корректурный экземпляр второго сборника М. Цветаевой «Волшебный фонарь» с правкой автора и надписью на титуле: «По тщательном исправлении слов и знаков разрешаю печатать в количестве 500 экз⟨емпляров⟩. Марина Цветаева». После выхода книги М. Цветаева подарила сборник М. Волошину с надписью: «Милому Максу с благодарностью за Коктебель. Марина. Москва, 11-го февраля 1912» (*ЕРО*. С. 177).

[5] См. комментарий 1 к письму 23.

27

[1] Цветаева благодарит Волошина, вероятнее всего, за только что вышедший сборник И. Эренбурга «Будни. Стихи» (Париж, 1913).

[2] *Жуковская* Василиса Александровна (1892 — 1959). Цветаеву и ее мужа с семьей Жуковских связывали дружественные отношения. В 1915 г. С. Я. Эфрон и В. А. Жуковская вместе работали в санитарном поезде.

[3] 30 декабря сестры Цветаевы выступали на балу в пользу погибающих на водах.

[4] Верятнее всего, имеется в виду *Бленар* Шарль Альбертович, преподаватель феодосийского училища.

[5] *П. Н. Лампси,* знакомый М. Волошина, внук художника И. К. Айвазовского.

[6] Одно время М. Цветаева подписывалась фамилией мужа.

28

[1] *Маркс* Никандр Александрович (1861 — 1921), генерал-лейтенант, возглавивший летом 1917 г. штаб Одесского военного округа, был давним другом М. Волошина. Н. Маркс был знаком и с И. В. Цветаевым. Волошин «тотчас же написал Марксу», о чем сообщил М. Цветаевой 13 августа (*ЕРО*. С. 178).

[2] См. приписку С. Я. Эфрона к следующему письму.

29

[1] М. В. Сабашникова (1882 — 1973), художница и поэтесса.

[2] О М. Цветаевой и И. Эренбурге. См.: письма к нему, а также письма к С. Эфрону (3), А. Бахраху (3), Р. Б. Гулю (4), а также

воспоминания дочери М. Цветаевой (*А. Эфрон.* С. 117—120), И. Эренбурга (Люди, годы, жизнь. Воспоминания: В 3 т. Т. 1. М.: Сов. писатель, 1990. С. 238—245). Что касается эпизода, упомянутого в письме, то М. Волошин прокомментировал его в письме к Цветаевой 13 августа 1917 г. так: «Что от Вашей первой встречи произошел скандал, это совершенно естественно, так как вы оба капризники и задиры» (*ЕРО.* С. 155).

[3] *Муратов* Павел Павлович (1881—1950)—искусствовед, писатель. *Богаевский*—см. письмо к Ж. Г. и К. Ф. Богаевским.

[4] Однако с переводом Эфрона в Крым ничего не получилось. Он писал по этому поводу Волошину: «Милый Макс, спасибо нежное за горячее отношение к моему переводу в Крым. Маркс мне уже ответил очень любезным письмом и дал нужную справку. Но в Москве мне чинят препятствия и верно с переводом ничего не выйдет. Может быть, так и нужно. Я сейчас так болен Россией, так оскорблен за нее, что боюсь—Крым будет невыносим...» (Коктебельский архив М. Волошина).

30

[1] Дочери М. Цветаевой—Аля (Ариадна) и Ирина.

[2] О дружбе М. Цветаевой с К. Бальмонтом см.: *А. Эфрон.* С. 92—99 и К. Бальмонт «Где мой дом» (Прага, 1924. С. 169—182). В письме от 15 сентября 1917 г. к Е. О. Волошиной С. Эфрон писал: «Бальмонт прекрасен. Он меня очаровал сразу, как я его увидел. Представлял я его себе совсем иным. Он часто заходит к нам» (Коктебельский архив М. Волошина).

[3] Имеется в виду предлагавшееся М. Волошиным в письме от 13 августа 1917 г. обращение к Б. В. Савинкову (1879—1925), эсеру, в то время назначенному помощником военного министра Временного правительства. С Савинковым Волошин познакомился в 1915 г. в Париже (*ЕРО.* С. 178—179).

[4] А. И. Цветаева переехала из Коктебеля в Феодосию 29 июля 1917 г., после смерти сына Алеши.

32

[1] А. В. Луначарского М. Цветаева увидела впервые летом 1919 г. В конце 1920 г. посвятила А. В. Луначарскому после его выступления в Доме печати стихотворение «Чужому». См. т. 1.

[2] М. Цветаева надеялась через М. Волошина узнать что-либо о судьбе мужа, находившегося в это время в Добровольческой армии.

[3] См. письма к Е. Л. Ланну.

[4] И. Г. Эренбург с женой, Любовью Михайловной, жил в Коктебеле с конца 1919 по август 1920 г. «Когда осенью 1920 г. я пробрался из Коктебеля в Москву, я нашел Марину все в том же исступленном одиночестве»,—писал он в своих воспоминаниях (Люди, годы, жизнь. Воспоминания: В 3 т. Т. 1. С. 240).

[5] Восьмилетняя дочь Цветаевой писала Е. О. Волошиной 14/27 ноября 1920 г.: «День за днем идут как двойники. Знаешь, что Марина будет рубить чужие шкафы и корзины, я буду убирать комнаты. Живем теперь в бывшей столовой, похожей на тюрьму. К нам почти никто не приходит. Друзей настоящих нет. Бальмонты уехали, последние настоящие друзья. Мы об вас давно ничего не знаем. Марина продает французские книги. Жили долгое время без света. В Москве плохо жить, нет дров. По утрам мы ходим на рынок. Нет разноцветных платьев, одни мешки и овчины... Дети торгуют или живут в колониях. Все торгуют. Марина не умеет торговать, ее или обманывают или она пожалеет и даром отдает. Наш дом весь разломанный и платья все старые. Но мы утешаемся стихами, чтением и хорошей погодой, а главное — мечтой о Крыме, куда мы так давно и так напрасно рвемся...» (*Соч. 88,* 2. С. 605).

[6] Поэма-сказка М. Цветаевой. Вышла отдельной книгой в 1922 г. в Москве и Берлине (см. т. 3).

[7] *ТЕО* — Театральный отдел Народного комиссариата просвещения.

33

[1] К этому времени в Крыму прошли аресты интеллигенции, коснувшиеся Софьи Парнок и Аделаиды Герцык, которые находились в Судаке.

[2] *Л. Б. Каменев* (настоящая фамилия Розенфельд, 1883—1936) с 1918 г. занимал пост председателя Моссовета.

[3] Поэма «Егорушка» завершена не была (см. т. 3).

[4] А. Белый работал в это время над эпопеей «Моя жизнь» (романом «Преступление Николая Летаева»).

[5] *Бердяев* Николай Александрович (1874—1948) — философ. *Осоргин* (настоящая фамилия Ильин) Михаил Андреевич (1878—1942) — писатель, критик. *Грифцов* Борис Александрович (1885—1950) — литературовед, искусствовед, переводчик. *Дживелегов* Алексей Карпович (1875—1952) — театральный критик, искусствовед.

«В 1918 году 〈...〉 возникла в Москве эта первая и единственная в своем роде Лавка писателей — книготорговое предприятие на паях, которое по замыслу его организаторов Б. Грифцова, А. Дживелегова, П. Муратова, М. Осоргина, В. Ходасевича, Б. Зайцева, Н. Бердяева и других должно было со временем преобразоваться в кооперативное издательство». В начале 1921 года Лавка размещалась на Большой Никитской (*А. Эфрон.* С. 102). Там же описано посещение этой Лавки М. Цветаевой (С. 99—105).

[6] В. А. Зайцева, жена Б. К. Зайцева. По свидетельству А. Эфрон, Зайцевы много помогали Цветаевой в 20-е годы.

[7] О смерти младшей дочери см. письма к В. К. Звягинцевой и А. С. Ерофееву и комментарии к ним.

[8] Серейский Марк Яковлевич (1885—1957) — врач-психиатр.

[9] См. письма к М. С. и Е. А. Фельдштейнам.

[10] *Бялик* Хаим Нахман (1873—1934) — еврейский поэт. В 1920 г. эмигрировал из России.

[11] *Степун* Федор Августович (1884—1965)—писатель, философ, литературный критик. В своих воспоминаниях Степун писал: «Осенью 1921 года мы шли с Цветаевой вниз по Тверскому бульвару. На ней было легкое затрепанное платье, в котором она, вероятно, и спала. Мужественно шагая по песку босыми ногами, она просто и точно рассказывала об ужасе своей нищей, неустроенной жизни 〈...〉 Мне было страшно слушать ее, но ей не было страшно рассказывать: она верила, что в Москве царствует не только Ленин в Кремле, но и Пушкин у Страстного монастыря. «О, с Пушкиным ничто не страшно». Идя со мною к Никитским воротам, она благодарно чувствовала за собою его печально опущенные, благословляющие взоры» (*Воспоминания о Цветаевой.* С. 80—81).

[12] Е. К. Герцык (1878—1944)—переводчица и критик. Сестра Аделаиды Герцык.

[13] Речь идет, вероятнее всего, о книге М. Волошина «О Репине», вышедшей в домашнем издательстве С. Эфрона и М. Цветаевой «Оле-Лукойе» в 1913 г.

34

[1] То есть за сведения о С. Эфроне и за то, что М. Волошин укрывал его в своем доме от красных во время гражданской войны.

[2] 10 декабря 1921 г. М. Волошин писал матери из Феодосии: «Я писал Марине отчаянное письмо о положении Герцык, прося привести в Москве все в движение. Они подняли там целую бурю» (*ЕРО*. С. 183).

[3] *«Калики перехожие»*—пьеса драматурга и театрального деятеля В. М. Волькенштейна (1883—1974).

[4] С. Я. Парнок находилась в то время в Судаке.

[5] Деньги благополучно дошли: 10 декабря 1921 г. М. Волошин писал матери: «На этой неделе я получил для Герцык 2 1/2 миллиона 〈...〉 А 100 тысяч Марина и Ася посылают от себя тебе и мне» (*ЕРО*. С. 183).

Встречу Цветаевой с Луначарским упоминает в своем коротеньком письме к Волошину маленькая Аля:

Москва, 7-го р〈усского〉 ноября 1921 г.

Мой дорогой Макс!

Я очень жалею о Вашей болезни, я Вас всегда помню таким веселым, гривастым Миродержцем. О Вас нужно молиться Зевсу,—да? (Молюсь сразу всем богам—кроме самых новых! Им будут молиться потом.) Спасибо за Георгия—Сережу: взгляд как у М〈арины〉 в стихах, вслед копью. А под копьем его собственная цветущая молодость. Первый мой взгляд, когда просыпаюсь, всегда ввысь: на С〈ережу〉. Скрещаемся.

М〈арина〉 Вас так любит, что даже без голосу говорила с Л〈уначар〉ским—и все сказала. Все обещал.

Целую Вас с благодарностью. Портрет С〈ережи〉 наша самая драгоценность.

Ваша Аля.

(*А. Эфрон*. С. 245).

[6] М. И. Кузнецова — см. письмо к ней. *«Летучая мышь»* — театр-кабаре Никиты Федоровича Балиева (1877—1936).
[7] Трагическая сказка для театра Карло Гоцци (1720—1806).
[8] М. П. Кудашевой-Кювилье. См. письмо к ней.
[9] *Аксенов* Иван Александрович (1884—1935) — поэт, искусствовед. В 1920-х гг. был председателем Всероссийского Союза Поэтов. *Бобров* Сергей Павлович (1889—1971) — писатель, поэт, критик.
[10] И. Г. Эренбургу, весной 1921 г. ездившему за границу, удалось узнать местопребывание С. Я. Эфрона и сообщить о нем М. Цветаевой (Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Воспоминания: В 3 т. Т. 1. М.: Сов. писатель, 1990. С. 240).
[11] См. комментарий 5 к письму 33.
[12] На этой улице М. Цветаева жила во время своего первого посещения Парижа в 1909 г.
[13] «Версты. Стихи» вышли в 1921 г. в издательстве «Костры», «Конец Казановы» — в издательстве «Созвездие» (1922).
[14] Письмо Е. О. Волошиной написала на следующий день Аля Эфрон:

Москва, 8-го р⟨усского⟩ ноября 1921 г.

Моя дорогая Пра!

От Вас так давно нет писем. За Вас я молюсь богу храбрых, не знаю, есть ли такой. (Не бог войны!) Мы с М⟨ариной⟩ читаем мифологию, мой любимец — Фаэтон, хотевший править отцовской колесницей и *зажегший* моря и реки! А Орфей похож на Блока: жалобный, камни трогающий.

Мне очень грустно, когда я думаю о Вашем ревущем море, нужно, чтобы что-нибудь его заглушало, а то так одиноко. Скоро, когда наберем денег, снимемся с Андрюшей и пришлем Вам фотографию.

Я его выше на полголовы, потому что Ваша крестница! Никто в Москве точно не знает, что существует Крым, и когда М⟨арина⟩ с Асей начали поднимать эту бурю, то все знакомые книгоиздательства откликнулись. Нежно целую Вас, моя чудная Пра!

Ваша Аля.

(*А. Эфрон.* С. 245).

Е. О. ВОЛОШИНОЙ

1

Феодосия, 8-го июля 1911 г.

Дорогая Пра,

хотя Вы не любите объяснения в любви, я все-таки объяснюсь. Уезжая из Коктебеля, мне *так* хотелось сказать Вам что-нибудь хорошее, но ничего не вышло.

Если бы у меня было какое-нибудь большое горе, я непременно пришла бы к Вам.

Ваша шкатулочка будет со мной в вагоне и до моей смерти не сойдет у меня с письменного стола.

Всего лучшего, крепко жму Вашу руку.

Марина Цветаева.

P. S. Исполните одну мою просьбу: вспоминайте меня, когда будете доить дельфинику.

И меня тоже!

Сергей Эфрон

2

〈Рукой А. Эфрон:〉

Милая Пра я тебя очень люблю. Ты хочешь меня увидеть? Пра, ты любишь Марину? Спасибо тебе за брошку. У меня есть сестра Ирина и есть Красная роза. Но мне жалко моря. Целую тебя и Макса. Письмо писала сама. Скоро напишу еще.

Аля.

〈Рукой МЦ:〉

Письмо всецело Алино, кроме ъ. Она хотела писать еще и так писала бы до бесконечности, но чудная погода, — идем гулять.

Нежно Вас целую, завтра напишу.

МЭ.

Москва, 13-го мая 1917 г.

3

Москва, 17-го р〈усского〉 авг〈уста〉 1921 г.

Дорогая моя Пра!

Постоянно, среди окружающей низости, вспоминаю Вашу высь, Ваше веселье, Ваш прекрасный дар радоваться и радовать других.

Люблю и помню Вас. Коктебель 1911 г. — счастливейший год моей жизни, никаким российским заревам не затмить того сияния.

Вы один из тех трех-четырех людей, которых носишь с собой повсюду, вечно ставлю Вас всем в пример. Если бы Вы знали, что это за поколение.

Пишу, справляю быт, рвусь к С〈ереже〉. Получила от него большое письмо, пишет: с Пра и Максом я сроднился навсегда[1]. Спасибо Вам за него.

Скоро напишу еще.

Нежно целую Вас.

МЦ.

Хожу в двух Вами подаренных кафтанах: несокрушимые!

4

Москва, 10-го р⟨усского⟩ сентября 1921 г.

Дорогая моя Пра!

Аля спит и видит Вас во сне. Ваше письмо перечитываем без конца и каждому ребенку в пустыре, в котором она гуляет, в случае ссоры победоносно бросает в лицо: «Ты хотя меня и бьешь, а зато у меня крестная мать, которую воспитывал Шамиль!»[1] — «Какой Шамиль?» — «А такой: кавказский царь, на самой высокой горе жил. — Орел!»

Как мне бесконечно жаль, дорогая Пра, что Вы сейчас не с нами! Вы бы уже одним видом поддерживали в Але геройский дух, который я вдуваю в нее всей силой вздоха и души.

Пишите нам! Надеюсь, что это письмо Э. Л. Миндлин Вам передаст собственноручно, он много Вам о нас расскажет[2]. С⟨ережа⟩ жив, далеко.

Целую Вас нежно, люблю.

Марина

Кириенко-Волошина (урожденная Глазер) Елена Оттобальдовна (1850—1923) — мать М. А. Волошина.

С Е. О. Волошиной Цветаева познакомилась в мае 1911 г., в Коктебеле. Ее яркий, живописный портрет Цветаева дает в своих воспоминаниях о М. А. Волошине (см. «Живое о живом», т. 4).

3

[1] В письме, датированном тем же днем, дочь Цветаевой писала Е. О. Волошиной: «Да! Получили от Льва (С. Эфрона. — *Сост.*) письмо. Где — не пишет. Напишите, пожалуйста, воспоминания подробней. Это наше с Мариной насущное. Читаю Отечественную Историю: бедствия и потом восстановление высью небесной выси земной.

Марина живет как птица: мало времени петь и много поет. Она совсем не занята ни выступлениями, ни печатанием, только писанием. Ей все равно, знают ее или нет. Мы с ней кочевали по всему дому. Сначала в папиной комнате, в кухне, в своей. Марина с грустью говорит: «Кочевники дома». Теперь изнутри запираемся на замок от кошек, собак, людей. Наверное, наш дом будут рушить, и мы подыскали себе квартиру. На углу глухого церковного переулка стоит бывший особняк: желтый, рухнувший, с большими выразительными дырами вместо окон. Вместо пола железные длинные жерди, а внизу пустота. Одним словом — бывшее, рухнувшее, погребающее. Недавно нашла Вашего щелкуна, Вами выкрашенного, с ружьем, в остроконечной шапке. Мои любимые книги: сказки Андерсена и самый, самый первый мир: каменный век с идолами и топорами.

Приехала Ася, пишет, служит, шьет кукол. Мечтаю о уезде, жаре и ботанических садах. Хороши ли у Вас в Крыму вечерние времена: закатные и сумеречные? У нас в закатах Воинства и Львы, в сумерках — чуткий сон пересиленных часовых» (*А. Эфрон.* С. 240—241).

4

[1] Отец Е. О. Волошиной с 1859 по 1861 г. служил в Калуге, где жил на поселении Шамиль. М. Цветаева писала в своих воспоминаниях: «Елена Оттобальдовна Волошина. В детстве любимица Шамиля, доживавшего в Калуге последние дни 〈...〉 Напоминает ему его младшего любимого сына, насильную чужую Калугу превращает в родной Кавказ. Младенчество на коленях побежденного Шамиля...» («Живое о живом»).

[2] 17/30 августа 1921 г. Аля Эфрон писала Е. О. Волошиной: «Сейчас у нас гостит молодой Фавн (не по веселости, а по чуткости), ничего не понимающий в жизни... Наш гость — странный: ничего не ест, никогда не сердится. Это молодой поэт Э. Л. Миндлин. У него есть фотография Макса: полулежит на диване в рубашке». И из другого ее письма, написанного в день отъезда Миндлина в Крым, 6/19 сентября: «...это письмо Вам передаст Э. Л. Миндлин. Он был нам хорошим другом, помогал во всем. Это было особенно трогательно, потому что он сам совершенно беспомощен и такой же медленный, как я. Завидую ему: он увидит Вас и море» (*А. Эфрон*. С. 241, 244).

М. А. и Е. О. ВОЛОШИНЫМ

10-го нов〈ого〉 мая 1923 г.

Мои дорогие Макс и Пра![1]

Пока только скромная приписка[2]: завтра (11-го нов〈ого〉 мая) — год, как мы с Алей выехали из России, а 1-го августа — год, как мы в Праге. Живем за городом, в деревне, в избушке, быт более или менее российский, — но не им живешь! Сережа очень мало изменился, — только тверже, обветреннее. Встретились мы с ним, как если бы расстались вчера. Живя *не*-временем, времени не боишься. *Время — не в счет:* вот все мое отношение к времени!

Я много раз тебе писала из Москвы, Макс, но ты все жаловался на мое молчание. Пишу и на этот раз без уверенности, увы, что дойдет! Откликнись возможно скорей, тогда в тот же день напишу тебе и Пра обо всем: о жизни, стихах, замыслах.

Ах, как бы мне хотелось послать тебе и дорогой Пра книги! «Разлуку», «Стихи к Блоку», «Царь-Девицу», «Ремесло»[3]. Не знаю, как осуществить. Оказии отсюда редки. Живой повод к этому письму — твой живой голос в «Новой Книге»[4]. Без оклика трудно писать. Другой постепенно переходит в область сновидения (единственной достоверности!) — *изымается из употребления!* — становится недосягаемостью. — Тебе ясно? — Это не забвение, это общение *над, вне*... И писать уже невозможно.

Но ты, не зная, окликнул, и я радостно откликаюсь. Здесь (и уже давно в Берлине) были слухи, что Вы с Пра в Москве. Почему не выбрались? (Праздный вопрос, то же, что «почему не сдвинули горы?»).

Целую тебя и Пра, люблю нежно и преданно обоих, напиши, Макс, доходят ли посылки и какие?

МЦ.

Аля растет, пустеет и простеет. Ей $10^{1}/_{2}$ лет, ростом мне выше плеча. Целует тебя и Пра.

Впервые — в *ЕРО*. С. 184. Печатается по тексту первой публикации.

[1] Написано из Чехословакии, из деревни Горние Мокропсы (под Прагой). Цветаева обращается и к Е. О. Волошиной, не зная, что та скончалась 8 января 1923 г.

[2] Письмо написано на обороте письма С. Я. Эфрона от того же числа.

[3] *«Разлука»* — книга стихов Цветаевой (М.; Берлин: Геликон, 1922); *«Стихи к Блоку»* — Берлин: Огоньки, 1922; *«Царь-Девица»* — Пг.; Берлин: Эпоха, 1922; *«Ремесло»* — книга стихов, М.; Берлин: Геликон, 1923.

[4] В журнале «Новая русская книга» (Берлин. 1923. № 2) опубликовано стихотворение М. Волошина «Потомкам».

Е. Я. ЭФРОН

1

〈Июль 1911〉

Дорогая Лиленька,

За неимением шоколада посылаю Вам картинку[1].

Сереженька здоров, пьет две бутылки кумыса в день[2], ест яйца во всех видах, много сидит, но пока еще не потолстел. У нас настоящая русская осень. Здесь много берез и сосен, небольшое озеро, мельница, речка. Утром Сережа занимается геометрией, потом мы читаем с ним франц〈узскую〉 книгу Daudet[3] для гимназии, в 12 завтрак, после завтрака гуляем, читаем, — милая Лиля, простите скучные описания, но при виде этого петуха ничего умного не приходит в голову.

Давно ли уехала Ася и куда? Как вел себя И. С.?[4] Мой привет Вере[5]. Когда начинается тоска по Коктебелю, роемся в узле с камешками.

Пишите, милая Кончитта,[6] и не забывайте милой меня.

На днях мы с С⟨ережей⟩ были в Белебее. Это крошечный уездный городок совершенно гоголевского типа. Каторжники таскают воду, в будке сидит часовой, а главное — во всем городе нельзя достать лимонаду.

Я сегодня видела Вас во сне. Вы были в клетчатом платке и страшно хохотали. Я перекрестила Вас и Вы исчезли. Интересно? Простите за все эти глупости!

⟨*На обороте рукой С. Я. Эфрона:*⟩

По получении этого письма поезжай к Юнге[7], бери у него микроскоп и принимайся читать сие письмо. Сережа.

2

Милая Лиля, извините меня, пожалуйста, за вчерашнюю неловкость с Лидией Александровной[1]. Я вовсе не хотела обидеть Вас, это случилось совершенно неожиданно для меня самой. Л⟨идия⟩ А⟨лександровна⟩ вошла первая, я вслед за ней, и она сразу начала мне что-то говорить, — мне показалось, что уже поздно знакомить. Еще раз прошу Вас извинить меня за эту некорректность.

Всего лучшего. Вера с котенком, кажется, не воюет.

МЦ.

Москва, 9-го октября 1911 г.

3

⟨24-го апреля/7-го мая 1912 г.⟩[1]

Милая Лиленька, Сережа страшно обрадовался Вашему письму[2]. Скоро увидимся. Мы решили лето провести в России. Так у нас будет 3 лета: в Сицилии, в Шварцвальде, в России. Приходите встречать нас на вокзал, о дне и часе нашего приезда сообщим заранее[3]. У нас цветут яблони, вишни и сирень, — к сожалению, все в чужих садах. Овес уже высокий, — шелковистый, светло-зеленый, везде шумят ручьи и ели. Радуйтесь: осенью мы достанем себе чудного, толстого, ленивого кота. Я очень о нем мечтаю. Каждый день при наших обедах присутствует такой кот, жадно смотрит в глаза и тарелки и, не вытерпев, прыгает на колени то Сереже, то мне. *Наш кот будет такой же.*

⟨*Приписка на полях:*⟩

Радуюсь отъезду Макса и Пра[4] и скорому свиданию с Вами и Верой. Всего лучшего.

МЭ.

4

Феодосия, 19-го октября 1913 г., пятница

Милая Лилися,

Сегодня я ночевала одна с Алей, — идеальная няня ушла домой. Аля была мила и спала до семи, я до десяти. (!!!) Сегодня

чудный летний синий день: на столе играют солнечные пятна, в окне качается красно-желтый виноград. Сейчас Аля спит и всхлипывает во сне, она так и рвется ко мне с рук идеальной няни. Умилитесь надо мной: я несколько раз заставляла ее говорить: «Лиля»! В 2 ч. поедем с П⟨етром⟩ Н⟨иколаевичем⟩[1] искать квартиру[2].

Как вы доехали? Как вели себя Ваши соседи по палубе — восточные люди? Как Вы встретились с Лёвами?[3]

Пока до свидания, всего лучшего. Не забудьте ответить Н. на письмо. Целую.

МЭ.

P. S. Все это написано тушью дяди. Пишите на П⟨етра⟩ Н⟨иколаевича⟩.

5

Феодосия, 18-го марта 1914 г., среда.

Милая Лиля,

Пишу Вам в постели, — в которой нахожусь день и ночь.

Уже 8 дней, — воспаление ноги и сильный жар.

За это время как раз началась весна: вся Феодосия в цвету, все зелено.

Сейчас Сережа ушел на урок. Аля бегает по комнатам, неся в руках то огромный ярко-синий мяч, то Майину[1] куклу о двух головах, то почти взрослого Кусаку[2], то довольно солидного осла (успокойтесь — не живого!).

Аля сейчас говорит около 150 слов, причем такие длинные, как: гадюка, Марина, картинка ⟨...⟩[3] «Р» она произносит с великолепным раскатом, как три «р» зараз, и почти все свои 150 слов говорит правильно.

Кота она зовет: кот, Куси́ка, ки́ся, котенька, кисенька, — прежнее «ко» забыто.

Меня: мама, мамочка, иногда — Марина.

Сережу боится, как огня.

Стоит ему ночью услышать ее плач, стукнуть в стенку, как она мгновенно закрывает глаза, не смея пошевелиться.

Вы ее не видели уже около 1/2 года. Вчера мать Лени Цирес[4] говорила, что Вы не поедете в Коктебель. Неужели правда? Как жаль. Значит, Вы увидите Алю уже двух лет.

Она необычайно ласкова к своим: все время целуется. Всех мужчин самостоятельно зовет «дядя», — а Макса — «Мак» или Макс. К чужим не идет, почтительно обходя их стулья.

Посылаю Вам ее карточку, 1 1/2 года, снятую ровно 5-го марта. Скоро пришлю другую, где они сняты с Андрюшей[5].

Сережа то уверен, что выдержит, то в отчаянии[6]. Занимается чрезвычайно много: нигде не бывает ⟨...⟩

Пока всего лучшего. Пишите мне. Куда едете летом?

Сережа после экзаменов думает поехать недели на две к Нюте[7].

Крепко Вас целую. ⟨...⟩

6

⟨1914⟩

Лиленька,

Приезжайте немедленно в Москву. Я люблю безумного погибающего человека и отойти от него *не могу* — он умрет[1]. Сережа хочет идти добровольцем, уже подал прошение. Приезжайте. Это — безумное дело, нельзя терять ни минуты.

Я не спала четыре ночи и не знаю, как буду жить. Всё — но горе. Верю в Вашу спасительную силу и умоляю приехать.

Остальное при встрече.

МЭ.

P. S. Сережа страшно тверд, и это — страшней всего.

Люблю его по-прежнему.

7

Святые горы, Харьковской губ⟨ернии⟩ Графский участок, 14 дача Лазуренко[1].
30-го июля 1915 г.

Милая, милая Лиленька,

Сейчас открыла окно и удивилась — так зашумели сосны. Здесь, несмотря на Харьковскую губ⟨ернию⟩ — Финляндия: сосны, песок, вереск, прохлада, печаль.

Вечерами, когда уже стемнело, — страшное беспокойство и тоска: сидим при керосиновой лампе-жестянке, сосны шумят, газетные известия не идут из головы, — кроме того, я уже 8 дней не знаю, где Сережа, и пишу ему наугад то в Белосток, то в Москву, без надежды на скорый ответ[2].

Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда от него не уйду. Пишу ему то каждый, то — через день, он знает всю мою жизнь, только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце — вечная тяжесть. С ней засыпаю и просыпаюсь.

— Соня меня очень любит и я ее люблю — и это вечно, и от нее я не смогу уйти. Разорванность от дней, которые надо делить, сердце все совмещает.

Веселья — простого — у меня, кажется, не будет никогда и вообще, это не мое свойство. И радости у меня до глубины — нет. Не могу делать больно и не могу не делать... 〈...〉

8

〈21-го декабря 1915 г.〉

Милая Лиленька,

Думаю о Вас с умилением. Сейчас все витрины напоминают Вас, — везде уже горят елки.

Сегодня я покупала подарки Але и Андрюше (он с Асей на днях приедет). Але — сказки русских писателей в стихах и прозе и большой мячик, Андрюше — солдатиков и кубики. Детям — особенно таким маленьким — трудно угодить, им нужны какие-то особенные вещи, ужасно прикладные, вроде сантиметров, метелок, пуговиц, папиросных коробок. Выбирая что-нибудь заманчивое на свой взгляд, тешишь, в конце концов, себя же.

Сейчас у нас полоса подарков. Вере мы на годовщину Камерного[1] подарили: Сережа — большую гранатовую брошь, Борис[2] — прекрасное гранатовое ожерелье, я — гранатовый же браслет. Сереже на его первое выступление в Сирано 17-го декабря[3] я подарила Пушкина изд〈ания〉 Брокгауза[4]. На Рождество я дарю ему Шекспира в прекрасном переводе Гербеля[5], Борису — книгу былин.

Сережа в прекрасном настроении, здоров, хотя очень утомлен, целый день занят то театром, то греческим. Я уже два раза смотрела его, — держит себя свободно, уверенно, голос звучит прекрасно. Ему сразу дали новую роль в «Сирано» — довольно большую, без репетиции. В первом действии он играет маркиза — открывает действие. На сцене он очень хорош, и в роли маркиза, и в гренадерской. Я перезнакомилась почти со всем Камерным театром, Таиров[6] очарователен, Коонен[7] мила и интересна, в Петипа[8] я влюбилась, уже целовалась с ним и написала ему сонет, кончающийся словами «пленительный ровесник»[9]. — Лиленька, он ровно на 50 лет старше меня! За это-то я в него и влюблена.

— Вы еще не сказали ни одного стихотворения, а я вокруг Вашей головы (жест) вижу... ореол!

— О — пусть это будет ореолом молодости, который гораздо ярче сияет над Вашей головой, чем над моей!

Яблоновский[10]: «Да ведь это — Версаль!»

Мы сидели в кабинете Таирова, Яблоновский объяснялся в любви моим книгам и умильно просил прочесть ему «Колыбельную песенку»[11], которую вот уже три года читают перед сном его дети, я была в старинном *шумном* платье и влюбленно смотрела в прекрасные глаза Петипа, который в мою честь декламировал Béranger «La diligence»[12].

— Но всего не расскажешь! На следующий раз, после премьеры «Сирано», я сказала ему: — Вы были прекрасны, я в восторге, позвольте мне Вас поцеловать!

— Поверьте, что я оценил... — рука, прижатая к сердцу, и долгий поцелуй.

Да, Лиленька! Я забыла! Ася Жуковская Сереже подарила чудную шкатулку карельской березы, Вера — Каролину Павлову, прекрасное двухтомное издание[13], — все за первое его выступление.

Таирову на годовщину театра Сережа подарил старинное издание комедий (?) Княжнина[14], Вера и Елена Васильевна[15] — по парчовой подушке, весь кабинет его был в подарках: бисерная трость, бисерный карандаш, еще какой-то бисер. Он сиял. Это было 12-го.

Алю я обрила. Шерсть растет мышиная, местами совсем темная. Она здорова, чудно ест, много гуляет, пьет рыбий жир и выглядит великолепно, — тяжелая, крупная девочка, вроде медведя. Великолепная память, ангельский характер и логика чеховского учителя словесности. «Когда солнце спрячется, то в детской будет светло». «Раз ты мне не позволяешь ходить босиком по полу, я и не хожу, а если бы ты позволила, то я бы ходила. — Правильно я говорю, Марина?»

У нас сейчас чудная прислуга: мать (кухарка) и дочь (няня) — беженки из Седлеца. Обе честны, как ангелы, чудно готовят и очень к нам привязаны. Няня грамотная, умная, с приличными манерами, чистоплотная, Алю обожает, но не распускает, — словом, лучше нельзя.

Лиленька, у меня новая шуба: темно-коричневая с обезьяньим мехом (вроде коричневого котика), фасон — вот*: сзади — волны. Немного напоминает поддевку. На мягенькой белой овчине. Мечтаю уже о весеннем темно-зеленом пальто с пелериной.

Милая Лиленька, пока до свидания. Переписываю Вам пока одни стихи — из последних.

Новолунье, и мех медвежий,
И бубенчиков легкий пляс...
— Легкомысленнейший час! Мне же —
Глубочайший час.

Умудрил меня встречный ветер,
Снег умилостивил мне взгляд.
На пригорке монастырь — светел
И от снега — свят.

Вы снежинки с груди собольей
Мне сцеловываете, друг.
Я — на дерево гляжу в поле
И на лунный круг.

---

* Далее следует рисунок.

За широкой спиной ямщицкой
Две не сблизятся головы.
— Начинает мне Господь сниться,
Отоснились Вы[16].

Довольно часто вижу Веру. Она в этом году очень трогательна, гораздо терпимей и человечней. К Сереже она относится умилительно: сама его гримирует, кормит, как, чем и когда только может и радуется его удачам. И Елена Васильевна к нему страшно мила. В театре его очень любят, немного как ребенка, с умилением.

Это письмо ужасно внешне, но мне хотелось просто передать Вам наши дни. Скоро напишу Вам о себе. Пока крепко Вас целую, всего лучшего, пишите.

МЭ.

P. S. Умоляю Вас запомнить N дома (6) и N кв〈артиры〉 (3! 3! 3!), а то у меня из-за Вашего письма был скандал с почтальоном. Он возмущался отсутствием NN дома и квартиры, я — его возмущением. Поварская, Борисоглебский пер〈еулок〉, д〈ом〉 6, кв〈артира〉 3, Эфрон.

Эта карточка снята еще осенью и слишком темна, держите ее на солнце, пусть выгорит.

9

Москва, 12-го июня 1916 г.

Милая Лососина[1],

Сережа 10-го уехал в Коктебель с Борисом[2], я их провожала. Ехали они в переполненном купе III кл〈асса〉, но, к счастью, заняли верхние места. Над ними в сетках лежало по солдату. Сережины бумаги застряли в госпитале, когда вынырнут на свет Божий — Бог весть! По крайней мере, он немного отдохнет до школы прапорщиков. Я, между прочим, уверена, что его оттуда скоро выпустят, — самочувствие его отвратительно.

В Москве свежо и дождливо, в случае жары я с Алей уеду к Асе, в Александров. Я там уже у ней гостила, — деревянный домик, почти в поле. Рядом кладбище, холмы, луга. Прелестная природа.

Лиленька, а теперь я расскажу Вам визит М〈андельштама〉 в Александров[3]. Он ухитрился вызвать меня к телефону: позвонил в Александров, вызвал Асиного прежнего квартирного хозяина и велел ему идти за Асей. Мы пришли и говорили с ним, он умолял позволить ему приехать тотчас же и только неохотно согласился ждать до следующего дня. На следующее утро он приехал. Мы, конечно, сразу захотели вести его гулять — был чудесный ясный день — он, конечно, не пошел, — лег на диван и говорил мало. Через несколько времени мне стало скучно и я решительно повела его на кладбище.

— «Зачем мы сюда пришли?! Какой ужасный ветер! И чему Вы так радуетесь?»

— «Так, — березам, небу, — всему!»

— «Да, потому что Вы женщина. Я ужасно хочу быть женщиной. Во мне страшная пустота, я гибну».

— «От чего?»

— «От пустоты. Я не могу больше вынести одиночества, я с ума сойду, мне *нужно*, чтобы обо мне кто-нибудь думал, заботился. Знаете, — не жениться ли мне на Лиле?»

— «Какие глупости!»

— «И мы были бы в родстве. Вы были бы моей belle-soeur!»*

— «Да-да-а... Но Сережа не допустит».

— «Почему?»

— «Вы ведь ужасный человек, кроме того, у Вас совсем нет денег».

— «Я бы стал работать, мне уже сейчас предлагают 150 рублей в Банке, через полгода я получил бы повышение. Серьезно».

— «Но Лиля за Вас не выйдет. Вы в нее влюблены?»

— «Нет».

— «Так зачем же жениться?»

— «Чтобы иметь свой угол, семью...»

— «Вы шутите?»

— «Ах, Мариночка, я сам не знаю!»

День прошел в его жалобах на судьбу, в наших утешениях и похвалах, в еде, в литературных новостях. Вечером — впрочем, ночью, — около полночи, — он как-то приумолк, лег на оленьи шкуры и стал неприятным. Мы с Асей, устав, наконец, перестали его занимать и сели — Маврикий Алекс⟨андрович⟩[4], Ася и я — в другой угол комнаты. Ася стала рассказывать своими словами Коринну[5], мы безумно хохотали. Потом предложили М⟨андельшта⟩му поесть. Он вскочил, как ужаленный. — «Да что же это, наконец! Не могу же я целый день есть! Я с ума схожу! Зачем я сюда приехал! Мне надоело! Я хочу сейчас же ехать! Мне это, наконец, надоело!»

Мы с участием слушали, — ошеломленные. М⟨аврикий⟩ А⟨лександрович⟩ предложил ему свою постель, мы с Асей — оставить его одного, но он рвал и метал. — «Хочу сейчас же ехать!» — Выбежал в сад, но испуганный ветром, вернулся. Мы снова занялись друг другом, он снова лег на оленя. В час ночи мы проводили его почти до вокзала. Уезжал он надменный.

Я забыла Вам рассказать, что он до этого странного выпада все время говорил о своих денежных делах: резко, оскорбленно,

* Свояченицей *(фр.)*.

почти цинически. Платить вперед Пра за комнату он находил возмутительным и вел себя так, словно все, кому он должен, должны — ему. Неприятно поразила нас его страшная самоуверенность. — «Подождали — еще подождут. Я не виноват, что у меня всего 100 р⟨ублей⟩» — и т. д. Кроме того, страстно мечтал бросить Коктебель и поступить в монастырь, где собирался сажать картошку.

Сегодня мы с Асей на Арбате видели старуху, лет девяноста, державшую в одной руке — клюку, в другой — огромный голубой эмалированный *горшок*. Стояла она перед дверью магазина «Скороход». Все проходящие долго на нее смотрели, она ни на кого. — Лиленька, Вам нравится?

Всего лучшего, пишите мне пока в Москву. Аля здорова, все хорошеет. Я недавно видела во сне Петю[6] и узнала во сне это прежнее облако нежности и тоски. Он был в коричневом костюме, худой, я узнала его прелестную улыбку. Лиля, этого человека я могла бы безумно любить! Я знаю, что это — неповторимо.

МЦ.

10

⟨Апрель 1917⟩

Милая Лиля,

С⟨ережа⟩ пишет, что все время всех сажает под арест[1], что на будущее в П⟨етрограде⟩ смотрит безнадежно и что едет в П⟨етроград⟩ повидаться с Асей[2] и Степуном[3]. Бориса[4] попросите ко мне приехать завтра в 4 ч., а Никодиму позвоните 5-04-46. (Никодим Акимович)[5].

Чтобы приезжал завтра в 1 ч., а то я не хочу, чтобы они встретились с Б⟨орисом⟩. Поцелуйте за меня Алю и скажите ей, что ее сестра все время спит[6].

МЭ.

11

⟨29-го апреля 1917 г.⟩[1]

Милая Лиленька,

У меня к Вам просьба: не могли бы Вы сейчас заплатить мне? Вы мне должны 95 р⟨ублей⟩ (70 р⟨ублей⟩ за апрель по первые числа мая), 24 р⟨убля⟩ за март (70 р⟨ублей⟩ — 46 р⟨ублей⟩, которые Вам остался должен Сережа) и 1 р⟨убль⟩ за февр⟨аль⟩. (Вы мне должны были — помните, мы считались? — 18 р⟨ублей⟩, но 2 раза давали по 10 р⟨ублей⟩, а я в свою очередь платила за молоко, так что в итоге Вы мне оставались должны за февраль 1 р⟨убль⟩. У меня каждая копейка записана, дома покажу.)

У меня сейчас большие траты: неправдоподобный налог в 80 р⟨ублей⟩; квартирная плата, жалованье прислугам, чаевые (около 35 р⟨ублей⟩) здесь, — и м. б. еще 25 р⟨ублей⟩ за 2 недели, если до 4-го не поправлюсь.

А занимать мне не у кого, я Никодиму[2] до сих пор должна 100 р⟨ублей⟩.

Сделаем так. Купите мне у Френкелей[3] пару башмаков — 29 номер (их 38 мне мал), а остальные деньги, если не трудно, пришлите с Верой. Смогу тогда начать платежи. Пришлите башмаки, все-таки надо померить.

Потом — Вера говорила о каком-то варшавском сапожнике. Возьмите у Маши[4] свои старые желтые башмаки (полуботинки), *к⟨отор⟩ые я хотела продать*. Она знает. Пусть сапожник сделает из них полуботинки (а м. б. выйдут башмаки) для Али. На образец дайте Алины новые черные. А то я все равно не продам. За работу давайте, я думаю, *не более* 5 р⟨ублей⟩.

И еще поручение, Лиленька. Сдайте офицерскую комнату[5] *на все лето* — условие: ежемесячная плата вперед (это всегда), и чтобы по телеф⟨ону⟩ ему звонили не раньше 4 ч⟨асов⟩ дня. А то опять прислуге летать по лестницам. И сдайте непреме⟨нно⟩ мужчине. Женщина целый день будет в кухне и все равно наведет десяток мужчин.

Чувствую себя хорошо. Вчера доктор меня выслушивал. В легких ничего нет, простой бронхит. Вижу интересные сны, записываю. Вообще массу записываю — мыслей и всего: Ирина научила меня думать.

Очень привыкла к жизни здесь, буду скучать. Время идет изумительно быстро: 16 дней, как один день.

Множество всяких планов — чисто внутренних (стихов, писем, прозы) — и полное безразличие, где и как жить. Мое — теперь — убеждение: Главное — это родиться, дальше все устроится.

Ирина понемножечку хорошеет, месяца через 3 будет определенно хорошенькая. По краскам она будет эффектней Али, и вообще почему-то думаю — более внешней, жизненной. Аля — это дитя моего духа. — Очень хороши — уже сейчас — глаза, необычайного блеска, очень темные (будут темно-зеленые, или темно-серые), — очень большие. И хорош рот. Нос, думаю, будет мой: определенные ноздри и прямота Алиного, вроде как у Андрюши в этом возрасте. Мы с Асей знатоки.

Когда вернусь, массу Вам расскажу о женщинах. Я их теперь великолепно знаю. Сюда нужно было бы посылать учиться, молодых людей, как в Англию.

Целую Вас.

Да! В понедельник Алю с Маврикием[6] *не* отпускайте: я может быть скоро вернусь (3-го) — и хочу непременно, чтобы Аля была

дома. Кроме того, я не смогу без няни. Значит, Лиленька, не забудьте насчет башмаков: *№ 29.* И непрем〈енно〉 на каблуке.

МЭ.

Сейчас тепло. Пусть Аля переходит в детскую, а Сережину комнату заприте.

12

Москва, 27-го июля 1917 г., четверг

Милая Лиля,

Сережа жив и здоров, я получила от него телегр〈амму〉 и письмо[1]. Ранено свыше 30-ти юнкеров (двое сброшены с моста, — раскроены головы, рваные раны, били прикладами, ногами, камнями), трое при смерти, один из них, только что вернувшийся с каторги социалист.

Причина: недовольство тем, что юнкера в с〈оциал〉-д〈емократической〉 демонстр〈ации〉 18-го июня участия почти не принимали, — и тем, что они шли с лозунгом: «Честь России дороже жизни». — Точного дня приезда Сережи я не знаю, тогда Вас извещу.

Сейчас я одна с кормилицей и тремя детьми (третий — Валерий — 6-мес〈ячный〉 сын кормилицы). Маша ушла. Кормилица очень мила, и мы справляемся.

О своем будущем ничего не знаю. Аля и Ирина здоровы, Ирина понемножку поправляется, хотя еще очень худа.

Пишу стихи, вижусь с Никодимом, Таней[2], Л〈идией〉 А〈лександровной〉[3], Бердяевым. И — в общении — все хороши...

МЭ.

13

Москва, Покровский бульвар,
д〈ом〉 15/5, 4-ый подъезд, кв〈артира〉 62
3-го Октября 1940 г.*

Милая Лиля,

Спешу Вас известить: С〈ережа〉 на прежнем месте[1]. Я сегодня сидела в приемной полумертвая, п. ч. 30-го мне в окне сказали, что он на передаче не числится (в прошлые разы говорили, что много денег, но этот раз — определенно: *не* числится). Я тогда же пошла в вопросы и ответы и запросила на обороте анкеты: состояние здоровья, местопребывание. Назначили на сегодня. Сотрудник меня узнал и сразу назвал, хотя не виделись мы

* М. И. Цветаева иногда писала названия месяцев с прописной буквы.

месяца четыре, — и посильно успокоил: у нас хорошие врачи и в случае нужды будет оказана срочная помощь. У меня так стучали зубы, что я никак не могла попасть на «спасибо». («Вы напрасно так волнуетесь» — вообще, у меня впечатление, что С⟨ережу⟩ — знают, а по нему — и меня. В приемной дивятся долгости его московского пребывания.)

Да, а 10-го годовщина, и день рождения, и еще годовщина: трехлетия отъезда[2]. Але я на *ее* годовщину, 27-го[3], носила передачу, С⟨ереже⟩, наверное, *не* удастся...

Мур[4] перешел в местную школу, по соседству, № 8 по Покров⟨скому⟩ бульв⟨ару⟩ (бывшую ж⟨енскую⟩ гимн⟨азию⟩ Виноградовой). Там — проще. И — так — проще, может выходить за четверть часа, а то давился едой, боясь опоздать. А — кошмарный трамвай: хожу пешком или езжу на метро (Кировские ворота в 10 мин⟨утах⟩). Немножко привыкла. Хорошие места, но — не мои. На лифте больше не езжу, в последний раз меня дико перепугал женский голос (лифтерша сидит где-то в подземелье и говорит в микрофон): — Как идет лифт? Я, дрожащим (как лифт) голосом: — Да ничего. Кажется — неважно. — Может, и не доедете: тяга совсем слабая, в пятом — остановился. Я: — Да не пугайте, не пугайте, ради Бога, я и так умираю от страха!

«И с той поры — к Демьяну ни ногой»[5].

Честное слово: так бояться для сердца куда хуже, чем все шесть этажей.

С деньгами плоховато: все ушло на кв⟨артиру⟩ и переезд, а в Интер⟨национальной⟩ Лит⟨ературе⟩, где в ближайшей книге должны были пойти мои переводы немец⟨ких⟩ песен — полная перемена программы[6], пойдет совсем другое, так что на скорый гонорар надеяться нечего. Хоть бы Муля выручил те (воровкины) 750 руб⟨лей⟩[7].

Заказала книжную полку и кухонную (NB! Чем буду платить??). Столяр — друг Тагеров[8], чудный старик, мы с ним сразу подружились. Когда уберутся ящики, комната будет — посильно — приличная. Очень радуюсь Вашему и З⟨инаиды⟩ М⟨итрофановны⟩[9] возвращению. Как наверное дико-тоскливо по вечерам и ночам в деревне! Я, никогда не любившая города — не мыслю. О черных ночах Голицына вспоминаю с содроганием[10]. Все эти стеклянные террасы...

Замок повешу завтра — нынче не успела. Куплю новый, с двумя ключами: тот тоже есть, но куда-то завалился. Ничего — будет два.

Целую обеих, будьте здоровы.

М.

Эфрон Елизавета Яковлевна (1885—1976)—сестра С. Я. Эфрона, педагог, режиссер. Из всех сестер мужа Цветаева больше всех любила именно Елизавету, которую называли «солнцем нашей семьи».

Письмо 1 опубликовано впервые—*Поэт и время.* С. 74—75; письмо 3—*А. Саакянц.* С. 38—39; письма 5 и 13—*Соч. 88, 2;* письмо 7—*С. Полякова.* С. 57; письмо 8—Наше наследие. М. 1994. № 31. С. 87—88 (публикация Д. А. Беляева); письмо 9—*ВЛ.* 1983. № 11 (публикация А. Саакянц). Перечисленные письма печатаются по текстам первой публикации, остальные—по копиям из архива А. А. Саакянц.

1

[1] Письмо написано на рекламной карточке московского Товарищества Эйнем (шоколад «Золотой ярлык»).

[2] См. комментарий 1 к письму 17 к М. А. Волошину.

[3] *Daudet*—Доде Альфонс (1840—1897), французский писатель.

[4] Возможно, описка Цветаевой. Речь могла идти о Б. С. Трухачеве, с которым Анастасия Цветаева ехала из Крыма в Финляндию через Москву.

[5] В. Я. Эфрон.

[6] Прозвище Е. Я. Эфрон. Под этим именем—«испанка Кончитта»—Елизавета Эфрон принимала участие в мистификациях, которые устраивались в доме Волошина. См. об этом: *А. Цветаева.* С. 374—382.

[7] А. Э. Юнге. См. комментарий 3 к письму 22 к М. А. Волошину.

2

[1] Л. А. Тамбурер.

3

[1] Письмо написано на открытке и отправлено из Кирхгартена (под Фрейбургом). М. Цветаева и С. Эфрон в это время продолжали заграничное свадебное путешествие.

[2] Во время путешествия молодоженов С. Эфрона не покидали приступы грусти: в Париже он побывал на могилах отца, матери и брата (горе было еще свежо). В письме к Е. Я. Эфрон, написанном в тот же день, С. Эфрон делился с сестрой своим настроением: «Сейчас внизу гостиницы (деревенской) празднуют чье-то венчание, и оттуда несется веселая громкая музыка. Но в каждой музыке есть что-то грустное (по крайней мере для профана), и мне грустно. Хотя грустно еще по другой причине: жалко уезжать и вместе с тем тянет обратно. Одним словом, вишу в воздухе и не хватает твердости духа, чтобы заставить себя окончательно решить ехать в Россию.

А тоска растет и растет!.. У меня сейчас такая грандиозная жажда, а чего—я сам не знаю!..» (*А. Саакянц.* С. 39).

[3] «Марина решила присутствовать на торжествах открытия Музея»,—писал С. Эфрон сестре. (Там же. С. 39.) К 13 мая М. Цветаева и С. Эфрон возвращаются в Москву и присутствуют на общероссийских и семейных торжествах: 31 мая в Москве на Волхонке состоялось

открытие Музея Александра III (как назывался тогда нынешний Музей изобразительных искусств); осуществилась многолетняя мечта его основателя, И. В. Цветаева.

[4] М. А. и Е. О. Волошины находились в Москве (по пути из Франции в Крым), а затем уехали в Коктебель, куда прибыли 15 апреля 1912 г.

4

[1] П. Н. Лампси. См. комментарий 5 к письму 27 к М. А. Волошину.

[2] Цветаева намеревалась провести в Феодосии зиму 1913/14 г., куда приехала из Ялты. Там, в ялтинском санатории, С. Я. Эфрон находился по состоянию здоровья летом-осенью 1913 г.

[3] См. комментарий 2 к письму 1 к С. Я. Эфрону.

5

[1] То есть М. П. Кювилье.

[2] Прозвище домашнего кота.

[3] Пропуски в тексте вызваны тем, что угол оригинала письма оторван.

[4] Алексей Германович *Цирес* (близкие звали его Леней), приятель С. Я. Эфрона.

[5] Трухачев Андрей Борисович (1912—1993)—сын А. И. Цветаевой.

[6] В начале мая С. Эфрону предстояло сдать экстерном экзамены на аттестат зрелости. См. также письмо 3 к В. В. Розанову.

[7] Анна Яковлевна Эфрон.

6

[1] Речь идет о П. Я. Эфроне. См. письма к нему и комментарии к ним.

7

[1] В Святых горах Цветаева с конца июля по середину августа была в совместной поездке с Софьей Парнок. См. об этом в кн.: *С. Полякова.* С. 56—59, а также цикл стихотворений М. Цветаевой «Подруга» и комментарии к ним в т. 1.

[2] В конце марта 1915 г. С. Я. Эфрон получил назначение в санитарный поезд, который должен был курсировать из Москвы в Белосток (затем—в Варшаву) и обратно.

8

[1] Московский Камерный театр открылся 12 декабря 1914 г. спектаклем Калидасы «Сакунтала». В. Я. Эфрон в 1914—1916 гг. была актрисой театра.

[2] Б. С. Трухачев.

[3] С. Я. Эфрон непродолжительное время состоял в труппе Камерного театра. Премьера спектакля «Сирано де Бержерак» (по пьесе Э. Ростана, пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник) прошла 13 декабря 1915 г.

4 Зак 30

Помимо участия в «Сирано де Бержерак», С. Эфрон, по свидетельству Алисы Коонен, играл в пародийной сценке «Американский бар», поставленной в «Эксцентрионе», клубе при театре. *(А. Саакянц.* С. 113.)

[4] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 1—6. Спб.: Брокгауз и Эфрон, 1907.

[5] *Гербель* Николай Васильевич (1827—1883)—поэт, переводчик, издатель-редактор. В его переводе вышла книга «Полное собрание сонетов У. Шекспира». Спб., 1880.

[6] *Таиров* (настоящая фамилия Корнблит) Александр Яковлевич (1885—1950)—режиссер, основатель и руководитель Камерного театра.

[7] *Коонен* Алиса Георгиевна (1889—1974)—ведущая актриса Камерного театра, участница почти всех программных спектаклей Таирова.

[8] *Петипа* Мариус Мариусович (1850—1919)—драматический актер. В Камерном театре работал в 1915—1917 гг. Был замечательным исполнителем комедийных ролей (особенно в пьесах французских драматургов), таких, как Тартюф, Фигаро («Женитьба Фигаро»), Сирано де Бержерак. «Когда Мариус Мариусович Петипа вошел в состав труппы Камерного театра, ему было семьдесят лет. Такова была молва. 〈...〉 Он выступил в «Сирано де Бержераке», звеня шпагой и восхищая почти юношеской свежестью...»—вспоминал Н. А. Еленев, историк искусств. *(Воспоминания о Цветаевой.* С. 259.)

[9] Цветаева читала свой сонет на закрытом вечере, посвященном М. М. Петипа и устроенном Таировым в честь «привлечения знаменитости» в театр. Об этом выступлении Цветаевой нам известно со слов Н. А. Еленева: «Весело, задорно поднялась из-за стола Цветаева. 〈...〉 Взглянув на Петипа на противоположной стороне сцены, слегка тряхнув юной «скобкой» своих пушистых волос, Марина начала произносить стихи. Ровным, слегка насмешливым голосом. 〈...〉 Обращаясь к Петипа на «ты», бросая ему горделиво-игривый вызов женщины, она предлагала ему—рыцарю чести и шпаги—сердце и жизнь. Но сердце и жизнь—не прихоть, не блажь, не причуды. Ей нужен обет, а залогом пусть послужат его честь и шпага. Дар за дар, верность за верность, но—смерть за вероломство. Умышленно использованный Цветаевой поэтический архаизм возвращал к внешней форме эпохи Людовика XIV. Никогда, ни раньше, ни позже, я не слышал столь откровенной эротики. Но удивительно было то, что эротическая тема была студена, целомудренна, лишена какого бы то ни было соблазна или чувственности. Сонет Цветаевой был замечательным образцом поэтического мастерства и холодного разума. А едва уловимый оттенок иронии сознательно, с расчетом уничтожал его любовный смысл.

Счастливая, юношески гордая, Марина торжествовала». (Там же. С. 261.) Текст сонета не сохранился.

[10] *Яблоновский* (настоящая фамилия Потресов) Сергей Викторович (1870—1953)—поэт, журналист, театральный критик. Был членом правления Литературно-художественного кружка, участвовал в ставившихся там спектаклях. В 1917 г. эмигрировал.

[11] Имеется в виду стихотворение «Колыбельная песня Асе» («Спи, царевна! Уж в долине...»). См. т. 1.

[12] *Béranger* — Беранже Пьер Жан (1780—1857) — французский поэт. Стихотворение под названием «La diligense» (старание, прилежание; дилижанс — *фр.*) в собрании Беранже не обнаружено.

[13] Каролина Павлова. Собр. соч.: В 2 т. М.: Издательство К. Ф. Некрасова, 1915.

[14] *Княжнин* Яков Борисович [1742(1740?) — 1791] — русский драматург, поэт, переводчик. Возможно, речь идет о томе из собрания сочинений или о конволюте, так как отдельным изданием «Комедии» Княжнина не выходили.

[15] *Позоева* Е. В. (1893—1977) — актриса Камерного театра. В беседе с Л. А. Юзбашян Е. В. Позоева вспоминала: «Марина была очень умна. Наверное, очень талантлива. Но человек она была холодный, жесткий; она никого не любила. ⟨...⟩ Ко мне она относилась очень доброжелательно, интересовалась моей игрой, ценила ее. Она любила Камерный театр, часто в нем бывала. И там она появлялась в черном ... как королева... и все шептали: «Это Цветаева... Цветаева пришла...» (Архив составителя).

[16] Стихотворение «Полнолунье и мех медвежий...» (27 ноября 1915 г.), которое Цветаева приводит в письме с разночтениями в ряде строк, в том числе в первой (см. т. 1).

9

[1] Шутливое прозвище Е. Я. Эфрон в молодости.

[2] Б. С. Трухачевым. См. также письмо 4 к П. И. Юркевичу и комментарий 6 к нему.

[3] Этот рассказ в письме Цветаевой послужил «канвой» для очерка «История одного посвящения» (см. подробно: *ВЛ.* 1983. № 11. С. 211—213).

[4] М. А. Минц.

[5] Поэтесса и артистка, героиня романа Жермены де Сталь (1766—1817) «Коринна, или Италия» (1807).

[6] П. Я. Эфрон. См. письма к нему.

10

[1] С. Я. Эфрон в это время продолжал учебу в 1-й Петергофской школе прапорщиков.

[2] А. И. Цветаева гостила в Петрограде у старшей сестры С. Я. Эфрона, Анны Яковлевны.

[3] См. комментарий 11 к письму 33 к М. А. Волошину.

[4] Б. С. Трухачев.

[5] Н. А. Плуцер-Сарна.

[6] См. комментарий 1 к письму 11.

11

[1] Письмо написано из родильного дома, где 13 апреля у М. Цветаевой родилась вторая дочь, Ирина.

[2] Н. А. Плуцер-Сарна.

[3] Магазин по имени владельцев. Возможно, торговый дом Френкелей на Тверской улице.

[4] Прислуга семьи Цветаевой.

[5] Так называли комнату, где гостили друзья мужа Цветаевой.

[6] М. А. Минц.

12

[1] В эти дни подошло к концу полугодовое учение С. Я. Эфрона в школе прапорщиков, и он был зачислен в 56-й пехотный запасной полк. Учебная команда полка была послана в Нижний Новгород для наведения порядка в охваченном волнениями городе. В письме С. Я. Эфрона, о котором упоминает Цветаева, мог быть рассказ о том, как взбунтовавшиеся солдаты несколько дней назад учинили расправу над юнкерами. Памяти погибших Цветаева посвятила стихотворение «Юнкерам, убитым в Нижнем». См. т. 1.

[2] Н. А. и Т. И. Плуцер-Сарна.

[3] Л. А. Тамбурер.

13

[1] С. Я. Эфрон 10 октября 1939 г. был арестован и находился в это время в Бутырской тюрьме.

[2] *10-го годовщина* — ареста С. Я. Эфрона. *День рождения* — С. Я. Эфрон родился 11 октября 1893 г. (29 сентября по старому стилю). *Трехлетие отъезда* — Цветаева имеет в виду отъезд мужа из Франции.

[3] А. С. Эфрон была арестована 27-го августа 1939 г.

[4] Георгий Эфрон — сын Цветаевой.

[5] Из басни И. А. Крылова «Демьянова уха» (1813).

[6] Переводы немецких песен при жизни Цветаевой не были напечатаны (см. т. 2). Позднее в этом журнале (Интернациональная литература. 1940. № 11 — 12) опубликованы переводы Цветаевой Ондры Лысогорского (с ляшского).

[7] *Муля* — Самуил Давыдович Гуревич (1903 — 1952, расстрелян) — близкий друг А. С. Эфрон, переводчик и журналист. В феврале 1940 г. Цветаеву обманула одна мошенница, взяв эти 750 рублей якобы как плату вперед за квартиру.

[8] Евгений Борисович Тагер и его жена, Елена Ефимовна. См. письма к Е. Б. Тагеру в т. 7.

[9] З. М. Ширкевич (1888 — 1977) — близкая подруга Е. Я. Эфрон. Она и Е. Я. Эфрон в это время находились на даче (ст. Ново-Иерусалимская).

[10] В Голицыне Цветаева жила зимой 1939/40 г., снимая там комнату и столуясь в Доме писателей.

А. М. КОЖЕБАТКИНУ

1

Палермо, 4-го апр⟨еля⟩ 1912 г.

Христос Воскресе,

милый Александр Мелетьевич! Мы встречаем Пасху в Palermo, где колокола и в постные дни пугают силой звона. Самое лучшее в мире, пожалуй, — огромная крыша, с к⟨отор⟩ой виден весь мир. Мы это имеем. Кроме того, на всех улицах запах апельсиновых цветов. Здесь много старинных зданий. Во дворе нашего отеля старинный фонтан с амуром. С нашей крыши виден двор монастырской школы. Сегодня мы наблюдали, как ученики приносили аббату подарки на Пасху и целовали ему руки. Пишите о Москве. Всего лучшего.

Марина Эфрон

Мой адр⟨ес⟩: Italie, Palermo, Via Allora, Hôtel Patria, № 48. M-me Marina Efron.

2

Сиракузы, 26/13-го апреля 1912 г.

Милый Александр Мелетьевич. Получили ли Вы мою открытку из Палермо? Я, кажется, перепутала № Вашего дома. Сегодня мы уезжаем из Сиракуз через Катанью и Мессину в Рим, из Рима — в Базель. Если захочется написать, то адр⟨ес⟩: Швейцария, Basel, poste restante, M-me Marina Efron. Что нового в Москве и Мусагете? Пока всего лучшего, С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ шлет привет.

МЭ.

Кожебаткин Александр Мелетьевич (1884—1942) — писатель, технический руководитель и секретарь издательства «Мусагет».

Знакомство М. Цветаевой с А. М. Кожебаткиным произошло, по-видимому, в издательстве «Мусагет» или в кругах, близких к нему (см. также письмо 2 к Эллису и комментарии к нему). Письма отправлены из Италии, куда 29 февраля 1912 г. молодожены М. Цветаева и С. Эфрон уехали из Москвы в свадебное путешествие.

Письмо 1 впервые — Памятники культуры. Новые открытия. 1988. — М.: Наука, 1989. С. 64 (публикация К. М. Азадовского). Письмо 2 — *Поэт и время*. С. 75. Печатаются по тексту первой публикации.

Ж. Г. и К. Ф. БОГАЕВСКИМ

Катания, 24/11-го апреля 1912 г.

Милые Жозефина Густавовна и Константин Федорович!

Из Палермо мы приехали в Катанию. Завтра едем в Сиракузы.

Ах, Константин Федорович, сколько картин Вас ждут в Сицилии! Мне кажется, это Ваша настоящая родина. (Не обижайтесь

за Феодосию и Коктебель.) В Палермо мы много бродили по окрестностям — были в Montreale, где чудный, старинный бенедиктинский монастырь с двориком, напоминающим цветную корзинку, и мозаичными колоннадами. После Сиракуз едем в Рим, оттуда в Базель. Если захочется написать, то адр⟨ес⟩ *Schweiz, Basel,* poste restante. Всего лучшего. Сережа шлет привет.

МЭ.

Богаевский Константин Федорович (1872—1943) — живописец. *Богаевская* (урожденная Дуранте) Жозефина Густавовна (1877—1969) — его жена.

Публикуется впервые по копии с оригинала, хранящегося в архиве Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского.

С К. Ф. Богаевским М. Цветаева познакомилась летом 1911 г. в Коктебеле на даче М. Волошина. Она высоко ценила творчество Богаевского. Надписывая ему в 1913 г. свой первый сборник, Цветаева назвала его «гениальным художником и прекрасным человеком» (хранится в частном собрании). Одно из посещений М. Цветаевой мастерской К. Ф. Богаевского в Феодосии ярко описано ее сестрой *(А. Цветаева.* С. 518—519).

В. Я. ЭФРОН

1

Милая Вера,

Спасибо за возмутительно-неподробное письмо. Мы около 2-х недель скитаемся и мечемся по Москве в поисках «волшебного дома»[1]. Несколько дней тому назад (это для приличия, по-настоящему — вчера) наконец нашли его в тихом переулочке с садами[2]. Что яблочный сад при нем — не верьте: просто зеленый дворик с несколькими фруктовыми деревьями и рыжим Каштаном в будке. Если хотите с Лилей жить в «волшебном доме», — будем очень рады. Одна комната большая, другая поменьше. Ответьте. Завтра Сережа едет в Петербург к Завадскому за разрешением[3], во вторник, по-видимому, дом будет наш. Нужно будет осенью устроить новоселье. До свидания, о подробном письме уже не прошу. Привет всем, вернее тем, кто меня любит. Другим не стоит.

Марина.

⟨Июнь 1912 г.⟩

2

⟨13-го сентября 1917 г.⟩

Милая Вера,

Я сейчас так извелась, что — или уеду на месяц в Феодосию[1] (гостить к Асе) с Алей, или уеду совсем. Весь дом поднять трудно, не знаю как быть.

Если Вы или Лиля согласитесь последить за Ириной в то время, как меня не будет, тронусь скоро. Я больше так жить не могу, кончится плохо.

Спасибо за предложение кормить Алю. Если я уеду, этот вопрос пока отпадает, если не удастся, — это меня вполне устраивает. Сейчас мы все идем обедать к Лиле. Я — нелегкий человек, и мое главное горе — брать что бы то ни было от кого бы то ни было.

Целую Вас и Асю.
МЭ.

Алю пришлю завтра в 6 часов.

3

1-го февраля 1940 г.

Милая Вера!

Очень большая просьба. Мне предлагают издать книгу избранных стихов[1]. Предложение вполне серьезное, человек с весом[2]. Но — дело *срочное*, потому что срок договоров на 1940 г. — ограниченный. Хочу составить одну книгу из двух — *Ремесла* и *После России*. Последняя у меня на днях будет, но Ремесла нет ни у кого. — Ремесло, Берлин, Издательство Геликон, 1922 г.[3]

Эта книга есть в Ленинской библиотеке, ее нужно было бы получить на руки, чтобы я могла ее переписать, то есть ту часть ее, которая мне понадобится[4]. А может быть у кого-нибудь из Ваших знакомых — есть?

Главное — что меня очень торопят.

Целую Вас, привет Коту[5].

МЦ.

Ремесло в Ленинской библиотеке — есть наверное, мне *все* говорят.

— Нынче (1-ое февраля) Муру 15 лет.

Эфрон Вера Яковлевна (1888—1945) — сестра С. Я. Эфрона, актриса, впоследствии режиссер художественной самодеятельности.

Письма 1 и 2 с небольшими сокращениями впервые — *А. Саакянц.* С. 40—41. Печатаются полностью. Письмо 3 впервые — *Соч. 88, 2.* Печатается по тексту первой публикации.

1

[1] М. Цветаева и С. Эфрон непродолжительное время снимали дом на Собачьей площадке (№ 8), собираясь купить собственный небольшой дом на деньги, подаренные им С. Д. Мейн (вдовой деда М. Цветаевой). Об этом доме и идет речь в письме.

«Волшебным домом» М. Цветаева называла дом своего детства в Трехпрудном переулке (см. стихотворение «Прости» волшебному дому», т. 1).

[2] Покупка дома, о котором речь в письме, не состоялась; был найден другой (на Б. Полянке, на углу 1-го Казачьего и М. Екатерининского переулков).

[3] Видимо, за разрешением на право покупки дома, так как С. Я. Эфрон был несовершеннолетним (ему не было еще двадцати лет).

Завадский Эдуард Владимирович — присяжный поверенный, опекун С. Я. Эфрона.

2

[1] См. письма 29 и 30 к М. Волошину.

3

[1] Подробно о работе М. Цветаевой над составлением своего сборника см.: *М. Белкина.* С. 124—125, 165—169, 199—202. Там же говорится и о причинах, из-за которых книга не вышла.

[2] Кто из руководителей Гослитиздата сделал это предложение, неизвестно.

[3] *«Ремесло»* вышло в 1923 г. *«После России»* — последний прижизненный сборник М. Цветаевой, составленный из стихов 1922—1925 гг. (Париж, 1928).

[4] В. Я. Эфрон в это время работала в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина.

[5] Домашнее прозвище Константина Михайловича Эфрона, сына В. Я. Эфрон.

Е. Я. и В. Я. ЭФРОН

Феодосия, 28-го февраля 1914 г. — пятница.

Милые Лиля и Вера,

Вчера получили окружное свидетельство, может быть, оно зачтется Сереже, если кто-нибудь похлопочет. Но влиятельных лиц здесь очень мало и хлопочут они неохотно, — противно обращаться, тем более, что это все незнакомые[1].

С⟨ережа⟩ занимается с 7-ми часов утра до 12-ти ночи, — что-то невероятное. Очень худ и слаб, выглядит отвратительно. Шансы выдержать — очень гадательны: директор, знавший папу и очень мило относящийся к С⟨ереже⟩, и инспектор — по всем отзывам грубый и властный — в контрах. Кроме того, учителя, выбранные С⟨ережей⟩, никакого отношения к гимназии не имеют. Все это не предвещает ничего хорошего, и во всем этом виноват П⟨етр⟩ Н⟨иколаевич⟩[2], наобещавший бог весть каких связей и удач.

У нас весенние бури. Ветер сшибает с ног и чуть ли не срывает крышу. Последние дни мы по утрам гуляем с Максом — Ася и я. Макс очень мил, приветлив и весел, без конца рассказывает разные истории, держа нас по 1 1/2 часа у входных дверей. — «А вот я еще вспомнил»...

— Але скоро 1 1/2 года. Посылаю Пра ее карточку. Она говорит около 70-ти слов, почти все верно — и понимает почти все повелительные наклонения. Недавно водила ее к доктору. Сердце и легкие отличные, но есть малокровие. Доктор прописал железо.

Пока до свидания! Всего лучшего, пишите.

МЭ.

Впервые — *А. Саакянц.* С. 58. Печатается по тексту первой публикации.

[1] О подготовке С. Я. Эфрона к экзаменам см. письмо 3 к В. В. Розанову.

[2] П. Н. Лампси.

М. С. ФЕЛЬДШТЕЙНУ

1

Коктебель, 27-го мая 1913 г., понедельник

Милая Волчья Морда[1],

Сейчас на темном небе яркий серп месяца, совсем серебряный, — горящее серебро. В воздухе многочисленные голоса собак. Влетела бабочка и, трепыхаясь, ползет по столу. Лева[2] говорит: «Марина, сейчас влетят разные летучие мыши и всякая гадость».

Мы только что кончили ужинать, — было крикливо, неловко и уныло. Крикливо из-за двух сестер, неловко из-за окриков на них Пра перед матерью и уныло из-за слишком ясного знания всего, что будет.

События сегодняшнего дня: мытье автомобиля перед его окраской, большая прогулка в горы. Мы отделились от художников: Эва Адольфовна[3], Сережа, Копа, Тюня[4] и я. Какие горы

мы видели, какие скалы, какое море! Сидели, спустя ноги в пустоту, пили воду из какой-то холодной дыры (источника), видели все море и чуть ли не весь мир. Произошел инцидент с Тюней. Сережа сказал, что талья у него самая тонкая из всех присутствующих (талий) и, возмущенный возражением Тюни, стал примерять ее пояс. Он, действительно, наделся на последнюю дырку, но при первом Сережином вздохе... лопнул,—совсем, окончательно, даже кончик отскочил шагов на пять. Тюня тотчас же назвала Сережу свиньей, потом отошла и всю остальную дорогу была гнусна.

Эва Адольфовна была в шароварах Пра и в своем татарском кафтане. Она купила себе голубой купальный костюм в «Бубнах»[5], и мы после прогулки купались, она и я.

Майя[6] тоскует, плакала уже в комнате Эвы Адольфовны, у себя и у Пра.

—«Ну, зачем Вы его выбрали? Что в нем такого? Толстый, с проседью*, в папаши Вам годится! Любить никого не может, я сама часто плачу из-за этого, я понимаю, как Вам должно быть горько. Да плюньте на него! Выбрали бы себе какого-нибудь юношу, стройного, красивого, молодого, вместе бы бегали, вместе бы сочиняли стихи...»

— «Но я не могу на него плюнуть...»

Я думаю! Бедная Майя!

Пра все более и более восторгается Эвой Адольфовной.

А м. б. Вы уже далеки от всего этого.

Трещат цикады. На воле чудно—огромная, тихая ночь.

Я буду счастлива, я знаю, что существенно и не существенно, я умею удерживаться и не удерживаться, у меня ничего нельзя отнять. Раз внутри—значит мое. И с людьми, как с деревьями: дерево мое—и не знает, так же человек, душа его.

Со мной даже бороться нельзя: я внешне ничего не беру— и никто не знает, как много—внутри.

Желтый и синий лев (подарок Э⟨вы⟩ А⟨дольфовны⟩ и Петра Ник⟨олаевича⟩[7]) смотрит одобрительно. Он сидит рядом с львиной тарелкой[8] с одной стороны и настоящим Левой—с другой.

Автомобиль, пламенно вымытый обормотами, уехал краситься, и вернется вместе с Вами (?) через неделю.

Привет обоим *белым* волкам[9].

МЭ.

2

Коктебель, 28-го мая 1913 г.

Милый Михаил Соломонович,

Сначала хроника: сегодня утром приехала невероятная, долгожданная, мифическая «мамаша»[1], в к⟨оторую⟩ так не верила

* Бедная Волчья Морда! *(примеч. М. Цветаевой)*

Пра, и — представьте себе! — я пожертвовала этим зрелищем для того, чтобы писать Вам письмо.

— Цените? — Вчера Лиля, Эва Адольфовна и Сережа уехали первые, я осталась одна у Петра Николаевича. Пили кофе. Он закатывал глаза, говорил туманно и прерывал свою пламенную речь озабоченными восклицаниями, вроде: «А Вам, может быть, мало сахара?» Я, не смущаясь, говорила дальше. Потом пришла Потапенко[2] — одна из жен знаменитого писателя, — и повела нас обедать в какую-то невероятную семью — невероятную своей естественностью, нормальностью провинциализма. Мне сначала понравились эти маленькие, «уютные» комнатки, но потом вдруг стало гнусно. Кроме матери и пятерых детей — всех черных — был еще белый кот, пара тому, черному, у Рогозинских[3]. Что это был за кот! Длинный, худой, цепкий, с бело-желтыми глазами и хриплым, унылым, каким-то предсмертным голосом. Я сделала попытку приласкать его, но не могла. Выходя из этого милого семейства, П⟨етр⟩ Н⟨иколаевич⟩ сказал: — «Нет, Марина, не верьте, что этот кот когда-нибудь был хорошим. Такие коты хорошими не бывают». — О его прежней хорошести говорила хозяйка в оправдание настоящей его гнусности.

Да! Утром, в 5 часов, Эва Адольфовна и Лиля отправились на пристань и пропустили пароход с Соколом[4], к⟨отор⟩ый, как оказалось после, вообще не приехал.

— Майя вчера ходила в белой головной повязке, Тюня в красивой прическе, делавшей ее похожей на английскую гравюру. Они очень подружились, сидели по обеим сторонам Макса, но когда Тюня нацепила Максу бантик и обезобразила этим его до крайности, Майя, совсем бледная, вышла.

Погода чудная, яркая, жаркая. Вчера Ванда Александровна[5] привезла огромную корзину черешен, — я вспомнила о Вас.

Гудит автомобиль, — кто-то уезжает в Феодосию.

— Без Вас наша жизнь потеряла много остроты. Многое еще хотелось бы Вам сказать.

Всего лучшего, до свидания.

МЭ.

3

Коктебель, 28-го мая 1913 г., вторник

Милый Михаил Соломонович,

Сегодня я узнала от Э⟨вы⟩ А⟨дольфовны⟩, что Вы не приедете. Когда *Вы* это узнали, вспомнили ли Вы мое предсказание?

— Очень жаль! Вы застали здесь только предчувствие лета. А сейчас жара, синева. Мы будем ночью ходить в горы. Хорошо будет ночевать на воле! Разожжем костер, возьмем с собой чайник, черешен, увидим восход луны и солнца.

Ужасно, ужасно жаль. Вы, мне кажется, должны любить ночные прогулки и ночные костры. А знаете, когда костер самый лучший? Вечером, на закате, вернее, тотчас же после заката. Дым и розовое небо.

Сегодня приехала Вера[1]. У нее на чердаке прелестно: везде шелковые шали, книги, из окна вид на море.

Пока я не знала, что Вы не приедете, я с радостью писала Вам, мне хотелось, чтобы Вы ничего не пропустили и, приехав, сразу жили дальше, как мы все. Теперь же я чувствую безнадежность все передать, сохранить Вас действующим лицом и тщетность моих частых писем. Когда Вы едете за границу?

Э⟨ва⟩ А⟨дольфовна⟩ в восторге от Пра, Пра в еще большем от нее. Ее подкупает и очаровывает откровенность Э⟨вы⟩ А⟨дольфовны⟩, женственность ее переживаний. Недавно Э⟨ва⟩ А⟨дольфовна⟩ положила голову на колени Пра и воскликнула: «Ах, Пра, какая Вы мудрая!» — я бы не сказала. Она понимает все очень элементарно и многого, многого совсем не может понять. С Пра *я* совсем не могу говорить ни о своей жизни (внешне-внутренней), ни о своей душе. У нас с ней прекрасные отношения — вне моей сущности.

— Слушайте! Когда у нас будет дом в Тарусе, обязательно приезжайте[2]. Там липовый сад, два маленьких дома, коты, золотое вечернее небо и наше детство. Почему мне сейчас показалось, что Вам скучно слушать о детстве?

Вблизи широкая голубая Ока, плоты, у нас будет лодка. Есть еще грустный, грустный, серый, чахлый базар с режущей душу музыкой, почта с никогда не приходящими долгожданными письмами, а потом воля, синие дали, огромные луга, костры, небо.

Там очень грустно, почти невыносимо жить. Все кажется прошлым и сном. Главное я забыла: чудные часы со штраусовскими вальсами[3]. Это уже почти смерть, такая острая и сладкая тоска, такая невозможность жить, что становишься тенью, гибнешь, уплываешь.

В этих часах — весь романтизм, вся боль обожания, вся жажда смерти, — вся моя душа.

Но это далеко, далеко.

Слушайте, если мы до тех пор почему-нибудь разойдемся, я уеду, и Вы один еще лучше переживете все, о чем я Вам писала.

До свидания, привезите мне что-нибудь из Мюнхена[4].

МЭ.

4

Коктебель, 7-го мая / июня![1] 1913 г., пятница

Милый, как мне Вас жаль из-за проданного имения[2] и как дерзко, что Вы мне так долго не отвечаете. Je me partage entre ces

deux sentiments*. Сейчас шесть часов вечера, за окном качается порозовевшая трава.

Слушайте, что бы Вы сейчас ни делали, бросьте все: садитесь в вагон, из вагона — в экипаж, велите лошадям звенеть бубенцами, нюхайте гадкую траву (помните?), восторгайтесь показавшейся вдали башней Макса, — пусть она растет, и когда дорастет до естественных размеров, прыгайте с экипажа.

— Все это, конечно, мысленно.

Потом мы будем пить чай на террасе, — без конфет, но с радостью. А когда стемнеет, будем проявлять. (Сегодня мы три раза снимали море за Змеиным гротом.) Потом пойдем за калитку и увидим восход луны.

Ах, вчера было чудно! Огромная желтая луна над морем, прямо посреди залива, и под ней длинная полоса грозно-летящих облаков. Луна то исчезала, то вспыхивала в отверстии облака, то сквозила слегка, то сразу поднималась. Казалось, все летит: и луна, и облака, и Юпитер. — Все небо летело.

Говорили о конце света, и Вера боялась идти на свой чердак, где с потолка сыплется известка, а в щели врывается и воет ветер.

Мы с Сережей и Тюней — втроем — танцевали вальс.

Сегодня Сережа, Сокол и я были за Змеиным гротом, дальше того места, где я Вас с Сережей снимала. Мы взобрались на острую, колючую скалу и сидели, свесив ноги. Были огромные, бешеные волны.

Сейчас много черешен, — бедное мое волчье золото! Мы сегодня вчетвером съели девять фунтов. Пра перестала давать обеды, и мы теперь ходим в столовую на горе: Лиля, Сережа, Сокол, Маня Гехтман[3] (помните ночь после Халютиной?[4] Вы очень сердитесь на меня за записку?), Вера, Тюня, Копа и я. Остальные обедают в другом месте. В столовой мило и похоже на Швейцарию. Из одного окна вид совсем Швейцарский, из другого — напоминает Св⟨ятую⟩ Елену[5]: пустынные желтые холмы, за к⟨оторы⟩ми чувствуется океан.

Чтобы привести в ужас других обедающих, Сережа и Сокол рассказывают самые невероятные вещи: об острове Цейлоне, поездках на Циппелине[6], знакомстве с франц⟨узским⟩ премьером и т. п. Сегодня они были обезьянами.

Да, у нас завелся новый француз: тоже сентиментальный, но еще не влюбленный в Лилю. Мы с ним собирали камешки, и я дала ему один — довольно гадкий. Он тотчас же сделал вид de la mettre sur son coeur (la pierre)**.

Петр Николаевич привез с собой много вина (он же привез француза), — был последний и самый буйный ужин. Кончилось тем, что Маня Г⟨ехтман⟩ заснула в комнате у Макса, несмотря на то, что француз идеально изображал кинематограф.

* Колеблюсь между двумя этими чувствами *(фр.)*.
** Что прикладываст его (камень) к сердцу *(фр.)*.

— А все-таки интересно, напишете ли Вы мне, или нет? —

Эва Адольфовна последние дни совсем не была в Коктебеле. Это мы все ясно чувствовали. Проводы были без пороха, м. б., из-за ее слабого желания скорой встречи. Она под конец совсем устала и сама не знала, хочет ли вернуться в Коктебель.

Передайте ей мой нежный привет. Впрочем, она раньше Вас получит от меня письмо. До свидания, всего лучшего.

МЭ.

P. S. Спасибо за письмо*. Прочтите эту фразу ласковей, чем она звучит.

Коктебель, 8-го июня 1913 г., суббота[7]

Мордочка моя золотая, милая, волчья! Значит я верно поняла, что эта продажа имения будет для Вас горем! Как мне Вас жаль, как мне больно за Вас! И ничего нельзя сделать. Слушайте, я непременно хочу, чтобы Вы побывали у нас в Трехпрудном, увидели холодный низ и теплый верх, большую залу и маленькую детскую, наш двор с серебристым тополем, вывешивающимся чуть ли не на весь переулок, — чтобы Вы все поняли! А главное — чтобы Вы увидели Андрея[8], так не понимающего, чем был и есть для нас *его* дом. Тогда — мне кажется — Вы поймете глубину и остроту моей боли за Вас.

Проходя мимо дома в Трехпрудном, мне всегда хочется сказать: «ci gît ma jeunesse»**.

Вы для меня теперь освящены страданием, Вы мне родной.

Я много думаю о Вас.

Не вчитывайтесь в мое третье письмо[9], мне отчего-то хотелось сделать Вам больно, я злилась на Вашу покорность судьбе. Но заметьте одно странное совпадение: в конце этого письма я писала Вам о маленьком доме под большими липами на берегу Оки. Что-то во мне как будто почуяло продажу Катина и предлагало Вам — очень робко — то, что будет у меня.

Когда мне было 9 лет — мы были тогда в Тарусе, — я сказала гувернантке: «Мы живем здесь семь лет подряд, но мне почему-то кажется, что наша жизнь очень изменится и мы сюда долго не приедем». Через месяц мама заболела туберкулезом, мы уехали за границу и вернулись в Тарусу через 4 года, — мама там и умерла. —

Слушайте, это не фраза: что бы потом не было, я никогда не отрекусь, что Вы одна из самых моих благородных встреч.

МЭ.

---

* Первое, — второе я получила на другой день *(примеч. М. Цветаевой).*

** Здесь покоится моя юность *(фр.).*

Мальчиком, бегущим резво,
Я предстала Вам.
Вы посмеивались трезво
Злым моим словам:

«Шалость – жизнь мне, имя – шалость!
Смейся, кто не глуп!»
– И не видели усталость
Побледневших губ.

Вас притягивали луны
Двух огромных глаз, —
Слишком розовой и юной
Я была для Вас!

Тающая легче снега,
Я была, как сталь.
Мячик, прыгнувший с разбега
Прямо на рояль,

Скрип песка под зубом, или
Стали по стеклу…
Только Вы не уловили
Грозную стрелу

Легких слов моих и нежность
Самых дерзких фраз, –
Каменную безнадежность
Всех моих проказ!

Коктебель, 29-го мая 1913 г., среда[10].

МЭ.

5

Ялта, 20-го сентября 1913 г., суббота

Дорогой друг,

мне пришла идея – очаровательная и непреодолимая – написать Вам по-французски. Мы вступили в новую эпоху наших отношений – спокойную и прелестную, когда две души расстаются без печали и встречаются с удовольствием.

Надо было начать вот с чего! У меня к Вам есть одно предложение, которое Вы вольны отклонить, и которым я же первая, может быть, не воспользуюсь, – предложение безо всякого обязательства. Поскольку Вы любитель человеческих душ и поскольку моя душа, как мне кажется, прямо-таки создана для таких любителей, – я предлагаю Вам стать моим исповедником, – очаровательным и очарованным исповедником, но таким же верным, как если бы ему были доверены государственные тайны.

Начнем с того, что прекрасные глаза, недуг и недружелюбие Петра Эфрона[1] два дня не давали мне покоя и продолжают быть моей мечтой еще и теперь — раз в неделю, в течение пяти минут перед тем, как заснуть.

Его худое лицо — совсем не красивое, его истомленные глаза — прекрасные (он как бы не имеет сил открыть их полностью) могли бы стать моей истинной болью, если бы моя душа так гибко не уклонялась бы от всякого страдания, сама же летя в его распростертые объятия.

Что еще сказать Вам?

Знаете ли Вы историю другого молодого человека, проснувшегося в одно прекрасное утро увенчанным лаврами и лучами? Этим молодым человеком был Байрон, и его история, говорят, будет и моей. Я этому верила и я в это больше не верю.

— Не та ли это мудрость, которая приходит с годами? Я только знаю, что ничего не сделаю ни для своей славы, ни для своего счастья. Это должно явиться само, как солнце.

Примите, сударь, уверение в моем глубоком доверии, которое Вы, возможно, не оправдаете?

Марина Эфрон.

6

Феодосия, 11-го декабря 1913 г., четверг

Милый Михаил Соломонович,

Сереже лучше, — вчера ему дали пить. Около трех суток он ничего не пил и говорил только о воде. Ужасно было сидеть с ним рядом и слушать, а потом идти домой и пить чай. Подробности операции пишу Лиле[1].

Вы меня очень тронули телеграммой. Приходится вспомнить слова Goethe: «Wie ist doch die Welt so klein! Und wie muss man die Menschen lieben, die wenigen Menschen, die einen Lieb haben*».

Впрочем, Goethe сказал много, но мне больше нравится по-своему.

Вот мои последние стихи:

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверстую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.

* Как же мал мир! И как надо людям любить друг друга, немногим, кого объединяет любовь *(нем.)*.

Застынет все, что пело и боролось,
Сияло и рвалось.
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.

И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня,
И будет все, как будто бы под небом
И не было меня!

Изменчивой, как дети, в каждой мине
И так недолго злой,
Любившей час, когда дрова в камине
Становятся золой.

Виолончель и кавалькады в чаще,
И колокол в селе...
— Меня, такой живой и настоящей
На ласковой земле!

— К вам всем (что мне, ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои?!)
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.

И день и ночь, и письменно и устно,—
За правду «да» и «нет»,
За то, что мне так часто слишком грустно
И только двадцать лет,

За то, что мне — прямая неизбежность
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид,

За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру...
— Послушайте! Еще меня любите
За то, что я умру.

Всего лучшего. Буду рада Вашему письму и тогда напишу еще. Привет Эве Адольфовне.

МЭ.

7

Феодосия, 23-го декабря 1913 г., понедельник

Дорогой Михаил Соломонович,

Пишу Вам в каком-то тревожном состоянии. Сейчас я у Аси одна во всем доме, если не считать спящего Андрюши[1].

— В такие минуты особенно хочется писать письма.

Сейчас вся Феодосия в луне. Я бежала вниз со своей горы и смотрела на свою длинную, черную-черную тень, галопировавшую передо мною. Рядом бежала собака Волчек — вроде Волка. (Не примите за намек!) — Ах, я только сейчас заметила, что написала с большой буквы! Вот, что значит навязчивая боязнь не так быть понятой! — (Это, кажется, сказала Сидорова*я*[2], — вся прелесть в «я»!)

Сколько скобок! Восклицательных знаков! Тире!

Завтра будет готово мое новое платье — страшно праздничное: ослепительно-синий атлас с ослепительно-красными маленькими розами. Не ужасайтесь! Оно совсем старинное и волшебное. Господи, к чему эти унылые английские кофточки, когда так мало жить! Я сейчас под очарованием костюмов. Прекрасно — прекрасно одеваться вообще, а особенно — где-нибудь на необитаемом острове, — только для себя!

В Феодосии — ослепительные сверкающие дни. Сегодня был дикий ветер, сегодня я видала женщину, родившуюся в 1808 г., сегодня лунная ночь, а завтра будет готово мое новое платье!

— Видели ли Вы Сережу и как нашли его? Если можете, постарайтесь оставить его в Москве до 28-го. Я боюсь, что он тотчас же захочет в Феодосию и не успеет отдохнуть от дороги[3].

Пишите, где и как провели Сочельник и Новый Год. Пришлите мне какую-нибудь хорошую карточку Тани[4].

Это пока все мои просьбы. М. б., когда-нибудь будет одна — большая.

Всего лучшего Вам обоим, Вам троим.

МЭ.

Фельдштейн Михаил Соломонович (1884* — 1939) — юрист, профессор права. С 1934 г. до ареста в 1938 г. работал в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина. М. С. Фельдштейну принадлежат переводы с итальянского произведений Н. Макиавелли (1469 — 1527) и Ф. Гвиччардини (1483 — 1540). Были опубликованы в 1934 г. в издательстве «Academia».

Знакомство М. И. Цветаевой с М. С. Фельдштейном состоялось при содействии М. А. Волошина в Москве в конце 1912 — начале 1913 г. К М. С. Фельдштейну обращены стихи Цветаевой «Я сейчас лежу ничком...» и «Мальчиком, бегущим резво...» (см. т. 1).

Впервые — журнал «De Visu». М. 1993. № 9 (публикация Д. А. Беляева). Печатаются по тексту первой публикации (с частичным использованием комментариев). Письмо 5 — пер. с фр. Е. Б. Коркиной.

1

[1] Источник этого обращения не установлен.

[2] С. Я. Эфрон. См. комментарий 2 к письму 1 к нему.

[3] Е. А. Фельдштейн. См. письмо к ней.

* 1885 (по сведениям Е. М. Лубянниковой).

[4] Московские знакомые М. А. Волошина, Е. Я. и С. Я. Эфронов. *Копа* — Субботина Капитолина, актриса Свободного театра в Москве в 1913—1914 гг. *Тюня* — младшая сестра К. Субботиной.

[5] Кафе на берегу моря в Коктебеле, получившее свое название от пословицы «Славны бубны за горами».

[6] М. П. Кудашева. См. письмо к ней.

[7] П. Н. Лампси.

[8] О фаянсовой тарелке с изображением льва, «похожего» на М. Волошина, см. в очерке «Живое о живом» (т. 4).

[9] *...обоим белым волкам.* — Имеются в виду К. Ф. Богаевский и К. В. Кандауров, друзья, обычно упоминавшиеся вместе (Купченко В. К публикации писем М. И. Цветаевой. De Visu. М. 1993. № 11. С. 93).

2

[1] Мать сестер, упоминаемых в письме 1.

[2] Речь идет о *Потапенко* Елене Константиновне, сестре П. Н. Лампси. Одно время была женой писателя *Потапенко* Игнатия Николаевича.

[3] *Рогозинский* Владимир Александрович (1882—1951) — инженер, архитектор; его жена *Рогозинская* (урожденная Лаоссон) Ольга Артуровна (1888—1971) — друзья М. А. Волошина.

[4] *Сокол* — Соколов Владимир Александрович (1889—1965) — актер, режиссер.

[5] Сестра В. А. Рогозинского (в первом браке Гансен, во втором — Чукашева; 1878—1943). (Сведения В. П. Купченко.)

3

[1] В. Я. Эфрон.

[2] Вероятно, Цветаева и ее муж намечали приобрести (получить в наследство?) дом в Тарусе, где жила С. Д. Мейн (по прозвищу «Тьо»), вдова А. Д. Мейна. Цветаева с мужем гостили у нее в Тарусе около месяца летом 1912 г.

[3] В письме к В. Я. Эфрон от 11 июня 1912 г. Цветаева пишет о чудачествах С. Д. Мейн: «Часы с вальсами Штрауса и Ланнера больше не ходят, она говорит, что это после нашего последнего приезда». (Цит. по: De Visu. М. 1993. № 9. С. 22.)

[4] Поездка М. С. Фельдштейна в Германию не состоялась.

4

[1] В автографе в написании даты письма слово «июня!» вписано Цветаевой над незачеркнутым словом «мая».

[2] *Катино* — имение Гольдовских в Тверской губернии. Было продано в начале июня 1913 г.

[3] *Гехтман* Мария Лазаревна (1892—1947) — пианистка, близкая подруга Е. Я. и В. Я. Эфрон.

[4] *Халютина* Софья Васильевна (1875—1960) — артистка Московского Художественного театра, педагог.

[5] На острове св. Елены провел в ссылке свои последние годы Наполеон.

[6] *Цеппелин* (у Цветаевой ошибка: Циппелин) — дирижабль, названный по имени его конструктора, немецкого генерала, графа Фердинанда Цеппелина (1838—1917).

[7] Продолжение письма от 7 июня 1913 г.

[8] Андрей Иванович Цветаев был наследником отцовского дома в Трехпрудном переулке в Москве.

[9] См. письмо 3.

[10] Такая же дата (29 мая) поставлена Цветаевой в машинописном экземпляре сборника «Юношеские стихи» (архив В. Швейцер). В первой публикации (Цветаева М. И. Избранные произведения. М.; Л., 1965) и последующих стихотворение датировано 19 мая 1923 г. Есть разночтения в последней строфе.

5

[1] См. письма к П. Я. Эфрону.

6

[1] С. Я. Эфрон перенес операцию аппендицита. Письмо Цветаевой к Е. Я. Эфрон с подробностями операции не сохранилось.

7

[1] Андрей Трухачев, сын А. И. Цветаевой.

[2] По предположению Д. А. Беляева, *Сидоровая* — некий вымышленный персонаж (возможно, шуточный псевдоним Цветаевой), провозглашающий серьезным тоном обыденные вещи. В письме Цветаевой к В. Я. Эфрон от ⟨17⟩ сентября 1913 г. упоминается данный персонаж:

«Милая Вера,
«Я не съела ни листа, —
Как могла я быть сыта?»

Это Сидоровая поздравляет Вас с именинами».
(Цит. по: «De Visu». 1993. № 9. С. 24.)

[3] С. Я. Эфрон на несколько дней уехал в Москву, к Новому году он вернулся в Феодосию.

[4] Дочь М. С. Фельдштейна и Е. А. Фельдштейн (родилась в 1910 г. По мужу — Митрян).

Е. А. ФЕЛЬДШТЕЙН

Курск, 7-го сент⟨ября⟩ 1913 г., 1 ч. дня[1]

Дорогая Эва Адольфовна.

Отъезжая, я вдруг вспомнила, что еду без паспорта и, следовательно, не могу ночевать в гостинице. Послала телеграмму Петру Николаевичу[2], — м. б., у него есть кто-нибудь знакомый в Севастополе. Жду его ответа на Севаст⟨опольском⟩ вокзале. Если

и он ничего не найдет — придется всю ночь гулять по Севастополю. Безумная жара. Всю ночь подо мной происходили бешеные столкновения человеческих душ: женские выгоняли мужские. Пока всего лучшего, спасибо за проводы. Привет всем Вашим. Еду.

МЭ.

Фельдштейн (урожденная Леви) Ева (у Цветаевой везде — Эва) Адольфовна (1886—1964) — художница. Первая жена М. С. Фельдштейна. Их брак, заключенный в 1909 г., распался в 1918 г.

Печатается по тексту первой публикации в журнале «De Visu». М. 1993. № 9. С. 18 (публикация Д. А. Беляева).

[1] Письмо написано по дороге из Москвы в Крым.

[2] П. Н. Лампси.

Е. А. и М. С. ФЕЛЬДШТЕЙНАМ

⟨Москва, октябрь 1916 года⟩[1]

Милые Эва и Миша,

Пишу к Вам по поручению Сережи. Он просит у Вас рекомендательное письмо к Петухову[2].

Сам он очень торопился в лечебницу. Если письмо уже существует, передайте его, пожалуйста, моей прислуге.

Всего лучшего.

МЭ.

P. S. Мои интимные письма — слишком интимны, официальные — слишком официальны.

Извините меня за скуку этого и не сомневайтесь в моей искренней симпатии.

Печатается, как и предыдущие письма, по тексту первой публикации в журнале «De Visu».

[1] Дата установлена Д. А. Беляевым.

[2] *Петухов* Николай Григорьевич — экономист, знакомый М. С. Фельдштейна. В то время был уполномоченным отдела санитарных поездов во Всероссийском земском союзе помощи больным и раненым воинам. Предполагалось устройство С. Я. Эфрона на работу в этот союз (De Visu. М. 1993. № 9. С. 24).

М. П. КУДАШЕВОЙ

Ялта, 14-го сент⟨ября⟩ 1913 г.,
Воздвижение, день рождения Аси (19 лет)

Милая Майя,

Читаю Ваши стихи — сверхъестественно, великолепно![1] Ваши стихи единственны, это какая-то detresse musicale!* — Нет слов —

* Музыкальное томление *(фр.)*.

у *меня* нет слов—чтобы сказать Вам, как они прекрасны. В них все: пламя, тонкость, ирония, волшебство. Ваши стихи—высшая музыка.

Майя, именно про Вас можно сказать:

Et vous avez à tout jamais—dix-huit ans!*

Я сейчас лежала на своем пушистом золотистом пледе (последний подарок папы, почти перед смертью) и задыхалась от восторга, читая Вашу зеленую с золотом тетрадь.

Ваши стихи о любви—единственны, как и Ваше отношение к любви. Ах, вся Ваша жизнь будет галереей прелестных юношеских лиц с синими, серыми и зелеными глазами под светлым или темным шелком прямых иль вьющихся волос. Ах, весь Ваш путь—от острова к острову, от волшебства к волшебству! Майя, вы—Sonntags-Kind**, дитя, родившееся в воскресенье и знающее язык деревьев, птиц, зверей и волн.

Вам все открыто, Вы видите на версту под землей и на миллиарды верст над самой маленькой, последней видимой нам звездой. Вы родились волшебницей, Вы—златокудрая внучка какого-нибудь седого мага, передавшего Вам, умирая, всю мудрость свою и ложь. Мне Вы бесконечно близки и ценны, как солнечный луч на старинном портрете, как облачко, как весна.

Пишите больше и присылайте мне свои стихи, потом Вы мне их перепишете.

Ваши стихи для меня счастье.

Майя, у меня план: когда уедет Лиля[2], приезжайте ко мне недели на две, или на месяц,—на сколько времени Вас отпустит мама. Мы будем жить в одной комнате. Вам нужно только деньги на билеты и еду, квартира у меня уже есть.

Кювилье (по первому мужу—Кудашева, во втором браке—жена Ромена Роллана) Майя (Мария Павловна; 1895—1985)—поэтесса, переводчица.

Знакомство М. Цветаевой и М. Кювилье произошло, по всей вероятности, зимой 1912/13 г. в Москве. «Дочь русского полковника и француженки, Майя—по внешности—сохранила более французское наследие, чем русское. Владея великолепно русским языком, она в самом произношении слов, в проворно-отчеканенном темпе речи сохранила долю французской закваски. 〈...〉 Стихи и французская речь временно

* И вам раз навсегда—восемнадцать! *(фр.)*

** Счастливица (буквально: воскресное дитя—*нем.*).

сблизили Майю Кювилье с Мариной Цветаевой» (Фейнберг Л. В Коктебеле, у Максимилиана Волошина. — Дон. 1980. № 7. С. 186, 190).

Впервые — *А. Саакянц*. С. 51—52. Печатается по тексту первой публикации. Не окончено.

[1] М. Кювилье писала стихи как по-французски, так и по-русски. Публиковалась в коллективных сборниках (Второй сборник Центрифуги. М., [1916]; Ковчег. Альманах поэтов. Феодосия, 1920). Отдельными книгами ее стихи не выходили.

[2] Е. Я. Эфрон.

В. В. РОЗАНОВУ

1

Феодосия, 7-го марта 1914 г., пятница.

Милый, милый Василий Васильевич,

Сейчас во всем моем существе какое-то ликование, я сделалась доброй, всем говорю приятное, хочется не ходить, а бегать, не бегать, а лететь, — все из-за Вашего письма к Асе — чудного, настоящего — «как надо!».

Сейчас мы с Асей шли по главной улице Феодосии — Итальянской — и возмущались, почему Вы не с нами. Было бы так просто и так чудно идти втроем и говорить, говорить без конца.

Слушайте, как странно: это мои первые, самые первые слова Вам, Вы еще ничего не знаете обо мне, но верьте всему! Клянусь, что каждое мое слово — правда, самая точная.

Я ничего не читала из Ваших книг, кроме «Уединенного», но смело скажу, что Вы — гениальны. Вы все понимаете и все поймете, и так радостно Вам это говорить, идти к Вам навстречу, быть щедрой, ничего не объяснять, не скрывать, не бояться.

Ах, как я Вас люблю и как дрожу от восторга, думая о нашей первой встрече в жизни — может быть неловкой, может быть нелепой, но настоящей. Какое счастье, что Вы не родились 20-тью годами раньше, а я — не 20-тью позже!

Послушайте, Вы сказали о Марии Башкирцевой то, чего не сказал никто[1]. А Марию Башкирцеву я люблю безумно, с безумной болью. Я целые два года жила тоской о ней. Она для меня так же жива, как я сама.

О чем Вам писать. Хочется все сказать сразу. Ведь мы не виделись 21 год — мой возраст. А я помню себя с двух!

Посылаю Вам книжку моих любимых стихов из двух моих первых книг: «Вечернего альбома» (1910 г., 18 лет) и «Волшебного фонаря» (1911 г.)[2]. Не знаю, любите ли Вы стихи? Если нет — читайте только содержание.

С 1911 г. я ничего не печатала нового. Осенью думаю издать книгу стихов о Марии Башкирцевой и другую, со стихами двух последних лет[3].

Да, о себе: я замужем, у меня дочка 1 1/2 года — Ариадна (Аля), моему мужу 20 лет. Он необычайно и благородно красив, он прекрасен внешне и внутренно. Прадед его с отцовской стороны был раввином, дед с материнской — великолепным гвардейцем Николая I[4].

В Сереже соединены — блестяще соединены — две крови: еврейская и русская. Он блестяще одарен, умен, благороден. Душой, манерами, лицом — весь в мать. А мать его была красавицей и героиней.

Мать его урожденная Дурново[5].

Сережу я люблю бесконечно и навеки. Дочку свою обожаю.

Пишу Вам все это в ответ на Ваши слова Асе о замужестве.

Теперь скажу Вам, кто мы: Вы знали нашего отца. Это — Иван Владимирович Цветаев, после смерти которого Вы написали статью в «Новом времени»[6].

Еще лишнее звено между нами. Как радостно!

Сейчас вечер. Целый день я думала о Вас. Какое счастье!

Слушайте, я хочу сказать Вам одну вещь, для Вас, наверное, ужасную: я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни.

Отсюда — безнадежность, ужас старости и смерти. Полная неспособность природы — молиться и покоряться. Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить.

Все, что я сказала — правда.

Может быть, Вы меня из-за этого оттолкнете. Но ведь я не виновата. Если Бог есть — Он ведь создал меня такой! И если есть загробная жизнь, я в ней, конечно, буду счастливой.

Наказание — за что? Я ничего не делаю нарочно.

Посылаю Вам несколько своих последних стихотворений[7]. И очень хочу, чтобы Вы мне о них написали, — просто как человек. Но заранее уверена, что они Вам близки.

Вообще: я ненавижу литераторов, для меня каждый поэт — умерший или живой — действующее лицо в моей жизни. Я не делаю никакой разницы между книгой и человеком, закатом и картиной. — Всё, что люблю, люблю одной любовью.

〈*Далее приведены стихотворения.*〉

Милый Василий Васильевич, я не хочу, чтобы наша встреча была мимолетной. Пусть она будет на всю жизнь! Чем больше знаешь, тем больше любишь. Потом еще одно: если Вы мне напишете, не старайтесь сделать меня христианкой.

Я сейчас живу совсем другим.

Пусть это Вас не огорчает, а главное, не примите это за «свободомыслие». Если бы Вы поговорили со мной в течение пяти минут, мне не пришлось бы Вас просить об этом.

Кончаю мое письмо самым нежным, самым искренним приветом, пожеланием здоровья Вашей жене и Вам. Напишитемне о Вашей семье: сколько у Вас детей, какие они, сколько им лет?

Всего лучшего.

Марина Эфрон,
урожд⟨енная⟩ Цветаева.

Адрес: *Феодосия,* Анненская ул⟨ица⟩, дача Редлих
Марине Ивановне Эфрон.

P. S. С осени опять буду в Москве.

Хочется сказать Вам еще несколько слов о Сереже. Он очень болезненный, 16-ти лет у него начался туберкулез. Теперь процесс у него остановился, но общее состояние здоровья намного ниже среднего. Если бы Вы знали, какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша! Я постоянно дрожу над ним. От малейшего волнения у него повышается t°, он весь — лихорадочная жажда всего. Встретились мы с ним, когда ему было 17, мне 18 лет. За три — или почти три — года совместной жизни — ни одной тени сомнения друг в друге. Наш брак до того не похож на обычный брак, что я совсем не чувствую себя замужем и совсем не переменилась, — люблю все то же и живу все так же, как в 17 лет.

Мы никогда не расстаемся. Наша встреча — чудо. Пишу Вам все это, чтобы Вы не думали о нем, как о чужом. Он — мой самый родной на всю жизнь. Я никогда бы не могла любить кого-нибудь другого, у меня слишком много тоски и протеста. Только при нем я могу жить так, как живу — совершенно свободная.

Никто — почти никто! — из моих друзей не понимает моего выбора. Выбора! Господи, точно я выбирала!

Ну, кончаю. Когда Вы увидите Асю, Сережу и меня — очень непохожих! — Вы все поймете.

И эта встреча будет!

— Бесконечное спасибо Вам за Все!

МЭ.

2

Феодосия, 8-го апреля 1914 г., 3-й день Пасхи.

Милый Василий Васильевич,

Сейчас так радостно, такое солнце, такой холодный ветер. Я бежала по широкой дороге сада, мимо тоненьких акаций, ветер

трепал мои короткие волосы, я чувствовала себя такой легкой, такой свободной.

Сев за стол, я сразу взялась за ручку и вот еще не знаю, о чем буду писать.

— Сейчас подошла Аля в своем светло-желтом—белокуром—кудрявом пальто и, подняв на меня свои огромные ярко-голубые глаза, сказала: «До свидания», потом задумавшись, с ангельской улыбкой добавила: «и́—а́» (крик осла).

— Пишу Вам о папе. Он нас очень любил, считал нас «талантливыми, способными, развитыми», но ужасался нашей лени, самостоятельности, дерзости, любви к тому, что он называл «эксцентричностью» (я, любя 16-ти лет Наполеона, вставила его портрет в киот—много было такого!). Асе было 8, мне 10 лет, когда мы уехали за границу,—у мамы открылся туберкулез легких. За границей мы прожили безвыездно 3 года,—мама, Ася и я. Первый год все вместе в Nervi, потом папа уехал в Россию, мы с Асей—в Лозанну в пансион, мама осталась на второй год в Nervi. После Лозанны мы—мама, Ася и я—переехали в Шварцвальд. Лето провели с папой. Следующую зиму мы с Асей были в немецком пансионе во Фрейбурге, мама жила недалеко от нас. В феврале у нее возобновился туберкулезный процесс (совершенно окончившийся в Nervi), и она уехала в одну шварцвальдскую санаторию[1].

Зима 1905—06 г. прошла в Ялте. Это была мамина последняя зима. В марте у нее началось кровохаркание, вообще болезнь, раньше почти незаметная, пошла с жестокой быстротой.—«Хочу домой, хочу умереть в Трехпрудном!» (Переулок, где был наш дом.)

Мама умерла 5-го июля 1906 г. в Тарусе Калужской губ〈ернии〉, где мы все детство жили по летам. Смерть она свою предвидела ясно.—«Теперь начинается агония».

За день до смерти она говорила нам с Асей: «И подумать, что какие угодно дураки вас увидят взрослыми, а я...» И потом: «Мне жаль только музыки и солнца!» 3 дня перед смертью она ужасно мучилась, не спала ни минуты.

— «Мама, тебе поспать бы»...

— «Высплюсь—в гробу!»

Мама была единственной дочерью. Мать ее, из польского княжеского рода, умерла 26-ти лет. Дедушка всю свою жизнь посвятил маме, оставшейся после матери крошечным ребенком. Мамина жизнь шла между дедушкой и швейцаркой-гувернанткой,—замкнутая, фантастическая, болезненная, не-детская, книжная жизнь. 7-ми лет она знала всемирную историю и мифологию, бредила героями, великолепно играла на рояле.

Знакомых детей почти не было, кроме девочки, взятой в дом, вместо сестры маме. Но эта девочка была безличной, и мама,

очень любя ее, все же была одна. Своего отца — Александра Даниловича Мейн — она боготворила всю жизнь. И он обожал маму. После смерти жены — ни одной связи, ни одной встречи, чтобы мама не могла опускать перед ним глаз, когда вырастет и узнает.

Мамина юность, как детство, была одинокой, болезненной, мятежной, глубоко-скрытой. Герои: Валленштейн, Поссарт, Людовик Баварский[2]. Поездка в лунную ночь по озеру, где он погиб[3]. С ее руки скользит кольцо — вода принимает его — обручение с умершим королем. Когда Рубинштейн[4] пожал ей руку, она два дня не снимала перчатки. Поэты: Heine, Goethe, Schiller, Shakespeare. — Больше иностранных книг, чем русских. Отвращение — чисто-девическое — к Zolá и Мопассану, вообще к французским романистам, таким далеким.

Весь дух воспитания — германский. Упоение музыкой, *громадный талант* (такой игры на рояле и на гитаре я уже не услышу!), способность к языкам, блестящая память, великолепный слог, стихи на русском и немецком языках, занятия живописью.

Гордость, часто принимаемая за сухость, стыдливость, сдержанность, *неласковость* (внешняя), безумие в музыке, тоска.

12-ти лет она встретила юношу — его звали Сережей Э. (фамилии я не знаю, инициалы — моего Сережи!). Ему было года 22. Они вместе катались верхом в лунные ночи. 16-ти лет она поняла и он понял, что любят друг друга. Но он был женат. Развод дедушка считал грехом. — «Ты и дети, если они будут, — останетесь мне близки. Он для меня не существует». — Мама слишком любила дедушку и не согласилась выходить замуж на таких условиях. Сережа Э. уехал куда-то далеко. 6 лет мама жила тоской о нем. Поклон издали в концерте, два письма, — всё! — за целых 6 лет. Тетя (швейцарская гувернантка, с которой дедушка *не был* в связи!) обожала маму, но ничего не могла сделать.

Дедушка все замолчал.

22-х лет мама вышла замуж за папу, с прямой целью заместить мать его осиротевшим детям — Валерии 8-ми лет и Андрею — 1 года. Папе тогда было 44 года.

Папу она бесконечно любила, но 2 первых года ужасно мучилась его неугасшей любовью к В. Д. Иловайской.

— «Мы венчались у гроба», — пишет мама в своем дневнике. Много мучилась она и с Валерией, стараясь приручить эту совершенно чужую ей по духу, обожавшую свою покойную мать и резко отталкивавшую «мачеху» 8-летнюю девочку. — Много было горя! Мама и папа были люди совершенно непохожие. У каждого своя рана в сердце. У мамы — музыка, стихи, тоска, у папы — наука. Жизни шли рядом, *не* сливаясь. Но они очень любили друг друга. Мама умерла 37-ми лет, неудовлетворен-

ная, непримиренная, не позвав священника, хотя явно ничего не отрицала и даже любила обряды.

Ее измученная душа живет в нас, — только мы открываем то, что она скрывала. Ее мятеж, ее безумие, ее жажда дошли в нас до крика.

— Папа нас очень любил. Нам было 12 и 14 лет, когда умерла мама. С 14-ти до 16-ти лет я бредила революцией, 16-ти лет безумно полюбила Наполеона I и Наполеона II, целый год жила без людей, одна в своей маленькой комнатке, в своем огромном мире.

Но об этом периоде пусть Вам напишет Ася.

Напишу Вам о папе.

Он умер 30-го августа 1913 г., от старческой болезни сердца, появившейся в последние годы[5]. Самый последний год он чувствовал нашу любовь, раньше очень страдал от нас, совсем не зная, что с нами делать. Когда мы вышли замуж, он очень за нас беспокоился. Ни Сережи, ни Бориса[6] он не знал. Сережу он потом полюбил, поверив в его желание высшего образования, — это для него было главное.

Как людей он не знал ни С〈ережи〉, ни Б〈ориса〉, совсем не знал, кто те, кого мы любим.

Алю и Андрюшу[7] он очень любил, очень им радовался и, как потом мы узнали, всем о них рассказывал. Но он видел их совсем маленькими, до года. Это ужасно жаль!

Как странно! Я Вам это расскажу.

Я приехала в Москву числа 15-го августа, сдавать дом (наш дом с Сережей).

Папа был в имении около Клина, где все лето прожил в прекрасных условиях.

Числа 22-го мы с ним увидались в Трехпрудном, 23-го поехали вместе к Мюру[8], — он хотел мне что-нибудь подарить. Я выбрала маленький плюшевый плэд* — с одной стороны коричневый, с другой золотой. Папа был необычайно мил и ласков.

Когда мы проходили по Театральной площади, сверкавшей цветами, он вдруг остановился и, показав рукой на группу мальв, редко-грустно сказал: «А помнишь, у нас на даче были мальвы?»

У меня сжалось сердце. Я хотела проводить его на вокзал, но он не согласился: «Зачем? Зачем? Я еще должен в Музей».

— «Господи, а вдруг это в последний раз?» — подумала я и, чтобы не поверить себе, назначила день — 29-ое — когда мы с Асей к нему приедем на дачу.

Господи, у меня сердце сжимается! — 27-го ночью его привезли с дачи почти умирающего. Доктор говорил, что 75% людей

* В этом и ряде других писем слова типа «кафе», «плед» и т. д. оставлены в правописании М. И. Цветаевой *(примеч. сост.)*.

умерло бы во время переезда. Я не узнала его, войдя: белое-белое осунувшееся лицо. Он встретил меня очень ласково, вообще все время был ласков и кроток, расспрашивал меня о доме, задыхающимся голосом продиктовал письмо к одному его 〈знакомому〉 любимому молодому сослуживцу[9]. Вообще он всё время говорил, хотя не должен был говорить ни слова. Говорил о Сереже, о его занятиях, о его здоровье, об Але, об Андрюше – «хочу заработать им по 10 тысяч», – о болезни своей говорил, что «доктора раздули», и строил планы о будущих лекциях. Что-то сказал о Музее, – Ася переспросила – «Да, Румянцевский музей, откуда меня прогнали!»[10].

Он прожил $2^1/_2$ суток. Все время говорил о самых обыкновенных вещах, умолял нас идти спать, не утомлять себя, расспрашивал о погоде. Я что-то рассказывала о феодальном замке.

– «Теперь прошел век феодальных замков, – настал век людей труда!»

За день – меньше! – до смерти он спросил меня: «А как... твой... этот... плэд?»

Господи!

Последний день он был почти без памяти. Умер он в $1^3/_4$ ч. дня. Мы с Андреем были в его комнате. Он ужасно задыхался, дыхание пропадало ровно на $^1/_3$ минуты каждую минуту. Дышал отрывисто и странно-громко: «Ах! Ах!»

С первого момента до последнего ни разу не заговорил о возможности смерти. Умер без священника. Поэтому мы думаем, что он действительно не видел, что умирает, – он был религиозен. – Нет, это тайна. Теперь уже никогда не узнаем, чувствовал он смерть, или нет.

Его кончина для меня совершенно поразительна: тихий героизм, – такой скромный!

Господи, мне плакать хочется!

Мы все: Валерия, Андрей, Ася и я были с ним в последние дни каким-то чудом: В〈алерия〉 *случайно* приехала из-за границы, я *случайно* из Коктебеля (сдавать дом), Ася *случайно* из Воронежской губернии, Андрей *случайно* с охоты.

У папы в гробу было *прекрасное* светлое лицо.

За несколько дней *до его болезни* разбились: 1) стеклянный шкаф 2) его фонарь, всегда – уже 30 лет! – висевший у него в кабинете 3) две лампы 4) стакан. Это был какой-то непрерывный звон и грохот стекла.

Я все еще, не веря, утешала себя, что это «к счастью». Это – до его болезни.

– Ну, кончаю. Любите Асю и меня, мы Вас нежно, нежно любим. Кто-то мне говорил, что Вы любите ставить «непри-

личные вопросы». Не ставьте, придется резко отвечать, будет оскорбление, всем будет больно.

Я прочла Ваши «Люди лунного света»[11], это мне чуждо, это мне враждебно, но в «Уединенном» Вы другой, милый, родной, совсем наш. Будьте с нами таким и не ставьте «вопросов», на какие нельзя отвечать. — Зачем? Пусть на них отвечают другие! —

«Опавшие листья»[12] купили обе. Как хорошо, что фотографии!

И карточки свои пришлем.

Милый, милый Василий Васильевич, сейчас закат. Еле различаю, что пишу. На окне большой букет диких тюльпанов. В соседней комнате укладывают Алю.

В открытую форточку врывается ветер и шевелит волосы на лбу. Я одна дома. Скоро придет Сережа. — Мы купили «Опавшие листья», а, когда увидимся, Вы нам надпишете.

Слушайте, не огорчайтесь, что мы из всех Ваших книг знаем только «Уединенное», — разве мы публика? Ася например до сих пор не читала Дон-Кихота, а я только этим летом прочла «Героя нашего времени», хотя и писала о нем сочинения в гимназии.

Умилительная вещь: директор здешней мужской гимназии Вас страшно любит, — его настольная книга — Ваш разбор Великого Инквизитора[13]. Даже в таком далеком уголке, как Феодосия, Вас знают многие, — это я наверное говорю.

Начала читать Вашу книгу об Италии[14] — прекрасно.

Вообще: Вы можете написать отвратительно (Ваши «Люди лунного света»), но никогда — бездарно.

Вы поразительно-умны, Вы гениально-умны и гениально-чутки. Например Ваше «не сердитесь» с тире. Господи, у нас с Асей слезы навернулись на глаза, когда мы увидали эти тире.

— «Марина, он сам их ставил!»

Только над такими вещами я могу плакать.

— Ах, смешно! Недавно кто-то показывает мне два лица в журнале, закрыв подписи. — «Кто это? Каков его характер, кем он должен быть?»

— «Директор гимназии, — во всяком случае педагог... Это человек сухой, хитрый...»

Рука, закрывавшая подпись, отдергивается.

Все вокруг смеются.

Я читаю: «Василий Васильевич Розанов!»

Вокруг — неудержимый смех.

— Пришлите нам свои фотографии, — непременно! — непременно с надписями и непременно две.

Ведь их нетрудно «закупоривать» — (ах, сочувствую, ужасно отсылать книги! Какой-то кошмар!).

Ну, надо кончать. Всего, всего лучшего. Крепко жму Вам обе руки. Будете ли в Москве зимой? Ася осенью думает ехать в Париж на целую зиму, а может быть на целый год. Мы с Сережей будем в Москве. Пишите!

МЭ.

P. S. Мне вдруг пришло в голову, как нелепо было бы послать Вам на Пасху визитную карточку с поздравлением!

3

Феодосия, 18-го апреля 1914 г., пятница

Милый Василий Васильевич,

5-го мая у Сережи начинаются экзамены на аттестат зрелости. Он занимается по 17-ти часов в день, истощен и худ до крайности. Подготовлен он приблизительно хорошо, но к экстернам относятся с адской строгостью. Если он провалится, его осенью могут взять в солдаты, несмотря на затронутое легкое, болезнь сердца и узкую грудь. Тогда он погиб.

Директор здешней гимназии *на Вас молится*, он сам показывал мне Вашего «Великого Инквизитора»[1], испещренного заметками: «Поразительно», «Гениально» и т.д. Мы больше часу проговорили, я дала ему «Уединенное», в тот же вечер он должен был читать в каком-то собрании реферат о Вашем творчестве. Так слушайте: тотчас же по получении моего письма пошлите ему 1) «Опавшие листья» с милой надписью[2], 2) письмо, в котором Вы напишите о Сережиных экзаменах, о Вашем знакомстве с папой и — если хотите — о нас. Письмо должно быть ласковым, милым, «тронутым» его любовью к Вашим книгам, — *ни за что не официальным*. Напишите о Сережиной болезни (у директора уже есть свидетельства из нескольких санаторий), о его желании поступить в университет, вообще — расхвали́те.

О возможности для Сережи воинской повинности не пишите ничего.

Директор с ума сойдет от восторга, получив письмо и книгу, Вы для него — Бог.

Судьба Сережиных экзаменов — его жизни — моей жизни — почти в Ваших руках.

С⟨ереже⟩ я ничего не говорю об этом письме, — не потому что не уверена в Вас — напротив, совершенно уверена!

Но он в иных случаях мнителен и сейчас особенно — из-за этих чертовских занятий.

Папа еще перед смертью — за день! — говорил о Сережиных занятиях, здоровье, планах, говорил очень заботливо и нежно — и обещал весной написать директору.

Обращаюсь к Вам, как к папе.

Всего лучшего, с безумным нетерпением жду ответа и заранее ликую.

Имя Сережи: Сергей Яковлевич Эфрон

Имя д⟨иректо⟩ра: Сергей Иванович Бельцман.

Бельцман!!!

Ради Бога, не перепутайте!

Мой адрес: Анненская ул⟨ица⟩, дача Редлих.

Адрес д⟨иректо⟩ра:

Феодосия, Директору Мужской Гимназии
Сергею Ивановичу Бельцман.

P. S. Директор сам знал папу и очень трогательно о нем говорил. Я просидела у него часа 3, ела апельсины, говорила об «Уединенном» и пересмотрела всех кукол его трехлетней дочери — счетом 60. Это все искренно и с удовольствием. Он ужасно милый.

Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — философ, писатель, критик.

Переписку с В. В. Розановым начала Анастасия Цветаева. Марина Цветаева включилась в нее позже, так как была увлечена книгой Розанова «Уединенное» (Спб., 1912), представляющей собой философско-публицистическое эссе. В этом жанре Цветаева еще с юности любила писать сама; к тому же парадоксальные раздумья Розанова оказались во многом ей созвучны. Сходство прозы Розанова и последующей дневниковой прозы Цветаевой позднее отмечал Г. В. Адамович (Звено. Париж. 1925. 28 декабря. С. 2). В письмах к Розанову Цветаева предельно откровенна, исповедальна.

Впервые — *НП,* с неточностями. Отрывок из письма 2 публиковался ранее в журнале «Новый мир» (1969. № 4). Письма 1 и 2 печатаются по тексту, приведенному в *Соч. 88, 2,* где они воспроизведены по копиям с оригинала. Письмо 3 печатается также по копии с оригинала.

1

[1] В. В. Розанов писал о М. Башкирцевой: «Секрет ее страдания в том, что она при изумительном *умственном* блеске — имела, однако, во всем только полуталанты. Ни — *живописица,* ни — ученый, ни — певица, хотя *и* певица, *и* живописица, *и* (больше и легче всего) ученый (годы учения, усвоение лингвистики). И она все меркла, меркла неудержимо» (Уединенное. Спб., 1912. С. 52).

Цветаева в юности увлекалась Башкирцевой, хотела написать о ней книгу стихов, испытывала заметное ее влияние. «Светлой памяти Марии

Башкирцевой» посвящен первый сборник Цветаевой «Вечерний альбом» (1910).

[2] «Волшебный фонарь» вышел в начале 1912 г. Избранное из первых сборников («Из двух книг») было напечатано в 1913 г. в домашнем издательстве М. Цветаевой и С. Эфрона «Оле-Лукойе».

[3] Эти книги напечатаны не были.

[4] О родителях и семье С. Я. Эфрона подробно см: *А. Эфрон.* С. 43–47; Коркина Е. Б. Семья Дурново-Эфрон *(Поэт и время).*

[5] *Дурново* Елизавета Петровна (1855–1910).

[6] Некролог «Памяти Ив⟨ана⟩ Влад⟨имировича⟩ Цветаева» В. В. Розанова был опубликован также в его сборнике «Среди художников» (Спб., 1914).

[7] К письму были приложены стихотворения из невышедшего сборника «Юношеские стихи»: «Уж сколько их упало в эту бездну...», «Быть нежной, бешеной и шумной...», «Посвящаю эти строки...», «Идешь, на меня похожий...», «Але». См. т. 1.

2

[1] Жизнь сестер Цветаевых в Нерви (Nervi), Лозанне, Фрейбурге, а также в Ялте и Тарусе подробно описана в воспоминаниях А. Цветаевой. См. также письмо М. Цветаевой к М. А. Мейн и комментарии к нему.

[2] *Валленштейн* Альбрехт (1583–1634)—полководец, главнокомандующий в Тридцатилетней войне (1618–1648). Был обвинен в связях с неприятелем и убит своими офицерами. *Поссарт* Эрнст (1841–1921)—немецкий актер и режиссер. Во время гастролей Поссарта во Фрейбурге зимой 1904/05 г. М. А. Мейн пела в его хоре. *Людовик Баварский* (1287–1347)—германский король с 1314, император «Священной Римской империи» (с 1328 г.).

[3] *Людовик Баварский* страдал нервным расстройством, утонул (а возможно, утопился) в Штарнбергском озере (Бавария).

[4] *Рубинштейн* Антон Григорьевич (1829–1894)—пианист, композитор, дирижер. М. А. Мейн обучалась школе его игры на фортепьяно.

[5] 31 августа 1913 г. Цветаева отправила в Коктебель телеграмму: «Эфрон Волошиной Коктебель из Москвы вчера 30-го час три четверти папа скончался разрыв сердца завтра похороны целую Марина».

[6] Б. С. Трухачев.

[7] Андрей Трухачев, сын А. И. Цветаевой и Б. С. Трухачева.

[8] *Мюр* и *Мерилиз,* магазин в Москве, названный по фамилии владельцев.

[9] Речь идет, вероятнее всего, об историке искусств, ученике И. В. Цветаева *Назаревском* Александре Владимировиче (1876—после 1919). С 1911 по 1916 гг.—ученый секретарь Музея изящных искусств. (Сообщено А. А. Демской.)

[10] В 1909 г. И. В. Цветаев был уволен с поста директора Румянцевского музея из-за инцидента, связанного с Эллисом (см. комментарий 3 к письму 1 к Эллису).

5 Зак 30

[11] *Люди лунного света.* Метафизика христианства (Пб., 1911). Как по форме, так и по духу эта книга Розанова отличается от «Уединенного».

[12] Книга В. В. Розанова. Первый том (короб) «Опавших листьев» вышел в 1913 г. Книга написана в той же манере, что и «Уединенное».

[13] «Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария». Первое издание — Пб., 1894. В 1906 г. вышло третье издание с приложением этюда о Гоголе (Пб.).

[14] «Итальянские впечатления» (Пб., 1909).

3

[1] См. комментарий 13 к письму 2.

[2] См. комментарий 12 к письму 2.

П. Я. ЭФРОНУ

1

Москва. 10-го июля 1914 г.

Я ушла в 7 часов вечера, а сейчас 11 утра, — и все думаю о Вас, всё повторяю Ваше нежное имя[1]. (Пусть Петр — камень[2], для меня Вы — Петенька!)

Откуда эта нежность — не знаю, но знаю — куда: в вечность!

Вчера, возвращаясь от Вас в трамвае, я всё повторяла стихи Байрону[3], где каждое слово — Вам. Как Вы адски чутки!

Это — единственное, что я знаю о Вас. Внутренне я к Вам привыкла, внешне — ужасно нет. Каждый раз, идя к Вам, я все думаю, что *это* надо сказать, и это еще, и это...

Прихожу — и говорю совсем не о том, не так.

Слушайте, моя любовь легка.

Вам не будет ни больно, ни скучно.

Я вся целиком во всем, что люблю.

Люблю одной любовью — всей собой — и березку, и вечер, и музыку, и Сережу, и Вас.

Я любовь узнаю по безысходной грусти, по захлебывающемуся: «ах!»[4].

Вы для меня прелестный мальчик, о котором — сколько бы мы ни говорили — я все-таки ничего не знаю, кроме того, что я его люблю.

Не обижайтесь за «мальчика», — это все-таки самое лучшее!

— Вчера вечером я сидела в кабинете Фельдштейна. На иссчерна-синем небе качались черные ветки.

Вся комната была в тени. Я писала Вам письмо и так сильно думала о Вас, что все время оглядывалась на диван, где Вы должны были сидеть. В столовой шипел самовар, тикали часы. На блюдце лежали два яйца, ужасно унылых! Я все время о них вспоминала: «надо есть», но после письма к Вам стало так грустно-радостно, вернее — радостно-грустно, что я, как Аля, сказала «не надо».

— Вчерашнее письмо разорвала, яйцо сегодня съела. — Пишу сейчас у окна. Над зеленой крышей сарая — купол какой-то церковки — совсем маленький — и несколько качающихся веток. Над ними — облачко.

Вы первый, кого я поцеловала после Сережи. Бывали трогательные минуты дружбы, сочувствия, отъезда, когда поцелуй казался *необходимым*.

Но что-то говорило: «нет!»

Вас я поцеловала, потому что не могла иначе. Всё говорило: «да!»

МЭ.

P. S. Спасибо за рассказ о черном коте.

2

Москва, 14-го июля 1914 г., ночью.

Мальчик мой ненаглядный!

Сережа мечется на постели, кусает губы, стонет. Я смотрю на его длинное, нежное, страдальческое лицо и все понимаю: любовь к нему и любовь к Вам.

Мальчики! Вот в чем моя любовь.

Чистым сердцем! Жестоко оскорбленные жизнью! Мальчики без матери!

Хочется соединить в одном *бесконечном* объятии Ваши милые темные головы, сказать Вам без слов: «Люблю обоих, любите оба — навек!»

Петенька, даю Вам свою душу, беру Вашу, верю в их бессмертие.

Пламя, что ожигает меня, сердце, что при мысли о Вас падает, — вечны. Так неожиданно и бесспорно вспыхнула вера.

Вы сегодня рассказывали о Вашей девочке[1]. Все во мне дрожало. Я поцеловала Вам руку. — Зачем «оставить»? Буду целовать еще и еще, потому что преклоняюсь перед Вашим страданием, чувствую Вас святым.

О, моя деточка! Ничего не могу для Вас сделать, хочу только, *чтобы Вы в меня поверили.* Тогда моя любовь даст Вам силы.

Помните: что бы я Вам ни говорила, каким бы тоном — не верьте, если в этом не любовь.

Если бы не Сережа и Аля, за которых я перед Богом отвечаю, я с радостью умерла бы за Вас, за то, чтобы Вы сразу выздоровели.

Так — не сомневаясь — сразу — по первому зову.

Клянусь Вашей, Сережиной и Алиной жизнью, Вы трое — мое святая святых.

Вот скоро уеду. Ничего не изменится.

Умерла бы — всё бы осталось.

Никогда никуда не уйду от Вас.

Началось с минуты очарования (август или начало сентября 1913 г.), продолжается бесконечностью любви.

Завтра достану Вам крестик.

Целую.

МЭ.

Эфрон Петр Яковлевич (1883 — 1914) — старший брат С. Я. Эфрона. Член партии эсеров. В начале 1900-х годов участвовал в спектаклях Русского театра в Давосе.

Впервые — *А. Саакянц.* С. 69 — 72. Печатаются по тексту первой публикации.

1

[1] П. Я. Эфрон был смертельно болен и находился в лечебнице Шимона на Яузском бульваре, где около него дежурили родные (скончался он 28 июля). См. также письмо 6 к Е. Я. Эфрон.

[2] *Петр* — от греческого petra — скала, каменная глыба.

[3] *Байрону* («Я думаю об утре Вашей славы...», 1913).

[4] Через десять лет Цветаева повторит в стихах «формулы» этого письма 1914 г.: «Я любовь узнаю по боли//Всего тела вдоль...» («Приметы»); «Боль, знакомая, как глазам — ладонь,//Как — губам — //Имя собственного ребенка» («Ятаган? Огонь...»). См. т. 2.

2

[1] У П. Я. Эфрона умерла маленькая дочь. Цветаева посвятила ее памяти стихотворение «Его дочке», вошедшее в цикл из семи стихотворений, обращенных к П. Я. Эфрону («П.Э.»). См. т. 1.

С. Я. ЭФРОНУ

1

Александров, 4-го июля 1916 г.[1]

Дорогая, милая Лёва![2]

Спасибо за два письма, я их получила сразу ⟨...⟩.

Я рада, что Вы хороши с Ходасевичем[3], его мало кто любит, с людьми он сух, иногда хладен, это не располагает. Но он несчастный, и у него прелестные стихи, он хорошо к Вам относится? Лувинька, вчера и сегодня все время думаю, с большой грустью, о том, как, должно быть, растревожила Вас моя телегр⟨амма⟩. Но что мне было делать? Я боялась, что, умолчав, как-нибудь неожиданно подведу Вас. Душенька ты моя лёвская, в одном я уверена: где бы ты ни очутился, ты недолго там пробудешь[4]. В этом меня поддерживает М⟨аврикий⟩ А⟨лександрович⟩, а он эти дела хорошо знает[5]. Скоро — самое позднее к 1-му августу — его отправляют на фронт. Он страшно озабочен Асиной судьбой, думает и говорит только об Асе, мне его страшно жаль[6].

Lou, не беспокойся обо мне: мне отлично, живу спокойнее нельзя, единственное, что меня мучит, это Ваши дела, вернее Ваше самочувствие. Вы такая трогательная, лихорадочная тварь!

Пишу Вам в 12 ночи. В окне большая блестящая белая луна и черные деревья. Гудит поезд. На столе у меня в большой плетенке — клубника, есть ли у Вас в Коктебеле фрукты и кушаете ли? Маврикий только что красил детскую ванну в белый цвет и так перемазался и устал, что не может Вам сейчас писать и шлет пока горячий привет.

Дети спят. Сегодня Аля, ложась, сказала мне: «А когда ты умрешь, я тебя раскопаю и раскрою тебе рот и положу туда конфету. А язык у тебя будет чувствовать? Будет тихонько шевелиться?» и — варварски: «Когда ты умрешь, я сяду тебе на горбушку носа!» И она, и Андрюша каждый вечер за Вас молятся, совершенно самостоятельно, без всякого напоминания. Андрюша еще упорно молится «за девочку Ирину», а брата почему-то зовет: «Михайлович», с ударением на *и*.

Ася приедет, должно быть, в воскресенье.

Милый Лев, спокойной ночи, нежно Вас целую, будьте здоровы ⟨...⟩.

МЭ.

2

Феодосия, 19-го октября 1917 г.

Дорогой Сереженька,

Вы совсем мне не пишете. Вчера я так ждала почтальона — и ничего, только письмо Асе от Камковой[1]. Ася все еще в имении.

Она вы́ходила сына Зелинского[2] от аппендицита, он лежал у нее три недели, и теперь родители на нее Богу молятся. Я не поехала, — сначала хотели ехать все вместе, но я не люблю гостить, старики на меня действуют угнетающе, я чувствую себя виноватой во всех своих кольцах и браслетах. Сторожу Андрюшу[3]. Я к нему совершенно равнодушна, как он ко мне и — вообще — ко всем. Роль матери при нем сводится к роли слуги, ни малейшего ответного чувства — камень.

Лунные ночи продолжаются. Каждый вечер ко мне приходит докторша, иногда Н. И. Хрустачев[4]. Он совсем измученный, озлоблен. Приходит, ложится на ковер, курит. Мы почти не говорим, и приходит он, думается, просто чтобы не видеть своей квартиры. Иногда говорю ему стихи, он любит, понимает. И жена его измотана, работает на него и на девочку, как раб, сама моет полы, стирает, готовит. Безнадежное зрелище. Оба правы — верней — никто не виноват. И ни тени любви, одно озлобление.

Я живу очень тихо, помогаю Наде[5], сижу в палисаднике, над обрывом, курю, думаю. Здесь очень ветрено, у Аси ужасная квартира, сплошной сквозняк. Она ищет себе другую.

— Все дни выпускают вино. Город насквозь пропах. Цены на дома растут так: великолепный каменный дом со всем инвентарем и большим садом — 3 месяца тому назад — 40.000 р⟨ублей⟩, теперь — 135.000 р⟨ублей⟩ без мебели. Одни богатеют, другие баснословно разоряются (вино).

У одного старика выпустили единственную бочку, к⟨ото-р⟩ую берег уже 30 лет и хотел доберечь до совершеннолетия внука. Он плакал. Расскажите Борису[6], это прекрасная для вас обоих тема.

Сереженька, я ничего не знаю о доме: привили ли Ирине оспу, как с отоплением, как Люба[7], — ничего. Надеюсь, что все хорошо, но хотелось бы знать достоверно.

Я писала домой уж раз семь.

Сейчас иду на базар с Надей и Андрюшей. Жаркий день, почти лето. Устраивайте себе отпуск. Как я вернусь — Вы поедете. Пробуду здесь не дольше 5-го, могу вернуться и раньше, если понадобится.

До свидания, мой дорогой Лев. Как Ваша служба? Целую Вас и детей.

МЭ.

P. S. Крупы здесь совсем нет, привезу что даст Ася. Везти ли с собой хлеб? Муки тоже нет, вообще — не лучше, чем в Москве. Цены гораздо выше. Только очередей таких нет.

С кем видитесь в Москве? Повидайтесь с Малиновским[8] (3-66-64) и спросите о моей брошке.

3

Феодосия, 25-го октября 1917 г.

Дорогой Сереженька,

Третьего дня мы с Асей были на вокзале. Шагах в десяти — господин в широчайшем желтом платье, в высочайшей шляпе. Что-то огромное, тяжелое, вроде орангутанга.

Я, Асе: «Quelle horreur!» — «Oui, j'ai déjá remarqué!»* — И вдруг — груда шатается, сдвигается и «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩! Вы меня узнаете?»

— Эренбург!

Я ледяным голосом пригласила его зайти. Он приехал к Максу, на три дня.

Вчера приехала из К⟨окте⟩беля Наташа Верховецкая[1]. Она меня любит, я ей верю. Вот что она рассказывала:

— «М⟨арина⟩ Цветаева? Сплошная безвкусица! И внешность и стихи. Ее монархизм — выходка девочки, оригинальничание. Ей всегда хочется быть другой, чем все. Дочь свою она приучила сочинять стихи и говорить всем, что она каждого любит больше всех. И не дает ей есть, чтобы у нее была тонкая талья».

Затем — рассказ Толстого (или Туси?)[2] о каком-то какао с желтками, которое я якобы приказала Але выплюнуть, — ради тонкой талии. Говорил он высокомерно и раздраженно. Макс, слегка защищаясь: — «Я не нахожу, что ее стихи безвкусны». Пра неодобрительно молчала.

О Керенском он говорит теперь уже несколько иначе. К⟨ерен⟩ский морфинист, человек ненадежный[3]. А помните тот спор?

Сереженька, как низки люди! Ну не Бог ли я, не Бог ли Вы рядом с таким Эренбургом? Чтобы мужчина 30-ти лет пересказывал какие-то сплетни о какао с желтками. Как не стыдно? И — главное — ведь это несуразно, он наверное сам не верит.

И как непонятны мне Макс и Пра и сама Наташа! Я бы ему глаза выдрала!

— Ах, Сереженька! Я самый беззащитный человек, которого я знаю. Я к каждому с улицы подхожу вся. И вот улица мстит. А иначе я не умею, иначе мне надо уходить из комнаты.

Все лицемерят, я одна *не могу*.

От этого рассказа отвратительный осадок, точно после червя.

Сереженька, я вправе буду не принимать его в Москве?

Вчера мы были у Александры Михайловны[4]. Она совсем старушка, вся ссохлась, сморщилась, одни кости. Легкое, милое привидение.

---

* «Какой ужас!» — «Да, я уже заметила!» *(фр.)*

Ярая монархистка и — что больше — правильная. Она очень ослабла, еле ходит, — после операции или вообще — неизвестно[5]. Что-то с кишечником и безумные головные боли. На лице живы только одни глаза. Но горячность прежняя, и голос молодой, взволнованный, волнующий[6].

Живет она внизу, в большом доме. Племянники ее выросли, прекрасно воспитаны[7]. Я говорила ей стихи. — «Ваши Генералы 12 года — пророчество! Недаром я их так любила»[8], — сказала она. У этой женщины большое чутье, большая душа. О Вас она говорила с любовью.

Сереженька, думаю выехать 1-го[9]. Перед отъездом съезжу или схожу в Коктебель. Очень хочется повидать Пра. А к Максу я равнодушна. Дружба такая же редкость, как любовь, а знакомых мне не надо.

Читаю сейчас (Сад Эпикура) А. Франса. Умнейшая и обаятельнейшая книга. Мысли, наблюдения, кусочки жизни[10]. Мудро, добро, насмешливо, грустно, — как надо.

Непременно подарю Вам ее.

Я рада дому, немножко устала жить на юру. Но и поездке рада.

Привезу что могу. На вино нельзя надеяться, трудно достать и очень проверяют.

Когда купим билеты, дадим телеграмму. А пока буду писать.

Целую Вас нежно. Несколько новостей пусть Вам расскажет Аля.

МЭ.

4

ПИСЬМО В ТЕТРАДКУ[1]

⟨2-го ноября 1917 г.⟩

Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться, — слушайте: вчера, подъезжая к Харькову, прочла «Южный край»[2]. 9000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, потому что она *не кончилась*. Сейчас серое утро. Я в коридоре. Поймите! Я еду и пишу Вам и не знаю сейчас — но тут следуют слова, которых я не могу написать.

Подъезжаем к Орлу. Я боюсь писать Вам, как мне хочется, потому что расплачусь. Все это страшный сон. Стараюсь спать. Я не знаю, как Вам писать. Когда я Вам пишу, Вы — есть, раз я Вам пишу! А потом — ах! — 56 запасной полк[3], Кремль. (Помните те огромные ключи, которыми Вы на ночь запирали ворота?)[4] А главное, главное, главное — Вы, Вы сам, Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому

что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, отдающий львиную долю: жизнь — всем другим, зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что «я» для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала!

Если Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака.

Известия неопределенны, не знаю чему верить. Читаю про Кремль, Тверскую, Арбат, Метрополь, Вознесенскую площадь, про горы трупов. В с⟨оциал⟩-р⟨еволюционной⟩ газете «Курская Жизнь» от вчерашнего дня (1-го) — что началось разоружение. Другие (сегодняшние) пишут о бое. Я сейчас не даю себе воли писать, но тысячу раз видела, как я вхожу в дом. Можно ли будет проникнуть в город?

Скоро Орел. Сейчас около 2 часов дня. В Москве будем в 2 часа ночи. А если я войду в дом — и никого нет, ни души? Где мне искать Вас? Может быть, и дома уже нет? У меня все время чувство: это страшный сон. Я все жду, что вот-вот что-то случится, и не было ни газет, ничего. *Что это мне снится, что я проснусь.*

Горло сжато, точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька.

Я написала Ваше имя и не могу писать дальше.

5

28-го ноября 1917 г.

Лев! Я вчера была у С.* Он предлагает помочь в продаже дома[1]. — Какому-нибудь *поляку*. Относительно другого, он говорит, чтобы я записала Вас кандидатом в какое-то эконом⟨ическое⟩ общество. Хороший заработ⟨ок⟩. А пока — советует Вам еще отдохнуть с месяц. Насчет кандидатуры — я разузнаю и напишу Вам подробно. Вообще — по его словам — состояние Вашего и С⟨ергея⟩ И⟨вановича⟩[2] здоровья совсем не опасно. Посоветуюсь еще с другим доктором. Он говорит вполне уверенно. Дуня[3] не уезжает, и завтра я переезжаю домой[4]. Доде[5] передайте, что посылку ее я передала, но дядю не застала.

Целую. Обнадежьте С⟨ергея⟩ И⟨вановича⟩ насчет 9 лет службы. *Это серьезно.*

P. S. У Додиного дяди — бородатая прислуга вроде Бабы-Яги. Очень милая. 100 лет.

Передайте это Доде.

---

* Фамилия зачеркнута.

Скоро пришлю продуктов и простынки.

Напишите Тане[6] письмо с благодарностью за меня и детей. Она мне очень помогает. Б⟨ольшой⟩ Николо-Песковский, д⟨ом⟩ 4, кв⟨артира⟩ 5.

6

11-го дек⟨абря⟩ 1917 г.

Лёвашенька!

Завтра отправлю Вам деньги телеграфом. Вера[1] дала Тане[2] чек, и Таня достает мне — когда по 100 р⟨ублей⟩, когда больше. Деньги Вы получите раньше этого письма.

Я думаю, Вам уже скоро можно будет возвращаться в М⟨оскву⟩, переждите еще несколько времени, это вернее. Конечно, я знаю, как это скучно — и хуже! — но я очень, очень прошу Вас.

Я не приуменьшаю Вашего душевного состояния, я всё знаю, но я так боюсь за Вас, тем более, что в моем доме сейчас находится одна мерзость[3], которую сначала еще надо выселить. А до Рождества этого сделать не придется.

Конечно, Вы могли бы остановиться у Веры, но всё это так ненадежно!

Поживите еще в К⟨окте⟩беле, ну, немножечко. (Пишу в надежде, что Вы никуда не уехали.)

— Слушайте: случилась беда: Аля сожгла в камине письмо Макса к Цейтлиным[4] (я даже не знаю адр⟨еса⟩!) и письмо О⟨льги⟩ А⟨ртуровны⟩[5] к Редлихам[6].

Завтра отправлю Вам простыни, — когда они дойдут? Я страшно боюсь, что потеряются. Отправлю две.

— У Ж⟨уков⟩ских[7] разграблено и отобрано все имение, дом уже опечатан, они на днях будут здесь.

Ваш сундучок заперт, все примеряю ключи и ни один не подходит. Но по крайней мере документы в целости. Паспорт деда я нашла и заперла.

М.б. Вы помните, — куда Вы девали ключ от сундучка?

У Г⟨ольдов⟩ских[8] был обыск, нашли 60 пудов сахара и не знаю сколько четвертей спирта. У меня недавно была Е. И. С⟨тарын⟩кевич[9], она поссорилась с Рашелью (из-за Миши[10], она, очевидно, его любит) и написала ей сдержанное умное прощальное письмо. Она мила ко мне, вообще мне все помогают. А я плачу́ стихами и нежностью (как свинья).

Страховую квитанцию я нашла, сегодня Дунин муж внесет. В каком *безумном* беспорядке Ваши бумаги! (Из желтой карельской шкатулочки!) Как я ненавижу все документы, это ад.

Последнее время я получаю от Вас много писем, спасибо, милый Лев! Мне Вас ужасно жаль.

Дома всё хорошо, деньги пока есть, здесь все-таки дешевле, чем в Ф〈еодосии〉.

Вышлите мне, пожалуйста, *билет*! (розовый.)

Сейчас Аля и няня идут гулять, отправлю их на почту.

Простите, ради Бога, за такое короткое письмо, а то пришлось бы отправлять его только завтра.

Очень Вас люблю. Целую Вас.

М.

— Б〈альмон〉т *в восторге* от стихов Макса и поместил их в какую-то однодневку-газету с другими стихами[11]. Я недавно встретила его на улице.

— Борис[12] занялся театральной антрепризой, снял целый ряд помещений в разных городах, у него будет играть Радин[13].

Эфрон Сергей Яковлевич (1893—1941)—муж М. И. Цветаевой.

Письмо 4 впервые опубликовано при жизни М. Цветаевой в дневниковых записях «Октябрь в вагоне» (Воля России. Прага. 1927. № 11/12); письма 5 и 6—*Звезда.* С. 12—13. (Публикация Е. И. Лубянниковой.) Перечисленные письма печатаются по тексту первой публикации, остальные—по копиям, хранящимся в архиве А. А. Саакянц.

1

[1] См. комментарии 6 и 7 к письму 4 к П. И. Юркевичу.

[2] *Лев*—домашнее прозвище С. Я. Эфрона. «Издавна и нежно повелось—Марина звала Сережу Львом, Лёве, он ее—Рысью, Рысихой; сказочные эти клички вошли в домашний, семейный наш обиход, привычно подменяя подлинные имена, и так—до самого конца жизни» (*А. Эфрон.* С. 179).

[3] В. Ф. Ходасевич провел в Коктебеле два лета (1916 и 1917).

[4] См. комментарий 6 к письму 4 П. И. Юркевичу.

[5] М. А. Минц в это время в Александрове проходил военную службу.

[6] У Анастасии Цветаевой и М. А. Минца только что (25 июня) родился сын Алексей.

2

[1] М. С. Камкова по завещанию своей тети, М. А. Мейн, имела право на «пенсию». Деньги ей регулярно присылала А. Цветаева.

[2] По-видимому, речь идет об Иосифе Викторовиче Зелинском (ок. 1857—1928)—народовольце, знакомом М. А. Волошина.

[3] Андрей Трухачев.

[4] *Хрустачев* Николай Иванович (1883—1962)—художник. Его феодосийскую мастерскую описала в своих воспоминаниях А. Цветаева (*А. Цветаева.* С. 524).

[5] Няня, домработница у А. Цветаевой.

[6] Б. С. Трухачев.

[7] Возможно, няня или кормилица Ирины, младшей дочери Цветаевой.

[8] *Малиновский* Александр Николаевич, художник. Выполнил обложку к книге А. И. Цветаевой «Дым, дым и дым» (1916). Был дружен с М. А. Минцем. Помогал М. Цветаевой (в частном собрании сохранился ее сборник «Из двух книг» с дарственной надписью: «Дорогому Александру Николаевичу Малиновскому—верному другу в беде 1919 г.»). По сведениям А. Цветаевой, погиб в 1920 г.

3

[1] Правильно: Вержховецкая. Поэтесса, жительница Старого Крыма.

[2] *Туся*—Наталья Васильевна Крандиевская (1888—1963), третья жена А. Н. Толстого. В своих дневниковых записях А. Н. Толстой несколько раз в оскорбительном тоне упомянул М. Цветаеву. (Толстой А. Н. Материалы и исследования. М.: Наука, 1985. С. 304, 306, 310). А в своем рассказе «В гавани» описал выступление сестер Цветаевых в форме шаржа под именами «Нодя» и «Додя» (Русские ведомости. М. 1915. 1 февраля. С. 4—5).

[3] В своих воспоминаниях И. Эренбург писал о Керенском: «Слышал я и Керенского; это напоминало театр—казалось, что глава Временного правительства сейчас заплачет или убежит со сцены. К этому времени слава Керенского успела потускнеть; все же полсотни женщин истошно вопили, приветствуя его, одна кинула ему букетик полуувядших астр; он поднял цветы и почему-то их понюхал» (Люди, годы, жизнь. Воспоминания: В 3 т. Т. 1. М.: Сов. писатель, 1990. С. 229).

[4] А. М. Петрова (1871—1921)—близкая знакомая М. Волошина. На рубеже веков ее дом в Феодосии в течение многих лет был центром притяжения творческой интеллигенции города. «Я редко встречала такого человека, который с такой сердечной заинтересованностью входил во все вопросы культурной жизни,—вспоминала о Петровой Маргарита Сабашникова.—Она сопереживала и сострадала каждой идее, каждому явлению со всей силой души. Она стремилась проникнуть в каждого человека, в каждое культурное направление» (цит. по сб.: Волошин М. Из литературного наследия. 1. Спб.: Наука, 1991. С. 8).

[5] В конце августа 1917 г. А. М. Петрова перенесла операцию по удалению фибромы.

[6] Ср. с портретом Петровой, который дан в воспоминаниях А. И. Цветаевой: «И во всем существе Александры Михайловны, несмотря на ее ласковость и проникновенность, есть строгость — нечто готовое на страстную гневность: четко и неподкупно здесь живут бок о бок черное «нет» и белое «да», червленые друг по другу. Приветствуя входящих как друзей, готовая принимать и верить, она не теряет зоркость, не отступит перед необходимостью что-то оспорить, перед невозвратностью — осудить... Но уже если проверил вас ее серо-синий, подолгу на вас лежащий, ждущий и приветственный взгляд — вы в этом доме свой...» (Там же. С. 8).

[7] А. М. Петрова помогала четырем племянникам, находящимся на ее иждивении.

[8] «Генералам двенадцатого года», стихотворение 1913 г. См. т. 1.

[9] В Москву (см. следующее письмо). Однако 10 ноября Цветаева снова вернулась в Крым. В письме к А. М. Петровой от 12 ноября 1917 г. Волошин писал: «Третьего дня неожиданно приехала Марина с Сережей и массой рассказов об московских днях. Об этом расскажу при встрече, и когда они будут в городе — сами расскажут... Их присутствие психологически принесло мне облегчение, но фактически остается тот же Уютный домашний ад...» (Из творческого наследия писателей. Л.: Наука, 1991. С. 169). В Коктебеле Цветаева пробыла до 25 ноября.

[10] *«Сад Эпикура»* («Le jardin d'Epicure», 1894) — сборник афоризмов французского писателя Анатоля Франса (1844 — 1924), отражающих его философские воззрения.

4

[1] Письмо написано по дороге из Крыма в Москву. Оно свидетельствует о глубоком и неизменном чувстве к мужу, которое Цветаева пронесла через всю жизнь, о привязанности, не нарушенной никакими сердечными «бурями», переходящими и претворяющимися в творчество. Несмотря на разницу характеров и взглядов, Цветаева не отделяла свою судьбу от судьбы мужа, поехав за ним за границу, а затем вернувшись в СССР. Это письмо — своего рода клятва мужу.

[2] Ежедневная харьковская газета (1880 — 1919).

[3] С. Эфрон, прапорщик, в составе 56-го запасного полка участвовал в октябрьских событиях 1917 г. Позднее С. Эфрон описал события этих дней в очерке «Октябрь» (На чужой стороне. Прага. 1925. № 11).

[4] В письме к П. Антокольскому от 21 июня 1966 г. А. С. Эфрон вспоминала: «Папа участвовал в боях за Москву — за Юнкерское училище, за Кремль; прибегал домой посмотреть — целы ли мы? Один раз прибежал с огромным ключом от Кремлевских ворот»· (архив составителя).

5

[1] Возможно, речь идет о Серейском (см. письмо 33 к М. А. Волошину и комментарий 8 к нему) и продаже собственного дома Цветаевой и Эфрона в Казачьем переулке (см. письмо 1 к В. Я. Эфрон и комментарии к нему). (*Звезда*. С. 14.)

[2] *С. И. Гольцев* (1896—1918)—однополчанин и друг С. Я. Эфрона, ученик Вахтанговской студии. Упоминается Цветаевой в прозе «Октябрь в вагоне» и «Повести о Сонечке» (см. т. 4). В письме от 22 июня 1918 г. Волошин писал А. М. Петровой: «Сегодня радостное и неожиданное письмо от Сережи Эфрона: он—слава Богу!—жив и находится в Новочеркасске. Пишет, что жив только чудом, потому что почти все его товарищи и спутники перебиты. Уезжавший с ним вместе юноша—Сергей Иванович—убит...» (Из творческого наследия советских писателей. Л.: Наука, 1991. С. 190).

[3] «Молочница Дуня приходила к нам—с бидоном в руке и с мешком за спиной—с незапамятных времен и вплоть до тяжкой зимы 1919—1920 г., в которую просто исчезла. Мы так никогда и не узнали, что с ней, жива ли она?» (*А. Эфрон.* С. 85).

[4] То есть в Борисоглебский переулок, дом 6; первые дни по возвращении из Крыма Цветаева провела со своими детьми у В. Я. Эфрон (Криво-Арбатский переулок, дом 17), где находились обе дочери в отсутствие матери (*Звезда.* С. 14).

[5] Д. А. Юнге. См. комментарий 3 к письму 22 к М. А. Волошину.

[6] Т. И. Плуцер-Сарна.

6

[1] В. Я. Эфрон.

[2] Т. И. Плуцер-Сарна.

[3] О ком идет речь, не установлено.

[4] О них см. письма к М. С. Цетлиной и комментарии к ним.

[5] *О. А. Рогозинская.* См. комментарий 3 к письму 2 к М. С. Фельдштейну.

[6] *Редлихи* Алиса Федоровна (урожденная Матиссен, 1868—1944), музыкальный педагог, и Эрнест Морицевич (1858—1923-25), художник, фотограф (*Звезда.* С. 11).

[7] Имение Жуковских Канашево находилось в Витебской губернии.

[8] *Гольдовские* Онисим Борисович (1858—1922), адвокат, и его жена Рашель Мироновна (урожденная Хин, в первом браке Фельдштейн; 1863—1928), писательница, печатавшаяся главным образом под своей девичьей фамилией.

[9] *Старынкевич* Елизавета Ивановна (1890—1966)—филолог, искусствовед, коктебельская знакомая Цветаевой и Эфрона.

[10] М. С. Фельдштейн (см. письма к нему), сын Р. М. Гольдовской, неофициально был женат вторым браком на В. Я. Эфрон.

[11] Стихи М. Волошина «Святая Русь», «Мир», «Март», «Бонапарт» были опубликованы в газете «Слову—свобода!» (издание клуба московских писателей. 1917. 10 декабря).

[12] Б. С. Трухачев.

[13] *Радин* (настоящая фамилия Казанков) Николай Мариусович (1872—1935)—актер, режиссер, внук балетмейстера М. И. Петипа. В 1914—1918 гг. был ведущим актером Московского театра Е. М. Суходольской (*Звезда.* С. 15).

Б. С. ТРУХАЧЕВУ

Москва, 10-го февраля 1917 г., пятница.

Милый Борис,

Все никак не выберусь к Вам: морозы и трамвайная давка.

Но очень хочу Вас видеть, надеюсь, что Вы сейчас же, как сможете, придете.

С⟨ережа⟩ пока еще в Нижнем[1]. Страшно устает от строя, режим суровый, но пока здоров. У него там несколько знакомых.

Адр⟨ес⟩ его: *Нижний Новгород*, 1 учебный подготовительный батальон, 4 рота, 3 взвод.

Рядовому такому-то.

Всего лучшего, будьте здоровы и приходите.

МЭ.

Трухачев Борис Сергеевич (1892–1919) – первый муж А. И. Цветаевой.

Впервые – *Поэт и время.* С. 76. Печатается по тексту первой публикации.

[1] См. комментарий 1 к письму 12 к Е. Я. Эфрон.

А. С. ЭФРОН

1

Але. (Прочти сама.)[1]

Милая Аля,

Я очень по тебе соскучилась. Посылаю тебе картинку от мыла.

Твою сестру Ирину мне принес аист – знаешь, такая большая белая птица с красным клювом, на длинных ногах.

У Ирины темные глаза и темные волосы, она спит, ест, кричит и ничего не понимает.

Кричит она совсем как Алеша[2], – тебе понравится.

Я оставила для тебя няне бумагу для рисования, нарисуй мне себя, меня и Ирину и дай Лиле, она мне привезет. Веди себя хорошо, Алечка, не капризничай за едой, глотай, как следует.

Когда я приеду, я подарю тебе новую книгу.

Целую тебя, напиши мне с Лилей письмо.

Марина

16-го апреля 1917 г.

Попроси Лилю, чтобы она иногда с тобой читала.

2

Милая Аля,

Вера мне передала то, что ты сказала, и мне стало жалко тебя и себя. Я тебя недавно видела во сне. Ты была гораздо больше, чем сейчас, коротко остриженная, в грязном платье и грязном фартуке. Но лицо было похоже. Ты вбежала в комнату и, увидев меня, остановилась. — «Аля! Разве ты меня не узнаешь?» — спросила я, и мне стало страшно грустно. Тогда ты ко мне подошла, но была какая-то неласковая, непослушная.

И Ирину я видала во сне, точно она уже выросла, и у нее зеленые глаза, и когда на них смотришь, они делаются похожи на крылья бабочки.

Аля! Не забудь сказать Маше, что я прошу, чтобы она поскорее отдала в починку корыто и примус. А няне скажи, чтобы она без меня полосатого и голубого бархатного платья тебе не надевала. Ты, наверное, без меня гадко ешь и обливаешься молоком. А гулять в хорошую погоду ходи не на Собачью площадку, а на Новинский бульвар. Там больше места тебе играть и меньше пыли.

Мартыха! Не забывай по вечерам молиться за всех, кого ты любишь. Молись теперь и за Ирину. И за то, чтобы папа не попал на войну. Крепко тебя целую.

Марина

⟨1917⟩

3

Москва, 28-го апреля 1917 г.

Милая Аля,

Посылаю тебе конфеты. Пусть Лиля тебе дает по одной после обеда и ужина, если ты хорошо ела.

Помнишь ли ты меня еще? Я тебя очень часто вспоминаю. Здесь есть один ребенок, который кричит, как игрушечный баран. А твой баран, который тебе папа на Пасху подарил, еще кричит?

Я радуюсь за тебя, что такая хорошая погода.

Аленька, узнай у Маши, взяла ли она из починки мои башмаки и отдала ли чинить калоши. Если нет, попроси, чтобы она это сделала. Напиши мне с Лилей или Верой письмо и пришли рисунки. Я по тебе соскучилась.

Недавно я видела Маврикия[1]. У Алеши два зуба и он начинает ходить один. А Андрюша болен, у него жар[2].

Крепко тебя целую, Мартышенька, будь здорова и веди себя хорошо. Приеду, подарю тебе новую книгу.

Марина

4

Москва, двадцать девятого апреля, тысяча девятьсот семнадцатого года, суббота.

Милая Аля,

Может быть теперь я уже скоро вернусь. Я тебя не видала только шестнадцать дней, а мне кажется, что несколько месяцев.

У тебя, наверное, без меня подросли волосы и можно уже будет заплетать тебе косички сзади.

Я думала — у Ирины темные волосы, а оказались такие же, как у тебя, только совсем короткие. А глаза гораздо темней твоих, мышиного цвета.

Мартышенька, почему ты мне не присылаешь рисунков? И почему так редко пишешь?

Боюсь, что ты меня совсем забыла.

Гуляй побольше, теперь такая хорошая погода.

На бульвар можно брать с собой мячик, на Собачью площадку не бери и вообще там не гуляй.

Целую тебя. Будь умницей. Может быть скоро увидимся.

Марина

5

Москва, 12-го апреля 1941 г.,
суббота.

Дорогая Аля! Наконец твое первое письмо — от 4-го, в голубом конверте[1]. Глядела на него с 9 ч. утра до 3 ч. дня — Муриного прихода из школы. Оно лежало на его обеденной тарелке, и он уже в дверях его увидел, и с удовлетворенным и даже самодовольным: — А-а! — на него кинулся. Читать мне не́ дал, прочел вслух и свое и мое. Но я еще до прочтения — от нетерпения — послала тебе открыточку. Это было вчера, 11-го. А 10-го носила папе, приняли[2].

Аля, я деятельно занялась твоим продовольствием, сахар и какао уже есть, теперь ударю по бэкону и сыру — какому-нибудь самому твердокаменному. Пришлю мешочек сушеной моркови, осенью сушила по всем радиаторам, можно заваривать кипятком, все-таки овощ. Жаль, хотя более чем естественно, что не ешь чеснока, — у меня его на авось было запасено целое кило. Верное и менее противное средство — сырая картошка, имей в виду. Так же действенна, как лимон, это я знаю наверное.

Я тебе уже писала, что твои вещи свободны, мне поручили самой снять печати, так-что всё достанем, кстати, моль ничего не поела. Вообще, всё твое цело: и книги, и игрушки, и много

фотографий. А лубяную вроде-банки я взяла к себе и держу в ней бусы. Не прислать ли тебе серебряного браслета с бирюзой, — для другой руки, его можно носить не снимая — и даже трудно снять. И м. б. какое-нибудь кольцо? Но — раз уж вопросы — ответь: какое одеяло (твое голубое второе пропало в Болшеве[3] с многим остальным — но не твоим) — есть: мое пестрое вязаное — большое, не тяжелое, теплое — твой папин бэжевый плэд, но он маленький — темно-синяя испанская шаль. Я бы все-таки — вязаное, а шаль — со следующей оказией, она все равно — твоя. Пришлю и нафталина. Мешки уже готовы. Есть два платья — суровое из номы*, и другое, понаряднее, приладим рукава. Муля[4] клянется, что достанет гвоздичного масла от комаров, — дивный запах, обожаю с детства. И много мелочей будет, для подарков.

У нас весна, пока еще — свежеватая, лед не тронулся. Вчера уборщица принесла мне вербу — подарила — и вечером (у меня огромное окно, во всю стену) я сквозь нее глядела на огромную желтую луну, и луна — сквозь нее — на меня. С вербочкой светлошёрстой[5], светлошёрстая сама... — и даже весьма светлошёрстая! Мур мне нынче негодующе сказал: — Мама, ты похожа на страшную деревенскую старуху! — и мне очень понравилось — что деревенскую. Бедный Кот, он так любит красоту и порядок, а комната — вроде нашей в Борисоглебском, слишком много вещей, все по вертикали. Главная Котова радость — радио, которое стало — неизвестно с чего — давать решительно все. Недавно слышала из Америки Еву Кюри[6]. Это большой ресурс. Аля, среди моих сокровищ (пишу тебе глупости) хранится твоя хлебная кошечка, с усами. Поцелуй за меня Рыжего, хороший кот. А у меня, после того, твоего, который лазил Николке[7] в колыбель, уже никогда кота не будет, я его безумно любила и ужасно с ним рассталась. Остался в сердце гвоздем.

Кончаю своих Белорусских евреев[8], перевожу каждый день, главная трудность — бессвязность, случайность и неточность образов, все распадается, сплошная склейка и сшивка. Некоторые пишут без рифм и без размера. После белорусских евреев кажется будут балты. Своего не пишу, — некогда, много работы по дому, уборщица приходит раз в неделю. — Я тоже перечитывала Лескова — прошлой зимой, в Голицыне, а Бенвенуто читала[9], когда мне было 17 лет, в гётевском переводе и особенно помню саламандру и пощечину.

Несколько раз за зиму была у Нины[10], она все хворает, но работает, и когда только может — радуется. Подарила ей лже-меховую курточку, коротенькую, она совсем замерзала, и на рождение одну из своих металлических чашек, из к⟨отор⟩ых никто не пьет, кроме меня — и нее.

---

* Сеть дешевых французских магазинов.

Хочу отправить нынче, кончаю. Держись и бодрись, надеюсь, что Мулина поездка уже дело дней. Меня на днях провели в групком Гослитиздата — единогласно. Вообще, я стараюсь.

Будь здорова, целую. Мулины дела очень поправились, он добился чего хотел, и сейчас у него много работы. Мур пишет сам.

Мама

Эфрон Ариадна Сергеевна (1912—1975) — старшая дочь М. Цветаевой.

Письма 1, 3 и 4 впервые — *А. Саакянц*. С. 120—121. Письмо 2 — Цветаева М. Поклонись Москве (М.: Моск. рабочий, 1989). Письмо 5 — *НП*. Печатаются по тексту первой публикации, кроме письма 5, которое печатается по тексту повторной публикации (*Соч. 88, т. 2*), где оно опубликовано по копии, сверенной с оригиналом.

1

[1] Эта и следующие три записки написаны М. Цветаевой из родильного дома. Дочь Аля в свои неполные пять лет уже читала (Цветаева писала записки крупными печатными буквами).

[2] *Алеша* — сын А. Цветаевой и М. А. Минца.

3

[1] М. А. Минц.

[2] *Алеша* — см. комментарий 2 к письму 1. *Андрюша* — Андрей Трухачев.

5

[1] Цветаева отвечает на первое письмо дочери, посланное из Княж-Погоста (район Воркуты), куда она была отправлена в ссылку.

[2] Прием посылки означал, что человек не выбыл из тюрьмы и, вероятно, жив.

[3] После приезда в СССР М. Цветаева с семьей жила на казенной даче в Болшеве. На этой даче были арестованы А. С. Эфрон и С. Я. Эфрон.

[4] С. Д. Гуревич. См. комментарий 7 к письму 13 к Е. Я. Эфрон.

[5] *С вербочкой светлошерстой...* — начало стихотворения М. Цветаевой, обращенного к дочери (1918). (См. т. 1.)

[6] Ева Кюри после оккупации Франции работала на американском и английском радио.

[7] Николай, сын А. В. Сеземана. См. комментарий 13 к письму Л. П. Берии (т. 7).

[8] Цветаева переводила в то время поэтов Кнапгейса, Герша Вебера и других; переводы некоторых стихов сохранились (см. т. 2).

[9] Цветаева имеет в виду книгу мемуаров Бенвенуто Челлини «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини флорентийца, написанная им самим во Флоренции» (1558—1565).

[10] *Гордон* Нина Павловна (р. 1908), приятельница А. С. Эфрон. В 1930-е годы секретарь Михаила Кольцова (1898—1942) в журнально-газетном объединении (Жургаз). Автор воспоминаний о М. Цветаевой (*Воспоминания о Цветаевой*. С. 440—451).

А. А. и А. Ф. ЛЕБЕДЕВЫМ

Многоуважаемые г⟨оспо⟩да Лебедевы!

Согласно поручению моей сестры, Анастасии Ивановны Трухачевой, прошу Вас выдать ее вещи[1] (в ящиках и мебель) Алексею Антоновичу Борисову[2].

Марина Эфрон

Москва, 27-го декабря 1918 г.
8 января 1919 г.[3]

Лебедев Алексей Андреевич (1860–1919) — учитель математики Александровского приходского училища, и его жена, Анна Федуловна (1870–1932), — квартирные хозяева А. И. Цветаевой (по мужу — Трухачевой) в г. Александрове (Военный переулок, 5).

Впервые — «Голос труда» (г. Александров. 1993. 12 августа). (Публикация А. Львова.) Печатается по тексту первой публикации.

[1] После смерти проходившего военную службу в Александрове второго мужа А. И. Цветаевой М. А. Минца в мае 1917 г. для Цветаевых отпала необходимость жить в Александрове. Но в доме оставались их вещи.

[2] Отец «владимирской няньки Нади» (см. «История одного посвящения», т. 4), служившей сестрам Цветаевым.

[3] В письме указаны две даты. На обороте — начальные строки ненаписанного Цветаевой письма: «28-го мая 1918 г. Дорогой Сереженька!» (обращение зачеркнуто) и номер телефона Цветаевой в Москве «525-81» (Борисоглебский переулок, 6).

В. К. ЗВЯГИНЦЕВОЙ

1

Верочка?

— (Вопросительный знак — для оклика.)

Приходите. У меня много новых стихов и я Вас люблю. А если Вам нездоровится, и Вам нельзя придти, и нельзя сидеть у Вас, — выйдем на волю, посидим где-нибудь. Расскажу Вам про чудовищную поэтессу[1], вообще расскажу Вам разные вещи, — удачи и злоключения.

Целую Вас.
МЦ.

Москва, 11-го июля 1919 г.

— Приходите пока есть кофе и сахар. Оба кончаются.

2

Верочка!

Я так отвыкла от любви, что была почти в недоумении, получив Вашу записку: из другого царства, из другого мира.

Живу окруженная и потопленная Алиной иступленной любовью — но это уже не жизнь, а там где-то — как герои моих пьес.

Живу — правда — как на башне, правим с Алей миром с чердака. Ирина тоже на чердаке, но не правит.

В быту продаю и бегаю за казенными обедами.

Недавно пошла вечером с Алей и Ириной в церковь — оказалось: канун Воздвижения, Асиного 25-летия. — Мы обе родились в праздник[1]. Простояла часть службы, кружила по Собачьей площадке, был *такой* вечер. — Я думала: «Если Ася жива, она *знает,* что я об ней думаю», — думала именно этими словами, только это, весь вечер[2].

— Да. —

— Приходите. Вечерами я дома, каждый вечер, нигде не бываю. Но предупредите заранее, тогда я в этот день не буду днем укладывать Ирину и смогу уложить ее вечером пораньше.

Целую Вас. Поговорим о «Червонном Валете»[3], к⟨оторо⟩го С⟨печин⟩ский[4] все просит у меня для Вашего театра и в к⟨отор⟩ом — я хочу — чтобы Вы играли Червонную Даму — героиню!

— Скорее приходите!

МЦ.

Москва, 18-го сентября 1919 г.

3

Москва, ⟨12/25-го⟩ февраля 1920 г., среда[1]

Верочка!

Вы — единственный человек, с кем мне сейчас хочется — можется — говорить. Может быть, потому, что Вы меня любите.

Пишу на рояле, тетрадка залита солнцем, волосы горячие. Аля спит. Милая Вера, я совсем потеряна, я *страшно* живу[2]. Вся как автомат: топка, в Борисоглебский за дровами — выстирать Але рубашку — купить морковь — не забыть закрыть трубу — и вот уже вечер, Аля рано засыпает, остаюсь одна со своими мыслями, ночью мне снится во сне Ирина, что — оказывается — она жива — и я так радуюсь — и мне так естественно радоваться — и так естественно, что она жива. Я до сих пор не понимаю, что ее нет, я не верю, я понимаю слова, но я не чувствую, мне все кажется — до такой степени я не принимаю *безысходности* — что все обойдется, что это мне — во сне — урок, что — вот — проснусь.

— Милая Верочка.—

С людьми мне сейчас плохо, никто меня не любит, никто — просто — в упор — не жалеет, чувствую все, что обо мне думают, это тяжело. Да ни с кем и не вижусь.

Мне сейчас нужно, чтобы кто-нибудь в меня поверил, сказал: «А все-таки Вы хорошая — не плачьте — С⟨ережа⟩ жив[3] — Вы с ним увидитесь — у Вас будет сын, все еще будет хорошо».

Лихорадочно цепляюсь за Алю. Ей лучше — и уже улыбаюсь, но — вот — 39,3 и у меня сразу все отнято, и я опять примеряюсь к смерти. — Милая Вера, у меня нет будущего, нет воли, я всего боюсь. Мне — кажется — лучше умереть. Если С⟨ережи⟩ нет в живых, я все равно не смогу жить. Подумайте — такая длинная жизнь — огромная — все чужое — чужие города, чужие люди, — и мы с Алей — такие брошенные — она и я. Зачем длить муку, если можно не мучиться? Что меня связывает с жизнью? — Мне 27 лет, а я все равно как старуха, у меня никогда не будет *настоящего*.

И потом, все во мне сейчас изгрызано, изъедено тоской. А Аля — такой нежный стебелек!

— Милая Вера, пишу на солнце и плачу — потому что я все в мире любила с такой силой!

Если бы вокруг меня был сейчас круг людей. — Никто не думает о том, что я ведь *тоже человек*. Люди заходят и приносят Але еду — я благодарна, но мне хочется плакать, потому что — никто — никто — никто за все это время не погладил меня по голове. — А эти вечера! — Тусклая стенная лампа (круглый матовый колпак), Аля спит, каждые полчаса щупаю ей лоб — спать не хочется, писать не хочется — даже страшно думать! — лежу на диване и читаю Джека Лондона, потом засыпаю, одетая, с книгой в руках.

И потом, Верочка, самое страшное: мне начинает казаться, что Сереже я — без Ирины — вовсе не нужна, что лучше было бы, чтобы *я* умерла, — достойнее! — Мне стыдно, что я жива. — Как я ему скажу?

И с каким презрением я думаю о своих стихах!

В прошлом — разъедающая тоска...[4]

Звягинцева Вера Клавдиевна (1894—1972) — поэтесса, переводчица. С В. К. Звягинцевой и ее мужем, А. С. Ерофеевым, М. Цветаева познакомилась в 1919 г. Знакомство быстро переросло в бурную, хотя и недолгую, дружбу. Подробно об этом см. работу В. Швейцер «Страницы в биографии Марины Цветаевой» (Russian Literature. Holland. 1981. IX. С. 323—356).

Впервые — там же. Печатаются по тексту первой публикации.

1

[1] В своих комментариях В. Швейцер приводит предположение В. К. Звягинцевой: «Не Хабиас ли? — была такая поэтесса с набрильянтиненными волосами, с женскими любвями...» (там же. С. 354).

2

[1] День рождения А. Цветаевой 14 сентября, М. Цветаевой — 26 сентября (Иоанн Богослов). Даты — по старому стилю.

[2] М. Цветаева не имела известий от сестры, которая с лета 1917 г. жила с сыном Андреем в Крыму и не могла оттуда выехать.

[3] Пьеса М. Цветаевой (см. т. 3).

[4] Молодой актер Второго Передвижного театра, где в то время работала В. К. Звягинцева. Видимо, снимал у Цветаевой комнату. Он же и познакомил Цветаеву со Звягинцевой (там же. С. 326—327).

3

[1] Дата написания установлена В. Швейцер.

[2] См. письмо 3 к В. К. Звягинцевой и А. С. Ерофееву.

[3] С. Я. Эфрон был в это время в Добровольческой армии.

[4] На этом письмо обрывается.

В. К. ЗВЯГИНЦЕВОЙ и А. С. ЕРОФЕЕВУ

1

Сашенька и Верочка!

Я еще жива. — Только в большом доме, в чужой комнате, вечно на людях[1]. Аля все еще больна, д⟨окто⟩ра не угадывают болезни. Жар и жар. Скоро уже 2 месяца, как она лежит, а я не живу.

Сашенька, я нашла Вашу записку на двери. — Трогательно. — Если бы у Али пала $t°$, я бы пришла, я тоже по вас обоих соскучилась — как волшебно было тогда эти несколько дней.

Приходите *вы*, господа, ко мне, — так, часов в 7. Если меня не будет, значит я ушла за дровами и сейчас вернусь.

Дня не назначаю, чем скорей, тем лучше. Но не позднее семи, — Аля засыпает в девять.

Целую и жду.

МЦ.

⟨22-го января/4-го февраля 1920 г.⟩

2

Друзья мои!

Спасибо за любовь.

Пишу в постели, ночью. У Али 40,4 — было 40,7. — Малярия. 10 дней была почти здорова, читала, писала, вчера вечером еще 37 — и вдруг сегодня утром 39,6 — вечером 40,7.

— Третий приступ. — У меня уже есть опыт безнадежности, — начала фразу и от суеверия в хорошую или дурную сторону боюсь кончить.

— Ну, даст Бог!—

Живу, окруженная равнодушием, мы с Алей совсем одни на свете.

Нет таких в Москве!

С другими детьми сидят, не отходя, а я — у Али 40,7 — должна оставлять ее совсем одну, идти долой за дровами.

У нее нет *никого*, кроме меня, у меня — *никого*, кроме нее. — Не обижайтесь, господа, я беру *нет* и *есть* на самой глубине: если *есть*, то умрет, если я умру, если не умрет — так *нет*.

Но это — на самую глубину, — не всегда же мы живем на самую глубину — как только я стану счастливой — т. е. избавленной от чужого страдания — я опять скажу, что вы оба — Саша и Вера — мне близки. — Я себя знаю.

— Последние дни я как раз была так счастлива: Аля выздоравливала, я — после двух месяцев — опять писала, больше и лучше, чем когда-либо. Просыпалась и пела, летала по лавкам — блаженно! — Аля и стихи.

Готовила книгу — с 1913 г. по 1915 г.[1] — старые стихи воскресали и воскрешали, я исправляла и наряжала их, безумно увлекаясь собой 20-ти лет и всеми, кого я тогда любила: собою — Алей — Сережей — Асей — Петром Эфрон — Соней Парнок — своей молодой бабушкой — генералами 12 года — Байроном — и — не перечислишь!

А вот Алина болезнь — и я *не могу* писать, не вправе писать, ибо это наслаждение и роскошь. А вот письма пишу и книги читаю. Из этого вывожу, что единственная для меня *роскошь* — ремесло[2], то, для чего я родилась.

Вам будет холодно от этого письма, но поймите меня: я одинокий человек — одна под небом — (ибо Аля и я — одно), мне нечего терять. Никто мне не помогает жить, у меня нет ни отца, ни матери, ни бабушек, ни дедушек, ни друзей. Я — вопиюще одна, потому — на всё вправе. — И на преступление! —

Я с рождения вытолкнута из *круга людей*, общества. За мной нет живой стены, — есть скала: Судьба. Живу, созерцая свою жизнь — *всю жизнь* — Жизнь! — У меня нет возраста и нет лица. Может быть — я — сама Жизнь. Я не боюсь старости, не боюсь быть смешной, не боюсь нищеты — вражды — злословия. Я, под моей веселой, огненной оболочкой, — камень, т. е. неуязвима. — Вот только Аля. Сережа. — Пусть я завтра проснусь с седой

головой и морщинами — что ж! — я буду творить свою Старость — меня все равно так мало любили!

Я буду жить — Жизни — других.

И вместе с тем, я так радуюсь каждой выстиранной Алиной рубашке и чистой тарелке! — И комитетскому хлебу! И — так хотела бы новое платье!

Все, что я пишу, — бред. — Надо спать. — Верочка, выздоравливайте и опять глядите лихорадочными — от всей Жизни — глазами 〈поверх?〉 румяных щек. — Помню ваше черное платье и светлые волосы.

— Когда встанете, пойдите к Бальмонту за радостью, — одного его вида — под клетчатым пледом — достаточно!

〈*Начало февраля 1920 г.*[3]〉

3

Москва, 7/20-го февраля 1920 г., пятница

Друзья мои!

У меня большое горе: умерла в приюте Ирина — 3-го февраля, четыре дня назад. И в этом виновата я[1]. Я так была занята Алиной болезнью (малярия — возвращающиеся приступы) — и так боялась ехать в приют (боялась того, что сейчас случилось), что понадеялась на судьбу.

— Помните, Верочка, тогда в моей комнате, на диване, я Вас еще спросила, и Вы ответили «может быть» — и я еще в таком ужасе воскликнула: — «Ну, ради Бога!» — И теперь это совершилось, и ничем не исправишь. Узнала я это *случайно,* зашла в Лигу Спасения детей на Соб〈ачьей〉 площадке разузнать о санатории для Али — и вдруг: рыжая лошадь и сани с соломой — кунцевские — я их узнала. Я взошла, меня позвали. — «Вы г〈оспо〉жа такая-то? — Я. — И сказали. — Умерла без болезни, от слабости. И я даже на похороны не поехала — у Али в этот день было 40,7 — и — сказать правду?! — я просто *не могла.* — Ах, господа! — Тут многое можно было бы сказать. Скажу только, что это *дурной сон*, я все думаю, что проснусь. Временами я совсем забываю, радуюсь, что у Али меньше жар, или погоде — и вдруг — Господи, Боже мой! — Я просто еще не верю! — Живу с сжатым горлом, на краю пропасти. — Многое сейчас понимаю: во всем виноват мой авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец, — здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не видишь что другому трудно. И — наконец — я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат — у меня была

только Аля, и Аля была больна, и я вся ушла в ее болезнь — и вот Бог наказал.

— Никто не знает, — только одна из здешних барышень, Иринина крестная, подруга Веры Эфрон. Я ей сказала, чтобы она как-нибудь удержала Веру от поездки за Ириной — здесь все собиралась, и я уже сговорилась с какой-то женщиной, чтобы привезла мне Ирину — и как раз в воскресенье.

— О! —

— Господа! Скажите мне что-нибудь, объясните.

Другие женщины забывают своих детей из-за балов — любви — нарядов — праздника жизни. Мой праздник жизни — стихи, но я не из-за стихов забыла Ирину — я 2 месяца ничего не писала! И — самый мой ужас! — что я ее не забыла, не забывала, все время терзалась и спрашивала у Али: — «Аля, как ты думаешь — — — ?» И все время собиралась за ней, и все думала: — «Ну, Аля выздоровеет, займусь Ириной!» — А теперь поздно.

У Али малярия, очень частые приступы, три дня сряду было 40,5 — 40,7, потом понижение, потом опять. Д⟨окто⟩ра говорят о санатории: значит — расставаться. А она живет мною и я ею — как-то исступленно.

Господа, если придется Алю отдать в санаторию, я приду жить к Вам, буду спать хотя бы в коридоре или на кухне — ради Бога! — я не могу в Борисоглебском, я там удавлюсь.

Или возьмите меня к себе с ней, у Вас тепло, я боюсь, что в санатории она тоже погибнет, я всего боюсь, я в панике, помогите мне!

Малярия лечится хорошими условиями, Вы бы давали тепло, я еду. До того, о чем я Вам писала в начале письма, я начала готовить сборник (1913 — 1916)[2] — безумно увлеклась — кроме того, нужны были деньги.

И вот — все рухнуло.

— У Али на днях будет д⟨окто⟩р — третий! — буду говорить с ним, если он скажет, что в *человеческих* условиях она поправится, буду умолять Вас: м. б. можно у Ваших квартирантов выцарапать столовую? Ведь Алина болезнь не заразительная и не постоянная, и Вам бы никаких хлопот не было. Я знаю, что прошу невероятной помощи, но — господа! — ведь Вы же меня любите!

О санатории д⟨окто⟩ра говорят, п. ч. у меня по утрам 4 — 5°, несмотря на вечернюю топку, топлю в последнее время даже ночью.

Кормить бы ее мне помогали родные мужа, я бы продала книжку через Бальмонта — это бы обошлось. — Не пришло ли

продовольствие из Рязани? — Господа! Не приходите в ужас от моей просьбы, я сама в непрестанном ужасе, пока я писала об Але, забыла об Ирине, теперь опять вспомнила и оглушена.

— Ну, целую, Верочка, поправляйтесь. Если будете писать мне, адресуйте: Мерзляковский, 16, кв⟨артира⟩ 29 — В. А. Жуковской (для М. И. Ц⟨ветаевой⟩)[3] — или — для Марины. Я здесь не прописана. — А может быть, Вы бы, Сашенька, зашли? Хоть я знаю, что Вам трудно оставлять Веру.

Целую обоих. — Если можно, никаким общим знакомым — пока — не рассказывайте, я как волк в берлоге прячу свое горе, тяжело от людей.

МЦ.

⟨Приписка на полях:⟩

И потом — Вы бы, Верочка, возвратили Але немножко веселья[4], она Вас и Сашу любит, у Вас нежно и весело. Я сейчас так часто молчу — и — хотя она ничего не знает, это на нее действует. — Я просто прошу у Вас *дома* — на час!

М.

4

⟨3-го июля 1920⟩[1]

Милая Вера, милый Саша!

В четверг будем у Вас: Волькенштейн и я, — может быть, Бебутов[2], если Волькенштейн его поймает, я давно уже его не видала.

Приходили: Аля, моя приемная дочка (милиотиевская старшая[3]) — и я.

МЦ.

Вторник.

Волькенштейн захватит пьесу «Паганини»[4].

5

⟨17-го октября 1920⟩[1]

Милый Саша!

Ждали Вас с Влад⟨имиром⟩ Мих⟨айловичем⟩[2], ели яблоки, читали.

Привет

МЦ.

Ерофеев Александр Сергеевич (1887 — 1949) — литературный работник, служил в книготорговых организациях. Муж В. К. Звягинцевой.

Письма 1 и 3 — 5 впервые — Russian Literature. Holland. 1981. IX. С. 333, 335 — 337. Письмо 2 — *А. Саакянц.* С. 217 — 218. Печатаются по тексту первой публикации.

1

[1] Цветаева забрала тяжелобольную Алю из приюта в Кунцеве, где находились обе ее дочери. Выхаживать больную Алю помогала В. А. Жуковская, родственница А. К. Герцык, — у нее временно и поселилась Цветаева с дочерью.

2

[1] См. комментарий 4 к письму 4 к П. И. Юркевичу.

[2] Часто цитируемая Цветаевой в том или ином виде формула, принадлежавшая К. Павловой. См. также письмо 1 к А. Бахраху и комментарий 9 к нему.

[3] Письмо не было отправлено — скорее всего потому, что в эти дни Цветаева узнала о кончине своей младшей дочери.

3

[1] В своей публикации В. Швейцер приводит отрывки из писем художниц Магды Нахман и Юлии Оболенской (знакомых Цветаевой по Коктебелю), в которых говорится о смерти Ирины. Магда Нахман находилась тогда под Невелем вместе с Лилей Эфрон и узнала о случившемся из письма Веры Эфрон сестре. Нахман пишет Оболенской в Москву 12 марта 1920 г.: «Умерла в приюте Сережина дочь — Ирина, слышала ты?.. Лиля хотела взять Ирину сюда и теперь винит себя в ее смерти. Ужасно жалко ребенка — за два года земной жизни ничего кроме голода, холода и побоев». И через несколько дней, 19 марта, Оболенская откликается: «Я понимаю огорчение Лили по поводу Ирины, но ведь спасти от смерти еще не значит облагодетельствовать: к чему жить было этому несчастному ребенку? Ведь навсегда ее Лиле бы не отдали. Лиля затратила бы последние силы только на отсрочку ее страданий. Нет: так лучше. Но думая о Сереже, я так понимаю Лилю. Но она совсем не виновата».

В умолчании о матери — «умерла Сережина дочь...» — и жалости к отцу только, в мимоходом произнесенных словах о побоях и «зачем было жить», в самой сдержанности этих строк — жестокое осуждение Цветаевой.

Цветаева знала, что ее осуждают и винят в смерти Ирины — и винила и осуждала себя сама (с. 334).

После смерти дочери Цветаева ожесточилась, обвинила во всем сестер мужа, хотя одной не было в Москве, другая серьезно болела.

[2] См. комментарий 4 к письму 4 к П. И. Юркевичу.

[3] См. комментарий к письму 1.

[4] Спустя несколько месяцев (в письме к Е. О. Волошиной от 14/27 сентября 1920 г.) Аля писала о смерти сестры: «У нас умерла

Ирина, она была очень странная девочка, мало понимала, потом ничего не говорила. Ей очень плохо жилось. Нам ее очень жаль, часто видим во сне» (*А. Эфрон.* С. 236—237).

4

[1] Датировано А. С. Ерофеевым.
[2] См. комментарий 9 к письму 3 к Е. Л. Ланну.
[3] Речь идет о Зинаиде (р. 1911), дочери В. Д. Миллиоти, впоследствии художнике-мультипликаторе.
[4] Пьеса В. М. Волькенштейна.

5

[1] Датировано А. С. Ерофеевым.
[2] В. М. Волькенштейн.

Е. Л. ЛАННУ

1

Москва, 6-го русск⟨ого⟩ декабря 1920 г., воскресенье.
Из трущобы — в берлогу
— Письмо первое —

Дружочек!

После Вашего отъезда жизнь сразу — и люто! — взяла меня за бока.

Проводив Вас взглядом немножко дольше, чем было видно глазами, я вернулась в дом. У Д⟨митрия⟩ А⟨лександровича⟩[1] было милое, вопрошающее — и сразу благодарное мне! — лицо*. Благодарная за похвалу, я сделалась вдвое веселей и милей, чем при Вас. Месхиева[2] ругала Малиновскую[3], Д⟨митрий⟩ А⟨лександрович⟩ деликатно опровергал. Ася возилась с собакой, А. Д. с Алей.

Потом мы с Месхиевой пошли домой, я — оберегая ее от ухабов, она меня — от автомобилей.

— «Вы очень подружились с Ланном?» — «Да, — большой поэт и еще бо́льший человек. Я буду скучать о нем». — «Вам нравятся его стихи?» — «Нет. Извержение вулкана не может нравиться. Но — хочу я или не хочу — лава течет и жжет».

— «Он в Харькове был очень под влиянием Чурилина»[4]. — «Однородная порода. — Испепеленные. — Испепеляющие».

Назначив друг другу встречу в понедельник (хотя любить ее не буду, — настороже, себялюбива и холодна!) — расстались.

* За то, что у меня — после проводов — веселое (*примеч. М. Цветаевой*).

Дома я уложила Алю. — Да, постойте! — Взойдя, я сразу поняла: не чердак и не берлога, — *трущоба*! И была бы совсем счастлива определением, если бы рядом были Вы, чтобы оценить. — Поняв трущобность, удовлетворилась ею, и ушла ночевать в приличный дом, — к знакомым Скрябиной. Там были одни женщины, говорили про спиритизм и сомнамбулизм, я лежала на огромном медведе, не слушала, спорила, соглашалась и спала. Ночью тридцать раз просыпалась, курила, бродила, будила и ушла до свету, оставив всех в недоумении, — зачем приходила.

— Такой Москвы Вы не знаете, да и я забыла, что она есть! — Тишина — фарфоровость — блеск и ломкость. Небо совсем круглое и *все* розовое, и снег розовый, — и я тигровым привидением[5]. — Не встретила ни человека.

Дойдя до Смоленского[6], решила — noblesse oblige* — навестить — посетить его останки и — о удивление! — не помер: мужик с дровами!

— «Купчиха, дров не надоть!» — «Даже очень!»

Впряглась с мужиком и довезла до дому 4 мешка дров. Отдала всю пайковую муку, — по крайней мере не укра́дут, а дрова я потороплюсь сжечь. И сразу — глупое сожаление: — «Ну, конечно, — только он уехал, — и дрова! А я его морила холодом». (Но поняв, что Вам *сейчас* все равно — тепло, сразу успокоилась.)

— В 12 ч. дня посылаю Алю на Собачью площадку (к⟨отор⟩ой по-Вашему нет), — в Лигу Спасения Детей, за каким-то усиленным питанием, а сама сажусь дописывать те — последние — стихи, диалог над мертвым.

Потом голова болит, ложусь на Алину кровать, покрываюсь тигром и пледом, дрова есть — значит, можно не топить, ужасный холод, голова разлетается, точно кто железным пальцем обводит веки. — Сплю. — Просыпаюсь: темнеет. Али нет. — Иду к Скрябиным[7]. — Там нет. — Вспоминаю год назад — приют, госпиталь[8], этот *ужас всех недр* — вспоминаю и последние две недели сейчас, мою сосредоточенность на себе, мое раздражение на ее медленность, мое отсутствие благодарности Богу, что она есть. Возвращаюсь, жду, читаю какую-то книгу. — Темнеет. — Не могу сидеть, оставляю ей записку в дверях, иду во Дворец Искусств, к одному художнику[9]. — Была у Вас Аля? — «Только что ушла». Опять домой. Часы проходят. (Уже 5 ч.). — Ее нет. — Дверь раскрывается. В⟨олькен⟩штейн[10]. — «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩, я пришел к Вам насчет пьесы, я хочу устроить...» — «Мне не до этого, — Аля пропала. Оставьте меня». — Упорствуя, расспрашивает. Неохотно — резко — почти грубо рассказываю. — Идет искать. —

* Положение обязывает *(фр.)*.

Жду. — Час проходит. Совсем темно. Возвращается. Во Дворце ее видели все: была и у Рукавишникова[11], и в канцелярии, и у цыган, и в подвалах, — но нигде нет[12]. — Садится. — «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩, Вы еще увидите того поэта?» — «Нет». — «Но будете ему писать?» — «Не знаю». (Недоумение.) — «Мне очень жаль, что так мало пришлось поговорить с ним тогда». (— «Подлизывается!» — думаю я с презрением) — «Он мне очень понравился. И — заметили ли Вы, что он совершенно похож на коненковского Паганини, — точно с него делано!» — Я, оживляясь: — «Коненковского Паганини я не рассмотрела, — близорука, но — как странно — в первую же встречу, через 10 мин⟨ут⟩ после того, как он вошел, сказала ему, что он похож на Паганини»[13]. — «Значит, Коненков правильно понял Паганини». — «Так вот, если будете ему писать, напишите ему следующее. — Я потом думал о нем. — Его творчество — и декламация — и все явление... Этот человек *сведенный*, судорожный, исступленный. Человек трудной жизни. Мне пришел в голову такой пример: когда Станиславский смотрит молодого актера, он первым делом говорит ему: — «Легче! Легче! — Так, распустите мускулы. — Совсем свободно». — «И всё?» — «Да, и всё. Чувствуйте: напряжение позади, сейчас освобождение. Не бойтесь, что Вам даром платят деньги!» — Так вот, я думал о нем. Он не доверяет легкости, — он брезгует ею. Он намеренно громоздит трудности. Ему нужны только непосильные задачи. О, ему трудно жить, — тем более, что все это из глубины, в большой серьез».

— «Вы не так... то есть Вы более... наблюдательны, чем я думала».

— «Жалко, что Вы не познакомили нас с ним раньше, я бы показал ему Станиславского. Это гениальный человек прежде всего».

(Прав.) — Благодарная за «показал бы *ему*», а не «показал бы *его*», чуть проясняюсь и прошу у него стихи. — Дает — и много. — «Но Аля!!» — Уже 7 часов. (Ушла в 12 ч.) — Обещает еще раз, после того как зайдет домой, идти искать во Дворец. Уходит. Я лежу и думаю. Думаю вот о чем. — Господи, и тогда я мучилась, пальцем очерчивала, где болит, но какая другая боль! Та боль — роскошь, я на нее не вправе, а эта боль — насущная, то, чем живут, от чего *не вправе не умереть*. (Если Аля не найдется!) — Аля — Сережа. Ася — на грани, *и* насущное, и роскошь. Ланн — только роскошь, и вся боль от него и за него — роскошь, и сейчас Бог наказывает. Ланн — во имя мое, могло бы быть и во имя *его,* но не вышло — не выйдет — ему не нужно — это у него уже есть — и даже если бы не было — *ему* (такой породе) не нужно. Отношение неправильно пошло, исправилось только к концу — выпрямилось, за день до его отъезда. Я поняла: никакой заботы!

Холодно — мерзни, голоден — бери, умирать — умирай, я ни при чем, отстраняюсь — галантно! без горечи. Ему нужно: несколько голов (умов) — мужских, от времени до времени — подобие любви, (жесточайшая игра для обтачивания когтей против себя же!) *или* мужская дружба (теоретизирование — планы детективных контор и готовность — если надо — умереть друг за друга! Только не друг *без* друга!) — или женское обаяние: духи, меха — и никакой грудной клетки!

Думала без горечи: пристально и стойко. — «Если бы суждено было встретиться еще — о, замечательная встреча! Я бы дала ему ровно столько и ровно то, что ему нужно. — Но — Аля?!!!»

В 9-ом часу появился В〈олькен〉штейн, ведя Алю за руку, — напыщенный и прохладный в сознании всего своего великодушия в ответ на всю мою подлость.

Подвел — поклонился — и вышел.

— «Аля, что это значит?» — «Я хотела испытать горе, — как ребенок живет без матери». — «Где ты была?» — «Я целый день сидела в сугробе и голодна, как смерть». — «Гм... — И никуда не заходила?» — «Нет». — «Нигде, нигде не была, — ни у Скрябиных, ни у *X*, ни у *Z*, ни у цыган?» — «Ни — где. Ходила по пустырям и горевала». — «А кто был во Дворце? Кто веселился с детьми такого-то? Кто глядел на шахматный турнир? Кто? — Кто — кто? — ?» — «Марина, простите!» —

Яростно посадила ее на табурет посреди комнаты. — «Так, руки вдоль колен! Так, не двигаться! А что *я* горюю, что *я* думаю, что ты попала под автомобиль, а что Е〈вгений〉 Л〈ьвович〉 уехал и теперь надо любить меня вдвое — ты об этом не думала?!» и т.д. и т.д.

Дверь настежь: художник из Дворца[14] (открывший после смерти Ирины серию моего дурного поведения — просто — за сходство с Борисом*[15] — как первое, чему я улыбнулась после всего того ужаса).

— М〈арина〉 И〈вановна〉! Я к Вам! Я по Вас соскучился. Можно?» (Когда-то видались три раза в день, теперь не видались с июня, хотя соседи.)

— «Очень рада! Садитесь. Кушать будете?»

— «Все, что дадите!»

Аля: «М〈арина〉! Он тоже голоден, как смерть!»

Я: «Чудесно! Два таких аппетита в доме, — мне больше не нужно! Аля, разжóги!»

И — пошло! — Топлю, колю, пилю, сидят, едят.

---

* Оговорюсь! *(примеч. М. Цветаевой)*

— «Аля, мойся!» — К 11-ти мы на улице. — Куда идти? Пошли к Антокольским (соседям, он — поэт и неплохой). Съели очень много черного хлеба и ушли. Оттуда на Арбатскую площадь, — уже 12 ч., оттуда к Скрябиным, оттуда — в 2 ч. по домам.

Сегодня он опять зайдет за мной: неутомимый ходок, как я, мне с ним весело — и абсолютно безразличен. Просто — для не сидения по вечерам в трущобе. — А о сходстве с Борисом — вот что: вьющаяся голова (хотя темная) — и посадка головы, — разлетающийся полушубок — нелепая грандиозность — химеричность — всех замыслов, — обожание нелепости, comme telle* — так мы, напр⟨имер⟩, в прошлом году всю дорогу из Замоскворечья к моему дому говорили о каком-то баране, сначала маленьком: бяша, бяша! потом он уже большой и нас везет (под луной — было полнолуние — и очень поздний час ночи) — потом он, везя, начинает на нас оглядываться и — скалиться!, потом мы его усмиряем, — один бок жареный, едим — и т. д., и т. д., и т. д. — В итоге — возвращаясь каждый к себе домой: хочу лечь — баран, книгу беру — шерстит — баран!, печку топлю, — пахнет паленым, — он же сгорбатился — и т. д.

Идем вчера, смеясь, — вспоминаем.

— «Да, но наш баран — все-таки не баран! И в этом наше оправдание», говорит он.

— Крылатый баран! — поправляю я и — внезапно — «от нашего барана до Пегаса — один шаг!»

Простите за всю эту ересь — это для характеристики.

Иду вчера и думаю. — «Я дура. Премированная дура. Баран — поддевка — веселье. При чем тут любовь? Зачем всегда это бесплатное приложение? — Моя галантность? — Нет, глупость. — Надо же понять, наконец, что не всякое желание другого — насущное, что есть — в этой области и — м. б. — больше, чем в других — Прихоть. А я, всегда принимающая малейшую причуду другого au grand sérieux** — просто дура!»

— Но, дружочек, у меня есть одно оправдание: я невозвратна. Не потому, что я так решаю, а потому что что-то во мне *не может* вторично, — другие глаза и голос и та естественная преграда, которая у меня никогда не падает — ибо ее нет! — при первом знакомстве, и неизбежно вырастает — во втором. — Точно, заплатив дань своему женскому естеству (формальному!) — я внимательно занимаюсь изучением того, кто передо мной.

И это так невинно, что ни один — клянусь! — ничего не помнит.

---

* Как таковой *(фр.)*.

** Слишком серьезно *(фр.)*.

6 Зак. 30

Об одном я не успела ни написать, ни сказать Вам, — а это важно! — Об огромном творческом подъеме от встречи с Вами. — Те стихи Вам[16] — не в счет, просто беспомощный лепет ослепленного великолепием ребенка — не те слова — все не то — (*я*, но — не Вам, — поняли?) — Вам нужно все другое, ибо Вы из всех, меж всех — другой, — все та же моя неверная начальная слепота — верно-неверная лунатическая дорога.

Ничего не обещаю — ибо Вам ничего не нужно! — но просто повествую Вам — как все это письмо — ибо Вы ценитель и знаток душ! — что то что *с* Вас сошло на меня (говорю как — о горé!) другое и по-другому скажется, чем все прежнее. — Спасибо Вам! — Творчески!

вторник

Вы уже день, как дома. А я уже три дня — как нé дома. — Знаете, где я вчера была? — Судьба! — В Спасо-Болвановском!!![17]

— Дружок, он есть! — И действительно — *зá* Москвой-рекой! — Далё-еко! — Длинный, горбатый, без тротуаров и мостовых, весь в церковных домиках, — и везде светло, тепло! — Какая там советская Москва! — Времен Иоанна Грозного!

Мы шли со Скрябиной, — она в своей котиковой шубе, на узких как иголки каблуках, я медведем в валенках, и она все время падала.

И *кáк — мнé — бы́ло — жáль!*

(NB — не ее, конечно!)

Между прочим: Вам совсем не надо читать этого письма за раз, — ведь оно писано кусочками — клочочками, день за днем, почти час за часом.

Так и читайте!

А то мне совестно, а Вам, взглянув, — наверное, безнадежно!

Сегодня — случайно — наткнулась на Белую стаю[18]. — Как жаль, что забыла еще поблагодарить! —

Раскрыла: Ваш почерк. Прочла. Задумалась. Вы уже наверное не помните, что написали, я сама читала как новое. Как меня — ужасом! — восхищает бренность. — Милая Ахматова — милый Вы — милая я. —

— Кончила те стихи, над мертвым[19]. Хотела по-Вашему (вопросом), вышло по-моему (ответом, — и каким!) — Если это письмо будет отправлено, присоединю и стихи.

Моя главная забота сейчас: гнать дни. Бессмысленное занятие, ибо ждет — может быть — худшее. Иногда с ужасом думаю, что — может быть — кто-нибудь в Москве уже знает о С⟨ереже⟩,

м. б. многие знают, а я — нет. Сегодня видела его во сне, сплошные встречи и разлуки. — Сговаривались, встречались, расставались. И все время — через весь сон — надо всем сном — его прекрасные глаза, во всем сиянии.

(Сейчас спрашиваю Алю: — «Аля, что печка?» И ее спокойный ответ: — «Печка? — Головешит!» — Так, собака, бегущая, прихрамывая, у нее «треножит», большевики о победах — «громогласят» и т. д.)

Купила себе — случайно, как всё в моей жизни — «полушалок» (обожаю слово!), сине-черный, вязаный. Люблю его за тепло, — «в гроб с собой возьму!»

(О, мой гроб! Мой гроб!)

Купила на улице у старухи, к⟨отор⟩ая, живя 18 лет (а может быть — 81 г⟨од⟩!) в Москве, ни разу не была на Смоленском. — «Я зря болтаться никогда не любила». Слушала с наслаждением. — Вот мой Потебня![20] — И еще завидовала: «зря болтаться», — что я другого с рождения делала?!

четверг

Мой друг! — Я уже начинаю отвыкать от Вас, забывать Вас. Вы уже ушли из моей жизни. — Послезавтра — нет, завтра — неделя как Вы уехали. — Помните, я Вас просила: до субботы! — а Вы уехали в пятницу, а мне так и осталось в памяти: суббота.

Вы — умник и отвесно глядите в души. Я бы хотела, чтобы Вы поняли: начинаю отвыкать, забыла.

Мне, чтобы жить — надо радоваться. Пока Вы были здесь — даже, когда мне было так больно, я все-таки могла сказать себе: завтра в 6 ч. (пойду — или не пойду, все равно — но — завтра в 6 ч. — достоверность!)

А сейчас? — Завтра — нет, послезавтра — нет, через неделю — нет, через месяц — нет, хочется думать и попадаю в пустоту — может быть — через год, может быть — никогда.

Чего ж тут любить — помнить — мучиться?

И вот мое трезвое, благоразумное, огнеупорное, — асбестовое! — сердце, поняв, смирилось, отпустило.

От встречи с Вами у меня осталось только смутное беспокойство: надо куда-то идти, — и вот, хожу: весь день — «по делам» (т. е. — по трущобам — в поисках за табаком) — с Алей, вечером одна или с кем-нибудь. — Это, конечно, Вы, Ваша память, — «куда-то идти» — бесспорно — «от чего-то уйти».

Если бы я знала, что Вы — что я Вам необходима — о! — каждый мой час был крылат и летел бы к Вам — но та́к — зря — впустую, —

нет, дружочек, много раз это со мной было: не могу *без*! — и проходило, могла *без,* не *могу без* — это, очевидно другое: когда другой так не может *без*, что и ты не можешь.

— Это не холод и не гордыня, это, дружочек, опыт, то, чему меня научила советская Москва за эти три года — и то, что я — наперед — знала уже в колыбели.

— Ланн. — Это отвлеченность. — Ланн. — Этого никогда не было. — Это то, что *смогло уйти*, следовательно, — могло не придти.

И еще: высокий воротник, глаза под высокой шапкой, мягкий голос и жесткие глаза.

— Может быть, если бы я получила от Вас письмо, я бы резче поверила, что Вы были. Но вряд ли Вы напишете и вряд ли я отошлю это письмо.

— Вчера Вы на секундочку воскресли: когда я, позвонив, стояла у Вашего парадного и ждала. (Я в первый раз была у Д〈митрия〉 А〈лександровича〉 после Вас, — так, кажется, ходят на кладбище.)

Я так привыкла.

(Аля, мешая угли в печке: — «Марина! Это адские помидоры!» — и — недавно — на мое напоминание*

— «Марина, я бы не хотела, чтобы...»〈)〉

— О! дружочек, какой у меня тогда был бы оплот! — Или: — «Напишите мне большую вещь, настоящую, как перед смертью...»

Но всем мои стихи нужны, кроме Вас! Ваше отношение к моим стихам — галантность Гарибальди к добровольцу из хорошей семьи.

— Но какое мне дело до стихов?! —

Верность.

И — ослепительная формула: — Верность — это инстинкт самосохранения.

Такой верностью я буду верна в первый раз в жизни.

А все остальные верности — или героизм, или воспитанность.

— Как странно: всем я приносила счастье! Кому легкое, кому острое, — но никогда тяжесть, удушение! — А Вас я, кажется, удушиваю. А если бы Вы знали, как я сдерживаюсь, не даю себе ходу, приуменьшаю, сглаживаю, обезвреживаю каждый свой взгляд и шаг!

---

* Так в рукописи. — *Сост.*

Так, постепенно, раскрытые Вам навстречу руки все опускаются, опускаются, теряя и отпуская. — О, за эти опущенные руки *Бог мне все простит!*

— Последний день —

Расстаюсь с Вами счастливая.

Я никогда не боялась внешних разлук, привыкла любить отсутствующих. — Любить — слабое слово, — жить.

Как Вы тогда хорошо сказали: лютая эротика, — о, как Вы чуете слово!

Люблю Вас — поэта — так же как себя — за будущее. Ваши стихи прекрасны, — клянусь Богом, что совершенно нечаянно вспомнила аэролит — и *потом* уж — По!

Ваши стихи прекрасны, но Вы больше Ваших стихов.

Вы — первый из моих современников, кому я — руку на́ сердце положа — могу это сказать.

Вы мне чужой, Вы громоздите камни в небо, а я из «танцующих душ» (слова Вячеслава)[21].

Вы мне чужой, но Вы *такой большой*, что — на минуту — приостановили мой танец.

Дай Вам Бог только здоровья, силы, спокойствия, — и как я Вас буду по-новому и изумительно любить — голову запрокинув! — через пять лет.

Ваш Роланд[22] — из наивысших мировых достижений, только в наши дни такие слова — не на всех устах.

Если определить Вашу поэтическую породу — Вы, конечно, — радуга, чей один конец — По, а другой — Новалис[23], но как та́м — помните, Вы рассказывали — никогда не забуду, как вероятно — никогда не прочту — круговые вихри, — так здесь — непрерывные радуги.

И Вы только в начале первой!

— О, как я Вас люблю в Вашей нацеленности! Как Вами бы любовался Ницше!

2

Москва, 29-го русск⟨ого⟩ декабря 1920 г.

Дорогой Евгений Львович!

У меня к Вам большая просьба: я получила письмо от Аси — ей ужасно живется — почти голод — перешлите ей через верные руки тысяч двадцать пять денег, деньги у меня сейчас есть, но никого нету, кто бы поехал в Крым, а почтой — нельзя.

Верну с первой оказией: — Ради Бога! —

Адр⟨ес⟩ Аси: ФЕОДОСИЯ — КАРАНТИН — ИЛЬИНСКАЯ УЛ⟨ИЦА⟩, Д⟨ОМ⟩ МЕДВЕДЕВА, КВ⟨АРТИРА⟩ ХРУСТАЧЕВЫХ — ей. —

Шлю Вам привет.

МЦ.

— Если сделаете это, известите по адр⟨есу⟩ Д⟨митрия⟩ А⟨лександровича⟩.

Только что написала эти несколько слов — как вдруг — дверь настежь — Ваше письмо!

И Аля: — «Марина, Ваши голоса скрестились как копья!»

— Спасибо за память. — Как я рада, что Вы работаете — и как я понимаю Вас в этой жажде! — Я тоже очень много пишу, живу стихами, ужасом за С⟨ережу⟩ и надеждой на встречу с Асей. Перешлите ей, пожалуйста, вложенное письмо, — если скорая оказия, — с оказией, — или заказным. Мне необходимо, чтобы она его получила.

И разрешите мне — от времени до времени — тревожить Вас подобной просьбой, у меня никого нет в Харькове, а это все-таки на полдороге в Крым, — отсюда письма вряд ли доходят, заказных не принимают.

— У нас елка — длинная выдра, последняя елка на Смоленском, купленная в последнюю секунду, в Сочельник. Спилила верх, украсила, зажигала третьегодними огарками. Аля была больна (малярия), лежала в постели и любовалась, сравнивая елку с танцовщицей (я — про себя: трущобной!)

Три посещения

I. Сидим с Алей, пишем. — Вечер. — Стук в незапертую дверь. Я, не поднимая глаз: — «Пожалуйста!»

Маленький, черненький человечек. — «Закс!!! Какими судьбами? — И почему — борода?!» — Целуемся. —

Мой бывший квартирант, убежденный коммунист (в 1918 г. — *в Москве* — ел только по карточкам) был добр ко мне и детям, обожал детей — особенно грудных — так обожал, что я, однажды, не выдержав, воскликнула: — «Вам бы, батюшка, в кормилицы идти, а не в коммунисты!»

— «Закс!» — «Вы — здесь — живете?!» — «Да.» — «Но это ужасно, ведь это похоже (щелкает пальцами) — на — на — как это называет-

ся, где раньше привратник жил?» — Аля: — «Подворотня!» — Он: «Нет». Я: — «Дворницкая? Сторожка?» Он, просияв: «Да, да — сторожка». (Польский акцент, — так и читайте, внешность, кроме бороды, корректная.)

Аля: — «Это не сторожка, это трущоба». — Он: «Как Вы можете так жить? Эта пос-суда! Вы ее не моете?» Аля — «Внутри — да, снаружи — нет, и мама — поэт». Он: — «Но я бы — просссстите! — здесь ни одной ночи не провел». — Я, невинно: — «Неужели?»

Аля: — «Мы с мамой тоже иногда уходим ночевать, когда уж очень неубрано.» Он: — «А сегодня — убрано?» Мы в один голос — твердо: — «Да».

— «Но это ужжасно! Вы не имеете права! У Вас ребенок!»

— «У меня нет прав». — «Вы целый день сидите со светом, это вредно!» — «Фонарь завален снегом!»[1] Аля: — «И если мама полезет на крышу, то свалится». — «И воды, конечно, нет?» — «Нет». — «Так служите!» — «Не могу». — «Но ведь Вы пишете стихи, читайте в клубах!» — «Меня не приглашают». — «В детских садах». — «Не понимаю детей». — «Но — но — но...» Пауза. — И вдруг: — «Что это у Вас?» — «Чернильница». — «Бронзовая?» — «Да, хрусталь и бронза». — «Это прелестная вэщщичка, — и как запущена! — О! — » «У меня все запущено!» — Аля: «Кроме души». — Закс, поглощенный: — «Это же! Это же! Это же — ценность». Я: — «Ну-у?» — «Этто художественное произведение!» — Я, внезапно озаренная (уже начинала чувствовать себя плохо от незаслуженных — заслуженных! — укоров) — «Хотите подарю?!!» — «О-о! — Нет!» Я: — «Ради Бога! Мне же она не нужна». — Аля: — «Нам ничего не нужно, кроме папы, — пауза — и царя!» Он, поглощенный чернильницей: — «Это редкая вещь». Я: — «Просто заграничная. Умоляю Вас!!!» — «Но что же я Вам дам взамен?» — «Вза — мен? — Стойте! — Красных чернил!» — «Но...» — «Я нигде не могу их достать. Дадите?» — «Сколько угодно, — но...» — «Позвольте я ее сейчас вымою. Аля, где щетка?»

10 минут спустя — Аля, Закс и я — (неужели меня принимают за его жену?!) — торжественно шествуем по Поварской[2], — в осторожно вытянутой руке его — ослепительного блеску — чернильница. — И никаких укоров. —

— Сияю. — Дошло!

II. Сидим с Алей, пишем. — Вечер. — Стук в незапертую дверь. — Я, не поднимая глаз: — «Пожалуйста!» — Входит спекулянт со Смоленского, желающий вместо табака — пшено. (Дурак!) — «Вы — здесь — живете?» — «Да». — «Но ведь это — задворки!» —

«Трущоба», — поправляю я. — «Да, да, трущоба... Но ведь наверное Вы раньше...» — «Да, да, мы не всегда так жили!» — Аля, гордо: «У нас камин топился, и юнкера сидели, и даже пудель был — Джэк. Он раз провалился к нам прямо в суп». Я, поясняя: — «Выбежал на чердак и проломил фонарь». Аля: — «Потом его украли». — Спекулянт: «Но как же Вы до такой жизни дошли?» — «Садитесь, курите». (Забываю, что он табачный спекулянт. — Из деликатности — не отказывается.) — «А постепенно: сначала чердак — потом берлога — потом трущоба». — «Потом помойка», — подтверждает Аля. — «Какая у Вас развитая дочка!» «Да она с году все понимает!» — «Скажите!» — Молчание. — Потом: «Я уж лучше пойду, Вам наверное писать надо, я Вас обеспокоил». — «Нет, нет, ради Бога — не уходите. Я Вам очень рада, Вы видно хороший человек, — и мне так нужен табак!» — «Нет, уж лучше я пойду». Я, в ужасе: «Вы, может, думаете, что у меня нет пшена? Вот — мешок!» Аля: — «И еще в кувшине есть!» Он: — «Видеть-то вижу, только мамаша у Вас расстроенная». — «Она не расстроенная, она просто в восторге, она всегда такая!» — Он: — «Позвольте откланяться». — Я: — «Послушайте, у Вас — табак, у меня — пшено, — в чем дело? Я же все равно это пшено завтра на Смоленском обменяю, — только мне вместо 2-го сорта дадут хлам, труху. — Ради Бога!»

— «А почем Вы кладете пшено?»

— «На Ваше усмотрение».

— «1000 р⟨ублей⟩?»

— «Отлично. — А табак?»

— «10.000 р⟨ублей⟩».

— «Великолепно. Берите 10 ф⟨унтов⟩ пшена и дайте мне 1 ф⟨унт⟩ табаку». — Явление Али с весами. — Вешаем. — «И взять-то мне не во что», — «Берите прямо в мешке». — «Но я ведь чужой человек, мешок — ценность...» — «Мешок — не ценность, человек ценность, Вы хороший человек, берите мешок!» — «Тогда позвольте мне уж вместо 1 ф⟨унта⟩ предложить Вам полтора».

— «Вы меня смущаете!»

— «Ну, прошу Вас!»

Аля: — «Марина, берите!»

Я: — «Вы добры».

Он: — «Я впервые вижу такого человека».

Я: — «Неразумного?»

Он: — «Нет — нормального. Я унесу от Вас и тяжелое и отрадное впечатление».

— «Пожалуйста, только последнее!»

Улыбается: На прощание говорит: — «Помогай Вам Бог!»

Лет под 50, тип акцизного, голос вроде мурлыканья, частые вздохи.

Тоже юродивый!

Сияю. — Дошло! —

III. Сидим с Алей, пишем. — Вечер. — Дверь — без стука — настежь. Военный из комиссариата. Высокий, худой, папаха. — Лет 19. —

— «Вы гражданка такая-то?» — «Я». — «Я пришел на Вас составить протокол». — «Ага». Он, думая, что я не расслышала: — «Протокол». — «Понимаю».

— «Вы путем незакрывания крана и переполнения засоренной раковины разломали новую плиту в 4 №». — «То есть?» — «Вода, протекая через пол, постепенно размывала кирпичи. Плита рухнула». — «Так». — «Вы разводили в кухне кроликов». — «Это не я, это чужие». — «Но *Вы* являетесь хозяйкой?» — «Да». — «Вы должны следить за чистотой». — «Да, да, Вы правы». — «У Вас еще в кв〈артире〉 2-ой этаж?» — «Да, наверху мезонин». — «Как?» — «Мезонин». — «Мизимим, мизимим, — как это пишется — мизимим?» Говорю. Пишет. Показывает. Я, одобряюще: «Верно».

— «Стыдно, гражданка, Вы интеллигентный человек!» — «В том-то и вся беда, — если бы я была менее интеллигентна, всего этого бы не случилось, — я ведь все время пишу». — «А что именно?» — «Стихи». — «Сочиняете?» — «Да». — «Очень приятно». — Пауза. — «Гражданка, Вы бы не поправили мне протокол?» — «Давайте, напишу, Вы говорите, а я буду писать». — «Неудобно, на себя же». — «Все равно, — скорей будет!» — Пишу. — Он любуется почерком: быстротой и красотой.

— «Сразу видно, что писательница. Как же это Вы с такими способностями лучшей квартиры не займете? Ведь это — простите за выражение — дыра!»

Аля: — «Трущоба».

Пишем. Подписываемся. Вежливо отдает под козырек. Исчезает.

И вчера, в 10 1/2 вечера — батюшки светы! — опять он.

— «Не бойтесь, гражданка, старый знакомый! Я опять к Вам, тут кое-что поправить нужно».

— «Пожалуйста». — «Так что я Вас опять затрудню».

— «Я к Вашим услугам. — Аля, очисти на столе». — «М. б. Вы что добавите в свое оправдание?»

— «Не знаю… Кролики не мои, поросята не мои — и уже съедены».

— «А, еще и поросенок был? Это запишем».

— «Не знаю… Нечего добавлять».

— «Кролики… Кролики… И холодно же у Вас тут должно быть, гражданка. — Жаль!»

Аля: — «Кого — кроликов или маму?»

Он: — «Да вообще… Кролики… Они ведь все грызут».

Аля: — «И мамины матрасы изгрызли в кухне, а поросенок жил в моей ванне».

Я: — «Этого не пишите!»

Он: — «Жалко мне Вас, гражданка!»

Предлагает папиросу. Пишем. Уже 1/2 двенадцатого.

— «Раньше-то, наверное, не так жили»…

И, уходя: «Или арест или денежный штраф в размере 50 тысяч. — Я же сам и приду».

Аля: — «С револьвером»?

Он: — «Этого, барышня, не бойтесь!»

Аля: — «Вы не умеете стрелять?»

Он: — «Умею-то, умею, — но… — жалко гражданку!»

Сияю. — Дошло!

Милый Евгений Львович, буду счастлива, если пришлете стихи. Как жаль, что Вы так мало мне их читали!

Желаю Вам на Новый — 1921 — Год (нынче канун, кончаю письмо 31-го, с Годом!) — достаточно плоти, чтобы вынести — осуществить! — дух.

Остальное у Вас уже все есть, — да пребудет!

— Стихи пришлю. — Вашим письмам буду всегда рада. — Не забудьте просьбу с Асей.

МЦ.

Москва, 31-го декабря 1920 г., канун русского 1921-го.

〈*Приписка на полях:*〉

— Письмо Асе залежалось, — на днях обеспокою Вас отдельным. Тогда перешлите[3].

3

Москва, 15-го русск⟨ого⟩ января 1921 г.

Диалог:

— «Марина! Чего Вы бы больше хотели: письма от Ланна — или самого Ланна?

— Конечно, письма!

— Какой странный ответ! — Ну, а теперь: письмо от папы — или самого папы?

— О! — Папы!

— Я так и знала!

— Оттого, что это — Любовь, а то — Романтизм!

Дорогой Евгений Львович!

Это письмо — в ответ на Ваше второе, неполученное. Вот уже два дня, как тщетно разыскиваем с Алей по всему городу товарища Шиллингера[1]. Были и в Музо[2], и в Камерном[3], и у Метнера[4], к⟨отор⟩ый ему покровительствует, засы́пали Москву записками, как метель — снегом, — и — rien!* — ни Шиллингера, ни письма.

— Очень жаль — ценя вашу лень!

— Итак, товарищ Ланн — и отсутствующий — заставляет нас измерять Москву верстами!

— Получили ли Вы мое первое письмо — заказное? Пишу на учреждение, ибо не знаю домашнего адр⟨еса⟩ — и не верю в домашние адреса! — Дома проходят, учреждения остаются.

— Получила за это время два письма от Аси, второе еще более раннее, две недели спустя занятия Крыма, — несколько строк отчаянной любви ко мне (нам!) и одиночества. — Ася! — Это поймете только Вы.

Живет одна, с Андрюшей, служит — советский обед и 1 ф⟨унт⟩ хлеба на двоих — вечером чай — так чудесно и сдержанно — чай — и конечно без хлеба, ибо — если было бы с хлебом — так и было бы написано: с хлебом.

В Ф⟨еодосии⟩ Макс, Пра, Майя[5], М. И. Кузнецова (вторая жена Б⟨ориса⟩)[6].

— «Есть друзья — проходят — новые...»

Что́, — не вся ли я?!

И потом — певучим возгласом: — «Марина! Ты можешь жить без меня?!»

Товарищ Ланн — дружочек! — я Вас уже просила — и еще прошу, — ради Бога! — если только есть какая-то возможность —

* Ничего! *(фр.)*

пошлите Асе тысяч двадцать пять! Клянусь — верну, деньги у меня есть, только послать не́ через кого. Если Вы, получив мое первое письмо, уже это сделали — спасибо Вам до земли, если нет — поклон до земли: сделайте!

Вы нас мало знаете в быту: у того, кто нас любит — мы не просим, а те, кто нас не любит — не дадут. (А может быть не только вторые, — но — glissez, mortels, n'appuyez pas!*)[7] — И эти — всегда на наивысший лад отношения — с первым любым приказчиком в кооперативе! — словом, с Асей будет то же самое, что со мной в 19 г. — весь город — друзья — Вавилонская башня писем — Содом дружб и любовей — и ни кусочка хлеба!

Вы нас немножко любите — по-хорошему — обращаюсь не к Вашей доброте, а к Вашей высоте: это надежнее.

Дорогой Евгений Львович, я была бы огорчена, если бы Вы подумали, что я пишу Вам исключительно из попрошайничества. — Это не так, но Ася сейчас — а, стойте! — гениальная формула:

...и вбитый в череп — гвоздь.

Касательно слова я это не понимала, касательно человека это для меня — формула, видите — разницу?

О, слово видно меня очень любит, я всю жизнь только и делаю, что его предаю! — Ради человека!

О Вашем втором письме я узнала от Магеровского, он заезжал ко мне со своей новой женой. (Жена такая, что — непременно — заезжал!)

Жена, ничего не понимая в нашей «обстановке» — на всякий случай — улыбалась. Очень спокойная жена — просторная. Вы ее видели. Если бы на меня надеть хоть десятую часть ее одежды — я — клянусь Богом — была бы красивее. М⟨агеров⟩ский сияет. — Вскоре после Вашего отъезда были с ним во Дворце, на Шопене. Не выдержав давки и — в упор — света, ушла. На другой день встречаемся. — «Вы очень сердились на меня, что я заманила Вас на Шопена?» — «О, нет, я, слушая третью вещь, сочинил даже две главы конспекта. Музыка удивительно вдохновляет во мне — мысль». — 1) Это — не Мысль, 2) Ты — чудовище. — Смолчала. —

Познакомилась с Вашим третьим мушкетером — славный, лучше М⟨агеров⟩ского: человечней. Его точно ветром носит. Я понимаю, почему Вы решили, что это — Ваши друзья: никаких

---

* Скользите, смертные, не опирайтесь! *(фр.)*

человеческих обязательств: М⟨агеров⟩ский — вообще не человек, А⟨ра⟩пов[8] — легковесен, — и себя не помнит! — Вам с ними хорошо.

Но все-таки иногда забредаем с Алей к М⟨агеров⟩ским, — по старой памяти. Раз даже ночевали.

Т. Ф. Скрябина получила паек — пока на бумаге. Продолжает рубить и топить, — руки ужасные, глаза прекрасные, почти все вечера забрасываемся куда-нибудь, — все равно — куда, я — устав от дня, она — от жизни, нам вместе хорошо, большое шкурно-душевное сочувствие: любовь к метели, к ослепительно-горячему питью — курение — уплывание в никуда.

— Как-то каталась с Бебутовым[9] на извозчике — сани вроде дровней — извозчик вроде ямщика — казалось, что едем не в I Театр РСФСР — а в Рязань — всю дорогу бредили: он — о своем, я — о своем, — и ямщик о своем, — доходили только интонации — они были ласковы — у всех — прэлэстно прокатались, — ни Бебутов, очевидно, ни я — очевидно — ни на секунду не вспомнили, что до зимы было — лето, а до интонаций — любовь (?)[10] —

В⟨ольkенштей⟩ном брезгую, что́ есть сил. — Еле здороваюсь. — В дом к себе не пускаю.

У меня есть для Вас маленькая (а может быть — и большая!) радость, в ней — надеюсь — потонут все неприятности — вольные и невольные — которые я — иже словом — иже делом — могла Вам доставить. — Ждите. —

Андрей Белый сломал себе — в своих льдах и снегах — позвонок, лежит в лечебнице, никого не пускает, — а то я бы давно выпросила у него — для Вас — Кризис Слова[11]. Обойдется — выпрошу. Есть у меня для Вас еще «Седое утро» — новая книжка Блока, недавно вышедшая в С⟨анкт-⟩П⟨етер⟩б⟨урге⟩ — и уже библиографическая редкость. Если Шиллингер объявится, перешлю с ним, как и ту — радость.

Очень много пишу — как никогда, кажется. Но это — особ статья, как и моя жизнь. Когда-нибудь — когда и *если* это будет необходимым — пришлю Вам всё. — Тороплюсь, человек едет завтра, пишу ночью, простите за сбивчивость.

В следующем письме — если в Вашем втором, на которое все-таки надеюсь — не прочту ничего нелестного для своей — в Вас — памяти — в следующем письме перепишу Вам отрывочек из тетрадки Али — о Вас. — Любопытно. — Это она называет Мемуары. Асе она пишет о Вас: — «Он не был добрей других, — но — вдохновенней».

Жду Ваших стихов. Люблю — и чту! — их все больше и больше. Оцените чуждость Вашего — мне — дарования и выведите отсюда самое лестное для себя заключение*. — Искренний привет.

МЦ.

〈*Приписка на полях:*〉

Напишите обо мне большое письмо Асе! — Дружочек! — Ради Бога! — *ФЕОДОСИЯ,* КАРАНТИН. ИЛЬИНСКАЯ УЛ〈ИЦА〉, Д〈ОМ〉 МЕДВЕДЕВА, КВ〈АРТИРА〉 ХРУСТАЧЕВЫХ. — ей. —

4

Москва 19-го русск〈ого〉 января 1921 г.

Дорогой Евгений Львович!

Зная меня, Вы не могли думать, что я так просто не пишу Вам — отвыкла — забыла.

Мне непрестанно / много раз хотелось писать Вам, но я все время чего-то ждала, душа должна была переменить русло.

— Но так трудно расставаться! — Целых две недели мы с Алей с утра до вечера гоняли по городу, ревностно исполняя — даже отыскивая! — всякие дела. Иногда, когда бывало уж очень опустошенно, забредали к М〈агеров〉ским, — так — честное слово! — посещают кладбище!

(Вот, наверное, Д〈митрий〉 А〈лександрович〉 не думал-не гадал! Он ведь как раз тогда охаживал невесту!)

— Ну вот. — Две недели ничего не писала, ни слова, это со мной очень редко — ибо Песня над всем! — *гоняя с Алей точно отгоняли Вас все дальше и дальше* — наконец — отогнали — нет Ланна! — тогда я стала писать стихи — совершенно исступленно! — с утра до вечера! — потом — «На Красном Коне». — Это было уже окончательное освобождение: Вы уже были — окончательно! — в облаках.

Красный Конь написан. Последнее тире поставлено. — Посылать? — Зачем? — Конь есть, значит и Ланн есть — навек — высо́ко![1] — И не хотелось идти к Вам нищей — только со стихами. — И не хотелось (гордыня женская и цветаевская — всегда post factum!), чувствуя себя *такой свободной* — идти к Вам прежней — Вашей!

Жизнь должна была переменить упор. — И вот, товарищ Ланн, (обращение ироническое и нежное!) опять стою перед Вами, как

* Как и я — для себя! Ибо — немудрено — мне — любить Блока и Ахматову! *(примеч. М. Цветаевой)*

в день, когда Вы впервые вошли в мой *дом* (простите за наименование!) — веселая, свободная, счастливая. — Я. —

— Но все-таки, дружочек, принимая во внимание быстроту советскую и цветаевскую — после Вас роздых был порядочный!

БОЛЬШЕВИК[2]

От Ильменя — до вод Каспийских —
Плеча рванулись в ширь.
Бьет по щекам твоим — российский
Румянец-богатырь.

Дремучие — по всей по крепкой
Башке — встают леса.
А руки — лес разносят в щепки,
Лишь за топор взялся!

Два зарева: глаза и щеки.
— Эх, уж и кровь добра! —
Глядите-кось, как руки в боки,
Встал посреди двора!

Весь мир бы разгромил — да проймы
Жмут — не дают дыхнуть!
Широкой доброте разбойной
— Смеясь — вверяю грудь!

И земли чуждые пытая,
— Ну, какова мол новь? —
Смеюсь, — все ты же, Русь святая,
Малиновая кровь!

18 русск⟨ого⟩ января 1921 г.

---

18 л⟨ет⟩. — Коммунист. — Без сапог. — Ненавидит евреев. — В последнюю минуту, когда белые подступали к Воронежу, записался в партию. — Недавно с Крымского фронта. — Отпускал офицеров по глазам.—

Сейчас живет в душной — полупоповской полуинтеллигентской к⟨онтр⟩р⟨еволюционной⟩ семье (семействе!) — рубит дрова, таскает воду, передвигает 50-типудовые несгораемые шкафы, по воскресеньям чистит Авгиевы конюшни (это он называет «воскресником»), с утра до вечера выслушивает громы и змеиный шип на сов⟨етскую⟩ власть — слушает, опустив глаза (чудесные! 3-летнего мальчика, к⟨отор⟩ый еще не совсем проснулся!), — исполнив работу по своей «коммуне» (всё — его терминология!), идет делать то же самое к кн⟨язьям⟩ Шаховским, — выслушивает

то же, — к Скрябиным — где не выслушивает, но ежедневно распиливает и колет дрова на четыре печки и плиту! — (наконец, поставили!) — к Зайцевым и т. д. — до поздней ночи, не считая хлопот по выручению из трудных положений — знакомых и знакомых знакомых.

Слывет дураком. Наружность: богатырская. Малиновый — во всю щеку — румянец, вихрь неистовый — вся кровь завилась! — волос, большие блестящие как бусы черные глаза, прэлэстный невинный маленький рот, нос прямой, лоб очень белый и высокий. Косая сажень в плечах, — пара — донельзя! — моей Царь-Девице[3].

Необычайная — чисто 18-тилетняя — серьезность всего существа. — Книги читает по пяти раз, доискиваясь в них СМЫСЛА, о котором легкомысленно забыл автор, *чтит* искусство, за стих Тютчева в огонь и в воду пойдет, — *любимое* — для души — чтение: сказки и былины. Обожает елку, службы, ярмарки, радуется, что еще есть на Руси «хорошие попы, стойкие» (сам в Бога не верит!)

Себя искренно и огорченно считает скверным, мучится каждой чужой обидой, неустанно себя испытывает, — все слишком легко! — нужно труднее! — трудностей нет, берет на себя все грехи сов⟨етской⟩ власти, каждую смерть, каждую гибель, каждую неудачу совершенно чужого человека! — помогает *каждому* с улицы — вещей никаких! — всё роздал и всё рассорил! — ходит в холщовой рубахе с оторванным воротом — из всех вещей любит только свою шинель, — в ней и спит, на ногах гетры и полотняные туфли без подошв — «так скоро хожу, что не замечаю!» — с благоговением произносит слово «товарищ» — а главное — детская беспомощная тоскливая исступленная любовь к только что умершей матери.

Наша встреча. — Мы с Т⟨атьяной⟩ Ф⟨едоровной⟩[4] у одних ее друзей. Входит высокий красноармеец. Малиновый пожар румянца. Представляется — и — в упор: «Я читал Ваши стихи о Москве. Я Вас сразу полюбил за них. Я давно хотел Вас видеть. Но мне здесь сказали, что Вы мне и руки не подадите». — ? — «П. ч. *я* — коммунист».

— «О, я воспитанный человек! Кроме того (невинно!) — коммунист — ведь тоже человек?» — Пауза. — «А о каких стихах о Москве Вы говорите? — «О тех, что в Весеннем Салоне Поэтов».[5] — *Я*: — «А-а»... (Помните?) — Пауза. — Он: — «Как мне Вас звать? Здесь Вас все зовут Марина». — Кто-то: — «Когда с человеком мало знакомы, его зовут по имени и отчеству».

Я: — «Зовите, как Вам удобнее — приятнее». — Он: — «Марина — это такое хорошее имя — настоящее — не надо отчества!»

Пошел меня провожать. Расстались — Ланн, похвалите, — у моего дома. На следующий день у Скрябиных читала ему Царь-Девицу. Слушал, развалясь у печки, как медведь. Провожал. — «Мне жалко Царевича, — зачем он все спал?» — «А мачеху?» — «Нет, мачеха дурная женщина».

У подъезда — Ланн, хвалите! — расстались.

На следующий день (3-я встреча — все на людях!) — кончала ему у меня Царь-Девицу. Слушал, по выражению Али, как 3-летний мальчик, к〈отор〉ый верит, п. ч. няня сама видала! — На этот раз — Ланн, не хвалите! — тоже расстались у подъезда, — только часов в восемь утра.

Ночь шла так: чтение — разговор о Царь-Девице — разговор о нем — долгий. Моя бесконечная осторожность, чтобы не задеть, не обидеть, — полное умолчание о горестях этих годов — его ужас перед моей квартирой — мое веселье в ответ — его желание рубить — мой отказ в ответ — предложение устроить в Крым — мой восторг в ответ.

Его рассказ о крымском походе — как отпускал офицеров (ничего не зная обо мне! о С〈ереж〉е!) — как защищал женщин — бесхитростный, смущенный и восторженный рассказ! — лучший друг — погиб на белом фронте. — Часа в два, усталая от непрерывного захлебывания, ложусь. — Через 5 мин〈ут〉 сплю. Раскрываю глаза. — Темно. — Кто-то, чуть дотрагиваясь, трясет за плечо: «М〈арина〉 И〈вановна〉! Я пойду». — «Борис!» — «Спите, спите!» Я, спросонья: — «Борис, у Вас есть невеста?» — «Была, но потеряна по моей вине». — Рассказ. — Балерина, хорошенькая, «очень женственная — очень образованная, — очень глубокая... и такая — знаете — широ — окая!».

Слушаю и в темноте кусаю себе губы. — Знаю наперед. — И, конечно, знаю верно: у балерины, кроме мужа, еще муж, и еще (все это — почтительным и чуть ли не благоговейным тоном) — но Б〈орис〉 ей нужен, п. ч. он ее не мучит. Служит ей два года (с 16-ти — по 18 лет!) в итоге видит, что ей нужны только его — ну́? — ну́ — некоторые материальные услуги... — Расстаются.

Потом — хождение по мукам: мальчик стал красавцем и коммунистом, — поищите такого любовника! И вот — в вагоне — на фронте — здесь на службе — все то же самое: только целоваться! А в это время умирает мать.—

Ланн! — Я слушала, и у меня сердце бешенствовало в груди от восторга и умиления. А он, не замечая, не понимая, вцепившись железными руками в железные кудри — тихо и глухо: — «Но я гордый, Мариночка, я никого не любил».

Курим. — Стесняется курить чужое. — «О, погодите, когда мне вышлют из Воронежа шубу...» — «Вы мне подарите сотню папирос 3-го сорта». — «Вам — 3-го сорта?!» — Глаза, вопреки на пол-

нейшую темноту загораются так, что мне — в самом мозгу — светло. — «Мне же все равно, кроме того — Вы же сейчас у меня курите 3-й — здесь всё 3-го — кроме меня самой!»

Часа четыре, пятый. — Кажется, опять сплю. — Робкий голос: — «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩, у Вас такие приятные волосы, — легкие!» — «Да?» — Пауза — и — смех! — Но какой!!! —

— «Ради Бога, тише, Алю разбудите! — Что Вы так смеетесь?» — «Я ду — рак!» — «Нет! Вы — чудесный человек! Но — все-таки?» — «Не могу сказать, М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩, слишком глупо!» — Я, невинно: — «Я знаю, Вам наверное хочется есть и Вы стесняетесь. Ради Бога — вот спички — там на столе хлеб, соль на полу у печки, — есть картофель». И — уже увлекаясь: — «Ради Бога!» Он, серьезно: — «Это не то!» Я, молниеносно: — «А! Тогда знаю! Только это безнадежно, — у нас все замерзло. Вам придется прогуляться, — я не виновата, — советская Москва, дружочек!»

Он: — «Мне идти?» — Я: «Если Вам нужно». Он: — «Мне не нужно, может быть Вам нужно?» — Я, оскорбленно: — «Мне никогда не нужно». Он: — «Что?» — Я: — «Мне ничего не нужно — ни от кого — никогда».

— Пауза. — Он: — «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩, Вы меня простите, но я не совсем понял». — «Я совсем не поняла». — «Вы это о чем?» — «Я о том, что Вам что-то нужно — ну что́-то — ну, в одно местечко пойти — и что Вы не знаете, где это — и смеетесь!» — Он, серьезно: — «Нет, М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩, мне этого не нужно, я не потому смеялся». — «А почему?» — «Сказать?» — «Немедленно!» — «Ну — словом — (опять хохот) — я дурак — но мне вдруг ужжжасно захотелось Вас погладить по голове». Я, серьезно: — «Это совсем не глупо, это очень естественно, гладьте, пожалуйста».

Ланн! — Если бы медведь гладил стрекозу — не было бы нежнее. — Лежу, не двигаясь. —

Гладит долго. Наконец — я: — «А теперь против шерсти — снизу вверх — нет, с затылка — обожаю!» — «Так?» — «Нет, немножко ниже — та́к — чудесно!» — Говорим, почти громко. Он гладит, я говорю ему о своем отношении — делении мира на два класса: брюха — и духа.

Говорю долго, ибо гладит — долго.

Часов пять, шестой.

Я: — «Борис, Вы, наверное, замерзли, если хотите — сядьте ко мне». — «Вам будет неудобно». — «Нет, нет, мне жалко Вас, садитесь. Только сначала возьмите себе картошки». — «М⟨арина⟩

И⟨вановна⟩, я совсем не хочу есть». — «Так идите». — «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩, мне очень хочется сесть рядом с Вами, Вы такая славная, хорошая, но я боюсь, что я Вас стесню». — «Ничуть».—

Садится на краюшек. Я — галантно — отодвигаюсь, врастаю в стену. — Молчание.—

— «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩, у Вас такие ясные глаза — как хрусталь — и такие веселые! Мне очень нравится Ваша внешность».

Я, ребячливо: — «А теперь пойте мне колыбельную песнь — и — заглатывая уголек: — «Знаете, какую? — Вечер был — сверкали звезды — на дворе мороз трещал... Знаете? — Из детской хрестоматии...» (О, Ланн, Ланн!)

— «Я не знаю» — «Ну, другую, ну хоть Интернационал, — только с другими словами — или — знаете, Борис, поцелуйте меня в глаз! — В этот!» — Тянусь. — Он, радостно и громко: — «Можно?!» — Целует, как пьет, — очень нежно. — «Теперь в другой!» — Целует. — «Теперь в третий!» — Смеется. — Смеюсь.

Так, постепенно, как помните, в балладе Goethe «Der Fischer»: «Halb zog sie ihn, halb sank er hin...»*

Целует легко-легко, сжимает та́к, что кости трещат.

Я: — «Борис! Это меня ни к чему не обязывает?» — «Что́?» — «То, что Вы меня целуете?» — «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩! Что Вы!!! — А меня?!» — «То есть?» — «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩, Вы не похожи на других женщин!»

Я, невинно: «Да?» — «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩, я ведь всего этого не люблю.»

Я, в пафосе: — «Борис! А я — ненавижу!» — «Это совсем не то, — так грустно потом». — Пауза.—

— «Борис! Если бы Вам было 10 лет...» — «Ну?» — «Я бы Вам сказала: Борис, Вам неудобно и наверное завидно, что я лежу. — Но Вам — 16 л⟨ет⟩?» — Он: — «Уже 18 л⟨ет⟩!» — «Да, 18! Ну так вот». — «Вы это к чему?» — «Не понимаете?» — Он, в ответ: «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩! Я настоящий дурак!» Я: — «Так я скажу: если бы Вы были мальчик — ребенок — я бы просто-напросто взяла Вас к себе — под крыло — и мы бы лежали и веселились — невинно!» — «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩, поверьте, я так этого хочу!»

— «Но Вы — взрослый». — «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩! Я только ростом такой большой, даю Вам честное слово партийного» —

— «Верю, — но — пойм*ите,* Борис, Вы мне милы и дороги, мне бы не хотелось терять Вас, а кто́ знает, я почти наверное знаю, что гораздо меньше буду Вас — что Вы гораздо меньше будете мне близки — потом. И еще, Борис, — мне надо ехать[6], все это так сложно...»

---

* Гёте «Рыбак»: «К нему она, он к ней бежит...//И след навек пропал» *(пер. В. А. Жуковского).*

Он, — внезапно, как совсем взрослый человек — из глубины: — «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩, я очень собранный».

(Собранный — сбитый — кабинет М⟨агеров⟩ского — Ланн!..)

Протягиваю руки.

Ланн, если Вы меня немножко помните, радуйтесь за меня! — Уже который вечер — юноша стоек — кости хрустят — губы легки — веселимся, болтаем вздор, говорим о России — и все как надо: ему и мне.

Иногда я, уставая от нежности — «Борис! А может быть?»

— «Нет, М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩! — Мариночка! — Не надо! — Я так уважаю женщину, — и в частности Вас — Вы квалифициро́ванная женщина — я Вас крепко-крепко полюбил — Вы мне напоминаете мою мамочку — а главное — Вы скоро едете, у Вас такая трудная жизнь — и я хочу, чтобы Вы меня хорошо помнили!»

22-го русск⟨ого⟩ января 1921 г.

— По ночам переписываем с ним Царь-Девицу. Засыпаю — просыпаюсь — что-то изрекаю спросонья — вновь проваливаюсь в сон. Не дает мне быть собой, веселиться — отвлекаться — приходить в восторг. — «Мариночка! Я здесь, чтобы делать дело — у меня и так уж совесть неспокойна — все так медленно идет! — веселиться будете с другими!»

— Ланн! — 18 лет! — Я на 10 лет старше! — Наконец — взрослая — и *другой* смотрит в глаза! —

Я знаю одно: что *та́к* меня никто — вот уже 10 лет! — не любил. — Не сравниваю — смешно! — поставьте рядом — рассмеетесь! — но то же чувство невинности — почти детства! — доверия — успокоения в чужой душе.

Меня, Ланн, очевидно могут любить только мальчики, безумно любившие мать и потерянные в мире, — это моя примета.

Ланн! — Мне *очень* тяжело. — Такое глубокое молчание. Ася в обоих письмах ничего о нем не знает, — не видала год. Последние письма были к Максу, в начале осени[7].

— *Этого* я не люблю, — смешно! — нет, очень люблю; просто и ласково, с благодарностью за молодость — бескорыстность, чистоту. За то, что для него «товарищ» звучит как для С⟨ережи⟩ — Царь, за то, что он, несмотря на малиновую кровь (благодаря ей!) — погибает. — Этот не будет прятаться. — «И чтобы никто обо мне не жалел!» — почти нагло.

Ла́ннушка (через мягкое L!) — равнодушный собеседник моей души, умный и безумный Ланн! — Пожалейте меня за мою смутную жизнь!

Пишу Егорушку — страстно! — Потом — где-то вдалеке — Самозванец — потом — совсем в облаках — Жанна д'Арк[8].

Живу этим, даже не писанием, — радугой в будущее!

— Ланн, это мое первое письмо к Вам, жду тоже — первого.

Прощайте, мое привидение — видение! — Ланн.

МЦ.

9-го русск⟨ого⟩ февр⟨аля⟩ 1921 г.

— Письмо залежалось. — Пишу еще. — Жду письма. Посылаю Коня и Блока[9].

МЦ.

5

Москва, 16 русск⟨ого⟩ июня 1921 г.

Мой дорогой Ланн!

Только что проснулась: первые птицы. Только что видела во сне: сначала Бориса[1], потом С⟨ережу⟩.

С Б⟨орисом⟩ смеялась (привычная дорога моей нежности к нему), а С⟨ережу⟩ я только видела: он лежал в госпитале. Помню сестру милосердия и тампоны ваты. Каждую ночь вижу С⟨ережу⟩ во сне, и когда просыпаюсь, сразу не хочу жить — не вообще, а без него.

Самое точное, что могу сказать Вам о себе: жизнь ушла и обнажила дно, верней: пена ушла.

Я уже почти месяц, как без Али[2], — третье наше такое долгое расставание. В первый раз — ей еще не было года; потом, когда я после Октября уезжала, вернее увозила — и теперь.

Я не скучаю по Але, — я знаю, что ей хорошо, у меня разумное и справедливое сердце, — такое же, как у других, *когда не любят*. Пишет редко: предоставленная себе, становится ребенком, т. е. существом забывчивым и бегущим боли (а я ведь — боль в ее жизни, *боль ее жизни*). Пишу редко: не хочу омрачать, каждое мое письмо будет стоить ей нескольких фунтов веса, поэтому за почти месяц — только два письма.

И потом: я так привыкла к разлуке! Я точно поселилась в разлуке.

Начинаю думать — совершенно серьезно — что я Але вредна. Мне, никогда не бывшей ребенком и поэтому навсегда им остав-

шейся, мне всегда ребенок — существо забывчивое и бегущее боли — чужд. Все мое воспитание: вопль о герое. Але с другими лучше: они были детьми, потом все позабыли, отбыли повинность, и на слово поверили, что у детей «другие законы». Поэтому Аля с другими смеется, а со мной плачет, с другими толстеет, а со мной худеет. Если бы я могла на год оставить ее у Зайцевых, я бы это сделала, — только знать, что здорова!

Без меня она, конечно, не будет писать никаких стихов, не подойдет к тетрадке, потому что стихи — я, тетрадка — боль.

Это опыт, пока, удается блистательно.

Когда-нибудь, милый Ланн, соберусь с духом, пришлю Вам стихи за эти последние месяцы, стихи, которые трудно писать и немыслимо читать[3]. (Мне — другим.) — Пишу их, потому что, ревнивая к своей боли, никому не говорю про С⟨ережу⟩, — да не́кому. У Аси достаточно своего, *и у нее не было С⟨ережи⟩*.

Эти стихи — попытка проработаться на поверхность, удается на полчаса.

— Вчера отправили с В⟨олкон⟩ским его рукопись «Лавры»[4], — весом фунтов в 8, сплошь переписанную моей рукой. — «Спасибо Вам, что помогли мне отправить мое «дитё»! — Любит он эту рукопись, действительно, как ребенка, — но как ребенок. Теперь буду переписывать «Странствия», потом «Родину». Это мое послушание. В лице В⟨олкон⟩ского я люблю Старый Мир, который так любил С⟨ережа⟩. Эти версты печатных букв точно ведут меня к С⟨ереже⟩. Отношение с В⟨олкон⟩ским *нечеловеческое*, чтобы не пугать: литературное. — Amitié littéraire*.

Любуюсь им отрешенно, с чувством, немножко похожим на:

Die Sterne, die begehrt man nicht —
Man freut sich ihrer Pracht!**[5]

Зимой он будет в П⟨етрограде⟩, я не смогу заходить, он забудет.

Ася живет на Плющихе[6], под окном дерево и Москва-река. Воют и ревут поезда. Нищенская, веселая, растравительная, героическая комната. Дружно бедствуем: пайка не было с марта.

---

* Литературная дружба *(фр.)*.
** На что ж искать далеких звезд?
Для неба их краса *(пер. В. А. Жуковского)*.

Андрюша в компрессах, жесткий бронхит. Ребячливость, вдохновленность, умственная острота и эмоциональная беспомощность, щедрость — все Борисово. Прелестный мальчик, которого мне безумно жаль. Но говорить об этом не стоит: здесь нужны не слова, а молоко, хлеб и т.д.

Вот, милый Ланн, и все, что могу Вам рассказать. — Ах, да! — Сейчас по Москве ходит книга с моими стихами, издалека[7]. А⟨лександра⟩ В⟨ладимировна⟩[8] бы порадовалась.

Думая о Вас, вижу Вас первой ступенью моего восхождения после стольких низостей, В⟨олкон⟩ский — вторая, дальше людей уже нет, — совсем пусто.

К Вам к единственному — из всех людей на земле — идет сейчас моя душа. Что-то связывает Вас с Б⟨орисом⟩ и с С⟨ережей⟩, Вы из нашей с Асей юности — *то́й* жизни!

Не спрашиваю Вас о том, когда приедете и приедете ли, мне достаточно знать, что я всегда могу окликнуть Вас.

— Мое последнее земное очарование!

МЦ.

6

Москва, 10-го р⟨усского⟩ сент⟨ября⟩ 1921 г.

Дорогой Ланн!

Направляю к Вам Эмилия Львовича Миндлина, он был мой гость в течение месяца, мы с ним дружили[1], он мне во многом помогал, будьте ми́лы — приютите его, если понадобится. — Сейчас ведь круговая порука, Ланн!

Живу мечтой и надеждой на встречу с Сережей. Эмилий Львович Вам обо всем расскажет.

Тороплюсь. — Сейчас Аля бешено играет на шарманке: новый обряд проводов.

Вспоминаю Вас с благодарностью (хотела было написать: с нежностью. — Благодарность точнее!)

Ася живет очень трудно и благородно.

Мы обе — Ваши друзья навсегда.

Марина

— Аля целует.—

Ланн (настоящая фамилия Лозман) Евгений Львович (1896 — 1958) — поэт, прозаик, переводчик.

С Ланном Марина Цветаева познакомилась в Москве в конце 1920 г. Ланн пришел к ней в качестве знакомого ее сестры Анастасии,

которая находилась в это время в Крыму. «Мучительный и восхитительный человек!» — писала о нем М. Цветаева сестре.

Стихи Ланна, написанные в духе футуристических исканий, аскетические, с рубленой строкой, резкой «поступью», — сначала понравились Цветаевой, — она, конечно, сильно преувеличила их достоинства. Образ Ланна, сливаясь в ее воображении с его стихами, вырос в некий символ и вдохновил Цветаеву на создание поэмы — о жестоком, неумолимом Гении вдохновения, который подчиняет себе поэта, повелевает поэтом и отнимает у поэта все, чем человек дорожит на Земле: все земные привязанности, любовь. Поэма называлась «На Красном Коне» — Красный Конь и был олицетворением мужского воплощения Музы. Цветаева посвятила Ланну также несколько стихотворений — недаром она пишет в письме к нему об «огромном творческом подъеме от встречи» с ним (см. также: *А. Саакянц.* С. 253 — 260).

Впервые — *Marina Cvetaeva.* Studien und materialen. (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 3). Wien, 1981. С. 161 — 194. (Публикация И. В. Кудровой.) Печатается по тексту первой публикации, сверенному с оригиналами (хранятся в частном архиве), с частичным использованием комментариев.

1

[1] *Д. А. Магеровский* (1894 — ?), специалист по праву, профессор Московского университета. Был близок к литературным и театральным кругам (в третьем упоминании «А. Д.» — описка Цветаевой).

[2] *Алексеева-Месхиева* Варвара Владимировна (1875 — 1942) — актриса.

[3] *Малиновская* Елена Константиновна (1875 — 1942) — общественная и театральная деятельница, непродолжительное время была директором Большого театра.

[4] О Цветаевой и Чурилине, некотором влиянии его стихов на поэзию Цветаевой см.: *А. Саакянц.* С. 91 — 93.

[5] У Цветаевой было пальто, сшитое из одеяла полосатой раскраски, напоминающей «тигровую».

[6] Знаменитый в годы революции рынок в Москве, находящийся в районе старого Арбата. Любопытная деталь: Цветаевой очень понравилось стихотворение В. Ходасевича, посвященное Смоленскому рынку. На экземпляре своего сборника «Стихотворения» (Париж, 1927), принадлежащем Н. Берберовой, рядом со «Смоленским рынком» В. Ходасевич сделал надпись: «С этих стихов началось у нас что-то вроде дружбы с Мар⟨иной⟩ Цветаевой. Она их везде и непрестанно повторяла» (Ходасевич В. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. Анн Арбор: Ardis, 1983. С. 308 — 309).

[7] Дом Скрябиных был расположен в Большом Николо-Песковском переулке, который являлся продолжением Борисоглебского переулка. О дружбе М. Цветаевой с Т. Ф. Скрябиной см. письмо 1 к Б. Пастернаку.

[8] Цветаева вспоминает трагическую зиму 1919/20 г., когда ее дочери находились в Кунцевском приюте. О гибели младшей, Ирины, см. письмо 3 к В. К. Звягинцевой и А. С. Ерофееву. *Госпиталь* — тяжело заболевшую в приюте Алю пытались вылечить в красноармейском госпитале.

[9] Предположительно Миллиоти Василий Дмитриевич (1875—1943).

[10] См. комментарий 3 к письму 34 к М. А. Волошину.

[11] Первый директор открывшегося весной 1919 г. Дворца Искусств в Москве (ныне помещение Международного сообщества писательских союзов — бывшего Союза писателей СССР). И. С. Рукавишникову Цветаева посвятила написанный по-французски рассказ «Чудо с лошадьми» (1934). См. т. 5.

[12] Царящую в то время обстановку во Дворце позднее описала А. С. Эфрон: «В те годы Дворец Искусств был не только учреждением, концертным залом, клубом, но и жилым домом 〈...〉 Левый флигель... был населен «хозобслугой», с которой соседствовали и начинающие литераторы, и певцы, и художники 〈...〉 На заднем, хозяйственном, дворике размещались службы 〈...〉 Там простирались владения семейства цыган...» (*А. Эфрон.* С. 78—79).

Цветаева была членом Дворца Искусств. Сохранился следующий документ:

Общему собранию Дворца Искусств

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в члены Дворца Искусств по литературному отделению.

Марина Цветаева

Москва, Поварская, Борисоглебский пер〈еулок〉, д〈ом〉 6, кв〈артира〉 3.

Марина Ивановна Цветаева-Эфрон

〈Резолюция:〉 Рекомендую. Л. Копылова.

(*А. Саакянц.* С. 223.)

[13] Скульптура С. Т. Коненкова «Паганини» имеет несколько вариантов (гипс, мрамор, бронза, дерево). Наиболее известен портрет Паганини, выполненный Коненковым в мраморе в 1916 г. (хранится в Государственной Третьяковской галерее). Образом Ланна, человека и поэта, внешне сходным с коненковской скульптурой, навеяно стихотворение Цветаевой «Короткие крылья волос я помню...» (см. т. 1).

[14] Н. Н. Вышеславцев. Подробно о нем и о стихотворениях Цветаевой (более двадцати), ему посвященных, см.: *А. Саакянц.* С. 227—235.

[15] Б. С. Трухачев.

[16] Три стихотворения, обращенные к Е. Л. Ланну, написаны с 12 по 25 ноября (старого стиля) 1920 г. «Я знаю эту бархатную бренность...», «Не называй меня никому...» и «Прощай! — Как плещет через край...» (см. т. 1).

[17] В Москве было два Спасоболвановских переулка: 1-й и 2-й (в 1954 г. переименованы в Новокузнецкие переулки: 1-й и 2-й). Видимо, Цветаева до этого сомневалась в существовании переулка с таким странным названием.

[18] Книга А. Ахматовой «Белая стая» (Пг.: Гиперборей, 1917 или Пг.: Прометей, 1918), подаренная Е. Ланном.

[19] Стихотворение М. Цветаевой «Пожалей...» («Он тебе не муж? — Нет...»). См. т. 1.

[20] *Потебня* Александр Афанасьевич (1835—1891)—филолог-славист.

[21] Вяч. Иванов.

[22] *«Роланд»* — стихотворение Е. Ланна. Строки этого стихотворения «легко вписываются в поэму Цветаевой «На Красном Коне», они из одной и той же поэтической «ауры» (*А. Саакянц.* С. 262).

[23] *Новалис* (настоящее имя Фридрих фон Харденберг; 1772—1801) — немецкий писатель, философ.

2

[1] В одной из комнат квартиры, которую занимала Цветаева в доме № 6 в Борисоглебском переулке, окно было в потолке.

[2] На Поварскую улицу выходит Борисоглебский переулок.

[3] К этому письму сделана приписка восьмилетней Али:

Москва, 31-го русск⟨ого⟩ декабря 1920 года

Милый Евгений Львович,

Сегодня канун Нового Года. Думаю, что Вы будете встречать его один. Новый Год — ведь это тоже смерть — Старого. У нас елка, большая, тощая — трущобница. Останки прежних украшений. Наверху большая папина белая звезда. Я лежала в постеле (нарочно пишу на конце *е*, — от народного «постеля») — малярия, и чувствовала себя девочкой из старинной детской книжки: елка — болезнь — молодая мать.

После Вашего отъезда мы живем хорошей жизнью: мама пишет, я пишу. Пишем стихи и письма Асе. От времени до времени заходят чужие, — в том числе один комиссар, совсем деревенский и невинный. Вздыхает про кроликов и про Марину, курит и плохо пишет. Входит недавно совсем ночью, я думала — арестовывать. Оказалось только писать. Писал долго, мама помогала. Когда он уходил, я его спросила: «А Вы маму под ручку поведете?» — «Нет, барышня, я ее не поведу». Во всех нас была невинность: деревня — ребенок — поэт. — У деревенского дама, конечно, связана с ручкой — не то под ручку, не то — за ручку, не то — на ручках. А мама, раз грамотна, конечно — дама. Я думаю, такой никогда еще не арестовывал дам, а все мужчин, а с мужчинами дружески говорил и курил.

Помню, как Вы лежали на большом диване, в своей бархатной куртке и как, устав, заламывали руки. Марина каждый день радуется, что у нее столько перьев. Вспоминаю еще Вашу печеную картошку, которая горела. И тот рокот, которым Вы читали (громогласили) Роланда.

Сейчас утро. Печка топится. Марина пишет Асе письмо. Изредка оборачиваясь, вижу ее баранью веселую голову в таком же курчавом дыму папиросы. От времени до времени отрывается от писанья и отгрызает кусок хлеба.

Марина просит передать Вам, что конец Роланда — лучшие стихи *о* поле битвы и *на* поле битвы.

Кончаю. Что пожелать Вам на Новый Год, — у Вас уже все есть — раз у Вас была любовь Марины.

Целую Вас, поклон Вашей жене.

Аля

3

[1] *Шиллингер* Иосиф Моисеевич (1895—1943)—композитор, педагог. В 1918—1922 гг. преподавал в Харьковской консерватории. Знакомый Е. Л. Ланна. С 1922 г. в эмиграции.

[2] Музыкальный отдел Наркомата просвещения.

[3] Камерный театр, основанный А. Я. Таировым (см. письмо 8 к Е. Я. Эфрон и комментарий 6 к нему). Музыкальной частью в то время заведовал Александр Карлович Метнер (1877—1961). Театр был закрыт в 1950 г.

[4] Вероятно, *Метнер* Николай Карлович (1879/80—1951)—композитор, пианист. Профессор Московской консерватории. С 1921 г. жил за границей.

[5] М. П. Кювилье.

[6] См. письмо к М. И. Кузнецовой.

[7] Цитата из «Четверостишия о конькобежце» французского поэта Пьера Шарля Руа (1683—1765). Эту же фразу Цветаева приводит в письме 6 к Рильке (см. т. 7).

[8] Видимо, *Арапов* Анатолий Афанасьевич (1876—1949)—театральный художник. *Его точно ветром носит... легковесен...*—Ср. у Андрея Белого: «И всюду мелькал губастым таким арапчонком—немного смешной, загорелый художник Арапов...» (Между двух революций. М.: Худож. литература, 1990. С. 211).

[9] *Бебутов* Валерий Михайлович (1885—1961)—режиссер, в 1919 г. совместно с В. Э. Мейерхольдом (1874—1940) организовал 1-й Театр РСФСР. См. письмо Цветаевой в редакцию журнала «Вестник Театра».

[10] См. рассказ В. К. Звягинцевой о первой встрече Цветаевой с Бебутовым (Russian Literature. Holland. 1981. IX. С. 342).

[11] Неточность. Книги с таким названием у А. Белого не было. Речь идет, видимо, о недавно вышедшей его книге «Кризис культуры» (Пг.: Алконост, 1920), завершающей трилогию «На перевале». Ранее выходили «Кризис жизни» (1918) и «Кризис мысли» (1919).

4

[1] Поэму «На Красном Коне», вдохновленную Е. Ланном, Цветаева тем не менее посвятила не ему, а Анне Ахматовой,—возможно, по контрасту образов этих двух поэтов—Ахматовой и Ланна. Позднее, посылая Цветаевой свое стихотворение «Бонапарт», датированное «1 октября 1921 г.», Ланн сделал к нему обиженную приписку: «Марине Цветаевой, снявшей посвящение».

[2] *Большевик... Коммунист.*—Речь идет о Борисе Ивановиче Бессарабове. Этот человек вдохновил Цветаеву на большую русскую поэму-сказку «Егорушка» (не завершена). Образ Егория Храброго, главного героя поэмы, несет в себе черты «прототипа»: простоватость, бесхитростность, доверчивость, стремление самому выискивать себе трудности, а также удалую богатырскую силушку (см. т. 3).

[3] Героиня одноименной поэмы-сказки М. Цветаевой, написанной осенью 1920 г. (см. т. 3).

[4] Т. Ф. Скрябина (Шлёцер).

[5] Сборник «Весенний салон поэтов» вышел в Москве в 1918 г. (издательство «Зерна»). Там были напечатаны стихи Цветаевой: «Настанет день — печальный, говорят!..», «Идешь, на меня похожий...», «Москве» («Когда рыжеволосый Самозванец...», «Жидкий звон, постный звон...», «Гришка-Вор тебя не ополячил...»). См. т. 1.

[6] Цветаева, не имея о муже никаких сведений, жила мечтой о встрече с ним.

[7] Речь идет о С. Я. Эфроне. В одном из писем, датированном 24 сентября (7 октября) 1920 г., Эфрон писал:

«Дорогие Пра и Макс, за все это время не получил ни одного письма от вас. Я нахожусь сейчас под Александровском — обучаю красноармейцев (пленных, конечно) пулеметному делу. Эта работа — отдых по сравнению с тем, что было до нее. После последнего нашего свидания я сразу попал в полосу очень тяжелых боев, о которых вы, конечно, знаете из газет. Часто кавалерия противника бывала у нас в тылу и нам приходилось очень туго. Но несмотря на громадные потери и трудности, свою задачу мы выполнили блестяще. Результаты наших трудов сейчас видны для всех. Все дело было в том, — у кого — у нас, или у противника — окажется больше «святого упорства». «Святого упорства» оказалось больше у нас, и теперь на наших глазах происходит быстрое разложение Красной армии. Правда — у них еще остались целые армии, остались хорошие полки курсантов (красных юнкеров) и коммунистов, но все же общее положение изменилось резко в нашу пользу. За это лето мы разбили громадное количество полков, забрали в плен громадное количество пленных и массу всяких трофеев. При этом все наши победы мы одерживали при громадном превосходстве противника в количественном и техническом отношении.

Жители ненавидят коммунистов, а нас называют «своими». Все время они оказывают нам большую помощь всем, чем могут. Недавно через Днепр они перевезли и передали нам одно орудие и восемь пулеметов. Вся правобережная Украина охвачена восстаниями. С нашего берега каждый вечер мы видим зарево от горящих деревень. Чем дальше мы продвигаемся, тем нас встречают лучше.

Следует отметить, что таково отношение к нам не только крестьян, но и рабочих. В Александровске рабочие при отступлении красных взорвали мост, а железнодорожники устраивали нарочно крушения.

Наша армия пока ведет себя в занятых ею местах очень хорошо. Грабежей нет. Вообще можно сказать, что если так будет идти дальше, — мы бесспорно победим. Единственное, что пугает меня, — это наступившие холода и отсутствие у нас обмундирования. Правда — действующие полки более или менее одеты, но на тех пленных, которые к нам поступают — страшно смотреть — они совсем раздеты и разуты, часто даже в одном белье. Правда, говорят, будто французы обязались снабдить нас обмундированием до зимы. Но зима уже дает себя чувствовать (в Екатеринославе, напр⟨имер⟩, уже выпал снег), а пока французы кажется еще ничего не присылают.

Красная армия вся разбита и с первыми морозами ее остатки разбегутся. Дай Бог, чтобы к этому времени мы были одеты. Имеете ли вы что-нибудь из Москвы? Я узнал, что в Ялте живет Анна Ахматова. Макс, дорогой, — найди способ с ней связаться: м.б. она знает что-либо об Марине».

А последнее его письмо из действующей армии, без даты, написано уже без прежнего оптимизма:

«Дорогие, письмо мое было написано неделю назад. За это время многое изменилось. Мы переправились на правый берег Днепра. Идут упорные кровопролитные бои. Очевидно, поляки заключили перемирие, ибо на нашем фронте появляются все новые и новые части. И все больше коммунисты, курсанты и красные добровольцы. Опять много убитых офицеров. Я жду со дня на день вызова в действующий полк, ибо убыль в офицерах там большая.

Макс, милый, если ты хочешь как-нибудь облегчить мою жизнь, — постарайся узнать что-либо об Марине. Я думаю, что в Крыму должны найтись люди, которые что-нибудь знают о ней. Хотя бы узнать, что она жива и дети живы. Неужели за это время никто не приезжал из Совдепии?

Очень хотелось бы попасть к вам хоть на день, но сейчас положение таково, что нельзя об этом и думать.

Целую Пра и тебя. Пишите мне, ради Христа. Ваш *Сергей*.»

(Цит. по: В. Купченко. И красный вождь, и белый офицер... *Звезда*. 1991. № 10. С. 155 — 156).

[8] *Егорушка* — см. комментарии в т. 3. *Самозванец* — на тему Смутного времени Цветаева в мае 1921 г. написала цикл из четырех стихотворений «Марина», посвященный Марине Мнишек. *Жанна д'Арк* — замысел остался неосуществленным.

[9] Обещанные ранее поэма «На Красном Коне» и книга А. Блока «Седое утро».

5

[1] Б. С. Трухачев. См. письмо 1 к А. И. Цветаевой.

[2] Аля гостила в это время в деревне в семье Б. К. Зайцева.

[3] Речь идет о стихах, которые Цветаева объединила в цикл под названием «Разлука» и издала отдельной книжкой в 1922 г. Они обращены к мужу.

[4] С. М. Волконский, приехавший в Москву в 1918 г., написал объемистые воспоминания (три части: «Лавры», «Странствия», «Родина») — в форме эссе, отдельных размышлений, — жанр, который любила Цветаева. Она помогала Волконскому переписывать его мемуары. Когда книга спустя три года вышла в свет за границей, Цветаева написала на нее рецензию-«апологию» под названием «Кедр» (см. т. 5). В Москве, весной 1921 г., она посвятила Волконскому стихотворный цикл «Ученик». Она считала Волконского «большой духовной ценностью» и продолжала дружить с ним и после отъезда за границу. В 1924 г. Волконский в своей книге «Быт и бытие», заглавие которой он позаимствовал из письма Цветаевой, вспоминал свое общение с ней в Москве. См. также о нем в письмах к Л. Е. Чириковой.

[5] Из стихотворения Гёте «Trost in Tränen» («Утешение в слезах»).

[6] А. Цветаева приехала из Крыма в Москву весной 1921 г.

[7] Речь идет о первой книге «Современных записок», вышедшей в декабре 1920 г. в Париже. Там были напечатаны стихотворения М. Цветаевой: «Пожирающий огонь — мой конь!..», «Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!..», «Есть колосья тучные, есть колосья тощие...», «Благословляю ежедневный труд...». См. т. 1.

[8] А. В. Кривцова (1896—1958), жена Ланна, переводчица.

6

[1] Подробно об этом см. в воспоминаниях Э. Миндлина в его книге «Необыкновенные собеседники» (М.: Сов. писатель, 1979. С. 49—85).

А. И. ЦВЕТАЕВОЙ

1

Москва, 17-го русск⟨ого⟩ декабря 1920 г.

Третьего дня получила первую весть от тебя и тотчас же ответила. — Прости, если пишу все то же самое, — боюсь, что письма не доходят[1].

В феврале этого года умерла Ирина — от голоду — в приюте, за Москвой. Аля была сильно больна, но я ее отстояла. — Лиля и Вера вели себя хуже, чем животные, — вообще все отступились. Ирине было почти три года — почти не говорила, производила тяжелое впечатление, все время раскачивалась и пела[2]. Слух и голос были изумительные. — Если найдется след С⟨ережи⟩ — пиши, что от воспаления легких.

О смерти Бориса[3] узнала в конце сентября, от Эренбурга. Не поверила. — Продолжала молиться.

Миронов жив, женат, дочка Марина (1 1/2 г⟨ода⟩), в Иркутске, постарел и несчастен. У него умер отец.

Адр⟨ес⟩ Миронова: Иркутск, Дегтевская, 21, кв⟨артира⟩ 1. — Служит, голодает. — Нас помнит и любит. — Все эти годы считала его погибшим. Первая весть о нем — 2 мес⟨яца⟩ назад, через его сестру Таню (замужем и едет в Ригу). — Женат на ее 17-летней подруге[4]. — Угрюм. — Та — веселая и толстая. Л⟨идия⟩ А⟨лександровна⟩ жива, Павлушков[5] умер — от какой-то мозговой болезни 8 мес⟨яцев⟩ тому назад, в Харькове.

Мы с Алей живем все там же, в столовой. (Остальное — занято.) Дом разграблен и разгромлен. — Трущоба. Топим мебелью. — Пишу. — Не служу, ибо после смерти Ирины мне выхлопотали паек, дающий возможность жить. — Служила когда-то 5 1/2 мес⟨яца⟩ (в 1918 г.) — ушла, *не смогла*[6]. — Лучше повеситься. —

Ася! Приезжай в Москву. Ты плохо живешь, у вас еще долго не наладится, у нас налаживается, — много хлеба, частые выдачи детям — и — раз ты все равно служишь — я смогу тебе (великолепные связи!) — устроить чудесное место, с большим пайком и дровами. Кроме того, будешь членом Дворца Искусств[7] (д⟨ом⟩ Сологуба), будешь получать за гроши три приличных обеда. — Прости за быт, хочу сразу покончить с этим. — В Москве не пропадешь: много знакомых и полудрузей, у меня паек, — обойдемся.

— Говорю тебе верно. —

Я Москву ненавижу, но сейчас ехать не могу, ибо это единственное место, где меня может найти — если жив[8]. — Думаю о нем день и ночь, люблю только тебя и его.

Я очень одинока, хотя вся Москва — знакомые. Не люди. — Верь на слово. — Или уж такие уставшие, что мне, с моим порохом, — неловко, а им — недоуменно.

— Все эти годы — кто-то рядом, но так безлюдно!

— Ни одного воспоминания! — Это на земле не валяется.

Митинги — диспуты — лекции — театр⟨альные⟩ постановки, на эстраде — всяк кто пожелает. — Публика цирковая. — Выступаю редко, ибо во главе литературы Брюсов, к⟨отор⟩ый меня не выносит[9]. — Не напечатала ни одной строчки. — Да это все равно, мне даже спокойней.

Ася! — Я совершенно та же, так же меня все обманывают — внешне и внутренно — только быт совсем отпал, ничего уже не люблю, кроме содержания своей грудной клетки. — К книгам равнодушна, распродала всех своих французов — то, что мне нужно — сама напишу. — Последняя большая вещь «Царь-Девица», — русская и моя. — Стихов — неисчислимое количество, много живых записей.

Ася! — Три недели назад — стук в дверь. Открываю: высокий человек в высокой шапке. Вползающий в душу голос: Здесь живет М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩ Ц⟨ветаева⟩? — Это я. — Вы меня не знаете, я был знаком с Вашей сестрой Асей в К⟨октебе⟩ле — год назад. — О! — Да — и вот…

Входит. Гляжу: что-то Борисино. (Исступленно думала о нем все последние месяцы и видела во сне.) — «Моя фамилия — Ланн»[10].

Провели — не отрываясь — 2 1/2 недели. Теперь ок⟨оло⟩ 10 дней, как уехал — канул! — побежденный не мной, *а породой*. Это был конец выплаты долга тебе.

Это первая — прежняя! — радость, первой Пасхой от человека за три года. О тебе он говорил с внимательной нежностью, рассказывал мельчайшие подробности твоего быта (термос — лампа — волоски Андрюши). — Это была сплошная бессонная ночь. — От него у меня на память: «Белая стая» Ахматовой, столбик сухих духов, и цепочка на шее. — «На Юге — Ц⟨ветае⟩ва, на Севере — Ц⟨ветае⟩ва, — куда денешься?» спрашивал он серьезно и беспомощно.

Читала твои письма к нему, через все это прошла и справилась. Мучительный и восхитительный человек! —

Его адр⟨ес:⟩ Харьков, Епархиальная ул⟨ица⟩, 3. Нарком'юст. Отдел публикаций заказов. — У него почти все мои стихи. — Его стихи мне совершенно чужие, но — как лавина! непоборимые.

Ася! — Жду тебя. — Я *годы* — одна (людная пустошь). Мы *должны* быть вместе, здесь ты не пропадешь.

— Так легко умереть! — Но — странно! — о тебе я все эти годы совсем не беспокоилась — высшее доверие! — как о себе. — *Я знала, что ты жива.*

Ася! — смерть Бориса — для меня *рана на всю жизнь,* огромное и страшное горе. Поверила только, когда Ланн подтвердил. Я Бориса любила как того брата, к⟨оторо⟩го у нас не было. — Пишу сухо, — поймешь!

Не называй меня никому:
— Я — серафим твой, — радость на время!
Ты поцелуй меня нежно — в темя,
И отпусти во тьму.

Все мы сидели в ночи без света:
Ты позабудешь мои приметы.
Да не смутит тебя сей — Бог весть!
Вздох, всполохнувший одежды ровность.
— Может ли, друг, на устах любовниц
Песня такая цвесть?
Так и живи себе с миром, — словно
Мальчика гладил в хору церковном.
Духи и дети, дитя, не в счет!
Не отвечают, дитя, за души!
Эти ли руки — веревкой душат?
Эта ли нежность — жжет?
— Вспомни, как руки пустив вдоль тела,
— Закаменев — на тебя глядела,
Не загощусь я в твоем дому!
Освобожу молодую совесть!
— Видишь, — к великим боям готовясь,
Сам ухожу во тьму.
И обещаю: не будет биться
В окна твои — золотая птица![11]

— Ланну. —

⟨*Приписки на полях:*⟩

Ася, дождись поездов и напиши, сколько нужно денег на отъезд, — вышлю. — Приезжай непременно. Поцелуй за меня Пра, Макса, М. И. К⟨узнецо⟩ву и ее дочку[12]. — Похожа ли на Б⟨ориса⟩? Как зовут? Буду писать тебе каждый день. Прости за протокольность письма, — так безнадежно — все сразу, — и так хочется — где поэт, написавший: но без меча — над чашами весов[13]. Обмирала над этими его стихами. — Пиши непрерывно.

Аля — не очень большая, худая, светлая, — Психея. В первом письме были ее письмо и стихи[14].

В первую же минуту после занятия Крыма дала Максу телегр⟨амму⟩ через Луначарского, — неужели не дошла? Москва без заборов (сожжены) — в мешках и сапогах.

Если бы я знала, что жив, я была бы — совершенно счастлива. Кроме него и тебя — мне ничего не надо.

Каждый кусок, к⟨отор⟩ый ем — поперек горла и отчаяние, что нельзя послать тебе. Узнаю, как с пересылкой денег, — и тотчас ж пошлю. Не оставляй мысли о переезде в Москву.

Целую нежно тебя и Андрюшу. Умилялась его письмецом. В письмах буду писать все то же самое, но стихи буду присылать разные. Напиши Ланну, и пусть он тебе напишет обо мне!

2

Триумф⟨альная⟩ Арка
Медон, 3-го мая 1928 г.

Дорогая Ася, у меня для тебя целая коллекция таких открыток — нумерую. А ты мне сразу ответь — дошли ли, тогда буду посылать.

Видела я Асю О⟨боленскую⟩[1], приезжала ко мне в Медон. Вот что от нее узнала о смерти В⟨али⟩[2]. С первого дня Пасхи ей стало несравненно лучше, умирая — стала оживать. Доктора дивились, ибо уж с месяц каждые минуты были сочтены. В⟨аля⟩ за время умирания со смертью свыклась, смирилась, — пришлось заново привыкать жить. Жить ей с 1-го дня Пасхи страстно хотелось, поверила, что *будет* — и Асю уверила. Ей было настолько — непрерывно — неуклонно — лучше, что Ася уже не стояла над

ней, как над умирающим, встречалась с радостью, расставалась без страха. И вот — шел сильный дождь, Ася промокла — «пойду переоденусь и вернусь часа через три». Вернулась — В⟨али⟩ уже не было. Попросила у сестры бульона, та пошла за ним, В⟨аля⟩ закашлялась — хлынула кровь — одна из больницы побежала предупредить сестру — та пошла — все было кончено. От кашля до смерти не прошло и двух минут. Можно сказать, что смерть мгновенная.

Напиши про Бориса[3], про здоровье. Я ему писала, но он не отвечает. Совсем ли поправился? Целую тебя и А⟨ндрюшу⟩.

М.

Аля твой Зоол⟨огический⟩ Сад развесила над Муриною кроватью.

3

Grand Opéra[1]
⟨*Июнь 1928*⟩

Да! Идиотская публикация А⟨ста⟩фьева (мужа и жены)[2]. Такой-то извещает о смерти Валентины Павловны (Валечки) — опять вроде восстановления титула. Добросердечные, но — дураки, а? Впрочем, Бог с ними.

Вышла моя книга. Надписала и отложила тебе нумерованный (на хорошей бумаге) экз⟨емпляр⟩[3], — когда получишь? Отзывов еще нет[4]. 17-го мой вечер[5], билеты («дорогие», т. е. 25 фр⟨анков⟩) идут плохо, объелись вечерами. Будет полный зал (входные по 5 фр⟨анков⟩) и пустая касса, словами прошлогоднего Мура: «Народу масса, денег мало». Вечер мне нужен для лета: отъезда.

Жел⟨езная⟩ дор⟨ога⟩ дико дорога, все дорого, страшно трудно уехать. Но хочу ради Мура (кашляет 8 мес⟨яцев⟩) и С⟨ережи⟩. М. б. поедем на Средиземное море, мое любимое, к⟨оторо⟩го не видала с Палермо (1912 г. — почти что 1812 г.!)[6].

Мур все растет, недавно остригла — жарко. Но тут же — остатками — корешками — завился. Чудесно говорит. Как-нибудь напишу о нем отдельно. Аля учится у Шухаева[7], но предоставленная самой себе (Шухаев в студии бывает раз в неделю — 15 мин⟨ут⟩), ленится. Меня переросла на полголовы, а тяжелее на пуд с лишним.

Мы очень плохо живем, куда хуже, чем в прошлом году, и конских котлет (Алина невозбранная услада!) уже нет. Мяса и яйца не едим никогда[8].

Цветаева Анастасия Ивановна (1894—1993)—младшая сестра М.И. Цветаевой. Писательница, мемуаристка. Автор лирической прозы «Королевские размышления. 1914» (1915) и «Дым, дым и дым» (1916), «Воспоминания» (1971, 1974, 1983), романа «Amor» (1991) и др.

Впервые—*НП*. Печатаются по тексту первой публикации.

1

[1] А. Цветаева находилась в это время в Крыму (см. письмо 2 к В. К. Звягинцевой и комментарий 2 к нему). Первое письмо после долгого перерыва М. Цветаева получила от сестры лишь после освобождения в ноябре 1920 г. Крыма Красной Армией.

[2] О болезни Али и смерти Ирины см. письма к В. К. Звягинцевой и А. С. Ерофееву и комментарии к ним. *Лиля*—Е. Я. Эфрон, *Вера*—В. Я. Эфрон.

[3] Б. С. Трухачев умер в 1919 г. в Старом Крыму от сыпного тифа.

[4] *Миронов* Николай Николаевич (1893—1951), приятель Бориса Трухачева, одно время был увлечен А. Цветаевой. *...сестра Таня*—Татьяна Николаевна, вышла замуж за англичанина, жила в Лондоне. *Женат на... подруге.*—Жена Н. Н. Миронова, Татьяна Константиновна (урожденная Миллер, во втором замужестве Варламова), умерла в 1970-е годы.

[5] Л. А. Тамбурер. *Павлушков* Юлий Сергеевич—ее муж.

[6] См. дневниковую прозу «Мои службы» (т. 4).

[7] См. письмо 1 к Е. Л. Ланну и комментарии к нему.

[8] Имеется в виду С. Я. Эфрон.

[9] Об отношении Брюсова к Цветаевой см. ее очерк «Герой труда» (т. 4).

[10] О встрече с Е. Л. Ланном см. письма к нему.

[11] Опубликовано в сб. «Психея» в цикле «Плащ» без посвящения и с разночтениями.

[12] Ирина Борисовна, урожденная Трухачева [1918 (по паспорту 1923)—1980].

[13] *...но без меча—над чашами весов.*—Из стихотворения А. В. Цыгальского «Храм Неопалимой Купины». См. «Мой ответ Осипу Мандельштаму» и комментарии к нему (т. 5).

[14] По-видимому, не сохранились, как и само письмо М. Цветаевой.

2

[1] *Оболенская* Александра Владимировна (1897—1974), в монашестве (с 1937 г.)—мать Бландина, сестра А. В. Оболенского.

[2] Зелинская Валентина Иосифовна (ок. 1894—1928), близкая подруга А. И. Цветаевой, член парижского студенческого христианского

движения. Умерла от туберкулеза 22 апреля 1928 г. во французском городке По (департамент Нижние Пиренеи).

[3] Имеется в виду Б. Л. Пастернак.

3

[1] Открытка написана, судя по содержанию, в первой половине июня 1928 г.

[2] *А⟨ста⟩фьевы* — Константин Николаевич (ок. 1890—1975) и его жена, урожденная Трофимова, Ольга Васильевна (1886—1974). Некролог о В. И. Зелинской за их подписью был напечатан в «Последних новостях» 31 мая 1928 г. *Павловна* — правильно: Иосифовна. (Сведения Е. И. Лубянниковой.)

[3] Имеется в виду сборник «После России». Сто экземпляров тиража были нумерованы и подписаны автором.

[4] Первый отзыв на сборник «После России» появился за подписью М. С⟨лонима⟩ в газете «Дни» (1928, 17 июня). Сразу вслед за ним были опубликованы рецензии В. Ходасевича (Возрождение. 1928. 19 июня), Г. Адамовича (Последние новости. 1928. 21 июня), П. П⟨ильско⟩го (Сегодня. Рига. 1928. 25 августа). Надо полагать, Цветаева не обманулась в своих ожиданиях. Критика весьма высоко оценила сборник.

«Почему стихи Цветаевой мне все-таки нравятся и почему наконец «плюсы» их в моем представлении перевешивают «минусы». Дело в том, что один из этих плюсов исключительно велик и значителен, и его ничто перевесить не может: стихи Цветаевой эротичны в высшем смысле этого слова, они излучают любовь и любовью пронизаны, они рвутся к миру и как бы пытаются заключить весь мир в объятия. Это — их главная прелесть. Стихи эти писаны от душевной щедрости, от сердечной расточительности, — не знаю, как сказать яснее. Можно действительно представить себе, что от стихов Цветаевой человек станет лучше, добрее, самоотверженнее, благороднее. Признаюсь, я не нахожу в себе ни сил, ни желания довести эстетизм до такого предела, чтобы, сознавая это, стихи Цветаевой отвергнуть. Поэтому я их «принимаю». И все оговорки мои не колеблют этого основного признания» (Георгий Адамович).

«...Эмоциональный напор у Цветаевой так силен и обилен, что автор словно едва поспевает за течением этого лирического потока. Цветаева словно так дорожит каждым впечатлением, каждым душевным движением, что главной ее заботой становится — закрепить наибольшее число их в наиболее строгой последовательности, не расценивая, не отделяя важного от второстепенного, ища не художественной, но скорее психологической достоверности. Ее поэзия стремится стать дневником...» (Владислав Ходасевич).

«Трагическая муза Цветаевой всегда идет по линии наибольшего сопротивления. Есть в ней своеобразный максимализм, который иные назовут романтическим. Да, пожалуй, это романтизм, если этим именем

называть стремление к пределу крайнему и ненависти к искусственным ограничениям — чувств, идей, страстей... Стихи и в самом деле полны такой подлинной страсти, в них такая, почти жуткая насыщенность, что слабых они пугают, — им не хватает воздуха на тех высотах, на которые влечет их бег Цветаевой» (Марк Слоним).

О «После России» см. также в письмах Цветаевой к А. А. Тесковой (25, 27, 31, 32), Б. Пастернаку (20) и др.

[5] Вечер Цветаевой состоялся 17 июня в зале на бульваре Распай, 38. Вступительное слово произнес Марк Слоним. Цветаева прочитала свои произведения.

[6] См. письма к А. М. Кожебаткину и комментарии к ним.

[7] *Шухаев* Василий Иванович (1887—1973) — художник. Основал в Париже совместно с А. Е. Яковлевым (1887—1939) художественную школу. В 1935 году вернулся в СССР, подвергся репрессиям.

С. Я. Эфрон писал сестре Елизавете Яковлевне: «Аля начала ходить в мастерскую Шухаева. Она исключительно способна, но нет настоящей воли к работе» (*А. Эфрон*. С. 13).

[8] Ср. с воспоминаниями А. С. Эфрон о жизни семьи Цветаевой во Франции: «Ели — из мяса — только конину; на базаре брали самую мелкую картошку, самое дешевое из остатков зелени и т. д. Яйца бывали только на Пасху; слив⟨очное⟩ масло — только для папы (*ТВС*) и Мура (маленький). Сладкого не бывало вообще» (*ЛО*. 1981. № 12. С. 100).

...в прошлом году — то есть во время приезда А. И. Цветаевой к сестре летом 1927 г. См. письма к С. Андрониковой-Гальперн и комментарии к ним (т. 7).

В РЕДАКЦИЮ ⟨«ВЕСТНИКА ТЕАТРА»⟩

⟨Февраль 1921⟩

В ответ на заметку в № 78—79 «В⟨естника⟩ Т⟨еатра»⟩[1] сообщаю, что ни «Гамлета», никакой другой пьесы я не переделываю и переделывать не буду. Все мое отношение к театру РСФСР исчерпывается предложением Мейерхольда перевести пьесу Клоделя «Златоглав»[2], на что я, — с вещью не знакомая, не смогла даже дать утвердительного ответа.

Марина Цветаева[3].

«Вестник Театра» — еженедельное издание Театрального Отдела (ТЕО) Наркомпроса. Выходил в Москве с 1919 по 1921 г. (вышло 94 номера). Редактор В. И. Блюм.

Впервые — «Вестник Театра». 1921. № 83/84. 22 февраля. С. 15. Печатается по тексту первой публикации.

[1] В заметке без подписи «Театр РСФСР. (Первый)» сообщалось, что в ближайшем репертуаре театра, среди других постановок — «Гамлет» по Шекспиру и «Златоглав» по Клоделю в переделке Вс. Мейерхольда, Вал. Бебутова и М. Цветаевой.

[2] *Клодель* Поль (1868—1955) — французский писатель, драматург. Речь идет о его ранней пьесе «Золотая голова» («Tête d'or»).

В 1919 г. Цветаева уже пробовала свои силы в переводе пьес. По заказу III студии МХТ она работала над переводом комедии французского поэта и драматурга Альфреда де Мюссе (1810—1857) «С любовью не шутят». Рукопись перевода не сохранилась.

[3] Письмо Цветаевой, открывающее полемическую полосу «Около переделок», продолжают письма других участников конфликта:

ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция «Вестника Театра» по поводу письма Марины Цветаевой обратилась за разъяснениями к В. Э. Мейерхольду и В. М. Бебутову. Ввиду того, что В. Э. Мейерхольд в настоящее время находится на излечении в одной из лечебниц под Москвой, ответы их на запрос редакции печатаются нами в несколько необычной форме переписки между ними. Редакция считает, что эта переписка имеет интерес в связи с острым вопросом о переделках.

С своей стороны, редакция никогда не возлагала больших надежд *в этом отношении* на М. Цветаеву, очевидно, впитавшую общеизвестные традиции, симпатии и уклоны Всероссийского союза писателей.

В ответ на вопрос редакции по поводу письма М. Цветаевой мною послано В. Бебутову следующее письмо:

Дорогой товарищ!

Редактор «Вестника Театра» запрашивает меня и вас, не находим ли мы нужным снабдить какими-нибудь комментариями письмо Марины Цветаевой. Какие комментарии? Я счастлив, что сообщение «В.Т.» о том, что Марина Цветаева принимает участие в работе над «Гамлетом» вместе с нами, оказалось ошибкой хроникера. Читая это сообщение, я думал, что вы привлекли эту поэтессу для совместной с вами обработки тех частей, которые вы взяли на себя. Я готовился предостеречь вас, что не следует иметь дело с Мариной Цветаевой не только в работах над «Гамлетом», но и над «Златоглавом». А почему, не трудно догадаться.

Вы знаете, как отшатнулся я от этой поэтессы после того, как имел несчастье сообщить ей замысел нашего «Григория и Дмитрия»*. Вы

* Замысел В. Э. Мейерхольда по переделке совместно с В. М. Бебутовым и С. А. Есениным «Бориса Годунова» осуществлен не был.

помните, какие вопросы задавала нам Марина Цветаева, выдававшие в ней природу, враждебную всему тому, что освящено идеей Великого Октября.

Вс. Мейерхольд

Мною послан В. Мейерхольду следующий ответ на его письмо ко мне по поводу письма М. Цветаевой:

Дорогой товарищ!

Ваше письмо получил. Спешу ответить. Прежде всего выражаю недоумение по поводу той части письма Марины Цветаевой, которая касается «Златоглава».

Как? Прошло уже три месяца с тех пор, как эта поэма была сдана мною М. Цветаевой для перевода, и до сих пор она, «не будучи знакома с пьесой, не могла дать положительного ответа»?!

Далее о «Гамлете». Вы ведь помните наш первоначальный план композиции этой трагедии. Всю прозаическую сторону, как и весь сценарий, мы с вами приняли на себя, диалог клоунов (могильщиков), ведомый в плане обозрения, был поручен Вл. Маяковскому и, наконец, стихотворную часть я, с вашего ведома, предложил Марине Цветаевой, как своего рода спецу.

Теперь, получив от нее отказ с оттенком отгораживания от «переделок» вообще, я пользуюсь случаем, чтобы в печати указать М. Цветаевой на неосновательность ее опасений. Одно из лучших ее лирических стихотворений «Я берег покидал туманный Альбиона» начинается с приводимой здесь строчки Батюшкова и являет в этом смысле лучший образец переделки.

О допустимости переделок вообще лучше не говорить. Даже такая плохая переделка, как канонизированная «общественным мнением» переделка «Турандот» Шиллером по Гоцци (!) мало кого возмущала.

Не в переделках «вообще» тут дело…

Что же касается до того, что вы уловили в натуре этого поэта, то должен сказать, что это *единственно* и мешает ей из барда теплиц вырасти в народного поэта.

Вал. Бебутов

Этим эпизодом ограничивается несостоявшееся сотрудничество Цветаевой с Мейерхольдом. Больше они друг о друге никогда не писали.

М. И. КУЗНЕЦОВОЙ

16-го русск⟨ого⟩ марта 1921 г.—Москва.

Дорогая Мария Ивановна!

Помню и люблю Вас. О Борисе горевала и горюю, смерти его не верю и ее не принимаю,—*приходится* верить в бессмертие души![1]

Приветствую и люблю Вашу дочку[2], — дай Бог ей счастья! — Пришлите, если сможете, два словечка о себе и о ней.

Аля большая, худая, — белокурый С⟨ережа⟩, похожа на мальчика, помнит, как мы с ней ночевали у Вас, — пестрая шаль, беспорядок, высота, наш общий смех перед сном. Б⟨ориса⟩ помнит ясно, — как они играли в шахматы и как ели какое-то розовое сладкое.

— Ах! —

Жалко Б⟨ориса⟩. Больше, чем могу сказать, в нем я потеряла самого настоящего брата, не могу смириться.

Целую Вас нежно, Вас и Ирину.

МЦ.

Вера Э⟨фрон⟩, загубившая, выбросившая на улицу мою Ирину[3], после 7-летних колебаний сошлась с М. С. Ф⟨ельдштейном⟩, а через месяц ожидает ребенка. Эва[4] с детьми за границей. Ася Ж⟨уковская⟩ вышла замуж за С⟨ерей⟩ского[5], тоже ожидает.

Кузнецова (театральный псевдоним — Гринева) Мария Ивановна (1895—1966) — актриса Камерного театра. Вторая жена Б. С. Трухачева, бывшего мужа А. И. Цветаевой. Написала воспоминания о М. Цветаевой (*Воспоминания о Цветаевой*. С. 57—72).

Впервые — *НП*. Печатается по тексту повторной публикации — *Поэт и время*. С. 95 (с исправлением описки).

[1] О смерти Б. С. Трухачева см. письмо 1 к А. И. Цветаевой и комментарий 3 к нему.

[2] Ирину Трухачеву.

[3] См. письма к В. К. Звягинцевой и А. С. Ерофееву и комментарии к ним.

[4] Е. А. Фельдштейн.

[5] В письме описка: «Ц-ского».

А. А. АХМАТОВОЙ

1

Москва, 26-го русского апреля 1921 г.

Дорогая Анна Андреевна!

Так много нужно сказать — и так мало времени! Спасибо за очередное счастье в моей жизни — «Подорожник»[1]. Не расстаюсь, и Аля не расстается. Посылаю Вам обе книжечки[2], надпишите.

Не думайте, что я ищу автографов, — сколько надписанных книг я раздарила! — ничего не ценю и ничего не храню, а Ваши книжечки в гроб возьму — под подушку!

Еще просьба: если Алконост[3] возьмет моего «Красного Коня» (посвящается Вам) — и мне нельзя будет самой держать корректуру, — сделайте это за меня, верю в Вашу точность.

Вещь совсем маленькая, это у Вас не отнимет времени.

Готовлю еще книжечку: «Современникам»[4] — стихи Вам, Блоку и Волконскому. Всего двадцать четыре стихотворения. Среди написанных Вам есть для Вас новые.

Ах, как я Вас люблю, и как я Вам радуюсь, и как мне больно за Вас, и высóко от Вас! — Если были бы журналы, какую бы я статью о Вас написала! — Журналы — статью — смеюсь! — Небесный пожар!

Вы мой самый любимый поэт, я когда-то — давным-давно — лет шесть тому назад — видела Вас во сне, — Вашу будущую книгу: темно-зеленую, сафьянную, с серебром — «Словеса золотые», — какое-то древнее колдовство, вроде молитвы (вернее — обратное!) — и — проснувшись — я знала, что Вы ее напишете.

Мне так жалко, что все это только слова — любовь — я так не могу, я бы хотела настоящего костра, на котором бы меня сожгли.

Я понимаю каждое Ваше слово: весь полет, всю тяжесть. «И шпор твоих *легонький* звон»[5], — это нежнее всего, что сказано о любви.

И это внезапное — дико встающее — *зрительно* дикое «ярославец»[6]. — Какая *Русь!*

Напишу Вам о книге еще.

Как я рада им всем трем — таким беззащитным и маленьким! Четки — Белая Стая — Подорожник. Какая легкая ноша — с собой! Почти что горстка пепла.

Пусть Блок (если *он* повезет рукопись) покажет Вам моего Красного Коня. (Красный, как на иконах.) — И непременно напишите мне, — больше, чем тогда! Я ненасытна на Вашу душу и буквы.

Целую Вас нежно, моя страстнейшая мечта — поехать в Петербург. Пишите о своих ближайших судьбах, — где будете летом, и всё[7].

Ваши оба письмеца ко мне и к Але — всегда со мной.

МЦ.

2

31-го русского августа 1921 г.

Дорогая Анна Андреевна! Все эти дни о Вас ходили мрачные слухи, с каждым часом упорнее и неопровержимей[1]. Пишу Вам об этом, потому что знаю, что до Вас все равно дойдет — хочу,

чтобы по крайней мере дошло верно. Скажу Вам, что единственным — с моего ведома — Вашим другом (друг — действие!) — среди поэтов оказался Маяковский, с видом убитого быка бродивший по картонажу «Кафе Поэтов»[2].

Убитый горем — у него, правда, был такой вид. Он же и дал через знакомых телеграмму с запросом о Вас, и *ему* я обязана второй нестерпимейшей радостью своей жизни (первая — весть о Сереже[3], о котором я ничего не знала два года). Об остальных (поэтах) не буду рассказывать — не потому, что это бы Вас огорчило: кто они, чтобы это могло Вас огорчить? — просто не хочется тупить пера.

Эти дни я — в надежде узнать о Вас — провела в кафе поэтов — что́ за уроды! что́ за убожества! что́ за ублюдки! Тут всё: и гомункулусы, и автоматы, и ржущие кони, и ялтинские проводники с накрашенными губами.

Вчера было состязание: лавр — титул *соревнователя* в действительные члены Союза. Общих два русла: Надсон и Маяковский. Отказались бы *и* Надсон *и* Маяковский. Тут были и розы, и слезы, и пианисты, играющие в четыре ноги по клавишам мостовой… и монотонный тон кукушки (так начинается один стих!), и поэма о японской девушке, которую я любил (тема Бальмонта, исполнение Северянина) —

Это было у моря,
Где цветут анемоны…

И весь зал хором:

Где встречается редко
Городской экипаж…[4]

Но самое нестерпимое и безнадежное было то́, что больше всего ржавшие и гикавшие — *сами такие же*, — со вчерашнего состязания.

Вся разница, что они уже поняли немодность Северянина, заменили его (худшим!) Шершеневичем[5].

На эстраде — Бобров, Аксенов, Арго[6], Грузинов[7]. — Поэты.

И — просто шантанные номера…

Я, на блокноте, Аксенову: «Господин Аксенов, ради Бога, — достоверность об Ахматовой». (Был слух, что он видел Маяковского.) «Боюсь, что не досижу до конца состязания».

И учащенный кивок Аксенова. Значит — жива.

Дорогая Анна Андреевна, чтобы понять этот мой вчерашний вечер, этот аксеновский — мне — кивок, нужно было бы знать три моих предыдущих дня — *несказанных*. Страшный сон: хочу проснуться — и не могу. Я ко всем подходила в упор, вымаливала Вашу жизнь. Еще бы немножко — я бы *словами* сказала: «Господа, сделайте так, чтобы Ахматова была жива!» ...Утешила меня Аля: «Марина! У нее же — сын!»

Вчера после окончания вечера просила у Боброва командировку: к Ахматовой. Вокруг смеются. «Господа! Я вам десять вечеров подряд буду читать бесплатно — и у меня всегда полный зал!»

Эти три дня *(без Вас)* для меня Петербурга уже не существовало, — да что Петербурга... Вчерашний вечер — чудо: «Стала облаком в славе лучей»[8].

На днях буду читать о Вас — в первый раз в жизни: питаю отвращение к докладам, но не могу уступить этой чести другому! Впрочем, всё, что я имею сказать, — осанна!

Кончаю — как Аля кончает письма к отцу:

Целую и низко кланяюсь.

МЦ.

3

Bellevue, 12-го ноября 1926 г.

Дорогая Анна Андреевна,

Пишу Вам по радостному поводу Вашего приезда[1] — чтобы сказать Вам, что все, в беспредельности доброй воли — моей и многих — здесь, на месте, будет сделано.

Хочу знать, одна ли Вы едете или с семьей (мать, сын). Но как бы Вы ни ехали, езжайте смело. Не скажу сейчас в подробностях Вашего здешнего устройства, но обеспечиваю Вам наличность всех.

Еще одно: делать Вы всё будете как *Вы* хотите, никто ничего Вам навязывать не будет, а захотят — не смогут: не навязали же мне!

Переборите «аграфию» (слово из какой-то Вашей записочки)[2] и напишите мне тотчас же: когда — одна или с семьей — решение или мечта.

Знайте, что буду встречать Вас на вокзале.

Целую и люблю — вот уже 10 лет (Лето 1916 г., Александровская слобода, на войну уходил эшелон)[3].

М.

Знаете ли Вы, что у меня сын 1 г⟨од⟩ 9 мес⟨яцев⟩ — Георгий? А маленькая Аля почти с меня? (13 л⟨ет⟩).

Ад⟨рес⟩: Bellevue (Seine et Oise)
Près Paris, 31, Boulevard Verdun.

Отвечайте сразу. А адрес перепишите на стенку, чтобы не потерять.

Ахматова Анна Андреевна (настоящая фамилия Горенко; 1889—1966) — поэт. В черновой тетради М. Цветаевой есть наброски писем к А. Ахматовой, в частности запись по поводу смерти А. Блока. Неизвестно, сколько писем написала Цветаева Ахматовой, обнаружено пока только три. Писем Ахматовой было немного: она всегда жаловалась, что страдает «аграфией» (см. ниже).

В архиве Цветаевой хранятся книги А. Ахматовой «Подорожник», «У самого моря» и «Anno Domini» с лаконичными дарственными надписями (*Поэт и время*. С. 100).

Сохранились записи Ахматовой о Цветаевой (Ахматова А. А. Сочинения: В 2 т. М.: Худож. лит., 1987). См. также т. 1, цикл «Ахматовой» и комментарии к нему.

Письма 1 и 2 впервые — Новый мир. 1969. № 4. С. 189—191. Печатаются по: *Соч. 88, 2*. Письмо 3 впервые — *НП*. Печатается по копии из архива составителя.

1

[1] А. Ахматова «Подорожник». Стихотворения (Пг.: Петрополис, 1921). В архиве Цветаевой хранится экземпляр с дарственной надписью: «Марине Цветаевой в надежде на встречу с любовью. Ахматова. 1921» (РГАЛИ). Там же находятся еще две книги Ахматовой, надписанные ею для Цветаевой: «У самого моря» и «Anno Domini». См. *Поэт и время*. С. 100.

[2] Сборники А. Ахматовой «Четки» и «Белая стая».

В письме Ахматовой от 17/30 марта 1921 г. Аля Эфрон писала:

Читаю Ваши стихи «Четки» и «Белую Стаю». Моя любимая вещь, тот длинный стих о царевиче*. Это так же прекрасно, как Андерсеновская русалочка, так же запоминается и ранит — навек. И этот крик: Белая птица — больно! Помните, как маленькая русалочка танцевала на ножах?** Есть что-то, хотя и другое.

Эта белая птица — во всех Ваших стихах, над всеми Вашими стихами. И я знаю, какие у нее глаза. Ваши стихи такие короткие, а из каждого могла бы выйти целая огромная книга. Ваши книги — сверху — совсем черные, у нас всю зиму копоть и дым. Над моей кроватью

---

* Имеется в виду поэма А. Ахматовой «У самого моря» (в сборнике «Белая стая». Пг., 1917).

** В сказке Х. К. Андерсена «Русалочка» русалка влюбилась в принца и попросила колдунью превратить ее хвост в ноги, та согласилась, но с условием, что ходить на ногах будет больно, как на ножах.

большой белый купол: Марина вытирала стену, пока руки хватило, и нечаянно получился купол. В куполе два календаря и четыре иконы. На одном календаре — Старый и Новый год встретились на секунду, уже разлучаются. У Старого тощее и благородное тело, на котором жалобно болтается такой же тощий и благородный халат. Новый — невинен и глуп, воюет с нянькой, сам в маске. За окном новогоднее мракобесие. На календаре — все православные и царские праздники. Одна иконочка у меня старинная, глаза у Богородицы похожи на Ваши.

Мы с Мариной живем в трущобе. Потолочное окно, камин, над которым висит ободранная лиса, и по всем углам трубы (куски). — Все, кто приходит, ужасаются, а нам весело. Принц не может прийти в хорошую квартиру в новом доме, а в трущобу — может.

Но Ваши книги черные только сверху, когда-нибудь переплетем. И никогда не расстанемся. Белую Стаю Марина в одном доме украла и целые три дня ходила счастливая. Марина все время пишет, я тоже пишу, но меньше. Пишу дневник и стихи. К нам почти-то никто не приходит.

Из Марининых стихов к Вам знаю, что у Вас есть сын Лев. Люблю это имя за доброту и торжественность. Я знаю, что он рыжий. Сколько ему лет? Мне теперь восемь. Я нигде не учусь, потому что везде без ѣ и чесотка.

Вознесение

И встал и вознесся,
И ангелы пели,
И нищие пели.
А голуби вслед за тобою летели.
А старая матерь,
Раскрывши ладони:
— Давно ли свой первый
Шажочек ступнул!

Это один из моих последних стихов. Пришлите нам письмо, лицо и стихи. Кланяюсь Вам и Льву.

Ваша Аля.

Деревянная иконка от меня, а маленькая, веселая — от Марины.

〈*Приписка М. И. Цветаевой:*〉

Аля каждый вечер молится: — «Пошли, Господи, царствия небесного Андерсену и Пушкину, — и царствия земного — Анне Ахматовой».

(*А. Эфрон.* С. 238, 240.)

По-видимому, было и письмо, написанное Цветаевой тогда же, когда и письмо дочери, и близкое к нему по содержанию. Это видно из ответа Ахматовой:

Дорогая Марина Ивановна,

благодарю Вас за добрую память обо мне и за иконки. Ваше письмо застало меня в минуту величайшей усталости, так что мне трудно собраться с мыслями, чтобы подробно ответить Вам. Скажу только, что за эти годы я потеряла всех родных, а Левушка после моего развода остался в семье своего отца.

Книга моих последних стихов выходит на днях, я пришлю ее Вам и Вашей чудесной Але. О земных же моих делах, не знаю, право, что и сказать. Вероятно, мне «плохо», но я совсем не вижу, отчего бы мне могло быть «хорошо».

То, что Вы пишете о себе, и страшно и весело.

Желаю Вам и дальше дружбы с Музой и бодрости духа, и, хотите, будем надеяться, что мы все-таки когда-нибудь встретимся.

Целую Вас.

Ваша Ахматова
(*Поэт и время.* С. 99.)

[3] Издательство, организованное в 1918 г. в Петрограде, в котором М. Цветаева намеревалась издать свою поэму «На Красном Коне». Рукопись этой поэмы, присланная Ахматовой, хранится в архиве П. Лукницкого.

[4] Такая книжка не была издана. Свой замысел Цветаева реализовала лишь в виде рукописной книжечки «Современникам». (См.: Богомолов Н. А., Шумихин С. В. Книжная лавка писателей и автографические издания 1919—1922 годов.—Ново-Басманная, 19. М.: Худож. лит., 1990. С. 127).

[5] Из стихотворения А. Ахматовой «По твердому гребню сугроба...» (1917).

[6] Цветаева имеет в виду следующие строки из стихотворения А. Ахматовой «Ты—отступник: за остров зеленый...» (1917):

Для чего ты, лихой ярославец,
Коль еще не лишился ума,
Загляделся на рыжих красавиц
И на пышные эти дома?

[7] Ахматова из Петрограда откликнулась коротким письмом:

Дорогая Марина Ивановна,

меня давно так не печалила аграфия, кот⟨орой⟩ я страдаю уже много лет, как сегодня, когда мне хочется поговорить с Вами. Я не пишу никогда и никому, но Ваше доброе отношение мне бесконечно дорого. Спасибо Вам за него и за посвящение поэмы. До 1 июля я в Петербурге. Мечтаю прочитать Ваши новые стихи. Целую Вас и Алю. Ваша Ахматова (*Поэт и время*. С. 99).

2

[1] Письмо написано в связи со слухом о самоубийстве А. Ахматовой, дошедшим до Москвы вскоре после расстрела Н. Гумилева.

[2] Это кафе было организовано В. В. Каменским и В. Р. Гольдшмидтом осенью 1917 г. в помещении бывшей прачечной в Настасьинском переулке (угол Тверской улицы).

[3] Первое письмо от мужа после более чем двухлетней разлуки Цветаева получила 14 июля 1921 г.

[4] Перефразированные строки стихотворения И. Северянина «Это было у моря...» (1910).

[5] *Шершеневич* Вадим Габриэлевич (1893—1942)—поэт-имажинист.

[6] *Арго* (настоящие фамилия и имя Гольденберг Абрам Маркович; 1897—1968)—поэт-сатирик и переводчик.

[7] *Грузинов* Иван Васильевич (1893—1942)—поэт-имажинист.

[8] Строка из стихотворения А. Ахматовой «Молитва» (1915).

3

[1] О возможном приезде Ахматовой в Париж сведения, вероятно, привез кто-нибудь из покинувших Россию. В. Вейдле вспоминает, как перед его отъездом из России, в 1924 г., Ахматова интересовалась возможностью устроить сына в русскую гимназию (*НП*. С. 378).

[2] См. комментарий 7 к письму 1.

[3] В Александрове летом 1916 г. написаны двенадцать (из тринадцати) стихотворений, обращенных к А. Ахматовой. Под впечатлением проводов солдат на войну здесь же, 3 июля, Цветаева пишет стихотворение «Белое солнце и низкие, низкие тучи...». См. т. 1.

М. А. КУЗМИНУ

Дорогой Михаил Алексеевич,

Мне хочется рассказать Вам две мои встречи с Вами; первую в январе 1916 г., вторую—в июне 1921 г. Рассказать как совершенно постороннему, как рассказывала (первую) всем, кто меня спрашивал:—«А Вы знакомы с Кузминым?»—Да, знакома, т. е. он наверное меня не помнит, мы так мало виделись, только раз, час—и было так много людей... Это было в 1916 г., зимой, я в первый раз в жизни была в Петербурге. Я дружила тогда с семьей К〈аннегисе〉ров (Господи, Леонид!)[1], они мне показывали Петербург. Но я близорука—и был такой мороз—и в Петербурге так много памятников—и сани так быстро летели—все слилось, только и осталось от П〈етербур〉га, что стихи Пушкина и Ахматовой. Ах, нет: еще камины. Везде, куда меня приводили, огромные мраморные камины,—целые дубовые рощи сгорали!—и белые медведи на полу (белого медведя—к огню!—чудовищно!), и у всех молодых людей проборы—и томики Пушкина в руках, и налакированные ногти, и налакированные головы—как черные зеркала. (Сверху—лак, а под лаком—д———к!) О, как там любят стихи! Я за всю свою жизнь не сказала столько стихов, сколько там, за две недели. И там совершенно не спят. В 3 ч. ночи звонок по телефону.—«Можно придти?»—«Конечно,

конечно, у нас только собираются». И так — до утра. Но северного сияния я, кажется, там не видала.

— То есть...

— Ах, да, это не там Северное сияние, — Северное сияние в Лапландии, — там белые ночи. Нет, там ночи обыкновенные, т. е. белые, но как и в Москве — от снегу.

— Вы хотели рассказать о Кузмине...

— Ах, да, т. е. рассказывать собственно нечего, мы с ним трех слов не сказали. Скорее как видение...

— Он очень намазан?

— На — мазан?

— Ну, да: намазан, накрашен...

— Да не-ет!

— Уверяю Вас...

— Не уверяйте, п. ч. это не он. Вам кого-нибудь другого показали.

— Уверяю Вас, что я его видел в Москве на —

— В Москве? Так это он для Москвы, он думает, что в Москве так надо — в лад домам и куполам, а в Петербурге он совершенно природный: мулат или мавр.

Это было так. Я только что приехала. Я была с одним человеком, т. е. это была женщина[2]. — Господи, как я плакала! — Но это неважно. Ну, словом, она ни за что не хотела, чтобы я ехала на этот вечер и потому особенно меня уговаривала. Она сама не могла — у нее болела голова — а когда у нее болит голова — а она у нее всегда болит — она невыносима. (Темная комната — синяя лампа — мои слезы...) А у меня голова не болела — никогда не болит! — и мне страшно не хотелось оставаться дома 1) из-за Сони, во-вторых п. ч. там будет К⟨узмин⟩ и будет петь.

— Соня, я не поеду! — Почему? Я ведь все равно — не человек. — Но мне Вас жалко. — Там много народу, — рассеетесь. — Нет, мне Вас очень жалко. — Не переношу жалости. Поезжайте, поезжайте. Подумайте, Марина, там будет Кузмин, он будет петь. — Да — он будет петь, а когда я вернусь, Вы будете меня грызть, и я буду плакать. Ни за что не поеду! — Марина! —

Голос Леонида: — М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩, Вы готовы?

Я, без колебания: — Сию секунду!

Большая зала, в моей памяти — galerie aux glaces*. И в глубине через эти все паркетные пространства — как в обратную сторону бинокля — два глаза. И что-то кофейное. — Лицо. И что-то пепельное. — Костюм. И я сразу понимаю: Кузмин. Знакомят. Всё

* Зеркальная галерея *(фр.)*.

от старинного француза и от птицы. Невесомость. Голос, чуть надтреснут, в основе — глухой, посредине — где трещина — звенит. Что говорили — не помню. Читал стихи.

Запомнила в начале что-то о зеркалах (м. б. отсюда — galerie aux glaces?). Потом:

Вы так близки мне, так родны,
Что будто Вы и нелюбимы.
Должно быть так же холодны
В раю друг к другу серафимы.
И вольно я вздыхаю вновь,
Я *детски* верю в совершенство.

Быть может…
(большая пауза)
…это не любовь?..
Но так…
(большая, непомерная пауза)
похоже
(маленькая пауза)

и почти что неслышно, отрывая, на исходе вздоха:

…на блаженство![3]

Было много народу. Никого не помню. Нужно было сразу уезжать. Только что приехала — и сразу уезжать! (Как в детстве, знаете?) Все: — Но М⟨ихаил⟩ А⟨лексеевич⟩ еще будет читать… Я, деловито: — Но у меня дома подруга. — Но М⟨ихаил⟩ А⟨лексеевич⟩ еще будет петь. Я, жалобно: — Но у меня дома подруга. (?) Легкий смех, и кто-то, не выдержав: — Вы говорите так, точно — у меня дома ребенок. Подруга подождет. — Я, про себя: — Черта с два! Подошел сам Кузмин: — Останьтесь же, мы Вас почти не видели. — Я, тихо, в упор: — М⟨ихаил⟩ А⟨лексеевич⟩, Вы меня совсем не знаете, но поверьте на слово — мне *все* верят — никогда в жизни мне так не хотелось остаться, как сейчас, и никогда в жизни мне так не было необходимо уйти — как сейчас. М⟨ихаил⟩ А⟨лексеевич⟩ дружески: — Ваша подруга больна? Я, коротко: Да, М⟨ихаил⟩ А⟨лексеевич⟩. — Но раз Вы уже все равно уехали… Я знаю, что никогда себе не прощу, если останусь — и никогда себе не прощу, если уеду… — Кто-то: — Раз все равно не простите — так в чем же дело?

— Мне бесконечно жаль, господа, *но*…

Было много народу. Никого не помню. Помню только Кузмина: глаза.

Слушатель: — У него, кажется, карие глаза?

— По-моему, черные. Великолепные. Два черных солнца. Нет, два жерла: дымящихся[4]. Такие огромные, что я их, несмотря

на близорукость, увидела за сто верст, и такие чудесные, что я их и сейчас (переношусь в будущее и рассказываю внукам) — через пятьдесят лет — вижу. И голос слышу, глуховатый, которым он произносит это: «Но *так* — похоже...» И песенку помню, которую он спел, когда я уехала... — Вот.

— А подруга?

— Подруга? Когда я вернулась, она спала.

— Где она теперь?

— Где-то в Крыму. Не знаю. В феврале 1916, т. е. месяц с чем-то спустя, мы расстались. Почти что из-за Кузмина, т. е. из-за М⟨андельшта⟩ма, который, не договорив со мной в Петербурге, приехал договаривать в Москву. Когда я, пропустив два мандельштамовых дня, к ней пришла — первый пропуск за годы — у нее на постели сидела другая: очень большая, толстая, черная[5].

— Мы с ней дружили полтора года. Ее я совсем не помню, т. е. не вспоминаю. Знаю только, что никогда ей не прощу, что тогда не осталась.

14-го января 1921 г. Вхожу в Лавку Писателей, единственный слабый источник моего существования[6]. Робко, кассирше: — «Вы не знаете: как идут мои книжки?» (Переписываю, сшиваю, продаю.) Пока она осведомляется, я pour me donner le contenance*, перелистываю книги на прилавке. Кузмин: Нездешние вечера[7]. Открываю: копьем в сердце: Георгий![8] Белый Георгий! *Мой* Георгий, которого пишу два месяца: житие. Ревность и радость. Читаю: радость усиливается, кончаю — ⟨...⟩ Всплывает из глубины памяти вся только что рассказанная встреча.

Открываю дальше: Пушкин *мой!* все то, что вечно говорю о нем — я. Наконец Goethe, тот, о котором говорю, судя современность: — Перед лицом Goethe[9] —

Прочла только эти три стиха. Ушла, унося боль, радость, восторг, любовь — все, кроме книжки, которую не могла купить, п. ч. ни одна моя не продалась. И чувство: О, раз еще есть *такие* стихи!

Точно меня сразу (из Борисоглебского пер⟨еулка⟩ 1921 г.)[10] поставили на самую высокую гору и показали мне самую далекую даль.

Внешний повод, дорогой М⟨ихаил⟩ А⟨лексеевич⟩, к этому моему письму — привет, переданный мне от Вас г⟨оспо⟩жой Волковой[11].

1921

---

* Чтобы занять себя *(фр.)*.

Кузмин Михаил Алексеевич (1875—1936)—писатель, поэт, композитор.

Публикуемое письмо являет собой как бы прообраз очерка «Нездешний вечер», написанного в 1936 г. и посвященного памяти М. А. Кузмина. В письме, как и в очерке, описывается история знакомства с Кузминым, происшедшего на петербургской квартире известного судостроителя А. Каннегисера.

Впервые—*С. Полякова.* С. 110—114. Печатается по тексту первой публикации.

[1] В очерке «Нездешний вечер» Цветаева пишет о сыновьях А. Каннегисера—Сергее и Леониде: «Леня—поэт, Сережа—путешественник, и дружу я с Сережей... Леня для меня слишком хрупок, нежен... цветок». В 1918 г. Л. Каннегисер был расстрелян за убийство Урицкого. «После Лени осталась книжечка стихов—таких простых, что у меня сердце сжалось: как я ничего не поняла в этом эстете, как этой внешности—поверила» (т. 4). Сергей покончил с собой в 1917 г.

[2] Речь идет о С. Я. Парнок.

[3] Неточно цитируемые строки из стихотворения М. Кузмина «Среди ночных и долгих бдений...» (1915) из сборника «Вожатый». Спб., 1918.

[4] Ср. стихотворение М. Цветаевой «Два зарева!—нет, зеркала́!//Нет, два недуга!//Два серафических жерла,//Два черных круга...» и т. д.), написанное 2 июля 1921 г. и обращенное к Кузмину (см. т. 2).

[5] Л. В. Эрарская, новая подруга С. Я. Парнок.

[6] «В Лавку она приходила редко, в основном тощего приработка ради,—с книгами на продажу или с автографами на комиссию...»—вспоминала дочь поэта (*А. Эфрон.* С. 103).

[7] Нездешние вечера. Стихи, 1914—1920 (Пг.: Петрополис, 1921).

[8] Имеется в виду кантата М. Кузмина «Св. Георгий», перекликающаяся со стихотворениями М. Цветаевой цикла «Георгий».

[9] *Пушкин, Гёте*—названия стихотворений М. Кузмина из цикла «Дни и лица».

[10] В 1921 г. Цветаева с семьей жила в доме № 6 в Борисоглебском переулке.

[11] О ком идет речь, неизвестно.

И. Г. ЭРЕНБУРГУ

1

Москва, 21-го р⟨усского⟩ Октября 1921 г.

Мой дорогой Илья Григорьевич!

Передо мной Ваши два письма: от 5-го сентября и от 20-го Октября[1]. Получила их сегодня у Изабеллы Григорьевны[2]. Там

больной мальчик[3], уныние и безумный беспорядок: немножко лучше, чем у меня!

Если Вам хочется их видеть, зовите сильнее: впечатление подавленной воли.

Писала Вам недавно (письмо С⟨ереже⟩ помечено двенадцатым №), дела мои, кажется (суеверна!) хороши[4], но сегодня я от Ю⟨ргиса⟩ К⟨азимировича⟩[5] узнала, что до Риги[6] — с ожиданием там визы включительно — нужно 10 миллионов. Для меня это все равно что: везите с собой Храм Христа Спасителя. — Продав С⟨ережи⟩ну шубу (моя ничего не стоит), старинную люстру, красное дерево и 2 книги (сборничек «Версты» и «Феникс» (Конец Казановы) — с трудом наскребу 4 миллиона, — да и то навряд ли: в моих руках и золото — жесть, и мука — опилки. Вы должны меня понять правильно: не голода, не холода, не ⟨...⟩ я боюсь, — а зависимости. Чует мое сердце, что там на Западе люди *жестче*. Здесь рваная обувь — беда или доблесть, там — позор. (Вспоминаю, кстати, один Алин стих, написанный в 1919 г.:

Не стыдись, страна Россия!
Ангелы всегда босые...
Сапоги сам Черт унес.
Нынче страшен, кто не бос!)[7]

Примут за нищую и погонят обратно. — Тогда я удавлюсь. —

Но поехать я все-таки поеду, хоть бы у меня денег хватило ровно на билет.

Документы свои я, очевидно, получу скоро. К⟨оммуни?⟩ст, к⟨отор⟩ый снимал у меня комнату (самую ужасную — проходную — из принципа!) уехал и не возвращается. Увез мой миллион и одиннадцать чужих. Был мне очень предан, но когда нужно было колоть дрова, у него каждый раз болел живот. У меня было впечатление, что я совершенно нечаянно вышла замуж за дворника: на каждое мое слово отвечал: «ничего подобного» и заезжал рукой в лицо. Я все терпела, потому что все надеялась, что увезет: увез только деньги. — Ваших я не трогала, оставляю их на последнюю крайность!

Аля сопутствует меня* повсюду и утешает меня юмористическими наблюдениями. Это мой единственный советчик.

Если уеду, не имея ни одного адр⟨еса⟩, пойду в Риге к Вашему знакомому, на к⟨оторо⟩го раньше отправляла письма, у меня есть несколько золотых вещей, может быть поможет продать.

В доме холодно, дымно — и мертво, потому что уже не живешь. Вещи враждебны. Все это, с первой минуты моего решения, похоже на сон, крышка которого — потолок.

---

* Так в рукописи. — *Сост.*

Единственная радость — стихи. Пишу как пьют, — и не вино, а воду. Тогда я счастливая, уверенная 〈...〉

Стихи о каторге Вами у меня предвосхищены, это до того *мое*[8] 〈...〉

Вот Вам в ответ стих, написанный, кажется, в марте, и не об этом, — но об этом:

На што мне облака и степи
И вся подсолнечная ширь!
Я — раб, свои взлюбивший цепи,
Благословляющий Сибирь!

Эй вы, обратные по трахту!
Поклон великим городам.
Свою застеночную шахту
За всю свободу не продам!

Привет тебе, град Божий — Киев!
Поклон, престольная Москва!
Поклон, мои дела мирские!
Я сын, не помнящий родства.

Не встает любоваться рожью
Покойник, возлюбивший гроб.
Заворожил от света Божья
Меня верховный рудокоп.

Просьба: не пишите С〈ереже〉, что мне *так* трудно, и поддерживайте в нем уверенность, что мы приедем. Вам я пишу, потому что мне некому все это сказать и потому что я знаю, что для Вас это только иллюстрация к революционному〉 быту Москвы 1921 года.

— На Арбате *54* гастр(ономических) магазина, — считали: Аля справа, я слева.

— Спасибо за все. — Целую.

М.

Письмо за № 12 отослано по старому адр〈есу〉:

Chaussée de Waterloo 1385 (?) —

Теперь буду писать часто. Там я писала о «Лике Войны». — *Прекрасная* книга[9].

2

Москва, 11/24-го февраля 1922 г.

Мой дорогой!

Эти дни у меня под Вашим знаком, столько надо сказать Вам, что руки опускаются!

Или же — правая к перу! — Стихотворному, — ибо не одним пером пишешь письмо и стихи.

И весомость слов — иная.

Хочется сказать нелепость: стихотворное слово столь весомо, что уже не весит, по таким векселям *не дано* платить в жизни: монеты такой нет.

А многое из этого, что мне НАДО сказать Вам, уже переросло разговорную речь.

Не: пытаюсь писать Вам стихи[1], а: пытаюсь Вам стихов *не* писать. (Сейчас увидите, почему.)

Знаете, раньше было так: иногда — толчком в грудь:

Свинья! Ни одного стиха человеку, который — человеку, которому...

И внимательное (прослушав) — «Не могу. Не ясно». — И сразу забывала.

Стихи к Вам надо мной как сонм. Хочется иногда поднять обе руки и распростать дорогу лбу. — Стерегущий сонм. — И весьма разномастный. (Что э́то — птицы — я знаю, но не просто: орлы, сокола, ястреба, — пожалуй что из тех:

Птицы райские поют,
В рай войти нам не дают...[2]

— Лютые птицы!)

И вот, денно и нощно, чаще всего с Алей рядом, поздними часами одна — переплеск этих сумасшедших крыльев над головой — целые бои! — ибо и *та* хочет, и *та* хочет, и *та* хочет, и ни одна дьяволица (птица!) не уступает и вместо одного стиха — три сразу (больше!!!) и ни одно не дописано. Чувство: СОВЛАДАТЬ!

Чтоб самоё не унесли!

Мой родной!

Отъезд таков: срок моего паспорта истекает 7-го Вашего марта, нынче 24-ое (Ваше) февраля, Ю⟨ргис⟩ К⟨азимирович⟩[3] приезжает 2-го В⟨ашего⟩ марта, если 3-го поставит длительную литовскую визу и до 7-го будет дипл(оматический) вагон — дело выиграно. Но если Ю⟨ргис⟩ К⟨азимирович⟩ задержится, если между 3-ьим и 7-ым дипл⟨оматический⟩ вагон не пойдет — придется возобновлять визу ЧК, а это грозит месячным ожиданием. Кроме того[4],

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967)—писатель, общественный деятель.

Знакомство Цветаевой с Эренбургом, судя по его воспоминаниям, состоялось в 1917 г. К концу 1920 г. между ними установились дружеские отношения. «Дружба Марины с Эренбургом была *непродолжительной* (курсив наш.—*Сост.*), как большинство ее дружб—личных, не эпистолярных,—но куда более *обоюдной,* чем многие иные...—вспоминает А. С. Эфрон.—Отношение того, давнего, Эренбурга к той, давней, Цветаевой было поистине товарищеским, действенным, ничего не требующим взамен, исполненным настоящей заботливости и удивительной мягкости» (*А. Эфрон.* С. 117).

Перед отъездом Эренбурга во Францию в марте 1921 г. Цветаева попросила его разыскать С. Я. Эфрона, о котором не имела известий два года, и передать ему письмо. Эренбург сдержал обещание. Письма Эренбургу написаны во время подготовки Цветаевой к отъезду за границу, для встречи с мужем.

Впервые—*Звезда.* С. 16—19. (Публикация Е. И. Лубянниковой.) Печатаются по тексту первой публикации.

1

[1] Письма Эренбурга были датированы по новому стилю.

[2] *Эренбург* Изабелла Григорьевна (1885—1965)—сестра Эренбурга.

[3] Речь идет о Юре Кагане, сыне другой старшей сестры Эренбурга, Евгении Григорьевны (1884—1965) (*Звезда.* С. 18).

[4] Речь идет об отъезде Цветаевой с дочерью Ариадной за границу.

[5] *Балтрушайтис* Юргис Казимирович (1873—1944)—литовский поэт, писал на русском и литовском языках. С 1921 по 1939 г. был послом Литвы в СССР. Помогал Цветаевой в оформлении визы.

[6] Путь в Берлин лежал через Ригу.

[7] Стихотворение принадлежит самой Цветаевой. Впервые было опубликовано в общей подборке из пятнадцати четверостиший в берлинской газете «Дни» (1924, 14 декабря). См. т. 1.

[8] По-видимому, Цветаева имеет в виду стихотворение И. Эренбурга «О горе, горе, убежавшим с каторги!..» из цикла «Зарубежные раздумья» (1921).

[9] Речь идет о книге И. Эренбурга «Лик войны» (София, 1920), в которую вошли его военные корреспонденции 1915—1917 гг., подготовленные для газет «Утро России» (Москва) и «Биржевые ведомости» (Петроград). Эти корреспонденции явились началом его журналистской деятельности.

2

[1] Накануне Цветаева написала стихотворение «Небо катило сугробы...», которое открыло цикл из одиннадцати стихотворений под названием «Сугробы», с посвящением Эренбургу (см. т. 2).

[2] Двустишие Цветаевой; послужило эпиграфом к ее сборнику «Версты. I».

[3] См. комментарий 5 к предыдущему письму.

[4] Окончание письма потеряно.

Е. Ф. НИКИТИНОЙ

Милая Евдокия Федоровна!

Отдаю «Конец Казановы» в «Созвездие»[1], сегодня получила 2 м⟨иллиона⟩ аванса (расценка – 7 т⟨ысяч⟩ строка).

То же издательство покупает у меня «Матерь-Верста» (стихи за 1916 г.)[2], имеющиеся у Вас в двух ремингтонных экз⟨емплярах⟩. Очень просила бы Вас передать их представительнице издательства Зинаиде Ивановне Шамуриной, если нужно – оплачу ремингтонную работу.

Остающаяся у Вас «Царь-Девица»[3] полученным мною авансом в 5 милл⟨ионов⟩ не покрыта, поэтому считаю себя вправе распоряжаться рукописями, данными Вам на просмотр.

С уважением

М. Цветаева

Москва, 22-го января 1922 г.

Никитина Евдоксия (у Цветаевой описка: Евдокия) Федоровна (1895 – 1973) – литературовед, библиограф. Организовала в 1914 г. литературное объединение, собрания которого проходили на ее квартире. С 1921 г. эти заседания получили название «Никитинские субботники». В 1922 г. при литобъединении под тем же названием было создано кооперативное издательство.

Цветаева посещала в 1921 – 1922 гг. «Никитинские субботники», выступала на них с чтением стихов, а 31 декабря 1921 г., на предновогодней встрече, прочла у Е. Ф. Никитиной «Конец Казановы».

Впервые – *НП.* С. 51. Печатается по тексту первой публикации.

[1] *«Конец Казановы»* – третье действие пьесы М. Цветаевой «Феникс» (см. т. 3). Вышло отдельной книжкой в кооперативном издательском товариществе «Созвездие» в феврале 1922 г.

[2] Стихи 1916 г. были опубликованы в сборнике «Версты. I», выпущенном Госиздатом (см. письмо к П. Н. Зайцеву и комментарий к нему). *«Матерь-Верста»* – один из вариантов названия сборника. Цветаева первоначально предполагала выпустить сборник в издательстве «Никитинские субботники».

[3] См. комментарий 1 к письму к П. Н. Зайцеву.

П. Н. ЗАЙЦЕВУ

⟨1922, март⟩

Милый г. Зайцев!

Нельзя ли устроить мне заочно удостоверение на академический паек (апрельский).

Ведь в прошлый раз меня ведь тоже лично не было?

«Гос⟨ударственное⟩ Изд⟨ательство⟩ свид⟨етельствует⟩, что такая-то, проживающая там-то (Борисоглеб⟨ский⟩ пер⟨еулок⟩ 6, кв⟨артира⟩ 3) имеет право на акад⟨емический⟩ паек (апрель)»[1].

Если это возможно, передайте эту бумажку Шенгели[2].

Буду Вам очень обязана.

Привет.

МЦ.

Дело в том, что я *лично* не имею времени зайти.

Зайцев Петр Никанорович (1889—1970)—писатель, издательский работник.

Знакомство П. Н. Зайцева с Цветаевой состоялось весной 1922 г. в Госиздате. «Невысокая, стройная, строгая, с тихими глазами, в которых таилась насмешливость, вот-вот готовая вспыхнуть острой эпиграммой,—писал о Цветаевой П. Н. Зайцев.—Появлялась она у нас в ГИЗе в скромном, простом черном костюме, в маленькой шляпке на стройной головке, в черной жакетке и с перекинутой через плечо сумочкой-портфельчиком: не то школьница старших классов, не то пешеходная туристка, готовая исходить своими небольшими, но сильными ногами десятки километров, свои «версты», не выражая особой усталости...» (*Воспоминания о Цветаевой.* С. 137).

Печатается по копии с оригинала, хранящегося в ИМЛИ (фонд 15).

[1] Госиздат принял у Цветаевой к изданию две ее книги: «Царь-Девица» и «Версты. I». Обе они увидели свет в конце 1922 г., когда Цветаева уже уехала за границу.

[2] *Шенгели* Георгий Аркадьевич (1894—1956)—поэт, переводчик. Работал в издательском секторе Всероссийского союза поэтов. После отъезда в мае 1922 г. Цветаевой за границу некоторое время жил в ее квартире в Борисоглебском переулке.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. Н. ТОЛСТОМУ[1]

Алексей Николаевич!

Передо мной в № 6 приложения к газете «Накануне» письмо к Вам Чуковского[2].

Если бы Вы не редактировали этой газеты, я бы приняла свершившееся за дурную услугу кого-либо из Ваших друзей.

Но Вы редактор, и предположение падает.

Остаются две возможности: или письмо оглашено Вами по просьбе самого Чуковского, или же Вы это сделали по своей воле и без его ведома[3].

«В 1919 г. я основал «Дом Искусств»; устроил студию (вместе с Николаем Гумилевым), устроил публичные лекции, привлек Горького, Блока, Сологуба, Ахматову, А. Бенуа[4], Добужинского[5], устроил общежитие на 56 человек, библиотеку и т. д. И вижу теперь, что создал клоаку. Все сплетничают, ненавидят друг друга, интригуют, бездельничают, — эмигранты, эмигранты! Дармоедствовать какому-нибудь Волынскому[6] или Чудовскому[7] очень легко: они получают пайки, заседают, *ничего не пишут,* и поругивают Советскую власть...» — «...Нет, Толстой, Вы должны вернуться сюда гордо, с ясной душой. Вся эта мразь недостойна того, чтобы Вы перед ней *извинялись* или *чувствовали себя виноватым».* (Курсив, очевидно, Чуковского.)

Если Вы оглашаете эти строки по дружбе к Чуковскому (просьбе его) — то поступок Чуковского ясен: не может же он не знать, что «Накануне» продается на всех углах Москвы и Петербурга![8] — Менее ясны Вы, выворачивающий такую помойную яму. Так служить — подводить.

Обратимся к второму случаю: Вы оглашаете письмо *вне давления.* Но у всякого поступка есть цель. Не вредить же тем, четыре года сряду таскающим на своей спине отнюдь не аллегорические тяжести, вроде совести, неудовлетворенной гражданственности и пр., а просто: сначала мороженую картошку, потом не мороженую, сначала черную муку, потом серую...

Перечитываю — и:

«Спасибо Вам за дивный подарок — «Любовь книга золотая»[9]. — Вы должно быть сами не понимаете, какая это полновесная, породистая, бессмертно-поэтическая вещь. Только Вы один умеете так писать, что и смешно и поэтично. А полновесная вещь — вот как дети бывают удачно-рожденные: поднимешь его, а он — ой, ой какой тяжелый, три года (?), а такой мясовитый. И глупы все — поэтически, нежно-глупы, восхитительно-глупы. Воображаю, какой успех имеет она на сцене. Пришлите мне рецензии, я переведу их и дам в «Литературные записки»[10] (журнал Дома Литераторов) — пускай и Россия знает о Ваших успехах».

Но желая поделиться радостью с Вашими Западными друзьями, Вы могли бы ограничиться этим отрывком.

Или Вы на самом деле трехлетний ребенок, не подозревающий ни о существовании в России Г.П.У. (вчерашнее Ч.К.),

ни о зависимости всех советских граждан от этого Г.П.У., ни о закрытии «Летописи Дома Литераторов»[11], ни о многом, многом другом...

Допустите, что одному из названных лиц после 4 1/2 лет «ничего-не-деланья» (от него, кстати, умер и Блок) захочется на волю,—какую роль в его отъезде сыграет Ваше накануновское письмо?

Новая Экономическая Политика, которая очевидно является для Вас обетованною землею, меньше всего занята вопросами этики: справедливости к врагу, пощады к врагу, благородства к врагу.

Алексей Николаевич, есть над личными дружбами, частными письмами, литературными тщеславиями—круговая порука ремесла, круговая порука человечности.

За 5 минут до моего отъезда из России (11-го мая сего года) ко мне подходит человек: коммунист, шапочно-знакомый, знавший меня только по стихам.—«С вами в вагоне едет чекист. Не говорите лишнего».

Жму руку ему и не жму руки Вам.

Марина Цветаева

Берлин, 3-го июня[12] *1922 г.*

Толстой Алексей Николаевич (1882/83—1945)—русский советский писатель.

Впервые—газета «Голос России» (Берлин. 1922. 7 июня). Печатается по тексту первой публикации.

[1] Открытое письмо Цветаевой было вызвано публикацией А. Н. Толстым в редактируемом им «Литературном приложении» к берлинской газете «Накануне» частного письма к нему К. И. Чуковского (1882—1969), содержание которого являло собой политический донос на некоторых российских литературных деятелей, группировавшихся вокруг «Дома Искусств» в Петрограде (подробно об этом см. в книге: Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. «Русский Берлин. 1921—1923». Париж: YMCA-PRESS, 1983. С. 31—45, 59—66).

[2] «Литературное приложение» (№ 6) к газете «Накануне» с письмом Чуковского вышло 4 июня 1922 г.

[3] В следующем номере «Литературного приложения» (1922. № 7. 11 июня) А. Н. Толстой поместил редакционную реплику: «Напечатанное в предыдущем номере письмо К. И. Чуковского было написано мне, как частное письмо. Я напечатал его, не испросив предварительно разрешения на это К. И. Чуковского. Поэтому все упреки и бранные слова прошу направлять только по моему адресу. Алексей Толстой».

[4] *Бенуа* Александр Николаевич (1870—1960)—художник, историк искусств. С 1926 г. жил во Франции.

[5] *Добужинский М. В.* См. комментарий 3 к письму 21 к А. А. Тесковой.

[6] *Волынский* (настоящая фамилия Флексер) Аким Львович (1863—1926)—критик, искусствовед. Председатель правления ленинградского отделения Союза писателей (1920—1924).

[7] *Чудовский* Валериан Адольфович (1891—1937?)—критик, сотрудничал в журнале «Аполлон».

[8] «Самолеты «Дерулюфт» ежедневно доставляли в Москву газету «Накануне» и ее приложения. В уличных киосках Москвы газета раскупалась почти мгновенно» (Миндлин Э. Необыкновенные собеседники. М.: Сов. писатель, 1968. С. 122). Это была единственная, официально разрешенная к распространению в России эмигрантская газета (1922—1924).

[9] Пьеса А. Н. Толстого, вышедшая отдельной книгой (Берлин; М., 1922). Посылая с письмом от 22 апреля 1922 г. книгу К. И. Чуковскому, А. Н. Толстой добавил: «Эта комедия идет в Париже... с очень большим успехом. Написана она в Одессе, в 19-м году, в тоске и холоде». (Толстой А. Н. Материалы и исследования. М.: Наука, 1985. С. 496.)

[10] Журнал петроградского Дома литераторов (1922).

[11] Вместо литературно-*исследовательского* и критико-библиографического журнала «Летописи Дома литераторов» (1921—1922) после некоторого перерыва стал выходить литературно-*общественный* журнал «Литературные записки» (курсив наш.—*Сост.).*

[12] Если это не описка Цветаевой, то следует предположить, что номер газеты от 4 июня поступил в продажу накануне, 3 июня. Подобное в практике выпуска газет бывает нередко.

А. С. ЯЩЕНКО

1

Многоуважаемый г〈осподин〉 Ященко,

Простите за невежливое молчание: молчала нечистая совесть. То, что начала писать, потеряла переезжая, во второй раз начинать не хотелось[1].

Теперь начала, но много других работ, постараюсь прислать скоро, только особенно не рассчитывайте: сама тема далека: я, собственная жизнь.

Шлю привет и прошу не сердиться.

МЦветаева.

26-го июня 1922 г.

2

Берлин, 6-го июля 1922 г.

Многоуважаемый г〈осподин〉 Ященко!

(Простите, забыла отчество)

Не нужна ли Вам для Вашей Книги статья о Пастернаке (о его книге стихов «Сестра моя — Жизнь»)[1] — Только что кончила, приблизительно 1/2 печатн⟨ых⟩ листа. *Сократить,* говорю наперед, *никак не могу.*

Если она Вам окажется нужна, ответьте, пожалуйста, на три следующие вопроса:

1) КОГДА ПОЙДЕТ? (Мне важно, чтобы поскорее, чтобы моя рецензия была первой)

2) МОГУ ЛИ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОЛНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ТЕКСТА?

3) СМОГУ ЛИ Я, ХОТЯ БЫ У ВАС, В РЕДАКЦИИ, ПРОДЕРЖАТЬ КОРРЕКТУРУ? (Абсолютно важно!)

4) ПЛАТИТЕ ЛИ, И ЕСЛИ ПЛАТИТЕ, СКОЛЬКО? (И сразу ли?) —

Будьте милы, ответьте мне поскорей, это моя первая статья в жизни — и боевая. Не хочу, чтобы она лежала.

Было бы мило, если бы ко мне прислали с ответом Гуля. Я его очень люблю.

— И напишите мне свое имя и отчество.

Привет.

МЦветаева.

Trautenaustrasse, 9
Pension «Haus Trautenau».

— Я свою автобиографию[2] пишу через других, т. е. как другие *себя,* могу любить исключительно другого.

Ященко Александр Семенович (1877 — 1934) — специалист в области права, профессор Петербургского университета. С 1918 г. жил в Берлине.

Основал в 1921 г. в Берлине ежемесячный критико-библиографический журнал «Русская книга»; в 1922 — 1923 гг. журнал выходил под названием «Новая русская книга». Издание представляло собой в то время наиболее полный источник справочной информации по текущей русской литературе.

Впервые — в кн.: Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. «Русский Берлин. 1921 — 1923». Париж: YMCA-PRESS, 1983. С. 157 — 158. Печатаются по тексту первой публикации с исправлением неточностей по копии с оригинала.

1

[1] Речь идет о предложении редакции журнала «Новая русская книга» (или его редактора А. С. Ященко) опубликовать в разделе «Писатели — о себе» автобиографию Цветаевой. Статья эта так и не была написана.

2

[1] Имеется в виду статья «Световой ливень». С такой же просьбой обратился к А. С. Ященко двумя днями ранее И. Эренбург. Его рецензия на пастернаковский сборник и была принята журналом «Новая русская книга» (1922, № 6, вышел в августе). Статья Цветаевой опубликована в берлинском журнале А. Белого «Эпопея» (1922. № 3).

[2] См. комментарий к письму 1.

Б. Л. ПАСТЕРНАКУ

1

Берлин, 29-го нов⟨ого⟩ июня 1922 г.

Дорогой Борис Леонидович!

Пишу Вам среди трезвого белого дня, переборов соблазн ночного часа и первого разбега.

Я дала Вашему письму остыть в себе, погрестись в щебне двух дней, — что уцелеет?[1]

И вот, из-под щебня:

Первое, что я почувствовала — пробегом взгляда: *спор*. Кто-то спорит, кто-то призывает к ответу: кому-то *не заплатила*. — Сердце сжалось от безнадежности, от ненужности. — (Я тогда не прочла еще ни *одного* слова.)

Читаю (все еще не понимая — кто) и первое, что сквозь незнакомый разгон руки доходит: *отброшен*. (И — мое: несносное: «Ну да, кто-то недоволен, возмущен! О, Господи! Чем я виновата, что он прочел мои стихи!) — Только к концу 2-ой стр⟨аницы⟩, при имени Татьяны Федоровны Скрябиной, как удар: Пастернак!

Теперь слушайте:

Когда-то (в 1918 г., весной) мы с Вами сидели рядом за ужином у Цейтлинов[2]. Вы сказали: «Я хочу написать большой роман: с любовью, с героиней — как Бальзак». И я подумала: «Как хорошо. Как точно. Как вне самолюбия. — Поэт».

Потом я Вас пригласила: «Буду рада, если» — Вы не пришли, потому что ничего нового в жизни не хочется[3].

Зимой 1919 г. встреча на Моховой. Вы несли продавать Соловьева (?) — «потому что в доме совсем нет хлеба». — «А сколько у Вас выходит хлеба в день?» — «5 фунтов». — «А у меня 3». — «Пишете?» — «Да (или нет, не важно)». — «Прощайте». — «Прощайте».

(Книги. — Хлеб. — Человек.)

Зимой 1920 г., перед отъездом Эренбурга, в Союзе писателей читаю Царь-Девицу, со всей робостью: 1) рваных валенок, 2) русской *своей* речи, 3) явно-большой рукописи. Недоуменный вопрос — на круговую: «Господа, фабула ясна?» И одобряющее хоровое: «Совсем нет. Доходят отдельные строчки».

Потом — уже ухожу — Ваш оклик: «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩!» — «Ах, Вы здесь? Как я рада!» — «Фабула ясна, дело в том, что Вы даете ее разъединенно, отдельными взрывами, в прерванности»...

И мое молчаливое: Зóрок. — Поэт.

Осень 1921 г. Моя трущоба в Борисоглебском переулке. Вы в дверях. Письмо от И⟨льи⟩ Г⟨ригорьевича⟩. Перебарывая первую жадность, заглушая радость ропотом слов (письмо так и лежит нераспечатанным) — расспросы: — «Как живете? Пишете ли? Чтó — сейчас — Москва?» И Ваше — как глухо! — «Река... Паром... Берега ли ко мне, я ли к берегу... А может быть и берегов нет... А может быть и — »

И я, мысленно: Косноязычие *большого.* — Темнóты.

11-го (по-старому) апреля 1922 г. — Похороны Т. Ф. Скрябиной. Я была с ней в дружбе 2 года подряд, — ее единственным женским другом за жизнь. Дружба суровая: вся на деле и в беседе, мужская, вне нежности земных примет.

И вот провожаю ее большие глаза в землю.

Иду с Коганом[4], потом еще с каким-то, и вдруг — рука на рукав — как лапа: Вы. — Я об этом тогда писала Эренбургу. Говорили о нем, я просила Вас писать ему, говорила о его безмерной любви к Вам, Вы принимали недоуменно, даже с тяжестью: «Совсем не понимаю за что... Как трудно...» (Мне было больно за И⟨лью⟩ Г⟨ригорьевича⟩, и этого я ему не писала.) — «Я прочла Ваши стихи про голод...»[5] — «Не говорите. Это позор. Я совсем другого хотел. Но знаете — бывает так: над головой — сонмами, а посмотришь: белая бумага. Проплыло. Не коснулось стола. А это я написал в последнюю минуту: пристают, звонят, номер не выйдет...»

Потом рассказывали об Ахматовой. Я спросила об основной ее земной примете. И Вы, оглядываясь:

— Чистота внимания. Она напоминает мне сестру.

Потом Вы меня хвалили («хотя этого говорить в лицо не нужно») за то, что я эти годы все-таки писала, — ах, главное я и забыла! — «Знаете, кому очень понравилась Ваша книга? — Маяковскому»[6].

Это была *большая* радость: дар всей *чужести,* побежденные пространства (времена?)

Я — правда — просияла внутри.

И гроб: белый, без венков. И — уже вблизи — успокаивающая арка Девичьего монастыря: благость.

И Вы... «Я не с ними, это ошибка, знаете: отдаете стихи в какие-то сборники...»

Теперь *самое главное:* стоим у могилы. Руки на рукаве уже нет. Чувствую — как всегда в первую секундочку после расставания — что Вы рядом, отступив на шаг.

Задумываюсь о Т⟨атьяне⟩ Ф⟨едоровне⟩ — Ее последний земной воздух. — И — толчком: чувство *прерванности,* не додумываю, ибо занята Т⟨атьяной⟩ Ф⟨едоровной⟩ — допроводить ее!

И, когда оглядываюсь, Вас уже нет: *исчезновение.*

Это мое последнее видение Вас. Ровно через месяц — день в день — я уехала. Хотела зайти, чтобы обрадовать Э⟨ренбур⟩га живым рассказом о Вас, но чувство, что: чужой дом — наверно, не застану и т. д.

Мне даже стыдно было потом перед Эренбургом за такое слабое рвение во дружбе.

Вот, дорогой Борис Леонидович, моя «история с Вами», — тоже в прерванности.

Стихи Ваши я знаю мало: раз слышала Вас с эстрады, Вы тогда сплошь забывали, книги Вашей не видела.

То, что мне говорил Эренбург — ударяло сразу, захлестывало: дребезгом, щебетом, всем сразу: как Жизнь.

Бег *по кругу,* но круг — мир (вселенная!). И Вы — в самом начале, и никогда не кончите, ибо смертны.

Все только намечено — остриями! — и, не дав опомниться — дальше. Поэзия *умыслов* — согласны?

Это я говорю по тем 5, 6-ти стихотворениям, которые знаю.

Скоро выйдет моя книга «Ремесло»[7], — стихи за последние полтора года. Пришлю Вам с радостью. А пока посылаю две крохотные книжечки, вышедшие здесь без меня — просто чтобы окупить дорогу: «Стихи к Блоку» и «Разлука»[8].

Я в Берлине надолго, хотела ехать в Прагу, но там очень трудна внешняя жизнь[9].

Здесь ни с кем не дружу, кроме Эренбургов, Белого и моего издателя Геликона[10].

Напишите, как дела с отъездом: по-настоящему (во внешнем ли мире: виз, анкет, миллиардов) — едете[11]. Здесь очень хорошо

жить: *не* город (тот или иной) — *Безымянность* — просторы! Можно совсем без людей. Немножко как на том свете.

Жму Вашу руку. — Жду Вашей книги[12] и Вас.

МЦ.

Мой адрес: Berlin — Wilmersdorf, Trautenaustrasse, 9, Pension «Trautenau-Haus».

2

Мокропсы, 19-го нов⟨ого⟩ ноября 1922 г.[1]

Мой дорогой Пастернак!

Мой любимый вид общения — потусторонний: сон: видеть во сне.

А второе — переписка. Письмо, как некий вид потустороннего общения, менее совершенно, нежели сон, но законы те же.

Ни то, ни другое — не по заказу: снится и пишется не когда *нам* хочется, а когда хочется: письму — быть написанным, сну — быть увиденным. (Мои письма *всегда* хотят быть написанными!)

Поэтому, — с самого начала: никогда не грызите себя (хотя бы самым легким грызением!), если не ответите, и ни о какой благодарности не говорите, всякое большое чувство — самоцель.

Ваше письмо я получила нынче в 6 1/2 час⟨ов⟩ утра, и вот в какой сон Вы попали. — Дарю Вам его. — Я иду по каким-то узким мосткам. — Константинополь. — За мной — девочка в длинном платье, маленькая. Я знаю, что она не отстанет и что ведет — она. Но так как она маленькая — она не поспевает, и я беру ее на руки: через мою левую руку — полосатый шелковый поток: платье.

Лесенка: подымаемся. (Я, во сне: хорошая примета, а девочка — диво, дивиться.) Полосатые койки на сваях, внизу — черная вода. Девочка с бешеными глазами, но зла мне не сделает. Она меня любит, хотя послана не за тем. И я, во сне: «Укрощаю кротостью!»

И — Ваше письмо. Мне привез его муж из Свободарни (русское студенческое общежитие в Праге). Они вчера справляли годовщину — ночь напролет — и муж приехал с первым утренним поездом.

И то письмо[2] я получила так. Раз — случайность, два — подозрение на закон.

8 Зак 30

У Вас прекрасный почерк: гоните версту! И версты — и гривы — и полозья! И вдруг — охлест вожжи!

Сломя голову — и головы не ломает!

Прекрасный, значительный, мужественный почерк. Сразу веришь.

Вашего письма я сначала не поняла: радость и сон затмевали, ни слова! (Кстати, для меня слово — передача голоса, отнюдь не мысли, умысла!) Но голос слышала, потом рассвели (рассвет) слова, связь. Я все поняла.

Знаете, что осталось в памяти? Ледяной откос — почти отвес — под заревом (Ваше бессмертие!) — и голова в руках, — уроненная.

Теперь слушайте *очень* внимательно: я знала очень многих поэтов, встречала, сидела, говорила, и, расставаясь, более или менее знала (догадывалась) — жизнь каждого из них, когда меня нет. Ну, пишет, ну, ходит, ну (в Москве) идет за пайком, ну, (в Берлине) идет в кафе и т. д.

А с Вами — удивительная вещь: я не мыслю себе Вашего дня. (А сколько Вы их прожили — и *каждый* жили, час за часом!) Вы у меня *в жизни* не умещаетесь, очевидно — простите за смелость! — *Вы в ней не* 〈варианты: 1. Вы не в ней 2. Вы в ней〉* живете. Вас нужно искать, следить где-то еще. И не потому, что Вы — поэт и «ирреальны», и Белый поэт, и Белый «ирреален», — нет: не перекликается ли это с тем, что Вы пишете о дельтах, о *прерывности* Вашего бытия. Это, очевидно, настолько сильно, что я, не зная, перенесла это на *быт. Вы точно вместо себя посылаете в жизнь свою тень, давая ей все полномочия.*

«Слова на сон»[3]. Тогда было лето, и у меня был свой балкон в Берлине. Камень, жара, Ваша зеленая книга на коленях. (Сидела на полу.) — Я тогда десять дней жила ею, — как на высоком гребне волны: поддалась (послушалась) и не захлебнулась, хватило дыхания ровно на то восьмистишие, которое — я так счастлива — Вам понравилось.

От одной строки у меня до сих пор падает сердце.

Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом. Две стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой: тогда встреча — *над*. — Закинутые лбы!

---

* Вариант 1 написан над основным текстом (выделен курсивом), вариант 2 — под основным текстом.

Но сейчас расстаются на слишком долго, поэтому хочу — ясно и трезво: на сколько приехали, когда едете. Не скрою, что рада была бы посидеть с Вами где-нибудь в Богом забытом (вспомянутом) захудалом кафе, в дождь. — Локоть и лоб. — Рада была бы и увидеть Маяковского. Он, очевидно, ведет себя ужасно — и я была бы в труднейшем положении в Берлине. — Может быть, и буду.

Как встретились с Эренбургом? Мы с ним раздружились, но я его нежно люблю и, памятуя его великую любовь к Вам, хотела бы, чтобы встреча была хорошая.

Лучшее мое воспоминание из жизни в Берлине (два месяца) — это Ваша книга и Белый. С Белым я, будучи знакома почти с детства, по-настоящему подружилась только этим летом. Он жил, как дух: ел овсянку, которую ему подавала хозяйка, и уходил в поля. Там он мне однажды, на закате, чудно рассказывал про Блока. — Так это у меня и осталось. — Жил он, кстати, *в поселке гробовщиков* и, не зная этого, невинно удивлялся: почему все мужчины в цилиндрах, а все дамы с венками на животах и в черных перчатках[4].

Я живу в Чехии (близ Праги), в Мокропсах, в деревенской хате. Последний дом в деревне. Под горой ручей — таскаю воду. Треть дня уходит на топку огромной кафельной печки. Жизнь мало чем отличается от московской, *бытовая* ее часть, — пожалуй, даже бедней! — но к стихам прибавилось: семья и природа. *Месяцами* никого не вижу. Все утро пишу и хожу: здесь чудные горы.

Возьмите у Геликона (Вишняка) стихи, присланные в «Эпопею», это и есть моя жизнь[5].

А Вам на прощание хочу переписать мой любимый стих, — тоже недавний, в Чехии:

Это пеплы сокровищ:
Утрат, обид.
Это пеплы, пред коими
В прах — гранит.

Голубь голый и светлый,
Не живущий четой.
Соломоновы пеплы
Над великой тщетой.

Беззакатного времени
Грозный мел.
Значит, Бог в мои двери —
Раз дом сгорел!

Не удушенный в хламе,
Снам и дням господин,
Как отвесное пламя
Дух — из ранних седин!

И не вы меня предали,
Годы, в тыл!
Эта седость — победа
Бессмертных сил.

Была бы счастлива, если бы прислали новые стихи. Для меня все — новые: знаю только «Сестру мою жизнь».

А то, что Вы пишете о некоторых совпадениях, соответствиях, догадках — Господи, да ведь это же — не сшибание лбом! Мой лоб, когда я писала о Вас, был закинут, — и, естественно, что я Вас увидела.

МЦ.

Пастернак, у меня есть к Вам просьба: подарите мне на Рождество Библию: немецкую, непременно готическим шрифтом, не большую, но и не карманную: естественную. И надпишите. Тщетно вот уже четыре месяца выпрашиваю у Геликона!

Буду возить ее с собой всю жизнь!

3

Мокропсы, 10-го нового февраля 1923 г.

Пастернак!

Вы первый поэт, которого я — за жизнь — вижу*. Вы первый поэт, в чей завтрашний день я верю, как в свой. Вы первый поэт, чьи стихи меньше него самого, хотя больше всех остальных. Пастернак, я много поэтов знала: и старых и малых, и не один из них меня помнит. Это были люди, писавшие стихи: прекрасно писавшие стихи, или (реже) писавшие прекрасные стихи. — И всё. — Каторжного клейма *поэта* я ни на одном не видела: это жжет за версту! Ярлыков стихотворца видала много — и разных: это впрочем легко спадает, при первом дуновении *быта.* Они жили и писали стихи (врозь) — вне наваждения, вне расточения, копя всё в строчки — не только жили: наживались. И достаточно

---

* Кроме Блока, но он уже не был в живых! А Белый — другое что-то *(примеч. М. Цветаевой).*

наживавшись, разрешали себе стих: маленькую прогулку 〈...〉 Они были хуже не-поэтов, ибо *зная,* что им стихи стоят (месяцы и месяцы воздержания, скряжничества, небытия!), требовали за них с окружающих непомерной платы: кадил, коленопреклонения, памятников заживо. И у меня никогда не было соблазна им отказать: галантно кадила — и отходила. И больше всего я любила поэта, когда ему хотелось есть или у него болел зуб: это человечески сближало. Я была *нянькой* при поэтах, ублажительницей их низостей, — совсем не поэтом! и не Музой! — молодой (иногда трагической, но всё ж:) — нянькой! С поэтом я всегда забывала, что я — поэт. И если он напоминал — открещивалась.

И — забавно — видя, *как* они их пишут (стихи), я начинала считать их — гениями, а себя, если не ничтожеством — то: причудником пера, чуть ли не проказником. «Да разве я поэт? Я просто живу, радуюсь, люблю свою кошку, плачу, наряжаюсь — и пишу стихи. Вот Мандельштам, напр〈имер〉, вот Чурилин[1], напр〈имер〉, поэты». Такое отношение заражало: оттого мне все сходило — и никто со мной не считался, оттого у меня с 1912 г. (мне было 18 лет)[2] по 1922 г. не было ни одной книги, хотя в рукописях — не менее пяти[3]. Оттого я есмь и буду без имени. (Это, кстати, огорчает меня чисто внешне: за 7 мес〈яцев〉, как я из Берлина, заработала в прошлом месяце 12 тыс〈яч〉 герм〈анских〉 марок, неустанно всюду рассылая. Живу на чешском иждивении, иначе бы сдохла!)[4]

Но вернемся к Вам. Вы, Пастернак, в полной чистоте сердца, мой первый поэт за жизнь. И я так же спокойно ручаюсь за завтрашний день Пастернака, как за вчерашний Байрона. (Кстати: внезапное озарение: Вы будете очень старым, Вам предстоит *долгое* восхождение, постарайтесь не воткнуть Регенту палки в колесо!)[5] — Вы единственный, современником которого я могу себя назвать — и радостно! — во всеуслышание! — называю. Читайте это так же отрешенно, как я это пишу, дело не в Вас и не во мне, я не виновата в том, что Вы не умерли 100 лет назад, это уже почти безлично, и Вы это знаете. Исповедываются не священнику, а Богу. Исповедуюсь (не каюсь, а вос-каждаю!) не Вам, а Духу в Вас. Он больше Вас — и не такое еще слышал! Вы же настолько велики, что не ревнуете.

Последний месяц этой осени я неустанно провела с Вами, не расставаясь, *не* с книгой. Я одно время часто ездила в Прагу, и вот, ожидание поезда на нашей крохотной сырой станции. Я приходила рано, в сумерки, до фонарей. Ходила взад и вперед по темной платформе — далеко! И было одно место — фонарный столб — без света, сюда я вызывала Вас. — «Пастернак!» И долгие

беседы бок о бок — бродячие. В два места я бы хотела с Вами: в Веймар, к Goethe*, и на Кавказ (единственное место в России, где я *мыслю* Goethe!).

Я не скажу, что Вы мне необходимы, Вы в моей жизни *необходны, куда* бы я ни думала, фонарь сам встанет. Я выколдую фонарь.

Тогда, осенью, я совсем не смущалась, что все это без Вашего ведома и соизволения. Я не волей своей вызывала Вас, если «хочешь» — можно (и должно!) расхотеть, хотенье — вздор. Что-то *во мне* хотело. Да Вашу душу вызвать легко: ее никогда нет дома!

«На вокзал» и «к Пастернаку» было тождественно. Я не на вокзал шла, а к Вам. И поймите: никогда, нигде, вне этой асфальтовой версты. Уходя со станции, верней: садясь в поезд — я просто расставалась: здраво и трезво. Вас я с собой в жизнь не брала. И никогда нарочно не шла. Когда прекратились (необходимые) поездки в Прагу, кончились и Вы.

Рассказываю, потому что прошло.

И всегда, всегда, всегда, Пастернак, на всех вокзалах моей жизни, у всех фонарных столбов моих судеб, вдоль всех асфальтов, под всеми «косыми ливнями»[6] — это будет: мой вызов, Ваш приход.

Еще о союзничестве. Когда я кому-нибудь что-нибудь рассказываю и другой не понимает, первая мысль (ожог!) — Пастернак! И за ожогом — надежность. Как домой шла, как на костер шла: *вне* проверки.

Я например знаю о Вас, что Вы — из всех — любите Бетховена (даже *больше* Баха!), что Вы страстней стихов подвержены Музыке, что Вы «искусства» не любите, что Вы не раз думали о Паганини и хотели (и еще напишите!) о нем, что Вы католик (как духовный строй, порода), а не православный. Пастернак, я читаю в Вас, но я, как Вы, не знаю Вашей последней страницы. — Брезжится, впрочем, монастырь.

Мне хочется сказать Вам, и Вы не рассердитесь и не откреститесь, потому что Вы мужественны и бескорыстны, что в Вашем творчестве больше Гения, чем поэта (Гения — за плечом!), поэт побежден Гением, сдается ему на гнев и на милость, согласился быть глашатаем, отрешился. (Только низкая корысть может сражаться с ангелом! «Самоутверждение» — когда все дело: в самосожжении!)

Еще, Пастернак, я хочу, чтобы Вас не схоронили, а сожгли.

---

* Гёте *(нем.)*.

Ваша книга[7]. Пастернак, у меня к Вам просьба. «Так начинаются цыгане» — посвятите эти стихи мне[8]. (Мысленно.) Подарите. Чтобы я знала, что они мои. Чтобы никто не смел думать, что они его.

Пастернак, есть тайный шифр. Вы — сплошь шифрованны, Вы безнадежны для «публики». Вы — царская перекличка, или полководческая. Вы переписка Пастернака с его Гением. (Что тут делать третьему, когда все дело: вскрыв — скрыть!) Если Вас будут любить, то из страха: одни, боясь «отстать», другие, зорчайшие — *чуя*. Но знать... Да и я Вас не знаю, никогда не осмелюсь, потому, что и Пастернак часто сам не знает, Пастернак пишет буквы, а потом — в прорыве ночного прозрения — на секунду осознаёт, чтобы утром опять забыть.

А есть другой мир, где Ваша тайнопись — детская пропись. Горние Вас читают шутя. Закиньте выше голову — выше! — Там Ваш «Политехнический зал»[9].

Воскадив, начну каяться. — Блаженным летом 1922 (скоро год!), когда я получила Вашу книгу, мой первый жест был, закрыв последнюю страницу, распахнуть свое «Ремесло» на первой и — черным по белому: Ваше имя. — Тут начинается низость. Я тогда дружила с Геликоном, влюбленным (пожимаю плечами) в мои стихи[10]. Это было черное бархатное ничтожество, умилительное, сплошь на Ш (Господи, ведь *кот* по-французски — Chat! Только сейчас поняла!) Ну, вот. Посвятить мимо его кошачьего замшевого носа «Ремесло» другому, да еще полубогу (каковым Вас, скромно и во всеуслышание, считаю) — у меня сердце сжималось! «Слабость на-аша... Глупость на-аша»... (Песенка. Вспомните напев!) И, скрепя сердце, не проставила. Так и оставила пустой лист.

(Геликон, конечно, через неделю после моего отъезда, меня предал и продал: как кот: коты на могилах *не* умирают!)

Теперь, осознавая, думаю: правильно. Геликон — не в счет, но «Ремесло» уже вчерашний день. Я же к Вам иду только с завтрашним. Так спокойно и вне пафоса, просто знаю: следующая книга не может быть не Вам. Ведь посвящение — крещение корабля.

(Кстати, это письмо — беседа с Вашим Гением о Вас, Вы не слушайте.)

А теперь, Пастернак, просьба: не уезжайте в Россию, не повидавшись со мной. Россия для меня — un grand peutêtre*, почти тот-свет. Уезжай Вы в Гваделупу, к змеям, к прокаженным, я бы не окликнула. Но: в Россию — окликаю. — Итак, Пастернак, предупредите, я приеду. Внешне — по делам, честно — к Вам: по Вашу душу: проститься. Вы уже однажды так исчезли — на Дев⟨ичьем⟩ Поле[11], на кладбище: изъяли себя *из.* Вас просто не стало. Памятуя, боюсь — и борюсь за: что? Да просто рукопожатие. Я вообще сомневаюсь в Вашем существовании, но мыслится мне оно слишком похоже на сон по той беззаветности (освежите первичность слова!), по той несомненности, по той *слепоте,* которая у меня к Вам.

Я бы могла написать книгу наших встреч, только восстановляя, *вне* вымысла. Так удостоверенная в бытии, сомневаюсь в существовании: просто Вас нету. Больше просить об этом не буду, но ответа жду. Больше просить об этом не буду, только если не исполните (под каким бы то ни было предлогом) — *рана на жизнь.*

Не отъезда я Вашего боюсь, а исчезновения.

Два раза в Вашем письме: «тяжело». — Только потому, что Вы с людьми: вы летчик! Идите к Богам: к деревьям. Это не лирика; это врачебный совет. Живут же за городом, а в Германии это легче, чем где бы то ни было. У Вас будут книги, тетради, деревья, воздух, достоинство, покой. — Да, одно темное место в Вашем письме: Вы думаете, что я по причинам «горьким и стеснительным» живу вне Берлина? Да Берлин меня *сплошь* обокрал, я уехала нищая, с распиленными хрящами и растянутыми жилами[12]. Люди пера — проказа! Молю Бога всегда так жить, как живу: колодец часовенкой, грохот ручьев, моя собственная скала, козы, все породы деревьев, тетради, не говоря уж о С⟨ереже⟩ и Але, единственных, кроме Вас и кн⟨язя⟩ С. Волконского, мне дорогих!

Единственная моя горечь, что я в Берлине не дождалась Вас. — Если Вы не уедете раньше, думаю приехать в начале мая[13].

Никогда не слушайте суждений обо мне людей (друзей!), я многих задела (любила и разлюбила, нянчила и выронила) — для людей расхождение ведь вопрос самолюбия, которое, кстати, по-мужски и по-божески — щажу. — Не слушайте. — Скажу хуже, пуще — но верней!

---

* Большая загадка, неопределенность *(фр.).*

Вы получите от меня еще два письма: одно о Ваших и моих писаниях, другое — со стихами к Вам. Потом я замолчу. Без оклика — никогда не напишу. Писать — входить без стуку. Мой же дом всегда на полдороге к Вам. Когда бы Вы ни писали, знайте, что Ваша мысль — всегда в ответе. Где уж тут: стук в дверь: раз навсегда сорвана!

Засим, Пастернак, до свидания. — Да, еще Вы должны подарить мне Библию, не из Ваших рук не возьму.

МЦ.

4

Мокропсы, 11-го нов⟨ого⟩ февраля 1923 г.

Дорогой Пастернак,

Это письмо будет о Ваших писаниях и — если хватит места и охота не пропадет! — немножко о своих. Ваша книга — ожог[1]. Та — ливень[2], а эта — ожог: мне больно было, и я не дула. (Другие — кольдкремом мажут, картофельной мукой присыпают! — под-ле-цы!) Ну, вот, обожглась, обожглась и загорелась, — и сна нет, и дня нет. Только Вы, Вы один. Я сама — собиратель, сама не *от себя,* сама всю жизнь от себя (рвусь!) и успокаиваюсь только, когда уж ни одной зги моей — во мне. Милый Пастернак, — разрешите перескок: *Вы — явление природы.* Сейчас объясню, почему. Проверяю на себе: никогда ничего не беру из вторых рук, а люди — это вторые руки, поэты — третьи. Стало быть, Вы так и не вжились — ни во что! И — конечно — Ваши стихи не человеческие: ни приметы. Бог задумал Вас дубом, а сделал человеком, и в Вас ударяют все молнии (*есть* — такие дубы!), а Вы должны жить. (На дубе не настаиваю: сама сейчас в роли дуба и сама *должна жить,* но — мимо!)

Пастернак, чтобы не было ни ошибки, ни лжи: люди — вторые руки, но: народы, некоторые, в очень раннем детстве, дети и поэты — без стихов, *это первые руки!* Вы — поэт без стихов, т. е. так любят, так горят и так жгут — только не пишущие, пишущие раз, — восьмистишие за жизнь, не ремесленники (пусть гении) пера.

Почему каждые Ваши стихи звучат, как последние? «После этого он больше ничего не писал».

Начинаю догадываться о какой-то Вашей тайне. Тайнах. Первая: Ваша страсть к словам — только доказательство, насколько они для Вас *средство.* Страсть эта — *отчаяние сказа.* Звук Вы любите больше слова, и шум (пустой) больше звука, — потому

что в нем *всё*. А Вы обречены на слова, и как каторжник изнемогая... Вы хотите *невозможного,* из области слов выходящего. То, что Вы поэт — промах. (Божий — и божественный!)

Вторая: Вы не созерцатель, а вершитель, — только дел таких нет здесь. Не мыслю Вас: ни воином, ни царем. И оттого, что *дел нет,* — вся бешеная действенность в стихи: ничто на месте не стоит.

А знаете, Пастернак, Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь. Вам никого и ничего не станет нужно. Вы ни одного человека не заметите. Вы будете страшно свободны. Ведь Ваше «тяжело» — только оттого, что Вы пытаетесь: вместить в людей, втиснуть в стихи. Разве Вы не понимаете, что это безнадежно, что Вы не *протратитесь.* (Ваша тайная страсть: протратиться до нитки!) — Слушайте, Пастернак, здраво и трезво: в этом веке Вам дана только одна жизнь, столько-то лет — хоть восемьдесят, но мало. (Не для накопления, а для протраты.) Вы не израсходуетесь, но Вы задохнетесь. Пена вдохновения превратится в пену бешенства. Вам надо *отвод:* ежедневный, чуть ли не ежечасный. И очень простой: тетрадь.

Лирические стихи (то, что называют) — отдельные мгновения *одного* движения: движение в прерывности. Помните в детстве вертящиеся калейдоскопы? Или у Вас такого не было? Тот же жест, но чуть продвинутый: скажем — рука. Вправо, чуть правей, еще чуть и т. д. Когда вертишь — двигается. Лирика — это линия пунктиром, издалека — целая, черная, а вглядись: сплошь прерывности между ⟨*неразб*⟩ точками — безвоздушное пространство — смерть. И Вы от стиха до стиха умираете. (Оттого «последнесть» — каждого стиха!)

В книге (роман ли, поэма, *даже* статья!) этого нет, там свои законы. Книга пишущего не бросает, люди — судьбы — души, о которых пишешь, хотят *жить,* хотят дальше жить, с каждым днем пуще, кончать не хотят! (Расставание с героем — всегда разрыв!) А ведь у Вас есть книга прозы, и я ее не знаю[3]. Чье-то детство. Не приснилось же? Но глазами ее не видела. Не Вы ли сами обмолвились в Москве? Вроде Лилит[4]. Кажется, и Геликон говорил.

Не забудьте написать.

Теперь о книге вплотную. Сначала наилюбимейшие цельные стихи.

До страсти: «Маргарита». «Облако. Звезды. И сбоку...», «Я их мог позабыть» (сплошь)[5], — и последнее[6].

Жар (ожог) — от них.

Вы вторую часть книги называете «второразрядной». — Дружочек, в людях я загораюсь и от шестого сорта, здесь

я не судья, — но — стихи! «Я их мог позабыть» — ведь это *вторая* часть!

Я знаю, что можно не любить, ненавидеть книгу — неповинно, как человека. За то, что написано *тогда-то*, среди *тех-то, там-то*. За то, что *это* написано, а не то. — В полной чистоте сердца, не осмеливаясь оспаривать, не могу принять. В этой книге несколько вечных стихов, она на глазах выписывается, как змея выпрастывается из всех семи кож. Может быть, за это Вы ее и не любите. Какую книгу свою Вы считаете первой и — сколько — считаете — написали?

14-го нов⟨ого⟩ февраля

Письмо залежалось. Мне его трудно писать. Все, что я хочу сказать Вам — так непомерно! Возвращаясь, письма мои к Вам — перерывы в том непрерывном письме моем к Вам, коим являются все мои дни после получения книги. Как Вы долго звучите, — пробив!.. Возвращаясь к «единственному поэту за жизнь» и страстнейше проверив: *да!* Один раз только, когда я встретилась с Т⟨ихоном⟩ Чурилиным («Весна после смерти»), у меня было это чувство: ручаюсь за завтра, — сорвалось! Безнадежно! Он замучил своего гения, выщипал ему перья из крыл. (А Вы — бережны?) Ни от кого: ни от Ахматовой, ни от Мандельштама, ни от Белого, ни от Кузмина я не жду иного, чем он сам. (Ничего, кроме него.) — Любя, может быть, страстно! — (Завершение, довершение: *до, за* — предел!) Я же знаю, что Ваш предел — Ваша физическая смерть.

Ваша книга. Большой соблазн написать о ней. И знаете, есть что-то у Вас от Lenau[7]. Вы его когда-нибудь читали?

Dunkle Zypressen!
Die Welt ist gar zu lustig, —
Es wird doch alles vergessen!*[8]

— Не Ваши? — Особенно вторая строка. — И Вы сами похожи на кипарис.

Но мешаете писать — Вы же. Это прорвалось как плотина. Стихи к Вам. И я такие странные вещи в них узнаю. Швыряет, как волны. Вы *утомительны* в моей жизни, голова устает, сколько раз на дню ложусь, валюсь на кровать, *опрокинутая* всей этой черепной, междуреберной разноголосицей: строк, чувств, озарений, — да и просто шумов. Прочтете — проверьте. Что-то встало, и расплылось, и кончать не хочет, — я унять не могу. Разве

* Темные кипарисы!
Мир слишком веселый, —
А ведь всё будет забыто! *(нем.)*

от *человека* такое бывает?! Я с человеком в себе, как с псом: надоел — на цепь. С ангелом (аггелами!) играть трудно[9].

Вы сейчас (в феврале этого года) вошли в мою жизнь после большого моего опустошения: только что кончила большую поэму[10] (надо же как-нибудь назвать!), не поэму, а наваждение, и не я ее кончила, а она меня, — расстались, как разорвались! — и я, освобожденная, уже радовалась: вот буду писать самодержавные стихи и переписывать книгу записей, — исподволь — и всё так хорошо пойдет.

И вдруг — Вы: «Дикий, скользящий, растущий»... (олень? тростник?) с Вашими вопросами Пушкину, с Вашим чертовым соловьем, с Вашими чертовыми корпусами и конвоирами![11] —

(и вот уже стих: С аггелами — не игрывала!)[12]

— Смеюсь, это никогда не перейдет в ненависть. Только трудно, трудно и трудно мне будет встретиться с Вами в живых, при моем безукоризненном голосе, столь рыцарски-ревнивом к моему всяческому достоинству.

Пастернак, я в жизни — волей стиха — пропустила большую встречу с Блоком (встретились бы — не умер), сама 20-ти лет — легкомысленно наколдовала: — «И руками не потянусь»[13]. И была же секунда, Пастернак, когда я стояла с ним *рядом,* в толпе, плечо с плечом (семь лет спустя!), глядела на впалый висок, на чуть рыжеватые, такие некрасивые (стриженый, больной) — бедные волосы, на пыльный воротник заношенного пиджака. — Стихи в кармане — руку протянуть — не дрогнула. (Передала через Алю, без адреса, накануне его отъезда.) Ах, я должна Вам все это рассказать, возьмите и мой жизненный опыт: опыт опасных — чуть ли не смертных — игр.

Сумейте, наконец, быть тем, кому это *нужно* слышать, тем бездонным чаном, ничего не задерживающим *(читайте внимательно!!!),* чтобы сквозь Вас — как сквозь Бога — ПРОРВОЙ!

Ведь знаете: искоса — все очень просто, мое «в упор» всегда встречало искоса, робкую людскую кось. Когда нужно было слушать — приглядывались, сбивая меня с голосу.

— Устала. — И лист кончается. — Стихи пришлю, только не сейчас.

МЦ.

5

Прага, ⟨после 14-го⟩ февраля 1923 г.[1]

Долетела Ваша открытка с ответными крышами[2]. — А все-таки я Вас с крышами перекричу! — нате, любуйтесь!

Недоразумение выяснилось: письма просто встретились (разминулись). С Э⟨ренбур⟩гом у нас вышло наоборот, т. е. не с письмами вышло, а с людьми.

Пишу после долгого трудового дня, лягу и буду утешаться «описью Вашего стихотворного имущества», — поразительно утешает от всех других имуществ: наличности их и отсутствия!

До свидания. Еще одно письмо за мной: стихи.

МЦ.

6

Прага, 8-го нов⟨ого⟩ марта 1923 г.

Дорогой Пастернак,

Со всех сторон слышу, что Вы уезжаете в Россию (сообщают наряду с отъездом Шкапской)[1]. Но я это давно знала, — еще до Вашего выезда!

Письмо Ваше получила, Вы добры и заботливы. Оставьте адрес, чтобы я могла переслать Вам стихи. «Ремесло» пришлю тотчас же, как получу. Уже писала Геликону. Может быть застанет Вас еще в Берлине.

— Что еще? — Поклонитесь Москве.

Еще раз спасибо за внимание и память, и — от всей души — добрый путь!

МЦ.

7

Мокропсы, 9-го нов⟨ого⟩ марта 1923 г.

Дорогой Пастернак,

Я не приеду, — у меня советский паспорт и нет свидетельства об умирающем родственнике в Берлине, и нет связей, чтобы это осилить, — в лучшем случае виза длится две недели. (Тотчас же по получении Вашего письма навела точнейшие справки.) Если бы Вы написали раньше, и если бы я знала, что Вы так скоро едете... Неделю тому назад — беглое упоминание в письме Л⟨юбови⟩ М⟨ихайловны⟩ Э⟨ренбург⟩: Пастернак собирается в Россию... Потом пошло: и тот и другой, все вскользь, без обозначения срока.

Милый Пастернак, у меня ничего нет, кроме моего *рвения* к Вам, это не поможет. Я все ждала Вашего письма, я не смела

действовать без Вашего разрешения, я не знала, нужна Вам или нет. Я просто опустила руки. (Пишу Вам в веселой предсмертной лихорадке.) Теперь знаю, но поздно.

С получением Ваших «Тем и вариаций» — нет, раньше, с известия о Вашем приезде, я сказала: я его увижу. С Вашей лиловой книжечки[1] это ожило, превратилось в явь (кровь), я принялась за большую книгу прозы (переписку!), рассчитав окончание на середину апреля[2]. Работала все дни, не разгибая спины. Какая связь? Ясно. Так вскинуться я не вправе (перед *жизненной* собой). У меня (окружающих) очень трудная жизнь. С моим отъездом — весь чертов быт на них. Я ревностно принялась. Теперь поздно: книга будет, а Вы — нет. Вы мне нужны, а книга — нет.

Еще последнее слово: не из лукавства (больше будете помнить, если не приеду. *Не* больше — ложь!), не из расчета (слишком буду помнить, если увижу! Все равно *слишком* — и больше нельзя!) и не из трусости (разочаровать, разочароваться).

Все равно, это чудовищно — Ваш отъезд, с берлинского ли дебаркадера, с моей ли богемской горы, с которой 18-го целый день (ибо не знаю часа!) буду провожать Вас — пока души хватит.

Не приеду, потому что поздно, потому что беспомощна, потому что Марк Слоним напр⟨имер⟩ достает разрешение в час, потому что это моя судьба — потеря.

А теперь о Веймаре[3]. Пастернак, не шутите. Я буду жить этим все два года напролет. И если за эти годы умру (не умру!), это будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю. Пастернак, я сейчас возвращалась черной проселочной дорогой (ходила справляться о визе у только что ездивших) — шла ощупью: грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о Вас, нет, не о Вас, о себе без Вас, об этих фонарях и дорогах без Вас, — ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся! (Простите за такой взрыв правды, пишу, как перед смертью.)

Предстоит огромная бессонница, Весны и Лета, я себя знаю, каждое дерево, которое я облюбую глазами, будет — Вы. Как с этим жить? Дело не в том, что Вы — там, а я — здесь, дело в том, что Вы будете *там,* что я никогда не буду знать, есть Вы или нет. Тоска *по* Вас и страх *за* Вас, дикий страх, я себя знаю.

Пастернак, это началось с «Сестры», я Вам писала. Но тогда, летом, я остановила, перерубила отъездом в другую страну, в другую жизнь, а теперь моя жизнь — Вы, и мне некуда уехать.

Теперь, резко. *Что* именно? В чем дело? Я честна и ясна, *слова* — клянусь! — для этого не знаю. Перепробую все! (Насколько не знаю — увидите из февральских стихов.) Встреча с Вами была бы для меня некоторым освобождением от Вас же, законным. — Вам ясно? Выдохом! Я бы (от Вас же!) выдышалась в Вас.

Вы только не сердитесь! Это не чрезмерные слова, это безмерные чувства: *чувства,* уже исключающие понятие меры! — И я говорю меньше, чем есть.

А теперь просто: я живой человек и мне очень больно. Где-то на высотах себя — лед *(отрешение!),* в глубине, в сердцевине — боль. Эти дни (сегодня 9-ое) до Вашего отъезда я буду очень мучиться.

Пастернак, два года роста впереди, *до* Веймара. (Вдруг — по-безумному! — начинаю верить!) Мне хочется дать Вам одно обещание, даю его безмолвно — Буду присылать Вам стихи и все, что у меня будет в жизни. О Вас, поэте, я буду говорить другим. Ни от одного слова не отрекаюсь, но Вам это тяжело, буду молчать. Но тогда останется одно: о себе к Вам (в упор) то, чего я так тщательно, из-за Вас же не хотела. Пастернак, если Вам вдруг станет трудно — или не нужно, ни о чем не прошу, а этого требую: прервите. Тогда загоню вглубь, прерву, чтобы под землей тлело, — как тогда, в феврале, стихи.

Сейчас 2 ч. ночи. — Пастернак, Вы будете живы? — Два года — что это? Я не понимаю времени, я понимаю только Пространство. Я сейчас шла по отвесу горы, вижу пролетом поезд, я подумала: вот! Пастернак, ни одного поезда не будет за эти... постойте: 730 дней! — чтобы 〈...〉

Ваша изящная передача... И виду не подам! — Теряюсь. — «За позволенье думать, что обращаюсь к Вам, Вам же отвечаю»... И еще, не забыла ли я? Нет, не забыла, если *я* забуду, мысль моя к Вам не забудет.

А то, от чего Вы открещиваетесь, надо читать так: «Сделайте чудо (у меня: «сумейте»), будьте наконец тем» ...«Наконец» — не к Вам, так с пера сорвалось.

Вы не бойтесь. Это одно такое письмо. Я ведь не глупей стала — и не нищéй, оттого что Вами захлебнулась. Вам не только моя оценка тяжела, но и мое отношение, Вы еще не понимаете, что Вы — одаривающий. Буду в меру. В стихах нет. Но в стихах Вы простите.

Мой Пастернак, я может быть вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом, — благодаря Вам! Ведь мне нужно сказать Вам безмерное: разворотить грудь! В беседе это делается путем молчаний. А у меня ведь только перо!

Две страсти борются во мне, два страха: страх, что не поверите — страх, что *поверив,* отшатнетесь. Я знаю, дело внешней меры. Внешней безмерностью не только грешу. Внешне — мне все слишком много: и от другого и — особенно! — от себя. Мое горе с Вами в том (*уже* горе!), что слово для меня *вплоть* — чувство: наивнутреннейшее. Если бы мы с Вами встретились, Вы бы меня не узнали, сразу бы отлегло. В слове я отыгрываюсь, как когда-нибудь отыграюсь в том праведном и щедром мире от кривизны и скудости этого. — Вам ясно? — В жизни я *безмерно* дика, из рук скольжу.

Пастернак, сколько у меня к Вам вопросов! Мы еще ни о чем не говорили. В Веймаре будет долгий разговор.

Перо из рук... Уже выходить из княжества слов... Сейчас лягу и буду думать о Вас. Сначала с открытыми глазами, потом с закрытыми. Из княжества слов — в княжество снов.

Пастернак, я буду думать о Вас только хорошее, настоящее, большое. — Как через сто лет! — Ни одной случайности не допущу, ни одного самовластия. Господи, все дни моей жизни принадлежат Вам! Как все мои стихи.

Завтра утром допишу. Сейчас больше трех и Вы давно спите. Я с Вами всю ночь говорила сонным.

МЦ.

10-го нов⟨ого⟩ марта, утром:

Целая страница еще впереди, — целый белый блаженный лист — на все! Теперь пойдут просьбы: во-первых, освободите меня в обращении от отчества: я родства непомнящий! Во-вторых, подарите мне Ваше прекрасное имя: Борис (княжеское!), чтобы я на все лады — всем деревьям, — и всем ветрам! Злоупотреблять им не буду. В-третьих (бытовое), пойдите по приезде к Н⟨адежде⟩ А⟨лександровне⟩ Коган (жене П⟨етра⟩ С⟨еменовича⟩, матери Блоковского мальчика)[4] и расскажите ей обо мне — что́ знаете. Скажите, что писала ей много раз и никогда не получала ответа. Скажите, что я ее и Сашу (сына) помню и люблю, дайте мой адрес. Да, еще очень важное: я переслала (т. е. Геликон) Н⟨адежде⟩ А⟨лександровне⟩ — для сестры[5] — четыре доллара. Дошли ли? Если не забудете, попросите Н⟨адежду⟩ А⟨лександровну⟩ передать сестре, что я ей писала бесконечное число раз и также в ответ — ни звука... Теперь еще, Пастернак,

родной, просьба: не захватите ли Вы с собой три книжки моего «Ремесла» (возьмите у Геликона, объяснив) — все три сдала бы Н⟨адежде⟩ А⟨лександровне⟩: один ей, другой — моей сестре, третий — Павлику Антокольскому — мы с ним дружили в детстве (в начале революции).

О «Ремесле». Вчера, только что получила Ваше письмо, Вам его выслала, — свой экз⟨емпляр⟩, пробный, немножко замурзанный, простите, другого не было[6]. *Очень* хочу, чтобы Вы мне написали о «Переулках»[7], что встает? *Фабула* (связь) ни до кого не доходит, — только до одного дошла: Чаброва, кому и посвятила, но у него дважды было воспаление мозга! Для меня вещь ясна, как день, *все* сказано. Другие слышат только шумы, и это для меня оскорбительно. Это, пожалуй, моя любимая вещь, написанная, мне нужно и важно знать, как — Вам. Доходят ли все три царства и последний соблазн? Ясна ли грубая бытовая развязка?

Одной моей вещи Вы еще не знаете. «Мо́лодца». Жила ею от Вас (осени) до Вас же (февраля). Прочтя ее, Вы может быть многое уясните. Это лютая вещь, никак не могла расстаться. Еще из просьб: присылайте стихи, это мне такое же освобождение, как собственные. Живописуйте *быт,* где живете и пишете, Москву, воздух, себя в пространстве. Это мне важно, я могу устать (от счастья!) думать в «никуда». — Фонарей и улиц много! — Когда мне дорог человек, мне дорога *вся* его жизнь, самый нищенский быт — драгоценен! И формулой: Ваш *быт* мне дороже чужого бытия!

Вчера вечером (я еще не распечатывала Вашего письма, в руке держала), вопль моей дочери: — «Марина, Марина, идите!» (я мысленно: небо или собака?) Выхожу. Вытянутой рукой указывает. Пол-неба, Пастернак, в крыле, крыло в пол-неба, невиданное! Слов таких нет для цвета! Свет, ставший цветом! И мчит, запахнув пол-неба. И я, в упор; «Крыло Вашего отъезда!»

Такими знаками и *приметами* буду жить.

Посылаю стихи «Эмигрант». Хочу, чтобы прочли их еще в Берлине. Остальные (от первого до последнего) будут в письме, которое высылаю следом. Их — это моя нежная и настойчивая просьба, — Вы прочтете только в вагоне, когда поезд тронется.

Если будут очень ругать за «белогвардейщину» в Москве, — не огорчайтесь. Это мой крест. *Добровольный.* С Вами я вне.

Последние слова: будьте живы, больше мне ничего не нужно.

— Оставьте адрес. —

Марина

8

14-го февраля 1925 г.

Борис!

1-го февраля, в воскресенье, в полдень родился мой сын Георгий. Борисом он был девять месяцев в моем чреве и десять дней на свете, но желание С⟨ережи⟩ (*не* требование) было назвать его Георгием — и я уступила. И после этого — облегчение.

Знаете, какое чувство во мне работало? Смута, некая неловкость: Вас, Любовь, вводить в семью, приручать дикого зверя — любовь, обезвреживать барса (Барсик — так было — было бы! — уменьшительное). Ясно и просто: назови я его Борис, я бы навсегда простилась с Будущим: Вами, Борис, и сыном от Вас. Так, назвав этого Георгием, я сохранила права на Бориса. (Борис остался во мне.) — Вы бы ведь не могли назвать свою дочь Мариной? Чтобы все звали и знали? Сделать общим достоянием? Обезвредить, узаконить?

Борисом он был, пока никто этого не знал. Сказав, приревновала ко звуку.

Георгий — моя дань долгу, доблести и добровольчеству, моя *трагическая* добрая воля. Это тоже я, не отрекаюсь. Но не *Ваша* я. Ваша я (*я*) — в Борисе.

Это не сантиментальность,
а просто Анютин глазок.

Борис, все эти годы живу с Вами, с Вашей душой, как Вы — с той карточкой. Вы мой воздух и мой вечный возврат к себе (постель). Иногда Вы во мне стихаете: когда *я* стихаю в себе. Жила эту зиму «Детством Люверс», изумительной, небывалой, еще не бывшей книгой. Многое попутно записала, может быть напишу.

Если бы я умерла, я бы Ваши письма и книги взяла с собой в огонь (в Праге есть крематорий) — уже было завещано Але — чтобы вместе сгореть — как в скитах! Я бы очень легко могла умереть, Борис, — все произошло так неожиданно: в последнем доме деревни, почти без врачебной помощи. Мальчик родился в глубоком обмороке — 20 минут откачивали. Если бы не воскресение, не С⟨ережа⟩ дома (все дни в Праге), не знакомый

студент-медик[1] тоже все дни в Праге — мальчик бы наверное погиб, а может быть и я.

В самую секунду его рождения — на полу, возле кровати загорелся спирт, и он предстал во взрыве синего пламени. А на улице бушевала мятель, Борис, снежный вихрь, с ног валило. Единственная мятель за зиму и именно в *его* час!

Мальчик хороший, с прелестными чертами, длинные узкие глаза, точеный носик, по всем отзывам и по моему чутью — весь в меня. А ресницы — золотые.

Мой сын — Sonntagskind*, будет понимать речь зверей и птиц и открывать клады. Я себе его заказала.

Выписки из черновой тетради:
(*до* Георгия)

Борюшка, я еще никогда никому не любимых (?) не говорила *ты* — разве в шутку, от неловкости и явности внезапных пустот, — заткнуть дыру. Я вся на Вы, а с Вами, с тобою это ты неудержимо рвется, мой *большой* брат.

Ты мне *насквозь* родной, такой же страшно, жутко родной, как я сама, без всякого уюта, как горы. (Это не объяснение в любви, а объяснение в судьбе.)

Когда я думаю о жизни с Вами, Борис, я всегда спрашиваю себя: как бы это было?

Я приучила свою душу жить за окнами, я на нее в окно всю жизнь глядела — о только на нее! — не допускала ее в дом, как не пускают, не берут в дом дворовую собаку или восхитительную птицу. Душу свою я сделала своим домом (maison son lande), но никогда дом — душой. Я в жизни своей отсутствую, меня *нет* дома. Душа в доме, — душа-дома, для меня немыслимость, именно не мыслю.

Борис, сделаем чудо.

Когда я думаю о своем смертном часе, я всегда думаю: кого? Чью руку? И — только твою! Я не хочу ни священников, ни поэтов, я хочу того, кто только для меня одной знает слова, из-за, через меня их узнал, нашел. Я хочу такой силы в телесном ощущении руки. Я хочу твоего слова, Борис, на *ту* жизнь.

---

* Воскресное дитя *(нем.)*.

Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это — *доля*. Ты же — воля моя, та, пушкинская, взамен счастья (я вовсе не думаю, что была бы с тобой счастлива! Счастье? Pour la galerie und für den Pöbel!*)

Ты — мой вершинный брат, все остальное в моей жизни — аршинное.

«Игра слов и смыслов», — какую-нибудь книгу свою я так назову.

Борис, а ты помнишь Лилит?[2] Борис, а не было ли кого-нибудь до Адама?

Твоя тоска по мне — тоска Адама по Лилит, *до* — первой и *нечислящейся*. (Отсюда моя ненависть к Еве!)

Жена Э⟨ренбур⟩га рассказывала, как вы вместе ехали на вокзал (они уезжали, Вы провожали). «Был замечательный вечер». Борис, это ты со мной ехал на вокзал, меня провожал.

Только не на глазах встречу, только не на глазах!

Все стихи и вся музыка — обещания обетованной земли, которой нет. Поэтому — безответственно и беспоследственно Они — *сами* — то!

Борис, а ты — верный. Ты слишком тяжел, чтобы постоянно перемещаться. Демона, любящего (или губящего) десять Тамар[3], я не мыслю. Думал ли ты когда-нибудь о смехотворной (жалкой) стороне Дон-Жуана? Любуясь им, я бы не могла любить его: мне было бы неловко, что после меня можно любить еще кого-нибудь.

Борис Пастернак — это так же верно, как Монблан и Эльбрус: ведь они *не сдвинутся!* А Везувий, Борис, сдвигающий и не сдвигающийся! Все можно понять через природу, всего человека, — даже тебя, даже меня.

---

* Для галерки и для черни! *(фр. и нем.)*

Тогда — парнасцы, сейчас — везувийцы (*мое* слово). И первые из них — ты, я[4].

Это я случайно, Борис, из тетрадки для стихов, остальное развеялось и размылось. Ведь моя жизнь — неустанный разговор с тобой. Пишу тебе на листе из той же тетради, это самое мое собственное, вроде как на куске души. Чтобы ты лучше понял меня: у меня есть чудная бумага, целый блокнот, мужской, вроде пергамента, но писать тебе на бумаге, подаренной другим — двойная измена: обоим (ведь по отношению к нему *ты* — другой!) Есть вещи щемящие.

Измена — чудесное слово, вроде: разлука. Ножевое, ножевое. И только звук его знаю, смысл — нет. Изменить можно только государю, т. е. высшему, а как я ему изменю, когда оно во мне? В быту это *есть* — измена, сам быт — измена: души. Изменять с душой быту — ничего, кажется, другого в жизни не делала. Понимаете, иное деление, чем любовник и муж.

Я живу возле Праги, безвыездно и невылазно, никого не вижу, кроме Али и С⟨ережи⟩. Много стихов. Скоро выходит моя книга[5], может быть получишь одновременно с письмами. Следующий — далекий — этап: Париж. С тобою бы хотела встретиться через год: 1-го мая 1926 г. (а рука по привычке души пишет 25 г. ..!). Сейчас я совсем связана: мальчиком и новизной чувства к нему. А тогда ему будет больше года, я уже буду знать, что у меня за сын и наверно — что у меня сын.

Ты ведь можешь любить чужого ребенка, как своего? У меня все чувство, что я умру, а вам вместе жить, точно он ровесник тебе, а не твоему сыну.

Борис, думай о мне и о нем, благослови его издалека. И не ревнуй, потому что это не дитя услады.

Посвящаю его тебе как божеству.

МЦ.

Мой адр⟨ес⟩: Všenory, č⟨islo⟩* 23 (p.p. Dobřichovice) u Prahy — мне.

Чехо-Словакия.

9

Прага, 26-го мая 1925 г.

Борис!

Каждое свое к Вам я чувствую предсмертным, а каждое Ваше ко мне — последним. О, как я это знала, когда Вы уезжали.

---

* Номер *(чешск.)*.

Это письмо к Вам второе после рождения сына. Повторю вкратце: сын мой Георгий родился 1-го февраля, в воскресенье, в полдень. В секунду его рождения взорвался разлитой возле постели спирт, и он был явлен *во взрыве*. (Достоин был бы быть Вашим сыном, Борис!) Георгий, а не Борис, потому что Борис — тайное, ставшее явным. Я это поняла в те первые 10 дней, когда он был Борисом. — Почему Борис? — Потому что Пастернак. — И так всем и каждому. И Вы выходили чем-то вроде заочного крестного отца (православного!) Вы, которому я сына своего посвящаю, как древние — божеству! «В честь» — когда я бы за Вас — жизнь отдала! (Ваша стоит моей. В первый раз.) Обо всем этом я Вам уже писала, если дошло, простите за повторение.

Георгий же в честь Москвы[1] и несбывшейся Победы. Но Георгием все-таки не зову, зову Мур — от кота, Борис, и от Германии[2], и немножко от Марины. На днях ему 4 месяца, очень большой и крупный, говорит (совершенно явственно, с французским r: «Reuret»), улыбается и смеется. Еще — воет, как филин. Белые ресницы, и брови, синие, чуть раскосые (будут зеленые) глаза, горбонос. Навостренные сторожкие ушки демоненка или фавна (слух!). Весь в меня. Вы его будете любить и Вы должны о нем думать. Ваш старше всего на два, нет, на $1^1/_2$ года. Будут друзья. (Ваше имя он будет знать раньше, чем Ваш — мое!)

Вспоминаю Ваши слова об отцовстве в изумительных Ваших «Воздушных путях»[3]. Я бы предложила такую формулу: Вокруг света (моряк) и вокруг вселенной (отец). Ибо колыбель — единственная достоверная вселенная: несбывшийся, т. е. *беспредельный* человек. И единственное мое представление о бесконечности — Вы, Борис. Не из-за любви моей к Вам, любовь — из-за этого.

— Вот Вам мой «Мо́лодец»[4], то, что я кончала, когда Вы уезжали. После него, из больших вещей: «Поэма Горы», «Поэма Конца», «Тезей»... Ты все это получишь.

А ты знаешь, откуда посвящение к «Мо́лодцу»? Из русской былины «Морской царь и Садко». Когда я прочла, я сразу почувствовала тебя и себя, а сами строки — настолько своими, что не сомневалась в их авторстве лет триста-пятьсот назад. Только ты никому не говори — про Садко, пускай ищут, свищут, я нарочно не проставила, пусть это будет наша тайна — твоя и моя.

А ты меня будешь любить *больше* моих стихов (— Возможно? — да). *Народ* больше, чем Кольцова?[5] Так вот: мои стихи — это Кольцов, а я — народ. Народ, который никогда себя до конца не скажет, п. ч. конца нет, неиссякаем. Ведь только за это ты меня любишь — за Завтра, за за пределом стран. Ох, Борис! Когда мы

встретимся, это, правда, гора сойдется с горой: Моисеева — с Зевесовой. Не Везувий и Этна, там взрывы *земного* огня, здесь — свыше: все небо в двух, в одной молнии. Саваоф[6] и Зевес. — Едино. — Ах!

Борис, а нам с тобой не жить. Не потому, что ты — не потому что я (любим, жалеем, связаны), а потому что и ты и я *из* жизни — как из жил! Мы только (!) встретимся. Та самая секунда взрыва, когда еще горит фитиль и еще можно остановить и не останавливаешь.

Есть сухой огонь (весь «Мóлодец») вообще, вчитайся, я тебя очень прошу. Сказку эту («Упырь») можешь найти в 5-томном издании Афанасьева (кажется, III том), сделай мне радость, прочти.

А взрыв не значит поцелуй, взрыв — взгляд, то, что не длится. Я даже не знаю, буду ли я тебя целовать.

Напиши мне. До сентября я достоверно в Чехии. Потом, быть может, Париж. В Париже же встретимся. Не в самом — съедемся так, чтобы полдороги ты, полдороги я (Гора с горой). И, конечно, в Веймаре[7]. Только напиши, когда.

Пишу в 6 ч. утра, под птичий свист.

Марина

Адр⟨ес⟩: Чехословакия, Všenory, č⟨islo⟩ 23 (p. p. Dobřichovice) u Prahy — мне —

10

Вшеноры, близ Праги, 14 ⟨19?⟩-го июля 1925 г.

Борис,

первое человеческое письмо от тебя (остальные Geistbriefe)* и я польщена, одарена, возвеличена. Ты просто удостоил меня своего черновика.

А вот мой черновик — вкратце: 8 лет (1917 — 1925 гг.) *киплю* в быту, я тот козел, которого беспрестанно заре- и недорезывают, я сама то варево, которое непрестанно (8 л⟨ет⟩) кипит у меня на примусе. Моя жизнь — черновик, перед которым — посмотрел бы! — *мои* черновики — белейшая скатерть. Презираю себя за то, что по первому зову (1001 в день!) быта (NB! быт — твоя задолженность другим) — срываюсь с тетрадки, и НИКОГДА обратно.

---

* Духовные письма *(нем.)*.

Во мне—протестантский долг, перед которым моя католическая—нет!—моя хлыстовская любовь (к тебе)—пустяк.

Ты не думай, что я живу «заграницей», я живу в деревне, с гусями, с водокачками. И не думай: деревня: идиллия: свои две руки и ни одного *своего* жеста. Деревьев не вижу, дерево ждет любви (внимания), а дождь мне важен, поскольку просохло или не просохло белье. День: готовлю, стираю, таскаю воду, нянчу Георгия (5 1/2 мес⟨яцев⟩, *чудесен*), занимаюсь с Алей по-франц⟨узски⟩, перечти Катерину Ивановну из «Преступления и наказания», это я. Я неистово озлоблена. Целый день киплю в котле. Поэма «Крысолов» пишется уже четвертый месяц, не имею времени *подумать,* думает перо. Утром 5 мин⟨ут⟩ (время присесть), среди дня—10 мин⟨ут⟩, ночь моя, но ночью не могу, не умею, другое внимание, жизнь не в себя, а из себя, а слушать некого, даже шумов ночи, ибо хозяева запирают выходную дверь (ах, все мои двери *в*ходные, тоска по *вы*ходной—понимаешь!?) с 8 ч. вечера, а у меня нет ключа. Борис, я вот уже *год* живу *фактически* взаперти. У тебя хоть между домом и редакцией, редакцией и редакцией отрывки тротуара, я живу в котловине, задушенная холмами, крыша, холм, на холме—туча: туша.

Друзей у меня нет,—здесь не любят стихов, а вне—не стихов, а того, *из чего* они—что́ я? Негостеприимная хозяйка, молодая женщина в старых платьях.

Вот я тебя не понимаю: бросить стихи. А потом что? С моста в Москву-реку? Да со стихами, милый друг, как с любовью: пока *она* тебя не бросит... Ты же у Лиры крепостной.

Сопоставление с Есениным,—смеюсь. Не верю в него, не болею им, всегда чувствую: как легко быть Есениным! Я тебя ни с кем не сопоставляю. Ты никогда не будешь Первым, только первый—великая тайна и великий шантаж, Борис!—только какая-то степень последнего, тот же «последний», только принаряженный, приукрашенный, обезвреженный. У первого есть второй. *Единственный не бывает первым* (Анненский, Брюсов)[1].

И прозу и поэму получила[2]. Название «Проза» настолько органично, а «Рассказы» настолько нарочито, что я ни разу, с тех пор, как взяла книгу в руки, не говорила о ней иначе, как «Проза» Пастернака. Никогда—«Рассказы». Разве ты можешь писать рассказы? Смеюсь. Рассказы, это Зайцев пишет. Проза, это *страна,* в ней живут, или море—черпают ладонью, это *цельное.* А рассказы—унизительная дребедень. Дурак издатель. Ах, Борис, сколько дураков и наглецов. ⟨...⟩[3].

11

22-го мая 1926 г., суббота

Борис!

Мой отрыв от жизни становится все непоправимей. Я переселяюсь, переселилась, унося с собой всю страсть, всю нерастрату, не тенью — обескровленной, а столько ее унося, что надоила б и опоила бы весь Аид. О, у меня бы он заговорил, Аид!

Свидетельство — моя исполнительность в жизни. Так роль играют, заученное. Ты не знаешь моей жизни, именно этой частности слова: жизнь. И никогда не узнаешь из писем. Боюсь вслух, боюсь сглазить, боюсь навлечь, неблагодарности боюсь — не объяснить. Но, очевидно, так несвойственна мне эта дорогая несвобода, что из самосохранения переселяюсь в свободу — полную. (Конец «Мо́лодца».)

Да́, о Мо́лодце, если помнишь, — прав ты, а не Ася[1]. «Б⟨оря⟩ по своей неслыханной доброте увидел в конце простое освобождение и порадовался за тебя».

Борис, *мне все равно, куда лететь.* И, может быть, в том моя глубокая безнравственность (небожественность). Ведь я сама — Маруся: честно, как нужно (тесно, как не можно), держа слово, обороняясь, заслоняясь от счастья, полуживая (для других — более, *чем* — но я-то знаю), сама хорошенько не зная для чего так, послушная в насилии над собой, и даже на ту Херувимскую[2] идя — по голосу, по чужой воле, не своей.

Я сама вздохнула, когда кончила, осчастливленная за нее — за себя. Что они будут делать в огнь — синь? Лететь в него вечно. Никакого сатанизма. Херувимская? Так народ захотел. (Прочти у Афанасьева сказку «Упырь». — Пожалуйста!) И, нужно сказать, хорошо выбрал час.

Борис, я не знаю, что такое кощунство. Грех против grandeur* какой бы то ни было, потому что многих нет, есть одна. Все остальные — степени силы. Любовь! Может быть — степени огня? Огнь — ал (та, с розами, постельная), огнь — синь, огнь — бел. Белый (Бог) может быть *силой* бел, чистотой сгорания? Чистота. Которую я неизменно вижу черной линией. (Просто линией.)

То, что сгорает без пепла — Бог.

А от этих — моих — в пространствах огромные лоскутья пепла. Это-то и есть Мо́лодец.

Я недаром отдала эту поэму тебе. Переулочки и Мо́лодец — вот, досель, мое из меня любимое.

---

* Величие! *(фр.)*

Еще о жизни. Я ненавижу предметы и загромождения ими. Точно мужчина, давший слово жене, что все будет в порядке. (А она умерла или вроде.) Поэтому — не *упорядоченность* жизни, построенная на разуме, а *мания*. Вдруг, среди беседы с другом, которого не видела 10 лет, срывается: «забыла, вывешено ли полотенце. Солнце. Надо воспользоваться». И совершенно стеклянные глаза.

Словно вытверженный срок — как Отче наш, с которого не собьешь потому что не понимаешь ни слова. Ни слога. (Есть деления мельчайшие слов. Ими, кажется, написан «Мóлодец».)

То, что ты пишешь о себе, я могу написать о себе: со всех сторон любовь, любовь, любовь. И — не радует. Имя (без отчества), на которое я прежде была так щедра, — имя ведь тоже затрепывается. Не воспрещаю. Не отчеваю. (Имя требует имени.) Вдруг открыли Америку: меня: Нет ты *мне* открой Америку!

«Что бы мы стали делать с тобой — в жизни?» (точно необитаемый остров! на острове — знаю). — «Поехали бы к Рильке». А я тебе скажу, что Рильке перегружен, что ему ничего, никого не нужно, особенно *силы,* всегда влекущей: отвлекающей. Рильке — отшельник. Гёте в старости понадобился только Эккерман (воля последнего к второму Фаусту и записывающие уши). Рильке перерос Эккермана, ему — между Богом и «вторым Фаустом» не нужно посредника. Он старше Гёте и ближе к делу. На меня от него веет последним холодом имущего, в имущество которого я заведомо и заранее включена. Мне ему нечего дать: все взято. Да, да, несмотря на жар писем, на безукоризненность слуха и чистоту вслушивания — я ему не нужна, и ты не нужен. Он старше друзей. Эта встреча для меня — большая растрава, удар в сердце, да. Тем более, что он прав (не его холод! оборонительного божества в нем!), что я в свои лучшие высшие сильнейшие, отрешеннейшие часы — сама такая же. И может быть от *этого,* спасаясь (оборонительного божества в себе!), три года идя рядом, за неимением Гёте, была Эккерманом, и *бóльшим* — С. Волконского! И так всегда хотела во всяком, в любом — не быть.

Всю жизнь, хотел я быть как все.
Но мир, в своей красе,
Не слушал моего нытья
И быть хотел — как я[3].

Даже без кавычек. Этот стих я так запомнила со слов Л. М. Эренбург еще в 1925 г. весной. И так он мне ближе. Век ведь — поправка на мир.

Да! Доехал ли Эренбург? Довез ли? Посылаю тебе еще тетрадку, для стихов. Сегодня у нас первый *тихо*океанский день[4]: ни ветринки. — (Такие письма можно писать?)

Недавно у меня был чудный день, весь во имя твое. Не расставалась до позднего часа. Не верь «холодкам». Между тобой и мною такой сквозняк.

Присылай Шмидта[5]. У меня в Праге был его сын и для него была трагедией добавка «Очаковский»[6]. Чудный мальчик, похожий на отца. Я помню его в 1905 г. в Ялте на пристани. Будь здоров. Обнимаю, родной.

М.

Как я тебя понимаю в страхе слов, уже искажаемых жизнью, уже двусмысленных. Твое сторожкое ухо — как я его люблю, Борис!

12

I

St. Gilles, 23-го мая 1926 г., воскресенье

Аля ушла на ярмарку, Мурсик спит, кто не спит — тот на ярмарке, кто не на ярмарке — тот спит. Я одна не на ярмарке и не сплю. (Одиночество, усугубляемое единоличностью. Для того, чтобы ощутить себя не-спящим, нужно, чтобы все спали.)

Борис, я не те письма пишу. Настоящие и не касаются бумаги. Сегодня, например, два часа идя за Муркиной коляской по незнакомой дороге — дорогам — сворачивая наугад, все узнавая, блаженствуя, что наконец на суше (песок — море), гладя — пóходя — какие-то колючие цветущие кусты — как гладишь чужую собаку, не задерживаясь — Борис, я говорила с тобой непрерывно, в тебя говорила — радовалась — дышала. Минутами, когда ты слишком долго задумывался, я брала обеими руками твою голову и поворачивала: вот! Не думай, что красота: Вандея *бедная,* вне всякой военной heroïc'и*: кусты, пески, кресты. Таратайки с осликами. Чахлые виноградники. И день был серый (окраска сна), и ветру не было. Но — ощущение чужого Троицына дня, умиление над детьми в ослиных таратайках: девочки в длинных платьях, важные, в шляпках (именно — *к*ах!) времен моего детства — нелепых — квадратное дно и боковые банты, — девочки,

* Героика *(фр.)*.

так похожие на бабушек, и бабушки, так похожие на девочек... Но не об этом — о другом — и об этом — о всём — *о нас* сегодня, из Москвы, или St. Gill'a — не знаю, глядевших на нищую праздничную Вандею. (Как в детстве, смежив головы, висок в висок, в дождь, на прохожих.)

Борис, я не живу назад, я никому не навязываю ни своих шести, ни своих шестнадцати лет, — почему меня тянет в *твое* детство, почему меня тянет — тянуть тебя в свое? (Детство: место, где все осталось *так* и *там*.) Я с тобой сейчас в Вандее мая 26 года, непрерывно играю в какую-то игру, что́ в игру — в *игры!* — разбираю с тобой ракушки, щелкаю с кустов зеленый (как мои глаза, сравнение не мое) крыжовник, выбегаю смотреть (потому что когда Аля бежит — это *я* бегу!), опала ли Vie* и взошла (прилив или отлив).

Борис, но одно: я *не люблю моря.* Не могу. Столько места, а ходить нельзя. Раз. Оно двигается, а я гляжу. Два. Борис, да ведь это та же сцена, т. е. моя вынужденная, заведомая неподвижность. Моя косность. Моя — хочу или нет — терпимость. А ночью! Холодное, шарахающееся, невидимое, нелюбящее, исполненное себя — как Рильке! (Себя или божества — равно.) Землю я жалею: ей холодно. Морю не холодно, это и есть — *оно,* все что в нем ужасающего, — оно. Суть его. Огромный холодильник. (Ночь.) Или огромный котел. (День.) И совершенно круглое. Чудовищное *блюдце. Плоское,* Борис! Огромная плоскодонная люлька, ежеминутно вываливающая ребенка (корабли). Его нельзя погладить (мокрое). На него нельзя молиться (страшное). Так, Иегову, напр⟨имер⟩ бы, ненавидела. Как всякую власть. Море — диктатура, Борис. Гора — божество. Гора разная. Гора умаляется до Мура (умиляясь им!). Гора дорастает до Гётевского лба и, чтобы не смущать, превышает его. Гора с ручьями, с норами, с играми. Гора — это прежде всего *мои ноги,* Борис. Моя точная стоимость. Гора — и большое тире, Борис, которое заполни глубоким вздохом.

И все-таки — не раскаиваюсь. «Приедается всё — лишь тебе не дано»[1]. С этим, за этим ехала. И что же? То, с чем ехала и за чем: *твой стих,* т. е. преображение вещи. Дура я, что я надеялась увидеть *воочию твое* море — заочное, над очное, внеочное. «Прощай, свободная стихия»[2] (мои 10 лет) и «Приедается всё» (мои тридцать) — вот мое море.

Борис, я не слепой: вижу, слышу, чую, вдыхаю *всё,* что полагается, но — мне этого мало. Главного не сказала: море смеет любить только рыбак или моряк. Только моряк или

---

* Жизнь *(фр.).* Этим именем называлась речушка, на которой стоял городок Сен-Жиль.

рыбак знают, чтó это. Моя любовь была бы превышением прав («поэт» здесь *ничего не* значит, самая жалкая из отговорок. Здесь — чистоганом).

Ущемленная гордость, Борис. На горе я не хуже горца, нá море я — даже не пассажир: *дачник*. Дачник, любящий океан... Плюнуть!

Рильке не пишу. Слишком большое терзание. Бесплодное. Меня сбивает с толку — выбивает из стихов — вставший Nibelungenhort* — легко справиться?! Ему — не нужно. Мне — больно. Я не меньше его (в будущем), но — я моложе его. На много жизней. Глубина наклона — мерило высоты. Он — глубокó наклоняется ко мне — может быть глубже, *чем*... (неважно!) — чтó я почувствовала? ЕГО РОСТ. Я его и раньше знала, теперь знаю его *на себе*. Я ему писала: я не буду себя уменьшать, это Вас не сделает выше (меня не сделает ниже!), это Вас сделает только *еще одиноче*, ибо на острове, *где мы родились — все — как мы*.

Durch alle Welten, durch alle Gegenden an allen Wegenden
Das ewige Paar der sich — Nie — Begegnenden**.

Само пришло, двустишием, как приходит всё. Итог какого-то вздоха, к которому никогда не прирастет предпосылка.

Для *моей* Германии нужен был весь Рильке. Как обычно, начинаю с отказа.

О Борис, Борис, залечи, залижи рану. Расскажи, почему. Докажи, что всё тáк. Не залижи, — *выжги* рану! «Вкусих мало мёду»[3] — помнишь? Чтó — мед!

Люблю тебя. Ярмарка, ослиные таратайки, Рильке — всё, всё в тебя, в твою огромную реку (не хочу — море!). Я так скучаю по тебе, точно видела тебя только вчера.

М.

---

* Сокровище Нибелунгов *(нем.)*.

** Через все миры, через все края — по концам всех дорог
Вечные двое, которые — никогда — не могут встретиться *(нем.)*.

II

St. Gille-sur-Vie, 25-го мая 1926 г.

Борис, ты меня не понял. Я так люблю твое имя, что для меня не написать его лишний раз, сопровождая письмо Рильке, было настоящим лишением, отказом. То же, что не окликнуть еще раз из окна, когда уходят (и с уходящим, на последующие десять минут, *всё*. Комната, где даже тебя нет. Одна тоска расселась).

Борис, я сделала это сознательно. Не ослабить удара радости от Рильке. Не раздробить его на два. Не смешать двух вод. Не превратить *твоего события* в собственный случай*. Не быть ниже себя. Суметь не быть.

(Я бы Орфею сумела внушить: не оглядывайся!) Оборот Орфея — дело рук Эвридики. («Рук» — через весь коридор Аида!) Оборот Орфея — либо слепость ее любви, невладение ею (скорей! скорей!) — либо — о, Борис, это страшно — помнишь 1923 год, март, гору, строки:

Не надо Орфею сходить к Эвридике
И братьям тревожить сестер[4] —

либо *приказ* обернуться — и потерять. Все, что в ней еще любило — последняя память, тень тела, какой-то мысок сердца, еще не тронутый ядом бессмертья, помнишь?

— — — ...С бессмертья змеиным укусом
Кончается женская страсть!

все, что еще отзывалось в ней на ее женское имя, — шло за ним, она не могла не идти, хотя может быть уже не хотела идти. Так, преображенно и возвышенно, мне видится расставание Аси с Белым[5] — не смейся — не бойся.

В Эвридике и Орфее перекличка Маруси с Мóлодцем — не смейся опять! — сейчас времени нет додумать, но раз сразу пришло — верно. Ах, может быть, просто продленное «не бойся» — *мой* ответ на Эвридику и Орфея. Ах, ясно: Орфей за ней пришел — *жить*, тот за моей — не жить. Оттого она (я) так рванулась. Будь я Эвридикой, мне было бы... стыдно — назад!

О Рильке. Я тебе о нем уже писала. (Ему не пишу.) У меня сейчас покой полной утраты — божественного ее лика — *отказа.* Пришло само. *Я вдруг* поняла. А чтобы закончить с моим отсутствием в письме (я так и хотела: *явно,* действенно отсутствовать) — Борис, простая вежливость не совсем или совсем не простых вещей. — Вот. —

* Не «воспользоваться» «случаем» письма Рильке, чтобы назвать тебя еще раз *(примеч. М. Цветаевой).*

Твой чудесный олень с лейтмотивом *«естественный»*[6]. Я слышу это слово курсивом, живой укоризной всем, кто *не*. Когда олень рвет листья рогами — это *естественно* (ветвь — рог — сочтутся). А когда вы с электрическими пилами — нет. Лес — мой. Лист — мой. (Та́к я читала?) И зеленый лиственный костер над всем. — Так? —

Борис, когда мне было шесть лет, я читала книжку (старинную, переводную) «Царевна в зелени»[7]. Не я — мать читала вслух. Там два мальчика убежали из дому, один: Клод Бижар (Claude Bigeard — Бижар — сбежал — странно?), один отстал, другой остался. Оба искали *царевну в зелени*. Никто не нашел. Только последнему вдруг неожиданно *хорошо* стало. И какой-то фермер. Вот все, что я помню. Когда мать проставила голосом последнюю точку — и — паузой — конечное тире, она спросила: «Ну, дети, кто же была эта царевна в зелени?» Брат (Андрей) сразу ответил: «Почем я знаю», Ася, заминая, начала ластиться, а я только покраснела. И мать, зная меня и эти вспышки: — «Ну, а ты как думаешь?» — «Это была... это была... НАТУРА!» — «Натура? Ах ты! — Умница». (Правда, ответ запоздал на́ век? 1800 г. — Руссо.)[8] Мать меня поцеловала и обещала мне, вне всякой педагогики, в награду (спохватившись, скороговоркой): «за то, что хорошо слушала»... книжку. И подарила. Но гнуснейшую: Mariens Tagebuch*[9] и, что еще хуже: Машин дневник, противоестественный, потому что *Маша* — и тетя *Гильдеберта,* и праздник «Трех королей» (Dreikönigsfest), и прочее. Противоестественный потому еще, что мир непреложно делился на богатых девочек и бедных мальчиков, и богатые девочки этих бедных мальчиков, сняв с себя (!) одевали (в юбки, что ли?). Аля эту книгу читала и утверждает, что там тоже был мальчик, который тоже сбежал в лес (потому что его бил сапожник), но вернулся. Словом: НАТУРА (как — часто) повлекла за собой противоестественность. Эту ли горькую расплату за *свою природу* имела в виду мать, даря? Не знаю.

Борис, я только что с моря и поняла одно. Я постоянно, с тех пор как *впервые не полюбила***, порываюсь любить его, в надежде, что может быть выросла, изменилась, ну просто: а вдруг понравится? Точь-в-точь как с любовью. Тождественно. И *каждый* раз: нет, не мое, не могу. То же страстное въигрыванье (о, не заигрыванье! никогда), гибкость до предела, попытка проникнуть через слово (слово ведь больше вещь, чем вещь: оно само — вещь,

---

* Машин дневник *(нем.)*.

** В детстве любила, как и любовь *(примеч. М. Цветаевой)*.

которая есть только — знак. Назвать — овеществить, а не развоплотить) — и — отпор.

И то же неожиданное блаженство, которое забываешь, как только вышел (из воды, из любви) — невосстановимое, нечислящееся. На берегу я записала в книжку, чтобы тебе сказать. Есть вещи, от которых я в постоянном состоянии отречения: *море, любовь.* А знаешь, Борис, когда я сейчас ходила по пляжу, волна явно подлизывалась. Океан, как монарх, как алмаз: слышит только того, кто его *не* поет. А горы — благодарны (божественны).

Дошла ли наконец *моя?* (Поэма Горы.) Крысолова, по возможности читай вслух, полувслух, движением губ. Особенно «Увод»[10]. Нет, всё, всё. Он как «Мóлодец» писан с голосу.

Мои письма не намеренны, но и тебе и мне нужно *жить* и *писать*. Просто — перевожу стрелку. Ту вещь о тебе и мне почти кончила[11]. (Видишь, не расстаюсь с тобой!) Впечатление: от чего-то драгоценного, но — осколки. До чего *слово* открывает *вещь!* Думаю о некоторых строках. — До страсти хотела бы написать Эвридику: ждущую, идущую, удаляющуюся. Через глаза или дыхание? Не знаю. Если бы ты знал, как я *вижу* Аид! Я, очевидно, на еще очень низкой ступени бессмертия.

Борис, я знаю, почему ты не идешь за моими вещами к Н〈адежде〉 А〈лександровне〉[12]. От какой-то тоски, от самообороны, как бежишь письма, которое требует всего тебя. Кончится тем, что все пропадет, все мои Гёты! Не перепоручить (не перепоручишь) ли Асе? Жду Шмидта.

МЦ.

Я не слишком часто пишу? Мне постоянно хочется говорить с тобою.

III

26-го мая 1926 г., среда

Здравствуй, Борис! Шесть утра, все веет и дует. Я только что бежала по аллейке к колодцу (две разные радости: пустое ведро, полное ведро) и всем телом, встречающим ветер, здоровалась с тобой. У крыльца (уже с полным) вторые скобки: все еще спали — я остановилась, подняв голову навстречу тебе. Так я живу с тобой, утра и ночи, вставая в тебе, ложась в тебе.

Да, ты не знаешь, у меня есть стихи к тебе, в самый разгар Горы[13] (Поэма Конца — одно. Только Гора раньше и — мужской лик, с первого горячá, сразу высшую ноту, а Поэма Конца уже разразившееся женское горе, грянувшие слезы, я, когда ложусь, — не я, когда встаю! Поэма горы — гора, с другой горы увиденная. Поэма Конца — гора на мне, я под ней). Да, и клином врезавшиеся стихи к тебе, недоконченные, несколько, взывание к *тебе* во мне, ко *мне* во мне.

Отрывок:

...В перестрелку — скиф,
В христопляску — хлыст,
— Море! — небом в тебя отваживаюсь.
Как на каждый стих, —
Что на тайный свист
Останавливаюсь,
Настораживаюсь.
В каждой строчке: стой!
В каждой точке — клад.
— Око! — светом в тебя расслаиваюсь,
Расхожусь. Тоской
На гитарный лад
Перестраиваюсь,
Перекраиваюсь...[14]

Отрывок. Всего стиха не посылаю из-за двух незаткнутых дыр. Захоти — и стих будет кончен, и этот, и другие. Да, есть ли у тебя три стиха: *Двое,* посланные мною тебе летом 1924 г., два года назад, из Чехии. («Елена: Ахиллес// — Разрозненная пара»; «Так разминовываемся — мы»; «Знаю — один//Ты — равносущ// Мне».) Не забудь ответить. Тогда пришлю[15].

Борис, у Рильке взрослая дочь[16], замужем, где-то в Саксонии, и внучка Христина, двух лет. Был женат, почти мальчиком, два года — в Чехии — расплелось. Борис, последующее — гнусность (моя): мои стихи читает с трудом, хотя еще десять лет назад читал без словаря *Гончарова*[17]. (И Аля, которой я это сказала, тотчас же: «Я знаю, знаю, утро *Облом*ова, там еще *слом*анная галерея».) Гончаров — таинственно, а? Тут-то я и почувствовала. Когда Tzarenkreis*[18] — из тьмы времен — прекрасно, когда Обломов — уже гораздо хуже. Преображенный — Рильке (родительный падеж, если хочешь Рильке'м)[19] Обломов. Какая растрата! В этом я на секунду увидела его иностранцем, т. е. себя русской, а его немцем! Унизительно. Есть мир каких-то твердых (и низких, твердых в своей низости) ценностей, о котором ему, Рильке,

* Цикл «Цари» *(нем.)*.

не должно знать ни на каком языке. Гончаров (против которого, житейски, в смысле истории русской литературы такой-то четверти века ничего не имею) на устах Рильке слишком теряет. Нужно быть милосерднее.

(Ни о дочери, ни о внучке, ни о Гончарове — никому. Двойная ревность. Достаточно одной.)

Что еще, Борис? Листок кончается, день начался. Я только что с рынка. Сегодня в поселке праздник — первые сардины! Не сардинки, потому что не в коробках, а в сетях.

А знаешь, Борис, к морю меня уже начинает тянуть, из какого-то дурного любопытства — убедиться в собственной несостоятельности.

Обнимаю твою голову — мне кажется, что она такая большая — по тому, что́ в ней — что я обнимаю целую гору, — Урал! «Уральские камни» — опять звук из детства! (Мать с отцом уехали на Урал за мрамором для Музея. Гувернантка говорит, что ночью крысы ей отъели ноги. Таруса. Хлысты. Пять лет[20].) Уральские камни, (*дебри*) и хрусталь графа Гарраха (Кузнецкий)[21] — вот все мое детство.

На́ его — в тяжеловесах и хрусталях.

Где будешь летом? Поправился ли Асеев[22]. *Не болей.*

Ну, что еще?

— *Всё!* —

М.

Замечаешь, что я тебе дарю себя *враздробь?*

13

St. Gilles, 21-го июня 1926 г.

Мой дорогой Борис,

Только что — Шмидт, Барьеры и журналы[1]. Пишу только, чтобы известить, что дошло. Ничего ещё не смотрела, потому что утро в разгаре. Одновременно письмо из Чехии с требованием либо возвращаться сейчас же, либо отказаться от чешской стипендии[2]. («Отказаться» — ход неудачно построенной фразы, просто в случае невозврата — отказывают.)

Возвращаться сейчас невозможно, — домик снят и уплочено до половины октября, кроме того — нынче первый солнечный день, Борис. Возвращаться ни сейчас, ни потом *мне* невозможно: Чехию я *изжила,* вся она в Поэмах Конца и Горы (герой их 13-го обвенчан)[3], Чехии просто нет. Вернусь в погребенный черновик.

Следовательно, — (невозвращение) — я на улице. Думаю (непонятный отказ чехов, обещавших стипендию по крайней мере до октября) — эхо парижской травли («Поэт о критике» — травля)[4], а м. б. и донос кого-нибудь из пражских русских: везде печатается, муж — редактор и т. д. С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ получает с № (Версты)[5], причем I еще не вышел, а II намечается только к октябрю.

Пишу в Чехию с просьбой выхлопотать мне *заочную* стипендию, как Бальмонту и Тэффи, которых чехи содержат, никогда в глаза не видав (меня видели, всегда с ведром или с мешком, *три с половиной года,* — не нагляделись, должно быть!)

Пишу в сознании полной бессмысленности. Явный подвох какого-то завистника. (Завидовать — мне: И, после краткого вдумывания: да, можно, но тогда нужно просить Господа Бога, чтобы снял меня с иждивения, а не чехов.)

Кроме того, (возврат в Чехию) в Чехии С⟨ергею⟩ Я⟨ковлевичу⟩ делать нечего. Ни заработков, ни надежд. Даже на фабрику не берут, ибо русских затирают.

Таков мой жизненный поворот. Не принимай к сердцу, огляди издали — как я. Почему сообщаю? Чтобы объяснить некоторую заминку со Шмидтом, — дня три уйдет на письма, т. е. те полтора-два часа в день, которые у меня есть на графику, ту или иную.

Борис, где встретимся? У меня сейчас чувство, что я уже нигде не живу. Вандея — пока, а дальше? У меня вообще атрофия настоящего, не только не живу, никогда в нем и не бываю.

Громовая статья П. Струве (никогда не пишущего о литературе), статьи Яблоновского, Осоргина, многих, — всех задетых[6] (прочти «Поэт о критике», поймешь) — чья-то зависть — чья-то обойденность — и я на улице, я — что! — дети.

Мур ходит, но оцени! только по пляжу, кругами, как светило. В комнате и в саду не хочет, ставишь — не идет. На море рвется с рук и неустанно кружит (и падает).

Да, Борис, о другом. В Днях перепечатка статьи Маяковского о недостаточной действенности книжных приказчиков. Привожу дословно: «Книжный продавец должен ещё больше гнуть читателя. Вошла комсомолка с почти твердым намерением взять, например, Цветаеву. Ей, комсомолке, сказать, сдувая пыль со старой обложки, — Товарищ, если вы интересуетесь цыганским

лиризмом, осмелюсь предложить Сельвинского. Та же тема, но как обработана! Мужчина! Но это все временное. Поэтому напрасно в вас остыл интерес к Красной Армии; попробуйте почитать эту книгу Асеева». И т. д.[7].

Передай Маяковскому, что у меня есть и новые обложки, которых он просто не знает.

Между нами — такой выпад Маяковского огорчает меня больше, чем чешская стипендия: не за себя, за него.

«Но всё это — временное», а —

«Время — *горе небольшое:*
Я живу с твоей душою»...[8]

Скоро напишу, Борюшка, это письмо не в счет.

М.

Шмидт получен, скоро получишь о тебе и мое. И ещё элегию (мне) Рильке. Люблю тебя.

14

1-го июля 1926 г., четверг.

Мой родной Борис,

Первый день месяца и новое перо.

Беда в том, что взял Шмидта, а не Каляева[1] (слова Сережи, не мои), героя времени (безвременья!), а не героя древности, нет, еще точнее — на этот раз заимствую у Степуна: жертву мечтательности, а не героя мечты[2]. Что такое Шмидт — по твоей документальной поэме: русский интеллигент, перенесший 1905 год. Не моряк совсем, до того интеллигент (вспомни Чехова «В Море»![3]), что столько-то лет плаванья не отучили его от интеллигентского жаргона. Твой Шмидт студент, а не моряк. Вдохновенный студент конца девяностых годов.

Борис, не люблю интеллигенции, не причисляю себя к ней, сплошь *пенснейной.* Люблю дворянство и народ, цветение и ⟨корни⟩, Блока синевы и Блока просторов. Твой Шмидт похож на Блока-интеллигента. Та же неловкость шутки, та же невесёлость её.

В этой вещи меньше тебя, чем в других, ты, огромный, в тени этой маленькой фигуры, заслонен ею*. Убеждена, что письма почти дословны, — до того не твои. Ты дал человеческого Шмидта, в слабости естества, трогательного, но такого безнадежного!

* Т. е. заслоняешься ею насильно и все-таки не заслонен. Ты это деревья, флаги, листовки, клятва. Ш⟨мидт⟩ — письма *(примеч. М. Цветаевой).*

Прекрасна Стихия[4]. И естественно, почему. Здесь действуют большие вещи, а не маленький человек. Прекрасна Марсельеза. Прекрасно всё, где его нет. Поэма несется мимо Шмидта, он — тормоз. Письма — сплошная жалость. Зачем они тебе понадобились? Пиши я, я бы провалила их на самое дно памяти, завалила, застроила бы. Почему ты не дал зрительного Шмидта — одни жесты — почему ты не дал Шмидта «сто слепящих фотографий»[5], не дающих разглядеть — что? Да уныние этого лица! Зачем тебе понадобился подстрочник? Дай ты Шмидта в действии — просто ряд сцен — ты бы поднял его над действительностью, гнездящейся в его словесности.

Шмидт не герой, но ты герой. *Ты,* описавший эти письма!

(Теперь мне совсем ясно: ополчаюсь именно на письма, только на письма. Остальное — ты.)

Да, очень важное: чем же кончилась потеря денег?[6] Остается в тумане. И зачем этот эпизод? Тоже не внушает доверия. Хорош офицер! А форма негодования! У офицера вытащили полковые деньги, и он: «Какое свинство!» Так неправдоподобен бывает только документ.

Милый Борис, смеюсь. Сейчас, перечитывая, наткнулась на строки: «Странно, скажете, к чему такой отчет? Эти мелочи относятся ли к теме?»[7] Последующим двустишием ты мне уже ответил. Но я не убеждена.

Борис, теперь мне окончательно ясно: я бы хотела *немого* Шмидта. Немого Шмидта и говорящего тебя.

Знаешь, я долго не понимала твоего письма о «Крысолове»[8], — дня два. Читаю — расплывается. (У нас разный словарь.) Когда перестала его читать, оно выяснилось, проступило, встало. Самое меткое, мне кажется, о разнообразии поэтической ткани, отвлекающей от фабулы. Очень верно о лейтмотиве. О вагнерианстве мне уже говорили музыканты. Да всё верно, ни о чём я не спорю. И о том, что я как-то докрикиваюсь, доскакиваюсь, докатываюсь до *смысла,* который затем овладевает мною на целый ряд строк. Прыжок с разбегом. Об этом ты говорил?

Борис, ты не думай, что это я о твоем (поэма) Шмидте, я о *теме,* о твоей трагической верности подлиннику. Я, любя, слабостей не вижу, всё сила. У меня Шмидт бы вышел не Шмидтом, или я бы его совсем не взяла, как не смогла (пока) взять Есенина. Ты дал живого Шмидта, чеховски-блоковски-интеллигентского. (Чехова с его шуточками, прибауточками, усмешечками ненавижу с детства.)

Борис, родной, поменьше писем во второй части или побольше в них себя. Пусть он у тебя перед смертью вырастет.

Судьба моя неопределенна. Написала кому могла в Чехии. «Благонамеренный» кончился[9]. Совсем негде печататься (с двумя газетами и двумя журналами разругалась). Будет часок, пришлю тебе нашу встречу. (Переписанную потеряла.) Пишу большую вещь, очень трудную[10]. Полдня уходит на море – гулянье, верней, сиденье и хожденье с Муром. Вечером никогда не пишу, не умею.

М. б. осенью уеду в Татры (горы в Чехии), куда-нибудь в самую глушь. Или в Карпатскую Русь. В Прагу не хочу – слишком ее люблю, стыдно перед собой – той. Пиши мне! Впрочем раз я написала сегодня, наверное получу от тебя письмо завтра. Уехали ли твои? Легче или труднее одному?

Довез ли Э⟨ренбур⟩г мою прозу: Поэт о критике и Герой труда? Не пиши мне о них отдельно, только если что-нибудь резануло. Журналов пока не читала, только твоё.

Я бы хотела, чтобы кто-нибудь подарил мне цельный мой день. Тогда бы я переписала тебе Элегию Рильке[11] и своё.

Напиши мне о летней Москве. Моей до страсти – из всех – любимой.

15

10-го июля 1926 г., суббота

Я бы не могла с тобой жить не из-за непонимания, а из-за понимания. Страдать от чужой правоты, которая одновременно и своя, страдать от правоты – этого унижения я бы не вынесла.

По сей день я страдала только от неправоты, была одна права, если и встречались схожие слова (редко) и жесты (чаще), то двигатель всегда был иной. Кроме того, *твое* не на твоем уровне – не твое совсем, меньше твое, чем обратное. Встречаясь с тобой, я встречаюсь с собой, всеми остриями повернутой против меня же.

Я бы с тобой не могла жить, Борис, в июле-месяце в Москве, потому что ты бы на мне *срывал* –

Я много об этом думала – и до тебя – всю жизнь. Верность, как самоборение, мне не нужна (я – как трамплин, унизительно). Верность, как постоянство страсти, мне непонятна, чужда. (Верность, как неверность – все разводит!) Одна за всю жизнь мне

подошла. (Может быть ее и не было, не знаю, я не наблюдательна, тогда подошла неверность, форма ее.) Верность от восхищения. Восхищенье заливало в человеке все остальное, он с *трудом* любил даже меня, до того я его от любви отводила. Не восхищённость, а восхи́щенность. Это мне подошло[1].

Что бы я делала с тобой, Борис, в Москве (везде, в жизни)? Да разве единица (какая угодно) может дать сумму? Качество другое. Иное деление атомов. Сущее не может распасться на быть имеющее. Герой не дает площади. Тем нужнее площадь, чтобы ещё раз и по-новому дать героя (себя).

Оговорюсь о понимании. Я тебя понимаю издалека, но если я увижу то, чем ты прельщаешься, я *зальюсь* презреньем, как соловей песней. Я взликую от него. Я излечусь от тебя мгновенно. Как излечилась бы от Гёте и от Гейне, взглянув на их Kätchen-Grethen. Улица как множественность, да, но улица, воплощенная в одной, множественность, возомнившая (и ты ее сам уверишь!) себя единицей, улица с *двумя* руками и *двумя* ногами —

Пойми меня: ненасытная исконная ненависть Психеи к Еве, от которой во мне нет ничего. А от Психеи — всё. Психею — на Еву! Пойми водопадную высоту моего презрения. (Психею на Психею не меняют.) Душу на тело. Отпадает и *мою* и *ее*. Ты сразу осужден, я не понимаю, я отступаю.

Ревность. Я никогда не понимала, почему Таня[2], заслуженно-скромного о себе мнения, негодует на X за то, что он любит еще других. *Почему?* Она же видит, что есть красивее и умнее, то, чего она лишена, у нее *в цене*. Мой случай усложнен тем, что *не частен*, что моя ma cause*, сразу перестав быть моей, оказывается cause ровно половины мира: *души*. Что измена мне — *показательна*.

Ревность? Я просто уступаю, как душа всегда уступает телу, особенно чужому — от честнейшего презрения, от неслыханной несоизмеримости. В терпении и негодовании растворяется могшая быть боль.

Не было еще умника, который сказал бы мне: «Я тебя меняю на стихию: множество: безликое. Я тебя меняю на собственную кровь». Или еще лучше: мне захотелось улицы. (Мне никто не говорил *ты*.)

Я бы обмерла от откровенности, восхитилась точностью и — может быть поняла бы. (Мужской улицы нет, есть только женская. — Говорю о составе. — Мужчина жаждой своей, ее создает. Она есть и в открытом поле. — Ни одна женщина (исключения противоестественны) не пойдет с рабочим, все мужчины идут с девками, *все поэты*.)

---

* Мой случай (дело, причина) *(фр.)*.

У меня другая улица, Борис, льющаяся, почти что река, Борис, без людей, с концами концов, с детством, со всем, кроме мужчин. Я на них никогда не смотрю, я их просто не вижу. Я им не нравлюсь, у них нюх. Я не нравлюсь *полу*. Пусть в твоих глазах я теряю, мною завораживались, в меня почти не влюблялись. Ни одного выстрела в лоб — оцени.

Стреляться из-за Психеи! Да ведь ее никогда не было (особая форма бессмертия). Стреляются из-за хозяйки дома, не из-за гостьи. Не сомневаюсь, что в старческих воспоминаниях моих молодых друзей я буду — первая. Что до мужского настоящего — я в нем никогда не числилась.

Лейтмотив вселенной? Да, лейтмотив, верю и вижу, но лейтмотив, — клянусь тебе! — которого *никогда* в себе не слышала. Думается — мужской лейтмотив.

Моя жалоба — о невозможности стать телом. О невозможности потонуть («Если бы я когда-нибудь пошел ко дну»...)

Борис, все это так холодно и рассудочно, но за каждым слогом — живой случай, живший и повторностью своей научивший. Может быть, если бы ты видел с кем и как, ты бы объявил мой инстинкт (или отсутствие его) правым! «Не мудрено...»

Теперь вывод.

Открывалось письмо: «не из-за непонимания, а из-за понимания». Закрывается оно: «не понимаю, отступаю». Как связать?

Разные двигатели при равном уровне — вот твоя множественность и моя. Ты не понимаешь Адама, который любил одну Еву. Я не понимаю Еву, которую любят все. Я не понимаю плоти, как таковой, не признаю за ней никаких прав — особенно голоса, которого никогда не слышала. Я с ней — очевидно хозяйкой дома — незнакома. (Кровь мне уже ближе, как *текучее.)* «Воздерживающейся крови»... Ах, если бы моей было от чего воздерживаться! Знаешь, чего *я* хочу — когда хочу. Потемнения, посветления, преображения. Крайнего мыса чужой души — и своей. Слов, которых никогда не услышишь, не скажешь. Небывающего. Чудовищного. *Чуда.*

Ты получишь в руки, Борис, — потому что конечно получишь? — странное, грустное, дремучее, певучее чудовище, бьющееся из рук. То место в «Мо́лодце» с цветком, помнишь?[3] (Весь «Мо́лодец» — до чего о себе!)

Борис, Борис, как мы бы с тобой были счастливы — и в Москве, и в Веймаре, и в Праге, и на этом свете и особенно на том, который уже *весь в нас*. Твои вечные отъезды (так я это вижу)

и — твоими глазами глядящее с полу. Твоя *жизнь* — заочная со всеми улицами мира, и — ко мне домой. Я не могу[4] присутствия и ты не можешь. Мы бы спелись.

Родной, срывай сердце, наполненное мною. Не мучься. Живи. Не смущайся женой и сыном. Даю тебе полное отпущение от всех и вся. Бери все, что можешь — пока еще хочется брать!

Вспомни о том, что кровь старше нас, особенно у тебя, семита. Не приручай ее. Бери все это с лирической — нет, с эпической высоты!

Пиши или не пиши мне обо всем, как хочешь. Я, кроме всего, — нет, раньше и *позже* всего (до первого рассвета!) — твой друг.

М.

Версты вышли. Потемкин четверостишиями[5]. В конце примечания. Наши портреты на одной странице.

Версты великолепны. Большой благородный том, строжайший. Книга, не журнал. Критика их искалечит и клочьями будет питаться год. В следующем письме вышлю содержание.

На днях сюда приезжает Св⟨ятополк⟩ М⟨ирский⟩, прочту ему твоего Шмидта, которого читаю в четвертый раз и о котором накипает большое письмо. Напишу и отзыв М⟨ир⟩ского[6]. (Его сейчас пресса дружно дерет на части, особенно за тебя и меня[7].)

С Чехией выяснится на днях. Так или иначе увидимся, м. б. из Чехии мне еще легче будет (— к тебе, куда-нибудь). Может быть — все к лучшему.

Иду на почту. До свидания, родной.

Второе письмо о Крысолове поняла сразу и сплошь: ты читал так, как я писала, я тебя читала так, как писал ты и писала я.

За мной еще то о тебе и мне[8] и элегия Рильке. Помню.

Получил ли ты «Поэт о критике» и «Герой труда» (Дано было Э⟨ренбур⟩гу).

16

Bellevue, 31-го декабря 1926 г.

Борис,

Умер Райнер Мария Рильке[1]. Числа не знаю, — дня три назад. Пришли звать на Новый год и, одновременно, сообщили[2].

Последнее его письмо ко мне (6 сентября) кончалось воплем: Im Frühling? Mir ist lang. Eher! Eher!* (Говорили о встрече.) На ответ не ответил, потом, уже из Bellevue, мое письмо к нему в одну строку: Rainer, was ist? Rainer, liebst Du mich noch?**

Передай Светлову (Молодая Гвардия), что его Гренада[3] — мой любимый — чуть не сказала: мой лучший — стих за все эти годы. У Есенина ни одного такого не было. Этого, впрочем, не говори, пусть Есенину мирно спится.

Увидимся ли когда-нибудь?
— С новым его веком, Борис!

М.

17

Bellevue, 1-го января 1927 г.

— Ты первый, кому пишу эту дату.

Борис, он умер 30-го декабря, не 31-го[1]. Еще один жизненный промах. Последняя мелкая мстительность жизни — поэту.

Борис, мы никогда не поедем к Рильке. Того города — уже нет.

Борис, у нас паспорта сейчас дешевле (читала накануне). И нынче ночью (под Новый год) мне снились океанский пароход (я на нем) и поезд. Это значит, что ты приедешь ко мне и мы вместе поедем в Лондон. Строй на Лондоне, строй Лондон, у меня в него давняя вера. Потолочные птицы, замоскворецкая метель, помнишь?

Я тебя никогда не звала, теперь время. Мы будем одни в огромном Лондоне. Твой город и мой. К зверям пойдем. К Тоуэру[2] пойдем (ныне — казармы). Перед Тоуэром маленький крутой сквер, пустынный, только одна кошка из-под скамейки. Там будем сидеть. На плацу будут учиться солдаты.

Странно. Только что написала тебе эти строки о Лондоне, иду в кухню и соседка (живем двумя семьями) — Только что письмо получила от (называет неизвестного мне человека). Я: — Откуда? — Из Лондона.

---

* Весной? Мне это долго. Скорей! Скорей! *(нем.)*

** Райнер, что с тобой? Райнер, любишь ли ты еще меня? *(нем.)*

А нынче, гуляя с Муром (первый день года, городок пуст), изумление: *красные* верха дерев! — Что это? — Молодые прутья (бессмертья).

Видишь, Борис: втроем, в живых, все равно бы ничего не вышло. Я знаю себя: я бы не могла не целовать его рук, не могла бы целовать их — даже при тебе, почти что при себе даже. Я бы рвалась и разрывалась, распиналась, Борис, п. ч. все-таки еще *этот свет.* Борис! Борис! Как я знаю тот! По снам, по воздуху снов, по разгроможденности, по насущности снов. Как я не знаю этого, как я не люблю этого, как обижена в этом! Тот свет, ты только пойми: свет, освещение, вещи, *инако* освещенные, светом твоим, моим.

На тем свету — пока этот оборот будет, будет и народ. Но сейчас не о народах.

— О нем. Последняя его книга была французская, Vergers*.

Он устал от языка своего рождения.

(Устав от вас, враги, от вас, друзья,
И от уступчивости речи русской...
16 г.)[3]

Он устал от всемощности, захотел ученичества, схватился за неблагодарнейший для поэта из языков — французский («poésie»)** — опять смог, еще раз смог, сразу устал. Дело оказалось не в немецком, а в человеческом. Жажда французского оказалась жаждой ангельского, тусветного. Книжкой Vergers он проговорился на ангельском языке.

Видишь, он ангел, неизменно чувствую его за *правым* плечом (не моя сторона).

Борис, я рада, что последнее, что он от меня слышал: Bellevue***[4].

Это ведь его первое слово оттуда, глядя на землю! Но тебе необходимо ехать[5].

18

Дорогой Борис! Пересылаю тебе письмо М⟨ир⟩ского, которому год не давала твоего адреса и которому умоляю его

* Сады *(фр.)*.
** Поэзия *(фр.)*.
*** Прекрасный вид *(фр.)*.

не давать[1]. Причины внутренние (дурной глаз и пр.) — посему веские, верь мне. Если неловко писать на меня и давать мой (NB! самое лучшее бы: я — глушитель) — дай адр⟨ес⟩ Союза Писателей или Поэтов или что-нибудь общественное. Он твоего адр⟨еса⟩ (личного) домогается с такой страстью, что *дать нельзя никак*. Кроме того: Волхонка, д⟨ом⟩ № 14, кв⟨артира⟩ 9 — моя, *не делюсь*. При встрече расскажу и увидишь.

Пока тебе будет достаточно знать, что когда, на днях, зашел ко мне — тут же застлала от него рукавом портрет Рильке в газете. Твоя Волхонка и лицо Р⟨ильке⟩ — однородность. Не предавай меня.

Обнимаю и жду письма.

М.

Bellevue (S. et O.)
près Paris
31, Boulevard Verd
12-го января 1927 г.

⟨На обороте конверта:⟩

Нарочно пишу на его письме, чтобы запечатать волю (его к твоему адресу), твою — к даче его.

МЦ.

19

Bellevue, 9-го февраля 1927 г.[1]

Дорогой Борис,

Твое письмо — отписка, т. е. написано из высокого духовного приличия, поборовшего тайную неохоту письма, сопротивление письму. Впрочем — и не тайное, раз с первой строки: «потом опять замолчу».

Такое письмо не прерывает молчания, а только оглашает, называет его. У меня совсем нет чувства, что таковое (письмо) было. Поэтому все в порядке, в порядке и я, упорствующая на своем отношении к тебе, в котором окончательно утвердила меня смерть Р⟨ильке⟩. Его смерть — право на существование мое с тобой, мало — право, собственноручный его приказ такового.

Грубость удара я не почувствовала — твоего «как грубо мы осиротели», — кстати, первая строка моя в ответ на весть тут же:

Двадцать девятого, в среду, в мглистое?
Ясное? — нету сведений!
Осиротели не только мы с тобой
В это пред-предпоследнее
Утро...[2] —

Что почувствовала, узнаешь из вчера (7-го, в его день) законченного (31-го, в день вести, начатого) письма к нему, которое, как личное, прошу не показывать[3]. Сопоставление Р⟨ильке⟩ и М⟨ая⟩ковского для меня при всей (?) любви (?) моей к последнему — кощунство. Кощунство — давно это установила — иерархическое несоответствие.

Очень важная вещь, Борис, о которой хочу сказать. Стих о тебе и мне — начало Попытки комнаты — оказался стихом о нем и мне, *каждая строка*. Произошла любопытная подмена: стих писался в дни моего крайнего сосредоточения на нем, а направлен был — сознанием и волей — к тебе. Оказался же — мало о нем! — о нем — сейчас (*после* 29-го декабря), т. е. предвосхищением, т. е. прозрением. Я просто рассказывала ему, живому, к которому же *собиралась!* — как не встретились, как *иначе* встретились. Отсюда и странная, меня самое тогда огорчившая... нелюбовность, отрешенность, *отказность* каждой строки. Вещь называлась «Попытка комнаты» и от каждой — каждой строкой — отказывалась. Прочти внимательно, вчитываясь в каждую строку, *проверь*. Этим летом, вообще, писала три вещи:

1. Вместо письма[4] (тебе), 2. «Попытка комнаты» и ⟨3.⟩ «Лестница» — последняя, чтобы высвободиться от сосредоточения на нем — здесь, в днях, по причине его, меня, нашей еще: жизни и (оказалось!) завтра смерти — безнадежного. «Лестницу», наверное, читал? П. ч. читала Ася. Достань у нее, исправь опечатки.

Достань у З⟨елин⟩ского[5], если еще в Москве, а если нет — закажи № 2 Верст, там мой «Тезей» — трагедия — первая ч⟨асть⟩. Писала с осени вторую, но прервалась письмом к Р⟨ильке⟩, которое кончила только вчера. (В тоске.)

Спасибо за любование Муром[6]. Лестно (сердцу). Да! У тебя в письме: звуковой призрак, а у меня в «Тезее»: «Игры — призрак и радость — звук»[7]. Какую силу, кстати, обретает слово — призрак в предшествии звукового, какой силой наделен такой звуковой призрак — думал?

Последняя веха на пути твоем к нему: письмо для него, пожалуйста, пришли открытым, чтобы научить критика иерархии и князя — вежливости[8]. (Примечание к иерархии: у поэта с критиком не может быть тайн от поэта. Никогда не пользуюсь именами, но — в таком контексте — наши звучат.) Письма твоего к нему, открытого, естественно, — не прочту.

Да! Самое главное. Нынче (8-го февраля) мой первый сон о нем, в котором *не* «не все в нем было сном», а ничто. Я долго не спала, читала книгу, потом почему-то решила спать со светом. И только закрыла глаза, как Аля (спим вместе, иногда еще и Мур

третьим): «Между нами серебряная голова». Не серебряная — седая, а серебряная — металл, так поняла. И зал. На полу светильники, подсвечники со свечами, весь пол утыкан. Платье длинное, надо пробежать, не задевши. Танец свеч. Бегу, овевая и не задевая — много людей в черном, узнаю Р⟨удольфа⟩ Штейнера (видела раз в Праге) и догадываюсь, что собрание посвященных. Подхожу к господину, сидящему в кресле, несколько поодаль. Взглядываю. И он с улыбкой: «Rainer Maria Rilke». И я, не без задора и укора: «Ich weiss»*. Отхожу, вновь подхожу, оглядываюсь: уже танцуют. Даю досказать ему что-то кому-то, вернее дослушать что-то от кого-то (помню, пожилая дама в коричневом платье, восторженная) и за руку увожу. Еще о зале: полный свет, никакой мрачности и все присутствующие — самые живые, хотя серьезные. Мужчины по-старинному в сюртуках, дамы — больше пожилые — в темном. Мужчин больше. Несколько неопределенных священников.

Другая комната, бытовая. Знакомые, близкие. Общий разговор. Один в углу, далеко от меня, молодой, другой рядом — нынешний. У меня на коленях кипящий чугун, бросаю в него щепку (наглядные корабль и море). — «Поглядите, и люди смеют после этого пускаться в плаванье!» — «Я люблю море: мое: Женевское». (Я, мысленно: как точно, как лично, как по-рильковски) — «Женевское — да. А настоящее, особенно Океан, ненавижу. В St. Gille'е...» И он mit Nachdruck**: «В St. Gill'е *все* хорошо», — явно отождествляя St. Gilles — с жизнью. (Что́ впрочем и раньше сделал в одном из писем: St. Gilles-sur-Vir (survie))[9]. «Как Вы могли не понимать моих стихов, раз так чудесно говорите по-русски?» — «Теперь». (Точность этого ответа и наивность этого вопроса оценишь, когда прочтешь Письмо[10].) Все говоря с ним — в пол-оборота ко мне: «Ваш знакомый...», не называя, не выдавая. Словом, я побывала у него в гостях, а он у меня.

Вывод: если есть возможность такого спокойного, бесстрашного, естественного, вне-телесного чувства к «мертвому» — значит оно есть, оно-то и будет там. Ведь в чем страх? Испугаться. Я *не* испугалась, а первый раз за всю жизнь чисто обрадовалась мертвому. Да! еще одно: чувство тлена (когда есть) очевидно связано с (приблизительной) деятельностью тлена; Р⟨удольф⟩ Штейнер, напр⟨имер⟩, умерший два года назад, уже совсем не мертвый, ничем, никогда.

Этот сон воспринимаю, как чистый подарок от Р⟨ильке⟩, равно как весь вчерашний день (7-ое — его число) давший мне *все*

* Знаю *(нем.)*.
** Подчеркнуто *(нем.)*.

(около 30-ти) невозможных, неосуществимых места Письма. Все стало на свое место — сразу.

По опыту знаешь, что есть места недающиеся, неподдающиеся, невозможные, к которым *глохнешь.* И вот — 24 таких места в один день. Со мной этого не бывало.

Живу им и с ним. Не шутя озабочена разницей небес — его и моих. Мои — не выше третьих, его, боюсь, последние, т. е. — мне еще много-много раз, ему — много — один. Вся моя забота и работа отныне — не пропустить следующего раза (его последнего).

Грубость сиротства — на фоне чего? Нежности сыновства, отцовства?

Первое совпадение лучшего *для меня* и лучшего *на земле.* Разве не естественно, что ушло? За что *ты* принимаешь жизнь?

Для тебя его смерть не в порядке вещей, для меня его жизнь — не в порядке, в порядке ином, иной порядок.

Да, главное. Как случилось, что ты средоточием письма взял частность твоего со мной — на час, год, десятилетие — разминовения, а не наше с ним — на всю жизнь, на всю землю — расставание. Словом, начал с последней строки своего последнего письма, а не с первой — моего (от 31-го). Твое письмо — продолжение. Не странно? Разве что-нибудь еще длится? Борис, разве ты не видишь, что то разминовение, всякое, пока живы, частность — уже уничтоженная. Там «решал», «захотел», «пожелал», здесь: стряслось.

Или это — сознательно? Бессознательный страх страдания? Тогда вспомни его Leid*, звук этого слова, и перенеси его и на меня, после *такой* потери ничем не уязвимой, кроме еще — такой. Т. е. не бойся молчать, не бойся писать, все это раз и пока жив, неважно.

Дошло ли описание его погребения… Немножко узнала о его смерти: умер утром, пишут — будто бы тихо, без слов, трижды вздохнув, будто бы не зная, что умирает (поверю!). Скоро увижусь с русской, бывшей два последних месяца его секретарем[11]. Да! Две недели спустя, получила от него подарок — немецкую Мифологию 1875 г. — год его рождения. Последняя его книга, которую он читал, была Paul Valéry (Вспомни мой сон)[12].

Живу в страшной тесноте, две семьи в одной квартире, общая кухня, втроем в комнате, никогда не бываю одна, страдаю.

---

* Страдание *(нем.).*

Кто из русских поэтов (у нас их нет) пожалел о нем? Передал ли мой привет автору «Гренады»? (Имя забыла)[13]

Да, новая песня
и новая жисть.
Не надо, ребята,
о песнях тужить.

Не надо, не надо,
не надо, друзья!
Гренада, Гренада, Гренада моя.

Версты эмигрантская печать безумно травит. *Многие* не подают руки (Х⟨одасе⟩вич первый)[14]. Если любопытно, напишу пространнее.

20

15-го июля 1927 года[1].

О, Борис, Борис, как я вечно о тебе думаю, физически оборачиваюсь в твою сторону — за помощью! Ты не знаешь моего одиночества... Закончила большую поэму[2]. Читаю одним, читаю другим — полное — ни слога! — молчание, по-моему неприличное, и вовсе не от избытка чувств! — от полного недохождения, от ничего-не-понятности ⟨...⟩ А мне — ясно, и я ничего не могу сделать. Недавно писала кому-то: «Думаю о Борисе Пастернаке — он счастливее меня, потому что у него есть двое-трое друзей — *поэтов,* знающих цену его труду, у меня же ни одного человека, который бы — на час — стихи предпочел бы всему». Это — так. У меня нет друзей. Есть дамы — знакомые, приятельницы, покровительницы, иногда любящие (чаще меня, чем стихи, а если и берущие в придачу стихи, то, в тайне сердца, конечно, стихи 1916 года). Для чего же вся работа? Это исписыванье столбцов, и столбцов, и столбцов — в поиске *одного* слова, часто не рифмы даже, сло́ва посреди строки, почему — не знаю, но свято долженствующее звучать как — — —, а означать — — —! Ты это знаешь. Поэтому меня и прибивает к тебе, как доску к берегу...

В жизни я как-то притерпелась к боли... Даже физически: беру раскаленное — и не чувствую, все говорят: липы цветут — не слышу, точно кто-то — бережа и решив — довольно! — залил меня, бескожную, в нечто непроницаемое. Помнишь Зигфрида и Ахиллеса? Помнишь липовый лист одного и пяту — другого?[3] — Ты.

Ты наверное переоцениваешь мою книгу стихов[4]. Только и цены в ней, что тоска. Даю ее, как последнюю лирическую,

знаю, что последнюю. Без грусти. То, что можешь, — не до́лжно делать. Вот и все. Там я всё могу. Лирика (смеюсь, — точно *поэмы* не лирика! Но условимся, что лирика — отдельные стихи) — служила мне верой и правдой, спасая меня, вывозя меня — и заводя каждый час по-своему, по-моему. Я устала разрываться, разбиваться на куски Озириса[5]. Каждая книга стихов — книга расставаний и разрываний, с перстом Фомы[6] в рану между одним стихом и другим. Кто же из нас не проставил конечную черту без западания сердца: а дальше? ⟨Между⟩ поэмой и поэмой промежутки реже, от раза до разу рана зарастает. Большие вещи — вспомни Шмидта — stable fixe*, лирика — разовое, дне́вное, вроде грабежа со взломом счастливого часа. (Если попадет в твою лирическую волну — посмейся!)

Борис, ты когда-нибудь читал Тристана и Изольду в подлиннике?[7] Самая безнравственная и правдивая вещь без виноватых, со сплошь невинными, с обманутым королем Марком, любящим Тристана и любимым Тристаном, с лжеклятвой Изольды, с постоянным нарушением самых святых обетов, с — наконец! — женитьбой Тристана на другой Изольде (как будто есть другая!) — «aux blanches mains»** — из малодушия, из безнадежности, из, если хочешь, душевного расчета. И как из этого *ничего* не вышло, и как из всей любви ничего не вышло, потому что умерли врозь…

История, ничем не отличная от истории Кая и Герды[8] ⟨*неразб*⟩.

Сдаю в один журнал «С моря» (прошлолетнее — тебе) и «Новогоднее» (письмо к Рильке), переписываю для другого «Поэму воздуха», не знаю, возьмут ли, сейчас должна приняться за Федру, брошенную тогда (31 декабря 1926 г.), на 2-й картине[9]. Долг чести.

Лето проходит, не осуществившись. По три, часто не разрешившихся, грозы в день, по два хороших ливня, *но*… в летних платьях холодно, наспех вытаскиваю зимние шкуры. Вчера, 14 июля, глядела с нашего медонского[10] железнодорожного моста на ракеты — и дрогла. И этого уже не люблю, не так люблю — больше по долгу службы. ⟨...⟩

Борис, ты не знаешь «С моря», «Новогоднего», «Поэмы воздуха» — сушайшего, что я когда-либо написала и напишу. Знаю, что надо собраться с духом и переписать, но переписка — тебе — безвозвратнее подписания к печати, то же, что в детстве —

---

* Прочная устойчивость *(фр.)*.
** С белыми руками *(фр.)*.

неожиданное выбрасыванье какого-нибудь предмета из окна курьерского поезда. Пустота детской руки, только что выбросившей в окно курьерского поезда — что́? Ну, материнскую сумку, что-нибудь роковое...

Борис, я соскучилась по русской природе, по лопухам, по неплющевому лесу, по себе — там. Если бы можно было родиться заново 〈...〉

21

Париж, 4-го июля 1928 г., среда

Дорогой Борис,

сидим — С〈ережа〉, Родзевич и я — в пресловутой Ротонде[1] — *пережидаем время* (до Сережиного поезда). Сейчас 7 ч., Сережин поезд идет в $10^1/_2$ ч., — оцениваешь эту бесконечность? Едет вслепую — в Ройяк[2] (найди на карте!). Мы: двое нас и двое детей считаемся famille nombreuse* (отец, мать и дитя — famille moyenne**).

А Ройяк, Борис, не доезжая до Bordeaux, севернее.

〈Рукою С. Я. Эфрона:〉

Я испытываю волнение больше, чем перед отъездом на фронт! Там враг за проволокой — здесь вокруг — в вагоне, на вокзале, на побережье, а главное в виде владельцев дач. Боюсь их (владельцев) больше артиллерии, пулеметов и вражеской конницы, ибо победить их можно лишь бумажником.

А кроме всего проч〈его〉 — у меня врожденный ужас перед всеми присутствующими местами, т. е. перед людьми, для к〈оторы〉х я — не я, а что-то третье, к〈отор〉ым я быть не умею. Это не неврастения.

Обнимаю Вас и оч〈ень〉 Вас чувствую.
СЭ.

〈Рукою К. Б. Родзевича:〉

С〈ергей〉 Я〈ковлевич〉 уезжает уже целую неделю. Вместе с ним я побывал и на границе Испании и на берегах Женевского озера и на Ривьере и... но всего не перечислишь! Я так привык к этой смене мест, пейзажей, ожиданий и разочарований, что сейчас, когда отъезд стал реальным, я с грустью чувствую себя возвращенным домой. Но до отхода поезда еще 2 часа. А вдруг мне удастся продолжить мое неподвижное путешествие. Нет,

* Многочисленная семья *(фр.)*.
** Средняя семья *(фр.)*.

сложенные корзины, пакеты, вокзалы, справочные бюро — все говорит за то, что я остаюсь. Ваш К. Р.

22

Медон, 31-го декабря 1929 г.

— Борис! Это совпало с моим внезапным решением не встречать Нового Года, — отправить Алю туда, где меня будут ждать, а самой сидеть при спящем Муре и писать тебе. (Почему нет С⟨ережи⟩, сейчас узнаешь.) «Борис! Аля ушла на Новый Год, сижу с Муром, который спит, и с тобой, которого нет», — так начиналось, предвосхищая сроки. Утром сказала Але, а вечером твое письмо — да ка́к еще! Ездила в город, вернулась поздним поездом, на столе записка: «Мама! Очень интересное письмо. Если хотите получить — разбудите». (Ruse de guerre*.) И я *конечно* не разбудила и *конечно* не искала, а письмо получила, потому что проснулась сама.

Борис, я с тобой боюсь всех слов, вот причина моего неписанья. Ведь у нас кроме слов нет ничего, мы на них обречены. Ведь всё что с другими — без слов, через воздух, то теплое облако *от — к* — у нас словами, безголосыми, без поправки голоса. Мало произнесено (воздух съел) — утверждено, безмолвно про́рано. Борис, во всяком людском отношении слова только на выручку, на худой конец, и конец — всегда худой. Ведь говорят — на прощанье. Есть у Степуна[1] не знаю собственное ли, но исчерпывающее определение: «Романтики погибли оттого, что всегда жили последними». Каждое наше письмо — последнее. Одно́ — последнее до встречи, друго́е — последнее навсегда. Может быть оттого что редко пишем, что каждый раз — все за́ново. Душа питается жизнью, здесь душа питается душой, саможорство, безвыходность.

И еще, Борис, кажется, боюсь боли, вот этого простого ножа, который перевертывается. Последняя боль? Да, кажется, тогда, в Вандее, когда ты решил не-писать[2] и слезы действительно лились в песок — в действительный песок дюн. (Слезы о Рильке лились уже не вниз, а ввысь, совсем Темза во время отлива.)

С тех пор у меня в жизни ничего не было. Проще: я никого не любила годы — годы — годы. Последнее — вживе — то, из чего Поэма Конца, шесть лет назад[3]. Рождение Мура все то — смыло, *всё* то, и российское все. Мне стало страшно — опять. И эту неприкосновенность — почувствовала. Я опять вернулась к своей юношеской славе: «не приступиться». Все это без слов. Совсем проще:

* Военная хитрость *(фр.)*.

я просто годы никого не целовала — кроме Мура и своих, когда уезжали. — Нужно ли тебе это знать?

Все это — начинаю так думать — чтобы тебе было много места вокруг, чтоб по пути ко мне ты не встретил ни одной живой души, чтобы ты ко мне шел по мне (в лес пó лесу!), а не по рукам и ногам битв. И — никакого соблазна. Все что не ты — ничто. Единственный для меня возможный вид верности.

Но это я осознаю *сейчас,* на поверхности себя я просто закаменела. Ах, Борис, поняла: я просто даю (ращу) место в себе — последнему, твоему, не сбудься который у меня отсечено — всё быть-имеющее, все, на чем я тайно строю — всё.

Борис, последний день года, третий его утренний час. Если я умру, не встретив с тобой такого, — моя судьба не сбылась, *я* не сбылась, потому что ты моя последняя надежда на всю меня, тý меня, которая *есть* и которой без тебя не быть. Пойми степень насущности для меня того рассвета.

— Борис, я тебя заспала, засыпала — печной золой зим и морским (Муриным) песком лет. Только сейчас, когда только еще вот-вот заболит! — понимаю, насколько я тебя (себя) забыла. Ты во мне погребен — как рейнское сокровище — до поры.

С Новым Годом, Борис, — 30-тым! А нашим с тобой — седьмым! С тридцатым века и с седьмым — *нас.* Увидимся с тобой в 1932 — потому что 32 мое с детства любимое число, которого нет в месяце и нужно искать в столетии. Не пропусти!

М.

NB! Меня никто не позвал встречать Новый Год, точно оставляя — предоставляя — меня тебе. Такое одиночество было у меня только в Москве, когда тебя *тоже* не было. Не в коня эмиграции *мой* корм!

А идти я собиралась на новогоднюю встречу Красного Креста, ни к кому. Не пошла из-за какого-то стыда, точно бегство от пустого стола. Письмо стóит стакана!

Это письмо от меня — к тебе, от меня-одной — к тебе-одному (твоей — моему). Вслед другое, о всем, что *еще* есть.

Нынче ночью — вслед — другое письмо. Про все. Обнимаю тебя.

23

⟨Конец октября 1935 года⟩

Дорогой Борис! Отвечаю сразу — бросив всё (полу-вслух, как когда *читаешь* письмо. Иначе начну думать, а это заводит далёко).

О тебе: право, тебя нельзя судить, как человека ⟨...⟩ Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери на поезде, мимо 12-летнего ожидания[1]. И мать не поймет — не жди. Здесь предел моего понимания, человеческого понимания. Я, в этом, *обратное* тебе: я *на себе* поезд повезу, чтобы повидаться (хотя, может быть, так же этого боюсь и так же мало радуюсь). И здесь уместно будет одно мое наблюдение: *все* близкие мне — их было мало — оказывались бесконечно-мягче меня, даже Рильке мне написал: Du hast recht, doch Du bist hart*[2] — и это меня огорчало потому, что иной я быть не могла. Теперь, подводя итоги, вижу: моя мнимая жестокость была только — форма, контур сути, необходимая граница самозащиты — от *вашей* мягкости, Рильке, Марсель Пруст и Борис Пастернак. Ибо вы в *последнюю минуту* — отводили руку и оставляли меня, давно выбывшую из семьи людей, один на один с моей человечностью. Между вами, нечеловеками, я была *только человек*. Я знаю, что ваш род — выше, и *мой* черед, Борис, руку на сердце, сказать: — О, не вы: это *я* — пролетарий[3]. — Рильке умер, не позвав ни жены, ни дочери, ни матери. А *все* — любили. Это было печение о *своей* душе. Я, когда буду умирать, о ней (себе) подумать не успею, целиком занятая: накормлены ли мои будущие провожатые, не разорились ли близкие на мой консилиум, и м. б. в *лучшем* эгоистическом случае: не растащили ли мои черновики.

Собой (ду — шой) я была только в своих тетрадях и на одиноких дорогах — редких, ибо я всю жизнь — водила ребенка за руку. На «мягкость» в общении меня уже не хватало, только на общение: служение: *бесполезное* жертвоприношение. *Мать-пеликан* в силу созданной ею системы питания — *зла*. — Ну, вот.

О *вашей* мягкости: Вы — ею — откупаетесь, затыкаете этой гигроскопической ватой дыры ран, вами наносимых, вопиющую глотку — ранам. О, вы добры, вы при встрече *не можете* первыми встать, ни даже откашляться для начала прощальной фразы — чтобы «не обидеть». Вы «идете за папиросами» и исчезаете навсегда и оказываетесь в Москве, Волхонка, 14, или еще дальше. Роберт Шуман *забыл*, что у него были дети, число забыл, имена забыл, факт забыл, только спросил о старших девочках: всё ли у них такие чудесные голоса?

Но — теперь ваше оправдание — только *такие* создают *такое*. Ваш был и Гёте, не пошедший проститься с Шиллером и X лет не проехавший во Франкфурт повидаться с матерью — бережась для Второго Фауста — или еще чего-то, но (скобка!) — в 74 года осмелившийся влюбиться и решивший жениться — здесь уже *сердца* (физического!) не бережа. Ибо в этом вы — растратчики... Ибо вы

---

* Ты права, но ты жестока *(нем.)*.

от всего (всего себя, этой ужасной жути: нечеловеческого в себе, божественного в себе) 〈...〉 лечитесь самым простым — любовью 〈...〉

Я сама выбрала мир нечеловеков — что же мне роптать?

Моя проза: пойми, что пишу для заработка: *чтения вслух,* т. е. усиленно-членораздельного и пояснительного. Стихи — для себя, прозу — для всех (рифма — «успех»). Моя вежливость не позволяет мне стоять и читать моим «последним верным» явно непонятные вещи — за их же деньги[4]. Т. е. есть *часть* моей тщательности (то, что ты называешь анализом) — вызвана моей сердечностью. Я — отчитываюсь. А Бунин еще называет мою прозу «прекрасной прозой, но безумно-трудной», когда она — для годовалых детей.

...Твоя мать, если тебе простит, — та самая мать из средневекового стихотворенья — помнишь, он бежал, сердце матери упало из его рук, и он о него споткнулся: «Et voici que le coeur lui dit: «T'es-tu fait mal, mon petit?»*

Ну, живи. Будь здоров. Меньше думай о себе. Але и Сереже я передам, они тебя вспоминают с большой нежностью и желают — как я — здоровья, писанья, покоя.

Увидишь Тихонова[5] — поклонись...

МЦ.

Пастернак Борис Леонидович (1890 — 1960) — поэт, переводчик.

М. Цветаева и Б. Пастернак познакомились в послереволюционной Москве, но это было шапочное знакомство — две-три беглые встречи на поэтических чтениях, у знакомых, на улице. «В одну из зим военного коммунизма, — вспоминал Б. Пастернак, — я заходил к ней с каким-то поручением, говорил незначительности, выслушивал пустяки в ответ. Цветаева не доходила до меня» (Пастернак Б. Люди и положения. Избранное: В 2 т. Т. 2. М.: 1985. С. 266 — 267).

Настоящее открытие поэтами друг друга произошло летом 1922 г., когда Пастернак написал Цветаевой в Берлин восторженное письмо по поводу книжки ее стихов «Версты» (1921), а Цветаева восхищенно отозвалась в ответном письме о пастернаковском сборнике «Сестра моя — жизнь» (1922), который он ей подарил.

---

* И сердце ему сказало: «Ты не ушибся, малыш?» *(фр.)*

Завязавшееся эпистолярное общение достигло апогея в 1926 г., но в силу ряда обстоятельств к 1935 г. постепенно сошло на нет. Однако оба поэта до конца своих дней сохраняли восторг перед талантом друг друга. «Я ставлю Цветаеву,—говорил Пастернак незадолго до своей смерти,—на высшую ступень—она с самого начала была сформировавшийся поэт. В эпоху косноязычия у нее был свой голос—человеческий, классический. Это была женщина с мужской душой. Борьба с повседневностью придавала ей силы. Цветаева искала и достигла совершенной ясности. Она более крупный поэт, чем Ахматова, чьей простотой и лиризмом я всегда восхищался. Гибель Цветаевой—одна из самых больших печалей в моей жизни» (интервью Ольге Карлайл—в кн.: Writers at Work. Interviews from Paris Review selected by Kay Dick. Penguin Books, London, 1972. P. 144—145).

Пастернак посвятил Цветаевой несколько стихотворений и вспоминал о ней в автобиографическом очерке «Люди и положения». Немало посвящений Пастернаку и в творчестве Цветаевой. О нем и его стихах она говорит в очерках «Световой ливень», «Эпос и лирика современной России», «Поэты с историей и поэты без истории» (см. т. 5).

Существовало около ста писем Цветаевой к Пастернаку. Историю их утраты Пастернак рассказал в очерке «Люди и положения». К счастью, черновики многих из этих писем имеются в записных тетрадях Цветаевой (РГАЛИ). Кроме того, сохранились три оригинальных письма, а с двадцати писем в свое время поэт А. Е. Крученых снял копии, поместив их в машинописные сборники под названием «Встречи с Мариной Цветаевой». Некоторые из этих копий Пастернак исправил собственной рукой, вписав, в частности, французские и немецкие слова (подробнее об этом см. *Письма 1926 года.* С. 36, 235).

Первые публикации писем: 1, 2, 4 (вторая часть), 5—7, 10, 12 (первая часть этого письма неверно датирована 29 мая 1926 г.), 13—19 (по различным копиям)—*НП;* 4 (первая часть, по копии А. Е. Крученых), 20, 23 (по записным тетрадям Цветаевой)—Новый мир. 1969. № 4; 8, 9 (по копии А. Е. Крученых)—*Рус. мысль.* 1993. 14—20 октября; 11 (по копии А. Е. Крученых)—*ВЛ.* 1978. № 4 (публикация К. М. Азадовского, Е. В. и Е. Б. Пастернаков, с купюрами); 3 (по копии А. Е. Крученых)—*Вестник РХД,* 1979, № 128 (публикация В. А. Швейцер); 21 (по оригиналу, хранящемуся в семейном архиве Пастернаков).—«Мир Пастернака». Каталог выставки.— М.: Сов. художник, 1989. С. 171; 22 (по копии с оригинала, находящегося в частном собрании)—*ВЛ.* 1985. № 9 (публикация А. Саакянц).

Все письма, кроме 11, 12 и 18, печатаются по первым публикациям с внесением в необходимых случаях уточнений. Письмо 12 приводится по *Соч. 88, 2,* где оно дается по копии с оригинала, хранящегося в частных руках, письма 11 и 18 (его оригинал сохранился)—по сборнику *Письма 1926 года.*

1

[1] Письмо написано в ответ на письмо Б. Пастернака от 14 июня 1922 г., которое Цветаева получила 27 июня через И. Эренбурга (См. *А. Эфрон.* С. 142—143). Эренбург сопроводил письмо Пастернака запиской: «Дорогая Марина, шлю Вам письмо Пастернака. По его просьбе прочел это письмо и радуюсь за него. Радуюсь также за Вас. Вы ведь знаете, как я воспринимаю Пастернака. Жду очень Ваших стихов и писем. Нежно Ваш Эренбург» (по копии, хранящейся в архиве составителя).

По просьбе Б. Пастернака Цветаева переслала свое письмо через его родителей, живших в Берлине.

[2] М. О. и М. С. Цетлины. См. комментарии к письмам к М. С. Цетлиной.

[3] Б. Пастернак так описывает этот вечер и встречу с Цветаевой: «Там были Бальмонт, Ходасевич, Балтрушайтис, Эренбург, Вера Инбер, Антокольский, Каменский, Бурлюк, Маяковский, Андрей Белый и Цветаева. Я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьется она в будущем. Но, не зная и тогдашних замечательных ее «Верст», я инстинктивно выделил ее из присутствовавших за ее бросавшуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что-нибудь высокое зажгло ее и привело в восхищение. Мы обратили тогда друг к другу несколько открытых товарищеских слов. На вечере она была мне живым палладиумом против толпившихся в комнате людей двух движений: символистов и футуристов» (Пастернак Б. Охранная грамота. Л., 1931. С. 115).

[4] П. С. Коган.

[5] Имеется в виду стихотворение «Голод» (1922). Написано в связи с голодом в Поволжье и напечатано в «Известиях ВЦИК» (1922, 15 марта).

[6] Речь идет о книге стихов Цветаевой «Версты», вышедшей двумя изданиями в московском издательстве «Костры». Пастернак читал первое издание, появившееся в феврале 1922 г. (на титульном листе—1921 г.). Второе издание вышло в конце июля. Об отношении Маяковского к Цветаевой см. также письмо 13.

О стихах «Верст» (издательство «Костры», 1921 г.) Пастернак писал в уже упомянутом письме от 14 июня 1922 г.: «Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше—«Знаю, умру на заре! На которой из двух»—и был, как чужим, перебит волною подкатывавшего рыдания, наконец прорвавшегося, и когда я перевел свои попытки с этого стихотворения на «Я расскажу тебе про великий обман», я был так же точно Вами отброшен, и когда я перенес их на «Версты», и версты и версты и черствый хлеб»,—случилось то же самое» (цит. по: *А. Эфрон.* С. 143).

[7] 9 марта 1923 г. Цветаева послала Пастернаку экземпляр этой книги с таким автографом: «Моему заочному другу—заоблачному брату—Борису Пастернаку» (собрание Л. М. Турчинского).

[8] На книге «Разлука» Цветаева написала 10 июля: «Борису Пастернаку—навстречу!» (собрание Л. М. Турчинского).

[9] Цветаева уехала из Берлина в Прагу 31 июля 1922 г.

[10] *Геликон*—прозвище А. Г. Вишняка.

[11] Пастернак собирался отправиться с женой в Берлин в середине августа 1922 г.

[12] Книгу стихов «Сестра моя—жизнь» с дарственной надписью «Марине Цветаевой. Б. Пастернак. 14.VI-22. Москва» Цветаева получила чуть позднее.

2

[1] Письмо написано в ответ на письмо Б. Пастернака от 12 ноября 1922 г., посланное из Берлина. Пастернак с женой пробыли в Германии до 21 марта 1923 г.

[2] Имеется в виду, скорее всего, первое письмо Б. Пастернака от 14 июня 1922 г.

[3] Снятое впоследствии название стихотворения «Неподражаемо лжет жизнь...», которое Цветаева записала в конце своей книги стихов «Разлука», посланной в дар Пастернаку 10 июля 1922 г. В конце стихотворения из четырех строф была помета: «Берлин, 8-го нов〈ого〉 июля 1922 г.—после Сестры—моей Жизни—Марина Цветаева».

[4] Дружба с А. Белым и ее встречи с ним в Берлине описаны Цветаевой в очерке «Пленный дух» (см. т. 4).

[5] Редактировавшийся А. Белым журнал «Эпопея» выходил в издательстве «Геликон». В № 2 журнала за 1922 г. был напечатан цикл «Отрок» из четырех стихотворений, посвященный «Геликону»,—«Пустоты отроческих глаз! Провалы...», «Огнепоклонник! Красная масть...!», «Простоволосая Агарь—сижу...» и «Виноградины тщетно в садах ржавели...». См. также т. 2.

3

[1] Т. В. Чурилин. См. также очерк «Наталья Гончарова» и комментарии к нему в т. 4.

[2] М. И. Цветаева родилась 26 сентября (по старому стилю) 1892 г.

[3] Неточно, между 1912 и 1922 гг. у Цветаевой вышли два сборника стихов—«Из двух книг» (1913) и «Версты» (1921).

[4] Цветаева, как и многие другие русские литераторы в Чехословакии, получала от правительства этой страны ежемесячное пособие, которое она называла «иждивением» или «стипендией», в размере около 1000 крон. См. также письма к В. Ф. Булгакову и А. А. Тесковой.

[5] Аллюзия на резкие сатирические выпады Байрона против английского принца-регента Георга (1762—1830) и власть предержащих, стоившие поэту изгнания.

[6] Перекличка с первой строкой стихотворения Б. Пастернака «Косых картин, летящих ливмя...» (1922).

[7] Книга стихов «Темы и вариации», вышедшая в Берлине в начале января 1923 г. Пастернак послал ее в Прагу с надписью: «Несравненному поэту Марине Цветаевой, «донецкой, горючей и адской» от поклонника ее дара, отважившегося издать эти высевки и опилки, и теперь кающегося. *Б. Пастернак* 29.1.23 Берлин» («Мир Пастернака». С. 171). Цветаева получила подарок в начале февраля 1923 г.

[8] Стихотворение Б. Пастернака «Так начинают. Года в два...» из цикла «Я их мог позабыть» (1921).

[9] В первые послереволюционные годы Большая аудитория Политехнического музея стала главной поэтической трибуной Москвы. Один из поэтических вечеров в Политехническом музее был описан в очерке «Герой труда» (см. т. 4).

[10] Об отношениях Цветаевой с Геликоном (А. Г. Вишняком) см. «Флорентийские ночи» и комментарии к ним (т. 5).

[11] Речь идет о похоронах Т. Ф. Скрябиной (см. письмо 1).

[12] Ср. с тем, что писала Цветаева о своей жизни в Берлине Л. Е. Чириковой 27 апреля 1923 г. (письмо 5).

[13] Эта поездка в Берлин не осуществилась.

4

[1] См. комментарий 7 к письму 3.

[2] «Сестра моя — жизнь».

[3] «Детство Люверс» (1918).

[4] В еврейской традиции Лилит — первая жена Адама (до Евы), созданная Богом, как и Адам, из глины. Не сумев убедить Адама в равенстве по происхождению, Лилит, обратившись в дух, улетела. В литературе прекрасная, неземная Лилит противопоставляется простой, обыденной Еве.

[5] «Я их мог позабыть? Про родню...» — цикл из пяти стихотворений (1921—1922).

[6] По-видимому, последнее в сборнике стихотворение «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь» (1918).

[7] *Lenau* (Ленау Николаус; 1802—1850) — австрийский поэт. Ошибочно назван Цветаевой автором трехстишия.

[8] Из стихотворения немецкого писателя Теодора Шторма (1817—1888) «Frauen-Ritornelle». Это трехстишие неоднократно цитируется в письмах Цветаевой.

[9] Перефразированные строки из стихотворения М. Цветаевой «Лютня», написанного, как и письмо, 14 февраля 1923 г. В стихотворении: «...не заиграться б с аггелами!..»

[10] Поэма «Мо́лодец»; вышла отдельной книгой в 1925 г. в пражском издательстве «Пламя». (На титульном листе — 1924.)

[11] В этом абзаце М. Цветаева ссылается на ряд стихотворений книги «Темы и вариации»: *«Дикий, скользящий, растущий»* — строка из стихотворения «С полу, звездами облитого...»; *...с Вашими вопросами Пушкину* — цикл «Тема с вариациями»; *...с Вашим чертовым соловьем* — стихотворение «Маргарита»; *...с Вашими чертовыми корпусами и конвоирами* — стихотворение «Вдохновение».

[12] Заключительная строка стихотворения «Лютня» (см. комментарий 9).

[13] Строка из стихотворения М. Цветаевой «Ты проходишь на Запад Солнца...» (1916) цикла «Стихи к Блоку». Ей шел тогда 24-й год. См. т. 1.

5

[1] Датировка этого письма в *НП* от 10 февраля вызывает сомнение в связи с содержанием писем от 10 и 11/14 февраля. Вероятнее всего, оно написано лишь после 14 февраля.

[2] К этой строке в копии письма, снятой А. Е. Крученых, имеется его примечание: «Письмо М. Цветаевой на открытке с изображением Праги со множеством крыш».

6

[1] *Шкапская* (урожденная Андреевская) Мария Михайловна (1891 — 1952) — поэтесса. Интерес к поэзии Шкапской в начале 1920-х был достаточно высок. В 1923 г. совершила поездку в Германию. После 1925 г., оставив поэзию, стала писать очерки.

7

[1] «Темы и вариации».

[2] Книга о московском быте под условным названием «Земные приметы» (т. 4). См. об этом письма к Р. Б. Гулю и комментарии к ним.

[3] Речь идет об осуществлении замысла встретиться в Веймаре, где жил и умер Гёте (см. также письмо 3).

В одном из последующих писем (сохранилась лишь часть его) Цветаева писала:

«...Я буду терпелива, и свидания буду ждать, как смерти. Отсюда мое:

Терпеливо, как щебень бьют,
Терпеливо, как смерти ждут,
Терпеливо, как вести зреют,
Терпеливо, как месть лелеют —

Буду ждать тебя (пальцы в жгут —
Так Монархии ждет наложник),
Терпеливо, как рифму ждут,
Терпеливо, как руки гложут,

Буду ждать тебя...*

...Нужно быть терпеливым, великодушным, пожалуй — старше возраста. Только старик (тот, кому ничего не нужно) умеет взять, принять все, т. е. дать другому возможность быть, приняв — избыток...

Ваше признание меня, поэта, до меня доходит — я же не открещиваюсь. Вы — поэт, Вы видите — *будущее.* Хвалу сегодняшнему дню (делу) я отношу за счет завтрашнего. Раз Вы видите — это *есть,* следовательно — *будет.*

Ничья хвала и ничье признанье мне не нужны, кроме Вашего. О, не бойтесь моих безмерных слов, их вина в том, что они еще слова, т. е. не могут еще быть *только* чувствами.

...Я очень спокойна. Никакой лихорадки. Я блаженно провожу свои дни. В первый раз в жизни не *чары,* а знание. Вы в мире доказаны помимо меня.

О, не превышение прав и не упокоение в себе! Кроме Элизиума духа есть еще чешский лес, с тростинками, с хворостинками, с шерстинками птиц и зайцев, — лбом в Элизиум, ногами на чешской земле. Поэтому покойно только мое главенствующее. А ногам — для того, чтобы идти к Вам — нужна рука, протянутая навстречу. Хочу Ваших писем: протянутой Вашей руки...

Что до «жизни с Вами»... —

— Исконная и полная неспособность «жить с человеком», живя им: *жить* им, живя *с ним.*

Как жить с душой — в квартире? В лесу может быть — да. В вагоне может быть — да (но уже под сомнением, ибо — I класс, II класс, III класс, причем третий класс вовсе не лучше первого, как и первый класс — третьего, а хуже всех — второй класс. Ужасен — разряд).

Жить (сосуществовать) «с ним», живя «им» — могу только во сне. И — чудно. Совершенно так же, как в своей тетради...

...Думаю, что из упорства никогда не скажу вам *того слова.* Из упорства. Из суеверия. (Самого *пустого,* ибо вмещает все, самого страшного, после которого все начинается, то есть — кончается.) Его можно произносить по пустякам, когда оно заведомо — гипербола. Мне — Вам — нет.

...На моей горе растет можжевельник. Каждый раз, сойдя, я о нем забываю, каждый раз, всходя, я его пугаюсь: человек! потом радуюсь: куст! Задумываюсь о Вас и, когда прихожу в себя — его нет, позади, миновала. Я его еще ни разу близко не видела. И думаю, что это — Вы...»

(*А. Эфрон.* С. 151 — 153)

[4] *Блоковский мальчик* — см. письма 11 и 14 к Р. Б. Гулю и комментарии к ним.

[5] А. И. Цветаева.

[6] См. комментарий 7 к письму 1.

[7] Поэма «Переулочки» (1922), посвященная близкому другу Цветаевой А. А. Подгаецкому-Чаброву (см. т. 3).

* Стихотворение написано 27 марта 1923 г.

8

[1] Речь идет об *Альтшуллере* Григории Исааковиче (1895–1983)–враче, сыне известного врача И. Н. Альтшуллера, лечившего Л. Н. Толстого и А. П. Чехова. Впоследствии профессоре Карлова университета. После войны жил в США. См. также письмо 17 к О. Е. Колбасиной-Черновой.

[2] *Лилит*–см. комментарий 4 к письму 4, а также стихотворение «Попытка ревности» (т. 2).

[3] *Демон, Тамара*–герои поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон».

[4] См. также заключительные строки («Есть два рода поэтов...» и т. д.) записи в тетради в октябре 1924 г. (см. т. 4).

[5] «Мóлодец». См. комментарий 10 к письму 4.

9

[1] Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем чудовище в виде змеи, изображен на гербе Москвы.

[2] От «Житейских воззрений Кота Мурра» Гофмана.

[3] «Муж горел нетерпением поскорее посвятить приятеля (ожидаемого из кругосветного плавания.–*Ред.*) в глубокий смысл еще не вовсе опостылевшего ему отцовства. Так бывает. Несложное происшествие едва ли не впервые столкнуло вас с прелестью самобытного смысла. Это столь ново для вас, что вот, случится человек, обогнувший весь свет, всего навидавшийся и имеющий, казалось бы, что порассказать, а вам кажется, что в предстоящей встрече слушателем будет он, а вы–поражающей его ум трещоткой» (Пастернак Б. Воздушные пути//Рассказы. М.; Л.: Круг, 1925. С. 96).

[4] Цветаева сопроводила книгу надписью: «Борису Пастернаку. Марина Цветаева. Прага, май 1925 г.» (РГАЛИ).

[5] *Кольцов* Алексей Васильевич (1809–1842)–русский поэт; многие его стихи стали народными песнями и популярными романсами.

[6] Одно из имен Бога.

[7] См. комментарий 3 к письму 7.

10

[1] Цветаева отвечает Пастернаку на его реплику: «Первым был Брюсов, Анненский не был первый» (см. очерк «Герой труда» и комментарии к нему, т. 4).

[2] Цветаева получила от Пастернака книгу «Рассказы» (М.; Л.: Круг, 1925) в июле 1925 г. с дарственной надписью: «Марине, удивительному, чудесному, Богом одаренному другу. Б. П.» (см. также ответ на анкету газеты «Возрождение» от 1 января 1926 г., т. 4). Под «поэмой», по-видимому, имеется в виду «Высокая болезнь» (1923, 1928).

[3] Письмо, по-видимому, имело продолжение.

11

[1] А. И. Цветаева.

[2] Название заключительной главы поэмы «Мóлодец», завершающейся «блаженным взлетом двоих в вечную высь», в «огнь—синь». Замысел «Мóлодца» тесно связан с поэмой «Переулочки». См. т. 3.

[3] Видоизмененная цитата из поэмы Б. Пастернака «Высокая болезнь» (1923, 1928).

[4] Письмо написано в вандейской деревеньке Сен-Жиль-сюр-Ви на атлантическом побережье Франции, где Цветаева отдыхала с семьей с 24 апреля по 1 октября 1926 г.

[5] Поэма Б. Пастернака «Лейтенант Шмидт» (март 1926—март 1927).

[6] *Шмидт-Очаковский* Евгений Петрович, автор книги об отце («Лейтенант Шмидт». Прага: Пламя, 1926). *Очаковский*—по названию крейсера «Очаков», на котором П. П. Шмидтом было организовано восстание (1905).

12

[1] Цитата из главы «Морской мятеж» поэмы Б. Пастернака «Девятьсот пятый год» (июль 1925—февраль 1926).

[2] Первая строка стихотворения А. С. Пушкина «К морю» (1824).

[3] Начало цитаты из церковнославянского текста Библии (Первая книга Царства, 14, 43). По-русски: «Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду; и вот я должен умереть».

[4] Заключительные строки стихотворения М. Цветаевой «Эвридика—Орфею» (1923). Следующая цитата из этого же стихотворения.

[5] Речь идет о разрыве А. Белого с женой, А. А. Тургеневой, который произошел в Берлине в 1922 г.

[6] Цветаева говорит здесь об акростихе-посвящении, которое Б. Пастернак прислал ей в письме от 19 мая 1926 г. и которое он намеревался предпослать поэме «Лейтенант Шмидт»:

Мельканье рук и ног и вслед ему
«Ату его сквозь тьму времен! Резвей
Реви рога! А то возьму
И брошу гон и ринусь в сон ветвей».

Но рог крушит сырую красоту
Естественных, как листья леса, лет.
Царит покой, и что ни пень—Сатурн:
Вращающийся возраст, круглый след.

Ему б уплыть стихом во тьму времен.
Такие клады в дуплах и во рту.
А тут носи из лога в лог ату,
Естественный, как листья леса, стон.

Век, отчего травить охоты нет?
Ответь листвою, пнями, сном ветвей
И ветром и травою мне и ей.

Опубликованное при первой части поэмы в «Новом мире» (1926, № 8—9), это посвящение впоследствии было снято.

[7] «Царевна в зелени» — популярная в России 1880—1890-х годов повесть французского писателя и поэта Андре Терье (1833—1907).

[8] Ж.-Ж. Руссо был поборником уединения человека на лоне природы.

[9] Книга Адама Штейна (настоящие фамилия и имя — Шпрингер, Роберт Густав Мориц; 1816—1885),

[10] Пастернак получил от Цветаевой журнальные оттиски «Поэмы Горы» (1924) и поэмы «Крысолов» (1925). «Увод» — название четвертой главы «Крысолова».

[11] Поэма «С моря» (1926).

[12] Н. А. Нолле-Коган.

[13] «Поэма Горы» (1924).

[14] Из стихотворения «В седину — висок...», датированного «22 января 1925». См. т. 2.

[15] Цветаева приводит последние строки каждого из трех своих стихотворений, образующих цикл «Двое» (1924). См. т. 2.

[16] См. письмо к Рут Зибер-Рильке и комментарии к нему (т. 7).

[17] *Гончаров* Иван Александрович (1812—1891) — писатель. «Обломов» — его роман (1859).

[18] Цикл «Цари» в «Книге Образов» Рильке.

[19] По-видимому, должно быть «творительный падеж».

[20] Эти события ее детства в Тарусе были описаны М. Цветаевой позднее в рассказе «Хлыстовки» (см. т. 5).

[21] *Гаррах* — торговая фирма по поставке и продаже хрусталя, названная по имени графа Иоанна Ф. Гарраха, австрийского политического деятеля XIX в. Известен своими благотворительными акциями, в том числе в пользу производства богемского хрусталя. Фирма располагалась на Кузнецком мосту в доме 5.

[22] *Асеев* Николай Николаевич (1889—1963) — русский советский поэт.

13

[1] Марина Цветаева получила, наряду с журналами, рукопись первой части поэмы «Лейтенант Шмидт», сборник стихов «Поверх барьеров» (1917) и другие произведения Б. Пастернака.

[2] См. комментарий 4 к письму 3.

[3] Речь идет о свадьбе К. Б. Родзевича и М. С. Булгаковой, дочери известного религиозного философа, с которой Цветаева была хорошо знакома. См. письма 8 и 9 к А. В. Черновой и комментарии к ним.

[4] Статья М. Цветаевой «Поэт о критике» (Благонамеренный. 1926. № 2), ядовито отзывавшаяся об эмигрантском критике Г. Адамовиче, вызвала множество выступлений в печати единомышленников последнего (см. т. 5).

[5] Первый номер журнала «Версты», редакторами которого были Д. Святополк-Мирский, П. Сувчинский и С. Эфрон, вышел в Париже в июле 1926 г. Большое участие в журнале принимали А. Ремизов, М. Цветаева и Л. Шестов. См. также письма к П. П. Сувчинскому.

[6] См. комментарий 4. Цветаева говорит о статьях П. Струве «Заметки писателя. О пустоутробии и озорстве» (Возрождение. № 338. 6 мая), А. Яблоновского «В халате» (Возрождение. № 337. 5 мая), М. Осоргина «Дядя и тетя» (Последние новости. № 1863. 29 апреля) и других, в частности Ю. Айхенвальда и З. Гиппиус. См. также письма к Д. А. Шаховскому (см. т. 7).

[7] Газета «Дни» от 30 мая (№ 1019) процитировала упомянутое место из статьи Маяковского «Подождем обвинять поэтов», которая была опубликована в журнале «Красная новь» (М. 1926. № 4). *Сельвинский* Илья (Карл) Львович (1899—1968)—русский советский поэт, драматург.

[8] Как установили составители книги «Письма 1926 года» (см. с. 248), приведенная цитата—вариант двух строк из неоконченного стихотворения М. Цветаевой «Время—бремя небольшое» (май 1924). Этому стихотворению предпослан эпиграф «Я живу с твоей карточкой», взятый из стихотворения Б. Пастернака «Заместительница».

14

[1] *Каляев* Иван Платонович (1877—1905)—член боевой организации партии эсеров. В феврале 1905 г. убил московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича.

[2] В предисловии к сборнику «Прозы» М. Цветаевой (Нью-Йорк: издательство им. Чехова, 1953. С. 16) Ф. Степун вспомнил о разговоре с Цветаевой (в 1921 г.), когда они «выясняли разницу между героями мечты и жертвами мечтательности».

Ср. также с заключительными строками описания Ф. Степуном высылки его в 1922 г. из России: «Под окном мелькает шлагбаум. Куда-то вдаль, под темную, лесную полосу отбегает вращаемое движением поезда, черное по белому снегу шоссе. И в сердце вдруг ⟨...⟩ зажигается непонятная *мечта* (курсив наш.—*Сост.*) не стоять у окна несущегося в Европу поезда, а труском плестись в розвальнях по этому неизвестно куда бегущему, грязному шоссе...» (Современные записки. 1923. № 14. С. 398). «Нет, не о павшей монархии затосковало мое сердце ⟨...⟩ и не от революции оно отрекалось, а просто вдруг поняло, что было в первые революционные дни в русских душах слишком много легкочувствия ⟨...⟩, а должно было быть прежде всего очень ответственно и очень страшно» (там же, № 15. С. 283).

[3] Рассказ А. П. Чехова.

[4] «Стихия» и упоминаемая ниже «Марсельеза» — так назывались в рукописи поэмы «Девятьсот пятый год» 4-я и 5-я главы.

[5] Строка из стихотворения Б. Пастернака «Гроза, моментальная навек» (б/г).

[6] Эпизод из главы «Письмо о дрязгах», впоследствии опущенной.

[7] Из главы «Письмо о дрязгах», где было: «Странно, скажете. К чему такой отчет?// Эти мелочи относятся ли к теме?»

[8] Разбору «Крысолова» Пастернак посвятил большое письмо от 14 июня 1926 г. Вот несколько характерных выдержек из него:

«Того письма о Крысолове, которое начал на днях, не дописать. Начинаю наново, а то уничтожу. Оно начато с дурною широтой, слишком с разных сторон сразу, слишком лично, слишком изобилует воспоминаньями и личными сожаленьями. Т. е. оно чересчур эгоистично, и эгоизм его — страдательный: это барахтанье всего существа, получившего толчок от твоей сложной, разноударной поэмы. Крысолов кажется мне менее совершенным и более богатым, более волнующим в своей неровности, более чреватым неожиданностями, чем Поэма Конца. Менее совершенен он тем, что о нем хочется больше говорить ⟨...⟩.

В Крысолове, несмотря на твою прирожденную способность *компоновать*, мастерски и разнообразно проявленную в Сказках, несмотря на тяготенье всех твоих циклических стихотворений к поэмам, несмотря наконец на изумительность композиции самого Крысолова (крысы как образное средоточье всей идеи вещи! Социальное перерожденье крыс!! — идея потрясающе простая, гениальная, как явленье Минервы) — несмотря на все это — поэтическое своеобразие ткани так велико, что *вероятно* разрывает силу сцепленья композиционного единства, ибо таково именно действие этой вещи. Сделанное в ней говорит языком *потенции*, как это бывает у больших поэтов в молодости или — у гениальных самородков — в начале. Это удивительно молодая вещь, с проблесками исключительной силы. Действие голого поэтического сырья, т. е. проще: сырой поэзии, перевешивает остальные достоинства настолько, что лучше было бы объявить эту сторону окончательным стержнем вещи и написать ее насквозь сумасшедше.

⟨...⟩ Замечательно, что в самой композиции были два мотива, двинувшие тебя по пути оголенья поэзии и писания чистым спиртом. Это, во-первых, издевательская нота сатиры, сгустившая изображенье до нелепости и таким образом, и параллельно этому доведшая *аффект* выраженья до крайности, до той крайности, когда, разгоревшись среди высказанного, *физическая* сторона говора в дальнейшем овладевает словом как предметом второстатейным и начинает *реально* двигаться в нем, как тело в одежде. Это конечно благороднейшая форма зауми, та именно, которая заключена в поэзии от века. Хорошо и крупно, что она у тебя не в случайных мелочах и не на поверхности, как это часто бывало у футуристов, а вызвана внутренней мимикой, совершенно ясна и, как кусок музыкального произведенья, подчинена всему строю (например, Рай-город и пр.). Потом она — предельно, почти телесно — ритмична. — Вторым поводом в сюжете для разнузданья поэзии был мотив музыкальной магии. Это ведь была отчаянно трудная задача! Т. е. она ужасно затруднена реализмом прочего изложенья. Это точь-в-точь как если бы факиры своим чудесам предпосылали речь о гипнозе или фокусники — объясненье своих приемов и потом, разоружившись, все-таки бы ошеломляли! ⟨...⟩

⟨...⟩ Словом, никакая похвала не достаточна за эту часть шедевра, за эту его чудесность. Но сколько бы я ни говорил о «Крысолове», как о законченном мире со своими качествами, постоянно будут нарастать кольца, типические для всякой *потенции*. Говоришь о вещи, нет-нет соскользнешь на речь о поэзии вообще; говоришь о тебе, то и дело подымаются собственные сожаленья: силы, двинутые тобою в вещь, страшно близки мне, и особенно в прошлом. Не прочти я Крысолова, я был бы спокойнее в своем компромиссном и ставшем уже естественным — пути» (*Переписка Б. Пастернака.* С. 361—364).

[9] Журнал «Благонамеренный» под редакцией Д. Шаховского прекратил свое существование после выпуска двух номеров, вышедших в январе-апреле 1926 г. См. письма к Д. Шаховскому и комментарии к ним (т. 7).

[10] Цветаева заканчивала поэму «Попытка комнаты», в которой присутствует приснившаяся Пастернаку встреча с Цветаевой. В июле же Цветаева пишет поэму «Лестница» (см. т. 3).

[11] В письме 8 июня 1926 г. Рильке присылает Цветаевой посвященное ей стихотворение «Элегия», примыкающее по стилю к циклу «Дуинезских элегий» (1922). См. письма к Рильке (т. 7).

15

[1] Ср. со стихотворением М. Цветаевой «Восхи́щенной и восхищённой...» (см. т. 1).

[2] О ком пишет Цветаева, неизвестно.

[3] См. «Мо́лодец», часть вторая, глава 2 «Мрамора́» (т. 3).

[4] Цветаева часто употребляла глагол «мочь» с прямым дополнением.

[5] Глава «Потемкин» («Морской мятеж») из поэмы «Девятьсот пятый год». В этом же номере «Верст» (1926, № 1) была напечатана и «Поэма Горы» Цветаевой.

[6] О Д. П. Святополк-Мирском см. комментарий 2 к письму 4 к П. П. Сувчинскому. Что касается отзыва Святополк-Мирского о поэме «Лейтенант Шмидт», то оценка критика была восторженной: «Лейтенантом Шмидтом Пастернак, великий революционер и преобразователь Русской поэзии, поворачивается ко всей старой традиции русской жертвенной революционности и дает ей то творческое завершение, которое она сама себе не в силах была дать. ⟨...⟩ Все узлы дореволюционной русской традиции сошлись теперь в поэте, который исходная точка всех будущих русских традиций» (Версты. 1928. № 3. С. 154).

[7] Одну из таких статей написал М. Цетлин (О литературном консерватизме и князе Д. Святополк-Мирском. Последние новости. 1926. 8 июля).

[8] Поэма «Попытка комнаты» (6 июня 1926). См. комментарий 10 к письму 14.

16

[1] Рильке скончался 29 декабря 1926 г.

[2] Как вспоминал М. Слоним, известие о смерти Рильке принес Цветаевой он.

[3] Стихотворение М. А. Светлова (1903—1964) «Гренада» было впервые опубликовано в газете «Комсомольская правда» 29 августа 1926 г.

17

[1] См. комментарий 1 к предыдущему письму.

[2] *Тоуэр* (Тауэр)—знаменитый лондонский замок. Служил королевской резиденцией, затем тюрьмой для государственных преступников. В настоящее время—музей.

[3] Из стихотворения М. Цветаевой «Над синевою подмосковных рощ...». См. т. 1.

[4] См. открытку Цветаевой к Рильке 7 ноября 1926 г. (т. 7).

[5] В конверт этого письма Цветаева вложила посмертное письмо к Рильке (см. т. 7).

18

[1] Письмо Цветаевой написано на конверте письма Д. П. Святополк-Мирского к Б. Пастернаку.

19

[1] Судя по содержанию письма, оно должно датироваться 8 февраля.

[2] В письме к Цветаевой от 3 февраля 1927 г. Пастернак писал: «По *всей* ли грубости представляешь ты себе, как мы с тобой осиротели?» (*Письма 1926 года.* С. 209). В ответ Цветаева приводит строки своего, по-видимому незавершенного, стихотворения, обращенного к Пастернаку и начатого одновременно с «Новогодним».

[3] Поэма «Новогоднее», написанная в виде обращения к ушедшему в мир иной Рильке (см. т. 3).

[4] Первоначальное название поэмы «С моря».

[5] К. Л. Зелинский.

[6] Цветаева с гордостью писала друзьям, что Б. Пастернак, которому она послала фотографии, назвал ее сына Георгия (Мура) Наполеонидом.

[7] Слова царя Миноса из второй картины трагедии «Ариадна», первоначально носившей название «Тезей».

[8] Имеется в виду Д. П. Святополк-Мирский.

[9] В письме от 10 мая 1926 г. Рильке писал Цветаевой: «...мне, прочитавшему твое письмо, невыносимо видеть его вновь в конверте

⟨...⟩ Взгляни: возле твоего прекрасного имени, возле этого замечательного Сен-Жиль-сюр-Ви (survie!)...» Здесь имеет место игра слов: survie — выживание, буквально: сверх-жизнь *(фр.)*. *Ви* — название реки в Вандее (*Письма 1926 года*. С. 90).

[10] Поэма «Новогоднее».

[11] Е. А. Черносвитова. См. письмо к ней (т. 7).

[12] Сократический диалог «Душа и танец» (1923) французского поэта Поля Валери (1871 — 1945).

[13] См. комментарий 3 к письму 16.

[14] В. Ходасевич напечатал статью «О Верстах» в «Современных записках», в которой дал самый резкий отзыв о журнале и его участниках. Эта статья пришлась на пик отчуждения в отношениях между ее автором и Цветаевой, которые впоследствии значительно потеплели. См. письма к В. Ф. Ходасевичу (т. 7).

20

[1] Датируется по содержанию.

[2] «Поэма Воздуха», начатая 15 мая и завершенная 24 июня 1927 г.

[3] *Зигфрид* — герой германского эпоса. В то время как Зигфрид омывался в крови дракона, которая сделала его непроницаемым для вражеских ударов, на спину ему упал липовый листок и сделал уязвимым его сердце. *Пята* — уязвимое место Ахиллеса, героя греческого эпоса.

[4] Рукопись будущей книги стихов «После России» (1928).

[5] *Озирис* — в египетской мифологии бог солнца; был убит братом и разорван на куски.

[6] По библейскому преданию, апостол Фома не поверил в воскресение Иисуса, пока «не увидел на руках Его ран от гвоздей и не вложил перста свои в раны...». (От Иоанна, 20, 25.)

[7] Герои средневековых памятников западноевропейской литературы, повествующих о трагической любви Изольды, жены короля Марка, к его племяннику Тристану.

[8] Герои сказки Х. К. Андерсена «Снежная королева».

[9] Поэмы «С моря» и «Новогоднее» были опубликованы в «Верстах» (1928, № 3). «Поэма Воздуха» появилась в печати спустя два с половиной года в журнале «Воля России» (1930, № 1).

Над «Федрой» Цветаева прервала работу, когда узнала о кончине Рильке.

[10] Цветаева жила в это время в парижском пригороде Медоне, куда переехала из Бельвю 1 апреля 1927 г.

21

[1] Знаменитое кафе в Париже на бульваре Монпарнас, место встречи художников, артистов, писателей. Одну из таких встреч, где присут-

ствовали члены Союза молодых поэтов и писателей и В. Ходасевич, описал в своих воспоминаниях литературный критик Ю. Терапиано (В его кн.: Встречи. Нью-Йорк, 1953. С. 84).

[2] С. Я. Эфрон направлялся на побережье Атлантического океана снять дачу для летнего отдыха семьи.

22

[1] Источник приведенной цитаты из Ф. А. Степуна установить не удалось.

[2] В конце июля 1926 г. между Цветаевой и Пастернаком возникла размолвка (см. письмо 8 к Рильке). 30 июля 1926 г. Пастернак предложил Цветаевой временно прекратить переписку.

[3] То есть время встречи Цветаевой с К. Б. Родзевичем, вдохновителем ее «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца».

23

[1] Летом 1935 г., возвращаясь из Парижа с Международного конгресса в защиту культуры через Германию, Пастернак, будучи в тяжелом душевном состоянии, не смог навестить живших в Мюнхене родителей, с которыми не виделся с 1923 г.

Письмо Цветаевой — ответ (по словам А. С. Эфрон, «не ответ, а отповедь») на письмо Пастернака от 13 октября 1935 г. Приводим его целиком:

«Дорогая Марина! Я жив еще, живу, хочу жить — и — надо. Ты не можешь себе представить, как тогда, и долго еще потом, мне было плохо. «Это» продолжалось около пяти месяцев. Взятое в кавычки означает: что не видав своих стариков двенадцать лет, я проехал, не повидав их; что вернувшись, я отказался поехать к Горькому, у которого гостили Роллан с Майей, несмотря на их настояния; что, имея твои оттиски, я не читал их; что действие какой-то силы, которой я не мог признать ни за одну из тех, что меня раньше слагали, укорачивало мой сон с регулярностью заклятья, и я ждал наступленья той первой здоровой ночи, после которой мог бы возобновить знакомую и родную жизнь вслед за этой, неузнаваемой, никакой, непроглядной.

Тогда бы только и смогли прийти: родители, ты, Роллан, Париж и все остальное, упущенное, уступленное, проплывшее мимо.

Может быть, это затянулось по моей вине. Больше еще, чем участие врачей, требовалось участие времени. Я ему вредил своим нетерпением... Это было похоже на узел с вещами, разваливающимися в спешке: подбираешь одно, ползет другое.

Это прекратилось лишь недавно, с переездом всех в город с дачи и моим возвращением к привычной обстановке. Я стал спать и занялся приведеньем здоровья в порядок...

Теперь я прочел твою прозу. Вся очень твоя, всегда смотришь в корень и даешь полные, запоминающиеся определения, все безошибочно, но всего

замечательнее «Искусство при свете совести» и «У Старого Пимена»; отчасти и о Волошине. В этих, особенно названных двух, анализ, ненасытимость анализа так сказать, вызваны природою предмета, и жар, и энергия, которые ты им посвящаешь, естественны и легко разделимы.

В «Матери и музыке» такой надобности на первый взгляд меньше, или же разбор, как ты и сама замечаешь (диезы и бемоли) идет не по существу. Но твоих образов и черточек и тут целая пропасть...

Летом мне переслали твое письмо... Я не мог тебе ответить вовремя, потому что был болен. Помнишь ли ты свою фразу про абсолюты? В ней все преувеличено. А состояние мое, которому ты была свидетельницей, преуменьшено. Но такое непонимание — оно естественно — я встретил и со стороны родителей: они моим неприездом потрясены и перестали писать мне.

Я хочу жить и боюсь что-нибудь накаркать. Давай думать, что это только перерыв в моей жизни...

Но, допустим, — а вдруг я поправлюсь и все вернется? И мне опять захочется глядеть вперед, и кого же я там, по силе и подлинности того, например, что было в Рильке, вместо тебя увижу?..

Когда же вы приедете?

Скажи, а не навязываюсь ли я тебе, — после твоего летнего письма?

Твой Б.»

(*А. Эфрон.* С. 162, 164).

[2] Рильке писал Цветаевой 19 августа 1926 г. среди прочего, что она «строга и почти жестока» к Пастернаку и к нему.

[3] Из стихотворения Б. Пастернака «Я их мог позабыть? Про родню...» (1921).

[4] Речь идет о выступлении Цветаевой на своих литературных вечерах с целью заработка.

[5] Н. С. Тихонов. См. письмо к нему и комментарии в т. 7.

Л. О. ПАСТЕРНАКУ

1

Многоуважаемый г〈осподин〉 Пастернак,

Не откажите в любезности переслать это письмо Вашему сыну. Я бы никогда не решилась беспокоить Вас такой просьбой, если бы не указание в письме самого Бориса Леонидовича[1].

С совершенным уважением

М Цветаева.

Берлин, 29-го нов〈ого〉 июня 1922 г.

2

Meudon (S. et. O.)
2, Avenue Jeanne d'Arc
11-го октября 1927 г.

Дорогой господин Пастернак.

С благодарностью уведомляю Вас, что сумму в 1300 франков получила, и сожалею, что невольно доставила Вам столько хлопот.

Позвольте прибавить, что Вы, несомненно, счастливейший из отцов, ибо сын Ваш делает Вам честь.

Недавно в сборнике произведений современных поэтов я прочла его автобиографическую заметку, начинающуюся словами: «Многим, если не всем, обязан отцу, академику Леониду Осиповичу Пастернаку, и матери...»[1] Если Вы помните (чего явно не помнил Ваш сын, когда писал эти строки) — так начал свою книгу «Наедине с собой» Марк Аврелий[2].

В наше время (которое *ненавижу),* когда каждый птенчик, выпавший из гнезда, считает себя слетевшим с неба, подобная исповедь в полном смысле слова *неслыханна* и лишь подтверждает небесное происхождение ее автора. Истинная величина никогда не приписывает себя — самой себе, в чем она, без сомнения, права. Это всегда вопрос преемственности, сыновности.

Моя вторая просьба, дорогой г⟨осподин⟩ ⟨Пастернак⟩, когда будете писать своему сыну, передать ему следующее: 1) я получила его книгу «1905 год»[3], которой восхищена *всеми силами души,* как и все его друзья, известные и неизвестные; 2) дети мои совсем поправились, я — почти (это вопрос терпения)[4]; 3) как только у нас сделают дезинфекцию — это будет около 20-го — пошлю ему большое письмо, которое день за днем — пишу в свою черновую тетрадь.

И моя просьба — третья и последняя — примите от меня, дорогой господин ⟨Пастернак⟩, в знак моего восхищения и дружбы последнюю мою книгу стихов «После России» (выйдет в этом месяце)[5] и не бойтесь ее «новизны». Всеми своими корнями я принадлежу к прошлому. А только из *прошлого* рождается *будущее.*

Марина Цветаева-Эфрон

3

Meudon (S. et O.)
2, Avenue Jeanne d'Arc
5-го февраля 1928 г.

Дорогой Леонид Осипович,

Пишу Вам после 16-часового рабочего дня, усталая не от работы, а от заботы: целый день кручусь, топчусь, верчусь, от газа

к умывальнику, от умывальника к бельевому шкафу, от шкафа к ведру с углями, от углей к газу, — если бы таксометр! В голове достукивают последние заботы: выставить бутылку— сварить Муру на утро кашу—заперт ли газ? Так—каждый день, вот уже—сколько?—да уж шесть лет, с приезда заграницу. России не считаю, *то* (1917 г. — 1922 г., Москва) — *неучтимо.*

Времени на себя, т. е. стихи, совсем нет, всю жизнь работала по утрам, днем не могу, но хуже, вечером и ночью — совсем не могу, не та голова. А утра — непреложно — не мои. Утрá — метла.

Я не жалуюсь, я только ищу объяснения, почему именно я, *так* приверженная своей работе, всю жизнь должна работать другую, *не мою.* Дело не в детях — они помогают: дочь (14 лет, я вышла замуж 17-ти) вполне реально, сын (3 года)—тем, что существует. Дело—всю жизнь, даже в Революцию не верила!— может быть действительно — в деньгах?

Были бы деньги, села бы в поезд и приехала бы к вам (Вам и маме Бориса) в Берлин, посетила бы Вашу выставку[1], послушала бы о Вашей молодости и Борисином детстве, я люблю слушать, прирожденный слушатель—только не лекций и не докладов, на них сплю. Вы бы меня оба полюбили, знаю, потому что я вас обоих уже люблю. Борис мне чудно писал о своей маме— отрывками—полюбила ее с того письма.

А Борис совсем замечательный, и как его мало понимают—даже любящие! «Работа над словом»... «Слово как сáмоцель»... «Самостоятельная жизнь слова»... — когда все его творчество, каждая строка—борьба за *суть,* когда кроме *сути* (естественно, для поэта, высвобождающейся через слово!) ему ни до чего дела нет. «Трудная форма»... Не трудная форма, а трудная суть. Его письма, написанные с лету, ничуть не «легче» его стихов. — Согласны ли Вы?

По его последним письмам вижу, что он очень одинок в своем труде. Похвалы большинства ведь относятся к *теме* 1905 года, то есть нечто вроде похвальных листов за благонравие. Маяковский и Асеев? Не знаю последнего, но — люди не его толка, не его воспитания, а главное — не его духа. Хотелось бы даже сказать — не его века, ибо сам-то Борис — не 20-го! Нас с ним роднят наши общие германские корни, где-то глубоко в детстве, «O Tannenbaum, o Tannenbaum»* — и всё отсюда разросшееся. И одинаковая одинокость. Мы ведь с Борисом собирались ехать к Рильке— и сейчас не отказались—к этой могиле дорожка не зарастет, не мы первые, не мы последние. — Дорогой Леонид Осипович, когда освободитесь, — *запишите* Рильке! Вы ведь помните его молодым[2].

---

* «О ёлка, о ёлка» *(нем.).*

Много и с большим увлечением рассказывала о вас обоих Анна Ильинична Андреева[3], восхищалась *московскостью* жизненного уклада — «совсем арбатский переулочек!», а главное вашей — обоих — юностью и неутомимостью. Она меня очень благодарила за эту встречу, а я — ее за рассказ.

Горячо радуюсь делам выставки. Бесконечно жалею, что не увижу. Я Вас видела раз в Берлине, в 1922 г., где-то около Prager-Platz, Вы шли с совсем счастливым лицом, минуя людей, навстречу закату. Я Вас очень точно помню, отпечаталось.

Ради Бога, не считайтесь сроками и письмами, для меня большая радость Вам писать. Давайте так: Ваша *мысль* в ответ пойдет за письмо.

МЦ.

Да! Недавно, с оказией, послала Борису чудный портсигар с металлическим (змейкой) затвором и зажигалку, самую лучшую, — ее мне недавно подарили. Что раньше потеряет?

4

Meudon (S. et O.)
2, Avenue Jeanne d'Arc
9-го февраля 1928 г.

Дорогой Леонид Осипович!

Обращаюсь к Вам с большой просьбой: не найдете ли Вы мне нескольких подписчиков на мою книгу стихов «После России»? Посылаю в отдельном конверте 5 бланков.

Техника такова: подписчик заполняет бланк и отсылает его издателю с соответствующей суммой. Деньги идут не мне, а в типографию в уплату за книгу, — чтобы только не выглядело, что я прошу на себя! Я со всей книги наверное ничего не получу.

Если окажутся желающие, поторопите их с осуществлением, от него зависит появление книги.

Это называется изданием по подписке, так издаюсь в первый раз и, по совести сказать — неприятно. Не по мне — «роскошная» бумага и нумерованные (хотя бы от руки!) экземпляры[1]. Моя́ нумерация — сердечная.

Ради Бога, не думайте, что нужно устроить все 5 подписок, посылаю на всякий случай. Мне вообще очень стыдно за эту просьбу. Как за всё, касающееся денег, которые — если только не старинная монета! — *ненавижу*.

Это не письмо, в счет не идет, откликнетесь, когда сможете.

Сердечный привет Вам и Вашим.

МЦветаева

5

Meudon (S. et O.)
2, Avenue Jeanne d'Arc
20-го марта 1928 г.

Дорогой Леонид Осипович,

Сердечное и, к большому стыду моему, сильно запоздавшее спасибо за подписки. Каждый день хотела благодарить и каждый день откладывала из-за желания сделать это по существу. Но очевидно и сегодня не удастся. Знаете ли Вы гениальное стихотворение какого-то нашего современника (сама не читала, говорю со слов), кончающееся припевом — «у нас есть всё: то-то, то-то и еще это — *nur Zeit**». (Стихотворение о рабочих) — Так и я.

Часто получаю письма от Бориса, он по-моему замучен людьми, — не оборотная, а *лицевая* сторона славы!

Поэты, не умеющие писать стихи и приходящие к нему за рецептом, не думая о том, что он-то сам — ни к кому не ходил! В России 10 тыс⟨яч⟩ *зарегистрированных* поэтов — нет, ошибаюсь: в одной Москве! В России-то, наверное, тысяч сто!

Всячески внушаю Борису жёсткость, если не жестокость. День состоит из часов, часы из минут. «На минутку»…. *Мой* рецепт Борису — формула: «Вас много, а я один».

— О книжках. Как только будут пришлю все три Вам, Вы раздадите.

Еще раз, дорогой Леонид Осипович, от всего сердца спасибо за помощь. Сердечный привет и наилучшие пожелания Вам и Розе Исаевне[1].

МЦ.

Пастернак Леонид Осипович (1862—1945) — живописец и график, отец Б. Л. Пастернака. Член-учредитель Союза русских художников. С 1921 г. жил в Германии, затем в Великобритании. Личного знакомства Цветаевой с Л. О. Пастернаком, по-видимому, не произошло.

Письма впервые опубликованы: 1, 3—5 — *НП* (печатаются по тексту первой публикации), письмо 2 — Новый мир. 1969. № 4 (по черновику в тетради в русском переводе с французского А. С. Эфрон). Печатается в переводе с белового оригинала, выполненном В. Лосской с использованием перевода А. Эфрон.

1

[1] См. письмо 1 к Б. Пастернаку и комментарий 1 к нему.

* Только время *(нем.)*.

2

[1] Цветаева цитирует начало автобиографии Б. Пастернака, написанной в 1924 г. для издания: Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. Под ред. Вл. Лидина (М.: Современные проблемы, 1926). Заметка начиналась словами: «Я родился в Москве, 29 января ст⟨арого⟩ стиля 1890 г. Многим, если не всем, обязан отцу, академику Леониду Осиповичу Пастернаку, и матери, превосходной пианистке...»

[2] *Марк Аврелий* (121—180)—римский император; свой прославленный философский труд «Наедине с собой» начинает размышлениями о том, кому с ранних лет был обязан чертами своей личности и судьбы (родным, близким, учителям, друзьям, богам).

[3] «Девятьсот пятый год» (М.; Л.: ГИЗ, 1927).

[4] Цветаева с детьми осенью 1927 г. переболели скарлатиной.

[5] См. письма 4 и 5.

3

[1] Первая персональная выставка за границей, открывшаяся в конце 1927 г. в Берлине, в частном салоне Хартберга. «Успех превзошел все мои ожидания как в моральном, так и в материальном отношении»,—писал о выставке Л. О. Пастернак (Записи разных лет. М.: Сов. художник, 1975. С. 93).

[2] В серии зарисовок «Мои встречи и модели» Л. О. Пастернак «записал» портрет молодого Рильке: «В один из прекрасных весенних дней ⟨...⟩ в моей мастерской стоял молодой человек, очень еще молодой, белокурый, хрупкий, в темно-зеленом тирольском плаще. ⟨...⟩ ...весь внешний облик этого молодого немца ⟨...⟩ с его небольшой мягкой бородкой и крупными голубыми, по-детски чистыми, вопрошающими глазами и то, как он стоял, осматривая комнату, скорее напоминал русского интеллигента. Его благородная осанка, его жизнерадостное, подвижное существо, необузданный восторг по поводу всего виденного уже в России ⟨...⟩—все это сразу очаровало меня» (там же. С. 146). Кисти Л. О. Пастернака принадлежит также портрет Рильке (1926).

[3] См. письмо к А. И. Андреевой и комментарии к нему (т. 7).

4

[1] В анонсе на новую книгу Цветаевой была оговорка, что «ограниченное число экземпляров (не более ста) этого издания, нумерованных и подписанных автором, будет отпечатано на роскошной бумаге и в продажу не поступит. Цена нумерованного экземпляра по подписке 100 франков» (Версты. 1928. № 3. С. [291]).

5

[1] Правильно: Розалия Исидоровна. См. письмо к Л. О. и Р. И. Пастернакам.

Л. О. и Р. И. ПАСТЕРНАКАМ

Meudon (S. et O.)
2, Avenue Jeanne d'Arc
21-го декабря 1927 г.

Дорогие папа и мама Бориса,

Сердечное спасибо за чудесные подарки и память. Медведя-болонку хотела додержать до Рождества, но Мур (сын) услышал писк и примчался, — всё было поздно. Спит с ним, ест с ним, гуляет с ним, а на вопрос, откуда такое чудо: «А éто от папы и мамы Болиса Пастенака». — «А кто Борис Пастернак?» — «Паéт: поёт всё время». — Если бы! —

Пишу Вам эти несколько строк только чтобы поблагодарить, очень хочу написать Вам большое письмо о Борисе, о его 1905 годе, — многом.

Как зовут Борисину маму?

— 29-го годовщина Рильке.

«Dunkle Zypressen!
Die Welt ist gar zu lustig!
Es wird doch alles vergessen»* [1].

Когда-нибудь — если встретимся — прочту Вам его стихи ко мне, последнюю из его Duineser Elegien**, написанную за 4 месяца до его смерти[2]. Знает ее кроме меня только Борис. Но Вам покажу, и то письмо покажу, где он о Вас, дорогой Леонид Осипович, писал: Ваше имя русскими буквами[3].

Все это — стихи, письма, карточки — когда умру завещаю в Рильковский — музей? (плохое слово) — в Rilke-Haus***, лучше бы — Rilke-Hain!**** который наверное будет. Не хочу, чтобы до времени читали, и не хочу, чтобы пропало. *В Россию, как в хранилище не верю,* всё еще вижу ее пепелищем.

До свидания! Еще раз спасибо за память и внимание. Чулки чудные, поделилась с дочерью, а сын к весне как раз дорастет: он у меня великан.

МЦ.

P. S. Это не письмо. Письмо — впереди. Да! главное: внук или внучка? Как адр⟨ес⟩ Вашей дочери в Мюнхене и как ее имя?[4]

Как Вам понравилась г⟨оспо⟩жа Андреева?[5] Ее мало любят, я ее люблю.

---

* См. перевод на с. 235.
** Дуинезские элегии *(нем.)*.
*** Дом Рильке *(нем.)*.
**** Роща Рильке *(нем.)*.

Пастернак (урожденная Кауфман) Роза (Розалия) Исидоровна (1868–1939) – пианистка, музыкальный педагог. Мать Б. Л. Пастернака.

Впервые – *НП*. Печатается по тексту публикации.

[1] Заключительные строки стихотворения «Frauen-Ritornelle» Т. Шторма. Эти же строки Цветаева взяла эпиграфом к поэме «Перекоп» (см. т. 3). См. также комментарий 8 к письму 4 к Б. Л. Пастернаку.

[2] Стихотворение Рильке «Элегия», посвященное Цветаевой, см. в письме 98 к А. А. Тесковой. К сборнику «Дуинезские элегии», вышедшему в 1923 г., стихотворение отношения не имеет.

[3] Цветаева имеет в виду то место в письме Рильке к ней от 3 мая 1926 г., где он писал: «...Вы знаете, что уже более 26 лет (с того времени, как я был в Москве) я причисляю отца Бориса, Леонида О⟨сиповича⟩ П⟨астернака⟩, к своим верным друзьям. Этой зимой (в самом ее начале) после долгого-долгого перерыва я получил от него письмо из Берлина и ответил ему, глубоко радуясь, что мы снова нашли друг друга. Но уже до известия от *Леонида Осиповича* (выделено Рильке. – *Сост.*) я знал, что его сын стал значительным и сильным поэтом...» и т. д. (*Письма 1926 года.* С. 84).

[4] Речь идет о дочери Л. О. и Р. И. Пастернаков, Жозефине (1900–1993). Ее новорожденной дочке Цветаева прислала кусок шелковой голубой материи.

[5] См. письмо к А. И. Андреевой и комментарии к нему (т. 7).

Л. Е. ЧИРИКОВОЙ

1

Мокрые Псы, 4-го нов⟨ого⟩ авг⟨уста⟩ 1922 г.

Дорогая Людмила Евгеньевна!

Пока – два слова. Еще не устроились, живем в Мокрых Псах, в чужой комнате. Нынче переезжаем к леснику. Это очень высоко, совсем в горах, в солнечную погоду будет прекрасно.

Людей – никого.

Я всегда радуюсь новому, буду играть (сама с собой и сама для себя) – лесную сказку с людоедом-лесником и ручными ланями.

Ваших видела два раза. Вы не похожи ни на сестру, ни на брата, Вы старше (внутренно), более выявлены[1].

Ходили с Вашим братом нынче к леснику (С⟨ережа⟩ боялся), а вчера вечером были у них в гостях и я съела все вишни из-под наливки.

Эти деньги – мой немецкий остаток, постепенно перешлю Вам все, если можно – купите мне в Salamander* Bergschuhe**, 38 номер. (Желтые, грубоватые, довольно низкий каблук)[2].

* Название обувного магазина *(нем.)*.

** Горные ботинки *(нем.)*.

Пусть они будут у Вас, с С⟨ережи⟩ными. И – покорнейшая просьба – обменяйте там же С⟨ереж⟩ины башмаки на 45 номер, в 46-ом он утонет. Словом, возьмите на номер меньше, той же формы.

Простите за поручение, больше не буду утруждать. Целую нежно. Пишите на С⟨ережу⟩: *Praha* VIII, Libeň Swobodarna, Herrn Sergius Efron (для меня)[3].

Долг (чешскими) перешлю на днях.

МЦ.

⟨*Приписка на полях:*⟩

Если есть деньги, купите мне башмаки (Bergschuhe, с языком!) сразу, сколько бы ни стоили. Деньги (герм⟨анские⟩) перешлю в течение недели.

2

Мокропсы, 16-го нов⟨ого⟩ Октября 1922 г.

Дорогая Людмила Евгеньевна,

Будьте моим спасательным кругом: пойдите с этим письмом к Абраму Григорьевичу Вишняку[1], передайте ему его в руки, настойте, чтобы прочел при Вас и добейтесь ответа.

(Письмо прочтите!)

Адр⟨ес⟩ его: Bambergerstr⟨āe⟩ 7, угловой дом с Prager-str⟨āe⟩, на окне огромная вывеска – Геликон – сразу в глаза бросается.

Бывает он в из⟨дательст⟩ве, по-моему, около 12 1/2 дня, а потом вечером, от 5-ти до 6-ти. – Так, по крайней мере, бывал раньше.

К сожалению, забыла № его телеф⟨она⟩, а то можно было бы позвонить, чтоб не ходить даром. Но лучше, чтобы какой-нибудь мужчина позвонил, если Вы назовете себя, он сразу свяжет со мной.

Письма ни за что в из⟨дательст⟩ве не оставляйте: важно, чтобы оно было передано ему *в руки*.

Все это очень конспирационно, когда-нибудь, при встрече, объясню.

Будьте милы, но *тверды*. Можете, между прочим, вскользь бросить, что может быть скоро сама буду в Берлине (не собираюсь – исключительно на предмет устрашения!) – но что *не* наверное – и что рукописи убедительно прошу переслать.

Ради Бога, не перепутайте писем и не дайте ему, вместо его – своего!

Получили ли Вы мое последнее письмо? Вы кажется тогда были в Гамбурге.

Очень ли свирепствует Каплун?[2] Напишите подробно! — Что с Царь-Девицей?

Скоро напишу еще.

Целую нежно.

МЦ.

Обставить можно очень изящно: «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩ знает, как Вы заняты, и боится, что за другими делами опять не удосужитесь ей ответить...» и т. д.

Опишите всю встречу подробно!

Между его трогательными проводами тогда — помните? — и теперешним поведением (упорное молчание на деловые письма) не лежит ничего.

Я, по крайней мере, не оповещена, — догадываюсь. — Это жест страуса*, прячущего голову — и, главное *ОТ МЕНЯ,* к⟨отор⟩ая от высокомерия та́к — *всегда — всё* — наперед прощает!

3

Мокропсы, 3-го нов⟨ого⟩ ноября, 1922 г.

Моя дорогая Людмила Евгеньевна,

Бесконечное спасибо за всё, — вчера прибыли первые геликоновы грехи: книжка Ахматовой — и покаянное письмо[1].

Глубоко убеждена, что *я* в этом покаянии ни при чем. — Вы были тем жезлом Аарона (?), благодаря коему эта сомнительная скала выпустила эту сомнительную слезу[2].

— В общем: крокодил. А впрочем — черт с ним!

Вы мне очень помогли, у меня теперь будут на руках мои прежние стихи, к⟨отор⟩ые всем нравятся.

С новыми (сивиллиными словами) я бы пропала: никому не нужны, ибо написаны с того брега: *с неба*!

Давайте говорить о Вас.

Вы уезжаете[3]. — Рукоплещу. — Но есть два уезда: *от* — и: *к*. Предпочла бы первое: это благородный жест: женщина как я ее люблю.

Не отъезд: отлет.

Если же *к* — или: *с* — что ж, и это надо, хотя бы для того, чтобы потом трижды отречься, отрясти прах.

Душа от всего растет, больше всего же — от потерь.

---

* К⟨отор⟩ый напакостил! *(примеч. М. Цветаевой)*

Вы — настоящий человек, к тому же — юный, я с первой встречи любовалась этим соединением, люди ошибаются, когда что-либо в человеке объясняют возрастом: человек рождается *ВЕСЬ!* Заметьте, до чего мы в самом раннем возрасте и — через года и года! — одинаковы, любим все то же. Какая-то *непреходящая* невинность.

Но люди замутняют, любовь замутняет, в 20 л⟨ет⟩ думаешь: новая душа проснулась! — нет, просто старая праматерина Евина плоть. А потом это проходит, и в 60 л⟨ет⟩ ты под небом все тот же — все та же — что в 6 л⟨ет⟩. (Мне сейчас — 600!)

Так или иначе, от кого бы и к кому бы (от *чего бы* и к *чему бы,* п. ч. Ваша судьба в чувствах, а не в людях!) — от чего бы и к чему бы Вы не ехали — Вы едете в свою же душу (*Ваши* события — все внутри), кроме того в вечный город, *так* много видевший и поглотивший, что поневоле все остро-личное стихнет, преобразится.

У Вас будет Сена, мосты над ней, туманы над ней: века над ней. Tombeau des Invalides*, — Господи: Версаль в будни, когда никого нет, Версаль с аллеями, с прудами, с Людовиками!

Я жила в Париже, — давно, 16-ти лет, жила одна, сурово, — это был скорей сон о Париже, чем Париж. (Как вся моя жизнь — *сон* о жизни, а не жизнь!)

Пойдите в мою память на Rue Bonaparte, я там жила: 59-bis. Жилище выбрала по названию улицы, ибо тогда (впрочем, это никогда не пройдет!) больше всех и всего любила Наполеона.

Rue Bonaparte — прелестная: католическая и монархическая (légitimiste!**), — в каждом доме антикварная лавка.

Хорошо бы, если бы Вы там поселились: по плану — между площадями St. Germain des Prés и St. Germain d'Auxerrois, на самой Сене, — Латинский квартал.

И, что́ особенно должно привлечь Вас — в каждом окошке по 110-летнему старику и 99-тилетней старушке.

4

Мокропсы, 4-го нов⟨ого⟩ апреля 1923 г.

Моя дорогая Людмила Евгеньевна,

Посылаю Вам 20 фр⟨анков⟩ с следующей мольбой: купите на них шоколаду и отнесите его сами, лично, пораньше утром, чтобы застать, по следующему адресу: Bd. des Invalides, 2, Rue Duroc (chez Beaumont) — Сергею Михайловичу Волконскому. Это моя лучшая дружба за жизнь, умнейший, обаятельнейший, стариннейший, страннейший и — гениальнейший человек на свете.

* Гробница Инвалидов *(фр.)*.
** Легитимистка! *(фр.;* от légitimite — законность)

Ему 63 года. Когда Вы выйдете от него, Вы забудете, сколько Ва́м. И город забудете, и век, и число.

Цветов *не* покупайте: он любит шоколад.

Вторая просьба: не могли ли бы Вы что-нибудь устроить ему со шведскими переводами? В его книге «Родина» (1860—1921) много для иностранцев любопытного. (Книга *восхитительна,* Ваш отец в восторге, все Ваши читают.)[1]

Моя дорогая умница, моя нежная умница, мне никогда не стыдно Вас просить, мне только жаль, что Вы никогда у меня ничего не просите.

Ваше очаровательное письмо получила. Я вас *очень* люблю, знайте это, Вы во всем настоящая, я всегда говорю С⟨ереже⟩ — «Если бы Л⟨юдмила⟩ Е⟨вгеньевна⟩ здесь была, я была бы *вдвое* счастливее!»

Мужская дружба с женщиной, — что́ лучше?!

Не писала, потому что *завалена* работой: переписываю огромную книгу прозы[2]. Глаза болят. (Печатным шрифтом!) Было много разных корректур. В промежутках — стихи, которые *хотят* быть написанными! День летит, дни летят.

Подружитесь с Волконским! Он очень одинокий человек, я с ним умела, и Вы с ним сумеете. Это большая духовная ценность, у него мало друзей. Познакомилась я с ним в Москве[3], в январе 1920 г., и люблю его, как в первый день.

Я знаю, что идти к чужому *трудно* — но Вы же героиня! Вы же не ищете легкого! И, только переступив порог, — Вы сразу поймете.

В следующий раз — больше, о весне, о Вас, о себе, обо всем. — С Вашими дружу, особенно с Е⟨вгением⟩ Н⟨иколаевичем⟩. Пасху верно будем встречать вместе.

Целую нежно. *МЦ.*

P. S. Только не откладывайте! Шоколад долженствует изобразить пасхальное приветствие.

⟨*Приписка на полях:*⟩

P. S. Шоколад купите плитками, в коробках дорого.

5

Прага, 27-го нов⟨ого⟩ апреля, 1923 г.

Моя дорогая Людмила Евгеньевна,

Пишу Вам в Праге, посему карандашом. (Без пристанища.) Спасибо бесконечное за поход к Волконскому, когда не знаешь

другого, он — отвлеченность, а ради отвлеченности лишний раз веками не взмахнешь. Вы поверили мне нá слово, что В⟨олконский⟩ — есть. Спасибо.

Спасибо еще за то, что поняли, увидели, проникли (в сущность иногда трудней, чем в дом, — даже запертой!). Он *очень* одинокий человек: уединенный дух и одинокая бродячая кость. Его не надо *жалеть,* но над ним надо задуматься. Я бы на Вашем месте дружила: заходила иногда, заводила, — он любит мрачные углы, подозрительные закоулки — tout comme Vous*.

Он отлично знает живопись, и как творческий дух — всегда неожиданен. Его общепринятостями (даже самыми модными!) не собьешь.

И вообще это знакомство, которое стоит длить. Это последние отлетающие лебеди *того* мира! (NB! Если С⟨ергей⟩ М⟨ихайлович⟩ лебедь, то — черный. Но он скорей старый орел.)

А мы судимся. Да, дитя мое, самым мрачным образом. Хозяева подали жалобу, староста пришел и наорал (предлог: сырые стены и немытый пол) и вот завтра в ближайшем городке — явка. Мы всю зиму прожили в этой гнилой дыре, где несмотря на ежедневную топку со стен потоки струились и по углам грибы росли, — и вот теперь, когда пришло лето, когда везде — рай, — «Испортили комнату, — убирайтесь на улицу». С⟨ережа⟩ предстоящим судом изведен, издерган, я вообще устала от земной жизни. Руки опускаются, когда подумаешь, сколько еще предстоит вымытых и невымытых полов, вскипевших и невскипевших молóк, хозяек, кастрюлек и пр.

Денег у меня никогда не будет, мне нужно мно — о — го: откупиться от всей людской низости: чтобы на меня не смел взглянуть прохожий, чтобы никогда, нигде не смел крикнуть кондуктор, чтобы мне никогда не стоять в передней, никогда и т. д.

На это не заработаешь.

Ах, как мне было хорошо в Б⟨ерлине⟩, как я там себя чувствовала человеком и как я здесь хуже последней собаки: у нее, *пока лает,* есть право на конуру и сознание конуры. У меня ничего нет, кроме ненависти всех хозяев жизни: за то, что я не как они. Но это шире крохотного вопроса комнаты, это пахнет жизнью и судьбой. Это нищий — пред имущими, нищий — перед

---

* Совсем как Вы *(фр.)*.

неимущими (двойная ненависть), один перед всеми и один против всех. Это душа и *туши,* душа и *мещанство.* Это мировые силы столкнулись лишний раз!

Не умею жить на свете!

Вы верите в другой мир? Я — да. Но в грозный. Возмездия! В мир, где царствуют Умыслы. В мир, где будут судимы судьи. Это будет день моего оправдания, нет, мало: ликования! Я буду стоять и ликовать. Потому что там будут судить не по платью, которое у всех здесь лучше, чем у меня, и за которое меня в жизни так ненавидели, а по сущности, которая здесь мне и мешала заняться платьем.

Но до этого дня — кто знает? — далёко, а перед глазами целая вереница людских и юридических судов, где я всегда буду *неправой.*

30-го нов〈ого〉 апреля 1923 г.

Продолжаю письмо уже в Мокропсах. (*Еще* в Мокропсах! Toujours* Мокропсах!). Знаете, чем кончился суд? С〈ережа〉 поехал с другим студентом (переводчиком), хозяин (обвинитель) студента принял за адвоката, испугался и шепотом попросил судью — попросить «пана Се́ргия» почаще мыть пол в комнате, ...«а то — блэхи» (блохи)!!! Судья пожал плечами. «Адвокат», учтя положение, заявил, что полы чисты как снег. Судья махнул рукой. Этим и кончилось. Первым (в Мокропсы) вернулся хозяин: в трауре, в цилиндре, — вроде гробовщика. Мрачно и молча поплелся к себе, переоделся и тут же огромной щеткой стал мыть одно учреждение (как раз под моим окном) — в сиденье которого потом, неизвестно почему, вбил *два кола.* (М.б. он считает нас за упырей? Помните, осиновый кол!)

Этим и кончилось.

(Цель обвинения была, ввиду сезона, выселить нас и взять вместо 220 кр〈он〉 — 350, а то больше!)

Все ваши принимали самое горячее участие в нашем суде и судьбе: и советовали, и направляли, Е〈вгений〉 Н〈иколаевич〉 написал мне письмо к некому Чапеку (переводчику)[1], — было очень трогательно.

Вся деревня на нашей стороне, а это больше, чем Париж, когда живешь в деревне!

---

* Всегда *(фр.).*

Получила нынче письмо от моего дорогого С⟨ергея⟩ М⟨ихайловича⟩. Пишет, что был у Вас, очень доволен посещением. Утешьте его de vive voix* (Вы меня заражаете Францией!) в истории с Лукомским[2], — если ее знаете. Последний ведет себя как негодяй, прислал С⟨ергею⟩ М⟨ихайловичу⟩ наглейшее письмо с упреками в неблагодарности, с попреками гостеприимством и пр⟨очими⟩ прелестями. Заведите речь, просто как художник, упомяните имя Л⟨уком⟩ского, он Вам расскажет. (На меня не ссылайтесь!) Вам будет забавно послушать.

Л⟨уком⟩ского я видела раз в Берлине: фамильярен, аферист и сплетник.

Нынче еду в Прагу на Штейнера[3]. (Вы кажется о нем слышали: вождь всей антропософии, Ася Белого[4] была его любимейшей ученицей.) Хочу если не услышать, то узреть. По более юным снимкам у него лицо Бодлера, т. е. Дьявола.

У нас дожди, реки, потоки. Весна тянется третий месяц, нудная. Пишу и этим дышу. Но очень хочется вон; прочь, — только не знаю: из Мокропсов или с этого света?

Целую нежно. Пишите.

МЦ.

Еще раз: горячее спасибо за С⟨ергея⟩ М⟨ихайловича⟩.

⟨*Приписка на полях:*⟩

P. S. Похудела ли Цетлиниха?[5]

6

⟨Ноябрь. Париж 1926 г.⟩[1]

Дорогая Людмила Евгеньевна! Спасибо за привет и память. И за те давние дары. Мур до сих пор ходит (NB! иносказательно) в Аленушкиной[2] голубой рубашечке.

Париж мне, пока, не нравится, — вспоминаю свой первый приезд, — головокружительную *свободу.* (16 лет — любовь к Бонапарту — много денег — мало автомобилей.) Теперь денег нет, автомобили есть, — и есть литераторы, мерзейшая раса, — и есть богатые — м. б. еще ⟨более⟩ мерзейшая. У меня все растет ирония, и все холодеет сердце. Реально — здесь — для устройства вечера стихов. К Рождеству ждем Сережу, м. б. удастся достать место, — иждивение его кончается.

Аля огромная, с двумя косами, веселая, очень гармоничная, — ни в Сережу, ни в меня. Мур чудный: 30 ф⟨унтов⟩, с ярко-

---

* Живым словом *(фр.)*.

голубыми глазами, длиннейшими ресницами, отсутствующими бровями и проблематическими волосами. Красивые руки — пальцы сходят на нет. Будет скрипачом.

А я? Жизнь все больше и больше (глубже и глубже) загоняет внутрь. Иногда мне кажется, что это не жизнь и не земля — а чьи-то рассказы о них. Слушаю, как о чужой стране, о чужом путешествии в чужие страны. Мне жить *не* нравится и по этому определенному оттолкновению заключаю, что есть в мире еще другое что-то. (Очевидно — бессмертие.) Вне мистики. Трезво. Да! Жаль, что Вас нет. С Вами бы я охотно ходила — вечером, вдоль фонарей, этой уходящей и уводящей линией, которая тоже говорит о бессмертии.

МЦ.

— Наташе *нужно* в Америку. Одна сестра — замуж, другая — за океан[3]. А новый материк ведь не меньше человека?

Чирикова (в замужестве Шнитникова) Людмила Евгеньевна (р. 1896) — художник-график. Дочь писателя Е. Н. Чирикова. В 1920 г. уехала за границу.

О своем знакомстве с Цветаевой Л. Е. Чирикова писала: «Меня судьба столкнула с Мариной Цветаевой в 1922 году в Берлине. Я приехала туда из Египта, где провела два года в Каире после бегства из России. Мне посчастливилось тогда сотрудничать (в частности — заниматься графикой) с моим учителем, художником Билибиным. В Берлине в эти годы русская литературная жизнь была очень оживлена, было много русских издательств, выходили газеты, несколько журналов. Я сразу включилась в работу делать обложки и шрифты для издательств. В том числе я сделала цветную обложку и заставки для поэмы М. Цветаевой, «Царь-Девица». Мне кажется, сблизило нас с Цветаевой одинаковое мироощущение, что кругом все не так, как нужно, нереально, а значит, есть что-то другое, настоящее. Очень скоро Марина Ивановна со своей дочерью Алей уехала из Берлина в Чехию к мужу, Сергею Эфрону. 〈...〉 В Берлине мне пришлось тогда выполнять ряд поручений для Марины Ивановны с издательствами» (Новый журнал. 1976. № 124. С. 140—141). О Л. Е. Чириковой см. также письмо 3 к Р. Н. Ломоносовой (т. 7).

Письма 1, 3—6 впервые — Новый журнал. 1976. № 124. Письмо 2 — *Рус. мысль*. 1991. 10 мая. Печатаются по текстам первых публикаций с уточнениями по фотокопиям с оригиналов.

1

[1] Семья Евгения Николаевича Чирикова (1864—1932) жила тогда во Вшенорах, недалеко от поселка Мокропсы, где поселилась Цветаева. *Сестра* — вероятно, речь идет о младшей сестре Валентине (в заму-

жестве Геринг, Ульянищева, 1898—1988), художнице. Сохранился сборник Цветаевой «Ремесло» с дарственной надписью: «Валентине Евгеньевне Чириковой—моей сестре в болевом, т.е. единственно верном и вечном,—эту, как говорят, радостную книгу, а по мне—совсем не книгу!—от всего сердца. Марина Цветаева. Прага. 15 октября 1923 г.» (находится в частном собрании). *...брат...*—вероятнее всего, Георгий (1901—1993). Другой брат, Евгений (1899—1970), учился в это время в Берлине.

[2] В. Е. Чирикова писала в своих воспоминаниях: «У Цветаевой был собственный стиль одежды и прически—вне моды, вне времени: рубашка, перевязанная поясом простым узлом; волосы—стриженые,—не украшение для лица, а как оконный пролет в мир; обувь—грубоватая, на низком каблуке: туфли-вездеходы. И все так: чтобы не мешало, не отвлекало.

Она любила ходить по горным тропинкам одна или вдвоем» (Новый журнал. 1976. № 124. С. 141—142).

[3] Адрес студенческого общежития в Праге, где жил С. Я. Эфрон, учившийся в то время на философском факультете Карлова университета.

2

[1] См. «Флорентийские ночи» и комментарии к ним в т. 5.

[2] *Каплун* (Каплун-Сумский) Соломон Гитманович (1883—1940)—владелец берлинского издательства «Эпоха», где печаталась поэма-сказка Цветаевой «Царь-Девица». См. также письмо 1 к Р. Б. Гулю.

3

[1] Письмо А. Г. Вишняка от 29 октября 1922 г. вошло во «Флорентийские ночи», как «письмо одиннадцатое, полученное» (см. т. 5).

[2] *Аарон*—первый первосвященник, старший брат пророка Моисея. Согласно библейскому преданию, его первосвященство было подтверждено знаменательным чудом: Моисей положил на ночь в скинию двенадцать жезлов, на каждом из которых было написано имя зачинателя рода. Утром жезл, принадлежащий родословной Аарона, расцвел и принес миндаль.

[3] Л. Е. Чирикова готовилась к отъезду в Париж.

4

[1] Книга С. М. Волконского «Родина» (второй том его мемуаров «Мои воспоминания») вышла в Берлине в издательстве «Медный всадник» в 1923 г. Цветаева посвятила ей большую статью «Кедр. Апология» (см. т. 5).

[2] «Земные приметы». См. об этом письма к Р. Б. Гулю и комментарии к ним.

[3] О знакомстве с С. М. Волконским см. «Из записных книжек и тетрадей» (т. 4).

5

[1] Возможно, речь идет об известном чешском писателе Кареле Чапеке. В 1920 г. выпустил «Антологию французской поэзии» в собственных переводах.

[2] *Лукомский* Георгий Крескентьевич (1884—1952)—художник, искусствовед.

[3] 30 апреля в Праге Рудольф Штейнер читал публичную лекцию «Что хотел Гетеанум и чем должна быть антропософия?»

[4] А. А. Тургенева, первая жена А. Белого.

[5] Мария Самойловна Цетлина.

6

[1] Датируется по содержанию.

[2] *Аленушка*—дочь Л. Е. Чириковой, Елена Борисовна Валенштайн (р. 1923).

[3] Речь идет о сестрах Черновых, Наталье и Ольге. См. письма к О. Е. Колбасиной-Черновой и ее дочерям.

П. Б. СТРУВЕ

1

21-го сентября 1922 г.

Многоуважаемый Петр Бернардович[1],

Месяца два тому назад мною были переданы в Редакцию «Русской Мысли» стихи[2]. Хотела бы знать о их судьбе и, если они приняты, получить гонорар. В «Воле России» я получала 2 кр⟨оны за⟩ строчку.

Одно стихотворение, как я уже говорила Вашему сыну, отпадает, ибо было напечатано Эренбургом в «Портретах русских поэтов»[3]. («Ох грибок ты мой, грибочек...») Могу, если нужно, заменить его другим.

Податель сего письма, мой добрый знакомый Виталий Васильевич Зуев, живущий так же как и я, во Вшенорах, любезно взялся зайти в Редакцию.—Я в городе бываю редко и, к сожалению, всё в Ваши неурочные часы. Глеб Петрович предупреждал меня, что Вы очень заняты.

Прошу передать ответ и—если полагается—гонорар вышеназванному моему знакомому.

Простите за беспокойство. Шлю привет.—Когда-нибудь, надеюсь, познакомимся лично.

Марина Цветаева

2

⟨Январь—февраль 1923 г.⟩[1]

Милый Петр Бернардович,

Очень жалею, что не застала, мне сказали, что Вы принимаете по вторникам, в 6 ч.

Оставляю у вас статью о книге Волконского «Родина»[2], не знаю, подойдет ли для Русской Мысли (если она будет выходить). Очень хотела бы, чтобы Вы просмотрели ее поскорее, у меня др⟨угого⟩ экземпляра нет, а в случае, если Русская Мысль не примет, мне надо стучаться в другие места[3].

Простите за почерк—замерзла.

Шлю привет.

МЦветаева

3

Вшеноры, 4-го декабря 1924 г.

Дорогой Петр Бернгардович,

Вчера С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ передал мне от Вашего имени деньги[1]. Сердечное спасибо за внимание и доброту,—когда люди редко видятся, принято забывать.

Обращаюсь к Вам за советом: у меня до сих пор не издана книга так называемых «контр-революционных» стихов (1917—1921 г.),—все нашли издателей, кроме этой. Книжка небольшая,—страниц на 60. Некоторые из стихов печатались в «Русской Мысли». Хотелось бы, чтобы она существовала целиком, потому что, с моего ведома, такой книги еще не было.

Левые издательства, естественно, от нее отказываются.

Называется она «Лебединый стан»[2], в России ее—изустно—хорошо знали[3].

Если есть какая-либо надежда на ее устройство—отзовитесь, тогда перепишу и представлю Вам.

Вопрос оплаты здесь второстепенен,—мне важно, чтобы тогдашний голос мой был услышан.

Привет и благодарность Вам и Нине Александровне[4].

МЦветаева

Všenory, č⟨islo⟩ 23 (P.P. Dobřichovice)

Струве Петр Бернгардович (1870—1944)—экономист, публицист, философ, отец Г. П. Струве. Редактор дореволюционных и эмигрантских периодических изданий, в том числе выходившего в 1921—1924, 1927 гг. журнала «Русская мысль».

Впервые—*Вестник РХД,* 1991, № 162/163. С. 265—268 (публикация М. Ракович). Печатаются по копиям с оригиналов, хранящихся в Государственном архиве РФ (ф. 5912, оп. 1, д. 132).

1

[1] Здесь и в последующем письме у Цветаевой описка в отчестве адресата.

[2] Пять стихотворений под общим заглавием «Дон» были напечатаны в последнем номере «Русской мысли» за 1922 г., № VIII—XII («Белая гвардия, путь твой высок...», «Кто уцелел—умрет, кто мертв—воспрянет...», «Волны и молодость вне закона!..», «Плач Ярославны», «С Новым Годом, Лебединый стан!..»). См. тт. 1 и 2.

В следующем номере «Русской мысли» (№ I/II за 1923 г.) опубликовано еще три стихотворения М. Цветаевой под общим заглавием «Проводы» («Собирая любимых в путь...», «Никто ничего не отнял!..», «Разлетелось в серебряные дребезги...»). См. т. 1.

[3] В 1922 г. Эренбург выпустил книгу «Портреты русских поэтов» (Берлин, «Аргонавты»), где дал краткие характеристики современных поэтов и привел несколько стихотворений каждого из них.

2

[1] Датируется по содержанию.

[2] Статья Цветаевой «Кедр. Апология (О книге кн. С. Волконского «Родина»)» была написана в январе 1923 г. См. т. 5.

[3] «Кедр» был напечатан в сборнике «Записки наблюдателя» (Прага. 1924. № 1).

3

[1] Речь идет, по-видимому, о денежной помощи.

[2] При жизни не была напечатана. См. комментарий 9 к письму 10 к Р. Б. Гулю.

[3] См., например, главу «Вечер поэтесс» в очерке «Герой труда» (т. 4).

[4] Н. А. Струве, жена П. Б. Струве.

П. П. СУВЧИНСКОМУ

1

Милый Петр Петрович[1],

— Мы с Вами немножко знакомы. — Обращаюсь к Вам с просьбой: сообщите, пожалуйста, адрес Ильина[2] — Сергею Михайловичу Волконскому. Он его тщетно разыскивает всюду.

Адр⟨ес⟩ кн⟨язя⟩ Волконского:
Paris B⟨oulevar⟩d des Invalides
Rue Duroc, 2.

Простите, что так мало Вас зная — уже прошу, но мне о Вас много рассказывал Чабров[3].

Шлю Вам привет.

Скоро выйдут две моих новых книги: «Царь-Девица» и «Ремесло». — Тогда пришлю.

Марина Цветаева

5-го нов⟨ого⟩ ноября
Прага, 1922 г.

⟨*Приписка на лицевой стороне открытки:*⟩

Здесь я живу и буду жить всю зиму. — Последний дом в деревне —

«Как одинок последний дом в деревне, —
Как будто он — последний в мире дом!»[4]
(Rilke)

2

Париж, 25-го января 1926 г.

Милый Петр Петрович,

Позвольте порадовать Вас еще десятком двадцатипятифранковых (хорошо словцо?) билетов, отравой — если не отрадой — на ровно десять дней и ссорой со столькими же буржуями[1].

С искренним соболезнованием

Марина Цветаева

⟨*Приписка рукой С. Я. Эфрона:*⟩

Жду Вас, как было условлено, в пятницу.

Привет, С. Эфрон

3

⟨*Февраль 1926*⟩[1]

ШАТЕР (просто — костер — царственность — сирость).

В ШАТРЕ — и ОРДА[2], только *за* шатром. И *мужское*. Лучше Орды! Шатер — укрывающее, но не удушающее. Дом (или дворец) *со сквозняком*.

А что у Гумилева — Шатер[3] — тем лучше! Гумилев — большой поэт, и такое воссоединение приятно. Кроме того, ШАТЕР — как простор — как костер — ДЛЯ ВСЕХ.

— Вот Вам Петр[4]. — *МЦ*.

4

Лондон, 11-го марта 1926 г.[1]

Дорогой Петр Петрович,

Как мне в жизни не хватает старшего и как мне сейчас, в Лондоне, не хватает Вас! Мне очень трудно. Мой собеседник[2] молчит, поэтому говорю — я. И совсем не знаю, доходит ли и ка́к доходит. Я ведь совсем не вожу людей, особенно вблизи, мне в отношении нужна твердая рука, меня ведущая, чтобы лейтмотив принадлежал не мне. И никто не хочет (м. б. не может!) этого взять на себя, предоставляют *вести* мне, мне, которая отродясь — ВЕДОМЫЙ!

Мы с Вами как-то не так встретились, не довстретились на этот раз, и вместе с тем Вы мне близки и дороги, ближе, дороже. У Вас есть слух на меня, на мое. Мне кажется, Вы бы сумели обращаться со мною (ох, как трудно! и как я сама себе — с людьми — трудна!) Мне нужен покой другого и собственный покой за него. Что мне делать с человеческим молчанием? Оно меня гнетет, сбивает, сшибает, я его наполняю содержанием, может быть вовсе и не соответствующим. Молчит — значит плохо. Что сделать, чтобы было хорошо? Я становлюсь неестественной, напряженно-веселой, совсем пустой, целиком заостренной в одну заботу: не дать воздуху в комнате *молчать*.

Вчера, в один вечер, я издержала столько, что чувствую себя — и ночь не помогла! — совсем нищей. Молчание другого — неизбежность моей растраты, впустую, зря. Человек не говорит. Не говорит и смотрит. И вот я под гипнозом *молчания, глядения,* — враждебных сил!

— «Я очень трудна. Вынесете ли Вы меня две недели?» Большая пауза. — «А Вы меня?»

Мне хотелось бы простоты, покоя, уверенности. А другой не помогает, недвижностью своей вызывая меня на сложность, смуту, сомнение, нечто явно-не мое, от чего унижена и страдаю. Знаете, — когда неверный воздух между людьми? Ненадежный, быстро рвущийся.

Ах, кажется знаю! Не выношу, когда человек наполнен *мною*. Не выношу ответственности. Хочу — *моим, своим,* а не *мною*. Ведь я себя (лично) не люблю, люблю с в о е. Совпадение в с в о е м — вот. А ведь иначе — одиночество, не-встреча, разминовение. Двое

сходятся в третьем — да. Но двоим никогда не встретиться в одном из двух или друг в друге. X любит У, а У любит X = одиночество. X любит У, а У тоже У = одиночество. X любит Z и У любит Z — встреча. Z = свое (для X и для У) совпадение в том, что выше и X и У.

Напишите, права ли я и права ли моя тоска?

Переправа была ужасная[3]. Никогда не поеду в Америку. Лондон нравится[4]. У меня классическая мансарда поэта. Так устала (меньше от моря, чем от молчания) что спала одетая и всю ночь ворочала какие-то глыбы.

Хочу в зверинец, смотреть британского льва, окунуться в чистоту и покой зверя.

Завтра вечер, билеты идут хорошо[5]. Сегодня же перепишу и отошлю «Поэму Горы»[6]. А Св⟨ятополк⟩-М⟨ирскому⟩ Ремизов нравится, он очень огорчен разминовением с Вами. (Я не читала.)[7]

Милый друг, переборите лень и напишите мне хорошее большое письмо. Издалека видней.

Это письмо — только Вам, домой не пишу, потому что не хочу лишних тяжестей.

МЦ.

Ад⟨рес⟩: London WCI
9, Torrington Sq[8]
— мне —

О высылке статьи и денег М⟨ир⟩скому говорила.

Если бы Вы знали, как мне тяжело!

5

Лондон, 15-го марта 1926 г.

Дорогой Петр Петрович,

Вы просто не поняли моего почерка. Какая же у Вас лень, когда Вы начинены динамитом? Вы, за быстротой, просто неучтимы. Où êtes-Vous allé la pêcher?* (Лень.)

А о себе и своем — раздвоении — Вы правы. Но у меня пуще чем разминовение — равнодушие. Мне нет дела до себя. Меня —

---

* Здесь: Откуда она у Вас? *(фр.)*

если уж по чести — просто нет. Вся я — в *своем,* свое пожрало. Поэтому тащу человека в свое, никогда в себя, — от себя оттаскиваю: дом, где меня никогда не бывает. С собой я тороплюсь — как с умываньем, одеваньем, обедом, м. б. вся я — только это: несколько жестов, либо навязанных (быт), либо случайных (прихоть часа). Когда *я* говорю, *я* решаю, я действую — всегда плохо. *Я* — это когда мне скучно (страшно редко). Я — это то, что я с наслаждением брошу, сброшу, когда умру. Я — это когда меня бросает МОЕ. Я — это то, что меня всегда бросает. «Я» — всё, что не Я во мне, всё, чем меня заставляют быть. И диалог МОЕГО со мною всегда открывается словами:

«Вот видишь, какая ты дура!» (Мое — мне.)

И — догадалась: «Я» ЭТО ПРОСТО ТЕЛО... et tout ce qui s'en suit*: голод, холод, усталость, скука, пустота, зевки, насморк, хозяйство, случайные поцелуи, пр⟨очее⟩.

Всё НЕПРЕОБРАЖЕННОЕ.

Не хочу, чтобы *это* любили. Я его сама еле терплю. В любви ко мне я одинока, не понимаю, томлюсь.

«Я» — не пишу стихов.

Мандельштам «ШУМ ВРЕМЕНИ»[1]. Книга баснословной подлости. Пишу — вот уже второй день — яростную отповедь[2]. Мирский огорчен — его любезная проза[3]. А для меня ни прозы, ни стихов — ЖИЗНЬ, здесь отсутствующая. Правильность фактов — и подтасовка чувств. Хотелось бы поспеть к этому № журнала[4] — хоть петитом — не терпится.

Я по Вас соскучилась, я когда-нибудь еще буду очень Вас любить.

Если заняты, не отвечайте, это не переписка, я просто подаю голос. Вечер прошел удачно. Лекцию Д⟨митрий⟩ П⟨етрович⟩ начал с посрамления Чехова[5], который ему более далек, чем нечитаный китайский поэт (хорошо ведь?) Стихи доходили[6]. Хочу на часть денег издать Лебединый Стан[7], он многим нужен, убедилась.

Была у Голицыных[8] — чудный и странный дом. Но хозяйка не любит собак.

---

* И все, что с этим связано *(фр.).*

До свидания, извлекайте С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩, Вы единственный, с кем ему хорошо.

— Как я рада, что я Вас встретила!

МЦ.

Ремизовым не восхищена[9] — не люблю единоличного Ремизова, люблю Ремизова *по поводу,* с чужим костяком. Но поместить надо.

⟨*Приписка на полях:*⟩

Мирский написал небольшую статью (стр⟨аниц⟩ 7 печат⟨ных⟩) о Совр⟨еменных⟩ З⟨аписках⟩ и Воле России[10]. Остро и мужественно.

6

Париж, 29-го марта 1926 г.

Дорогой Петр Петрович,

Если бы Вы сказали: «Не беру, потому что плохо», Вы бы (плохо или нет) были правы. Если бы Вы сказали: «не беру, потому что, взяв, лишусь российского рынка», Вы бы были правы. Но вы осудили вещь[1] *по существу* и этим оказались глубокó-неправы. Задета не кожа, а самое мясо вещи: душа.

Единоличная ответственность автора за вещь — вот девиз журнала, ближайшим участником[2] которого я бы смогла быть. Не в I, а во II, да еще подумайте, да еще подумаем, допустимы ли вообще обличения и т.д. (А *Петр* — сплошное обличение! — допустим? Потому ли, что сообличаете?[3] Потому ли, что «стихи» — не в счет!)

Какое же «ближайшее участие». Поэму горы у меня и В⟨оля⟩ Р⟨оссии⟩ (никогда не вернувшая мне ни одной строки!), и «Благонамеренный» и м. б. даже «Дни» (Алданов[4] великодушен!) возьмут. Аллегорические горы — ça ne tire pas à conséquences*. А вот проза, да еще всеми и каждым оплеванное Добровольчество, звук один этого слова... М. б. и Воля России бы (и с бóльшим правом!) запнулась. Добровольчество — вот Ваш камень преткновения. Обличительную статью Мирского (на чисто-литер⟨атурную⟩ тему) Вы конечно бы взяли[5]. Как обличительную мою. — Хочу, чтобы Вы знали, что — *знаю.*

Вчитайтесь и вдумайтесь и поймите, что «ближайшее участие» так и останется на обложке, *следовательно — на обложке оставаться не должно*[6].

Вот как бы я поступила, если бы не сознание, что сняв себя с обложки, несколько расстраиваю общий замысел (Реми-

* Здесь: осложнений не сулят *(фр.)*.

зов — прозаик, Шестов — философ, я — поэт). В России бы Вы меня заменили. Здесь не Россия.

Посему, ограничиваюсь чувством, а поступок — опускаю.

МЦ.

7

St. Gilles, 2-го июня 1926 г.[1]

Дорогой Петр Петрович,

Вот что пишет, Пастернак об отзыве Мирского (в «Соврем⟨енных⟩ Записках», о нем и мне). «Чудесная статья, глубокая, замечательная, и верно, очень верно*. Но я не уверен, справедливо ли он *определяет* меня. Я не про оценку, а про определенье именно[2]. Ведь это же выходит вроде «Шума Времени» — натюрмортизм. Не так ли? А мне казалось, что я вглухую, обходами, туго, из-под земли начинаю, в реалистическом обличии спасать и отстаивать идеализм, который тут только под полой и пронести, не иначе. И не в одном запрете дело, а в перерождении всего строя, читательского, ландкартного (во временах и пространствах) и своего собственного, невольного»[3].

Когда я это прочла, я ощутила правоту Пастернака, как тогда, читая, неправоту Мирского. И вспомнила — очень неполно, отдельностями — поездку за фартуками, слоготворчество, жгут фуги, измененный угол зрения. Всё, что вспомнила, написала Пастернаку[4], а Вам пишу следующее:

Вспомните полностью, т. е. создавайте заново и напишите: (Жгут фуги это была я, измененный угол зрения — Пастернак). Напишите о нем и мне — *от лица Музыки,* как никто еще не писал. Угол зрения — угол слуха, со зрительного на слуховое.

Просьба не странная, мне до страсти хочется, чтобы лучшее, сказанное о Пастернаке, шло отсюда. СНЯТЫЙ РУБЕЖ. А почему о нем и мне? Потому что все это делают, и письменно и устно, и делают *не так*. Родство и рознь. Берут какое-то соседство, не оправдывая, не подтверждая. Устанавливают факт. Любопытны — истоки.

Этой статьи я хочу и для Пастернака, и для себя, и *для Вас*. Я хочу, чтобы лучшее сказанное о Пастернаке и мне было сказано Вами, МУЗЫКАНТОМ: МУЗЫКОЙ[5]. Вы замечательно пишете, ненавидя статьи полюбила Вас за статью о Блоке[6].

И еще: мне важно снять с Пастернака тяжесть, наваленную на него Мирским. Его там — за бессмертие души — едят, а здесь в нем это первенство души оспаривают. Делают из него *мастера* слов, когда он — ШАХТЕР — души.

---

* Это он о меня касающемся *(примеч. М. Цветаевой)*.

«С заскорузлой от музыки коркой
На поденной душе»..........[7]
(Из его отроческой книги)

(Статьи Св⟨ятополк-⟩ М⟨ирского⟩ сейчас подробно не помню. Загвоздка в противопоставлении моего платонизма его — не знаю чему.)

Кончаю небольшую поэму, разномастную и разношерстную[8]. Приедете — прочту. (Приедете ведь?)

Откармливаю С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩, которого Вы обратили в скелета. Заездили коня — версты![9]

Прочла «Вольницу» Артема Веселого. — Жизнь во всей ее силе. — Прочла письмо Ремизова к Розанову, которое, не сомневаюсь, прочел и Розанов[10]. Порукой — конец.

Две недели сряду читала Письма Императрицы[11], и две недели сряду, под их влиянием (в ушах навязало!) писала ужасающие.

Пейзаж напоминает Мирского — ровно. Я больше люблю горы.

Устрашающие ветра. Сегодня на рынок шла вавилонами как пьяный. Море грязно-бурое, ни одного паруса.

Едим крабов и паучих (спрутов). Пьем вино из собственной бочки, которая стоит в жерле камина. Хозяину и хозяйке двести лет, вину — три месяца.

До свидания, если серьезно хотите приехать, все удостоверю и напишу. Мне только нужно, когда и на какой срок.

Привет Вам и Вере Александровне[12].

МЦ.

8

⟨Начало июля 1926 г.⟩[1]

А подарок из немецкого магазина, — а? Версты чудесны[2]. Вы не ответили мне на письмо, поэтому неприлично писать Вам дольше, хотя и есть чтó!

Напишите, когда приезжаете — встретим.

До свидания, мой миленьк*ой* (влияние Аввакума[3]). Привет Вере Алекс⟨андровне⟩, пусть везет пестрый купальный костюм, здесь всё мужские и траурные.

МЦ.

Ждём 10 экз⟨емпляров⟩ «Вёрст», которые нам необходимы.

9

⟨Сен-Жиль, лето 1926 г.⟩[1]

Единолично

Всего несколько слов. Спешу.

Жестокость, беспощадность, отметание, отрясание, — все это *ведущий.* Я не ведо́мый[2]. Оттого не сошлось. (Не ведо́мый, т. е. безвопросный, неспрашивающий.) Единственный вопрос, лбом в ствол (или в грудь): — Плохо? — Да. — Есть лучше? — Есть. — Давай расскажу. И рассказываю — дереву — Волконскому — школьнику — Тезею[3] — его же. Обмен сиротств. Вот моя дружба с природой.

Мне *плохо* жить, несвойственно, непривычно, от главных человеческих радостей — тоска. Как не люблю моря — не люблю любви, хотя всегда пытаюсь полюбить, поверить (поэтам!) на́ слово. Ничего победоносного во мне. Полная беззащитность. Открытость раны.

Никакого мировоззрения — созерцания. Миро-слушанье, слышанье, ряд отдельных звуков. Может быть свяжутся! Не здесь.

О Вас. Вы старше меня, богаче меня, счастливее. Вообще, у Вас почти что нет ровни. Умственно — может быть, душевно — может быть, вместе: голова к груди — нет. С знающими Вам скучно, с чующими — глупо. Вам со мной глупо.

Часто во время прогулки мне хотелось идти с Вами. Вообще: то, что Вы здесь видели и вообще будете видеть — не я.

Denn dort bin ich gelogen — wo ich gebogen bin*[4].

Я буду по Вас скучать.

МЦ.

Глядя Вам вслед — как с корабля, где не наша воля:

— Вот остров, который я миновала. Может быть — тот, где...

Встреться мы раньше или позже — во всяком случае *иначе* — но эту песенку Вы знаете.

Листка не храните.

---

* Ибо где я согнут — я солган *(нем.) (пер. М. Цветаевой).*

10

‹Сен-Жиль, 3 сентября 1926 г.›[1]

Дорогой Петр Петрович, от Сережиного отъезда[2] отчасти завишу и я, — поэтому очень прошу Вас, устройте то, о чем он Вас просил (Префектура — чиновник — зачисление в международный союз журналистов — через Познера[3]). В три дня ему одному этого ни за что не одолеть и пражская встреча провалится. Пишу en connaissance de cause*. Нынче 3-ье, время у Вас еще есть. Устрашена, в Вашей закрытке, вопросом: «А как же Вы?»

— Договорились ли с Мирским насчет Тезея?[4] С‹ережа› привезет в Париж. Переписала больше половины, когда кончу — напишу Вам. Дайте свой венский ад‹рес›.

Сердечный привет Вам и В‹ере› А‹лександровне›.

МЦ.

— Ваше письмо дошло всячески.

11

St. Gilles, 4-го сентября 1926 г.

Дорогой Петр Петрович,

Письмо дошло, по этому руслу отвечу позже.

Сейчас целиком (не я, время мое) поглощена перепиской Тезея, особенно трудностями начертания некоторых мест (ударения, паузы). Будь Вы здесь, Вы бы мне всё объяснили. Не зная теории, иду по слуху, не зная чужого — иду по собственному, не знаю, кýда иду (веду)[1].

Смотрите: 1) Спит, скрытую истину
Познавшая душ[2].
2) Спи́т скры́тую истину
По́зна́вшая душ
— разное ведь? —

Мне нужно второе, вторым написано. Т. е. ударяются равнó первый и второй слоги, от равной ударяемости, в промежутке, естественно, пауза. Другой пример:

Ветвь, влагой несомая,
Страсть, чти ее — спит
и
Ве́твь, вла́гой несомая
Стра́сть, чти́ ее — спит

NB! то, что мне нужно

* Со знанием дела *(фр.)*.

Мне нужен звук молота в первом слоге, тяжелое падение слога. Но печатать всё с ударениями — невозможно. Ограничиваюсь пометкой: «ударяются первый и второй слоги» и в словах многосложных — тире. Пример:

Те — ла насыщаемы,
Бес — смертна алчба...

Пока добралась в чем дело, переписывала (переначертывала, ибо ПЕЧАТНЫЕ, ВОТ ТАКИЕ, БУКВЫ) страницу по три раза. Весь Тезей — 64 стр⟨аницы⟩ (писчей бумаги, больш⟨ого⟩ формата). — Задача! —

Много поправок (смысловых и словесных) возникают прямо под рукой. Никакая машинка не заменит! Я — рука — бумага. Я — рука — машинка — бумага. Насколько утяжелена инстанция передачи.

Тезей мне, в конечном счете, нравится. Нравится, что справилась. Есть вещи — услада сердцу (Поэмы горы, конца), есть — задача... голове в первую голову. Трудней всего фабула, т. е. постепенность событий. На нее и льщусь.

Вы большой умник. Помните, весной кажется, Вы мне сказали: «Теперь Вам уже не захочется... не сможется писать отдельных стихов, а?» Тогда удивилась, сейчас — сбылось. Лирическое стихотворение: построенный и тут же разрушенный мир. Сколько стихов в книге — столько взрывов, пожаров, обвалов: ПУСТЫРЕЙ. Лирическое стихотворение — катастрофа. Не началось и уже сбылось (кончилось). Жесточайшая саморастрава. Лирикой — утешаться! *Отравляться* лирикой — как водой (чистейшей), которой не напился, хлебом — не наелся, ртом — не нацеловался и т. д. В большую вещь вживаешься, вторая жизнь, длительная, постепенная, от дня ко дню крепчающая и весчающая. Одна — здесь — жизнь, другая — там (в тетради). И посмотрим еще какая сильней!

Из лирического стихотворения я выхожу разбитой.

Да! Еще! Лирика (отдельные стихи) вздох, мечта о том, как бы (жил), большая вещь — та жизнь, осуществленная, или — в начале осуществления.

— Согласны ли Вы со мной? (Наспорившись, хочу общности.)

О нашей жизни здесь. Все были больны, кроме меня. — С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩, Аля, Мур (животная грызть). Шло непрерывное варение каш: всем разных. Теперь С⟨ережа⟩ и Аля обошлись. Мур еще на диете, отощал и погрустнел.

Приехали дети А⟨нны⟩ И⟨льиничны⟩[3] — трое с еще ее родственницей. Живут все у А⟨лександры⟩ З⟨ахаровны⟩[4]. Купаемся.

У осла не были. Ежевику ели — ртом с кустов — раз. Варим варенье и жалеем, что не догадались раньше, в ваше пребывание. Это бы усластило память.

Много раз мысленно начинала Вам письмо, удерживала — от написания — воспитанность: кодекс расставаний, требующий первенства от отъезжающего. Это письмо — не в счет, по другому руслу. Настоящее напишу позже, если дадите свой венский адрес[5]. Хочу — в нем — рассказать Вам, как я с Вами познакомилась. Вы об этом не знали, я об этом — до кануна Вашего отъезда — начисто *забыла*. Теперь — вспомнила. Мне только нужна уверенность в единоличности. — Вот. —

Знайте, что Вы мне сейчас — родной.

МЦ.

Да! Найдите мне в Вене *Stoll* — Мифы (Mythen* или Griechische Mythologie**, очень известная книга)[6] и подарите, непременно с надписью. Хочу, пока еще здесь, начать II ч⟨асть⟩ Тезея — Федру[7]. Вышлите в St. Gilles из Вены. Эта книга была у меня в России, только, если можно не избранные мифы, а полностью. Хотите, в благодарность перепишу «С моря»?[8]

Книга, м. б., для юношества — ничего. Возьмите *самую полную.*

⟨Приписка на полях:⟩

О письме не упоминайте[9].

12

Дорогой Петр Петрович,

Пишу Вам по свежему следу. Если Вы серьезно можете добыть мне 500 фр⟨анков⟩ под Федру[1] — давайте и берите. С «Современными ⟨Записками»⟩ еще не поздно, ибо аванс еще не получен. Но *уверены* ли Вы — не очередная ли прихоть М⟨ир⟩ского! — что № IV Верст — *будет?*[2] Меня бы такой долгий срок даже устраивал — если, положим, от сего дня через 6 месяцев — не было бы беспокойства: а вдруг не кончу?

Деньги мне нужны к отъезду, т. е. не позднее 5-*го**⁾. Обдумайте хорошенько. И ответьте скорее.

МЦ.

26-го авг⟨уста⟩ 1927 г., четверг.

*⁾ Чем раньше — тем лучше. Хотя бы часть. Только что заплатила 86 фр⟨анков⟩ 40 сант⟨имов⟩ за газ. Осталось 30 фр⟨анков⟩.

---

* Мифы *(нем.)*.

** Греческая мифология *(нем.)*.

Кстати, мне остается еще дополучить 100 фр⟨анков⟩ за поэму С моря — 200 строк, по 1 1/2 фр⟨анка⟩ — 300 фр⟨анков⟩, а я получила только 200 фр⟨анков⟩, ибо Сережа, которому Вы давали, думал, что по франку ст⟨рока⟩. Эти 100 фр⟨анков⟩ можете включить в 500, тогда аванс за Федру будет 400. Расписки доставлю.

Убеждена, что приедете на Океан[3], — из чистого сочувствия ко мне. В конце сентября, а? Откроем прогулку с очередным ослом. В начале Октября, — а?

13

⟨*Начало февраля 1928 г.*⟩[1]

Милый Петр Петрович,

Обращаюсь к Вам с большой просьбой: сделайте все возможное, чтобы пристроить прилагаемые билеты, издатель взял на себя 25, на мою долю пало 15, тогда только книга начнет печататься[2].

Техника такова: подписчик заполняет бланк (нужно для нумерации) и направляет по указанному адресу, издателю. С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ доскажет остальное.

Бланк важен только с деньгами, иначе он называется *посул.*

Простите, ради Бога, за просьбу.

МЦ.

14

⟨*Лето 1928 г.*⟩[1]

Милый Петр Петрович,

Поселим Вас не на краю *леса,* а на краю *мяса:* единств⟨енное⟩ свободное помещение у *мясника* на Route de Veau ⟨*нарисована голова теленка*⟩, 2 1/2 километра от моря. Нынче дам задаток. *М.* — Шучу.—

Сувчинский Петр Петрович (1892 — 1985) — музыковед, философ, один из основателей евразийского движения.

Знакомство М. И. Цветаевой с П. П. Сувчинским состоялось, по-видимому, во время ее непродолжительного пребывания в Берлине летом 1922 г. Оба сотрудничали в издательстве «Геликон». Мимолетное

знакомство перешло в более близкое уже после переезда Цветаевой в Париж в конце 1925 г.

Впервые — «Revue des Études slaves». Paris. 1992. XIV/2. (Публикация Ю. Клюкина, В. Козового и Л. Мнухина.) Печатается по тексту первой публикации с уточнениями по фотокопиям с оригиналов.

1

[1] Письмо написано на почтовой открытке с видом чешского селения Вшеноры.

[2] Имеются в виду либо *Ильин* Иван Александрович (1882 — 1954), известный философ, публицист, высланный в 1922 г. из РСФСР в составе группы российских интеллигентов (сотрудничал в ведущих эмигрантских журналах, в том числе в «Русской мысли», редактировавшейся П. Б. Струве и с 1922 г. печатавшейся в Берлине), либо *Ильин* Владимир Николаевич (1891 — 1974), философ, богослов, знаток музыки, в двадцатые годы участвовавший в евразийском движении (Сувчинский хорошо и близко его знал).

[3] *Чабров* (Подгаецкий) А. А. См. комментарии к поэме «Переулочки» (т. 3) и статье «Поэт о критике» (т. 5).

[4] Начальные строки стихотворения без названия из «Книги паломничества», вошедшей в сборник стихов Рильке «Часослов» (1905). Возможно, это перевод Цветаевой, а вероятнее всего, она приводит их по памяти в переводе Юлиана Анисимова (Рильке Р.-М. «Книга часов». Ч. 1. О монашеской жизни. М., 1913. С. 39). Перевод Ю. Анисимова:

Так одинок последний дом в деревне,—
Как будто он последний в мире дом...

2

[1] Речь идет об организации первого творческого вечера Цветаевой в Париже, стоившей ей большого нервного напряжения и многих унижений: надо было выпросить помещение (которое никто не хотел давать бесплатно), найти распорядителя вечера, отпечатать и распространить билеты. Чтобы вечер оказался успешным в финансовом смысле, приходилось просить влиятельных друзей распространить специальные дорогие билеты среди меценатов-толстосумов (Цветаева называет их в письме *буржуями*). Об этом же писал С. Эфрон: «...резкое недоброжелательство почти всех русских и еврейских барынь, от к⟨отор⟩ых в первую очередь зависит удача распространения билетов. Все эти барыни, обиженные нежеланием М⟨арины⟩ пресмыкаться, просить и пр⟨очее⟩, отказались в чем-либо помочь нам» (Письмо С. Эфрона к В. Ф. Булгакову от 9 февраля 1926 г. — РГАЛИ (ф. 2226, оп. I, ед. хр. 1253, л. 5).

3

[1] Приписка к письму С. Эфрона Сувчинскому. Речь здесь идет о выборе названия для готовившегося журнала (будущие «Версты»). Датируется по содержанию.

[2] Название «Орда» предложил А. М. Ремизов в письме Сувчинскому от 9 февраля. Затем, 12 февраля, он добавил к своему предложению новый вариант: «Ясак». А когда Сувчинский придумал название «Версты», он возражал ему в письме от 23 февраля: «лучше крепкое ВЕРСТА» (архив П. П. Сувчинского). Д. П. Святополк-Мирский, со своей стороны, предлагал Сувчинскому назвать журнал «Улус» или «Ясак» (письмо от 8 февраля; архив П. П. Сувчинского). О журнале см. комментарий 2 к письму 6.

[3] Название сборника стихов Н. Гумилева, вышедшего двумя изданиями (Севастополь, Цех Поэтов, [1921]; Ревель, Библиофил, 1922). Севастопольское издание — последняя книга, увиденная при жизни автором.

[4] К письму было приложено стихотворение М. Цветаевой «Петру» (обращено к Петру I). См. т. 1. См. также письмо 6 и комментарий 3 к нему.

4

[1] Письмо написано на следующий день после приезда Цветаевой в Лондон, куда ее пригласил Д. П. Святополк-Мирский.

[2] *Собеседник* — князь Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890 — 1939), критик, историк литературы, участник евразийского движения и близкий друг Сувчинского. В 1932 г. вернулся в Россию. Арестован в 1937 г., погиб в 1939 г. в лагере *Атка,* расположенном в двухстах километрах от Магадана.

Цветаеву со Святополк-Мирским познакомили П. П. и В. А. Сувчинские. Личное знакомство с Цветаевой сделало Мирского горячим поклонником ее таланта. Он написал несколько развернутых рецензий на поэмы «Мо́лодец» (Современные записки. 1926. № 27. С. 569 — 572) и «Крысолов» (Воля России. 1926. № 6/7. С. 99 — 102), отвел ей заметное место в своей «Истории русской литературы», вышедшей в Лондоне на английском языке. В 1926 г. Мирский читал лекции по русской литературе в школе славистики при Лондонском университете. Цель организованной им поездки Цветаевой — дать возможность ей заработать выступлением в ПЕН-клубе и отдохнуть от домашних забот.

В Париж Цветаева возвратилась две недели спустя, 26 марта.

[3] Пересечение Ла-Манша.

[4] См. также письмо 16 к А. А. Тесковой.

[5] В этот же день (11-го марта) Мирский сообщил Сувчинскому: «Вчера приехала Марина Цветаева, завтра ее вечер — денежно, кажется... обеспечен» (Архив П. П. Сувчинского, Париж).

[6] *«Поэма Горы»* была напечатана в № 1 «Верст», который вышел в конце июня – начале июля 1926 г.

[7] В первом номере «Верст» были напечатаны следующие произведения А. М. Ремизова: «Воистину» (Памяти В. В. Розанова), из книги «Николай Чудотворец» и «Россия».

[8] Адрес школы славистики, где преподавал Д. П. Святополк-Мирский.

5

[1] С книгой О. Мандельштама «Шум времени» (Л.: Время, 1925) Цветаеву познакомил скорее всего Д. П. Святополк-Мирский.

[2] Статью «Мой ответ Осипу Мандельштаму» и комментарии к ней см. в т. 5.

[3] Д. П. Святополк-Мирскому принадлежат два хвалебных отзыва на «Шум времени» Мандельштама. В рецензии, опубликованной в журнале «Современные записки» (1925. № 25. С. 542 – 543), он отмечал, «что Шум времени» – одна из трех-четырех самых значительных книг последнего времени, а по соединению значительности содержания с художественной интенсивностью едва ли ей не принадлежит первенство...» Эту оценку, данную Мирским книге Мандельштама, как и другую в журнале «Благонамеренный» (Брюссель. 1926. № 1. С. 126), аналогичную первой, Цветаева, по всей вероятности, знала.

[4] Речь идет о первом номере журнала «Версты».

[5] Своим кратким вступительным докладом Мирский предварил выступление Цветаевой.

[6] Кроме своих стихов Цветаева прочла несколько стихотворений Б. Пастернака.

[7] Желание незамедлительно издать сборник посвященных Белой гвардии стихов «Лебединый Стан» (1917 – 1920) появилось у Цветаевой, по-видимому, после прочтения «Шума времени».

[8] Друзья Сувчинского в Лондоне кн. Владимир и Екатерина *Голицыны*, участвовавшие в евразийском движении.

[9] См. комментарий 7 к письму 4. В целом же Цветаева высоко ценила талант Ремизова. См., например, ее ответ на анкету «Русские писатели о современной литературе и о себе» в журнале «Своими путями» (т. 4), а также письмо 5 к Н. Гронскому (т. 7).

[10] Статья о журналах *«Современные записки»* (I – XXVI. Париж. 1920 – 1925) и *«Воля России»* (1922, 1925 и 1926 гг., № 1 – 11) была опубликована в № 1 «Верст».

6

[1] П. П. Сувчинский не принял для публикации в № 1 «Верст» статью Цветаевой «Мой ответ Осипу Мандельштаму». Позже, в приписке к письму С. Я. Эфрона к Е. Л. Недзельскому, Цветаева посетует

по этому поводу: «Милый Е⟨вгений⟩ Л⟨еопольдович⟩. С моей статьей (о книге «Шум времени»—М⟨андельшта⟩ма) было совершенно так же. В понедельник: возьмем в № 2, а уже в среду—никогда и ни в какой. Причем ни *нет* ни *да* я не добилась, ибо—хотела сказать—ПОЛЯК, но вспомнила к *кому* и *кто* (полька-бабушка*) пишет.

Говорю Вам, билась три часа—ничего не добилась. БЕРЕТЕ или НЕТ?—Да видите ли...

Я этого человека *не* понимаю и ничего не принимаю в нем, кроме необыкновенной головы» (Архив Л. В. Зубовой).

[2] На обложке «Верст» значилось, что журнал выходит под редакцией Д. П. Святополк-Мирского, П. П. Сувчинского, С. Я. Эфрона при ближайшем участии Алексея Ремизова, Марины Цветаевой и Льва Шестова. Подробно об истории создания и существования «Верст» (вышло всего три номера) см.: Саакянц А. Журнал «Версты»//Новый журнал. 1991. № 183. С. 211—217; Струве Г. «Русская литература в изгнании». Париж: YMCA-PRESS, 1984. С. 73—77.

[3] См. комментарий 4 к письму 3. Цветаева имеет в виду неприятие петровских преобразований в своем стихотворении «Петру», совпадающее, по ее мнению, с отношением к ним евразийцев (которое на самом деле было в эту пору гораздо сложнее).

[4] *Алданов* (настоящая фамилия Ландау) Марк Александрович (1886—1957) был в то время редактором литературного отдела газеты «Дни».

[5] Цветаева оказалась права. Во втором номере «Верст» была опубликована статья Д. П. Святополк-Мирского «Веяние смерти в предреволюционной литературе», в которой содержались резкие выпады против Бунина, Андреева, Арцыбашева, возбудившие против автора, по его собственным словам, «негодование всего эмигрантского синедриона» (Версты. 1927. № 2. С. 253).

[6] Реакцию Цветаевой предугадать было нетрудно. Сувчинский не последовал совету Святополк-Мирского, который 9 марта 1926 г. писал ему: «Мне кажется, что по отношению наших трех китов Шестова, М. Цветаевой и Ремизова мы не можем проявлять никакой цензуры».

7

[1] Письмо написано из маленькой деревушки Сен-Жиль, расположенной на берегу Атлантического океана (департамент Вандея), куда Цветаева с детьми приехала 24 апреля и где пробыла до октября. В конце мая к семье присоединился С. Эфрон, а чета Сувчинских побывала в Сен-Жиле в июле.

---

* Цветаева имеет в виду свою бабушку по материнской линии, Марию Лукиничну Бернацкую (1841—1869).

[2] Рецензия на поэму Цветаевой «Мо́лодец» (Современные записки. 1926. № 27), в которой Святополк-Мирский говорил о творческом росте М. Цветаевой и Б. Пастернака.

В указанной рецензии Святополк-Мирский писал: «Пастернак зрителен и веществен. Его поэзия — овладевание миром посредством слов. Слова его стремятся изображать, передавать, *обнимать* вещи. В этом объятии и овладении реальными вещами вся сила Пастернака. Он «наивный реалист» (там же. С. 570).

[3] Несколько измененная цитата из письма Б. Пастернака М. Цветаевой от 23 мая 1926 г. (См.: *Переписка Пастернака.* С. 344).

[4] Этого письма Цветаевой Пастернаку в их опубликованной переписке нет.

[5] Об отношении Сувчинского к поэзии Пастернака в ту пору см. введение Вадима Козового к публикации «Из переписки Б. Пастернака и П. Сувчинского» (Revue des Études slaves. Paris. LVIII. 1986. 4. С. 638—639). Короткая заметка о Пастернаке была написана Сувчинским лишь три десятилетия спустя (хранится в его архиве).

Однажды Цветаева высказалась *Музыкой* о поэзии. См. комментарий 8 к письму 1 к А. В. Бахраку.

[6] Имеется в виду либо предисловие П. Сувчинского к поэме «Двенадцать», вышедшей в 1921 г. в «Российско-болгарском издательстве» (София), либо, скорее всего, его статья «Типы творчества (памяти Блока)» (На путях. М.; Берлин: Геликон. 1922. С. 147—176).

[7] Неточно цитируемые строки из стихотворения Б. Пастернака «Скрипка Паганини» (сборник «Поверх барьеров», 1917). У Пастернака: «С загрубевшей от музыки коркой...»

[8] Поэма «Попытка комнаты», завершенная 6 июня 1926 г. Опубликована в журнале «Воля России» (1928. № 3). Несколько позже Цветаева переписала для Сувчинского свою поэму, сопроводив ее надписью: «Дорогому Петру Петровичу Сувчинскому — на память о сен-жильском лежании — ежевике, осле, — i-a — многом, бывшем и не бывшем. МЦ. St. Gilles-sur-Vie, 25-го августа 1926 г.».

[9] В письме к В. Ф. Булгакову от 8 июня 1926 г. С. Эфрон писал: «Я в St. Gilles! Впервые за восемь лет по старорежимному отдыхаю. До сих пор удивляюсь, как удалось мне вырваться из Парижа. Мои *Версты* уподобились клейкой бумаге, а я мухе: одну ногу вытяну — другие увязнут...» (РГАЛИ, ф. 2226, оп. 1, ед. хр. 1253, л. 9).

[10] Произведения, опубликованные в № 1 «Верст». *Веселый* Артем (настоящие фамилия и имя Кочкуров Николай Иванович; 1899—1939) — русский советский писатель. Статья Ремизова «Воистину» была написана к 70-й годовщине со дня рождения В. В. Розанова в форме письма к нему.

[11] «Письма императрицы Александры Федоровны». В 2 т. Берлин: Слово, 1924.

[12] В. А. Сувчинская. См. письма к ней (т. 7).

8

[1] Приписка к письму С. Эфрона, в котором он делится впечатлениями от только что вышедшего первого номера «Верст». Датируется по содержанию: после выхода «Верст» и до приезда Сувчинских в Сен-Жиль.

[2] Выпуск первого номера журнала задержался из-за забастовки в типографии (письмо С. Эфрона Сувчинскому, без даты; архив П. П. Сувчинского).

12 июля в письме Е. Л. Недзельскому С. Эфрон писал: «Версты вышли! У меня пока один экземпляр ⟨...⟩ думаю, появление такого журнала в эмиграции—событие немаловажное» (Новый журнал. 1991. № 183. С. 212).

[3] В первом номере «Верст» было опубликовано «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».

9

[1] Письмо датируется по содержанию. Написано оно после посещения П. П. Сувчинским Сен-Жиля.

[2] См. письмо 4.

[3] См. письма 10 и 11.

[4] Цитата из первой части («О монашеском житии») книги «Часослов» Рильке. Эту цитату Цветаева приводила раньше в письме 11 к О. Е. Колбасиной-Черновой.

10

[1] Письмо датируется по содержанию. Оно написано в продолжение письма С. Я. Эфрона П. П. Сувчинскому.

[2] С. Эфрон собирался в Париж и Прагу. Дело в том, что в июне Цветаева получила от В. Ф. Булгакова, в то время Председателя Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии, извещение о прекращении выплаты ей чешскими властями пособия, если она не вернется в Чехию. (См. письма к В. Ф. Булгакову и комментарии к ним.) По этому поводу С. Я. Эфрон писал В. Ф. Булгакову: «Ваше письмо уподобилось грому среди ясного неба. Положение наше таково. Мы—понадеявшись на чешское ⟨...⟩ полуобещание ухлопали все деньги, заработанные в Париже, на съемку помещения в Вандее, заплатив до середины октября. Собирались жить на Маринину литературную стипендию. Мое *Верстовое* жалованье в счет не идет, ибо получаю с №, а не помесячно, и гроши (давно уже проедены). И вот теперь, без предупреждения, этот страшный (не преувеличиваю) для нас материальный, а следовательно и всякий иной, удар» (Письмо С. Эфрона к В. Ф. Булгакову.—РГАЛИ, ф. 2226, оп. 1, ед. хр. 1253, л. 12—13).

В сентябре С. Эфрон съездил на несколько дней в Прагу. Тогда же, не без помощи Булгакова, была решена проблема с выплатой Цветаевой стипендии.

[3] *Познер* Соломон Владимирович. — См. письма к нему в т. 7.

[4] Драма «Тезей» (впоследствии «Ариадна»), написанная Цветаевой еще в Чехии и заново переписанная в Сен-Жиле, была напечатана во втором номере «Верст» (см. т. 3).

11

[1] Ср. в письме 1 к А. В. Бахраху: «...пишу — по слуху, т. е. на веру...»

[2] Цитата, как и две последующие, — из четвертой картины «Наксос» трагедии «Тезей».

[3] А. И. Андреева. См. письмо к ней (т. 7). *Дети Андреевой* — Вера, Валентин, Савва (см. комментарий 1 к письму 74 к А. А. Тесковой и комментарий 9 к письму к А. И. Андреевой). *Родственница* — Н. М. Андреева (см. комментарий 1 к письму 34 к А. А. Тесковой). Подробно о пребывании Андреевых в Сен-Жиле летом 1926 г. см.: Андреева В. Эхо прошедшего (М.: Сов. писатель, 1986, С. 300 — 307).

[4] *Туржанская* Александра Захаровна (ум. в 1974 г.), актриса, жена кинорежиссера Н. Туржанского. Цветаева и Туржанская познакомились в Чехословакии и вскоре подружились. Туржанская после развода жила вместе с сыном Олегом (Леликом). Все годы эмиграции, вплоть до отъезда Цветаевой из Парижа летом 1939 г., помогала ей по хозяйству, ухаживала за детьми. Александра Захаровна дежурила у постели Цветаевой при родах сына, выхаживала младенца, которого потом крестила. В дневниковых записях Цветаева не раз поминала Туржанскую благодарственным словом: «... К ней другие ходили за пирогами, я — за тайной — всего ее непонятно, неправдоподобно-простого существа. И с самотайной — себя. ... Верьте вяжущим вам фуфайки и нянчащим ваших детей! Эти за вас — в огонь пойдут» (*А. Эфрон.* С. 220 — 221).

[5] Сувчинский собирался в Вену на съезд руководителей евразийского движения (по материалам из его архива).

[6] Цветаева имеет в виду «Мифы классической древности» немецкого писателя Г. В. Штолля (1818 — 1890). Впервые изданная в Германии в 1862 г., она затем неоднократно печаталась и в русском переводе. Однако для работы над продолжением «Тезея» Цветаева использовала книгу немецкого писателя-романтика Густава Шваба (1792 — 1850) «Прекраснейшие сказания классической древности» (1838 — 1940 гг., русский перевод — в 1912 — 1914 гг.). См. также письмо 2 к Ю. П. Иваску (т. 7).

[7] *«Федра»,* вторая часть трилогии «Тезей». О работе Цветаевой над «Федрой» см. комментарии в т. 3.

[8] Поэма «С моря» (май 1926 г.). Опубликована в журнале «Версты». 1928. № 3.

[9] Вероятно, письмо 7.

12

[1] Трагедия «Федра» была все же опубликована в журнале «Современные записки» (1928. № 36, 37).

[2] Издание «Верст» прекратилось после выхода третьего номера. Недолговечность журнала Мирский объяснял в письме к Сувчинскому от 23 января 1927 г. так: «...растущее и совершенно непреодолимое отвращение ⟨...⟩ к Эфрону и Марине. Всякое общение с ними, устное или письменное, мне совершенно мучительно...» и еще одна причина — «...роль добытчика денег мне еще отвратительнее, чем общение с Эфронами. Это совершенно не мое дело». Спустя полгода Мирский окончательно решает не продолжать издание журнала и просит Сувчинского не «уговаривать продолжать «Версты» после № 3» (Новый журнал. 1991. № 183. С. 216).

Основное препятствие было, конечно, не в Цветаевой, тем более что в дальнейшем Святополк-Мирский призывал Сувчинского ее «беречь» (см. также комментарии к письму к Сувчинскому и Карсавину в т. 7) и восторженно отзывался о ее — до определенного периода — поэзии: «Получил стихи Маринины. Перечитывал многое, был сильно взволнован — какой все-таки, е... ее мать, поэт! Одно плохо, что в свое время мало секли. Эти годы 1922—25 ее лучшие. Восходящая линия ее идет от Родзевича и Родзевичем обрывается» (письмо Сувчинскому от 5 июня 1928 г. Revue des Études slaves. Paris. 1992. С. 219).

Главное было в том, что «Версты» не раскупались. Евразийским издательством деньги на них не предусматривались, а меценаты раскошеливаться больше не хотели.

[3] Цветаева планировала поехать на океан, по-видимому, опять на вандейское побережье, в начале сентября 1927 г., но эти планы сорвались из-за болезни.

13

[1] Письмо датируется по содержанию.

[2] Речь идет об издании книги стихов М. Цветаевой «После России». См. об этом в письме 4 к Л. О. Пастернаку и комментарии к нему. После выхода книги в свет М. И. Цветаева подарила один экземпляр П. П. Сувчинскому с надписью «Петру Петровичу Сувчинскому — в знак будущего. Марина Цветаева. Медон, 31 мая 1928 г.». (Частное собрание.)

14

[1] Приписка к письму (на открытке) В. А. Сувчинской из Понтайяка. — Датируется по содержанию письма В. А. Сувчинской. Написано не позже 1 августа 1928 г., ибо в этот день Цветаева писала из Понтайяка А. А. Тесковой: «Здесь из русских: профессора Карсавин и Лосский с семьями, проф⟨ессор⟩ Алексеев, П. П. Сувчинский с женой...».

А. А. ТЕСКОВОЙ

1

Мокропсы, 2/15-го ноября 1922 г.

Милостивая государыня,

Простите, что отвечаю Вам так поздно, но письмо Ваше от 2-го ноября получила только вчера — 14-го.

Выступать на вечере 21-го ноября я согласна. Хотелось бы знать программу вечера.

С уважением *Марина Цветаева*

Адр⟨ес⟩: Praha VIII
Libeň Svobodárna
M-r Serge Efron
(для МЦ.)[1]

2

Вшеноры, 5-го декабря 1924 г.

Многоуважаемая г⟨оспо⟩жа Тешкова,

(Простите, не знаю имени-отчества).

Мне очень трудно ответить на Вашу просьбу (о лекции) утвердительно, — и по двум причинам: первая: для того, чтобы читать лекции, нужно быть уверенным, что в какой-нибудь области знаешь больше, чем другие, — я же такой области *не знаю*. Тон с кафедры, силой вещей, — поучительный, я же могу гадать, утверждать, но не поучать.

Причина вторая и, объективно, более веская: в феврале я жду сына (непременно сына!) — и совсем не могу загадывать о мае. Думаю, что я буду так связана, что навряд ли, даже переборов все внутренние препятствия, смогу 21-го мая, в 7 ч вечера, стоять на кафедре.

В Едноте[1] я была несколько раз, но Вас там не видела. Удастся ли 14-го[2] — не знаю, поездки по желез⟨ной⟩ дороге мне уже трудны, и нет подходящего платья.

А вас повидаю с удовольствием.

Напишите, какой у Вас ближайший свободный день и предупредите открыткой (приходит на второй — третий день) — буду ждать Вас, могу даже встретить.

Если будет хорошая погода — погуляем (здесь чудесные окрестности), дождь и снег — посидим дома и побеседуем, почитаю вам стихи. Познакомитесь, кстати, с моей дочерью и мужем... (пр. 2 с.)

Привет *М. Цветаева.*

Мой адр⟨ес⟩: Všenory, č⟨islo⟩ 23 (P. P. Dobřichovice)

Ехать до станции Вшеноры (вокзалы: Вильсонов, Винограды, Вышеград, Смихов) — наш дом (23) один из последних в деревне, направо от шоссе, на пригорке, с ярко-голубым забором. (пр. 6 с.)

3

Вшеноры, 11-го января 1925 г.

С Новым Годом, милая Анна Антоновна,

Давно окликнула бы Вас, если бы не с субботы на субботу поджидание Вашего приезда.

Теперь обращаюсь к Вам с просьбой: не могли ли бы Вы разузнать среди знакомых, какая лечебница («болезнь» Вы знаете) в Праге считается лучшей, т. е. гигиенически наиболее удовлетворительной, считаясь с моей, сравнительно малой, платежеспособностью. Как отзываются об «Охране материнства»?[1] (сравнительно — дешевая). Срок у меня — месяц с небольшим, а у меня еще ничего не готово, кроме пассивного солдатского терпения, — добродетели иногда вредной.

Простите, что беспокою Вас столь не-светской просьбой, но у меня в Праге ни одной знакомой чешской семьи, — только литераторы, которые этих дел не ведают.

Шлю Вам привет и не теряю надежды в ближайшем будущем увидеть. — У нас прелестная елка, будет стоять до Крещения (6/19-го янв⟨аря⟩), приезжайте, зажжем.

Сердечный привет. *МЦ.*

4

Вшеноры, 2-го февраля 1925 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Вам первой — письменная весть. Мой сын, опередив и медицину и лирику, оставив позади остров Штванице, решил родиться не 15-го, а 1-го, не на острове, а в ущелье.

Очень, очень рада буду, если навестите. Познакомитесь сразу и с дочерью и с сыном.

Спасибо за внимание и ласку.

МЦветаева.

P. S. Мой сын родился в воскресенье, в полдень.

По-германски это — Sonntagskind*, понимает язык зверей и птиц, открывает клады. Февральский камень — аметист.

Родился он в снежную бурю.

* См. перевод на с. 243.

5

Вшеноры, 10-го февраля 1925 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Пишу Вам ночью, при завешенной лампе, почти наугад, — С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ уезжает с утренним поездом, и в суматохе утра не успею... (пр. 8 с.)

...Я уже сижу, — вчера первый день. С прислугой пока ничего, местные (поденные) очень дороги, 12—15 кр⟨он⟩ в сутки, жить не идут. Ищем в Земгоре[1]. Моя угольщица (лесовичка) уходит в пятницу — в леса, очевидно. У С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩ в ближайшие дни 3 экзамена (Нидерле[2], Кондаков[3] и еще один[4]), и он весь день в библиотеке. Весь дом остается на Але, ибо я даже если встану, недели две еще инвалид, т. е. долженствую им быть. Я не жалуюсь, но повествую. И все это, конечно, минет.

Когда я встану, перепишу Вам кусочек прозы для чешского женского журнала[5]. У меня много прозы, — вроде дневника (Москва, 1917 г. — 1921 г.)[6]. Некоторые отрывки уже шли в «Воле России», «Совр⟨еменных⟩ Записках» и «Днях». Дам Вам неизданное. Но хотелось бы наперед знать, примут ли. Для образца прочтите мой «Вольный проезд» в «Совр⟨еменных⟩ Записках» (не то XIX, не то XX книга)[7]. Можно выбрать лирическое, есть юмор, есть быт. Напишите мне и приблизительный размер журнала. Есть у меня и маленькая пьеса «Метель» — новогодняя сценка в лесной харчевне 30-х годов — в стихах, ее бы, я думаю, отлично перевел Кубка[8]. Но экз⟨емпляр⟩ у меня один (напечатана в 1922 г., в парижском «Звене»). Хотите ознакомиться — пришлю. Если Кубка заинтересуется, было бы очень приятно.

Большая просьба, м. б. нескромная: не найдется ли у кого-нибудь в Вашем окружении простого стирающегося платья? Я всю зиму жила в одном, шерстяном, уже расползшемся по швам. Хорошего мне не нужно, — все равно нигде не придется бывать — что-нибудь простое. Купить и шить сейчас безнадежно: вчера 100 крон акушерке за три посещения, на днях 120—130 кр⟨он⟩ угольщице за 10 дней, залог за детские весы (100 кр⟨он⟩), а лекарства, а санитария! — о платье нечего и думать. А очень хотелось бы что-нибудь чистое к ребенку. Змея иногда должна менять шкуру. Если большое — ничего, можно переделать домашними средствами.

Купила коляску за 50 кр⟨он⟩ — почти новую, чудесную: одновременно и кровать и креслице. Продавали русские за отъездом.

Постепенно мальчик обрастает собственностью, надеюсь, что она *не прирастет.*

А вчера я совершила подвиг: уступила С⟨ергею⟩ Я⟨ковлевичу⟩ имя Бориса, которого мне так хотелось (в честь моего любимого современника, Бориса Пастернака). Мальчик будет называться Георгий и праздновать свои именины в день георгиевских кавалеров. Георгий — покровитель Москвы и, наравне с Михаилом Архистратигом[9], верховный вождь войск. (Он же, в народе, покровитель *волков и стад*. Оцените широту русского народа!)

Половина четвертого утра. Кончаю. Все спят, это мой любимый час.

У нас весна, на орешнике сережки, скоро гулять! Тогда Вы к нам приедете и уже не будете плутать.

Спокойной ночи или веселого утра. Надеюсь, что здоровье Вашей мамы с весной поправится.

Простите за почерк

МЦ.

6

Вшеноры, 15-го февраля 1925 г.

Милая Анна Антоновна,

Посылаю Вам для женского журнала свой «Вольный проезд»[1]. Прочтите и подумайте, подойдет ли для женского журнала. Если да и найдется переводчик, очень хотела бы хотя бы письменно с ним сообщиться. Пусть бы мне прислал список не совсем ясных слов и выражений (язык народный) — я бы пояснила.

А не взялись ли Вы сами перевести? С Вами бы наверное столковались. Сейчас, после лежания, очень ослабли глаза, поэтому посылаю уже напечатанное. — Не играет роли?..

...Сегодня целый день в Вашем халате. Приятное ощущение простоты, чистоты и теплоты. Поблагодарите от меня еще раз Вашу милую маму и пожелайте ей здоровья и хорошего лета.

Детские вещи очаровательны, особенно рубашечки. Теперь нужен рост, чтобы их заполнить.

А пирожные — напрасное баловство, никогда не привозите, пусть это будет в последний раз, в честь Георгия.

Целую Вас нежно.

МЦ.

...А чехи тоже забывают! В этом я убедилась тотчас после Вашего ухода: в углу на ящике серый чемодан.

Или только побывавшие в России?..

7

Вшеноры, 26-го февраля 1925 г.

Спасибо за заботу о моей рукописи, но к этому № женского журнала я уже все равно опоздала, — Вы говорили, к 8-му, — нужно выбрать, переписать, перевести. Пришлю, или — надеюсь — передам Вам для следующего №, может быть вместе выберем.

А если устроите «Вольный проезд» в Cest'y[1] — большое спасибо, я знаю этот журнал, — производит прекрасное впечатление〈...〉

〈...〉Георгий растет. Ведем с ним длительные беседы, причем говорю и за себя и за него, — и — уверяю Вас — не худший метод беседы! (Приучена к нему своими мужскими собеседниками.)

«Воля России» поднесла ему чудесную коляску〈...〉 Если увидите Слонима[2], передайте ему (сторонне, не от меня) мое восхищение: я не умею благодарить в упор, так же, как не умею, чтобы меня благодарили, — боюсь, что они все сочтут меня бесчувственной...

До свидания, надеюсь — до скорого. Приезжайте — я всегда дома.

МЦ.

P. S. Главное забыла: есть прислуга — приходящая — родом из Теплитца. Приходит ежедневно на три часа. Говорим с ней про Бетховена (Toeplitz, Beethovenhaus*).

8

Вшеноры, 3-го мая 1925 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Давайте — отложим чтение до июня, очень прошу! Как раз около 12-го будет в Праге Степун, мне очень хочется его послушать[1], а выехать два раза на одной неделе мне не удастся. (Можно ли не предпочесть другого — себе?!) К тому же я сейчас как-то очень устала, а такой вечер требует полного сосредоточения, ведь дело в выборе стихов, — я живу по стольким руслам! Кто мои слушатели? Не для себя же читаешь! (Для себя — пишешь.)

Словом, моя большая просьба: перенесем на июнь〈...〉

〈...〉Я еще не поблагодарила Вас как следует за Вашу память, доброту, заботу — благодарить легко равнодушных — и, когда сам равнодушен. Некоторые слова, произнесенные, звучат холодно и грубо, совсем иначе, чем внутри. Вот эти внутренние слова мои

* Дом Бетховена *(нем.).*

к Вам — как бы я хотела, чтобы я бы их не произносила, а Вы бы их все-таки услышали!

С большой радостью думаю о Вашем приезде как-нибудь на целый день, с Вами мне легко, — Вы не замечаете быта, поэтому мне не приходится ничего нарушать. Будем ходить и сидеть, а может быть — лежать даже! на траве, на горе — и говорить, и молчать.

А я Вас в прошлый раз даже не напоила чаем! Но это, отчасти Вы виноваты: когда мне с человеком интересно, я забываю еду: свою и его. Но, по-настоящему, г⟨оспожа⟩ А⟨ндрее⟩ва[2] виновата: в таком хорошем доме должен быть чай. (Иначе, для чего они — «хорошие дома»?!)

Аля в восхищении от Ваших тетрадей. Спасибо. Целуем Вас обе, С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ шлет привет.

МЦ.

P. S. Госпоже Юрчиновой[3] я уже написала.

9

Вшеноры, 9-го сент⟨ября⟩ 1925 г.

(пр. 1 с.) ...Простите за поздний отклик, сердцем я откликнулась раньше.

Бесконечное спасибо Вам за заботу, рукопись Кубке отправлена, сказал, что раздаст ее частично[1]. Вышло, как всегда, впятеро длинней, чем думала, вместо анекдотических записей о Брюсове-человеке — оценка его поэтической и человеческой фигуры с множеством сопутствующих мыслей. Любопытно, как Вам понравится. Задача была трудная: вопреки отталкиванию, которое он мне (не одной мне) внушал, дать идею его своеобразного величия. Судить, не осудив, хотя приговор — казалось — готов. Писала, увы, без источников, цитаты из памяти. Но, м. б. лучше, — мог бы выйти целый том.

Живем все — С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩, Аля, Георгий, я — хорошо. С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ полтора месяца пробыл в ⟨Земгорской⟩ санатории, поправился[2], но, увы, объявилась нервная астма, недуг неопасный, но трудно-переносимый. Аля вся в грибах и ежевике, — приедете, угостим вареньем и маринованными белыми, есть даже отдельная баночка для Вашей мамы[3], памятуя ее страсть к грибам.

А у меня план: проведем с Вами как-нибудь целый день — волшебный. В Праге, я приеду. Пойдем в старую часть города, в какие-нибудь места, где никто не бывает, потом в кафе, потом домой, к Вам, — музыка и стихи. Ваша мама любит Шопена? Если да, буду просить ее, — мой любимый.

Осуществим непременно. Попрошу С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩ посидеть, вырвусь и дорвусь до настоящей себя.

Целую Вас. Сердечный привет маме и сестре[4]. Не забывайте... (пр. 1 с.)

...Фазанье перо — от Али. Весь лес усеян!..

10

Вшеноры, 1-го октября 1925 г.

(пр. 1 с.) ...Вопрос и просьба: не могли бы Вы похранить у себя некоторое время нашу корзинку с вещами? Некоторое время, потому что: либо через три месяца — вернусь, либо, если устроюсь в Париже (в чем *очень* сомневаюсь) — С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ ее мне вышлет «petite vitesse»*.

Корзина большая, предупреждаю, — но, может быть, нашлось бы место в передней? Невозможно везти с собой *всё*, не зная, останешься ли. Очень попросила бы Вас поскорей сообщить мне ответ. Заграничный паспорт на днях будет, визу М⟨арк⟩ Л⟨ьвович⟩[1] обещал достать, денег пока нет. Еду с Алей и Муром (самовольное уменьшение от Георгия) — два взрослых билета — и виза — и перевозка — и предотъездная уплата долгов... Но, раз нужно, — думаю, — уеду.

Непременно хочу перед отъездом провести с Вами вечерок. Я у Вас ни разу не была, знаю, что буду жалеть об этом — не хочу жалеть *небывшего*, а радостно вспоминать *бывшее*. — Видите, как я сама к Вам в гости напрашиваюсь? —

Отъезд — предполагаемый — после двадцатого этого месяца. Как поеду — не знаю: ужасающе — неприспособлена. Не едет ли, случайно, кто-нибудь из Ваших знакомых? Не знаю, напр⟨имер⟩, как устроить с питанием Георгия? Ест он 4 раза в сутки, и ему все нужно греть. Как это делается? Спиртовку ведь жечь нельзя. Впервые я была в Париже шестнадцати лет — одна — влюбленная в Наполеона — и не нуждавшаяся ни в теплой, ни в холодной пище. — Сто лет назад.—

Приезжайте к нам на прощание. Я Вас нежно люблю. Вы из того мира, где только душа весит, — мира сна или сказки. Я бы очень хотела побродить с Вами по Праге, потому что Прага, по существу, тоже такой город — где только душа весит. Я Прагу люблю первой после Москвы и не из-за «родного славянства», из-за собственного родства с нею: за ее смешанность и многодушие. Из Парижа, думаю, напишу о Праге, — не в благодарность,

* «Малой скоростью» *(фр.)*.

а по влечению. Издалека все лучше вижу. И, может быть, Вы мне сообщите несколько реальных данных, чтобы все окончательно не уплыло в туман. Итак, мне *очень* хочется побродить с Вами по Праге, пока еще листья есть. Во мне говорит не любитель старины — это *тесно и местно,* просто — влекусь в тишину. Очень хотелось бы узнать происхождение: приблизительное время и символ — того пражского рыцаря на — вернее — под Карловым мостом — мальчика, сторожащего реку[2]. Для меня он — символ верности (себе! не другим). И до страсти хотелось бы изображение его — (где достать? Нигде нет) — гравюру на память. Расскажите мне о нем все, что знаете. Это не женщина, и спросить можно: «сколько тебе лет?» Ах, какую чудную повесть можно было бы написать — на фоне Праги! Без фабулы и без тел: *роман Душ.*

Никому не рассказывайте. Ведь не знаю, напишу ли, а будут знать другие — наверное не напишу.

Никому не рассказывайте также о моем отъезде, т. е. *о возможности* моего невозвращения. И, если вернусь, помогите мне устроиться в Праге, где-нибудь на окраине, хорошо бы — неподалеку от Вас. Мы бы вместе ходили и бродили. Жизнь зá городом не в меру тяжела — даже мне. Столько лишней работы и такая дороговизна на всё, кроме жилища...

...Дорогая Анна Антоновна, сообщите, пожалуйста, адрес г⟨оспо⟩жи Юрчиновой[3], она мне два раза писала открытки, но все без адреса. Кроме того, у нее или у ее знакомой переводчицы — все мои книги и вырезки из газет, хочу знать, что с ними сталось...

11

26-го октября 1925 г.

(п. 1 с.) ...*Ради Бога* — сегодня же передайте это письмо г⟨оспо⟩же Юрчиновой. Денег из Парижа до сих пор нет, ехать мне 31-го, в субботу, необходимо. Иначе я остаюсь без квартиры (1-го уже въезжают) и без провожатых (31-го уезжают в Париж г⟨оспо⟩жа Андреева с сыном). Положение трагическое[1].

Я прошу г⟨оспо⟩жу Юрчинову одолжить мне эту тысячу крон. 15-го ноября, на Сокольской ул⟨ице⟩, в Земгоре, у г⟨осподи⟩на Заблоцкого[2] она их получит. Если парижские деньги придут — получит раньше. Объясните ей, что эти деньги — верные, мое ежемесячное чешское иждивение[3].

Просить мне не у кого, может быть она соберет среди знакомых. За день за два (в *крайнем* случае в пятницу) необходимо взять билеты. Поезд уходит в субботу, 31-го, в 10 ч. 45 мин⟨ут⟩ с Вильсонова[4].

Если ничего не изменилось, завтра у Вас будет Аля. Может быть через нее уже можно будет узнать ответ.

Спасибо Вам, и Вашей матушке, и сестре за чудесный день. Я Вашу матушку не поблагодарила тогда за игру, — это не значит, что я ее не почувствовала. Ей ведь тогда не хотелось играть Шопена, а она играла, — это меня вдвойне тронуло. Пристрастие мое к Шопену объясняется моей польской кровью[5], воспоминаниями детства и любовью к нему Жорж Санд.

Целую Вас нежно. Убедите г⟨оспо⟩жу Юрчинову, что я не аферист и к деньгам, а главное — к просьбам о них — отношусь с отвращением. (Потому их у меня никогда нет.)

До свидания — через Алю — до завтра... (пр. 2 с.)

12

Вшеноры, 28-го октября 1925 г.

(пр. 1 с.) ...Аля от Вас вернулась — как из сказки. Конечно, Ваш дом — зачарованный, жилище не трех душ, а — души. И душам в нем — «до́ма». Остальные же пусть не ходят.

И — очаровательное внимание души к телу — спасибо за чудесный чай с таким чудесным названием и в такой чудесной обертке, за шоколад из времен Гомера, за напоминающие детство — сухари. Спасибо за всё.

Деньги беру и ими спасаюсь. Сегодня телеграмма из Парижа — раньше 12-го не могут. А ехать нужно — не все налажено, а все разлажено — разложено — жить в состоянии отъезда немыслимо.

...Если в субботу не удастся — известим. Но пожелайте (верю в добрую волю) чтобы удалось. И приходите на вокзал — непременно. Если будут другие — все равно. Знайте, что Вы и Ваша семья — те полдня у Вас — лучшее, что я оставляю в Праге...

13

Париж, 7-го дек⟨абря⟩ 1925 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Узнаю из письма С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩, что Вы до сих пор от нас ничего не получали. Мы написали Вам с Алей тотчас же по приезде, т. е. на второй день, с подробным описанием дороги, видов, чувств, спутников, разговоров. О последней Чехии — мимолетной Германии — первой Франции. Обо всем.

Потом ждали ответа, потом устраивались, потом я, не отрываясь, дописывала к сроку две последние главы своей поэмы «Крысолов» («Воля России»). Вторично написать не собралась не по отсутствию желания, но по *абсолютной* занятости: я в Париже месяц с неделей и еще не видела Notre-Dame![1]

До 4-го декабря (нынче 7-ое) писала и переписывала поэму. Остальное — как во Вшенорах: варка Мурке каши, одеванье и раздеванье, гулянье, купанье — люди, большей частью не нужные — *бесплодные* хлопоты по устройству вечера[2] (снять зал — 600 фр⟨анков⟩ и треть дохода, есть даровые, частные, но никто не дает. Так, уже три отказа.) Дни летят.

Квартал, где мы живем, ужасен, — точно из бульварного романа «Лондонские трущобы»[3]. Гнилой канал, неба не видать из-за труб, сплошная копоть и сплошной грохот (грузовые автомобили). Гулять негде — ни кустика. Есть парк, но 40 мин⟨ут⟩ ходьбы, в холод нельзя. Так и гуляем — вдоль гниющего канала.

Отопление газовое (печка), т. е. 200 франков в месяц.

Как видите — мало радости... (пр. 18 с.)

...Может быть можно было бы достать у г⟨оспо⟩жи Юрчиновой какое-нибудь *темное* платье мне, *для вечера*. Никуда не хожу, п. ч. нечего надеть, а купить не на что. М. б. у нее, как у богатой женщины, есть лишнее, которого она уже не носит. Мне бы здесь переделали. Если найдете возможным попросить — сделайте это. Меня приглашают в целый ряд мест, а показаться нельзя, п. ч. ни шелкового платья, ни чулок, ни лаковых туфель (здешний — «uniforme»). Так и сижу дома, обвиняемая со всех сторон в «гордости». С⟨ергею⟩ Я⟨ковлевичу⟩ об этой просьбе не говорите, — пишу ему, что у меня всё есть. А платье, если достанете, передайте — «посылает такая-то»... (пр. 5 с.)

14

Париж, 19-го декабря 1925 г.

(пр. 1 с.) ...Поздравляю Вас с наступающим Рождеством. Волшебный город — Прага: там все подарочно, все елочно. Здесь (нынче 19-ое) ёлкой и не пахнет, в самом настоящем смысле слова. Елка считается германским обычаем, большинство ограничивается сжиганием в (дымящем!) камине — «bûche de Noël»*. Подарки к Новому Году, в туфлю. И всё.

* «Рождественское полено» *(фр.)*.

Выставки великолепны и — потому — холодны. Жалею детей, соблазняемых всеми окнами. Не отсюда ли — раннее разочарование?

С моим вечером дело, пока, не двинулось. Живу на окраине, ни с кем не вижусь, у наших хозяев у самих забот по горло. Не Париж, а Смихов, только гораздо хуже: ни пригорка, ни деревца, сплошные трубы.

Есть мечта переехать в Версаль, но от меня *ничего* не зависит... (пр. 7 с.)

...Другое горе: нет своей комнаты. Человек приходит ко мне — должен сидеть со всеми. Так было недавно с одной моей знакомой, приехавшей из России. А на людях — я не я, то есть тоже я, но не *основная*. Врожденная воспитанность заставляет направлять разговор на общие темы, — не интересные никому. И человек *меня* не видит. Как я — его... (пр. 9 с.)

...Очень много работаю. Только что сдала в «Дни» и «Последние новости» рождественскую прозу[1]. Просмотрите рождественские номера... (пр. 5 с.).

...Читали ли отзыв в «Днях» о «Ковчеге»?[2] И как встречен «Ковчег» чехами? Напишите. Интересно... (пр. 4 с.)

15

Париж, 30-го декабря 1925 г.

С Новым Годом, дорогая Анна Антоновна!

Мне живется очень плохо, нас в одну комнату набито четыре человека, и я совсем не могу писать. С горечью думаю о том, что у самого посредственного фельетониста, даже не перечитывающего — что́ писал, есть письменный стол и два часа тишины. У меня этого нет — ни минуты: вечно на людях, среди разговоров, неустанно отрываемая от тетради. Почти с радостью вспоминаю свою службу в советской Москве[1], — на ней написаны три моих пьесы: «Приключение», «Фортуна», «Феникс» — тысячи две стихотворных строк.

Я не люблю жизни как таковой, для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл и вес — только преображенная, т. е. — в искусстве. Если бы меня взяли за океан — в рай — и запретили писать, я бы отказалась от океана и рая. Мне вещь *сама по себе* не нужна.

Спасибо за привет и ласку. И чудное платье — чье? Читали ли в «Днях» мое «О Германии»?[2] и узнали ли меня в такой любви?

Здесь много людей, лиц, встреч, но все на поверхности, не затрагивая. С〈ергей〉 Я〈ковлевич〉 очарован Парижем, — я его еще не видела. И, пока, предпочитаю Прагу, её — несмотря на шум, а может быть — сквозь шум — тишину.

Целую нежно Вас и Ваших. Страшно не нравится жить.

МЦ. (пр. 2 с.)

16

Лондон, 24-го марта 1926 г.

Дорогая Анна Антоновна! Привет Вам и Вашим из Лондона, где вот уже две недели[1]. Это первые мои две свободные недели за 8 лет (4 советских, 4 эмигрантских) — упиваюсь. Завтра еду обратно. Рада, но жаль. Лондон чудный. Чудная река, чудные деревья, чудные дети, чудные собаки, чудные кошки, чудные камины и чудный Британский Музей. Не чудный только холод, наносимый океаном. И ужасный переезд. (Лежала, не поднимая головы.) Написала здесь большую статью[2]. Писала неделю, дома бы писала 1 1/2 месяца. Сердечный привет Вам и Вашим. Люблю и помню...

МЦ.

17

St. Gilles-sur-Vie, 9-го мая 1926 г.

Запоздалое Христос Воскресе, дорогая Анна Антоновна! (Сейчас последний день нашей русской Пасхи.)

Я уже две недели как в Вандее, одна с детьми, С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ очень занят новым журналом «Версты»[1].

Прочтите, пожалуйста, мою статью «Поэт о критике» во 2-ой книге «Благонамеренного» (только что вышла), за которую меня дружно травят: Адамович, Осоргин, А. Яблоновский и даже Петр Струве, которого, впрочем, еще не читала[2].

«Laisser dire»* — вот что написано над дверью одного из здешних рыбацких домиков. То же говорю и я.

Дорогая Анна Антоновна, мне очень нужен весь мой матерьял (книги и вырезки), взятый у Кубки г⟨оспо⟩жой Юрчиновой. *Как ее адрес?*

Мой: *St. Gilles-sur-Vie* (Vendée)
Avenue de la Plage
Ker. Eduard.

Спасибо за рыцаря. Такая радость.

Целую Вас и Ваших.

Всего доброго. Где будете летом?

МЦ.

18

St. Gilles-sur-Vie, 8-го июня 1926 г.

(пр. 1 с.) ... Ваше письмо было для меня большой радостью и поддержкой. Самая большая редкость — чистый подход к вещи, вещь и ты, — так Вы подошли к моему «Поэт о критике».

---

* «Пусть говорят» *(фр.)*.

Статья написана *просто* (это не значит, что я над ней не работала, — простота дается не сразу, сложность (нагроможденность!) легче!), читалась она предвзято. Один из критиков отметил, что я свою внешность считаю прекрасной (помните о красоте и прекрасности) — я, которая вообще лишена подхода к какой-либо внешности, для которой просто внешности (поверхности, самого понятия её!) нет.

Грызли меня: А. Яблоновский[1], Осоргин, Адамович (впрочем, умеренно, втайне сознавая мою правоту) и... Петр Струве[2], забыв на секунду и Кирилла и Николая Николаевича[3]. *Ни одного голоса в защиту.* Я вполне удовлетворена.

Но все это уже прошлое. Настоящее вещи — когда она пишется. Дописано — прошло. Самостоятельное существование вещи вне меня — вот цель и итог...

(пр. 3 с.) ...Погода ужасная, смена дождя и ветра, ходим в зимнем. На этом побережье tous les vents se donnent rendez-vous*. Какие-то Норды, Осты, Весты, — и хоть бы один теплый!

Океан. Сознаю величие, но *не люблю* (никогда не любила моря, только раз, в первый раз — в детстве, под знаком пушкинского: «Прощай, свободная стихия!»[4]).

Она свободная, а я на ней — связанная. Свобода моря равна только моей несвободе на нем. Что мне с морем делать? Глядеть. Мне этого мало. Плавать? Не люблю горизонтального положения. Плавать, ведь это лежать, ехать. Я люблю вертикаль: ходьбу, гору. Равнодействующую сил: высоты и моей. На Океане я зритель: в театре: полулежа: в ложе. Пляж — партер. Люблю в театре только раёк (верх), т. е. горы, которых здесь нет.

Кроме того, море либо устрашает, либо разнеживает. Море слишком похоже на любовь. Не люблю любви. (Сидеть и ждать, что она со мной сделает.) Люблю дружбу: гору... (пр. 7 с.)

...Но все-таки радуюсь, что в *Вандее,* давшей когда-то столь великолепную вспышку *воли.* В семи километрах от нас, возле фермы Mathieu, крест с надписью: здесь такого-то числа 1815 г. убит Henri de la Rochejaquelin[5]. — Вождь Вандеи.—

Народ очаровательный: вежливый, веселый, легко жить. Одежда и головные уборы как века назад. В нашем St. Gilles церковь XIII в.

Дорогая Анна Антоновна, у меня к Вам большая просьба, трудная, не знаю как приступить.

* Все ветры назначают друг другу свидание *(фр.).*

У Новэллы Чириковой[6] на вилле Боженка во Вшенорах (где жила Андреева) осталась наша большая корзина. Если бы Вы забрали ее к себе, Вы бы нас спасли. Вещи там очень хорошие (всё Муркино приданое), много моих, письма, тетради, всё, что я не забрала с собой, уезжая... (пр. 4 с.) Нынче же пишу В. Ф. Булгакову и его жене, живущим во Вшенорах. Они Вам во всем помогут, только нужно списаться или сговориться. Všenory, č‹islo›. 33 (Булгаков)... (пр. 20 с.)

Да! Последняя просьба! На дне корзины должна находиться толстая коричневая немецкая мифология, в переплете, с картинками.

Gustav Schwab — Die schönsten
Sagen des klassischen Altertums*[7].

Эту книгу нужно отправить отдельно, *почтой,* заказной бандеролью, *не багажом*. Она мне крайне нужна в возможно скором времени для II ч‹асти› Тезея, которую пишу сейчас. Толстый, коричневатый, несколько разъехавшийся том. Там же имя с припиской:

книга на всю жизнь... (пр. 3 с.)

19

St. Gilles, 20-го июля 1926 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Потеряла Вашу открытку с адресом, всё надеялась найти при тщательной уборке, она не осуществилась, пишу по старому в надежде, что дошлют.

К 15-му сентября возвращаюсь в Прагу[1], на оставшиеся здесь два месяца буду получать половинную стипендию, т. е. по 500 кр‹он› вместо 1000 кр‹он›. Большего в мою пользу ни Булгаков, ни Завадский[2], ни другие хлопотавшие добиться не могли. Надеюсь, что прежнюю стипендию возобновят при моем приезде, на 500 кр‹он› я с детьми никак не проживу. Выясню это к 15-му августа.

Теперь — в случае прежней тысячи в месяц — можно ли мне надеяться, дорогая Анна Антоновна, устроиться на эти деньги *в Праге?* Как бы хотелось возле Вас! Район (— думаю о детях, я фабрики и вокзалы, как самое печальное — люблю) должен быть непременно хороший, с близким садом для прогулки. Мне хочется в Прагу, а не за город, чтобы немножко побыть человеком, — не только душой и чернорабочим. Но я связана детьми и деньгами. О квартире думать нечего? Квартира — свобода, но — дорого? недоступно? Нельзя ли было бы найти две комнаты

* Густав Шваб — Прекраснейшие легенды классической древности *(нем.)*.

у чехов, любящих русских и не слишком строгих к порядку? Самое лучшее было бы — с уборкой (платила бы прислуге), м. б. с обедом? (только не за общим столом!). В той же Чехии можно жить по-человечески, я жила не по-человечески и устала так жить, заранее устала. Прагу я люблю самым нежным образом, но, по чести, так мало от нее взяла — и не по своей вине. В Праге везде — музыка! Ни разу не была в концерте. Хотелось бы познакомиться с чехами, особенно с женщинами, все это было бы возможно в Праге, невозможно загородом. Я буду жить одна с детьми, как я могу на целый день уехать в Прагу, оставляя Мура одного с Алей. Аля — большая, но девочка, большая девочка. Мур промочит ноги, Мур упадет со стула и т. д. Заместительницы у меня нет, я ни разу не выеду в Прагу. Я знаю себя. В Праге я могу уйти на час — это другое дело, или вечером, уложив Мура, все это другое. Мне хочется *влюбиться* в этот город, для этого нужен досуг.

Одну комнату — трудно, мне дети не дадут писать, я курю, (Муру вредно) — много вещей и т. д.

Так вот, дорогая Анна Антоновна, обдумайте и ответьте, возможно ли? *Если нет* — что ж, буду искать загородом, жить где-нибудь же нужно.

Иногда по вечерам я буду приходить к Вам, читать Вам стихи, беседовать, слушать музыку Вашей мамы[3]. Не часто. Не бойтесь. Может быть — когда-нибудь — пойдем с Вами побродить по старым местам. Я люблю Прагу совсем особой любовью, вижу ее городом âmes en peine*, — м. б. от тумана?

Я уже здесь не живу, оставшиеся полтора месяца пролетят, я не могу жить тем, что заведомо кончится. Моя Вандея уже кончилась. Вижу уже вечер укладки, утро отъезда. Передышка в Париже — рачьте дале!** (Безумно люблю этот крик кондукторов, жестокий и творческий, как сама жизнь. Это она кричит — кондукторами!)

Рачьте дале — но куда? У меня сейчас в Чехии ничего твердого нет, в устройстве я совершенно беспомощна. Вильсонов вокзал — куда? Боюсь, что просто сяду с Алей и Муром под фонарь — ждать судьбы (дождусь полицейского).

О здешней жизни уже не пишется, я уже еду, Вы это чувствуете. Больно (не очень, но всё-таки) что эсеры, которых я считала друзьями: Сталинский[4], Лебедев[5], Слоним — ничего для меня не сделали, даже не попытались. Реально: вступись они — меня бы не сократили на половину, душевно — не понимаю

* Неприкаянных душ *(фр.)*.
** Едем дальше! *(чешск.)*

такого платонизма в любви. Их поведение для меня слишком лирично... (пр. 2 с.)

— Знаете ли Вы, что редактор Благонамеренного, Шаховской (22 года)[6] на днях принимает послух на Афоне. (Послух — послушник — идет в монастырь.) Чистое сердце. Это лучше, чем редакторство... (пр. 4 с.)

20

St. Gilles-sur-Vie, ⟨1926⟩[1]

(пр. 24 с.) ...Ваша открытка. Взглянув, я почувствовала странное волнение. В чем дело? Деревья. Деревья, которые я не видела в Париже (фабричный район), которых не вижу здесь (один песок). Деревья, которые люблю больше всего на свете. У моря я у моря, в лесу я — в лесу: mitten drinnen*. У моря я в гостях (ненавижу гостить, такой расход любезности!), в лесу я дома, одна, сама своя. Я, по чести, не люблю моря и не думаю, чтобы его можно было *любить*. Оно несоизмеримо больше меня, я им подавлена. И величие его — не родственное (оттого подавлена!). Всякое величие родственное, но иное величие исключает понятие родства. Таково море. Я охотно отказываюсь (м. б. неохотно, но... приходится!) от родственности в жизни, но с вещью (Ding) я роднюсь. Пусть меня не любят люди, но деревья пусть меня любят. Море меня не любит.

— Вот.—

На Вашей открытке деревья явственно протягивают мне руки, и открытка больше взволновала меня, чем море (даже Океан!), в котором я в тот день купалась. В море я *купаюсь,* в листве я *тону*.

Всякое не люблю сложно — как и люблю! — поэтому так пространно... (пр. 15 с.)

21

St. Gilles, 24-го сент⟨ября⟩ 1926 г.

ДЛЯ ВАС ОДНОЙ.

Дорогая Анна Антоновна!

Какая трудная задача! Письмо, долженствующее убедить человека, меня не знающего, что мне — внешне — плохо. Мне внешне всегда плохо, потому что я не люблю его (внешнего), не считаюсь с ним, не отдаю ему должной важности и с него *ничего* не требую. Все, что я люблю, из внешнего становится внутренним, с секунды моей любви перестает быть внешним, и этим опять-таки, хотя бы в обратную сторону, теряет свою «объективную»

* В самой середине, внутри *(нем.)*.

ценность. Так, напр⟨имер⟩, у меня есть с моря, принесенный приливом или оставленный отливом, окаменелый каштан — талисман. Это не вещь. Это — знак. Чего? Да хотя бы приливов и отливов. Потеряв такой каштан, я буду горевать. Потеряв 100 царск⟨их⟩ тысяч рублей, в Госуд⟨арственном⟩ Банке (революция)[1], я не горевала ни минуты, ибо, не будучи с ними связана, не считала их своими, они в моей душе не числились, только в ухе (звук!) или в руке (чек), — на поверхности слуха и руки. Не имев, их не теряла.

Чешское иждивение. Я всегда удивлялась, за что мне дают. Если бы кто-нибудь из них любил мои стихи — да, как меня лично — да, но так, вообще, на веру... Таинственно. Я знаю себе цену: она высока у знатока и любящего, нуль — у других, ибо (высшая гордость) не «держу марки», предоставляю держать — мою — другим.

Для настойчивости в просьбах нужны — наивность, цинизм, бесстыдство: нужно поверить в то, что ты — для Чехии напр⟨имер⟩ — *фигура,* поэт, для обществ⟨енных⟩ деятелей — ценность, поверить в целый ряд несообразностей и внушить их другим. Или же: прикинуться дурачком, убогеньким, нищеньким: «по-о-дайте, Христа ради!»

Для первого я слишком скромна, для второго — слишком я, в обоих случаях — трезва.

Поэтому, и днесь и впредь, мои просьбы неубедительны: застенчивы, юмористичны (чего не прощают!), иногда — прямолинейны (что отталкивает), всегда своеобразны, т. е. с печатью моего образа, который сильным мира сего не нравится. Начинаю прошение — просыпается мысль, юмор, «игра ума». Если два раза «что» или два раза «бы» — беру другой лист, не нравится, хочется безукоризненной формы, *привычка слуха и руки.*

Мне бы нужно *списывать* свои прошения, тогда бы они удовлетворяли и — удовлетворялись.

«Умираю с голоду» — «голодная смерть» — «страдаю общим малокровием» — *не могу.* Безвкусно, преувеличенно, грубо, неправдоподобно, не я. Я: «Несколько стеснена»... «жизненные условия тяжелы — *как и полагается, впрочем»* — и дело уже провалено: обобщение, убивающее частный (мой) случай.—Voilá* — ... (пр. 7 с.)

О нас всех: квартира снята,—в 15 мин⟨утах⟩ поездом от Парижа. Meudon. Лес. Отдельно садик для Мура. Жить мы будем с одной вшенорской семьей[2], дом пополам. Так легче. Адрес пришлю на днях. Нынче 24-ое, выезжаем, д⟨олжно⟩ б⟨ыть⟩,

* Ну вот *(фр.).*

1-го—2-го. Тотчас же по получении от С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩ точного адреса, пришлю Вам—еще отсюда.

Франц⟨узские⟩ хозяйки не лучше чешских, гораздо хуже: уезжая надо *лакировать* шкафы и кровати, этого со мной в Чехии—да и нигде—не было. Грозят агентами и жандармами. Неизвестно за что. Очевидно, простое желание выжать из последних иностранцев (мы здесь последние, как были—первые) последнюю копейку.

Мур хорошо ходит и бегает, живой, ловкий, бесстрашный, лезет в море, как в ведро, и в ведро, как в море. Говорит мало, но понимает всё. Аля выросла, похудела, похорошела. В Париже будет учиться в школе рисования Добужинского и Билибина[3]. *Лучше чем гимназия,*—и призвание и будущий заработок... (пр. 4 с.)

...Теперь, дорогая Анна Антоновна, давайте помечтаем. Вы непременно должны к нам приехать в Медон, погостить, посмотреть Париж.—Хорошо бы на Рождество. Я знаю, что поездка дорога, но... раз в жизни! Вся устрашающая ⟨?⟩ Парижа отпадет—Вы будете зá городом, Париж только по желанию, но—совсем близко, рядом, поезда ходят через кажд⟨ые⟩ полчаса.

Давайте осуществим. Побываем с Вами в Версале, и в Фонтенбло, и в Музеях, и на набережных Сены.—Чудно?—Могли бы приехать с С⟨ергеем⟩ Я⟨ковлевичем⟩ (думаю—в Прагу поедет в начале декабря), а обратно, в Прагу,—вторая мечта!—со мной.

Страшно хочу в Прагу. Устроили бы мой вечер в Едноте, Вы бы меня познакомили с чехами, которых я совсем не знаю, побродили бы по Праге, словом—было бы чудно. Погостила бы у Вас неделю—10 дней. Наговорились бы.

Кроме того, я человек трудовой, мне—лишь бы стол. Вашей жизни бы я не мешала, меня «развлекать» не нужно.

Ах, как было бы чудно!

На поездку я бы заработала и, м. б. немножко заработала бы—вечером—в Праге. Притянуть чехов, а? Женские круги всегда отзывчивые?

Так оправдан был бы обратный билет. *Все русские* бы на меня пошли, а их у Вас ведь еще не мало?

Ответьте—чтó думаете.

Прага—в письме для Р⟨ильке⟩ этого не напишу—мой любимый город. Недавно видела открытку с еврейской синагогой—сердце забилось. А мосты! А деревья? Вспоминаю как сон.

Денежные дела плохи. Зá лето ничего не печатала (написала три небольших поэмы: С моря, Попытка комнаты, Лестница,—

последняя пойдет в Воле России), с Соврем⟨енными⟩ Записками разошлась совсем, — просят стихов *прежней Марины Цветаевой,* т. е. 16 года. Недавно письмо от одного из редакторов: «Вы, поэт Божьей милостью, либо сознательно себя уродуете, либо морочите публику». Письмо это храню. Верх распущенности. Автор — *Руднев*[4], бывший московский городской голова. Вы наверно его знаете, бывает в Праге, правый эсер... (пр. 8 с.)

22

Бельвю, 18-го дек⟨абря⟩ 1926 г.

(пр. 4 с.) ...Совсем не знаю что сказать Вам в ответ на Ваше уведомление о высылке денег. Такие вещи, как всё незаслуженное, *режут,* я их боюсь, ибо, режа, пробивают кору моего ожесточенного сердца. Мне было бы легче, если бы такого в моей жизни не бывало. Поймете ли Вы меня?

Я безоружна перед добротой,— совершенно беспомощна. Как старый морской волк, например, в цветнике. Поймете ли Вы меня?.. (пр. 5 с.)

...Мечту о Вашем приезде сюда не покинула. Весной у нас будет чудно, мы живем почти в парке (старый дворец маркизы de Pompadour[1] разрушенный в 70 году моими Deutschland über alles*, — впрочем, тогда было: Preussen**). У нас свободная мансарда, где зимой нельзя жить (нет отопления), но весной чудесно. В нее и переселится С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩, а Вы будете жить рядом с нами — Алей, Муром и мною. Кроме того, при доме садик. Вообще — всё в зелени. Съездим с Вами в Версаль — две остановки, ближе чем от Вшенор до Праги.

Давайте — серьезно. Дорога дорога, но окупится жизнью здесь. Вам нужно взять какой-то душевный отпуск — у семьи. Не продышавшись душа ссыхается, знаю это по себе. Семья ведь — сердце. Сердце разрастается в ущерб души, душе совсем нет места, отсюда естественное желание — умереть: не *не быть,* а *смочь быть.* — Так ли это у Вас?

Не соблазняю вас Эйфелевой башней (назойливой), ни даже выставками, всё это все-таки скорей — для глаз и из породы развлечений, то есть несколько презренно. Соблазняю Вас *другим воздухом,* Вами на свободе, Вами самою же. Это — как основа. Остальное — Версаль, Лувр, Люксембург — очаровательные частности. А вот весна — частность, а в Париже она чудесна...

Хотите — на Пасху? Давайте всерьез. Вырвите месяц, чудный месяц в воздухе!

* Германия превыше всего *(нем.).*
** Пруссия *(нем.).*

Версты и евразийство газеты рвут на куски. Пропитались нами до 2-го №, выходящего на днях. Новая пища. Особенно *позорно* ведет себя Милюков[2], но оно и естественно: он *бездушен,* только голова.

Второй № лучше первого, получите. Есть огромная ценность: Апокалипсис Розанова...[3] (пр. 20 с.)

23

Бельвю, 15-го января 1927 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Итак — не приедете? Жаль. Почему-то поверила в чудо.

Думали ли Вы о том (конечно думали!), что все, что для других — просто, для Вас — чудо (и наоборот). Бытовая поездка в Париж, силой Вашего желания, сразу теряет свои естественные очертания, рельсы загибают — в никуда.

Жаль, но не всё потеряно, и знаю, что силой своего желания когда-нибудь добьюсь... (пр. 5 с.)

...От всей души хочу Вас, к Вам, быть с Вами. У меня с Вами покой и подъем (покой без подъема — скука. Подъем без покоя — тоска). Если бы Вы знали как мне ску-у-учно с людьми!

В Праге мне было лучше (между нами), была обездоленная и благородная русская молодежь, добрая, веселая и любящая семья Чириковых, был Сло⟨ним⟩ (отпал? отстал? — «тот поезд, на который все — опаздывают»[1], я — о поэте), — о Вас не говорю, было — при сравнительно нечастых — почему не чаще? — встречах — постоянно сознание Вашего сочувствия, сопутствия, присутствия. В Париже у меня друзей нет и не будет. Есть евразийский круг — Сувчинский, Карсавин[2], другие — любящий меня «как поэта» и меня не знающий, — слишком отвлеченный и ученый для меня, есть сожительство с русской семьей[3]: бабушка, взрослые сын и дочь, жена другого сына, внук — милые, но густо-бытовые — своя жизнь, свои заботы! — и больше нет ничего.

Так что — кажется главная моя, да нет — единственная моя радость с людьми — *беседа* — отпадает.

Окончательно переселилась в тетрадь.

Муру через 2 недели год[4], сниму и пришлю. Кругломордый, синеглазый, в больших локонах. Аля — еще чуть-чуть и с меня, но переменилась мало, совсем не повзрослела. С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ измотан и измаян, глотает мышьяк и еще что-то, но мало помогает.

О Рильке в другой раз. Германский Орфей[5], то есть Орфей, *на этот раз* явившийся в Германии. Не Dichter (Рильке) — Geist der Dichtung*.

Да! Очень прошу Вас, дорогая Анна Антоновна, — если действительно состоится лекция обо мне М⟨арка⟩ Л⟨ьвовича⟩ С⟨лонима⟩ — запомните возможно точнее, ведь это нечто вроде эпилога, нет, — некролога: целой долгой дружбы[6]. Мне хочется знать, хорошо ли он знает — что потерял?

А о нем над гробом — хорошо сказали. Ребенок над разбитой игрушкой, с той разницей, что раньше сам ломал, а эта — сама сломалась[7]. Что ломал-то — старые, а сломалась-то — новая!.. (пр. 6 с.)

...Не забудьте, дорогая Анна Антоновна, возможно точнее, в его выражениях! — запомните лекцию. Просто, тут же запишите — что понравится. Это для меня проверка... (пр. 4 с.)

...Мой тот свет постепенно заселяется: еще Рильке! А помните штейнеровское:

Auf Wiedersehen!..**[8] (пр. 6 с.)

24

Бельвю, 21-го февр⟨аля⟩ 1927 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Спасибо за полноту слуха и передачи, еще больше — за мужество отстаивать отсутствующего[1], не о себе в Париже говорю, о себе в жизни говорю. Все мои друзья мне о жизни *рассказывают,* как моряки о далеких странах — мужикам. (Le beau rôle, как видите, в этом уподоблении — n'est pas pour moi, — mais...je me fiche des beaux rôles!)*** Из этого заключаю, что я в жизни не живу, что впрочем ясно и без предпосылки. И вот Вы, мужественное сердце, решили меня — силой любви — воскресить в жизнь, — нет, не воскресить, ибо никогда не жила — а явить в жизнь. И что же — час прожила. Брэю[2] и Слониму тоже, хоть не то же — благодарность... (пр. 6 с.)

... Кончила письмо к Рильке — поэму[3]. Сейчас пишу «прозу»[4] (в кавычках из-за высокопарности слова) — т. е. просто предзвучие и позвучие — во мне — его смерти. Его смерть в моей жизни

* Не поэт... — дух поэзии *(нем.)*.
** До свидания! *(нем.)*
*** Прекрасная роль... не для меня, — но... я плюю на прекрасные роли! *(фр.)*

растроилась: непосредственно до него умерла Алина старая Mademoiselle и непосредственно после (все на протяжении трех недель!) один русский знакомый мальчик Ваня. А в общем — *одна* смерть (одно воскресение). Лейтмотивом вещи не беру, а сами собой встали две строки Рильке:

> Denn Dir liegt nichts an den Fragenden:
> sanften Gesichtes
> siehst Du den Tragenden zu*[5].

На многое (внутрь) меня эта смерть еще подвигнет.

Внешне *очень* нуждаемся — как никогда. Пожираемы углем, газом, электр⟨ичеством⟩, молочницей, булочником. Питаемся, из мяса, вот уже месяцы — исключительно кониной, в дешевых ее частях: coeur de cheval, foie de cheval, rognons de cheval** и т. д., т. е. всем, что 3 фр⟨анка⟩ 50 фунт — ибо есть конина и в 7—8 фр⟨анков⟩ фунт. Сначала я скрывала (от С⟨ережи⟩, конечно), потом раскрылось, и теперь С⟨ережа⟩ ест сознательно, утешаясь, впрочем евразийской стороной... конского сердца (Чингис-Хан и пр.)... (пр. 7 с.)

...С⟨ережа⟩ в евразийство ушел с головой[6]. Если бы я на свете *жила* (и, преступая целый ряд других «если бы») — я бы наверное была евразийцем. Но — но идея государства, но российское государство во мне не нуждается, нуждается ряд других вещей, которым и служу... (пр. 5 с.)

...Попадался ли Вам на глаза № 1 Русской Мысли? Единственный (и какой!) свет — письмо Рильке о Митиной Любви[7]. *Рильке — о Бунине* — чувствуете все великодушие Рильке? Перед Рильке — Бунин (особенно последний) анекдотист, рассказчик, газетчик.

Вспоминаю Прагу, и где можно, когда можно, — страстно хвалю... (пр. 4 с.)

...Дорогая Анна Антоновна, Вы один из редких людей, которым мне постоянно хочется писать, а еще больше — говорить. Верю в — не сейчас, так потом — осуществимость Парижа, в поездку в Версаль, во все, что расцветет во мне парижского — только с Вами... (пр. 18 с.)

(пр. 9 с.) ...Иждивение мне пока из Чехии, слава Богу, идет. Напишите, дорогая Анна Антоновна, кого из чехов благодарить? Неловко — получать и молчать!..

---

* Ибо вопрошающие тебе безразличны: с кротким лицом глядишь ты на обремененных *(нем.)*.

** Конское сердце, конская печенка, конские почки *(фр.)*.

25

Meudon (S. et O)
2, Avenue Jeanne d'Arc
Третий день Пасхи 1927 г.

Воистину Воскресе, дорогая Анна Антоновна!

Последнее мое письмо к Вам явно пропало, написала Вам тотчас же по переезде в соседний городок на новую квартиру, около месяца назад.

Квартира удобная и недорогая: три комнаты (две порядочные, одна — моя — маленькая), ванная, крохотная кухня (вроде клетки для гориллы, — я очень точна), собственное центральное отопление — все это 350 фр⟨анков⟩ в месяц. (Отопление, конечно, наше.) Но — немеблированная, пришлось обрастать, вернее — спешно обрасти — вещами. Кое-что дали, часть купили в рассрочку. Контракт на три года. Для Вас — отдельная комната, когда бы ни приехали — моя. Сплю с детьми, а работать я бы спокойно могла в Вашем присутствии. Вовсе не оставляю мечты о Вашем приезде, очень верю в него, как во все естественное, изнутри полагающееся*.

Читаю Ваше письмо и улыбаюсь: маленькая Прага — а сколько имен и событий. А у меня большой Париж — и rien**, м. б. оттого что не могу: не ищу. Окружена евразийцами — очень интересно и ценно и правильно, но — есть вещи дороже следующего дня страны, даже России. И дня и страны.

В порядке действительности и действенности евразийцы — ценности первого порядка. Но есть порядок — над-первый audessus de la mêlée***, — мой. Я не могу принять всерьез завтрашнего лица карты, потому что есть послезавтрашнее и *было* — сегодняшнее и, в какой-то день, совсем его не будет (лица). Когда дерутся на улицах — я с теми *или* с другими, сразу и точно, когда борьба отвлеченная, я (честно) ничего не чувствую, кроме: было, есть, будет.

Меня в Париже, за редкими, личными исключениями, ненавидят, пишут всякие гадости, всячески обходят и т. д. Ненависть к присутствию в отсутствии, ибо *нигде* в обществ⟨енных⟩ местах не бываю, *ни на что ничем* не отзываюсь. Пресса (газеты) сделали свое. Участие в Вёрстах, муж-евразиец и, вот в итоге, у меня комсомольские стихи и я на содержании у большевиков.

---

* Вы приедете изнутри себя, а не извне событий *(приписка Цветаевой)*.
** Ничего *(фр.)*.
*** Над схваткой *(фр.)*.

Schwamm (und Schlamm!) drüber!..* (пр. 10 с.)

...Но — неожиданное везение. Нашелся издатель[1] для моей последней (1922 г. — 1925 г.) книги стихов, большей частью возникшей в Чехии. (Чехия минус два первых берлинских месяца.) Издатель, очень любящий мои стихи и хотящий, чтобы они были. Книга (только Вам!) называется После России — хорошо? Я в этом названии слышу многое. Во-первых — тут и слышать нечего — простая достоверность: все — о стихах говорю — написанное после России. Во-вторых — не Россией одной жив человек. В-третьих — Россия во мне, не я в России (Сережины слова[2], у себя на Доне. NB! Для нас Россия была Москва). В-четвертых: следующая ступень после России — куда? — да почти что в Царство Небесное!

А в общем название скромное и точное.

О книге никому ни слова (выйдет осенью!) — сглазят. Здесь никому не говорю.

Живем вблизи большого медонского леса, наша Avenue Jeanne d'Arc в него входит. Но к сожалению, окраина леса заселена семьями и парочками, а дальше, с Муром, круто. Нужно идти по крайней мере полчаса, чтобы обрести лес. Полчаса моих — с Муром полтора часа. В Чехии было лучше... (пр. 10 с.)

...Слишком много черной работы и людей. Вот мой вздох. Все утра пропадают: 4 раза в неделю рынок, нельзя пропускать. Остальные три — случайности насущных и насущности случайных дел. Кроме утренней еды всем и готовки обеда — ну, белье сосчитать, ну — выстирать, ну — срочно зашить, много — ну. Аля очень помогает... (пр. 1 с.) хорошая здоровая красивая девочка — очень красивая, хорошеет день ото дня. Уже почти с меня ростом, будет больше... (пр. 9 с.)

...За зиму написала — меньше половины Федры, письмо к Рильке (поэма), прозу о Рильке: ТВОЯ СМЕРТЬ (около двух листов), которую и предлагаю Вам для перевода. Содержание: о соседстве могил, — рассказ о смерти M-elle Jeanne Robert — рассказ о смерти русского мальчика Вани — попытка истолковать смерть Рильке. Лирическая проза. Вещь будет переведена на франц⟨узский⟩ и на немецкий, была бы *счастлива,* если бы Вы перевели ее на чешский. Вещь вне-национальная, *н-а-д*-национальная. Пойдет в след⟨ующем⟩ № «Воли России», пришлю уже в корректуре. Кажется — хорошая вещь. Ведь Россия на смерть Рильке ничем не ответила, это был мой долг. (Россию он любил, как я Германию, всей непричастностью крови и свободной

* Оставим это! *(нем.)*

страстью духа.) В предпоследнем письме его вопрос: как слово «Nest — in Deiner Sprache, die so nah ist, alle zu sein»*[3] (пр. 5 с.)

...У нас, дорогая Анна Антоновна, очень похожие жизни: сплошной черновик. И очень похожие — другие жизни, те. Проще: и здесь и там живем одной жизнью, здесь на́черно, там на́бело. Прага или Париж — неважно. Впрочем, *явно* предпочитаю Прагу. В Париже нужно жить Парижем, иначе ты в нем и он для тебя бессмыслен. Кроме того, Париж — рассредоточен, с архипелагом сердец, у Праги же один центр — рыцарь. (Показательно для современной Праги, что он *под* мостом! Мы с Вами тоже *под* мостом!) Моя мечта (пока несбыточная) когда-нибудь приехать к Вам погостить: побыть собой. Мы бы с Вами бродили по Праге и непременно проехали бы в глубь страны, в *дичь*.

Да! у меня в книге будет только два посвящения: одно Пастернаку, другое (весь цикл) Вам. Оно уже переписано и на днях пойдет в набор. Какой — пока не скажу[4]. — Мой самый любимый и совершенно связанный с Вами — (пр. 10 с.)

26

Медон, 4-го октября 1927 г.

(пр. 16 с.) ...8-го сентября мы должны были ехать на Океан — на месяц —; нам предоставляли целый дом. Взяла ряд авансов на билеты, все уже было готово... и 2-го, т. е. меньше чем за неделю, заболевает Мур. Болезнь началась рвотой и сильным жаром, на другой день заявилась сыпь. Позвали доктора: краснуха. Мур пролежал 3 недели, а 18-го в день Алиного рождения (5/18 сент⟨ября⟩) заболела я. Краснуха оказалась скарлатиной. 19-го слегла Аля, дом превратился в лазарет. Лежу уже 17 дней, нужно еще 10. Жар прошел, сыпь тоже, но нужно лежать, п. ч. после скарлатины часто бывают всякие гадости, если рано встать, напр⟨имер⟩ — порок сердца. Сильнее всех болела я, у Али даже не было сыпи, — только несколько дней поболело горло. Я же целую неделю не могла спать из-за безумной боли рук, ног и шеи, — отравление токсинами. Теперь всё хорошо, нужно надеяться, — хотя бывают всякие сюрпризы — что пройдет бесследно. В общем, во Франции скарлатина легкая, не то, что в России, где от нее сплошь да рядом умирали, особенно взрослые. Так напр⟨имер⟩, умерла первая жена Вячеслава Иванова, писательница Зиновьева-Ганнибал, заразившаяся от детей[1].

* «Гнездо — в Твоем языке, который так близок ко всеобщему...» *(нем.)*.

Но увы! Конверт с дорожными деньгами, тщательно заклеенный, чтобы не истратить «на жизнь» — пуст. Все ушло на врачей и на лечение. Но главного я Вам не сообщила: *я побрилась*. Брилась уже два раза, после третьего начну обрастать. После скарлатины сильно лезут волосы, не выношу этого ощущения: лучше ничего, чем мало! Пишу Вам лежа, в детском голубом колпаке. Великодушные знакомые сравнивают меня кто с римлянином, кто с египтянином... (пр. 15 с.)

...А вот моя большая мечта. Нельзя ли было бы устроить в Праге мой вечер, так чтобы окупить мне проезд туда и обратно, — minimum 1000 крон. Приехала бы в январе-феврале на две недели, остановилась бы, если бы Вы разрешили, у Вас. Мы провели бы чудных две недели. Для этого нужно было бы продать 200 бил⟨етов⟩ по 5 крон или 100 билетов по 10 крон. Неужели же это невозможно?? Хорошо бы притянуть чехов. В устройстве помогли бы Брэй, Альтшулер[2] и Еленев[3]. Мое решение *вполне серьезно*, я очень соскучилась по Вас и иного выхода не вижу. Кроме того, мне очень хочется написать о Чехии, за две недели Вы бы мне многое рассказали, походили бы с Вами по музеям, м. б. съездили бы в какие-нибудь окрестности, я бы записывала, а приехав в Париж — написала бы. Это моя давняя мечта. Напишите, что Вы об этом думаете? К февралю я бы порядочно обросла (не забудьте, что я бритая!) и в крайнем случае могла бы выдать свою стриженую голову за последнюю парижскую моду. Вы бы встретили меня на вокзале, — подумайте как чудно! Давайте осуществим. Никакому Океану я так не радовалась, как сейчас — мысли о Праге.

С нетерпением жду ответа. Все дело в тысяче крон (пр. 10 с.)

27

Медон, 20-го октября 1927 г.

Дорогая Анна Антоновна, сердечное спасибо за письмо и подарок, оба дошли. Я уже неделю как встала, все хорошо, кроме боли в кистях рук, так и оставшейся, — оставлю ее на каком-нибудь летнем холме.

Страшно обрадована относительной возможностью поездки к Вам, март — очень хорошо, успеют отрасти волосы. Кстати нынче бреюсь в седьмой и последний раз, очень трудно остановиться, — понравилось — но С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ возмущен и дальше жить отказывается.

Вчера сдала последнюю корректуру своей книги стихов «После России». Из 153 стр⟨аниц⟩ текста — 133 стр⟨аницы⟩ падают

на Прагу. Пусть чехи убедятся, что недаром давали мне иждивение все те годы. За Чехию у меня написаны: «После России», «Мо́лодец», «Тезей», «Крысолов», «Поэма Горы», «Поэма Конца», и ряд прозаических вещей. Очень помогла *природа,* которой здесь *нет,* ибо лес с хулиганами по будням и гуляющими по праздникам — не лес, а одна растрава.

Знаете, как странно? Помните мою дружбу с волероссийцами, особенно — с М⟨арком⟩ Л⟨ьвовичем⟩? Видела его за всё время — один раз, т. е. с самого его переезда во Францию. Самым преданным оказался Лебедев, с которым я меньше всего водила дружбу. Он, действительно, искренно расположен, единственный из них откликнулся на все наши беды… (пр. 7 с.)

…Читаете ли Вы травлю евразийцев в Возрождении, России[1], Днях? «Точные сведения», что евразийцы получали *огромные суммы* от большевиков. Доказательств, естественно, никаких (ибо быть не может!) — пишущие знают эмиграцию! На днях начнутся опровержения, — как ни гнусно связываться с заведомо-лжецами — необходимо. Я вдалеке от всего этого, но и мое политическое бесстрастие поколеблено. То же самое, что обвинить *меня* в большевицких суммах! Так же умно и правдоподобно.

С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩, естественно, расстраивается, теряет на этом деле последнее здоровье. Заработок с 5 1/2 ч. утра до 7 — 8 веч⟨ера⟩ игра в кинематографе фигурантом за 40 фр⟨анков⟩ в день, из к⟨отор⟩ых 5 фр⟨анков⟩ уходят на дорогу и 7 фр⟨анков⟩ на обед, — итого за 28 фр⟨анков⟩ в день. И дней таких — много — если 2 в неделю. Вот они, большевицкие суммы!.. (пр. 13 с.)

28

Медон, 28-го ноября 1927 г.

(пр. 11 с.) … Нынче в первый раз после долгого сиденья дома (простужен, как все окружающие) Мур вышел на улицу. День был мягкий, пражский: туман, дуновение, сон. Мы гуляли одни (Аля была в школе), прошли в наш чудесный парк, где (туман!) не было ни души. Только голубой Мур и я. В 4 часа стало уже смеркаться, ночь наползала как пуховик. Не хотелось уходить: одиночество и туман, — мои две стихии! Мур из голубого превратился в синего — сизого, — цвета расстилавшегося вдали Парижа и неба над ним. Людей не было: был *новый* (всегда!) Мур в новом костюме и тысячелетняя я. «Сколько Вам лет?» — «Час. — Старше

камней». Человека, который бы не улыбнулся в ответ, полюбила бы с первого раза. Но — отвлекаюсь — моим годам, вообще, суждено смущать. Мне осенью исполнилось 33, выгляжу на 23, а Аля, которой 14, на 16[1]. Путаница. Впрочем *никогда, с четырех лет,* не имела своего возраста, ни с виду, ни внутри, раньше и была и выглядела старше, сейчас выгляжу моложе, живу — моложе, и неизмеримо старше — есмь... (пр. 10 с.) Не люблю Парижа. «Dunkle Zypressen! Die Welt ist gar zu lustig! Es wird doch alles vergessen»*[2]. (Мур, глядя на перечеркнутое: «Мама! ты грязь сделала») — (пр. 41 с.)

...Прага! Прага! Никогда не рвалась из нее и всегда в нее рвусь. Мне хочется к Вам, ее единственному и лучшему для меня воплощению, к Вам и к Рыцарю. Нет ли его изображений покрупнее и пояснее, вроде гравюры? Повесила бы над столом. Если у меня есть ангел-хранитель, то с его лицом, его львом и его мечом. Мне скажут (не Вы, другие!) — *«Ваша* Прага», и я, схитрив и в полной чистоте сердца, отвечу: «Да, *моя»*.

Ничего не боюсь, ни знакомств, ни гостей, я умею по-всякому, со всеми. Написала и увидела: *по-своему* со всеми. Я от людей не меняюсь, они от меня — чаще — да. Скучны мне только политики.

М. б. ничего и не выйдет, что ж — была мечта! Очень удивлюсь, если выйдет: в Праге меня все более или менее видели, а это единственное, что интересно в «поэтессе». М. б. (шучу, конечно) сослужит моя новая прическа, в данную минуту равная русскому старорежимному гимназическому 1-классному бобрику. Волосы растут темнее, но не жестче, чем были. Хожу без всякой повязки. Женщины огорчаются, мужчинам нравится.

Недавно сдала в В⟨олю⟩ Р⟨оссии⟩ для ноябрьского № «Октябрь в вагоне», — *мой* Октябрь 1917 г. (дорога из Феодосии в Москву). Думаю, Вам понравится. Там хорошая формула буржуазии. Дописываю последнюю картину Федры (трагедия). Мой Тезей задуман трилогией: *Ариадна — Федра — Елена*[3], но из суе-(ли?)-верия не объявила, для этого нужно по крайней мере одолеть две части. Знаете ли Вы, что на долю Тезея выпали все женщины, все-навсегда? Ариадна (душа), Антиопа (амазонка), Федра (страсть), Елена (красота). Та троянская Елена. 70-летний Тезей похитил ее семилетней девочкой и из-за нее погиб.

Сколько любвей и *все* несчастные. Последняя хуже всех, потому что любил куклу... (пр. 8 с.)

...О Рильке: 29-го сего декабря его годовщина, не сослужит ли это при помещении перевода? Очень хотелось бы увидеть эту вещь напечатанной именно в Чехии[4]. Р⟨ильке⟩ — великий поэт всей современности — ведь уроженец Праги!.. (пр. 11 с.)

---

* См. перевод на с. 235.

29

Медон, 12-го декабря 1927 г.

(пр. 9 с.) ...Скоро Рождество. Я, по правде сказать, так загнана жизнью, что ничего не чувствую. У меня — за годы и годы (1917—1927 г.) — отупел не ум, а душа. Удивительное наблюдение: именно на чувства нужно время, а не на мысль. Мысль — молния, чувство — луч самой дальней звезды. Чувству нужен досуг, оно не живет под страхом. Простой пример: обваливая 1 1/2 кило мелких рыб в муке, я могу думать, но чувствовать — нет: запах мешает! Запах мешает, клейкие руки мешают, брызжущее масло мешает, *рыба* мешает: каждая в отдельности и все 1 1/2 кило вместе. Чувство, очевидно, более требовательно, чем мысль. Либо всё, либо ничего. Я своему не могу дать ничего: ни времени, ни тишины, ни уединения: я *всегда* на людях: с 7 ч. утра до 10 ч. вечера, а к 10-ти ч. так устаю, что — какое чувствовать! Чувство требует *силы.* Нет, просто сажусь за штопку вещей: Муриных, С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩, Алиных, своих — 11 ч., 12 ч., 1 ч. — С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ приезжает с последним поездом, короткая беседа — и спать, т. е. лежать с книгой до 2 ч., 2 1/2 ч. — хорошие книги, но я бы еще лучше писала, если бы —

Виновата (виновных нет) м. б. и я сама: меня кроме природы, т. е. души, и души, т. е. природы — ничто не трогает, ни общественность, ни техника, ни — ни — Поэтому никуда не езжу: ску-учно! Профессор читает, а я считаю: минуты до конца. — К чему? — Так и сегодня: евразийская лекция о языковедении. Кажется близко? Только *кажется.* Профессор (знаменитость) *все* языки ведет от четырех слов[1]. Когда я это услышала, я сразу отвратилась: ничто *четное* добра не дает. А рифма? Рифма есть *третье!*

Так и не пошла, и сижу между чулком и тикающим будильником.

Как я хочу в Прагу! — Сбудется?? Если даже *нет,* скажите: *да!* В жизни не хотела назад ни в один город, *совсем не хочу в Москву* (всюду в России, *кроме!),* а в Прагу хочу, очевидно пронзенная и завороженная. Я хочу *той* себя, несчастно-счастливой, — себя — Поэмы Конца и Горы, себя — души без тела всех тех мостов и мест. (NB! Вот и стихи:

Себя — души без тела
Всех тех мостов и мест).

Где я ждала и пела,
Одна как дух, как шест.
Себя — души без тела
Всех тех мостов и мест.

Так когда-то писались стихи, не писала (отдельных) с 1925 г., мая — месяца[2]. *Маяться* — мой глагол!

Как я хотела бы с Вами — по Чехии! Вглубь! (Знаю, что совсем несбыточно!) После Праги — (Города-призрака) — в природу. Неужели дело в деньгах, которые — были или не были — презирала. Да, будь деньги! Учителей и книг — Але, образцовую няню — Муру, квартиру с садиком, а себе? Каждый день писанье и раза два в год — отъезды, первый — к Вам. Недавно мне кто-то сказал, что мои прежние русских сто тысяч равнялись бы миллиону франков. — Звук. —

Кончила Федру. Писала ее около полугода, но ведь пишу в день 1/2 ч., много — час! Очень большая, больше Тезея. Тезей задуман трилогией: Ариадна — Федра — и написанной быть имеющая — Елена. Не знаю, куда сдам. М. б. в Совр⟨еменные⟩ Записки. Сейчас занята общей чисткой и выправкой, много недавшихся мест. — Справлюсь. — Держит меня на поверхности воды конечно тетрадь.

До свидания! Думайте обо мне на пражских мостах и уличках (не — улицах!). Может быть все-таки когда-нибудь вместе?.. (пр. 10 с.)

30

Медон, 3-го января 1928 г.

Милая Анна Антоновна, еще неохотно вывожу 1928 г. — как каждый новый, впрочем. Заминка руки и сердца, под заминкой — измена. Не сомневаюсь, что стерпится — слюбится. (Кстати, люблю эту поговорку только навыворот, та́к — только *терплю.)*

Огромное и нежнейшее спасибо за новогодний подарок, прямо в сердце, а осуществление — чудное серебряное кольцо Але, с камеей: амуром-Муром, и столик Муру. Получат послезавтра под ёлкой. Будет столько гостей, а Вас не будет. Будет, кстати, герой моей Поэмы Конца[1] — с женой[2], наши близкие соседи, постоянно видимся, дружественное благодушие и равнодушие, вместе ходим в кинематограф, вместе покупаем подарки: я — своим, она — ему. Ключ к этому сердцу я сбросила с одного из пражских мостов, и покоится он, с Любушиным кладом, на дне Влтавы — а может быть — и Леты[3]. Кстати, в Праге, определенно, что-то летейское, в ветвях, в мостах, в вечерах. Прага для меня *не* точка на карте.

Новый Год встречала с евразийцами, встречали у нас. Лучшая из политических идеологий, но… что мне до них? Скажу

по правде, что я в *каждом* кругу — чужая, всю жизнь. Среди политиков так же, как среди поэтов. Мой круг — круг вселенной (души: то же) и круг человека, его человеческого одиночества, отъединения. И еще — забыла! — круг: площадь с царем (вождем, героем). С меня — хватит. Среди людей какого бы то ни было круга я не в цене: разбиваю, сжимаюсь. Поэтому мне под Новый Год было — пустынно. (Чем полней комната — тем...) То, что я Вам рассказываю, Вам не новость: *нам* не новость... (пр. 14 с.)

...Получила вчера большое милое письмо от В. Ф. Булгакова, как Вы думаете — не притянуть ли его к устройству моего вечера?.. (пр. 2 с.)

Волосы мои порядочно отросли, но — новая напасть: нарыв за нарывом, живого места нет, взрезывания, компрессы, — словом уж три недели мучаюсь. Причина 1) трупный яд, которым заражена вся Франция, 2) худосочие. Есть впрыскивание, излечивающее раз навсегда, но 40-градусный жар и лежать 10 дней. Не по возможностям. М. б. когда-нибудь... А пока хожу Иовом...[4] (пр. 26 с.)

31

Медон, 10-го февраля 1928 г.

Дорогая Анна Антоновна, обращаюсь к Вам со следующей большой просьбой, — не найдете ли Вы мне подписчиков на мою книгу «После России», — посылаю Вам три бланка в отдельном конверте.

Дело с книгой таково: по внесении в типографию 2/3 стоимости книги (4000 фр⟨анков⟩) книга, совсем готовая, начнет печататься. Издатель разместил уже 25 подписок, но больше не может, остальные 15 должна разместить я. Вот и прошу Вас, может быть удастся? Техника такова: подписчик заполняет бланк и отсылает его издателю, по указанному адресу, с приложением соответствующей суммы. Проще будет, если эти деньги будут сразу вручены Вам, Вы, с заполненными бланками, перешлете их издателю. (Заполненные бланки важны для нумерации, каждый подписчик получит свой №.) М. б. та редакторша подпишется? Хорошо бы разместить все три, и *поскорее:* от быстроты зависит появление книги.

Ясно ли Вам? Дорогими экземплярами мы с издателем окупаем часть издания, ибо наличных ни у него, ни у меня нет. Деньги идут *не мне,* а в типографию.

Издатель очень торопит, книга залежалась, пора выпускать. Хотела просить Вас сделать все возможное, но Вы и так всегда делаете — больше чем можете!

В субботу у нас Брэй, побеседуем, расскажет о Вас, о Праге. (пр. 4 с.)

32

Медон, февраль 1928 г.

Дорогая Анна Антоновна, отвечаю Вам тотчас же. На Прагу я никогда не надеялась, — слишком хотелось. Тешила себя мечтой, но знала, что тешу. Читали ли Вы когда-нибудь Der Trompeter von Säckingen?* Там песенка, с припевом:

Behüt Dich Gott — es wär zu schön gewesen!
Behüt Dich Gott — es hat nicht sollen sein!**[1]

Так у меня всю жизнь. Меньше бы хотела к Вам — наверное бы сбылось. А к Вам хотела и хочу — сказать просто? — *Любить.* Я никого не люблю — давно, Пастернака люблю, но он далёко, всё письма, никакой приметы *этого* света, должно быть и не на этом! Рильке у меня из рук *вырвали,* я должна была ехать к нему весною. О своих не говорю, другая любовь, с болью и заботой, часто заглушенная и искаженная *бытом.* Я говорю о любви на воле, под небом, о вольной любви, тайной любви, не значащейся в паспортах, о *чуде чужого.* О *там,* ставшем *здесь.* Вы же знаете, что пол и возраст ни при чем. Мне к Вам хочется домой: ins Freie***: на чужбину, за *окно.* И — о очарование — в этом ins Freie — уютно, в нем *живется:* облако, на котором можно стоять ногами. Не тот свет и не этот, — третий: сна, сказки, мой. Потому что Вы совершенно сказочны (о, не говорите, что я «преувеличиваю», я только — *додаю!).* Словом — к Вам, в тепло и в *родной холод.* И, возвращаясь к Trompeter'у — не правильнее ли было бы:

Behüt Dich Gott — es wär zu schön gewesen,
Behüt Dich Gott — es hat nicht wollen sein?****

Месть жизни за все *те света́.*

---

* Трубач из Зекингена *(нем.).*

** Храни Тебя Бог, это было бы слишком прекрасно!
Храни Тебя Бог, этому не суждено было быть! *(нем.) (пер. М. Цветаевой).*

*** На свободу *(нем.).*

**** Да хранит Тебя Бог — это было бы слишком прекрасно,
Да хранит Тебя Бог — это не хотело быть *(нем.).*

Вы спрашиваете о «После России»? Сложно. Книга, говорят, вышла месяц назад, но никто ее не видел. Издатель (неврастеник) ушел из издательства и переехал на другую квартиру, на письма не отвечает. Издавал он книгу самолично, на свой риск, в издательстве о ней *ничего* не знают. С Верстами вышла передряга: очень большое количество экземпляров было, по недосмотру, отпечатано так слабо, что пришлось их в типографию вернуть. Отсюда задержка. Надеюсь, что на днях получите. О них уже был отзыв в «Возрождении»[2] (орган крайне-правых, бывший струвовский). В них мои обе вещи «С моря» и «Новогоднее» (поэмы) названы набором слов, дамским рукоделием и слабым сколком с Пастернака, *как и все мое творчество*[3]. (NB! Пастернака впервые прочла за границей, в 1922 г., а печатаюсь с 1911 г.[4], кроме того Пастернак, в стихах, *видит,* а я *слышу,* но—как правильно сказала Аля: «Они и Вас и П⟨астерна⟩ка одинаково *не понимают,* вот им и кажется»... Все дело в том, что я о П⟨астерна⟩ке написала хвалебную статью[5] и посвятила ему «Мо́лодца»).

Была бы я в России, всё было бы иначе, но—*России* (звука) нет, есть буквы: СССР,—не могу же я ехать в *глухое,* без гласных, в свистящую гущу. Не шучу, от одной мысли душно. Кроме того, меня в Россию не пустят: *буквы не раздвинутся.* (Sesam, thue Dich auf!)*[6] В России я поэт без книг, здесь—поэт без читателей. То, что я делаю, никому не нужно. (пр. 31 с.)

33

Медон, 11-го марта 1928 г.

(пр. 25 с.) ...Огромное спасибо за устройство подписки, Вы сделали чудо. Тэффи[1], напр⟨имер⟩, у которой такие связи (Великие Князья, генералы, актрисы, французская знать), не могла устроить ни одного. Три билета мне еще устроил отец Б. Пастернака, Леонид Пастернак, художник (живет в Берлине). Вообще мне на заочность везет, мое царство.—Книга скоро выйдет, к несчастью издатель вроде автора: всё на Божию милость. «Где-нибудь, когда-нибудь». У нас в России бывали такие ямщики: он спит, а лошадь везет. А иногда: он спит и лошадь спит.

Недавно, на самых днях, пережила очередную встречу со смертью (помните, в «Твоя смерть»—кто следующий?). Умер от туберкулеза кишок брат моей подруги, Володя, 28 лет, на вид и по всему—18. Доброволец, затем банковский служащий в Лон-

* Сезам, отворись! *(нем.)*

доне...[2] (пр. 12 с.) ...Ни секунду за всю болезнь не подозревал об опасности. «Вот поправлюсь»... А жизнь ему нужна была не для себя, а для других. Жить, чтобы работать и работать, чтобы другие жили. Умер тихо, всю ночь видел сны. — «Мама, какой мне веселый сон снился: точно за мной красный бычок по зеленой траве гонится»... А утром уснул навсегда. Это было 8-го, — вчера, 10-го хоронили. У французов не закапывают при родственниках, родные оставляют голый гроб. Насилу добились у могильщика, чтобы заровняли яму при нас, и длилось это 1 час 20 мин⟨ут⟩. Час 20 мин⟨ут⟩ мать стояла и смотрела как зарывают ее сына. Лопаты маленькие, могильщики ленивые, снег, жидкая глина под ногами. А за день погода была летняя, все деревья цвели. Точно природа, пожалев о безродном, захотела подарить ему на этот последний час русские небо и землю. Проводила мать и сестру до дому, зашла — тетушка накрывает на стол, кто-то одалживает у соседей три яйца, говорят про вчерашнее мясо. — Жизнь. — В тот же вечер мать принялась за бисерные сумочки, этим живут. Вот и будет метать бисер и слезы... (пр. 6 с.)

34

Медон, 10-го апреля 1928 г.

Христос Воскресе, дорогая Анна Антоновна!

Окликаю Вас на перегибе вашей и нашей Пасхи, в лучший час дерева, уже не зимы, еще не лета. Ранней весной самый четкий ствол и самый легкий лист. Лето берет количеством.

Как у вас в Праге? В Медоне чудно. Первые зазеленели каштаны, нет — до них какие-то кусты с сережками. Но, нужно сказать, французская весна мне не по темпераменту, — какая-то стоячая, тянущаяся месяцы. В России весна начиналась, т. е. был день, когда всякий знал: *«весна!»* И воробьи, и собаки, и люди. И, начавшись, безостановочно: «рачьте дале!» как кричат ваши кондуктора. Но худа или хороша — всё же весна, то есть: желание уехать, ехать — не доехать: *заехать* (Два смысла: 1. завернуть 2. не вернуться. Беру во втором.)

У нас в доме неожиданная удача в виде чужой родственницы[1], временно находящейся у нас. Для дома — порядок, для меня — досуг, — первый за 10 лет. Первое чувство не: «могу писать!», а: «могу ходить!» Во второй же день ее водворения — пешком в Версаль, 15 километров, блаженство. Мой спутник[2] — породистый 18-летний щенок, учит меня всему, чему научился в гимназии (о, многому!) — я его — всему, чему в тетради. (Писанье — ученье,

не в жизни же учишься!) Обмениваемся школами. Только я — самоучка. И оба отличные ходоки.

— Сердечное, к большому стыду сильно запозд⟨алое⟩ спасибо за шоколад. Угощались и угощали.

— Читали ли в Воле России «Попытку комнаты»?[3] Эту вещь осуждает все мое окружение. Что скажете? Действительно ли непонятно? Не могу понять... (пр. 10 с.)

35

Pontaillac, près Royan
Charente Inferieure
Villa Jacqueline
1-го августа 1928 г.

Моя дорогая Анна Антоновна! Получила Вашего рыцаря[1] на берегу Океана, — висит над моим изголовьем, слушая то, чего наверное никогда не слыхал — прилив.

Мы здесь две недели, всей семьей плюс дама, полу-чужая, полу-своя, живущая у нас с весны и помогающая мне по хозяйству и с Муром[2]. С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ скоро уезжает обратно, — евразийские дела, мы все остаемся до конца сентября... (пр. 13 с.)

...Уехали мы на деньги с моего вечера — был в июне[3] и скорее неудачный: перебила III Моск⟨овская⟩ Студия, приехавшая на несколько дней[4] и как раз в тот же день — в единств⟨енный⟩ раз дававшая «Антония» (Чудо Св⟨ятого⟩ Антония, Метерлинка). Но все-таки уехали.

Здесь из русских: профессора Карсавин и Лосский с семьями, проф⟨ессор⟩ Алексеев, П. П. Сувчинский с женой, жена проф⟨ессора⟩ Завадского с дочерью и внуком, эсеровская многочисленная семья Мягких и племянник проф⟨ессора⟩ Завадского, Владик Иванов. Кроме Лосских и Мягких — всё евразийцы. Но, евразийцы или нет — всех вместе слишком много, скучаю, как никогда — одна...[5] (пр. 13 с.)

Чтó наш план о моей осенней поездке? Нечего надеяться? А как хотелось бы провести с Вами несколько дней, в тишине. Парижа я так и не полюбила.

Dunkle Zypressen!
Die Welt ist zu lustig,—
Es wird doch alles vergessen!*[6]

Целую Вас нежно, наши все Вас приветствуют.

МЦ. (пр. 1 с.)

* См. перевод на с. 235.

36

Понтайяк, 9-го сентября 1928 г.

Дорогая Анна Антоновна! Получила Ваше письмо из чешских лесов, где Вас уже нет (и где я — еще есть!). Мой океан тоже приходит к концу, *доживаю*. Впереди угроза отъезда: перевозка вещей, сдача утвари — хозяйке, непредвиденные траты, финальный аккорд (диссонанс!). Боюсь этих вещей, томлюсь, тоскую. Зачем деньги? Чтобы не мучиться — душевно — из-за разбитого кувшина.

В сентябре должен был приехать сюда ко мне один мой молодой (18 л⟨ет⟩) друг, чудесный собеседник и ходок[1]. Сентябрь — месяц беседы и ходьбы: беседы на ходу! я так радовалась — и вот — как всегда — что́? — *несвершение*. В последнюю минуту оказалось, что ехать не может, действительно не может, и я бы не поехала. Остался по доброй воле, т. е. *долгу*, — как я всю жизнь, как Вы всю жизнь — оставались, останемся, оставаться — будем. Так же не поехал на океан, как я не поеду к Вам в Прагу. — Порядок вещей. — Не удивилась совсем и только день горевала, но внутренно — опустошена, ни радости, ни горя, тупость. Ведь я в нем теряю не только его — его-то совсем не теряю! — *а себя — с ним, его — со мной*, данную констелляцию в данный месяц вечности, на данной точке земного шара.

Хороший юноша. Понимает всё. Странно (*не* странно!) что я целый вечер и глубоко в ночь до его приезда (должен был приехать 1-го, ходила на вокзал встречать, возвращаюсь — письмо) напевала:

Behüt Dich Gott — es wär zu schön gewesen —
Behüt Dich Gott — es hat nicht sollen sein!*[2]

Я все лето мечтала о себе-с-ним, я даже мало писала ему, до того знала, что все это увидит, исходит, *присвоит*. И вот

«Милый друг, я понадеялась на Вашу линию — пересилила *моя*. Вы просто оказались в *моей* колее. Если бы Вы ехали *не ко мне, Вы бы приехали*.

Вы теряете весь внешний мир, любя меня»

А внешний мир — это и рельсы, и тропинки вдоль виноградников, — и мы на них...

В Медоне мы с ним часто видимся, но — отрывочно, на людях, считаясь с местами и сроками. Здесь бы он увидел меня — одну,

---

* См. перевод на с. 365.

единственную меня. Второй раз этого не будет, жизнь не повторяет своих даров — особенно так принимаемых.

Будь я другой — я бы звала его, «либо — либо», и он бы приехал, бросив семью, *которая в данный час только им и держится* (не денежно, хуже), и был бы у меня сентябрь — только не мой, ибо у той, которая может рвать душу 18-летнего на части, не может быть *моего* сентября. Был бы *чужой* сентябрь. — Бог с ним! — Так у меня все-таки — мой.

A celle qu'un jour je vis sur la grève
Et dont le regard est mieux qu'andalou —
Donne un coeur d'enfant pour qu'elle le crève:
— Il faut à chaqun donner son joujou...*

(Баллада Ростана[3]. NB! Юношеская.)

Я знаю, что *таких* любят, о *таких* поют, за *таких* умирают. (Я всю жизнь — с старыми и малыми — поступаю как мать.) Что ж! любви, песни и смерти — во имя — у меня достаточно!

Я — die Liebende, nicht — die Geliebte**.

Читали ли Вы, дорогая Анна Антоновна, когда-нибудь письма M-elle de Lespinasse[4] (XVIII в.). Если нет — позвольте мне Вам их подарить. Что я — перед этой Liebende! (Если бы не писала стихов, была бы ею — и пуще! И может быть я все-таки — Geliebte, только *не*-людей!)

...То мой любовник лавролобый
Поворотил коней
С ристалища. То ревность Бога
К любимице своей...[5]

...Пишите об осенней Праге. Господи, до чего мне хочется постоять над Влтавой! В том месте, где она как руками обнимает острова!

Я еще когда-нибудь напишу о Праге — как никто не писал — но для этого мне нужно увидеть ее за́ново — гостем.

На приезд не надеюсь ich hab'es schon verschmerzt...*** (пр. 2 с.)

Сердечный привет Вашим.

МЦ.

Зовите меня просто Марина.

* Той, которую я видел однажды на плоском песчаном берегу
И чей взгляд нежнее, чем у андалузки,
Дай сердце ребенка, чтобы она его растерзала,
Каждому надо дать его игрушку... *(фр.)*.

** Любящая, не — возлюбленная *(нем.)*.

*** Я этим уже переболела *(нем.)*.

Але на днях (5/18) исполняется 15 лет. Правда, не верится? В Чехию приехала 9-ти.

А мне — тоже скоро (26-го сент⟨ября⟩ — 9-го окт⟨ября⟩) — 34, в Чехию приехала 28-ми[6].

А Муру 1-го авг⟨уста⟩ исполнилось 3 1/2 года. В Чехию приехал 0 дня.

Выиграл, в общем, только Мур.

— «Мур, молись: *«Святый Боже»* — «Святый Боже»... — *«Святый крепкий»* (Мур, уже с сомнением:) — *«Святый... крепкий?» «Святый бессмертный»... «Как — бессмертный? Это Кащей бессмертный!»* — «Помилуй нас!»

37

Медон, 18-го ноября 1928 г.

Дорогая Анна Антоновна! Во-первых и в-главных: башмачки дошли — чудесные — Мур носит не снимая. Не промокают и размер как раз его. Спасибо от всего сердца, это больше чем радость — необходимость... (пр. 5 с.)

...Очередная и очень важная просьба. Мы очень нуждаемся, все уходит на квартиру и еду (конину, другое мясо недоступно — нам), печатают меня только «Последние Новости» (газета), но берут лишь старые стихи, лет 10 назад[1]. — Хороши *последние* новости? (1928 г. — 1918 г.). Но весь имеющийся ненапечатанный материал иссяк. Вот просьба: необходимо во что бы то ни стало выцарапать у Марка Львовича[2] мою рукопись «Юношеские стихи»[3]. Писать ему — мне — бесполезно, либо не ответит, либо не сделает. Нужно, чтобы кто-нибудь пошел и взял, и взяв — отправил. На М⟨арка⟩ Л⟨ьвовича⟩ никакой надежды, я его знаю, «найду и пошлю» — не верьте. Передайте ему прилагаемую записочку, где я просто прошу передать «Юношеские стихи» Вам, не объясняя для чего (чтобы у него не было возможности обещать — и не сделать). Если можно — сделайте это поскорее. Раз в неделю стихи в Посл⟨едних⟩ Новостях — весь мой заработок. Все Юношеские стихи ненапечатаны, для меня и Посл⟨едних⟩ Новостей (где меня — старую — т. е. молодую! — очень любят) — целый клад... (пр. 8 с.)

...Присылкой этой рукописи Вы меня спасете, там есть длинные стихи, по 40 — 50 строк, т. е. 40 — 50 фр⟨анков⟩ в неделю: деньги!.. (пр. 4 с.)

— Пишу большую вещь — Перекоп[4] (конец Белой Армии) — пишу с большой любовью и охотой, с несравненно большими, чем напр⟨имер⟩, Федру. Только времени мало, совсем нет — как всю (взрослую!) жизнь. С щемящей нежностью вспоминаю Прагу, где должно быть мне никогда не быть. Ни один город мне так не врастал в сердце!

Behüt Dich Gott! es wär zu schön gewesen —
Behüt Dich Gott! es hat nicht sollen sein!*[5]

Целую Вас нежно.

Марина

38

Медон, 29-го ноября 1928 г.

Дорогая Анна Антоновна! Во-первых и в-главных: огромное спасибо за рукопись, настоящий подарок! Без Вас я её никогда бы не достала. М⟨арк⟩ Л⟨ьвович⟩ ни словом, ни делом на письма не отвечает, — не по злобе, — по равнодушию («les absents ont toujours tort»**[1] в этом он обратное романтикам, у которых «les absents ont toujours raison, — les présents — tort»!***)

Нежно благодарю Вас за заботу, мне вспоминается стих Ахматовой:

Сколько просьб у любимой всегда![2]

По тому как я у Вас часто прошу я знаю, что Вы меня любите.

Второе: перевод моего Рильке на чешский, — его второй родной язык — для меня огромная радость[3]. (NB! Меня (прозу) еще никто никогда ни на какой язык не переводил, *Вы — первая)*. Рильке вернулся *домой, в Прагу*. Сколько у него стихов о ней в юности! («Mit dem heimatlichen «prosim».)****[4]

Пришлете мне книжку с Вашим переводом? Аля поймет, да и я пойму, раз знаю оригинал... (пр. 41 с.)

...Целую Вас нежно, спасибо за всю доброту, пишите.

Любящая Вас

Марина

---

* См. перевод на с. 365.
** «Отсутствующие всегда неправы» *(фр.)*.
*** «Отсутствующие всегда правы, присутствующие — неправы» *(фр.)*.
**** С отечественным «пожалуйста» *(нем.-чешск.)*.

30-го ноября, четверг.

Вчера уехал Савицкий[5] и всё повез. Обещал вещи Вам переслать с кем-нибудь из знакомых. Он, кажется, человек точный (пр. 1 с.) Напишите впечатление от «Евразии» и Ваше и других! (Говорю о № 1 евразийской еженедельной газеты, к⟨отор⟩ую, надеюсь, получили)[6]. В след⟨ующем⟩ письме напишу Вам о Маяковском, к⟨отор⟩ого недавно слышала в Париже[7]. (В связи с моим обращением к нему в газете. NB! *Как его толкуете?* Не забудьте ответить.)

39

Медон, 1-го января 1929 г.

С Новым Годом, дорогая Анна Антоновна!

Желаю Вам в нем здоровья, покоя, удачи, работы.

Вчера, на встрече у евразийцев, думала о Вас и в 12 ч. мысленно чокнулась. Как Вы глубокó правы — тáк любя Россию! Старую, новую, красную, белую, — всю! Вместила же Россия — всё (Рильке о русском языке: «Deine Sprache, die so nah ist — *alle* zu sein!»*)[1] наша обязанность, вернее — обязанность нашей любви — ее *всю* вместить!

Написала Вам большое письмо и заложила, — знаете как это бывает? — вошли, оторвали, сунула, — столько бумаг! Найду — дошлю.

— Как Вы встречали? Дома? На людях? А может быть спали?

Аля нарисовала чудесную вещь: жизнь, по месяцам Нового Года. Январь — ребенком из камина, февраль — из тучки брызжет дождем, март — сидя на дереве раскрашивает листву и т. д.

Она бесконечно даровита, сплошной Einfall**.

— Это не письмо, записочка, чтобы не подумали, что не думаю. Пишу сейчас большую статью о лучшей русской художнице — Наталье Гончаровой. Когда-нибудь, в письме, расскажу Вам о ней... (пр. 6 с.)

...Книга М⟨арка⟩ Л⟨ьвовича⟩ очень поверхностна, напишу Вам о ней подробнее[2]. На такую книгу нужна любовь, у него — туризм. NB! Не говорите.

---

* См. перевод на с. 358.

** Причуда *(нем.)*.

40

Медон, 9-го января 1929 г.

Дорогая Анна Антоновна!

Я в большой тревоге: чешское иждивение (500 кр⟨он⟩), приходившее ровно 1-го числа, до сих пор не пришло. Это совпало с русским Рождеством (нынче 3-ий день), вторую неделю живем в кредит, а здесь не то, что в Чехии: смотрят косо.

Ради Бога, узнайте в чем дело: недоразумение или — вообще — конец? Без предупреждения: 1-го ждала как всегда. Говорила со Слонимом, — говорит: пишите Завазалу[1]. Но я его с роду не видала, и совсем не знаю как ему писать. И — главное — если заминка, писать вовсе не нужно, если же конец — нужно очень выбирать слова и доводы, — если вообще таковые могут помочь.

Что мне нужно делать? Без чешского иждивения я пропала. И вот, просьба: пойдите к д⟨окто⟩ру Завазалу и узнайте, и, если конец, сделайте все, чтобы продлить. Стихами не наработаешь, печататься негде, Вы сами знаете. Большинство писателей живет переводами на иностранные языки, у поэтов этого нет. Гонорар — 1 фр⟨анк⟩ строка. Я нигде не печатаюсь, кроме Воли России, с Посл⟨едними⟩ Нов⟨остями⟩ из-за приветствия Маяковскому — кончено, «Федра» в Совр⟨еменных⟩ Зап⟨исках⟩ проедена еще 1 г⟨од⟩ с лишним назад, во время скарлатины.

У меня просто ничего нет. Скажите все это д⟨окто⟩ру Завазалу и поручитесь, что это правда — которую все знают...

41

Медон, 22-го января 1929 г.

Дорогая Анна Антоновна! О Ваших письмах: я их храню, ни одного не потеряла и не уничтожила за все эти годы. Вы один из так редких людей, которые делают меня *добрее:* большинство меня ожесточает. Есть люди, которых не касается зло, дважды не касается: минует и — «какое мне дело?!» Это я — о Вас. Меня — касается, ко мне даже притягивается, я с ним в каком-то взаимоотношении: *тяготение вражды*. Но это я в скобках, вернемся к Вам. Вас бы очень любил Рильке. Вы всем существом поучительны (lehrreich) и совсем не нравоучительны, Вы учите, не зная, — тем, что существуете. В священнике я всегда вижу превышение прав: кто тебя поставил надо мною? (*между* Богом и мною, *тем* и мною, *всем* — и мною). Он — посредник, а я — непо-

средственна. Мне нужны такие, как Р⟨ильке⟩, как Вы, как Пастернак: в Боге, но как-то — без Бога, без этого слова — Бог, без этой стены (между мной и человеком) — Бог. Без *Бога по образу и подобию* (иного мы не знаем). Недавно я записала такую вещь: «самое ужасное, что Христос (Бог) уже был». И вдруг читаю, в посмертных письмах Р⟨ильке⟩ (перевожу, пойдут в февральской Воле России[1] — «Aus Briefen Rainer Maria Rilkes an einen jungen Dichter»*) — «Warum denken Sie nicht, dass er der Kommende ist»**. Бог — не предок, а потомок, — вот вся «религиозная философия» (беру в кавычки, как рассудочное, профессорское, учебническое слово) — Рильке. Я рада, что нашла формулу.

Р⟨ильке⟩ когда-то мне сказал: «Ich will nicht sagen, Du hast Recht: Du bist im Recht», im Recht — sein, im Guten sein***[2] — это все о Вас. (Убеждена, что Р⟨ильке⟩ бы Вас любил, — почему «любил», — *любит)*. Убеждена еще, что когда буду умирать — за мной придет. *Переведет* на тот свет, как я сейчас *перевожу* его (за руку) на русский язык. Только та́к понимаю — перевод. Как я рада, что Вы так же (за руку) перевели меня — что́ меня! меня к Рильке! — на чешский. За что я та́к люблю Вашу страну?!. (пр. 12 с.)

...У евразийцев раскол...[3] (пр. 2 с.) Проф⟨ессор⟩ Алексеев (и другие) утверждают, что С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ чекист и коммунист. Если встречу — боюсь себя... Проф⟨ессор⟩ Алексеев... (пр. 1 с.) негодяй, верьте мне, даром говорить не буду. Я лично рада, что он уходит, но очень страдаю за С⟨ережу⟩, с его чистотой и жаром сердца. Он, не считая еще двух-трех, единственная *моральная сила Евразийства.* — Верьте мне. — Его так и зовут «Евразийская совесть», а проф⟨ессор⟩ Карсавин о нем: «золотое дитя евразийства». Если вывезено будет — то на его плечах (костях)... (пр. 11 с.)

42

Медон, 19-го февраля 1929 г.

Дорогая Анна Антоновна! Вчера вечером — только села Вам писать письмо, разложила блокнот, уже перо обмакнула в чернильницу — гость, нежданный и нежеланный. Пришлось, не написав

---

* «Из писем Райнера Мария Рильке к молодому поэту» *(нем.)*.

** «Почему Вы не думаете, что он — Тот, Кто еще придет» *(нем.)*.

*** «Я не хочу сказать, что ты имеешь право: ты просто права», пребывать вправе, пребывать в добре *(нем.)*.

ни слова, всё сложить и унести. Но сегодня, слава Богу, день дошел уж до такого часа, что ни жданому, ни нежданному не бывать. Чудно бьют часы на башне — одиннадцать. Вспоминаю Прагу, связанную для меня с часами и веками. (Я так люблю Прагу, что — уверена — в ней никогда не буду.) Кстати, историйка. Недавно Аля от кого-то принесла домой книгу «La maison roulante»*[1], которую я когда-то читала и обожала в детстве, в далеком детстве, до первой заграницы, до 8 л⟨ет⟩. Смотрим картинки — знакомые — давно-недавно-знакомое: ночь, башня, мост, — *Прага! Карлов мост.* Оказывается, я раньше по нему ходила, чем ходила ногами, раньше на целых 20 лет! (Книга о цыганах, Bohême — Богемия. Прага тогда была Богемией, следовательно, волей *слов,* герой книжки, украденный мальчик Adalbert — и я за ним — должен был бродить по Праге.) Страшная картинка: цыганка с ножом, а месяц над ними как кинжал… (пр. 10 с.)

…Только что продержала корректуру перевода 7-ми писем Рильке (не ко мне, конечно!) и вступления к ним. Прочтете в следующем (февральском) № «Воли России». Убеждена, что во всем, что Р⟨ильке⟩ говорит и я говорю — услышите свое. Письма Р⟨ильке⟩ — о писании стихов (dichten) — о детстве — о Боге — о чувствах. Перевела как только могла, работала, со вступлением, три недели. — Пишу большую не-статью о Н. Гончаровой, лучшей русской художнице, а м. б. и художнике. Замечательный человек. Немолодая, старше меня лет на 15. Видаюсь с ней, записываю. Картины для меня — примечания к сущности, никогда бы не осуществленной, если бы не они. Мой подход к ней — изнутри человека, такой же, думаю, как у нее к картинам. Ничего от внешнего. *Никогда* не встречала такого огромного *я* среди художников! (живописцев).

Из этого отношения может выйти дружба, может быть уже и есть, но — молчаливая, вся в действии. *Я ее пишу (*NB! как художник, именно портрет!), а она пишет иллюстрации к моему «Мóлодцу»[2]. Но ни я, ни она не показываем.

Много сходства: демократичность физических навыков, равнодушие к мнению: к славе, уединенность, 3/4 чутья, 1/4 знания, основная русскость и созвучие со всем… Она правнучка Н. Н. Гончаровой, пушкинской роковой жены. — Есть глава и о ней… (пр. 13 с.)

…С эсерами не вижусь никогда, с М⟨арком⟩ Л⟨ьвовичем⟩ изредка переписываемся по журнальным делам… (пр. 2 с.)

* «Дом на колесах» *(фр.).*

43

Медон, 17-го марта 1929 г.

Дорогая Анна Антоновна! Только что Ваше письмо. Я Вас люблю, зачем Вы живете такой жизнью, есть обязательства и к собственной душе, — вспомните Толстого — который, конечно, подвижник, мученик дома (долга) — но который за этот подвиг *ответит.* Вы правы кругом — и Толстой был прав кругом — и вдруг мысль: грех — что́! Грехи Бог простит, а подвиги?? Служил ли Толстой Богу, служа дому? Если Бог — труд, непосильное: да. Если Бог — радость, простая радость дыхания: *нет.* Толстой, везя на себе Софию Андреевну[1] плюс всё включенное, не дышал, а хрипел.

«Пора и о душе подумать», глубокое слово, всегда противуставляемое заботам любви, труду любви, семье. «Не вправе». *Вы не* вправе, но Ваша душа — вправе, вправе — мало, то́, что для Вас — роскошь, для неё — необходимое условие существования. *Вы свою душу* губите. И, в ответ: «Кто душу положит за други своя!» И еще в ответ: «Оставь отца своего и мать, и иди за мной». Я сейчас на краю какой-то правды.

У нас весна. Нынче последний день русской масленицы, из всех русских окон — блинный дух. У нас два раза были блины, Аля сама ставила и пекла. Мур в один присест съедает 8 больших. Его здесь зовут «маленький великан», а франц⟨узская⟩ портниха: «le petit phénomène»*. В лесу чудно, но конечно несравненно с чешским. Вы не думайте, что «игра воображения», я очень упорна в любви, Чехию полюбила сразу и навсегда. Мне и те деревья больше нравятся.

— Был у нас доклад М⟨арка⟩ Л⟨ьвовича⟩ о молодой зарубежной литературе[2]. «Молодой зарубежной литературы нет, есть молодые зарубежные писатели». Прав, конечно. Потом разбор, справедливый, посему — безжалостный. (Вспомните основу суда: не милосердие, а справедливость). Из пражан определенно выделил Лебедева[3] и Эйснера[4], с чем согласна. Из парижан — Поплавского[5]. Даровитый поэт, но путаный (беспутный) человек. Мысли М⟨арка⟩ Л⟨ьвовича⟩ часто остры, форма *обща,* все время переводит на настоящие слова. Те мысли — не теми словами.

— Одна работа о Гончаровой кончена и сдана, даю сербам, — 2 листа, немножко меньше (28 печ⟨атных⟩ стр⟨аниц⟩ формата «В⟨оли⟩ Р⟨оссии⟩») — 8 чудесных иллюстраций (снимки с ее картин). Жизнь и творчество. Подумайте, нельзя ли было бы

* «Маленький феномен» *(фр.).*

куда-нибудь устроить в Чехию? Или Чехия и Сербия — слишком близко? Пойдет в следующем № сербского Русского Архива[6]. Другая работа, большая, пойдет в Воле Р⟨оссии⟩, начиная с апреля...[7] (пр. 17 с.)

...До свидания. О Маяковском напишу непременно. Но лучше сказали Вы: грубый сфинкс. О нем (и о двух других) появится на днях очень хорошая статья С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩ во франц⟨узском⟩ журнале[8]. Пришлю. Как Вам понравился перевод Р⟨ильке⟩?.. (пр. 3 с.)

44

Медон, 7-го апреля 1929 г.

Дорогая Анна Антоновна! Нынче кончила переписку своей большой работы о Гончаровой, пойдет в В⟨оле⟩ России, в апрельском номере. Сербская уже переводится. В общей сложности — 7 печатных листов, очень устали глаза... (пр. 11 с.)

...Я ничего не умею хотеть, кроме как в работе, в которой *не хотеть* — не умею. Ничего не умею добиваться. Мне всегда за кого-то и что-то стыдно, когда у меня нет того, на что я вправе — только любовь дает права — когда у меня нет того, без чего я — не я. Кому-то и чему-то ведь было бы несравненно лучше, если бы я завтра же, забрав и Мура и Алю, могла выехать к Вам в Прагу. Я Вас считаю самой настоящей Муриной крестной, обе (одна крестила, другую вписали) — неудачны: совершенно равнодушны[1]... (пр. 10 с.) Крестный его — Ремизов — его не видел *ни разу* (живет в Париже) и ни разу не позвал. Мне не повезло... (пр. 5 с.)

...Ах, дружба, любовь двухдневная,—
А забвенье — на тысячу дней!

(Женские — стихи). Может быть я долгой любви не заслуживаю, есть что-то, — нужно думать — во мне — что все мои отношения рвет. Ничто не уцелевает. Или — век не тот: не дружб. Из долгих дружб — только с вами и кн⟨язем⟩ Волконским, людьми иного поколения. Да! о дружбах. Недавно праздновали первую годовщину «Кочевья»[2]. Была и я — как гость. М⟨арк⟩ Л⟨ьвович⟩ сидел на председательском месте, справа блондинка, слева брюнетка, обе к литературе непричастные. Не обмолвилась (с 8 ч. веч⟨ера⟩ до 12 1/2 ночи) ни словом, впрочем — слово было: о Гончаровской статье: два листа или полтора листа? Не усмотрите в этом обиды — только задумчивость... (пр. 1 с.)

...Держала тонкие листы
И странно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело[3].

— Не знаю, что выйдет из дружбы с Гончаровой. Она *очень* спокойна и этим — успокаивает меня. Мне всегда совестно давать больше, чем другому нужно (=может взять!) — раньше я давала — как берут — штурмом! Потом — смирилась. Людям нужно другое, чем то, что я могу дать. Раз М⟨арк⟩ Л⟨ьвович⟩ мне сказал: «Одна голая душа. Даже страшно!»

У нас весна. (Боже! сколько раз это писано!) Первые распустились ивы — мое любимое дерево. Дубы *молчат*. Я все вспоминаю куст можжевельника на горе, который я звала кипарис. А иногда Борис (Пастернак). Он тоже не пишет.

Целую Вас нежно, пишите, люблю Вас, спасибо за всё.

МЦ.

45

Медон, 19-го июня 1929 г.

Дорогая Анна Антоновна! Начинаю день с письма к Вам. Знаете русское выражение: некогда о душе подумать. Так и со мной. (Так и с Вами.) Сегодня мне вспомнилась Прага — сады. Сады и мосты. Летняя Прага. Чтó мне сделал этот город, что я его *так* люблю?

И вот мечта: осенью coûte que coûte* приехать к Вам — о душе подумать. В один конец я бы денег достала, не могли ли бы Вы достать в другой? Но м. б. последнего бы и делать не пришлось, ибо тысячу крон своим выступлением в Праге конечно соберу. А не тысячу — так пятьсот: обратный путь. Давайте решим это твердо. М. б. нашелся бы в Праге какой-нибудь музыкант (или музыкантша, чтó даже предпочитаю), который бы согласился выступать у меня на вечере бесплатно, чтобы устроить смешанный вечер: стихи и музыка. (Можно — стихи, проза и музыка.) Билеты бы распространили предварительно. Дешевые — при входе. Так это делается здесь.

По-моему — важен факт приезда, *уже*-присутствия. Заочно — всё трудней. Вы бы меня познакомили с чешскими дамами, и они бы помогли. Тем более, что у меня сейчас есть «хорошие» платья, и вид парижский (NB! Помогают охотнее красивым и богатым,

* Любой ценой *(фр.)*.

Вы это знаете.) Словом, начать не с конца *нужды,* а с обратного. Их много.

В Праге я конечно буду счастлива: — и это располагает... (пр. 11 с.)

...Я могла бы приехать к Вам 15-го, а вечер устроить — 30-го, перед самым отъездом. Подумайте о музыкальной части, чехи так музыкальны, наверное найдется. Можно и пение (хорошо бы старые народные песни, а я читала бы *русское* народное: свое). Можно устроить чудесный вечер, и для души!

Мой парижский прошел отлично...[1] (пр. 35 с.)

46

Медон, 7-го августа 1929 г.

Дорогая Анна Антоновна! Я уже вижу себя у Вас — хотя не знаю *где,* — не представляю себе улицы, а дом — кажется большой? Комнату помню, одну, где сидели, а другую — из которой шла музыка. Но м. б. у Вас новая квартира, и я *ничего* не помню... (пр. 4 с.)

...Отправляю Алю на 2 недели в Бретань, к Лебедевым[1] (тем), буду пасти Мура. А осенью — к 1-му ноября? — к Вам, если не передумаете, я не передумаю, ибо ни о чем другом не думаю. Всё, что Вы пишете о вечере, вечерах, очень подходит. И о дома́х, куда, и о да́мах, с которыми... Отдаюсь всецело в Ваше распоряжение. Боюсь только, что меня начнут расспрашивать о парижских новинках, а у меня только одна новинка — да и та медонская — Мур. «Quel triste plaisir que de s'amuser!»* — так я смотрю на вечерний Париж. Его приманки — не для меня. Но, в крайнем случае, для поддержания престижа парижанки, могу врать и буду врать... (пр. 31 с.)

...О другом, а именно — Хашеке[2]: Бравый солдат Швейк. — Знаете, конечно. И очаровывающая и отталкивающая книга. Чешский Иванушка-дурачок, — просто русский денщик. Бездарны места с чистой идеологией, иногда пересол с духовенством, но в целом — даровитый человек и единственная вещь. Как жаль, что так рано умер. И как безнадежна попытка друга *(другого!)* закончить. Как сразу все добреет и тупеет... (пр. 5 с.)

...Из новостей: вышла замуж младшая дочь О. Е. Черновой — м. б. помните? — Адя, за молодого писателя Сосинского[3], к⟨оторо⟩го м. б. читали в В⟨оле⟩ Р⟨оссии⟩[4]. Рада, что понравилась Гончарова. «Окончание в следующем номере»... (пр. 9 с.)

---

* «Какое грустное удовольствие — развлекаться!» *(фр.)*

47

Медон, 6-го сент⟨ября⟩ 1929 г.

Дорогая Анна Антоновна! Ваше письмо ждала вчера, а получила сегодня. На каком основании (ждала)? Своей уверенности в нем. — «А сегодня будет письмо от А⟨нны⟩ А⟨нтоновны⟩» (Говорила из завтра).

— Мигрень — и что́? Давайте радоваться! У меня вот шея болит — гланды — Бог еще знает какие, но гланды не я, я — еду. Слушайте: в награду за безвыездное лето, за все тот же лес все в новых сальных бумажках (сгребаю Муркиными граблями и жгу, вопреки полному воспрещению костров), за вот уже месяц准 неписания (Алина Бретань!) — за все это и другое многое — хочу в середине октября съездить в Бельгию. Близко, дешево, есть где остановиться, новая страна, старые города — С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ недавно был по евразийским делам и в очаровании. Но к Ватерлоо это слово уже не относится, — вещь посильнее! Стоял там, где стоял Наполеон и мысленно следовал за боем. Всего этого хочу и я. Устрою в Брюсселе вечер, который окупит дорогу. Поеду на неделю. А в первых числах ноября — к Вам.

Виделась (после полугодового перерыва, бывали — дольше!) с М⟨арком⟩ Л⟨ьвовичем⟩ С⟨лонимом⟩, приезжал ко мне, гуляли. Отношения приязненные, очень далекие, он всё сбивается на литературу, а я, как всегда, соответствую. Говорили о поездке в Прагу. Очень советует вечер в Pen Club'e[1] (м. б. неправильно пишу?), ручается за материальный (гнусное слово!) успех. Обещает перед отъездом дать ряд советов и писем. Жаль, что его не будет, — освободил бы Вас от части хлопот. А с другой стороны, единственной! — не жаль, мне хочется *Вашей* Праги.

Я Праги совершенно не знаю. Хочу знать всё. Не была ни в одном музее, ни на одном концерте, — только в кафе со С⟨лонимом⟩, зато, кажется, во всех. (Была, впрочем на Шаляпине и на Стравинском, но это *к Праге* не относится.) Зато в садах — была. Какие чудные сады! Хотелось сказать — особенно весною, нет! — особенно зимою, когда никого нет. У меня в Праге есть приятельница, Катя Рейтлингер[2] (дочь легкомысленного отца, к⟨оторо⟩го Вы наверное знаете), она меня тоже сможет поводить. В Праге я никогда не была свободной, — хотя бы от страха последнего поезда, как чудно будет знать, что некуда спешить. Заматываться мы с Вами не будем: больше всех музеев и концертов я мечтаю о вечерах с Вами — беседах, музыке, тишине. Я от зрелищ и сборищ сразу устаю... (пр. 2 с.)

...Куда—за́ город? Я лучше Мокропсов и Вшенор места не знаю. Моя мечта—*когда-нибудь* приехать туда на́ лето с Муром, показать ему его колыбель. Он бы в Чехии был счастлив—с гусями, с ручьями! Здесь ему—тесно: в глубь леса не ходим (опасно), а вблизи от дома—всё те же дамы, и пары, и глаза... (пр. 4 с.)

...Здесь дети *пищат,* он, когда на воле, *орет,*—просто от силы. Неловко, когда орет один—«Мур, нельзя!»—«Но почему же? Здесь же нет соседей!»—Жаль его. Подпражская природа несравненно крупнее подпарижской. Я с тоской вспоминаю реку, сливы, поля,—здесь поля совершенно нет. Как жаль, что у меня в Чехии не было аппарата. Свой привезу, м. б. удастся снять, хоть поеду в самую туманную пору.—Помню один новогодний день в Праге—солнце, синева, сброшенное пальто. («Прага»—собирательное, дело было в родных Мокропсах.) Проще: Мокропсы была *деревня,* со всем деревенским: гусями, козами, даже—кузницей! Здесь ничего этого нет: пригород, сплошная лавочка. Многие (особенно женщины!) бы со мной поменялись, но мне Créme Toucalon* не нужен, а что кроме? Сознание, что в Париже? Слишком залюбленный город, я *актерам* не поклонница.

Если бы Вы сюда приехали, мне все бы это сразу понравилось—от желания, чтобы понравилось, и сознания, что нравится—Вам. И я бы места нашла, чай, несомненно, есть. Но такого загаженного леса Вы и в худшем сне не видели! Все бросают. Не земля, а сплошные консервные жестянки—гнусные. (В 40° в тени (вот уже неделя!) есть консервы, когда рынок лопается от зелени. Пьют, кстати (зимняя норма!) по 4 литра вина в день, не считая «аперитивов»)... (пр. 6 с.)

48

Медон, 30-го сентября 1929 г.

Дорогая Анна Антоновна! Получили ли Вы мое письмо—недели две назад—с детскими карточками—не заказным? Писала в Прагу, как Вы просили. Есть новости: 20-го в Брюсселе мой вечер и оттуда я могла бы прямо проехать в Прагу. Но—вопрос: будет ли к тому времени все готово для моего вечера? Когда Вы его предполагаете?.. (пр. 5 с.) Главная забота по вечеру в предварительном распространении билетов. Пражский вечер нужно устроить по образцу парижских. Отпечатываются билеты—приг-

* Крем Тукалон *(фр.).*

лашения (прилагаю образец) и распределяются между устроителями вечера (Вами — и?). Билеты без указания цены, вроде как бы почетные, и предназначаются для богатых — кто сколько даст. В Париже *минимум — 25 фр⟨анков⟩,* в Чехии возьмем — 25 крон. Каждый устроитель сам продает, сколько может, остальные же просит (купившего) распространить между его знакомыми, предупреждая о цене. Словом — распространение по периферии. В день вечера — верней: ко дню вечера — непроданные билеты возвращаются... (пр. 14 с.)

...Нужен один основной вечер, — первый, — козырной, в зале, вмещающем не меньше 300 человек. Потом можно и вечерки, — отдельный прозы, например, которые тоже что-нибудь дадут (по образцу Рейна (кабы Rheingold!*) с притоками). Да! Слоним советует отдельный вечер в Pen Club'e — Ваше мнение? — Смогу прочесть, по-французски, прозу, и м. б. Вы прочтете по-чешски из моего Рильке. (Или чехов заденет — «австриец»? Не думаю.) Основной вечер. Нужна музыка. Хорошо бы пение чего-нибудь народного чешского. Но — найдем ли мы *даровых* участников (участниц)? В Париже идут охотно. Нет ли у Вас, среди знакомых, хороших голосов или рук (рояль, скрипка). Музыка необходима. Не могу же я полтора или два часа сряду читать стихи. А так, с музыкой — 2 отделения: I — музыка, II — стихи, или даже три. С передышкой. — Чехи музыкальны. — Подумайте. — «Не согласились ли бы Вы выступить на вечере М⟨арины⟩ Ц⟨ветаевой⟩» — и т. д... (пр. 10 с.)

...Можно будет на вечере у отдельного столика устроить продажу автографов, — если удобно? Мне всё равно — ибо денег со стихами не связываю, или: стихи от денег не хуже, а деньги от стихов — лучше. (NB! Я бы сама купила такой автограф — Ахматовой, например.) Но если в Чехии это — «дурной тон» — не будем.

Итак: найдите зал (не меньше как на 250 чел⟨овек⟩!), бескорыстных участников-музыкантов (певцов или инструмент — что будет, хорошо бы — хороший *женский* голос, вообще вечер нужно под *женским* знаком)... (пр. 9 с.)

— О женском участии в устройстве. О женских руках. Верю в них — и знаю их. Помните, у Р⟨ильке⟩ — «Die Liebenden»**[1] и у Беттины[2] — «Ich will keine Gegenliebe!»*** Женщины живы сочувствием. Кроме того — в нашем реальном случае — женщины гордятся своими, приобщая и приобщаясь. Много смеются над женскими журналами. Мне они — милее мужских, с их политической грызней и сплетнями... (пр. 37 с.)

* Золото Рейна *(нем.).*
** «Любящие» *(нем.).*
*** «Я не хочу ответной любви!» *(нем.)*

«Евразия» приостановилась[3], и С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ в тоске, — не может человек жить без непосильной ноши! Живет надеждой на возобновление и любовью к России.

А Мур, как я, — любовью к жизни. Только он — веселей меня (NB! никогда не была веселой), действеннее. Но нрав и темп — мои... (пр. 6 с.) Он страшно русский, на лбу написано. С каким-то вызовом — русский. — Что с ним будет дальше? Дети его не любят. Женщины — да... (пр. 9 с.)

49

Брюссель, 26-го октября 1929 г.

Дорогая Анна Антоновна! Ваше письмо мне переслали в Брюссель. Расскажу Вам о своем вечере. Здесь колония маленькая, бедная и правая, т. е. — увы! — бескультурная. Но все-таки набралось около ста человек, — для литературного выступления успех невиданный! Чистый сбор 70 бельг⟨ийских⟩ франков, т. е. 50 франц⟨узских⟩. Дорога, паспорт, виза, жизнь — не меньше 400 фр⟨анков⟩. Но могло быть и хуже, по крайней мере покрыты расходы по залу и объявлениям. Живу я здесь у очень милых и сердечных людей, но не отдыхаю, п. ч. всё время езжу, хожу, осматриваю, разговариваю. И больше всего — выслушиваю. Все, с кем мне приходится встречаться, проголодались по новому человеку.

Бельгия мне напоминает Прагу, — тишина, чистота, старина. Была, кроме Брюсселя, в Антверпене, в Брюгге и на море. Концы маленькие. Брюгге — лучшее, что я видела в жизни. Сплошная Slata ulička*. Но — с веянием моря, к⟨отор⟩ое здесь рядом.

Мечту о Праге не оставила. Будем ждать. Лучше бы вечер до января, ибо м. б. повлияло бы на продление иждивения. С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩, с перерывом Евразии, ничего не зарабатывает, мои доходы Вы знаете. Если и 500 чеш⟨ских⟩ крон кончатся — не знаю, что будем делать... (пр. 32 с.)

...Пишу в 7 ч. утра, в мансардной комнате, где живу и всегда хотела бы жить: чистота, пустота.

Обнимаю Вас, сердечный привет Вашим. Как здоровье всех?

МЦ.

Как Вам нравится мальчик-фонтанчик?..[1]

---

* Злата уличка *(чешск.)* — улица в старой Праге.

50

⟨1929⟩[1]

Дорогая Анна Антоновна! Давным-давно от Вас нет вестей. (В последний раз писала Вам из Брюсселя, — письмо, не открыточку.) А у нас — печальные: на почве *крайнего* истощения у С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩ возобновился старый легочный процесс — пока не активный, но грозный именно из-за этого истощения... (пр. 6 с.) Врачебная помощь нам обеспечена, но главное дело в санатории (отъезд, отдых, воздух, покой) = больших деньгах. Евразия кончилась, а с ней и редакторское скромное жалование, живем в долг, — куда там санатория! А она нужна. Нужен, помимо режима (питания) воздух, которого я не могу дать — (а Медон в котловине и с 4 ч. дня в пару́ от близкого сырого леса) и покой — который при нашей жизни — невозможен... (пр. 5 с.)

...Ради Бога, чтобы только не прекратилось в 1930 г. чешское иждивение! Тогда мы совсем пропали. Вот я полгода писала Перекоп (поэму гражданской войны) — никто не берет, правым — лева по форме, левым — права по содержанию. Даже Воля России отказалась — мягко, конечно, — не задевая, — скорее *отвела,* чем отказалась[2]. Словом полгода работы даром, — не только не заплатят, но и не напечатают, т. е. *не прочтут.*

О поездке в Чехию — увы (и какое увы! целый *вой)* — сейчас думать не приходится. С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ должен уехать по крайней мере на три месяца. Отложим до весны, — м. б. и лучше, — поездим с Вами по окрестностям, вспомним те годы — для меня — несчастно-счастливые. М. б. к весне и Вам будет легче наладить мой приезд (выступления). Сейчас Вы молчите — значит не выяснено или не вышло. От Праги не откажусь ни за что, не отказывайтесь от меня и Вы... (пр. 3 с.)

...Откликнитесь скорее: надеюсь (!) что с вечером еще не наладилось.

Видаюсь с М⟨арком⟩ Л⟨ьвовичем⟩, он стал лучше: менее самонадеян, более отзывчив. Дай ему Бог... (пр. 9 с.)

51

Медон, 25-го декабря 1929 г.

Дорогая Анна Антоновна!

Сердечно поздравляю Вас с праздником Рождества Христова и с наступающим Новым Годом! Мне жалко этой цифры — 29, рука свыклась, глаз свыкся... (пр. 4 с.)

17 Зак. 30

...Третьего дня уехал С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ — в Савойю. Друзья помогли, у нас не было ничего. Перед отъездом проболел целую неделю, — 39°, безумные боли в желудке. Пять дней ничего не ел, — только чай. Уехал во всяком случае на два месяца... (пр. 3 с.)

...Полтора месяца ничего не писала, извелась, жизнь трудная. Весь день раздроблен на частности, подробности, а вечером, когда тихо — устала, уж не могу писать, голова не та.

Теперь, с отъездом С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩, опять примусь. Я всегда взваливаю на себя гору. Очередную. Федра — Гончарова — Перекоп. — Ныне — но не называю, чтобы не сглазить[1]. Чтó бы мне писать восьмистишия! Беспоследственные и безответственные. А то — источники, проверка материалов, исписанные тетради, вся громадная работа *до.* «Как птицы небесные»... Нет. (пр. 18 с.)

52

Медон, 21-го апреля 1930 г.

(пр. 1 с.) ...Сначала были заботы — болезнь С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩, хлопоты, Алино учение, т. е. моя связанность с домом, подготовка к вечеру (в субботу, 26-го — Вечер Романтики[1]) — а теперь стряслось горе[2], — какое пока не спрашивайте — слишком свежó, и называть его — еще и страшно и рано.

Мое единственное утешение, что я его *терплю* (subis), а не доставляю, что *оно — чистое* (пр. 15 с.) На горе у меня сейчас нет времени, — оказывается — *тоже роскошь.*

— Даст Бог — как-нибудь... (пр. 6 с.)

...Не сердитесь, дорогая Анна Антоновна, за такое эгоцентрическое письмо, Вам пишет человек — *под ударом.*

Не знаю, знаете ли, т. е. писала ли — мой Мóлодец сейчас переводится на английский язык[3], уже кончен — Гончаровские иллюстрации тоже — все дело за издателем, к⟨отор⟩ый по всей вероятности найдется. Тогда все-таки получу авторские, хоть что-нибудь.

Сама перевожу его на франц⟨узский⟩, — стихами — сделана половина, авось летом кончу, нужно кончить.

Простите за долгое молчание, люблю и помню Вас всегда.

МЦ.

— Бедный Маяковский! (Ваш «сфинкс».) *Чистая* смерть[4]. Всё, всё, всё дело — в чистоте... (пр. 1 с.)

53

St. Pierre de Rumilly
(Haute Savoie)
Château d'Arcine
— мне —
Это Сережин адр⟨ес⟩, но у нас своего нету.
⟨Сентябрь 1930⟩[1]

Дорогая Анна Антоновна!

Наконец Вам пишу. Лето прошло как сон, — в работе всегда так, а работы — впрочем Вы сами знаете — сколько. Живем даже не в деревне, а над деревней, под самой горой, без хозяев, в маленьком chalet* с огромным двором — сараи, сеновалы, мельница, всё старое, наполовину отслужившее. Нашему домику сто лет ровно.

С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ за три километра, в настоящем замке XV века, в котором ныне русский пансион. Он там уже 8 месяцев, — платит Кр⟨асный⟩ Крест. Видимся почти ежедневно, то мы к нему, то он к нам. Раз в неделю ходим — Аля, Мур и я — в соседний городок La Roche на рынок, закупаем на целую неделю. В деревне ни овощей, ни мяса нет.

Природа здесь очень живописная, но Чехию люблю несравненно больше. Леса *сырые,* не тропинки, а ручьи, не дороги — потоки. Слишком много воды, и не только из-за дождливого лета: близость снеговых гор. Лес неприветливый, мрачный, вроде тайги, — весь в плюще и в ежевике, не продерешься. А под ногами — вода. Прогулки только дальние, на целый день, ближних, как в Чехии, нет, т. е. одна: в тот же La Roche, шоссе — слава Богу почти без автомобилей.

Но народ чудный: вежливый, радушный, честный, добрый — как во времена Руссо. Он в этих местах провел всю молодость...[2] (пр. 7 с.)

...За лето кончила перевод на франц⟨узский⟩ (стихами) своего Мóлодца, к к⟨оторо⟩му Гончарова давно уже закончила иллюстрации[3], и написала ряд стихов к Маяковскому — думаю отдать в Волю России[4]... (пр. 11 с.)

54

Медон, 17-го окт⟨ября⟩ 1930 г.

(пр. 3 с.) ...Я Вас *всегда* помню, т. е. Вы *всегда* во мне присутствуете. Свидание с Вами было бы одной из огромных радостей моей жизни. Жаль, что меня никак не пристегнешь

* Домике-хижине *(фр.).*

к Достоевскому, а то бы — чудный повод к встрече[1]. Если бы Лескова чествовали — встретились бы. Из русских писателей это мой самый любимый, родная сила, родные истоки. Мне, чтобы о человеке сказать, нужно его любить пуще всего. И о Лагерлёф[2] сказала бы. И о Сигрид Унсет[3] — читали ли Вы ее? Замечательная книга. Норвежский эпос. Трилогия: Der Kranz — Die Frau — Das Kreuz*. Лучшее чтó написано о женской доле. Перед ней — Анна Каренина — эпизод. Вся вещь называется: Kristin Laurinstochter**. Когда-нибудь да эту книгу приобрету. После нее долго ничего не хотелось читать.

9-го мы вернулись из Савойи. Жизнь трудная: С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ без работы — Евразия кончилась, а ни на какой завод его не примут, — да и речи быть не может о заводе, когда за 8 мес⟨яцев⟩ прибавил всего 5 кило, из к⟨отор⟩ых уже сбавил два. Это больной человек. — Сейчас поступил на курсы кинематографической техники, по окончании которых сможет быть оператором. — Кончала Мóлодца, это моя единственная надежда на заработок, но нужно ждать, зря отдавать нельзя, — 6 месяцев работы. Живем в долг в лавочке, и часто нет 1 фр⟨анка⟩ 15 с⟨антимов⟩, чтобы ехать в Париж.

Иногда я думаю, что такая жизнь, при моей непрестанной работе, все-таки — незаслужена. Погубило меня — терпение, моя семижильная гордость, якобы — всё могущая: и поднять, и сбросить, и нести, и *снести*. Если бы я была как все женщины моего круга (NB! а есть ли у меня круг?!) — или как все писатели (моего круга, которого уже заведомо нет!), за меня бы все делали, а я бы глядела. Женщина бы глядела, а писатель бы писал. Если буду жить в другой раз — буду знать.

Очень огорчена, дорогая Анна Антоновна, Вашим неудачным летом, погода и у нас была ужасная, но была — тишина. Удивляюсь, что богатые так дорого оплачивают шум, которого так много на улице.

Оставила в Савойе — в квартире запрещено — безумнолюбимую собаку, которую в память Чехии я окрестила: *Подсэм* (поди сюда?). Это был chien-berger — quatre-yeux***, черная, с вторыми желтыми глазами над глазами-бровями. Никого за последние годы так не любила.

Мóлодца кончила совсем (рифма: Подсэм!), на днях повидаю Гончарову, будем думать — что дальше? Сейчас продолжаю большую вещь, начатую еще прошлой зимой[4]. Писать некогда,

* Венок — Женщина — Крест *(нем.)*.
** Кристин, дочь Лавранса *(нем.)*.
*** Собака-пастух — четырехглазая *(фр.)*.

но всё-таки пишу. Жизнь, из-за безденежья, еще не налажена. Никого, кроме Гончаровой, из парижских, не хочется видеть: у всех настолько другая жизнь — и внешняя и внутренняя. — Распродаю вещи, прекрасные шелковые платья, которые когда-то подарили — за грош.

Да! Совсем о другом: подружилась — издалека — со старой (годами, а не сердцем) приятельницей Рильке[5], живет в Швейцарии, на чудном Bodensee*, там у нее старый дом в старом саду. Шлет мне все его книги, вчера получила второй том его писем, чудное издание Insel-Verlag'a**. Большая радость... (пр. 7 с.)

...Спасибо, что переводите, или думаете переводить, Гончарову. Можно было бы предложить журналу поместить с иллюстрациями — снимками ее картин — как сделали сербы (в Русском Архиве — видали?). Вещь бы оживилась, — и чехи ведь очень любят графику?

Как мне бы хотелось сходить с Вами в ее мастерскую. Сделаемте так, чтобы увидеться! На чествование Достоевского у меня мало надежды. Кстати — *прекрасную* тему Вы выбрали! *Мало* живой природы, но когда есть — незабвенная. Я бы сказала о Д⟨остоевском⟩, что у него все как во сне — без цвета, неокрашенное, в ровном условном свете ф⟨отографи⟩ческой пленки, только очертания. Помню Ипполита где-то на даче, «клейкие листочки» Ивана[6], — а еще?.. (пр. 10 с.)

55

Медон, 22-го января 1931 г.

(пр. 38 с.) ...С французским Мóлодцем пока ничего не вышло. Издательский кризис. Поэтов не издают совсем. 8 месяцев работы. — И иллюстрации Гончаровой (*очень* здесь известной) не помогли.

Перекоп (6 месяцев работы) — лежит. В⟨оля⟩ Р⟨оссии⟩ взять не может (Добровольчество!), а Современные Записки даже не ответили. Такова же судьба вещи, которую сейчас (уже около года) пишу. Всё это — на потом, когда меня не будет, когда меня «откроют» (не отроют!).

Друзей у меня, кроме Е. А. Извольской[1], нет. С Гончаровой что-то остыло. М. б. в обиде, что Аля поступила в школу?[2] Держалось — моей заботой о ней и ее с Алей, обе кончились. Приду — рада. Не зовет — никогда.

* Боденское озеро *(нем.)*.
** Издательство «Инзель» *(нем.)*.

А Е. А. Извольская выше головы занята переводами и статьями, физически нет времени встречаться, видимся на лету, нá людях. Я бы хотела друга на всю жизнь и на каждый час (возможность каждого часа).—Вас.—Кто бы мне *всегда*—даже на смертном одре—радовался. Такого нет. Есть знакомые, которым со мной «интересно»—и домашние, которым со всеми интересно кроме меня, ибо я дома:—посуда—метла—котлеты—сама понимаю.

Простите за: *я, мне, меня,* но правда—некому и не к кому! Обнимаю Вас

МЦ.

56

Медон, 25-го февраля 1931 г.

Дорогая Анна Антоновна!

Еще раз повторяю Вам: живи я с Вами (хотя бы в одном городе, хотя бы в одной стране) у меня была бы другая жизнь, вся другая. Мое горе с окружающими в том, что я *не дохожу.* Судьба моих книг. Всякий хочет 1. попроще 2. повеселей 3. понарядней. Так одинока как это пятилетие я никогда не была. Дома я вроде «стража беспечности»* (как мне нравилось это чешское название!)—роль самая невыгодная. Весь день дозирать, направлять, и всё по мелочам. Иногда с горечью думаю: все у меня в доме и все вокруг более «поэты», чем я. У меня от «поэзии»—только моя несчастная тетрадь.

У меня нет человека, к которому бы я могла придти вечером, *сбыв* с плеч день, который, раскрыв дверь, мне непременно обрадовался бы, ни одного человека, которого не надо бы предварительно запрашивать: можно ли? *Я здесь никому не нужна.*

Есть—знакомые. Но какой это холод, какая условность, какое висение на ниточке и цепляние за соломинку. Какая нечеловечность... (пр. 9 с.)

— Гончарова. С Гончаровой дружила, пока я о ней писала. Кончила—ни одного письма от нее за два года, ни одного оклика, точно меня на свете нет. Если виделись—по *моей* воле. Своя жизнь, свои навыки, я недостаточно глубоко врезалась, *нужной* не стала. Сразу заросло.

Про мужчин и не говорю. Плохие друзья! Тот же М⟨арк⟩ Л⟨ьвович⟩. Виделись раз—час. Разговоры о литературе, равно-

* Полицейский *(устарев.).*

душные. Даже не «что́ пишете?», а «что из того, что пишете, пойдет для Воли России?» Что я для него? Сотрудник.

Когда С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ в прошлом году уезжал в санаторию, у нас *месяцами* никого не было. Дверь молчала, а если стучала, то — либо газ, либо электричество… (пр. 5 с.)

Я всю жизнь, с детства тянулась к людям старшим и лучшим меня. Скучала: сначала с детьми, потом с подростками, потом с молодежью, ныне — с людьми моего возраста, завтра — с завтрашнего.

Как бы мне хотелось кого-нибудь доброго, мудрого, отрешенного, никуда не спешащего! человека — *не* автомобиля, — *не* газеты («Quotidien»)*[1].

— С писательскими делами мне — не лучше. 1928 г. — 1931 г. Из всего написанного напечатана только моя Гончарова, которую Вы знаете. Перекоп (6 мес⟨яцев⟩ работы) и французский Мо́лодец (8 мес⟨яцев⟩) — лежат. Первого не взяли ни В⟨оля⟩ Р⟨оссии⟩, ни Совр⟨еменные⟩ Записки, ни Числа[2]. Второго («Le Gars»**) слушало несколько поэтов, хвалили все, никто пальцем не двинул[3]. «Отнесите туда-то, но будьте готовы к отказу» (на днях, один из редакторов «Nouvelle Revue Française»[4]). Спрашивается — зачем тогда нести?

Не зарабатываю *ничего*.

«Перекоп» мне один знакомый перепечатывает на машинке[5], как кончит, пришлю Вам оттиск, в печатном виде Вы его никогда не увидите.

Очередное, даже сегодняшнее. М⟨арк⟩ Л⟨ьвович⟩ настойчиво просил меня статьи для 1-го № Новой Литературной Газеты. Написала о новой детской книге[6] — там, в России, о ее богатстве, сказочном реализме (если хотите — почвенной фантастике), о ее несравненных преимуществах над дошкольной литературой моего детства и — эмиграции. (Всё на цитатах.) Но тут-то и был «Hund begraben»***. Нынче письмо: статьи взять не могут, п. ч. де и в России есть плохие детские книжки.

Писала — даром.

(NB! В статье, кстати, ни разу! *«советская»* — все время: русская, ни тени политики, которая в мою тему (дошкольный ребенок) и не входила).

Деньги, на к⟨отор⟩ые издается газета, явно — эмигрантские. Напиши мне Слоним та́к, я бы смирилась (NB! не стою же

---

* «Ежедневная газета» *(фр.)*.
** «Мо́лодец» *(фр.)*.
*** «Собака зарыта» *(нем.)*.

я—эмигрантских тысяч!), та́к я—высокомерно и безмолвно отстраняюсь.

Всё меня выталкивает в Россию, в которую я *ехать не могу.* Здесь я *ненужна.* Там я *невозможна.* (пр. 7 с.)

...К довершению всего у меня на почве общего истощения (ходила в клинику, смотрел при 20-ти студентах профессор) вылезла половина брови,—прописал массаж и мышьяк: ничего не растет, так и хожу с полутора бровями. Но к этому отношусь созерцательно, ничего кроме иронии не чувствую. Точно не моя... (пр. 8 с.)

...Читали ли Вы замечательного *Петра I*—Толстого[7] (к⟨оторо⟩ый в России).

57

Медон, 27-го февраля 1931 г.

Дорогая Анна Антоновна!

Вот уже поистине—пришла беда раскрывай ворота!

Я попала в самую настоящую беду... (пр. 3 с.) 24-го декабря я получила по чеку деньги, и они *ошибкой* вместо 6 фунт⟨ов⟩ выдали мне 10 ф⟨унтов⟩, т. е. вместо 750 фр⟨анков⟩—1250, т. е. *я им должна 500 фр⟨анков⟩.* Расписка этой операции у них налицо... (пр. 3 с.)

А теперь надо отдавать... (пр. 8 с.) Главное горе в том, что этот чек был *последний,* что помогавший нам Св⟨ятополк⟩-Мирский (Вёрсты—критик) больше помогать не может (Потому-то я и подумала, что в последний раз прислал больше!)... (пр. 3 с.)

Словом, умоляю Вас, дорогая Анна Антоновна, каким-нибудь чудом достать мне половину этой суммы—т. е. 250 фр⟨анков⟩. *После вечера* (будет весной) *отдам.* Вечер, какой ни есть, всегда дает 1 1/2 тыс⟨ячи⟩ франков... (пр. 19 с.)

58

Медон, 12-го марта 1931 г.

(пр. 1 с.) ...Открытку и коробку получила—сердечное спасибо. Точно гора (содержание открытки) с плеч свалилась! Мне помогают только женщины—так, впрочем, было всю жизнь.

Пытаюсь устроить свой Перекоп в «Россию и Славянство»,—боюсь только платить не будут: очень бедны. И дайте мне

добрый совет: как по-Вашему, не прекратят ли чехи иждивение из-за моего сотрудничества — т. е. напечатания вещи — в правом органе? Но что же мне делать, когда ни Совр⟨еменные⟩ Записки, ни Числа, ни Воля России не берут? В России и Славянстве сотрудничает Бем[1].

Об иждивении: другие писатели получили извещение, что иждивение кончилось, я получила анкету, которую, заполнив, отослала. Прошло два месяца — ничего. Тогда я обратилась к Марку Львовичу, он очевидно напомнил обо мне, и я получила деньги с пометкой: пока что за январь. С тех пор — ничего, т. е. за февраль и март — ничего.

К М⟨арку⟩ Л⟨ьвовичу⟩ обращаться не хочется из-за истории со статьей (заказал и не принял), обращаюсь, дорогая Анна Антоновна, к Вам. Другие писатели уверяют, что иждивение мне осталось, ибо я не отказ получила, а анкету. М⟨арк⟩ Л⟨ьвович⟩ достоверно говорил мне, что оставлено мне и, кажется, еще Ремизову. В чем дело? Почему не шлют? Расскажите о моем положении: больной муж, двое детей, издательский кризис, — жить не на что. Без этих денег мы пропадем.

Сначала ждали каждый день, должали в счет, теперь и ждать перестали. Не получено за февраль и март. (Всегда присылали 3-го — 4-го)... (пр. 10 с.)

59

Медон, 20-го марта 1931 г.

(пр. 4 с.) ...Весна моя начинается грустно: неожиданно в гостях узнала от приезжего из Москвы, что Борис Пастернак разошелся с женой — потому что любит другую[1]. А другая замужем, и т. д. Боюсь за Бориса. В России *мор* на поэтов, — за десять лет целый список! Катастрофа неизбежна: во-первых муж, во-вторых у Б⟨ориса⟩ жена и сын, в-третьих — красива (Б⟨орис⟩ будет ревновать), в-четвертых и в-главных — Б⟨орис⟩ *на счастливую любовь неспособен.* Для него любить — значит мучиться.

Летом 26-го года, прочтя где-то мою Поэму Конца, Б⟨орис⟩ безумно рванулся ко мне, хотел приехать — я *отвела:* не хотела *всеобщей* катастрофы. (Годы жила мечтой, что увижусь.) Теперь — пусто. Мне не к кому в Россию. Жена, сын — чту. Но *новая* любовь — отстраняюсь. Поймите меня правильно, дорогая Анна Антоновна: *не ревность.* Но — раз без меня обошлись! У меня к Б⟨орису⟩ было такое чувство, что: буду умирать — его позову. Потому что чувствовала его, несмотря на семью, совершенно

одиноким: моим. Теперь мое место замещено: только женщина ведь может предпочесть *брата* — любви! Для мужчины — в те *часы*, когда любит — любовь — все. Б⟨орис⟩ любит ту совершенно так же как в 1926 г. — заочно — меня. Я Б⟨орису⟩ написала: «Если бы это случилось пять лет назад... — но у меня *своя* пятилетка!»

Острой боли не чувствую. Пустота... (пр. 7 с.)

60

Медон, 3-го июня 1931 г.

Дорогая Анна Антоновна! Наконец мой вечер позади[1] и я могу Вам написать... (пр. 5 с.)

...Нынче на Колониальной выставке[2] (весь Париж перебывал, я — кажется — последняя) меня взяла острая тоска по Вас, под пальмами, в синем тумане *настоящих* тропик. Сколько тут дам и господ ходит, сколько аппаратов щелкает, запечатлевая все тех же дам и господ — таких случайных! — а Вас, которой все это: Индо-Китай, Судан, Конго и т. д. — так много бы дало, и которая, этим, всему (и мне!) так много бы дали — нету. И, проще: всегда когда вижу что-нибудь красивое, редкое, настоящее — думаю о Вас и хочу видеть это с Вами. (Боже, до чего слабое, должно быть, мое *хочу* во всем, кроме работы! До чего я *для себя* не умею хотеть!)

Дома у меня жизнь тяжелая — как у всех нас — мы все слишком особые и слишком разные... Каждому нужно — физически — место, к⟨оторо⟩го *нет:* все друг у друга под локтем и по́д боком... С работой у меня весь этот «школьный год» (конечно — школа!) тоже не блестяще: Аля много в Париже из-за — своей школы, я с Муром, который *труден,* — кроме того пишу вещь, которая при невероятной трудности осуществления (сколько раз — бросала!) никому не нужна... (пр. 7 с.)

...Все окружение меня считает сухой и холодной, — м. б. и так — жизнь, оттачивая ум — душу сушит. И потом, знаете в медицине: подавленный аффект, напр⟨имер⟩ горе или радость, сильная вещь, которой не даешь ходу, в конце концов человек остро заболевает: либо сильнейшая сыпь, либо еще какой-нибудь внешний знак потрясения.

Так вся́ моя взрослая жизнь: force refoulée, désir créateur — refoulé*, что́ я иного в жизни делаю как *не-пишу* — когда мне хочется, а именно: все утра моей жизни?! 14 лет подряд.

Это тоже холодит и сушит... (пр. 13 с.)

* Подавленная сила, подавленное творческое желание *(фр.)*.

61

Медон, 31-го августа 1931 г.

Дорогая Анна Антоновна, спасибо за письмо и открытку с лесом, за любовь и память.

Живу из последних (душевных) жил, без всяких внешних и внутренних впечатлений, без хотя бы малейшего повода к последним. Короче: живу как плохо действующий автомат, плохо — из-за еще остатков души, *мешающей* машине. Как несчастный, неудачный автомат, как насмешка над автоматом.

Всё поэту во благо, даже однообразие (монастырь), все кроме перегруженности бытом, забивающим голову и душу. Быт мне мозги отшиб! Живу жизнью любой медонской или вшенорской хозяйки, никакого различия, *должна* всё что должна она и ничего не смею чего не смеет она — и многого не имею, что имеет она — и многого не умею. В тех же обстоятельствах (а есть ли вообще те же обстоятельства??) другая (т. е. не я, — и уже всё другое) была бы счастлива, т. е. — и обстоятельства были бы другие. Если утром ничего не надо (и главное не хочется) делать, кроме как убирать и готовить — можно быть, убирая и готовя, счастливой — как за всяким делом. Но несделанное свое (брошенные стихи, неотвеченное письмо) меня грызут и отравляют всё. — Иногда не пишу неделями (NB! хочется — всегда), просто не сажусь...

Реально: месяц этого лета налаживала поездку С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩ в горы, две недели шила Муру, другие две налаживала Алин отъезд в Бретань (к Лебедевым, помните?)... (пр. 4 с.). Наконец возвращение С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩ и мысли (не только мысли, а письма, хождения: *время!)* — о его устройстве, попытка пока беспоследственная, ибо *кризис* и большинство кинематогр⟨афических⟩ предприятий стоит... (пр. 2 с.)

Французский мой Мо́лодец (Gars, работа 8-ми мес⟨яцев⟩) не понадобился никому. Проза в три листа «История одного посвящения» тоже лежит, ибо очередной № Воли России пока не выходит. (Очевидно, и у них «кризис».) И «Gars» и «История одного посвящения» должны были мне дать вместе 2750 фр⟨анков⟩, — т. е. и терм и налоги, и еще бы осталось на жизнь. Д. П. С⟨вятополк⟩-Мирский, все эти годы помогавший на квартиру, платежи прекратил. Другая знакомая, собиравшая в Лондоне 500 фр⟨анков⟩ ежемесячно, известила, что помогавшие больше не могут, но что она, пока, будет давать 300 фр⟨анков⟩[1].

Словом, если надеяться на чехов, в месяц у нас 300+375=675 фр⟨анков⟩ на четверых, когда одна квартира стоит 500 фр⟨анков⟩, не считая отопления (100 фр⟨анков⟩). Сейчас жили на остатки с вечера... (пр. 6 с.)

...Стихи всё-таки писала: ряд стихов к Пушкину, теперь — Оду пешему ходу. Но — такая *редкая* роскошь (в России, даже Советской, я из стихов *не выходила)* — тропинка зарастает от раза к разу... (пр. 4 с.)

62

Медон, 14-го сентября 1931 г.

Дорогая Анна Антоновна!

Наше положение прямо отчаянное: 14-ое число, а чешского иждивения нет. Без него мы погибли. Меня не печатают *нигде* (очередной № В⟨оли⟩ Р⟨оссии⟩ где должна была пойти моя проза «История одного посвящения» — не вышел), С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ без места, Аля должна кончать школу. Нам не помогает *никто*... (пр. 6 с.)

...По нашим средствам мы все должны были бы жить под мостом.

Пишу стихи — лирические (так я определяю отдельные, короткие, но в общем всё — лирика! что *не лирика?!)* — был ряд стихов к Пушкину (весь цикл называется «Памятник Пушкину»[1]) — Ода пешему ходу — Дом (автопортрет) — сейчас: Бузина (знаете такое дерево все в мелких-мелких ядовитых красных ягодах, — растет возле заборов).

В общем, если бы печатали, если не вырабатывала бы — то: прирабатывала. А та́к — ничего: всё остается в тетради.

Будет время — перепишу и пришлю (даже если *не будет* времени!)

Умоляю, дорогая Анна Антоновна, попытайтесь отстоять меня у чехов. — Совестно всегда просить, но виновата не я, а *век,* который десять Пушкиных бы отдал за еще одну машину.

Обнимаю Вас и прошу прощения за несмолкаемые просьбы.

МЦ.

63

Медон, 8-го окт⟨ября⟩ 1931 г.

(пр. 6 с.)... Катастрофа нашего терма (трехмесячной квартирной платы) разрешилась благополучно, — и люди помогли, и как раз чешское иждивение пришло (сокращенное, но слава Богу, что

вообще дают!) словом, сбыли эту гору с плеч и на три месяца спокойны. Я, вообще, за «Grands efforts»* в жизни, — лучше сразу непомерное, чем понемножку — всё равно непосильное, ибо нам по нашему имущественному положению нужно было бы жить под мостом. Пишу Вам так подробно, п. ч. знаю, что Вы и *черновики* (любимых вещей) любите.

Вся жизнь — черновик, даже самая *гладкая*.

Вернулась из Бретани Аля, привезла всем подарки: ей на ее именины мать ее подруги[1] подарила 50 фр⟨анков⟩, — купила на все деньги шерсти и связала Муру и мне две чудных фуфайки, с ввязанным рисунком, как сейчас носят — (и хорошо делают, что носят). Мне зеленую с белым ожерельем из листьев, Муру сине-серо-голубую, северную, в его цветах. На днях начинаются ее занятия в школе, берет три курса: иллюстрацию, гравюру по линолеуму (по дереву — не по средствам, обзаведение не меньше чем 300 фр⟨анков⟩) и натуру. Очень старается по дому и вообще бесконечно мила. *Очень* красива, выровнялась, не толстая, но крупная — вроде античных женщин. *Моей* ни одной черты, кроме общей светлости. Мур растет, — 6 л⟨ет⟩ 8 мес⟨яцев⟩, переменил четыре зуба, а если не похудел, так постройнел, мне почти по плечо. Нрав скорее трудный, — от избытка сил всё время в движении, громкий голос, страсть к простору — которого нет. Дети, а особенно такие дети, должны расти на воле. Французские дети ученьем замучены: от 8 1/2 ч. до 12 ч., перерыв на 1 ч. и опять до 4 ч. — когда же жить, играть, гулять? Дома уроки и сон, ни на что не остается. Ребенок до 10 л⟨ет⟩ должен был бы учиться три часа в день, а остальное время — расти. Согласны? Потому до сих пор не могу решиться отдать его в школу, ибо *все* школы таковы, утренних нет. Это моя большая забота, ибо растет без товарищей, которых страстно любит. Пишет и читает по-русски и читает (самоучкой) по-франц⟨узски⟩, начинает бойко (хотя неправильно) говорить. Как мне бы хотелось Вам, дорогая Анна Антоновна, их обоих показать! Когда увидимся??

С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ пока без работы — обещают — но при самой доброй воле трудно, — и французы без мест.

Обнимаю Вас нежно, скоро еще напишу — о той другой жизни, где мы с Вами никогда не расставались.

МЦ.
(пр. 3. с.)

---

* «Большие усилия» *(фр.)*.

64

Медон, 1-го января 1932 г.

С Новым Годом, дорогая Анна Антоновна! Пишу Вам на странице своей рукописи, которой и кончила старый, которой и начала новый год.

Весной будет ровно десять лет как я уехала из России, летом — ровно десять лет как приехала в Чехию, осенью (1-го ноября) — ровно семь лет как уехала из Чехии, т. е. приехала во Францию. А странно: Чехия — как период времени в моей памяти гораздо больше чем Франция, я бы сказала: в Чехии пробыла семь, в Париже три. Франции несмотря на всё (этому всему — знаю цену!) я всё-таки как-то не полюбила, может быть потому что мне ее — душевно — нечем помянуть. Настоящих друзей здесь у меня не было, были кратковременные дружбы, не выжившие. Единственный человек, которого я здесь по-настоящему полюбила, который меня во Франции по-настоящему полюбил, была Елена Александровна Извольская, которая уехала — замуж в Японию, я Вам об этом расставании писала. Во Франции — за семь лет моей Франции — выросла и от меня отошла — Аля. За семь лет Франции я бесконечно остыла сердцем, иногда мне хочется — как той французской принцессе перед смертью — сказать: Rien ne m'est plus. Plus ne m'est rien*[1].

Кроме Мура: очень сложного и трудного[2], но пока (тоже на какие-нибудь семь лет) во мне нуждающегося. После этих семи — или десяти лет — я уже на земле никому не нужна, м. б. тогда и начнется моя настоящая: одинокая и уединенная жизнь, которая у меня кончилась *с семнадцати лет*[3]. Может быть я тогда напишу еще несколько хороших вещей, может быть одну вещь: *мою*. Я пока еще живу на старый — отчасти российский, отчасти чешский — капитал (смешно звучит — от меня — да еще в эту зиму!). Париж мне душевно ничего не дал. Знаете как здесь общаются? Гостиные, много народу, частные разговоры с соседом — всегда случайным, иногда увлекательная беседа и — прощай навсегда. Так у меня было много раз, потом перестала ходить (пишу о французах). Чувство, что всякий все знает и понимает, но занят целиком собой, в литературном кругу (о котором пишу) — своей очередной книгой. Чувство, что для ⟨*неразб*⟩ тебя места нет. Так я недавно целый вечер пробеседовала с Alain Gerbault[4], знаменитым одиноким путешественником (A la poursuite du soleil)**. И — что же? Да то, что самая увлека-

* Мне больше ничего не остается. Больше мне не остается ничего *(фр.)*.
** Следом за солнцем *(фр.)*.

тельная, самая как будто — душевная беседа француза ни к чему не обязывает. Безответственно и беспоследственно. Так, как говорит со мной, говорит с любым, я только подставное лицо, до к⟨оторо⟩го ему никакого дела нет. Французу дело до себя. Это у них называется искусством общения.

Эх дружба, любовь двухдневная —
И забвенье на тысячу дней!
Короткая память душевная
У здешних людей...

Так писала в 1912 году одна молодая поэтесса[5] о Петербурге, точь-в-точь это же говорю в 1932 г. о Париже — я. Может быть это, по существу, сказано о всей стране *здесь* (das Hier-Land*).

А может быть всё это оттого, что я никому не хочу *нравиться* и (именно потому) — не нравлюсь, может быть *дело во мне.* Не сомневаюсь, что те же французы с другими русскими... Но я бы не хотела быть — теми другими русскими...

А от русских я отделена — своими стихами, которых никто не понимает, своим своемыслием, которое одними принимается за большевизм, другими — за монархизм иль анархизм, своими особыми взглядами на воспитание (все меня тайно осуждают за Мура), опять-таки — всей собой.

Ехать в Россию? Там этого же Мура у меня окончательно отобьют, а во благо ли ему — не знаю. И там мне не только заткнут рот непечатанием моих вещей — там мне их и писать не дадут.

Словом, *точное* чувство: мне в современности *места нет.* Дали бы на выбор — взяла бы самый маленький забытый старый городок, где угодно, лучше всего — нигде, с хорошей школой для Мура и близкой окраиной — для себя. Так я могла бы прожить до смерти. Но этого у меня не будет... (пр. 5 с.)

...17-го читаю доклад[6] (свой первый в жизни!) Поэт и Время, — главу своей статьи «Искусство при свете совести»[7] — м. б. заработаю франков 300 — дай Бог. С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ опять без работы и положение отчаянное. Из Праги, пока, об окончании иждивения не предупреждали. Что-то будет?.. (пр. 2 с.)

...Пишите, не забывайте, сопутствуйте душевно. Я еще более одинокий путешественник чем Alain.

Марина

Медон, 27-го января 1932 г., среда

— Есть, кроме обычного малодушия неписания еще особое малодушие: неотсылки. У меня та́к: если не отошлю тотчас же — не отошлю никогда. Нынче, разбирая бумаги и обнаружив

* Здесь-Страна *(нем.)*.

целых четыре страницы мелкописи, уж хотела было — разом в печь, со всем и ко всем остальным — и — одумка: письмо-то, по существу, не мое, а Ваше. Да еще (хотя и мрачное) поздравление с Новым Годом, с которым — выходит — не поздравила, — а может быть он-то и есть счастливый?! — к которому — выходит — не пожелала, а может быть он-то и есть — тяжелый, в пожеланиях нуждающийся?

Словом, люблю и помню, поздравляю и желаю, и в Чехию — рано или поздно — но *вернусь* непременно, и непременно — к Вам. Вы знаете, дорогая Анна Антоновна, я, обратно всей нашей семье, гостить не умею: дико томлюсь! Необходимостью собственной любезности и внешней благодарности, мыслями, а часто и вымыслами — что я — тягость, чужим распределением дня, всей чужой (хотя и доброй!) надо мной волей. А у Вас бы я гостить сумела, у Вас бы я даже не заметила, что гощу! К Вам бы я приехала *домой,* в мир Сигрид Унсет и ее героев, не только в их мир и в их *век,* но в их особую душевную страну, такую же достоверную как Норвегия на карте.

Я знаю что я оттуда. Я там всё *узнаю.* Я знаю что и Вы оттуда, я и Вáс там узнаю, я и это *там* в Вас узнаю́. Мы с Вами люди одной породы, без всякого иносказания: горной. Люди гор. Суровые. Как было в России суровое полотно, суровый холст — из которого кому-то (не нам!) паруса. Которые не рвутся. (И вот — мысль: на парусах моих стихов все выплывут в открытое море, кроме меня. Ибо я только ткач, ткач, который *сидит.)*

Сигрид Унсет. Sigrid Unsed: Der Kranz — Die Frau — Das Kreuz*. И вот — внезапное озарение: кто же мне подарит эти книги как не Вы, которая их — почти что писали и совсем жили?! Не все. Вторую часть: die Frau. Первую мне, я почти уверена, подарит один здешний молодой поэт[8], к⟨отор⟩ый был в VII кл⟨ассе⟩ Тшебовской гимн⟨азии⟩, когда Аля поступила в 1 кл⟨асс⟩. Еще совсем не поэт: только начинает учиться рифмовать, но — благородное сердце, без чего *поэта — нет.* У нас с ним общая любовь — Рильке, с той разницей, что *его* любимая вещь — Cornet[9], т. е. его собственный юношеский возраст. До всего Р⟨ильке⟩ ему остается расти всю жизнь, а м. б. и несколько. — Вот на этого рильковского читателя (горячо любит мои стихи) у меня и надежда, что подарит 1 ч⟨асть⟩ der Kranz. Хочу непременно по-немецки, на франц⟨узском⟩ эта вещь просто не мыслится. Читала я трилогию два года с лишним назад, *жила ее.* А просила подарить уже два раза — и оба раза безнадежно: первый человек просто не отозвался, второй пообещал — и всё. Знаю,

---

* См. перевод на с. 388.

что все три тома продаются отдельно, глазами видела здесь, в немецком магаз⟨ине⟩, и естественно не могла купить. Мы в *полной* нищете, за кв⟨артиру⟩ не плачено (послали из 1300 фр⟨анков⟩ — 700 фр⟨анков⟩, пока, хозяйка вернула обратно, желая сразу всё, естественно начали тратить, ибо жить не́ на что, чехи не пишут и не шлют, литер⟨атурный⟩ отдел В⟨оли⟩ России кончился, печататься негде, С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ без работы, ищет, обещают — ах!). Но вот потому-то, из-за того-то и хочу трилогию, чтобы рядом *с этой* жизнью шла *другая* жизнь: моя!

О Kristin Laurinstochter мечтаю третий год, сейчас эта мечта дошла до *тоски*[10]. Половину бы своих книг (у меня есть очень хорошие!) за нее отдала.

21-го был мой доклад «Поэт и Время». В зале ни одного свободного места, слушатели *очень* расположенные, хоть говорила я резкие правды. Характерно, что из всех приглашенных[11] для обмена мнений людей старшего поколения, всех представителей времени (философов или возле) пришел только шахматист и литер⟨атурный⟩ критик Зноско-Боровский[12]. Ни одного философа, ни одного критика. Только поэты. Трогательно выступал (из публики) старичок Сергей Яблоновский[13] (лет за семьдесят), увидевший во мне (и в моем докладе) — свет — правдивость — бесстрашие (*его* слова). Очень горяч был молодой поэт А. Эйснер... (пр. 14 с.)

65

Clamart (Seine)
101, Rue Condorcet
8-го апреля 1932 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Как видите новый адрес, то есть конец одной жизни и начало другой. Выехали и въехали 31-го марта, переезжали, вернее — перетаскивались по вчерашний день. Причина переезда — невозможность платить прежнюю цену, наша новая квартира на 1200 фр⟨анков⟩ в год дешевле, самая дешевая из всех виденных в Медоне и в Кламаре — на комнату (мою) меньше, и без ванной, словом 2 1/2 комнаты и кухня. Половина — то место где мой стол и книги, но постель не вмещается, сплю в кухне, большой и светлой... (пр. 14 с.)

...В Медоне мы прожили пять лет. В Медоне вырос Мур. В Медоне в трех минутах был лес и в трех — вокзал. В Медоне

на десять домов девять старых. В Медоне когда-то охотились короли.

Кламар новый, плоский и скучный. С трамваем. С важными лавками. Может быть—придется полюбить, но... (пр. 11 с.)

...Кончаю свою бесконечную статью «Искусство при свете совести», прерванную месячным (разработка, укладка, раскладка, чистка двух домов) переездом. Может быть пойдет в Современных Записках, об этом старается А. Эйснер, с которым я только недавно познакомилась и который мне решительно нравится[1]. Смесь ребячества и настоящего самобытного ума. Лично—скромен, что дороже дорогого. Ко мне, неизвестно за что и почему, добр, всё пытается устроить мою рукопись... (пр. 8 с.)

66

Кламар, 16-го окт⟨ября⟩ 1932 г.

(пр. 5 с.) ...Пишу Вам в первый же свободный день—за плечами месяц усиленной, пожалуй даже—сверх сил—работы, а именно: галопом, спины не разгибая, писала воспоминания о поэте М. Волошине[1], моем и всех нас большом и давнем друге, умершем в России 11-го августа. Писала, как всегда, одна против всех, к счастью, на этот раз, только против всей эмигрантской прессы, не могшей простить М. Волошину его *отсутствие ненависти* к Сов⟨етской⟩ России, от которой (России) он же первый жестоко страдал, ибо *не уехал.*

К⟨атерина⟩ Н⟨иколаевна⟩[2] Вам расскажет о чтении[3]. Так как надежды на печатание—ни здесь, ни в Сов⟨етской⟩ России—нет, а писала я о М. В⟨олошине⟩ для того, чтобы *знали,* мне пришлось читать почти целиком всю рукопись, т. е. 2 ч. 45 м⟨инут⟩ подряд, с перерывом на 10 мин⟨ут⟩. Читала до самого закрытия зала. Зал (слушатели) был чудный (большинство женщины), слушали, несмотря на усталость—свою и мою—лучше нельзя.

М. Волошину я обязана первым самосознанием себя как поэта и целым рядом блаженных лет (от лето) в его прекрасном суровом Коктебеле (близ Феодосии).—И стóльким еще!.. (пр. 3 с.)

...С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ совсем ушел в Сов⟨етскую⟩ Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только тó, что хочет.

Аля больна: нарыв от малокровия, совсем худая и сквозная. У меня нервы в *отчаянном* состоянии: чуть чтó—слезы градом и комок в горле. Всё это от нужды, т. е. тесноты, в к⟨отор⟩ой приходится жить. Вечно на глазах, никогда—одна. Утешаюсь

только, когда пишу — или, случайно, чудом, оказываюсь одна на улице — хотя бы на пять минут. Тогда всё проходит. Если я больна — то только от совместности... (пр. 18 с.)

...Лето было ужасное. Но об этом лучше не писать. М. б. лучше, что то письмо пропало...

Когда увидимся? Почему люди, которым нужно быть вместе, должны быть врозь? Я бы все свои свободные вечера (не так много!) проводила бы с Вами. Мне общество не нужно, мне нужен человек, и из всех людей — больше всего Вы. Я глубоко завидую Катерине Николаевне. Мне с Вами *тихо,* Вы понимаете, чтó это значит? Как в большом поле — какие есть только в России. Тáк тихо, что не было бы шумно (с Вами) даже на парижских «Grands boulevards»-ах*, к⟨отор⟩ые все, неизвестно почему — так любят. Нет, известно почему: за шум. За то, что — «себя не слыхать».

Иногда вижу М⟨арка⟩ Л⟨ьвовича⟩. Недавно с ним спорила. Он танец ставит на одну высоту *со словом.* «Бог — или истина — или красота — или добро» — когда человек так говорит, я знаю одно: что ему глубóко всё равно. Что он, даже, по существу ни одного называемого не ощущает. Так этот «Бог или красота или добро», по его мнению, равнó проявляется в балерине и в пророке. На что я ему ответила, что можно любить балет больше Священного Писания, но что оправдать этого (уравнять их) — нельзя. Либо признать равенство души и тела, чего не признáю никогда. Еще пример: 82-л⟨етний⟩ Гёте — Второй Фауст, а 80-летний танцор?? Не о бестелесных же танцах он говорит, не о хороводах же душ, а о — живом танце, т. е. тел. Всякий поэт хочет (удачно или неудачно) сказать свою душу, а из танцоров — один на миллион. Танцор хочет сказать свое тело: силу, легкость, грацию. *Это* через него хочет сказаться. Апогей тела, и в лучшем случае переборотый закон земного тяготения: но — силой ног (таких-то мускулов) лечу, не силой духа.

Согласны? Ответьте непременно.

Утверждения М⟨арка⟩ Л⟨ьвовича⟩ — конечно, общее место, каждый эстет и под-эстет так говорит. Просто: ему одинаково (а м. б. и больше приятно) смотреть на балерину, как читать стихи. Приятнее смотреть, чем думать. Как большинству. (Хлеба и *зрелищ.)* Смотреть есть *не-думать.* — Пусть! Но зачем же пытаться оправдать это разумом? Слово — разум, танец — инстинкт. Ели жертвенное мясо, а потом танцевали, не знали *чтó*

* «Больших бульварах» *(фр.).*

сказать — потому танцевали*. Козлы тоже танцуют. И журавли, кажется. (И очень хорошо делают!) И ребенок скачет раньше, чем говорит. Танец — потребность тела. Слово — души.

Из всего этого М⟨арк⟩ Л⟨ьвович⟩ вывел, что я «просто ничего не понимаю в танце», который, кстати, сравнивается с архитектурой (NB! Реймский собор[4]). Такие вещи меня больше задевают, чем мои личные (бытовые и людские) неудачи и беды. Здесь *мое* задето. И только из-за таких вещей могу не спать.

(Страшно хотелось бы устроить об этом диспут, но всем *всё* — так всё равно!)... (пр. 26 с.)

...Милая А⟨нна⟩ А⟨нтоновна⟩, если не трудно — присылайте нам те 20 фр⟨анков⟩ прямо, а то Карсавины собираются уезжать, — и все равно: Вы одна присылаете. Сердечное спасибо!

МЦ.

67

Clamart (Seine)
10, Rue Lasare Carnot
7-го марта 1933 г.

...Вчера у А. И. Андреевой — помните, черноглазая и даже *огнеокая* дама, у которой мы с Вами вместе были в гостях во Вшенорах? мы и здесь соседи — итак, у А. И. Андреевой я встретилась с г⟨оспо⟩жой Даманской[1], которая мне много и с большой симпатией говорила и рассказывала о Вас. Так я и увидела Вас — на фоне *той* Праги, даже не той, моего пребывания, а раньше, — м. б. просто Праги *сна.* (Прага и Брюгге — два самых сновиденных города, к⟨отор⟩ые я знаю, но Прага еще больше — сон, п. ч. ме́ньше об этом знают.) И я вспомнила тот сияющий день во Вшенорах, станцию, качающиеся корзины с цветами, рельсы, нашу беседу — без рельс, а м. б. прямой дорогой в бессмертие. (Мы говорили о некончании — нескончании — всего.)

Расскажу немножко о нас. Мы переехали — с огромными трудами — на новую квартиру — (простите, если Вам уже об этом писала, — не помню) — тут же в Кламаре, очень спокойную и просторную, в довоенном доме, на 4 этаже. У меня своя комната, где даже можно ходить.

Зима прошла в большой нужде и холоде, топили редко — отопление свое, т. е. имеешь право мерзнуть — недавно приходили

* Не знают что́ сказать и потому танцуют! А постарше — играют в бридж *(приписка на полях)*.

описывать (saisir) — трое господ, вроде гробовщиков, но увидев «обстановку» — ящики, табуреты и столы — написали нам бумажку о немедленной высылке из Франции в случае неуплаты налогов — очень старых — из к⟨отор⟩ых мы уже выплатили 500 фр⟨анков⟩, оставалось еще 217 фр⟨анков⟩. И в тот же день — увы! — долгожданный гонорар из Совр⟨еменных⟩ Записок — 250 фр⟨анков⟩, к⟨отор⟩ые почти целиком тут же пришлось отдать. Что будет с будущим термом — не знаю, все писатели сейчас устраивают вечера, а к моим парижане уже привыкли: не новость.

Стихов за зиму писала мало: большая работа о М. Волошине и перевод своей собственной вещи на французский[2]: 9 (своих собственных настоящих) писем и единственное, в ответ, мужское — и послесловие: Postface ou Face Posthume des choses* — и последняя встреча с моим адресатом, пять лет спустя, в Новогоднюю ночь. Получилась *цельная* вещь, написанная жизнью. Но с моим обычным везением — похвалы (французов) со всех сторон, а рукопись лежит. И очевидно будет лежать, — как и мой французский Мóлодец, иллюстрированный Гончаровой.

Сейчас мне заказали книжку для детей о церкви, и, сужая: литургии, — тема для меня трудная, п. ч. службу знаю плохо — каждый знает лучше меня! И вообще я человек вне-церковный, даже физически: если стою — всегда *у входа,* т. е. *у выхода,* чтобы идти дальше. Кроме того, без уверенности, что получу гонорар, — заказ на авось. Да, Вы даже знаете заказчика: сестра Кати Кист — художница Юлия Рейтлингер[3], сделавшая ряд церковных картинок и жаждущая текста к иллюстрациям. — Не знаю чтó выйдет. И не знаю, получу ли что-нибудь... (пр. 31 с.)

...Как Прага? Началась ли уже весна?

Помню одну изумительную прогулку на еврейское кладбище, в полный цвет сирени... (пр. 4 с.)

68

5-го июля 1933 г.

Дорогая Анна Антоновна! Начнем с открытки, — это только оклик. Да, все на месте, я Вас не забыла, ибо *мне* забыть *Вас* — впасть вообще в беспамятство. А не писала так долго по малодушию: невозможность вместить все в одно письмо. М. б. через несколько дней от него отвяжусь, тогда сразу получите и карточки детей, самые недавние, и м. б. мою (я очень плохо

* Послесловие, или посмертное лицо вещей *(фр.)*.

выхожу!). Мы никуда не уехали (уже третье лето). Нищета, но другим еще хуже. Пишу прозу, п. ч. стихи никому не нужны, т. е. никто не берет. Но проза тоже неплохая. (В Посл⟨едних⟩ Нов⟨остях⟩ от 16-го июля, воскресение, мой большой фельетон — «Башня в плюще» — о детстве в Германии.) М. б. видели?.. (пр. 7 с.)

69

Кламар, 24-го ноября 1933 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Наконец — письмо!

Пишу Вам в передышку между двумя рукописями: «Дом у Старого Пимена»[1] — семейная хроника дома Иловайских (историк Иловайский — Вы наверное знаете? Мой отец был первым браком женат на его дочери, я *не ее* дочь) очень мрачная и правдивая история: дом, где все умирали, кроме старика, — вещь может быть пойдет в Совр⟨еменных⟩ Записках, пишу стало быть в перерыв между «Старым Пименом» и «Лесным Царем»[2] (попытка разгадки Гёте). На помещение последней вещи мало надежды: кто сейчас, в эмиграции, интересуется Лесным Царем (Erlkönig) и даже Гёте! Я, которую так долго травили за «современность» стихов — теперь вечно слышу упреки в несовременности *тем* моей прозы. (А Вы не думаете, что та «современность» и эта «несовременность» — одно, т. е. я?!)

Стихов я почти не пишу, и вот почему: я не могу ограничиться одним стихом — они у меня семьями, циклами, вроде воронки и даже водоворота, в который я *попадаю,* следовательно — и вопрос *времени.* Я не могу одновременно писать очередную прозу и стихи и не могла бы даже если была бы свободным человеком. Я — концентрик. А стихов моих, забывая, что я — поэт, нигде не берут, никто не берет — ни строчки. «Нигде» и «никто» называются «Посл⟨едние⟩ Новости» и «Совр⟨еменные⟩ Записки», — больше мест нет. Предлог — непонимание меня, поэта, — читателем, на самом же деле: редактором, а именно: в Посл⟨едних⟩ Нов⟨остях⟩ — Милюковым, в Совр⟨еменных⟩ Зап⟨исках⟩ — Рудневым, по профессии — врачом, по призванию политиком, по недоразумению — редактором (NB! литературного отдела). «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно»[3].

Эмиграция делает меня прозаиком. Конечно — и проза *моя,* и лучшее в мире после стихов, это — лирическая проза, но все-таки — *после* стихов!

Конечно, пишу иногда, вернее — записываю приходящие строки, но чаще не записываю, — отпускаю их назад — ins Blaue!* (никогда Graue**, даже в ноябрьском Париже!)

Вот мои «литературные» дела. Когда получу премию Нобеля *(никогда)* — буду писать стихи. Так же как другие едут в кругосветное плавание.

Премия Нобеля. 26-го буду сидеть на эстраде и чествовать Бунина[4]. Уклониться — изъявить протест. Я не протестую, я только не согласна, ибо несравненно больше Бунина: и больше, и человечнее, и своеобразнее, и нужнее — Горький. Горький — эпоха, а Бунин — конец эпохи. Но — так как это политика, так как король Швеции не может нацепить ордена коммунисту Горькому… Впрочем, третий кандидат был Мережковский, и он также несомненно больше заслуживает Нобеля, чем Бунин, ибо, если Горький — эпоха, а Бунин — конец эпохи, то Мережковский эпоха *конца* эпохи, и влияние его и в России и за границей несоизмеримо с Буниным, у которого *никакого,* вчистую, влияния ни там, ни здесь не было. А Посл⟨едние⟩ Новости, сравнивавшие его стиль с толстовским (точно дело в «стиле», т. е. *пере,* которым пишешь!), сравнивая *в ущерб* Толстому — просто позорны. Обо всем этом, конечно, приходится молчать.

Мережковский и Гиппиус — в ярости. М. б. единственное, за жизнь, простое чувство у этой сложной пары.

Оба очень стары: ему около 75, ей 68 л⟨ет⟩. Оба — *страшны.* Он весь перекривлен, как старый древесный корень, Wurzelmännchen*** (только — без уюта и леса!), она — раскрашенная *кость,* нет, даже страшнее кости: смесь остова и восковой куклы.

Их сейчас все боятся, ибо оба, особенно она, злы. Злы — как ду́хи.

Бунина еще не видела. Я его *не люблю:* холодный, жестокий, самонадеянный *барин. Его* не люблю, но жену его[5] — очень. Она мне очень помогла в моей рукописи, ибо — подруга моей старшей сестры[6] (внучки Иловайского) и хорошо помнит тот мир. Мы с ней около полугода переписывались. Живут они в Grass'е (Côte d'Azur****), цветочном центре (фабрикация духов), в вилле «Belvédère», на высочайшей скале. Теперь наверное взберутся на еще высочайшую.

---

* В синеву *(нем.).*
** Серость *(нем.).*
*** Гном *(нем.).*
**** Лазурный берег *(фр.).*

Дома — неважно. Во-первых, если никто не болен (остро), то никто и не здоров. У Мура раздражение печени, диета, очень похудел — и от печени и от идиотской франц⟨узской⟩ школы: *системы* сплошного сидения и зубрения... (пр. 7 с.) Аля все худеет, сквозная, вялая, видно сильнейшее малокровие. Шесть лет школы, пока что, зря, ибо зарабатывает не рисованием, а случайностями, вроде набивки игрушечных зверей, или теперь м. б. поступит помощницей помощника зубного врача — ибо жить *нечем. Очень* изменилась и внутренно... (пр. 23 с.) У нас грязь и холод (уголь и его отсутствие). Во Вшенорах тоже была грязь, но была большая уютная плита, за окнами был лес, был *уют нищеты* и душевный отвод *настоящей* природы. Все те места помню, все прогулки, все дорожки. Чехию — *добром* помню.

Огромное спасибо за ежемесячные присылки, всегда выручают в *последнюю минуту!*

Вы одна и уцелели.

70

Кламар, 11-го декабря 1933 г.

Дорогая Анна Антоновна, только что Ваше письмо, откликаюсь сразу и сразу начинаю с просьбы: пришлите мне Вашу карточку! Какую хотите: либо последнюю, либо 1923 г. — 1925 г., когда мы с Вами встречались, и очень бы хотелось Вас — молодую *(тогда)*. Знаете ли Вы — Вы, *конечно,* знаете! что Вы совсем, целиком, из чудесного женского мира Лагерлёф и Унсет, что те — *Ваша* порода, а Вы — *их*. Страшно хотелось бы прочесть ту книгу «Дочь священника»[1], если Вы записаны в немецкой библиотеке и она там есть, вышлите мне почитать, не задержу. Купить — нет возможности, а в Париже только одна крохотная нем⟨ецкая⟩ библиотека, и там переводов нет, вообще ничего нет, кроме сенсаций о развале немецкой Империи, а затем и демократии. Авторы этих книг сидят по парижским кафе. Всё это очень интересно, — и книги, и авторы, и Reich* — но всё это неминуемо *пройдет*. А Унсет и Erlkönig**[2] и Ваша «Дочь священника» — останется. (Точно кто-то меня с детства заколдовал: не любить ничего преходящего, кроме вечно возвращающегося преходящего природы.) Итак, милая Анна Антоновна, если толь-

* Рейх *(нем.)*.
** Здесь: Лесной Царь *(нем.)*.

ко имеется нем⟨ецкая⟩ библиотека, и если только Вы в ней записаны, и если только в ней имеется «Дочь священника», умоляю достать и выслать на короткий срок. Я такой книги — жажду. А Вам очень советую прочесть Olaf Dunn[3] «Die Juwikinges», два тома: I. — Peter Anders und sein Geschlecht, II — Odin*. По отзыву Унсет — лучшая вещь о Норвегии и в Норвегии за последние годы. Совсем молодой.

Мне с моими вещами не везет. Erlkönig'a[4] вернули, как «очень интересное филологическое исследование, но для среднего читателя негодящееся», а теперь Совр⟨еменные⟩ Записки опять желают, чтобы я выкинула 8 стр⟨аниц⟩ из своей рукописи «Дом у Старого Пимена». Собравшись с духом наконец ответила, что *печатаюсь* я 1910 г. — 1933 г., т. е. 23 года, а пишу — еще дольше, что над Старым Пименом я работала всё лето, а над этими 8 страничками не меньше двух недель, что я *не любитель, не дилетант, не гастролер,* что пора меня счесть серьезным писателем, либо вовсе оставить в покое. Что от гонорара за эти 8 страниц отказываюсь на покрытие типографских расходов, но что если и это не поможет — пусть мой Старый Пимен остается при мне, а я — при нем.

Не знаю. Думаю — не согласятся. Но знаю, что иначе — не могла. Они ведь хотели, чтобы я выкинула всю середину о детях Иловайского, т. е. как раз самое насущное и сказочное: две ранних смерти двух несказа́нно трогательных существ. Им это «неинтересно», они ловят анекдот, сенсацию, юмор. Чуть всерьез — уже «растянуто» и «читатель не поймет». Я — лучшего мнения о читателе. Меня читатель (der Lesende und Liebende**) понимал всегда.

Конечно с деньгами дело печально: выйдет, что я все лето даром работала. Через 2 недели Рождество — не будет подарков детям. Вообще, это была долгая и последняя надежда, но не могу, чтобы вещь уродовали, как изуродовали моего Макса, выбросив все его детство и юность его матери — всего только 10 страниц[5]. Им 10 страниц, а мне (и Максу, и его матери, и читателю) целый живой *ущерб*... (пр. 13 с.)

...Во Франции мне плохо: одиноко, чуждо, *настоящих* друзей — нет. Во Франции мне не повезло. Дома тоже сиротливо. И очень неровно. Лучший час — самый поздний: перед сном, с книгой — хотя бы со старым словарем. Впрочем, это был мой лучший час и в шестнадцать, и в четырнадцать лет... (пр. 12 с.).

---

* «Жители Ювика»...: I — Петер Андерс и его род, II — О́дин *(нем.)*.

** Читающий и любящий *(нем.)*.

71

Кламар, 26-го января 1934 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Вами открываю свой новый блокнот для писем. Приятно та́к обновить вещь — такую вещь.

Спасибо, спасибо, спасибо за чудесное, доброе, мудрое, убедительное, неопровержимое письмо. Гений рода? (У греков демон и гений — одно). Гений нашего рода: женского: моей матери рода — был гений ранней смерти и несчастной любви (разве такая есть?) — нет, не то: брака с не-тем. Моя мать с 13 л⟨ет⟩ любит одного — верховые поездки аллеями ночного парка, дедово имение «Ясенки», где я никогда не была и мимо которого проезжала, уезжая из России — совместная музыка, страсть к стихам. Мой дед, узнав, что он разведенный, запрещает ей выходить за него замуж, а по ее совершеннолетии разрешает с предупреждением, что она и дети, если будут, — да, ее же муж — никогда не будет для него существовать. Моя мать *не выходит,* выходит год спустя за моего отца: вдовца, только что потерявшего обожаемую жену, с двумя детьми, 8-летней девочкой и годовалым мальчиком — в апреле 1933 г., т. е. 10 мес⟨яцев⟩ тому назад в Москве умершим моим единственным братом (полубратом) Андреем. Выходит, любя *того,* выходит, чтобы *помочь.* Мой отец (44 года — 22 года) женится, чтобы дать детям мать. Любит — ту. Моя мать умирает 35 лет от туберкулеза.

Ее мать, Мария Лукинична Бернацкая, моя бабушка, выходит замуж за ее отца (моего деда, того, кто *не разрешил)* любя другого и умирает 24 лет, оставляя полугодовалую дочь — мою мать. (Фамилия моего деда — Meyn, Александр Данилович, — была и сербская кровь. Из остзейских обрусевших немцев.)

Мать моей польской бабушки — графиня Мария Ледоховская умирает 24 л⟨ет⟩, оставив семь детей (вышла замуж 16-ти). Не сомневаюсь, что любила другого.

Я — четвертая в роду и в ряду, и несмотря на то, что вышла замуж по любви и *уже* пережила их всех — *тот* гений рода — на мне.

Я в этом женском роду — последняя. Аля — целиком в женскую линию эфроновской семьи, вышла родной сестрой Сережиным сестрам... (пр. 3 с.) Женская линия может возобновиться на дочери Мура, я еще раз могу воскреснуть, еще раз — вынырнуть. Я, значит — те. Все те Марии, из которых я единственная — Марина. Но корень тот же... (пр. 121 с.).

В следующий раз напишу Вам про две смерти: Андрея Белого и одного друга, покончившего с собой в новогоднюю ночь в Брюсселе[1].

Остался чемодан рукописей, которые никому кроме меня не нужны. Он был — настоящий писатель… (пр. 17 с.)

72

Кламар, 2-го февраля 1934 г.

Дорогая и милая Анна Антоновна,

Не знаю, чудо, или случай, или Ваша любящая мысль — но Ваша чудная книга пришла как раз вчера[1]: в день Муриного рождения: девятилетия (1-го февраля), в такую же снежную бурю, как девять лет назад, когда тоже чуть ли не сносило крыши — в Париже вчера *сносило,* и С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ чуть не был убит огромной железной трубой с крыши семиэтажного дома, упавшей меньше чем на сантиметр от него: пролетевшей по пальто и замазавшей его ржавчиной. Прохожие кинулись к нему, думая, что убит.

Такая же история была с моим отцом, давно, в Москве, в оттепель: на неучтимом расстоянии от него, прямо за ним свалилась и разбилась огромная ледяная глыба. И встречный татарин — философ и князь, как все восточные:

— Счастлив твой Бог, барин!

Книга лежит рядом с моим изголовьем, смотрю на нее с вожделением, но не читаю, потому что сначала должна кончить «Квентина Дорварда» Вальтера Скотта, которого купила для Мура и читаю с восхищением сама. Помните ли Вы его? Людовик XI (франц⟨узский⟩ Иоанн Грозный), такой же притягательный и отталкивающий, страшный и несчастный, человечески безумный и государственно-мудрый, как наш царь — и молодой боевой горячий великодушный и великолепный шотландец, сам Квентин.

Такая книга не «литература», а — деяние.

Будет случай — перечтите!

А вот Вам мой чудный Мур — хорош? Во всяком случае — похож. И более похож на Наполеоновского сына, чем сам Наполеоновский сын. Я это знала с его трех месяцев: нужно уметь читать черты. А в ответ на его 6-месячную карточку — Борис

Пастернак—мне: «Всё гляжу и гляжу на твоего *наполеонида»*. С 11 лет я люблю Наполеона, в нем (и его сыне) всё мое детство и отрочество и юность—и так шло и жило́ во мне не ослабевая, и с этим—умру. Не могу равнодушно видеть его имени. И вот—*его лицо* в Мурином. Странно? Или не странно, как всякое органическое чудо. Знаете ли Вы гениальную книгу о нем Эмиля Людвига?[2] Единственную его гениальную, даже не понимаю, как он ее написал—принимая во внимание все блистательные, но не гениальные—*лучшую* книгу о Наполеоне, а я читала—всё.

Почему мы с Вами не вместе?? Мы бы с Вами ввек всего не переговорили, а с остальными, почти со всеми—мне так скучно, и им со мной!

Всё время ловлю себя на мысли: что у меня есть такого приятного? Какая-то радость... И, вдруг: А-а! Dixelius!

У меня даже чувство, что Вы—ее написали, так и буду читать.

Очень прошу Вас, милая Анна Антоновна, достаньте Совр⟨еменные⟩ Записки, только что вышедшие, и прочтите мой «Дом у Старого Пимена»,—мне очень хочется знать Ваше подробное и непосредственное впечатление. Я совсем не знаю, что это за вещь: я слишком много *вписала* в строки... (пр. 8 с.)

73

Кламар, 9-го апреля 1934 г.

(пр. 19 с.) ...Писала ли я Вам, что мой вечер Белого[1] (простое чтение о нем) прошел при переполненном зале с единым, переполненным сердцем. Возможно, что вещь пойдет в Совр⟨еменных⟩ Записках, уже сдана на просмотр.

Читаю сейчас замечательного вересаевского Гоголя—*Гоголь в жизни*[2],—только документы современников, живые голоса. Огромный исчерпывающий трагический том. Если бы я выиграла в Нац⟨иональной⟩ Лотерее хотя бы 200 фр⟨анков⟩ (билета у меня нет!) то мгновенно подарила бы Вам эту книгу. Есть ли она в Праге? Такую бы хорошо увезти на лето, на все три летних месяца, прожить их с Гоголем... (пр. 5 с.)

74

Кламар, 26-го мая 1934 г.

(пр. 54 с.) ...Человечность через брак или любовь,—через *другого*—и непременно—*его*—для меня *не в цене*. Согласны ли Вы со мной? Ведь иначе выходит, что та́к, какая-то половинка,

летейская тень, жаждущая воплощения... А Сельма Лагерлёф *никогда* не вышедшая замуж? А — Вы? А я, пяти, пятнадцати лет? Брак и любовь личность скорее разрушают, это испытание. Так думали и Гёте и Толстой. А ранний брак (как у меня) вообще катастрофа, удар на всю жизнь. Я в такое лечение не верю... (пр. 31 с.)

...Пока я *жива* — ему (Муру) должно быть *хорошо,* а хорошо — прежде всего — жив и здоров. Вот мое, по мне, самое разумное решение, и даже не решение — мой простой инстинкт: его — сохранения. Ответьте мне на это, дорогая Анна Антоновна, п. ч. мои проводы в школу и прогулки с ним (час утром, два — после обеда) считают *сумасшествием...* Дайте мне сад — или хорошую, мне, замену — либо оставьте меня в покое. Никто ведь не судит богатых, у которых няньки и бонны, или *счастливых,* у кого — бабушки, почему же *меня* судят? А судят все — кроме А. И. Андреевой (помните ее? как она танцевала на вшенорском вокзале, от радости, что — хорошая погода??), которая меня по-настоящему любит и понимает и которую судят — *все.* У нее четверо детей, и вот их судьба: старшая (не-андреевская) еще в Праге вышла замуж за студента-инженера и музыканта. И вот А⟨нна⟩ А⟨ндреева⟩ уже больше года содержит всю их семью (трое) ибо он работы найти не может, а дочь ничего не умеет. Второй — Савва[1] танцует в балете Иды Рубинштейн[2] и весь заработок отдает матери. Третья — Вера[3] (красотка!) служит прислугой и кормит самоё себя, — А⟨нна⟩ А⟨ндреева⟩ дала ей все возможности учиться, выйти в люди — *не захотела,* а сейчас ей уже 25 лет. Четвертый — Валентин[4], тоже не захотевший и тоже по своей собственной воле служит швейцаром в каком-то клубе — и в отчаянии. Сама А⟨нна⟩ А⟨ндреева⟩ держит *чайную* при балете Иды Рубинштейн и невероятным трудом зарабатывает 20 — 25 фр⟨анков⟩ в день, на которые и содержит своих — себя и ту безработную семью. Живут они в Кламаре, с вечера она печет пирожки, жарит до 1 ч. ночи котлеты, утром везет все это в Париж и весь день торгует по дешевке в крохотном загоне при студии Рубинштейн, кипятит несчетное число чайников на примусе, непрерывно моет посуду, в 11 ч. — пол, и домой — жарить и печь на завтра... (пр. 4 с.)

...Сдала в журнал «Встречи» маленькую вещь, 5 печатных стр⟨аниц⟩ — Хлыстовки[5]. (Кусочек моего раннего детства в гор⟨оде⟩ Тарусе, хлыстовском гнезде.) Большого ничего не пишу, Белого написала только потому, что у Мура и Али была корь, и у меня было *время.* Стихов моих нигде не берут, пишу мало — и без всякой надежды, что когда-нибудь увидят свет. Живу, как

в монастыре или крепости — только без *величия* того и другого. Так одиноко и подневольно никогда не жила.

В *ужасе* от будущей войны (говорят — неминуемой: Россия — Япония), лучше умереть... (пр. 8 с.).

75

Elancourt, par Trappes (S. et O.)
chez M-me Breton
24-го августа 1934 г.

(пр. 4 с.) ...В деревне мы с Муром уже с 31-го июля, недалеко от Парижа (вторая станция за Версалем), но настоящая деревня, — редкому дому меньше 200 лет и возле каждого — прудок с утками... (пр. 8 с.) Часть мебели привезли, часть дружески дали местные русские — муж и жена — цветоводы. Местность вроде чешских Иловищ — только Иловищи — лучше — должно быть оттого, что — выше. Но мы, по старой памяти, всё-таки ухитрились поселиться на холму. С собой взяла Kristin Laurinstochter*, к⟨отор⟩ую перечитываю каждое лето, — вот уже пятый раз. Т. е. пятый раз живу ее жизнь. Второй том — с Вашей надписью, — помните? Значит и Вас взяла с собой в Elancourt — в русск⟨ом⟩ переводе *олень* (старинное *елень)* бежит.

Была у меня здесь в гостях мой — уже старый: 10 лет! — и верный друг, А. И. Андреева, наслаждалась простором и покоем. Ее сын Савва, к⟨оторо⟩му уже 25, а Але осенью будет 21 год! — принят в Casino de Paris — послужила ему его обезьянья лазьба по вшенорским деревьям! — танцор, и танцор замечательный. А весь облик — облик Парсифаля[1]: невинность, доверчивость, высокий лад, соединенный с полным дикарством... (пр. 3 с.)

...Аля нá море, учит по-франц⟨узски⟩ целое семейство (бабушку включая), нем⟨ецко⟩-еврейских эмигрантов. 150 фр⟨анков⟩ в месяц, но — море! И хороший корм (семья ест весь день), и добродушное отношение... (пр. 9 с.)

...Читали ли новую вещь Унсед: Anna-Elisabeth?[2] И, если да, — что это? Какое время? (С огорчением:) — неужели наше? Где происходит вещь? В какой стране? (С огорчением:) — Неужели не в Норвегии? Непременно напишите: той же *силы* вещь, или слабее, или, вообще, иное? Жажду знать... (пр. 10 с.)

* Кристин, дочь Лавранса *(нем.).*

76

Vanves (Seine)
33, Rue Jean-Baptiste Potin
24-го октября 1934 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Знаете, что с нашего расставания 1-го ноября будет уже — 9 лет? А тогда Муру было — день в день — *д-е-в-я-т-ь месяцев.* Правда, жуть? И эта жуть — жизнь.

Wenn die Noth am höchsten ist, so ist Gott am nächsten*: вчера мы совершенно погибали от безденежья: в доме ничего не было (как мышь — всё приели), а денег — никаких, ибо только что (15-го) выплатили терм. И вдруг — Ваша присылка! Я почувствовала себя Ротшильдом, или гамбургским банкиром Bleichröder'ом, в семье которого Аля, этим летом, за 150 фр⟨анков⟩ в месяц обучала французскому — и всему, мытьё ушей включая — троих детей и их 80-летнюю бабушку, главную банкиршу (ее — только французскому).

Как видите, с фермы вернулись. Мур ходит в школу, Аля пока дома... (пр. 1 с.)

Мы живем в чудном 200-летнем каменном доме, почти — развалина, но надеюсь, что на наш век хватит! — в чудном месте, на чудной каштановой улице, у меня чу-удная большая комната с двумя окнами и, в одном из них, огромным каштаном, сейчас желтым, как вечное солнце. Это — моя главная радость.

Пишу очередную главу своего детства «Черт»[1]. Думаю, что после нее эмиграция от меня совсем *открестится,* хотя бы из-за своего глубокого *лицемерия* и самого поверхностного *ханжества.*

Здесь все стали «святые», а как мало настоящей человечности!

Очень хочу, чтобы Вы прочли моего «Китайца»[2] — 24-го октября, среда, Последние Новости... (пр. 4. с.)

77

Ванв, 21-го ноября 1934 г.

(пр. 119 с.) ...Мне все эти дни хочется написать свое завещание. Мне вообще хотелось бы не-быть. Иду с Муром или без Мура, в школу или за молоком — и изнутри, сами собой — слова

* Когда нужда достигает предела, Бог всего ближе *(нем.).*

завещания. Не вещественного — у меня ничего нет — а что-то, что мне нужно, чтобы люди обо мне знали: *разъяснение*. Свести *счеты*, хотя Маяковский и сказал:

Кончена жизнь — и не к чему перечень
Взаимных бол́ей, и ран, и обид...[1]

Я дожила до сорока лет и у меня не было человека, который бы меня любил больше всего на свете. *Это* я бы хотела выяснить. У меня не было *верного* человека. Почему? У *всех* есть. И еще — благодарность тем, кто мне помогали жить: Вам, А. И. Андреевой и Борису Пастернаку. Больше у меня не было никого.

Подымаю глаза, совершенно горящие от слез (целые дни!) и сквозь слезную завесу вижу лицо Сигрид Унсет из серебряной рамки: недоумевающее, укоризненное, не узнающее (меня). А рядом — Рильке, под веткой боярышника, а м. б. терновника (острые листы с шипами и красные ягоды), которую я подобрала на улице. Но Р⟨ильке⟩ отвернулся, смотрит вдаль, слушает — даль (это его последняя карточка, маленькая, любительская — снимала его русская секретарша и сиделка). Он на балконе: весна: еще черные ветки, он с наставленным, как у собаки, ухом стоит и слушает.

Внизу, как раз под моей комнатой, русская семья: старушка 81 года, помнящая Аделину Патти[2]. Красивая, серебряноседая, изящная. И вот нынче слышу: *навзрыд* плачет. У нее две внучки, двадцати лет, когда бабушка роняет вещь — ни одна не двигается, а говорит — прерывают или смеются. Старушка весь день бегает вверх и вниз по лестнице, п. ч. кухня внизу, а едят наверху. Готовит на семь человек, одна моет посуду. А внучки лежат на кроватях и — мечтают. Или негодуют на нищенскую жизнь. Бабушка тихо угасает, скромно. Понесла кому-то пирог — нечем дышать. «А воздух свежий. Значит — сердце». Я *вдвое* моложе ее (как вдвое старше Али и вчетверо — Мура). Вчера я принесла ей свой граммофон с лучшими пластинками, — как она блаженствовала! Но внук у нее — чудный, красавец, как она, — двадцать пять лет. Между нами — 15 лет — и начало дружбы, из которой конечно ничего не выйдет, — он боится моей «славы», а я его молодости. Так и пройдем мимо. Но приятно — когда в глазах — восторг. Бываю я у них, именно потому что — соседи — редко, раз в две недели, но всегда отдыхаю душевно — от бабушки и от внука. Почему людям нельзя сказать что их любишь?.. (пр. 3 с.)

...Боюсь — глаза пропадут. А сердце — уже пропадает: я, рожденный *ходок*, стала задыхаться на ровном месте, и с каждым днем хуже. Жаль сердца — хорошо служило.

Сейчас лягу,

> Und schlafen möcht ich, schlafen
> Bis meine Zeit herum!*[3]

Обнимаю Вас. *МЦ.*

Я отчасти и из-за бабушки плачу: из-за ее слез, — от всех вместе.

У меня еще одно горе, — не горе: *обида, дико*-незаслуженная![4] Но о ней в другой раз.

78

Ванв, 27-го декабря 1934 г.

(пр. 14 с.) ...А вот другое горе: мое. Чистое и острое как алмаз.

21-го ноября погиб под метро юноша — Николай Гронский. Он любил меня первую, а я его — последним. Это длилось год. Потом началось — неизбежное при моей несвободе — расхождение *жизней,* а весной 1931 г. и совсем разошлись: нáглухо. За все три года я его видела только раз, в поезде, — позвала — не пришел. (Позвала «заходить» и он, не поняв словесного прикрытия, оскорбился.) И вдруг, 21-го ноября утром в газете...

— Но это не все. Юноша оказался *большим* поэтом. Вот его вещь, — мой грустный подарок Вам на Новый Год. Он и при мне (18, 19 лет!) писал стихи и были прекрасные строки, и я все спрашивала его, верней — себя: — Будешь ли ты — или нет — поэтом? И вот, расставшись, *стал.* Сохранилась вся наша переписка (лето 1928 г.) — целое Briefbuch**[1]. Он писал мне из Bellevue (под Парижем, где и мы жили первый год) в Pontaillac на океан. Он должен был ко мне приехать, но придя перед поездом проститься с родителями, застал разъяснение: мать уходила от отца. Поставив чемодан у двери, вступил в «беседу» — третьим, — и сразу скажу, что чемодан этот 6 ч. спустя унес обратно на свой чердак, где жил, т. е. остался — чтобы мать осталась — и никогда ко мне не приехал — и *никогда* уже не увидел Океана. А мать, 6 мес⟨яцев⟩ спустя (он заработал по месяцу на чек!) все равно ушла, и жертва была — зря. Все это сохранилось в его и моих письмах. Он подарил мне свой детский крестильный крестик,

* И спать я хотела бы, спать//До того, как придет мой час! *(нем.)*

** Книга писем *(нем.).*

на котором «Спаси и сохрани». — «Я всё думал, что Вам подарить. И вдруг — понял: ведь бо́льше этого — нет. А пока Вы со мной — я уже спасен и сохранен». Я надела ему — свой, в нем он и похоронен, — на новом медонском кладбище, совсем в лесу: был лес, огородили — и всё. Там он и лежит с 26-го ноября (вчера как раз был месяц!) под стражей деревьев, входящих в кладбище, как домой. Сколько раз мы мимо него ходили!

9-го дек⟨абря⟩ появилась его поэма Белла-Донна (савойская горная цепь), я написала о ней «статью»[2], и вот, просьба: не могли бы Вы, дорогая Анна Антоновна, ее перевести и поместить в Чехии? Статья небольшая: на полтора газетных фельетона. Если бы была надежда, я ее бы Вам переписала и послала, но это все-таки полных два дня работы, так что — без надежды — трудно приняться. Может быть пойдет в Посл⟨едних⟩ Нов⟨остях⟩. Статья интересная, ибо касается *всей* поэзии и, главным образом, отвечает на вопрос о языке, среде, почве, *корнях* ПОЭТА. Это — первый поэт, возникший в эмиграции. Первый *настоящий* поэт. Вы это сами увидите.

После него осталось 500 рукописных страниц стихов: много больших поэм (знаю, пока, только одну) и драматическая вещь «Спиноза». Через несколько месяцев выйдет первая книга, стран⟨иц⟩ на 130. Издает — отец. Отец его один из редакторов «Посл⟨едних⟩ Новостей».

Да, он был необычайно красив: как цветок.

У меня осталось к нему несколько стихотворений. Вот одно (1928 г., весна)

Лес! Сплошная маслобойня
Света: быстрое, рябое,
Бьющееся без забрал...
Погляди, как в час прибоя
Лес играет сам с собою!
— Так и ты со мной играл.

Не показывайте никому.

Жду отзыва на поэму. Обнимаю и люблю. *МЦ.*

А поэму непременно покажите Бему. Я бы хотела, чтобы он о ней сказал в печати — это все, что осталось у родителей: посмертная слава сына. Объясните ему, ибо если не понравится, пусть лучше не пишет. Это мой настоящий духовный выкормыш, которым я — горжусь.

Правда, какое бездарное предисловие Адамовича?[3]

А *мне* написать — не дали.

79

Ванв, 24-го января 1935 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Ваше письмо я прочла матери Гронского, в ее огромной и бедной студии (она — скульптор), где из стеклянного шкафчика глядит ее сын — то десятилетним фавнёнком (острые ушки!), то 16-летним почти-собой, и последняя скульптура — статуэтка во весь рост: сидит с чуть наклоненной головой, руки в карманах, нога-нá-ногу, — вот-вот встанет: сидение, как бы сказать, на отлете, дано ровно то мгновение до-приподымания. Вещь меньше, чем в 1/2 метра: как в обратную сторону бинокля... (пр. 9 с.)

...Счастлива, что так отозвались на поэму Н⟨иколая⟩ П⟨авловича⟩. 21-го с его смерти было 2 месяца, я случайно оказалась в этот вечер у его матери (мать и отец живут врозь) и слезла на том самом метро Pasteur, где он погиб. Долго смотрела — спрашивала.

Совсем не знаю, возьмут ли Посл⟨едние⟩ Нов⟨ости⟩ мой «Посмертный подарок»[1]. Вещь, разрубленная пополам и подписанная мною под ровно 300-ой строкой, чуть ли не посреди фразы, валяется. За 4 месяца не напечатали *ни одной* моей строки... (пр. 14 с.)

80

Ванв, 18-го февраля 1935 г.

(пр. 6 с.) ...Читала статью Бема в Мече[1]. Хорошо. Всерьез — не только к автору и к поэме, но и к *стиху* (пр. 5 с.)

2-го числа было мое чтение о Блоке, совместное с Ходасевичем[2]. Я — «Моя встреча с Блоком», он — «Блок и его мать». (Пишу себя первой — п. ч. читала первой)... (пр. 69 с.)

...Начала было — точно уже в ответ на Ваше письмо — приводить в порядок все свои стихи после «После-России», — их много, но почти нет дописанных: не успевала... (пр. 1 с.) Но ничего: постараюсь. Это — нужно сделать, чтобы хоть чтó-нибудь — от *этих лет* — осталось... (пр. 1 с.)

Сделаю.

Ибо — никто из нас не знает — *когда.*

П. П. Гронский в восторге от статьи А⟨льфреда⟩ Л⟨юдвиговича⟩ о Белла-Донне. Передайте, пожалуйста. Он, прямо — сиял. Матери, после чтения, еще не видела. Она всё хворает.

...Мне очень нравится — о сложности, которая *несложность*. Тонко и точно. Я, в конце концов, человек элементарный, люблю самые простые вещи. Сложна я была только в *любовной* любви, да и то — если *гордость* — сложность. (По мне — сама простота. Но дает — *сложные* результаты.)

Да и Пруст — прост. И Рильке. — Утверждаю.

А. И. Андреева переписала мне мое о Гронском на машинке, — только нужно вставить К (эта буква — выпала). Засяду, сделаю, пришлю.

Посл〈едние〉 Нов〈ости〉 вчера 17-го, воскр〈есенье〉, наконец напечатали мою Сказку матери[3], сократив и исказив до неузнаваемости. Сокращено в сорока местах, из к〈отор〉ых — в 25-ти — среди фразы. Просто — изъяты эпитеты, придаточные предложения, и т. д. Без спросу. Даже — с запретом, ибо я сократить рукопись — отказалась. Потому и лежала 3 месяца. И вдруг — *без меня*. Я, читая, — *плакала*. Пришлю Вам и Посл〈едние〉 Нов〈ости〉 — *и свое*.

Расскажите Бему. Сделал это негласный редактор П〈оследних〉 Нов〈остей〉 — Демидов[4]. М. б. Бем его знает.

Книжку Белла-Донна? Было бы — чудно. Но надо запросить отца — он собирается издавать книгу стихов, но, кажется, одних стихов — без поэм. Запрошу его — в виде отдаленного плана — при встрече... (пр. 3 с.)

81

Ванв, 23-го февраля 1935 г.

Дорогая Анна Антоновна! Вчера тщетно прождала весь вечер А. Головину[1], к〈отор〉ая сама попросила придти ко мне вторично, чтобы прочитать свои стихи.

Мое впечатление? Совсем не очарована. Ни малейшего своеобразия, — чистейший литературный тип. И интересы только литературные. За весь вечер — ни одного *своего* слова, — чужие умные. Скучно! — Кроме того, каждые пять — для честности: десять минут — вынимала зеркало и пудрила нос, с напряженным вниманием вглядываясь, точно не ее (нос). Так же часто и peinlich* расчесывалась, прижимая волосы к ушам. Ничего личного — от нее ко мне, ни от меня к ней — я не почувствовала. Передо мной сидела литературная барышня (хотя она и «дама»), перед

* Педантично *(нем.)*.

нею — усталая, загнанная, заработавшаяся, совсем не литературная — я. Я перед ней себя чувствовала *начинающей,* — нет никогда и не начавшей! (Поймите — *о чем* я говорю: о причастности к литературной среде.) Она очень бойкая — все находит, всюду проникает, никого и ничего не смущается. Ни сло́ва (мне — всё равно, но характерно для нее) не спросила о *моем* писании, — все время о себе: напр⟨имер⟩ стоит ли ей писать прозу. (Откуда я знаю?? Я — никого не спрашивала — и 6-ти лет.) Полная литературная поглощенность собой. — Что́ мне с этим делать? — Намеревалась идти к Ходасевичу советоваться с ним о своих писаниях. Ну, он пожёстче, помэтристее (maître) — меня, я — что́? могу только сказать — как я́ пишу, и совсем не возвожу этого в закон. Я — литературно — бесконечно, бездонно-невинна, — точно никогда и не писала... (пр. 1 с.).

...Я просила ее придти в четверг, чтобы познакомить ее с отцом Гронского (думала — о Вас), к⟨отор⟩ый должен был принести фотографии сына. Хотела, чтобы она рассказала, как понравилась поэма в Праге — он этим живет... (пр. 1 с.) Пришла в среду... (пр. 7 с.)

...Мой вывод: до чужой души мне всегда есть дело, а до чужой литературы — никогда. Ко мне надо — с душой и за душой, все остальное — тщетно... (пр. 3 с.)

А вот стихи Н. П. Гронского — мне — тогда — (1928 г.) — которых он мне никогда не показал:

Из глубины морей поднявшееся имя,
Возлюбленное мной — как церковь на дне моря,
С Тобою быть хочу во сне — на дне хранимым
В глубинных недрах Твоего простора.

Так, веки затворив, века́ на дне песчаном,
Ушед в просторный сон с собором черным,
Я буду повторять во сне «осанна!»
И ангелы морей мне будут вторить хором.

Когда же в день Суда, по слову Иоанна,
Совьется небо, обратившись в свиток,
И встанут мертвые, я буду говорить «осанна»
Оставленный на дне — и в день Суда — забытый[2].

Bellevue 1928 г.

Осанна = спасение
(Его пометка)

Отец сидел и читал письма (его — ко мне), я сидела и читала его скромную черную клеенчатую книжку со стихами... Отец

часто смеялся — когда читал про кошку — нашу, оставленную ему, когда уезжали на море и которую он от блох вымыл бензином — и что потом было — и еще разное, бытовое 〈...〉 Хочу (как в воду прыгают!) дать ему и свои письма — к нему. Пусть знает ту, которую любил его сын — и то, как *эта та* его любила. Матери бы я не дала (ревность).

...Говорили об издании стихов. Всего будет 3 тома. I — поэмы, Спиноза (драматическое) и немного стихов. II т〈ом〉 — то, что он называет Лирика. III т〈ом〉 — проза (к〈отор〉ую я совсем не знаю, только письма). А лучший том — когда-нибудь — будет наша переписка, — *Письма того лета.* Этим летом непременно (огромная работа!) перепишу их в отдельную тетрадь, его и мои, подряд, как писались и получались. Потом умолю Андрееву переписать на машинке и — один экз〈емпляр〉 отцу, один экз〈емпляр〉 — Вам. Самые невинные и, м. б. самые огненные из всех Lettres d'amour*. Говорю об этом спокойно, ибо — *уже та́к давно,* и один из писавших — в земле...

Самое странное, что тетрадь полна посвящений В. Д. (его невесте, к〈отор〉ая вышла замуж за другого) — посвящений 1928 г., когда он любил — только меня. Но так как буквы — другим чернилом, он очевидно посвятил ей — ряд написанных мне, а мне оставил только это — непереепосвяти́мое — из-за имени. (Марина: море).

Напр〈имер〉 — рядом с этим, т. е. в те же дни — посвященные В. Д. стихи о *крылатой и безрукой* женщине[3]. Прочтя сразу поняла, что *мне,* ибо всю нашу дружбу ходила в темно-синем плаще: крылатом и безруком. А тогда — никакой моды не было, и никто не ходил, я одна ходила — и меня на рынке еще принимали за сестру милосердия. И он постоянно снимал меня в нем. И страшно его любил. А его невеста — видала карточку — модная: очень нарядная и эффектная барышня. И никакого бы плаща не надела — раз не носят. Когда прочтете переписку, поймете почему двоелюбие в нем — немыслимо. Очевидно — с досады, разошедшись со мной. Или ей — как подарок... (пр. 20 с.)

82

Ванв, 12-го марта 1935 г.

(пр. 17 с.) ...Не везет моему Гронскому. Вот мое письмо к литературному хозяину Посл〈едних〉 Нов〈остей〉, некоему Игорю Платоновичу Демидову, ничем не соответствующему

---

* Писем любви *(фр.).*

благородному звучанию своего имени (NB! вдобавок — потомок Петра, по боковой линии[1] — из себя — огромный скелет с губами упыря).

— Многоуважаемый И⟨горь⟩ П⟨латонович⟩.

Прошу считать мою рукопись о поэме Н. Гронского «Белла-Донна» — *Посмертный подарок,* пролежавшую в редакции Посл⟨едних⟩ Новостей больше трех месяцев в ожидании «очереди» — аннулированной.

Подпись.

(пр. 71 с.) ...Решила свою рукопись о Гронском — расширенную и углубленную — читать на отдельном вечере его памяти. М. б. (сомневаюсь) возьмут «Совр⟨еменные⟩ Записки» — для через следующей книги. Либо — в сербский «Русский Архив». Жаль, что не пойдет по-русски... (пр. 8 с.)

83

Ванв, 23-го апреля 1935 г.

(пр. 8 с.) ...Должно быть Вы, как я, любите только свое детство: то, что было тогда. Ничего, пришедшего после, я не полюбила. Так, моя «техника» кончается часами и поездами. (NB! Со светящимся циферблатом, очень удобных, но еще более — страшных, не выношу. На автомобили, самые «аэродинамичные», смотрю с отвращением и т. д.). Даже — такая деталь: почему-то у меня *никогда,* ни на одной квартире, в коридоре нет света. И вдруг, недавно, поняла: — Господи, да у нас в Трехпрудном[1] был темный коридор, и я еще всегда глаза зажимала, чтобы еще темней... Ведь это я — восстанавливаю.

И жажда деревьев в окне — оттуда, где в каждое окно входил весь зеленый двор, — огромный как луг, настоящий Hof — феодальный: с сараями, флигелями, голубятней, и, еще, постепенностью каких-то деревьев сзади, не наших, чьих-то, ничьих, кончавшихся зеленоватым рассветным небом, и о которых я никогда не узнала — *где.*

Как бы я написала свое детство (до-семилетие) если бы мне — дали.

Был мой вечер Гронского[2]. Я за два дня лишилась голоса (глубокая горловая простуда), но отменить уже нельзя было — зал был снят за 2 недели, даны объявления и т. д. И вот, прошептав два дня, в вечер третьего — прочла, громко. Сама удивилась, но чему-то в себе верила: не подведет. Зал был небольшой, но полный. Было много стариков и старушек. Был Деникин[3], с к⟨отор⟩ым Н⟨иколай⟩ П⟨авлович⟩ дружил — сначала в Савойе, потом в жизни. Слушали внимательно, но вещь местами

не доходила. Аудитория была *проста,* я же говорила изнутри поэмы и *стихотворчества.* А им хотелось больше о нем… Родители отнеслись сдержанно… (пр. 5 с.) Я рассматривала Гронского как готового поэта и смело называла его имя с Багрицким[4] и другими… Им это м. б. было чуждо, они сына — не узнали. Кончилось тем, что сюрпризом отдала две его карточки — впервые отпечатать и увеличить, — подарок на Пасху. Величиной с этот лист. Одну из них, самую лучшую, посылаю. Я знала его — моложе, мягче, с более *льющимся* лицом, менее твердым. Я знала его — между Jüngling и Mädchen*, еще — душою. Мой он — другой. Это — их — всех.

Но знаете, жуткая вещь: все его последующие вещи — несравненно слабее, есть даже совсем подражательные. Чем дальше (по времени от меня) — тем хуже. И этого родители не понимают. (Они, вообще, не понимают стихов.) Приносят мне какие-то ложно-«поэтические» вещи и восхищаются. И я тоже — поскольку мне удается *ложь.* Какие-то поющие Музы, слащавые «угодники», подблоковские татары. — Жаль. — О его книге навряд ли смогу написать[5]. Боюсь — это был поэт — одной вещи. (А может быть — одной любви. А может быть — просто — медиум.) Я не все читала — отец не выпускает тетрадь из рук — но то, что читала, — *не нравится.* Нет *силы.* Убеждена, что Белла-Донна лучшая вещь. Бему об этом ни слова: 1. не хочу, волей-неволей, влиять на его оценку 2. боюсь испортить его отзыв о будущей книге (появится в июне) и этим огорчить родителей 3. любопытно — проверить.

— Теперь Вы знаете героя Белла-Донны — спасшегося, чтобы затем погибнуть. Напишите — таким ли Вы его видели по стихам. Эту же карточку родители получат в величину с этот лист, и еще другую, где он у одного из трех озер Белла-Донны. Пасхальный подарок.

Все никак не соберусь выслать «Посмертный подарок», — сколько мелких дел! Но это Вы знаете… (пр. 2 с.)

Покажите карточку Бему… (пр. 4 с.)

84

La Favière par Bormes (Var)
Villa Wrangel
2-го июля 1935 г.

Дорогая А⟨нна⟩ А⟨нтоновна⟩! Вкратце: перед самым концом блистательного учебного года и за 2 недели до нашего train de vacances** — на юг (вместо 400 фр⟨анков⟩ — 215 фр⟨анков⟩ в оба

* Юношей и девушкой *(нем.).*
** Каникулярного поезда *(фр.).*

конца) — у Мура стал побаливать живот: — аппендицит — немедленная операция. 14-го его оперировали: Алексинский[1], еще российское светило. Пролежал 10 дней в Ville-Juif'ском госпитале (еврей — ни при чем: старинное название пригорода) и на 14-ый день с Божьей и дружеской помощью, выехали с ним — тем самым поездом — на юг.

Нынче морю и югу — четвертый день. Сняли мансарду — просторное, но — пёкло, пёкло — но просторное — и дешевое: чердак баронессы Врангель[2], к⟨отор⟩ая оказалась моей троюродной сестрой: ее отец, писатель-народник (и врач) — поколения Чирикова. — С. Я. Елпатьевский[3] — был двоюродный брат моего отца. Но я — больше взволновалась этим открытием, чем она. (Баронесса она по мужу: не Главнокомандующему[4], а земскому деятелю[5], но — очевидно — одна семья)... (пр. 22 с.)

...Море — блаженное, но после Океана — по чести сказать — скучное. Чуть плещется, — никакого морского *зрелища.* Голубая неподвижность — без событий. Пляж — чудесный: песчаный и дно очень долго — мелкое. Вода — изумительного цвета. Но (Вам — скажу) — скучно. Я плохой пловец, — не моя стихия, а лежать для меня — самый тяжелый труд. С Муром же ходить — нельзя, и долго нельзя будет. А какие вокруг горы! Сосна, лаванда, мирт, белый мрамор. И какие — доступные. Я нынче писала С⟨ергею⟩ Я⟨ковлевичу⟩: здешние горы — Чехия, выигравшая 5 милл⟨ионов⟩ в Нац⟨иональную⟩ Лотер⟨ею⟩, но — Чехия: то же обожаемое мною соединение сосны, камня и суши. (Чехия осталась у меня в памяти как *один синий день.* И одна — *туманная* ночь.)

Наш сад переходит в горку, немножко нынче с Муром побродили, я сразу влюбилась в какой-то куст, оказался — мирт, — посылаю веточку.

О встрече с Пастернаком[6] (*— была —* и какая *невстреча!)* напишу, когда отзоветесь. Сейчас тяжело — и неуверенно, м. б. Вы уже переехали на дачу и письмо не дойдет? Но все же — надеюсь.

— О многом напишу, о чем не могу писать никому. О том, что я — aus dem Spiel, совсем, aus jedem*. Смотрю на нынешних двадцатилетних: себя (и все же — *не себя!)* 20 лет назад, а они на меня — не смотрят, для них я скучная (а м. б. «странная») еще молодая, но уже седая, — значит: немолодая — дама с мальчиком. А м. б. просто не видят — как предмет. Горько — вдруг сразу — выбыть из строя — живых.

Вечера — самое тяжелое. Мур в 9 ч. спит, в мансарде — жарко и крохотная керосиновая лампа, на воле темно и писать нельзя.

---

* Вышла из игры, ... из всякой *(нем.).*

К морю — тоже нельзя. Никуда нельзя. И никого нет. Вокруг русские радостные голоса: — идем? идем! — не забудьте кофточку: свежо! — палку взяли?

И — пошли.

А я хожу — быстрее их!.. (пр. 4 с.)

...Я давно уже выбита из колеи писания. Главное — нет стола, а если бы и был — жара на чердаке тропическая. Но еще главней: *это* (вся я) *никому не нужно.* Это, в лучшем случае, зовется «неврастения». Век меня — миновал. Но об этом — в другой раз. Целую Вас, дорогая Анна Антоновна, и жду быстрой весточки; что — дошло.

МЦ.

85

La Favière, 12-го июля 1935 г.

(пр. 27 с.) ...Живем вторую неделю. Я — томлюсь. Сейчас объясню, и надеюсь Вы меня поймете. Мне вовсе не нужно *такой* красоты, *столькой* красоты: море, горы, мирт, цветущая мимоза и т. д. С меня достаточно — *одного* дерева в окне, или моего вшенорского верескового холма. Такая красота на меня накладывает ответственность — непрерывного восхищения. (Ведь сколько народу, на моем месте, было бы счастливо! *Все.)* Меня эта непрерывность красоты — угнетает. Мне *нечем* отдарить. Я всегда любила скромные вещи: простые и пустые места, которые никому не нравятся, которые *мне* доверяют себя сказать — и меня — я это чувствую — *любят.* А любить — Côte d'Azur* — то же самое, что двадцатилетнего наследника престола, — мне бы и в голову не пришло. (Пришло — Марии Вечéре[1], но тому не было — двадцать лет, было зá тридцать, а ей — семнадцать, и он не был красавцем — и это онá его одаривала!)

...Так же как не могла бы любить премированную собаку, с паспортом высокорожденных дедов и бабок (то, из-за чего обыкновенно и любят!)

Второе: я, из-за Мура, целый день должна сидеть или лежать у моря: на него (море) глядеть: ничего не делать, ибо писать на воле никогда не могла, а читать — это в каком-то смысле — тоже ничего-не-делать.

Третье: у меня здесь никого нет, ни души — для беседы, как у Мура — никого — для игры. Нас русские, явно, бойкотируют.

---

* См. перевод на с. 407.

Никто (а много — знакомых, напр⟨имер⟩ вся семья кн⟨язей⟩ Оболенских) за 2 недели нас ни разу не позвал к себе — хотя бы на террасу, не говоря о том, что — не зашел. М. б. наша явная *бедность,* — не знаю.

С 9 ч. веч⟨ера⟩, уложив Мура, томлюсь. Ведь весь день, либо зажигала примус, либо бессмысленно переливала песок из ладони в ладонь. Сижу в кухне, открыв дверь на лестницу (окна нет), слушаю чужие голоса: кто-то идет нá море, кто-то — в гости, — Бог с ними, конечно, — и не мое это «море», и не мои это «гости» и м. б. я бы первая от всего этого веселья отстранилась: слишком много уж женского визгу и мужского хохоту! — но все-таки, каждый вечер сидеть на кухне, без ни-души...

Купаюсь, но мало: я мало люблю — воду: плохо плаваю и сразу замерзаю. Муру доктора разрешили, сняв бандаж, немножко полоскаться. Но и он скучает: играть не с кем, а он в школе привык к детскому обществу... (пр. 7 с.) И так — каждый день, и не знаю, как я так буду жить до 1-го октября.

Главная беда: у меня нет твердого места для писания: в хорошей комнате, с окном и сосной в нем, спит Мур (днем и с 9 ч. веч⟨ера⟩), а в кухне — нет окна, и вся еда, и лук, и жара от примуса, и стол — непоправимо, целиком расшатанный, на к⟨отор⟩ый гляжу с отвращением, всячески — взглядом — обхожу.

Еще беда, что здесь нет органического населения: чтó я, всегда, так люблю, — ни одного старого дома, ни одной старой стены: только дачи и дачники, не считая нескольких франц⟨узских⟩ ферм, тоже — со вчерашнего дня. Это — эмигрантский поселок в сосновом лесу. Зажиточно-эмигрантский, т. е. буржуазный. (Рядом со мной 2 дачи Милюкова, где никто не живет — и не будет жить.) Мы в этот поселок *не вошли:* здесь все — либо хозяева пансионов, либо пансионеры. Мы — сбоку, на вышке чужого (пока — пустого) дома, — как на маяке... (пр. 10 с.)

⟨К письму приклеен засушенный цветок с надписью⟩ — Цветок олеандра.

86

Фавиер, 11-го августа 1935 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Я недолго жила в Чехии и собственно жила не в Чехии, а на краю деревни, так что жила в чешской *природе,* за порогом культуры, т. е. природы плюс человека, природы плюс народ.

И руку на сердце положа — люблю. Люблю бескорыстно и безответно — как и полагается любить. И — может быть — даже безнадежно, ибо: увижу ли еще когда? (Люди, когда *безнадежно* — перестают любить.) То малое, что я видала от Праги — так далеко живя — навсегда для меня включилось в Märchen meines Lebens*[1], как свою жизнь назвал Андерсен. А Пражский Рыцарь — навеки *мой.*

Еще расскажу Вам: иногда в T. S. F. слышится музыка, от которой у меня сразу падает и взлетает сердце, какая-то повелительно-родная, в которой я *всё* узнаю — хотя слышу в первый раз. И это всегда — Сметана[2]. Вообще — чешское. Так я под прошлое Рождество прослушала целый концерт чешских народных песен — нечаянно попала — и была заворожена.

Ваша русская пианистка (простите!) — бревно, ей бы столбом рояля стоять, а не сидеть за клавиатурой. Народ — *весь* — в пении, а чешский народ *есть* пение, знак равенства.

Но — будьте уверены — Ваши соседи-патриоты и своей Patria** не знают, разве что казачий хор по граммофону и несколько мелких рассказов Чехова. Ибо — знающий Россию, *сущий* — Россия, прежде всего и поверх всего — и самой России — любит *всё, ничего* не боится любить. Это-то и есть Россия: безмерность и бесстрашие *любви.* И если есть тоска по родине — то только по безмерности мест: отсутствию границ. Многими же эмигрантами это подменено ненавистью *к загранице,* тому, что я из России глядя, называю замо́рщиной: за́морьем. Вспомните наши сказки, где *всегда* виноград, которого ни одна баба в глаза не видала. И *всегда* — орел. И всегда — в самых степных местах возникшие — *горы,* да еще свинцовые или железные. — Мечта. —

А вот эти ослы, попав в это за́морье, *ничего* в нем не узнали — и не увидели — и живут, ненавидя Россию (в лучшем случае — *не видя)* и, одновременно, заграницу, в тухлом и затхлом самоварном и блинном прошлом — не историческом, а их личном: чревном: вкусовом: имущественном, — обывательском, за которое — копейки не дам.

Презрение к Чехии есть *хамство.* И больше ничего. Жаль только, что чехам приходится так долго таких гостей терпеть.

Недавно, на пляже — пристает лодка. Трое в купальных костюмах: отец, мать, дочь. (Все молодые.) Слышу родное, но не русское. И вдруг, к своему удивлению, хотя не русское — все понимаю. — Чехи! — (Удивилась, п. ч. не ждала, Фавиер — не курорт: глухой уголок.) Было приятно смотреть как они радова-

---

* Сказку моей жизни *(нем.).*
** Родины *(лат.).*

лись. Вот уж воспользовались «за́морьем»! Ныряли, валялись в песке (как дети, как собаки!) лазили на камни, скакали с них в воду, всё это громко крича и даже визжа и совершенно не думая о зрителях. Потом по команде отца вскочили в лодку и совершенно мокрые, песочные и счастливые—отплыли—поплыли. Больше я их не видала. Очевидно на своей лодке объезжали всю Côte d'Azur. Какой-нибудь чиновник, наверное долго мечтавший и копивший—и ждавший, чтобы дочь кончила школу... (пр. 10 с.)

...В следующий раз напишу о короткой и прелестной встрече с русской швейцаркой[3], д⟨окто⟩ром Базельского Университета, которая мне напомнила Вас... (пр. 7 с.)

87

Ванв, 30-го сентября 1935 г.

(пр. 1 с.) ...Ваше письмо в Фавьере получила последним,—прямо в последнюю минуту, так что читала его уже в вагоне.

Переезд был трудный и сложный,—я с 18 лет путешествую с кастрюлями (дети!)—но море до последней минуты было блаженно-синим, и часть моей души—надолго там.

Итог лета: ряд приятных знакомств (приятельств) и одна дружба—с молодым русским немцем—в типе Даля[1], большим и скромным филологом,—о нем был отзыв в последней книге Совр⟨еменных⟩ Записок: специалист по русскому языку XVI в. с странной фамилией (Унгеб)—вот и ошиблась: Унбегаун...[2] (пр. 4 с.)

...Итог другого лета—не людского—три пробковых пояса из таких вот ⟨*нарисованы два концентрических кружка*⟩ круглых аккуратных пробочек от сетей, морем выброшенных и мною подобранных, и благодаря им—полная свобода в воде—как на земле, свобода в страшной для меня стихии воды. Могу сказать, что плавала даже не *в море,* а *над морем* (я очень мало вешу, так что пояса меня выносили)—вроде хождения по водам. И целые связки эвкалипта, мирта, лаванды. И еще итог—несколько стихов: немного, и половина поэмы (о *певице:* себе)[3]—чудный мулатский загар, вроде нашего крымского. Люди думают, что я «помолодела»,—не помолодела, а просто—вымылась и, на 40—50-градусном солнце—высушилась. Много снимали, но проявлять будем здесь—там было втридорога. Непременно пришлю карточки,—и свою... (пр. 30 с.)

88

Ванв, 28-го декабря 1935 г.

(пр. 44 с.) ...Мур живет разорванным между моим гуманизмом и почти что фанатизмом — отца... (пр. 4 с.) Очень серьезен. Ум — острый, но трезвый: *римский*. Любит и волшебное, но — как гость.

По типу — деятель, а не созерцатель, хотя для деятеля — уже и сейчас умен. Читает и рисует — неподвижно — часами, с тем самым *умным* чешским лбом. На лоб — вся надежда.

Менее всего развит — душевно: не знает *тоски*, совсем не понимает.

Лоб — сердце — и потом уже — душа: «нормальная» душа десятилетнего ребенка, т. е. — зачаток. (К сердцу — отношу любовь к родителям, жалость к животным, все элементарное. — К душе — все беспричинное болевое.)

Художественен. Отмечает красивое — в природе и везде. Но — не пронзён. (Пронзён = душа. Ибо душа = боль + всё другое.)

Меня любит как свою вещь. И уже — понемножку — начинает ценить... (пр. 1 с.)

О себе: так как выгребаю и топлю три печки, стираю на троих — всё, хожу на рынок, готовлю, мóю посуду и т. д. — прислуга за всё и на всех — пишу мало, урывками, последнее время — стихи. Весной будет легче: отпадет весь уголь и вся зола... (пр. 14 с.)

...Я — годы — дружу с Верой Буниной, урожденной Муромцевой, бывшей подругой моей Halbschwester* Валерии, ученицей, по истории искусств, моего отца, — счастливейшие дни своей жизни проведшей в *нашем* доме в Трехпрудном — Вы наверное о нем читали. Познакомилась и подружилась я с ней — здесь. Она мне написала, я отозвалась — и пошло, и продолжается, и никогда не кончится — ибо тут нечему кончаться: всё — вечное[1].

Вы, м. б., знаете, что у Бунина — лет 10 как молодая любовь (приемная дочь? роман? — *любовь)* — бывшая пражская студентка, Галина Кузнецова[2]. Живет с ними, ездила с ними в Швецию, *ихняя*. Вера стерпела — и приняла. Все ее судят, я — восхищаюсь: Бунин без нее, Веры, не может, значит — осталась: поступила, как *мать*.

С Галиной я — вежлива.

* Сводной сестры *(нем.)*.

С Буниным у нас дружественные отношения, без близости: прихожу к *Вере*.

— Ну, вот. —

Недавно, на моем вечере стихов[3], Бунин у кассы познакомился с Алей, не зная, что моя дочь. — «Милая барышня» — и так пробеседовал, прошутил с ней мин⟨ут⟩ 10. В антракте — опять к ней... (пр. 1 с.) Всю вторую часть в залу не входил, сидел с ней у кассы. Тут же пригласил ее к себе — на завтра — обедать... (пр. 9 с.)

...Если бы мне большой писатель сказал: — «Милая барышня...», я бы и в 15 лет ответила: отметила: — Меня зовут — Марина — (и, подумав:) — Ивановна. (Bin weder Fräulein, weder schön — kann ungeleitet nach Hause gehen!*[4]) Потому меня *не любили.* (Так — мало! так — вяло!) По-мужски — не любили. Даже — *тогда* (Ду́хи любили, души — любили: поэты, одинокие старики, собаки, чудаки...)

Забыла прибавить, что сейчас Кузнецова в отъезде, кажется — где-то лечится... а м. б. — другое: устала. Словом, ее в доме давно нет... (пр. 3 с.)

...Завтра (воскресенье, 29-го) у нас гости — Фаворские[5], друзья Унбегауны и Замятины[6], он и она... (пр. 6 с.)

89

Ванв, 20-го января 1936 г.

С Новым Годом, дорогая Анна Антоновна!.. (пр. 1 с.)

Ваше большое письмо получила.

О таком (ручно-умственном) объединении мечтаю уже давно, хотя бы в самой элементарной форме: кто-то читает, я — шью. Но мне никто не читает, Муру — некогда (школа, уроки), С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩ и Али нет никогда. Сижу вечерами и до одурения вяжу — уже три месяца — Муру огромное одеяло из всех остатков шерсти (Аля раньше много вязала на заказ)... (пр. 1 с.)

Ручной труд есть — круг (вокруг лампы, лучше — керосиновой, на тяжелой лапе, была у нас такая в Трехпрудном, — медная: медведь лезет в улей). Кстати «Трехпрудный» — в моих вещах — Трехпрудный переулок, где стоял наш дом, но это был целый мир, вроде именья (Hof), и целый психический мир —

---

* Я и не барышня и не мила,
Дойду без спутников домой, как шла *(пер. с нем. Б. Пастéрнака).*

не меньше, а м. б. и больше *дома Ростовых*[1], ибо дом Ростовых плюс еще сто лет.

Еще в 1909 году—совсем девочкой—я писала.

Засыхали в небе изумрудном
Капли звезд—и пели петухи...
Это было в доме старом, в доме—чудном...
Чудный дом, наш дивный дом в Трехпрудном—
Превратившийся теперь в стихи!

Это я писала, еще будучи *в нем,* но уже зная, чуя...

А потом—1919 г.—стоим с уже 6-летней Алей—перед нами: окна залы, и видим, как на подоконниках, из глиняных мисок, чужие люди хлебают вареную воблу.

А потом—1920 г.—стою́ перед ним—*и нету.* Закрываю глаза—есть, открываю—нет: одни развалины камина торчат.—Снесли на дрова, ибо был деревянный: из мачтовой строевой сосны. Было ему—около 100 лет. Его старик Иловайский (дед моих старших Halbbruder и Halbschwester*) дал в приданое своей дочери Варваре Димитриевне, когда выходила замуж за моего отца.

Значит—*не мой* дом, и получил его после отца в наследство брат Андрей**, но любила и воспела его—я.

Видите—как далеко заводят: ручной труд и ламповый круг!..

Мне хорошо только со старыми людьми—и вещами. Из молодости люблю только молодую листву и траву.

Сейчас—*культ* молодости. В мое время молодость себя стеснялась. Сейчас: «мне 20 лет—кланяйся в ноги!»

А я не кланяюсь—п. ч. это—кумир. На глиняных ногах, п. ч. *завтра* 20-летнему будет сорок лет, как мне—*вчера*—было двадцать.

Хвастаться титулом—хвастаться состоянием—хвастаться молодостью. Но первое и второе хоть—если не твоя—то чужая заслуга!—Хоть *чей-то*—труд. Там—кичиться чужим титулом, здесь—обыкновенным ходом вещей, вне человека лежащим, то же самое, что гордиться—солнечным днем.

Помимо всего—мне с молодыми скучно—п. ч. им *с собой* скучно: оттого непрерывно и развлекаются... (пр. 25 с.)

---

* Сводных брата и сестры *(нем.).*

** Умер в 1932 г. в Москве, от туберкулеза *(приписка Цветаевой).*

90

Ванв, 15-го февраля 1936 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Когда я прочла Furchtlosigkeit* — у меня струя по хребту пробежала: *бесстрашие:* то слово, которое я все последнее время внутри себя, а иногда и вслух — как последний оплот — произношу: первое и последнее слово моей сущности. Роднящее меня — почти со всеми людьми! Борис Пастернак, на к⟨оторо⟩го я *годы подряд* — через сотни верст — оборачивалась, как на второго себя, мне на Пис⟨ательском⟩ Съезде[1] шепотом сказал: — Я не посмел не поехать, ко мне приехал секретарь С⟨тали⟩на, я — испугался. (Он страшно не хотел ехать без красавицы-жены, а его посадили в авион и повезли.)

...Не знаете ли Вы, дорогая Анна Антоновна, хорошей гадалки в Праге? Ибо без гадалки мне, кажется, не обойтись. Все свелось к одному: ехать или не ехать. (Если ехать — так навсегда.)

Вкратце: и С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ и Аля и Мур — рвутся[2]. Вокруг — угроза войны и революции, вообще — катастрофических событий. Жить мне — одной — здесь не на что. Эмиграция меня *не любит,* Посл⟨едние⟩ Новости (единственное платное место: шутя могла бы одним фельетоном в неделю зарабатывать 1800 фр⟨анков⟩ в месяц) — П⟨оследние⟩ Нов⟨ости⟩ (Милюков) меня выжили: не печатаюсь больше никогда. Парижские дамы-патронессы меня терпеть не могут — за независимый нрав.

Наконец, — у Мура здесь никаких перспектив. Я же вижу этих двадцатилетних — они в *тупике.*

В Москве у меня сестра Ася, к⟨отор⟩ая меня любит — м. б. больше чем своего единственного сына. В Москве у меня — всё-таки — круг настоящих писателей, не обломков. (Меня здешние писатели не любят, не считают своей.)

Наконец — природа: просторы.

Это — зá.

Против: Москва превращена в Нью-Йорк: в идеологический Нью-Йорк, — ни пустырей, ни бугров — асфальтовые озера с рупорами громкоговорителей и колоссальными рекламами: нет, не с главного начала: *Мур,* к⟨оторо⟩го у меня эта Москва сразу, всего, с головой отберет. И, второе, главное: я — с моей Furchtlosigkeit, я *не умеющая* не-ответить, я не могущая подписать приветственный адрес великому Сталину, ибо *не я* его назвала великим и — если даже велик — это не мое величие и — м. б. важней всего — ненавижу каждую торжествующую, казенную церковь.

---

* Бесстрашие *(нем.).*

И — расстанусь с Вами: *с надеждой* на встречу! — с А. И. Андреевой, с семьей Лебедевых (больше у меня нет никого).

— Вот. —

Буду там одна, без Мура — мне от него *ничего* не оставят, во-первых п. ч. всё — во времени: здесь после школы он — мой, со мной, там он — их, всех: пионерство, бригадирство, детское судопроизводство, летом — лагеря, и всё — с соблазнами: барабанным боем, физкультурой, клубами, знаменами и т. д. и т. д. ...(пр. 5 с.)

...Может быть — так и надо. Может быть — последняя (-ли?) Kraftsprobe?* Но зачем я тогда — с 18 лет растила детей?? Закон природы? — Неутешительно. —

— Сейчас, случайно подняв глаза, увидела на стене, в серебряной раме, лицо Сигрид Унсет — un visage revenu de tout** — никаких самообманов! И вспомнила — Kristin, как от нее постепенно ушли все дети и как ее — помните, она шла на какое-то паломничество — изругали чужие дети — так похожие на ее!

Ну, вот. Как же без гадалки? Погадайте на меня, за меня! (Француженкам я *не верю: ясно видят* — только вещь в витринах!)

Положение двусмысленное. Нынче, напр⟨имер⟩, читаю на большом вечере эмигрантских поэтов[3] (все парижские, вплоть до развалины Мережковского, когда-то тоже писавшего стихи). А завтра (не знаю — когда) по просьбе своих — на каком-то возвращенческом вечере[4] (NB! те же стихи — и в обоих случаях — безвозмездно) — и может выглядеть некрасивым.

Это всё меня изводит и не дает серьезно заняться ничем.

Обрываю письмо, чтобы сразу отправить. Могла бы писать Вам не отрывая пера еще два часа, — но сделаю это в другой раз, сейчас это только отклик.

МЦ. (пр. 8 с.)

91

Ванв, 19-го марта 1936 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Последние мои сильные впечатления — два доклада Керенского о гибели Царской Семьи (всех было — три, на первый не попала)[1]. И вот: руку нá сердце положа скажу: невинен.

* Проба сил *(нем.)*.
** Лицо человека, отрешившегося от всего *(фр.)*.

По существу — невинен. Это не эгоист, а эгоцентрик, всегда живущий своим данным. Та́к, смешной случай. На перерыве первого доклада подхожу к нему (мы лет 7—8 часто встречались в «Днях», и иногда и в домах[2]) с одним чисто фактическим вопросом (я гибель Царской Семьи хорошо знаю, и К⟨ерен⟩ского на себе, себя — на нем (NB! наши знания) проверяла) — кто был при них комиссаром между Панкратовым и Яковлевым. — Никого. Был полковник Кобылинский. — Но он же не был комиссаром. — Нет. Комиссара три месяца не было никакого[3]. (И вдруг, от всей души): — Пишите, пишите нам!! (Изумленно гляжу. Он, не замечая изумления, категорически): — Только не стихи. И не прозу. Я: — Так — что же?? — Общественное. Я: — Тогда *вы пишите* — поэмы!

Он — *слепой* (слепой и физически, читает на два вершка от книги, но очков носить *не хочет*[4]). Увидел меня: ассоциация: — пишет, а писать — значит — общественное (…«нам» в его возгласе означало — в новый, его, журнал[5] — не знаю, как называется).

О докладе, в двух словах: хотел спасти, в Царском Селе было опасно, понадеялся на тишину Тобольска[6]. О царе — хорошо сказал: — «Он совсем не был… простым обыкновенным человеком, как это принято думать. Я бы сказал, что это был человек — либо *сверхъ*естественный, либо *подъ*естественный…» (Говорил это по поводу его невозмутимости).

Открыла одну вещь: К⟨ерен⟩ский Царем был очарован... (пр. 1 с.) и Царь был К⟨ерен⟩ским — очарован, ему — поверил. (пр. 1 с.)

Царицы К⟨ерен⟩ский недопонял: тогда — совсем не понял: сразу оттолкнулся (как *почти* все!), теперь — пытается, но до сих пор претыкается о ее гордость — чисто — династическую, к⟨отор⟩ую, как либерал, понимает с трудом. Мой вывод: за 20 лет — вырос, помягчал, стал человеком. Доклад — хороший: сердце — *хорошее.*

Публика на втором (последнем) докладе ставила вопросы и возражала. Был вопрос: — Почему Вы из России бежали и правда ли что в женском платье? — но он на него (было за́ полночь и зал закрывали) не успел ответить… (пр. 5 с.)

…Второе: смерть поэта Кузмина, Михаила Кузмина — петербургского, царскосельского, последнего близкого друга Ахматовой[7]. Я его встретила раз — в первых числах, а м. б. и 1-го января 1916 г. — последнего года старой России. В Петербурге. В полную вьюгу. В огромной (домашней) зале.

Сейчас — пишу: его — и себя тогда[8]. Он был на 20 с чем-то лет меня старше: такой — тогда, как я — теперь. Доклад К⟨ерен⟩ского о Семье и моё о Кузмине — вот и тогдашняя Россия.

Руднев обещал взять в Современные ⟨Записки⟩… (пр. 21 с.)

92

Ванв, 29-марта 1936 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Живу под тучей — отъезда. Еще ничего реального, но мне́ — для чувств — реального не надо.

Чувствую, что моя жизнь переламывается пополам и что это ее — последний конец.

Завтра или через год — я всё равно уже не здесь («на время не стоит труда...»[1]) и всё равно уже не живу. Страх за рукописи — что-то с ними будет? *Половину* — нельзя везти! а какая забота (любовь) — безумная жалость к последним друзьям: книгам — тоже половину нельзя везти! — и какие оставить?? — и какие взять?? — уже сейчас тоска по здешней воле; призрачному состоянию чужестранца, которое я так любила (stranger hear*)... состоянию сна или шапки-невидимки... Уже сейчас тоска по последним друзьям: Вам, Лебедевым, Андреевой (все это мне дала Прага, Париж не дал никого: что́ дал (Гронского) взял...)

Уже сейчас ужас от веселого самодовольного... *недетского* Мура — с полным ртом программных общих мест... (пр. 2 с.)

...Мне говорят: а здесь — что? (дальше).

— Ни-че-го. Особенно для такого страстного и своеобразного мальчика-иностранца. Знаю, что отчуждение все равно — будет, и что *здешняя* юношеская пошлость отвратительнее тамошней базаровщины, — вопрос только во времени: там он уйдет *сразу,* здесь — оттяжка...

(Не дал мне Бог дара слепости!)

Та́к, тяжело дыша, живу (не-живу).

То, встав утром радостная: заспав! — сразу кидаюсь к рукописи... (пр. 2 с.) то — сразу вспомнив — à quoi bon?** всё равно не допишу, а — допишу — всё равно брошу: в лучшем случае похороню заживо в каком-нибудь архиве: никогда не смогу перечесть! (не то, что: *прочесть* или — напечатать)...

С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩ держать здесь дольше не могу — да и не держу — без меня не едет, чего-то выжидает (моего «прозрения») не понимая, что *я — такой умру.*

Я бы на его месте: либо — либо. Летом еду. Едете?

И я бы, конечно, сказала — да, ибо — не расставаться же. Кроме того, одна я здесь с Муром пропаду.

Но он этого на себя не берет, ждет чтобы я *добровольно* — сожгла корабли (по нему: распустила все паруса).

---

* Чужой здесь *(англ.).*
** Чего ради? *(фр.)*

Все думаю, что́ сделала бы на моем месте Сельма Лагерлёф или Сигрид Унсет, которая (которые) для меня — образец женского мужества. — Помните, в сказке, Иван-Царевич на раздорожьи: влево поедешь — коня загубишь, вправо поедешь — сам пропадешь.

Мур там будет счастлив. Но — сохранит ли душу живу (всю!)

Вот франц⟨узский⟩ писатель Мальро[2] вернулся — в восторге. М⟨арк⟩ Л⟨ьвович⟩ ему: — А — свобода творчества? Тот: — О! Сейчас не время...

Сколько в мире несправедливостей и преступлений совершалось во имя этого *сейчас:* часа — сего!

— Еще одно: в Москве жить я не могу: она — американская (точный отчет сестры).

С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ предлагает — Тифлис. (Рай). — А Вы? — А я — где скажут: я давно перед страной в долгу.

Значит — и жить вместе, ибо я в Москву *не хочу: жуть!* (Детство — юность — Революция — три *разные* Москвы: точно живьем в сон, сны — и *ничто* не похоже! все — неузнаваемо!)

Вот — моя личная погудка... (пр. 6 с.)

...Больше всего бы мне хотелось — к Вам в Чехию — навсегда. Нашлись бы спутники, обошла бы пешком всю Чехию, увидела бы за́мки, старые городки... А — лес!!! А — Вы!!! Дружба — с Вами! (Меня ни один человек *по-настоящему* не любит.)

Мне бы хотелось берлогу — до конца дней.

В следующий раз опишу свой инцидент с Керенским. Пока же целую и тороплюсь опустить. Пишите!

МЦ.

93

Ванв, 7-го июня 1936 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Из Бельгии я Вам писала коротко[1], — там у меня не было письменного стола: только круглый, качкий, — о нелепость! соломенный — заранее обескураживающий, кроме того я все время была на людях и в делах. И чужой дом — особенно такая крепость быта, как на той открытке, всегда для меня — труден.

Я Вам тогда писала до моих чтений, — они прошли очень хорошо — и французское и русское. Читала — для бельгийцев — Mon Père et son Musée*: как босоногий сын владимирского священника (не города Владимира, а деревни Талицы) голыми

* Мой отец и его музей *(фр.)*.

руками поставил посреди Москвы мраморный музей—стоять имеющий пока Москва стоит[2].

Для русских читала: Слово о Бальмонте и, второе, Нездешний вечер—памяти поэта М. Кузмина: свою единственную с ним встречу в январе 1916 г.

На заработок с обоих вечеров имела счастье одеть Мура, и еще немножко осталось на лето.

Вечера были в том самом доме, к⟨отор⟩ый Вы видели на открытке,—частные, организованные моей недавней бельгийской приятельницей[3] (русской, вышедшей замуж в бельгийский дом, тот самый).

Но—я мечтала о *дружбе* с ней, за этим и с этим ехала—а дружбы *не вышло:* она поглощена домом и своей женской тоской по любви и от надвигающихся неженских лет (ей сейчас 32 года, но она живет вперед)—и *для меня* в ее душе не оказалось места. Поэтому, несмотря на всю успешность поездки, вернулась с чувством неудачи: с пустыми руками души. Мне все еще нужно, чтобы меня любили: давали мне любить себя: во мне нуждались—*как в хлебе.* (И скромно—и *безумно* по требовательности.)

Ездила с Муром, и только там обнаружила, насколько он невоспитан (11 лет!). Встречает утром в коридоре старушку-бабушку—не здоровается, за обед благодарит—точно лает, стакан (бокал, каких у нас в доме нет) берет за голову, и т. д. Дикарь. Я к этому, внутри себя, отношусь с улыбкой: *знаю,* что *всё* придет (от ума!) другие же (молча) меня жалеют и... удивляются: на фоне моей безукоризненной, непогрешимой воспитанности, вдруг—медведь и даже ведмедь! Не понимая, что воспитанность во мне не от моего сословия, а—от поэта во мне: сердца во мне. Ибо я получила столько воспитаний, что должна была выйти... ну, просто—морским чудищем! А главное—росла без матери, т. е. расшибалась обо все углы. (*Угловатость* (всех росших без матери) во мне осталась. Но—скорей внутренняя.—И *сиротство.*)

К сожалению, нигде кроме Брюсселя не была: мои хозяева и их дети все время болели, да и времени было мало: на седьмой день выехала. Да и не умею «бывать», я хочу жить и быть, *пребывать.* В Брюсселе я высмотрела себе окошко (в зарослях сирени и бузины, над оврагом, на старую церковь)—где была бы *счастлива.* Одна, без людей, без друзей, одна с новой бузиной. Стоило оно, т. е. полагающаяся к нему комната, 100 бельг⟨ийских⟩ франков, т. е. 50 французских... С услугами и утренним завтраком. Таковы там цены.

Но не могу уехать от С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩, к⟨отор⟩ый связан с Парижем. В этом всё. Нынче, 5/18 мая, исполнилось 25 лет с нашей первой встречи—в Коктебеле, у Макса[4], я только

что приехала, он сидел на скамеечке перед морем: всем Черным морем! — и ему было 17 лет. *Оборот назад* — вот закон моей жизни. Как я, при этом, могу быть коммунистом? И — достаточно их без меня. (Скоро весь мир будет! *Мы — последние могикане.*)... (пр. 10 с.)

94

Moret-sur-Loing (S. et M.)
18, Rue de la Tannerie,
chez M-me V-ve Thierry
10-го июля 1936 г.

Дорогая Анна Антоновна, а это — ответ на зáмок. Этими воротами выходили на реку, собственно — речку, с чудным названием Loing (loin!)*. Речка — вроде той, где купалась в Тульской губ⟨ернии⟩, 15-ти лет, в бывшем имении Тургенева, — там, где Бежин луг. Но — там не было ни души (только пес сидел и стерег), а здесь — сплошь «души»: дачи, удильщики, барки, — ни одного пустынного места.

Приехали — мы с Муром — 7-го, сразу устроились и разложились — и расходились: в первый же день — три длинных прогулки: и на реку, и на холм, и в лес. Мур — отличный ходок. Moret — средневековый городок под Фонтенбло, улички (кроме главной, торговой) точно вымерли, людей нет, зато множество кошек. И древнейших старух. Мы живем на 2-ом этаже, две отдельных комнаты (потом приедет С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩), выходящих прямо в церковную спину. Живем под химерами.

Наша церковь (эта) основана в 1166 г., т. е. ей 770 лет. (И сколько таких церквей во Франции! Лучшие — не в Париже.) Но внутри хуже, чем снаружи. Чудные колонны переходящие в арки, купола покрыты известкой, не давая дышать старому серому камню, вместо скромных и непреложных скамей — легкомысленные суетливые желтые стулья. Церковь люблю пустую — без никого и ничего. Хорошо бы пустую — с органом. Но этого не бывает.

Хозяйки тихие: старушка 75 лет — с усами — и дочь, сорока, сорока пяти — в параличе: 7 лет не выходила на улицу. Мы им все покупаем и они за это нам трогательно благодарны. Дом — очень католический, и не без католической лжи: напр⟨имер⟩ два *достоверных портрета* Иисуса Христа и Богородицы: один — «tel qu'il fut envoyé au Sénat Romain par Publius Lentulus abors

* Далеко *(фр.)*.

gouverneur de Judée»*, другой (Богородицын) «peint d'aprèsnature par St. Luc, Evangéliste, lors de son sejour à Jérusalem»** — и где Богоматерь 20 лет!!! (а писал — уже *Евангелист*).

Оба — с злыми, надменными, ледяными лицами и одеты в роскошные мантии. — Чудовищно! — А невинные люди — верят. (Носы у них — орлиные.)

Перевожу Пушкина[1] — к годовщине 1937 г. (На французский, стихами). Перевела: Песню из Пира во время чумы (Хвалу Чуме), Пророка, Для берегов отчизны дальной, К няне и — сейчас — К морю (мои любимые). Хочу за лето наперевести целый сборник моих любимых. Часть (бесплатно) будет напечатана в бельгийском пушкинском сборнике. *Знаю,* что *та́к* не переведет *никто*. Когда отзоветесь, пришлю образцы.

У Али ряд приглашений на лето: и в Монте-Карло, и в Бретань, и на озеро, и в деревню. С грустью отмечаю, что меня за 11 лет Франции не пригласил *никто*. Спасибо за Прокрасться[2]. Размер — тот, но это все, о чем я могу судить. Как я понимаю перевод — увидите из *моих*. (Пришлю непременно, только отзовитесь.) Целую Вас и жду точного адр⟨еса⟩ и вообще — весточки. Сердечный привет Вашим.

МЦ.

95

Ванв — но пишу еще из
Савойи: последний день!
16-го сентября 1936 г.

Дорогая Анна Антоновна — Вы меня сейчас поймете — и обиды не будет. Месяца два назад, после моего письма к Вам еще из Ванва, получила — уже в деревне — письмо от брата Аллы Головиной — она урожденная Штейгер, воспитывалась в Моравской Тшебове — Анатолия Штейгера[1], тоже пишущего — и лучше пишущего: по Бему — наверное — хуже, по мне — лучше.

Письмо было отчаянное: он мне когда-то обещал, вернее я у него попросила — немецкую книгу[2] — не смог — и вот, *годы спустя* — об этом письмо — и это письмо — вопль. Я сразу ответила — отозвалась *всей собой*. А тут его из санатории спешно перевезли в Берн — для операции. Он — туберкулезный, давно

* «Такой, каким его послал римскому сенату Публий Лентул, в то время губернатор Иудеи» *(фр.)*.

** «Рисованный с натуры св. Лукой евангелистом во время его пребывания в Иерусалиме» *(фр.)*.

и серьезно болен — ему 26 или 27 лет. *Уже привязавшись* к нему — обещала писать ему каждый день — пока в госпиталь, а госпиталь затянулся, да как следует и не кончился — госпиталь — санатория — невелика разница. А он уже — привык (получать) — и мне было жутко думать, что он будет — ждать. И так — каждый день, и не отписки, а большие письма, трудные, по существу: о болезни, о писании, о жизни — все сызнова: для *данного* (трудного!) случая. Усугублялось все тем, что он сейчас после полной личной катастрофы — кого-то *любил,* кто-то — *бросил* (больного!) — только об этом и думает и пишет (в стихах и в письмах). Мне показалось, что ему от моей устремленности — как будто — лучше, что — оживает, что — м. б. — выживет — и физически и нравственно — словом, первым моим ответом на его первое письмо было: — Хотите ко мне в сыновья? — И он, всем существом: — Да.

Намечалась и встреча. То он просил меня приехать к нему — невозможно, ибо даже если бы мне дали визу, у меня не было с собой заграничного паспорта — то я звала (мне обещали одолжить денег) — и он совсем было приехал (он — швейцарец и *эта часть* ему легка) — но вдруг, после операции, ухудшение легких — бессонница — кашель — уехал к себе auf die Höhe* (санатория в бернском Oberland'e). Дальше — письма, что м. б. на зиму переедет в Leysin, и опять — зовы. Тогда я стала налаживать свою швейцарскую поездку этой осенью, уже из Парижа, — множество времени потратила и людей вовлекла — осенью оказалось невозможно, но вполне возможно — в феврале (пушкинские торжества, вернее — поминание, а у меня — переводы). Словом, радостно пишу ему, что *всё — сделано,* что в феврале — встретимся — и ответ: Вы меня не так поняли — а впрочем и я сам точно не знал — словом (сейчас уже я́ говорю) в ноябре выписывается совсем, ибо легкие — что́ осталось — залечены, и процесса — нет. Д⟨окто⟩р хочет, чтобы он жил зиму в Берне, с родителями, — и родители тоже конечно — он же сам решил — в Париж.

— п. ч. в Париже — Адамович — литература — и Монпарнас — и сидения до 3 ч. ночи за 10-ой чашкой черного кофе —

— п. ч. он все равно (после той любви) — мертвый...

(Если не удастся — так в Ниццу, но от этого дело не меняется.)

Вот на что я истратила и даже растратила le plus clair de mon été**.

На это я ответила — правдой всего существа. Что нам *не по дороге:* что моя дорога — и ко мне дорога — уединенная. И всё

---

* Здесь: в горы *(нем.)*.

** Бо́льшую часть моего лета *(фр.)*.

о Монпарнасе. И все о *душевной* немощи, с которой мне нечего делать. И благодарность за листочек с рильковской могилы. И благодарность за целое лето — заботы и мечты. И благодарность за правду.

Вы, в открытке, дорогая Анна Антоновна, спрашиваете: — М. б. большое счастье?

И, задумчиво отвечу: — Да. Мне поверилось, что я кому-то — как хлеб — нужна. А оказалось — не хлеб нужен, а пепельница с окурками: не я — а Адамович и Comp.

— Горько. — Глупо. — Жалко.

Никому ни слова: ни о нашей дружбе, ни о его Париже — уезжает он, кажется, *обманом* — ибо навряд ли ему удастся убедить родителей и врачей, что единственное место, где он может дышать — первое по туберкулезу место Европы.

Есть у меня к нему несколько стихов. Вот — первое:

Снеговая тиара гор —
Только бренному лику — рамка.
Я сегодня плющу — пробор
Провела на граните замка.

Я сегодня сосновый стан
Догоняла на всех дорогах.
Я сегодня взяла тюльпан —
Как ребенка за подбородок[3].

(пр. 24 с.)

Теперь усиленно принимаюсь за Пушкина, — сделано уже порядочно, но моя мечта — перевести все мои любимые (отдельные) стихи.

Это вернее — спасения души, которая *не хочет* быть спасенной... (пр. 2 с.)

96

Vanves (Seine) 65, Rue J. B. Potin
24-го сентября 1936 г.

Дорогая Анна Антоновна,

С большой грустью получила Вашу скорбную весть, ибо знаю, *что* для Вас была *мать*[1]. И никаких слов, конечно — *нет.* Ибо ее стул — *пуст.*

Когда сможете, напишите мне — ка́к пришла смерть: ушла — жизнь. ...Я как раз переводила в те дни «Брожу ли я вдоль улиц шумных», и кончается — та́к:

Oú me prendra la Destinée?
En mer, en guerre, ou en chemin?
Ou bien les fleurs de ma vallée
Recouvriront mes restes vains?
Ou'importe pour un corps sans vie
Dans quel recoin s'anéantir!
Et cependant — en terre amie,
Chérie — je voudrais dormir.

Que sur ma dalle blanche ou noire
L'enfance joue tout l'été,
Et que la Mère sans Mémoire
Y mire et mire sa beauté...[2]

Обнимаю Вас и, если разрешите — Августу Антоновну[3].
Nicht verschwunden, nicht verschollen, nur vorangegangen!*

МЦ.

97

Ванв, 26-го октября 1936 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Всего несколько слов: что я в эти тяжелые Ваши дни, в этой наступившей пустыне Ваших дней — неизменно с Вами, что если не писала — то только из своего прирожденного и здесь законного страха быть лишней — да кто в такой час не лишний? Все, кроме того, кого нет — не писала, потому что не о чем писать, потому что здесь нужно не писать, а присутствовать — молча (вместе пойти на кладбище, как я ходила с матерью молодого Гронского, на чудное просторное лесное кладбище, мимо которого мы так часто с ним ходили — *в наши* дни...) — потому что здесь невозможно — о себе, а о другом — страшно.

Так что не сочтите это, дорогая Анна Антоновна, за письмо, и из всех этих строк услышьте только два слова: *люблю и помню.*

МЦ.

98

Ванв, 14-го ноября 1936 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Вот Вам — вместо письма — последняя элегия Рильке, которую, кроме Бориса Пастернака, никто не читал. (А Б⟨орис⟩ П⟨астер-

* Не исчезнуть, не пропасть без вести, только быть впереди! *(нем.)*

нак⟩ — плохо читал: разве можно после такой элегии ставить свое имя под прошением о смертной казни (Процесс шестнадцати)?!)[1]

Я ее называю — Marina Elegie — и она завершает круг Duineser Elegien*, и когда-нибудь (после моей смерти) будет в них включена: их заключит.

Только — просьба: *никому* — кроме Вас и сестры: *никому*. Это — моя тайна с Р⟨ильке⟩, его — со мной. И к этой тайне я всегда возвращаюсь, когда меня так явно оскорбляют — недостойные развязать ремня его подошвы.

Обнимаю Вас. Сердечное спасибо за присланное.

МЦ.

Это *последнее,* что написал Р⟨ильке⟩[2]: умер 7 мес⟨яцев⟩ спустя. И *никто* не знает.

В декабре 1936 г. — через полтора месяца — будет 10 лет с его смерти. Я помню день: утром 31-го пришел Слоним — приглашать на встречу Нового Года в ресторан — и: — «А Вы знаете? Р⟨ильке⟩ умер». (Умер 30-го.)[3] Впрочем, м. б. Вы читали мое «Новогоднее» в Верстах — там все есть.

— Десять лет. Муру было десять месяцев. Теперь он почти с меня, сороковой № обуви. У меня седая голова (я была совсем молодая — помните?), Рильковской второй внучке — почти десять лет (родилась после его смерти)... (пр. 1 с.)

Ну, читайте. Здесь ответ — на все.

МЦ.

...Ich schrieb Dir heute ein ganzes Gedicht zwischen den Weinhügeln, auf eines warmen (leider noch nicht ständig durchwärmten) Mauer sitzend und die Eidechsen festhaltend mit seinem Aufklang.

Château de Muzot s/Sierre (Valais), Suisse am 8. Juni 1926 (abends).

ELEGIE FÜR MARINA

O die Verluste ins All, Marina, die stürzenden Sterne!
Wir vermehren es nicht, wohin wir uns werfen, zu welchem
Sterne hinzu! Im Ganzen ist immer schon alles gezählt.
So auch, wer fällt, vermindert die heilige Zahl nicht.
Jeder verzichtende Sturz stürzt in den Ursprung und heilt.
Wäre denn alles ein Spiel, Wechsel des Gleichen, Verschiebung,
nirgends ein Name und Kaum irgendwo heimisch Gewinn?

* Дуинезских элегий *(нем.)*.

Wellen, Marina, wir Meer! Tiefen, Marina, wir Himmel!
Erde, Marina, wir Erde, wir tausendmal Frühling, wir Lerchen,
die ein ausbrechendes Lied in die Unsichtbarkeit wirft!
Wir beginnen als Jubel: schon übertrifft es uns völlig.
Plötzlich, unser Gewicht biegt zur Klage den Sang, abwärts.
Aber auch so: Klage? Wäre sie nicht jüngerer Jubel nach unten?
Auch die unteren Götter wollen gelobt sein, Marina.
So unschuldig sind Götter, sie warten auf Lob wie die Schüler.
Loben, du Liebe, lass uns verschwenden mit Lob.
Nichts gehört uns. Wir legen ein wenig die Hand um die Hälse
ungebrochener Blumen. Ich sah es am Nil, in Kom-Ombo:
so, Marina, die Spende selber verzichtend, opfern die Könige.
Wie die Engel gehen und die Thüren bezeichen jener zu
Rettenden,
also rühren wir dies und dies, scheinbar Zärtliche, an.
Ach, wie weit schon Entrükte, ach, wie Zerstreute, Marina,
ach, noch beim innigsten Vorwand. Zeichengeber, sonst nichts.
Dieses leise Geschäft, wo es der Unsrigen einer
nicht mehr erträgt und sich zum Zugriff entschliesst,
racht sich und tötet. Denn dass es tötliche Macht hat,
merkten wir alle seiner Verhaltung und Zahrtheit
und an der seltsamen Kraft, die uns aus Lebenden zu
Uferlebenden macht. Nichtsein: weisst Du's wie oft
trag uns ein blinder Befehl durch den eisigen Vorraum
neuer Geburt... Trug...: uns? — Einen Körper aus Augen,
unter zahllosen Liedern sich weigernd. Trug das in uns
niedergeworfene Herz eines ganzen Geschlechts. An ein
Zugvogelziel
trug er die Gruppe, das Bild unserer schwebender Wandlung.
Liebende dürften, Marina, dürfen so viel nicht
von dem Untergang wissen. Müssen wie neu sein.
Erst ihr Grab ist alt, erst ihr Grab besinnt sich, verdunkelt
unter dem schluchzendem Baum. Besinnt sich auf Jeher.
Erst ihr Grab bricht ein; sie selber sind biegsam wie Ruthen,
was übermässig sie biegt, ründet sie reichlich zum Kranz.
Wie sie verwehen im Maiwind! Von der Mitte des Immer,
drin Du athmest und ahnst, schliesst sie der Augenblick aus.
(O wie begreif ich Dich, weibliche Blüthe am gleichen
unvergänglichen Strauch. Wie streu ich mich stark in die
Nachtluft,
die dich nächstens bestreift). Frühe erlernten die Götter
hälften zu heucheln. Wir, in das Kresen bezogen,
füllten zum Ganzen uns an, wie die Scheibe des Monds.
Auch in abnehmender Frist, auch in den Wochen der Wendung,
niemand verhülfe uns je wieder zum Vollsein, als der
einsame eigene Gang über der schlaflosen Landschaft.

R.

(Geschrieben am 8. Juni 1926)

Перевод:

...Я написал тебе сегодня длинное стихотворение, сидя на теплой (но, к сожалению, еще не совсем прогревшейся) стене, среди виноградников, и привораживая ящериц его звучанием.

Замок Мюзо-сюр-Сьер (Валэ), Швейцария, 8 июня 1926 (вечером).

ЭЛЕГИЯ ДЛЯ МАРИНЫ

О, эти потери Вселенной, Марина! Как падают звезды!
Нам их не спасти, не восполнить, какой бы порыв ни вздымал нас
Ввысь. Все смерено, все постоянно в космическом целом. И наша
внезапная гибель
Святого числа не уменьшит. Мы падаем в первоисточник
И, в нем исцелясь, восстаем.
Так что же все это? Игра невинно-простая, без риска, без имени,
без обретений? —
Волны, Марина, мы — море! Глуби, Марина, мы — небо!
Мы — тысячи весен, Марина! Мы — жаворонки над полями!
Мы — песня, погнавшая ветер!
О, все началось с ликованья, но переполняясь восторгом,
Мы тяжесть земли ощутили и с жалобой клонимся вниз.
Ну что же, ведь жалоба — это предтеча невидимой радости новой,
Сокрытой до срока во тьме...
А темные боги глубин тоже хотят восхвалений, Марина.
Боги, как школьники, любят, чтоб мы их хвалили.
Так пой им хвалу! Расточайся в хвалениях вся! До конца!
Все то, что мы видим — не наше. Мы только касаемся мира,
как трогаем свежий цветок.
Я видел на Ниле в Ком Омбо, как жертву приносят цари. —
О, царственный жест отреченья!
Так ангелы метили души, которые должно спасти им —
Легким мгновенным касаньем. И только.
И отлетали далеко. Нежный рассеянный жест,
В душах оставивший знак, — вот наше тихое дело.
Если же, не устояв, кто-нибудь хочет схватить вещь и присвоить себе,
Вещь убивает его, мстя за себя.
О, мы познали ее — эту могучую силу,
Переносящую нас в вихре за грань бытия в холод НИЧТО.
Ты ведь знаешь, как *это* влекло нас сквозь ледяное пространство
преджизни
К новым рождениям?..
Нас? —
Эти глаза без лица, без числа... Зрящее, вечно поющее сердце целого
рода —
В даль! Точно птиц перелетных к неведомой цели — к новому образу!
Преображенье парящее наше.

Но любовь вечно нова и свежа и не должна ничего знать о темнеющих безднах.
Любящие – вне смерти.
Только могилы ветшают, там под плакучею ивой, отягощенные знаньем,
Припоминая ушедших. Сами ж ушедшие живы, как молодые побеги старого дерева.
Ветер весенний, сгибая, свивает их в дивный венок, никого не сломав.
Там, в мировой сердцевине, там, где ты любишь,
Нет преходящих мгновений.
(Как я тебя понимаю, женственный легкий цветок на бессмертном кусте!
Как растворяюсь я в воздухе этом вечернем, который
Скоро коснется тебя!)
Боги сперва нас обманно влекут к полу другому, как две половины в единство.
Но каждый восполниться должен сам, дорастая, как месяц ущербный до полнолунья.
И к полноте бытия приведет лишь одиноко прочерченный путь
Через бессонный простор.

Р.

(Написано 8 июня 1926)

(Пер. с нем. З. Миркиной)

99

Ванв, 2-го января 1937 г.

С Новым Годом, дорогая Анна Антоновна!

Вам эту дату пишу – первой.

Дай в нем Бог Вам и Августе Антоновне и всем, кого Вы любите, здоровья и успешной работы, и хороших бесед, и верных друзей.

Не поздравила Вас раньше потому, что болела, обычный грипп, но при необычных обстоятельствах нашего дома – несколько затянувшийся. Но елка, все-таки, была, и Мурины подарки (благодаря Вашему, за который Вас горячо благодарю) – были. Получил книжки: «Les Contes de ma Grand-Mère»* (Жорж Занд) – «L'histoire merveilleuse de Peter Schlehmil»** во французском переводе самого Chamisso – кстати, был француз (эмигрант) – и себя на французский – переводил!![1] – и цветную лепку, из которой отлично лепит.

Я, как встала после гриппа, так сразу засела за переписку своей прозы – Мой Пушкин[2]. *Мой* Пушкин – это Пушкин моего

* «Сказки моей бабушки» *(фр.)*.
** «Необыкновенная история Петера Шлемиля» *(фр.)*.

детства: тайных чтений головой в шкафу, гимназической хрестоматии моего брата, к⟨отор⟩ой я сразу завладела, и т. д. Получается очень *живая* вещь.

Не знаю — возьмут ли Совр⟨еменные⟩ Записки, но во всяком случае буду эту вещь читать вслух на отдельном вечере[3].

Да, та «Dichterin»*, о к⟨оторой⟩ Рильке пишет Пастернаку[4] — я. Я последняя радость Рильке, и последняя его *русская* радость, — его последняя Россия и дружба.

Как мне бы хотелось с Вами встретиться. А вдруг — в этом году?? Давайте — подумаем. А м. б. — и решим?? (пр. 7 с.)

100

Ванв, 26-го января 1937 г.

Дорогая Анна Антоновна,

А меня Ваше письмо сердечно обрадовало: в нем все-таки есть надежды... Дорога — великая вещь, и только наш страх заставляет нас так держаться за обжитое и уже непереносное. Перемена ли квартиры, страны ли — тот же страх: как бы не было хуже, а ведь бывает — и лучше.

К путешествию у меня отношение сложное и думаю, что я *пешеход,* а не путешественник. Я люблю ходьбу, дорогу под ногами — а не из окна того или иного движущегося. Еще люблю *жить,* а не посещать, — случайно увидеть, а не осматривать. Кроме того, я с самой ранней молодости ездила с детьми и нянями: — какое уж путешествие! Для путешествия нужна духовная и физическая свобода *от,* тогда, м. б., оно — наслаждение. А я столько лет — 20, кажется — вместо паровоза везла на себе все свои мешки и тюки — что первое чувство от путешествия у меня — беда. Теперь, подводя итоги, могу сказать: я всю жизнь прожила — в неволе. И, как ни странно — в вольной неволе, ибо никто меня, в конце концов, не заставлял так все принимать всерьез, — это было в моей крови, в немецкой ее части (отец моей матери — Александр Данилович Мейн-Meyn — был русский остзейский немец, типа барона: светлый, голубоглазый, горбоносый, очень строгий... Меня, между прочим, сразу угадал — и любил).

...Но Вы едете — иначе. Ваше путешествие — Pilgerschaft**, и в руках у Вас — Wanderstab***, и окажетесь Вы еще в Иерусалиме (Небесном).

* «Поэтесса» *(нем.).*
** Паломничество *(нем.).*
*** Страннический посох *(нем.).*

Паломник должен быть внутренно-одинок, только тогда он проникается всем. Мне в жизни не удалось — паломничество. (А помните Kristin[1] — под старость лет — когда ее ругали мальчишки, а она, улыбаясь, вспоминала *своих* — когда были маленькими... Точно со мной было.)

У меня три Пушкина: Стихи к Пушкину, которые совершенно не представляю себе чтобы кто-нибудь *осмелился* читать, кроме меня. Страшно-резкие, страшно-вольные, ничего общего с канонизированным Пушкиным не имеющие, и всё имеющие — обратное канону. *Опасные* стихи. Отнесла их, для очистки совести, в редакцию Совр⟨еменных⟩ Записок, но не сомневаюсь, что не возьмут — *не могут* взять[2]. Они *внутренно* — революционны — та́к, как никогда не снилось тем, в России. Один пример:

Потусторонним
Залом царей:
— А непреклонный
Мраморный сей,
Столь величавый
В золоте барм?
— Пушкинской славы
Жалкий жандарм.

Автора — хаял,
Рукопись — стриг.
Польского края —
Зверский мясник.
Зорче вглядися
Не забывай:
Певцеубийца
Царь Николай
Первый.

Это месть поэта — за поэта. Ибо не держи Н⟨иколай⟩ I Пушкина на привязи — возле себя поближе — выпусти он его за границу — отпусти на все четыре стороны — он бы не был убит Дантесом. Внутренний убийца — он.

Но не только такие стихи, а мятежные и помимо событий пушкинской жизни, внутренно — мятежные, с вызовом каждой строки. Они для чтения в Праге *не подойдут,* ибо они мой, поэта, единоличный вызов — лицемерам *тогда и теперь.* И ответственность за них должна быть — единоличная. (Меня после них могут просто выбросить из Совр⟨еменных⟩ Записок и вообще — эмигранты.) Написаны они в Медоне, в 1931 г. летом — я как раз тогда читала Щеголева: «Дуэль и Смерть Пушкина» и задыхалась от негодования.

13 Зак. 30

Есть у меня проза — «Мой Пушкин» — но это мое раннее детство: Пушкин в детской — с поправкой: *в моей*. Ее я буду читать на отдельном вечере в конце февраля.

И есть, наконец, французские переводы вещей: Песня из Пира во время Чумы, Пророк, К няне, Для берегов отчизны дальной, К морю, Заклинание, Приметы — и еще целый ряд, которых никак и никуда не могу пристроить. Всюду — стена: «У нас уже есть переводы». (Прозой — *и ужасные*.) Вчера на французском чествовании в Сорбонне, по отрывкам, читали *Бог знает что́*. Переводили — «очень милая барышня» или «такой-то господин с женой» — частные лица никакого отношения к поэзии не имеющие. Слоним мои переводы предложил проф⟨ессору⟩ Мазону[3] — Вы наверное знаете — бывает в Праге — так он: — Mais nous avons déjà de très bonnes traductions des poémes de Pouchkin, un de mes amis les a traduites avec sa femme...*

И это — профессор, и даже, кажется — светило.

Кончаю. Очень надеюсь на встречу. Вместе поедем в Версаль — там лучшее — Petit Trianon**[4], весь заросший, заглохший, хватающий за́ душу. И в Fontainebleau — где Cour des Adieux***[5] (Наполеона с Францией). Хорошо бы — весной, и на подольше в Париж — устроиться можно дешево — даже в гостинице. Быт — легкий, есть всё на все цены. И весна в Париже — лучшее время. — И — Бог знает — что со мной будет потом...

Если есть более или менее реальные планы — в смысле времени и мест — пишите сразу. Хорошо бы начать с Франции.

Обнимаю Вас и всячески приветствую Вашу мечту... (пр. 4 с.)

101

Ванв, 2-го мая, ⟨1937 г.⟩
первый день русской Пасхи

Христос Воскресе, дорогая Анна Антоновна! (Убеждена, что и Вы русскую Пасху считаете немножко своей.) Несколько дней тому назад с огорчением увидела из Вашей приписочки, что Вы моего большого письма вскоре после Алиного отъезда[1] с описанием его и предшествующих дней, не получили, — потому-то Вы говорите о моем долгом молчании — а я как раз удивлялась,

* Но у нас уже есть очень хорошие переводы стихов Пушкина, один мой друг их перевел вместе со своей женой... *(фр.)*.

** Малый Трианон *(фр.)*.

*** В Фонтенбло, ...Двор Прощаний *(фр.)*.

почему так долго молчите — Вы. Может быть дала кому-нибудь опустить в городе (от нас идет на́ день дольше) — и человек протаскал или забыл в снятом пиджаке, — сейчас невозможно установить, ни восстановить, — с Алиного отъезда уже полтора месяца — уехала 15-го марта.

Повторю вкратце: получила паспорт, и даже — книжечкой (бывают и листки), и тут же принялась за обмундирование. Ей помогли — все: начиная от С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩, который на нее истратился до нитки, и кончая моими приятельницами, из которых одна ее никогда не видала... (пр. 3 с.) У нее вдруг стало все: и шуба, и белье, и постельное белье, и часы, и чемоданы, и зажигалки — и все это лучшего качества, и некоторые вещи — в огромном количестве. Несли до последней минуты, Маргарита Николаевна Лебедева[2] (Вы м. б. помните ее по Праге, Воля России) с дочерью[3] принесли ей на вокзал новый чемодан, полный вязаного шелкового белья и т. п. Я в жизни не видала столько новых вещей сразу. Это было настоящее приданое. Видя, что мне не угнаться, я скромно подарила ей ее давнюю мечту — собственный граммофон, для чего накануне поехала за тридевять земель на Marché aux Puces* (живописное название здешней Сухаревки), весь рынок обойдя и все граммофоны переиспытав, наконец нашла — лучшей, англо-швейцарской марки, на манер чемодана, с чудесным звуком. В вагоне подарила ей последний подарок — серебряный браслет и брошку — камею и еще — крестик — на всякий случай. Отъезд был веселый — так только едут в свадебное путешествие, да и то не все. Она была вся в новом, очень элегантная... (пр. 1 с.) перебегала от одного к другому, болтала, шутила... (пр. 7 с.) Потом очень долго не писала... (пр. 2 с.) Потом начались и продолжаются письма... (пр. 5 с.) ...Живет она у сестры С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩, больной и лежачей[4], в крохотной, но отдельной, комнатке, у моей сестры[5] (лучшего знатока английского на всю Москву) учится по-английски. С кем проводит время, как его проводит — неизвестно. Первый заработок, сразу как приехала — 300 рублей, и всяческие перспективы работы по иллюстрации. Ясно одно: *очень* довольна... (пр. 22 с.).

...Вы спрашиваете о моей дружбе с Головиной. Она очень больна, месяцами не встает (я только раз видела ее на ногах), очень проста и человечна... (пр. 2 с.) очень ко мне привязана, неизменно мне радуется и ничего не требует. Она несравненно лучше своих стихов: ничего искусственного (простите за кляксу: пишу stylo** старой системы: не доглядишь — прольется). Во многом — ребенок. Город ее не испортил, но здоровье ее — сгубил.

* Блошиный рынок, толкучка *(фр.)*.

** Пером *(фр.)*.

Не рассказывайте моего отзыва Бему, а то он напишет ей, и получится, что я ее только жалею, а это — не совсем так, п. ч. и уважаю — она совершенно лишена эгоизма, *никогда* не жалуется… (пр. 4 с.)

…Кончаю, п. ч. нужно идти на рынок. Приедете ли, дорогая Анна Антоновна, на выставку?[6] Сделайте — все. Это — эпоха. (1900 г. по 1937 г.) Между этими датами — двух всемирных выставок — кончился один мир и начался новый. Я осталась в старом... (пр. 2 с.)

102

Ванв, 14-го июня 1937 г.

(пр. 13 с.) …Была на выставке. Эти фигуры — работа женская[1]. Сов⟨етский⟩ павильон похож на эти фигуры: *есть* — эти фигуры. А немецкий павильон есть крематорий плюс Wertheim*. Первый *жизнь,* второй *смерть,* причем не моя жизнь и не моя смерть, но все же — *жизнь* и *смерть*. И всякий живой — так скажет. Видела 5 павильонов — на это ушло 4 часа — причем на советский добрых два. Если интересно — обещаю написать подробно. (А, догадалась! Первый — жизнь, второй — мертвечина: мертвецкая.) Павильон не германский, а прусский и мог бы быть (кроме технических новоизобретений) в 1900 году. Не фигуры по стенам, а *идолы*. Кто строил и устраивал???

Неужели Вы не приедете на выставку? И неужели приедете — когда меня не будет? (Если уеду — то в начале июля до конца сентября. Есть надежда на Океан, который для меня — Мурино младенчество — и встречи с Рильке…) (пр. 2 с.)

От Али частые письма. Пока — работа эпизодическая, часто анонимная, но хорошо оплаченная, сейчас едет с сестрой С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩ (с которой живет) в деревню, а осенью надеется на штатное место в Revue de Moscou[2]. Очень довольна своей жизнью. Пишет, что скучает… (пр. 3 с.)

…Очень много нужно Вам написать, дорогая Анна Антоновна, но у меня срочная перебелка рукописи *Пушкин* и *Пугачев* для нового большого серьезного русск⟨ого⟩ журнала «Русские Записки»[3], имеющего выходить в Шанхае. Если есть вид мариенбадского дома, где жил Гёте — пришлите! Хотелось бы также хороший его старый портрет. Пишите! Целую, всегда помню и всегда люблю… (пр. 2 с.)

* Сейф *(нем.).*

103

Lacanau-Océan (Gironde)
Av⟨enue⟩ des Frères Estrade
Villa Coup de Roulis
16-го июля 1937 г.

Дорогая Анна Антоновна! Приветствую Вас с Океана. Мы здесь шестой день. (Мы: Мур и я, С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ приедет в августе.) Это мое четвертое море во Франции—из к⟨оторых—третий океан, и вот скажу Вам, что каждый раз—разное. St. Gilles (Пастернак, Рильке, Мурины первые шаги)—рыбацкая деревня, Pontaillac—курорт, La Favière—русский дачный морской поселок, и наконец, Lacanau-Océan—пустыня: пустыня берега, пустыня океана. Здесь сто лет назад не жил никто. Место было совсем дикое, редкие жители—из-за болот—ходили на ходулях. И что-то от этого—не от ходуль, а от дикости—осталось. Здесь, напр⟨имер⟩, ни одного рыбака, ни одной лодки—и ни одной рыбы. Просто—нет. В Фавьере—ловили, но не продавали, здесь—просто не ловят. Странно? Но—так.

Поселок новый, постоянных жителей—несколько семей, остальные—сдают и живут только летом. Огромный, безмерный пляж, с огромными, в отлив, отмелями. И огромный сосновый лес—весь са́женый: сосна привилась и высушила болота. (Но и болота-то—странные: на песчаных дюнах, даже трудно верить.) Во всем лесу (100 кил⟨ометров⟩) одна (цементированная) тропинка: песок—дорог не держит, следов не держит. Неподалеку (уже ходили) пресное озеро—откуда?! Там старый, старый старик пас стадо черных коров с помощью одноглазой собаки. Там я впервые увидела траву и чуть-чуть земли. Здесь земли нет совсем.

Живем мы в маленьком (комната, кухня, терраска) отдельном домике, в маленьком песчаном садике, в 5 мин⟨утах⟩ от моря. Домик чистый и уже немолодой, все есть, мебель деревенская и староватая: все то, что я люблю. Хозяев—они же владельцы единственного пляжного кафе—почти не видим: уходят утром, приходят ночью… (пр. 5 с.)

…Дачников, пока, довольно мало—главный съезд в августе—общий тон очень скромный: семьи с детьми,—никаких потрясающих пижам, никакой пляжной пошлости. *Хорошее* место—только если бы рыба!

Купанье—волны. Плавать почти нельзя. Оно мелкое, постепенное. За два дня было целых три утопленника, к⟨отор⟩ых всех троих спас русский maître-nageur*, юноша 21-го года, филолог-

* Учитель плавания *(фр.)*.

японовед. В прошлом году он спас целых 22 человека. Люди, не умеющие плавать, заходят по горло в воду и при первой волне — тонут. А волны непрерывные и сильные: здесь не залив, а совершенно открытое море.

Прочла (здесь уже) Sigrid Undset — «Ida-Elisabeth»*[1]. Первое разочарование: Ida. Правда — пустое, дамское, лжепоэтическое и не старинное, а старомодное — имя? (Чтó бы: Anna-Elisabeth!) А дальше и разочарования не было, п. ч. я *знала,* что 1. второй Kristin ни ей, ни мне, никому не написать, 2. читала Jenny**[2] и не полюбила. Ей (Унсет) дано только (!!!) прошлое, гений только на прошлое. Кто эта Ida-Elisabeth? Что в ней такого, чтобы Undset о ней писать, а нам читать — 500 стр⟨аниц⟩? Где-то она сама о себе говорит, что она Durchschnittmensch***. Durchschnittmensch — и есть. Никакой личности, никакого очарования, — *только* хорошее поведение. Этого — для героини — мало. И дети бесконечно лучше даны в Kristin, чем здесь. Хороша, конечно, природа, но мне — как в жизни — в ней мешает Auto и Moto: ее героиня полкниги ездит на автомобиле.

С нетерпением жду *Вашей* оценки, дорогая Анна Антоновна: читая, все время о Вас думала: на Вас оглядывалась.

Но я все-таки никогда не думала, что Unset способна на *скучную* книгу!!!

А вот С. Лагерлёф — *неспособна.* Какая услада — после Ida-Elisabeth — ее Marbacka[3]: их трехсотлетняя родовая усадьба, где она родилась и выросла, к⟨отор⟩ую пришлось продать и к⟨отор⟩ую она потом, уже пожилая, выкупила: дом и сад. Если читали — напишите, если не читали — прочтите, тут же, летом. И подумайте, что ей 80 лет!

Пишу свою Сонечку[4]. Это было женское существо, которое я больше всего на свете любила. М. б. — больше *всех* существ (мужских и женских). Узнала от Али, что она умерла — «когда прилетели Челюскинцы». И вот теперь — пишу. Моя Сонечка должна остаться. Было это весной-летом 1919 г. Без малого — 20 лет назад! (Уехала я в 1922 г. А из Чехии — в 1925 г. Боже! *Как годы летят!*)

Эпиграф к моей Сонечке, из V. Hugo:

Elle était pâle — et pourtant rose,
Petite — avec de grands cheveux****

---

* Сигрид Унсет — «Ида-Элизабет» *(нем.).*
** Йенни *(нем.).*
*** Средний человек *(нем.).*
**** В. Гюго:
Она была бледна — и все же розова,
Маленькая — с длинными волосами... *(фр.).*

104

Ванв, 27-го сентября 1937 г.

Нет, дорогая Анна Антоновна, я Вам писала последняя, и очевидно письмо пропало, странствуя вслед за Вами — в этом письме было прибытие к нам испанского республиканского корабля — беженцев из Сантандера[1], и день, проведенный с испанцем, ни слова не знавшим по-франц⟨узски⟩, как я — по-испански, — в оживленной беседе, в которую вошло решительно — все. Теперь друг — на всю жизнь.

20-го мы вернулись, а следующий за нами поезд, которым мы чуть-чуть не поехали, потерпел крушение: были стерты в порошок два вагона — п. ч. — деревянные. А мы тоже ехали в деревянном, я раньше и не разбирала.

Странно (верней — не странно), я как раз вчера вечером купила заграничную марку — писать Вам, а нынче утром — Ваше письмо. Я чувствовала, что Вы моего испанского не получили, — Вы никогда так долго не молчите.

Все лето писала свою Сонечку — повесть о подруге, недавно умершей в России. Даже трудно сказать «подруге» — это просто была *любовь* — в женском образе, я в жизни никого так не любила — как ее. Это было весной 1919 г. — это была весна 1919 г. И с тех пор все спало — жило внутри — и весть о смерти всколыхнула все глубины, а м. б. я спустилась в свой тот вечный колодец, где все всегда — живо. Словом, это лето я прожила с ней и в ней, и нынче как раз поставила последнюю точку. Писала все утра, а слышала, слушала ее внутри себя — целый день... (пр. 3 с.)

...Вышла большая повесть: 230 моих рукописных страниц. Пойдет (тьфу, тьфу, не сглазить) в новом русском шанхайском журнале «Русские Записки», где мне, пока что, дают полную волю.

Ничего другого не писала, только письма... (пр. 14 с.)

...Нет, дорогая Анна Антоновна, не хочу быть для Вас ни идеей, ни видением: если бы Вы знали, насколько я *жива*. Даже загнанная в невылазную щель *быта*.

...Сплошная обида: так часто люди ездят в Прагу — «съездил в Прагу», «неделя как вернулся из Праги», и — только я не могу, п. ч. у меня никогда не будет таких денег. (Откуда — у них? Должно быть — какие-нибудь казенные, общественные, кому-то нужно, чтобы такой-то ехал в Прагу, — и никому не нужно, чтобы ехала — я: только мне одной!) — Видела в кинематографе похороны Масарика[2]: его строгий замок, его белую бедную комнату с железной кроватью, — сопровождающие факелы — стражу у гро-

ба, с молодыми прекрасными лицами,—плачущий народ... И его—в гробу. *Орлиное* лицо... (пр. 16 с.).

...Читали ли Вы Pearl Buck[3]:

1. La Terre Chinoise
2. Les Fils de Wan-Lung
3. La Famille dispersée*

Она дочь амер⟨иканского⟩ миссионера, родившегося в Китае.

Да, еще *замечательная* ее книга: Mère**.

105

Ванв, 3-го января 1938 г.

С Новым Годом, дорогая Анна Антоновна, и с прошедшими праздниками, с которыми я Вас, увы, не поздравила, хотя непрерывно о Вас думала, особенно под нашей маленькой елочкой, верней сказать—*над!* На ней еще чешские *настоящие* елочные шишки—из вшенорских лесов: само-вызолоченные!.. (пр. 8 с.)

Это моя последняя зима в этом доме, в к⟨отор⟩ом мы живем без малого четыре года и который я, несмотря на все, а верней—смотря на все *вокруг,* мой каштан, Мурину бузину, неизвестно—чьи огороды—люблю и буду любить—пока жива буду. (Как все, что когда-либо любила.) У меня сильнейшее чувство благодарности к «неодушевленным» предметам.

Жизнь идет тихо, Мур учится с учителем, учится средне, п. ч.— скучно: одному, без товарищей, без перерыва *игры,* и учитель—скучный: честный, исполнительный, но из русских немцев и неописуемо-однообразный. Но это все-таки лучше, чем полная незанятость. А я—не могу: из-за печей, и мелочей, и кухни, в к⟨отор⟩ой мороз и в к⟨отор⟩ой провожу полдня, а мне кажется, я всякого—всему—выучу, особенно—тому, что мне самой—трудно, п. ч. я отлично понимаю, ка́к можно *не понимать.* И потому что *каждое* дело—делаю *со страстью*... (пр. 13 с.)

106

Ванв, 7-го февраля 1938 г.

— мне все еще хочется писать 1937—люблю эту цифру—любимую цифру Рильке—

* 1. Китайская земля *(фр.)*.
2. Сыновья Ван-Лунга *(фр.)*.
3. Семья в рассеянии *(фр.)*.

** Мать *(фр.)*.

(пр. 15 с.) ...За всю эту зиму не написала — ничего. Конечно — трудная жизнь, но когда она была легкая? Но просто нет душевного (главного и единственного) покоя, есть — обратное.

(Простите за скучные открытки: такие торжественные здания — *всегда* скучные, но сейчас ничего другого нет под рукой, а на письмо я неспособна.)

Утешаюсь погодой: сияющей, милостивой, совсем не зимней, мы уже две недели не топим: лучше сносный холод, чем этот (мелкий, жалкий!) ад. А на улице просто — расцветаю, хотя смешно так говорить о себе, особенно мне — сейчас: я самое далекое, что есть — от цветка. (Впрочем, и 16-ти лет им не была — и не хотела быть. Тогда же — стихи:

Это были годы роста:
Рост — жесток.
Я не расцветала просто —
Как цветок.

Это — в 16 лет! Умная была, но не очень счастливая. —)

Утешаюсь еще Давидом Копперфильдом[1] (*какая* книга!) и записками Mistress Abel[2] — бывшей маленькой Бетси Балькомб — о Наполеоне на Св⟨ятой⟩ Елене: она была его *последней* улыбкой... (пр. 6 с.)

107

Ванв, 23-го мая 1938 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Думаю о Вас непрерывно — и тоскую, и болею, и негодую — и *надеюсь* — с Вами.

Я Чехию чувствую свободным духом, над которым не властны — тела.

А в личном порядке я чувствую ее *своей* страной, *родной* страной, за все поступки которой — отвечаю и под которыми — заранее подписываюсь.

Ужасное время.

Я все еще погружена в рукописную работу, под которой — иногда — погибаю. Поэтому так долго не писала. Но думала — каждый день.

Сейчас 6 ч. утра, пишу в кухне, за единственным столом, могущим вместить 8 корректур сразу. Из кухни не выхожу: не рукописи — так обед, не обед — так стирка, и т. д. Весны в этом году еще не видела... (пр. 4 с.).

108

Paris 15-me,
32, Boulevard Pasteur,
Hôtel Innova, ch⟨ambre⟩ 36
24-го сентября 1938 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Нет слов, но они *должны* быть.

— Передо мной лежит Ваша открыточка: белые здания в черных елках — чешская Силезия. Отправлена она 19-го августа, а дошла до меня только нынче, 24-го сентября — между этими датами — всё безумие и всё преступление[1].

День и ночь, день и ночь думаю о Чехии, живу в ней, с ней и ею, чувствую изнутри нее: ее лесов и сердец. Вся Чехия сейчас одно огромное человеческое сердце, бьющееся только одним: тем же, чем и мое.

Глубочайшее чувство опозоренности за Францию, но это *не Франция:* вижу и слышу на улицах и площадях: вся настоящая Франция — и *то́лпы* и *лбы* — за Чехию и *против* себя. Так это дело не кончится.

Вчера, когда я на улице прочла про генерала Faucher[2] — у меня слезы хлынули: наконец-то!

До последней минуты и в самую последнюю верю — и буду верить — в Россию: в верность *ее руки.* Россия Чехию сожрать *не даст:* попомните мое слово. Да и насчет Франции у меня сегодня великие — и радостные — сомнения: не те времена, чтобы несколько слепцов (один, два — и обчелся) вели целый народ — зрячих. Не говоря уже о позоре, который народ на себя принять *не хочет.* С каждым часом негодование сильней: вчера наше жалкое Issy (последнее предместье, в котором мы жили)[3] выслало на улицу четыре тысячи манифестантов. А нынче будет — сорок — и кончится громовым скандалом и полным переворотом. Еще ничто не поздно: ничего не кончилось, — все только начинается, ибо французский народ — часу не теряя — спохватился еще до событий. Почитайте газеты — левые и сейчас единственно-праведные, под каждым словом которых о Чехии подписываюсь обеими руками — ибо я их писала, изнутри лба и совести.

А теперь — возьмите следующую страничку и читайте:

Nous sommes un peuple qui devant le tyran jamais ne s'est courbé
Et qui jamais n'a accepté d'être conduit par un homme injuste.
Nous avons conquis la gloire à la pointe de nos lances.
Notre voisin est respecté, et qui vit sous notre égide ne craint rien.
De nos pères nous avons hérité de solides epées.

Qui seules représentent leurs testaments.
Qui veut nous résister, qu'il résiste; et qui veut nous céder, qu'il cède.
Nous destinguons la bonne et la mauvaise monnaie.
(El Korayz ibn Onayf)

On nous blâme de ce que nous ne soyons pas nombreux.
Je leur réponds: Petit est le nombre des héros!
Mais ils ne sont pas en petit nombre ceux qui sont représentés
Par des jeunes gens qui montent à l'assaut de la gloire—
Et d'être peu nombreux ne nous nuit guère.
Nous avons une montagne qui abrite ceux que nous protégeons,
Inexpugnable, qui fait baisser les yeux de fatigue.
Sa base repose profondément dans la Terre
Et sa cime s'éléve superbe jusqu'aux étoiles.
Notre race est pure, sans mélange, issue
De femmes nobles et des héros.
Nous sommes comme l'eau des nuages: utiles
A nos semblables: il n'est point d'avares parmi nous.
Nous donnons un démenti aux paroles d'autrui
Et personne ne peut démentir notre dire.
Si un d'entre nous vient à périre, un autre se léve
Eloquent, mettant en action les propos des âmes hautes.
Notre feu est toujours allumé pour accueillir le voyageur
Et jamais hóte n'eut à ce plaindre de notre hospitalité.
(El Samaoual)

Qui dispense ses biens pour préserver sa gloire
La préserve, et qui ne répudie pas l'insulte, est insulté;
Qui est fidèle à son serment ne saurait être jugé,
Qui n'honore pas son âme, ne peut être honoré!
Qui ne protège pas son champ par les armes, est perdu.
La langue et le coeur, l'homme est fait de ces deux moitiés.
Le reste, chair et sang, n'est qu'une image.

Si tu es atteint par le malheur
Revêts-toi de patience—cela est plus digue.
Surtout garde-toi de te plaindre à tes semblables.
Ainsi tu te plaindrais du Dieu de la miséricorde—
à des gens sans miséricorde!
Si la fortune te combat—prends patience,
Car la fortune n'a pas de patience.

Prends courage. Jusqu au dernier souffle de ta vie
Cache aux ennemis ton découragement.
La joie de tes ennemis est de te voie bas et las,
Mais ils sont dans la tristesse à te savoir patient.

C'est un temps difficile—mais il sera suivi par l'abondance.
C'est un malheur—il sera suivi d'une joie prochaine.
Réfléchis: un chagrin qui doit passer
Vaut mieux qu'un bonheur qui ne peut pas durer.

Si le malheur te frappe encore, de façon
A rendre vains tes malheurs passés,
Et si après cela de nouveaux malheurs arrivent
Et si après cela de nouveaux malheurs arrivent
Qui te font prendre en horreur la vie—
Espere!
Car tes malheurs touchent à leur fin.

Hier m'a fait pleurer,
Auiourd'hui je pleure hier.

Перевод:

Мы народ, никогда не склонявшийся перед тираном,
Никогда не дававший себя вести неправедным людям.
Мы добыли славу остриями собственных копий,
Чтим соседа, и живущий под нашей защитой всегда спокоен.
Мы унаследовали от предков надежные шпаги,
Которые сами составляют свои завещания.
Кто решил нам противиться—пусть противится;
кто решил уступить нам—пусть уступает:
Мы всегда отделить сумеем зерно от плевел.
(Эль Кораиз ибн Онаиф)

Нас немного, но тем, кто за это нас порицает,
Я отвечаю: героев—единицы!
Хотя на самом деле не так уж и мало
Молодых людей, берущих приступом славу:
Наша малочисленность—нам не помеха.
Мы неприступной горой владеем—здесь могут укрыться
И очи смежить от усталости все, кто попросит нашей защиты:
Ее основание уходит в земные недра,

Ее вершина вздымается к самым звездам.
Род наш, чистый по крови, происходит
От героев и благородных женщин.
Мы подобны каплям дождя: мы служим поддержкой
Себе подобных — и никогда не скупимся.
Речи чужих мы опровергаем — но никто не в силах
Опровергнуть наши собственные речи.
Стоит пасть одному из нас — как другой, поднявшись,
Подхватывает слова и дела высоких порывов.
Наш огонь горит, привечая в пути скитальца,
Наш гость не посетует на недостаток гостеприимства.
(Эль Самауаль)

Кто раздаст нажитое, дабы не утратить славы, —
Ее не утратит, а кто не отвергнет обиды — будет обижен;
Кто верен клятве, того осуждать не станут,
Кто сам не чтит свою душу, не будет чтимым другими!
Не охраняющий поле оружием будет ограблен.
Язык и сердце — вот из чего состоит мужчина.
Все остальное — плоть и кровь — всего лишь воображение.
Ежели ты сокрушен несчастьем,
Облачись в терпенье — терпенье всему преграда.
Главное: остерегайся жаловаться себе подобным.
Помни: ты сетовать будешь на божественное милосердие —
людям немилосердным!
Тебя хватает за горло судьба — наберись терпенья,
Ибо как раз терпенья судьбе не хватает.
Будь мужественным. До последнего вдоха
Прячь от врагов упадок духа.
Недругам радостно видеть тебя уставшим и павшим,
Им невыносимо твое долготерпенье.
Настали суровые времена — но за ними последует изобилие.
Настали горести — но за ними последует грядущая радость.
Сам посуди: печаль, что уже проходит,
Дороже счастья, неспособного длиться дальше.
Если сразит тебя новое горе, перед которым
Прошлые беды станут пустой тщетою,
И если снова обступят тебя напасти,
Вызывая в тебе ужас перед жизнью, —
Надейся!
Ибо к концу подходят твои несчастья.
Вчера меня принудило плакать.
Сегодня я оплакиваю вчера.

(Пер. с фр. М. Яснова)

Это — арабская поэзия, чистым случаем попавшая мне в руки — в *нужную* минуту. Все это сказано больше тысячи лет назад.

Хочу знать о Вас и страстно жду весточки. Если бы события нас разъединили — говорю на всякий *невозможный* случай — знайте, что Вы — *всегда* со мной — но знайте еще, что я *всё сделаю*, чтобы и наша внешняя связь не порвалась.

Обнимаю Вас и в Вашем лице — всю мою родную Чехию: «mit dem heimatlichen «prosim»* — (Rilke).

М.

Мне сейчас — стыдно жить.
И всем сейчас — стыдно жить.
А так как *в стыде* жить нельзя...

— Верьте в Россию!

P. S. Полгода назад — здешний ясновидящий Pascal Fortuny — старинный и старомодный старичок с белой бородой — профессор — подошедши ко мне, севшей нарочно подальше, поглубже — сказал:

— Je Vous vois dans une ville ancienne... Beaucoup d'eau... beaucoup d'eau... Vous êtes sur un pont — aves des statues... pour ainsi dire... flottantes... Et je vois un crucifix, un très grand crucifix...

— J'ai bien été à Prague, Monsieur, mais beaucoup d'eau s'est écoulé sous le Karlov Most depuis que je m'y suis accoudée pour la dernière fois...**

Теперь я поняла: он просто видел — будущее (А тогда я обиделась за моего рыцаря — что *его не помянул*! Обнимите его за меня!)

---

* См. перевод на с. 372.

** — Я вас вижу в старинном городе... Много воды... много воды... Вы на мосту — со статуями... так сказать... плавающими... И я вижу распятие, очень большое распятие... — Я была в Праге, мсье, но уже много воды протекло под Карловым мостом с тех пор, как я в последний раз на него облокотилась... *(фр.)*.

109

Paris 15-me
32, Boulevard Pasteur, ch⟨ambre⟩ 36
3-го октября 1938 г.

Дорогая Анна Антоновна!

Дней 8 — 10 назад отправила Вам большое письмо, но не знаю, дошло ли: в нем были арабские стихи (по-французски) о великом, свободном, верном слову, народе[1]. Повторю вкратце: Чехия для меня сейчас — среди стран — единственный человек. Все другие — волки и лисы, а медведь, к сожалению — далёк. Но — будем надеяться, надеюсь — твердо.

Лучшая Франция: толпы и лбы — думают и чувствуют, как я, а те, что *поступают* — ничего не чувствуют и — мало думают.

Бесконечно люблю Чехию и бесконечно ей благодарна, но не хочу *плакать* над ней (над здоровым не плачут, а она, среди стран — единственная здоровая, больны — те!), итак, не хочу плакать над ней, а хочу *ее петь*.

Мне бесконечно жаль, что у меня нет ни одного отличия, чтобы сейчас их вернуть: швырнуть.

Нынче, среди бесчисленного списка протестующих, с радостью и даже со счастьем прочла имена François Joliot и Irène Curie[2], тех, что в этом темном мире продолжают светлейшее и труднейшее дело радия. (Madame Curie[3], открывшая радий, мать нынешней, сама родилась в угнетенной, затемнённой стране, что не помешало ей — осветить весь мир — а может быть и *заставило*. Наравне с радием она любила родину. И свободу.) Прочтите книгу о ней ее дочери: Eva Curie — Madame Curie, лучший памятник дочерней любви и человеческого восхищения[4].

Жду весточки. Поскорее. Надеюсь, что скоро начнут ходить настоящие письма. Получила письмо от Али: вспоминает детство, дремучие леса, игру Вашей мамы, Вас с сестрой, кота Муцика.

Обнимаю Вас от всей души и жду, жду, жду — хотя бы нескольких слов. Ваша открытка из темных лесов — последнее.

М.

110

Hôtel Innova, ch⟨ambre⟩ 36
24-го октября 1938 г.

Дорогая Анна Антоновна! Ваша открытка — большая радость, переписала ее Але. Счастлива знать, что хоть немножко ободрила Вас в Вашем семейном горе[1], которому сочувствуют все мои близкие, все когда-либо подошедшие к Вашей семье. Недавно, в кинематографе, я так живо вспомнила Вас и Ваших: секундное видение города — такой красоты, что я просто рот раскрыла (не хватило глаз!). Ряд мостов — где-то среди них — мой, с Рыцарем — точно ряд радуг — меня просто обожгло — красотой! Подпись: Прага. И я подумала: чтобы любить город, нужно никого в нем не любить, не иметь в нем любви, кроме него: *его любить* — тогда и полюбишь и напишешь. («Любить» беру: неразумно, безумно — любить.) Вы для меня — настоящее лицо Вашего города. (А помните уроки вязания при лунном свете у лесничего? Я — помню...)

Читаю сейчас книжку «По золотой тропе», надписанную: «Дорогая М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩, мне очень хотелось посвятить Вам эту книгу» — декабрь 1928 г.: 10 лет (вечность!) назад[2]. Книга, как всё этого автора — легкомысленная: слишком много любил, кроме этой «золотой тропы», но все-таки — ландшафты, имена, кусочки истории, кусочки жизни... Не знаете ли Вы какой-нибудь другой вещи — в этом роде, но лучше — где бы и история, и география, и *легенды* — лучше всего: книга для юношества, хорошо бы — с картинами, можно, в кр⟨айнем⟩ случае, и на чешском: со словарем — справлюсь. Вроде: Родной край, для больших детей, мне это бы очень пригодилось для одной моей литературной мечты. И еще просьба: страстная: пришлите мне *большое* изображение моего Рыцаря[3], другое — города, снятого с Градчан[4], — чтобы *весь город*, с рекой и мостами, а м. б. можно и *с Градчанами*? Словом, Вам виднее, но не снимок с картины и не цветное, а хорошую точную фотографию. Эти два изображения следовали бы за мной повсюду, как та каменная пряха из Шартрского собора: уже 500 лет — в живом солнечном луче — сидит и прядет...

Вы мне однажды — тоже десять лет назад! — уже посылали Рыцаря (большого, во весь рост), но у меня его тогда вымолил покойный Н. П. Гронский, и я сейчас давно уже — и тщетно — ищу его следов. (Часть вещей взяла мать, часть — отец, часть — сестра,

часть — друзья...) Я бы хотела с *очень ясным* лицом, чтобы видны были черты и чтобы сам он был большой: поменьше фону и побольше его: *большую* фигуру. — Если мыслимо. — Очень, очень буду счастлива: заветная мечта, здесь — неосуществимая. И — поскорее!

О, как я скучаю по Праге и зачем я оттуда уехала?! Думала — на две недели, а вышло — 13 лет. 1-го ноября будет ровно 13 лет, как мы: Аля, Мур, я — въехали в Париж. Мур был в Вашем голубом, медвежьем, вязаном костюме и таком же колпачке. Было ему — ровно — день в день — 9 месяцев. — Тринадцать лет назад. Обнимаю Вас и сестру, всегда и во всем — с Вами. Сердечный привет от Мура.

М.

Рыцаря — тоже фотографию, не снимок с картины!!!

111

Hôtel Innova,
10-го ноября 1938 г.

Дорогая Анна Антоновна! Все получила — и книгу и открытку. Книга — чудесная, как раз то, что мне нужно, и бесконечно Вам за нее благодарна, не расстанусь с ней никогда. Здесь, кстати, на днях пойдет пьеса Карла Чапека[1] в театре Rideau de Paris, и, как Вы наверное знаете, ведется лучшей частью интеллигенции горячая кампания за присуждение ему нобелевской премии, есть подпись Joliot-Curie (обоих, неизменно присущая под всяким правым делом: они для меня, некий барометр правды). О Рыцаре не беспокойтесь: пришлите мне, если есть простую открытку, где он возможно крупнее и яснее, чтобы можно было увеличить, это мне сделают, и будет у меня *большой* Рыцарь. Только не туманную (художественную), а простую фотографию, по возможности face. Очень рада, что дошло мое большое письмо, арабские стихи остаются в силе. А вот еще одна хорошая строка, из Мистраля[2]. — Croire mère à la victoire!* — и прочла я ее в вечер того дня, утром которого кому-то сказала: — «Я даже не выношу, чтобы ее жалели, *только* верили!» и вдруг, у Мистраля (читаю

* Больше верить в победу! *(фр.)*

в переводе: писал на провансальском) этот возглас. Книгу показываю всем друзьям, и даже недрузьям, и даже недрузья — чувствуют. А на другом языке я бы сейчас ее и читать не стала. Я тоже (в первый раз в жизни!) читаю все газеты, и первый вопрос, утром, Муру, приходящему с газетой: — А что с Чехией? Вижу ее часто в кинематографе, к сожалению — слишком коротко, и стараюсь понять: что за стенами домов — таких старых, таких испытанных, столько видавших — и перестоявших. А в магазинах (Uni-Prix), когда что-нибудь нужно, рука неизменно тянется — к чешскому: будь то эмалированная кружка или деревянные пуговицы, т. е.: сначала понравится, а потом, на обороте: «Made in Tchécoslovaquie»*. Вот и сейчас пью из такой эмалир⟨ованной⟩ кружки. И недавно, у знакомой выменяла кожаный кошелек, на картонную коробочку для булавок, с вытесненной надписью: Praha, Václavské nám⟨ěsti⟩ и Musea. Всё это, конечно, чепуха, но такою чепухой любовь — живет. Если бы я могла, у меня все бы было — чешское. Вы пишете о прохладности друзей — о 20-ти годах дружбы — эх! — Я давно отказалась понять других: *всё по-другому*, не с чего начать. Напр⟨имер⟩, вдова недавно умершего русск⟨ого⟩ писателя, живущая только им, не едет 1-го и 2-го ноября на кладбище, п. ч. очереди на автобус, и ее могила в эти дни, когда у всех гости, остается — одна. Потому что трудно сесть на автобус. Убейте — не пойму. Любовь — дело, кто только чувствует — не любит: любит — свои чувства.

Что́ мне Вам прислать отсюда, дорогая Анна Антоновна? П. ч. изредка бывают оказии. Есть чудесные книги: Шартр, Реймс, раннее средневековье: не читать: только глядеть. Но м. б. у Вас есть какое-нибудь предпочтение? Отзовитесь непременно. И знайте, что из Ваших русских друзей я все эти месяцы от Вас не выходила.

О себе: живу как во сне, почти не пишу: почти все пришлось раздать по рукам — и руки опускаются. «Et pourtant il y avait quelque chose — là!»** (А. Шенье, указывая на лоб). Потом поймете. — Читаю сейчас, первый раз в жизни, полную Хижину дяди Тома: отличная книга, мужественная и — вполне современная[3]. Прочла Le J. Süss*** — Фейхтвангера[4]: тоже современно. Все обиды — стары как мир… (пр. 6 с.)

…Целую Вас крепко и бесконечно благодарна за чудесную книгу о чудной стране. Пишите!

МЦ.

* «Сделано в Чехословакии» *(англ.-фр.)*.

** А все же там кое-что было! *(фр.)*

*** Еврей Зюсс *(фр.)*.

112

Hôtel Innova
24-го ноября 1938 г.

Дорогая Анна Антоновна! Вот — стихи[1]. Пометка к третьему стихотворению (если неясно): — Есть в груди народов — язва: *наш* убит! То есть народы *эту* беду оплакивают — как свою, ибо радости от этой беды не будет *ни одному народу*: только — лицам. И не только *как свою* (оплакивают) — и как свою, ибо радости от этой беды не будет *ни одному народу*: только — лицам. И не только *как свою* (оплакивают) — и как *свою будущую*, если не... Но отсутствие выводов не только свойство народов и народа, а и так называемых «культурных людей». — «Какой ужас — опять отобрали 60 поселков...» «Какой ужас с евреями!»... «Какой ужас — вместо 65 сант⟨имов⟩ — марки — 90 сантимов!» И все — «ужас», а *почему* все эти ужасы, и почему они все вместе — никто (из моего окружения: культурного: пишущего) не хочет понять — и даже вопроса не ставит — слишком боясь услышать *ответ*. Все это то же малодушие, и косность, и *жир* (или — тяга к нему!) — которые сделали то — что сделано. Я в цельности и зрячести своего негодования — совершенно одинока. Я не хочу, чтобы всех их — жалели: нельзя жалеть живого, зарытого в яму: нужно живого — выкопать, а зарывшего — положить. Такая жалость — откупиться. — «Какой ужас!» — нет, ты мне скажи — *какой* ужас, и, поняв, уйди от тех, кто его делают или ему сочувствуют. А то: — «Да, ужасно, бедная Прага», а оказывается — роман с черносотенцем, только и мечтающим вернуться к себе с чужими штыками или — просто пудрит нос (дама), а господин продолжает читать Возрождение[2] и жать руку — черт знает кому. В лучшем случае — слабоумие, но видя, как все отлично умеют устраивать *свои* дела, как отлично *в них* разбираются — не верю в этот «лучший случай». Просто — lâchete*: то, что (нынешним) миром движет.

Я вчера — после очень долгого промежутка — виделась с М⟨арком⟩ Л⟨ьвовичем⟩, и мы во всем с ним спелись. Но такие беседы — раз в год, а «жить» мне приходится — с такими другими! Вернее — живу одна, с собой, с другими — не живу: или бьюсь о них лбом — как об стену — или молчу. Я думаю, что худшая болезнь души — корысть. И страх. Корысть и страх.

Теперь, дорогая Анна Антоновна, большая просьба: 1. напишите мне, где именно, в точности, у Вас добывается радий? М⟨арк⟩ Л⟨ьвович⟩ назвал Иохимов[3] — но это наверное город?

---

* Подлость *(фр.)*.

Назвал еще—отроги Крконош, но м. б. у этих отрогов есть какое-нибудь особое, *местное* имя? (Здесь, в Савойе, напр⟨имер⟩, у каждой горы есть имя, кроме собирательного: у каждой вершины.) Где в точности, *в какой горе* добывается радий? Мне это срочно нужно для стихов. И дайте немножко ландшафт. Я помню—в Праге был франц⟨узский⟩ лицей, как бы мне хотелось чешскую (природную) географию для старших классов, со всеми названиями горных пород и земных слоев—и такую же историю. Два учебника—по возможности по-французски, но если—нет, постараюсь понять и по-чешски, куплю словарь. Я помню—в разговорах Гёте с Эккерманом—целый *словарь* горных пород![4] а дело ведь было в Богемии.

И еще просьба: дайте прочесть мои стихи чешским поэтам, и вообще своим друзьям—чтобы знали—что есть один бывший чешский гость, который добра—*не забыл.*

Еще одна просьба: безумно хочу ожерелье (длинное) из богемского *дымчатого (не белого!)* хрусталя, гранёного. Узнайте, сколько такое стоит: не вокруг шеи, а чтобы лежало на груди, т. е. длинное граненое, дымчатое, по возможности из круглых и крупных бус (бывают «moderne»—какие-то кривые, я их не люблю), и я тогда Вам вышлю нужную сумму с оказией, а Вы мне его пошлете—échantillon recommandé* (не знаю как по-чешски). *Очень* прошу Вас! Хотелось бы, чтобы все бусы были одной величины, не: на шее крохотные, потом больше, потом громадные, но если одинаковой величины *не делают*, то узнайте мне и цену постепенного—*лучшего.* (Помню, в Москве, на Кузнецком мосту: *Богемский хрусталь графа Гарраха*[5]*.)*—Пишу Вам под звуки торжественного марша в честь парижского почетного гостя Чемберлэна[6], в данную минуту входящего в Hôtel de Ville**. Ему сейчас подносят 2 тома «La Ville de Paris»***, переплетенных каким-то знаменитым мастером, с золотом вытесненной подходящей надписью—как Александру I на Венском Конгрессе[7]—Ч⟨емберлен⟩ вошел: «J'ai peine à me représenter que ce grand vieillard qui est en train de distribuer des sourires pleins de bonhomie a pu tenir dans ses mains fragiles le sort de millions et de millions d'êtres...**** (точные слова спикера)... Описание чая и сандвичей—и огромного роста лорда Галифакса[8]—и «la fine fleur de l'aristocratie française, qui est venue ici pour fair honneur à nos

* Заказной почтой *(фр.).*

** Здание городской ратуши *(фр.).*

*** «Город Париж» *(фр.).*

**** «Я с трудом могу представить себе, что этот великий старец, занятый раздачей полных добродушия улыбок, мог держать в своих хрупких руках участь миллионов и миллионов существ...» *(фр.).*

hôtes — их платьев и фраков — sous la lumière crue des lustres»*. — Музыка (довольно легкомысленная). Спикер объясняет: ария из оперетки — «Une tasse de thé — prise dans l'intimité» — и уточняет: c'est du thé du Ceylan**.

Встречать миротворца — арией из оперетки — такого бы и романист — и юморист — не придумал! Но м. б. они здесь снизошли к его возрасту! полагая, что *такому* старику всё, кроме оперетки, уже трудно. Начались речи. «Madame, j'aurais voulu que tout Paris...»*** (Это он жене говорит. Что он «touché jusqu'aux larmes»**** и благодарит ее за «sourire»*****. Это — Prevost de Launey). «L'homme d'Etat et l'homme de coeur qui avec la collaboration de notre Chef d'Etat et de son premier Ministre a su conjurer les horreurs de la guerre... Vous avez fait dans l'histoire une entrée impérissable... Pour avoir concu et réussi une telle entreprise il a fallu être le continuateur de *d'Israeli*[9] (!!! — еврейские погромы) et de Gladstone[10]... M. le Premier Ministre est issu du même terroir que notre Duguesclin[11]... Je suis sûr, M. le M., d'exprimes les sentiments de tous les Parisiens, de toutes nos provinces et de toute la France...»****** (Говорил — Président du Conseil Municipal*******). Теперь — другой — не успеваю записывать, но приводится фраза самого Ч⟨емберлена⟩, что без «dignité morale la vie vaut pas d'être vécue...»********. Теперь говорит — по-французски, к⟨оторо⟩го не знает — сам Ч⟨емберлен⟩: «Qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde gratitude pour la réception que m'a faite Votre belle capitale...» — «je suis sûr que cette conviction est partagée par tous les peuples du monde... Ma tâche est noble et mérite tous nos

---

* «Верхи французской аристократии, пришедшей почтить наших гостей... под ярким светом люстр» *(фр.)*.

** «Чашка чаю — выпитая в интимной обстановке»... цейлонского чаю *(фр.)*.

*** «Мадам, я хотел бы, чтобы весь Париж...» *(фр.)*.

**** «Растроган до слез» *(фр.)*.

***** За «улыбку» *(фр.)*.

****** ...Прево де Лоней. «Государственный деятель и человек большого сердца, который в сотрудничестве с главой нашего государства и его премьер-министром сумел предотвратить ужасы войны... Вы заняли в истории незабываемое место... Чтобы совершить подобное блестяще продуманное и имевшее успех предприятие, нужно быть продолжателем дела Дизраэли ⟨...⟩ и Гладстона... Господин премьер-министр происходит из той же страны, что и наш Дюгеклен... Я убежден, господин министр, что выражаю чувства всех парижан, всех наших провинций и всей Франции...» *(фр.)*.

******* Президент муниципального совета *(фр.)*.

******** Без «нравственного достоинства нельзя прожить жизнь» *(фр.)*.

efforts...»* (Conviction** — что сделанное им дело — единственное правильное) ...«Je pense — comme nos amis du Figaro...»*** (допотопная газета, к⟨отор⟩ую читают только vieux rentiers**** и к⟨отор⟩ая вызывает только юмор). Словом, говорил старый благодушный господин, неспособный и мухи обидеть: *пребывший* первый ученик. Рукоплескания были — иначе не скажу — круглые: как портфели рукоплещущих. Вот бы Вашему Чапеку — живописать эту встречу: иллюминированный Hôtel de Ville — председатель с лентой — дамы в голом и мужчины в черном — никого из народа: ни одного из целого народа — благодарность — от имени этого (недопущенного) народа за... услугу — другому народу — ответная, наизустная речь на языке, которого не знает — марш и чай — оперетка и сандвичи — и — моравская хата, новый пограничный столб, вся мрачность ноябрьской ночи...

Но другое: на Лионском вокз⟨але⟩ — 100 арестов и отчаянная драка, а перед зданием англ⟨ийского⟩ посольства женская англ⟨ийская⟩ толпа кричала: Да здравствуют Черчилль[12] и Идэн[13]! И было столько свистков и улюлюканий по дороге с Лионского вокз⟨ала⟩ в посольство, что пришлось прекратить радиорепортаж, но слушавшие — слышали. Нет! Французский народ — ни при чем, и скажите это всем. Ведь и Наполеону изменили маршалы (задáренные!), а не гренадеры, собственная жена, а не troisième berceuse***** его сына приславшая ему на Св⟨ятую⟩ Елену — под видом *своих* (седых!) волос собственному сыну: слуге Наполеона — золотую прядь его сына. Les humbles****** — *всегда* верны, и всегда верно видят и судят. Ваша страна была (и вновь будет) страна этих *humbles*, где им были даны — *все права*, где решали — они. И за это я *Вашу* страну — люблю и чту — больше всех стран на свете. Вы не лили крови. Вы только — на всех полях — *лили свою*.

Я думаю, Чехия — мое первое такое горе. Россия была слишком велика, а я — слишком молода. Горюю и о том, что я и для той Чехии была слишком молода: еще слишком была занята людьми, еще чего-то от них ждала, еще чего-то хотела, кроме — страны: кроме Рыцаря и деревьев, что в Карловом Тынý[14], глядя из окна на море вершин — еще чего-то хотела — кроме.

* «Да будет мне позволено выразить мою глубокую благодарность за прием, который мне оказала ваша прекрасная столица... я уверен, что это убеждение разделяют все народы мира... Моя задача благородна и заслуживает всех наших усилий...» *(фр.)*.

** Убеждение *(фр.)*.

*** «Я полагаю — как наши друзья из Фигаро...» *(фр.)*.

**** Престарелые рантье *(фр.)*.

***** Третья няня *(фр.)*.

****** Обездоленные, смиренные *(фр.)*.

И — тринадцать лет спустя — нет, уже пятнадцать! — скажу, что лу́чшее в Праге было — Рыцарь, а в Карловом Тыну́ — не мой юный спутник (к⟨оторо⟩го давно забыла!) а — сам старый Тын. — Un cas délicat se posera d'ailleurs aux autorités policieres. Devant l'ambassade se trouvait un groupe d'Anglaises qui n'accueillirent pas les Ministres avec des cyclamens mauves, comme l'avaient fait quelques dames françaises dix minutes avant, sur le quai de la gare, mais avec les cris: «Vive Iden! Vive Churchill!»*

Кончаю — вместе с листом. Вопросы: гора радия 2. главный: пришлите мне поскорее и чешский текст и *дословный* перевод «Где мой дом»[15] — *весь текст* 3. учебник физической географии и истории 4. цену дымчатого хрустального ожерелья, самого лучшего. (Книг авионом не посылайте: дорого, буду ждать сколько угодно.) Напишите как понравились стихи. Писала их — потоком: они сами себя писали. Обнимаю и всегда помню.

М.

(пр. 1 с.)

113

Hôtel Innova, 26-го декабря 1938 г.

С Новым Годом, дорогая Анна Антоновна!

Но каким ударом кончается — этот! Только что Мур прочел мне в газете смерть Карела Чапека. 48 лет! Мог бы жить — еще 20! И именно сейчас, когда так важен и нужен — каждый, когда *человек* уже значит — *герой*. От какой болезни умер?[1] В газете только — «après une courte maladie»**. Я просто — ушам не поверила: — Да это — ошибка! Не может быть! Ведь только что — разговоры о премии Нобеля! (NB! точно это может отвратить — смерть!) И только когда сама, глазами, прочла — поверила. Жалею в нем чеха, жалею в нем человека, жалею в нем собрата, жалею в нем — *свое* поколение. Нашего полку — еще убыло́.

С сентябрьских дней — дня не прошло, чтобы я утром не спросила Мура: — А что́ — про Чехию? и как часто: — Про Чехию — ничего. А нынче — *чего*.

---

* При этом щекотливый случай произошел в присутствии полицейских. Перед посольством находилась группа англичанок, которые встречали министров не сиреневыми цикламенами, как это сделало несколько французских дам за десять минут перед тем, на перроне вокзала, а криками: «Да здравствует Иден! Да здравствует Черчилль!» *(фр.)*

** «После непродолжительной болезни» *(фр.)*.

Я совсем оглушена этим ударом. Точно год, на прощание, поднес свой последний подарок: взяв — все, взял — еще это. И какое чувство — укора, точно я, живя во Франции, какой-то — соубийца. (Та́к нужно понимать третье стихотворение: оно от лица — лучшей — Франции. Я неустанно чувствую, что жизнь нации сейчас идет — помимо народа: против народа, и что это — почти везде на земном шаре: что никогда так не шли врозь: народ — и вожди.)

Бедный Чапек! Что он унес на прощание? Измену — предательство — победу грубой силы. *Горько* — та́к умереть.

Одно — немножко — утешает, смягчает: чудесность дня. Он, как Симеон, дождался Христа[2]. Пусть — не ждал, все равно — дождался! Хочется сказать: в Рождество умирающий — не умирает. Еще думаю: может быть — в окно лечебницы — видел снег — большие хлопья — и от этого — тише уснул. Господи, дай, чтобы он когда-нибудь — откуда-нибудь — увидел свою страну — воскресшей! Чтобы оба воскресли — страна и он! — Amen*. —

Вспоминаю в Праге, в Градчанах, церковь — которую я окрестила: Святой Георгий под снегом — потому что камень, из которого она построена — мерцающий, снежный — даже летом. Я помню, я раз зашла — и полчаса стояла — и всё время пела одно: — Святой Георгий, помилуй нас! Только эти слова. И вот, из-за снега, сейчас вспомнила. И тоже — стою и говорю: — Святой Георгий, помилуй нас!

Я страшно мерзну — и днем и ночью, и на улице и в доме: пятый этаж, отопление еле те́плится, ночью сплю в вязаной (еще пражской) шапке, вспоминаю Вшеноры, нашу чудную печку, которую топила *своим*, до́бытым хворостом. И ранние ночи с лампой, и поздние приходы занесенного снегом, голодного С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩ — и Алю с косами, такую преданную и веселую и добрую — где всё это?? Куда — ушло??

Я — страшно одинока. Из всего Парижа — только два дома, где я бываю. Остальное все — отпало. Если бы эти мои друзья — случайно — уехали, у нас бы не осталось — никого. На весь трехмиллионный город. (У одних бываем — раз в неделю, у других — раз в две, а то и в три: не зовут — не идем: не позовут — не пойдем.)

Если бы я сейчас была в Праге — и Вам было бы лучше — и мне. Здесь мое существование — совершенно бессмысленно. А там бы я с новым жаром все любила. И может быть — опять стала бы писать. А здесь у меня чувство: к чему? Весь прошлый год я дописывала, разбирала и отбирала (потом — поймете),

* Аминь *(лат.)*.

сейчас — всё кончено, а нового начинать — нет куражу́. Раз — всё равно не уцелеет. Я, как кукушка, рассовала свои детища по чужим гнездам. А растить — на убой…

Но ёлочка все-таки — была. Чтобы Мур когда-нибудь мог сказать, что у него не было Рождества без елки: чтобы когда-нибудь *не мог* сказать, что *было* Рождество — без елки. Очень возможно, что никогда об этом не подумает, тогда эта жалкая, одинокая елка — ради моего детства и ради тех наших чешских елок с настоящими еловыми и сосновыми шишками, которые сами золотили — жидким золотом.

Всё меня возвращает — в Чехию.

Я никогда, ни-ког-да, ни разу не жалела, что мне не двадцать лет. И вот, в первый раз — за все свои *не-двадцать* — говорю: Я бы хотела быть чехом — и чтобы мне было двадцать лет: чтобы дольше — драться. В Вашей стране собрано все, что мне приходится собирать — и любить — врозь. А если у Вас нет моря — я его, руку на́ сердце положа, никогда не любила: не любила — *больше всего*, значит — не любила. (Читали ли Вы «Мой Пушкин» — там всё: о море и мне.)

Спасибо за Яхимов[3]. Но не́ было бы (верней: нет ли) у той радионосной горы — отдельного названия? Яхимов — город, где обрабатывали, а гору — как звали? Или, хотя бы — весь горный хребет? (Здесь, напр⟨имер⟩, в Савойе, в Арденнах, и в Alpes Maritimes*, есть свое имя — у каждой горы и даже вершины: la pic de… Мне это очень важно — для стихов.)

Жду истории своего Рыцаря. Всё, что́ знаю — что это он добыл Праге двухвостого льва[4]. Напишите мне, дорогая Анна Антоновна, всё про него: с кем дрался, где блуждал, откуда привёл льва? И еще одна просьба: знаю, что — трудная: записывайте про Чехию — всё, всё, все маленькие случаи, как с теми крестьянками (нарядами) и детьми (конфетами). — Ведите *дневник страны*. Кто будет перечитывать старые газеты? Да наверное и в газеты-то не всё попадает. Простые записи: там-то — и тогда-то — то-то. Несколько строк в день. Будет — *памятник*.

Рада, что стихи дошли[5] — до глаз и сердца. Я их *очень* люблю и они мне самой напоминают (особенно — второе) те несмолчные горночешские ручьи: та́к они и писались — потоком.

Кончаю вечером, Мур уже спит. Нынче вечером — грустная радость: несколько слов о Кареле Чапеке — в одной из двух газет, под каждым словом о Чехии которых в те дни подписывалась. Автор — известный поэт и публицист[6]. Напишите — как понравилось.

* Приморские Альпы *(фр.)*.

Нет, дорогая Анна Антоновна, *не будем.*

Всё знаю, но зная еще, что все это — на час, что есть la justice des choses*, наше народное: Бог правду видит — да не скоро скажет. Знаю еще, что бывают — чудеса, у которых — свой закон.

Дай Вам Бог в Новом Году — новой надежды — и веры. Вспомните «La dernière classe»[7] Daudet («Lettres de mon moulin»)** — и Польшу, давшую Шопэна и открывшую радий.

— Да сбудется!

М.

Очень рада, что понравился мой львенок. Я такого гладила в Праге — в цирке. Он — жёсткий.

Нынче (27-го) читаю, что большинством голосов (4 тыс⟨ячи⟩ нá 2 тыс⟨ячи⟩) некий конгресс признал свою ошибку — 3 мес⟨яца⟩ назад[8]. Чтó сказать, кроме: бессовестные идиоты, дальше носу своего не видящие? Где они *тогда* были?? Ах, ясно: когда дело коснулось собственных дел — прозрели, увидели, завопили. Вот что значит — жить нынешним днем и «своя рубашка к телу ближе». Вы не думаете, что это — начало la justice des choses? Ты предал — предадут и тебя. Кому предал — тот и предаст. Только жаль, что платить будут — невинные, знавшие — и не могшие ничего отвратить. Нельзя от лица народов — делать мерзости!

114

Hôtel Innova, 3-го января 1939 г.[1]

С Новым Годом, дорогая Анна Антоновна! Поздравляю Вас вторично. После Вашего большого письма, где Вы писали о радии и о деревенских детях, было два больших моих: одно — сразу (т. е. недели 2 назад), другое — 26-го декабря, сразу после смерти Карела Чапека и всё письмо было о нем, с отзывами на смерть здешних писателей. Дошли ли, кстати, до Вас слова Б. Шоу[2]: — Почему он умер, а не я? Почему молодой, а не старый? Он его называет своим близким другом и оплакивает его — всячески… (пр. 13 с.)

…Просила в тех письмах — прежних — непременно сообщить мне подробную историю Рыцаря: все что знаю — что добыл двухвостого льва (львенка). — «А то é мало» — как говорила ехидная старушка, продававшая зеленину по хатам, в ответ на мое: Нынче — ниц. Я всю Чехию прожила в глубоком сне — снах — так

* Справедливость порядка вещей *(фр.)*.

** «Последний класс» Доде («Письма с моей мельницы») *(фр.)*.

и осталась сном, вся, с зайцами и с ланями, с перьями фазаньими — которые, кстати, у меня еще хранятся, подобранные по лесным чащам, по которым я лазала — сначала с Алей, потом с молодым Муром на руках.

Мур (скоро 14 лет, ростом почти с отца) на подаренные мною на праздники деньги купил себе книгу про зверей, книгу странных историй (Histoires à dormir debout*) и звериное вырезание (картонаж — всякие Mickey, коровы и собаки). Мне — пепельницу и пачку папирос. У нас была (и еще есть) ёлочка, маленькая и пышная, как раздувшийся ёжик. Получила от Али на Новый Год поздравительную телегр⟨амму⟩. Вот, кажется, и все наши новости. Теперь жду — Ваших. Никогда, когда долго нет вестей, не думайте, что я не пишу: пишу — всегда, и всегда сама отправляю. Ну, еще раз — с Новым Годом! Дай Бог — всего хорошего, чего нету, и сохрани Бог — то хорошее, что есть. А есть — всегда, — хотя бы тот моральный закон внутри нас, о к⟨отор⟩ом говорил Кант[3]. И то — звездное небо! Обнимаю Вас, сердечный привет и пожелания Августе Антоновне.

М.

(пр. 2 с.)

115

Hôtel Innova, 23-го января 1939 г.

(пр. 11 с.) ...Часто вижу в кинематографе Прагу, и всегда — как родной город, и еще чаще слышу ее по T. S. F-у (radio) — и всегда как родную речь и музыку. Это место, которое больше всего меня волнует — на всей карте. Недавно перечитывала Голема[1] и сразу окунулась в тот мир туманов и видений, которым для меня осталась Прага. (Деревню я помню — сияющей, Прагу — сновиденной: цвета сна.)

Недавно — случайно — встретила одного своего приятеля — тех дней, и сразу почувствовала себя — на мосту, глядящей в воду.

Читали ли Вы что-нибудь Rosamond Lehman?[2] Я — две вещи: Intempéries — и Poussière**, и есть в Poussière (да и в Intempéries) что-то от той меня, тех дней. Обе эти книги (да наверное — все ее) написаны — как будто не словами: как бы не написаны — а приснились. Я бы очень хотела, чтобы Вы их прочли, особенно Poussière: что-то от радуги — и паутины — и фонтана (и меньше всего от пыли!) и — в конце концов — в ладони — горстка золы... (пр. 8 с.)

---

* Истории-небылицы *(фр.)*.

** Перемены погоды — и Пыль *(фр.)*.

116

Hôtel Innova, 28-го февраля 1939 г.

Дорогая Анна Антоновна! Неделю назад, а м. б. уже десять дней, отправила Вам большое письмо — с благодарностью: благодарностями. Повторю вкратце: и Рыцарь и жизнеописание его — дошли, и в последнем меня поразил... страх Рыцаря перед ласковостью льва. Не боявшийся чудовищ — кротости убоялся. Сам Рыцарь — чудесен, и очень хорош формат: весь в высоту. Еще раз — огромное спасибо: не расстанусь до конца дней.

Любопытна легенда, повсеместно: и в баснях и в сказках и в рассказах первых путешественников — заставляющая льва жить в лесу и даже царить в нем, тогда как лев *никогда* в лесу не живет — только в пустыне — на всей свободе. Царь леса — тигр, и ласкового тигра бы и я испугалась. Жажду весны еще из-за зоологического сада: когда я долго не вижу (больших) зверей — у меня тоска, и уже был такой день со всеми блаженными дуновениями, когда мне *дико* — как зверю — захотелось к ним. Так же захотелось в зверинец, как зверям — из него... Вчера был исторический день[1] — и до чего я не выношу истории и до чего ей предпочитаю (Ваш словарь, к⟨отор⟩ый я оценила) «басенки»... А слыхали ли Вы кстати про новый (американский) танец: «la chamberlaine»*, к⟨оторый⟩ танцуют (кавалер — один) с зонтиком. Вчера слышала подробное и серьезное описание в T. S. F. — Очень надеюсь, что мое большое письмо дошло, стихи (сбежавшие!) пришлю в следующем. Отзовитесь! Ваш голос — неизменная радость. Обнимаю и горячо, горячо благодарю.

М.

117

22-го мая 1939 г.

Дорогая Анна Антоновна! Надеюсь, что Вы сейчас настолько поправились, что без труда сможете прочесть мое письмо[1]. Стараюсь писать ясно.

Все последнее время я очень много пишу, — уже целая маленькая отдельная книжка, и всё никак не могу кончить — да и жалко расставаться, столько еще осталось сказать хорошего — и верного. Стихи идут настоящим потоком — сопровождают меня на всех моих путях, как когда-то — ручьи. Есть резкие, есть певучие, —

* «Чемберлен» *(фр.)*.

и они сами пишутся. Очень много о драгоценных камнях — недрах земли — но и камни — живые! Зная, как Вы любите стихи, все время, пока пишу, пока они пишутся, о Вас думаю. Часто бываю в кинематографе, особенно люблю — видовые, и при виде каждой старой башни — опять Вас вспоминаю. Словом, мы с Вами — точно и не расставались, и поэтому мне особенно грустно, именно сейчас, Ваше молчание. Я понимаю, что при недомогании — трудно, но я письма и не прошу — только открыточку...

Не знаю, дошла ли до Вас (давно уже) моя благодарность за фотографию — она у меня вставлена в (старинную) рамку и висит над изголовьем, но так как карточка — узкая, а рамка широкая, я вставила еще одну фотографию — совсем недавнюю и безумно похожую: одно лицо: случайного человека на мосту. И окружила все это народными деревянными бусами, к⟨отор⟩ые случайно нашла в здешнем Uni-Prix — Вы же знаете как я люблю народное искусство. (NB! Я сама — народ.) Простите за все эти мелочи, но они — живые... (пр. 5 с.)

118

31-го мая 1939 г.

Дорогая Анна Антоновна! Мы наверное скоро тоже уедем в деревню[1], далекую, и на очень долго. Пока сообщаю только Вам. Но где бы я ни была — я всю (оставшуюся) жизнь буду скучать по Вас, без Вас, которые для меня неразрывны с моим стихотворным потоком. Стихи я как раз сегодня получила в нескольких экз⟨емплярах⟩ (машинка), сейчас (12 ч. ночи, Мур давно спит) буду править, а потом они начнут свое странствие. Аля уже получила, получит и Эдди[2], он ведь тоже любит стихи, как и ручьи, и леса. Так приятно доставить человеку радость! Получилась (бы) целая книжка, но сейчас мне невозможно этим заниматься. Отложу до деревни. Там — сосны, это единственное, что я о ней знаю. А помните рассказы из Вашего детства, как Вы уезжали из одной деревни — Вам не позволили взять с собой Вашу любимую (синюю, с цветами) шкатулку или коробку. Вы это рассказывали Але, а рядом Ваша мама играла Шопэна. Я все помню! Господи! этому уже 14 лет (Мурины — 14!). А всего прошло — 17. И тоже был май.

У меня сейчас много работы и заботы: не хватает ни рук ни ног, хочется моим деревенским друзьям привезти побольше, а денег в обрез, надо бегать — искать «оказионов» или распродажу — и одновременно разбирать тетради — и книги — и письма — и пришивать Муру пуговицы — и каждый день жить, т. е. гото-

вить — и т. д. Но — я, кажется, лучше всего себя чувствую, когда вся напряжена. И — отдых будет долгий: друзья мои живут в полном одиночестве[3], как на островке, безвыездно и зиму и лето. Барышня[4] на работу ездит в город, а мне вовсе будет незачем. Вспоминаю *мою* деревню, как я в последнюю минуту побежала прощаться с кустом (верней, деревцем) можжевельника (кажется — Hollunderbaum — иль — busch), к⟨оторый⟩ меня всегда первый приветствовал наверху горы. А у нас сейчас мода (у меня *всегда* была!) деревенские пестрые платья: вся юбка в сборку, лиф — обтяжной, темно-синие, с цветочками. И куклы такие есть: нашла два ожерелья, себе и Але — «moraves»* — и чувствую их *Вашими*. Свое ношу не снимая. — Что еще (сказать?) Радуюсь, что поправляетесь, лето зимы мудренее, время идет и пройдет. Вижу уже по почерку, я его отлично разбираю, хотя есть какая-то перемена. Безумно обрадовалась Вашей открытке, она пришла утром и была — как луч (из-под двери, п. ч. письма здесь просовывают под дверь). Я целый день ей радуюсь, и сейчас, перед сном, опять перечту — и буду с ней спать, под Вашей карточкой в рамке, с Вашими бусами на шее. Это — *всегда* будет со мной: пока буду — я. Обнимаю, отзовитесь сразу, можете еще застать. Перед отъездом еще напишу, и *бесконечно* Вас люблю. Сердечный привет Авг⟨усте⟩ Антоновне. Я тоже вспоминаю Рильке Mit dem heimatlichen prosim**. Книги его — везу.

М.

119

7-го июня 1939 г.

Дорогая Анна Антоновна! Пишу поздней ночью — или очень ранним утром. (Я так родилась — ровно в полночь: — Между воскресеньем и субботой — я повисла, птица вербная — На одно крыло — серебряная — На другое — золотая...[1]) Это — мой последний привет. Все дни — бешеная переписка, и разборка, и укладка, и бешеная жара (бешеных собак), в обычное время я бы задыхалась, но сейчас я — и так задохну́лась: всем — и, как иог — ничего не чувствую. Жалею Мура, который — от всего — извелся — не находит себе места — среди этого развала. Ну — скоро конец, а конец — всегда *покой.* (Конца — нет, п. ч. сразу — начало).

Спасибо за ободрение, Вы сразу меня поняли... (пр. 2 с.) но выбора не было: нельзя бросать человека в беде, я с этим

* «Моравские» *(фр.)*.
** См. перевод на с. 372.

родилась, да и Муру в таком городе как Париж—не жизнь, не рост...—Ну—вот.

Спасибо за те тропинки детства, но и за другие не менее родные, спасибо—за наши. Тропинки, превратившиеся в поток—когда-нибудь—сам—докатится и до Вас: поток—всегда сам! и его никто не посылает—кроме ледника—или земли—или Бога... «Так и стою, раскрывши рот:—Народ! какой народ!»[2] Но Вы мой голос—всегда узна́ете.

Боже, до чего—тоска! Сейчас, сгоряча, в сплошной горячке рук—и головы—и погоды—еще не дочувствываю, но знаю что́ меня ждет: себя—знаю! Шею себе сверну—глядя назад: на Вас, на Ваш мир, на наш мир... Но одно знайте: когда бы Вы обо мне ни подумали—знайте, что думаете—*в ответ*. В моей деревне—тоже сосны, буду вспоминать тот можжевеловый куст.

...Вы человек, который исполнил *все* мои просьбы и превзошли все мои (молчаливые) требования преданности и памяти. Так, как Вы, меня—никто не любил. Помню всё и за всё бесконечно и навечно благодарна.— Ответить не успеете, едем 10-го, подумайте о нас, и долго думайте—каждый день, много дней подряд. Желаю хорошего лета, отдыха, здоровья, тихих людей и хороших книг. Спасибо за Lawrens-Tochter[3], увожу, не расстанусь никогда. *За всё* спасибо, как только поправимся—напишу. А встреча—будет! Ваша всегда и навсегда.

М.

120

12-го июня 1939 г. в еще стоящем поезде.

Дорогая Анна Антоновна! (Пишу на ладони, потому такой детский почерк.) Громадный вокзал с зелеными стеклами: страшный зеленый сад—и чего в нем не растет!—На прощание посидели с Муром[1], по старому обычаю, перекрестились на пустое место от иконы (сдана в хорошие руки, жила и ездила со мной с 1918 г.—ну, когда-нибудь со всем расстанешься: *совсем*! А это—урок, чтобы потом—не страшно—и даже не странно—было...) Кончается жизнь 17 лет. Какая я тогда была счастливая! А самый счастливый период моей жизни—это—запомните!—Мокропсы и Вшеноры, и еще—та моя родная гора. Странно—вчера на улице встретила ее героя[2], кот⟨орого⟩ не видала—годы, он налетел сзади и без объяснений продел руки под руки Мура и мне—пошел в середине—как ни в чем не бывало. И еще встретила—таким же чудом—старого безумного поэта с женою[3]—в гостях, где он *год не́ был*. Точно все—почуяли. Постоян-

но встречала – всех. (Сейчас слышу, гулко и грозно: Express de Vienne*... и вспомнила башни и мосты к⟨отор⟩ых никогда не увижу.) Кричат: – En voiture, Madame!** – точно мне, снимая меня со всех прежних мест моей жизни. Нечего кричать – сама знаю. Мур запасся (на этом слове поезд тронулся) газетами. –

– Подъезжаем к Руану, где когда-то людская благодарность сожгла Иоанну д'Арк[4]. (А англичанка 500 л⟨ет⟩ спустя поставила ей на том самом месте памятник.) – Миновали Руан – рачьте дале! – Буду ждать вестей о всех вас, передайте мой горячий привет всей семье, желаю вам всем здоровья, мужества и долгой жизни. Мечтаю о встрече на Муриной родине, к⟨оторая⟩ мне роднее своей. Оборачиваюсь на звук ее – как на свое имя. Помните, у меня была подруга Сонечка[5], так мне все говорили: «Ваша Сонечка». – Уезжаю в *Вашем* ожерелье и в пальто с *Вашими* пуговицами, а на поясе – *Ваша* пряжка. Все – скромное и безумно-любимое, возьму в могилу, или сожгусь совместно. До свидания! Сейчас уже не тяжело, сейчас уже – судьба. Обнимаю Вас и всех ваших, каждого в отдельности и всех вместе. Люблю и любуюсь. Верю как в себя.

М.

Тескова Анна Антоновна (1872 – 1954) – чешская писательница, переводчица произведений Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Д. С. Мережковского и др.; общественная деятельница, одна из основательниц Чешско-русской Едноты – культурно-благотворительного общества помощи русским в Чехии.

Тескова познакомилась с Цветаевой в конце 1922 г., когда написала ей письмо с просьбой выступить на литературном вечере 21 ноября. Личное их знакомство длилось три года – до отъезда Цветаевой во Францию, эпистолярная дружба – вплоть до 1939 г., т. е. до отъезда Цветаевой в СССР. Тесковой Цветаева посвятила цикл стихотворений «Деревья» (см. т. 2).

В 1969 г. в Праге вышла книга «Марина Цветаева. Письма к А. Тесковой», подготовленная к изданию В. В. Морковиным. Тексты сохранившихся 135 писем М. Цветаевой были напечатаны с купюрами, составившими почти треть издания. По воле В. В. Морковина, а затем его вдовы оригиналы писем закрыты для публикации до начала следующего века и хранятся в библиотеке Музея чешской литературы и письменности в Страговском монастыре.

В 1991 г. книга переиздана в России (Спб.: Внешторгиздат), при этом в датировку отдельных писем были внесены уточнения (исходя

* Экспресс из Вены *(фр.)*.
** В вагон, мадам! *(фр.)*

из их содержания), а также исправлены явные опечатки (подготовка издания и комментарии И. В. Кудровой). Письма печатаются по тексту первой публикации с учетом уточнений. Число пропущенных строк обозначено в скобках. В письмах 2, 6, 8–10, 12 некоторые купюры восстановлены по публикации В. В. Морковина «Марина Цветаева в Праге» (Československá rusistika. Прага. 1962. № 1. С. 48–53), в письме 81 – по его же публикации в *«Трудах симпозиума в Лозанне»* (с. 225). Письмо 17 публикуется по фотокопии, приведенной в издании 1969 г. Письмо 96 печатается по тексту первой публикации в журнале «Sovětská literatura» (Прага. 1982. № 10. С. 182. – Публикация Г. Ванечковой).

В тех случаях, когда В. В. Морковиным оставлены от писем по одному-два абзаца (например, письма от 12 августа 1925 г., 6 октября 1925 г., 18 ноября 1931 г. и др.), эти абзацы использованы в комментариях.

1

[1] См. комментарий 3 к письму 1 к Л. Е. Чириковой.

2

[1] Чешско-русская Еднота собиралась в Праге, в «Китайском зале» отеля «Беранек». А. А. Тескова в то время была председателем культурно-просветительской комиссии Едноты.

[2] Литературный вечер русских и чешских писателей должен был состояться в Едноте 25 января 1925 г. (первоначальная дата – 14 января). В нем согласились принять участие Е. Н. Чириков, М. И. Цветаева, В. Ф. Булгаков (Последние новости. 1925. 14 января). Однако вечер удалось провести лишь 1 февраля. Стихи Цветаевой читал артист А. Брей, «имевший большой и шумный» успех. (Там же, 12 февраля.)

3

[1] Родильный дом в Праге на острове Штванице (река Влтава).

5

[1] См. комментарий 2 к письму 1 к Е. А. Ляцкому.

[2] *Нидерле* Любор (1865–1944) – чешский историк-славист, археолог, в 1898–1929 гг. профессор Пражского университета.

[3] *Кондаков Н. П.* – см. письмо 19 к О. Е. Колбасиной-Черновой и комментарий 1 к нему.

[4] Об экзаменах С. Я. Эфрона см. письмо 2 к Е. А. Ляцкому и комментарии к нему.

14 Зак. 30

[5] Речь, по-видимому, идет о женском журнале «Ева», который выходил в г. Оломоуце. Дневниковая проза Цветаевой была опубликована в этом журнале еще в 1924 г. (Отрывки из книги «Земные приметы» в переводе Отто Барблера. № 3. С. 94–95.)

[6] См. письма к Р. Б. Гулю. К моменту написания настоящего письма были опубликованы следующие дневниковые записи Цветаевой: отрывки из книги «Земные приметы» (Воля России. 1924. № 1/2), «Вольный проезд» (Современные записки. 1924. № 21), «Чердачное» (Дни. 1924. 25 декабря).

[7] Правильно: XXI книга.

[8] Цветаева могла знать и оценить перевод Ф. Кубкой ее стихотворения на чешский «Идешь, на меня похожий...», опубликованный в 1924 г. в журнале «Cesta» (Прага. 1924. № 29–30), а также отрывки из ее стихотворений в его очерке «Básnici revolučniho Ruska» (Прага. 1924). См. также письма к Ф. Кубке и комментарии к ним в т. 7.

[9] *Михаил Архистратиг* — предводитель небесного воинства в решающей битве против зла; по Апокалипсису, сражался с драконом (ветхозаветн.).

6

[1] См. комментарий 6 к предыдущему письму.

7

[1] См. комментарии к письму 5 и письмо 6.

[2] М. Л. Слоним был одним из редакторов журнала «Воля России».

8

[1] В Праге Ф. А. Степун выступил с двумя докладами: «О старых грехах и новых задачах русской демократии» (8 мая) и «Советская и зарубежная Россия» (11 мая).

[2] Анна Ильинична Андреева. См. письмо к ней в т. 7.

[3] См. комментарий 3 к письму 10.

9

[1] 12 августа 1925 г. Цветаева писала А. А. Тесковой: «С трудом, но пишу. Заканчиваю воспоминания о Брюсове. Вот бы хорошо — отрывки в Pragerpresse*. Не знаете ли адреса Кубки? Если бы написали ему (о Брюсове для Pr⟨ager⟩ Presse), была бы Вам очень благодарна».

* Правильно: «Prager Presse» — чехословацкая газета, выходившая в Праге на немецком языке.

(*Письма к Тесковой.* С. 25)*. Воспоминания о Брюсове под названием «Герой труда» были опубликованы в журнале «Воля России» (1925. № 9/10, 11).

[2] В том же отрывке (см. комментарий 1) из письма Цветаевой она сетовала: «С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ вот уже месяц, как в санатории ⟨Земгорской здравнице⟩, за эту зиму потерял 18 кило, сейчас весит 62, вес костей» (там же. С. 25). В лечебницу Эфрона помог устроить М. Л. Слоним.

[3] Севера (по мужу — Тескова) Анна Вацлавовна (1852—1936) — пианистка, преподавательница музыки.

[4] Тескова Августа Антоновна (1878—1960), писательница.

10

[1] М. Л. Слоним.

[2] Статуе пражского рыцаря на Карловом Мосту посвящено стихотворение Цветаевой «Пражский рыцарь» (см. т. 2).

[3] *Юрчинова* Эва (псевдоним Анны Веберовой; 1889—1969) — чешская писательница.

11

[1] Еще раньше о своем переезде в Париж Цветаева писала А. А. Тесковой: «Насчет Парижа: еду не в Париж (не люблю *залюбленных* мест, как залюбленных людей: всегда подозрительно!), а вообще, *еду*, — надо же куда-нибудь! А в Париж — потому что там мне обещают устроить выступление (заработок) и — потому что там друзья. У меня их мало» (там же. С. 27).

[2] См. комментарий 2 к письму 1 к Е. А. Ляцкому.

[3] Правительство Томаша Масарика выплачивало ежемесячные пособия многим русским ученым и писателям, поселившимся в Чехословакии после Октябрьской революции.

[4] Название вокзала в Праге.

[5] Со стороны матери Цветаева происходила из аристократического польского рода.

13

[1] Знаменитый собор Парижской Богоматери в Париже.

[2] Первый литературный вечер Цветаевой в Париже состоялся лишь 6 февраля 1926 г. См. об этом комментарии к письму 2 к П. П. Сувчинскому.

[3] По приезде в Париж Цветаева первое время жила на рю Руве, 8, (на севере города), в квартире О. Е. Колбасиной-Черновой (см. письма

* Номера страниц указаны по изданию 1991 г.

к ней и комментарии к ним). *«Лондонские трущобы»* («Люди бездны», 1903) — книга репортажей о жизни бедняков в трущобах английской столицы Джека Лондона (1876—1916).

14

[1] 25 декабря 1925 г. была опубликована проза Цветаевой: в газете «Последние новости» — «Из дневника», в газете «Дни» — «О любви».

[2] Отзыв на сборник «Ковчег» (см. письма к В. Ф. Булгакову в т. 7), подписанный инициалами «С.К.», появился в воскресном номере «Дней», 20 декабря 1925 г. По словам критика, «написанная в Праге «Поэма Конца» М. Цветаевой, где тема перешагнула географические границы, ибо вне времени и вне рубежа, — тем не менее будет причислена к одним из лучших русских произведений, написанных за последние годы».

Что касается неувязки даты написания письма (19 декабря) с датой выхода газеты (20 декабря), то либо Цветаева дописала письмо на следующий день, то есть когда газета вышла, и Цветаева смогла прочесть отзыв, либо она имела возможность просмотреть воскресный номер газеты накануне, например, непосредственно в редакции. (В письме: «Только что сдала в «Дни» и «Последние новости» рождественскую прозу...»)

15

[1] См. об этом прозу «Мои службы» (т. 4).

[2] Выдержки из дневника 1919 г. «О Германии» были опубликованы в газете «Дни» (1925. 13 декабря).

16

[1] О поездке Цветаевой в Лондон см. письма к П. П. Сувчинскому и комментарии к ним.

[2] «Мой ответ Осипу Мандельштаму» (см. т. 5). См. также письма к П. П. Сувчинскому и комментарии к ним.

17

[1] О создании «Верст» см. письма к П. П. Сувчинскому и комментарии к ним.

[2] Об откликах на статью «Поэт о критике» см. комментарий 4 к письму 13 к Б. Л. Пастернаку. Что касается «героя статьи», Георгия Адамовича, то он на нее не откликнулся. *«Благонамеренный»* — см. письма к Д. А. Шаховскому и комментарии к ним (т. 7).

18

[1] В изданиях, подготовленных В. В. Морковиным и И. В. Кудровой, напечатано, как и в предыдущем письме, «С. Яблоновский». Однако из фотокопии письма от 9 мая 1926 г. следует, что В. В. Морковйн неверно его прочел. У Цветаевой — «А. Яблоновский». Здесь исправлено по аналогии с предыдущим письмом.

[2] См. комментарий 4 к письму 13 к Б. Л. Пастернаку.

[3] Имеются в виду двоюродный брат Николая II *Кирилл Владимирович* (1876—1938) и дядя Николая II *Николай Николаевич* (1856—1929). В русской эмигрантской прессе этого времени шли споры о том, кто именно из них должен считаться наследником русского престола.

[4] Начальная строка стихотворения А. С. Пушкина «К морю».

[5] Анри де ля Рошжаклен (1772—1794) — предводитель восстания в Вандее, направленного против Французской республики. Дата смерти, приводимая Цветаевой, ошибочна. В 1815 г. был убит брат Анри — Луи де ля Рошжаклен *(Вестник РХД,* 1993, № 168. С. 177).

[6] *Чирикова* (в замужестве — Рождественская, Бирюкова, Ретивова) Новелла Евгеньевна (1894—1978) — дочь Е. Н. Чирикова. (Сведения Е. И. Лубянниковой.)

[7] См. письмо 11 к П. П. Сувчинскому и комментарий 6 к нему.

19

[1] Необходимость для Цветаевой вернуться в Прагу, вызванная опасностью потерять ежемесячное чешское пособие, вскоре отпала.

[2] С. В. Завадский. См. комментарий 2 к письму 1 к В. Ф. Булгакову в т. 7.

[3] См. комментарий 3 к письму 9.

[4] *Сталинский* Евсей Александрович (1880—1952) — соредактор журнала «Воля России», до 1917 г. был парижским корреспондентом «Русского богатства».

[5] *Лебедев* Владимир Иванович (1884—1956) — видный деятель партии эсеров, соредактор журнала «Воля России».

[6] Д. А. Шаховскому в это время было 24 года, а не 22, как пишет Цветаева. См. также письма к Д. А. Шаховскому и комментарии к ним в т. 7.

20

[1] Датируется по содержанию.

21

[1] По завещанию матери, Цветаева и ее сестра Анастасия по истечении определенного срока должны были получить свою долю наследства. Однако деньги, хранившиеся в Государственном банке, были экспроприированы Советской властью.

[2] В пригороде Парижа Медон-Бельвю Цветаева сняла дом вместе с семьей А. З. Туржанской. См. комментарий 4 к письму 11 к П. П. Сувчинскому.

[3] *Добужинский* Мстислав Валерианович (1875—1957)—русский график и театральный художник, член «Мира искусства». С 1925 г. жил в Литве, с 1939—в Великобритании и США.

Билибин Иван Яковлевич (1876—1942)—русский художник, член «Мира искусства». С 1918 г. жил за границей, в 1936 г. вернулся на родину.

[4] См. письма к В. В. Рудневу и комментарии к ним (т. 7).

22

[1] *...de Pompadour*—Помпадур Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де (1721—1764)—фаворитка французского короля Людовика XV. Покровительствовала писателям и философам.

[2] *Милюков* Павел Николаевич (1859—1943)—русский политический деятель, лидер партии кадетов, историк, публицист. С 1920 г.—в эмиграции, главный редактор газеты «Последние новости».

Отклик «Последних новостей» на первый выпуск «Верст» был одним из самых резких: *Антон Крайний* (псевдоним Зинаиды Гиппиус) «О Верстах и о прочем» (1926, 14 августа). Автор рецензии обвинил редакцию «Верст» в просоветских настроениях, а поэзию Цветаевой определил как беспринципную.

[3] «Версты» (№ 2, 1927) опубликовали «Апокалипсис нашего времени» В. В. Розанова (9 выпусков из 10).

23

[1] Цитата из стихотворения М. Цветаевой «Поэт—издалека заводит речь...» (цикл «Поэты», 1923). См. т. 2.

[2] См. письмо к П. П. Сувчинскому и Л. П. Карсавину в т. 7.

[3] См. комментарий 2 к письму 21.

[4] Описка Цветаевой: Муру 1 февраля 1927 г. исполнялось 2 года.

[5] *Германский Орфей*—см. письмо 2 к Рильке (т. 7).

[6] 11 февраля 1927 г. М. Л. Слоним выступил в Чешско-русской Едноте с докладом о творчестве Цветаевой.

[7] Речь идет о похоронах невесты М. Л. Слонима, Лариссы Бучковской, погибшей в автокатастрофе.

...сломалась-то—новая.—Слоним был глубоко задет словами Цветаевой. «Это все, что она почувствовала, узнав о трагической гибели Лариссы Бучковской, раздавленной автомобилем... Она ни словом, ни письмом меня не попыталась поддержать в этот момент, один из самых страшных в моей жизни. Это—странная какая-то ее жестокость, холод бесчувствия...»—писал он спустя годы (*В. Лосская.* С. 318).

[8] См. комментарий 4 к письму 27 к О. Е. Колбасиной-Черновой.

24

[1] Цветаева благодарит Тескову за рассказ о выступлении М. Л. Слонима 11 февраля 1927 г. (см. предыдущее письмо).

[2] *Брэй* — правильно: Брей Александр Александрович (? — 1931) — обрусевший англичанин, литератор, актер. Был соседом Цветаевой во Вшенорах под Прагой. Неоднократно выступал с чтением ее стихов (на литературном вечере в Праге 1 февраля 1925 г.; после выступления Цветаевой с воспоминаниями о Брюсове в Чешско-русской Едноте 22 октября 1925 г.; после доклада М. Л. Слонима о творчестве Цветаевой в Праге 11 февраля 1927 г. и др.).

[3] Поэма «Новогоднее», написанная Цветаевой 7 февраля 1927 г. (см. т. 3).

[4] «Твоя смерть», опубликовано в журнале «Воля России», 1927, № 5/6 (см. т. 5).

[5] Неточная цитата из стихотворения Рильке «Gerüchte gehn, die dich vermuten» («Часослов»).

[6] См. комментарии к письму к П. П. Сувчинскому и Л. П. Карсавину в т. 7.

[7] В первом номере за 1927 г. журнала «Русская мысль» помещен перевод письма Рильке к Л. П. Струве (без указания адресата), в котором был дан анализ повести И. А. Бунина «Митина любовь». Далее шла статья Г. П. Струве «Р.-М. Рильке о И. А. Бунине». О «Русской мысли» см. также комментарии к письмам к Г. П. Струве.

25

[1] Речь идет о И. Е. Путермане, выходце из России, служащем советского торгпредства в Париже и пайщике издательства «Плеяда».

[2] В 1921 г. Цветаева подарила заочно мужу книгу «Стихи Духовные» (Спб., 1912) с надписью: «Моему дорогому Сереженьке — прежнюю Русь. Марина. — «Россия во мне, а не я в России!» (Ваши слова перед отъездом). Москва, 30-го р⟨усского⟩ июля 1921 г.» (Моя Москва. 1991, август.)

[3] См. письмо 9 к Рильке и комментарии к нему (т. 7).

[4] В сборнике стихотворений «После России» А. А. Тесковой посвящен цикл «Деревья».

26

[1] Правильно: *Зиновьева-Аннибал* (настоящая фамилия Зиновьева, во втором браке Иванова) Лидия Дмитриевна (1865/66 — 1907) — прозаик, драматург, критик. Вторая (а не первая, как пишет Цветаева) жена В. И. Иванова. По женской линии принадлежала к потомкам А. П. Ганнибала. Умерла от скарлатины, заразившись от крестьянских детей, за которыми ухаживала в деревне.

[2] *Альтшулер* — правильно: *Альтшуллер*. См. комментарий 1 к письму 8 к Б. Л. Пастернаку.

[3] *Еленев* Николай Артемьевич (1894 — 1967) — прозаик, историк искусств. Автор воспоминаний о Цветаевой (Грани. Франкфурт-на-Майне. 1958. № 39).

27

[1] *Россия* — еженедельная газета под редакцией П. Б. Струве (1927—1928), с декабря 1928 (по 1934) — «Россия и славянство» (при участии П. Б. Струве и под редакцией К. И. Зайцева).

28

[1] В своей переписке Цветаева смещает даты рождения: 8 октября (26 сентября) 1927 г. ей исполнилось 35 лет, ее дочери Ариадне в сентябре — 15 лет.

[2] См. комментарий 1 к письму к Л. О. и Р. И. Пастернакам.

[3] Написаны были две части: «Ариадна» и «Федра» (см. т. 3).

[4] Проза «Твоя смерть» в переводе А. А. Тесковой была напечатана в журнале «Lumir» (Прага. 1928. № 6—7).

29

[1] Автор теории, что все языки происходят от четырех элементов, советский ученый Николай Яковлевич Марр (1864/65—1934). Докладчиком, по предположению В. В. Морковина, был молодой филолог Борис Генрихович Унбегаун. (О нем см. комментарии к письму 87.)

[2] Исключением можно считать стихотворение «Тише, хвала!..», написанное 26 января 1926 г. (не учитывая незавершенные).

30

[1] К. Б. Родзевич. См. письма к нему и комментарии к ним.

[2] Булгакова (во втором браке — Степуржинская) Мария Сергеевна (1898—1979) — жена К. Б. Родзевича, дочь о. Сергия Булгакова.

[3] *Лета* — река забвения (греч. миф).

[4] *...хожу Иовом* — то есть в струпьях, как библейский пророк, веру которого Бог испытывал страданиями.

32

[1] Цитата из стихотворения немецкого поэта Иозефа Виктора фон Шеффеля (1826—1886) «Прощание молодого Вернера»; эти стихи были использованы в либретто оперы Виктора Несслера (1841—1890) «Трубач из Зекингена» (1884).

[2] Речь идет о рецензии Н. Дашкова (псевдоним Владимира Вейдле — см. письма к нему) на № 3 «Верст», опубликованной в газете «Возрождение» 3 февраля 1928 г.

[3] О поэмах Цветаевой Н. Дашков отозвался крайне отрицательно: «Два стихотворения (т. е. «С моря» и «Новогоднее». — *Сост.)* этой поэтессы (я намеренно не говорю поэта, потому что стихи эти — именно дамские стихи) помещены в «Верстах». Они крайне расплывчаты, многословны, написаны не только ни о чем, но и ни с чем. Род кликушества выдается в них за вдохновение и случайное привешивание слова к слову

за глубокое сталкивание и срастание слов». В 1930-е годы критик изменил свое отношение к поэзии Цветаевой (см. комментарии к письмам к В. В. Вейдле, т. 7).

[4] С 1910 г. (первый сборник «Вечерний альбом»).

[5] Речь идет о статье «Световой ливень» (1922). См. т. 5.

[6] Выражение из арабской сказки «Али-баба и сорок разбойников». Означает ключ для преодоления препятствий.

33

[1] *Тэффи* — см. письмо к ней (т. 7).

[2] *Завадский* Владимир Александрович (1896—1928) — младший брат подруги Цветаевой, В. А. Аренской (Завадской). На его смерть Цветаева откликнулась поэмой «Красный бычок» (см. т. 3).

34

[1] Речь идет о Наталье Матвеевне Андреевой (урожденной Стальниковой, 1883—1962), вдове брата писателя Л. Н. Андреева, Всеволода (1873—1916). Прожила в семье Цветаевой несколько месяцев, помогая по хозяйству.

[2] Н. П. Гронский. См. письма к нему в т. 7.

[3] Поэма «Попытка комнаты» была опубликована в журнале «Воля России» (1928 № 3). См. также т. 3.

35

[1] См. письмо 10.

[2] См. комментарий 1 к предыдущему письму.

[3] Литературный вечер Цветаевой, на котором она прочла ряд своих последних вещей, состоялся 17 июня. Вступительное слово произнес М. Л. Слоним.

[4] Московский драматический театр имени Евг. Вахтангова (бывшая *III студия*) начал свои гастроли в Париже 12 июня спектаклем Карло Гоцци (1720—1806) «Принцесса Турандот» и завершил их 8 июля комедией еврейского драматурга Авромa Гольдфадена (1840—1908) «Колдунья».

[5] *Лосский* Николай Онуфриевич (1870—1965) — философ, в 1922 г. выслан из СССР. В Понтайяке находились и его сыновья: Владимир (1903—1958), богослов (сохранился подаренный ему Цветаевой на именины сборник «После России» с ее надписью: «Милому Владимиру Николаевичу Лосскому на память о лете 1928 г. Марина Цветаева. Понтайяк, 15/28 июля 1928 г.», частное собрание), и Борис (р. 1905), историк искусств, написавший воспоминания о Цветаевой (*Воспоминания о Цветаевой*. С. 301—305).

Алексеев Николай Николаевич (1879—1964)—профессор, философ права, с 1920 г. за границей. В 1924—1925 гг. читал курс общей теории государства в Карловом университете.

Мягких—Мягков Александр Геннадьевич (1870—1957)—геолог и инженер. *Мягкова* (урожденная Савинкова) Вера Викторовна (?—1942)—жена А. Г. Мягкова, сестра Б. В. Савинкова. С 1921 г. жили в Праге. Их дети—Геннадий и Лидия.

Иванов Владислав Дмитриевич—поэт, автор книги «Концы и начала. Попытка эпоса» (Париж, 1930). Сотрудничал в газете «Евразия».

...евразийцы или нет—всех вместе слишком много, скучаю...— Ср. у Бориса Лосского: «Со всем этим неоевразийским кругом мы прожили в тесном и дружеском соседстве летние каникулы 1928 года на берегу океана...» (там же. С. 304).

Об евразийстве см. вступительную статью А. В. Соболева к публикации «Полюса евразийства» (Новый мир. 1991. № 1. С. 180—182), а также письмо Цветаевой к П. П. Сувчинскому и Л. П. Карсавину и комментарии к нему в т. 7.

[6] См. комментарий 1 к письму к Л. О. и Р. И. Пастернакам, а также комментарий 8 к письму 4 к Б. Л. Пастернаку.

36

[1] Н. П. Гронский. См. письма к нему. *...должен был приехать...*— см. письмо 78.

[2] См. комментарий 1 к письму 32.

[3] Из «Баллады о Новом Годе» Эдмона Ростана.

[4] *De Lespinasse*—Жюли де Леспинас (1732—1776)—французская писательница, автор книги, составленной из писем к горячо любимому человеку (опубликована в 1809 г.).

[5] Из стихотворения М. Цветаевой «Ночного гостя не застанешь...» (1922). См. т. 2.

[6] См. комментарий 1 к письму 28. *26-го сент⟨ября⟩—9-го окт⟨ября⟩*—к датам рождения прошлого века по новому стилю прибавляется 12 дней, то есть день рождения Цветаевой 8 октября.

37

[1] «Последние новости» в нескольких номерах 1928 г. публиковали стихи М. Цветаевой, написанные ею в 1916 г. («Посадила яблоньку...», «К озеру вышла. Крут берег...», «Не сегодня-завтра растает снег...», «Приключилась с ним странная хворь...» и др.). См. т. 1.

[2] М. Л. Слоним.

[3] Поэтический сборник, составленный Цветаевой из ее стихов 1913—1915 гг. При жизни Цветаевой не был издан. Историю с «Юношескими стихами» в изложении М. Л. Слонима см. в кн.: *В. Лосская.* С. 319—320.

[4] См. т. 3, а также комментарий 2 к письму 50.

[5] См. комментарий 1 к письму 32.

38

[1] Цитата из пьесы «L'Obstacle impévu» («Неожиданное препятствие») французского драматурга Филиппа Детуша (настоящие имя и фамилия Нерико; 1680—1754).

[2] Неточно цитируемая первая строка стихотворения без названия. У А. А. Ахматовой: «Столько просьб у любимой всегда!..» (1912?).

[3] См. комментарий 4 к письму 28.

[4] Райнер Мария Рильке родился в Праге, там прошли его детство и юность. Цветаева перефразировала строку из его стихотворения «Im Dome» («В соборе»). У Рильке «Mit leisem: „Prosim!"» («С тихим: „Пожалуйста!"»). (*Небесная арка.* С. 43, 240.)

[5] *Савицкий* Петр Николаевич (псевдоним—П. Востоков; 1895—1968)—географ, видный деятель евразийского движения. По возвращении в СССР был репрессирован.

[6] В № 1 газеты «Евразия» от 24 ноября 1928 г. было опубликовано приветствие Цветаевой Маяковскому. См. письмо к В. В. Маяковскому (т. 7).

[7] Цветаева слышала выступление В. Маяковского с чтением стихов в кафе «Вольтер» (*А. Эфрон.* С. 138; Катанян В. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. М.: Сов. писатель, 1985. С. 445). О дате выступления см. письмо 17 к Н. П. Гронскому и комментарий 2 к нему (т. 7).

39

[1] См. письмо 9 к Рильке и комментарий 3 к нему (т. 7).

[2] Речь идет о книге М. Л. Слонима «По золотой тропе. Чехословацкие впечатления» (Париж, 1928). См. также письмо 110.

40

[1] *Завазал* Зено (Зенон) Иосифович (ок.1881—1934)—чешский чиновник министерства иностранных дел, занимавшийся вопросами русской эмиграции. (Сведения Е. И. Лубянниковой.)

41

[1] Перевод Цветаевой писем Рильке был опубликован с ее предисловием в журнале «Воля России» (1929, № 2). См. т. 5.

[2] Цветаева пересказывает начало письма Рильке к ней от 28 июля 1926 г. См.: *Письма 1926 года.* С. 189—190.

[3] См. комментарии к письму к П. П. Сувчинскому и Л. П. Карсавину (т. 7).

42

[1] *«Дом на колесах»*—книга французской писательницы де Штольц (Фанни де Бегон).

[2] Н. С. Гончарова сделала иллюстрации к поэме «Мóлодец» в расчете на отдельное издание на французском языке (в переводе М. Цветае-

вой). Сохранилась папка с 31 рисунком к поэме. (Подробнее см.: Баснер Е. В. «О работе Наталии Гончаровой над поэмой «Мо́лодец». — *Поэт и время.* С. 183—188; там же воспроизведено и несколько рисунков Н. С. Гончаровой к поэме.)

43

[1] С. А. Толстая.

[2] Доклад М. Л. Слонима «Молодая зарубежная литература» состоялся на открытом литературном вечере объединения «Кочевье» 7 марта 1929 г. в таверне Дюмениль (бульвар Монпарнас, 73). Основные положения доклада были затем опубликованы под названием «Молодые писатели за рубежом» в журнале «Воля России» (1929, № 10/11).

[3] *Лебедев* (псевдоним Виктор Ляпин) Вячеслав Михайлович (1896—1969) — поэт, прозаик, входил в пражское литературное объединение «Скит поэтов». Критика отмечала влияние Цветаевой на поэзию Лебедева. (См., например: Струве Г. Заметки о стихах. Вячеслав Лебедев. — Россия и Славянство. Париж. 1929. 24 августа.) Умер в Чехословакии.

[4] *Эйснер* Алексей Владимирович (1905—1984) — поэт, прозаик. С 1925 г. жил в Чехии, с 1931 г. — во Франции. Вернулся в 1940 г. в СССР, был репрессирован. Оставил о Цветаевой воспоминания (*Воспоминания о Цветаевой.* С. 389—397).

[5] *Поплавский* Борис Юлианович (1903—1936) — поэт, прозаик, один из наиболее ярких представителей молодой поэзии русского зарубежья.

[6] Очерк «Наталья Гончарова» в переводе на сербскохорватский был напечатан в журнале «Руски Архив» (Белград. 1929. № 4, 5/6).

[7] По-видимому, речь идет о поэме «Перекоп».

[8] Статья С. Я. Эфрона не обнаружена.

44

[1] *...одна крестила...* — А. З. Туржанская (см. комментарий 4 к письму 11 к П. П. Сувчинскому). *...другую вписали...* — О. Е. Колбасину-Чернову. См. письмо 27 к ней.

[2] Весной 1928 г. по инициативе М. Л. Слонима, В. Л. Андреева и В. Б. Сосинского в Париже было образовано литературное объединение «Кочевье», ставившее своей целью, как говорилось в его программе, «развитие творческих сил молодых писателей и самоутверждение их в эмигрантской литературной среде, в которой представители нового литературного поколения не всегда встречали поддержку и сочувствие». Еженедельные собеседования превратились в публичные собрания. За период с весны 1928 по осень 1931 г. их прошло 110 ([Памятка, посвященная вступлению «Кочевья» в четвертый год своего существования], Париж, 1931). Цветаева была участником многих собраний.

[3] Неточная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Она сидела на полу...». У Тютчева: «Брала знакомые листы//И чу́дно так на них глядела...» и т. д.

45

[1] На вечере, который состоялся 25 мая 1929 г. в зале Вано, Цветаева прочла свои старые стихи, отрывки из поэм «Царь-Девица» и «Мо́лодец», стихи из «После России», а закончила вечер чтением отрывков из новой поэмы «Перекоп». В вечере участвовал С. М. Волконский, прочитавший эссе «Репетиция и представление».

Георгий Адамович так описывает этот вечер:

«Литературный вечер Марины Цветаевой собрал много слушателей. У Цветаевой есть поклонники даже среди людей, не понимающих ее стихов. Покоряет «голос», оживляющий всякую ее строчку, даже неудачную. Пленяет свободное, смелое и легкое дыхание этих строк. Одним словом, несомненная «Божья милость» цветаевского таланта привлекает к ней людей. Не все друзья поэзии долго остаются Цветаевой верными, но каждый из них испытал когда-нибудь хотя бы мимолетное ее очарование.

Цветаева читает стихи старые и первую часть новой своей поэмы «Перекоп». В старых стихах очень хороши «Стихи о Москве». Если мне не изменяет окончательно память, они появились в «Северных Записках» весной 17-го года. Я помню впечатление, которое они произвели — особенно в Петербурге. Может быть, в этом сыграло роль уже начавшееся тогда соперничество двух городов, — кому быть, кому не быть столицей. В Петербурге очень болезненно все ощутили тогда «конец императорского периода» — независимо от политических симпатий и чувств, конечно, — и с ревнивой опаской поглядывали на Москву. Над цветаевским циклом петербургские поэты «ахнули» — над прелестью, над неожиданностью ее Москвы» (Иллюстрированная Россия. Париж. 1929. № 24. С. 14).

46

[1] *Лебедевы* — Владимир Иванович (см. комментарий 5 к письму 19) и Маргарита Николаевна (см. комментарий 2 к письму 101).

[2] *Хашек* (Гашек) Ярослав (1883 — 1923) — чешский писатель-сатирик, автор романа «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны» (1921 — 1923).

[3] См. письма к О. Е. Колбасиной-Черновой, А. В. Черновой, В. Б. Сосинскому. В журнале «Воля России» были опубликованы к тому времени рассказы В. Б. Сосинского «Ita Vita» (1926), «Махно» (1927), «Рассказы о несуществующем» (1929), а также ряд критических статей.

47

[1] *Pen Club* (ПЕН-клуб) — международное объединение писателей, основанное в 1921 г. английскими писателями Дж. Голсуорси и К. Э. Даусон-Скотт (ум. в 1934 г.). Сначала его задачей было создание чисто светского объединения писателей. Впоследствии важное место в деятельности ПЕН-клуба заняли вопросы свободы слова и защиты авторских прав. Пражский ПЕН-клуб был основан 15 февраля 1925 г. Об одном из его заседаний Цветаева писала Тесковой 26 июня 1925 г.: «О Pen Club'е расскажу — непосредственно, как всегда. Очень жалела, что Вас там не было, сидели бы вместе». (Подробнее о заседании ПЕН-клуба 18 июня 1925 г. с участием Цветаевой см.: Морковин В. Пражский ПЕН-клуб и его русские гости. — Československá rusistika. 1968. № 5. С. 293 — 295).

[2] *Рейтлингер* К. Н. — см. комментарий 1 к письму 3 к А. В. Оболенскому. *...отец.* — Рейтлингер Николай Александрович (1862 — 1931) — политэконом, получил юридическое образование. В эмиграции с 1920 г.

48

[1] В «Книге образов» Рильке есть стихотворение «Die Liebende» («Любящая»).

[2] *Беттина* Брентано (в замужестве фон Арним; 1785 — 1859) — немецкая писательница.

[3] Еженедельник «Евразия», в редакции которого работал С. Я. Эфрон, перестал выходить осенью 1929 г.

49

[1] По-видимому, вместе с письмом Цветаева послала Тесковой изображение (открытку или фотографию) знаменитого брюссельского фонтана «Маннекен-Пис».

50

[1] Датируется по содержанию.

[2] М. Л. Слоним вспоминал: «...в начале 1929 года М〈арина〉 И〈вановна〉 заканчивала свой «Перекоп» и дала мне прочесть эту «белогвардейскую поэму», как она называла ее с усмешкой. При ближайшей встрече она спросила, стоит ли предложить ее «Воле России». Я сказал, что если «Перекоп» нельзя устроить в другом журнале, мы можем его напечатать, ведь мы ни одной ее вещи не отвергли — но, честно говоря, сделаем это без особого энтузиазма, она сама должна решить. «Это значит по дружбе и снисхождению, а не по убеждению», — заметила М〈арина〉 И〈вановна〉... Затем, подумав, прибавила: «Ну, ничего, пускай полежит». Сергей Яковлевич, как я узнал впоследствии, посоветовал

ей не торопиться с «Перекопом», и — редкий случай — она его послушалась» (*Воспоминания о Цветаевой.* С. 335).

51

[1] Сразу после окончания «Перекопа» Цветаева летом 1929 г. приступила к работе над «Поэмой о Царской Семье». См. также письмо 52 к С. Н. Андрониковой-Гальперн и письмо 5 к Р. Н. Ломоносовой (т.7).

52

[1] Вечер Романтики состоялся 26 апреля 1930 г. в большом зале Географического общества (бульвар Сен-Жермен, 184). Назвав вечер таким образом, устроители хотели тем самым отдать дань отмечаемому в Париже столетнему юбилею французского романтизма. Участвовали С. М. Волконский (читал «Воспоминания юности»), Г. В. Адамович, Г. В. Иванов, Н. А. Оцуп, В. Л. Андреев, Б. Ю. Поплавский (все с чтением своих последних стихов), Н. А. Тэффи (рассказы). Вечер закончился выступлением М. И. Цветаевой.

[2] По предположению И. В. Кудровой, речь идет о сердечном увлечении, которое переживал в это время С. Я. Эфрон (*Письма к Тесковой.* С. 172).

[3] О переводе «Мóлодца» на английский язык см. письма к Р. Н. Ломоносовой и комментарии к ним.

[4] На смерть Маяковского Цветаева откликнулась циклом из семи стихотворений (см. т. 2).

53

[1] Датируется по содержанию.

[2] См. комментарий 1 к письму 41 к Н. П. Гронскому (т. 7).

[3] См. комментарий 2 к письму 42.

[4] Цикл «Маяковскому» был опубликован в № 11/12 «Воли России» за 1930 г.

54

[1] Цветаева имеет в виду семинар по изучению творчества Ф. М. Достоевского, который намечалось провести в Праге в 1931 г.

[2] *Лагерлёф* Сельма (1858—1940) — шведская писательница. Ее роман «Сага о Йесте Берлинге» (1891) был одним из самых любимых произведений Цветаевой.

[3] *Унсет* (Ундсет) Сигрид (1882—1949) — норвежская писательница. Главное ее произведение — исторический роман-трилогия «Кристин, дочь Лавранса» (1920—1922) — одно из самых любимых Цветаевой. См. письмо 64.

[4] См. комментарий к письму 51.

[5] Речь идет о Нанни Вундерли-Фолькарт. См. письма к ней (т. 7).

[6] *Ипполит, Иван* — персонажи романов Ф. М. Достоевского «Идиот» и «Братья Карамазовы» (соответственно).

55

[1] *Извольская* Елена Александровна (1897—1975) — писательница, публицистка, переводчица. «Моя встреча с Мариной Ивановной Цветаевой, — вспоминала Извольская, — относится к двадцатым годам в Париже, или, вернее, под Парижем. Марина только что переехала с семьей в Париж из Праги. ⟨...⟩ Особенно близко я подружилась с Мариной Цветаевой летом 1930 года. Сергей Эфрон в то время лечился в санатории, расположенном в Савойе. Марина наняла поблизости старый, полуразвалившийся и очень живописный крестьянский дом. К ней я переехала на каникулы. Мне отвели единственное свободное помещение, нечто вроде погреба. ⟨...⟩ Мы жили как в пустыне, в самой примитивной обстановке. А были неизмеримо счастливы» (*Воспоминания о Цветаевой.* С. 398, 401).

[2] Имеется в виду художественная школа. С. Я. Эфрон в 1931 г. сообщает сестре: «...недавно меня обрадовала Аля. Она учится во французской школе по классу иллюстраций. Там недавно был годовой конкурс, и Алины рисунки прошли первыми. Благодаря этому ей предложили бесплатно обучаться гравюре» (*А. Эфрон.* С. 14).

56

[1] *«Quotidien»* — французская правая газета.

[2] *«Числа»* — литературно-художественные сборники, выходившие в Париже в 1930—1934 гг. под редакцией И. В. де Манциарли (первые четыре выпуска) и Н. А. Оцупа (вышло 10 номеров).

[3] Ср. с воспоминаниями Е. А. Извольской: «В надежде облегчить трудную жизнь Марины мы однажды попытались заинтересовать в ее творчестве французские литературные круги. Как раз в то время она закончила французский перевод своего «Мо́лодца» и была приглашена в один из известных в то время парижских литературных салонов. Я сопровождала Марину и очень надеялась, что она найдет в нем и помощь, и признание. Марина прочла свой перевод «Мо́лодца». Он был выслушан в гробовом молчании. Увы! ⟨...⟩ ...после неудачного выступления Марина замкнулась в свое одиночество» (*Воспоминания о Цветаевой.* С. 403). См. также письмо 14 к Р. Н. Ломоносовой (т. 7).

[4] Речь идет о Брисе Парэне (1897—1971) — писателе и философе, члене редколлегии крупнейшего журнала «Nouvelle Revue Française», секретаре издательства Gallimard. См. также письмо 14 к Р. Н. Ломоносовой (т. 7).

[5] Н. П. Гронский. См. письма к нему (т. 7).

[6] Правильно: *«Новая газета». Двухнедельник литературы и искусства*, выходила в Париже в 1931 г. (выпущено пять номеров). Редактор М. Л. Слоним. Цветаева дважды участвовала в ответах на анкеты, предложенные редакцией «Новой газеты» писателям. (См. т. 4.)

«О новой русской детской книге». Опубликована в журнале «Воля России» (1931. № 5—6). См. т. 5, а также письмо 14 к Р. Н. Ломоносовой (т. 7).

[7] «Петр I» — исторический роман А. Н. Толстого.

58

[1] *Бем* Альфред Людвигович (1886—1945) — историк литературы, критик, доцент русского языка в Пражском университете, бессменный руководитель пражского «Скита поэтов». Арестован при вступлении советских войск в Прагу в 1945 г., умер по пути в лагерь.

А. Л. Бем отводил Цветаевой первое место среди современных поэтов эмиграции (Меч. Варшава. 1938. 12 июня), неоднократно откликался в своих статьях 30-х годов на публикации Цветаевой в периодической печати; тяжело переживал ее смерть (Морковин В. Пражские отклики на смерть Марины Цветаевой. Československá rusistika. 1969. № 2).

59

[1] См. письмо 13 к Р. Н. Ломоносовой и комментарий 4 к нему.

60

[1] 30 мая 1931 г. Цветаева выступила с чтением стихов и прозы «История одного посвящения» (зал Эвритмия, рю Кампань-Премьер, 6-бис).

[2] Международная Колониальная выставка проходила в Париже в мае—октябре 1931 г.

61

[1] По-видимому, речь идет о С. Н. Андрониковой-Гальперн. См. письма к ней (т. 7).

62

[1] Окончательное название цикла — «Стихи к Пушкину». См. т. 2.

63

[1] М. Н. Лебедева и ее дочь Ирина. См. комментарии 2 и 3 к письму 101.

64

[1] Словами «мне больше ничего не нужно» ответила французская королева Мария Антуанетта в день своей казни на предложение тюремной служащей съесть специально приготовленный для нее суп.

[2] 18 ноября 1931 г. Цветаева писала о Муре: «О первоначальной школе и согласна и нет, — согласна бы ежели бы: не 40 человек в классе, а 10 (группы), не шесть часов сидения, а три — и любящие люди, а не чиновники. С Муром особенно сложно: ему и так проходу на улице не дают из-за роста, толщины, всей его *несхожести* с франц⟨узскими⟩ детьми. В Чехии, где дети — дети, а не *красивые старички и старушки*, он был бы незаметен. Кроме того он мало знает французский и даже ответить не сумеет. Прибавьте к этому *мое* эмигрантское бесправие и мой вовсе-не эмигрантский нрав» (*Письма к Тесковой.* С. 81 — 82).

[3] Цветаева имеет в виду свое замужество. Оно состоялось, когда ей было 19 (а не 17) лет.

[4] *Alain Gerbault* — французский писатель Алэн Жербо (1893 — 1941), совершивший в одиночку кругосветное путешествие по морю, описал его в своей книге «Один через Атлантический океан» (1929).

[5] Имя поэтессы установить не удалось.

[6] Доклад Цветаевой состоялся в Доме Мютюалитэ (рю Сен-Виктор, 6) 21 января 1932 г. 17 января «Последние новости» опубликовали содержание доклада: «Большой поэт неизбежно современен. Что такое современность? В какую минуту и почему поэт перестает быть современным? Поэт в эмиграции и поэт в Сов⟨етской⟩ России. Всякий поэт по существу эмигрант. Обыватель и новое искусство. Причина гибели Есенина. Быть современным — творить свое время. Что такое время и почему я должна ему служить?»

[7] Статья «Искусство при свете совести» была впервые опубликована со значительными редакционными купюрами в «Современных записках» (1932, № 50; 1933, № 51), а также в переводе на сербскохорватский в «Руски Архив» (1932, № 18/19). (См. т. 5.) Подробнее об истории публикации см. в кн.: Цветаева М. Искусство при свете совести (Реконструкция полного текста статьи, выполненная Ю. П. Клюкиным). М.: Дом Марины Цветаевой, 1993.

[8] А. С. Штейгер. См. письмо 95 («...он мне когда-то обещал...»).

[9] Речь идет о повести Рильке «Песня о любви и смерти корнета Кристофа Рильке».

[10] А. А. Тескова выполнила просьбу Цветаевой и прислала ей книгу «Die Frau» (Франкфурт-на-Майне, 1930) с дарственной надписью: «Дорогой Марине Ивановне Цветаевой на радость... с любовью. А. А. Tesková 24.III.32. Прага». (Частное собрание). 17 апреля 1932 г. Цветаева откликается на подарок: «Пишу Вам наспех, по горячему следу радости и благодарности: только что получила книгу... (пр. 4 с.) Die Frau для меня — огромное счастье, сбывшаяся мечта двух, если не трех лет. Смотрю — и не верю (что — *моя*, что не нужно отдавать). Главная же радость —

Вы будете, а может быть не будете — смеяться: что почти 600 страниц, что на так долго — радости. Та́к книгам я радовалась только в детстве» *(Письма к Тесковой.* С. 86).

[11] На доклад Цветаевой (см. выше комментарий 6) были приглашены «в качестве собеседников»: В. Андреев, Н. Бердяев, И. Бунаков, В. Вейдле, Е. Зноско-Боровский, Л. Карсавин, Н. Оцуп, Б. Поплавский, М. Слоним, В. Сосинский, Г. Федотов, А. Эйснер (Последние новости. 1932. 14 января).

[12] *Зноско-Боровский* Евгений Александрович (1884—1954) — прозаик, критик, историк театра. Автор рецензии на книгу Цветаевой «Ремесло» (Воля России. 1924. № 3).

[13] *Яблоновский* (настоящая фамилия Потресов) Сергей Викторович (1870—1953) — журналист, театральный критик.

65

[1] По свидетельству самого Эйснера, Цветаева вскоре изменила свое отношение к нему: «...где-то с 32-го года я бросил писать стихи. Тут Цветаева стала очень плохо ко мне относиться, потому что... я ее обманул. Поэт не может бросить писать стихи. Она считала, что я поэт, и она ко мне хорошо, нежно относилась. А я бросил, значит, я притворялся поэтом. Она ко мне потеряла интерес, больше со мной не имела дела, то есть руку мне подавала, я руку целовал, но она со мной почти не разговаривала, цедила что-то сквозь зубы» (*Воспоминания о Цветаевой.* С. 394).

66

[1] «Живое о живом» (см. т. 4).

[2] К. Н. Рейтлингер-Кист.

[3] Чтение Цветаевой прозы «Живое о живом» состоялось 13 октября 1932 г. в Доме Мютюалите.

[4] Правильно: Реймсский собор — архитектурный памятник французской готики в г. Реймс. Отличается богатейшим скульптурным убранством. Место, где до 1825 г. короновались французские короли.

67

[1] *Даманская* Августа Филипповна (1885—1959) — писательница, переводчица. Опубликовала свои впечатления от выступления Цветаевой на вечере памяти А. С. Пушкина в Париже в 1937 г. (Сегодня. Рига. 1937. 6 марта).

[2] Речь идет о прозе «Флорентийские ночи» (см. т. 5).

[3] *Рейтлингер* Юлия Николаевна (1898—1988) — художница, выдающийся мастер современной иконописи. В 30-е годы стала инокиней (сестра Иоанна).

В те же годы Религиозно-педагогический кабинет при Православном богословском институте в Париже предпринял издание серии «Листков для детского чтения». Всего было издано 24 выпуска. Начиная с 10-го в качестве художницы была привлечена сестра Иоанна (Рейтлингер). О своем предложении Цветаевой написать тексты для детских листков Юлия Николаевна рассказывает: «...когда я, отчаявшись найти человека для писания текстов религиозных листков для детей, обратилась к ней с просьбой писать их, она очень живо откликнулась, но сказала, что может писать только о том, что сама пережила, и набросала свое переживание: стоя девочкой в церкви, она глядела в окно на ветку дерева — эта ветка очень много выражала, и она хотела идти от нее в своем описании» (*Воспоминания о Цветаевой.* С. 291).

69

[1] Историю создания очерка «Дом у Старого Пимена» см. в т. 5, см. также письма к В. Н. Буниной и комментарии к ним (т. 7).

[2] Статья под названием «Два „Лесных Царя“» была опубликована в журнале «Числа» (1934, № 10). См. т. 5.

[3] Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «А. О. Смирновой» (1840).

[4] Чествование И. А. Бунина русскими организациями по случаю присуждения ему Нобелевской премии по литературе состоялось в Париже 26 ноября 1933 г. Цветаева послала поздравительную телеграмму В. Н. Буниной (см. т. 7).

[5] В. Н. Бунина. См. письма к ней (т. 7).

[6] В. И. Цветаева.

70

[1] Книга шведской писательницы Хильдур Дикселиус (1879—1969).

[2] Стихотворение Гёте.

[3] Правильно: *Olav Duun* — Улав Дуун (1876—1939) — норвежский писатель. См. также письмо 5 к А. Берг (т. 7).

[4] Речь идет о попытке напечатать в «Последних новостях» статью «Два „Лесных Царя“», окончившейся неудачей.

[5] См. об этом письма к В. В. Рудневу и комментарии к ним (т. 7).

71

[1] Речь идет об Иване Владимировиче Степанове, писателе-эмигранте, возглавлявшем в конце 1920-х гг. брюссельскую группу евразийцев. Публицист, один из основателей эмигрантского журнала «Утверждения». Отравился газом в ночь на 1 января 1934 г. (*Письма к Тесковой.* С. 175).

72

[1] Цветаева сообщает о получении книги Х. Дикселиус «Дочь священника». См. далее текст данного письма и письмо 70.

[2] *Людвиг Эмиль* (1881—1948)—немецкий писатель, автор множества беллетризованных биографий великих людей, в том числе книги «Наполеон» (1906).

73

[1] Чтение Цветаевой прозы «Моя встреча с Андреем Белым» состоялось 15 марта 1934 г. в Географическом зале (184, бульвар Сен-Жермен). Под названием «Пленный дух» была опубликована в журнале «Современные записки» (1934, № 55).

[2] Вересаев В. В. Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. М.; Л.: Academia, 1933.

74

[1] *...старшая (не-андреевская).*—Карницкая (в первом браке—Капёнкина) Нина Константиновна (1906—1987)— дочь А. И. Андреевой от первого брака. *Второй—Савва*—см. комментарий 9 к письму к А. И. Андреевой (т. 7).

[2] *Рубинштейн* Ида Львовна (1885—1960)—балерина, ученица балетмейстера М. М. Фокина (1880—1942). В 1928—1935 гг. руководила в Париже собственной труппой.

[3] *Вера*—Андреева (в замужестве—Рыжкова) Вера Леонидовна (1911—1986), мемуаристка. В 1960 г. вернулась в СССР. Автор повести «Дом на Черной речке» (1974) и романа «Эхо прошедшего» (1986), основанных на автобиографическом материале, а также воспоминаний о Цветаевой (*Воспоминания о Цветаевой.* С. 362—368).

[4] *Валентин*—Андреев Валентин Леонидович (1913—1988).

[5] См. комментарий 1 к письму к М. Л. Кантору (т. 7), а также т. 5.

75

[1] Герой одноименной средневековой поэмы, написанной немецким поэтом Вольфрамом фон Эшенбахом (конец XII—начало XIII в.). Отличался чистосердечностью и мужеством.

[2] Правильно: «Ida-Elisabeth» («Ида-Элизабет»)—роман, на содержании которого сказалось обращение С. Унсет в 1924 г. в католическую веру. См. также письмо 103.

76

[1] См. т. 5

[2] См. т. 5.

77

[1] Неточно цитируемые Цветаевой строки из предсмертного письма Маяковского («Я с жизнью в расчете и не к чему перечень//Взаимных болей, бед и обид...»).

[2] *Патти Аделина* (1843—1919)—знаменитая итальянская певица. В 1860-х годах гастролировала в России.

[3] Двустишие, приписываемое М. Цветаевой немецкому писателю Альберту фон Шамиссо (1781—1838). См. также письмо 69 к А. Берг (т. 7).

[4] См. письмо 29 к В. Н. Буниной (т. 7).

78

[1] См. письма к Н. П. Гронскому в т. 7.

[2] Речь идет о статье «Посмертный подарок», вошедшей в более обширное эссе «Поэт-альпинист», напечатанное при жизни Цветаевой лишь по-сербскохорватски в журнале «Руски Архив» (1935, № 32/33). *Белла-Донна*—правильно: Белладонна—название горной цепи под Гренoблем в Альпах. Поэма имела первоначальное название: «Поэма пика Мадонны и трех альпинистов».

[3] Публикацию поэмы Н. П. Гронского «Белла-Донна» в «Последних новостях» предваряло вступление Г. В. Адамовича.

79

[1] См. письмо 82.

80

[1] *Меч*—еженедельная русская газета, издававшаяся под редакцией Д. В. Философа и Д. С. Мережковского в Варшаве (1934—1939). А. Л. Бем регулярно публиковал в ней свои «Письма о литературе» (критические и обзорные статьи).

[2] Вечер памяти А. А. Блока состоялся 2 февраля 1935 г. в зале Общества ученых (Сосьете Савант, рю Дантон, 5). Текст выступления Цветаевой на этом вечере не сохранился.

[3] См. т. 5.

[4] См. письмо 82, а также письма к И. П. Демидову и письмо 25 к В. Н. Буниной в т. 7.

81

[1] *Головина* (урожденная Штейгер, во втором браке Жиль де Пелиши) Алла Сергеевна (1909—1987)—поэтесса, прозаик. Входила в пражский «Скит поэтов». Последние годы жила в Бельгии. См. также письмо 101.

[2] Впервые было опубликовано в посмертном и единственном сборнике Н. П. Гронского «Стихи и поэмы» (Париж: Парабола, 1936. С. 16). Цветаева приводит его с незначительными разночтениями. Там же напечатано и второе стихотворение Гронского, посвященное Цветаевой:

«Отпер дверь я. — Два синих крыла,//Отступила на шаг и вошла.//«Друг, поверь, я»... — и крыльями складки плаща — //«О, не в дверь, в жизнь твою я вошла» (октябрь 1928) (там же. С. 15).

[3] Речь идет о стихотворении «Встреча», посвященном В. Д. (лицо неустановленное): «Пусть дважды будет приговор//Над золотой Твоей главою, — //Я заключаю договор//С Твоей бессмертною душою.//*В крылатости безруких плеч**,//Из стран последних вдохновений,// — Зову Тебя из вихря встреч,//Зову из ветра посещений.//Так, крылья на груди крестом// — Не сломит Веры вероломность. — //Приди, покинь высокий дом,// — Зову тебя в мою бездомность» (Bellevue, 1928) (там же. С. 21).

82

[1] *...потомок Петра по боковой линии...* — один из предков И. П. Демидова был женат на потомице А. Ф. Лопухина, брата первой жены Петра I, Евдокии Федоровны Лопухиной. (См. «История родов русского дворянства: В 2 т. Т. 2. Спб.: Книгоиздательство Германа Гоппе, 1886).

83

[1] То есть в родительском доме в Москве (Трехпрудный переулок, дом 8), в котором прошло детство, отрочество и юность Цветаевой.

[2] Свой доклад «Поэт-альпинист» о поэзии Н. П. Гронского Цветаева прочла 11 апреля 1935 г. в зале Географического общества. Программа доклада: «Может ли в эмиграции возникнуть поэт? — Чего ждать от еще одной поэмы? — Потомок Державина. — Что такое поэтическая «невнятица». — Смысл гибели Николая Гронского. — Письма с Альп. — Альпинизм спортсмена и альпинизм поэта. — Поэма Белла-Донна: суть и форма. — Белла-Донна и Мцыри. — Эмиграция так же бессильна поэта — дать, как поэта — взять. Законы поэтической наследственности. — Корни поэзии» (Последние новости. 1935. 11 апреля).

[3] *Деникин* Антон Иванович (1872 — 1947) — генерал-лейтенант, командующий Добровольческой армией. С 1920 г. в эмиграции.

[4] *Багрицкий* (настоящая фамилия Дзюбин) Эдуард Георгиевич (1895 — 1934) — русский советский поэт.

[5] Рецензия Цветаевой на книгу Н. Гронского «Стихи и поэмы» появилась в журнале «Современные записки» летом 1936 г., № 61 (см. т. 5).

84

[1] *Алексинский* Иван Павлович (1871 — 1955) — выдающийся русский хирург, один из основателей франко-русского госпиталя в Вильжюифе (предместье Парижа).

[2] *Врангель* (урожденная Елпатьевская, в первом браке — Кулакова) Людмила Сергеевна, баронесса (1877 — 1969) — писательница. Автор книги

* Курсив наш. — *Сост.*

«Воспоминания и стародавние времена» (Вашингтон, 1964), в которой глава «Ла-Фавьер» посвящена жизни в 1930-х годах дачной колонии русских. «Куприн, Марина Цветаева и другие читали свои произведения» — упоминает автор о пребывании Цветаевой в Ла-Фавьер. (С. 142).

[3] *Елпатьевский* Сергей Яковлевич (1854 — 1933) — русский писатель, публицист. Родственник Цветаевых. На его даче в Ялте семья Цветаевых жила в 1905 — 1906 гг.

[4] *Главнокомандующий* (русской армией в Крыму) — Врангель Петр Николаевич.

[5] *Врангель* Николай Александрович, барон (1887 — 1961) — специалист в области мостостроения, профессор Русского высшего технического института в Париже.

[6] См. письмо 90 и комментарий 1 к нему.

85

[1] *Мария Вечёра* — правильно: Мария Ве́чера (1871 — 1889) — румынская баронесса, возлюбленная эрцгерцога Рудольфа фон Габсбурга (1858 — 1889). Из-за невозможности заключить брак (эрцгерцог был женат) оба покончили самоубийством в охотничьем замке Мейерлинге близ Вены 30 января 1889 г. Фамилию баронессы, превратив ее в «славянку» Вечо́ру (Вечёру), сознательно изменил В. Хлебников. См. его стихотворение «Мария Вечора» и комментарии к нему в кн.: Хлебников В. Творения (М.: Сов. писатель, 1986). Ср. также у М. А. Алданова: «Мария Вечера была немного Наташа Ростова, немного тургеневская Елена...» (Последние новости. 1938. 29 сентября).

86

[1] Художественная автобиография Х. К. Андерсена.

[2] *Сметана* Бедржих (1824 — 1884) — чешский композитор, дирижер, пианист.

[3] Речь идет о Елизавете Эдуардовне Малер (1882 — 1970), профессоре славянской филологии в Базельском университете (Швейцария). С 1920 г. жила в Швейцарии. Уезжая в СССР, Цветаева оставила ей часть своего архива.

87

[1] *Даль* Владимир Иванович (осн. псевдоним Казак Владимир Луганский; 1801 — 1872) — русский писатель, лексикограф, этнограф.

[2] *Унбегаун* Борис Генрихович (1898 — 1973) — русский ученый-лингвист, библиограф. В 1924 — 1937 гг. жил в Париже.

...о нем был отзыв... — имеется в виду рецензия Николая Карловича Кульмана (1871 — 1940) на книгу — докторскую диссертацию Б. Г. Унбегауна «La langue russa au XVI siécle (1500 — 1550). I. La flexion des noms»*. Paris, 1935 (Современные записки. 1935. № 58. С. 483 — 484).

[3] Речь идет о поэме «Певица» (см. т. 3).

* «Русский язык в XVI в. I. Именные флексии» *(фр.)*.

88

[1] См. письма к В. Н. Буниной (т. 7).

[2] *Кузнецова* Галина Николаевна (1900—1976)—писательница, поэтесса. Многие годы жила в семье Буниных.

[3] Вечер Цветаевой («Вечер новых стихов») состоялся 20 декабря 1935 г. в зале Общества ученых (Сосьете Савант, рю Дантон, 5).

[4] Цитата из первой части «Фауста» Гёте.

[5] *Фаворские*—о ком идет речь, установить не удалось.

[6] *Унбегауны*—Унбегаун Б. Г. (см. комментарий 2 к предыдущему письму) и его жена (урожденная Мансурова) Елена Ивановна. *Замятины*—Замятин Евгений Иванович (1884—1937)—писатель. С 1932 г. в эмиграции. См. также письмо 50 к В. Н. Буниной в т. 7. Его жена—Людмила Николаевна (1883—1965). Умерла в эмиграции.

89

[1] Герои романа Л. Н. Толстого «Война и мир». *...дом Ростовых*—описанный в романе известный дом на Поварской улице (№ 52). После революции—Дворец Искусств, затем—Союз писателей.

90

[1] Международный конгресс писателей в защиту культуры, который проходил в Париже с 21 по 25 июня 1935 г. Б. Л. Пастернак был включен в число его участников в последний момент. Распоряжение Сталина о поездке на конгресс было передано его секретарем, Поскребышевым, Пастернаку по телефону. Пастернак прибыл в Париж 24 июня. Цветаева с сыном 28 июня уехала в Фавьер. (Подробно о поездке Пастернака в Париж см. : Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы. Jerusalem, 1984. С. 236—266.)

[2] «Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию. Частью в них говорила тоска по родине и симпатии к коммунизму и Советскому Союзу, частью же соображения, что Цветаевой не житье в Париже и она там пропадет в пустоте без отклика читателей.

Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу. У меня на этот счет не было определенного мнения...» (Пастернак Б. Люди и положения.—Новый мир. 1967. № 1. С. 233).

[3] Литературный вечер, устроенный «Объединением писателей и поэтов» 15 февраля 1936 г. в помещении Общества ученых. Для участия в нем было приглашено более тридцати поэтов.

[4] Видимо, речь идет об утреннике устроенном хором «Союза возвращения на родину». Одним из видных деятелей Союза был С. Я. Эфрон. Сведений о вечере 16 февраля хроникой Союза не отмечено. (Наш союз. Париж. 1936. Март.)

91

[1] В 1936 г. А. Ф. Керенский выступил в Париже с докладами, объединенными общей темой «Трагедия царской семьи». Они были прочитаны в зале Musée social на рю Ласказ. Первый (а всего их было три) — «Революция, царь и монархисты» — состоялся 26 февраля 1936 г., второй «Гибель царской семьи» — 7 марта. 17 марта два первых доклада были объединены в один — «Крушение монархии и гибель царской семьи», при этом было предусмотрено время на вопросы.

[2] В редактируемой А. Ф. Керенским газете «Дни» Цветаева опубликовала за три с лишним года (с февраля 1923 г.) 32 стихотворения и значительную часть своей дневниковой прозы. О первой встрече Цветаевой с А. Ф. Керенским см. письмо 11 к Р. Б. Гулю, о их встрече в одном из парижских домов — комментарий 8 к этому письму.

[3] *Панкратов В. С.* — начальник караула царской семьи в Тобольске, уполномоченный Временным правительством. *Яковлев В. В.* — комиссар, направленный ЦИКом вместе с отрядом красноармейцев вывезти царя из Тобольска. *Кобылинский Е. С.* — полковник Лейб-гвардии Петроградского полка, осуществлявший охрану царской семьи в первые дни ее пребывания в Тобольске. Был предан царю. После приезда Панкратова должен был перейти в его подчинение. (Подробнее об этом см., например, в кн.: Соколов Н. А. Убийство царской семьи. Берлин: Слово, 1925.)

[4] Ср. у И. Бабеля в рассказе «Линия и цвет». На слова автора «Купите очки, Александр Федорович...», Керенский ответил: «Полтинник за очки — это единственный полтинник, который я сберегу» (Бабель И. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1990. С. 106).

[5] А. Ф. Керенский в это время редактировал двухнедельный парижский журнал «Новая Россия» (1936—1940).

[6] В своем докладе А. Ф. Керенский говорил: «Мы арестовали царя потому, что в этих условиях свобода становилась опасной для него самого». Тобольск был выбран Керенским, потому что там «хороший губернаторский дом, нет рабочих». (Последние новости. 1936. 10 марта).

[7] М. А. Кузмин оказал влияние на раннюю поэзию Ахматовой, но близким ее другом, вопреки утверждению Цветаевой, никогда не был. На одном из своих сборников, подаренных Кузмину, Ахматова сделала надпись: «Михаилу Алексеевичу, моему чудесному учителю» (Воспоминания об Анне Ахматовой. М.: Сов. писатель, 1991. С. 66). В поздние годы А. Ахматова пересмотрела свое отношение к личности и творчеству Кузмина, что отразилось в «Поэме без героя».

[8] Очерк Цветаевой о М. А. Кузмине «Нездешний вечер» (см. т. 4). Опубликован в журнале «Современные записки» (1936, № 61).

92

[1] Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно и грустно» (1840).

[2] *Мальро* Андре (1901—1976)—французский писатель и государственный деятель. В 1930-е гг. сотрудничал в литературном отделе газеты «Юманите».

93

[1] В мае 1936 г. Цветаева ездила в Брюссель с чтением своих произведений. См. также письмо 1 к З. А. Шаховской (т. 7).

[2] Очерк «Отец и его музей» см. в т. 5.

[3] Речь идет о О. Н. Вольтерс. Ср. в настоящем письме Цветаевой, где она пишет о своей бельгийской приятельнице: «...она поглощена *домом*» (курсив наш.—*Сост.*) и в другом ее письме, к З. А. Шаховской от 22 июня 1936 г.: «О⟨льга⟩ Н⟨иколаевна⟩ не пишет, но на ней бремя *дома*» (выделено Цветаевой). См. также письма к А. Берг (т. 7).

[4] То есть у М. А. Волошина. См. «Живое о живом» в т. 4.

94

[1] О переводах Цветаевой стихотворений А. С. Пушкина и ее попытках опубликовать их см. письма к З. А. Шаховской и комментарии к ним в т. 7.

[2] Стихотворение М. Цветаевой «Прокрасться» («А может, лучшая победа...») в переводе на чешский Яна Ржихи было напечатано в газете «Národni listy» (1936. № 177. 28 июня) и в антологии «Vybor z ruské lyriky», Hradec Králove (1936. С. 192).

95

[1] См. письма к А. С. Штейгеру и комментарии к ним (т. 7).

[2] *...немецкую книгу*—см. письмо 64.

[3] Первое из шести стихотворений цикла «Стихи сироте», обращенного к А. С. Штейгеру. Цветаева приводит его с вариантом первой строки. В окончательном тексте: «Ледяная тиара гор—...» (см. т. 2).

96

[1] Мать А. А. Тесковой скончалась 20 сентября 1936 г.

[2] Три последние строфы стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»: «...И где мне смерть пошлет судьбина?//В бою ли, в странствии, в волнах?//Или соседняя долина//Мой примет охладелый прах?//И хоть бесчувственному телу//Равно повсюду истлевать,//Но ближе к милому пределу//Мне все б хотелось почивать.//И пусть у гробового входа//Младая будет жизнь играть,//И равнодушная природа//Красою вечною сиять» (1829).

[3] Сестра А. А. Тесковой. См. комментарий 4 к письму 9.

98

[1] Речь идет о состоявшемся в августе 1936 г. открытом процессе Зиновьева и Каменева. Среди многочисленных обращений и резолюций собраний «трудящихся» с требованием высшей меры наказания, заполнивших страницы газет, в «Правде» от 21 августа было опубликовано групповое письмо литераторов под заглавием «Стереть с лица земли!» Пастернак вынужден был поставить под ним свою подпись. (Подробнее см.: Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы. Jerusalem, 1984. С. 366—370.)

[2] Цветаева неточна. 10 августа 1926 г. Рильке пишет стихотворение «Ни разума, ни чувственного жара...», обращенное к поэту Карлу Ланцкоронскому. Запись последнего стихотворения Рильке («Ты—цель последняя моих признаний...») относится к середине декабря 1926 г., то есть сделана за две недели до смерти.

[3] Рильке умер 29 декабря 1926 г.

99

[1] Немецкий писатель А. Шамиссо, француз по происхождению, долгое время был в Германии чужаком. Лишь в 1828 г., в возрасте сорока семи лет, после второго издания «Необыкновенной истории Петера Шлемиля» (в книгу вошли также двадцать лучших его стихов) Шамиссо получает всеобщее признание.

[2] См. т. 5. Проза «Мой Пушкин» была опубликована в журнале «Современные записки» (1937, № 64). См. также письмо к П. Балакшину (т. 7).

[3] О вечере Цветаевой, который состоялся 2 марта 1936 г. и на котором она прочла прозу вместе со стихами к Пушкину, см. письма к В. Н. Буниной и комментарии к ним в т. 7.

[4] Речь идет о письме Р.-М. Рильке к Б. Л. Пастернаку от 3 мая 1926 г., которое Пастернак получил через Цветаеву (см. *Письма 1926 г.* С. 102—103). А. А. Тескова могла прочесть его в томе писем Рильке (R.-M. Rilke. Briefe aus Muzot 1921 bis 1926. Leipzig, 1935. С. 355).

100

[1] Героиня романа С. Ундсет «Кристин, дочь Лавранса».

[2] «Стихи к Пушкину» были напечатаны в 1937 г. в журнале «Современные записки»—№ 63 («Бич жандармов, бог студентов...» и «Петр и Пушкин») и № 64 («Станок» и «Преодоленье...»). Цитируемое в письме стихотворение опубликовано не было (см. т. 2).

[3] *Мазон* Андре (1881—1967)—французский филолог-славист, историк русской литературы. Начал научно-педагогическую деятельность в России. В 1928 г. был избран иностранным членом-корреспондентом Академии наук СССР.

[4] *Трианон* — название двух королевских дворцов в Версальском парке, недалеко от Парижа. Малый Трианон был построен Людовиком XV. Сад дворца был известен строениями, предназначенными для забав королевского двора.

[5] В Фонтенбло 22 июня 1815 г. Наполеон подписал отречение от престола.

101

[1] Имеется в виду отъезд А. Эфрон в СССР.

[2] *М. Н. Лебедева* (урожденная баронесса Спенсер; 1880* — 1958) — жена В. И. Лебедева, врач. С 1908 г. в эмиграции. Близкий друг М. Цветаевой. По словам А. С. Эфрон, в доме Лебедевых «никогда не уставали от Марининых бед, нужды, неурядиц, никогда не отстранялись от ее неподъемного таланта и неподъемного характера, *всегда* радовались ей. ⟨...⟩ Дружба эта не только длилась без спадов, путь ее шел в гору и достиг наивысшей, дозволенной жизнью, точки в самые тяжелые, самые затравленные эмиграцией годы, непосредственно предшествовавшие Маринину возвращению на родину» (*А. Эфрон.* С. 204—205).

[3] Колль (урожденная Лебедева) Ирина Владимировна (р. 1916) — с детства ближайшая подруга Ариадны Эфрон.

[4] Е. Я. Эфрон. См. письма к ней.

[5] А. И. Цветаева. См. письма к ней.

[6] В 1937 г. в Париже открылась Всемирная выставка.

102

[1] У входа в Советский павильон на Всемирной выставке в Париже была установлена скульптурная группа В. И. Мухиной (1889—1953) «Рабочий и колхозница» (1937).

[2] Ежемесячный журнал, для которого А. С. Эфрон выполняла переводы; сначала по договорам, затем была принята в штат.

[3] *Русские Записки* — общественно-политический и литературный журнал. Париж; Шанхай, затем Париж, 1937—1939. Эссе Цветаевой «Пушкин и Пугачев» было опубликовано в 1937 г., № 2 (см. т. 5).

103

[1] См. комментарий 2 к письму 75.

[2] *Jenny* — название раннего романа С. Ундсет (1911).

[3] Родовая усадьба Лагерлёф *Marbacka* (Морбакка) — одно из самых ярких воспоминаний детства писательницы. С. Лагерлёф описала ее в своих произведениях «Морбакка» (1922), «Мемуары ребенка» (1930), «Дневник» (1932) и др.

[4] «Повесть о Сонечке». Первая часть повести была опубликована в журнале «Русские записки». 1938. № 3 (см. т. 4).

* По сведениям В. А. Швейцер.

104

[1] Город-порт в Испании, расположенный на берегу Бискайского залива.

[2] *Масарик* Томаш (1850—1937) — президент Чехословакии в 1918—1935 гг. С 1882 г. был профессором философии Пражского университета.

[3] *Buck Pearl* (Бак Перл, псевдоним — И. Седж; 1892—1973) — американская писательница, публицистка. Лауреат Нобелевской премии 1938 г. Сюжеты своих произведений черпала исключительно из китайской жизни.

106

[1] *Давид Копперфильд.* — Имеется в виду автобиографический «роман воспитания» Чарлза Диккенса (1812—1870) «Дэвид Копперфильд» (1850).

[2] *Abel* — Абель Лючия-Елизабет — автор книг Napoleon à Sainte-Hélene Sonvemrs de Betry Balcombe. Paris, Plon Nourrit et c-ie, 1898.

108

[1] Письмо Цветаевой написано в дни, когда в Чехословакии развернулись трагические события. В результате Мюнхенского сговора (соглашения, заключенного между Германией, Италией, Англией и Францией) от Чехословакии была отторгнута Судетская область и поделена между гитлеровской Германией, буржуазной Венгрией и панской Польшей. Отсюда слова Цветаевой: «глубочайшее чувство опозоренности за Францию».

[2] 24 сентября 1938 г. лондонская газета «Дейли Телеграф» сообщила: «Чрезвычайную радость в Праге вызвало то обстоятельство, что начальник французской военной миссии в Чехословакии, генерал Фошэ *(Faucher)* послал в Париж отставку и записался на время войны волонтером в чехословацкую армию». Под заголовком «Жест генерала Фошэ» «Последние новости» перепечатали эту информацию 25 сентября 1938 г.

[3] После выезда из квартиры в Ванве Цветаева приблизительно месяц в июле-августе 1938 г. жила в гостиничной комнате в Исси-ле-Мулино («последнее предместье») (*Звезда.* С. 43, 70).

109

[1] В ответном письме от 11 октября 1938 г. А. А. Тескова писала: «Дорогая Марина, что могу написать? Связали народ по рукам и ногам, плевали на него, били, — тысячелетнюю границу его земли отрезали,

искалечили то, что было родиной чешского народа за тысячу лет... Трудно понять... А привыкнуть?—едва ли...» (*Стихотворения и поэмы.* С. 749).

[2] *François Joliot*—правильно: Фредерик Жолио (с 1934 г. Жолио-Кюри; 1900—1958)—ученый-физик и общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии. *Irène Curie*—Ирен Кюри (с 1934 г. Жолио-Кюри; 1897—1956)—ученый-радиолог, дочь Марии Склодовской-Кюри, жена Фредерика Жолио.

[3] *Madame Curie*—Склодовская-Кюри Мария (1867—1934)—ученый-физик и химик. Совместно с мужем П. Кюри открыла радий. Лауреат Нобелевской премии.

[4] *Eva Curie*—Ева Кюри (р. 1904)—писательница, журналистка, вторая дочь М. Склодовской-Кюри, автор книги «Madame Curie», вышедшей в 1938 г. в Париже в издательстве «Gallimard» и выдержавшей во Франции более 100 изданий. Переведена более чем на двадцать пять языков, в том числе на русский.

После смерти М. И. Цветаевой ее сын Георгий, отвечая на письма сестры, Ариадны, писал: «Насчет книги о маме я уже думал давно, и мы напишем ее вдвоем—написала же Эва Кюри про свою знаменитую мать» (Встречи с прошлым. Вып. 4. М.: Сов. Россия, 1982. С. 420).

110

[1] По-видимому, иносказание. Подразумевается отторжение пограничных областей Чехословакии. В уже цитированном письме к Цветаевой от 11 октября 1938 г. А. А. Теськова с благодарностью писала: «Ваше сочувствие и сочувствие всех, кто не утратили чувства правды и справедливости,—дает возможность дышать, не задохнуться в атмосфере подлости и лжи. Спасибо!» (*Стихотворения и поэмы.* С. 749).

[2] См. письмо 39 и комментарий 2 к нему.

[3] См. письмо 10 и комментарий 2 к нему.

[4] Часть Праги, расположенная на возвышенном месте, откуда открывается прекрасный вид на пражскую котловину.

111

[1] *Чапек* Карел (1890—1938)—чешский писатель. 8 ноября 1938 г. в парижском театре Де-з-Ар (а не Rideau de Paris) состоялась генеральная репетиция пьесы Чапека «L'Epoque où nous vivons» («Время, в котором мы живем»). С 11 ноября по 20 декабря спектакль шел ежедневно.

[2] *Мистраль* Фредерик (1830—1914)—французский поэт.

[3] *«Хижина дяди Тома»*—роман американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1811—1896).

[4] *Фейхтвангер* Лион (1884—1958)—немецкий писатель. «Еврей Зюсс»—один из его ранних романов (1925).

112

[1] К письму были приложены три стихотворения из цикла «Стихи к Чехии»: 1. «Полон и просторен...», 2. «Горы—турам поприще...», 3. «Есть на карте—место...» (см. т. 2).

[2] То есть газету «Возрождение». Прекратила свое существование летом 1940 г.

[3] *Иохимов*—город Яхимов. См. письмо 113.

[4] В течение всей своей жизни Гёте интересовался геологией и минералогией, собрал коллекцию камней и минералов. По его собственным словам, «не было такой высокой горы, на которую он не взобрался бы, ни столь глубокой шахты, в которую он не спустился бы» (Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М.; Л.: Academia, 1934. С. 56).

[5] *Гаррах* Иоганн Францевич—граф, австрийский политический деятель (XIX в.). Занимался благотворительной деятельностью в пользу чехов.

[6] *Чемберлэн*—правильно: Чемберлен Невилл (1869—1940)—премьер-министр Великобритании (1937—1940), сторонник политики умиротворения фашистских держав. В 1938 г. подписал Мюнхенское соглашение.

[7] *Венский конгресс* (1814—1815) европейских государств, которым завершились войны каолиций европейских держав с Наполеоном. На конгрессе были удовлетворены территориальные притязания держав-победительниц.

[8] *Галифакс* Эдуард Фредерих Вуд (1881—1959)—министр иностранных дел Великобритании (1938—1940), проводил политику Чемберлена в отношении фашистских государств.

[9] *D'Israeli*—Дизраэли Бенджамин (1804—1881)—премьер-министр Великобритании (1868, 1874—1880), проводил политику колониальной экспансии.

[10] *Gladstone*—Гладстон Уильям Юарт (1809—1898)—премьер-министр Великобритании (1868—1874, 1880—1885 и др.). Правительство Гладстона подавляло национально-освободительное движение в Ирландии, осуществило захват Египта.

[11] *Duguesclin*—правильно: Guesclin, du—Гесклен Бертран дю (1314—1380)—французский генерал, успешно воевал с англичанами во время войн их с французским королем Иоанном II.

[12] *Черчилль* Уинстон Леонард Спенсер (1874—1965)—премьер-министр Великобритании (1940—1945, 1951—1955), в 1939—1940—военно-морской министр. Выступал против политики соглашательства с Германией.

[13] *Иден* Антони, лорд Эйвон (1897—1977)—министр иностранных дел Великобритании (1935—1938, 1940—1945 и др.), единомышленник Черчилля.

[14] Средневековый замок в Чехии, расположен неподалеку от Вшенор, где жила Цветаева.

[15] *«Где мой дом?»*—начальные слова чешского национального гимна.

113

[1] К. Чапек умер 25 декабря 1938 г. от воспаления легких. Сообщение о его смерти было напечатано в «Последних новостях» 26 декабря 1938 г.

[2] Симеону, праведному старцу, жившему в Иерусалиме, было предсказано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит Христа. Симеон увидел Иисуса на сороковой день рождения в храме, куда Младенца принесли, чтобы представить Господу (библ.).

[3] См. письмо 112.

[4] В средневековых преданиях Брунсвик отождествлен с королем Пршемыслом II, много сделавшим для укрепления Чешского государства. По легенде, на третий год своего правления Брунсвик отправился странствовать по свету. Рискуя жизнью, он спас льва, который стал его другом и помогал ему в его подвигах. После смерти рыцаря лев умер на его могиле. С именем Брунсвика связывают возникновение чешского герба, на котором до сих пор сохранилось изображение льва.

[5] См. комментарий 1 к письму 112.

[6] К письму была приложена вырезка из французской газеты со статьей о К. Чапеке. Название газеты и дату ее выпуска по вырезке установить не удалось. (*Письма к Тесковой.* С. 209.) См. следующее письмо.

[7] Сборник рассказов французского писателя Альфонса *Доде* (1840—1897).

[8] Речь идет о Чрезвычайном социалистическом конгрессе, где в заключительный день работы большинством голосов (4322 против 2837) была принята резолюция лидера социалистической партии Леона Блюма (1872—1950), направленная против Мюнхенского соглашения 29 сентября 1938 г. См. также письмо 108 и комментарий 1 к нему.

114

[1] В оригинале письмо ошибочно датировано 1938 г. Дата исправлена по почтовому штемпелю на конверте (*Письма к Тесковой.* С. 183.)

[2] *Шоу* Джордж Бернард (1856—1950)—английский писатель.

[3] Одна из формулировок основного закона этики немецкого философа Иммануила *Канта* (1724—1804) гласит: «...поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству» (Кант И. Сочинения: В 4 т. Т. 4. Ч. 1. М., 1965. С. 260). Иными словами, поступок будет моральным лишь в том случае, если он совершается единственно из уважения к нравственному закону.

15 Зак 30

115

[1] *Голем* — название романа австрийского писателя Густава Мейринка (настоящая фамилия Майер; 1868—1932). Место действия романа — Прага.

[2] Lehman — Леман Розамонд (1903 — 1990) — английская писательница. Ее первый роман «Пыль» (или «Ответ из пыли», 1927) был переведен на французский в 1938 г. См. также письмо 70 к А. Берг (т. 7).

116

[1] По-видимому, речь идет о годовщине Февральской революции в России.

117

[1] Письмо написано после немецкой оккупации (15 марта 1939 г.) Чехословакии, поэтому Цветаева прибегает к иносказаниям.

118

[1] В иносказательной форме Цветаева сообщает о своем предстоящем отъезде в СССР.

[2] *Эдди* — Бенеш Эдуард (1884—1948) — политический и государственный деятель, в 1935—1938 гг. президент Чехословакии. В архиве Бенеша стихи Цветаевой не обнаружены (*Письма к Тесковой.* С. 183).

[3] То есть муж и дочь, которые в это время уже жили в России, в поселке Болшево под Москвой.

[4] Речь идет о дочери Цветаевой Ариадне.

119

[1] *Между воскресеньем и субботой...* — Цветаева приводит начальные строки своего стихотворения без названия (1919). См. т. 1.

[2] Из стихотворения М. Цветаевой «Народ» (20 мая 1939 г.), цикл «Стихи к Чехии». См. т. 2.

[3] См. письмо 64 и комментарий 10 к нему.

120

[1] Об отъезде Цветаевой с сыном из Франции в СССР см. также письмо того же дня к А. Берг (т. 7).

[2] Речь идет о К. Б. Родзевиче. См. «Поэму Горы» и «Поэму Конца» и комментарии к ним (т. 3), а также письма к Родзевичу.

[3] Речь идет о К. Д. Бальмонте и Е. К. Цветковской. Последние десять лет жизни поэт страдал душевной болезнью. См. также письмо 37 к В. Н. Буниной (т. 7).

[4] См. стихотворение «Руан» (т. 1).

[5] С. Е. Голлидей. См. «Повесть о Сонечке» (т. 4).

Р. Б. ГУЛЮ

1

Мокропсы, 12-го нов⟨ого⟩ декабря 1922 г.

Милый Гуль,

Простите, забыла Ваше отчество, непременно сообщите. Посылаю Вам три стиха: «Река» и два «Заводские», последние *неделимы,* непременно должны идти вместе, для Вашего «Железного века» они, очевидно, длинны, — берите «Реку»[1]. Может быть во 2 номер бы вместились? Словом, смотрите сами. Очень бы мне хотелось, чтобы Вы пристроили их теперь же. У меня столько стихов разослано, — и в Польшу, и в Париж, — все просят — а пошлешь — как в прорву: устала переписывать. Гонорар, если сумеете выцарапать таковой (а это куда трудней, по-моему, чем писать, переписывать, набирать, брошюровать и т. д.!) — передайте, пожалуйста, Глебу Струве[2]: моя страстная мечта — немецкие Bergschuhe*, и жена Струве[3] была так мила, что обещала мне их купить, если будут деньги. Посылала на этот предмет и Глебу Струве стихи — для «Романтического Альманаха».

Простите, что так тяжеловесно вступаю в письмо (ибо письмо — путь!), помню, что одна из моих главенствующих страстей — ходьба — и Ваша страсть, поэтому надеюсь не только на Ваше прощение, но и сочувствие (Bergschuh'ам!).

— Дружочек, мне совсем не о гонорарах и сапогах хотелось бы Вам писать, мы с Вами *мало* дружили, но *славно* дружили, сапоги и гонорары — только для очистки моей деловой совести, чтобы ложась нынче в 3-ем или 4-ом часу в кровать (на сенной мешок, покрытый еще из сов⟨етской⟩ России полосатой рванью!), я бы в 1001 раз не сказала себе: снова продала свою чечевичную похлебку (Bergschuhe!) за первенство (Лирику!).

Еще два слова о стихах. 1) Умоляю, правьте корректуру сами. 2) Будьте внимательны к знакам, особенно к тире — (разъединит⟨ельным⟩) и — (соедин⟨ительным⟩). 3) В 1 стихотв⟨орении⟩ «Заводские» — в строчке «В надышанную *си*рость чайной» — непременно вместо СИРОСТЬ напечатают С*Ы*РОСТЬ, а это вздор. В 6-ом четверостишии третья строка перерублена:

Скончания.
— Всем песням насыпь.

Так и быть должно. Во втором стихотворении прошу проставить ударение: Трудноды́шащую, ё в слове ошмёт, Тот с большой буквы. Стихотворение «Река». В первой строчке 5-го четверостишия непременно ГОРН*ИЙ*, а не ГОРНЫЙ. Потом, один

* Горные ботинки *(нем.).*

раз: «в ГОРДЫЙ час трубы», другой раз: «в ГОЛЫЙ час трубы», чтоб не перепутали. Наконец, в этом же стихотворении (последняя стр⟨ока⟩, первое четверостишие) заклинаю: курсивом слова: ТОЙ... и: ТОТ. Оба подчеркнуты. И оба с маленькой буквы.

Предвосхищаю, поскольку могу, все опечатки. У меня *очень* ясно написано, но у меня роковая судьба.

Читала в Руле, что вышла моя «Царь-Девица»[4]. Голубчик, не могли ли бы Вы деликатным образом заставить моего из⟨дате⟩ля Соломона Гитмановича Каплуна[5] прислать мне авторские экз⟨емпляры⟩. Геликон[6] мне давал 25, хорошо бы раньше узнать, сколько обычно дает Каплун («Эпоха»). Получив, тотчас же вышлю Вам, клянусь Богом, что между услугой, о к⟨отор⟩ой прошу, и обещанием — никакой связи, кроме внешней: подарю Вам также свое «Ремесло», когда выйдет (???)[7], — я помню, как Вы тогда *всем существом* слушали стихи: так же, как я их писала.

О себе в этом письме не хочется писать ничего, напишу Вам отдельно. Скажу только, что кончаю большую вещь (в стихах), к⟨отор⟩ую страстно люблю и без к⟨отор⟩ой осиротею[8]. Пишу ее три месяца. Стихи писала всего месяц — летом — потом обуздала себя и вот за три месяца ни одного стиха, иначе большая вещь не была бы написана. Не пишу Вам ее названия из чистого (любовного) суеверия. Пока последняя точка не будет поставлена —

Очень беспокоюсь о своем «Ремесле», Геликон молчит как гроб: не прогорел ли? Посылала ему стихи для «Эпопеи» — то же молчание[9]. Вообще, у меня в Берлине, с отъездом Л. Е. Чириковой, нет друзей: никого.

Берлинских стихов сейчас печатать не буду: тошно! Это еще не переборотая слабость во мне: отвращение к стихам в связи с лицами (никогда с чувствами, ибо чувства — я!) — их вызвавшими. — Так что не сердитесь. Если Вам этот стих (с казармами) мил, пришлю Вам его в следующем письме, только не печатайте.

Прозы у меня сейчас готовой (переписанной) нет, есть записные книги (1917 — 1920 г.) не *личного*, но и не *обществ*⟨енного⟩ характера: мысли, наблюдения, разговоры, револ⟨юционный⟩ быт, — всякое. Геликон очень их просил у меня для отдельной книги. Напишите подробнее: какая проза? Куда? И верное ли дело? Тогда бы прислала, только не сейчас. — Шлю Вам привет, спасибо, что вспомнили. Пишите о себе: жизни и писаниях. Сережа и Аля шлют привет.

МЦ.

⟨*Приписка на полях:*⟩
Praha VIII
Libeň Swobodarna
M-r Serge Efron (для МЦ.)

2

Мокропсы, 21-го нов⟨ого⟩ дек⟨абря⟩ 1922 г.

Дорогой Гуль,

Вот Вам Царь-Девица с 16-ью опечатками — и́ письмо к Каплуну. Если найдете возможным — передайте лично («с оказией», не говорите, что прислано на Ваше имя), если нет — отправьте почтой, непременно заказным, чтоб потом не отговаривался. Деньги на марку (ибо знаю, что их у Вас нет, ибо Вы порядочный человек) Вы может быть возьмете из гонорара за «Заводские» (если приняты).

Теперь, следующее: если Каплун наотрез откажется (письмо прочтите!) — нельзя ли будет поместить мой перечень опечаток в ближайшем № «Русской Книги». Можно — чтобы не ожидать Каплуна — 1) не упоминать из⟨дательст⟩ва, просто «Царь-Девица», 2) в крайнем случае — взять вину на себя: «книга шла без моей корректуры».

УЛОМАЙТЕ или УМОЛИТЕ Ященку!

Можно сделать и по-другому, по-ященковски: авт⟨обиогра⟩фия под углом опечаток, очень весело, — блистательно! Некий цветник бессмыслиц. (У меня — сокровищница, особенно из времен советских!) и кончить «Царь-Девицей»[1].

Кстати, прочла во вчерашнем Руле отзыв Каменецкого[2]: умилилась, но — не то! Барокко — русская речь — игрушка — талантливо — и ни слова о внутренней сути: судьбах, природах, героях, — точно ничего, кроме *звону в ушах* не осталось. — Досадно! —

Не ради русской речи же я писала!

Если знакомы с К⟨амене⟩цким — ему не передавайте, этот человек *явно* хотел мне добра, будьте другом и не поселите вражды.

Посылаю одновременно и книгу для Пастернака[3], простите за хлопоты, — видите, как трудно со мной дружить!

Жду скорейшего ответа. Вы Ященку знаете, а я нет: вдруг он не только откажется, но еще и будет смеяться надо мной с Каплуном.

Тогда я буду посрамлена.

— Будьте осторожны. —

Милый Гуль, еще не поздно со мной раздружиться: это меня нисколько не обидит, а Вас, может, освободит от многой лишней

возни, — пока я в Праге, а Вы в Берлине. (Простите за «я» на 1-ом месте, иначе фраза не звучит!)

Жму руку.

МЦ.

〈*Приписка на полях:*〉
Адр〈ес〉: Praha II
Vyŝhegradska 16
Méstski Hudobinec*
P. S. Efron (МЦ.)

3

Мокропсы, 4/17-го января 1923 г.

Дорогой Гуль,

Так как Вы мне больших писем не пишете, я решила писать Вам маленькие открыточки. — Хороша Прага?[1] — К сожалению, я живу в Мокропсах (о, насмешка! — *Горних!*) Спасибо за письмо, хотя маленькое и на ремингтоне: люблю большие и от руки. — Дошла ли до Вас, наконец, моя Царь-Девица? Были посланы две, — вторая Пастернаку. Чтó он? Все спрашиваю о нем приезжающих, — никто не видел.

Спасибо за устройство стихов. Как встречали Новый Год? Мы дважды — и чудесно.

Ну, жду обещанного письма! — Да, Эр〈енбур〉га ни о чем, касающемся меня, не просите, мы с ним разошлись! Привет.

МЦ.

4

Мокропсы, 9-го нов〈ого〉 февраля 1923 г.

Мой милый и нежный Гуль!

(Звучит, как о голубе.)

Две радости: Ваше письмо и привет от Л. М. Э〈ренбург〉[1], сейчас объясню, почему.

Летом 1922 г. (прошлого!) я дружила с Э〈ренбур〉гом и с Геликоном[2]. Ценности (человеческие) не равные, но Г〈елико〉на я любила, как кошку, Э〈ренбур〉г уехал нá море, Г〈елико〉н

* Здесь и далее правильно: Vyšehradska... Méstský Chudobinec.

остался. И вот, в один прекрасный день, в отчаянии рассказывает мне, что Э⟨ренбур⟩г отбил у него жену. (Жена тоже была нá море.) Так, вечер за вечером — исповеди (он к жене ездил и с ней переписывался), исповедь и мольбы всё держать в тайне. — Приезжает Э⟨ренбур⟩г, читает мне стихи «Звериное тепло»[3], ко мне ласков, о своей любви ни слова! *Я молчу.* — Попеременные встречи с Э⟨ренбур⟩гом и с Г⟨елико⟩ном. Узнаю от Г⟨елико⟩на, что Э⟨ренбур⟩г *продает ему* книгу стихов «Звериное тепло». Просит совета. — Возмущенная, *запрещаю* издавать. — С Э⟨ренбур⟩гом чувствую себя смутно: душа горит сказать ему начистоту, но, связанная просьбой Г⟨елико⟩на и его, Э⟨ренбур⟩га, молчанием — молчу. (Кстати, Э⟨ренбур⟩г уезжал нá море с головóй-увлеченной мной. Были сказаны БОЛЬШИЕ слова, похожие на большие чувства. Кстати, неравнодушен ко мне был и Г⟨елико⟩н).

Так длилось (Э⟨ренбур⟩г вскоре уехал) — исповеди Г⟨елико⟩на, мои ободрения, утешения: книги не издавайте, жены *силой* не отнимайте, пули в лоб не пускайте, — книга сама издастся, жена сама вернется, — а лоб уцелеет. — Он был *влюблен* в свою жену, и *в отчаянии.*

Уезжаю. Через месяц — письмо от Э⟨ренбурга⟩, с обвинением в предательстве: какая-то записка от меня к Г⟨елико⟩ну о нем, Э⟨ренбур⟩ге, найденная женой Г⟨елико⟩на в кармане последнего. (Я почувствовала себя в помойке.)

Ответила Э⟨ренбур⟩гу в открытую: я не предатель, низости во мне нет, тайну Г⟨елико⟩на я хранила, п. ч. ему обещала, кроме того: продавать книгу стихов, написанных к чужой жене — ее мужу, который тебя и которого ты ненавидишь — низость. А молчала я, п. ч. дала слово.

Э⟨ренбур⟩г не ответил и дружба кончилась: кончилась и с Г⟨елико⟩ном, к⟨отор⟩ый после моего отъезда вел себя со мной, как хам: на деловые письма не отвечал, рукописей не слал и т. д. — «Тепло», конечно, издал.

Так, не гонясь ни за одним, потеряла обоих.

Привет от Л. М. Э⟨ренбург⟩ меня искренне тронул: убежденная, что и она возмущена моим «предательством», я ей ни разу не писала. Она прелестное существо. К любови Э⟨ренбур⟩га (жене Г⟨елико⟩на) с первой секунды чувствовала физическое (неодолимое!) отвращение: живая плоть! Воображаю, как она меня ненавидела за: *живую душу*!

— Все это, Гуль, МЕЖДУ НАМИ.

Только что кончила большую статью (апологию) о книге С. Волконского «Родина». Дала на прочтение в «Русскую Мысль», если Струве не примет — перешлю Вам с *мольбой* пристроить. Книга восхитительная, о ней *должно* быть услышано то, что я сказала. Пока усердно не прошу, п. ч. еще надеюсь на Струве. Статья в 22 стр⟨аницы⟩ большого (журнального) формата, приблиз⟨ительно⟩ 1 1/6 печат⟨ного⟩ лист⟨а⟩ в 40 тыс⟨яч⟩ букв[4]. На урезывание не согласна: писала как стихи.

Готовлю к апрелю книгу прозы (записей)[5]. Вроде духовного (местами бытового) дневника. Г⟨елико⟩н, читавший в записных книгах, когда-то *рвал* ее у меня из рук. Необходимо подготовить почву, — кто возьмет? Если увидитесь с Г⟨елико⟩ном — *оброните* несколько слов, не выдавая тайны. *Мне ему* предлагать — немыслимо. Думаю кончить ее к 20-ым числам апреля. Если бы нашелся верный издатель, приехала бы в начале мая в Берлин. Словом, пустите слух. Книга, думаю, не плохая. — Тогда бы весной увиделись, погуляли, посидели в кафе, я бы приехала на неделю — 10 дней, Вы бы со мной *слегка* понянчились.

Совсем ничего не знаю о «Веке Культуры», купившем у меня книгу стихов «Версты» I (т. е. купили «Огоньки»[6] и перепродали в Данциг). В Берлине ли издатель? Очень, очень прошу сообщить мне его адр⟨ес⟩!

Bergschuhe (милый, что помните!) — увы! — пролетели. Деньги тогда залежались, потом цены вздорожали. Куплю, когда приеду. Пока хожу в мужских башмаках, — здесь как на острове!

Привезу весной и свою рукопись «Мóлодец». И стихи есть, — целых четыре месяца не писала.

Ваше отвращение к Н. А. Б⟨ердяе⟩ву я *вполне* делю[7]. Ему принадлежит замечательное слово: «У Вас самой ничего нет: *неразумно* давать». (Собирали на *умирающего* — мох и вода! — с голоду М. Волошина, в 1921 г., в Крыму.) Чувствую, вообще, отвращение ко всякому национализму *вне* войны. — Словесничество. — В ушах навязло. Слóва «богоносец» *не* выношу, скриплю. «Русского Бога» топлю в Днепре, как идола.

Гуль, народность — *тоже* платье, м. б. — рубашка, м. б. — кожа, м. б. седьмая (последняя), но *не* душа.

Это все — лицемеры, нищие, пристроившиеся к Богу, Бог их не знает, он на них плюет. — Voilà* —

---

* Вот *(фр.)*.

В Праге проф⟨ессор⟩ Новгородцев[8] читает 20-ую лекцию о крахе Зап⟨адной⟩ культуры, и, доказав (!!!) указательный перст: Русь! Дух! — Это помешательство. — Что с ними со всеми? Если Русь — переходи границу, иди домой, плетись.

А у нас весна: вербы! Пишу, а потом лезу на гору. Огромный разлив реки: из середины островка деревьев. Грохот ручьев. Русь или нет, — люблю и никогда не буду утверждать, что у здешней березы — «дух не тот». (Б. Зайцев, — если не написал, то напишет.) Они не Русь любят, а помещичьего «гуся» — и девок.

Я скоро перестану быть поэтом и стану проповедником: против *кривизн*. Не: *не хочу* людей, а *не могу* людей, повторяя чью-то изумительную формулу: *je vomis mon prochain**.

Очень радуюсь Вашему отзыву[9], куда меньше — айхенвальдовскому[10]. Я не знала, что К⟨амене⟩цкий в Руле — он. Я думала, он зорче. Это любитель письменности, не любовник! Но любопытно прочесть, у меня с ним по поводу Ц⟨арь-⟩Д⟨еви⟩цы был любопытный часок. Когда-нибудь расскажу.

Кончаю, пишите чаще и больше. Как ваш друг? Поправляется ли? Выходит ли Ваша книга об эмиграции?[11]

Не забудьте, что история с Э⟨ренбургом⟩ и Г⟨еликоном⟩ — между нами.

Крепко жму руку, привет от Сережи и Али. — Спасибо. —

МЦ.

⟨*Приписка на полях:*⟩

Получила от Пастернака книгу[12]. Прочла раз и пока перечитывать не буду, иначе напишу, и Вам придется помещать.

Praha II
Vyšhehradska, 16
Městsky Hudobinec**
M-r S. Efron
(для МЦ.)

5

Мокропсы, 17-го нов⟨ого⟩ февр⟨аля⟩ 1923 г.

Милый Гуль,

Отправляю одновременно письмо к Геликону: получила от него покаянную телеграмму (сравнимо только с объяснениями в любви по телефону!) — и по свойственному мне мужскому вели-

---

* Меня тошнит рядом с ближним *(фр.)*.

** Орфографические разночтения в написании адресов принадлежат Цветаевой. — *Сост.*

кодушию и женской низости — пожалела, т. е.: спросила в упор 1) хочет ли он еще эту книгу 2) сколько — применительно к кронам — заплатит за лист 3) когда издаст. Предупредила, что есть возможность другого издателя и что не настаиваю ни на чем, кроме быстрого ответа.

А Вам на Ваши вопросы отвечаю следующее:

1) Книга *записей* (быт, мысли, разговоры, сны, рев⟨олюционная⟩ Москва, — некая душевная хроника) 2) объединена годами (от 1917 г. по конец 1918 г.) и моей сущностью: ВСЁ, В ИТОГЕ, ПРИХОДИТ К ОДНОМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ 3) от 4 до 5-ти печат⟨ных⟩ листов (в пресловутых 40 тыс⟨яч⟩ букв лист), но сама книга выйдет больше, ибо много коротких записей, часто начинаю с красной строки. Вообще необходимо некое *бумажное приволье.*

Цен *не* знаю абсолютно, но хотела бы, чтобы плата за книгу и на чешском языке что-нибудь значила. Т. е.: хорошо бы издатель определил в кронах, независимо от срока заключения договора и тех или иных колебаний герм⟨анской⟩ марки. — Вам ясно? — Сколько бы он *сегодня* дал в марках, переведенных на кроны? И за эти *кроны* держаться. (Это не значит, что я прошу чешской расценки, это немыслимо, кроны — некий критерий.)

Прожду геликонова ответа дней семь-восемь, — засим уполномачиваю Вас вступать в переговоры. (Извещу срочно.)

Книга готова будет — самое раннее — к началу апреля. Раньше *не берусь.* (К первым числам.) Но если дело наладится, пришлю несколько тетрадей на просмотр.

Итог: если это удобно, понаведайтесь сейчас (это полезно и для переговоров с Г⟨елико⟩ном) — если *не* удобно — ждите моего ответа, точного и срочного.

— Милый Гуль, я Вам очень надоела?

Как я жалею, что Вы сейчас в Б⟨ерли⟩не! Не здесь! (Я ведь помню Вашу страсть к просторам!) Я сегодня полдня была на горе, еще рыжей от осеннего листа (некоторые деревья так и простояли!) Нет чувства, что *была* зима: очень долгое северное лето. А теперь все начинается: начало, которому не предшествовал конец! И буйно начинается: два ветра, ледяной и летний, с ног сбивает!

Гуль, непременно, хоть раз, когда я буду в Берлине, мы с Вами поедем за город — на целый день!

Я страшно радуюсь своему приезду. (Приеду, очевидно, раньше мая.) Дней на десять.

А пока привет и робкая просьба не сердиться.

МЦ.

6

Мокропсы, ночь с 5-го на 6-ое нов⟨ое⟩ марта 1923 г.

Мой милый Гуль,

Спасибо нежное за письмо. «Нов⟨ую⟩ Русск⟨ую⟩ Книгу» получила, за отзыв благодарить было бы нескромностью,— *не для меня же*, но не скрою, что радовалась[1].

Два слова о делах. Геликон ответил, условия великолепные... но: *вне политики.* Ответила в свою очередь. Москва 1917 г.— 1919 г.—что́ я, в люльке качалась? Мне было 24—26 л⟨ет⟩, у меня были глаза, уши, руки, ноги: и этими глазами я видела, и этими ушами я слышала, и этими руками я рубила (и записывала!), и этими ногами я с утра до вечера ходила по рынкам и по заставам,—куда только не носили!

ПОЛИТИКИ в книге нет: есть *страстная* правда: пристрастная правда холода, голода, гнева, *Года!* У меня младшая девочка умерла с голоду в приюте,—это тоже «политика» (приют большевистский).

Ах, Геликон и К°! Эстеты! Ручек не желающие замарать! Пишу ему окончательно, прошу: отпустите душу на покаяние! Пишу, что жалею, что не он издаст, но что калечить книги *не могу.*

В книге у меня из «политики»: 1) поездка на реквизиц⟨ионный⟩ пункт (КРАСНЫЙ),—офицеры-евреи, русские красноармейцы, крестьяне, вагон, грабежи, разговоры. *Евреи встают гнусные.* Такими и были. 2) моя служба в «Наркомнаце» (сплошь юмор! Жутковатый⟨)⟩. 3) тысяча мелких сцен: в очередях, на площадях, на рынках (уличное впечатление от расстрела Царя, напр⟨имер⟩), рыночные цены,—весь быт револ⟨юционной⟩ Москвы. И еще: встречи с белыми офицерами, впечатления Октябр⟨ьской⟩ Годовщины (первой и второй), размышления по поводу покушения на Ленина, воспоминания о неком Каннегиссере (убийце Урицкого). Это я говорю о «политике». А вне—всё: сны, разговоры с Алей, встречи с людьми, собственная душа,— вся я. Это не *политическая* книга, ни секунды. Это—живая душа в мертвой петле—и все-таки живая. Фон—мрачен, не я его выдумала.

Если увидитесь с Геликоном—спросите: берет ли. Боюсь, опять сто лет протянет с ответом. Если не возьмет—Манфреду[2]. Геликон давал 1 1/2 фунта,—жаль,—но что́ делать! Если Геликон *не* берет, сговаривайтесь с Манфредом. Старайтесь 3 долл⟨ара⟩, говорите—меньше не согласна. Книга будет *ходкая,* ручаюсь.

И – НЕПРЕМЕННО – 1) корректуру 2) лист с опечатками, не вкладной, а на последней стр⟨анице⟩ 3) никаких рисунков на обложке, – чисто. Но об этом еще спишемся.

«Ремесло» пришлю, как только получу от Геликона. (Пока получила только пробный экз⟨емпляр⟩.)

О «плоти» в следующем письме. Молчащая плоть, – это хорошо. Но обычно она вопиет. У меня в Ремесле стих есть:

«Где плоть горластая на нас: добей!»[3]

– Прочтете. –

МЦ.

До свидания, мой милый, нежный Гуль. Мне сегодня вечером (3 1/2 ч. утра!) хочется с Вами поцеловаться.

⟨*Приписка на полях:*⟩

«Стругов»[4] еще нет, – хорошо бы!

7

Мокропсы, 11-го нов⟨ого⟩ марта 1923 г.

Мой дорогой Гуль!

Мои мысли «в великом расстрое» (так мне однажды сказала цыганка на Смоленском, – прогадала ей последнюю тыщонку!)

Уезжает мой поэт – из всех любимый – Пастернак, конечно – и я даже не могу поехать к нему проститься: нет умирающего родственника в Берлине, и к 18-му не выдумаешь[1]. Я в большой грусти (видите, умею, и чаще и пуще, чем думаете! Это я о Вашем отзыве говорю!) – и у меня единственное утешение 1) что это всю мою жизнь так 2) «Gespräche mit Goethe*» Эккермана. Эту книгу я умоляю Вас купить на прилагаемую «валюту» и передать Пастернаку *до* его отъезда. (Уезжает 18-го, так пишет.)

Думаю, есть много изданий. У меня в Москве было чудесное, Вы сразу узнаете: увесистый том, великолепный шрифт (готический), иллюстрации (Веймар, рисунки Гёте и т. д.). Я бы не знаю как просила Вас разыскать именно это, это отнюдь не редкость, издание *не* старинное. Меньше всего я бы хотела Reclam-Ausgabe** (вроде нашей Универсальной). Думаю, ведь можно в магазинах по телеф⟨ону⟩ справиться?

Eckermann Gespräche mit Goethe. Книга должна быть *большая*, есть выдержки, это не имеет смысла.

Очень хотелось бы мне еще ему старого Гёте, хороший портрет. Есть такие коричневые – не гравюры, но вроде. Но не знаю,

---

* «Разговоры с Гёте» *(нем.)*.

** Популярное издание *(нем.)*.

хватит ли денег. (Около 15 герм⟨анских⟩ тысяч, кажется?) Во всяком случае — Эккерман на первом месте. Если бы — совершенно не знаю Ваших цен — денег не хватило, умоляю, доложите из своих. Верну тотчас же.

Еще: ничего не знаю о П⟨астернаке⟩ и многое хотела бы знать. (МЕЖДУ НАМИ!) Наша переписка — ins Blaue*, я всегда боюсь чужого *быта*, он меня большей частью огорчает. Я бы хотела знать, какая у Пастернака жена («это — быт?!» Дай Бог, чтобы быт*ие*!), что́ он в Берлине делал, зачем и почему уезжает, с кем дружил и т. д. Что́ знаете — сообщите.

И — непременно — как передавали книгу, что он сказал, были ли чужие. Самое милое, если бы Вы отвезли ему ее на вокзал, тогда бы я знала проводы. Но 1) просить не смею (хотя для Вас, писателя, такой отъезд любопытен: человек уезжает от «хорошей жизни», сто́ит задуматься!) 2) может быть у Вас привычка опаздывать на вокзал? Тогда мой Эккерман провалится! — Нужно было бы точно узнать время поезда.

Передавая, скажите только, что вот я просила... Можете не говорить *что́* (назв⟨ание⟩ книги), я всегда боюсь смущения другого, некой неизбежной секунды НЕЛЕПОСТИ в комнате. Вокзал для всяких чувств благоприятней (видите, какая я лисица!)

И, чтобы кончить об этом (во мне-то — только начинается!), милый Гуль, не откладывайте! Отсылаю письмо 12-го (в понедельник), дойдет не раньше 16-го, у Вас всего один день на всё. Буду ждать Вашего ответа больше, чем с нетерпением, меньше, чем с исступлением, что-то среднее, но с меня хватит.

Вторая печаль (следствие) — осточертела книга[2]. С 9-го (день, когда узнала об отъезде) бросила, рука не тянется. Страшно огорчена: все время гуляю: проскваживаю на мокропсинских горах голову и сердце! Но пишу стихи — опять засоряются. Мутит меня и Геликон (наглец!) не отвечая, берет или нет. Но все-таки, конечно, переборю и примусь. Книга любопытная, очень ясны две стихии: быт (т. е. Революция) и БЫТИЕ (я). Не сочтите за наглость — бытие, это то́, как должно быть, нужно же хоть один угол в мире — неискаженный!

А Ваш Манфред — как? Не боится «белогвардейщины»? Черной сотни в книге нет, но есть белое бешенство. В России (если большевики не окончательно об’о́вчели (овца) — навряд ли

---

* В никуда *(нем.)*.

пропустят. А куда-нибудь в Болгарию отдавать — они всю Психею (меня то есть) выбросят. — Затрудняюсь. —

Ну, Гуль мой дорогой, до свидания. Читали ли Вы «Родину» Волконского? У меня о ней большая статья где-то гуляет, м. б. Глеб Струве возьмет в «Р⟨усскую⟩ М⟨ысль⟩». Если увидите «Родину» — прочтите, это ЧУДЕСНАЯ книга, такой нет второй.

Геликон, наглец, «Ремесло» не шлет, свой единственный экз⟨емпляр⟩ я отослала Пастернаку в дорогу. Как только получу — первая книга Вам. В следующем письме напишу Вам об одном своем невеселом и невольном жульничестве, — сама удивлена.

Ради Бога, подробно и поскорее — о книге и об отъезде.

Ваша неустанная просительница

МЦ.

⟨*Приписка на полях:*⟩

В *КРАЙНЕМ* случае берите Reclam-Ausg⟨abe⟩, хотя *все* сделайте, чтобы достать хорошее изд⟨ание⟩.

Адр⟨ес⟩: Пастернака: Berlin — W. 15 Fasanenstrasse 41^{III} в/v. Versen.

8

Мокропсы, 28-го нов⟨ого⟩ марта 1923 г.

Дорогой Гуль,

Это письмо Вы получите через Катерину Исааковну Еленеву, мою приятельницу и сподвижницу по Мокропсам.

Очень рада была бы, если бы вы друг другу понравились. Это возможно, ибо мне-вы нравитесь оба.

Посылаю Вам «Ремесло». И нежную благодарность за Эккермана. Ваше письмо прочла поздно вечером на станции, под фонарем. Душа закипела от Вашей любови к быту: моя извечная ненависть! За прочность в мире тоже не стою. Где прочно — там и рвется. (Это я, впрочем, из злобы!)

О книге: сейчас не пишу, думаю — бросила на все лето. Сейчас погибаю от стихов: рук не хватает!

Пишу в грозу, — первую, почти в темноте: от молнии до молнии!

Книгу (возвращаясь к делам) закончу к осени. Если раньше — пришлю.

— Гуль, я не люблю земной жизни, никогда ее не любила, в особенности — людей. Я люблю небо и ангелов: там и с ними бы я умела.

Если что и люблю здесь — то отражения (если принимать их за сущность, получается: *ис*кажения). Это я Вам пишу, чтобы Вы со мной раздружились, потому что я люблю, чтобы меня любили

из-за меня самой, — не терплю заместителей! (Себя — в толковании другого!)

Спешу. Кончаю. Убеждена, что не раздружитесь. Не сердитесь за волокиту с книгой, — здесь виновны стихи (Весна и стихи!)

МЦ.

9

Прага, 27-го нов⟨ого⟩ мая 1923 г.

Милый Гуль,

Вы не ответили мне на мою записочку и на «Ремесло», но я кажется не ответила Вам на последнее письмо, так что мы квиты. Теперь слушайте внимательно.

Я снова принялась за книгу и скоро ее кончу. Теперь целый ряд вопросов, требующих самых точных ответов.

1) Жив ли еще Манфред?*

2) Не подался ли *сильно* влево?*

3) Возьмет ли он книгу в 450 (большого, журнального формата) страниц? *Не* разъединяя ее на два тома. (Есть свои причины.)

4) Сколько это будет печатных листов и, посему, долларов?**

5) Может ли он мне обещать (на бумаге!) корректуру не только типографскую, но и ремингтонную. (Рукопись у меня *с обеих сторон листа*, и переписка на ремингтоне необходима.)

6) Могу ли я, по отпечатании издательством на ремингтоне, получить обратно свою рукопись, по которой и буду проверять, ибо многое у меня — из черновых тетрадей, может статься, что и не замечу пропуска.

7) Во скольких экз⟨емплярах⟩ он собирается выпускать? Я продам на одно издание, *не на* столько-то лет.

Вот, Гуль, вопросы. Ответы на них необходимы, иначе нет пороху доканчивать работу.

Книга моя будет называться «Земные Приметы», и это (весна 1917 г. — осень 1919 г.) будет I т⟨ом⟩. За ним последует II т⟨ом⟩ — Детские Записки — который может быть готов также к осени. Теперь слушайте еще внимательнее, это *важно.*

«Земные Приметы» I т⟨ом⟩ (1917 — 1919 г.) то, что я сейчас переписываю — это *мои записи*, «Земные Приметы» II т⟨ом⟩ (1917 — 1919 г.) — это *Алины записи*, вначале записанные мной, потом уже от ее руки: вроде дневника. Такой книги еще нет *в мире*. Это ее письма ко мне, описание советского быта (улицы,

---

* В рукописи эти строки зачеркнуты. Кем — не установлено. — *Сост.*

** В рукописи чьей-то рукой проставлена цифра 15. — *Сост.*

рынка, детского сада, очередей, деревни и т. д. и т. д.), сны, отзывы о книгах, о людях, — точная и полная жизнь души шестилетнего ребенка. Можно было бы воспроизвести факсимиле почерка. (Все ее тетрадки — налицо.)

Возьмет ли такую книгу Манфред? Пойдет она под моим именем: «Земные Приметы». Т. II (Детские записи).

Если Манфред *не* возьмет, издам просто, как «Детские Записи», чтобы не путать.

Эта книга будет меньше той, стр⟨аниц⟩ 250, думаю. Хотела сначала поместить в одном томе, но 450 моих + 250 Алиных, — это уже идет в безмерное и не умещается не только в сердце, но и в руках.

Расскажите все это Манфреду, но расскажите *как следует*, чтобы он ясно понял, в чем дело. Меня эта неопределенность мучит: работа (переписка) трудная и нудная, у меня плохое зрение, кроме того хочется писать стихи, и если все это так, впустую — руки опускаются!

Книга, Гуль, *не* черносотенная, она глубоко-правдива и весьма противоречива: отвергнутая в Госиздате, она так же была бы отвергнута в из⟨дательст⟩ве Дьяконовой[1]. (Черносотенном?) Это книга живой жизни и правды, т. е. политически (т. е. под углом лжи!) заведомо проваливается. В ней есть очаровательные к⟨оммуни⟩сты и безупречные б⟨елогвар⟩дейцы, первые увидят *только* последних, и последние — только первых. Но Манфред не прогорит, это ему скажите. На эту книгу набросятся из дурного любопытства: как читают чужие письма. «Тираж» обеспечен и ругань критики тоже. И то и другое издательствам не во вред.

Итак, милый Гуль, ответьте мне по всем моим пунктам. Не пишите: приедете — увидите. Это мне не годится. *Та́к* ни за что не поеду, мне в Берлине нечего делать, а в Праге — весьма много. Передо мной лето, т. е. отсутствие плиты, т. е. *свобода*, надо употребить его во благо.

Рукопись (I т⟨ом⟩ «Земных Примет») для переписки на ремингтоне могла бы представить через 2 недели, maximum — три. Ведь переписать 450 стр⟨аниц⟩ на ремингтоне (это, каж⟨ется⟩, называется *не* ремингтон? Машинка?) — тоже не день, особенно с моими знаками, красными строками и пропусками.

Да, еще: обложка — *без* картинки! Только буквы. Настаиваю. Земные приметы мои все внутри, внешних не надо.

Переписываюсь с Л. М. Э⟨ренбург⟩, которую люблю нежно. Слышала о новой книге Э⟨ренбурга⟩, еще не читала[2]. Единственное, что читаю сейчас — Библию. Какая тяжесть — Ветхий Завет! И какое освобождение — Новый!

Месяц писала стихи и была счастлива, но вид недоконченной рукописи приводит в уныние. Пришлось оторваться. К осени у меня будет книга стихов, в нее войдут и те, что я Вам читала в Берлине. Как Геликон? Не уехал ли в Россию? Не слыхали ли чего о Пастернаке? Кто из поэтов (настоящих) в Берлине? Читали ли «Тяжелую Лиру» Ходасевича[3] и соответствует ли ей (если знаете) статья в «Совре⟨менных⟩ Записках» Белого?[4] — Что Вы сами делаете? Вышла ли Ваша книга? — Вот видите, сколько вопросов!

(Да! NB! 450 стр⟨аниц⟩. Страницу я считаю приблизит⟨ельно⟩ 32—34 строчки, причем в каждой, в среднем, думаю, 42 буквы. — Много коротких строк!)

Пишите обо всем. Шлю привет.

МЦ.

Адр⟨ес⟩: Praha II
Vyšehradska tř⟨ida⟩ 16
Městsky Chudobinec, — S. Efron (мне.)

10

Мокропсы, 27-го июня 1923 г.

Дорогой Гуль,

Вчера получила и вчера прочла. О «В рассеянии сущих»[1] — жаль, что Вы в Берлине, а не в Праге, ибо книга, за некоторыми лирическими отступлениями, написана Берлином, а не Вами.

Здесь таких людей нет. Здесь молодость, худоба и труд. Здесь любовь и долг. Здесь жертва и вера. Здесь нет сытости.

Впрочем, есть — но исключительно среди «земгорцев»[2] (эсерово!) Горцы *земли*, горцы — равнины, предпочитаю горцев высот!

Здесь старые и молодые профессора, старые и молодые студенты, и первые и вторые, и третьи и четвертые — работают из кожи. Для них Мессия — есть, Бог — есть, черт — есть.

Гуль, Вы заслуживаете лучшего, чем та гниль и слизь, которые Вас окружают, Вы не существо Nacht Local'ов*, я Вас причисляю к Романтикам — сначала Контр-Революции, потом — Революции; если книга автобиографична — мне жаль Вас. Где Вы нашли таких уродов??? Почему Вы не писали — себя, душу, *живую жизнь* в Берлине? Я не верю, что это — Вы.

Есть хорошие места, хорошие мысли. Везде, где Вы один с природой, с любовью, с собой. Но в общем книга, несмотря на *основную* накипь ее, тяжелая — м. б. благодаря *накипи* как *основе*?

Я рада, что Вы ее не любите.

---

* Ночных заведений *(нем.)*.

Ах, да! Помните спор о *кровном* и о рубашке? Так вот, Гуль, то́, что для буржуа – рубашка, то для Романтика – кровь. Зачем таких белых? Бог и честь для буржуа рубашка, согласна, но *кроме* буржуа, – ничего нет у белых? Гуль, есть белые *без* рубашки, таких берите в противники, таких (если можете!) судите, – с буржуазией справляться – слишком легко!

О «Поле в Творчестве». Первая часть для меня целиком отпадает, вторую на две трети принимаю.

«Божественная Комедия» – пол? «Апокалипсис» – Пол? «Farbenlehre»*[3] и «Фауст» – пол? *Весь Сведенборг***[4] – пол?

Пол, это то́, что должно быть переборото, плоть, это то́, что я *отрясаю.*

Und diese himmelschen Gestalten
Sie fragen nicht nach Mann und Weib***[5].

Основа творчества – дух. Дух, это *не* пол, *вне* пола. Говорю элементарные истины, но они убедительны. Пол, это *разрозненность*, в творчестве соединяются разрозненные половины Платона.

Если пол, – то что же ангелы? А разве ангелы не – (*не* ангелы в нас!) творят?!

Пол, это 1/2. – Формула.

О Белом и Гоголе – согласна. Об отсутствии любовного Эроса – согласна. О призрачности и неубедительности героинь – согласна. О звукописи – согласна. Раньше была и *цветопись*, но такая же от всего оторванная и... жуткая, как ныне – звукопись. («Золото в лазури»[6] – перечтите.) Он не – *небесный* и не земной, он – повисший. И изживающий *постепенно* все 5 чувств. (Зрение и слух.)

Это первые, беглые отклики: как отозвалось. Немножко освобожусь, перечту, подумаю и скажу еще. И если Вам любопытно, буду сообщать Вам отзывы студенчества, – здесь ведь тоже три союза!

Недавно получила известие от Бахраха, что собирается с Вами встретиться для окончательного выяснения с моими «Земными Приметами»[7]. Пишет, между прочим, что больше 1 ф⟨унта стерлингов?⟩ т. е. 4 1/2 дол⟨лара⟩ у вас не платят. Хорошо бы

---

* «Учение о цветах» *(нем.)*.
** Подчеркнуто дважды *(примеч. Р. Гуля)*.
*** И силам неба все равно,
Ты женщина или мужчина *(пер. с нем. Б. Пастернака)*.

довести до 5 д〈олларов〉, но если окончательно невозможно, соглашайтесь и на это. Теперь ряд оговорок: 1) только на одно издание 2) две корректуры 3) *лист с важнейшими опечатками, установленными мною* 4) деньги, по возможности, по представлению рукописи 5) 25 авторских экз〈емпляров〉 6) СТАРАЯ ОРθОГРАФІЯ 7) установить колич〈ество〉 экз〈емпляров〉, срок выхода и переиздания – и все, что еще измыслите в мою пользу.

Да! Теперь – как определить число листов? По количеству букв в странице? По количеству строк? Или как? Сколько листов в Ваших «Рассеянных»?

Переписать здесь на машинке не берусь, и «Геликон» и «Эпоха» переписывали сами, – и прозу. Переписать такую книгу здесь целое состояние. Рукопись, сравнительно, четка, но на обеих страницах.

Не обвиняйте меня в жадности и в суетности, впрочем, в моей книге – обо всем, есть наверное и об этом.

Пишу поздно вечером, устала.

— Спасибо за все.

МЦ.

Новый адр〈ес〉: *Praha* P.P. Dobřichovice, Horni Mokropsy, č〈islo〉 33, u Pana Grubnera – мне – на фамилию Эфрон.

〈*Приписка на полях:*〉

Dobřichovice: břicho, это – брюхо: «доброе брюхо» – Добробрюхово. – Хорошо?! –

〈*На отдельном листе:*〉

В следующем № «Русской Книги» поместите, пожалуйста, если не поздно:

Подготовлена к печати книга:

СЕРГЕЙ ЭФРОН – «ПОБЕЖДЕННЫЕ» (С МОСКОВСКОГО ОКТЯБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ – ПО ГАЛЛИПОЛИ. ЗАПИСКИ ДОБРОВОЛЬЦА)[8].

МАРИНА ЦВЕТАЕВА – «ЗЕМНЫЕ ПРИМЕТЫ» Т. 1 (МОСКВА, МАРТ 1917 г. – ОКТЯБРЬ 1919 г. ЗАПИСИ.)
– «МÓЛОДЕЦ» (ПРАГА, 1923 г. ПОЭМА-СКАЗКА.)
– «ЛЕБЕДИНЫЙ СТАН» (МОСКВА, МАРТ 1917 г. – ДЕКАБРЬ 1920 г. БЕЛЫЕ СТИХИ.)[9]

Адр〈ес〉 и Сережин и мой: *Praha* P.P. Dobřichovice, Horni Mokropsy, č〈islo〉 33, u Pana Grubnera

(хорошо бы не перепутать!)

На упомянутые книги из〈дате〉лей еще нет (кроме «Зем〈ных〉 Прим〈ет〉»?) – м. б. таким образом найдутся.

11

Прага, 30-го марта 1924 г., воскресение

Милый Гуль,

Какой у Вас милый, тихий голос в письме, все интонации слышны, — кроткие. Как я тронута, что Вы меня вспомнили — с весной, есть особая память: по временам года?

Помню один хороший вечер с Вами — в кафе, Вы всё гладили себя против шерсти, и я потом украла у Вас этот жест — в стихи[1]. Тому почти два года: из России я выехала 29-го апреля 1922 г. Скучаю ли по ней? *Нет.* Совсем не хочу назад. Но Вас, мой безрадостный и кроткий Гуль, понимаю. Редактируете «Накануне»?[2] Не понимаю, но принимаю, потому что Вы хороший и дурного сделать не можете.

Вам, конечно, нужно в Россию, — жаль, что когда-то, в свое время, не попали в Прагу, здесь хорошо, я ее люблю.

У меня, Гуль, эту зиму было много слез, а стихов — мало (сравнительно). Несколько раз совсем отчаивалась, стояла на мосту и заклинала реку, чтобы поднялась и взяла. Это было осенью, в туманные ноябрьские дни. Потом река замерзла, а я отошла... понемножку. Сейчас радуюсь весне, недавно сторожила ледоход, не усторожила, — лед тронулся ночью. И — ни одной просини, прозелени: у нас ледоход — синь! Здесь цвета пражского неба. Но все-таки хорошо, когда лед идет.

Странно, что в Россию поедете. Где будете жить? В Москве? Хочу подарить Вам своих друзей — Коганов, целую семью, все хорошие. Там блоковский мальчик растет — Саша, уже большой, три года[3]. Это очень хороший дом, Вам там будет уютно. Повезете мою книгу — поэму «Мóлодец», через неделю начнет печататься в здешнем из⟨дательст⟩ве «Пламени». Надеюсь, что выйдет до Вашего отъезда, непременно Вам пришлю.

С прозой — ничего: лежит. Лежит и целая большая книга стихов, после России, за два года. Много чего лежит, в Праге одно единственное из⟨дательст⟩во, и все хотят печататься. Предполагается целый ряд альманахов, в одном из них появится моя злополучная статья «Кедр»*[4]. У Волконского новая книга «Быт и бытие», ряд мимолетных вечностей, вечных мимолетностей. Хорошая книга[5].

А помните Сережину — «Записки добровольца»? (Не читали, но я Вам о ней писала.)[6] Огромная книга, сейчас переписывается, оттачивается. Есть издатель, удивитесь, когда узнаете кто, сейчас не скажу, — боюсь сглазить. Вы эту книгу будете любить, очень хотелось бы переслать ее Вам в Россию.

---

* С одним только пропуском: три хвалебные строки об Импер⟨атрице⟩ Марии Федоровне *(примеч. М. Цветаевой).*

Когда собираетесь? Только что перечла Ваше письмо, думала — осенью, оказывается — весной. Когда — весной? Передам через Вас письма Пастернаку и Коганам, посмо́трите обоих мальчиков, блоковского и пастернаковского, напишете мне. Мне очень важен срок Вашего отъезда, и вот почему: месяца три назад послала Пастернаку стихи: много, большая работа. Не дошли. В почту не верю, ибо *за 2 года* ни на одно свое письмо в Россию не получила ответа. Сейчас посылаю те же стихи Любовь Михайловне[7], с мольбой об оказии, верной, личной, п. ч. не только стихи, но письмо, очень важное, первое за год, ответ на его через нее полученное.

Невозможно же переписывать в третий раз!

Хорошо бы, если бы снеслись с Л⟨юбовью⟩ М⟨ихайловной⟩. Она скоро уезжает из Берлина.

Стихов новых не посылаю, милый Гуль, п. ч. очень занята перепиской, но до Вашего отъезда непременно пришлю «Поэму горы», написанную этой зимою. Хорошо бы «Мо́лодец» вышел до Вашего отъезда.

Гуль, дружу с эсерами, — с ними *НЕ* душно. Не преднамеренно — с эсерами, но так почему-то выходит: широк, любит стихи, значит эсер. Есть еще что-то в них от старого (1905 г.) героизма. Познакомилась с Керенским, — читал у нас два доклада[8]. Вручила ему стихи свои к нему (⟨19⟩17 г.)[9] и пастернаковские. Взволновался, дошло.

Мне он понравился: несомненность чистоты. Только жаль, жаль, жаль, что политик, а не скрипач. (NB! Играет на скрипке.)

С правыми у меня (как и у С⟨ережи⟩) — холод. *Тупость*, непростительнейший из грехов! Сережа во главе студенч⟨еского⟩ демокр⟨атического⟩ союза IV — хороший союз, если, вообще, есть хорошие. Из 1-го безвозвратно ушел. Дружу еще с сыном Шингарева[10] — есть такие *святые* дети. 29 л⟨ет⟩, с виду 18 л⟨ет⟩; — мальчик. Уединенный. Весь — в 4-ом измерении. Туберкулез. Сейчас в Давосе.

Да! Как вы думаете, купит ли Госиздат мою последнюю книгу стихов? Именно: купит, а не: возьмет. Меня там, два года назад, очень любили, больше, чем здесь. Но я, очевидно, не возобновив сов⟨етского⟩ паспорта — эмигрантка? Как быть? Посоветуйте. Не хочется переписывать целой большой книги, да еще по-новому, на авось. И, вообще, корректно ли?

— Надоели деления!

В Госиздате (м⟨оско⟩вском) у меня большой друг П. С. Коган, по крайней мере — тогда́ был (в Госиздате — и другом).

Конечно, эта книга для России, а не для заграницы, в России, объевшись фальшью *идей*, ловят каждое новое *слово* (звук), — особенно бессмысленные! Здесь еще роман с содержанием: не отчаялись в логике!

Стихи, Гуль, третье царство, вне добра и зла, так же далеки от церкви, как от науки. Стихи, Гуль, это последний соблазн земли (вообще — искусства!), ее прелестнейшая плоть. Посему, все мы, поэты, будем осуждены.

Пишите мне. Поэму Пастернака[11] очень хочу, но — откуда? Скоро пришлю свою.

МЦ.

Пражский адр⟨ес⟩ на обороте. Действенен до конца мая.

⟨*Приписки на полях:*⟩

— О чем Ваши новые книги? Названия? —

— Эсеры, это — Жиронда[12], Гуль, — а?

12

Прага, 6-го апр⟨еля⟩ 1924 г.

Дорогой Гуль,

Вот письмо Пастернаку[1]. Просьба о передаче лично, в руки, без свидетелей (женских), проще — без жены.

Иначе у П⟨астернака⟩ жизнь будет испорчена на месяц, — зачем?

Если тот, кто поедет — настоящий человек, он поймет и без особого нажима. Некоторые вещи неприятно произносить.

Письмо — без единой строчки политики, — точно с того света.

На Ваше большое милое письмо, только что полученное, отвечу на днях.

МЦ.

Адр⟨ес⟩ Пастернака:

Москва, Волхонка, 14, кв⟨артира⟩ 9.

Тот знакомый (к⟨отор⟩ый поедет) м. б. просто назначит ему где-нибудь свидание?

13

Прага, 10 апр⟨еля⟩ 1924 г.

Дорогой Гуль, Вы очень добры, спасибо. Письмо отсылайте почтой своему знакомому, если можно — заказным. Знакомому напишите, что́ нужно. Был у нас здесь Степун, — замечательное

выступление[1]. Хочет сделать меня критиком, я артачусь, ибо не критик, а апологист. Деньги за письмо (заказное) перешлю 15-го, тогда же напишу и стихи пришлю. Еще раз спасибо за доброту, Вы хороший друг.

МЦ.

Хороша — набережная?[2]

14

Прага, 11-го апреля 1924 г.

Дорогой Гуль,

Просьба у меня к Вам следующая: переговорите с берлинским председателем Госиздата относительно моей новой книги стихов «Умыслы»[1].

Книга за́ два года (1922 г. — 1924 г.), — все, написанное за границей. Политического стихотворения ни одного.

Пусть он, в возможно скором времени, запросит московский Госиздат (там у меня друг — П. С. Коган и, если не сменен, благожелатель — цензор Мещеряков[2], взявший мою Царь-Девицу, не читая, по доверию к имени (к⟨оммуни⟩ст!). По отношению к Госиздату я чиста: продавая им перед отъездом «Царь-Девицу» и «Версты» (I), — оговорилась, что за границей перепечатаю. (Что́ и сделала, с «Царь-Девицей»).

Книга «Умыслы» здесь не только не запродана, но из всех составляющих ее стихов (большая книга!) навряд ли появилось в печати больше десяти.

Стало быть, могут рассчитывать и на заграничный рынок.

Одновременно с ответом Госиздата пусть сообщит мне и условия: 1) гонорар 2) количество выпуск⟨аемых⟩ экз⟨емпляров⟩ 3) срок, на к⟨отор⟩ый покупается книга.

Деньги — *мое* условие! — при сдаче рукописи, все целиком.

Есть, для Госиздата, еще другая книга: «Версты» (II) — стихи ⟨19⟩17 г. — ⟨19⟩21 г. (Первую они уже напечатали.) М. б. и эту возьмут. Предложите обе.

Теперь трудности: переписывать и ту и другую я могу только *наверняка*, — большая работа, тем более, что переписывать придется по новой орфографии, что́, в случае отказа для заграницы не пригодится, ибо здесь печатаюсь по-старому. Книги им придется взять по доверию. «Умыслы» Вы, по берлинским стихам, немножко знаете, остальные не хуже.

«Версты» (II) вполне безвредны, продолжение первых. «Политические» стихотворения все отмечу крестиками, захотят — напечатают, захотят — выпустят. Думаю, первое, — есть такое дуновение.

Все дело в сроке. На лето очень нужны деньги. 2 года в Чехии и ничего, кроме окрестностей Праги, не знаю. В Праге я до конца мая, не дольше, и дело нужно закончить в мою бытность здесь. Не настаивайте на *двух* книгах, можно «Версты» (II), можно «Умыслы» — что́ захотят.

Желательна, просто скажу: необходима — хотя бы одна авторская корректура и, в случае опечаток, лист с опечатками, указанными мною. Эти два условия должно включить в контракт. Пусть, на всякий случай, представ⟨итель⟩ Госиздата в своем запросе в Москву обмолвится и об этом.

Punktum*.

Вы спрашивали о сыне Блока[3]. Есть. Родился в июне 1921 г., за два месяца до смерти Блока. Видела его годовалым ребенком: прекрасным, суровым, с блоковскими тяжелыми глазами (тяжесть — в верхнем веке), с его изогнутым ртом. Похож — более нельзя. Читала письмо Блока к его матери, такое слово помню: — «Если это будет сын, пожелаю ему только одного — смелости». Видела подарки Блока этому мальчику: перламутровый фамильный крест, увитый розами (не отсюда ли «Роза и Крест»[4]), макет Арлекина из «Балаганчика»[5], — подношение какой-то поклонницы. (Пьеро остался у жены). Видела любовь Н. А. Коган к Блоку. Узнав о его смерти, она, кормя сына, вся зажалась внутренно, не дала воли слезам. А десять дней спустя ходила в марлевой маске — ужасающая нервная экзема «от задержанного аффекта».

Мальчик растет красивый и счастливый, в П. С. Когане он нашел самого любящего отца. А тот папа так и остался там — «на портрете».

Будут говорить «не блоковский» — не верьте: это негодяи говорят.

Прочтите, Гуль, в новом «Окне» мои стихи «Деревья» и «Листья»[6] (из новой книги «Умыслы»), и в «Современных Записках» — «Комедьянт»[7] (из «Верст» II) — можете и госиздатскому человеку указать. Были у меня и в «Студенческих годах» (пражских) в предпоследнем № — «Песенки»[8] (тоже «Версты» II).

---

* Кончено *(нем).*

К сожалению, милые редакции книг не присылают, знаю по съеденному гонорару и понаслышке.

Была у меня и проза — в «Воле России» (рождественский №), по-моему, неудачно[9]. (Неуместно — верней.) В мае пойдет пьеса «Феникс». — Есть ли у Вас, в Берлине, такая библиотека? (Новых период〈ических〉 изданий.) Я бы очень хотела, чтобы Вы все это прочли, но прислать не могу, — у самой нет.

Какая нудная и скудная весна! Середина апреля, пишу у (традиционно!) — открытого окна, зажавшись в зимний стариковский халат,— индейский, Гуль: синий, с рыже-огненными разводами. Не хватает только трубки и костра.

Вчера что-то слышала о надвигающемся новом ледниковом периоде, — профессора говорили всерьез. Но не очень-то скоро, — через несколько десятков тысяч лет! Оттого, будто, и весна холодная.

Как с письмом П〈астерна〉ку? Вчера отослала Вам открытку с просьбой переслать Вашему знакомому заказным. Деньги за заказ вышлю 15-го, сейчас живу в кредит.

А вот жест — украденный. Только масть другая!

Вкрадчивостию волос:
В гладь и в лоск
Оторопию продольной —

Синь полу́ночную, масть
Воронову. — В гладь и в сласть
Оторопи вдоль — ладонью.

Неженка! — Не обманись!
Так заглаживают мысль
Злостную: разрыв — разлуку —

Лестницы последней скрип...
Так заглаживают шип
Розовый... — Поранишь руку!

Ведомо мне в жизни рук
Многое. — Из светлых дуг
Присталью неотторжимой

Весь противушерстый твой
Строй выслеживаю: смоль
Стонущую под нажимом.

Жалко мне твоей упор-
ствующей ладони: в лоск

Волосы! вот-вот уж через
Край – глаза! За́гнана внутрь
Мысль навязчивая; утр
Наваждение – под череп![10]

Берлин, 17-го июля 1922 г.

МЦ.

〈*Приписка на полях:*〉

Ползимы болела, и сейчас еще не в колее. Климат ужасный, второй год Праги дает себя чувствовать. Господи, как хочется жары! – А что Вы́ делаете летом?

МЦ.

15

Иловищи, близ Праги, 29-го июня 1924 г.

Мой дорогой Гуль,

Я опять к Вам с письмом Пастернаку. В последний раз, ибо в нем же прошу дать мне какой-нибудь верный московский адрес. Милый Гуль, мне очень стыдно вновь утруждать Вас, но у меня никого нет в Москве, ни души, – ду́ши, но без адресов, как им и полагается.

С той же почтой высылаю Вам 20 крон на почтовые расходы, простите, что не сделала этого раньше.

Письмо, очень прошу, пошлите заказным.

Дошел ли до Вас мой «Феникс»?[1] Посылала. (В двойном № «Воли России».)

Вышел сборник «Записки Наблюдателя» (витиеватое название, а? Не старинное, а старомодное) с моей статьей «Кедр» – о Волконском. О ней уже писал Айхенвальд в Руле (говорили)[2], – кажется, посрамлял меня. А теперь – профессиональную тайну, забавную:

«Апология» – полнотой звука – я восприняла, как: хвала. Оказывается (и Айхенв〈альд〉 – внешне – прав) я написала не апологию (речь в защиту), а: панегирик!!!

Панегирик – дурацкое слово, вроде пономаря, или дробного церковного «динь-динь», что-то жидкое, бессмысленное и веселенькое. По смыслу: восхваление.

Внешне – Айхенв〈альд〉 прав, а чуть поглубже копнешь – права я. Речь в защиту уединенного. (Кедр, как символ уединения, редкостности, отдельности.) И я все-таки написала апологию!

К сожалению, у меня только один экз〈емпляр〉 на руках, да и тот посылаю Волконскому. Купить – 35 кр〈он〉, целое со-

стояние. Думаю, Крачковский (горе-писатель и издатель[3], воплощение Mania Grandiosa) уже послал в «Накануне» для отзыва.

Есть там его повесть «Желтые, синие, красные ночи», — белиберда, слабое подражание Белому, *имени* к⟨отор⟩го он так боится, что самовольно вычеркнул его из «Кедра». (Там было несколько слов о неподведомственности ритмики Волконского — ритмике Белого, о природности его, В⟨олкон⟩ского, ритмики. Кончалось так: «Ритмика В⟨олконского⟩ мне дорога, п. ч. она природна: в ней, если кто-нибудь и побывал, то не Белый, а — Бог». Крачковский уже в последнюю минуту, после 2-ой корректуры «исправляет»:

...«то, вероятно, только один Бог».

Хотела было поднять бурю, равнодушие читателя остановило. Черт с ним и с издателем!)

Живу далеко от станции, в поле, напоминает Россию. У нас, наконец, жаркое синее лето, весь воздух гудит от пчел. Где Вы и что Вы?

Пишите о своих писаниях, планах, возможностях и невозможностях.

Думаю о Вас всегда с нежностью.

МЦ.

Адр⟨ес⟩: *Praha* II Lazarska, 10
Rusky studentsky Komitet
— мне —

16

Прага, 11-го августа 1924 г.

Милый Гуль,

Месяца два назад я направила Вам письмо для Пастернака (заказным) и 20 крон на марки, — получили ли? А еще раньше — лично Вам — № «Воли России» с «Фениксом». Но Вы упорно молчите, — больны, недосуг или рассердились? А может быть — переехали? Но тогда бы Вам переслали. (Как странно: все строчки с заглавных букв!) Адрес мой на обороте был, и обратно ничего не пришло.

Я очень озабочена, — особенно письмом к Пастернаку, письмо было не житейское, важное. Известите меня хоть открыткой о судьбе его.

Держу в настоящее время корректуру своего «Мо́лодца» (пражское из⟨дательст⟩во «Пламя») — по выходе (недели через три)[1] пришлю. Но раньше хочу знать, где Вы и что́ Вы. Молчание ведь — стена, люблю их только развалинами.

О себе: живу мирно и смирно, в *Дольних* Мокропсах (оцените название!) возле Праги. У нас здесь паро́м и солнечные часы. На наших воротах дата 1837 г.

Пишу большую вещь[2], — те мои поэмы кончены. Есть и новые стихи. Печатаюсь. Хотела бы издать свою новую книгу стихов (за́ два года за границей) в России. Если в какой-нибудь связи с Госиздатом — предложите.

Политического стиха ни одного.

Что Геликон? (Из⟨дательст⟩во.) Что другие берлинские? Прозу, кажется, пристроила. (Книги, даже самые мужественные — сплошь дочери. Издатели — женихи. И всегда неравные браки!)

Читали ли «Быт и Бытие» Волконского, посвященную мне? Хорошая книга. Он сейчас пишет роман[3].

Как Ва́ши писания?

Словом, Гуль, отзовитесь. Мы с Вами, по нынешнему времени — старые знакомые.

Шлю привет.

МЦ.

Мой надежный адрес:
Praha II. Lazarska ul⟨ice⟩, č⟨islo⟩ 11
Rusky studentsky Komitet
— мне. —

Гуль Роман Борисович (1896—1986) — писатель, за границей с 1918 г. Большинство его произведений основано на биографическом материале: «Ледяной поход», «В рассеяньи сущие», «Жизнь на Фукса», «Азеф», «Красные маршалы», «Бакунин», «Конь рыжий», трилогия «Я унес Россию». Им написано много статей о современной русской литературе, наиболее значимые вошли в сборник «Одвуконь» (Нью-Йорк, 1973). С 1959 г. Р. Б. Гуль был сотрудником редакции «Нового журнала», в 1966 г. стал его главным редактором.

С Р. Гулем М. Цветаеву по ее просьбе познакомил И. Эренбург в 1922 г., вскоре после приезда Цветаевой из Москвы в Берлин. В том же году, когда Цветаева переехала в Чехию, в Мокропсы под Прагой, у них завязалась переписка. Длилась она почти два года.

В своих воспоминаниях Гуль оставил нам портрет Цветаевой тех лет: «Свое первое впечатление от облика Цветаевой я ярко запомнил. Цветаева — хорошего (для женщины) роста, худое, темное лицо, нос с горбинкой, прямые волосы, подстриженная челка. Глаза ничем не примечательные. Взгляд быстрый и умный. Руки без всякой женской нежности, рука была скорее мужская, видно сразу — не белоручка. ⟨...⟩ Как женщина не была привлекательна. В Цветаевой было что-то муже-

ственное. 〈...〉 Говорить с ней было интересно обо всем: о жизни, о литературе, о пустяках. В ней чувствовался и настоящий, и большой, и талантливый, и глубоко чувствующий человек. Да и говорила она как-то интересно-странно, словно какой-то стихотворной прозой, что ли, каким-то „белым стихом"» (Гуль Р. Я унес Россию. Апология эмиграции. Т. 1. Россия в Германии. Нью-Йорк: Мост, 1981. С. 59, 60).

Письма 1—9 и 12—16 впервые—Новый журнал. 1959. № 58, причем письма 4, 9 и 14 были опубликованы с сокращениями. Полностью эти письма, так же как и письма 10, 11, впервые были напечатаны в «Новом журнале» (1986, № 165). Печатаются по текстам первых публикаций без сокращений, с исправлением неточностей и восстановлением нескольких пропущенных фраз по копиям с оригиналов, любезно предоставленных Ж. Шероном.

1

[1] Издание альманаха «Железный век», так же как и упоминаемого далее «Романтического Альманаха», осуществлено не было. Стихотворение «Река» («Но тесна вдвоем...») опубликовано в первой книге альманаха «Струги», вышедшего в начале 1923 г. в берлинском издательстве «Манфред». Цикл «Заводские» напечатан в журнале «Воля России» (1924, № 11—12).

[2] См. письма к Г. П. Струве и комментарии к ним.

[3] См. письмо к Ю. Ю. Струве и комментарии к нему.

[4] Речь идет, видимо, о рекламных объявлениях о вышедших книгах издательства «Эпоха», которые печатались в берлинских газетах, в том числе и в «Руле». Первая рецензия на «Царь-Девицу» за подписью Е. Ш〈иряева〉 появилась в газете «Накануне» (Берлин. 1922. 9 декабря). В «Руле» рецензия Ю. Айхенвальда (под псевдонимом Б. Каменецкий) на книгу Цветаевой была опубликована 17 декабря 1922 г.

[5] См. комментарий 2, к письму 2 к Л. Е. Чириковой.

[6] А. Г. Вишняк, владелец берлинского издательства «Геликон».

[7] Сборник вышел весной 1923 г.

[8] Поэма «Мóлодец». См. также письмо 4 к Б. Л. Пастернаку и комментарий 10 к нему.

[9] Литературный ежемесячник «Эпопея», издававшийся в Берлине под редакцией А. Белого, с циклом стихов М. Цветаевой «Отрок» к моменту написания ею данного письма уже вышел (1922, № 2). Цветаева, видимо, еще не получила этот номер.

2

[1] Гуль работал в то время секретарем редакции библиографического журнала «Новая Русская Книга», редактором которого был А. С. Ященко. Перечень опечаток в «Царь-Девице», так же как и автобиография Цветаевой, напечатаны не были. См. письма к А. С. Ященко и комментарии к ним (т. 7).

[2] См. комментарий 4 к предыдущему письму.

[3] Речь идет о «Царь-Девице». На книге была сделана надпись: «Борису Пастернаку—одному из моих муз. Марина Цветаева. 22 декабря 1922, Прага» (Частное собрание).

3

[1] Письмо написано на открытке с изображением Национального театра в Праге.

4

[1] *Эренбург* (урожденная Козинцева) Любовь Михайловна (1900—1971)—художница, жена И. Г. Эренбурга.

[2] Об истории взаимоотношений Цветаевой с Геликоном см. «Флорентийские ночи» (т. 5).

[3] Сборник стихов И. Эренбурга (М.; Берлин, Геликон, 1923).

[4] Об этой статье см. письмо 15. *«Русская Мысль»*—см. комментарии к письмам к Г. П. Струве.

[5] О подготовке к изданию и содержании книги дневниковой прозы «Земные приметы» см. письма 5, 6, 9.

[6] *«Век культуры»* (Данциг) и *«Огоньки»* (Берлин)—недолго просуществовавшие русские эмигрантские издательства. Выпуск «Верст» 1 осуществлен не был. А в издательстве «Огоньки» у Цветаевой вышел сборник «Стихи к Блоку» (1922).

[7] Об отношении Гуля к Бердяеву подробнее см., например, в его книге «Я унес Россию» (Т. 2. Нью-Йорк: Мост, 1984. С. 76—78).

[8] *Новгородцев* Павел Иванович (1866—1924)—юрист, философ. Первый Председатель русской академической группы в Чехословакии. Основал русский юридический факультет в Праге.

[9] Речь идет о рецензии Р. Гуля на сборник Цветаевой «Версты» (М.: Костры, 1922), опубликованной в № 11/12 «Новой русской книги» за 1922 г. В ней Гуль писал: «Если мир поэта (хотя бы второпях скользнув по его стихам) узнается сразу, запоминается и не сдваивается с другим,—значит поэт крепок и подлинен 〈...〉 Черты лица Марины Цветаевой за последнее время вычертились четко. Ее ни с кем не спутаешь. Часто ходит Цветаева в цыганский табор, в кулашную, кумачную Русь. Широта дыхания просит этих тем. 〈...〉

Хороша Марина Цветаева в буйности, в неистовстве. Силен голос. Много в голосе звуков. Много музыки...» (С. 13).

[10] См. комментарий 4 к письму 1 и письмо 2.

[11] «В рассеяньи сущие». Повесть (Берлин: Манфред, 1923).

[12] Имеется в виду сборник Б. Пастернака «Темы и вариации», вышедший в январе 1923 г. в издательстве «Геликон».

6

[1] См. комментарий 9 к письму 4.

[2] Название русского издательства в Берлине.

[3] Из стихотворения М. Цветаевой «Не здесь, где связано...» (1922). См. т. 2.

[4] См. комментарий 1 к письму 1.

7

[1] Б. Л. Пастернак приезжал на некоторое время в Германию и в эти дни возвращался из Берлина в Москву *(примеч. Р. Гуля)*.

[2] «Земные приметы». См. письмо 9.

9

[1] Вероятно, Цветаева имела в виду берлинское русское издательство Ольги Дьяковой, издававшее литературу правого толка.

[2] Речь идет о только что вышедшем романе И. Г. Эренбурга «Жизнь и гибель Николая Курбова» (Берлин: Геликон, 1923). См. также письмо 6 к А. В. Бахраху.

[3] Сборник стихов, вышедший двумя изданиями (Пг.: ГИЗ, 1922 и Берлин; Пг.; М.: Издательство З. И. Гржебина, 1923).

[4] Статья А. Белого «Тяжелая лира и русская лирика» (Современные записки. 1923. № 15). В ней А. Белый ставит Ходасевича в один ряд с корифеями русской поэзии XIX в.: Пушкиным, Баратынским, Тютчевым. «... как в содержании Ходасевич преемственно поднимает задания лучших традиций огромной поэзии нашей, так и в форме своей поднимается он к *«стае славной»* поэтов. И радостно: в наши дни родился очень крупный поэт...» (С. 388).

10

[1] См. комментарий 11 к письму 4.

[2] См. комментарий 2 к письму 1 к Е. А. Ляцкому.

[3] Научная работа Гёте (1810).

[4] *Сведенборг* Эмануэль (1688—1772)—шведский философ, автор теософского учения о «потусторонней жизни» и о поведении бесплотных духов.

[5] Из песни Миньоны (Гёте. «Годы учения Вильгейма Мейстера»).

[6] Название первого стихотворного сборника А. Белого (М.: Скорпион, 1904).

[7] См. письмо 1 к А. В. Бахраху.

[8] Книга С. Эфрона напечатана не была. Отрывок из нее под названием «Октябрь (1917)» опубликован в журнале «На чужой стороне» (Прага. 1925. № 11).

[9] При жизни Цветаевой так и не вышел. Впервые был подготовлен к изданию Г. П. Струве и опубликован лишь в 1957 г. (Мюнхен).

11

[1] Речь идет о стихотворении М. Цветаевой «Вкрадчивостью волос...», вошедшем в сборник «После России» (1928). См. письмо 14.

[2] Ежедневная газета, выходившая в Берлине (1922—1924).

[3] *Коганы*—П. С. Коган и Н. А. Нолле-Коган *...блоковский мальчик*—речь идет о сыне Коганов. Цветаева действительно верила в то, что это сын Блока, и впоследствии годы спустя негодовала, когда эту легенду пытались опровергнуть. Для ее легенды о Блоке сын был необходим. См. также письмо 14.

[4] См. письмо 15 и комментарий 2 к нему.

[5] С. Волконский. «Быт и бытие. Из прошлого, настоящего, вечного» (Берлин: Медный всадник, 1924). Книга была посвящена Цветаевой.

Объясняя причины своего посвящения, Волконский писал в предисловии: «Однажды Вы мне писали, что нравится Вам, как я быстро от неприятных вопросов быта перехожу к сверхжизненным вопросам бытия. И тут же я подумал, какое было бы красивое заглавие—«Быт и Бытие». Но как, подумал я, трудно написать такую книгу, которая бы такому заглавию соответствовала. Признаюсь, когда я начал, я совсем не думал, даже забыл об этом заглавии и только на восьмой главе, говоря о русском уездном городе, вдруг почувствовал, что я ведь именно об этом пишу. Такова история заглавия,—Вы видите, что оно принадлежит Вам.

Но не одно только слово, не один словесный звук Вам принадлежит. Принадлежит Вам и содержание этого звука, то есть раскрытие его содержания.

Это было в те ужасные, гнусные московские годы. Вы помните, как мы жили? В какой грязи, в каком беспорядке, в какой бездомности. Да это что! А помните нахальство в папахе, врывающееся в квартиру? Помните наглые требования, издевательские вопросы? Помните жуткие звонки, омерзительные обыски, оскорбительность «товарищеского» обхождения? Помните, что такое был шум автомобиля мимо окон: остановится или не остановится? О, эти ночи!.. (С. 10).

[6] См. комментарий 8 к письму 10.

[7] Л. М. Эренбург.

[8] Знакомство М. И. Цветаевой с А. Ф. Керенским состоялось во время его приезда в Прагу в середине февраля 1924 г. 14 февраля А. Ф. Керенский выступил в Сме́тановом зале Репрезентичного дома с докладом «Государство и народ в революции». Программа его выступления: 1. Развал старого государства, неизбежность переворота, психологическая к нему неподготовленность, взрыв. 2. Революция, как преодоление анархии; борьба сил сцепления и распада в ее развитии. 3. Народовластие или диктатура? Трагедия фронта, гражданская война. 4. Опыт революции в государственном строительстве будущего.

Всего был предусмотрен один доклад, а не два, как пишет Цветаева. На следующий день после доклада состоялись прения по нему. Оба дня зал был переполнен. Спустя неделю Е. Кускова писала по этому поводу: «Что это значит—эта активность и этот живой интерес? Два дня по 2000 человек. Неужели не ясно? Все перепробовано: интервенция, блокады, презрение, поругания, вмешательство иностранцев, слепые страсти, жгучая ненависть. Не было места только одному: разуму, размышлению... И вот теперь ... надо прежде всего понять» (Дни. 1924. 23 февраля).

Выступления А. Ф. Керенского достигли своей кульминации во второй день. По свидетельству хроники событий, «огромное большинство зала было настроено против Керенского», «и это настроение выражалось в подчеркнуто шумных аплодисментах во время и после речей ораторов, подвергнувших резкой критике и положения доклада, и роль самого докладчика в истории русского революционного движения». Слоним, за участие в прениях в качестве адвоката Керенского, был

обвинен в «применении демагогических приемов». В конце прений один из выступающих, пытаясь смягчить общее настроение, заявил: «Не буду касаться реабилитации Керенского, ибо мы русские, а русские лежачего не бьют» (Дни. 1924. 22 февраля).

В один из дней выступлений Керенского Цветаева преподнесла ему свой сборник «Психея» с дарственной надписью: «Романтику Революции — Александру Федоровичу Керенскому — от всей души. Марина Цветаева. Прага, февраль 1924 г.» (Частное собрание).

Известно еще об одной их встрече, которая состоялась в Париже в первые дни приезда Цветаевой во Францию в конце 1925 г. Об этой встрече на рю Руве, где у друзей остановилась Цветаева, пишет в своих воспоминаниях писатель В. Б. Сосинский: «...торжественный ужин на рю Руве. Хозяйки превзошли самих себя: чешско-русско-французская кухня. 〈...〉 За столом всецело царили Марина Ивановна и Александр Федорович. Все остальные только слушали их. 〈...〉 Когда разговор зашел о современной литературе — той и этой, — Марина Ивановна на первые места выдвинула Алексея Ремизова и Бориса Пастернака, Александр Федорович рьяно возражал, показав свое высокое искусство оратора и полемиста, — он был за прозу Ивана Бунина и за поэзию Константина Бальмонта. 〈...〉 В этот вечер Марина Ивановна не хотела читать своих стихов. Но Керенский настаивал.

— Не знаю, что читать, — прошептала мне на ухо Марина Ивановна. — Посоветуйте. Ведь моих стихов он не понимает. А! Вспомнила. Вот что я прочту.

И она прочла: «Настежь, настежь//Царские врата!..» и т. д.» (*Воспоминания о Цветаевой.* С. 374—375).

[9] Стихотворение «И кто-то, упав на карту...» (см. т. 1).

[10] *Шингарев* Андрей Иванович (1869—1918) — земский деятель, публицист, один из лидеров кадетов. Его сын — *Шингарев В. А.* — см. комментарий 2 к письму 3 к В. Б. Сосинскому (т. 7).

[11] Возможно, речь идет о первых главах романа в стихах «Спекторский», опубликованных в альманахе «Круг» (1924, № 5).

[12] *Жиронда* — партия политических идеалистов в период Великой французской революции, смотревшая на конституционное королевство как на необходимый переход к идеальной республике. Была разгромлена якобинцами. Свое название получила от департамента Жиронда, депутаты от которого в законодательном собрании и положили ей начало.

12

[1] Цветаева «присылала мне в Берлин ее письма к Б. Пастернаку, с просьбой переправить их ему в Москву, посылая по адресу одного моего знакомого писателя. Три-четыре письма я так отправил, пока М. И. не получила от Пастернака «верный московский адрес» *(примеч. Р. Гуля)*.

13

[1] В письме речь идет о выступлении Ф. А. Степуна с лекцией о литературе в культурно-благотворительном обществе в Праге «Чешско-русская Еднота». Выступления писателей, философов, ученых в обществе проходили регулярно. За 1919—1928 гг. их состоялось более 600.

[2] Письмо написано на открытке с видом пражской набережной.

14

[1] Первоначальное название сборника «После России».

[2] Н. Л. Мещеряков возглавлял Госиздат РСФСР с 1920 по 1924 г.

[3] См. комментарий 3 к письму 11.

[4] Пьеса А. Блока (1913).

[5] Лирическая драма А. Блока (1906).

[6] См. письма к М. С. Цетлиной и комментарии к ним.

[7] Современные записки. 1924. № 19.

[8] *«Студенческие годы»*—ежемесячный журнал русских студентов в Праге (1922—1925). В № 1 за 1924 г. были опубликованы три стихотворения из цикла «Песенки» из пьесы «Ученик» («Хоровод, хоровод...», «И что тому костер остылый...», «Вчера еще в глаза глядел...»). См. т. 1.

[9] Отрывки из книги «Земные приметы» (Воля России. 1924. № 1/2).

[10] Имеются расхождения по сравнению с опубликованным в «После России» текстом: «В гладь и в сласть»—«Вгладь и всласть», «противушерстый»—«противушерстный».

15

[1] Пьеса в стихах, опубликована в журнале «Воля России». 1924. № 8/9. См. т. 3.

[2] Б. Каменецкий [Ю. Айхенвальд]. Литературные заметки (Руль. 1924. 22 июня). В рецензии критик писал, что Цветаева «свою статью «Кедр», посвященную книге князя С. Волконского «Родина», сама называет апологией, хотя как раз в апологии прекрасная книга Волконского не нуждается и никто ее не обвинял, не осуждал. Не апологию, а панегирик в неудержимом восторге пишет г⟨оспо⟩жа Цветаева, и вот именно пишет так, что пробуждает в нас тоску по сдержанности и сосредоточенности. Впрочем, это—вопрос темперамента. По существу же, в основном, трудно с нашей писательницей не согласиться и не полюбоваться на меткость, и тонкость, и задорность многих ее замечаний».

[3] *Д. Н. Крачковский* (1882—не ранее мая 1934)—прозаик, с 1918 г. жил в Чехословакии, был издателем и редактором «Записок наблюдателя». (Вышел только один номер.)

16

[1] См. комментарий 8 к письму 1.

[2] Речь идет о драме «Тезей» (последующее название «Ариадна»), первой части задуманной трилогии «Гнев Афродиты». «Тезей» был окончен 7 октября 1924 г. Опубликован в «Верстах» (Париж, 1927. № 2).

[3] «Последний день». См. письмо 15 к О. Е. Колбасиной-Черновой.

М. С. ЦЕТЛИНОЙ

1

Прага, 9-го нов⟨ого⟩ января 1923 г.

Милая Мария Самойловна,

Очень жалею, что не получила Вашего первого письма, — будьте уверены, что ежели бы получила, ответила бы сразу. — У меня о Вас и о Михаиле Осиповиче[1] самая добрая память. —

Жалею еще и потому, что у меня в данный час почти все стихи розданы: скоро выходит моя книга «Ремесло», а написанные после нее размещены по различным берлинским альманахам[2].

Посылаю Вам пока «Рассвет на рельсах». Если подойдут, очень просила бы известить.

Стихов у меня за последний год мало, пишу большие вещи[3].

Есть драматическая сценка «Метель»[4], — в стихах: новогодняя ночь, харчевня, Богемия — и встреча в этой метели — двух. Не зная места, уделенного в «Окне» стихам, — сейчас не посылаю.

Недавно закончила большую русскую вещь — «Мóлодец». И вот, просьба: не нашлось ли бы в Париже на нее издателя?[5] — Сказка, в стихах, канва народная, герой — упырь. (Очаровательный! Насилу оторвалась!)

Одно из основных моих условий — *две* корректуры: вся вещь — на песенный лад, много исконных русских слов, очень важны знаки.

Недавно вышла в Берлине (к⟨нигоиздательст⟩во «Эпоха») моя сказка «Царь-Девица», — 16 опечаток, во многих местах просто переставлены строки. Решила такого больше не терпеть, тем более, что и письменно и устно заклинала издателя[6] выслать вторую корректуру.

«Мóлодца» можно (и по-моему — нужно) было бы издать с иллюстрациями: вещь сверх-благодарная.

Жаль, что не могу Вам выслать «Царь-Девицы», те немногие экз⟨емпляры⟩, высланные из⟨дательст⟩вом, уже раздарила.

А в Берлине «Мóлодца» я бы печатать не хотела из-за несоответствия валюты: живя в Праге, работать на марки невозможно.

Простите, что затрудняю Вас просьбой, но в Париже у меня никого, кроме Бальмонтов[7], нет, а зная их хронически трудный быт, обращаться к ним не решаюсь.

Вы спрашиваете о моей жизни здесь, — могу ответить только одно: молю Бога, чтоб вечно так шло, как сейчас.

Сережа учится в университете и пишет большую книгу о всем, что видел за четыре года революции[8], — книга прекрасна, радуюсь ей едва ли не больше, чем собственным.

Але 10 лет, большая, крепкая, с возрастом становится настоящим ребенком, сейчас наслаждается природой и свободой, — живем за́ городом, в деревенской хате[9].

— Вот и все пока. —

Шлю сердечный привет Вам и Михаилу Осиповичу.

Марина Цветаева.

2

Мокропсы, 31-го нов⟨ого⟩ января 1923 г.

Милая Мария Самойловна,

Пишу Вам с больной рукой, — не взыщите, что плохо.

Получила недавно письмо от кн⟨язя⟩ С. М. Волконского: писателя, театр⟨ального⟩ деятеля, внука декабриста. Он сейчас в Париже. И вспомнила поэму Михаила Осиповича о декабристах[1]. И подумала, что вас непременно надо познакомить.

Сергея Михайловича я знаю с рев⟨олюционной⟩ Москвы, это из близких мне близкий, из любимых любимый[2]. Человек тончайшего ума и обаятельнейшего обхождения. Неизбывная творческая природа. Пленительный собеседник. — Живая сокровищница! — Памятуя Вашу и Михаила Осиповича любовь к *личности*, я подумала, что для вас обоих Волконский — клад. Кладом и кладезем он мне пребыл и пребывает вот уже три года. Встреча с ним, после встречи с Сережей, моя главная радость за границей.

Недавно вышла книга С⟨ергея⟩ М⟨ихайловича⟩ — «Родина», в феврале выходят его: «Лавры» и «Странствия». О его «Родине» я только что закончила большую статью, которой Вам не предлагаю, ибо велика: не меньше 40 печатных страниц![3]

— А может быть вы давно знакомы и я рассказываю Вам вещи давно известные! —

Адр⟨ес⟩ Сергея Михайловича: B⟨oulevard⟩ des Invalides, 2, rue Duroc, живет он, кажется, в Fontainebleau, по крайней мере осенью жил.

Если пригласите его к себе, попросите захватить что-нибудь из «Лавров». Это книга встреч, портретов. — Он прекрасно читает. — Приглашая, сошлитесь на меня, впрочем он наверное о Вас знает, и так придет.

И — непременно — если встреча состоится, напишите мне о впечатлении. Это моя большая любовь, человек, которому я обязана

может быть лучшими часами своей жизни вообще, а уж в Сов⟨етской⟩ России — и говорить нечего! Моя статья о нем называется «Кедр» (уподобляю).

«Метель» свою Вам послала. Живу сама в метели: не людской, слава Богу, а самой простой: снежной, с воем и ударами в окна. Людей совсем не вижу. Я стала похожей на Руссо: только деревья![4] Мокропсы — прекрасное место для спасения души: никаких соблазнов. По-чешски понимаю, но не говорю, объясняюсь знаками. Язык удивительно нечеткий, все слова вместе, учить не хочется. Таскаем с Алей из лесу хворост, ходим на колодец «пó воду». Сережа весь день в Праге (универс⟨итет⟩ и библиотека), видимся только вечером. — Вот и вся моя жизнь. — Другой не хочу. — Только очень хочется в Сицилию. (Долго жила и навек люблю!)[5] — Шлю сердечный привет Вам и Михаилу Осиповичу.

МЦ.

В феврале выходит моя книга стихов «Ремесло», пришлю непременно.

3

Прага, 17-го нов⟨ого⟩ марта 1923 г.

Милая Мария Самойловна,

У меня к Вам просьба: не могли бы Вы попросить «Звено» о высылке мне гонорара за «Метель»[1]. (Хотелось бы и оттиск.)

Скоро Пасха и мне очень нужны деньги. Простите, что обращаюсь к Вам, но в «Звене» я никого не знаю.

Если бы Вас не затруднило, сообщите им, пожалуйста, мой адрес:

Praha, II, Vyšehradska tř⟨ida⟩ 16
Městsky Hudobinec
S. Efron[2]

«Ремесло» мое уже отпечатано, но Геликон[3] почему-то в продажу не пускает. Прислал мне пробный экз⟨емпляр⟩[4], книга издана безукоризненно. Как только получу, пришлю.

А пока — сердечный привет Вам и Михаилу Осиповичу. — Как Вам понравился Сергей Михайлович?[5]

Шлю привет.

МЦ.

4

Чехия, Мокропсы, 31-го нов⟨ого⟩ мая 1923 г.

Милая Мария Самойловна,

Ваше «Окно» великолепно: в первую зарю Блока, в древнюю ночь Халдеи. Из названного Вам ясно, что больше всего я затронута Гиппиус и Мережковским[1].

Гиппиус свои воспоминания написала из чистой злобы, не вижу ее в любви, — в ненависти она восхитительна. Прочтя первое упоминание о «Боре Бугаеве»[2] (уменьшительное здесь не случайно!) я сразу почуяла что-то недоброе: очень уж ласково, по-матерински... Дальше — больше, и гуще, и пуще, и вдруг — озарение: да ведь это она в отместку за «лорнет», «носик», «туфли с помпонами», весь «Лунный друг» в отместку за «Воспоминания о Блоке», ей пришлось за́свежо полюбить Блока, чтобы насолить Белому! И как она восхитительно справилась: и с любовью (Блоком) и — с бедным Борей Бугаевым! Заметьте, все верно, каждая ужимка, каждая повадка, не только не на́лгано, — даже не прилгано! Но так по змеиному увидено, запомнено и поведано, что даже я, любящая, знающая, чтящая Белого, Белому преданная! — не могу, читая, не почувствовать к нему (гиппиусовскому нему!) отвращения — гиппиусовского же!

Это не пасквиль, это ланцет и стилет. И эта женщина — чертовка.

В Мережковском меня больше всего трогает *интонация*. Я это *вне* иронии, ибо интонации — как зверь — верю больше слова. О чем бы Мережковский ни писал, — о Юлиане, Флоренции, Рамзесе, Петре, Халдее ли[3], — интонация та же, *его*, убедительная *до* слов (т. е. опережая смысл!) Я Мережковского знаю и люблю с 16 л⟨ет⟩, когда-то к нему писала (об этом же!) и получила ответ, — милый, внимательный, от равного к равному, хотя ему было тогда 40 л⟨ет⟩ (?) и он был Мережковский, а мне было 19 лет — и я была никто[4]. Если увидитесь с ним — напомните. Теперь Аля читает его Юлиана и любит те же места и говорит о нем те же слова.

Мило, сердечно, любовно-по-ремизовски — «Однорукий Комендант»[5]. — Вся книга хороша. — Непременно пришлите вторую! (Равнодушие просит, затронутости требует. NB! Я очень дурно воспитана.)

Напишите мне про Гиппиус: сколько ей лет, как себя держит, приятный ли голос (*не* как у змеи?! Глаза *наверное* змеиные!) — бывает ли *иногда* добра? И про Мережковского.

Посылаю Вам «Поэму заставы»[6], если не подойдет — пришлю другие стихи. Только напишите скорей, чтобы мне успеть. Спасибо за *безупречную* корректуру[7]: с Вами я всегда спокойна! Если

«Застава» не подойдет, напишите, чтó (по теме) предпочитает и от чего (по теме же!) отталкивается «Окно». Тáк — трудно. А «Заставу» Вам даю, как на себя очень похожее. (Может быть предпочитаете *не* похожее??)

Целую Вас, привет Михаилу Осиповичу. Видитесь ли с моим дорогим Волконским?

МЦ.

〈*Приписка на полях:*〉

Мне очень стыдно, что я так долго не благодарила Вас за щедрый гонорар.

5

Мокропсы, 8-го июня 1923 г.

Милая Мария Самойловна,

Посылаю Вам два стиха: «Деревья» и «Листья», пишу и сама чувствую юмор: почему не «Ветки», «Корень», «Ствол» и т. д. И еще просьбу: если «Заставу»[1] не берете — по возможности, пристройте, а если невозможно — по возможности верните. Я не из лени, — у меня очень устают глаза, я переписываю книгу прозы[2] (печатными буквами!) и к концу вечера всюду вижу буквы (это вместо листьев-то!).

И еще просьба: мне бы очень хотелось знать, чтó — вообще — предпочитает «Окно»: *куда выходит* (не: когда выходит?) — на какие просторы? Ближе к делу: природу, Россию, просто — человеческое? Мне достаточно малейшего указания, в моем мире *много* рек, назовите свою. Я знаю, что это трудно, что издательская деликатность предпочитает «авторам не указывать», но если автор, на беду, тоже оделен этим свойством — тогда ни сойтись, ни разойтись.

Это я говорю о *чтó* стихов. Относительно *кáк*, — увы, будет труднее. Я знаю, что «Ремесло» меньше будет нравиться, чем «Фортуна», напр〈имер〉, и стихи тех годов, но я не могу сейчас писать стихи тех годов, и «Фортуна» мне уже не нужна[3]. Мне бы очень хотелось знать, совершенно безотносительно помещения, чтó Вы чувствуете к моим новым стихам.

Искренне тронута Вашим денежным предложением и отвечу Вам совершенно непосредственно. В месяц я имею 400 франков на себя и Алю, причем жизнь здесь очень дорога. (Наша хибарка, напр〈имер〉, в лесу, без воды, без ничего — 250 крон + 40 за мытье пола.) Жить на эти деньги, вернее: существовать на эти

деньги (на франц⟨узскую⟩ валюту 400 фр⟨анков⟩) можно, но жить на эти деньги, т. е.: более или менее одеваться, обуваться, обходиться — нельзя. Прирабатываю я гроши, бывает месяцами — ничего, иногда 40 крон («Русская мысль», 1 крона строчка)[4]. В долги не влезаю, т. е. непрерывно влезаю и вылезаю. Самое обидное, что я на свою работу отлично могла бы жить, неизданных книг у меня множество, но нет издателей, — все они в Германии и платят гроши. — Переписка не оправдывается! —

Вот точная картина моего земного быта. Определить ее «острой нуждой» руку на́ сердце положа — не могу (особенно после Москвы 19-го года!) Я бы сказала: хронический недохват.

Чего мне всегда не хватало в жизни, это (хотя я и не актриса!) — импрессарио, человека, лично заинтересованного, посему деятельного, который бы *про*давал, *по*давал... и не слишком *пре*давал меня!

Здесь много литераторов и все они живут лучше меня: знакомятся, связываются, сплачиваются, подкапываются, — какое милое змеиное гнездо! — вместо детского «nid de fauvettes» — «nid de vipères»*. Есть прямо подозрительные личности. Если бы до них дошло, что я получила от Вас субсидию, они бы (випэры!) сплоченными усилиями вычли из моего «иждивения» ровно столько же, сколько бы я получила. Я даже не пометила 40 кр⟨он⟩ за прошлый месяц от Струве[5] (анкетный лист), ибо знаю, что получила бы на 40 кр⟨он⟩ меньше.

Кроме того — и самое важное! — когда я Вам деньги верну??? Ну, продам книгу прозы, но ведь это будут гроши. Не до России (где у меня *был* дом на Полянке!)[6] — а когда Россия???

Простите, что беспокою Вас своими бытовыми бедами, — у Вас без меня достаточно забот. Больной ребенок, — ведь больнее этого и тяжелее этого нет ничего. Алина болезнь в 1920 г. была худшим временем моей жизни, единственные месяцы, когда я не писала стихов[7].

Но Ваша дочка (Анжелика?)[8] конечно поправится и Вы поедете с нею в какое-нибудь прекрасное место, наверное к морю, где она в полосатой фуфайке будет играть в песке. Боль забывается, — особенно детьми!

Аля огромная, вид 12-летней (10 лет), упрощается с каждым днем. С. М. В⟨олконский⟩ говорит о ней: Аля начала с vieillesse qui sait** и неуклонно шествует к jeunesse qui peut***. — Что ж!

---

* «Гнездо малиновок — гнездо гадюк» *(фр.)*.
** Старости, которая знает *(фр.)*.
*** Молодости, которая может *(фр.)*.

У каждого своя дорога. – Боюсь только, что к 20-ти годам она все еще будет играть в куклы. (Которых ненавидела, ненавижу и буду ненавидеть!) Умственное развитие ее, впрочем, блестяще, но *живет* она даже не детским, а младенческим!

Нынче еду в Прагу – заседание по делу патриарха Тихона[9]. Ненавижу общественность: сколько лжи вокруг всякой правды! Сколько людских страстей и вожделений! Сколько раздраженной слюны! Всячески уклоняюсь от лицезрения моих ближних в подобных состояниях, но не показываться на глаза – быть зарытой заживо. Люди прощают всё, кроме уединения.

Кончаю. Вашей дочке быстрого и полного выздоровления, Вам – покоя. Вам обеим – веселого отъезда. – Что Ваши старшие дети?[10]

Привет Михаилу Осиповичу. Вам – поцелуй и благодарность.

МЦ.

6

Прага, 11-го августа 1923 г.

Дорогая Мария Самойловна,

Дошло ли до Вас мое последнее письмо со стихами? Посылала Вам «Заставу», Вы попросили других, послала другие – и Вы замолчали. Это было уже около месяца тому назад. Может быть Вы уехали и письмо залежалось в Париже? Стихи были: «Деревья» и «Листья».

В последнем письме Вы спрашивали, не нужны ли мне, до крайности, деньги. Тогда ответила неопределенно, ибо крайности не было, сейчас крайность есть – и даже несколько: я должна отвозить Алю в гимназию (в Моравию)[1], мы должны переезжать в город и, наконец, мне необходимо, во что бы ни стало, съездить в Берлин устроить рукописи. (В Праге безвыездно уже год.)

И вот, ввиду всего этого, просьба: не могли бы Вы мне дать вперед за стихи – и, может быть несколько больше, чем я сейчас наработала (NB! если стихи приняты!). Я бы не просила Вас, если бы не была зарезана всеми этими переменами и переездами, которые окончательно выбивают меня из седла.

И еще просьба: не могли бы Вы попросить по телефону «Современные Записки» немедленно выслать мне гонорар за стихи «Бог» в последней книге[2]. Я писала в Берлин Гуковскому[3], но очевидно он тоже уехал.

Мне очень тяжело просить именно Вас, которую все просят, но мой берлинский издатель Геликон зачах и издох, в Праге же я не цвету.

Ехать мне необходимо к 1-му, если имеете желание и возможность выручить — выручайте сейчас.

Живу, уже снявшись с места, т. е. уже не живу, все это рухнуло сразу: и Алин отъезд, и мой, и переезд в город. Больше зимы в деревне, вернее «деревни в зиме» (ибо зима — стихия, поглощающая деревню!) не хочу. А Прага такой треклятый город, что в ней уже Достоевский не мог найти комнаты[4]. Цены непомерные, хозяйки лютые, квартиранты — русские, все это не спевается.

Я так эгоистически заполнила все письмо собой, делаю это и в стихах, но иначе. Данное «собой» — омерзительно, ибо бытовое.

Целую Вас нежно, привет Михаилу Осиповичу. Скоро напишу по-человечески.

МЦ.

Мой адр⟨ес⟩:
Praha. Poste restante
Marina Cvétajewa-Efron
(на орфографии фамилии настаиваю, так у меня в паспорте)

Цетлина (урожденная Тумаркина, в первом браке Авксентьева) Мария Самойловна (1882—1976) — меценатка, издательница, доктор философии. В 1919 г. эмигрировала в Париж.

Дружеские отношения между М. Цветаевой и М. С. Цетлиной сложились еще в годы революции в Москве, когда Цветаева посещала устраиваемые Цетлиной и ее мужем Михаилом Осиповичем литературные вечера. Цветаева была участницей известной встречи поэтов, которая состоялась на их квартире в Трубниковском переулке в январе 1918 г. Здесь собралась чуть ли не вся поэтическая Москва. (См. об этом: Пастернак Б. Охранная грамота. Л., 1931. С. 114—116; Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Воспоминания: В 3 т. Т. 1. М.: Сов. писатель, 1990. С. 145; Антокольский П. Две встречи. В кн.: В. Маяковский в воспоминаниях современников. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1963. С. 148—150.) В 1918 г. М. О. Цетлин включил пять стихотворений Цветаевой в альманах «Весенний салон поэтов», выпущенный его издательством «Зерна».

Дружба Цветаевой с адресатом прервалась в конце 1925 г., когда Цетлины отказали ей в помещении для первого поэтического вечера в Париже (см. письмо 3 к Д. А. Шаховскому в т. 7).

Сохранившиеся письма Цветаевой относятся к периоду издания в Париже супругами Цетлиными трехмесячного литературного журнала «Окно». Журнал просуществовал лишь год. В течение 1923 г. вышло три номера. Во втором номере было помещено стихотворение Цветаевой «Рассвет на рельсах», в третьем — «Деревья» («Кто-то едет — к смертной победе...») и «Листья ли с древа рушатся...». См. т. 2.

Письма 1 и 3 впервые опубликованы в кн.: Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. М.: Книга, 1989 (публикация Е. И. Лубянниковой). Письма 2 и 5 — Новый журнал. 1991. № 183 (публикация М. Белкиной). Письмо 6 — *Вестник РХД*, 1973, № 108—110. Печатаются по тексту публикации (письмо 6 с уточнениями по републикации в журнале «Звезда», 1992). Письмо 4 впервые с небольшим сокращением — в кн.: «Марина Цветаева об искусстве». М.: Искусство, 1991. Печатается полностью по оригиналу, хранящемуся в архиве составителя.

1

[1] М. О. Цетлин (1882—1945) — поэт (псевдоним Амари), журналист, литературный критик, издатель.

[2] Цветаева отвечает на просьбу М. С. Цетлиной прислать свои стихи для журнала «Окно». Что касается берлинских альманахов, где были «размещены» стихи Цветаевой, то в трех из них публикации состоялись: семь стихотворений в сборнике «Женская лирика» (Мысль, 1923), четыре — «Из новых поэтов» (Мысль, 1923), одно — «Струги». Книга 1-я (Манфред, 1923). См. также письмо 1 к Р. Б. Гулю и комментарий 1 к нему.

[3] Имеются в виду написанные в течение 1922 г. поэма-сказка «Мо́лодец», поэма «Переулочки», эссе «Световой ливень».

[4] См. письмо 3 и комментарий 1 к нему.

[5] См. письмо 1 к Р. Б. Гулю и комментарий 8 к нему.

[6] См. письма 1 и 2 к Р. Б. Гулю и комментарии к ним.

[7] К. Д. Бальмонт и Е. К. Цветковская.

[8] См. письмо 10 к Р. Б. Гулю и комментарий 8 к нему.

[9] Цветаева с семьей жила в это время в деревне Горние Мокропсы под Прагой.

2

[1] «Поэму о декабристах» М. О. Цетлин писал много лет. Отдельным изданием она вышла лишь в 1939 г. («Кровь на снегу. Поэма о декабристах». Париж). Фрагмент из поэмы был напечатан во втором номере журнала «Окно» (1923). Возможно, Цветаева слышала чтение Цетлиным поэмы на уже упомянутом вечере поэтов в январе 1918 г.

[2] С. М. Волконский. См. комментарий 4 к письму 5 к Е. Л. Ланну.

[3] Мемуары Волконского «Мои воспоминания» вышли в берлинском издательстве «Медный всадник». Статья Цветаевой «Кедр. Апология» (О книге кн. С. Волконского «Родина») увидела свет в сборнике «Записки наблюдателя» (Прага. 1924. № 1). См. т. 5.

[4] По-видимому, имеются в виду полотна французского художника Теодора Руссо (1812—1867), на которых деревьям отведен первый план («Дубы», «Пейзаж», «Пейзаж с мостиком» и др.).

[5] Весной 1912 г. во время свадебного путешествия Цветаева с мужем жили в Палермо на острове Сицилия.

3

[1] «Метель» была опубликована в газете «Звено» 12 февраля 1923 г.

[2] Пражский адрес С. Я. Эфрона.

[3] А. Г. Вишняк.

[4] Этот экземпляр Цветаева вскоре послала Б. Пастернаку (см. об этом в письме 7 к Р. Б. Гулю).

[5] С. М. Волконский.

4

[1] Цветаева пишет о содержании первого номера журнала «Окно», в частности о воспоминаниях З. Гиппиус о Блоке «Мой лунный друг» и первой части историко-философского произведения Д. С. Мережковского «Тайна трех».

[2] Настоящее имя Андрея Белого. Далее в письме речь идет о его «Воспоминаниях об А. А. Блоке» (опубликованы в журнале «Эпопея», М.; Берлин, 1922. № 1—4).

[3] Речь идет о произведениях Д. С. Мережковского, главным образом его известной трилогии «Христос и Антихрист»: 1. «Смерть богов» («Юлиан Отступник», 1895). 2. «Воскресшие боги» («Леонардо да Винчи», 1899—1900). 3. «Антихрист» («Петр и Алексей», 1905).

[4] Письмо Цветаевой к Мережковскому и его ответ не сохранились.

[5] Рассказ А. И. Куприна.

[6] «Поэма заставы» в журнале «Окно» опубликована не была.

[7] Имеется в виду корректура стихотворения «Рассвет на рельсах» (Окно, № 2).

5

[1] См. предыдущее письмо.

[2] «Земные приметы». См. письма к Р. Б. Гулю.

[3] *«Фортуна».* Пьеса в 5-ти картинах, в стихах. Опубликована в журнале «Современные записки» (1923, № 14, 15). См. т. 3.

[4] Ежемесячный литературно-политический журнал. Выходил с 1921 по 1927 г. с перерывом (София, затем Берлин—Прага, последний номер в 1927 г. вышел в Париже). Стихи Цветаевой были напечатаны в двух книгах журнала: 1922, № 8/12 (пять стихотворений) и 1923, № 1/2 (три стихотворения). См. также письма к Г. П. Струве.

[5] П. Б. Струве был в то время редактором «Русской мысли».

[6] См. комментарий 2 к письму 1 к В. Я. Эфрон.

[7] См. письма к В. К. Звягинцевой.

[8] Ангелина (р. 1917).

[9] В мае и июне в Праге прошли заседания и митинги протеста по поводу преследования патриарха Тихона и гонений на верующих в Советском Союзе. В письме речь идет, по-видимому, о заседании

в Союзе русских писателей и журналистов, в работе которого Цветаева принимала эпизодическое участие.

[10] Речь идет о шестнадцатилетней дочери М. С. Цетлиной Александре (от первого брака) и одиннадцатилетнем сыне Цетлиных Валентине.

6

[1] См. письмо 1 к А. В. Оболенскому и комментарий 1 к нему.

[2] Стихотворение «Бог» («О, его не привяжете...») было напечатано в № 16 журнала «Современные записки» за 1923 г. См. т. 2.

[3] *Гуковский* Александр Исаевич (1865—1925)—видный эсер, депутат Учредительного собрания, с 1919 г.—в эмиграции. Один из основателей и редакторов «Современных записок». Покончил с собой 17 января 1925 г.

[4] В 1869 г., возвращаясь из Италии, Ф. М. Достоевский с женой намеревались остановиться в Праге, но не смогли устроиться с жильем.

А. В. БАХРАХУ

1

Мокропсы, 9-го нов⟨ого⟩ июня 1923 г.

Милый г⟨осподин⟩ Бахрах,

Вот письмо, написанное мною после Вашего отзыва (месяца два назад?)—непосредственно в тетрадку[1]. Сгоряча написанное, с холоду непосланное,—да вот и дата: 20-ое апреля!

Я не знаю, принято ли отвечать на критику, иначе как колкостями—и в печати.

Но поэты не только не подчиняются обрядам—они творят их! Позвольте же мне нынче, в этом письме, утвердить обряд благодарности: критику—поэта. (Случай достаточно редкий, чтобы не слишком рассчитывать на последователей!)

Итак: я благодарна Вам за Ваш отзыв в «Днях». Это—отзыв во всем первичном смысле слова. (Пушкин: «В горах—отзы́в!»...) Вы не буквами на букву, Вы сущностью на сущность отозвались. Благодарят ли за это? Но и благодарность—*отзыв*! Кроме того, Вы вроде писали не для меня,—так и я пишу не «для Вас», хотя и к Вам.

Я не люблю критики, не люблю критиков. Они в лучшем случае производят на меня впечатление неудавшихся и посему озлобленных поэтов[2]. (И как часто они пишут омерзительные стихи!) Но хвала их мне еще неприемлемей их хулы: почти всегда *мимо, не за то*[3]. Так, напр⟨имер⟩, сейчас в газетах, хваля меня,

хвалят не меня, а Любовь Столицу[4]. Если бы я знала ее адрес, я бы отослала ей все эти вырезки. *Это не я.*

(Добрососедская статья некоего Мочульского напр⟨имер⟩, в парижском «Звене» – «Женская поэзия», об Ахматовой и мне[5]. Если попадется – прочтите, посмейтесь и пожалейте!)

– Ваша критика *умна.* Простите за откровенность. У Вас редчайший подход между фотографией (всегда лживой!) и отвлеченностью. Вы берете то среднее, что и составляет сущность поэта: некую преображенную правду дней. Вы вежливы, вне фамильярности: неустанно на Вы. У Вас хороший вкус: не «поэтесса» (слово, для меня, полупочтенное) – а поэт.

Вы доверчивы, у Вас хороший нюх: та́к, задумавшись на секунду: кунштюк или настоящее?[6] (Ибо сбиться легко и подделки бывают гениальные!) – Нет, настоящее. Утверждаю, Вы правы. Та́к, живя стихами с – да с тех пор как родилась! – только этим летом узнала от своего издателя Геликона, что́ такое хорей и что́ такое дахтиль. (Ямб знала по названию блоковской книги[7], но стих определяла как «пушкинский размер» и «брюсовский размер».) Я живу – и следовательно пишу – по слуху, т. е. на веру, и это меня никогда не обманывало. Если бы я раз промахнулась – я бы *вся* ничего не стоила!

– Что́ еще? – Ах, пожалуй главное! Спасибо Вам сердечное и бесконечное за то, что не сделали из меня «style russe», не обманулись видимостью, что, *единственный* из всех за последнее время обо мне писавших, удостоили, наконец, внимания СУЩНОСТЬ, то́, что вне наций, то́, что *над* нацией, то́ что (*ибо* все пройдет!) – пребудет.

Спасибо Вам за заботливость. – «Куда дальше? В Музыку, т. е. в конец?»[8] – А если и так, не лучший ли это из концов и не конца ли мы все, в конце концов, хотим. *Бытие в Небытии* – вот музыка! Блаженная смерть! Будьте верным пророком!

– А что́ за «Ремесло»? Песенное, конечно. Смысл, забота и радость моих дней. Есть у К. Павловой изумительная формула:

«О ты, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло –
Моя напасть, мое богатство,
Мое святое ремесло!»[9]

Эпиграф этот умолчала, не желая, согласно своей привычке, ничего *облегчать* читателю, *чтя* читателя.

– Ах, еще одна благодарность! За «Посмертный Марш» (мой любимый стих во всей книге), за явный – раз Вы в «Днях»! – взлет

над злободневностью, за то, что сердце Ваше (слух!) подалось на оборванность последних строк: *в лад падало*[10].

Здесь письмо кончается — и начинается другое:

9 нов⟨ого⟩ июня 1923 г.

Напомнила мне о Вас Л. М. Эренбург, в недавнем письме. Пишет, что Вы читаете мою «Психею». И вот, в ответ, просьба: попросите Гржебина[11] или его заместителя, чтобы прислал мне авторские, — не помню условия — настаивайте на 25 экз⟨емплярах⟩. Я и не знала, что книга вышла, и уже в ужасе от предполагаемых опечаток. Корректура моя была *безупречна*, за дальнейшее не отвечаю.

И еще просьба: найдите мне издателя на книгу прозы «Земные Приметы», — московские записи 1917 г. — конец ⟨19⟩19-го г.[12] Здесь Москва, Революция, быт, моя дочь Аля, мои сны, мысли, наблюдения, встречи, — некий дневник души и глаз. Книга большая: около 450 печ⟨атных⟩ *страниц* большого формата. (Сколько листов?) *Рифы этой книги:* контрреволюция, ненависть к евреям, любовь к евреям, прославление богатых, посрамление богатых, при несомненной белогвардейскости — полная дань восхищения некоторым безупречным живым коммунистам. Да еще: *лютая* любовь к Германии и издевательство над бычачьим патриотизмом (русских!) в первый год войны.

Словом, издатель, как моя собственная грудная клетка, должен вместить ВСЁ. Здесь все задеты, все обвинены и все оправданы. Это книга ПРАВДЫ. — Вот. —

Теперь ближе к делу. Мне один берлинский издатель заочно предлагал за лист 3 доллара. (*Не* Геликон, Геликон, напуганный «белогвардейщиной», не берет.) Я нищá как Иов[13], и при здешней дороговизне эта цена смехотворная*, — переписка не оправдывается. (Для примера: хибарка в лесу, то что кухня в избе, где мы живем, стóит 300 крон, — переведите на марки!) Эта книга — большая работа и, пока, мой единственный козырь к некоторой обеспеченности. Будьте другом, устройте мне эту книгу. Предупредите издателя, что это «товар ходкий», справьтесь у Геликона, он знает мою прозу. Книгу эту будут рвать (зубами!) все... кроме настоящих, непредубежденных, знающих, что ПРАВДА — ПЕРЕБЕЖЧИЦА. А таких мало.

Словом, я думаю: «grand scandale», что всегда благоприятно для издательства.

---

* NB! *Стихо*творная! *(примеч. М. Цветаевой)*

Книга почти готова, хочу посылать ее по частям. Но необходимо, чтобы из⟨дательст⟩во переписало ее на машинке: у меня написано на двух сторонах листа, — и чтобы машинный экз⟨емпляр⟩ этот я, до сдачи в типографию, исправила. Это очень важно и необходимо оговорить. Еще: без картинок на обложке, только буквы. И непременно с Ъ.

Если б что-нибудь наладилось, пришлите мне примерный образец условия.

Это моя первая и насущная просьба. Есть у меня и другие неизданные книги: 1) «Драматические Сцены»[14] («Фортуна», к⟨ото⟩рую Вы м. б. знаете по «Совр⟨еменным⟩ Запискам», «Метель», «Приключение», «Конец Казановы», кстати *изданный против моей воли и в ужасном виде в «Сов⟨етской⟩ России»)* — и 2) «Мо́лодец» (поэма-сказка) — небольшая.

Не приходите в ужас и, если это хоть сколько-нибудь трудно, не исполняйте. И не думайте обо мне дурно: я просто глубоко беспомощна в собственных делах, и книги у меня лежат по 10 лет. (Есть такие — и *не* плохие!)

Обращаюсь к Вам потому что Вы как будто любите мои стихи и еще потому что Вы наверное по вечерам сидите в «Prager-Diele»[15], где пасутся все издатели. Книга нигде не печаталась (это я о прозе! хотя и другие — нигде), а то я Эпохе продала «Царь-Девицу», уже проданную в Госиздат, и обо мне, быть может, дурная слава.

Шлю Вам самый искренний привет и благодарность.

Марина Цветаева

Адр⟨ес⟩ мой до 1-го июля:
Prag, Praha II Vyšegradska tř⟨ida⟩ 16
Městsky Chudobinec,
P. S. Efron
(для М. И. Ц.)

2

Мокропсы, 30-го июня 1923 г.

Милый Александр Васильевич!

Передо мной двенадцать неотвеченных писем (Ваше последнее, Вам первому.)

Ваше письмо разверстое как ладонь, между Вами и мной ничего (никакой связи!) — ничего (никакой преграды!) кроме этого

исписанного листа. Ваше письмо — душа. Как же мне не отбросить все *счета* (благодарности, вежливости, давности и прочих достоверностей!)

Но это не все! Незнакомый человек — это вся возможность, тот, от кого всего ждешь. Его еще *нету*, он только завтра будет (завтра, когда меня *не* будет!) Человека сущего я предоставляю всем, имеющее быть — мое. (NB! Вы, конечно, существуете, но для меня, чужого, Вас конечно еще нет. X для Y начинается в секунду встречи, — будь ему хоть 100 лет!)

Теперь о Вашем письме, о первом слове Вашего письма и целой страницы к нему пояснений. Вы пишете человеку: дорогой. Это значит, что другой, чужой, Вам дорог. Что же на это может возразить другой? Быть дорогим, это ведь не наш выбор, и не наше свойство, и не наша ответственность. Это просто не наше дело. Это наше — в данный час — отражение в реке, страдательное (т. е. обратное действенному!) состояние. Я же не могу сказать: «я не дорогая!». Это не свойство — слово неизменное и незаменимое, я употребляю его и в сравнительной степени, та́к, часто, говоря о человеке «Он такой дорогой!» (Что́, кажется, основательно разрушает все только что мною сказанное!)*

Ваш голос молод, это я расслышала сразу. Равнодушная, а часто и враждебная к молодости лиц, люблю молодость голосов. Вот эпиграф к одной из моих будущих книг: (Слова, вложенные Овидием в уста Сивиллы, привожу по памяти:) «Мои жилы иссякнут, мои кости высохнут, но ГОЛОС, *ГОЛОС* — оставит мне Судьба!»[1] (Сивилла, согласно мифу, испросила Феба вечной жизни, *забыла* испросить себе вечной молодости! Не-случайная забывчивость!)

Так вот, о голосе, Ваш голос молод, это меня умиляет и сразу делает меня тысячелетней, — какое-то каменное материнство, материнство скалы[2]. Слово «за всю мою недолгую жизнь» меня как-то растравило и пронзило, не знаю как сказать. Есть такие обнаженные слова. В них говорящий сразу беззащитен, но беззащитность другого делает беззащитным и нас!

Итак, за «всю недолгую жизнь» ни одного стиха? Дитя, дитя, да ведь это похоже на бескорыстную любовь, т. е. на чудо.

Теперь о «Ремесле» (слове). В сознательном мире права я: ремесло, как обратное фабричн⟨ому⟩ производству, артель — заводу, ремесленничество Средних Веков, — стих⟨отворению⟩ К. Павловой и пр., но в мире бессознательном пра́вы — Вы. Только не орудуйте логическими доводами! Это Вас в данный час не вы-

---

* И еще — но это уже школьничество! — «Так первое письмо не начинают». Так принято, очевидно, кончать только последнее? — Шучу! — *(Приписка на полях. — Ред.)*

везет. Впрочем, на последний из Ваших доводов я польстилась: «Вы не только ежечасно выходите из пределов ремесла, Вы в них и не входите» — это прелестно, и верно, и мне от этого весело. Хотите, я Вам скажу, в чем главная уязвимость моего названия? Ремесло предполагает артель, это начало хоровое, над хором должен быть мастер / маэстро, у ремесленника должны быть собратья, — это какой-то *круг*. Ощущение со-(мыслия, -творчества, -любия и пр.) во мне совершенно отсутствует, я и взаимную любовь (там где только двое!) ощущаю как сопреступничество. Я и Вечность (круг!) ощущаю как прямую версту. *Нюхом* своим — Вы правы!

Вы тонки. Вы не польститесь на «похвалу» (признание). Моей волей выявленному Вы предпочли помимо моей воли вставшее. *Личный* дар (признание) — всегда мал, важно не то, что нам дают, а тó, что — даже без ведома дающего! — само дается. Воля вещи к бытию — и дающие и берущие — как орудие!

Есть в Вашем письме одно место, над которым я задумалась, маленькая вставка, «случайность». Вы спрашиваете, где же *я* в «Психее»: в Мариуле или в Манон, — и: «Бдение — или Бессонница?»[3] Сначала я Бдение приняла, как обр⟨атное⟩ Бессоннице, т. е. как *сон*, но сон обратен бдению, где же сопоставление? И вдруг — озарение — нет, не ошибка. Вы говорите именно тó, что хотите сказать, эти *деления* не-спать: бдение, как волевое, и бессонница, как страдательное (стихийное). Дитя, дитя, откуда?! Люди знают: спать (на то и ночь!), иногда: не-спать (голова болит, заботы) — но *бдить*, да еще сопоставляться с бессонницей...

Будь я Иоанном, мне бы Христос *не давал* спать, даже когда бы меня в постель *гнал*. Бдение, как потребность, стихия Бессонницы, пошедшая по руслу бдения, — Вам ясно? Вот мой ответ.

Насчет реки — очень хорошо в «Психее». — Глубокó. — У меня где-то в записях есть: «У поэта не должно быть «лица», у него должен быть *голос*, голос его — его лицо». («Лицо» здесь как *чтó*, голос — *кáк*.) А то ведь все сводится к вопросу «темы». X пишет о Египте, Y — о смерти, Z — о XVIII в. и т. д. — Какая нищета! — Как собака, к⟨отор⟩ая три раза крутится вокруг себя, чтобы лечь. И хвост тот же, и подстилка та же... (NB! Обожаю собак!)

Есть у меня к Вам просьба (пока еще не деловая!). Не пишите без твердых знаков, это бесхвосто, это дает словам неубедитель-

ность и читающему — неуверенность! Пишите или совсем без ничего (по-новому!) или дайте слову и графически *быть*. Уверяю Вас, это «белогвардейщина» ни при чем, — ведь я согласна на *красно*-писание! — только не по-«земгорски» (горцы равнины!), не по-«либеральному», — пишите или как Державин (с Ъ) или как Маяковский! В этом отсутствующем Ъ, при наличии Ѣ — такая явная сделка!

И не употребляйте слово «игривость» — это затасканное слово, в конец испорченное: «игривый анекдот», «игривое настроение», что-то весьма подозрительное.

Замените: «игра», «пена». (Прим⟨ер⟩, «Где вы, в разгуле Мариулы или в *пене* Манон?»)

И не сердитесь на непрошеные советы, это не советы, а просьбы, а просьбы не только «непрошеные», — они сами просят!

Ваше письмо меня тронуло. Продолжайте писать ко мне и памятуйте одно: я ничего не присваиваю. Все «сорвавшееся» в мире — мое, от первого Адама до последнего, отсюда полная невозможность *хранить*. В Вашем письме я вижу не Вас ко мне, а Вас — к себе. Я случайный слушатель, не скрою, что благодарный. Будемте так: продолжайте думать вслух, я хорошие уши, но этими ушами не смущайтесь и с ними не считайтесь. Пусть я буду для Вас тем вздохом — (или тем поводом к вздоху! —) — единственным исходом для всех наших безысходностей!

Марина Цветаева

Теперь вспоминаю, смутно вспоминаю — и это глубокó между нами! когда я решила книгу назвать «Ремесло», у меня было какое-то неизреченное, даже недоощущенное чувство иронии, вызова.

— «Ну посмотрим, чтó за «Ремесло»! И — в ответ все фурии ада и все сонмы рая!

Голубчик, Вы глубокó-правы, только Вы не *так* подошли, не оттуда повели атаку. Вы принизили понятие *Ремесла*, Вы же должны были вскрыть несоответствие между сим *высоким* понятием — и его недостойной носительницей.

Голубчик, Вы угадали интонацию, увидели — за сто верст! — начало моей усмешки. — «Что же это за «Ремесло»?!» Я сначала не угадала, подумала, что Вы просто не знаете РЕМЕСЛА ПЕСНИ. Ваш вопрос был глубже моего ответа. Вы глубокó-правы, я не могу этого от Вас скрыть, но это глубокó между нами. Пусть остальные верят и умиляются! И стрóят на этом — свое собственное ремесло!

Теперь о делах:

«Драматические сцены» у меня могут быть готовы через месяц, — раньше ведь не нужно? В них войдут: «Метель», «Приключение», «Фортуна» и «Феникс» (последняя, т. е. одна третья сцена безграмотно и препакостно напечатана в Сов⟨етской⟩ России под назв⟨анием⟩ «Конца Казановы». Вещь целиком — нигде не печаталась, как и «Приключение»).

Но «Petropolis» — по-новому?[4] И в России? Боюсь за корректуру, — *страдаю* от опечаток!*

Самое главное для меня устройство «Земных Примет» (книга записей). Это — ходкая проза, хотя бы из дурного любопытства публики к частной жизни пишущих. (Публика будет обокрадена, но ведь она же этого не знает!) Это — сейчас — забота моих дней, эта книга мне надоела, я от нее устала, это мое второе я, и нам необходимо расстаться.

Дальше — поэма «Мóлодец» (новая, моя последняя большая стихотв⟨орная⟩ вещь). Отклоняясь от дел, — Вы наверное моего русского русла не любите, одежда России мешает Вам видеть *суть*. Об этом разговор впереди, покамест скажу Вам, что это об *упыре*, что в эту вещь я была влюблена, как в сон, что до сих пор (полгода назад кончила!) не могу смотреть на черную тетрадку, ее хранящую, без волнения. Это — grande passion, passion** — в чистом виде, со всеми попранными человеческими и божескими законами. С ней я не тороплюсь, издать ее хочу безукоризненно.

И — важнейшее из дел: сейчас в Берлине некий Игнатий Сем⟨енович⟩ Якубович, человек к⟨оторо⟩му я обязана выездом своим из России, моя давняя дружба и вечная благодарность. Мне необходимо окликнуть его. Не возьметесь ли Вы переслать ему в миссию прилагаемый листок. Из Праги это сделать невозможно. Письмо можете прочесть, «лояльное». Хорошо бы узнать, на какой срок он в Берлине (хотя бы по телефону), тогда бы я Вам прислала для него книги, к⟨отор⟩ые Вы, м. б., через посыльного бы отправили. (Здесь сов⟨етская⟩ миссия — зачумленное место, не знаю, как в Берлине.)

Это прелестный, прелестный человек, и у меня сердце разрывается от мысли, что он может заподозрить меня в забывчивости, или в еще худшем. Это один из тех «врагов», за которых я многих, многих «друзей» отдам!

(NB! Деньги на посыльного приложу, не укоряйте в мелочности, это — мелочи, к⟨отор⟩ые не должны вставать между людьми!) Но до посылки книг мне нужно узнать, в Б⟨ерлине⟩ ли он еще и на сколько. М. б. сообщите открыточкой?

* — От Гржебина, конечно, ничего. (*Приписка на полях. — Сост.*)

** Большая страсть, страсть *(фр.)*.

Мой новый адр⟨ес⟩:
Praha, P.P. Dobřichovice, Horni Mokropsy, č⟨islo⟩ 33, u Pana Grubnera.

Прилагаемый листок оторвите, запечатайте и отправьте. Если невозможно — уничтожьте.

Шлю Вам дружеский привет, если увидетесь с Люб⟨овью⟩ Мих⟨айловной⟩ Э⟨ренбур⟩г, скажите ей, что пишу на днях, люблю и помню.

МЦ.

P. S. Вы *можете* никому не давать читать моих писем? Я «сидеть втроем» совсем не умею.

3

Мокропсы — Прага, 14-го — 15-го июля 1923 г.

Друг,

Откуда у меня это чувство умиления, когда я думаю о Вас? — Об этом писать не надо бы. Ни о чем, вообще, не надо бы писать: отложить перо, впериться в пустоту и рассказывать (насказывать!) А потом — пустой лист — и наполненная пустота. Не лучше ли?

(Впрочем пустота — прорва и никогда не наполняется. В этом ее главное достоинство и — для меня — неотразимейший соблазн!)

Но одно меня останавливает: некая самовольность владения, насилие, захват.

Помните, у Гоголя, злой колдун, вызывающий душу Катерины?[1] Я не злой колдун и я не для зла вызываю, но я вызываю, и я это знаю, и не хочу этого делать втайне. Только это (некий уцелевший утес мужской этики!) и заставляет меня браться за перо, верней: помогает мне, тут же, с первой строки, не бросать пера!

Я говорю правду.

Продолжаю письмо из Праги, — из другого дома и из другой души. (И вы, неизбежно: «и другими чернилами!»)[2]

Пишу в рабочем предместье Праги, под нищенскую ресторанную музыку, вместе с дымом врывающуюся в окно. Это — обнаженная жизнь, здесь и веселье — не на жизнь, а нá смерть. (Кстати, чтó такое веселье? Мне *никогда* не весело!)

Дружочек, у меня так много слов (так много чувств) к Вам. Это — *волшебная* игра. Это полное vá banque* — чего? — и вот задумалась: *не* сердца, оно слишком малое в моей жизни! — может быть его у меня вовсе нет, но есть что-то другое, чего много, чего никогда не истрачу — душа? Не знаю, как его зовут, но кроме него у меня нет ничего. И вот этим «последним»...

Дружочек, это свобода сна. Вы видите сны? Безнаказанность, безответственность — и беззаветность сна. Вы — чужой, но я взяла Вас в свою жизнь, я хожу с Вами по пыльному шоссе деревни и по дымным улицам Праги, я Вам рассказываю (насказываю!), я не хочу Вам зла, я не сделаю Вам зла, я хочу, чтобы Вы росли большой и чудный, и, забыв *меня*, никогда не расставались с тем — иным — *моим* миром!

Ясно ли Вам? Ведь это — наугад, но иногда наугад — в упор! Если Вы мне ответите: я не большой и не чудный и никогда не буду большой и чудный — я Вам поверю. Но Вы этого не ответите, есть в Вас что-то — вот эта зоркость чувств — то, например, что Вы не хотите, чтобы другие читали мои письма — есть в Вас что-то указующее на силу, на бессонность сознания, на *лоб*. Я не хочу, чтобы душа в Вас гостила, я хочу —

Я хочу, дитя, от Вас — чуда. Чуда доверия, чуда понимания, чуда отрешения. Я хочу, чтобы Вы, в свои двадцать лет, были семидесятилетним стариком — и одновременно семилетним мальчиком, я не хочу возраста, счета, борьбы, барьеров.

Я не знаю, ктó Вы, я ничего не знаю о Вашей жизни, я с Вами совершенно свободна, я говорю с духом.

Друг, это величайший соблазн, мало кто его выдерживает. Суметь не отнести на свой *личный* счет то, что направлено на Ваш счет — вечный. Не заподозрить — ни в чем. Не внести *быта*. Иметь мужество взять то, что тáк дается. Войти в этот мир — вслепую.

— Спасибо за Ъ. Спасибо за заботы с издателями. Спасибо за попытку с Якубовичем. Непременно назначьте срок высылки обеих рукописей, могу выслать на Вас. Срок мне необходим, иначе никогда не соберусь. — Но не слишком спешный. Да, — Petropolis по новой орфографии? Печально[3]. А «Слово»?[4] — «Земные приметы» непременно хочу на Ѣ. Очень боюсь за корректуру, если бы все это устроилось и можно было бы заранее определить срок выхода книги (З⟨емные⟩ П⟨риметы⟩), я бы приехала в Берлин держать корректуру. — Раньше осени вроде не будет? —

* Ва-банк *(фр.)*.

Я больше года не была в Берлине, последние воспоминания плачевные (если бы я умела плакать?) — я в неопределенной ссоре с Э⟨ренбур⟩гом и в определенной приязни с его женой[5], кроме того меня не выносит жена Геликона (все это — между нами) — и главное — я невероятно (внешне) беспомощна. Все это очень осложняет приезд. Я тот слепой, которого *заводят* все собаки.

Дружочек, о словах. Я не знаю таких, которые бы теряли. Чтó такое слово, чтобы мочь уничтожить *чувство*? Я такой силы ему не приписываю. Для́ меня — все слова малы́. И безмерность моих слов — только слабая тень безмерности моих чувств. Я не могу не ответить Вам своими же собственными стихами (год назад, в июле):

...Есть час — на те слова!
Из слуховых глушизн
Высокие права
Выстукивает жизнь...

Все дело — в часе.
А сейчас — мой час с Вами кончен.
Жму руку.

МЦ.

⟨*На обороте*⟩

В глубокий час души и ночи,
Нечислящийся на часах,
Я отроку взглянула в очи,
Нечислящиеся в ночах

Ничьих еще... Двойной запрудой
— Без памяти и по края —
Покоящиеся. —
— Отсюда
Жизнь начинается твоя.

Седеющей волчицы римской
Взгляд, в выкормыше зрящий — Рим!
Сновидящее материнство
Скалы...
Нет имени моим

Потерянностям. — Все покровы
Сняв — выросшая из потерь! —
Так некогда над тростниковой
Корзиною клонилась дщерь

Египетская...

МЦ.

14-го июля 1923 г.

4

Мокропсы, 20-го июля 1923 г.

Милый друг,

Это хороший душевный опыт, не Ваш лично или мой, а проверка души, ее могущества, ее зоркости и — ее пределов.

Давайте на совесть: ведь сейчас между нами — ни одной вражды и, ручаюсь, что пока письма — ни одной вражды не будет. Вражда, следственно, если будет, придет от тел, от очной ставки тел: земных примет, одежд. (Тело отнюдь не считаю полноправной половиной человека. Тело в молодости — наряд, в старости — гроб, из которого рвешься!)

Может статься, мне не понравится Ваш голос, может статься — Вам не понравится мой (нет, голос понравится, а вот какая-нибудь повадка моя — может быть — нет) и т. д. Ведь тела (вкусовые пристрастья наши!) бесчеловечны. Психею (невидимую!) мы любим вечно, потому что *заочное* в нас любит — только душа! Психею мы любим Психеей, Елену Спартанскую мы любим глазами (простите за «мы», но я тоже люблю Елену!) — чуть ли не руками — и никогда наши глаза и руки не простят ее глазам и рукам ни малейшего отклонения от идеальной линии красоты*.

Психея вне суда — ясно? Елена *непрестанно* перед судьями.

Есть, конечно, предельная (т. е. — беспредельная!) любовь: «я тебя люблю, каков бы ты ни был». Но каковым же должно быть это *ты*! И это *я*, говорящее это *ты*. Это, конечно, чудо. В любовной стихии — чудо, в материнской — естественность. Но материнство, это вопрос без ответа, верней — ответ без вопроса, *сплошной* ответ! В материнстве одно лицо: мать, одно отношение: ее, иначе мы опять попадаем в стихию Эроса, хотя и скрытого.

(Говорю о любви сыновней. — Вы еще следите?)

Итак, если при встрече (ставке) мы так же оттолкнемся, — а может быть откло́нимся — друг от друга, как ныне притягиваемся, — вывода два: или душа — ложь, а «земные приметы» — правда, или душа — правда, а «земные приметы» — ложь, но ложь-*сила*, тогда как душа — правда-*слабость*. (Соединительное тире!)

Словом, так или иначе, что-то сейчас, в нашей переписке, окажется или слабостью, или слепостью, кто-то, Вы ли, я ли (хорошо бы *оба*! Тогда — даже весело!) определенно дает маху. Душа *заводит*.

---

* БЕЗДУШИЯ! *(примеч. М. Цветаевой)*

С Э⟨ренбур⟩гом мы разошлись из-за безмерности чувств: его принципиальной, сшибшейся с моей, стихийной. Я требовала чудовищного доверия и понимания *вопреки* (*оче*видности, отсылая его в *за*очность!) Он — чего он требовал? Он просто негодовал и упирался в непонимании. Хотите пример? Люди его породы, с отточенной — и отчасти порочной — мыслью, очень элементарны в чувствах. У них мысль и чувство, слово и дело, идеология и природный строй — сплошь разные и сплошь враждующие миры. «Мыслью я это понимаю, сердцем — нет!» «Я люблю вещь *в идее*, но ненавижу ее на столе». — «Так ненавидьте ее и в идее!» — «Нет, ибо моя ненависть к ней, на столе — слабость». — «Не обратно ли?». Коварная усмешка и: — «Не знаю».

У меня всегда было чувство с ним, что он все ценное в себе считает слабостью, которую любит и себе прощает. Мои «доблести» играли у него роль слабостей, все мои + (т. е. все мною любимое и яростно защищаемое) были для него только *прощенными* минусами. — Вам ясно? — Он, простив себе живую душу, прощал ее и мне. А я такого прощения не хотела. Как с женщинами: любуются их пороками и прощают: «милые дети!». Я не хотела быть милым ребенком, романтическим монархистом, монархическим романтиком, — я хотела *быть*. А он мне мое бытие *прощал*.

Это — основное расхождение. Жизненное — в другом. Жизненно он *ничего* не простил мне, — там, где как раз нужно было простить! Он требовал (теперь вспомнила!) каких-то противоестественных сложностей, в которых бы я плыла как в реке: много людей, всё в молчании, всё на глазах, перекрестные любови (ни одной настоящей!) — всё в «Prager-Diele», всё шуточно... Я вырвалась из Берлина, как из тяжелого сна.

Все это — весьма бесплотно, когда-нибудь в беседе «уплотню», писать об этом не годится.

В основном благородстве его, в *больной* доброте и в страдальческой сущности ни секунды не сомневаюсь.

А Л⟨юбовь⟩ М⟨ихайловна⟩ – очарование. Она – птица. И страдающая птица. У нее большое человеческое сердце, но — взятое под запрет. Ее приучили отделываться смехом и подымать тяжести, от которых кости трещат. Она — героиня, но героиня впустую, наподобие тех красавиц, с 39° температуры, танцующих ночь напролет. Мне ее глубоко, нежно, восхищенно — и бесплодно жаль.

Б⟨ориса⟩ Н⟨иколаевича⟩[1] нежно люблю. Жаль, что тогда прождал Вас даром. Он одинокое существо[2]. В быту он еще беспомощнее меня, совсем безумен. Когда я с ним, я чувствую *себя* — собакой, а *его* — слепцом! Чужая (однородная) слабость исцеляет нашу. Лучшие мои воспоминания в Берлине о нем[3]. Если встретитесь, скажите.

Вы пишете, в Б⟨ерлине⟩ меня любят. Не знаю. Знают и не любят — это со мной не бывает, не знают и любят — это бывает часто. Я такую любовь не принимаю на свой счет. Мне важно, чтобы любили не меня, а мое. «Я», ведь это включается в мое. Так мне надежнее, просторнее, вечнее.

«Психею» в количестве 5 экз⟨емпляров⟩ получила, хотела бы еще 20 экз⟨емпляров⟩. 25 экз⟨емпляров⟩ мне все давали. Гржебин же не хочет быть хуже *всех*! Передайте ему эту мою уверенность, у него добрые моржовые глаза — жалобные. Взовите к ним.

Рукопись к 1-ому сент⟨ября⟩ приготовлю, если будете в Б⟨ерлине⟩ — перешлю Вам. Вы будете моим первым читателем. Мне это приятно. Если Вы человек с сострадательным воображением (с болевым — точней), Вам многое в «Земных Приметах» будет тяжело читать. Эта книга — зеркало и отражает прежде всего лицо читателя. Глубина (или поверхность) ее — условна. Я *не* настойчива, всегда только — еле касаюсь.

A bon entendeur — salut!*[4]

Стихи (те, что прислала) написаны, по-моему, за день до письма, 14-го, кажется. Могли бы узнать и без даты. Простите за некоторую преувеличенную молодость героя, в двух последних строках.

(Вы, надеюсь, «раскрыли» тростниковую корзину?)[5]

Да, кстати, Вы любите грудных детей? Детей вообще? — Любопытно. —

Каким Вы были ребенком? Был ли рост — катастрофой? Если не лень и подходящий час, ответьте. Я не из праздного любопытства спрашиваю, это просто некоторое испытыванье дна.

---

* Имеющий уши, да услышит! *(фр.)*

(С той разницей, что плохой пловец, испытывая, боится его утратить, хороший пловец — *найти*.

NB! В реке я — плохой пловец! Надо мной все смеются!)

Пишу Вам поздно ночью, только что вернувшись с вокзала, куда провожала гостя на последний поезд. Вы ведь не знаете этой жизни.

Крохотная горная деревенька, живем в последнем доме ее, в простой избе. Действующие лица жизни: колодец-часовенкой, куда чаще всего по ночам или ранним утром бегаю за водой (внизу холма) — цепной пес — скрипящая калитка. За нами сразу лес. Справа — высокий гребень скалы. Деревня вся в ручьях. Две лавки, вроде наших уездных. Костел с цветником-кладбищем. Школа. Две «реставрации» (так, по-чешски, ресторан). По воскресеньям музыка. Деревня не деревенская, а мещанская: старухи в платках, молодые в шляпах. В 40 лет — ведьмы.

И вот, в каждом домике непременно светящееся окно в ночи́: русский студент! Живут приблизительно впроголодь, здесь невероятные цены, а русских ничто и никогда не научит беречь деньги. В день получки — пикники, пирушки, неделю спустя — задумчивость. Студенты, в большинстве бывшие офицеры, — «молодые ветераны» как я их зову. Учатся, как никогда — в России, везде первые, даже в спорте! За редкими исключениями живут Россией, мечтой о служении ей. У нас здесь чудесный хор, выписывают из Москвы Архангельского[6].

Жизнь не общая (все очень заняты), но дружная, в беде помогают, никаких скандалов и сплетен, большое чувство чистоты.

Это вроде поселения, так я это чувствую, — поселения, утысячеряющего вес каждого отдельного человека. Какой-то уговор *жить* (*До*жить!) — Круговая порука. —

Я здесь живу уже с 1-го авг⟨уста⟩ 1922 г., т. е. скоро будет год. В Праге бываю раз — редко, два — в месяц. У меня *идиотизм* на места, до сих пор не знаю ни одной улицы. Меня по Праге *водят*. Кроме того, панически боюсь автомобилей. На площади я самое жалкое существо, точно овца попала в Нью-Йорк.

Вы просите фотографию? Дружочек, у меня нет ни одной. Но есть милая барышня, любящая мои стихи и хорошо рисующая,

она вернется во вторник, и тогда я попрошу ее набросать меня для Вас. Раз она уже это делала — очень удачно[7].

Кончаю. Ваши письма — для меня радость. Пишите. Пишите всё, что хочется, глядитесь в зеркало и измеряйте глубину.

Дружочек! Все это так хорошо, — и Ваша молодость, и наша отдаленность, и это короткое последнее лето.

Нет, писать буду, только временами трудно не поддаться соблазну говорить в упор, в пустоту. Тогда перо выпадает. Но сегодня оно мне верно служит, — как видите, есть еще на свете верные слуги и длинные письма!

МЦ.

Как мне о многом, о многом надо еще рассказать!

5

Мокропсы, 25-го нов⟨ого⟩ июля 1923 г.

Милый друг,

Что у Вас в точности было с Э⟨ренбур⟩гами?

Причин, вызывающих этот вопрос, сказать не вольна, цель же его — продолжать относиться к Вам, как отношусь, а для этого мне нужно одно: правда, какая бы она ни была!

Я хочу Вас безупречным, т. е. гордым и свободным настолько, чтоб идти под упрек, как солдат под выстрелы: души моей не убьешь!

Безупречность — не беспорочность, это — ответственность за свои пороки, осознанность их — вплоть до защиты их. Так я отношусь к своим, так Вы будете относиться к Вашим.

Предположим, человек трус. Выхода два: или перебороть — или признаться, сначала самому, потом другим. — «Да, я трус». И, если этих других *чтишь*, объяснить: трус потому-то и потому-то. И все. — Просто?

Но, возвращаясь к Э⟨ренбур⟩гам: повода к расхождению могут быть два: красота Л⟨юбови⟩ М⟨ихайловны⟩ и идеология И⟨льи⟩ Г⟨ригорьевича⟩, т. е. Ваше притяжение к первой и Ваше оттолкновение от второй. И в обоих случаях — вопрос формы, ибо ни одна женщина не рассердится на то, что она нравится, ни один мужчина не оскорбится на то, что с ним не согласны. Форма, нарушенная *Вами*. — Так?

Дружочек, нарушение формы — безмерность. Я неустанно делаю это в стихах, была моложе — только это и делала в жизни! Все пойму. Посему, будьте правдивы. Не приукрашивайте, не выгораживайте себя, не считайте меня меньше, чем я есть, и моего отношения — поверхностнее.

И в вопросе моем памятуйте одно: его цель.

О Вашем последнем письме. В нем есть некий тяжелый для меня налет эстетства, который я заметила уже в Вашем отзыве о Психее[1].

Говоря о стихах «Бессонница» и еще о каких-то, Вы высказываете предположение, что поэт здесь прельстился *словом*[2]. Помню, что читая это, я усмехнулась. Такая же усмешка у меня была, когда я читала Ваше письмо. «Сладость любви», «отрава любви», «мечта», «сказка», «сон», — бросьте! Это — арсенал эстетов. Любить боль, потому что она боль — противоестественность. Упиваться страданием — или ложь или поверхность. Возьмем пример: у вас умирает мать (брат — друг — и т. д.) будете Вы упиваться страданием? У Вас отнимают любимую женщину — о, упоение *может* быть! Упоение потери, т. е. *свободы*! Боль, как средство, да, но не как цель.

Ведь в физ⟨ическом⟩ мире, как в духовном, один закон. Что ложь — в одном, неминуемо ложь и в другом. Раны своей ты не любишь, раной своей ты не упиваешься, ты хочешь выздороветь или умереть. Но за время болезни своей ты многому научился, и вот, встав, благословляешь рану, сделавшую тебя человеком. Так и с любовью.

Есть еще одна возможность: рана мучительна, но она — все, что у тебя есть, выбор между ею и смертью. Предпочитаешь мучиться, но это есть насильное предпочтение, а не Ваш свободный выбор.

Словом, — бросьте отраву!

Единственная отрава, которой я Вас отравлю, это — живая человеческая душа и... отвращение ко всяким другим отравам!

Об эстетстве. Эстетство, это бездушие. Замена сущности — приметами. Эстет, минуя живую *заросль*, упивается ею на гравюре. Эстетство, это расчет: взять все без страдания: даже страдание превратить в усладу! Всему под небом есть место: и предателю, и насильнику, и убийце — а вот эстету нет! Он не считается. Он выключен из стихий, он нуль.

Дитя, не будьте эстетом! Не любите красок — глазами, звуков — ушами, губ — губами, *любите всё душой*. Эстет, это мозговой

чувственник, существо презренное. Пять чувств его — проводники не в душу, а в пустоту. «Вкусовое отношение», — от этого не дале́ко до гастрономии.

О, будь Вы сейчас здесь, я повела бы Вас на мою скалу, поставила бы Вас на гребень: Владейте! Я подарила бы Вас — всему!

Дружочек, встреча со мной — не любовь. Помните это. Для любви я стара, это детское дело. Стара не из-за своих 30 лет, — мне было 20, я то же говорила Вашему любимому поэту М⟨андельшта⟩му:

— «Что Марина — когда Москва?! «Марина» — когда Весна?! О, Вы меня *действительно* не любите!»[3]

Меня это всегда удушало, эта узость. Любите *мир* — во мне, не *меня* — в мире. Чтобы «Марина» значило: мир, а не мир — «Марина».

Марина, это — пока — спасательный круг. Когда-нибудь сдерну — плывите! Я, живая, не должна стоять между человеком и стихией. Марины нет — когда море!

Если мне, через свою живую душу, удастся провести вас в *Душу*, через себя — во *Всё*, я буду счастлива. Ведь *Всё* — это мой дом, я сама туда иду, ведь я для себя — полустанок, я сама из себя рвусь!

Дружочек, это все не так страшно. Это все, потому что Вы там, а я здесь. Когда Вы увидите меня, такую равнодушную и такую веселую, у Вас сразу отляжет от сердца. Я еще никого не угнетала и не удушала в жизни, я для людей — только повод к ним самим. Когда это «к ним самим» — есть, т. е. когда *они сами* — есть, — ВСЁ ЕСТЬ.

Над отсутствием я бессильна.

Теперь о другом: к 1-му сент⟨ября⟩ мои книги будут готовы: «Земные приметы», «Драмат⟨ические⟩ Сцены» и «Мо́лодец» (поэма). Сообщите, сто́ит ли мне высылать их Вам заранее, п. ч. к 15-му сент⟨ября⟩ думаю приехать сама. Удобнее было бы мне, чтобы Вы заранее показали их и условились, п. ч. я вовсе не хочу все мои недолгие дни в Б⟨ерлине⟩ просидеть с издателями. Кроме того, я, *лично*, — легкомыслием своим и воспитанностью своей — всегда все свои деловые дела порчу.

Ряд вопросов: 1) Сумеете ли Вы достать мне разрешение на въезд и жительство в Берлине и сколько это будет стоить? (Говорю о разрешении.)

2) Где я буду жить? (М. б. — в «Trautenauhaus»[4], но в виду расхождения с И. Г. Э〈ренбургом〉 — не наверное.)

3) Будет ли к половине сентября в Берлине Б〈орис〉 Н〈иколаевич〉?[5]

4) Есть ли у Вас для меня в Берлине какая-нибудь милая, веселая барышня, любящая мои стихи и готовая ходить со мной по магазинам. (Здесь, в Праге, у меня — три!)[6]

5) Согласны ли Вы от времени до времени сопровождать меня к издателям и в присутств〈енные〉 места (невеселая перспектива?!)

6) Есть ли у Вас ревнивая семья, следующая за Вами по пятам и в каждой женщине (*даже* стриженной!) видящая — роковую?!

7) Обещаете ли Вы мне вместе со мной разыскивать часы: мужские, верные и не слишком дорогие, — непременно хочу привезти Сереже, без этого не поеду.

Имейте в виду, что я слепа, глупа и беспомощна, боюсь автомобилей, боюсь эстетов, боюсь домов литераторов, боюсь немецких Wohnungsamt*-ов, боюсь Untergrund**-ов, боюсь эсеров, *боюсь всего, что днем — и ничего, что ночью.*

(Ночью — только души! И ду́хи! Остальное спит.)

Имейте в виду, что со мной нужно нянчиться, — без особой нежности и ровно столько, сколько я хочу — но неизбывно, ибо я никогда не вырастаю.

Словом, хотите ли Вы быть — собакой слепого?!

Приеду недели на две. Думаю, достаточный срок, чтобы со старыми перессориться и с новыми подружиться.

О Ваших стихах (пушкинские!) в начале письма.

«В день ясный — сумерки мои».

Что я имею обыкновение ночь превращать в день, это правильно, но учтите при этом, что *мой* день — уже обращенная в день *ночь*. Видите, какая сложность?!

Ну́, — справимся!

А как это хорошо: «так складно, ладно, лгало мне»... Дорогой Пушкин! Он бы меня никогда не любил (двойное отсутствие румянца и грамматических ошибок!)[7], но он бы со мной дружил до последнего вздоха.

---

* Квартирных служб *(нем.)*.

** Метро *(нем.)*.

Привезу с собой новые стихи, много. И буду Вас натаскивать по «русскому руслу». (Хорошая перспектива?!)

Дружочек, пишите раз в неделю, т. е. — хоть каждый день, но в одном конверте. (Мóжно ведь очень мелко.) Ну, два. Но не три. — Не сердитесь, здесь почта идет через чужие руки, так что *мелкость* письма — даже желанна. Не думайте над этим, неинтересно, и не обижайтесь, я ни при чем, а пишите чтó угодно и сколько угодно, но мелко и отсылайте единовременно. Вернее: не пишите между письмами: т. е. отсылайте — после моего.

Спасибо за Я〈кубови〉ча. Как я рада! Не знаете, долго ли он будет в Берлине?

Не забудьте ответить на все мои вопросы о Берлине. Жму руку.

МЦ.

〈*Приписка на полях:*〉

О просьбе моей (письменной) в письме не упоминайте, исполняйте *делом*.

6

Мокропсы, 25-го июля 1923 г.

Дружочек,

Пишу Вам во мху (писала в тетрадку, сейчас переписываю), сейчас идет огромная грозная туча — сияющая. Я читала Ваше письмо и вдруг почувствовала присутствие чего-то, кого-то другого рядом. Оторвалась — туча! Я улыбнулась ей так же, как в эту минуту улыбнулась бы Вам.

(NB! Минута: то, что минет!)[1]

Короткий мох колет руки, пишу лежа, подыму голову — она, сияющая. А рядом, как крохотные танцовщицы — лиственницы. (Солнце сквозь тучу брызжет на лист, тень карандаша как шпага!)

Шумит поезд и шумят пороги (на реке), и еще трещат сверчки — и еще пчелы — и еще в деревне петухи — и все-таки тихо. (*Не*-тихо очевидно только от людей!)

Мой родной, уйдите с моим письмом на волю, чтобы ветер так же вырывал у Вас из рук — мои листы, как только что из моих — Ваши. (О, ветер ревнив! Вот Вам, отчасти, ключ к «Царь-Девице». Постепенно расшифруем всё!)

О, какое восхитительное письмо, какое правильное, какое сражающее и какое глубокó-человеческое! (Господи, взглянула на тучу и: огромное белое око, прямо, в упор: всё солнце!)

Дружочек, то, что Вы говорите о Психее и Елене — слова цельной и неделимой сущности и *мои* слова, когда я наедине — и перед таковой. Это мои слова о себе и к Вам. К раздробленным их отнести невозможно. Милый друг, последнее десятилетие моей жизни, за тремя-четырьмя исключениями — сплошные Prager-Diele. Я прошла жестокую школу и прошла ее на собственной шкуре (м. б. на мне учились, не знаю!) Двадцати лет, великолепная и победоносная, я во всеуслышание заявляла: «раз я люблю душу человека, я люблю и тело. Раз я люблю слово человека, я люблю и губы. Но если бы эти губы у него срезали, я бы его все-таки любила». Фомам Неверующим я добавляла: «я бы его еще больше любила».

И десять лет подряд, в ответ, непреложно:

— «Это Романтизм. Это ничего общего с любовью не имеет. Можно любить мысль человека — и не выносить формы его ногтей, отзываться на его прикосновение — и не отзываться на его сокровеннейшие чувства. Это — разные области. Душа любит душу, губы любят губы, если Вы будете смешивать это и, упаси Боже, стараться совмещать, Вы будете несчастной».

Милый друг, есть доля правды в этом, но постольку, поскольку Вы — цельное, а другой — раздробленность. В большинстве людей ничто не спевается, сплошная разноголосица чувств, дел, помыслов: их руки похожи на их дела и их слова — на их губы. С такими, т. е. почти со всеми, эти опыты жестоки и напрасны. Кроме того, по полной чести, самые лучшие, самые тонкие, самые нежные так теряют в близкой любви, так упрощаются, так грубеют, так уподобляются один другому и другой третьему, что — руки опускаются, не узнаешь: Вы ли? В вплотную-любви в пять секунд узнаешь человека, он явен и — слишком явен! *Здесь* я предпочитаю ложь. Я не хочу, чтобы душа, которой я любовалась, которую я чтила, вдруг исчезала в птичьем щебете младенца, в кошачьей зевоте тигра, я не хочу такого самозабвения, вместе с *собой* забывающего и меня. Была моложе — ранило, стала старше — ограничилась высокомерным, снисходительным (всегда скрытным) любопытством. Я стала *добра*, но за такую доброту, дружочек, попадают в ад. Я стала наблюдателем. Душа, укрывшись в свой последний форт, как зверь, наблюдала другую душу — или ее отсутствие. Я стала записывать: повадки, жесты, словечки, — когда в тетрадку, когда поглубже. Я убедилась в том, что именно в любви другому никогда нет до меня дела, ему до себя, он так упоительно забывает меня, что очнувшись — почти что не узнает. А моя роль? Роль отсутствующей

в присутствии? О, с меня в конце концов этого хватило, я предпочла быть в отсутствии присутствующей (это мне напоминает молитву о «в рассеяньи — сущих»)[2] — я совсем отбросила эту стену — тело, уступила ее другим, всем.

Но в глубокие часы души, в час, когда я стою перед таким прекрасным, сущим и растущим существом, как Вы, мое дорогое, мое чудесное дитя, все мои опыты, все мои старые змеиные кожи — падают. Любя шум дерева, беспомощные или свободные мановения его, не могу не любить его ствола и листвы: ибо — листвой шумит, стволом — растет! Все эти деления на тело и дух — жестокая анатомия на живом, выборничество, эстетство, бездушие. О, упомянутые Prager-Diele этим цвели, — как и знакомая Вам «Prager-Diele». Здесь — сплошной расчет. Совместительство, как закон, трагедия, прикрытая шуткой, оскорбления, под видом «откровений». — Я просто устранилась, как устраняюсь всегда при заявлении: «то-то и то-то я в Ваших стихах принимаю, того-то и того-то — нет». Это — деление живого, насилие, оскорбление, я не могу, чтобы во мне выбирали, посему: изымаю себя из употребления вовсе, иду в мои миры, вернее вершу *свой* мир, заочный, где *я* хозяин!

— Ясно? — О, мой друг, как силен должен быть Бог в человеке, чтобы он среди людей не сделался или скотом или демоном!

Ваша зоркость изумительна. В отзыве о «Психее» — «поэтесса»[3]. Я как-то поморщилась. И в следующем письме Ваше, вне моего упоминания, разъяснение. То же сегодня. Вчера я Вам писала (еще на Берлин) об эстетстве «отравы ради отравы», и сегодня Ваша приписка: «Что-то в том письме было не так». Вы отвечаете *прежде* чем я спрашиваю, я бы Вас сравнила с камертоном, Вас не собьешь.

Но, возвращаясь к «боли ради боли», признаюсь Вам в одном. Сейчас, идя по лесу думала: «а откуда же тогда этот вечный вопль души в любви: «Сделай мне больно!» Жажда боли — вот она, налицо! Что́ мы тогда хотим? И не об этом ли Вы, отражая писали?

Ведь душа — некая единовременность, в ней все — сразу, она вся — сразу. Постепенность — дело выявления. Пример из музыки: ведь вся гамма в горле уже *есть*, но нельзя спеть ее *сразу*, отсюда: если хочешь спеть гамму, не довольствуешься иметь ее в себе, смирись и признай постепенность.

В. А. З⟨айце⟩ву[4] я нежно люблю, Аля звала ее «Мать-Природа», а Б⟨орис⟩ К⟨онстантинович⟩ мне ску-учен! (Аля, года два назад: — «Марина! У него такое лицо, точно его *козел родил!*»)

И Х⟨одасе⟩вич скучен! Последние его стихи о заумности («Совр⟨еменные⟩ З⟨аписки⟩»)—прямой вызов Пастернаку и мне[5]. (Мой единственный *брат* в поэзии!) «Ангела, Богу предстоящего»[6] я всегда предпочитаю человеку, а Х⟨одасе⟩вич (можете читать Хвостович!)[7] вовсе и не человек, а маленький бесенок, змеёныш, удавёныш. Он остро-зол и мелко-зол, он—оса, или ланцет, вообще что-то насекомо-медицинское, маленькая отрава—а то, что он сам себе целует руки[8]—уже совсем мерзость, и жалобная мерзость, как прокаженный, сам роющий себе могилу.

Вам, как литературному критику, т. е. предопределенному лжецу на 99 строках из 100, нужно быть и терпимей, и бесстрастней, и справедливей.

Жену его (последнюю) знаю (слегка) и глубоко́-равнодушна[9]. «Мы—поэты» и: «мы, поэты»... и *значительные* глаза сопреступника—бррр!—я сразу стала говорить о платьях и валютах. М. б. я несправедлива, я вообще легко отталкиваюсь, мое нет людям сравнимо только с моим *да*—богам! И те и другие мне, кажется, тем же платят.

Из поэтов (растущих) люблю Пастернака, Мандельштама и Маяковского (прежнего,—но авось опять подрастет!) И еще, совсем по-другому уже, Ахматову и Блока (Клочья сердца). Ходасевич для меня слишком бисерная работа. Бог с ним, дай ему Бог здоровья и побольше *раз*умных (обратное: заумным!) рифм и Нин.

Ответный привет мой ему передайте.

Есть ли у Вас «Tristia» Мандельштама? М. б. Вам будет любопытно узнать (как одно из моих отражений) что стихи: «В разноголосице девического хора», «На розвальнях, уложенных соломой», «Но в этой странной, деревянной—и юродивой слободе»—и еще несколько—написаны мне[10]. Это было в Москве, весной 1916 г. и я взамен себя дарила ему Москву. Стихов он из-за своей жены (недавней и ревнивой) открыто посвятить не решился[11].

У меня много стихов к нему, когда будете в Берлине, посмотрите (предпоследний, кажется) № «Русской Мысли»—«Проводы»[12]. Кажется, все к нему. Посвятить их ему открыто я из-за его жены (недавней и ревнивой) не решилась.

Дружочек, я подарю Вам все свои дохлые шкуры, целую сокровищницу дохлых шкур,—а сама змея молодая и зеленая, в новой шкуре, как ни в чем не бывало.

Может,—и ее подарю!

Моя радость, у меня недавно было сильное огорчение из-за Вас,—так, отзыв, *вне* моей просьбы, п. ч. все мои самообманы все-таки еще меньшая ложь, чем чужие правды. Я никого о Вас не спрашиваю. Этот отзыв был случаен, он сделал мне больно. Не спрашивайте, чей, этот человек для Вас не важен, и злого в нем ничего не было,—так о нас часто говорят знакомые!— но мне стало больно и на секундочку жутко: а вдруг?

И еще Ваше письмо, которое мне показалось эстетским. О, вот для чего важно услышать *голос*,—чтобы он потом в тебе покрыл все нарекания ближних и всю рассудочность собственного сердца. Для этого ведь достаточно одной интонации!

А у вас, в Б⟨ерлине⟩, революция—или вроде? Пулеметная стрельба по ночам? Убийства из-за угла? Пустые магазины? Воззвания? Карточная система?

Так, пожалуй, весь мой приезд провалится. (NB! Тема для статьи: «Женщина и политика».) Напишите, чтó думаете, когда начнется и когда кончится. А что будет с дорогими издателями? Их книгами будет топить обездоленная интеллигенция!

Стóит ли мне кончать рукописи? Если это бессмысленно, лучше брошу и буду писать стихи. Ответьте на всё, поскольку можете. Я искренно огорчена. Я так радовалась берлинским асфальтам, фонарям, моему дорогому немецкому говору, Вам, моя деточка. ⟨А⟩ раз я радовалась—революция похожа на правду.

Завтра буду в Праге, увижу свою приятельницу, посижу (или постою) ей для рисунка[13]. Рисунка не показывайте, говорю это в виду собственной свободы с Вами в Берлине, если Вам и мне понадобится. У меня такое дикое количество ненужных знакомых и, сравнительно, такое малое количество дней в Берлине, что голову ломаю: как увернусь?

Видеть мне в Б⟨ерлине⟩ хочется: Л⟨юбовь⟩ М⟨ихайловну⟩, Белого и одну милую немку, к⟨отор⟩ая, кажется, пропала. И еще Синезубова[14] (знакомы?). И, боюсь обидеть, но кажется больше никого. А видеть придется: но фамилий лучше не писать! Мне бы хотелось жить там, где меня никто не найдет. До страсти не хочу споров. А разъяряюсь мгновенно.

К Синезубову пойдем вместе. Это будет волшебно. Я бывала у него в Москве, в маленьком бабы-я́гинском доме, в пустыре. Он жил без вещей и без печки. Зяб на полу. Он походил на лукавого монашка. Некое сияющее исподлобье. Я всегда любовалась им.

И к Ремизову вместе (ах, одного все-таки забыла!) — одна я к Ремизову не могу: угнетают и одуряют игрушки, которые с детства *ненавижу*. Угнетает жизнь в комнате, помимо человека, угнетает комната. Придем с подарком: куплю здесь каких-нибудь чешских уродов, и есть у меня для него какие-то образцы старого славянского письма[15].

Все прошлое лето (с 15-го мая по 1-ое авг⟨уста⟩) у меня было свободно. (Весьма-несвободно — внешне, и нельзя более — внутренно!) Где Вы были?

Читали ли Вы «Николая Курбова»? Начата она была во время нашей горячей дружбы с Э⟨ренбур⟩гом и он тогда героиню намеревался писать с меня. (Герой — сын улицы, героиня — дочка особняка, так? Или передумал?)[16]

Зачатая в любви, выношенная и рожденная в ненависти, героиня должна была выйти чудовищем. — Так? — Напишите.

Умиляет меня Ваше нянчание с Б⟨орисом⟩ Н⟨иколаевичем⟩[17], узнаю себя. Думаю, что это дитя глубоко-неблагодарно (как все дети!) но неблагодарностью какой-то более умилительной. Вспоминаю его разгневанный взгляд — вкось, точно вслед копью — на дракона (Штейнера или еще кого-нибудь).

Встречу с Б⟨орисом⟩ Н⟨иколаевичем⟩, как недавнюю встречу с Штейнером[18], расскажу. «Книга разлук и встреч», — вот моя жизнь. Вот всякая жизнь. Я счастлива на разлуки!

О Б⟨орисе⟩ Н⟨иколаевиче⟩ — деточка, продолжайте. Вы, кажется, ласковы. Это ему так необходимо. У него никого нет, все эти поклонницы — вздор. Я никогда не была поклонницей Бальмонта, но паек таскать я ему помогала[19]. Презираю словесность. Все эти цветы, и письма, и лирические интермедии не стоят вóвремя зачиненной рубашки. «Быт»? Да, это такая мерзость, что грех оставлять ее на плечах, уже без того *обремененных* крыльями!

Где Ася? Что с Кусиковым? Встречу — 12 л⟨ет⟩ назад! — с беловской Асей тоже расскажу[20].

«Расскажу»... это не значит, что я не буду слушать. Но слушаю я не речи: сердце! — как врач. (И вот уже мысль: сердце можно слушать, как вра*ч* и как вра*г*: враг, наклонившийся над спящим!)

Буду много слушать: глазами, ушами, душой. Будем сидеть вечерами в самом нищем кафе, где никого и ничего нет, курить (Вы курите?) и непрерывно расставаться.

27-го июля 1923, пятница.

Слухи о Б⟨ерлине⟩ тревожные. Дитя мое, ради всего святого не попадайте в передрягу. Вы самое дорогое, что у меня есть в этом городе. Дай Бог, чтобы Вы уже успели выехать. (Пишете, что едете в пятницу.) Ну, а потом куда? — Если. —

Знайте, что моя мысль и сердце неустанно с Вами, Вы мне дороги, Вы уже стали частью моей души, хотя я не знаю Вашего лица. Все *это* проще, чем «Елена» и «Психея».

Пишу поздно вечером, после бурного ясного ветренного дня. Я сидела — высоко́ — на березе, ветер раскачивал и березу и меня, я обняла ее за белый ровный ствол, мне было блаженно, *меня* не было.

И вдруг — слухи о Б⟨ерлине⟩, упорные, со всех сторон, с подробностями, которых и в Б⟨ерлине⟩ не знают. Мир газет — мне страшен, помимо *всего*, заставляющего ненавидеть газету, эту стихию людской пошлости! — я ее ненавижу за *исподтишка*, за коварство ее ровных строк.

Беспокоюсь о Вас. Пишите.

МЦ.

⟨*Приписки на полях:*⟩

В последнюю минуту получаю Вашу открытку и отправляю по старому адресу.

Мой привет милой В. А. З⟨ай⟩цевой и Мих⟨аилу⟩ Андреевичу[21]. Хорошее они время выбрали для возвращения.

7

17-го августа 1923 г.

Дошли ли до Вас мои письма от 26-го и 28-го июля, посланные, согласно Вашему указанию, по старому адресу. Никогда бы не потревожила Вас в Вашем молчании, если бы наверное знала, что причина ему — Ваша воля, а не своеволие почты.

Я писала Вам дважды и ответа не получила. Последнее, что я от Вас имела — Ваша открытка от 25-го июля (3 недели назад).

Если мои письма дошли — всякие объяснения Вашего молчания излишни, равно как всякие Ваши дальнейшие заботы о моих земных делах, с благодарностью, отклонены.

Письмо, оставшееся без ответа, это рука, не встретившая руки. Вы просто не подали мне руки. Не мое дело — осведомляться о причинах, и не Ваше — о моих чувствах.

Итак, только: *дошли* или *нет*?

МЦ.

Адр⟨ес⟩ мой до 1-го сент⟨ября⟩ прежний, дальше — не знаю, ибо переезжаю.

P. S. Был у Вас от меня с оказией около 30-го июля один человек, но ничего, кроме пустоты и известки, в Вашей квартире не застал.

8

27-го августа 1923 г., понедельник.

Дитя моей души, беру Вашу головку к себе на грудь, обнимаю обеими руками и — так — рассказываю.

Я за этот месяц исстрадалась, Вы действительно дитя мое — через боль. Достоверности следующие: ни на одно из своих последних писем я не получила ответа, мое последнее письмо (опущенное мною лично, в Праге, 28-го июля) пропало, как Ваше последнее. Станьте на секунду мной и поймите: ни строки, ни слова, целый месяц, день за днем, час за часом. Не подозревайте меня в бедности: я друзьями *богата*, у меня прекрасные связи с душами, но что мне было делать, когда из всех на свете в данный час душ мне нужны были — только Вы?! О, это часто случается: собеседник замолк (задумался). Я не приходо-расходная книга и, уверенная в человеке, разрешаю ему *все*. Моя главная забота всегда: жив ли? Жив — значит, мой! Но с Вами другое: — напряжение мое к Вам и Ваше ко мне (?) было таково́ (о, как я не знаю, не знаю, не знаю других!) что молчание здесь было явно-злой волей: *злой*, п. ч. мне было больно, *волей*, п. ч. этого другой и хотел. Я много думала, я ни о чем другом не думала, о Вы не знаете меня! Мои чувства — наваждения, и я *безумно* страдаю!

Вначале это был сплошной оправдательный акт: невинен, невинен, невинен, это злое чудо, знаю, ручаюсь, верю! Это жизнь искушает. — Дождусь. Дорвусь. Завтра! — Но завтра приходило, письма не было, и еще завтра, и еще, и еще. Я получала чудные письма — от друзей, давно молчавших, и совсем от чужих (почти), все точно сговорились, чтобы утешить меня, воздать мне за Вас, — да, я читала письма и радовалась и отзывалась, ⟨но⟩ что-то внутри щемило и ныло и выло и разъярялось и росло, настоящий нож в сердце, не стихавший даже во сне. Две недели прошло, у меня появилась горечь, я бралась руками за́ голову и спрашивала: ЗА ЧТО? Ну, любит магазинную (или литературную) барышню, — я-то что сделала? Нет, барышня — вздор: это просто пари. Пари, которое он держал с Иксом или с Игреком: «Доведу до» — «Но, милый друг, Вы удовлетворились малым, в полной

чистоте сердца скажу Вам: Вы были на хорошей дороге!» Или жест игрока (для 20-ти лет недурно!) — «возьму *обратным*!» — Но, друг, я не из тех, льстящихся на плеть. И — глупо: зачем плеть, когда все само плыло́ Вам в руки? Когда вся тайна, вся сила и все чары были в правде: в абсолютной разверстости душ? Игроки у меня проигрывают.

О, много было мыслей, и возгласов, и чувств. И такая боль потери, такая обида за живую мою душу, такая горечь, что — не будь стихи! — я бы бросилась к первому встречному: забыться, загасить, залить.

О, мне этого хотелось: откровенной и явной стены тела, о которую не разбиваешься, потому что ведь знаешь — стена! Явной стены, сплошного веселья, настоящей игры (о, как я на нее неспособна!) чтобы и помину не было о душе, — зачем душа, когда ее *так* топчут?! И не Вам месть — себе: за все ошибки, за все перелеты, за эти распахнутые руки, всегда хватающие воздух.

Друг, я не маленькая девочка (хотя — в чем-то никогда не вырасту), жгла, обжигалась, горела, страдала — все было! — но ТАК разбиваться, как я разбилась о Вас, всем размахом доверия — о стену! — никогда. Я оборвалась с Вас, как с горы.

Последние дни я уже чувствовала к Вам шутливое презрение, я знала, что Вы и на это письмо мне не ответите.

Я получила Ваше письмо. Я глядела на буквы конверта. Я ничего не чувствовала. (Я не из плачущих, слез не было ни разу, не было и сейчас.) Я еще не раскрыла письма. Внутри было — огромное сияние. Я бы могла заснуть с Вашим письмом на груди. Этот час был то, к чему рвалась: в сутках 24 ч., а дней всех 32 — 24 × 32 = ⟨...⟩* = 768 часов, о, я не преувеличиваю, Вы еще меня мало знаете: знайте! Это письмо было предельным осуществлением моей тоски, я душу свою держала в руках. — Вот. —

Думаю о бывшем. Дитя мое, это был искус. Одновременная пропажа двух писем: два вопроса без ответа. В этом что-то роковое. (Принято: «роковая случайность», но может и быть: случайный рок, рок, *случайно* зашедший в наши 20-го века — двери!). *Жизнь* искушала — и я поддалась. Вы, мое кровное, родное, обожаемое дитя, моя радость, мое умиление, сделались игроком, почти что приказчиком, я вырвала Вас из себя, я почувствовала омерзение к себе и неохоту жить. Я была на самом краю (вчера!)

* Опущено перемножение в столбик *(примеч. сост.)*.

другого человека: просто — губ. Целый тревожный вечер вместе. Тревога шла от меня, ударялась в него, он что-то читал, я наклонилась, сердце о́бмерло: волосы почти у губ. Подними он на 1/100 миллиметра голову — я бы просто не успела. Провожала его на вокзал, стояли под луной, его холодная как лед рука в моей, слова прощания уже кончились, руки не расходились, и я: «Если бы»... и как-то задохнувшись: «Если бы...» (...сейчас не была такая большая луна...) и, тихонько высвободив руку: «Доброй ночи!»

Изменяем мы себе, а не другим, но если другой в этот час — ты, мы все-таки изменяем другому. Кем Вы были в этот час? Моей БОЛЬЮ, губы того — только желание убить боль.

Это было вчера, в 12-том часу ночи. Уходил последний поезд.

Думай обо мне что́ хочешь, мальчик, твоя голова у меня на груди, держу тебя близко и нежно. Перечти эти строки вечером, у последнего окна (света), потом отойди в глубь памяти, сядь, закрой глаза. Легкий стук: «Я. Можно?» Не открывай глаз, ты меня все равно узнаешь! Только подвинься немножко, — если это даже стул, места хватит: мне его так мало нужно! Большой ты или маленький, для меня ты — все мальчик! — беру тебя на колени, нет, та́к ты́ выше меня и тогда моя голова на твоей груди, а я хочу тебя — к себе. — Так или иначе, ты у меня на груди — суровой! — только не к тебе, потому что ты мое дитя — через боль. И вот я тебе рассказываю: рукой по волосам и вдоль щеки, и никакой обиды нет, и ничего на свете нет, и если ты немножко глубже прислушаешься, ты услышишь то́, что я так тщетно тщусь передать тебе в стихах и в письмах — мое сердце.

У меня есть записи всего этого месяца. «Бюллетень болезни». Пришлю Вам их после Вашего следующего письма.

Убедите меня в необходимости для Вас моих писем — некая трещина доверия, ничего не поделаешь.

1-го переезжаю в Прагу, адр⟨ес⟩ мой: Praha, Kašiře, Švedska ul⟨ice⟩ 1373 — мне — недели 2—3 Вы можете писать мне все, что — и как часто — захочется, потом извещу. Первое письмо прошу заказным, меня еще там не знают, и может пропасть, а я́ больше — *не* могу!

Оказия, не заставшая Вас, была просто деньги в письме (передававший не знал), я боялась Вашей революции и хотела, чтобы у Вас была возможность выехать. Сейчас, в виду переезда, их у меня уже нет, но как только войду в колею, непременно вышлю — если Вам нужны, о чем убедительно прошу сообщить. Кроны здесь — ничто, в Б⟨ерлине⟩ — они много, и я неспособна

на только-лирическую дружбу. Просто — Вы мой, и Ваши заботы — мои.

А вот Вам «земная примета»: лица: мое и Алино, скорее очерки, чем лица. Сережу отрезала, потому что плохо вышел, у него прекрасное лицо[1].

Дружочек, в следующем письме, если найдете это нужным, напишите мне, что Вы думали о моем молчании, как Вы его толковали. Неужели Вы великодушнее меня?!

МЦ.

9

28-го августа 1923 г., среда

Милый друг,

Выслушайте меня как союзник, а не как враг. Мне предстоят трудные дни. Расстаюсь с Алей и отправляю ее в гимназию (в Моравию)[1]. С⟨ережа⟩ уже там. У нас было решено, что Аля поедет с детьми (сейчас конец каникул, и дети съезжаются) а я перееду в Прагу, где у нас уже снята комната, и буду жить там. Вот те 2—3 свободные недели, о которых я Вам писала. Сегодня получаю письмо: мое присутствие необходимо, необходимо ввести Алю в гимназическую жизнь. Моравия — вторая Германия (NB! Моя страсть!), чудные прогулки, — словом: нет двух недель.

Эти две недели мне нужны были для моих писем к Вам, я не умею жить и писать на глазах, — хотя бы самых любимых. Я ничего не умею, что́ умеют люди: ни лицемерить, ни скрывать (хранить — умею!), мое лицемерие — только вторая правда, если лицо, равнодушное, не выдает — выдают голос и жест, а причинять малейшее страдание, хотя бы задевать другого — для меня му́ка, Вам все ясно.

До отъезда своего из Праги, мне необходимо от Вас настоящее письмо, с ним, в Моравии, буду счастливой, без него буду томиться и рваться, о я еще далеко не вылечилась, мне необходимо сильное средство, какое-то Ваше слово, не знаю какое.

Я сейчас — Фома Неверный, этот последний месяц подшиб мне крыло, чувствую, как оно тащится[2].

Убедите меня в своей необходимости, — роскошью быть я устала! Не необходима — не нужна, во́т как у меня. Но, дитя, до слова своего — взвесьте. После такой боли, как весь этот месяц напролет — немножко боли больше, немножко меньше... Ведь я еще не ввыклась в радость, покоя и веры у меня еще нет.

Я сейчас на внутреннем (да и на внешнем!) распутье, год жизни — в лесу, со стихами, с деревьями, без людей — кончен. Я накануне большого нового города (может быть — большого нового горя?!) и большой новой в нем жизни, накануне новой себя. Мне мерещится большая вещь, влекусь к ней уже давно, для нее мне нужен покой, то есть: ВЕСЬ человек — или моя обычная пустота.

Не будьте моим врагом, не вводите в обман, не преувеличивайте чувств и слов, вслушайтесь.

Могут ли все мои мысли и все мои чувства и каждый мой стих и каждый мой сон, вся я (а где мне — конец?!) идти к Вам *домой*?

Вот вопрос, на который я жду ответа.

Достоверно же — так:

Скорее всего в первых числах (около 5-го) поеду в Моравию и пробуду там до 15-го. Адрес свой тотчас же по приезде сообщу, пишите мне в Моравию о том, как жили в Prerow[3], о том, как сейчас живете, мне все дорого о Вас. Если я там буду с Вашим настоящим письмом (к〈отор〉ое хочу получить еще в Праге) я буду *очень* счастливой, буду неустанно о Вас думать и брать Вас с собой всюду, Вы будете моим неизменным гостем и спутником, моей тайной радостью.

Вернувшись в Прагу, опять-таки напишу Вам. Только сообщите: не пристраивают ли к Вашему дому — еще этажа?

— Удивлены? — Теперь, дружочек, слушайте. Разгон у меня был взят. Камень летел с горы и ничто не могло его остановить. За месяц (миг!) он пролетел... но чтó считать, когда *дна* нет?! Ваше отсутствие, затемнив мне Вас — ко мне, уяснило мне себя — к Вам. Душа шла гигантскими шагами, одна, в темноте. Вы же не можете не видеть разницы тона и темпа в тех письмах — и в этих.

«Пусть все это игра — и притом
Может выйти — игра роковая...»

(Фет)[4]

— Все мои игры таковы. —

Из Праги перед отъездом вышлю Вам «Бюллетень болезни», Вам он необходим, как известный переход. Это — точная запись, почти что — час за часом.

Забыла сказать, что у меня к Вам целая стая стихов.

Вчера, под луной, ходила с одним моим приятелем[5] (о нем найдете в «Бюллетене») высоко́ и далеко́ в горы. Был безумный ветер. Нас *несло.* На шоссе—ни души. Деревья метались, как шекспировские герои. Ветер кому-то мстил. Пыль забивала глаза, временами приходилось сгибаться вдвое и так мчаться—лбом. Потом сели: захотелось курить. Ветер выбивал из папиросы целые костры искр: сухо, сосна, я уже видела горящие леса и всю Чехию в пожаре. Промчался автомобиль. Нас не видел, ослепленный собственным светом. Я сидела рядом с тем и думала: «Почему не—»

В мой последний день здесь пойдем с ним ночевать в горы, разведем костер, будем провожать луну и встречать солнце. И еще—ловить раков в ручье. И еще—говорить о привидениях.

Это—странная дружба, основанная на глубочайшем друг к другу равнодушии (ненавидит женщин, как я—мужчин), так дети дружат, вернее—мальчики: ради совместных приключений, почти бездушно. Он называет мне все травы и все дурманы, и кормит меня вишневым клеем и орехами и просто волчьими ягодами.

Будет ли у нас с Вами когда-нибудь—такой костер? (NB! Если и будет—то не такой!)

Что́ еще? Ах, самое важное, вчера забыла: после Вашего письма—безумный лай. Гляжу: нищенка: горбатая, с мешком за плечами: Судьба. Я сразу поняла: за откупом. Сгребла, что́ попало по́д руку: Алины вещи, свои, обувь, хлеб, тряпье,—набила ей полный мешок.—«Хце́те то? И е́ще́ то?» Чахлый мешок надулся, как удав: второй горб на горбу! Она, не знавшая, что—Судьба, совсем ошалела от радости.

Словом, откупилась. Ушла, обещав *еще зайти.* И еще откуплюсь. Уходя, безумно целовала мне руки (NB! демократическое государство). Я еле спаслась.

У Судьбы, кстати, трое детей и муж—тоже горбатый. Уверяет, что на всех них вместе—ни одной рубашки. Придется мне одевать и сына Судьбы, и двух дочерей Судьбы, и мужа Судьбы. Если бы я не уехала, пришлось бы покупать им дом и места на кладбище.

— Дружочек, Вы меня разоряете!

Поздно вечером.

Только что вернулась с огромной прогулки (27 километров!) Скалы, овраги, обвалы, обломы — не то разрушенные храмы, не то разбойничьи пещеры, все это заплетено ежевикой и задушено огромными папоротниками, я стояла на всех отвесах, сидела на всех деревьях, вернулась изодранная, голодная, просквоженная ветром насквозь, — *уходила* свою тоску!

Ходили: мой тихий приятель, Аля и я. Вернулись, уложила Алю — и вслед за ней два огромных чемодана: рукописи, отребья, сапоги, кастрюльки, — весь необходимый хлам нищеты.

Потом пошла за водой: пустое ведро гремело, полное — колыхало луну. (Неужели Вы сейчас спите?!) Луна — огромная.

Сейчас лягу и буду читать Троянскую войну. Никого не могу читать, кроме греков. У меня огромный немецкий том: там всё[6]. К Трое я подошла через свои стихи, у меня часто о Елене[7], я наконец захотела узнать, ктó она, и — никто. Просто — дала себя похитить. Парис — очаровательное ничтожество, вроде моего Лозэна[8]. И как прекрасно, что именно из-за них — войны!

Спокойной ночи, дружочек. Когда я думаю о скóльком мне еще надо сказать и о скóльком спросить, у меня точное видение Бесконечности.

МЦ.

Завтра чуть свет, еду в Прагу перевозить вещи. В воскресенье переезжаю совсем. У меня дом на горе — и весь город у ног.

Посылаю Вам обещанный рисунок[9]. Худоба моя несколько преувеличена, но в общем похоже. И еще похоже: на *выдру*.

Мой адр⟨ес⟩ в Праге:
Praha, Smichov
Svedska ul⟨ice⟩, č⟨islo⟩. 1373
— мне. —

(Тóт ад⟨рес⟩ в прошлом письме несколько неверен, но, если уже написали, дойдет. Этот — *верный*.)

10

БЮЛЛЕТЕНЬ БОЛЕЗНИ

9-го августа 1923 г.

(NB! Письма *не* читайте сразу, оно жилось и писалось — месяц.)

Переписываю это письмо почти без всякой надежды его отослать, тáк, «на всякий случай» (на случай чуда!). Это — записи

многих дней, и перенося их на этот лист бумаги, я занята скорее приведением в ясность своей души, нежели чем-нибудь другим.

Итак — на всякий случай! — слушайте.

26-го июля.

А! Поняла! Болевое в любви лично, усладительное принадлежит всем. Боль называется *ты*, усладительное — безымянно (стихия Эроса). Поэтому «хорошо» нам может быть со всяким, боли мы хотим только от одного. Боль есть *ты* в любви, наша личная в ней примета. (NB! Можно это «хорошо» от всякого не принять.) Отсюда: «сделай больно», т. е. скажи, что это ты, назовись.

Верно? Кажется, да.

Смогу ли я, не считаясь (с чужим расчетом) быть с Вами тем, кто я есмь. Вы в начале *безмерности*.

Помните, что Вы должны быть мне неким духовным оплотом. «Там, где все содержание, нет формы» — это Вы обо мне сказали. И вот, эта встреча чужого отсутствия (сплошной формы) с моим присутствием (содержанием) — словом, в Б⟨ерлине⟩ у меня много неоконченных счетов, я должна иметь в Вас союзника, некий оплот против собств⟨енной⟩ безмерности (хотя бы стихии Бессонницы!) Стихи мои от людей не оплот, это открытые ворота, в которые каждый волен. Я должна знать, что я *вся* в Вас дома, что мне другого дома не нужно.

(Вы наверное думаете, что я страшно торгуюсь: и собакой (слепого!) будь, и оплотом (сильного!) будь. Деточка, м. б. все выйдет по-другому, и я от Вас буду искать оплота?! — Шучу. — ⟨)⟩

Знайте, что я далеко не все Вам пишу, что хочу, и далеко еще не все хочу, что *буду* хотеть.

Однажды, когда мне было 17 лет, один человек говорил мне, что меня любит. — «Отыщите мой любимый камень на этом побережье», ответила я: «тогда я поверю, что Вы меня любите». Дело было в Крыму и побережье длилось на несколько верст[1].

Вы, ничего не говоря и без всякой моей просьбы, этот камень взяли и подали. Этот камень — «Добровольческий Марш» в «Ремесле»[2], и этот камень еще — то (не знаю, что́) что Вы мне из всех людей сейчас в письмах даете.

Хорошо именно, что Вам 20 л⟨ет⟩, а мне 30 л⟨ет⟩. Если бы я была на 7 лет старше, я не говорила бы о материнстве.

Что́ совершает события между нами?

30-го июля.

Мой друг, скучаю без Вас. Скука во мне — не сознание отсутствия, а усиленное присутствие, так что, если быть честным: не *без* Вас, а *от* (!) Вас.

В каком-то из Ваших писем Вы, на не совсем еще умелом, но чем-то уже мне кровно-близком языке Вашем, пишете: «мне не хватало теплоты». Прочтя, задумалась, п. ч. во мне ее нет. И тут же, мысленно перечеркнув, поставила: нежность. И тоже задумалась, потому что во мне она есть.

Дитя, никогда не берите (а м. б. — никогда не ждите!) — никогда не применяйте ко мне того, что заведомо не может жечь: ведь даже лед жжет! И бесстрастие жжет! А вот теплота — нет, п. ч. она тогда уже *жар*, т. е. ее уже нежность. А нежность: от ледяной — до смоляной! И все-таки — нежность.

Так вот, об этой нежности моей...

Думаю о Вас и боюсь, что в жизни я Вам буду вредна: мое дело — срывать все личины, иногда при этом задевая кожу, а иногда и мясо. Людей Вы через меня любить не научитесь, *всё, кроме людей* — ДА! Но живут «с людьми»...

У меня нет даже этого утешения: Вашего опыта со мной. Мой случай слишком редок (не читайте: ценен), чтобы когда-либо в чем-либо Вам служить.

1-го августа.

Я давно не слышала Вашего голоса, и мне уже немножко пусто без Вас. Молчание мне враждебно, я молчу только, когда это нужно другому. Голос — между нами — единственная достоверность. Когда я долго Вас не слышу, Вы перестаете *быть*.

О разминовении взглядов и пр⟨очем⟩.

Пока я буду говорить: «Нет, не так, так не надо, та́к — надо» — все хорошо, ибо за всеми этими нет — одно сплошное *ДА*. Когда же начнется: «да, да, правильно, совершенно верно» — ВСЁ поздно: ибо за всеми этими да — одно сплошное *НЕТ*.

(В первом — сосредоточенное внимание, страстная жажда правды, своей и чужой, исхищреннейшее и напряженнейшее проникновение в другого: ЧУДО доверия, все взятые барьеры розни.

Во втором: снисхождение, высокомерие, усталость, равнодушие, бездушие.

В первом: tout à gagner*.

Во втором: rien à perdre!)**

Присылайте мне вырезки всех Ваших статей: газетами брезгую, но Вас (сущность) чту. Вы для меня не газета, а книга, распахнутая на первой странице Бытия.

Мне это важно, как встреча с Вами вне Вас и меня, как Вы — и мир. Много ли Вы в газетах лжете? (Иного они и не заслуживают.) — Прочувствовать Вас сквозь ложь. —

Стихи сбываются. Поэтому — не *все* пишу.

Перечтите, если не лень, в «Ремесле» — Сугробы.

«И не огля́нется
Жизнь крутобровая!
Здесь нет свиданьица,
Здесь только проводы...»[3]

Писано было в полный разгар дружбы, все шло к другому, — а ведь *вышло! сбыло́сь*! В час разминовения я бы иначе не написала.

Я знаю это мимовольное наколдовыванье (почти всегда — бед! Но, слава богам — себе!) Я не себя боюсь, я своих стихов боюсь.

Как странно, что пространство — стена, в которую ломишься!

---

* Все получить! *(фр.)*
** Нечего терять! *(фр.)*

2-го августа.

Когда люди, сталкиваясь со мной на час, ужасаются теми размерами чувств, которые во мне возбуждают, они делают тройную ошибку: не они — не во мне — не размеры. Просто безмерность, встающая на пути. И они, м. б., правы в одном только: в чувстве *ужаса.*

4-го августа.

Просьба: не относитесь ко мне, как к человеку. Ну — как к дереву, которое шумит Вам навстречу. Вы же дерево не будете упрекать в «избытке чувств», Вы только услышите, как «уста глаголют». Если Вы меня заставите с Вами быть человеком, т. е. *считать*, я замкнусь, п. ч. считать я *не умею.*

В молчании — чтó? Занятость? Небрежность? Расчет? «Привычка»? Преувеличенно-исполненная просьба? Теряюсь. Через несколько дней (10, примерно) привыкнув и отказавшись, успокоюсь. Но *пока* мне эти дни тяжелы.

Чувствуете ли Вы то, что я? В письме узнаю. Если нет — Schwamm drüber*, как говорят немцы.

3-го августа (перепутала записи)

Дружочек, пишу Вам на той же горе и, кажется, в тот же день. Вышло нечаянно. Но тогда была *туча*, сейчас ее нет, сплошь-туча: небо без событий. И те же лиственницы, только беспомощные, п. ч. без солнца**.

Сейчас, когда я, всходя по тропинке, раздвигала маленькие нежные колкие елочки, у меня было чувство, что это всё — Вы, Ваша душа, а мысли были такие: «Держал пари с Х⟨одасеви⟩чем: «Окручу в три письма». Х⟨одасеви⟩ч: «Нет, в пять». — «Три. Пари». — «Пари!» (Дружочек, чтó Вы выиграли?)

Руки, гладившие елочки, думали одно, голова другое. Потом я уже перестала гладить елочки, легла на спину и стала глядеть в небо. Постепенно все уплылó.

5-го августа.

Мне некому о Вас сказать. Аля, с 2-х лет до 9-ти бывшая моим «в горах — отзы́вом», сейчас играет в куклы и глубокó-равнодушна ко мне. Вы моя тайна, сначала радостная, потом

---

* Хватит! Довольно! *(нем., разг.)*

** Все это относится к моему посл⟨еднему⟩ письму, которого Вы не получили *(примеч. М. Цветаевой).*

болевая. О, Бог действительно хочет сделать меня большим поэтом, иначе бы Он так не отнимал у меня всё!

Наблюдаю боль (в который раз!) Те же физические законы болезни: дни *до*, взрыв, постепенность, кризис. До смерти у меня никогда не доходило, т. е. чтобы *душа* умерла!

Боль для меня сейчас уже колея, с трудом — но ввыкаюсь.

Я поняла: Вы не мой родной сын, а приемыш, о котором иногда тоскуешь: почему не мой?

6-го августа.

Болезнь? Любовь? Обида? Сознание вины? Разочарование? Страх? Оставляя болезнь: любовь, — но чем Ваша любовь к кому-нибудь может помешать Вашей ко мне *дружбе*? Обида — да, поводов много: просьба не писать, отзыв о Х⟨одасеви⟩че, отзыв о его жене, упрек в эстетстве... Но *только* по шерсти — разве это не превращаться (Вам) в кошку? Сознание вины? Т. е. содеянное предательство. — Но разве у меня есть *виноватые*? Разочарование: «слишком сразу *отозвалась*». Друг, я не обещала Вам быть глухой! Страх: вовлечься. Я не *во*влекаю и не *за*влекаю, я *из*влекаю: *из* жизни, из меня — в Жизнь!

И, последнее, *просто* небрежность. Не верю в такую простоту. Небрежность — следствие.

Мне уже не так больно (7-ое, 10-ый день) еще 10 дней — и пройдет, перегорит, переболит. У меня уже любопытство (враждебное скорей себе, чем Вам) уже усмешка (опять-таки над собой!) Горечь — это скорей холод, чем жар. Вроде ожога *льда*.

8-го, на горе.

Нет, мне еще очень больно. Но я безмерно-терпелива. Сегодня утром — письмо, смотрю — не Ваш почерк, все равно чей, раз не Ваш. Завтра 2 недели, как я получила Ваше последнее письмо. Что я теряю в Вас? Да временное русло своей души, общий знаменатель дел и дней, упор свой. — Опять разливаться! —

Вы были моим руслом, моей формой, необходимыми мне тисками. И еще — моим деревцем!

Душа и Молодость. Некая встреча двух абсолютов. (Разве я Вас считала человеком?!) Я думала, — Вы молодость, стихия, могущая вместить меня — мою! Я за сто верст.

Если Вы тот, кому я пишу, Вы так же мучаетесь, как я.

---

12 bis авг⟨уста⟩, понед⟨ельник.⟩

Боль уже перестала быть событием, она стала состоянием. Что Вы *были* — я уже не верю, Вы — это моя боль. Ваших писем я не перечитываю, я не хочу, чтобы слова, сказанные вчера, звучали во мне и сегодня, не хочу ни вчера, ни сегодня, а завтра — меньше всего. Я с Вас оборвалась, как с горы. — Точное чувство. —

Живу, уже почти не жду почтальона, пишу, шью, хожу. Как я странно в этой встрече предвосхитила боль. Ведь не иначе было бы, если бы мы, предположим, в упор встретились, и так расстались. Но, ручаюсь, что моя боль — бóльшая, я обокрадена — на все будущее, тогда бы — только на бывшее.

— Бюллетень болезни — так бы я определила письмо. Внимательный ли я врач? И послушный ли я больной?

Ах, да, странность: я пересылала Вам в Б⟨ерлин⟩ — теперь не скажу, что́, неважно — одну вещь, с оказией. Человек был у Вас, примерно, 1-го, долго искал (адрес был дан точный) наконец забрел на самый верх дома — и ничего: ремонт, маляры, ободранности. Так ничего и не добился.

А ведь похоже на меня: точный адрес, иду уверенная, номерá не те, — значит выше, поднимаюсь: леса, известка, пустота: ни души, ни следа. Это моя душа к Вам ходила. Да.

А у меня — своя трагедия, о которой потом. И вообще смута. О Б⟨ерлине⟩ не говорю, но вокруг меня говорят. Еду? Нет?

Удивляет меня во всем этом — одно: ведь Вы со мной связаны моими просьбами (книги, виза и пр.) Вот это уклонение от элементарной вежливости *знакомого*. Оповестить — это меньше всего исполнить! «Не имею времени — занят — к сожалению, невозможно»… — все, что хотите… Ваш разрыв бесформенен. Вы со мною кончаете тáк, как с Вами начинала я: конец *в кредит*.

Друг, друг, стихи наколдовывают! Помню, в самом первом своем письме (после «Ремесла», в тетрадку) я намеренно (суеверно) пропустила фразу:

«Начинать наугад с конца
И кончать еще — до начала!»

(Из юношеских стихов)[4]. Первая строка — я, вторая — Вы. Пропустила, а сбылось!

14-го августа, вторник.

Думаю иногда: кто же будет той последней каплей горечи, превратившей меня в насыщенный (ею) раствор?

Если Вы кому-нибудь, хвастаясь, говорите: добился же! — я Вам вполне серьезно отвечу, что — мало: могли бы — бóльшего.

Мало того, что я Вас никогда (глазами) не видела[5] и (ушами) не слышала, надо еще, чтобы Вы исчезли из моего внутреннего слуха и взгляда: чтоб *неслышанный* голос — замолк!

И после этого мне говорят, что я *выдумываю* людей!

Бог хочет сделать меня богом — или поэтом — а я иногда хочу быть человеком и отбиваюсь и доказываю Богу, что он неправ. И Бог, усмехнувшись, отпускает: «Поди-поживи»...

Так он меня отпустил к Вам — на часочек.

Теперь Вы видите, как пишутся стихи.

Думаю о своей последней книге. Поскольку предыдущая («Ремесло») — звонка, постольку эта — глуха. Та — вся — ввысь, эта — вся — вглубь. У нее прекрасное название, и я ее люблю нежней и больней других[6].

Вы когда-нибудь напишите о ней «рецензию»[7].

Получаю множество писем. Из Badeort'ов, Kurort'ов, а Ваше было бы из Seelenort'a*, а может быть — *те* все приходят в Горние Мокропсы, č⟨islo⟩ 33, а Ваше одно бы — в Душу! Я сейчас глуха ко всем. Есть только один человек — далё-еко — чье письмо бы меня взволновало больше (?) Вашего[8].

---

* Badeort — пляж; Kurort — курорт; Seelenort — игра слов: место души *(нем.)*.

Пространство — стена, но время — брешь. Будет день, число, час, я все узнаю. Это дает мне спокойствие. Я не люблю участвовать в своей жизни: о, не лень! — брезгливость: устилать себе дорогу коврами. Пальцем не шевельну, чтобы облегчить себе ношу, сократить себе сроки.

16-го авг⟨уста⟩, четверг.

А вчера был соблазн. Я сидела с человеком, заведомо знающим Вас. И, после долгих борений, прохладно: «Кстати, не знаете ли Вы адр⟨ес⟩ такого-то?» — «Знаю, т. е. могу. Вам это срочно?» — «О, нет. У меня с ним дела». Спросила — и отлегло. Не из какой-либо пользы — будь Вы в соседней комнате, я бы без зова Вашего туда не вошла! — нет, только лишний соблазн (уже преодоленный!) лишний барьер (уже взятый!): лишний — труднейший! — себе отказ. Это — из болевых достижений, а из радостных: некое удостоверение в Вашем существовании: раз есть адрес — есть человек.

Кстати, адр⟨еса⟩ Вашего так и не знаю, весь упор был в вопросе, ответа я как-то недослышала: не то узна́ет, не то может, не то мог бы узнать.

Только что — пять писем: от Павлика Антокольского (почти что — друга детства: первые дни Революции: 100 лет назад!)[9] — от Н. Д. Синезубова[10] (художник, — знаете?) — тоже давнего друга: вместе бродили по последней Москве! — письмо из Моравии — письмо из Сербии — письмо из Парижа, от моего обожаемого вернейшего и взрослейшего друга Кн⟨язя⟩ Сергея Мих⟨айловича⟩ Волконского (наверное, читали?) — всем нужно отвечать, а отвечаю — Вам.

Дитя, каждое мое отношение — лавина: не очнусь, пока не докачусь! Я не знаю законов физики, но не сомневаюсь, что где-нибудь, под каким-нибудь параграфом умещаюсь целиком.

М. б. из этих записей мало встает *боль*? Но это единственное, к чему я ревнива.

Кстати, нынче три недели, как от Вас ни слова. А я думала, что пройдет в 10 дней!

18-го августа.

Вчера отправила Вам письмо.

Боли хотели — Вы, а получила ее — я. Справедливо?

Вы украли у меня целых три недели жизни. Вы бы могли их получить в подарок. А сейчас — украли и выбросили, ни Вам, ни людям.

Писала я эти дни мало и вяло: точное ощущение птицы, которая не может лететь. Беседа со стеной, за которой никого нет. БЕЗ ОТЗЫ́ВА!

Если Вы и на это письмо мне не ответите, Вы просто... (и, удержавшись:) — невоспитанный человек.

До чего-то в этой встрече мне нужно дорваться. Обо что-то твердое удариться. Вы возбуждаете во мне дурные чувства: жажду боли: МЕСТНОЙ боли, которая бы перекричала общую.

Ждать мне еще долго. Все эти дни я неустанно хожу.

Мой спутник — молоденький мальчик, простой, тихий[11]. Воевал, а теперь учится. Называет мне все деревья в лесу и всех птиц на лету. Выслеживаем с ним звериные тропы. Я не люблю естеств⟨енных⟩ наук, но его с удовольствием слушаю. Он сам — как дикий зверек, всех сторонится. Но ко мне у него доверие. Стихов не любит и не читает.

Вот и сейчас, дописав эти строки, пойду к нему на горку, под окно. Вызову, побредем. Сегодня — за орехами.

21-го авг⟨уста⟩, вторник.

Еще несколько мыслей вслух. — К Вам ли все то, что я чувствую, или не к Вам? «Повод» для чувств, — но почему именно Вы, а не сосед? Соседей у Вас много. Помню, я с первого разу, прочтя Ваш отзыв, как-то по-человечески, лично — взволновалась.

Ах, встречная мысль! М. б. я пишу к Вам — через десять лет, к Вам через двадцать, выросшему, человеку. М. б. я только опережаю Вас. — Но откуда тогда любовь к деревцу?

В четверг будет ровно месяц с Вашего последнего письма. В этом какое-то успокоение.

25-го, суббота.

Я устала думать о Вас: в Вас: к Вам. Я перед Вами ни в чем не виновата, зла Вам не сделала ни делом, ни помыслом. Обыч-

ная история — не в моей жизни, а вообще в жизни душ, душу имеющих. Вы, очевидно, бездушная кукла, эстет, мелкий игрок. Но все эти определения все-таки не изъясняют Вашего поведения, ах как мне хочется назвать Вас одним словом!

Это последняя страница моего письма, вырывать его из тетради не буду, мало того: когда-нибудь, *в свой час* — Вы его все-таки получите.

На днях уезжаю, для Вас мой след потерян, а для меня — Ваш во мне! Оставляю Вас здесь, в лесах, в дождях, в глине, на заборных кольях, — одного с здешними за́живо-ощипанными гусями.

В Прагу Вас с собой не беру, а в Праге у меня хорошо: огромное окно на весь город и все небо, улицы — лестницами, даль, поезда, туман.

В Праге непременно пойду к гадалке с Вашим письмом, что́ расскажет — забуду. А когда Бог на Страшном Суде меня спросит: «Откуда такая ненависть?» я отвечу: «Должно быть — уж очень хорошо любила».

Мне не любовь нужна, мне нужна ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. Ваш поступок бесчеловечен. (Это не значит, что Вы — бог, или полубог!) И еще — невоспитан, это, пожалуй, меня огорчает больше всего.

26-го, воскресенье.

Кончился бюллетень, но кончилась ли — *БОЛЕЗНЬ*?
А 27-го — письмо, и я безумно счастлива.

Прага, 5-го сент⟨ября⟩ 1923 г.[12]

Дружочек,

Вы настолько чисты и благородны в каждом помысле, так *Там* живете, а не здесь, что со спокойным сердцем разрешаю Вам писать мне в Моравию, где буду не одна — что́ угодно.

Вы *моих* писем бойтесь, т. е. или сжигайте, или берегите их. В моих руках жизнь другого человека, жизнь жестока, бойтесь случайностей, не бросайте моих писем. — *Я страстнее* Вас в моей заочной жизни: человек *чувств*, я в заочности превращаюсь в человека *страстей*, ибо *душа* моя — страстна́, а Заочность — страна Души. Вы — тут задумываюсь: боюсь, что Вы человек мимолетностей, ощущений, в письмах (Заочности) Вы дорастаете до чувств. Поэтому Вы *всё* мне можете писать, а я даже не все могу к Вам думать.

Ваше письмо опять висело на волоске, получила его только благодаря задержке в Праге (завтра еду), если бы уехала, как думала — нынче, 5-го, в 10 ч. утра — оно бы меня не застало, и я уехала бы в смуте.

Пишите мне пока в Моравию, вот адрес — впрочем, перепишу его на отдельном листке. Это письмо все-таки из породы вечного, а адреса наши так же мимолетны, как мы сами. Перед самым отъездом напишу Вам еще, мне о многом нужно спросить, о многом сказать.

Шлю Вам свою любовь и память.

МЦ.

Если не соберетесь до 15-го или письмо запоздает, пишите на Прагу, как предыдущее письмо (Smichov и т. д.).

Адрес на обороте, *до* 15-го, оттуда сообщу, если задержусь[13].

11

Прага, 5-го и 6-го сентября 1923 г.

Мое дорогое дитя,

Только что отправила Вам «Бюллетень болезни», — берегите эти листки! Мне они не нужны: память моя — все помнит, сердце же — когда прошло! — НИЧЕГО. Никакие листки не помогут. Я просто скажу: «Это была другая» — и, может быть: «Я с ней незнакома».

(Нет, нет, пусть Вам не будет больно, моя нежность, моя радость, у нас еще все впереди!)

Берегите их для того часа, когда Вы, разбившись о все стены, вдруг усумнитесь в существовании Души. (Любви.) Берегите их, чтобы знать, что Вас когда-то кто-то — раз в жизни! — по-настоящему любил. Потому что любовь — тоска: из кожи, из жил, из последней души — к другому. Это протянутые руки, *всегда* руки: дающие, ждущие, бросающие, закручивающиеся вокруг Вашей шеи, безумные, щедрые, бедные, заломленные, — ах, друг! — если бы я сейчас могла взять Вас за́ руку, я бы сразу и *все* поняла, что для меня еще сейчас и до нашей встречи — неразрешимый вопрос.

Кто́ Вы? Что Вы? Слабый Вы или сильный? Ребенок или взрослый? Эстет или человек? Национальность или человек? Профессия — или человек?

В Ваших письмах — не то осторожность, не то робость, не то сдержанность, — ах, нашла! — я не чувствую в Вас *упора*, рука уходит в пустоту.

Сейчас самый настоящий час для встречи. Я ее (в желании своем) не опережала. Но эта тридцатидневная мука (для Вас только — смута, о не спорьте, я ведь не виню!). Богом и жизнью мне зачтется в года́, — друг, ни одной секунды я не верила, что Вы больны, что Вы не *можете* писать, оцените мое душевное состояние (иных у меня нет!) — словом, мне необходимо Вас видеть и слышать, чтобы поверить или не поверить, отрешиться или вздохнуть.

Милый друг, мое буйство не словесное, но и не действенное: это страсти *души*, совсем иные остальных. В жизни (в комнате) я тиха, воспитанна, взглядом и голосом еле касаюсь — и никогда первая не беру руки́. С человеком я то́, чем он меня видит, чтобы иметь меня настоящую, нужно *видеть* настоящую, душ во мне слишком много, — все! — я иногда невольно ввожу в обман.

— Увидьте! —

А до костров и ночей — далё-еко! По слухам — ведь все бегут из Б⟨ерлина⟩?[1] (Кстати — если — то куда *Вы* двинетесь?) Дел у меня в Б⟨ерлине⟩ нет, у меня там *только* Ваша душа! И меньше всего желаю вваливаться в нее с чемоданами.

Дружочек, если Вы мое *дитя*, Вы должны быть со мной совсем *настежь*. Не бойтесь, это единственное на что я льщусь и отчего не устаю. Напишите мне о своей семье, о днях (хотя бы и о «Днях»), о дружбах, — встаньте живым. Я должна знать, кого я люблю.

Будьте про́сты, не ищите фраз, самое дорогое — то, что сорвалось! — срывайтесь, давайте, т. е. позволяйте срываться: словам с губ, буквам с пера, *не* думайте, не считайте, *будьте*.

Вы настолько благородны и зорки, что никогда не переточните, не утяжелите, дайте мне верные вехи, дорогу я вызову. Это — мое единственное мастерство.

Достоверно: 7-го уезжаю в Моравию. Первое письмо напишите мне на: *Praha* Smichov, Švedska ulice, č⟨islo⟩ 1373. Если я в Моравии задержусь, оно будет ждать меня в Праге, и тогда, уже извещенный мною, Вы второе напишите мне в Моравию. — Ясно? —

Извещу Вас открыткой, на следующий же день по приезде, долго ли там пробуду. Смиховский (Пражский) адр⟨ес⟩ верен.

Посылаю Вам стихи[2]. — Не все — видите, как много, не уместились. Но взяла наиболее *Ваши* (к Вам). Назовите мое любимое! И — свое любимое. Не забудьте.

Напишите вообще о стихах: дошли ли, и чем дошли, и какие любимые строчки, всё хочу знать. (О, как я знаю *свое* любимое!) Есть ли, по-Вашему, разница с «Ремеслом».

Напишите и о «бюллетене», не слишком настаивая, но так, чтобы я поняла. Будьте гранитной стеной, отсылающей эхо, а не брандмауэром. (Не сердитесь, тем более, что над моими Brand'ами и Brandung'ами – никакие Mauer'ы не властны!)*

Дайте мне и покой и радость, дайте мне быть счастливой, Вы увидите, как я это умею!

А пока, дитя, до свидания. Не разоряйтесь на экспрессы, не надо, лучше пишите чаще, письма, авось, дойдут.

Как странно, что Вы тó письмо, пропавшее, тоже писали в лесу.

МЦ.

P. S. А «осязать» – нехорошее слово. Это Баба-Яга осязает: мальчикину руку сквозь клетку – помните? И он просовывает кость.

Осязать, это вроде обнюхивать, я не хочу, чтобы Вы меня обнюхивали, это слово – теперь будьте внимательны – в своей отвлеченности (обоняние, осязание и пр.) более грубо, чем просто: обнять. Осязают только руки, обнимает – все-таки и всегда – душа!

Не сердитесь, Вы молоды (кстати у меня целая история в гостинице: *никто* не верит, что Аля – моя дочь и что мой паспорт – *мой* паспорт, думают, что я все это сочинила, для каких-то жизненных: здесь в Чехии читай: любовных! – удобств, коих уловить еще не могу)** – Вы молоды, и Вам придется иметь дело со всеми женщинами и словами, и тех и других много, каждой – свои. А «мои» – пригодятся всем, если Вы у меня научитесь, Вы будете не тóлько любовником, но и врачом – а м. б. и творцом – душ.

«Обладать», «осязать», все это нехорошо, и в зоркие минуты вызывает иронию. Есть у немец⟨кого⟩ поэта Rilke об этом изумительные строки, точно не помню, но приблизительно: «sie sagen «haben» und keiner weiss, dass man eine Frau so wenig *haben* kann, wie eine Blume».***[3]

---

* Brand – пожар; Brandung – прибой; Mauer – стена *(нем.)*.

** Не удобств, а смысла такого подозрения! *(примеч. М. Цветаевой.)*

*** «Вы говорите «иметь» и никто не знает, что нельзя *иметь* женщину, равно как и цветок» *(нем.)*.

А у Вас и это мое ненавистное (о, я не суффражистка!) слово есть: «*Обладая* Вашими письмами», (другая фраза: «хочу не только чувствовать, но и осязать»)—знаете, как такие вещи пишутся: «Теперь, держа в руках Ваши письма, т. е. душу»... (и, второе) «хочу Вас не только чувствовать, но и обнять». Ведь смысл тот же, правда?—а лучше доходит, больше трогает, больше веришь, лучше тянешься в ответ.

Выбор слов—это прежде всего выбор и очищение чувств, не все чувства годны́, о верьте, здесь тоже нужна работа! Работа над словом—работа над собой. Вот *этого* я хочу от Вас: созвучности в пристрастиях и оттолкновениях: чтобы Вы поняли, почему я не люблю Х⟨одасевича⟩ («пробочка над йодом», «сам себе целую руки», а особенно—до содрогания!—стих в «Совр⟨еменных⟩ Записках»—«Не чистый дух, не глупый скот»—или вроде!)[4]—и почему люблю Мандельштама, с его путаной, слабой, хаотической мыслью, порой бессмыслицей (проследите-ка логически любой его стих!) и неизменной МАГИЕЙ каждой строки. Дело не в «классицизме»,—пожалуй, оба классики!—в ЧАРАХ. И, возвращаясь к Вам и к себе: найдите слова, которые меня чаруют, я *только* чарам верю, на остальное у меня ланцет: мысль.

А из слов это, наверное, наиболее простые.

«Одеяния жестов». Задумываюсь. Это, если верить, что не просто-слова, пожалуй очень хорошо. Жест рукава, сопровождающий руку. Жест плаща вокруг все того же тела. Но это все-таки еще не из *тех* слов!

Кстати, в одном Вы меня совершенно не поняли, я даже улыбнулась—и умилилась, до того Вы не самоуверенны! «Разница *тона* и *темпа*» мною взята, как преимущество в Ваших руках. Ведь я сейчас вдвое распахнутее и вдвое стремительнее с Вами. Это случилось через *боль*, но это все-таки случилось!

Дитя, Вы никогда не приедете в Прагу? Вам здесь нечего делать? Ведь Вы наверное эсер, а эсеров у нас мно-о-ого, полный «Русский дом»[5]. С каким-нибудь поручением, а? Подумайте об этом серьезно, люди ведь все время ездят взад и вперед, у всех какие-то дела, я уже привыкла к этому, хотя умерла бы от такой жизни.

Было бы чудно! Я бы показала Вам свою гору, и себя на ней, и город с горы. Впрочем—Впрочем, это то же самое, что мой Берлин: чистейший миф. На все нужны деньги, а noblesse сейчас очевидно oblige* их не иметь.

---

* Noblesse oblige—положение обязывает *(фр.)*.

Да! Напишите мне правду о Б⟨ерлине⟩. Чтó у вас происходит? На какой год в России похоже? Мыслимо ли там жить? Как мне бы хотелось приехать — хотя бы на неделю! Кто знает, может быть — среди зимы —

О Цоссене[6]. Нет, дружочек, когда бы и где бы — все вышло бы то же! «Дом Искусств»[7] и «Prager-Diele» сразу бы рассеялись: в дымáх и в парáх и в туманах. И остались бы души: Вы и я. Нет, плохо, что тогда не встретились. У меня было целых два своих блаженных месяца, мы бы ездили за город, и сидели бы по вечерам в самых нищих кафе на заставах, и я бы сейчас знала, кому пишу. Почему не подошли тогда? Я Вас не знала. Это Ваша вина.

Какое длинное Post-scriptum! Пора кончать. Доканчиваю это письмо рано утром, завтра ехать, целый день забот. Итак, для достоверности: одно в Прагу, одно — в Моравию. Моравский адр⟨ес⟩:

Tschekoslowakei
Moravska Třebova
Velke namesti, č⟨islo⟩ 24
u Pani Marie Boudovy
— мне —

Не пишите экспрессом, теперь Бог сам будет хранить. А можно и так; письмо в Прагу, открытку — в Моравию, я из Моравии сразу напишу, если я задержусь, Вы мне еще туда напишите. Важно не терять связи.

Где Белый? Скажите ему, что я его люблю.

Непременно напишите о стихах — и — непременно — какое любимое. А пока — до свидания, моя радость!

МЦ.

12

Моравска Тшебова, 9-го сентября 1923 г.

Дорогой Александр Васильевич,

Пишу Вам из маленького городочка в Моравии (Mähren, от старинного немецкого Mähre: сказка) под тиканье восьми часов, — в моей комнате, живу у вдовы часовщика. Я здесь на несколько дней, до 16-го, и решила эти дни ничего не делать, это

самое трудное, тоскую по стихам и собственной душе. Провожу время в церкви и в лагере. Утром — католическая обедня в огромном старом, если не древнем, костеле, день в лагере[1] (по здешнему: таборе) т. е. русском городке, выстроенном нашими пленными и ныне обращенном в русскую гимназию. Аля уже принята, сразу вжилась, счастлива, ее глаза единодушно объявлены звездами, и она, на вопрос детей (пятисот!) кто и откуда, сразу ответила: «Звезда — и с небес!» Она очень красива и очень свободна, ни секунды смущения, сама непосредственность, ее будут любить, потому что она ни в ком не нуждается. Я всю жизнь напролет любила *сама*, и еще больше ненавидела, и с рождения хотела умереть, это было трудное детство и мрачное отрочество, я в Але ничего не узнаю[2], но знаю одно: она будет счастлива. — Я никогда этого (для себя) не хотела.

И вот — десять лет жизни как рукой сня́то. Это — почти что катастрофа. Меня это расставание делает моложе, десятилетний опыт снят, я вновь начинаю *свою* жизнь, без ответственности за другого, чувство ненужности делает меня пустой и легкой, еще меньше вешу, еще меньше есмь. Сейчас за стеной, в кухне, одна из хозяек гостям: «Die junge Frau ist Dichterin — und schreiben thut sie, wie Perlen aufreihen!»*

Да, о моем дне, начало которого в костеле: кончается он всенощной в русской самодельной церкви, где чудно поют и служат. Я — дома во всех храмах, храм — ведь это побежденный дом, быт, тупик. В храме нет хозяйства, храм — это дом души. Но больше всего я люблю пустые храмы, днем, с косым сто́лбом солнца, безголосые храмы, где душа одна ликует. Или храм — в грозу. Тогда я чувствую себя ласточкой.

Городок старинный и жители вежливые, сплошные поклоны и приседания, мне это нравится, я безумно страдаю от людской *откровенности.* Здесь даже моя прическа (т. е. отсутствие ее!) нравится, это здесь зовется Haartracht** и, оказывается «Kleidet Sie so schön»***. Мне нужно льстить, я ведь все равно верю только на сотую, вот и получается естественное самочувствие человека, которого *не* ненавидят.

---

* «Молодая женщина — поэтесса, и она нанизывает стихи, как жемчужины» *(нем.)*.

** Прическа *(нем.)*.

*** «Вам очень идет» *(нем.)*.

Пишите мне в Прагу, по адр⟨есу⟩, который Вы знаете. Сейчас иду к русской обедне, первые полчаса буду восхищена́ и восхи́щена, вторые буду думать о своем, третьи — просто рваться на воздух, я не могу долго молиться, я вообще не молюсь, но уверена, что Бог меня слышит, и… качает головой.

Шлю Вам нежный привет. Простите за отрывочное письмо, мне просто захотелось Вас окликнуть.

10-го сентября 1923 г.

А письмо вчера не отошло, — было воскресенье и не было марки.

Друг, о скольком мне еще надо Вам рассказать! Я сейчас на резком повороте жизни, запомните этот мой час, я даром таких слов не говорю и таких чувств не чувствую. «Поворот», — ведь все поворот! Воздух, которым я дышу — воздух трагедии, в моей жизни нет неожиданностей, п. ч. я их все предвосхи́тила, но… кроме внутренних, подводных течений есть еще: стечения… хотя бы обстоятельств, просто события жизни, которых не предугадаешь, но которые, радуясь или не радуясь, предчувствуешь. У меня сейчас определенное чувство кануна — или конца. (Что́, может быть — то же!)

Погодите отвечать, здесь ответов не нужно, ответ будет потом, когда я, взорвав все мосты, попрошу у Вас силы взорвать последний. Наша встреча — страшна для Вас, теперь я это поняла, это меньше всего услада или растрава, и может быть не мне суждено Вас спасти, а Вам меня столкнуть с последнего моста!

(О магия, магия! Как опять все сходится! Ваш «спасательный круг» — о, дитя, дитя, какой я берег?! — и мой мост, темный, последний, над самой настоящей рекой! Это сейчас мое наваждение, я стою в церкви и думаю: мост, мост, кому — на берег, кому — на *тот* берег, кому — идти, кому — вниз головой лететь! После смерти Блока я все встречала его на всех московских ночных мостах, я *знала*, что он здесь бродит и — м. б. — ждет, я была его самая большая любовь, хотя он меня и не знал, большая любовь, ему сужденная — и несбывшаяся. И теперь этот мост опять колдует, без Блока под фонарем, без никого, *от* всех!)

Начался этот мост с Вас. Сейчас объясню. Вы были первым — за годы, *кажется* — кто меня в упор (в пространство!) окликнул. О, я сразу расслышала, это был зов в *ту́* жизнь: в любовь, в жар рук, в ту жизнь, от которой я отрешилась. И я отозвалась, подалась на голос, который ощутила как руку. «Безысходная нежность» Вашего первого письма, — о, разве я этого

не знаю?! (Что́ я еще другого знаю?!) Я ответила Вам прохладным советом *вздоха*, что́ мне было ответить еще? Но внутри себя я уже все знала, я приняла Вас не как такого-то с именем и отчеством, а как вестника Жизни, которая ведет в смерть.

Мой дорогой вестник, молодой и нежный, я Вас даром мучила неверием, Вы невинны и Вы меня любите, но хватит ли у Вас силы долюбить меня до конца, т. е. в час, когда я скажу: «Мне надо умереть» из всей чистоты Вашего *десятилетия* сказать: «Да».

Ведь я не для жизни. У меня всё — пожар! Я могу вести десять отношений (хороши «отношения»!) сразу и каждого, из глубочайшей глубины, уверять, что он — единственный. А малейшего поворота головы от себя — не терплю. Мне БОЛЬНО, понимаете? Я ободранный человек, а Вы все в броне. У всех вас: искусство, общественность, дружбы, развлечения, семья, долг, у меня, на глубину, НИ-ЧЕ-ГО. Все спадает как кожа, а под кожей — живое мясо или огонь: я: Психея. Я ни в одну форму не умещаюсь — даже в наипросторнейшую своих стихов! Не могу жить. Все не как у людей. Могу жить только во сне, в простом сне, который снится: вот падаю с сорокового сан-францисского этажа, вот рассвет и меня преследуют, вот чужой — и — сразу — целую, вот сейчас убьют — и лечу. Я не сказки рассказываю, мне снятся чудные и страшные сны, с любовью, со смертью, это моя настоящая жизнь, без случайностей, вся роковая, где все сбывается.

Что мне делать — с этим?! — в жизни. Целую — и за тридевять земель, другой отодвинулся на миллиметр — и внутри: «Не любит — устал — не мой — умереть». О, все время: умереть, от всего!

Этого — Вы ждали? И *это* ли Вы любите, когда говорите (а м. б. и не говорили?) о любви. И разве *это* — можно любить?!

Друг, а теперь просьба. Большая. Сделайте мне один подарок. Только сначала напишите, что: да, а потом я скажу. (Ничего страшного.) Мне это хочется иметь из Ваших рук.

(Знаю, что Вы сейчас думаете: не то, это еще для жизни, чтобы как-нибудь жить, это относится к стихам, а не к смерти. Мне просто стыдно просить, не зная, подарите или нет. Ах, я глупее всех семнадцатилетних, которых Вы встречаете!)

Вживаюсь в жизнь городка. Здесь старинные люди. Мне подарили платье: синее в цветочках, Dienenkleid*, обожаю новые

---

* Простое платье *(нем.)*.

платья, особенно жалобные, — о, я не женщина! — я все ношу, что другим *не* к лицу!

И еще у меня будет новая сумка, вроде средневекового мешочка, какие — знаете? — на старых картинках у молодых женщин на поясе? Старую (коричневую замшевую) мне подарила Любовь Михайловна[3], и она мне преданно служила год, а теперь стала похожа на лохматую собаку — или на перчатку для чистки башмаков — я никак не могу расстаться, и все корят.

(Простите за глупости.)

Пишите мне в Прагу, 16-го возвращаюсь. Пишите, как писали: настежь. Отвечайте на каждое письмо и любите каждый час своей жизни, мне это необходимо. (NB! Не каждый час своей жизни — а меня!) Меня нужно любить совершенно необыкновенно, чтобы я поверила.

(Я не похожа на нищенку, — а? Но с Вами у меня нет стыда! Я же все время Вас о чем-то прошу.)

Недавно я *в* кофейнике сварила дно спиртовки, которое потеряла, а спирт горел в крышке от пасты для обуви. Когда допила кофейник до дна — обнаружила потерю: страшное черное дно спиртовки (самоё чашечку). — Хороший навар?! — И *не* умерла.

(Будете ли Вы после этого пить у меня в гостях кофе?)

Нежно жму Вашу руку и жду от Вас чудес.

МЦ.

13

Прага, 20-го сентября 1923 г.

Мой дорогой друг,

Соберите все свое мужество в две руки и выслушайте меня: *что-то* кончено.

Теперь самое тяжелое сделано, слушайте дальше.

Я люблю другого — проще, грубее и правдивее не скажешь[1].

Перестала ли я Вас любить? Нет. *Вы* не изменились и не изменилась — я. Изменилось одно: моя болевая сосредоточенность на Вас. Вы не перестали существовать для меня, я перестала существовать в Вас. Мой *час* с Вами кончен, остается моя вечность с Вами. О, на этом помедлите! Есть, кроме страстей, еще и просторы. В просторах сейчас наша встреча с Вами.

О, тепло не ушло. Перестав быть моей *бедой*, Вы не перестали быть моей *заботой*. (Не хочу писать Вам нежней, чем мне сейчас перед Вами и собой *можно.)* Жизнь страстна, из моего отношения к Вам ушла жизнь: *срочность*. Моя любовь к Вам (а она есть и будет) спокойна. Тревога будет идти от Вас, от Вашей боли, — о, между настоящими людьми это не так важно: *у кого* болит! Вы мое дитя, и Ваша боль — моя, видите, я совсем не то Вам пишу, что решила.

В первую секунду, сгоряча, решение было: «Ни слова! Лгать, длить, беречь! «Лгать?» Но я его люблю! Нет, *лгать*, потому что я *и его* люблю!» Во вторую секунду: «Обрубить сразу! Связь, грязь, — пусть отвратится и разлюбит!» И, непосредственно: «Нет, *чистая* рана лучше, чем сомнительный рубец. *«Люблю»* — ложь и «не люблю» (да разве это есть?!) — ложь, *всю* правду!»

— Вот она. —

Как это случилось? О, друг, *как* это случается?! Я рванулась, другой ответил, я услышала большие слова, проще которых нет, и которые я, может быть, в первый раз за жизнь слышу. «Связь?» Не знаю. Я и ветром в ветвях связана. От руки — до губ — и где же предел? И есть ли предел? Земные дороги коротки. Что из этого выйдет — не знаю. Знаю: большая боль. Иду на страдание.

Это письмо есть акт моей *воли*. Я могла бы его не писать, и Вы бы никогда ничего не узнали, одно — здесь, другое — там, во мне (в молчании моем!) все сживается и спевается. Но те же слова — двум, «моя жизнь» — дважды, — нет, я бы почувствовала брезгливость к себе. Мальчик, я Вас чту, простите мне эту рану.

Теперь, главное: если Вы без меня *не можете* — берите мою дружбу, мои бережные и внимательные руки. Их я не отнимаю, хотя они к Вам и не тянутся. ...«влеченье — род недуга»[2]. *Недуг* прошел, *болезнь* прошла, — ну, будем правдивы: женская смута прошла, но...

Jener Goldschmuck und das Luftgewürze,
Das sich täubend in die Sinne streut, —
Alles dieses ist von rascher Kürze, —
Und am Ende hat man es bereut!*[3]

---

* «Те золотые украшения и аромат,//Что одурманивают чувства,//Все это лишь мгновенье. — //И кончается оно раскаяньем!» *(нем.)*

Друг, я Вас не утешаю, я *себя* ужасаю, я не умею жить и любить здесь.

Я совсем не знаю, как Вам будет лучше, легче, — совсем без меня, или со мной не-всей, взвесьте, вслушайтесь. Я Вас не бросаю, я не могу бросать живое, Ваша жизнь мне дорога, я бережна к ней. Я люблю Вас как друга и еще — в полной чистоте — как сына, Вам надо расстаться только с женщиной во мне, с молодой и совершенно потерянной женщиной. Кончился только наш час.

Все это не в утешение и не во оправдание, знаю, что безутешны и знаю, что мне оправдания нет. Я не для себя хочу себя *настоящей* в Ваших глаза, — для Вас же!

«Было — прошло». Да разве Вы бы этому поверили?! Я не хочу, чтобы мое дорогое, мое любимое дитя, моя боль и забота — деревцо́ мое! — Вы, которого я действительно как мать люблю, я не хочу, чтобы Вы 20-ти лет от роду — *та́к* разбились! Вы бы тогда выздоровели сразу («связь», «синица в руках» и пр.) — я, всей любовью моей, заставлю Вас выздороветь иначе.

Мы не расстались, мы расстались здесь, где мы, слава Богу, с Вами и не были, но куда мы шли. Я останавливаю Вас: конец! Но конец земной дороги друг к другу тел, а не арке друг к другу — душ. *Это* Вам ясно?

О письмах. Всё предоставляю Вам. Я уже не вправе ни направить, ни советовать. Если Вам *легче* с моими письмами, — пишите, буду отвечать. Может быть Ваша любовь ко мне больше жизни, м. б. Вы старше и мудрей, чем я думаю, м. б. Вы без меня не не-можете, а: не хотите! Быть — Вам — сейчас — со мной — можно и от слабости — и от силы. А м. б. все это (вся я!) сгорит в простой земной мужской ревности, — не знаю. Принимаю всё.

Если Вам захочется (понадобится) мне на это письмо ответить, пишите мне по адресу: *Praha* Břevnov
Fastrova ulice, č⟨islo⟩ 323
Slečna, K. Reitlingerova[4].

Письмо это *уничтожьте.* (Заклинаю Вас!) В свой час оно меня погубит.

Будьте бережны! В своем ответе (если будет) не упоминайте ни одной достоверности, касающейся моего — сейчас — часа. Пишите та́к, чтобы я все поняла, другие — ничего. (Письмо буду читать одна, как и пишу его одна.) Передачи *мне* не упоминайте, только крестик, как у меня.

Я только предупреждаю. М. б. Вы мне совсем не ответите, м. б. легче будет дать зажить в молчании. Я на Вас утратила все права, Вы, кроме одного *(моя!)* сохраняете все.

Любите или забудьте, пишите — или все сожгите с этим письмом, даю Вам все исходы.

Сейчас я не вправе думать о себе.

Не уезжайте в Россию.

И чтобы я всегда знала, где́ Вы.

Еще одно: если все это не случайность — Рок еще постучится. Бо́льшего сказать Вам не смею.

МЦ.

И, если *всё* кончено — спасибо за *всё*!

14

Прага, 25-го сентября 1923 г.

Дорогой друг,

Вы не поняли моего письма, Вы его невнимательно читали. Вы не прочли ни моей нежности, ни моей заботы, ни моей человеческой боли за Вас, Вы даже не поняли меня в моем: «да разве это так важно — *кому* больно?!» — ощущение чужой боли как своей — все это до Вас не дошло. Вы сочли меня проще, чем я есмь.

И одна крупная наивность: «Вы разбили меня, лишив себя и больше, чем себя: лишив того, чем я мыслил Вас, чем знал Вас».

Значит я, только потому что я рванулась к другому — другая? А *до* встречи с Вами (возьмите «Психею») я *не* рвалась? Да что же я иного за всю мою жизнь делала?!

— Да, еще писала стихи. —

Счастье для Вас, что Вы меня не встретили. Вы бы измучились со мной и все-таки бы не перестали любить, потому что

за это меня и любите! Вечной верности мы хотим не от Пенелопы, а от Кармен, — только верный *Дон-Жуан* в цене! Знаю и я этот соблазн. Это жестокая вещь: любить за бег — и требовать (от Бега!) покоя. Но у Вас есть нечто, что и у меня есть: взгляд ввысь: в звезды: там, где и брошенная Ариадна и бросившая — кто из героинь бросал?[1] Или только брошенные попадают на небо?

Взгляд ввысь, это — взгляд сверху. Посмотрите на мою жизнь сверху: благо, не осуждающе, провидяще, не вплоть. Вспомните, что это я, которую Вы любите, тогда Вы все иначе поймете. «Научиться жить любовным настоящим человека, как его любовным прошлым», — вот то́, чего я себе, уже 20-ти лет, от любви желала. Вы берете это как потерю, возьмите это как лишний захват.

Я расту. Для роста — все пути хороши. Наипростейшие — наилучшие. Это не жестокость во мне говорит, это вера в Вашу раннюю мудрость и большую доброту. *Та́к* Вы меня никогда не потеряете. Сделайте мою боль своей, как я уже делала своей — Вашу, будем друзьями. Это не так мало, когда это я́ говорю.

Есть мир, где мы с Вами встречаемся: песня!

...Слово — чистое веселье,
Исцеленье от тоски...[2]

Буду пересылать Вам свои стихи: преображенную — настоящую! — жизнь, буду писать Вам. Есть мир просторов.

О себе писать не буду, о своем — да, с радостью и с нежностью. Будьте моим союзником, у меня *мало* друзей: за всю жизнь — м. б. трое, из которых одному 65 лет, другой бе́з вести, о третьем больше года ничего не знаю[3]. — Видите! — Земные дороги не так богаты.

Как меня трогают Ваши строки из Пушкина. Вы, действительно, *живете* стихами, и, может быть, мой лучший читатель. Стихи — разве это так мало в моей жизни? Без них бы меня не было. Будем встречаться здесь.

Все это при условии: если Вам так лучше. Этого у меня нет: из жадности длить, держать, хранить. К Вам я бережна. А о том,

что Ваши письма не мной одной будут читаться,—бросьте! Вы знаете, что это не так.

Пишите на Fastrova ulice, как последнее письмо. Адрес на обороте[4]. Иногда—на Smichov, чтобы не было странным, почему вдруг замолчали. Ваши письма мне дороги. А одна строчка—прямо пронзает мне душу! Но об этом не должно, не можно.

МЦ.

15

Прага, 27-го сентября 1923 г.

Милый друг,

Мне хочется перед Вашим отъездом[1] сказать Вам еще несколько слов. Нет внешних отъездов, для меня и поездка на трамвае в «Русский Дом» за иждивением—событие (почти всегда болевого порядка, на радость я мало восприимчива: как-то тупа). И так как мы с Вами похожи, говорю Вам: Париж Вам ничего не даст, кроме Вас же, нового Вас. (Которого по счету?! Это я Ваши слова о глазах вспоминаю.)

Я была в Париже в первый раз 16-ти лет, одна: взрослая, независимая, суровая. Поселилась на Rue Bonaparte из любви к Императору и, кроме N[2] (торжествующего NON* всему, что не он) в Париже ничего не увидела. Этого было достаточно.

Второй раз я была там с Сережей, уже замужем, очень молодая (лет 18-ти, должно быть!)—и жалела тóт свой Париж.

Пойдите во имя мое на Rue Bonaparte и вспомните меня, 16-летнюю[3]. Только не умиляйтесь, я совсем не была умилительной, я была героичной: то есть: бесчеловечной.

Я сейчас накануне большой вещи, это меня радует и страшит[4]. Вспоминаю слово (Бальзака, кажется?) по поводу новой работы: «On la commence avec désespoir, on la quitte aves regret»**. (Только не la, а le, потому что travail***—le, а если: oeuvre****—то все-таки la):

---

* Нет *(фр.)*.
** «Начинаешь ее в отчаянии, кончаешь с сожалением» *(фр.)*.
*** Работа *(фр.)*.
**** Сочинение *(фр.)*.

Я совершенно зачарована Вашими строками о Мариуле. Откуда? Из «Цыган»?

Только одна странная оплошность:

«И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед.
И всюду страсти роковые,
И от судеб спасенья нет».

Конечно — *спасенья*, а не защиты, как у Вас (у Пушкина?)[5]. Если даже у Пушкина, все равно каждый, говоря, бессознательно заменит «спасенье», и будет прав, п. ч. это — правда *стиха*. Согласны? Если не лень, проверьте и напишите.

Возвращаюсь еще к Вашему письму. Вы пишете: на 22-ом году жизни пора бы знать. Ничего не пора, п. ч. это — я. Здесь и 72-летний задумается. Я Вам уже давно писала: мой опыт (т. е. опыт со мной) Вам не послужит, ни благой, ни болевой, — это все *зря*, не применительно, единственный случай. Вы со мной ничему не научитесь, что́ могло бы Вам послужить в жизни. (Боль тоже служит.) Кроме того, есть какая-то низость в опыте, основная ложь.

У меня есть друг в Праге, каменный рыцарь, очень похожий на меня лицом[6]. Он стоит на мосту и стережет реку: клятвы, кольца, волны, тела. Ему около пятисот лет и он очень молод: каменный мальчик. Когда Вы будете думать обо мне, видьте меня с ним.

Пишите мне обо всех событиях Вашей жизни. О дружбах, встречах, книгах, писаниях. Присылайте мне все, что будете писать, не отговаривайтесь случайностью написанного: ne peut pas qui vent!* Случай — повод для нас самих. Не все ли равно: о Степуне или о японском землетрясении[7], лишь бы по поводу частности найти (сказать) вечное. Вспомните слова Гёте:

«Jedes Gedicht ist ein Gelegenheitsgedicht»**[8].

И это Гёте говорил, муж Рока!

Моя горка рыжеет. С нее город — как море. Я редко бываю в городе, только в библиотеке, где читаю древних. О, если бы

* Хотеть недостаточно, надо уметь! *(фр.)*
** «Любое стихотворение внушается обстоятельствами» *(нем.)*.

монастырскую библиотеку! С двумя старыми монахами, такими же сухими, как пергаментные то́мы, над коими они клонятся! И мощеный садик в окне! Я не умею читать на людях, ведь даже улыбнуться нельзя.

Аля в Моравии, пишет мне письма. Вчера я отослала ей ее любимую куклу: мулатку, по имени Елена Премудрая, в синем эскимосском одеянии и с настоящей тоской в великолепных карих глазах.

Аля пишет: «Здесь про каждую новенькую спрашивают: «Хорошенькая? Кокетливая? Танцует?» — Скучно. — »

Меня умилили эти два тире, в них вся беспредельность жизненной скуки. Направо и налево. А я — посредине.

Итак, дружочек, пишите. Шлю Вам свою нежность и заботу и все пожелания на Париж.

Надеюсь, что это письмо Вас еще застанет.

МЦ.

Пишите по двум адресам, как найдете нужным:
Praha Smichov
Švedska ul⟨ice⟩, č⟨islo⟩ 1373

Praha Břevnov
Fastrova ul⟨ice⟩, č⟨islo⟩ 323
Slečna
K. Reitlingerova X.

16

Прага, 29-го сентября 1923 г.

Пишу поздно ночью, под звуки ресторанной музыки, доносящ⟨иеся⟩ из окна. (У нас сегодня национальный праздник.) Пишу в постели. Хотела читать Грецию, взяла Ваше письмо — и не смогла. Началось думаться в ответ, многое *верно* встало.

Думаю, первое письмо (первое после) больше акт моей воли, чем крик души. *Надо* (вообще) чтобы человек знал, не *мне* надо, а вообще, на земле — надо. И вот, написала.

Теперь, внимательно — что изменилось? (И, опуская все:) Будущего нет? Но — — — Больше этих трех тире не скажу. Нет, скажу: в будущем волен Бог, никак не мы, особенно не я, никогда ничего не строящая. Что я о Вас думаю, что я в Вас верю —

Вы видите. Вы в начале осуществления чуда: безмерной любви, ибо Ваша любовь сейчас ко мне от силы, а не от слабости. «Я безоружен» — говорят ли так слабые? Да, слабые в мирах сих, к коим и я принадлежу, старшие своих лет — с колыбели! Старшие ревности (собственности), старшие гордости. Я Вас сейчас вижу большим и мудрым, а если Вы и клянете меня, то не меня — Жизнь, всю, ее жестокость, в которой я неповинна.

Вот это чувство невинности — моей и Вашей —

Вы говорите: женщина. Да, есть во мне и это. Мало — слабо — налетами — отражением — отображением. Скорей тоска *по, — чем*! Для любящего *меня* — женщина во мне — дар. Для любящего *ее* во мне — для меня — неоплатный долг. Единственное напряжение, от которого я устаю и единственное обещание, которого не держу. Дом моей нищеты. О, я о совсем определенном говорю, — о любовной любви, в которой каждая первая встречная сильнее, цельнее и страстнее меня.

Может быть — этот текущий час и сделает надо мной чудо — дай Бог! — м. б. я действительно сделаюсь человеком, довоплощусь.

Друг, друг, я ведь дух, душа, существо. Не женщина к Вам писала и не женщина к Вам пишет, то́, что *над*, то, с чем и чем *умру*.

Гадали? Напишите подробно гаданье, дословно, если помните. И никогда не смейтесь, когда гадаете. Это ведь — от Гекаты, богини тьмы.

Вы пишете: не усугубляйте боли! И за три строки до этого: хочу забыть. Выбор, стало быть, мой: нет, *пока* я Вам необходима и пока я Вас не отпускаю. Нищая там, я безмерно богата здесь (в заочном!) — хватит и нежности и мужества, я от Вас не отступаюсь, отступлюсь лишь тогда, когда Вы сами отпустите.

Никаких «последних слов». Это письмо не последнее и последнего никогда не будет, если этого — как-то помимо слов убедительно! — не потребуете *Вы́*!

То, что Вы теряете во мне, *очень* мало, говорю это от всей чистоты сердца. (— «Но — Ваше!») Да, на это ничего не могу ответить, хотя менее мое, чем все другое. Не мой дом.

Сегодня слушала орган в костеле, потом военную музыку на плаце дворца и — сейчас — последнее веселье предместья. Такие жалкие звуки. Здесь умеют любить.

29-го сент⟨ября⟩, утро.

Никакая страсть не перекричит во мне справедливости. Plus fort que moi*. Отсюда все мои потери. Мужчины и женщины беспощадны, пощадны только души. Делать другому боль, нет, тысячу раз лучше, терпеть самой, хотя рождена — радоваться. Счастье на чужих костях, — этого я не могу. Я не победитель.

(Говорю самое глубокое о себе, что знаю.)

Делаю боль, да, но ТАК страдаю сама, что никакая безмерность радости не зальет. Радуюсь, закрыв глаза и зажав уши, стиснув зубы — радуюсь. (— Господи, не очнуться!)

И еще о другом: творчество и любовность несовместимы. Живешь или там или здесь. Я слишком вовлекаюсь. Для того, чтобы любить мне нужно забыть (всё, т. е. СЕБЯ!) Не видеть деревьев, не слышать листьев, оглохнуть, ослепнуть — иначе: урвусь! Болевой мир несовместим с любовным. (Это я уже о другой боли говорю, не от человека, о болевой разверстости, равняющейся творчеству.) Все часы без другого *должны* быть пусты, если не пусты — я живу: боль живет: другого нет.

Жить в другом — уничтожиться. Мне не жаль, я только этого и жажду, *но* —

Поймите, другой влечется к моему богатству, а я влекусь — через него — стать нищей. Он хочет во мне быть, я хочу в нем пропа́сть. Вообще, я слишком страдаю. (Все это не о текущем часе, — о всех протекших часах. Никаких выводов! Это я Вам ПУТЬ своей души рассказываю.) — «Будьте умницей, пишите!» («Ка́к, я хочу через тебя разучиться писать, а ты меня — опять в тетрадь?!») И: — «Вы без меня *пи́шете*!» Человек между двух огней: моей невозможностью не-быть (уходом) и моим стремлением пропа́сть (небытием). В любви меня нету, есть исступленное, невменяемое, страдающее существо, душа без тела.

В Ваших письмах так часто: «Или и это забыли?» Друг, забываю только бывшее, бывших. Небывшее во мне суще. Так я,

---

* Сильнее меня *(фр.)*.

забыв всех своих любовников, никогда не забуду Блока, руку которого никогда не держала в руке. («А если бы держали?» — Бог не привел!)

Кстати, конец письма: «Холодно — знобит — мой путь через снега»... и эти две буквы А. Б. в конце, — я долго смотрела. У Вас страдальческая сущность.

Ваше письмо, принесенное мне моей приятельницей, читала на кладбище. (Живу в предместье.) — Другого места не было, везде люди, там никто не бывает. Скамейки не было, села на дорожке, у какого-то камня. Я читала, ветер трепал листы, листья падали.

Друг, просьба: пришлите мне книгу Ницше (по-немецки) — «Происхождение Трагедии». (Об Аполлоне и Дионисе)[1]. У меня никого нет в Б〈ерлине〉. Она мне сейчас очень нужна. Пришлите на Смиховский адр〈ес〉, на к〈отор〉ый иногда (в просветленные минуты) и пишите.

До свидания. Жму Вашу руку. Не враждуйте со мной в сердце своем.

МЦ.

17

Прага, 4-го октября, 1923 г.

Милый друг,

У меня к Вам большая просьба — если Вы еще в Берлине — п. ч. если не в Берлине, то уже ничего не можете сделать.

Дело в том, что необходимо перевести (перевезти!) Белого в Прагу, он не должен ехать в Россию, слава Богу, что его не пустили[1], он должен быть в Праге, здесь ему дадут иждивение (stricte nécessaire)* и здесь, в конце концов, я, которая его нежно люблю и — что́ лучше — ему преданна.

Говорила со Сло́нимом (знаете такого?)[2] Он обещал сегодня же написать Белому, без его согласия нельзя начинать хлопот, а он вероломен. Нужно держать его в руках, жужжать ему в уши, — чтобы он не отвильнул, не передернул. Я знаю, что Прага для него — спасение. Во-первых: он обеспечен, во-вторых: *чудный* город, в-третьих: люди или одиночество на выбор, — как

---

* Самое необходимое *(фр.)*.

хочет, в-четвертых: я, т. е. моя готовность ему помогать и о нем заботиться: ЛЮБЯ, С РАДОСТЬЮ — и — НЕУСТАННО.

Все это ему передайте. Получать он будет около 800 кр⟨он⟩ в месяц, не меньше, жить можно (будет подрабатывать). И *запретите* ему всей моей волей — от иждивения отказываться. Пусть непременно примет. Без этого ехать бессмысленно.

Друг, сделайте это для меня. Настойте! Будьте судьбой! Стойте над ним неустанно. И — главное — в нужный час — посадите в вагон! Я встречу. Умоляю Вас Христом Богом, сделайте это! Здесь он будет писать и дышать. В России — ему нечего делать, я знаю, как там любят!

От Вас давно ни слова, но не Ваша вина, наверное скоро получу.

По моим просьбам Вы видите, какой Вы мне друг. Мне с Вами просторно. Я Вам верю. Это — отношение навсегда. Смело могу сказать. Я знаю, что в любой час Вы меня примете (у меня *всегда* — час Души!) В этом наша встреча, весь смысл ее. (Я не заговариваю зубы, чтобы Вы лучше переправили Белого, — честное слово! Просто с пера и из души рвется!)

И еще просьба: найдите мне верную оказию к Борису Пастернаку: из рук в руки. Мне необходимо переслать ему стихи и письмо. В почту не верю и адреса нет. Сейчас многие уезжают в Москву, найдите мне такого надежного, который немножко любит мои стихи и потому не выкинет моего письма. Или — просто порядочного человека. Письмо и стихи высылаю следом. Зря не отдавайте. Я не писала ему полгода, после такого срока писать — гору поднять, второй раз не соберусь. О, как много мужества нужно — жить! Как много — лжи! И как еще больше — правды!

Борис Пастернак для меня — святыня, это вся моя надежда, то́ небо *за* краем земли, то, чего еще не было, то, что *будет*, доверяю Вам свою любовь (письмо) Борису Пастернаку, как свою душу, не отдавайте зря.

Лучше было бы в Берлине же найти адрес, Эренбург его знает, можно как-нибудь через третье лицо (Вы в ссоре?) — и наверное еще другие знают, Геликон (Вишняк) например, или Гржебин, — если не уехали. Я пришлю Вам письмо в конверте, Вы надпишите адрес. Прежний адрес его: Волхонка, 14. В крайнем случае — пусть отъезжающий письмо берет та́к, и в Москве (в Союзе

Писателей — или Поэтов — или в одной из книжных лавок) его разыщет.

Сделайте это для меня!

Итак, еще раз напоминаю о Белом. Если еще не уехал — пусть едет в Прагу. Но до этого пусть известит: *да*[3], и после этого — пусть не отказывается. Дело сделаем быстро, и визу и иждивение, — всё. Мне будет помогать Слоним. Так ему и скажите. И передайте ему от меня всю мою нежность и память. ЗАГОВОРИТЕ, ЗАВОРОЖИТЕ его, — иначе его не возьмешь! Будьте его ВОЛЕЙ, и возьмите на подмогу — мою.

Обо всем этом немедленно же ответьте на Smichov: *Praha*, Smichov, Švedska ulice č⟨islo⟩ 1373.

Хорошо бы экспрессом, но боюсь, что разоряю.

Жму Вашу руку.

МЦ.

⟨*Приписка на полях:*⟩

И — чтобы покончить с просьбами: вытащите у Гржебина еще 20 (или 15) Психей. Я получила только 5 (есть квитанция). Не верьте обещаниям, пусть это будет сделано при Вас!

18

Прага, 10-го нов⟨ого⟩ января 1924 г.

Милый друг,

Когда мне было 16 л⟨ет⟩, а Вам 6 или вроде, жила на свете женщина, во всем обратная мне: Тарновская[1]. И жил на свете один человек, Прилуков — ее друг, один из несчетных ее любовников.

Когда над Тарновской — в Ницце ли, в Париже, или еще где — собирались грозы — и грозы не шуточные, ибо она не шутила — она неизменно давала телеграмму Прилукову и неизменно получала все один и тот же ответ: J'y pense*. (С П⟨рилуковым⟩ она давно рассталась. Он жил в Москве, она — везде.)

Прилуков для меня наисовершеннейшее воплощение мужской любви, любви — вообще. Будь я мужчиной, я бы была Прилуковым. Прилуков мирит меня с *землей*, это уже небо.

Итак, если Вы, мой друг, имеете в себе возможность дорасти до Прилукова, если на *каждый* мой вопль — J'y pense (всегда, везде), если поборота земная ревность, если Вы любите меня всю, со *всем* (всеми!) во мне, если Вы любите меня *выше жизни* — любите меня!

---

* Я думаю об этом *(фр.)*.

Обращаюсь к Вашим 20-ти годам, будь Вы старше — я бы от Вас этого не ждала (жду). Я хочу Вам дать возможность стать ЛЮБЯЩИМ, дать Вам стать самóй любовью — пусть через меня!

Вы пишете о дружбе. Маленький мой мальчик, это самообман. Какой я друг? Я подруга, а не друг. Как *подруга* задумана. Вы пишете еще о любви к другой. Я — другого, Вы — другую. Зачем тогда?! Женитесь на другой, «живите» с другими, *живите* — другими, но любите — меня. Иначе ведь бессмысленно.

Слушайте: я конечно хочу от Вас чуда, но Вам 21 год, а я поэт. Кроме того, это на свете *было*: не взаимная любовь на двух концах света, а любовь единоличная, *одного*. Человек *всю* любовь брал на себя, ничего для себя не хотел кроме как: любить. Он сам был Любовь.

Я сама так любила 60-летнего кн⟨язя⟩ Волконского, не выносившего женщин. Всей безответностью, всей беззаветностью любила и, наконец, добылá его — в вечное владение! Одолела упорством любови. (Женщин любить не научился, научился любить *любовь*.) Я сама так любила (16-ти лет) Герцога Рейхштадтского, умершего в 1832 г., и — четырех лет — актрису в зеленом платье из «Виндзорских проказниц»[2], своего первого театра за жизнь. И еще раньше, лет двух, должно быть, куклу в зеленом платье, в окне стеклянного пассажа, куклу, которую все ночи видала во сне, которой *ни разу* — двух лет! — вслух не пожелала, куклу, о которой может быть вспомню в смертный час.

Я сама — ЛЮБЯЩИЙ. Говорю Вам с connaisance de cause (de coeur!)*

Не каждый может. Могут: дети, старики, поэты. И я, как поэт, т. е. *конечно* дитя и старик! — придя в мир сразу избрала себе *любить другого*. Любимой *быть* — этого я по сей час не умела. (То, что так прекрасно и поверхностно умеют все!)

Дайте мне на сей раз быть Любимым, будьте Любящим: УСТУПАЮ ВАМ БЛАГУЮ ДОЛЮ.

Милый друг, я очень несчастна. Я рассталась с *тем*, любя и любимая, в полный разгар любви, не рассталась — оторвалáсь! В полный разгар любви, *без надежды* на встречу[3]. Разбив и его и свою жизнь. Любить сама не могу, ибо люблю его, и не хочу, ибо люблю его. Ничего не хочу, кроме него, а его *никогда не будет*. Это такое первое расставание за жизнь, потому что,

* Со знанием дела (сердца!) *(фр.)*.

любя, захотел всего: *жизни*: простой совместной жизни, то, о чем никогда не «догадывался» никто из меня любивших. — Будь моей. — И мое: — увы! —

В любви есть, мой друг, ЛЮБИМЫЕ и ЛЮБЯЩИЕ. И еще третье, редчайшее: ЛЮБОВНИКИ. Он был любовником любви. Начав любить с тех пор, как глаза открыла, говорю: Такого не встречала. С ним я была бы *счастлива.* (Никогда об этом не думала!) От него бы я хотела сына. (Никогда этого не будет!) Расстались НАВЕК, — не как в книжках! — потому что: *дальше некуда! Есть*: комната (любая!) и в ней: он и я, вместе, не на час, а на жизнь. И — сын.

Этого сына я (боясь!) желала страстно, и, если Бог мне его не послал, то, очевидно, потому что лучше знает. Я желала этого до последнего часа. И ни одного ребенка с этого часа не вижу без дикой растравы. Каждой фабричной из предместья завидую. И КА́К — всем тем, с которыми он, пытаясь забыть меня, будет коротать и длить (а может быть *уже* коротает и длит!) свои земные ночи! Потому что *его* дело — жизнь: т. е. забыть меня. Поэтому я и молиться не могу, как в детстве: «Дай Бог, чтобы он меня не забыл», — «забыл!» — должна.

И любить его не могу (хотя бы заочно!) — потому что это и заочно не дает жить, превращается (любимому) в сны, в тоску.

Я ничего для него не могу, я могу только одно для него: *не быть.*

А *жить* — нужно. (С⟨ережа⟩, Аля.) А жить — нечем. Вся жизнь на *до* и *после. До** — все мое будущее! Мое будущее — это *вчера*, ясно? Я — *без завтра.*

Остается одно: стихи. *Но*: вне *меня* (живой!) они ему не нужны (любит Гумилева, я — не *его* поэт!)[4] Стало быть: и эта дорога отпадает. Остается одно: стихии: моря, снега, ветра. Но все это — опять в любовь. А любовь — только в него!

Друг, Вы теперь понимаете, почему мне необходимо, чтобы Вы меня любили. (Называйте дружбой, все равно.) Ведь *меня нет*, только через любовь ко мне я пойму, что существую. Раз Вы все время будете говорить: «ты… твое… тебя», я наконец, пойму, что это *«ты»* — есть. Раньше: «люблю, стало быть существую», теперь: «Любима, стало быть…»

Ваша любовь ко мне будет *добрым делом*, почти что воскрешением из мертвых. И от Вашей любви ко мне я когда-нибудь, в свой час, попрошу еще бо́льшего. Но речь об этом — в свой час.

---

* РАССТАВАНИЯ *(примеч. М. Цветаевой).*

Есть стихи, — мало. Читали ли мое «Приключение»? (В «Воле России»)[5]. Пришлю. И, кажется, еще из моих «Земных Примет» скоро будет напечатано. Тоже пришлю. В феврале или марте выйдет моя сказка «Мóлодец», здесь, в Праге[6]. Одна из любимых моих вещей.

Получив Ваш ответ, обращусь к Вам с одним предложением (советом, требованием, просьбой), касающимся в равной мере и Вас и меня. Вещь, которой Вы увлечетесь. Но до оглашения ее мне нужен Ваш ответ.

Rue Bonaparte, 52 bis. Между площадями St. Sulpice и St. Germain des Prés. Часто, в задумчивости, входила в противоположную дверь, и привратница, с усмешкой: «M⟨ademois⟩elle se trompe souvent de porte»*. (Так я, м.б., случайно вместо ада попаду в рай!) Любовь к Наполеону II и — одновременно — к некоему Monsieur Maurice, 18-ти лет, кончающему collégien**. И еще — к M⟨ademoise⟩lle James, professeur de langue française***, 30-летней женщине, с бешеными глазами.

— «Aimez-Vous Edmond Rostand, Madame?»****

(Я, из восхищения... и здравого смысла не могла ей говорить M⟨ademoise⟩lle.)

И она, обеспокоенная:

— «Est-ce que j'ai une tête à aimer Rostand?»*****

Нет, tête****** у нее была не ростановская, скорее бестиальная: головка змеи с низким лбом: Кармен!

Когда же я — 16-ти лет, из хорошего дома и в полной невинности — не удержавшись, целовала ей руки:

— «Quelle drôle de chose que ces jeunes filles russes! Etes-vous peut-être poète en votre landue?»*******

Итак, до письма.

Знаете ли Вы, что последняя строчка моя к Вам (так и осталась без предыдущих!) была:

«ДО СВИДАНЬЯ, ТО ЕСТЬ: ДО СТРАДАНЬЯ!»

МЦ.

---

* «Девушка, вы часто не туда заходите» *(фр.)*.

** Лицей *(фр.)*.

*** Профессор французского языка *(фр.)*.

**** «Вы любите Эдмона Ростана, мадам?» *(фр.)*

***** «Разве похоже, что я поклонница Эдмона Ростана?» *(фр.)*

****** Голова *(фр.)*.

******* «Какие странные эти русские девушки! Может быть, Вы поэт в своей стране?» *(фр.)*

19

Милый Александр Васильевич,

Если свободны завтра в субботу вечером, очень рада буду Вас повидать.

Познакомитесь с моей дочерью Алей и может быть увидите моего спящего сына Георгия.

Марина Цветаева

Париж, 6-го ноября 1925 г., пятница

20

Meudon (S. et O.)
2, Avenue Jeanne d'Arc
6-го мая 1928 г.

Милый Александр Васильевич,

Обращаюсь к Вам с большой просьбой: помогите мне распространить билеты на мой вечер, имеющий быть 17-го[1]. Посылаю 10, распространите что́ сможете. Цена билета не менее 25 фр⟨анков⟩, больше — лучше. (NB! Думаю, что у меня будет полный зал и пустая касса!)

Посылаю книгу[2].

Всего лучшего, простите за просьбу.

МЦветаева.

21

Meudon (S. et O.)
2, Avenue Jeanne d'Arc
29-го июня 1928 г.

Милый друг,

Две радости, начнем с меньшей: деньги за билеты, которых я вовсе не ждала (думала, что Вам дала только пять, которые Вы и вернули), вторая — наличность твердых знаков в Вашей приписке, знаков *явно* приставленных, т. е. идущих от адресата. Спасибо за долгую память, за *такую* долгую память, твердый знак в конце слова, обращенного *ко мне*, для меня больше, чем слово, каким бы оно ни было. Та́к: «я всегда помни*л* Ва*с*», с радостью отдам за «совсемъ забылъ Васъ». (Ъ — значит помните, т. е. рука помнит, сущность помнит!)

Я перед Вами виновата, знаю, — знаете в чем? В неуместной веселости нашей встречи. Хотите другую — ПЕРВУЮ — всерьез?

Я скоро уезжаю — в конце следующей недели*.

Серьезно, хочу снять с себя — угрызение-не угрызение, что-то вроде. (А Вы еще читаете мой почерк?)

А у Вас сейчас — я-переписка и я-встреча — в глазах *двоюсь*, хочу восстановить единство.

Хотите — приезжайте ко мне, хотите встретимся где-нибудь в городе, *остановка электр⟨ического⟩ поезда Champ de Mars*, например, выход один. Хорошо бы часов в 6, вместе пообедаем, побеседуем, потом погуляем, обожаю летний Париж. Итак, назначайте день (можно и к 7 ч.). Только узнавайте меня *Вы́*, я очень робкая и боюсь глядеть.

Дружочек, м. б. Вы очень заняты или особенной охоты видеться со мной не имеете, — не стесняйтесь, не обижусь.

Но если хотите — торопитесь, скоро еду. (Если *не смогу*, извещу телеграммой, молчание — согласие.)

МЦ.

Других мест не предлагаю, п. ч. Париж не знаю. Лучше ответьте телеграммой, к нам pneu** не ходят.

22

Милый друг[1],

Письмо пришло слишком поздно: *вчера вечером*, т. е. как раз когда Вы меня ждали и когда меня не было: ни на Champ de Mars, ни дома, — провожала С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩ в Ройян, куда с детьми на самых днях еду вслед. Я ведь недаром говорила Вам о телеграмме: знаю за́город: его неторопливость, за которую и люблю. За́город никуда не торопится, потому что он уже всюду. Ну а мы — увы!

Итак, до осени, до встречи.

МЦ.

5-го июля 1928 г., четверг

Еду послезавтра, в воскресенье. Повидаться не успеем.

Телеграммы не получала.

---

* Нам нужно познакомиться! Мне много вздору говорили о Вас, Вам — еще больше обо мне: СМЕТЕМ! (*Приписка на полях. — Сост.*).

** Пневматическая почта *(фр.)*.

23

Meudon (S. et O.)
2, Avenue Jeanne d'Arc
7-го ноября 1928 г.

Милый Александр Васильевич,

Давайте повидаемся. У меня на этой неделе свободна только суббота — хотите? Станция электр⟨ической⟩ ж⟨елезной⟩ д⟨ороги⟩ Pont-Mirabeau, в 8 1/2 ч. веч⟨ера⟩, выход один. Погуляем или посидим — как захочется.

Если не можете — известите.

Всего лучшего.

МЦветаева.

Я очень близорука, — вся надежда, что Вы́ меня узнаете.

24

Meudon (S. et O.)
2, Avenue Jeanne d'Arc
10-го декабря 1928 г., понедельник.

Милый Александр Васильевич,

Я не только ответила Ва́м, но назначила Вам и ждала Вас. — В который раз — диву даюсь!

Это было недели две тому назад. Не дождавшись, естественно не написала, считая объяснения лишними. Но вот Вы опять пишете, и я опять отвечаю. Вся эта неделя у меня занята. Хотите — в следующий вторник, 18-го, Вы заедете за мной в 7 1/2 ч. и мы вместе куда-нибудь отправимся, лучше всего в к⟨инематогра⟩ф, где можно и говорить и не говорить. — Интересно, дойдет ли это письмо? До свидания!

МЦ.

P. S. «Тряпичный лоскут»[1] даже в кавычках к моим письмам неотносим!

Электр⟨ический⟩ поездок, станция Meudon Val-Fleury, от вокзала налево в гору, никуда не сворачивая, упретесь прямо в мой дом. 1-й эт⟨аж⟩, стучите.

Бахрах Александр Васильевич (1902—1985) — литературный критик, мемуарист. С мая 1920 г. в эмиграции. С конца 1922 г., по предложению заведующего литературным отделом газеты «Дни» М. А. Осоргина, начал писать рецензии. Одна из них, посвященная сборнику Цветаевой «Ремесло», послужила поводом для начала переписки между поэтом

и критиком. Со свойственной ей страстностью Цветаева бросилась в эту эпистолярную дружбу, пик которой пришелся на лето 1923 г. К моменту первой встречи, состоявшейся сразу по приезде Цветаевой в Париж, по словам Бахраха, «что-то за эти годы ушло, что-то выветрилось» (Бахрах А. По памяти, по записям. Париж, 1980. С. 59). В своих воспоминаниях критик писал: «...за все ее парижские годы я побывал у нее считанное число раз 〈...〉 Вероятно, это происходило потому, что разговор с ней у меня никогда не клеился, мне казалось, что приходится подниматься на крутую гору. Хоть и был он утонченно литературен, но, вместе с тем, в каждой брошенной ею фразе, в любом ее полуслове мне чудился какой-то второй смысл, намек на что-то, что перегорело или, строго говоря, что было измышлено» (там же).

Впервые опубликованы адресатом писем в журнале «Мосты» (Мюнхен. 1960. № 5 и 1961. № 6) с большими купюрами. Письма печатаются по тексту их первой научной публикации, осуществленной Дж. Малмстадом по хранящимся в Бахметевском архиве при Колумбийском университете оригиналам, — *ЛО*. 1991. № 8—10 (с исправлением опечаток), с использованием комментариев публикатора.

1

[1] Письмо является ответом на статью А. Бахраха «Поэзия ритмов» о сборнике Цветаевой «Ремесло», напечатанную в берлинской газете «Дни» (1923, 8 апреля). Текст этого письма, датированного 20 апреля 1923 г., был опубликован с купюрами по рабочей тетради Цветаевой как «письмо критику» (Новый мир. 1969. № 4. С. 191—193). Переписывая это письмо для отправления, Цветаева отступила от первоначального текста.

[2] Ср. с начальными строками будущей статьи Цветаевой «Поэт о критике»: «Первая обязанность стихотворного критика — не писать самому плохих стихов» (см. т. 5).

[3] Примером может служить отзыв Георгия Иванова о «Ремесле»: «...Стихи Цветаевой имеют тысячи недостатков — они многословны, развинчены, нередко бессмыслены, часто более близки к хлыстовским песням, чем к поэзии в общепринятом смысле. Но и в самых неудачных ее стихах всегда остается качество, составляющее главную (и неподдельную) драгоценность ее Музы — ее интонации, ее очень русский и женский (бабий) говор. Самая книга? Среди ее бесчисленных полустихов, полузаплачек и нашептываний — есть много отличных строф. Законченных стихотворений — гораздо меньше. Но эти немногие — прекрасны...» (Цех поэтов. Кн. 4. Берлин, 1923. С. 72).

[4] *Столица* Любовь Никитична (1884—1934) — поэтесса. После Октября эмигрировала, жила в Югославии.

[5] Статья К. В. Мочульского (1892—1948) «Русские поэтессы. — Марина Цветаева и Анна Ахматова» была опубликована в парижском еженедельнике «Звено» (1923, 5 марта. С. 2). Статья построена на сравнении

и противопоставлении поэтов. «Цветаева — вихрь, Ахматова — тишина» — так определил критик полярность творчества двух поэтов.

[6] В своей рецензии Бахрах писал: «Для «большинства» может даже стать вопрос: стихи ли это? 〈...〉 стихи ли или надоевшие кунстштюки?» *Кунштюк* (кунстштюк) от Kunststück — проделка, фокус (нем.).

[7] Блок А. Ямбы: Современные стихи (1907 — 1914). Пг.: Алконост, 1919.

[8] В упомянутой статье «Поэзия ритмов» Бахрах писал: «В «Ремесле» предел былых устремлений. Так дальше нет пути. Дальнейшее шествование этим путем — шествование к пропасти, в бездну; в сторону от поэзии к чистой музыке». В рабочей тетради Цветаевой после слов «Куда дальше? В Музыку, т. е. в конец» идет другой текст ответа на слова критика: «Верю, что Вы искренне в тот час задумались, потому отвечаю: нет! Из Лирики (почти музыки) — в Эпос. Флейта, дав максимум, должна замолчать... Это разрежение голоса — в голосах, единого — в множествах. Чем на тысячу голосов выражать одну душу, я буду одним голосом выражать тысячу чужих, из которых каждая — тоже одна! То, чего не может один, могут — в одном — многие. Единство множества. Оркестр — тоже единство» (Новый мир. 1969. № 4. С. 192).

[9] Неточная цитата из стихотворения Каролины Павловой «Ты, уцелевший в сердце нищем...» (1854). У К. Павловой: «Одно, чего и святотатство...» и далее.

[10] Речь идет об обрыве в конце «Посмертного марша» на полуслове припевных строк «И марш вперед уже...» («И марш — »), на что А. В. Бахрах писал: «Срывается последний вскрик, последняя вспышка посмертной боли, последний недоконченный, застывший вопль, падающий в пространство и уносимый в просторы бесконечности. После этого потерянность тела, равнодушие. Со-ратник снова становится только поэтом».

[11] *Гржебин* Зиновий Исаевич (1877* — 1929) — художник, издатель. В эмиграции возглавлял «Издательство З. И. Гржебина», где вышли «Психея» Цветаевой, книги Белого, Пастернака, Ремизова, Ходасевича и др.

[12] См. письма к Р. Б. Гулю и комментарии к ним.

[13] См. комментарий 4 к письму 30 к А. А. Тесковой.

[14] Книга под таким названием при жизни Цветаевой издана не была.

[15] Берлинское кафе, находившееся на Прагерплаце. «Кафе „Прагердиле“ — перекресток, на котором встречались все, — являлось неким скромным провозвестником всех будущих Монпарнасов эмиграции; за его столиками, как ни в чем не бывало, „решались судьбы“ мирового и отечественного искусства, а также самого отечества и всего мира; заключались издательские договора; 〈...〉 в „Прагердиле“ издателей величали именами издательств, а не наоборот!» (*А. Эфрон.* С. 125).

---

* Сведения дочери издателя (Евреи в культуре Русского Зарубежья. Вып. 1. Иерусалим, 1992. С. 142). Ранее приводились даты 1868 или 1869 г.

2

[1] В четырнадцатой книге «Метаморфоз» Публия Овидия Назона (43 до н.э. — ок. 18 н.э.) сказано: «Вот до чего изменюсь! Видна я не буду, но голос//Будут один узнавать, — ибо голос мне судьбы оставят» (цит. по: Овидий. Метаморфозы. Пер. с лат. С. Шервинского. М.: Худож. лит., 1977. С. 343).

[2] Ср. в стихотворении «В глубокий час души и ночи...» (см. письмо 3).

[3] *«Мариула», «Бессонница»* — стихотворные циклы в сборнике «Психея». *Манон* — имеется в виду стихотворение «Кавалер де Гриэ! — Напрасно...» (см. т. 1).

[4] *«Petropolis»* — кооперативное издательство, основанное в 1918 г. в Петрограде. В 1922 г. открыло отделение в Берлине. Большинство своих книг печатало по новой орфографии.

3

[1] Имеется в виду «Страшная месть» из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (1832).

[2] Начало письма (кроме даты и приветствия) написано лиловыми чернилами, а остальное — синими (*ЛО*. 1991. № 8. С. 105).

[3] «Petropolis» печатал книги и по старой орфографии (см., например: Гумилев Н. Огненный столп. Изд. 2-е. 1922).

[4] Берлинское издательство, основанное весной 1920 г. И. В. Гессеном (1865—1943) и А. И. Каминкой (1865—1940). Выпускало русскую классическую и современную литературу; книги печатались как по старой, так и по новой орфографии.

[5] См. письмо 4 к Р. Б. Гулю.

4

[1] Б. Н. Бугаев, то есть Андрей Белый.

[2] «В ту пору в Берлине — это было незадолго перед возвращением Андрея Белого в Москву — я часто с ним встречался. Можно без преувеличения сказать, что в эти дни он проходил через полосу „безумств“ и отчаяния, которое усугублялось тем, что он сам толком не мог решить, что ему дальше предпринимать, хотя ясно чувствовал, что и для него эта нелепая „берлинская жизнь“ приходит к концу; словом, он был в тупике» (Бахрах А. По памяти, по записям. Париж, 1980. С. 52).

[3] Воспоминания Цветаевой об А. Белом «Пленный дух» (см. т. 4).

[4] Выражение из Евангелия (от Матфея, 11, 15; от Марка, 4, 23).

[5] Имеются в виду строки из стихотворения, посланного в предыдущем письме: «Так некогда над тростниковой//Корзиною клонилась дщерь//Египетская...» Дочь египетского фараона нашла младенца Моисея в корзине среди тростника на берегу Нила и усыновила его (Исход. 2, 1—10). См. также стихотворения «И поплыл себе — Моисей в корзине!..», «У камина, у камина...» (т. 1).

[6] *Архангельский* Александр Андреевич (1846–1924) – хоровой дирижер, композитор. В 1923 г. возглавил Общестуденческий русский хор в Праге.

[7] Возможно, одна из сестер Рейтлингер – Катерина или Юлия (см. комментарий 6 к письму 5).

5

[1] Рецензия А. Бахраха на сборник Цветаевой «Психея» была напечатана в газете «Дни» 24 июня 1923 г.

[2] В своей рецензии критик писал: «Звучащие в книге молитвы... думается, не больше, как дань мгновенному обольщению величественной пышностью слова. Цветаева слишком сильно вкусила сладость мира – в этом достаточно яркой порукой ее белоснежная „Психея"...»

[3] См. письмо 4 к П. И. Юркевичу и комментарий 1 к нему.

[4] Летом 1922 г. Цветаева с мужем и дочерью «перебрались в маленькую гостиничку на Траутенауштрассе, где вместо прежнего большого номера заняли два крохотных – зато с балконом» (*А. Эфрон.* С. 131).

[5] В конце июля 1923 г. А. Белый жил на маленьком курорте Альбек, на берегу Балтийского моря. 27 августа он вернулся в Берлин с морского курорта Свинемюнде. Он провел весь сентябрь в городе, в мучительном ожидании разрешения вернуться в Россию (*ЛО.* 1991. № 8. С. 109).

[6] Имеются в виду Катя и Юлия Рейтлингер, а возможно, и Валентина Евгеньевна Чирикова, дочь писателя Е. Н. Чирикова, жившего в это время с семьей под Прагой (там же).

[7] У А. С. Пушкина: «Как уст румяных без улыбки,//Без грамматической ошибки//Я русской речи не люблю» («Евгений Онегин», гл. 3, XXVIII).

6

[1] Ср. первую строку стихотворения М. Цветаевой «Минута», написанного несколько дней спустя (12 августа 1923 г.): «Минута: ми́нущая: минешь!..» См. т. 2.

[2] Возможно, Цветаева вспомнила молитву потому, что недавно прочла повесть Р. Б. Гуля «В рассеяньи сущие». (См. письмо 10 к Гулю.)

[3] Бахрах писал: «Подзаголовок книги («Романтика». – *Сост.*) уже отчасти указывает на ту основную тенденцию, на которую опиралась поэтесса при его составлении».

[4] В рукописи описка: В. К. З-ву.

[5] Имеется в виду стихотворение В. Ходасевича «Жив Бог! Умен и не заумен» (Современные записки. 1923. № 16. С. 141). Цветаева совершенно напрасно приняла это стихотворение как выпад против нее и Пастернака; поэт явно имел в виду заумную поэзию футуристов, в частности Крученых и Хлебникова (*ЛО.* 1991. № 9. С 104).

Отношение Ходасевича к Цветаевой в описываемое время было более благожелательным, чем ее к нему. В письме к Бахраху от 7 декабря 1923 г. Ходасевич, после нескольких встреч с Цветаевой в Праге в ноябре 1923 г., назвал ее «женщиной хорошей» (Малмстад Дж. Переписка В. Ф. Ходасевича с А. В. Бахрахом.—Новое литературное обозрение. М. 1993. № 2. С. 183). См. также письма Цветаевой к В. Ф. Ходасевичу в т. 7.

[6] Слова из стихотворения В. Ходасевича «Жив Бог! Умен, а не заумен...» (1923).

[7] Имеется в виду граф Дмитрий Иванович Хвостов (1756—1835), стихотворец. В литературных кругах его имя было нарицательным для обозначения плодовитого графомана.

[8] «Вдруг, не стерпя счастливой муки,//Лелея наш святой союз,// Я сам себе целую руки,//Сам на себя не нагляжусь»—вторая строфа стихотворения В. Ходасевича «К Психее» (1920 г.). Ср. цветаевские строки: «Руки люблю//Целовать, и люблю//Имена раздавать...» («Руки люблю...», 1916 г.) См. т. 1.

[9] *Берберова* Нина Николаевна (1901—1993)—прозаик, поэтесса, критик; третья (гражданская) жена Ходасевича в 1922—1932 гг. Одну из встреч с Цветаевой в ноябре 1923 г. Берберова описала в своих воспоминаниях: «Ранний ноябрьский вечер черен за окном. Мы сидим с трех часов при лампе в номере пражского отеля «Беранек»: Цветаева, Эфрон, Ходасевич и я. 〈...〉 Все, что говорит Цветаева, мне интересно, в ней для меня сквозит смесь мудрости и каприза, я пью ее речь, но в ней, в этой речи, почти всегда есть чуждый мне, режущий меня больной надлом, восхитительный, любопытный, умный, но какой-то нервный, неуравновешенный, чем-то опасный для наших дальнейших отношений, будто сейчас нам еще весело летать по волнам и порогам, но в следующую минуту мы обе можем столкнуться и ушибиться, и я это чувствую, а она, видимо, нет, она, вероятно, думает, что со мной можно в будущем либо дружить, либо поссориться...» (*Воспоминания о Цветаевой.* С. 281).

[10] Третье из упомянутых стихов О. Мандельштама из его сборника «Tristia» (Пг.; Берлин, 1922) не является отдельным стихотворением, а представляет собой строки второй строфы обращенного к Цветаевой стихотворения «Не веря воскресенья чуду». См. также «Историю одного посвящения» (т. 4).

[11] *Мандельштам* (урожденная Хазина) Надежда Яковлевна (1899—1980) позже писала: «Мне пришлось несколько раз встречаться с Цветаевой, но знакомства не получилось. 〈...〉 В основном инициатива «недружбы» шла от нее. Возможно, что она вообще с полной нетерпимостью относилась к женам своих друзей (еще меня обвиняла в ревности—с больной головы да на здоровую!)» (*Воспоминания о Цветаевой.* С. 139). Дальше: «Автор «Попытки ревности», она, видимо, презирала всех жен и любовниц своих бывших друзей, а меня подозревала, что это я не позволила Мандельштаму «посвятить» ей стихи. Где она видела посвящения над любовными стихами? 〈...〉 Стихи Мандельштама обращены к ней,

говорят о ней, а посвящение—дело нейтральное, совсем иное, так что «недавняя и ревнивая жена», то есть я, в этом деле совершенно ни при чем» (там же. С. 141).

[12] «*Проводы*»—цикл из трех стихотворений, написанных в 1916 г.: «Собирая любимых в путь...», «Никто ничего не отнял!..» и «Разлетелось в серебряные дребезги...» (*Рус. мысль*. 1923. № I/II). См. т. 1.

[13] См. комментарий 7 к письму 4.

[14] *Синезубов* Николай Владимирович (1891—1948) — художник-декоратор. Провел 1922—1923 гг. в Германии, вернулся в Россию, с 1928 г. снова в эмиграции. См. также письмо 87 к С. Н. Андрониковой-Гальперн (т. 7).

[15] «Ремизов был великим знатоком и ревнителем древнерусской литературы и истории, славянский язык стал для него языком настолько живым и родным, что и письма друзьям он писал уставом и полууставом, виртуозно украшая их буквицами, „финиками“ и росчерками, и речь свою уснащал древнецерковными оборотами, и шутил и скоморошествовал, как во время оно, и творчество свое насыщал притчами, древними актами и седой стариной до того, что от затейливой вязи этой начинало мельтешить в глазах» (*А. Эфрон*. С. 201).

[16] *И. Эренбург*. Жизнь и гибель Николая Курбова (Берлин: Геликон, 1923). В романе, написанном в феврале—ноябре 1922 г., Катя, молодая фанатическая приверженка белого движения, влюбляется в коммуниста-чекиста Курбова, которого она как член конспираторской контрреволюционной группы должна была убить. С натяжкой можно узнать в ее характеристике черты Цветаевой, как они представлялись фантазии Эренбурга: страстность, «темперамент», «романтический монархизм», «монархический романтизм» (*ЛО*. 1991. № 9. С. 103).

[17] Андрей Белый.

[18] См. комментарий 4 к письму 27 к О. Е. Колбасиной-Черновой.

[19] Бальмонт, вспоминая Москву 1920 г., писал: «Марина добрая и безрассудная. Она не хочет оставаться в долгу. У нее в доме несколько картофелин. Она все их приносит мне и заставляет съесть» (*Воспоминания о Цветаевой*. С. 93).

[20] А. А. Тургенева. См. о ней в очерке «Пленный дух» (т. 4). Там же Цветаева намекает на связь А. А. Тургеневой с поэтом А. Б. Кусиковым (без упоминания фамилии).

Об этом писал и А. Бахрах: «Его (А. Белого.—*Ред.*) жена, Ася Тургенева, ... приехала из своего антропософского поселка, из штейнеровского Дорнаха для решительных объяснений, для окончательного разрыва, который она обставила несколько «необычной» и умышленно оскорбительной для самолюбия Белого мизансценой, афишируя, как только могла, свою связь с имажинистским поэтом Кусиковым» (*ЛО*. 1991. № 9. С. 105).

[21] М. А. Осоргин.

8

[1] Такая же фотография сохранилась с надписью Цветаевой: «Сережа своему изъятию воспротивился, он себе нравится *именно* таким страшным МЦ, Мокропсы, 19-го авг⟨уста⟩ 1923 г., Чехия» (частное собрание). В альбоме «Фотобиографии Цветаевой» (Анн Арбор: Ardis, 1980. С. 80) этот снимок неверно датирован 1925-м годом.

9

[1] О русской гимназии в Моравской Тшебове см. письмо 1 к А. В. Оболенскому и комментарий 1 к нему.

[2] 24 августа 1923 г. Цветаева написала стихотворение «Наука Фомы» (см. т. 2).

[3] Две недели, с 14 по 28 августа 1923 г., Бахрах вместе с Зайцевыми, Ходасевичем и др. провел в Прерове (Prerow) (Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 177).

[4] Неточная цитата из стихотворения А. Фета «На качелях» (1890). Правильно: «Правда, это игра, и притом//Может выйти игра роковая!..»

[5] Речь идет о А. В. Оболенском. См. письма к нему.

[6] Имеется в виду книга Густава Шваба «Прекраснейшие сказания классической древности». См. также письмо 18 к А. А. Тесковой и письмо 4 к В. Б. Сосинскому (т. 7).

[7] Похищение Елены троянским царевичем Парисом послужило поводом к Троянской войне (миф). У Цветаевой об этом см., например, стихотворение «С этой горы, как с крыши...» (1923), более поздние стихотворения «Есть рифмы в мире сём...» (1924), «Та́к—только Елена глядит над кровлями...» (1924). См. т. 2.

[8] Герцог Лозэн, герой цветаевской пьесы «Фортуна» (см. т. 3).

[9] Рисунок в архиве Бахраха не сохранился (*ЛО*. 1991. № 9. С. 108).

10

[1] А. С. Эфрон писала о первой встрече М. И. Цветаевой с ее будущим мужем, Сергеем Эфроном. Они «встретились—семнадцатилетний и восемнадцатилетняя—5 мая 1911 г. на пустынном, усеянном мелкой галькой коктебельском, волошинском берегу. Она собирала камешки, он стал помогать ей ⟨...⟩ Марина загадала: если он найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж! Конечно, сердолик этот он нашел тотчас же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых,—и вложил ей его в ладонь, розовый, изнутри освещенный, крупный камень, который она хранила всю жизнь» (*А. Эфрон*. С. 50).

[2] См. комментарий 10 к письму 1.

[3] Из стихотворения «Не здесь, где связано...» (1922) цикла «Сугробы», посвященного Эренбургу. См. также письма к И. Г. Эренбургу и письмо 4 к Р. Б. Гулю.

[4] Из стихотворения «Легкомыслие! — Милый грех...» (1915). См. т. 1.

[5] Когда Цветаевой показали фотографию Бахраха, она сказала, что надеялась увидеть «военного и с бакенбардами» (Письмо В. Ф. Ходасевича А. В. Бахраху от 7 декабря 1923 г. — Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 182).

[6] О готовящемся новом сборнике стихов и его названии см. письмо 14 к Р. Б. Гулю и комментарий 1 к нему.

[7] Отклика Бахраха на выход сборника «После России» не последовало. Много позже он уделил ему несколько строк в своих воспоминаниях: «Этому сборнику надлежало бы стать событием в российской литературной жизни. А кто его заметил по-настоящему? Времена были такие, что никакая русская книга не могла стать „событием"...» (Бахрах А. По памяти, по записям. Париж, 1980. С. 60).

[8] Безусловно, имеется в виду Б. Л. Пастернак.

[9] О дружбе Цветаевой с П. Г. Антокольским см. «Повесть о Сонечке» (т. 4). См. также стихотворение «Дарю тебе железное кольцо...» (1919), ему посвященное (т. 1).

[10] О Н. В. Синезубове (у Цветаевой описка в инициалах) см. комментарий 14 к письму 6.

[11] А. В. Оболенский.

[12] Письмо написано на последнем листе «Бюллетеня болезни».

[13] Никакого адреса на обороте листа нет (*ЛО.* 1991. № 9. С. 112).

11

[1] «Симптомы кризиса русского литературного Берлина явственно отражаются на страницах журнала „Новая Русская Книга" в 1923 г.: заметно истощился в связи с отъездом писателей из города раздел „Писатели о себе", а вскоре и вовсе прекратил свое существование, как и сам журнал (знак общего кризиса, разразившегося в русском книгоиздательском деле осенью 1923 года). 9 сентября Зайцевы, например, уехали в Италию, а затем в Париж. 21 сентября Шкловский вернулся в Россию и в тот же день Ходасевич зашел в чешское консульство насчет визы, и т.д.» (*ЛО.* 1991. № 10. С. 102).

[2] К письму были приложены стихи под общим названием «Час души» (см. т. 2):

«Божественно и детски-гол...» (с припиской: «Первое послано». См. письмо 3).

Наклон («Материнское — сквозь сон — ухо...»)

Раковина («Из лепрозария лжи и зла...»)

Заочность («Кастальскому току...»)

«В глубокий час души...»

Письмо («Так писем не ждут...»)

Час души («Есть час Души, как час Луны...»)

[3] Перефразированные Цветаевой строки из стихотворения Рильке «Du mußt nicht bangen, Gott. Sie sagen: *mein...»** («Часослов». «Книга паломничеств»).

* «Не должен ты бояться, Боже. Пусть говорят они: *моя...»* (*пер. с нем.* Г. Забежинского).

[4] Имеются в виду стихотворения «Пробочка над крепким йодом!» («Пробочка», 1921); «Я сам себе целую руки» («К Психее», 1920); у Ходасевича не «Не чистый дух, не глупый скот...», а «Лишь ангел, Богу предстоящий,//Да Бога не узревший скот//Мычит заумно и ревет.// А я – не ангел осиянный,//Не лютый змий, не глупый бык» («Жив Бог!..», 1923 – см. комментарий 5 к письму 6). (*ЛО*. 1991. № 10. С. 103.)

[5] «Русский Дом», в котором помещался ряд комитетов пражского Земгора (например, Бюро труда), находился на Панской улице (дом 16).

[6] Пригород Берлина. Бахрах, как и Цветаева, навестил там А. Белого летом 1922 г.

[7] Возникшая в 1921 г. и недолго просуществовавшая организация, объединяющая деятелей русской литературы и искусства. Основателем и первым председателем «Дома» был писатель Николай Максимович Минский (настоящая фамилия Виленкин; 1855–1937). «Первые собрания Дома происходили в уютном, но недостаточно вместительном кафе „Ландграф“, и постоянными их посетителями были Белый и Ремизов, Алексей Толстой и Эренбург с женами, художники Пуни и Милиоти...» (Бахрах А. О берлинском Доме Искусств. Новое русское слово. Нью-Йорк. 1981. 29 ноября).

12

[1] Одна из учениц гимназии позже вспоминала: «...приезжала поэтесса Марина Цветаева. У нее была дочка Аля в десятом бараке, такая же зеленоглазая, странная и дерзкая, как мать. 〈...〉 Мы с моим братом стали бегать за Цветаевой по аллеям, а она проходила, ни на кого не глядя и видя все лет на двадцать вперед и на тысячу – назад, встряхивала своими медовыми волосами, стриженными в кружок, не очаровывалась нами и зачаровала нас навеки» (Головина А. Вилла «Надежда». М.: Современник, 1992. С. 305).

[2] «Да, она (Цветаева. – *Сост.*) приглядывалась ко мне со стороны, вела счет моим словам и словечкам с чужих голосов, моим новым повадкам, всем инородностям, развязностям, вульгарностям, беглостям, пустяковостям, облепившим мой кораблик, впервые пущенный в самостоятельное плаванье. Да, я, дитя ее души, опора ее души, я, подлинностью своей заменявшая ей Сережу все годы его отсутствия; я, одаренная редчайшим из дарований – способностью любить ее так, как *ей* нужно было быть любимой; я, отроду понимавшая то, что знать не положено, знавшая то, чему не была обучена, слышавшая, как трава растет и как зреют в небе звезды, угадывавшая материнскую боль у самого ее истока; я, заполнявшая свои тетради ею – я, которою она исписывала свои 〈...〉 я становилась *обыкновенной девочкой*» (*А. Эфрон*. С. 190).

[3] Л. М. Эренбург.

13

[1] Речь идет о только что возникшем романе с К. Б. Родзевичем. См. письма к нему, а также «Поэму Горы» и «Поэму Конца» (т. 3).

[2] Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие 4, явление 4).

[3] Источник цитаты не установлен.

[4] К. Н. Рейтлингер.

14

[1] В это время Цветаева готовилась продолжить работу над своей трагедией «Ариадна», замысел и первые наброски которой относятся к лету 1923 г. Трагедия была закончена в октябре 1924 г. (см. т. 3).

[2] Из стихотворения О. Мандельштама «И поныне на Афоне» (1915).

[3] Первый друг — С. М. Волконский; третий — Б. Л. Пастернак. Второй друг, по предположению Дж. Малмстада, — С. Е. Голлидей, героиня «Повести о Сонечке» (*ЛО*. 1991. № 10. С. 106).

[4] Адреса на обороте листа нет (там же).

15

[1] Бахрах собирался переехать из Берлина в Париж.

[2] Инициал Наполеона «N», окруженный венками, украшает множество парижских зданий.

[3] См. также письмо 3 к Л. Е. Чириковой и письмо 10 к А. А. Тесковой.

[4] См. комментарий 1 к предыдущему письму.

[5] Бахрах правильно цитировал окончательные строки «Цыган». У Пушкина: «И от судеб защиты нет».

[6] О статуе пражского рыцаря см. также в письмах к А. А. Тесковой (письма 10, 86, 110, 111, 112, 113). 27 сентября 1923 г. Цветаева написала стихотворение «Пражский рыцарь» (см. т. 2).

[7] Во вторник, 4 сентября 1923 г., газета «Дни» впервые сообщила своим читателям о «небывалом землетрясении», случившемся 1 сентября в Японии. В течение двух недель, каждый день подряд, в газете печатались подробности «катастрофы, разразившейся над Японией». Половина Токио и вся Иокогама были разрушены. Погибло почти сто тысяч человек (*ЛО*. 1991. № 10. С. 107).

[8] Запись от 18 сентября 1823 г. в книге Иоганна Петера Эккермана «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни». В немецком оригинале: «Alle meine Gedichte sind Gelegenheitsgedichte...» («Все мои стихи зависят от обстоятельств...») (там же. С. 107–108). См. также письмо 7 к Р. Б. Гулю.

16

[1] Терминология книги «Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik» (1872, в русском переводе «Рождение трагедии из духа музыки») соединена с двумя именами: Диониса и Аполлона. Самый «дух музыки» (лежащий, как считал Ницше, в основе греческой культуры) он связал с Дионисом, выражающим стихийную, иррациональную сторону души человека. Противоположно ему аполлоническое начало — рациональная сторона человека. Дионисийское начало, по Ницше, есть стремление человека вырваться за пределы «индивидуального».

В дионисийском начале видели последователи Ницше возможность для личности переступить границы между отдельным человеком и миром, что было созвучно идейным и художественным исканиям русской культуры начала века. Цветаевой книга Ницше нужна была, по-видимому, для работы над трагедией «Гнев Афродиты» (*ЛО*. 1991. № 10. С. 109).

17

[1] Летом 1923 г. А. Белый решил вернуться в Россию; 1-го августа он получил извещение Берлинской комиссии Наркомпроса о разрешении въезда в РСФСР. Он должен был два с половиной месяца ждать визы (иногда в состоянии, доходящем до истерики, так как был уверен, что получит отказ), а 23 октября вернулся в Москву (*ЛО*. 1991. № 10. С. 109).

[2] «Тотчас же ответила ему (Белому. — *Сост.*), что комната имеется: рядом со мной, на высоком пражском холму — Смихове 〈...〉 Что М. Л. Слоним почти наверное устроит ему чешскую стипендию в тысячу крон ежемесячно...» (Ц в е т а е в а М. Пленный дух. См. т. 4).

[3] Слово подчеркнуто трижды.

18

[1] Летом 1910 г. итальянские и русские газеты были наводнены репортажами об уголовном процессе Марии Николаевны Тарновской, обвинявшейся в подстрекательстве к убийству с корыстной целью. Цветаева скорей всего знала о Тарновской по книге итальянской писательницы Анни Виванти «Роман Марии Тарновской», появившейся в русском переводе в 1923 г. (*ЛО*. 1991. № 10. С. 111).

[2] Комедия В. Шекспира (1598). Цветаева ошибается. Она не могла в возрасте четырех лет (в 1896—1897 гг.) видеть этот спектакль. Поставленный в 1890 г. в Малом театре, спектакль вскоре, в 1891 г., был снят с репертуара и возобновлен лишь 22 октября 1902 г. В других театрах эта комедия не ставилась. (Репертуарная сводка. — История русского драматического театра: т. 6. М.: Искусство, 1982; т. 7, 1987).

[3] Разрыв между Цветаевой и Родзевичем, как полагает дочь Цветаевой, основываясь на записи матери, произошел 12 декабря 1923 г. (*А. Эфрон.* С. 193).

[4] В беседе в 1982 г. с Вероникой Лосской Родзевич сказал: «Говорила ли она со мной о стихах, о своей поэзии? Нет. Очень мало. Она, например, один раз подарила мне стихи, но не свои, а Гумилева. Я тогда ее стихи не ценил и очень любил Гумилева, его мужественность, его силу 〈...〉 В Праге я был неподготовлен к ее поэзии, я ценил Гумилева, а не Цветаеву, тогда как теперь, наоборот, нахожу, что у Гумилева много дешевого героизма и авантюризма в дурном смысле. Тогда это совпадало с моим отношением к жизни, это соответствовало моему возрасту, моей тяге к авантюризму и легкому успеху» (*Лосская В.* С. 88).

[5] Приключение: Пьеса в пяти картинах.—Воля России. 1923. № 18/19 (см. т. 3).

[6] «Мо́лодец» вышел лишь весной 1925 г. (На титуле: 1924).

20

[1] О вечере Цветаевой 17 июня 1928 г. см. письмо 35 к А. А. Тесковой и комментарий 3 к нему, а также письма 3 и 5 к В. Н. Буниной (т. 7).

[2] Речь идет о только что вышедшем в Париже сборнике Цветаевой «После России». «Книга эта у меня уцелела и стоит на книжной полке. 〈...〉 Экземпляр «После России», вероятно, ее последний осязаемый привет, она прислала мне с лаконическим «на память», без каких-либо дальнейших уточнений и это единственная сохранившаяся у меня ее книга с автографом» (Бахрах А. По памяти, по записям. Париж. 1980. С. 60). Текст автографа: «Александру Васильевичу Бахраху на добрую память. Марина Цветаева. Медон, 7-го мая 1928 г.» (Частное собрание).

22

[1] Письмо написано на обороте приглашения на творческий вечер, устроенный Цветаевой 17 июня 1928 г. (Invitation a la soirée de Marina Zwetaewa—Poésie—ayant lieu le 17 juin 1928. 38, Bd. Raspail. 9 h. du soir*) (*ЛО.* 1991. № 10. С. 112).

24

[1] Из стихотворения М. Цветаевой «Письмо» («Так писем не ждут...»), приложенного к письму 11.

---

* Приглашение на вечер Марины Цветаевой—Стихи—имеющий состояться 17 июня 1928 г. Б〈ульвар〉 Распай, 38. Начало в 9 ч. вечера *(фр.)*.

Г. П. СТРУВЕ

1

30-го июня 1923 г.

Милый Глеб,

Ваше гаданье правильно: мало люблю «Евгения Онегина»[1] и *очень* люблю Державина[2]. А из Пушкина больше всего, вечнее всего люблю «К морю»,—с десяти лет по нынешние тридцать[3]. И «версты полосаты», и там, где про кибитку: Пушкина в просторах[4]. Там он *счастливее* всего, там он не должен быть злым. Эренбурга из призраков галереи вычеркиваю[5], я его мало читала, со стихами его, по-настоящему, познакомилась только в Берлине. (Не потому вычеркиваю, что поссорилась[6],—честное слово!)

Ах, у Вас во втором столбце (4-ая строчка *до* первой цитаты) *гениальная* опечатка: «в цветаевской *ЛАГГЕРЕЕ*»,—от *лагерь*,—чудесно!

Любопытно было бы узнать, какие стихи в «Ремесле» Вы считаете плохими[7], спрашиваю вне самолюбия (самолюбие ведь сродно вкусу, и из-за безмерности моей во мне тоже отсутствует!) Любопытно, чтобы понять чужое мерило, допытаться, почему не дошло.

Согласна, что «Психея» для читателя приемлемее и приятнее «Ремесла». Это—мой откуп читателю, ею я покупаю право на «Ремесло», а «Ремеслом»—на дальнейшее. Следующую книгу будете зубами грызть. Но это еще не скоро[8].

Шлю Вам привет и благодарность.

МЦ.

2

Милый Глеб,

Посылаю сборник[1]. К сожалению, «Поэмы Конца» прочесть не успела,—м. б. есть опечатки.

Когда едет Петр Бернгардович?[2] И не взял ли бы он ма-аленькой посылочки для Сережи? Все сторожу оказию[3].

Привет Вам, Юлии, сонной девочке и бессонному мальчику[4]. Будет время, напишите и приходите.

МЦ.

Рильке необычаен[5]. Уже нездешние слова!

29-го ноября 1925 г.

Струве Глеб Петрович (1898—1985)—литературовед, издатель. С конца 1918 г. в эмиграции. Автор монографии «Русская литература в изгнании» (Нью-Йорк, 1956; Париж, 1984).

Знакомство М. Цветаевой и Г. П. Струве состоялось летом 1922 г. в Берлине. Г. П. Струве заведовал отделением редакции журнала «Русская мысль» и наблюдал за его печатанием в одной из берлинских типографий. Редакция журнала, которую возглавлял Петр Бернгардович Струве, отец адресата, находилась в Праге. Встречи Цветаевой и Г. П. Струве продолжались и в Чехии, а затем некоторое время в Париже, главным образом на литературных вечерах и собеседованиях. В начале 1930-х годов их общение прекратилось. По свидетельству Г. П. Струве, причиной явилась советофильская позиция мужа М. Цветаевой.

Впервые – Мосты (Мюнхен. 1968. № 13/14). Печатаются по тексту первой публикации с исправлениями в соответствии с текстом, опубликованным Е. И. Лубянниковой (*Звезда.* С. 23).

1

[1] Цветаева отзывается на рецензию Г. П. Струве на ее сборники «Ремесло» и «Психея», напечатанную в берлинской газете «Руль» (1923, 24 июня). Об отношении Цветаевой к Пушкину рецензент писал: «...не может быть, чтобы Цветаева не любила и не ценила Пушкина, но она наверное больше любит романтических „Цыган“ (одно имя Мариула чего стоит!), чем „Медного всадника“ или „Евгения Онегина“».

Подтверждением высказывания Цветаевой о «Евгении Онегине» служит ее запись в «Ответе на анкету» (1926): «Евгения Онегина» не любила никогда». См. т. 4.

[2] Державина Цветаева всегда высоко ценила и любила. (См. также письмо 3 к О. А. Мочаловой в т. 7.) Критиками, в том числе и Г. П. Струве, отмечались преемственность и развитие державинской языковой традиции в поэзии Цветаевой. В архиве Цветаевой (РГАЛИ) сохранились начальные строки ее отзыва о «Державине» В. Ходасевича; замысел этой статьи, по-видимому, не был реализован.

[3] В «Ответе на анкету» Цветаева называет это стихотворение как одно из наилюбимейших в детстве. О своем отношении к нему в 10-летнем возрасте она подробно пишет в очерке «Мой Пушкин» (см. т. 5).

[4] Имеются в виду стихи А. С. Пушкина «Дорожные жалобы» («Долго ль мне гулять на свете...») и «Сквозь волнистые туманы...».

[5] Г. П. Струве писал в статье: «У каждого поэта есть своя поэтическая родословная, более или менее ясная. Иногда за ее строчками, то в бешеной скачке обгоняющими одна другую, то в каком-то неповоротливом движении одна за другую цепляющимися, почудятся лики и лица Державина, Тютчева, Блока, Эренбурга. Покажутся и скроются. Не портреты, а призраки».

[6] О разладе личных отношений Цветаевой с Эренбургом см. ее письма к Р. Б. Гулю (4) и А. В. Бахраху (4).

[7] У Г. П. Струве: «По ритмическому богатству и своеобразию это совершенно непревзойденная книга, несмотря на присутствие плохих,

безвкусных стихов (Цветаева лишена чувства меры и от этого часто страдает ее вкус)».

[8] Следующая и последняя прижизненная книга стихов поэта «После России», вышла в Париже в 1928 г.

2

[1] «Ковчег», вышедший в Праге, в котором была напечатана «Поэма Конца». О «Ковчеге» см. подробнее в письмах Цветаевой к В. Ф. Булгакову и комментариях к ним (т. 7). В рецензии на этот сборник Г. П. Струве выделил поэму Цветаевой как единственное значительное произведение во всей книге (Возрождение. Париж. 1926. 21 января).

[2] П. Б. Струве, переселившись в Париж, чтобы редактировать газету «Возрождение», часто ездил в Прагу.

[3] С. Я. Эфрон в то время заканчивал диссертацию в Пражском университете; через месяц он воссоединился с семьей в Париже.

[4] *Юлия* — жена Г. П. Струве. (См. письмо Цветаевой к ней.) *Сонная девочка и бессонный мальчик* — дети Г. П. и Ю. Ю. Струве, Марина и Андрей (р. 1924).

[5] Данный отзыв Цветаевой относится, очевидно, к книгам Рильке «Duineser Elegien» («Дуинезские элегии») и «Die Sonette an Orpheys» («Сонеты к Орфею»), увидевшим свет в 1923 г. См. также письма 2 и 3 к Р.-М. Рильке (т. 7).

Ю. Ю. СТРУВЕ

Мокропсы, 30-го июня 1923 г.

Милая Юлия,

Я Вас не забыла, а просто выбилась из колеи писанья писем. — Тронута, что окликнули.

Живу все там же, все так же, созерцаю дожди, изредка размышляю о влиянии на Чехию (!!!) — извергающейся Этны[1] и продвигающихся полярных льдов[2].

Огонь + лед дает дождь, т. е. слезы. Но я не плачу, меня после Сов⟨етской⟩ России ничем не возьмешь, даже безысходной скукой Чехии.

Закончила переписку своих московских записей (1917 г. — 1919 г.), получилась основательная книга[3]. Пишу стихи, читаю Диккенса, собираю — до потери сознания! — чернику, мечтаю о новом платье, но глубже вдумавшись, понимаю, что оно бессмысленно, потому что тоже станет старым[4].

Бываю в Праге редко, на каждом собрании журналисты сбрасывают старого председателя и голосуют нового[5]. Я неиз-

менно сажусь около Маковского и обезьяню с него все жесты. Он подымет руку — и я подымаю, он забудет — а я в глупом положении. Он мил, я его люблю. Он глубокó-искренен в своих слабостях, в его устах — они очарование. Кроме того, он по-настоящему глубокó-культурен. С ним не попадаешь каждоминутно в безвоздушные пространства неведения, младенческого изумления. Это пристало Вашей Марине, да и то — до году, правда? Сколько ей сейчас месяцев? Обозначилось ли уже сходство со мной?[6] Если будет дикая, — знайте, что в меня. А я пошла в кормилицу. А кормилица была цыганка[7]. У Вашей дочери сомнительная родословная! А родина ее (исходя из меня и цыганки) не то Индия, не то Египет. (Цыган в старину звали «египтяне», у Мольера, напр⟨имер⟩[8]).

А «незнакомка», занесшая ей «Ремесло» — некто Катерина Исааковна Еленева, дочка известного врача Альтшулера, — существо милое, красивое и обаятельное. Она жена одного из здешних студентов[9].

Спасибо Глебу за прекрасный отзыв о «Ремесле» и «Психее»[10]. Но напишу ему об этом отдельно. Как здоровье Льва Струве?[11] Как Нина Александровна?[12] П⟨етра⟩ Б⟨ернгардовича⟩[13] вижу редко и бегло, мне кажется, что он меня не любит, а это не располагает[14]. («Не любит» здесь, как: не дохожу.)

Целую нежно Вас и Марину. Аля увлекается сокольской гимнастикой[15] и окончательно перестала отзываться на арифметику. И она и Сережа шлют привет.

МЦ.

Струве (урожденная Андре) Юлия Юльевна (р. 1900) — первая жена Г. П. Струве. Познакомилась с Цветаевой в Берлине в 1922 г.

Впервые — Мосты. Мюнхен. 1968. № 13/14. Печатается по тексту публикации Е. И. Лубянниковой (*Звезда.* С. 22—23).

[1] *Этна* — действующий вулкан на острове Сицилия в Италии. Цветаева могла видеть Этну во время поездки в свадебное путешествие по Сицилии в 1912 г.

[2] Об интересе Цветаевой к этой теме см. также письмо 14 к Р. Б. Гýлю.

[3] «Земные приметы». Об этой книге и попытках ее напечатать см. письма к Р. Б. Гулю и комментарии к ним.

[4] Последнее новое платье было куплено Цветаевой под категорическим нажимом Л. М. Эренбург летом 1922 г. в Берлине, следующее — подарено С. Я. Эфроном на редакторский заработок осенью 1925 г. (*Звезда.* С. 24).

[5] Речь идет о собраниях Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии, членами которого состояли М. Цветаева и С. Я. Эфрон.

[6] Старшая дочь Ю. Ю. и Г. П. Струве Марина родилась 5 февраля 1923 г. в Берлине. Ей Цветаева надписала только что вышедший свой сборник «Ремесло»:

«Моей крестнице в мирах иных
— Марине —
на первую Пасху ее земной жизни —
без обязательства читать.

Марина Цветаева

Прага, Вербная неделя 1923 г.»

(Мосты. 1968. № 13/14. С. 397).

М. Г. Струве умерла в 1984 г.

[7] Цветаева пишет о своей кормилице в очерке «Мой Пушкин».

[8] В современной науке утвердилась единая точка зрения, согласно которой предки цыган — выходцы из Индии. В пьесах Мольера наряду с «египтянами» встречается и другое название цыган — «богемцы», используемое в современном французском языке. (*Звезда*. С. 24).

[9] *Еленева* (урожденная Альтшуллер) Екатерина Исааковна (1897—1982) — первая жена Н. А. Еленева (см. о нем комментарий 3 к письму 26 к. А. А. Тесковой). *Альтшуллер* Исаак Наумович (Нотович) (1870—1943) — ялтинский врач, лечивший А. П. Чехова и Л. Н. Толстого. После революции жил в Берлине, Праге и Нью-Йорке.

[10] См. письмо 1 к Г. П. Струве и комментарий 1 к нему.

[11] *Струве* Лев Петрович (1902—1929), один из младших братьев Г. П. Струве, в то время студент Высшей Торговой школы в Берлине; был болен туберкулезом, от которого и умер через несколько лет (там же. С. 24—25).

[12] *Струве* (урожденная Герд) Нина (Антонина) Александровна (1868—1943) — дочь известного педагога А. Я. Герда, мать Г. П. Струве. Преподавала естественную историю.

[13] П. Б. Струве.

[14] Цветаева утвердилась в этом мнении и усомнилась в понимании П. Б. Струве стихов вообще после его критической заметки «О пустоутробии и озорстве» (Возрождение. Париж. 1926. 6 мая), где он в резкой форме отозвался о ее последних публикациях. (См. также письмо 20 к Д. А. Шаховскому в т. 7.)

[15] Имеется в виду гимнастическое общество «Русский сокол» в Праге, созданное в 1921 г.

А. К., В. А. и О. Н. БОГЕНГАРДТАМ

1

Мокропсы, 21-го августа 1923 г.

Милый Всеволод,

Сережа на самых днях выезжает, все это время прошло в поисках комнаты и перевоза вещей. Если бы Вы знали, какой у нас хлам и как все нужно!

Будем жить в Праге на горе, вроде как на чердаке (под крышей), но зато без хозяев.

До 1-го наш адрес прежний, —к этому времени, я думаю, Алю уже можно будет привезти?[1]

Прошение в Министерство подано, обещали не задерживать.

Сережа привезет Вам мои книги, он очень рвется к Вам и на днях — дорвется.

Шлю Вам всем сердечный привет и благодарность.

МЦ.

2

Прага, 21-го сент⟨ября⟩ 1923 г.

Дорогие

Антонина Константиновна, и Ольга Николаевна, и Всеволод Александрович,

(а Всеволод после всех! Но это не оттого, что я его меньше всех люблю!)

Я люблю вас всех одинаково: всех по-разному и всех одинаково: Антонину Константиновну за вечную молодость сердца, Ольгу Николаевну за веселое мужество жизни, а Всеволода — просто как милого брата, совсем не смущаясь, хочет ли он такой сестры.

Во время дороги не разжала зубов: весь вагон уже говорил по-чешски. Стояла у окна, курила и ела чудные сливы и груши из рыжего мешка, не решаясь никого угостить, хотя и противоестественно есть одной. (В этом я — *не* дикарь!)

Пересела благополучно, на вокзале меня встретили. Но на следующий день уже замотала ключи (очевидно, провалились сквозь дыру в Сережином портфеле, который я, за отсутствием владельца, торжественно таскала с собой всюду, в надежде быть принятой за студента).

Других бед пока не было (тьфу, тьфу, не сглазить!)

А вот странный сон, который мне нынче приснился, господа, подумайте и напишите, ктó кáк толкует:

Иду с несколькими людьми по улице, вдоль белой стены. Навстречу — не то кривляка, не то убогий: волосы, как пакля, гримасное лицо, ужимки. Протягивает огромную красную розу и называет какую-то весьма скромную цену (лиру). Беру ее — и — мгновенно роза истлевает, скрючивается, желтеет и тоже гримасничает, как то лицо.

И я, почему-то по-итальянски: «Ma questo non é più una rosa!» (Но это уже не роза) и еще что-то. Но его уже нет, не взяв лиры, исчез. Цветок у меня в руке и я в ужасе: куда́ с ним? (Бросить почему-то не решаюсь.) И вижу: над стеной — Распятие, Голгофа, Христос и разбойники. Хочу было Христу, но... ведь это же не роза! Это явная мерзость. Тогда — разбойнику. Но разбойник Христом прощен! Тогда, отчаявшись, кладу ее к подножью креста, верней — у самой стены, — и голос:

«Будет беда на двенадцать Евангелий».

Смотрю: в стену вделана икона, — должно быть икона 12-ти Евангелий. (Есть такая?) И просыпаюсь.

Господа, непременно подумайте, мне такие явные сны редко снятся, неприятное чувство.

От Али получила длинное хорошее письмо, она знает, как мне надо писать. Если бы она так же писала в тетрадку, я была бы очень довольна. С восторгом сообщает о карманной чернильнице. — Спасибо! —

А та́ барышня, действительно, Романченко[1], только не дочка врача, а сестра одного пражского студента, прелестного юноши, которого я очень люблю. Она не так давно приехала из Киева.

Антонина Константиновна, были ли в гостях у наших хозяек? Соберитесь как-нибудь с Алей, Аля будет беседовать с девицей по-чешски, Вы с вдовой по-немецки. И непременно попросите показать альбомы, или пусть Аля попросит. — Повеселитесь. —

С любовью вспоминаю *свою* Моравию, — ах, как жесток и дик моим ушам и устам чешский язык! Никогда не научусь. И, главное, когда я говорю, они *не* понимают!

Целую всех троих нежно. Предателю-Жуку — рукопожатье.

Мой привет обоим Николаям Николаевичам[2]. Аля пишет, что подружилась с дочкой Евреинова[3], — хорошая девочка?

Спасибо за всю ласку.

МЦ.

3

Прага, 29-го Октября 1923 г.

Мои дорогие Богенгардты!

Осчастливлена и уничтожена восхитительным подарком. Но радость покрывает смущение, иначе я бы никогда не решилась взяться за перо.

Пишу Вам в райское утро: ни единого облачка, солнце заливает лоб и стол, щурюсь и жмурюсь как кошка. Такая погода у нас стоит уже несколько дней, ничего не хочется делать. Осень, уходя, точно задумалась, оглянулась назад на лето и никак не может повернуться к зиме. Меня такие дни растравляют, как всякая незаслуженная доброта. (NB! A bon entendeur — salut!*) В детстве я всегда мечтала, чтобы меня *очень* не-любили (проще: ненавидели!), чтобы не чувствовать этой вечной растравы умиления. Потому что для *настоящей* благодарности — нет ведь никаких слов!

Живем все там же (Вы — переехали!) Гора пока суха и благородна: подталкивает, но не спускает (вниз головой!). Что́ будет в дожди — знаю. (Знаю!!) Готовим дома, достали из починки примус, чинившийся *шесть* месяцев и уже не числившийся в живых! — Это большое облегчение после спиртовки, где спирт *кипел,* а вода *не* вскипала! (Так же вскипали, вернее: испарялись — кроны!) Примус горит полдня, а обходится всего в крону.

Я много дома, С⟨ережа⟩ почти все время на лекциях и в библиотеке. В отчаянии от количества предметов и от какого-то семинария, из коего — если он уйдет — уйдут все. (Всего — семь человек! А профессору восемьдесят семь лет!)[1]

Я много пишу, может быть удастся издать в здешнем новом из⟨дательст⟩ве «Пламя» свою поэму «Мо́лодец». (Про упыря.)[2] Но: здесь столько жаждущих и алчущих издаться — что руки опускаются! Так и ходят с портфелями, думаю, что на портфелях же — и спят!

Как здоровье Ольги Николаевны? Нарыв — тяжелая вещь, а в особенности — невидимый, еще страшнее. Но надеюсь, что уже обошлось.

Только что пришел С⟨ережа⟩ с грустной вестью: Пра умерла[3]. Умерла во второй день Рождества прошлого года, от расширения легких. Макс был при ней.

С Пра уходит лучшая наша с Сережей молодость, под ее орлиным крылом мы встретились.

От Али часто получаю письма, пишет, что все хорошо, и в каждом письме — новая подруга. Она не отличается постоянством.

---

* Благо тому, кто умеет слушать! *(фр.)*

Целую крепко всех троих. Скоро напишу еще. Еще раз — нежнейшее спасибо. Платье по мне, только чуть-чуть сузила пояс. А в *то* — сразу влезла!

МЦ.

4

Дорогая Антонина Николаевна[1],

Безумно беспокоимся об Але: вот уже восьмой день как от нее нет письма. (Последнее с посылкой.) Боюсь, что она больна и что Вы нарочно скрываете, ожидая выяснения хода болезни. Вообще, всего боюсь. Ради Бога, не томите, если она больна — пишите, что́. Я вне себя от страха, сегодня все утро сторожили с Сережей почтальона.

Простите, что сейчас ни о чем другом не пишу, ни о чем не пишется, я вся в этой тревоге.

Целую Вас нежно, также Ольгу Николаевну и Всеволода. Прилагаемое письмо передайте, пожалуйста, Але.

МЦ.

Прага, 2-го Ноября 1923 г.

5

Прага, 11-го Ноября 1923 г.

Моя дорогая Антонина Константиновна,

Сердечное и глубочайшее спасибо за телеграмму и письмо. У меня в эти дни душа изныла об Але. Если бы Вы знали, как я боюсь разлуки!

В этом отношении я конечно ненормальный человек: не от природы, а жизнь сделала такой. В Революцию, в 1920 г., *за месяц* до пайка у меня умерла в приюте младшая девочка и я насилу спасла от смерти Алю[1]. Я не хотела отдавать их в приют, у меня их *вырвали:* укоряли в материнском эгоизме, обещали для детей полного ухода и благополучия, — и вот, через 10 дней — болезнь одной и через два месяца — смерть другой.

С тех пор я стала безумно бояться разлуки, чуть что — и тот старый леденящий ужас: а вдруг? Знаю все Ваши возражения, знаю, что Тшебово для детей, действительно, рай, знаю Вас и Ваше сердце, и пишу Вам все это только для того, чтобы Вы знали *корень* этой ненормальности. Но довольно о таких мрачных вещах. Я убеждена, что Але в Тшебове хорошо, она так долго не была ребенком, так мало умела просто-радоваться в детстве, а теперь сразу: и подруги, и правильное расписание

дня, и игры, и учение. Продолжая жить со мной, она выросла бы несчастной, я сама никогда не была настоящим ребенком, поэтому плохо понимаю детей: чужих — боюсь, со своих (своего) черезмерно взыскиваю. «Врачу, исцелися сам»[2], это (в смысле воспитания) ни к кому так не относится, как ко мне.

У нас первые морозы. Наша гора седая. Недавно утром был такой туман, что я, идя за молоком в лавочку, действительно не различала своих ног, не говоря уже о том, куда они ступают. Вот и сейчас, пока пишу, мутное пятно окна, ни единого очертания. Прага зимой наводит сон. Утром не хочется вставать, а вечером не дождешься часа, когда в постель. Топим печку: веселую и исправную. Я люблю огонь в трубе, иногда напоминает море. Уютно ли у вас, в вашем новом жилье?

Часто мысленно переношусь в Тшебово, вижу маленькую площадь с такими огромными булыжниками, гербы на воротах, пляшущих святых. Вспоминаю наши с Вами прогулки, — помните грибы? И какую-то большую пушистую траву, вроде ковыля.

Напишите мне о зимнем Тшебове. Что делают все мальчики, когда нельзя играть в футбол? Неужели читают? До настоящего снега ведь еще далёко. Ставят ли какие-нибудь пьесы? Обо всем хочется знать, я с Тшебовым сроднилась.

Кончаю. Еще раз от всего сердца благодарю Вас и Ваших за Алю. До Рождества только полтора месяца, скоро увидимся. Мой поцелуй и привет Ольге Николаевне и Всеволоду. Как бы хотелось вас всех увидеть в Праге!

МЦ.

6

Прага, 17-го мая 1924 г.

Дорогая Антонина Константиновна,

Простите за молчание. Бесконечно тронута Вашим участием. Планы — на ближайшее время — следующие: на днях еду устраивать, вернее выискивать, наше летнее жилье. Ехать на Юг сейчас все отговаривают, решила перенести поездку на осень, когда в Чехии самая сквернота. Пока думаю ехать с Алей на границу Сакс⟨онской⟩ Швейцарии, 3 ч. от Праги[1]. Там Эльба и лесистые горы. Еще поговорю с врачом. Татры (знаменитые чешские горы) слишком далёко, — от 16 ч. до 20 ч. езды. Нужно беречь деньги на осень. За квартиру внесла до 1-го, к 1-му неминуемо должны уехать.

С настоящей Швейцарией (не саксонской!) сейчас навряд ли выйдет — слишком сложно. С Алей я расставаться не хочу, а жить там, даже в случае Алиной стипендии, не по средствам, — кажется еще дороже Чехии.

Мысль об Италии я не оставила, осенью продам еще книжку стихов, — и двинемся.

Аля поправляется, но t° держится. Гуляем с ней полдня, здесь чудные сады.

Сейчас иду на почту, целую всех, большое спасибо за подарки Але, сейчас у нее всё есть.

МЦ.

Мой адр⟨ес⟩ до 1-го прежний, по отъезде сообщу.

P. S. Читал ли Всеволод в газетах про своего тезку — комиссара Богенгардта?[2]

7

Meudon (S. et O.)
2, Av⟨enue⟩ Jeanne d'Arc
12-го июня 1929 г.

Милые Антонина Константиновна, Оля и Всеволод! Вот Ваше чадо[1]. Если нужно — отпечатаю еще, только напишите *ка́к* — посветлее (есть одна светлая) или потемнее. Светлые скорей выцветают. На одной карточке — увы! — Саша не вышел, виноват Мур, занявший все место.

Да! Не забыла ли я у вас куска своего мундштука (дерев⟨янного⟩) — оплакиваю его!

Всего лучшего, целую

МЦ.

8

Vanves (Seine) 65, Rue J. B. Potin
25-го марта 1938 г., пятница

Дорогие Богенгардты!

Наконец-то собралась вам ответить. У меня большое горе: мой 19-летний приятель — умер, проболев около двух месяцев —

сердце не выдержало (был полу-японец, полу-англичанин, и получилось существо необычайной духовной силы — и физической хрупкости. При встрече — расскажу).

Так вот тот чудесный доктор — тоже покойный — все равно бы не помог: мой Киохэй (вишневая ветка) просто — сгорел.

Все эти дни (уже — недели) была с его матерью (рожденная Гамильтон, а по отцу он — Инукай, внук того министра-самурая, к⟨оторо⟩го лет пять назад убили террористы) — приехавшей из Лондона — чтобы посидеть с ним несколько дней — и похоронить[1].

А сейчас усиленно разбираю свои архивы: переписку *за 16 лет,* — начинаю в 6 1/2 утра, кончаю со светом, — и конца краю не видно.

Хочу всё это — т. е. имеющее ценность — куда-нибудь *сдать* — слишком ненадежны времена и мне не уберечь. А всё это — история. — Тяжелое это занятие: строка за строкой — жизнь *шестнадцати лет,* ибо проглядываю всё. (Жгу — тоже пудами!)

Поэтому, пока что ехать к вам не могу — пока не кончу.

Когда приеду, привезу Всеволоду книг: многое — продаю, еще больше — отдаю, и еще больше — остается.

Простите за долгое молчание: я *правда* — невиновата, просто — минуты не было. Обнимаю всех вас и непременно, как только вздохну — побываю.

МЦ.

P. S. Всеволод! Привезу и семейные фотографии — всякие: я как раз буду разбирать. И другие разные реликвии.

9

Vanves (Seine)
65, Rue J. B. Potin
10-го июня 1938 г.

Дорогой Всеволод!

Увы! скоро не выберусь: до 12-го нужно закончить все письменные и печатные (С⟨ережины⟩ и мои) дела, над чем работаю уже 4-ый месяц, иногда с *6 ч.* утра, *все* уложить, часть (мебели и книг) распродать — и еще найдется!

У меня для Вас будет много книг (старинных) и кое-какие вещи в хозяйстве. Ближе к делу — напишу и попрошу Вас за ними заехать, м. б. будет печка, м. б. — две, м. б. — три, то есть: если Вам *нужны* — продавать *не* буду: напишите пожалуйста! (Печки — стоячие: одна — Годэн, другие — вроде.)

Не сердитесь на меня, что так долго не писала: минуты нет! ведь помимо моего за 16 лет — и С⟨ережа⟩ и Аля — *всё* бросили,

а *сколько* было! Например Алины рисунки и всякие журнальные вырезки — за годы. Я не покладая рук работала и работаю: днями не выхожу: был день — нет дня, (За покупками ходит Мур〈.)〉 Иногда — отчаиваюсь. Обнимаю всех и жду ответа насчет печек (нужны ли, нет ли, сколько).

МЦ.

10

Vanves (Seine) 65, Rue J. B. Potin
28-го июня 1938 г.

Милый Всеволод,

Вы не отвечаете, а время бежит и дорог *каждый день.*

1) Нужны ли Вам печки?

2) Когда (точный день недели) можете приехать за книгами, вещами и фотографиями? Я наверняка дома только по утрам (до часу).

3) Можете ли доставить на обратном пути от меня на Denfert-Rochereau ящик (не огромный, но и не маленький) с моими рукописями?[1]

Все это *очень* срочно, и если будете медлить — вещи (посуду и всякое хозяйственное) *разберут.*

Итак, жду спешного и точного ответа. Я живу совершенно каторжной жизнью и пишу Вам это в 6 ч. утра.

Предупредите заблаговременно — чтобы я успела получить, а то — бывает — мы с Муром уходим на рынок, или еще куда-нибудь.

12-го вся моя квартира кончается: не остается ничего: вещи идут на склад, а мы, скорее всего, на неск〈олько〉 дней в отельчик[2].

Обо всем этом — молчите и *молча* понимайте!

Жду *скорого* ответа.

Если приедете около 12 ч. — вместе позавтракаем.

Целую всех и умоляю скорее отозваться

М.

11

7-го июня 1939 г. — письмо полу́чите гораздо позже[1] —

Дорогие Богенгардты!

Прощайте!

Проститься не могла — потому что только в последнюю минуту, доглядывая последнюю записную книжку — нашла ваш адрес. (Дважды писала Вам по старому и никогда не получила ответа.)

Спасибо за всё!

Даст Бог — встретимся.

Оставляю Всеволоду свои монеты — и музейный знак моего отца[2]: не потеряйте адреса:

Маргарита Николаевна Лебедева
18 bis, Rue Denfert-Rochereau
Paris, 5-me.

— только пусть Всеволод сначала запросит — когда придти, или сообщит — когда придет.

2-ой эт⟨аж⟩; направо.

Страшно жаль расставаться.

Непременно расскажу С⟨ереже⟩, какими вы нам были верными друзьями.

Обнимаю всех вместе — и каждого порознь — желаю здоровья и счастья в детях — и чтобы всем нам встретиться.

М.

⟨*Приписки на полях:*⟩

Мур горячо приветствует. Он — колосс, растут усы, а *за дорогу,* пожалуй, отрастет и борода!

Если смогу — напишу. Помнить буду — *всегда.*

Богенгардт Всеволод Александрович (1892—1961) — однополчанин и друг С. Я. Эфрона. В эмиграции он с женой сначала обосновался в Чехии, где они работали воспитателями в русской гимназии в Тшебове, затем семья перебралась во Францию. В. А. Богенгардт работал шофером такси. Ольга Николаевна — его жена. Антонина Константиновна — его мать.

Впервые — письма 1—10 — *Вестник РХД,* 1992, № 165. (Публикация Е. И. Лубянниковой и Н. А. Струве.) Печатаются по тексту первой публикации. Письмо 11 — по тексту публикации, подготовленной Е. И. Лубянниковой и Л. А. Мнухиным для *Вестника РХД.*

1

[1] Цветаева с мужем готовились отвезти свою дочь в русскую гимназию в Моравскую Тшебову. В связи со своим отъездом в гимназию А. Эфрон вспоминала о Богенгардтах: «Марине не хотелось меня отпускать: по старинке она считала, что девочкам образование ни к чему, и — боялась разлуки. И на разлуке, и на образовании настоял отец. Кроме того, в гимназии работали в качестве воспитателей недавние однополчане отца, супруги Богенгардты. Он — высокий, рыжий, с щеголеватой выправкой, офицер еще царской армии, она — крупная, громоздкая, с волосами, собранными на затылке в тугой кукиш, с явно черневшими над верхней губой усиками — сестра милосердия, мать-командирша.

На фронте она выходила его после тяжелых ранений, отучила от водки, отвела от самоубийства, стала его женой. И, чтобы жизнь получила оправдание и смысл, оба посвятили ее детям-сиротам. (Много лет спустя, в середине тридцатых годов, на парижской стоянке такси я вдруг увидела в одной из машин рыжую бороду, напомнившую мне детство. — Богенгардт! — Рассеявшаяся было дружба возобновилась. Мы с роди-

телями ездили в богенгардтовский дальний пригород из своего, в маленький домик, в котором вокруг постаревшей, еще более раздавшейся, но не сдававшейся Ольги Николаевны толпились и копошились приемыши — которое уж поколение! Трудно, почти невозможно было обеспечивать их существование ненадежным заработком шофера, но любовь к обездоленным детям — великая чудотворица. Это были люди большого сердца.) У них остановились Марина и Сережа на недолгое время моих приемных экзаменов — потом родители расстались со мною до Рождества» (*А. Эфрон.* С. 184, 186). См. также письма 9, 11, 12 к А. В. Бахраху и письмо 1 к А. В. Оболенскому и комментарий 1 к нему.

2

[1] *Романченко* — вероятно, Николай Тимофеевич (1902—1987), учился в Праге, потом жил в Париже, в 1933 г. вернулся как специалист-химик в СССР, арестован в 1938, освобожден в 1954. В Праге и Париже встречался с Цветаевой, но редко (*Вестник РХД,* 1992, № 165. С. 179).

[2] С точностью установить личности Жука и обоих Николай Николаевичей не удалось. Их было трое: Розов — преподаватель пения, Лакида — учитель латыни, Дрейер — воспитатель младших классов, зять А. В. Жекулиной, известного педагога, основательницы гимназии в Тшебове (там же).

[3] Дочь Бориса Евреинова — Наталья, внучатая племянница А. В. Жекулиной (там же).

3

[1] С. Я. Эфрон занимался в семинаре Н. П. Кондакова (см. о нем письмо 19 к О. Е. Колбасиной-Черновой и комментарий к нему). Но в 1923 г. Н. П. Кондакову было 79 лет, а не 87, как ошибочно пишет Цветаева.

[2] См. комментарий 10 к письму 4 к Б. Л. Пастернаку.

[3] *Пра* — Е. О. Волошина скончалась 8 января 1923 г. См. письма к ней.

4

[1] Описка Цветаевой: правильно Константиновна.

5

[1] См. письма к В. К. Звягинцевой и А. С. Ерофееву и комментарии к ним.

[2] Выражение из Евангелия (Лука, 4, 23).

6

3 [1] Летние планы Цветаевой в отношении Швейцарии осуществлены не были.

[2] В те дни русские газеты писали об аресте 16 мая 1924 г. служащего советского торгового представительства в Берлине Боценгарда (почти Богенгардта!), занимавшегося коммунистической деятельностью. (См., например: Руль. 1924. 18 мая).

7

[1] *Чадо* — Александр Всеволодович Богенгардт.

8

[1] Об этом таинственном молодом приятеле Цветаевой почти ничего не известно. Дед его Инукáй Цуёси (1855—1932) был видным японским политическим деятелем, в 1931—1932 гг.—премьер-министром (убит во время военного путча 15 мая 1932 г.) (*Вестник РХД,* 1992, № 165. С. 179).

10

[1] На Денфер-Рошро (18-bis) жили Лебедевы, мать и дочь. Речь идет об оставленном им архиве, который, после их отъезда в США, погиб во время наводнения.

[2] См. комментарий 3 к письму 108 к А. А. Тесковой.

11

[1] См. также написанные в канун отъезда в Советский Союз письма Цветаевой к А. А. Тесковой (119), а также в т. 7 к А. Берг (73), А. И. Андреевой, Н. Н. Тукалевской.

[2] *...свои монеты.*—По-видимому, речь идет о дореволюционных (царских) монетах, вывезенных Цветаевой на память за границу. См., например, стихотворение «Струна» (1931): «Той, где на монетах—//Молодость моя.//Той России—нету.//—Как и той меня». *...музейный знак моего отца.*—Имеется в виду нагрудный памятный знак, учрежденный для членов Комитета по созданию Музея изящных искусств, основателем и первым директором которого был И. В. Цветаев. Существовало два типа этого нагрудного знака. Описание одного из них: «Нагрудный памятный знак. Бронза, эмаль. 1898 года И〈мператорский) М〈осковский〉 У〈ниверситет〉. Музей Изящных Искусств. Российский герб. Монограмма А III [Александр III]. Учрежден ко дню закладки будущего музея (17 авг. 1898)». (Марина Цветаева. Каталог юбилейной выставки: 1892—1992. М.: Дом Марины Цветаевой, 1992. С. 155.)

А. В. ОБОЛЕНСКОМУ

1

Тшебово, 8-го сентября 1923 г.[1]

Дорогой Андрей Владимирович,

Все еще вижу Ваше милое лицо на вокзале. Как мне грустно, что нам в этой сутолоке даже как следует не удалось проститься! Это я виновата, с тростью.

Здесь хорошо, но столько чужого (чуждого)—хотя бы совместное жительство пятисот *душ* (именно *душ!* Говорю о лагере![2]), что я лишний раз чувствую ужас перед жизнью, ужас перед собой и желание поскорее этот неравный брак (души и жизни!) разорвать.

— Невеселые вещи для открытки?! — Но, увы: «Tout ce qui n'est pas bête est triste — et tout ce qui n'est pas triste est bête!»*

Шлю Вам привет и благодарность.

МЦ.

2

Моравская Тшебова, 2-го января 1924 г.[1]

С Новым годом, дорогой Андреюшка,

Нашли ли портфель? Какой подарок мне надумали? Желаю Вам в 1924 г. научиться говорить: со мной одной. (С остальными не нужно!) Ходите ли на мою горку? Это *моя* горка! Пишу про нее стихи[2].

Только что видалась с Вашим братом[3], разглядев его близко убедилась, что он похож на Б. Пастернака (моего любимого поэта!). Рассказывал мне о Праге. Напишите мне два слова, вернусь около 10-го. Мой адр⟨ес⟩: Moravska Třebova, Rusky Tabor, гимназия, В. А. Богенгардту[4], для меня.

МЦ.

3

Вшеноры, 5-го января 1925 г.

Дорогой Андрей Владимирович,

Сообщите, пожалуйста, Кате[1] адрес Черновых:

Paris, 19-e arr⟨ondissement⟩
8, Rue Rouvet[2]

Он у нее был, и она его, с записной книжкой, потеряла. Не могу представить себе, чтобы Катя к Вам в Париже не зашла, — думаю, что она даже остановится у Вас[3].

Ольга Елисеевна писала мне о вашей необыкновенной встрече, — как по-писаному! как в романе! Князь-маляр и жена бывшего министра[4].

Слышала о Вашей сравнительной удаче, из других ремесл это пожалуй не худшее, — вспомните Тома Сойера и его стену (если когда-нибудь читали)[5].

Много пишу. В январском № «Воли России» будет мой стих — длинный[6] — возьмите у О⟨льги⟩ Е⟨лисеевны⟩ и прочтите. У нее же можете достать мою прозу «Вольный проезд» («Совр⟨еменные⟩ Зап⟨иски⟩» кн⟨ига⟩ 21) и «Чердачное» в рождеств⟨енском⟩ № «Дней»[7]. В рождеств⟨енском⟩ № чешского «Спроводая» появился мой портрет[8] — между Кондаковым

* «Все, что не глупо, то печально — и все, что не печально, то глупо!» *(фр.)*

и Струве[9]. На их фоне я решительно выигрываю. Чехи написали, что никто меня из России не высылал, но что я не смогла вынести всех большевицких безобразий и сама уехала.—Забавно.—

Елки у нас еще не было,—справляем по-старому. И Нового Года еще не встречали.

Изнемогаю от печек, углей, грязи, посуды, всей этой пятилетней невылазной чернейшей работы. Но все-таки служить бы не пошла. Это единственное утешение. Всё в моей жизни: «Tu l'as voulu, Georges Dandin!»*[10]

У нас весна,—настоящая. Ходим в платьях. (Чешский климат, под влиянием русских студентов, еще раз сошел с ума!) Еще несколько дней—и распустятся почки. Дивное синее небо, теплый веющий воздух,—сплошной обман! Но—радуешься. Где-то так жарко, что перепало и нам.

А С⟨ережа⟩ с Мишей З.[11] сейчас пошел за елкой,—к верхнему леснику, где мы когда-то жили[12]. Аля, несмотря на *явную* весну, настаивает на Рождестве.

До свидания, дорогой Андрей Владимирович. (Забыла спросить: как портфель? клад?) Буду рада получить от Вас весточку. Пишите и о Ч⟨ерно⟩вых: как Вам понравились старшие?[13] бываете ли? как им живется? Это прелестнейшая и сердечнейшая семья.

Не забудьте тотчас же по получении письма направить к ним Катю. Если она не у вас—известите ее там, где она.

С сердечным приветом

МЦветаева.

4

Вшеноры, 16-го апреля 1925 г., Страстной четверг.

Христос Воскресе, дорогой Андреюшка!

Ваше письмецо получила—хорошо живете и хорошо пишете[1]. А на Пасху собака придет? И, придя, поймет—что Пасха? Непременно побывайте у Ч⟨ерно⟩вых и потом напишите, как было. Это как праздник—вечного возрождения.

Георгий растет, хорош, похож на меня[2]. Катаем его с Алей по трем вшенорским шоссе, предпочитала бы—по Версалю.

Так как Пасха, Андреюшка, давай похристосуемся. Если бы Вы были здесь, я бы сделала Вам отдельный ⟨кулич

МЦ⟩[3]

---

* «Ты этого хотел, Жорж Данден!» *(фр.)*

Оболенский Андрей Владимирович (1900—1975)—князь, сын известного общественного и политического деятеля, князя В. А. Оболенского (1869—1951). В 1919—1920 гг. воевал в Добровольческой армии. После взятия Крыма красными эмигрировал. В 1922—1924 гг. жил и учился в Праге. Осенью 1924 г. переехал во Францию, где в течение длительного времени работал маляром.

По свидетельству родственников и знакомых, А. В. Оболенский был человеком застенчивым и молчаливым. Его знакомство с Цветаевой состоялось, видимо, в первой половине 1923 г. Застенчивость Оболенского, его способность быть терпеливым слушателем позволили стать ему незаменимым спутником Цветаевой в ее длительных прогулках по чешским лесам и горам. О нем, «молодом и тихом» приятеле, идет речь в письмах 9 и 10 к А. В. Бахраху. Во время душевных потрясений, вызванных встречей с К. Б. Родзевичем, Цветаева особенно нуждалась в «тихом приятеле». Его присутствие, его привязанность к ней («... всех сторонится. Но ко мне у него доверие»,—из письма А. Бахраху, запись от 18 августа 1923 г.), безусловно, благотворно сказывались на душевном состоянии Цветаевой. Об этом свидетельствует и надпись Цветаевой на подаренной ему книге стихов «Разлука» (Берлин, 1922): «Андрею Оболенскому—моему тихому ут*е*шителю и ут*и*шителю. МЦ. Прага, 5-го ноября 1923 г.» (Частное собрание).

В 1973 г. в разговоре А. В. Оболенского со своей двоюродной сестрой—Н. А. Винберг, была затронута тема его дружбы с М. Цветаевой. Н. А. Винберг советовала Андрею Владимировичу написать воспоминания о Цветаевой. Он отвечал, что у него не получится. Н. А. Винберг: «Но ты же был дружен с Мариной Цветаевой?»—«Да».—«Вы же много говорили?»—«Я заходил за ней и мы много гуляли».—«Гуляли и говорили?»—«Гуляли и... молчали» (Сообщено Д. А. Мачинским).

Письма 1, 2, 4—впервые—*Рус. мысль.* (1992, 16 октября, спец. приложение. Публикация Л. А. Мнухина), письмо 3—*Звезда.* С. 29—30 (публикация Е. И. Лубянниковой). Печатаются по текстам первых публикаций.

1

[1] 7 сентября 1923 г. Цветаева с мужем отвезли свою дочь Ариадну в Моравскую Тшебову, маленький городок на границе с Германией. Сюда в начале 1922 г. была переведена из Константинополя русская гимназия-интернат для детей беженцев. Причиной перевода явилось сокращение субсидий со стороны русских общественных организаций. Новым покровителем гимназии стало чешское министерство иностранных дел. Для русских детей Тшебовская гимназия была «кусочком России, где с утра до ночи звучала русская речь, слышна русская песня, каждую неделю справляется богослужение в собственной церкви со стройным пением и колокольным звоном,—где блюдутся и передаются подрастающему поколению родные обычаи» (Русские в Праге: 1918—1928 гг. Ред.-изд. С. Постников. Прага, 1928. С. 109).

Проведя несколько дней в Тшебове, родители Али вернулись в Прагу. См. также письма 11 и 12 к А. В. Бахраху.

[2] В распоряжение гимназии был предоставлен военный лагерь, оставшийся после первой мировой войны.

2

[1] Цветаева с мужем вновь приехали в Тшебову навестить дочь на рождественские дни.

[2] Речь идет о «Поэме Горы» (см. т. 3).

[3] Оболенский Сергей Владимирович (р. 1902), домашнее прозвище — «Гуля».

[4] См. письма к Богенгардтам и комментарии к ним.

3

[1] *Рейтлингер* (в замужестве Кист) Катерина (Екатерина) Николаевна (1901 — 1989) — молодая приятельница Цветаевой, постоянно, с первых же дней пребывания Цветаевой в Чехии, сопровождала ее в Праге; в то время студентка строительно-архитектурного отделения Пражского политехнического института. Познакомилась с Цветаевой через С. Я. Эфрона, учившегося на одном факультете с ее старшей сестрой — Юлией Николаевной.

С адресатом письма и его семьей К. Н. Рейтлингер связывали многолетние дружеские отношения по Петербургу и Крыму, продолжившиеся в годы эмиграции. По всей видимости, именно сестры Рейтлингер были посредниками в знакомстве Цветаевой с А. В. Оболенским.

После возвращения на родину в 1955 г. К. Н. Рейтлингер постоянно жила в Ташкенте (*Звезда.* С. 30).

[2] *Париж, 19-й аррондисман, 8, рю Руве* — парижский адрес Колбасиной-Черновой. См. также письма к ней и А. В. Черновой.

[3] К. Н. Рейтлингер вместе с сестрой принимала активное участие в организации и жизни православного студенческого движения, в конце 1924 г. она была делегирована на международную христианскую конференцию, проходившую в Манчестере. На обратном пути из Англии заехала в Париж, где была радушно принята Оболенскими (их большая семья жила в близком пригороде Бург-дя-Рейн) и где исполнила бытовые поручения Цветаевой (там же).

Об этой поездке К. Н. Рейтлингер см. также письма 8 — 11, 13, 14 к О. Е. Колбасиной-Черновой.

[4] См. восторженный отклик Цветаевой на это сообщение в ее ответном письме 8 к Колбасиной-Черновой. Бывший муж О. Е. Колбасиной В. М. Чернов был министром Временного правительства.

[5] Имеется в виду история с побелкой забора, рассказанная во второй главе знаменитой книги американского писателя Марка Твена (настоящее имя Сэмюэл Клеменс; 1835 — 1910) «Приключения Тома Сойера».

[6] В журнале «Воля России» (1926, № 1) напечатано стихотворение М. Цветаевой «Полотерская» («Колотёры-молотёры...»), вошло в сборник «После России». См. т. 2.

[7] Чердачное (Из московских записей 1919—1920 гг.) — Дни. 1924. № 65. 25 декабря.

[8] Имеется в виду заметка на чешском языке в «Пражском литературном Споводае» (Прага. 1924. № 52) под названием «Vynikajici členové ruské emigrace v Praze» («Выдающиеся представители русской эмиграции в Праге»), посвященная ряду ученых, писателей и политических деятелей с приложением их фотографий. О Цветаевой было написано: «Поэтесса М. И. Цветаева. Печатается с 1912 г. и с тех пор издала десять сборников стихов. Несмотря на то, что коммунисты против М. И. Цветаевой враждебно не выступали, она не смогла вынести удушающего большевистского режима и уехала за границу» (там же. С. 31).

[9] П. Б. Струве.

[10] См. комментарий 2 к письму 3 к В. Ф. Булгакову (т. 7).

[11] По мнению Н. Г. Федоровой (дочери Н. Е. Чириковой), речь идет о Михаиле Загорском, великовозрастном студенте из Вшенор, с которым дружили ее родители; был пьяницей, по слухам — вернулся в Советский Союз в ранние годы эмиграции. Возможно, о нем («добром студенте 46 лет — в Москве у него внук в Комсомоле») говорит Цветаева в письме 3 к О. Е. Колбасиной-Черновой (там же. С. 31).

[12] Имеется в виду одно из первых жилищ Цветаевой и ее семьи под Прагой (подробнее о нем см. в письме 1 к Л. Е. Чириковой).

[13] Сестры-близнецы Ольга и Наталия. См. письма к О. Е. Колбасиной-Черновой.

4

[1] В письме 24 к О. Е. Колбасиной-Черновой Цветаева отмечала: «Получаю *прелестные* письма от Оболенского».

[2] Сын М. Цветаевой, родившийся 1 февраля 1925 г.

[3] В этом месте текст письма частично поврежден.

К. Б. РОДЗЕВИЧУ

1

‹22-го сентября 1923 г.›

...Арлекин! — Так я Вас окликаю. Первый Арлекин за жизнь, в которой не счесть — Пьеро![1] Я в первый раз люблю счастливого, и может быть в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть! Я в Вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня — хаос! — а лучшую меня, главную меня. Я никогда не давала

человеку права выбора: или всё — или ничего, но в этом *всё* — как в первозданном хаосе — *столько,* что немудрено, что человек, пропадал в нем, терял *себя* и в итоге меня…

Вы сделали надо мной чудо, я в первый раз ощутила единство неба и земли. О, землю я и до Вас любила: деревья! Всё любила, всё любить умела, кроме другого, живого. Другой мне всегда мешал, это была стена, об которую я билась, я не *умела* с живыми! Отсюда сознание: не — женщина — дух! Не жить — умереть. Вокзал.

Милый друг, Вы вернули меня к жизни, в которой я столько раз пыталась и все-таки ни часу не сумела жить[2]. Это была — чужая страна. О, я о Жизни говорю с заглавной буквы, — не о той, петитом, которая нас сейчас разлучает! Я не о быте говорю, не о маленьких низостях и лицемериях, раньше я их ненавидела, теперь просто — не вижу, *не хочу* видеть. О, если бы Вы остались со мной, Вы бы научили меня жить — даже в простом смысле слова: я уже две дороги знаю в Праге! (На вокзал и в костёл.) Друг, Вы поверили в меня, Вы сказали: «Вы всё можете», и я, наверное, всё могу. Вместо того, чтобы восхищаться моими земными недугами, Вы, отдавая полную дань иному во мне, сказали: «Ты еще живешь. Так нельзя», — и так действительно нельзя, потому что мое пресловутое «неумение жить» для меня — страдание. Другие поступали как эстеты: любовались, или как слабые: сочувствовали. Никто не пытался *излечить*. Обманывала моя сила в других мирах; сильный *там* — слабый *здесь*. Люди поддерживали во мне мою раздвоенность. Это было жестоко. Нужно было или излечить — или убить. Вы меня просто п о л ю б и л и…

…Люблю Ваши глаза… Люблю Ваши руки, тонкие и чуть-холодные в руке. Внезапность Вашего волнения, непредугаданность Вашей усмешки. О, как Вы глубоко-правдивы! Как Вы, при всей Вашей изысканности — просты! Игрок, учащий меня человечности. О, мы с Вами, быть может, оба не были людьми до встречи! Я сказала Вам: есть — Душа, Вы сказали мне: есть — Жизнь.

Всё это, конечно, только начало. Я пишу Вам о своем хотении (решении) жить. Без Вас и вне Вас мне это не удастся. Жизнь я могу полюбить *через Вас*. Отпу́стите — опять уйду, только с еще бо́льшей горечью. Вы мой первый и последний ОПЛОТ (от сонмов!) Отойдете — ринутся! Сонмы, сны, крылатые кони… И не только от сонмов — оплот: от бессонниц моих, всегда кончающихся чьими-то губами на губах.

Вы — мое спасение и от смерти и от жизни, Вы — Жизнь (Господи, прости меня за это счастье!)

Воскресение, нет — уже понедельник! — 3-ий час утра.

Милый, ты сейчас идешь по большой дороге, один, под луной. Теперь ты понимаешь, почему я тебя остановила на: любовь — Бог. Ведь это же, точно этими же словами, я тебе писала вчера ночью, перечти первую страницу письма.

Я тебя люблю.

Друг, не верь ни одному моему слову насчет других. Это — последнее отчаяние во мне говорит. Я *не могу* тебя с другой, ты мне *весь* дорог, твои губы и руки так же, как твоя душа. О, ничему в тебе я не отдаю предпочтения: твоя усмешка, и твоя мысль, и твоя ласка — всё это едино и неделимо, и не дели. Не отдавай меня (себя) зря. Будь мой.

Беру твою черную голову в две руки. *Мои* глаза, *мои* ресницы, *мои* губы (о, помню! *Начало* улыбки! *Губы* чуть раздвинутся над блеском зубов: сейчас улыбнетесь: улыбаетесь!)

Друг, помни меня.

Я не хочу воспоминаний, не хочу памяти, вспоминать то же, что забывать, руку свою не помнят, она *есть. Будь!* Не отдавай меня без боя! Не отдавай меня но́чи, фонарям, мостам, прохожим, всему, всем. Я тебе буду верна. Потому что я никого другого не хочу, не могу (не захочу, не смогу). Потому что *то́* мне даешь, что ты мне дал, мне никто не дает, а меньшего я не хочу. Потому что ты один такой.

Мой Арлекин, мой Авантюрист, моя Ночь, мое счастье, моя страсть. Сейчас лягу и возьму тебя к себе. Сначала будет так: моя голова на твоем плече, ты что-то говоришь, смеешься. Беру твою руку к губам — отнимаешь — не отнимаешь — твои губы на моих, глубокое прикосновение, проникновение — смех стих, слов — нет — и ближе, и глубже, и жа́рче, и нежней — и совсем уже невыносимая нега, которую ты так прекрасно, так искусно длишь.

Прочти и вспомни. Закрой глаза и вспомни. Твоя рука на моей груди, — вспомни. Прикосновение губ к груди 〈...〉*

Друг я *вся* твоя.

А потом будешь смеяться и говорить и засыпать, и когда я ночью сквозь сон тебя поцелую, ты нежно и сразу потянешься ко мне, хотя и не откроешь глаз.

М.

2

〈23-го сентября 1923 г.〉

〈...〉 Сегодня буду читать Вам Волконского. Чувство, что это — на каком-то другом языке — я́ писала. Вся разница — в языке.

* Три слова зачеркнуто.

Язык — примета века. Суть — Вечное. И потому — полная возможность проникновения друг в друга, вопреки розни языка. Суть перекрикивает язык. То же, что Волконский на старомодно-изысканном своем, державинско-пушкинском языке — о деревьях, то же — о деревьях — у Пастернака и у меня — на языке своем. Очную ставку, — хотите? Каким чудом Волконский ПОНИМАЕТ и меня и Пастернака, он, никогда не читавший даже Бальмонта?! (Радзевич, Радзевич, дело не в стихотворной осведомленности! Вы к Rilke не были подготовлены, Rilke пришел и *взял* Вас, поэты — это захватывает, к ним не готовятся и с ними не торгуются!)

От писем Волконского во мне удивительный покой. Точно дерево шумит. Поймите меня в этой моей жизни ⟨...⟩

М.

*Родзевич** Константин Болеславович (1895—1988) — участник гражданской войны; окончил в Праге юридический факультет Карлова университета. С 1926 г. жил во Франции. Герой «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца». Подробнее см. комментарии к «Поэме Горы» в т. 3.

В РГАЛИ, в архиве М. И. Цветаевой, хранятся более тридцати ее писем к К. Б. Родзевичу. Архив, как известно, по воле А. С. Эфрон закрыт до 2000 г. Мы располагаем лишь копиями двух неполных писем, полученными от В. Б. Сосинского, который в 1960 г. привез все эти письма из Франции в Россию. Печатаются по указанным копиям.

1

[1] *Пьеро* — традиционный персонаж народного театра (итал., фр.), отличающийся простодушием и глупостью. *Арлекин* — его счастливый соперник.

[2] Ср. с высказыванием К. Б. Родзевича: «От быта она страдала, конечно, но ей нужен был не быт, а организация жизни, порядок в жизни. Она страдала от невозможности осуществления всех своих стремлений» (*В. Лосская.* С. 90).

В КОМИТЕТ ПОМОЩИ РУССКИМ ПИСАТЕЛЯМ И УЧЕНЫМ ВО ФРАНЦИИ И В СОЮЗ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ЖУРНАЛИСТОВ

1

В Парижский Комитет помощи русским писателям и ученым:

Ссуду в размере 275 фр⟨анцузских⟩ фр⟨анков⟩ (400 чешск⟨их⟩ крон) с благодарностью получила.

Марина Цветаева

Прага, 4-го марта 1924 г.[1]

---

* Цветаева иногда писала Радзевич.

2

В Комитет помощи русским ученым и журналистам
Марины Ивановны Цветаевой-Эфрон

Прошение

Покорнейше прошу Комитет о предоставлении мне пособия.

Марина Цветаева-Эфрон

Bellevue (S. et O.)
31, Boulevard Verd
14-го января 1927 г.

3

В Комитет помощи русским ученым и журналистам в Париже
Марины Ивановны Цветаевой-Эфрон

Прошение

Покорнейше прошу Комитет не отказать выдаче мне пособия, в котором очень нуждаюсь.

М. Цветаева-Эфрон

Bellevue (S. et O.)
31, Boulevard Verd
25-го марта 1927 г.

4

В Комитет помощи русским писателям и ученым в Париже
Марины Ивановны Цветаевой-Эфрон

Прошение

Находясь в крайне-затруднительном материальном положении сердечно прошу Комитет оказать мне посильную помощь[1].

М. Цветаева-Эфрон

Meudon (S. et O.)
2, Avenue Jeanne d'Arc
18-го марта 1928 г.

5

В Комитет помощи русским писателям и ученым.

Покорнейше прошу Комитет не отказать мне в пособии, в котором очень нуждаюсь.

Марина Цветаева

Meudon (S. et O.)
2, Avenue Jeanne d'Arc
12-го декабря 1928 г.

6

В Союз русских писателей в Париже
Марины Ивановны Цветаевой-Эфрон
Прошение

Покорнейше прошу Комитет оказать мне посильную помощь. Муж болен (туберкулез), дочь учится и нужно платить за школу[1], литературного заработка никакого, — положение ужасное.

Марина Цветаева

Meudon (S. et O.)
2, Avenue Jeanne d'Arc
6-го янв⟨аря⟩ 1931 г.

7

В Комитет помощи ученым и журналистам
Марины Ивановны Цветаевой-Эфрон
Прошение

Прошу уделить мне пособие из сумм, собранных на новогоднем писательском вечере.

Материальное положение мое крайне тяжелое.

МЦветаева.

Адр⟨ес⟩ *с 15-го янв⟨аря⟩*
Clamart (Seine)
10, Rue Lazare Carnot
6-го янв⟨аря⟩ 1933 г.

8

В Союз писателей и журналистов

Покорнейше прошу Союз Писателей и Журналистов уделить мне что-нибудь с писательского новогоднего вечера[1].

С благодарностью заранее

Марина Цветаева

Vanves (Seine)
65, Rue J. B. Potin
2-го января 1937 г.

Комитет помощи русским писателям и ученым во Франции образован в 1919 г. Основной формой его деятельности были благотворительные инициативы. Комитет, как записано в его обращении к русской эмиграции от 15 декабря 1927 г., охранял «благодаря теплой отзывчивости широких кругов эмиграции, с любовью и бережностью, даже в самые тяжкие времена изгнания, свою литературу, свою науку».

В 1930-х годах денежную помощь писателям распределял непосредственно Союз русских писателей (литераторов) и журналистов в Париже.

Расписка 1 и прошения 2—5 печатаются впервые по копиям с оригиналов, находящихся в архиве С. В. Познера (Париж); прошения 6 и 8 — по тексту их первой публикации — *ЛО*. 1990. № 7. С. 107 (публикация Дж. Малмстада), прошение 7 — по тексту его первой публикации в кн.: *Швейцер В.* С. 416.

1

[1] Сохранилось еще несколько расписок Цветаевой:

1.1

Четыреста (400) франков от «Общества помощи писателям и журналистам» с благодарностью получила.

Марина Цветаева

Париж, 11-го декабря 1925 г.
(Архив С. В. Познера)

1.2

Расписка

Получил⟨а⟩ от Правления Союза Русских Литераторов и Журналистов в Париже сто шестьдесят франков, каковые обязуюсь возвратить Правлению при первой возможности. По доверенности матери своей М. И. Цветаевой.

Ариадна Эфрон

Париж, 1933 года февраля 4-го дня.

1.3

Расписка

Париж, 1933 года Июня 10 дня выдал эту расписку Правлению Союза русских литераторов и журналистов в том, что сего числа получил⟨а⟩ от него ссуду в сумме ста пятидесяти франков, каковую обязуюсь возвратить Союзу при первой возможности.

По доверенности матери своей Марины Цветаевой дочь ее

Ариадна Эфрон

1.4

Расписка

1933 г. Октября 13 дня выдала расписку эту Пр⟨авлению⟩ Союза рус⟨ских⟩ лит⟨ераторов⟩ и журналистов в том, что получила сего числа ссуду в сумме ста фр⟨анков⟩, каковую обязуюсь вернуть при первой возможности.

По доверенности матери своей Марины Цветаевой

Ариадна Эфрон

1.5

Расписка

4 Декабря 1933 получила от Правл⟨ения⟩ Союза рус⟨ских⟩ лит⟨ераторов⟩ и журн⟨алистов⟩ в Париже в ссуду сто (100) фр⟨анков⟩, каковые ⟨?⟩ возвратить при первой возможности —

По доверенности матери своей Марины Цветаевой

А. Эфрон

1.6

Расписка

Париж 1937 года февраля 3-го дня

Получил⟨а⟩ в ссуду от Союза Русских Литераторов и Журналистов в Париже сто пятьдесят фр⟨анков⟩, каковую сумму верну Союзу при первой к тому возможности.

Подпись: *М. Цветаева.*

(*ЛО*. 1990. № 7. С. 107).

Расписки 1.1, 1.4 и 1.5 написаны от руки; 1.2, 1.3 и 1.6 представляют собой готовые бланки расписок Союза писателей с текстом, отпечатанным на машинке.

4

[1] Почти одновременно с прошением Цветаевой в Комитет помощи пришло письмо в ее поддержку:

Мы, нижеподписавшиеся, сим удостоверяем, что Марина Ивановна Цветаева сейчас в большой нужде и просим Союз оказать ей возможную помощь.

Л. Шестов, Н. Бердяев.

Париж, 14-го марта 1928 г.

(Архив С. В. Познера)

Аналогичная просьба содержится в другом письме, хранящемся в том же архиве. Написано оно казначеем Комитета М. С. Цетлиной на имя его председателя И. Н. Ефремова:

Глубокоуважаемый Иван Николаевич,

По независимым от меня обстоятельствам я м. б. не смогу присутствовать сегодня на заседании. Очень прошу обратить особое внимание на заявления по поводу П. Б. Струве и Мар⟨ины⟩ Цветаевой, находящихся в исключительно тяжелых условиях.

Примите мои приветы. *Мария Цетлина.*

⟨Не позднее 21-го марта 1928 г.⟩

6

[1] А. Эфрон училась в художественной школе. (См. комментарий 2 к письму 55 к А. А. Тесковой.)

8

[1] См. выше расписку 1.6.

А. В. ЧЕРНОВОЙ

1

Дольние Мокропсы, 21-го июля 1924 г.

Милая Адя,

Первая ночь в новом логове. Потолок косой, стены кривые, пол и постели — горбатые. Но *вне* дома — чудесно: огромный двор, мощенный камнем, проросшим травой, нагромождение нелепых построек, сарай, через который входишь в сад, — сад заглохший, весь из дикостей, каменная ограда, под ней — железнодорожное полотно. Поезда свистят и ревут весь день.

Нынче уже были на реке, с этого берегу она лохматая и глубокая: под огромными акациями, каменистая, не-купальная. Крутая тропинка над отвесом (NB! все письмо из *над* и *под!*)—совсем *по* отвесу.

Если не на реку—в поле. Поля в снопах, слепят.

Расставались мы с Иловищами трагически: Тарзан рвался, хозяйка (по Алиному 3-летнему выражению) «ревела и рыдала», раскачиваясь наподобие раненой (в живот!) медведицы, махала нам рукавом и фартуком. Пришедшие «перевозить» С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩, монах[1] и жених[2] (Рудин,—но невеста выходит за другого) шли пустые, вещи ехали на телеге, увенчанные безмолвствующей Алей. (Она ехала Вшенорами, мы спускались нашим отвесом.) И вдруг—уже у кирпичного завода—оклик: «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩!». Поднимаю глаза: белым морским видением—Слоним! Взирает с холма. Оказывается, направлялся в Иловищи и выглянул на голоса.

Привез Але: куклу, постель и ванну. Кукла румяная, ванна розовая, постель—вдвое меньше спящей, т. е. Прокрустово ложе[3]. А мне—талисман: египетское божество: печать. Играла им вчера в траве. (NB! Для того, чтобы боги *нами* не играли, нужно *ими* играть!) Провели все вместе целый день, вспоминали Вас.

На вокзал не приехала не из равнодушия и не из лени: с тех пор как надорвалась, сразу растрясаюсь,—вроде святого, держащего в руке свои же внутренности.

Милая Адя, у меня к Вам просьба: если задержитесь в Париже, возьмите, вернее: извлеките у Невинного[4] Илиаду в переводе Гнедича и Одиссею (кажется, завез и ее) и пришлите мне сюда, на время,—особенно Илиаду! Извлечь будет нелегко, надеюсь на Вашу лесную хитрость.

Адр⟨ес⟩: P. P. Černošice, Dolni Mokropsy, č⟨islo⟩ 37, u pani Lopalovoj—Praha.

Вышлите непременно заказным, расход верну О⟨льге⟩ Е⟨лисеевне⟩.

Шлю Вам привет. Простите за кляксы. Новые чернила.

ЭНТА НИПРАВДА, ЕНТО ГНУСНЫЙ НАКЛАКСАЛ. ТИЛОУНИСЕК[5].

МЦ.

P. S. Аля действительно написала Вам письмо, которое потеряла. Просит удостоверить.

2

⟨1924⟩[1]

Дорогая Адя, на днях в Праге встретила с Алей Самойловну[2], — кинулась к нам, как к родным. Я спросила, исполнила ли она поручение Вашей мамы, она сказала, что да, но что В⟨иктор⟩ М⟨ихайлович⟩[3] сейчас сам без денег. Одета была и выглядела как-то по-цирковому, — не знаю, в чем дело, — вроде жены содержателя цирка (в штанах), или глотательницы шпаг. Недавно на вечере XVIII в. в «Едноте»[4] видела, из знакомых, еще жену Я⟨ков⟩лева[5] (моей bête noire*, т. е. той белобрысой бестии из Пламени![6]) — была со мной крайне ласкова и сказала, что перевела один мой стих на французский. Я изъявила удивление.

Невинный зачах, т. е. я его не вижу, п. ч. в «Воле России» не бываю. Запугала его вшенорской грязью и необходимостью *мужских ботиков* («калоши затонут!»). Адя, не видели ли Бахраха? Пусть О⟨льга⟩ Е⟨лисеевна⟩ проинтервьюирует его на мой счет, посмотрим, какую морду сделает. Толстеют ли дети Карбасникова?[7]

Целую Вас. *МЦ.*

3

⟨29 декабря 1924 г.⟩[1]

Катя Р⟨ейтлингер⟩ поехала через Голландию, но на обратном пути (около 10-го и 12-го) возможно, что будет в Париже. Адр⟨ес⟩ Ваш у нее есть.

Дорогая Адя, передайте маме, что деньги посланы (вчера, 28-го, через банк). Целую Вас, поправляйтесь.

МЦ.

4

Вшеноры, 24-го февраля 1925 г.

Дорогая Адя,

Тщетно стараюсь узнать у О⟨льги⟩ Е⟨лисеевны⟩, получили ли вы доплату за *январское* иждивение. Деньги были посланы через знакомую Кати Р⟨ейтлин⟩гер, она должна была не то передать, не то переслать их. Цифра, помнится, 70, сейчас не помню, крон или франков. (Можно установить. Думаю — франков.) Пишу об этом О⟨льге⟩ Е⟨лисеевне⟩ уже третий раз — и безответно. Если деньги не дошли, взыщу с Кати, или с дамы, — пусть О⟨льга⟩ Е⟨лисеевна⟩ не думает, что пропажа отзовется на мне: из-под земли достану!

---

* Здесь: «отрава» *(фр.)*.

Второе: безотлагательно — открыткой — сообщите мне имя-отчество Розенталя[1]. Не могу (неприлично!) просить о помощи, не зная, как зовут. *Я* бы не дала, к чертям послала.

Прочли ли мою «Полотерскую» в В〈оле〉Р〈оссии〉? «Мо́лодец» выходит «на днях». Пришлю Вам Вашего собственного[2]. У Али к нему — чудесные иллюстрации, вообще начинает рисовать хорошо.

«Мальчик Георгий»[3] похож на того, спящего, — помните в Кинской заграде[4] в этнограф〈ическом〉 отделении, где набитые лошади? Тоже спит в корзинке. Коляска, обещанная волероссийцами, что-то не едет и «мальчик Георгий» (помните Шебеку?[5] если не читали, О〈льга〉 Е〈лисеевна〉 пояснит) похож на Моисея.

О смерти Кондакова я уже писала[6]. Совпадение: в вечер дня его смерти (умер ночью) к нему пришли родственники* покойного проф〈ессора〉 Андрусова[7] с просьбой выбрать для памятника крест. Старик долго выбирал и наконец остановился на восхитительном византийском. — «Вот — крест! Когда я умру, поставьте мне такой же».

Умер через несколько часов.

Теперь дело за деньгами. Ученики (небольшая группа верных, в том числе и С〈ережа〉) сами хотят ставить. Несли его гроб на плечах через весь город, С〈ережа〉 впереди — хоругвь, такую тяжелую, что пришлось нести на плече, как винтовку. Одному, *очень* сдержанному, на кладбище сделалось дурно. Увезли.

Помните лекцию на франц〈узском〉 языке? Медлительность и точность речи? Странное слово *«скарамангий»?* (визант〈ийская〉 одежда). Дрожащие руки его ученика Беляева[8], зажигавшего волшебный фонарь? Скачущие картины?

И — потом или до? — еврейское кладбище, на котором мы — были или не были? И весь тот туманный день?

Где сейчас Кондаков? Его *мозг*. (О бессмертии мозга никто не заботится: мозг — грех, от Дьявола. А может быть мозгом заведует *Дог?*)

Иногда вижу чертей во сне, и первое ласкательное Георгия — чертенок.

Целую Вас, милая Адя, не забудьте ответить на мои вопросы. С〈ережа〉 затонул в экзаменах, всплывет — напишет.

МЦ.

---

* Знаем мы этих родственников! Вроде моих гостей из «Мо́лодца» (*Приписка на полях. — Сост.).*

5

Вшеноры, 1-го апреля 1925 г.

Дорогая Адя,

Из всех девочек-подростков, которых я когда-либо встречала, Вы — самая даровитая и самая умная. Мне очень любопытно, что из Вас выйдет. Дарование и ум — плохие дары в колыбель, особенно женскую, — Адя, хотите формулу? Все, что не продажно — платно, т. е. за все, что не продаешь, платишь (платишься!), а не продажно в нас лишь то, чего мы никак — ну, никак! — как портрет царя на советском смоленском рынке — несмотря на все наши желания и усилия — *не можем* продать: 1) никто не берет, 2) продажная вещь, как собака с обрывком веревки, *возвращается*. Непродажных же вещей только одна: душа.

Так вот, я думаю о Вас — и вывод: Вы, *конечно,* будете человеком искусства — потому что других путей нет. Всякая жизнь в пространстве — самом просторном! — и во времени — самом свободном! — *тесна.* Вы не можете, будь у Вас в руках хоть все билеты на все экспрессы мира — быть зараз и в Конго (куда так и не уехал монах) и на Урале и в Порт-Саиде. Вы должны жить *одну* жизнь, скорей всего — Вами не выбранную, случайную. И любить сразу, имея на это все права и *все* внутренние возможности, Лорда Байрона, Генриха Гейне и Лермонтова, встреченных в жизни (предположим такое чудо!) Вы не можете. В жизни, Аденька, *ни-че-го* нельзя, — nichts* — rien**. Поэтому — искусство («во сне все возможно»). *Из этого* — искусство, *моя* жизнь, как я ее хочу, не беззаконная, но подчиненная высшим законам, жизнь на земле, как ее мыслят верующие — на небе. Других путей нет.

Знаю по себе, что как только пытаюсь жить — срываюсь (всегда пытаюсь и всегда срываюсь!). Это ведь большой соблазн — «наяву»! И никакой опыт — меньше всего собственный! — не поможет. Поэтому, когда Аля, спохватившись, что ей уже 11 1/2 лет, просит меня *самой* выбрать ей жениха, отвечаю: «L'unique consolation (contentement) d'avoir fait une bêtise est de l'avoir faite soi-même»*** (слишком громоздко по-русски, иные вещи на ином языке не мыслятся) — поэтому пусть жениха выбирает сама. Аля, впрочем, объявила, что кроме как за Зигфрида (Нибелунги) ни за кого не выйдет замуж, а так как Зигфрида не встретит... (Пауза:) — «Но старой девой тоже нельзя...»

---

* Ничего *(нем).*

** Ничего *(фр.).*

*** Единственное утешение (отрада) после содеянной глупости в том, что ты сделала ее сама *(фр.).*

Вше-норы. Крохотный загон садика с беседкой, стоящей прямо в навозе (хозяин помешался на удобрениях). В беседке, на скамье, отстоящей от стола на три метра — писать невозможно — я. Рядом коляска, в которой под зелеными занавесками — Барсик. (Уцелело от Бориса[1]). Комната, где он провел два первых месяца своей жизни, так темна, что д〈окто〉р запретил под каким бы то ни было видом выносить его на волю с открытым лицом: немедленное воспаление глаз. Но он так умен, что на воле их и не раскрывает. В этом загоне коротаем дни. Прогулки с коляской трудны, никуда нельзя, — «comme un forçat, attaché à sa brouette»*, предпочитаю на руках. (Уже излазили с ним — *моим* темпом! — немалое количество холмов.) Нигде не бываю. Заходят — Ал〈ександра〉 Зах〈аровна〉 с Леликом[2] (Аля, при виде его, *шалеет:* безумные глаза и двухчасовой галоп по нашему загону), Анна Ильинична Андреева — и всё, кажется. Последняя *необычайна,* таких не встречала. Каждый раз новая, не узнаю и не пойму, в чем дело. Дружим — с оттенком известной грубости: взаимные толчки. Но явное внутреннее нравление, с ее стороны необъяснимое. Скажите О〈льге〉 Е〈лисеевне〉, что я, в своем любовании ею, была права, что нюх не обманул. Самое чудесное в ней — *природа,* полное отсутствие мещанства — gu'en dira-t-on** — и позы (того же самого). Существо, каким его создал Бог. Одаренное существо.

От О〈льги〉 Е〈лисеевны〉 уже месяц — ни строчки. И не напишу, пока не напишет, так и скажите. А м. б. — больше месяца, совсем забыла вид ее почерка на конверте. Передайте ей, что и моей вере в любовь на расстоянии есть предел (я, вообще, не из верующих, — изверилась!) — что я не сержусь, но настороже и что меньше как на 12-ти страницах (добросовестного: мелкого почерка: *петита)* не помирюсь.

«Молодец» уже 1 1/2 месяца как отпечатан, — но — нет обложки. Ясно, что пролежит еще 1 1/2 года и что обложка будет чудовищная[3]. Поставила крест, не спрашиваю и не угрожаю. «Дорогой» (М〈арк〉 Л〈ьвович〉[4]) — как помер (по-чешски: «хцып»), не мне — воскрешать, но и не мне оплакивать. Случайно узнала от Лебедевых (Аля ездила к Ирусе), что был в Париже. Навестил ли вас? И на кого был похож?

---

* Как картожник при своей тачке *(фр.).*
** Что скажут об этом *(фр.).*

М⟨аргарита⟩ Н⟨иколаевна⟩[5] бесконечно-мила, подарила мне зеленое платье, мальчику — чудесное одеяльце, вязаный костюм (NB! первые штаны! так же знаменательно как первая любовь) и множество «белизн». Але сняла мерку и обещала ей к Пасхе розовое платье, из той же материи и того же покроя, что Ирусе. Влюбленность последней в Алю продолжается: всю зиму переписка и, изредка, свидания. Ждем их (все семейство) в следующий понедельник. Аля предлагает всем женщинам: М⟨аргарите⟩ Н⟨иколаевне⟩, Ирусе, себе и мне — уйти гулять, а В⟨ладимира⟩ И⟨вановича⟩[6] оставить с коляской, благо еще Барсик так мал, что не понимает (бороды и голоса).

Адя, непременно познакомьтесь с Бальмонтами, Мирра[7] была очень мила 13 лет, а сейчас она немножко старше Вас. Через 2 недели выйдет — а, впрочем — тайна: когда выйдет, пришлю. — Посмеетесь. —

Очень прошу Вас, познакомьтесь! Если Б⟨альмон⟩т захочет целоваться (с ним бывает!), скажите, что у Вас есть жених — в Марокко, на кофейных плантациях. Он это ценит и отстанет. Напишите про Елену[8], какое впечатление. В первый раз пойдите с Лисевной[9], сидите и наблюдайте. *Чудная* семья, непременно подружитесь. — Не откладывайте. —

Пишу Вам в 5 ч. утра. Оба С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩[10], Аля и Барсик спят. Птицы свистят. В комнате, кроме деревянного корыта (бассейна Барсика), еще три таза — и все с пеленками, — Барсик вроде Версаля в le jour des Grandes eaux* (одна из причин любви к нему и неустанного повода к восхищению им — А. И. А⟨ндрее⟩вой).

Сижу в чешкином халате — с сиреневыми лилиями, сильно похорошевшем, ибо обкурен, как пенковый мундштук.

До свидания, милая Адя, пишите мне. Спасибо за сведения о Розентале (по-еврейски: «Аймек-гуарузим»):

Аймек-гуарузим — долина роз.
Еврейка. Испанский гранд...

Это у меня стих такой есть (1916 г.)[11] — пророчество, нет — предчувствие Розенталя. (Знает ли он, что он Аймек гуарузим?)

Целую Вас.

МЦ.

Аденька! пошло ли мое письмо к Б⟨орису⟩ П⟨астернаку⟩? Не забудьте ответить. Про наш гейзер Вам пишет Аля, — кипяточный поток!

---

* Здесь: день работы Больших фонтанов *(фр.)*.

6

Вшеноры, 25-го апреля 1925 г.

Дорогая Адя,

Ваши оба письма дошли. Теперь давайте о главном: «Записки девочки», так надо назвать[1]. Предисловие, если хотите, напишу я — несколько слов в связи с другой книгой — «Une enfant sous la Terreur»* — кажется, так называется[2]. Тоже аресты, мытарства, издевки — только героиня была старше Вас — тогда, и писала уже взрослой. Отмечу и это.

Писать я бы Вам советовала, не называя родителей, и подписываться буквами — secret de Polichinelle**[3], но так, по-моему, для первого раза в печати — скромнее. (Ничего не потеряете, только выиграете.) Отрывка будет два: Арест (и все, что с ним связано) и — Колония[4]. Пока пишите первый. Начните с чего хотите, но только не слишком задерживайтесь на предыдущем, — важно выяснить общее положение: слежку, скрывание и т. д. Арест, Чека, Стекловых[5], Кремль — возможно *точнее* и *подробнее,* с фамилиями, не упуская внешностей, повадок, голосов, по возможности восстанавливая свое тогдашнее впечатление. Вид комнаты — меню обеда (NB! особенно в Чека!), не упуская *ничего.* Ваша запись будет *единственной.* М. б. и много было детей арестованных, но таких как Вы — «дитяти» — ни одного. Помните, что у Вас в руках — клад. Не испортьте поспешностью — ленью — небрежностью, не бойтесь *длиннот,* не смешивайте их с *длиной* вещи: в содержательной вещи, растекись она хоть на 100 печатных верст, их не бывает. (Лучший пример — Достоевский.)

Адя, и — не мудрствуя: просто, как рассказ и как письмо. Напрягите внимание и память (внимание памяти!), о «стиле» не думайте, «faites de la prose sans le savoir»***. Здесь в Праге Мякотин («На Чужой Стороне»)[6], если решите писать, прельщу его заранее. Возьмите со стороны: девочка 9-ти (?) лет в такой передряге и 15-ти (на год «омолодим») ее записывающая. Не только документ истории, еще и document humain****. В «Колонии» не забудьте историю с собакой, но пока о «Колонии» не думайте, сосредоточьтесь — вся — на Чека. Делайте так: заведите блокнот, чуть что — где бы то ни было (хоть в «Заход'е»*****), вспомните — заносите. Так несколько дней, пока не вспомните всего.

* «Девочка во времена Террора» *(фр.).*
** Секрет Полишинеля *(фр.).*
*** Пишите прозу, не думая, что пишете ее *(фр.).*
**** Человеческий документ *(фр.).*
***** От чешск. «zachod» — туалет.

Но ужас *первого* дня опишите. Потом будут вставки. И пишите *каждый* день, с утра, пока голова свежа. Вечернее писание — на нервах, т. е. не надежное, не привыкайте. Когда кончите (не позже, как через месяц, — я говорю о 1-ой части — за глаза хватит!), присылайте. Если хотите, где нужно будет — выправлю, чуть-чуть, какое-нибудь слово, знак, т. п. Иногда обидно: на букву меньше или больше — и вся фраза иная.

Итак, я жду от Вас «Чека» (или иначе, не знаю, где центр тяжести: Чека? Кремль?) через месяц, к концу мая. *Ручаюсь,* что поместят. Не в «Чужой Стороне» — так в «Современных 〈Записках〉», только — умоляю — никому, кроме своих, ни слова (верю в сглаз). Глубоко верю, что каждое настоящее писание — из опыта, vie vécue*, Gelegenheitsgedicht**. Поэтому никогда не приветствую, особенно в ранних писаниях, чистого вымысла, который отождествляю с Крачковским[7]. Если бы Вы сейчас взялись писать роман — он вышел бы определенно плох. Рассказы же — полуправда, полувымысел — это Зайцев. Я за *жизнь,* за то, что было. *Чт́о* было — жизнь, *ќак* было — автор. Я за этот союз.

Напрасно посрамляли С〈ергея〉 Я〈ковлевича〉, он уже давно отправил Вам поздравление и, недавно, роясь в сорном ящике, я нашла длиннейшее, мельчайшим почерком его письмо к О〈льге〉 Е〈лисеевне〉, «отправленное» им — свято был уверен! месяца два назад. Честное слово.

Вчера доели остаток пасхи, кулич (вроде плюшкинского сухаря) еще жив. Гостей, кроме местных вшенорских, было мало. На следующей неделе будут Л〈ебеде〉вы, мать и дочь (он, кажется, уезжает в Париж), делящие «вылет» между Пешехоновыми[8] (*бе-зумная* скука!) и нами. Ируся пишет Але раза два в неделю, Аля сообщит Вам ее сегодняшнее приветствие.

Да! самое главное: 20-го, на 2-ой день Пасхи, было Сережино выступление в «Грозе»[9]. Играл *очень* хорошо: благородно, мягко, — себя. Роль безнадежная (герой — слюня и макарона!), а он сделал ее обаятельной.

За одно место я трепетала: «...загнан, забит, да еще сдуру влюбиться вздумал»[10]... и вот, каждый раз, без промаху: «загнан, забит, да еще в дуру влюбиться вздумал!» Это в Катерину-то!

---

* Здесь: пережитое *(фр.)*.
** Стихотворение на случай *(нем.)*.

В Коваленскую-то![11] (prima Александринского театра, очень даровитая.) И вот — подходит место. Трепещу. Наконец, роковое: «загнан, забит, да еще...» (пауза)... Пауза, ясно, для того, чтобы проглотить дуру. Зал не знал, знали Аля и я. И Коваленская (!)

Был он в иждивенческом костюме[12], в русской рубашке и сапогах, т. е. крагах поверх (иждивенческих же) башмаков. Фуражку все время держал в руке, — вроде как от почтительности, на самом деле — оттого, что не налезала. (Гардероб и декорации из чешского театра.) Да! *Волга,* над которой я так умилялась, оказалась — Нилом. (Пальмы — вербы и т. д.) Жаль, что не было пирамид, я бы приняла их за style russe* — хаты.

Адя, непременно перечтите «Грозу».

Георгию скоро три месяца. Востро- и сине-глазый, горбоносый, ресницы выросли, но белые, от бровей — одни дуги. Тих, мил и *необыкновенно* прожорлив. Пьет сразу по стакану черной смеси, спасшей в Германии во время войны десятки, а м. б. сотни тысяч детей: пережаренная мука на масле, разведенная водой и молоком. Я вся в бутылочках, пробках, спиртовках, воронках и пеленках. Гуляем, когда солнце, целый день. Почти не пишу. (Вечером себе не верю). Когда Вы его увидите, он будет уже «большим».

Целую Вас и О⟨льгу⟩ Е⟨лисеевну⟩ — Куда Вы так таинственно ездили? Как в романах!

МЦ.

Башкирцева — прекрасная книга, одна из моих любимейших[13]. Я в 1912 г. долго переписывалась с ее матерью[14] и у меня в России несколько ее детских карточек, в Полтаве: с собакой, с братом. Теперь мать ее, наверное, умерла (в Ницце).

P. S. И — раздумье: а может быть, Вы и вовсе не были в Чека? Только сестры? Но в Кремле были — ясно помню. Как жена Ленина хотела Вас посмотреть, а ее не пустили[15].

II P. S. Мне очень нравится — что Вы говели. *Вам* (дочери революционера) говеть то же самое, что мне (внучке священника) 16-ти л⟨ет⟩ заставлять Николая Чудотворца на иконе — Бонапартом[16]. Честное слово. Так было.

7

⟨Конец мая — июнь 1925 г.⟩

Дорогая Адя,

Молодец — что пишете! Не смущайтесь длиной и не смешивайте ее с длиннотами. Их у Вас быть не должно и, думаю,

---

* Здесь: русские *(фр.)*.

не может. — Лишь бы было насыщенно. — Пусть не отрывок, а целая книга, — вещь сенсационная — издателя найдем. Могу написать предисловие, могу — отзыв, могу и то и другое — пишу редко, но печать и рекламу Вам создам, как никто.

Пишите Чека. Пишите Колонию. Поставив последнюю точку — забудьте. Буду действовать я. Постучусь и в «Современные 〈Записки〉» (к зажиревшему Переслегину[1]) и к не менее, хотя по-другому, жирному — Мякотину («На чужой стороне») и к Liatzk'ому*[2].

Книга будет. И замечательно, что 16-ти лет! Я за *ранние* дарования, как за ранние любови (Лорда Байрона: 4 года)[3].

Один совет, если не обидитесь: давайте себя через других; не в упор о себе, не вообще о себе, а себя — в ответ на: события, разговоры, встречи. Так, а не иначе встает личность.

Не отставайте от работы, пусть это — временно — будет Ваша жизнь, поселитесь в ней. Так, а не иначе пишутся книги.

А знаете, Адя, что Вы на этом деле сможете крупно заработать. Хорошо бы: сначала через какой-то журнал (хотя бы отрывки), потом — отдельной книгой. Получите двойной гонорар. А еще переводы! И в Россию книга, бесспорно, попадет.

Всю силу своего желания в данный час направляю на Вас. — Самый действенный гипноз: хочу, чтобы Вы захотели.

МЦ.

P. S. Очень прошу, подержите корректуру моего стиха в «Огоньке»[4]. Опасные места упомянуты на отдельном листке.

8

Милая Адя!

13-го (в воскресенье) в Подворье (93, rue de Crimée) венчание М. С. Булгаковой[1]. Хорошо бы узнать накануне — *когда,* и пойти! Венчается целая поэма! (Пауза.) Целых две.

Подговорите Володю[2] и Доду[3] и пойдите. И напишите.

Хороший день выбрали — а? (13-е!)

Целую.

МЦ.

St. Gilles, 9-го июня 1926 г.

---

* Немецкая транскрипция фамилии Ляцкий.

9

St. Gilles, 1-го июля 1926 г.

Дорогая Адя,

Спасибо за письмо. Оно мне сегодня снилось, и проснулась в тоске, хотя в жизни уже ничем не отзывалось. Засесть гвоздем, это ведь лучше, чем висеть жерновом! Жалею М⟨арию⟩ С⟨ергеевну⟩[1], потому что знаю, *как* женился! Последующие карты можно скрыть, она слишком дорожит им, чтобы домогаться правды, но текущей скуки, явного ремиза не скроешь. Он ее не любит.—«Ну, хоть тянетесь к ней?»—«Нет, отталкиваюсь».

Стереть платком причастие—жуткий жест.

Она вышла за него почти против его воли («Так торопит! Так торопит!»)—дай ей Бог ребенка, иначе крах.

Спасибо, что пошли. Поблагодарите, когда приедут, ваших. Теперь Дода знает, как венчаются герои поэм и кончаются поэмы.

Написала здесь две небольших вещи, пишу третью, очень трудную[2].

Писать приходится мало, полдня пожирает море.

Мур ходит вот уже месяц, хорошо и твердо, первый свой шаг ступил по безукоризненной земле отлива. Пляж у нас изумительный, но это все. Пляж для Мура и сознание Вандеи для меня. Жизнь тише тихого, все располагает к лени, но это для меня самое трудное,—лень и неженство на берегу. Купаюсь, вернее, захожу по пояс (по пояс—условности: по живот! пляж у нас так мелок, что для по пояс нужно было бы пройти полверсты), захожу по живот и в судорожном страхе плыву обратно. А Аля—того хуже: зайдет по щиколотку и стоит как теленок, глядя себе под ноги. Может так простоять час.

Вы, наверное, уже знаете, что меня скоропостижно сняли с иждивения. Полетели письма по всем пригородам Праги. Не будь этого, приехала бы к вам осенью, когда часть разъедется. Дода тоже с Вами?

Мы все загорели. Рядом с нами фотография, сниму Мура и пришлю. О⟨льга⟩ Е⟨лисеевна⟩ спрашивает, что ему прислать. Из носильного ничего, спасибо, все есть. Может быть—у вас раньше будут—апельсины. Здесь все очень поздно, оказывается Вандея совсем не лес и совсем не юг.

До свидания, целую Вас и О⟨льгу⟩ Е⟨лисеевну⟩, ей напишу отдельно. Пишите. Аля ждет от Вас письма.

МЦ.

Да! Не знаете ли (Вы видели Невинного), где Дорогой? Он мог бы мне помочь с чехами.

Чернова (по мужу Сосинская) Ариадна Викторовна (1908—1974)— автор критических статей, переводчица. Дочь О. Е. Колбасиной-Черновой (см. письма к ней).

Впервые—письма 1—6 в *НП*, письма 8 и 9 в кн.: Лосская В. Марина Цветаева в жизни. Нью-Йорк: Эрмитаж, 1989. С. 97, 292. Письма 8 и 9 печатаются по текстам первых публикаций, остальные—по копиям (с использованием комментариев в *НП*), предоставленным публикаторам настоящего издания В. Б. Сосинским. По этим же копиям впервые публикуется письмо 7.

1

[1] Кто скрывался под этим дружеским прозвищем, не установлено.

[2] *Рудин* Андрей Карлович—литературный критик, соредактор С. Я. Эфрона по пражскому журналу «Своими путями». Написал на книгу Цветаевой «Мо́лодец» рецензию (Перезвоны. Рига. 1925. № 5).

[3] Ложе, на которое великан Прокруст насильно укладывал пленных путников: тем, кому ложе было коротко, обрубал ноги, тем же, кому оно было длинно, вытягивал их (греч. миф.).

[4] Дружеская кличка Е. А. Сталинского. См. комментарий 4 к письму 19 к А. А. Тесковой.

[5] Приписка рукой Али в духе шуточной семейной игры. По правилам этой игры, каждый член семьи представлял собой два лица: первое—воспитанный, благородный, добрый человек, второе—циничное, злое, эгоистичное существо. Второе «я» имело свое имя (у Али—«Теленок». У Цветаевой и С. Я. Эфрона—«Та Марина Ивановна», «Второй (тот) Сергей Яковлевич») и соответственно говорило на языке, отражающем характер изображаемого персонажа. В эту игру были посвящены и Черновы.

2

[1] Приписка М. Цветаевой к письму А. С. Эфрон. Датируется условно.

[2] Здесь, вероятно, Софья Самойловна Морковина (1885—1962), подруга О. Е. Колбасиной-Черновой, мать В. В. Морковина (см. письма к нему в т. 7).

[3] В. М. Чернов. См. комментарии к письмам к О. Е. Колбасиной-Черновой.

[4] См. комментарий 1 к письму 2 к А. А. Тесковой.

[5] *Яковлев* Иван Иванович—бывший кадровый офицер. Администратор журнала «Воля России» (*НП*. С. 213). О его жене сведений нет.

[6] Издательство «Пламя».

[7] См. комментарий 6 к письму 1 к О. Е. Колбасиной-Черновой.

3

[1] Приписка М. И. Цветаевой к письму Али к Ариадне Черновой от 29 декабря 1924 г.

4

[1] *Розенталь* Леонард Михайлович (ум. в 1955) — богатый русский ювелир, жил в Париже, помогал писателям. Автор книги «Будем богаты» (Париж, 1925).

[2] Цветаева впоследствии подарила Черновым книжку «Мо́лодец» с надписью «Ольге Елисеевне и Аде Черновым равно, но разно, розно, но равно любимым. Вшеноры, близ Праги, 7-го мая 1925 г.» (Частное собрание).

[3] *«Мальчик Георгий»* — сын царя Александра II и княгини Е. М. Юрьевской (урожденной Долгоруковой, 1847 — 1922), морганатической жены царя.

[4] Замок принца Кинского, где находится этнографическое отделение пражского Национального музея.

[5] *Шебеко* Варвара Игнатьевна (ум. 1931 г.) — статс-дама при дворе Александра II. Приставленная к маленькому Георгию, ревниво относилась к горничной В. Н. Боровиковой, плела вокруг нее интриги. Цветаева, по-видимому, имеет в виду мемуары Веры Боровиковой «Из жизни моей на службе у княгини Долгоруковой, Екатерины Михайловны, а потом у святлейшей княгини Юрьевской» (На чужой стороне, 1924. № 4. С. 50 — 78). См. также письмо 20 к О. Е. Колбасиной-Черновой.

[6] См. письмо 19 к О. Е. Колбасиной-Черновой.

[7] *Андрусов* Николай Иванович (1861 — 1924) — геолог, член Академической группы в Праге, преподавал в Русском университете. С 1918 г. в эмиграции.

[8] *Беляев* Николай Михайлович (1900 — 1930) — историк византийского искусства, один из ближайших учеников Н. П. Кондакова, впоследствии доктор философии Карлова университета. Был сбит грузовым автомобилем.

5

[1] См. письмо 8 к Б. Л. Пастернаку.

[2] А. З. Туржанская. См. комментарий 4 к письму 11 к П. П. Сувчинскому. *Лелик* — Олег Туржанский (1916 — 1980), ее сын.

[3] Обложку для «Мо́лодца» выполнил художник Николай Иванович Исцеленнов (1891 — 1981). До революции Н. И. Исцеленнов был художником-архитектором Императорской Академии художеств в Петербурге. В 1920 г. бежал в Финляндию, затем жил в Берлине, Праге, Париже. Активно работал в парижском обществе «Икона».

Что касается его работ в области книжной графики, то они не оставили сколько-нибудь заметного следа. Н. А. Еленев, откликаясь на пражскую выставку Н. И. Исцеленнова в 1925 г., писал: «Книжные графические работы Н. Исцеленнова (например, обложка для поэмы Марины Цветаевой «Мо́лодец» ...) неприятно нарочиты, надуманы. Та непосредственность штриха, которая мнится художнику, на самом

деле манерная игра под примитивизм, отталкивающая вялой и неискренней выдумкой» (Русские в Праге. 1918—1928 гг. Прага, 1928. С. 292).

[4] М. Л. Слоним. *Дорогой*—его дружеское прозвище.

[5] М. Н. Лебедева.

[6] В. И. Лебедев.

[7] Дочь К. Д. Бальмонта.

[8] Е. К. Цветковская, жена К. Д. Бальмонта.

[9] Так Аля в шутку называла О. Е. Колбасину-Чернову.

[10] См. комментарии 5 к письму 1.

[11] Стихотворение «Аймéк-гуарýзим—долина роз...» написано 18 сентября 1917 г. (см. т. 1). *Розенталь* в переводе с немецкого—долина роз.

6

[1] Речь идет, по-видимому, о замысле Ариадны Черновой написать воспоминания о своих злоключениях в послереволюционной России. Замысел осуществлен не был.

[2] Автор книги—Алиса Миллер.

[3] *Polichinelle* (Полишинель)—персонаж народного французского театра. *Секрет Полишинеля*—секрет, который всем известен.

[4] После разгона в 1918 г. Учредительного собрания его бывшему председателю В. М. Чернову приходилось скрываться от ЧК. Его семья была арестована, а одиннадцатилетняя Ариадна Чернова помещена в детскую колонию в Серебряном Бору под Москвой. (Подробнее о жизни семьи Черновых в 1918—1920 гг. см. воспоминания О. В. Черновой «Холодная зима»—Новый журнал. 1975. № 121; 1976. № 122, 124.)

[5] Жена политического деятеля, члена Президиума ВЦИК Ю. М. Стеклова, Дивильковская, хлопотала перед Дзержинским об освобождении дочерей В. М. Чернова из тюрьмы. Ей это удалось, и какое-то время сестры Черновы жили у Стекловых под их поручительство.

[6] *Мякотин* Венедикт Александрович (1867—1937)—историк, политический деятель. С 1922 г. в эмиграции. Соредактор, затем редактор журнала «На чужой стороне», Прага (с 1926 г.—«Голос минувшего на чужой стороне», Париж).

[7] См. комментарий 3 к письму 15 к Р. Б. Гулю.

[8] *Пешехоновы*—Алексей Васильевич (1867—1933) и его жена. Статистик, известный публицист, видный сотрудник журнала «Русское богатство». В 1923 г. выслан за границу.

[9] Любительский спектакль по пьесе А. Н. Островского. В письме к А. В. Черновой того же времени С. Эфрон писал: «...эта Пасха для меня отравлена моим театральным выступлением в „Грозе“. Увы! ... Я десять лет не был на сцене и потому очень волновался. Но, слава Богу, спектакль для меня уже не „завтра“, а „вчера“» (*ВЛ*. 1991. № 6. С. 202).

[10] Реплика Бориса (действие первое, явление четвертое) приведена в несколько измененном виде; у Островского: «Загнан, забит, а тут еще сдуру-то влюбляться вздумал».

[11] *Коваленская* (по мужу Павлова) Нина Григорьевна (1888—?)— бывшая актриса Александринского театра. После войны жила в США. См. также письмо 27 к О. Е. Колбасиной-Черновой и комментарий 3 к нему.

[12] То есть купленном на свою стипендию («иждивение»).

[13] Имеется в виду «Дневник» Марии Башкирцевой. См. письмо 1 к В. В. Розанову и комментарий 1 к нему, а также письмо 33 к О. Е. Колбасиной-Черновой, где Цветаева дает этой книге прямо противоположную оценку.

[14] Башкирцева (урожденная Бабанина) Мария Степановна.

[15] Этот эпизод описан О. В. Черновой: «Дивильковская как-то сказала нам, что однажды вечером жена и сестра Ленина, бывшие у них в гостях, захотели посмотреть на спящую Адю. Но Дивильковская возмутилась и решительно заявила, что девочка не «ученый медведь» и надо ее оставить в покое. Адя очень жалела впоследствии, что из-за принципиальности Дивильковской ей не удалось увидеть Крупскую и Ульянову» (Новый журнал. 1976. № 124. С. 205.)

[16] См. письмо 2 к В. В. Розанову.

7

[1] Цветаева иронизирует по поводу романа Ф. А. Степуна «Николай Переслегин», заполонившего в 1923—1925 гг. страницы «Современных записок» (печатался в восьми номерах).

[2] См. письма к Е. А. Ляцкому.

[3] Возможно, речь идет о любви маленького Байрона к своей няне, Май-Грей. См., например, сб. «Осень. Новые повести и рассказы С. Чистякова. М., изд-во М. О. Вольф. 1900.

[4] Неясно, о каком издании идет речь. В 1925 г. в Европе не выходило издание с таким названием. (См.: «L'Emigration russe en Europe». Catalogue collectif des périodiques en langue russe. 1855—1940. Paris. 1990). Созвучным по названию был лишь литературный еженедельник «Наш огонек», выходивший в Риге (1923—1928). С большой натяжкой можно было бы предположить, что речь идет о другом рижском журнале, а именно «Перезвоны», где в трех номерах за 1925 г. публиковались стихи Цветаевой (№ 4, 6, 7/8). К слову, в этом журнале сотрудничала О. Е. Колбасина-Чернова (см., например, ее рассказ «Майтена», в № 25 за 1926 г.). Возможно, намечалось издание нового журнала, но оно не осуществилось. См. также письмо 26 к О. Е. Колбасиной-Черновой.

8

[1] *Подворье*—русская церковь Сергиевского подворья, располагавшаяся неподалеку от улицы Руве. Речь идет о венчании К. Б. Родзевича (см. письма к нему) и М. С. Булгаковой (см. комментарий 2 к письму 30 к А. А. Тесковой). После женитьбы они поселились под Парижем, одно время были соседями Цветаевой, которая поддерживала с ними отношения (см. письмо 30 к А. А. Тесковой).

[2] В. Б. Сосинский. См. письма к нему в т. 7.
[3] Д. Г. Резников. См. письма к нему в т. 7.

9

[1] М. С. Булгакова. См. письмо 8.
[2] После поэм «С моря» и «Попытка комнаты» Цветаева приступила к поэме «Лестница» (см. т. 3).

О. Е. КОЛБАСИНОЙ-ЧЕРНОВОЙ

1

Вшеноры, 17-го Октября 1924 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Когда отошел Ваш поезд, первое слово, прозвучавшее на перроне, было: «Как мне жаль — себя!» и принадлежало, естественно Невинному[1]. (Придти на вокзал без подарка, — а? Это уже какая-то *злостная* невинность!)

Потом мы с ним пошли пешком — по его желанию, но не пройдя и двадцати шагов оказались в кафе, тут же оказавшемся политическим и даже преступным местом сборища здешних чекистов. Невинный рассказывал о Жоресе[2] и чувствовал, что делает историю.

Засим он — в В⟨олю⟩ Р⟨оссии⟩, мы — почти, т. е. в тот магазин шерсти, покупать С⟨ереже⟩ шершти[3] на кацне. Выбрали, в честь Вашего отъезда, траурную: черную с белым, явно — кукушечью. Да! Вдоль всего Вацлавского[4] глядели вязаные куртки и платья, причем Невинный на самое дорогое изрекал: «Вот это», так весело и деловито, точно я (или он) вправду собираемся купить.

У остановки 5-го номера столкнулись с В⟨иктором⟩ М⟨ихайловичем⟩[5], и я, радостно: — «А мы только что проводили О⟨льгу⟩ Е⟨лисеевну⟩. Сколько народу было!»

И он, улыбаясь: «Значит, с вокзала?»

Ничего не оставалось, как подтвердить: «Да».

Невинный мялся, и мы его отпустили.

У К⟨арба⟩сниковых[6] нас ждало некое охлаждение, выразившееся в форме одной котлеты на брата, без повторения. Съели и котлету и охлаждение.

— «Только ра-а-ади Бога, М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩, не беспокойтесь, не приезжайте ни прощаться, ни провожать»[7], — раза три сряду, на разные лады, с все возрастающей настойчивостью.

И тетка, как в тромбон: «И мебель увезут».

Перед уходом она кровно оскорбилась на меня за то, что я не смогла ей во всей точности указать, *где* и *как* в данный час переходят границу. — «Я же совершенно вне политики, да ведь это ежедневно меняется, откуда мне здесь, в Праге, знать?!»

И она, оскорбленно и хитро подмигивая:

— «Наоборот, как Вам здесь, в Праге, не знать, когда у Вас все друзья политические, — Вы просто не хотите мне сказать!»

Простились холодно: А⟨нна⟩ С⟨амойловна⟩, очевидно, почуяла, что я всем ее сущим и будущим отпрыскам (или это только у мужчин отпрыски? у женщин, кажется, птенцы) — или птенцам — предпочитаю хотя бы худшую строку худшего из поэтов — и это вселяло хлад.

Ах, к черту! Надоели чужие гнезда.

А ночью видела во сне Дорогого[8], — мы с ним переносили груды стекла — всё такие изящные «вещички» — он устраивал квартиру — я помогала, и у него, кроме стаканчиков и рюмочек, ничего не было. Не помню, что я плакала, хотя ничего не разбила, даже проснулась в слезах.

Завтра, 18-го, на каком-то вечере чешско-русской «гудьбы́» (музыки) встречусь с Завадским[9], передам ему рукописи, в первую голову — Вашу. Сегодня все это приведу в порядок. У меня после двух дней в Праге, а особенно после Невинного, полное чувство высосанности, какие-то сплошные отзвуки Игоревой «ножки» (видите ли — стукнулся!)[10], теткиных политических границ, слонимовского стекла, — хлам! Буду убаюкиваться вязаньем.

Рецензию в «Звене» прочла[11]. Писавшего — некоего Адамовича — знаю. Он был учеником Гумилева, писал стихотворные натюрморты, — петербуржанин — презирал Москву. Хочу послать эту рецензию Волконскому, а отзыв на нее Волконского — Адамовичу. Пусть потешится один и омрачится другой.

Часть романа Волконского[12], им присланную, почти кончаю: пока — не роман, но блестящая хроника дней и дел. — Царский бал — прием у Витте — убийство Гапона[13], — книга, конечно, пойдет.

Знаете чувство, охватившее всю группу провожающих, после последнего взмаха последнего платка? — «Как О⟨льга⟩ Е⟨лисеевна⟩ *скоро* уехала!» — В один голос, — «Не скоро *у*ехала, а *отъ*ехала, — сказала я, — ибо для того, чтобы *у*ехать, нужны люди, а для *отъ*езда — паровоз». Не знаю, оценил ли Невинный *укор* моего разъяснения (— и упор!).

Жду письма: дороги, вокзала, первого Парижа, первого вечера, первой ночевки. Поцелуйте Адю и расскажите ей, в какой сутолоке (не людей, а предметов!) я живу, чтобы не сердилась, что не написала.

— Мне скверно, — м. б. отзвук К⟨арбасников⟩ского громкого благополучия, м. б. слонимовское стекло, — но: скверно. То, что я больше всего боюсь: глухой стены, — нет! — брандмауэра, воздвигаемого моей гордостью — случилось, а когда стена — что́ остается? — головой о́б стену!

И — главное — я ведь знаю, как меня будут любить (читать — что́!) через сто лет![14]

МЦ.

2

Вшеноры, 2-го ноября 1924 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Так и не дождалась Вашего письма, хоть и не сомневаюсь, что половина (из скромности!) Ваших помыслов принадлежит мне.

Нынче унылый воскресный день, вчера был день всех святых (всех мертвых) кто-то рассказывал, что мой — Ваш — Uhelný trh*[1] являл собой сплошной цветник, — могла бы и я принести несколько цветочков на свои недостоверные могилы. (Недале́ко ходить!)

Живу домашней жизнью, той, что люблю и ненавижу, — нечто среднее между колыбелью и гробом, а я никогда не была ни младенцем, ни мертвецом! — Уютно — Связала два шарфа: один седой, зимний, со снеговой каймой, другой зеленый — 30-х годов — только ⟨недостает?⟩ цилиндра и рукописи безнадежной драмы под развевающейся полой плаща — оба пошли Сереже, и он, в трагическом тупике выбора, не носит ни одного.

Есть у меня новая дружба, если так можно назвать мое уединенное восхищенье человеком, которому больше 60-ти лет и у которого грудная жаба — и которого, вдобавок, видела три раза — и у которого крашеная жена и две крашеные падчерицы — но дружба, в моих устах, только моя добрая воля к человеку.

* Рынок угля *(чешск.)*.

И вот, не будучи в состоянии угодить ему стихами (пушкинианец), — вяжу ему шарф.

Это — профессор права — Завадский — бывший петербургский прокурор, председатель нашего союза и мой соредактор по сборнику[2]. Я уверена, что он бы меня очень любил, если бы я жила в Праге.

Большую вещь свою я окончила: Тезей (Ариадна) — I часть. Драматическая вещь, может быть и трагедия. (Никогда не решусь на такой подзаголовок, ибо я женщина, а женщина не может написать трагедии.) Куда отдам — не знаю. В «Совр⟨еменные⟩ Записки» недавно отдала «Мои службы» — отрывки Вы знаете, — для нашего же сборника вещь слишком велика. — Пускай отлежится. — Буду теперь писать II часть. Замысел — трилогия. Думаю, справлюсь.

Уехала третьего дня Валентина Чирикова, с которой меня роднила «великая низость любви» (из одного моего стиха, там так):

Знай, что еще одна... Что — сестры.
В великой низости любви[3]

— у нее в настоящем, у меня в прошлом. Весной она выходит замуж за какого-то горного инженера (как жутко! точно все время взрывает мосты! — но всякая профессия жутка), — которого не любит, потому что любит другого, который ее не любит. А выходит — п. ч. 29 лет, и нужно же когда-нибудь начать.

Если бы — миллиардер, я бы поняла, — тогда выходишь замуж за все пароходы! Но — инженер... Хуже этого только присяжный поверенный.

Таскаемся с Алей к А⟨лександре⟩ З⟨ахаровне⟩[4], выходим в сумерки, — у нее тепло, она — шарф, я — шарф, Аля на полу возится с Леликом[5] — а за окном и в окно дождь, по которому сейчас придется идти домой. Возвращаемся в непроглядной тьме, по лужам, с тоскою высторaживая первый огонек Вшенор.

Так проходят дни. С виду все еще незаметно. (Скоро 6 месяцев!) — На легком подозрении, развивающемся при первом моем вскоке на стул или на стол (достать стакан с полки, поправить штору) — а то и на скалу — достать небосвод! — Лазим с Алей — в ясные дни — исступленно: последнее небо! Впереди — сплошная муть. Здесь хорошие прогулки, но деревня — *пытка:* с тех пор, как я еще тогда, при Вас — вступилась за Лелика, мальчишки нас

с Алей ежедневно встречают ругательствами, камнями и грязью. А сколько таких дней еще впереди!

Стараюсь с помощью сравнительной лестницы (другим, мол, еще хуже!) представить себе — один день, что я счастлива, другой, что я этого заслуживаю, но... при первом комке грязи и при первом неуступчивом куске угля (топка — пытка!) — срывается: всем существом негодую на людей и на Бога и жалею свою голову, — именно ее, не себя!

С⟨ережа⟩ неровен, очень устает от Праги, когда умилителен — умиляюсь, когда взыскателен — гневаюсь. Бедная Аля вертится, как белка в колесе — между французским, метлой, собственным и чужим беспорядком. Твердо надеюсь, что она выйдет замуж «за богатого», после такого детства только это и остается.

Мечтает, впрочем, о елке: уже считает дни!

6-го ноября 1924 г.

Дорогая Ольга Елисеевна, а сегодня — Ваше письмо. Радуюсь и печалюсь. Бедная Адя! Как жаль. Думая об Аде и об Але, я сразу восстанавливаю в памяти морды детей К⟨арбасни⟩ковых (и матери и тетки) — слышу их требовательные голоса: «ветчинки! печеньица!» и ответный противно-медовый — матери: «Они у меня, М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩, уди-ви-тель-но любят ветчину. А Аля?» — и готова мир взорвать.

Да, есть дети *еще* несчастнее Ади и Али: те, что под заборами, или те — стадами — в Сов⟨етской⟩ России, но РАЗВЕ ЭТО ОПРАВДАНИЕ?

Аде, 15-ти лет, сидеть ночи подряд над *чужими* куклами, и Але, 11-ти[6], весь день метаться от метлы к сорному ящику, когда сотни тысяч *ничтожеств* («Ид»)[7] того же возраста челюсти себе смещают, вызевывая золотой свободный бесконечный богатый день — дуб, кто этого не чувствует, и негодяй, кто не вступается!

Как же Вы, после глаз Вашей Оли и синяков под глазами — Ади, не поверили еще, не заставили себя ещё поверить в ликующее, торжествующее, *мстящее* бессмертие души?! Бессмертие, в котором она *открывается!* Вроде большевицкого кухаркиного: «Теперь *мы* господа!» Ведь тех англичан с пароходами *нет*, как же без верховного англичанина?!

А с «дорогим» я помирилась — третьего дня. Пришла, чтобы говорить о сборнике, т. е. просить денег, он заговорил о «Психее» Родэ[8], к⟨отор⟩ую мне проиграл месяца четыре назад, причем «Психеи» этой нигде не мог найти, ибо запомнил и требовал «Элладу»[9], — я рассмеялась, — он рассказал мне китайскую сказку про девять небес — я задумалась — стало жаль, и ему и мне — года назад, набережных. Он был прост, правдив, нежен, человечен, я — проста, правдива, нежна, человечна. В кафе я уже рассказывала о «номере» с Р⟨одзевичем⟩, а в трамвае (он провожал меня на вокзал) уже слушала песенку: «Можно быть со всеми и любить одну», которую парировала настоящей на сей раз песенкой — очаровательной — XVIII века:

Bergère légère,
Je crains tes appas, —
Ton âme s'enflamme,
Mais tu n'aimes pas...*

Расстались друзьями, — не без легкого скребения в сердце — Почему все всегда правы передо мной?? —

⟨*Приписка на полях:*⟩

Только что был у нас П⟨етр⟩ А⟨дамович⟩, — завтра уезжает. Растопил мне на прощание печку. Было трогательно. Ехать ему смертно не хочется[10]. В тоске.

Целую нежно Вас и Адю. Бедная семья Кесселей[11]. «Беда от нежного сердца», — как называли Алекс⟨андра⟩ II, предпосылая беде — Августейшая[12].

МЦ.

Непременно опишите мне встречу с Чабровым и, если доведется, покажите ему «Переулочки» в Ремесле[13]. Он наверное не видел посвящения.

3

Вшеноры, 16-го ноября 1924 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Деньги получены, — девятьсот ⟨крон⟩[1]. Посылаю Вам сейчас восемьсот, к 1-му — еще сто. Получила я их подлогом, ибо доверенности на получение у меня не было, и я ее написала сама.

---

* Легкомысленная пастушка,
Я опасаюсь твоих чар, —
Твоя душа загорается,
Но любви в тебе нет... *(фр.)*.

Заблоцкий[2] спрашивал о Вашем местопребывании, я ограничилась туманностями. Попытайтесь (терять нечего!) еще раз подать прошение:

В Комитет по улучшению быта русских ученых и журналистов
— такой-то —

Прошение

Покорнейше прошу Комитет продлить выдаваемую мне ссуду и на этот месяц, по возможности в том же размере.

Подпись

Семейное положение:
Заработок:
Адрес: Дольние Мокропсы, и т. д.
Число

Сделайте это *немедленно* и пришлите мне, вместе с доверенностью: «Доверяю такой-то получить причитающуюся мне ссуду за декабрь месяц».

Прошение я передам Ляцкому, доверенность предъявлю 15-го, вместе с уцелевшим бланком (Вы мне прислали два), в котором я ноябрь переправлю (*не* бойтесь!) на декабрь.

Жаль, что раньше не пришло в голову, но м. б. еще не поздно.

На Ваше первое (длинное) письмо я ответила. На второе, т. е. деловую часть его, скажу следующее: пока мне чехи будут давать, я отсюда не двинусь. Жить, как Р⟨еми⟩зовы, З⟨айце⟩вы и др⟨угие⟩ парижане, я не могу, ибо *добывать* не умею. Вы меня знаете.

Если бы — чудом, в к⟨отор⟩ое я не верю, — таинственный ловец жемчужин и улыбнулся в мою сторону, я бы эту улыбку просила направить в Прагу, где мне *уже* улыбаются. Ему бы эта улыбка, во всяком случае, обошлась дешевле, мне же: 1 + 1 = 2. Словом, я вроде того гениально-гнусного ребенка из франц⟨узской⟩ хрестоматии, к⟨отор⟩ый, потеряв одну монету и получив взамен вторую, ревя и топая ногами, неустанно повторял: «à présent j'en aurais eu deux!»*

Милая Адя пишет о вечере. Милая Адя, когда Вы будете в «таком положении» — интересном единственно для того, кто от этого выиграет, а именно: для очевидного, но незримого — милая Адя, когда Вы именно этим образом будете интересовать — да еще на 7-ом, а то и на 8-ом месяце — Вы, головой клянусь, ни за что не захотите вечера в Париже, — особенно, имея прелестную привычку, как я, ощущать себя стройной — и интересовать — совсем другим!

---

* Теперь у меня было бы две *(фр.)*.

Вечер — в *мою* пользу, да! Но без моего присутствия. И я Вас серьезно буду просить об этом, дорогая Ольга Елисеевна, post factum, когда тайное станет явным. Убеждена, что не откажутся выступить ни Зайцев Борис (бррр!), ни еще какие-нибудь Борисы — можно даже будет внушить З〈айце〉ву, что *мой* Борис[3] (si Boris il y a?!)* в его честь. (NB! Вот удивится!)

Вчера провела прелестный день в Праге. Ездила с Алей и с одним добрым студентом 46 лет — в Москве у него внук в Комсомоле[4] — получали иждивение, сидели у Флэка (старинная пивная), а вечер закончили у моего Завадского, за ласковыми и дельными разговорами. Старик чудесный (53 года, но с виду старше), подарил мне свои воспоминания о временном правительстве (в «Русск〈ом〉 Архиве»)[5], угощал нас чаем и *ходит в моем шарфе.* (Сама видала!) 21-го у нас писательское собрание, представила сборник, Ваша «Раковина», надеюсь, пройдет[6].

С Дорогим, как я Вам уже писала, помирилась, но с тех пор не виделась, вчера не зашла и, вообще, ни окликать, ни заходить не буду. Остаток горечи? Привычка к власти? Ах, кажется, нашла формулу: я не ревную, я брезгую. А брезгливость, прежде всего — руку назад.

По тому, как мне хорошо, достойно, спокойно и полновластно со стариками, я убеждаюсь, что мне окончательно-восхитительно было бы с ангелами.

Пишу стихи. — Кажется, хорошие. — За II часть Тезея еще не принималась, — печка мешает. Но топить я ее научилась безукоризненно: ни угля, ни рук не щажу. С〈ергей〉 Я〈ковлевич〉 (второй)[7] наконец догадался — кто я:

«Апачи́[8] высказывают особенное отвращение ко всему, что походит на дом. Они только в исключительных случаях строят хижины из легких ветвей и кустарника; когда же становится слишком холодно, то отыскивают углубление в земле или же строят из земли, камней и листьев род котла в один метр в поперечнике и в 1/2 метра глубины, скорчившись садятся в него совсем голые, большей частью в одиночку, и встают только на другой день, когда солнце согреет их окоченевшие члены. От дождя прячутся под скалами и деревьями, а прочее время проводят в открытом поле». (Учебник археологии).

---

* Если это будет Борис *(фр.)*.

17-го ноября 1924 г.

Письмо задержалось. Высылаю его завтра, вместе с деньгами. Дорогая Ольга Елисеевна (получила Ваше письмо к С⟨ереже⟩) — зачем Вы уехали?! Ссуду можно было бы отстоять — хотя бы в половинном размере. Был бы прецедент. — Я в ужасе от Вашей жизни и жизни Ади. Адя вырастет озлобленной, помяните мое слово. Если бы я умирала, я, раздаривая свои дары, завещала бы ей — высокомерие к людям, уже готовое, без предыдущего этапа ненависти. Ненавидеть людей она будет не меньше, чем я, помяните мое слово, она уже и сейчас объелась людскими низостями. Жить среди благоденствующих *низших* — самоотравление. Мне жаль Адю. Это — характер. В ее глазах — суд. В подростке это — жестоко.

Достаньте ей где-нибудь «Le Rêve» Zola*, она мне чем-то напоминает героиню. Перечтите и Вы — хотя у Вас времени нет — ну, пусть она Вам расскажет. Сновидéнная книга.

Когда буду Вам пересылать остающиеся 100 ⟨крон⟩, пришлю немного больше — хочу подарить Але на Рождество (а у нас и других разговоров нет, ибо Аля слишком умна, чтобы жить настоящим, т. е. печкой и тряпками!) «Les nouveaux contes de fée» M⟨ada⟩me de Ségur (Bibliothèque Rose)** — в Праге их нет — чудные сказки, одна из любимых книг моего детства. Адя, кажется, читала. Там все принцы и принцессы, превращенные в зверей. А то мы с Алей ежедневно читаем le chanoine Schmidt***[9] — чудовище добродетели — 190 сказок, негодяй, написал. Я заметно глупею.

Сережин журнал вышел, — по-моему, хорошо — «Своими путями»[10]. — Громить будут и правые и левые.

4

Вшеноры, 25-го ноября 1924 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Что же не шлете прошения и доверенности? Чириков обещал похлопотать о декабрьской ссуде, но, если прошения уже будут поданы в министерство, это не поможет.

---

* «Мечта» Золя *(фр.)*.

** «Новые сказки феи» г-жи де Сегюр в серии «Розовая библиотека» *(фр.)*.

*** Каноник Шмидт *(фр.)*.

Кстати, адр⟨ес⟩ Людмилы:[1]

Malakoff (Seine)
Rue Jean-Jacques Rousseau 1
Madame Chnitnikova
(Шнитникова, Людм⟨ила⟩ Евг⟨еньевна⟩)

О моей жизни. Вся она сводится к нескольким (количественно — очень многочисленным) механическим движениям. Мыканье между пятью-шестью неодушевленными, но мстительными предметами — не маята маятника, ибо я не предмет, а нечто резко-одушевленное, именно — мыканье, тыканье чего-то большого и громоздкого (вспомните стихи Бодлера — о пингвине — *нелепом* на суше), в быту неорганизованного, между острыми, несмотря на их тупость, а м. б. именно тупостью своей, острыми, мелочами быта[2].

Жизнь, что́ я видела от нее, кроме помоев и помоек, и как я, будучи в здравом уме, могу ее любить?! Ведь мое существование *ничуть* не отличается от существования моей хозяйки, с той только разницей, что у нее *твердый* кров, *твердый* хлеб, *твердый* уголь, а у меня все это — в воздухе.

Мы кругом в долгах (Вам верну), пришлось из текущего иждивения купить теплые башмаки (135 кр⟨он⟩) и перчатки (35) и чулки (35) — (отмораживаюсь) — и вот уже 25-го сегодняшнего ноября *ничего* в наличности, даже эта марка в долг. «Дни» после моей вежливой перепалки с Зензиновым[3] (платил 50 гелл⟨еров⟩ строка, я добилась 1.50) моих последних стихов не поместили, — сочувствую, — раз другой за 50, зачем же меня за 1 кр⟨ону⟩ 50? Все всегда правы.

С⟨ережа⟩ завален делами, явно добрыми, т. е. бессеребренными: кроме редактирования журнала[4] (выслан, — получили ли?) прибавилась еще работа в правлении нашего союза («ученых и журналистов»), куда он подал прошение о зачислении его в члены[5]. Не только зачислили, но тут же выбрали в правление, а сейчас нагружают на него еще и казначейство. Ничуть не дивлюсь, — даровые руки всегда приятны, — и худшие, чем Сережины! А кроме вышеназванного университетская работа, лютая в этом году, необходимость не-сегодня-завтра приступать к докторскому сочинению, все эти концы из Вшенор на Смихов и от станции на станцию, — никогда не возвращается раньше 10 веч⟨ера⟩ (уезжает он поездом в 8 ч. 30), а часто и в 1 ч. ночи. Следовало бы поделить наши жизни: ему половину моего «дома», мне — его «мира» (в обоих случаях — тройные кавычки!).

М⟨арк⟩ Л⟨ьвович⟩ о месте замолчал, вообще замолчал, на торжественном собрании нашего союза (выборы председателя и всего состава правления) отсутствовал, кто-то потом рассказывал:

«уехал освежиться на 5 дней». Есть *разные* помойки: предпочитаю свою, *внешнюю!* На людях я его всегда защищаю и отношусь к нему с добротой, но есть что-то в этой доброте от моей высокой меры, а м. б. — просто от презрения. Мое отношение к нему — мое отношение к еврейству вообще: тяготение и презрение. Мне ни один еврей даром не сходил![6] (NB! А ведь их мно-ого!).

Завадский («мой» Завадский) из председателей ушел, выбрали при моем живейшем соучастии В. Ф. Булгакова[7]. Он сиял — красным, как пион. Седые волосы над младенчески-розовым лбом лоснились. М. б. — двинет сборник? Рукописей — чудовищная толща, — сколько грядущих мстителей! Были бы здесь, рассказала бы в жестах и в лицах, много смешного, но так, в отдалении, теряет остроту. Дала в сборник «Поэму Конца» — ту, над обрывом, от к⟨отор⟩ой у Вас разболелась голова — сосны и акации, помните? — очень бы хотелось именно здесь, в Праге, но... если дадут меньше кроны строка (je baisse à vue de l'oeil!)* придется изъять.

Да, на каком-то вечере в Ч⟨ешско⟩-Р⟨усской⟩ Едноте (была второй раз за два года) видела Р⟨одзевича⟩. Сидели за столиком с Б⟨улгако⟩вой. Прислонили для приличия два стула, якобы ожидая еще пару, к⟨отор⟩ая, разумеется, не явилась. В один из перерывов подошел (Б⟨улгак⟩ов, по обыкновению, «va faive un petit tour pour me faire plaisir»** — и Р⟨одзевич⟩, не рассчитывая на ее быстроту, не боялся). Мы стояли с Ал⟨ександрой⟩ Зах⟨аровной⟩[8] — она в голубой шали, я — в голубой шали, она — из деревни, я — из деревни... Истово поцеловал руку, и я, задерживая его — в своей: — «Р⟨одзевич⟩! Да у Вас женские часы!» — «Даже девические». — «Ну, *девические* — это никогда не точно!» Улыбнулся своей негодной улыбкой (с Б⟨улгако⟩вой от такой быстроты отвык) — и, естественно, ничего не нашел в ответ. (Б⟨улгако⟩ва, получив от своего и всех православных, — отца[9] 400 кр⟨он⟩ на рождение, купила вместо одних, — двое часов, и те и другие — женские: одни себе на правую, другие Р⟨одзевичу⟩ — на правую: того же вида, качества и размера, чтобы — если и будут врать, врали одинаково. А собственного и всех православных, — отца оболгала, сказав, что часы стоят 400 кр⟨он⟩. Рассказывала мне это еще летом, заменив часы Р⟨одзеви⟩чу какой-то другой необходимостью). Постояли — разошлись. Постояли и с возвратившейся из турне Б⟨улгаковой⟩. — Как все просто, и если бы заранее знать! — Со мной *всегда* так расставались, кроме

---

* Здесь: я на глазах уступаю *(фр.)*.
** Делает небольшой обход, чтобы доставить себе удовольствие *(фр.)*.

Б⟨ориса⟩ П⟨астернака⟩, с к⟨отор⟩ым встреча и, *следовательно,* расставание — еще впереди.

Дорогая Ольга Елисеевна, найдите мне оказию в Москву, к нему, — верную! Если не скорую, то — верную. Я сегодня видела его во сне: «Die Nacht ist tiefer, als der Tag gedacht»* (ночь глубже, чем это думал день)[10], он катал в коляске какую-то девочку — хоть десять! — и жену видела, разумную, не- или умно-ревнивую, — словом, мне нужно ему написать. (Не писала с июня, и на последнее письмо — о своем будущем Борисе — ответа не получила, хочу *проверить.)* Без любви мне все-таки на свете не жить, а вокруг все такие убожества!

Если бы я надеялась, что письмо когда-нибудь дойдет, я бы писала исподволь по нескольку строк, а так — без надежды — рука не поднимается. Самое важное, чтобы письмо было передано *лично,* где-нибудь не дома, без жены. Я не хочу мутить его жизнь. Мне нужна больше, чем умная — сердечная оказия. Есть ли такие еще?

Прогулки здесь унылые: голое шоссе, чаще грязное, с кладбищенскими елями и смехотворными скалами. Овраг неприютный. В деревню не хожу, п. ч. мальчишки камнями швыряются. Были морозы — сейчас оттепель. Ах, да! Недавно у Ч⟨ири⟩ковых видела Лапшина[11], сравнивал *блины* с какой-то симфонией Скрябина (какова пошлость!) — Самойловна[12] ему очень понравилась, и «молодой человек» (Адя, примите к сведению!) «очевидно подает надежды». Вспоминал Вас с теплотой, просил кланяться. Ваши писания ему очень нравятся.

Мой сын ведет себя в моем чреве исключительно тихо, из чего заключаю, что опять не в меня! — Я серьезно. — Конечно, у С⟨ережи⟩ глаза лучше (и характер лучше!) и т. д., но это все-таки на другого работать, а я бы хотела на себя.

Пишу сравнительно много — отдельные стихи. Очень бы хотела издателя на книгу стихов, — у меня с «Ремесла» не было книги, а тому уже 2 1/2 года, и стихов больше, чем достаточно, на том. Но с «Пламенем» я больше не свяжусь: «Мóлодец» и к Рождеству не выйдет.

Писал ли Вам П⟨етр⟩ А⟨дамович⟩? Мы с ним трогательно простились. Он мне даже печку на прощание затопил — на добрую память. Писала это письмо урывками — от печки к примусу и т. д.

Целую Вас и Адю. Не видали ли Бахх-рах-ха?!

МЦ.

---

* *(Нем)и — разошлис*

P. S. Посылаю Вам три захудалых франка, — м. б. пригодятся, здесь мельче 5-ти не меняют, вот и застряли. — Ведь не обидитесь?[13]

5

3-го декабря 1924 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Ваше прошение Ляцкому передано — через Б⟨елобородо⟩ву[1], с сопутствующим письмом. Что выйдет, не знаю, ведь прошения уже поданы и утверждены. Обидно, что не раньше.

Вы давно не пишете, Ваше последнее письмо было к С⟨ереже⟩, он два раза садился отвечать, но жизнь его так разорвана, по приезде еле успевает поесть, — уже спит. А я не писала давно, п. ч. все ждала Вашего прошения.

Я начинаю серьезно задумываться о своем недалеком будущем. Событие через 2 1/2 месяца, а у меня — *ничего,* вплоть до наименования лечебницы. Я даже у д⟨окто⟩ра ни разу не была, словом — все на Божью волю.

Виделись ли Вы с Людмилой Ч⟨ирико⟩вой? У нее наверно есть младенческие вещи, — не все же сувениры! И нельзя ли было бы закинуть удочку — осторожно? Хорошо бы также попытать почву (дно, боюсь, мелкое, и вместо китов, напр⟨имер⟩ — одни пескарики, т. е. лирика!) — у К⟨арбасни⟩ковых (насчет «приданого»). Нужно столько вещей, что я обмираю: кроме всего тряпичного — коляска, корыто, — откуда я это возьму?! Мы *кругом* в долгах, заработка за этот месяц никакого, — Дни (т. е. Зензинов) на мое правоутверждение (1.50 вместо 50 г⟨еллеров⟩!)[2] обиделись и последних моих стихов не поместили, посылать еще — неловко, я не нищий.

О лечебнице: в бесплатную мне жутко: *общая* комната, вместо одного младенца — 20, чешские врачи и чешский язык, курить нельзя, а лежать мне, по моей органической негодности к этим делам, наверное придется, как в прошлые разы, не положенных 9, а то и все 29 дней! Во что я обращусь? Подумать жутко. (*Знаю* свои «не могу»!)

М⟨аргариты⟩ Н⟨иколаевны⟩[3] я не вижу, — как-то она была у нас, мы писали, живут они где-то далеко, дни идут за днями (трамваи, очевидно, за трамваями!) — и ни один из них (дней и трамваев) никуда не довозит. Жирный смех Л⟨ебеде⟩ва, *чужая* жизнь — и мои несвойственные заботы, все это не спевается.

Но, главное, — приданое. Если бы я знала, что у меня что-то есть, я бы отчасти успокоилась, — все-таки некая реальность.

Да! здесь затевается студия, м. б. поставят мою «Метель»[4], — не могли бы Вы мне прислать тот экз⟨емпляр⟩, к⟨отор⟩ый я Вам дала с собой? Здесь его достать невозможно. Очень, очень прошу. А если утерян, всегда можно достать в «Звене» (кажется, февраль 1923 г.).

С платьями у меня тоже трагично, единственное допустимое — Ваше зеленое (А⟨лександра⟩ З⟨ахаровна⟩ мне надвязала верх и рукава). В синее я *еле* влезаю, а вылезти уже почти невозможно, когда-нибудь застряну навеки (как в лифте!) А больше ничего нет. Беда в том, что приходится бывать в Праге, по делам сборника, сидеть с приличными (NB! Завадский) людьми — и в таком виде. У Людмилы Ч⟨ириковой⟩ *много* платьев, и она (уверена!), если бы знала, с удовольствием дала.

Но… нужно обольстить. Еще беда (все беды зараз!) — бандаж. Корсет уже невозможен, все кости вылезли и весь он лезет куда-то вверх, под шею, а само břicho* (живот) на свободе. Какой-то неестественный вид. В этом Вы мне, конечно, помочь не можете, просто лазарюсь — иовлюсь — жалуюсь.

Но погода прелестная — ни льдинки, ни снежинки — осень с теплым ветром — без дождинки! — но… хозяин поставил печь (деньги — наши, печь — его: в рассрочку!), и вчера мы с Алей были в к⟨инематогра⟩фе на «Нибелунгах». *Великолепное* зрелище[5].

И еще — стихи, которым — дивлюсь, что не разучилась.

Убивает Алин франц⟨узский⟩, отнимающий ровно половину утра (другую — плита и еда), убивают чулки, которые с каким-то протестующим ожесточением штопаю (2 пары своих, 5 Алиных, — и все разлагаются!), убивает еще такой год, а может и два — впереди!

Никто не бывает, кроме преданной Кати Р⟨ейтлингер⟩. Недавно разлетелась: — «М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩! Что для Вас сделать? Я бы полжизни, я бы правый глаз, я бы душу…»

И я, прохладно: «Три пары теплых штанов для Али (девочка без штанов) — покрой вот: ⟨*Далее приведен рисунок*⟩ — бумазейных: одни розовые, другие голубые, третьи (обнаглевая:) — сиреневые. 2 1/2 метра на три пары. 15-го заплачу́ (NB! и запла́чу!) И еще — надвязать чулки. (Оживляясь: — На Смихове, где мы жили, помните? — как спускаться со Шведской, вторая улочка налево? Так вот, такой магазинчик крохотный. Надвязка — 4 кр⟨оны⟩ пара»⟨)⟩.

* *(Чешск.).*

Катя уехала с отдувающимся портфелем, а я осталась в приятном ожидании штанов всех цветов радуги и 5-ти пар цельных чулок.

Да, чтобы задобрить... и загладить, сказала ей три стишка.

Сережа видится и водится с И⟨сцеленно⟩выми[6]. Квартиры они так и не сняли, живут в гостинице, в к⟨отор⟩ой С⟨ережа⟩ и посещает их, съедая *один* весь их скромный ужин и *опивая* чаем. Устроил им работу (верную) в какой-то художеств⟨енной⟩ мастерской. Они его любят, а мне сочувствуют.

С⟨ережа⟩ трогателен, подарил мне на свой редакторский гонорар чудную неопрокидывающуюся стеклянную чернильницу (Ваша поганая сова загаживала весь стол!), записную книжку, дегтярное мыло, сушеных винных ягод и («мне») — 1 к⟨оробку⟩ баррана[7]. И вот уже 10 дней как содержит табаком.

Да, инцидент с «Дорогим». Его заглазно выбрали в правление союза писателей, по предложению Калинникова[8]. (Уезжал на 5 дней «освежиться» — вроде как с той русской чешкой — фамилию забыла — с ужасным голосом.) Приезжает, является в Союз — с отказом: «1) Это не союз писателей, ибо здесь их почти что нет 2) за 2 года существования союз ничего не сделал, даже не организовал охраны своих прав перед и⟨здательст⟩вом «Пламя», зачастую эксплуатировавшим писателей 3) я — единственный из социалистов, попавших в правление, и без своих не могу». Общее смущение, вот-вот уже начнут уговаривать (улещать-умасливать) — причем большинство его не выносит — и С⟨ережа⟩, подымая руку:

— «Прошу слова» — и, получив: «Я бы предложил, приняв во внимание заявление М⟨арка⟩ Л⟨ьвовича⟩, перейти к очередным делам». Общее согласие. Секунда столбняка, вспышка румянца, руки в рукава, торопливое прощание, — изчез.

С⟨ережа⟩ кругом прав, и я его всячески одобряю: писателей прежде всего должен был защищать М⟨арк⟩ Л⟨ьвович⟩ — социалист, член союза и служащий «Пламени». Это заявление — вызов.

Кончаю, уступая место Але. Целую Вас и Адю и жду письма.

МЦ.

P. S. Недели через две Катя Р⟨ейтлингер⟩ будет проездом в Париже. (Едет в Англию на какой-то православный съезд и в Париже будет дня 4.) Дам ей Ваш адр⟨ес⟩. Если бы удалось что-нибудь заполучить от Людм⟨илы⟩ Ч⟨ириковой⟩, Катя бы наверное привезла. О ее поездке напишу подробнее.

6

Вшеноры, 11-го декабря 1924 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Ваше дело с иждивением плохо: Ляцкий обещал сделать, что́ может, но заранее предупредил, что ничего не может, — прошения поданы и утверждены, срок пропущен.

15-го вышлю Вам 50 кр⟨он⟩, когда смогу — еще 50, я уже давным-давно не получала ниоткуда ничего, иначе бы выслала раньше.

Был у нас в прошлое воскресенье — совершенно неожиданно — Невинный, предстал уже в сумерки и уехал в проливной дождь. Приехал, из кокетства, без зонта и без калош, и был очень смущен неожиданным (это в Чехии-то!) явлением природы. Говорил, естественно, о Париже, куда собирается через две недели и на несколько месяцев. Жаловался — довольно кротко, впрочем, — на какое-то Ваше возмущенное письмо к товарищам, ту же нотку я уловила и у М⟨аргариты⟩ Н⟨иколаевны⟩ (между нами!), у которой мы недавно были с Алей.

Какая квартира! (Скороговоркой: «не квартира, а конфетка!») — Возглас не осуждения, не зависти, а удивления. Тепло — и не где-нибудь, в каком-нибудь углу (NB! печном) — а сразу, равномерно и всюду. Какие-то испанские балконы с зеленью — вроде зимнего сада или тропик — запах эвкалипта и духов, скатерть, приборы, бархат на девочке и на креслах — восхитительно. Л⟨ебеде⟩ва не было, что прелести не убавляло.

Обещала разузнать мне про лечебницу, врача, бандаж и пр. Была мила. Накормила чудным обедом. Скоро увижусь с ней еще.

Жду визита одной чешки[1] — пожилой и восторженной, к⟨отор⟩ая пригласила меня читать лекцию о чем хочу в Карловом университете 7-го мая 1925 г. в 7 ч. веч⟨ера⟩, на что ей было объявлено о моих собственных 7-ми месяцах и гадательных еще часах и датах определенного февраля 1925 г.

Жаль, что она не акушерка! С деловым (у Достоевского — умным) человеком и поговорить приятно. Но она, кажется, увы — старая дева! Если она лирически спросит, чего бы я хотела, я отвечу: «Козы для ребенка и няньки для меня». — Это вместо тридевяти царств-то! —

Обрываю, ибо С⟨ережа⟩ летит на поезд.

Целую Вас и Адю.

МЦ.

7

Вшеноры, 26-го декабря 1924 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Завтра С⟨ережа⟩ высылает Вам иждивение — 900 кр⟨он⟩ — *наконец* полученные у Заблоцкого.

Тотчас же напишите благодарственное письмо Ляцкому (и Белобородовой) — их рук дело, и дважды: 1) выпросить у чехов, 2) уломать Заблоцкого. Мне он 15-го наотрез отказался выдать: г-жа Ч⟨ернова⟩ в Париже, и я запрошу Министерство. В М⟨инистер⟩стве (уже забыв о Ляцком) естественно отказали. Тогда я вновь обратилась к Ляцкому (т. е. попросту стравила двух старичков!) — с жалобой на З⟨аблоц⟩кого, — переписка — поиски адреса З⟨аблоц⟩кого (*никому* не дает, но С⟨ережа⟩ достал) — погоня его за С⟨ережей⟩ и С⟨ережи⟩ за ним, — в итоге 900 кр⟨он⟩ и все слава Богу.

Адр⟨ес⟩ Ляцкого:
Praha Smichov
Tř. Svornosti, 37. Panu Professoru E. Laitzky*

Мой совет: пользуйтесь случаем, и в наилестнейших выражениях просите работы. Даст.

Дальнейшее деловое: *умоляю* о скорейшей высылке «Метели». Пламя покупает у меня книгу пьес, кроме того «Метель» хочет ставить здешняя новая студия, — руки себе грызу, что тогда Вам отдала. Если потеряли, достаньте «Звено» (каж⟨ется⟩, № 12, февраль 1923), я знаю, как это трудно и нудно, но в Праге № с «Метелью» нет. Достоверно. (Искал Исцеленов, один из зачинателей студии.)

Завела, наконец, бандаж. Покупали с М⟨аргаритой⟩ Н⟨иколаевной⟩. Сразу воспряла духом, — ненавижу расплывчатость. Но это пока все, что у меня есть «для ребенка». («Это все для ребенка, это все для ребенка, это все для ребенка» — Игорь Северянин.)[1]

Завтра уезжает в Англию Катя Р⟨ейтлингер⟩; если через Париж (м. б. через Голландию), то будет у Вас. Я дала ей адрес Невинного и Ваш старый. В Париже будет неделю и Вас разыщет, т. е. отправит Вам petit bleu**, а Вы ей, в свою очередь,

---

* Евгений Александрович, она Александра Владимировна *(примеч. М. Цветаевой).*

** Телеграмма; срочная депеша *(фр.).*

назначите свидание. Она бойкая и Ваши бойни[2] разыщет. (Боюсь только, что всех быков перепугает.)

Вчера были на елке в «Воле России» — устраивали Лебедевы. Были Яковлевы с детьми, Минахорьян[3], Ольга Ивановна[4] со своей чешской дочкой, сами Лебедевы и мы с Алей. Елка, вне религиозного обряда, — как ни увешана — пуста. Дети представляли из себя Интернационал, — поэтому ничего не пели вокруг елки, кружились в молчании. (Французские Яковлевы, чешская девочка, не-русская Ируся[5] и русская Аля.) Хозяева были милы и сердечны, посадили нас на трамвай. Аля увезла длинную белую картонку, наполненную елочными украшениями и сластями. На русское Рождество пригласили их во Вшеноры.

Много пишу. Перешли на керосин, — дешевле и уютнее. Две жестяные лампы. Две жестяные печи. Первые наливаем, вторые топим, и те и другие чистим. На все это уходит много времени. И время уходит — проходит — до моего Бориса уже меньше двух месяцев.

Бывают у нас: Катя Р⟨ейтлингер⟩, изредка Исцеленовы. А мы с Алей — нигде: до Мокропсов в холод и гололедицу далеко, а во Вшенорах у нас никого, кроме Ч⟨ирико⟩вых, нету, а те слишком умны, чтобы сидеть во Вшенорах: ездят в Прагу.

Сборник («Ковчег» — мое название) разбивается на два. О гонорарах пока не слышно. Будут — Вам в первую голову. Меня мои сотрудники любят.

Какое Рождество празднуете? Два? Была или будет у Ади елка? Кстати, М⟨ada⟩me Л⟨ебеде⟩ва усиленно приглашала нас с Алей на свою. Нравлюсь я ей? Сомневаюсь. Нужна я ей? Несомненно — нет[6]. Любопытство? — Да. И поэтому не пойду. Мальчик (Pierrot)*[7] милый, девочка кукольная. А с папашей мы ни слова не сказали, он и руку подает как бревно.

Пока кончаю. На молчание не сержусь, никак его — в смысле кривотолков — не толкую. День требует своего, в этом вся разгадка.

Аля целует, С⟨ережа⟩ шлет привет. Деньги отправляются по адр⟨есу⟩ Сталинского.

Всего лучшего Вам всем.

МЦ.

---

* Пьерро *(фр.)*.

Были ли у Людмилы Ч⟨ириковой⟩? Напишите о ней. И пойдите еще, — у нее сейчас гостит Валентина. Адр⟨ес⟩: Malakoff/S. Rue J-J. Rousseau, 1.

Умоляю о высылке Але книги:

C⟨om⟩tesse de Ségur. Nouveaux contes de fées*.

Верну с долгом.

27-го декабря 1924 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

А сегодня Ваше письмо!

Утро. С⟨ережа⟩ торопится уезжать. Только что был почтальон. 2 ч⟨аса⟩ назад уехала Катя Р⟨ейтлингер⟩[8], если бы письмо пришло вчера, дала бы ей Ваш новый ад⟨рес⟩. Впрочем, до сих пор не знаю, через Голландию или через Париж (едет в Лондон).

Бедная Адя! Но непременно нужно будет отпраздновать русское Рождество, к которому она наверное поправится, и очеловечить новую квартиру елкой.

Сегодня же начинаю Вам большое письмо. И С⟨ережа⟩ сегодня же, уже не через Ст⟨алин⟩ского, а по новому адр⟨есу⟩ высылает Вам деньги.

Напишите Ляцкому и о болезни Ади, м. б. выхлопочет еще одну стипендию (на январь). И Б⟨елобородо⟩вой — отдельно — она ревнива. Адр⟨ес⟩ Ляцкого перепишите на стену, а то потеряете.

Целую Вас и Адю, спешу.

МЦ.

8

Вшеноры, 27-го декабря 1924 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Только что отправила Вам письмо с короткой припиской в ответ на Ваше, полученное в последнюю минуту, — С⟨ережа⟩ уже шел на вокзал.

Я Вам писала о елке у Л⟨ебеде⟩вых (в В⟨оле⟩ Р⟨оссии⟩) и не написала Вам о *заминке* в комнате каждый раз, как мною произносилось Ваше имя. Когда Л⟨ебеде⟩в сказал, что в Париже Вас не видел, я «чистосердечно», т. е. очень громко, удивилась.

* Графиня де Сегюр. Новые сказки феи *(фр.)*.

Он поспешил отговориться болезнью. М⟨аргарита⟩ Н⟨иколаевна⟩ вторично упоминала о Вашем молчании. Я⟨ковле⟩в, с флегматической полуусмешкой, рассказал о каком-то фельетоне Кесселя... «теперь Оля и Наташа знаменитости. Чуть ли не на миллион заказов»... Я: «Заказов — плохо, лучше бы просто миллион». Л⟨ебеде⟩в: «Ну, таких дураков найдется мало». Я: «То, что вы называете дураками — просто люди с воображением. Нужно не иметь никакого, чтобы после такой каторги предлагать — заработок». Л⟨ебеде⟩в: «А вы бы что предложили?» — «Отдых, т. е. миллион без заказов: tout rond et tout court*».

Общий смех и моя высокомерная не-улыбка.

Встреча с О⟨болен⟩ским[1] замечательна — как в романе. И дальнейшее — дружба родителей — тоже. Классический конец: его женитьба на Аде. Адя, хотите? Дети не будут орать и будут кудрявые. И все в доме — крашеное. Помните, в «Аленьком цветочке», кажется — невидимые и неслышимые слуги? А м. б. он — заколдованная собака и с любовью к нему красавицы примет свой прежний образ? И вы будете княгиней. (И царицей — в собачьем царстве!)

Передайте ему мой сердечный привет. И приучите к дому. Он будет помогать.

Мои дела. Иждивение мне, очевидно, сохранят — и не мне одной. (Вам бы наверное сохранили.) Думаю оставаться в Чехии, пока будут кормить, т. е. наверное еще целый год. Дальше??? — Дальше м. б. С⟨ережа⟩ получит место, или я «прославлюсь», сейчас я в ящике без воздуха, не скрываю, это не жизнь, для жизни (без людей) нужна природа, *новая* природа с голосами, заменяющими людские, — нужна свобода — у меня ни того, ни другого, ни десятого, у меня своя тетрадь. И так еще год. (Я о своей душе говорю, о главной, о требовательной, о негодующей себе!) Я недавно читала в каком-то письме Достоевского о его *скуке* и перенапряженности без внешних впечатлений: «5 мес⟨яцев⟩ одно и то же. Еще держусь». Если он, Крез души и духа[2], томился по внешнему: людям, видам, зданиям, — все равно! — как же не томиться мне!

Кроме того, я знаю, откуда это томление: голова устает думать, душа чувствовать, ведь, при отсутствии внешних впечатлений, и та и другая живут исключительно *собой,* собой без повода, в упор, целиком собой. При напряжении необходимо

---

* Коротко и ясно *(фр.)*.

разряжение. Его нет. Освежение. Его нет. Рабочий после завода идет в кабак — и прав. Я — рабочий без кабака, вечный завод.

С⟨ережа⟩ с Исцеленовым (и Брэй'ем[3], Вы его не знаете — англичанин — режиссер — блестящ) затеяли студию. Ставят «Царя Максимилиана», (народное, по Ремизову. С⟨ережа⟩ играет царского сына), «Адольфу» — нечто вроде Св⟨ятого⟩ Георгия[4]. Что выйдет — не знаю. Дело в хороших руках, есть актеры — но будут ли деньги? Пока у них небольшое помещение, репетиции идут. С⟨ережа⟩ очень увлечен. Как-то приводил сюда своего Брэй'я: небольшой быстрый рыжий человек, горящий и не гаснущий, острый в реплике, с лучше чем вкусом: нюхом. Страстно любит Пастернака. Сошлись. С⟨ережа⟩ с ним будет встречать здешний Новый Год, — в Праге в эту ночь (Сильвестрову) «все позволено»[5]. Будут ходить по улицам и заходить в рестораны. Говорят, пьяные чехи угощают русских. Я сама уговорила С⟨ережу⟩, п. ч. я на такие дела уже не гожусь.

Вчера была у нас Катя Р⟨ейтлингер⟩: рецидив одержимости С⟨ере⟩жей, вела себя истерически, клеила Але игрушки на елку, хохотала, вскакивала, намекала, заигрывала, — тяжело было смотреть. Умолила меня не идти провожать ее на станцию: «такой ужасный мороз!» — все это смеясь и плача, я была потрясена такой *явностью*. Если хотите ее совсем очаровать, говорите с ней побольше про С⟨ережу⟩.

Людские посещения мне мало дают. Первая минута радость (от перемены! нарушения хода) — и сразу примус, печь, посуда, — мыть, варить — ничего не успеваешь, все грязное, все жжется, потом наспех стихи прочесть — и уже темно — и уже люди спрашивают про поезда. Кроме того, не умею на людях, мне нужны не люди, а человек — один — упор хотя бы одного вечера.

Получила от «дорогого» «Психею» Родэ[6]. Двухтомный (800 стр⟨аниц⟩) ученый труд, *сухой,* sans génie*. Мне, в итоге, важно, *кто* пишет, а не о чем! А здесь — никто, и Психея не встает. Тело, из к⟨оторо⟩го Психея отлетела, — вот его книга. С удовольствием бы продала.

---

* Здесь: бесталанно *(фр.)*.

С «дорогим» после Вашего отъезда виделись два раза: раз когда «мирились», другой недавно, в «В⟨оле⟩ Р⟨оссии⟩», наспех, на людях, три минуты. Он мне определенно радуется и определенно во мне не нуждается, — Невинный более предан, чем он. Пошлю ему на Новый Год тот стих, что Вам посылала («Как живется Вам...»). Пусть резнет по сердцу или хлестнет по самолюбию. В тот вечер, по крайней мере, ему будет отправлена его «гипсовая труха»[7].

Вязать перестала: нет денег на шерсть и дико, дико надоело. А А⟨лександра⟩ З⟨ахаровна⟩ продолжает: облако белых шалей для всей деревни: вяжет как тонут. Никуда не хочет ехать. Здешний Художественный[8] звал ее в турне: с ужасом отвергла. Боюсь, что ее через 50 лет (деревенский воздух полезен!) схоронят на мокропсинском кладбище. А Лелик женится на дочке лавочника (Баллона)[9], обаллонится и будет торговать.

Кесселю книжку? A quoi bon?* Ну, любезное письмо в ответ. Сделаем: я Вам пришлю, а Вы — от себя — подарите. Мне нужен Пастернак — Борис — на несколько невечерних вечеров — и на всю вечность. Если это меня минует — vie et vocation manquées**. — Наверное, минует. —

И жить бы я с ним все равно не сумела, — потому что слишком люблю.

Мой сын будет Борис, — я Вам говорила? А если дочь — Ксения. Холодное и княжеское имя, по-французски на самую гадательную букву алфавита: X.

Очень рада оказии Оболенских. Если повезут детские нагрудники, будет совсем усладительно: одна из них в очках и самого стоистического вида и нрава (Ася)[10]. — «Никаких нагрудников!» И вдруг — повезет. И вдруг — отберут?! и вдруг придется нагрудники — отстаивать.

Дайте мне в следующем письме адр⟨ес⟩ Карбасниковых. Хочу поздравить их на русское Рождество и Новый Год. (Вы не читали «Наши за границей» Лейкина?)[11] Не забудьте написать Ляцкому — м. б. еще одно иждивение выгорит. А Белобородовым напишите отдельно, иначе погубите все дело.

Целую нежно Вас и Адю.

МЦ.

---

* Зачем? *(фр.)*

** Здесь: не сбылась моя жизнь, замысел ее *(фр.)*.

9

Вшеноры, 2-го нов⟨ого⟩ января 1925 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Вчера я была у Ч⟨ирико⟩вых, они очень озабочены судьбой посылки (материи), — на днях пришло письмо от Людмилы, в к⟨отор⟩ом она спрашивает Ваш адрес. Я дала. Людмила (очевидно, по своему почину — еще лучше!) собирается прислать мне кое-какие вещицы своей девочки и не знает — как. Я думаю, лучше всего по почте, — ведь за старые вещи пошлины не берут? — бережа оказию (Катю Р⟨ейтлингер⟩, например) для чего-нибудь более ответственного (если К⟨арба⟩сникова не раздумала). Катя у Вас будет числа 10-го — 12-го, она сейчас в Лондоне на конференции и обещала предупредить Вас. Ваш новый адрес у нее есть.

Готовимся к елке. Аля, считавшая дни уже с октября, вне себя, мечтает елку украсть и пронести перед носом сторожей, одетую в детское платье. На самом деле — полон лес елок, а придется везти из Праги.

Клеим украшения и — Вы удивитесь — главным образом я. Золотим баранов, львов, волков, черные адские и голубые райские деревца с золотыми яблоками, — изобретаю, вырезаю и оклеиваю сама. Аля, за медлительностью, только успевает ахать. С⟨ережа⟩, так нагло хваставшийся тем, что «воспитывался в детском саду и поэтому все елочное знает как свои пять пальцев» — эти пять пальцев (и еще пять!) однажды основательно замусолил, клея гигантский фонарь, — и на этом остановился. Фонарь же, недоклеенный и похожий на средиземного спрута, пылится на вышке шкафа.

Привыкаю радоваться чужими радостями (своих нет). А сын, скажете? Сын, это радость через 1/2 года, первое время я его буду бояться. Кроме того, я его уже ревную (ревную исключительно до трех лет, — нет, до семи, но потом слабее) и уже думаю о призыве (честное слово!) 1946 г.

Иногда, ловя себя на мечтах о няньке, думаю: а вдруг он эту няньку будет любить больше, чем меня? — и сразу: не надо няньки! И сразу: видение *ужасных* утр, без стихов, с пеленками, — и опять cri du coeur*: няньку! Няньки, конечно, не будет, а стихи, конечно, будут, — иначе моя жизнь была бы не моя, и я была бы не я.

---

* Крик души *(фр.)*.

Аля начинает говорить по-французски: «сила ломит и соломушку», в книгах понимает приблизительно треть, не пропустили с ней и пяти дней с Вашего отъезда. Эти уроки — моя кара, поэтому не отступаюсь. Но итоги налицо. Хочу довести ее до свободного, по собственному почину, чтения, — тогда примусь за немецкий.

Вы видите, чем я живу? Нет, я не этим живу.

〈*Конец письма отсутствует*〉

10

4-го января 1925 г.

Милая Ольга Елисеевна, только что получила «Метель» и статью о Ремизове[1], — спасибо. И одновременно письмо от Кати Р〈ейтлин〉гер, она потеряла записную книжку с адресами и просит сообщить Ваш. Пишу ей на всякий случай в Лондон, но для верности — вот что: напишите ей на адрес Оболенских, она в Париже наверное будет жить у них. Сообщите ей свой адрес и приблизительные часы, когда кто-нибудь дома. Сделайте это тотчас же по получении письма, в Париже она будет не позже 8-го и останется дня четыре. Боюсь, что мое письмо в Лондон ее уже не застанет.

А вот если а́дреса Оболенских не знаете — тогда уже не знаю, что выдумать. Боюсь обременять Вас лишними хлопотами.

Зовут Катю — Катерина Николаевна Рейтлингер.

Получила какое-то безумное письмо из Лондона (вне связи с Катей) от еврея-красноармейца-поэта, прочитавшего мои записи в «Совр〈еменных〉 Записках»[2] и негодующе вопрошающего меня, «почему я ушла от них». Отвечаю ему, что первым моим ответом на октябрьскую революцию был плевок на флаг, задевший меня по лицу. 1917 г. — 1925 г. — 8 л〈ет〉, флаг выцвел, плевок остался. — В этом роде. — Хорошо отвечаю.

Нужно быть идиотом (этого не пишу), чтобы после «Георгия», стиха к Ахматовой и «Посмертного марша» в Ремесле[3] не увидеть — кто́ я, мало того: вообразить, что я с «ними». Людям непременно нужна проза: фамилии: точка над i. Думаю, что молодого человека больше всего задело еврейское в «Вольном проезде», — сам он: Leo Gordon, а тут все Левиты да Зальцманы, — не вынесла душа!

Статью С⟨аши⟩ Ч⟨ерного⟩ еще не читала, тороплюсь с отправкой письма. Целую Вас и Адю. Всего лучшего вам всем в 1925 году!

МЦ.

В «Воле России» (в янв⟨арском⟩ N) будет мой стих — большой — «Полотёрская» (Уже проéден.) Наверное, понравится Аде.

Деньги (100 кр⟨он⟩) Вам верну из гонорара за пьесы, верну непременно, — только бы «Пламя» не раздумало купить[4]. Теперь они все в сборе.

В пражском «Рудольфинуме» сейчас выставка Исцеленова и Лагорио[5], я не была, С⟨ережа⟩ был, — хвалит.

11

Вшеноры, 8-го января 1925 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Большая просьба: возьмите в «Совр⟨еменных⟩ Записках» мою рукопись «Мои службы» и переправьте ее Мельгунову[1] для «На Чужой Стороне». «Мои службы» Современные ⟨Записки⟩, заказав, отклонили, — причина неизвестна, да для меня и безразлична, — мне важен итог[2]. А итог: на какое-то основательное количество франков меньше, нужно восполнить, все мне советуют «Чужую Сторону».

Очень прошу, не поручайте «Совр⟨еменным⟩ Зап⟨искам⟩» пересылать самим, пусть лучше Мельгунов не знает, что рукопись уже гостила, пусть они отдадут Вам, а Вы уже перешлете. (Мельгунов живет где-то под Парижем.) Только, препровождая рукопись, оговоритесь: не подойдет, прошу возврата, вторично ее у меня нет, а переписывать — большой труд.

Да! Прежде чем идти в «Современные ⟨Записки⟩», запросите по телефону (Париж ведь — не Прага?), у них ли эта рукопись, не отослана ли к Степуну[3] в Германию. (Отказ — через Степуна.) Очень прошу Вас сделать это возможно скорей, и М⟨ельгу⟩нова поторопите с ответом, — «Совр⟨еменные⟩ Записки» молчали *2 месяца!*

Вчера у меня был наш председатель — В. Ф. Булгаков, планировали сборник. Ваша цель принята, гонорар либо 350, либо 300 кр⟨он⟩ с листа, получу на Вас в первую голову, опять притянув Ляцкого. (Издаст, очевидно, «Пламя».) Сборник совсем собран, большой, хороший, приблизительное содержание:

Маковский: Венецианские сонеты
Туринцев: стихи

Недзельский: Походы (стихи)
Рафальский — стихи
Я: «Поэма Конца»

Чириков: «Поездка на о. Валаам»
С⟨ережа⟩ — «Тиф»
Немирович-Данченко: еще не дал
Калинников — «Земля»
Вы — «Раковина»
Аверченко — рассказ
Долинский — «Чугунное стадо» (NB! Поездка с англичанином!)
Крачковский — еще не дал
Кожевников — из цикла «Городские люди» (о Чехии)

Нечитайлов — «Болгарские и македонские песни»
В. Булгаков — «Замолчанное о Толстом»
Кизеветтер — «Заметки о Пушкине»
Савинов — «Оттокар Бржезина»
Завадский — «О русском языке»
С. Булгаков — «Что такое слово»

М. б. что-нибудь в беллетристике забыла. Называться будет (крестила — я) «Ковчег»[4].

Вся Прага занята юбилеем Немировича[5]. Были бы здесь — много рассказала бы о «дорогом». Он сейчас в полосе ожесточенного самолюбия, ведет себя мелко, не будучи мелким, — мне жаль его, но помочь не могу. Отзывы со всех сторон (*вне* политики!) самые удивленные и нелестные, но как-то зарвался («занесся»), делает бестактность за бестактностью, наживает себе врагов среди самых сердечных и справедливых людей. — Жаль. — Но помочь не могу.

Сам предлагал мне (около месяца назад) купить у меня книгу («Романтику»)[6] и вот на два письма не отвечает. Я не привыкла к такой невоспитанности, это еще хуже бессердечия, ибо не подлежит никакому сложному толкованию.

Все ходим с Алей по елкам: третьего дня у Лелика, вчера у Ч⟨ирико⟩вых. Дети, я замечаю, меньше всего заняты елкой.

Дети любуются подарками, взрослые — детьми, а елка — как Сивилла, вспоминающая свои скалы[7]. К Але это не относится: она душу отдаст за лишние пять свечей.

Елка будет и у нас, есть уже, украшена и наряжена, в бахромах и в блестках, кроме них — все самодельное, в Сочельник золотили шишки и орехи, доклеивали, докрашивали. Была служба, приезжал Булгаков[8] из города, служил в Мокропсах, в ресторане, говорил проповедь. 12-го иду с Муной[9] к земгорской врачихе, — м. б. поможет мне устроиться в лечебнице бесплатно, — «Охрана матерей и младенцев», 30 кр⟨он⟩ в день, — дешевле, чем в «Красном кресте». Новый год встречаем во Вшенорах, с Ч⟨ирико⟩выми и А⟨лександрой⟩ З⟨ахаровной⟩. Завтра Аля ждет на елку Ирусю, боюсь, что М⟨аргарита⟩ Н⟨иколаевна⟩ обидится, что перерешаю с лечебницей, но ее — вдвое дороже (600 кр⟨он⟩ за 10 дней), и никаких надежд на даровое лежание.

Уже вечер. Пишу при лампе. В комнатах — весь уют неприюта. С⟨ережа⟩ в городе, Аля рисует в новом альбоме и грызет орехи. Я — между плитой (вода для стирки) и письменным столом, как сомнамбула, как мыслящий маятник. Эта зима — наиглушайшая в моей жизни, точно я под снегом. В будущем году — давайте? — приеду в Париж. Посажу вместо себя Катю Р⟨ейтлингер⟩ или Муну (они меня все так любят!) и приеду. — Ну, на две недели, чтобы опять услышать звук собственного голоса, — своего настоящего — «denn dort bin ich gelogen, wo ich gebogen bin»* (ибо где я согнут — я солган!)[10]. Вы ничего не пишите мне об оказии к Б⟨орису⟩ П⟨астернаку⟩, — мне так нужно ему написать, я даже не знаю, дошло ли мое июньское письмо, — ни звука. Во 2-ой книге «Русск⟨ого⟩ Современника»[11] — два моих стиха, он дал, я не видела, мне говорили. Осенью это была Св⟨ятая⟩ Елена (с верховыми прогулками и подзорными трубами несдавшегося императора), сейчас это «погребенные под снежной лавиной» или шахта: *глухо*. А другие живут — тут же рядом в таких же «двух комнатах с плитой и печью», знакомятся, любят, расходятся, вьют и развивают гнезда... Боюсь, что беда (судьба) во мне, я ничего по-настоящему, до конца, т. е. *без* конца, не люблю, не умею любить, кроме своей души, т. е. тоски, расплесканной и расхлестанной по всему миру и за его пределами. Мне во всем — в каждом человеке и чувстве — тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить, т. е. длить, не умею жить во днях, каждый день, — всегда живу *вне* себя. Эта болезнь неизлечима и зовется: душа.

---

* *(Нем.).*

И всё такие разумные люди вокруг, почтительные. Я для них поэт, т. е. некоторая несомненность, с к⟨отор⟩ой считаются. Никому в голову не приходит — любить! А у меня только это в голове (именно в голове!), вне этого мне люди не нужны, остальное все есть.

Целую Вас нежно. Самая приятная новость в конце Алиного письма[12].

МЦ.

12

Вшеноры, 16-го января 1925 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Ваше иждивение получено и завтра же будет Вам отправлено. Подала прошение и на февраль, — не знаю, добрая воля Л⟨яцко⟩го. В прошении (свободное творчество!) упомянула о катастрофическом стечении обстоятельств — красноречиво. Написала и подписала за Вас три бумаги (расписку, доверенность С⟨ережи⟩ и прошение) — Вы бы удивились аккуратности своего почерка. (Единственное в чем Бог меня лишил размаху!) — Словом, все сошло, — авось, еще сойдет.

Сказки дошли[1], к великому восторгу Али. Читает и переводит каждый день по две страницы, — хватит до седых волос. Читаю и вспоминаю свое детство, — тот особый мир французского духа в доме. Я не знаю, куда все это уходит. Когда другие рассказывают о своей жизни, я всегда удивляюсь нищете — не событий, а восприятия: два, три этапа, эпизода: школа (*до* школы, обыкновенно, не числится), «первая любовь», ну, замужество или женитьба, словом то, что можно зарегистрировать в чешской «студенческой легитимации». — Ну, а остальное? Остальное либо не числится, либо его не было. Отсюда верность одному (одной) или, наоборот, бездушная погоня за всеми. — Скучно. Скудно. Нудно. — Так я, недавно, встречала Новый (старый) год, — с такими. Множество барышень (дам, mais plus ça change, plus c'est la même chose)* в разных — одинаковых — платьях, все с пудреницами, с палочками духов и кармина, с кудерьками и сумочками, хихикающие, щебечущие, — рыжие, русые, черные, — все как одна. Я весь вечер просидела мрамором, — не от сознания своей божественности, а от полной невозможности (отсутствия повода) вымолвить

---

* Чем больше перемен, тем больше все остается по-старому *(фр.)*.

слово. И мужчины такие же,—точно их не рождали, а производили—массами. Лучше всех был старик Чириков, ненасытный в своем любовном любопытстве к жизни. Ненасытный и неразборчивый.

О, мне скучно!

Была, наконец, у врачихи (с Муной). Посоветовала мне возможно больше стирать белья для укрепления мускулов живота. (1917 г.—1925 г.—8 лет укрепляю!) Советует лечебницу «Госуд⟨арственной⟩ Охраны матерей и младенцев»—пахнет Сов⟨етской⟩ Россией—единственное утешительное, что на острове[2]. Советует еще переезжать в Прагу (ку—да? к Невинному, за решетку?!) возможно раньше, п. ч. «постоянно случается на 2—3 недели раньше». Но переезжать мне некуда, посему буду сидеть во Вшенорах до последнего срока. Про близнецов ничего не говорила,—очевидно, Прага не повлияла.

Ни о «Романтике» (пьесе), ни о «Мо́лодце» ни слуху, ни духу. «Дорогой» на письма не отзывается (два деловых). Третьего не дождется, а я м. б. не дождусь ни «Мо́лодца», ни «Романтики», ни геллера. Но не могу же я стучаться в человека, как в брандмауэр!*

А у Муны с Р⟨одзевичем⟩ к концу[3]. Недавно их вместе встретил монах.—«Такая неприятная сцена: у нее глаза полные слез, он усмехается,—какие-то намеки»... Мне ее жаль, хотя я ее не люблю. Монах сейчас живет в Беранеке[4], занимает ответственный пост (обратный большевицкому), тратит *огромные* деньги, а костюм (и воротник!) все тот же. Ну, что бы ему подарить мне 10 тыс⟨яч⟩?! Просто уронить!—Роковое отсутствие воображения.—

С⟨ережа⟩ много пишет. Очень занят театром. Совмещает пять (бесплатных) должностей. Невинно и невольно кружит головы куклам. В постель сваливается как жнец на сноп. (Или на сноп нельзя свалиться?)—Ну, как в пропасть!—Худеет, ест, и еще ест, и еще худеет. («У Вашего Сережи глаза как у Вия»—моя любовь, m⟨ada⟩me Андреева.)[5] В ужасе от предстоящих Госуд⟨арственных⟩ экзаменов.—Все его ублажают, и никто не платит ни копейки. Скоро выходит 2-ой номер журнала с его статьей[6]. Вышлем.

Целую крепко Вас и Адю. Еще раз—спасибо за книжку.

МЦ.

---

* То есть в противопожарную стену *(нем.)*.

P. S. Пишу утром, с отвращением озираясь на невынесенные помои, непринесенные угли, неподметенную комнату, нетопленную плиту.

19-го января 1925 г.

Только что пришли Ваши две открытки. Вы спрашиваете: как со стипендией Р⟨озен⟩таля?[7] Все, что я об этом (от Вас) знаю — что не дает стипендий заочно и что для успеха дела нужно быть в Париже. Это Вы мне писали уже давно, в последнем Вашем письме (коротенькой карточке) Вы о Р⟨озента⟩ле не упоминаете. — Что я могу ответить? Что в П⟨ариж⟩ сейчас ехать — ясно — не могу и не смогу, думается, еще долго. Если бы чехи согласились выдавать мне ссуду заочно — тогда другое дело, но сейчас не время об этом просить, все эти ссуды на волоске, — от 15-го до 15-го, приходится радоваться, что еще месяц прожили. Во всяком случае, раньше как мес⟨яцев⟩ через семь никуда не смогу тронуться, да и то при исключительно благоприятных обстоятельствах. Лето пройдет — посмотрим. Не скрою, что в *ужасе* от перспективы еще одной такой зимы, но м. б. с ребенком мне будет столько дела, что вообще отучусь чувствовать. Моя беда — в бодрствовании сознания, т. е. в вечном негодовании, в непримиренности, в непримиримости. — Пока. —

Не знаю, стоит ли сейчас тревожить Р⟨озен⟩таля? От добра добра не ищут, а в жизни со всем приходится считаться, кроме души.

Не понимаю отсутствия у Вас Кати Р⟨ейтлингер⟩. Адрес Ваш она должна была узнать у Андрея О⟨бо⟩ленского, я ему писала. М. б. злобствует на молчание С⟨ережи⟩ (на ее письма отвечать невозможно) и распространяет свой гнев и на Ваш дом, как нам близкий? Бог ее знает! — В Праге ее еще нет.

Новость: Р⟨одзеви⟩ч уехал в Латвию — насовсем. Узнала вчера. Муна, очевидно, узнала за день раньше, т. е. в день отъезда. — Отсюда слезы. — Много ей придется их пролить, раз *я* тогда на горе так плакала![8]

Целую Вас и жду большого письма.

МЦ.

⟨*Приписки на полях:*⟩

Передала ли Людмила Ч⟨ирикова⟩ материю? — Умоляю! — И еще раз письмо к Л⟨яцко⟩му!

Дошло ли письмо с просьбой о «Службах»? Просила взять их в «С⟨овременных⟩ З⟨аписках⟩» и переслать Мельгунову («Чуж⟨ая⟩ Сторона»).

P. S. Увы! на февраль денег никак не ждите, З⟨абло⟩цкий Сережу предупреждал, что в последний раз.

13

Вшеноры, 22-го января 1925 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Одно Ваше письмо *явно* пропало. Последовательность: коротенькая carte* в конверте с радостью о предстоящем (декабрьском) иждивении и две открытки, С⟨ереже⟩ и мне — на днях, моя — с запросом о Р⟨озен⟩тале. А теперь приезжает Катя и передает, через С⟨ережу⟩, о необходимости торопиться с прошением. Не зная *ничего,* пишу: такой-то — прошение — подпись — дата. Середина Ваша, заполняйте.

Катю еще не видела, но знаю, что есть какие-то дары, которым очень радуюсь. Слышала, вчерне, об инциденте с К⟨арбасни⟩ковой, смеялась. В субботу (послезавтра) еду в Прагу, — с Муной на осмотр, в лечебницу, наверное, увижу Катю и все узнаю. Тогда напишу.

Пишу заранее, что сейчас трогаться не могу, мои сроки — от 15 — 20 февраля, но докторша утешает, что часто случается на три недели раньше. — Vous voyez ça d'ici**.

В следующем письме напишу любопытное о Бел⟨обородо⟩вой, сейчас некогда, С⟨ережа⟩ торопится на станцию. Письмо Ваше она получила. — Досылаем остаток иждивения.

Целую нежно Вас и Адю.

МЦ.

14

Вшеноры, 25-го января 1925 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Ваши чудные подарки дошли, вчера была в городе, видела Катю, она мне все передала. Детские вещи умилительны и очень

* Почтовая открытка *(фр.).*
** Вы сами теперь увидите *(фр.).*

послужат, у меня, кроме даров Б⟨елобородовой⟩, — ничего, пока не покупаю, жду, отовсюду обещано, но осуществляется туго. — Восхитительны одеяльца, С⟨ережа⟩ завидует и ревнует, вздыхает о каких-то своих кавказских походных бурках. — С грустью гляжу на перчатки: где и когда?! Руки у меня ужасны, удивляюсь тем, кто их *бессознательно,* при встрече, целует. (Не отвращается, или — не восхищается!)

Вы помните Катерину Ивановну из Достоевского?[1] — Я. — Загнанная, озлобленная, негодующая, в каком-то исступлении самоуничижения и обратного. Та же ненависть, обрушивающаяся на невинные головы. Весь мир для меня — квартирная хозяйка Амалия Людвиговна, *все* виноваты. Но яростность чувств не замутняет здравости суждения, и это самое тяжелое. Чувствуя, как К⟨атерина⟩ И⟨вановна⟩, отзываясь на мир как она, сужу его здраво, т. е. — никто не виноват, угли всегда пачкаются, вольно же мне их, минуя (из чистой ярости!) совок, брать руками. — И всегда жгутся. — Посему, чернота и ожоги рук моих — дело их же и нечего роптать.

Все вспоминаю, не сейчас именно, а всю жизнь напролет, слово Марии Башкирцевой, счастливой тем же, что я, и несчастной совсем по-иному:

Pourquoi dans ton oeuvre céleste
Tant d'eléments — si peu d'accord?!*[2]

Только я céleste** заменяю — terrestre***. Все мои беды — извне. «Вне» — само — беда!

Вчера была с Катей в лечебнице, где буду лежать. — На острове, это меня утешает. Прелестный овальный островок, крохотный, — там бы не лежать, а жить, не рождать, а любить! Однажды, в ожидании цирка, мы там с Алей и Катей гуляли. Но тогда предстоял цирк, — не ребенок, а львенок! Такого львенка потом по цирку проносили на руках, и мы его гладили: жестко-пуховая шерстка, желтая. (Цирк был заезжий — полотняный шатер на холму. Цирк уехал, а островок остался.)

О лечебнице: противоестественная картина 5-6-ти распростертых женщин, голые животы, одеты врачи и фельдшера, — равнодушие — спешка — раз, два... Я ничего не понимала из того, что меня спрашивали, если бы производить на свет нужно было по-чешски, я, наверное, ничего бы не произвела. На все вопросы коротко отвечала: ruska****.

* Зачем в твоем небесном творении столько разнообразия — и так мало согласия?! *(фр.)*
** Небесном *(фр.)*.
*** Земном *(фр.)*.
**** Русская *(чешск.)*.

В Прагу переду 7-го—8-го, дней за восемь, за десять, буду с Алей жить у Кати,—с Катей и Юлией[3] и всеми православными Праги. Но готовить не буду (есть хозяйка) и топить не буду (она же), за эти несколько дней м. б. стану человеком. Катя живет на другом склоне той—нашей—горки (моей «горы») на ремесленной бедной улице, уютной. Я рада перемене.

Да! О Бел⟨databor⟩вой: представьте себе, неделю назад привозит Але *всю* ободранную елку, т. е. все ее убранство: подсвечники, бахрому, звезды и—целую коробку елочного пестрого шоколада: сердца, сапоги, рыбы, младенцы, тигры (м. б. овцы)—мне: несколько распашонок, два нагрудника, одну пеленку и детский конверт, но какой странный! Зашитый доверху, ребенок как в мешке, самоедский мешок. 1) Откуда у нее эти вещи? (Говорит: свое). 2) Свое—детское или свое материнское? 3) Уж не лежал ли Л⟨яц⟩кий в этом конверте? Не ле-жит ли до сих пор?! М. б. это детское приданое Л⟨яц⟩кого? По вечерам становится грудным ребенком, укладывается в конверт и сосет соску? А с утра—предисловие к Гончарову,—а?[4]

Милое об Але: недавно в гостях сперла детскую салфетку, похожую на пеленки, всю в какао (похоже на другое), втиснула в карман пальто и дома торжествующе выложила. Выстирали—не отстиралась: пеленка, как ей и быть должно, классическая. Присоединили к остальным сокровищам, в Ваш серый чемодан.

Катя рассказывает мне о К⟨арбаснико⟩вой. Хотите черную неблагодарность на белоснежные кофточки?—«Un si mince effet d'une si grasse cause!»* Свинь—я.—Восхищаюсь Вашим натиском, весь эпизод с отказом барышни везти—очарователен. Вспомнить только ее ревнивый возглас тогда, месяцев 5 назад: «Приданое—мое!» Но м. б. она придерживается модной теории, согласно к⟨отор⟩ой ребенок должен лежать совсем голый—на животе—в грудах деревянной ваты? (Этой ватой потом топят.—Немецкая послевоенная система. *Не вру.)* Мои подруги по поселению: А⟨лександра⟩ З⟨ахаровна⟩, жена Альт⟨шулле⟩ра[5], разные жены студентов, вернее: одинаковые жены одинаковых студентов, задуряют мне голову преждевременными советами: не пеленать—пеленать, кривые ноги—свобода движений, в конверте—без конверта и т. п. У некоторых даже нет детей. Но этот номер с деревянной ватой (*ни* пеленки, *ни* одеяла, *ни* чепца, *ни* кофточки,—только вата!)—лучший.

---

* Здесь: гора родила мышь *(фр.)*.

Возвращаюсь к Бел⟨ободродо⟩вой и К⟨арбасни⟩ковой. Кто из них оказался сердечней? Чуяло мое сердце.

А пленивший меня случай с коровьим хвостом (кирпичом на нем!) весь целиком оказался выписанным из детской англ⟨ий-ской⟩ книжки: «Мои друзья — животные» Томаса Сэтона Томпсона[6].

«Психею» прочла вчера же вечером. Прелестная вещь. Почти слово в слово наш «Аленький цветочек». И книжка прелестная. Теперь у меня две «Психеи» (не считая своей) — 800-страничная слонимовская (Rohdé) и крохотная Ваша[7]. А настоящей нет нигде — в воздухе. Да! попутная мысль: душу мою я никогда не ощущала внутри себя, всегда — вне себя, за окнами. Я — дома, а она за окном. И когда я срывалась с места и уходила — это она звала. (Не всегда срывалась, но всегда звала!) Я, это моя душа + осознание ее.

Катя в восторге от Вашего дома и от всех вас в отдельности. Химеры и вы, — вот ее лучшие впечатления Парижа. Третьего дня она потеряла часы и перчатки, вчера со мной, сумку: выронила на площади, тут же спохватилась, но уже унесли какие-то мальчишки к полицейскому, к⟨оторо⟩го на месте не оказалось. Так и сгинула сумка с 5 кр⟨онами⟩, ключом и единственной фотографией матери. Самое любопытное, что за 5 мин⟨ут⟩ до этого она все свои деньги, т. е. 45 кр⟨он⟩, по моему настоянию истратила на перчатки — кожаные, на подкладке, чудные. Я точно предвосхитила судьбу. Сумасшествие ее с С⟨ережей⟩ после путешествия только пуще разгорелось: «С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩! С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩!» — «А я-то надеялся, что Вы после Лондона и Парижа, забыв С⟨ергея⟩, ограничитесь одним: я!» Но ничто не помогает, как с цепи сорвалась. Заставлю ее на днях покупать колесо для коляски. Боюсь, что на нем же во Вшеноры и прикатит.

Нынче Татьянин день, С⟨ережа⟩ с Алей едут в Прагу, он — праздновать Татьяну, она — к Ирусе на день рождения (завтра). От М⟨аргариты⟩ Н⟨иколаевны⟩ ни слуху, ни духу, это отношение ни на чем не стоит и — ничего не стоит. — Что Невинный? Не забудьте, что я уже больше месяца не получала от Вас настоящего письма. Одно, очевидно, пропало. Еще раз — спасибо за все. Нежно целую Вас и Адю. С⟨ережа⟩ в восторге от своих подарков, вчера, по поводу зеленого гребешка даже вымыл голову (в 1 1/2 ч. ночи).

МЦ.

Прошение и остаток иждив⟨ения⟩ 70 фр⟨анков⟩ посланы с оказией через Катю, наверное уже получили. Что Ремизовы? Андрей О⟨болен⟩ский? Кессели? Неужели ни разу не видели Бахраха? Пишите.

15

26-го января 1925 г.

Сегодня у меня редкий праздник, — *одна* дома. (С⟨ережа⟩ на Татьянином дне, Аля у Ируси.) Совершенно изумительное чувство, вроде легкого опьянения. Сразу на десять лет моложе. Вы, конечно, не обвините меня в предательстве: степень, вернее, безмерность моей привязчивости Вы знаете, но это — я с другими, а сейчас — я с собой, просто я, *вне*. Образцово (я-то!) убрала комнату, втащила и вытащила все, что полагается, на примусе — суп, а внутри тихое ликование. Недавно я говорила Исцеленовым (глубоко-бесполезно, ибо Kulturprodukt'ы!)*, что неизбежно буду любить каждый город, дыру, нору, где придется жить, но что это любовь — не по адресу, — из прямой невозможности не любить то, в чем живешь. Посему, мне, более чем кому-либо, надо *выбирать* города. Кстати, резкий спор с ним (она бессловесна) о Папоушке[1] (ней). — «Я ей все прощаю за любовь к театру!» — «Это не театр, это актеры, какой-нибудь давнишний актер, воспоминания детства». И он, сухо: — «Нне знаю». Весь спор сводился к тому, что «любовь к искусству» обязывает — к безыскусственности, рожденности, сущности, вернее: только из нее возникает, как само искусство. Рожденное дорождается, — вот искусство. Т. е. моя кровь от предков (рожденности) + моя душа. И⟨сцелен⟩нов ничего не понимал, говорил, что Папоушка читала много книг. — «И гоголевский Петрушка тоже»[2]. Если бы можно было с ним поссориться — поссорились бы. Но это Kulturprodukt, вялая никакая кровь.

Получила от С. М. В⟨олкон⟩ского его новую книгу — роман — «Последний день». Огромный том в 600 стр⟨аниц⟩. Фабулы нет, — течение жизни — любовной пары нет — далек и высок — есть мысль, есть формула, есть отточенное наблюдение, есть блистательный анекдот. И фигуры — второстепенные — главное, женские — очень удачные. Большого успеха книге не предрекаю, — плавна, не остра. Если попадется, — прочтите, очень любо-

* Продукты культуры *(нем.)*.

пытен Ваш отзыв. С⟨ережа⟩, напр⟨имер⟩, попавший на Сов⟨етскую⟩ Россию (не обошедшуюся без легких нелепостей), прямо ее сравнивает с Красновым[3]. Но всей книги он не читал. С В⟨олкон⟩ским моя переписка гаснет, на него нужен большой порох, необычайная заостренность внимания, вся ответственность — на мне, он только откликается. А не виделись мы уже два года, и жизни такие разные: он — то в Риме, то на Капри, то в Париже, то еще где, — уединенный, свободный, вне быта, — я… —

Думаю о Париже, и вопрос: вправе ли? Ведь я ехала заграницу к С⟨ереже⟩. Он без меня зачахнет, — просто от неумения жить. Помните, какой он был страшный у монаха? Я знаю, что такая жизнь — гибель для моей души, сплошное отсутствие *поводов к ней,* пробел — но вправе ли я на нее (душу)? Мне чужой жизни больше жаль, чем своей души, это как-то сильнее во мне. Есть, конечно, еще вопрос Али, — ей тоже трудно, хотя она не понимает. Сплошные ведра и тряпки, — как тут развиваться? Единственное развлечение — собирание хвороста. Я вовсе не за театр и выставки — успеет! — я за детство, т. е. *и* за радость: досуг! Так она ничего не успевает: уборка, лавка, угли, ведра, еда, учение, хворост, сон. Мне ее жаль, п. ч. она исключительно благородна, никогда не ропщет, всегда старается облегчить и радуется малейшему пустяку. Изумительная легкость *отказа.* Но это не для одиннадцати лет, ибо к двадцати озлобится люто. Детство (умение радоваться) невозвратно.

Сегодня зарезала Ваш розовый халат, — помните, Вы выбросили, вроде японского, весь из кусков — на наволоку. Целый день шила. Дописываю вечером. При первой возможности вышлю Ваше одеяло, я хотела с Катиной дамой, но не успела. М. б. можно почтой. Меня все время грызет, что мы Вас ободрали.

Целую. Пишите.

МЦ.

16

Дорогая Ольга Елисеевна[1],

Вчера, 1 февраля, в воскресенье, в полдень, родился мой сын Борис — нежданно и негаданно во Вшенорах. *Ничего* не было готово — через полчаса появилось *всё*. Меня прямо спасли. Мальчик белый, с правильными чертами, крупный.

Нежно целую Вас и Адю.

МЦ.

Вшеноры, 2-го февраля 1925 г.

17

Вшеноры, 8-го февраля 1925 г., 1 ч. ночи

Дорогая Ольга Елисеевна,

Нам с мальчиком пошли восьмые сутки. Лицом он, по общим отзывам, весь в меня: прямой нос, длинный, скорее узкий разрез глаз (ресницы и брови пока белые), явно – мой ротик, вообще – Цветаев. Помните, Вы мне пророчили похожего на меня сына? Вот и сбылось. Дочь несомненно пошла бы в С⟨ережу⟩.

Мальчик мил, общее выражение лица благодушное, напоминает Ф. А. Степуна после удачной лекции. Ест хорошо, меня – представьте себе!!! – хватает. Поражаю и себя и других[1].

Мои дела хороши, всё как по книжке, но молодой Альтшулер (брат К. И. Еленевой), *спасший* и меня и мальчика (он родился в обмороке, и Альтшулер его минут 20 откачивал – искусственное дыхание) – А⟨льтшулле⟩р настаивает на долгом лежании. Вчера (7-го) я в первый раз села. Еще ничего не читаю, – берегу глаза. Милее всего – Булгакова и еще одна дама, недавняя. Милы *тишиной*. А Ан⟨дрее⟩ва – буря, влюблена в мальчика, как цыганка в белого ребенка. Приходит в 6 ч. веч⟨ера⟩ и уходит в 12 ч. ночи. Добра, странна и буйна. Равно притягивает и отталкивает.

Колеблюсь между Борисом (я) и Георгием (С⟨ережа⟩). Назову Борисом – буду угрызаться из-за С⟨ережи⟩, Георгием – не сдержу обещания Б. П⟨астернаку⟩. Посоветуйте, исходя из *двойной* меня, какой Вы меня знаете.

А няньки нет, и скоро все посещения кончатся. – Трудно. – Первое время я инвалид, а Али одной не хватит. С⟨ережа⟩ же с ног сбился, на след⟨ующей⟩ неделе три экзамена. Недавно, когда наша временная нянька (угольщица) сбежала, всю ночь не спал с мальчиком. Извелся.

Есть коляска – чудесная раскладная американская, купленная у одних русских за 50 крон. Спит он пока в моисеевой корзине, – подарок Андреевой. Лежу под ее одеялом и в ее ночной рубашке. Она мне, *как его кормилице,* готова отдать все. Эта любовь грозит мне бедами, было уже несколько стычек. Она очень *трудна.*

Лежу в той второй комнате, из которой вынесено все. В окна весь день — сияющая гора со всеми постепенностями света. Сейчас ночь, С⟨ережа⟩, угольщица и мальчик спят. (Угольщица на Алиных львах и обезьянах, так и оставшихся в простенке.) Аля все эти дни (года!) ночует у Андреевых, с которыми *не* в «контакте».

Денежные дела сомнительны: в июле у С⟨ережи⟩ кончается иждивение, а места нет. А расходы, естественно, очень велики, как себя ни ограничивать. С⟨ережа⟩, напр⟨имер⟩, должен хоть на месяц снять себе отдельную комнату. — 200 кр⟨он⟩ местной бабке, пришедшей *после* события и потом еще два раза. — Угольщице — 10 дней по 15 кр⟨он⟩ — 150. И т. д. Не знаю, как вылезем.

Получили ли остаток иждив⟨ения⟩ с Катиной оказией? Не забудьте ответить.

В следующий раз напишу подробнее и разборчивее, — пишу ночью, при завешенной лампе, наугад.

А пока целую Вас и Адю и очень жду письма. Аля не написала, п. ч. весь день в деловых бегах. А у нас весна, сережки на орешнике.

МЦ.

18

Вшеноры, 14-го февраля 1925 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Кто Вас смутил приездом: С⟨ережа⟩ думает, что Самойловна. (NB! У Вас их две: une à Paris, l'autre à Prague*[1]). Если *не* Белобородова и не кто-нибудь власть имущий или возле власть имущих пребывающий — не слушайте и не приезжайте. Если Л⟨яц⟩кий найдет возможным продлить Вашу ссуду, он это сделает и без Вас, если нет — никакое Ваше временное пребывание не поможет. Ведь через две недели Вы все равно уедете, и опять придется получать за Вас — Прага так мала — всё узнается. Приезд сейчас, по-моему, только перевод денег. Ведь чехи иным и *заочно* выплачивают ссуду. Тэффи[2], Б⟨альмон⟩ту, еще кому-то, стало быть все дело в их доброй воле и в Вашем счастье (!).

Это говорило благоразумие, а теперь —

---

* Одна — в Париже, другая — в Праге *(фр.)*.

Вашему приезду была бы страшно рада, — у меня никого нет, как никогда. За городом сейчас чудесно, почти весна. Гуляли бы с коляской и *без* коляски. (Знаменитое: «Что может быть лучше молодой женщины с ребенком на руках?» — «Та же женщина, но *без* ребенка»). Кстати: страшнее ребенка — коляска. Помните обезумевшего Скворцова?[3] (По-вашему: Щеглова, Ястребова, Перепелкина и т. д.)

А знаете, откуда ко мне прибудет коляска? Угадайте! — Из «Воли России». Редакторы решили поднести своему будущему сотруднику «выездной экипаж». — Мило? — Получила официальное письмо на машинке с подписями всех четырех (а за Невинного — Х.)[4]. Третьего дня у нас была М⟨аргарита⟩ Н⟨иколаевна⟩ с Ирусей, навезли множество детских вещей, — прелестных. Ни у Али, ни у Ирины[5] не было такого приданого. — Приданое принца. — Но помню и всегда буду помнить, что первый камень — Ваш, и Ваша кофточка (русая, с голубой продёржкой) из всех — любимая.

Есть у нас и ванна, — одолжили совсем чужие люди на неопределенный срок. Мальчик уже несколько дней купается.

Нянькины дела таковы: угольщица, наконец, дорвалась до своих мирных дней и ночей, т. е. ушла. В Праге найти *невозможно* — никто не хочет в отъезд. Во Вшенорах и окрестностях тоже никого, старухи у печей, молодежь на фабрике. Предлагает кто-то — из десятых рук — какую-то «мать студента», но где она, какого возраста и нрава, пока неизвестно. Думаю, что подруга младенческих лет Кондакова.

Сегодня первую ночь ночевала с мальчиком — одна! — горжусь. Спала все-таки 6 часов. Остальное время перекладывала его, полоскала и развешивала его ризы, курила, ела хлеб и читала «Петра» Мережковского[6].

Кстати, мальчик окончательно, — Георгий. Радость — так радость полная. Во-вторых, уступить — легче, чем настоять. В-третьих, — не хочу вводить Б⟨ориса⟩ П⟨астернака⟩ в семью, делать его общей собственностью. В этом какая-то утрата права на него. Углубив, поймете.

Итак, Ваш крестник — Георгий. А крестного отца еще нету: Волконский стар, Завадский стар, Чириков стар. У меня ведь ни одного молодого мужского друга! А старого крестного — разве что для имени и как символ, — вместе не жить: «Мне тлеть пора, тебе — цвести». Крестный (или крестная) осмыслен, как некая опора, спутник, — иначе просто: «дунь и плюнь». Волконский же, 65 лет — сплошное дунь, а если молодого взять, выйдет «плюнь» (мое на крестного), я ведь быстро раздружаюсь:

«Птичка все же рвется в рощу,
Как зерном ни угощаем:
Я взяла тебя из грязи, —
В *грязь родную* возвращаю»[7].

Крестины думаем устроить 23 русск⟨ого⟩ апреля (6-го мая) в Егорьев день и день Георгиевских кавалеров. Он уже будет «большой» (3 мес⟨яца⟩).

А знаете ли Вы, что он родился в глубоком обмороке? Минут двадцать откачивали. (В транскрипции Лелика, наслушавшегося чего не следует: «Родился в лассо!») Если бы не воскресенье, не С⟨ережа⟩ дома, не Альтшулер — погиб бы. А м. б. и я. Молодой А⟨льтшул⟩лер по-настоящему нас спас. Без него — никого понимающего, только знакомые (мы, Я).

Приятно обмануть пророчества В. Зайцевой и Ремизовых («Коли сына — так дочь!»). И Вы совершенно правы насчет хотения: этого мальчика я себе выхотела, заказала. И Вы первая подтвердили меня в моем праве на его существование, — не по-женски, — так хорошо по-мужски! — И напророчили мне *моего* сына, похожего на меня. Тогда в Иловищах. Отлично помню.

Четвертый день как встала. На ногах еще слаба. Понемножку вхожу в жизнь, т. е. в чистку картошки, в выгребание печек и пр. Тяжестей не таскаю, веду себя благоразумно. «Завидую» в окно, на горы, — дивная рыжизна дубов в синеве. Но так как «на воздухе сидеть» не умею — просто не выхожу — от соблазна.

Много любопытного о А. И. А⟨ндрее⟩вой. Вас она скрыто не выносит (как Вы ее — явно). Своевольна, тяжела, сумасбродна, внезапна, совершенно непонятна. К мужчинам равнодушна, к нарядам (к своей красоте) равнодушна, к книгам равнодушна, покойным писателем и мужем *не* одержима. Дети? Сплошная команда, пуще меня. *Любит*, по-моему, только Савву[8]. Беседовать не умеет. Никогда не банальна. Первые 9 дней (классически!) присутствовала непрестанно, — помогала, командовала, досаждала, заполняла собою (буйством и любовью) весь день и весь дом. На 10-ый день пропала, — как в воду канула. Аля, ночевавшая у них до вчерашнего дня, говорит — черное платье шьет с пестрой отделкой.

Цыганка, утверждаю. Неучтима и неподсудна.

Поблагодарите милую Адю за письмо. Будет время — напишу. Спасибо за оказию в Москву, письмо для Б⟨ориса⟩ П⟨астернака⟩ пришлю на днях, вслед этому. Как хотелось бы — и «Мо́лодца»! Уже печатается. Когда буду посылать Вам, пришлю и для Б⟨ориса⟩ П⟨астернака⟩, — м. б. найдется еще оказия, — пусть через месяц, лишь бы дошло. В Праге у меня никого нет, кого просить, — Св⟨ятая⟩ Елена[9], которую минуют все корабли.

Два раза была у меня г⟨оспо⟩жа Тешкова[10], председательница Едноты. Лет под пятьдесят, седая, полная, голубоокая, — вроде Екатерины II. Очарована мальчиком: «Если бы Вы жили в Праге, у Вас бы на 1/2 дня была няня». Гадает о мирах, откуда он пришел. По теории Штейнера дух — все 9 месяцев, пока ребенок во чреве матери — кует себе тело. Выявленность (индивидуальная, а не расовая!) черт — свидетельство о степени развитости духа. — Хорошая теория, мне нравится.

Предложила мне вчера няньку из «Армады спасы»*, — ее собственное предложение, м. б. таковых и нет. Нянька вроде солдата, лучше бы просто денщик! Воображаю ее негодование на мое курение и, вообще, всю меня!

Думаю, что единственно надежная няня — я. Сегодня (продолжаю 15-го) напр⟨имер⟩ спала 2 1/2 часа, — Георгий, очевидно, из любезности к гостям, днем спит, ночью вопит. («Потерял ночь».) Читала Диккенса, полоскала пеленки, курила, ходила. У С⟨ережи⟩ завтра экз⟨амен⟩ у местного светилы — филолога-слависта Нидерле[11], на этой же неделе Кондаков и еще кто-то. Сам мальчика купает и очень им очарован, но ça n'avance pas ses affaires**. Как все склубилось!

Париж! — Как далеко! — *Другая* жизнь. (Нашу Вы знаете.) И сейчас не мыслю себя в ней. А прелестная была та весна на Смихове! Наша гора, прогулки под луной, Пасха (помните мою злость?!). Эту гору и весну я чувствую, как свою последнюю молодость, последнюю *себя:* «Denn dort bin ich gelogen, wo ich gebogen bin!»***. И — точно десять лет назад. Невозвратно.

Ах, деньги! Были бы, приехали бы, — я не для того, чтобы ухаживать, — обойдусь — для того, чтобы напомнить мне о том, кто я, просто посмеяться вместе! Начинаю убеждаться, что подходящая женщина такая же, если не бо́льшая, редкость, чем подходящий мужчина. — Сколько их вокруг меня — и никого!

---

* Армия спасения *(чешск.)*.

** Здесь: от этого дела не продвигаются *(фр.)*.

*** См. перевод на с. 321.

Мечтаю о Карловом Тыне[12], но и он недоступен: кормлю через 2 часа (мало молока и дольше мальчик не выдерживает) — не обернешься.

Но, в общем, очевидно, я счастлива. Все это дело дней. И всегда передо мной Соломонов перстень: «И *это* пройдет»[13].

Целую нежно Вас и Адю. Сердечный привет Оле и Наташе. Пишите, но не приезжайте в Прагу ни из-за Самойловны, ни из-за меня.

МЦ.

19

Вшеноры, 19-го февраля 1925 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Вот письмо для Б⟨ориса⟩ П⟨астернака⟩. Положите его, пожалуйста, в конверт, с надписью:

Борису Пастернаку, без свидетелей.

Человеку, который повезет, сообщите, на всякий случай, его домашний адрес:

Москва, Волхонка 14

(Тотчас же перепишите его себе на стенку, а то листочек легко затерять.) Лучше всего было бы передать на каком-нибудь литературном вечере, вообще, узнать, где он бывает. М. б. он служит, — тогда на службу. Все это можно узнать в Союзе писателей или поэтов.

17-го ночью, от разрыва сердца, умер Кондаков[1]. А сегодня, 19-го, С⟨ережа⟩ должен был держать у него экзамен.

Ближайшие ученики в *страшном* горе. Вчера С⟨ережа⟩ с еще одним через весь город тащили огромный венок. Недавно был его юбилей — *настоящее* торжество. При жизни его ценили, как — обыкновенно — только после смерти. Черствый, в тысячелетиях живущий старик был растроган. Умер 80-ти лет. Русские могилы в Праге растут. Это славная могила.

Умер почти мгновенно: «Задыхаюсь!» — и прислушавшись: «Нет, — умираю». Последняя точность ученого, не терпевшего лирики в деле.

Узнав, — слезы хлынули градом: не о его душе (была ли?), о его черепной коробке с драгоценным, невозвратимым мозгом. Ибо этого ни в какой религии нет: бессмертия мозга.

С⟨ережа⟩ уже видел его: прекрасен. Строгий, чистый лик. Такие мертвые не страшны, страшна только мертвая *плоть,* а здесь ее совсем не было.

Я рада за него: не Берлин, не Париж — славянская Прага. И сразу: умираю. С этим словом умер и Блок.

Я рада, что вы с Адей его слышали. Он останется в веках.

О себе: чувствую себя средне. Мало сплю — ночью не всегда удается, днем не умею, не гуляю — мальчик еще мал, и нет коляски — и, вообще, некоторая разбитость, более душевная, чем внешняя. Прислуги нет: предлагали даму из Константинополя, но я сейчас слишком издергана, чтобы выносить присутствие чужого человека в таких тесных пределах. А приходящей на утренние часы не найти. Вечером же — С⟨ережа⟩, уют, Диккенс, не хочу, чтобы мыли пол. Пока обхожусь. Будет коляска — будем уходить гулять, мальчик будет расти, — все обойдется.

И — тяжесть так тяжесть! А то: прислуга, относительная свобода, я не вправе буду быть несчастной. Право на негодование — не этого ли я в жизни, втайне, добивалась?

Вчера С⟨ережа⟩ отослал Вам деньги. *Ради Бога,* напишите, дошли ли те, через оказию Кати Р⟨ейтлин⟩гер? Мне это необходимо знать. — И сколько. Если что-нибудь будут предлагать для мальчика, берите только платьица (ни одного) и штаны (ни одних). Разумеется — для младенческого возраста. (Есть такие штаны конвертиком, углом.) Кофточек и пеленочек у него достаточно. Есть даже вязаная куртка, прекрасная, года на три, и башмачки.

Мне подарили чешский халат (по чести — капот, расскажите Аде — оценит!) «бумазейковый» — кирпичный, с сиреневыми лилиями. В нем и сплю. И несколько рубашек, — тонких, как вздох, и как он же недолговечных. А Ваша желтая все служит!

Целую нежно. Не забудьте ответить по поводу тех денег, с оказией. Ведь необходимо выяснить.

Огромное спасибо за Б⟨ориса⟩ П⟨астернака⟩.

МЦ.

20

Вшеноры, 29-го февраля 1925 г.[1]

Дорогая Ольга Елисеевна,

Мое письмо с письмом П⟨астерна⟩ку Вы уже получили и уже знаете, что мальчик — Георгий. Ваши доводы — мои, и мои —

Ваши: дословно. Есть у Волконского точная формула (говорит о упраздненном пространстве в музыке и, сам не зная, о несравненно большем): *«Победа путем отказа»*[2]. — Так вот. — Мальчик — Георгий (NB! Это Вам ничего не напоминает? Маль-чик Ге-ор-гий?[3] *Шебеку*[4], которая водила царских псов гулять, не она водила, автор записок, нянька, а «злая Шебека» была ее врагиней и поэтому участвовала в 1-ом марте[5]. «Государынина Ральфа и государева Ральфа» — в день убийства — помните?)

Итак, мальчик — Георгий, а не Борис, Борис так и остался во мне, при мне, в нигде, как все мои мечты и страсти. Жаль, если не прочли моего письма к Б⟨орису⟩ П⟨астернаку⟩ (забыла напомнить) — вроде кристаллизированного дневника — одни острия — о Лилит[6] (*до* — первой и нечислящейся, пра-первой: мне!) и Еве (его жене и всех женах тех, кого я «люблю», — NB! никого не любила кроме Б⟨ориса⟩ П⟨астернака⟩ и того дога) — и моей ненависти и, чаще, снисходительной жалости к Еве, — еще о Борисе и Георгии, что Борис: разглашение тайны, приручать дикого зверя — Любовь (Барсик, так было, было бы уменьшительное), вводить *Любовь в семью,* — о ревности к звуку, который будут произносить равнодушные... И еще — главное — что, назовя этого Георгием, я тем самым сохраняю право на *его* Бориса, *него* Бориса, *от него* — Бориса — безумие? — нет, мечты на Будущее.

И еще просила любить этого, как своего (больше, если можно!), потому что я не виновата, что это не его сын. И не ревность, ибо это не дитя услады.

И, в конце, жестом двух вздетых рук:

«Посвящаю его Вам, как божеству».

С Б⟨орисом⟩ П⟨астернаком⟩ мне вместе не жить. Знаю. По той же причине, по тем же обеим причинам (С⟨ережа⟩ и я), почему Борис не Борис, а Георгий: трагическая невозможность оставить С⟨ережу⟩ и вторая, не менее трагическая, из *любви* устроить *жизнь,* из вечности — дробление суток. С Б⟨орисом⟩ П⟨астернаком⟩ мне не жить, но сына от него я хочу, чтобы *он в нем через меня жил.* Если это не сбудется, не сбылась моя жизнь, замысел ее. С Б⟨орисом⟩ П⟨астернаком⟩ я говорила раза три (жуткое слово, сейчас, Али: «Ешьте сердце!» Дает шоколадку, уцелевшую еще с Рождества) — помню наклон головы, некую мулатскую лошадиность — конскость — лица, глухость голоса. — Георгий проснулся и пока прерываю. —

Мальчику три недели. Хорошо прибавляет, тих, очень милое личико, с правильными чертами, только подбородок в Катю

Р⟨ейтлин⟩гер — вострый. Пока не прикармливаю. Окружена хором женщин, неустанно вопящих: «Кормите! кормите! кормите!» Будь я на 10, а м. б. и на 5 л⟨ет⟩ моложе, я бы послала их всех к чертям (моими усилиями уже заселена немалая часть ада!) и на зло прекратила бы кормежку. Но мальчик не виноват — и так хорошо ведет себя. Впечатление, что старается сделать мне честь.

Дорогая Ольга Елисеевна, умоляю, *ничего* ему не покупайте, его младенчество всецело обеспечено, никогда ни у Али, ни у Ирины не было такого приданого. Подождите год, — платьиц. И еще года два — штанов. А то все эти мелочи так преходящи, все равно придется передаривать, — жаль.

О своей жизни: мало сплю — когда-нибудь напишу об этом стихи — не умею ни ложиться рано, ни спать днем, а мальчик нет-нет да проснется, пропоется, — заснет — я разгулялась, читаю, курю. От этого днем повышенная чувствительность, от всего — и слезы, сразу переходящие в тигровую ярость. Мальчик очень благороден, что с такого молока прибавляет. Чистейшая добрая воля.

Но *еще* зимы во Вшенорах не *хочу,* не могу, при одной мысли — холодная ярость в хребте. Не могу этого ущелья, этой сдавленности, закупоренности, собачьего одиночества (в будке!). Все тех же (равнодушных) лиц, все тех же (осторожных) тем. Летом — ничего, будем уезжать с Георгием в лес, Аля будет стеречь коляску, а я буду лазить. А на зиму — решительно — вон: слишком трудна, нудна и черна здесь жизнь. Либо в Прагу, либо в Париж. Но в Прагу, по чести, не хотелось бы: хозяйки, копоть — и дорогой[7], который несомненно заявится на третий день после переезда и которому я, по малодушию, «прощу». И французского хотелось бы — для Али. А главное, в Париже мы жили бы, если не вместе, то близко, Вы так хорошо на меня действуете: подымающе, я окружена жерновами и якорями.

«J'etais faite pour être très heureuse, — mais
Pourquoi dans ton œuvre terrestre
Tant d'élénments — si peu d'accord?..»*

(У Ламартина — céleste**, а весь вопль — башкирцевский)[8].

---

* Я была создана для счастья, но
Зачем в твоем земном творении
Столько разнообразия — и так мало согласия *(фр.).*

** См. перевод на с. 713.

Почему никогда не упоминаете о Невинном? Неужели не видитесь? (Удивляюсь ему, а не Вам.) Знает ли, что у меня сын и как встретил? Наверное: «А у меня тоже сын, даже — два, — и знаете — (с гордостью) — не в пеленках, а в университете». (Расскажите Аде.)

Из волероссийцев никого, кроме М⟨аргариты⟩ Н⟨иколаевны⟩, не видела, Л⟨ебеде⟩в в Париже. «Дорогой», поздравив заочно элегантной коробкой конфет (Але везет!), немотствует. Да все мужчины (если они не герои, не поэты, не духи — и не друзья!) вокруг колыбели новорожденного в роли Иосифа[9]. Прекрасная роль, не хуже архангельской, но люди низки и боятся смешного. Роль, с которой так благородно справился Блок.

Прошение Р⟨озен⟩талю. Приложу. М. б. прошение, м. б. просто письмо. Не зная человека, трудно. (Убеждена, что знаю *все* слова, на всякого — слово!) Не хотелось бы петь Лазаря, он ведь все знает наперед, — хорошая у него, должно быть, коллекция автографов! Если бы Р⟨озен⟩таль дал, переехала бы в Париж к 1-ому октября, — Георгию было бы 8 мес⟨яцев⟩, не так трудно. Постаралась бы *(между нами)* сохранить и чешскую стипендию.

Думаю о Вашем хроническом безденежьи и терзаюсь теми несчастными ста кронами. Столько раз обещала и все еще не шлю. Совсем было уже отложила, но мне за время моего лежанья надавали множество простынь, встала — ни следу, должно быть угольщица унесла в леса, теперь нужно возмещать. Больше о них (ста) писать не буду, — стыдно, — вспомните мальчика и волка:

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht
Und wenn er auch die Wahrheit spricht*[10].

Писать не буду, но знайте, что помню и что с первой возможностью вышлю.

Бальмонт. — Бедный Бальмонт! Как Вы его *прекрасно* поняли! Самоупивающаяся, самоопьяняющая птица. *Нищая* птица, невинная птица и — бессмысленная птица. Стихи точно обязывают его к бессмыслию, в стихах он продышивается. От безмыслия к бессмыслию, вот поэтический путь Б⟨альмон⟩та и прекрасное название для статьи, которой я, увы, не смогу написать, ибо связана с ним почти родственными узами.

---

* Кто раз соврал, ему не верят,
Даже когда он правду говорит *(нем.)*.

Итак — новое увлечение? Рада, что еврейка. Не из московской ли Габимы?[11] И, попутная мысль: будь Дон-Жуан *глубок,* мог ли бы он любить всех? Не есть ли это «всех» неизменное следствие поверхностности? Короче: можно ли любить всех — трагически? (Ведь Дон-Жуан смешон! писала об этом Б⟨орису⟩ П⟨астернаку⟩, говоря об его вечности.) Казанова? Задумываюсь. Но тут три четверти чувственности, не любопытно, не в счет — я о душевной ненасытности говорю.

Или это *трагическое* всех, трагедия вселюбия — исключительное преимущество женщин? (Знаю по себе.)

Хороший возглас, недавно, Али: «Он мужчина, и потому неправ». (Перекличка с брюсовским: «Ты женщина — и этим ты права»[12], — которого она не знает.)

Деловое: сообщите мне тотчас же открыткой имя-отчество Розенталя. Просить, не зная, как зовут — на это я неспособна. Напишу и письмо и прошение, прочтете — выберете. Только, ради Бога, ответьте тотчас же, сегодня запрашиваю об этом же С⟨ло⟩нима.

МЦ.

⟨*Приписка на полях:*⟩

Получили ли деньги через Катину оказию? Доплату за янв⟨арское⟩ иждивение? Что-то вроде 70-ти.

21

Вшеноры, 7-го марта 1925 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Вот письмо к Р⟨озен⟩талю. Прочтите и дайте прочесть Карбасниковой (второй Самойловне). И решите вместе. Могу, конечно, написать и прошение (Вы же знаете, как я их мастерски пишу!), но очень противно, — не настолько, однако, чтобы из-за благородства провалить все дело. Если письмо сомнительно, *не* давайте. (Жив и свеж еще в моей памяти пример кн⟨язя⟩ В⟨олкон⟩ского!)

Если Р⟨озенталь⟩ человек — он поймет, если он государство (т. е. машина) — нужно прошение. Пусть Адя тотчас же черкнет открыточку.

Если (сплошное сослагательное!) письмо будет передавать К⟨арбаснико⟩ва, попросите ее, пусть красноречиво расскажет о моем земном быту: грязи, невылазности, скверном климате, Алиной недавней болезни, — о всех чернотах. Это не будет стоить

ей ни копейки, а мне может принести многое. Пусть *она* поет Лазаря,—*я* не хочу.

(Ах, если бы Р⟨озенталь⟩ в меня влюбился!—Он, наверное, страшно толстый.—После всех танцовщиц—платонической любовью—в меня! Я бы написала чудесный роман: о любви *богатого* и бедной (обратное не страшно: *богатая ради* или *из-за* бедного сама станет бедной, мужчины легко идут на содержание!)—о любви *богатого* к бедной, *еврея* к русской, *банкира*—к поэту, сплошь на антитезах. Чудесный роман, на к⟨отор⟩ом дико бы нажилась, а Р⟨озенталь⟩ к этому времени бы обанкротился, и я бы его пригрела.—А?—⟨)⟩

Одновременно с запросом Аде запросила М⟨арка⟩ Л⟨ьвовича⟩ и вот ответ: «Р⟨озен⟩таля зовут Леонард. Это все, что я знаю»—и *мой* ответ: «Спасибо за имя Р⟨озента⟩ля, но без отчества оно мне не годится. («Милый Леонард? Леонард Богданович?» NB! Все дети без отчества в Рязанской губ⟨ернии⟩—Богдановичи!) Кроме того, так зовут Дьявола. (Мастер Леонард.)—Знает ли он, что так зовут Дьявола? На шабашах. Если не знает—когда подружусь—расскажу. Я непременно хочу с ним подружиться, особенно если ничего не даст.

Адина кукла волшебна: олицетворение Роскоши, гостья из того мира, куда нам входу нет—даже если бы были миллионы! Это—роскошь безмыслия (бессмыслия). Нужда (думаю об Аде и кукле, о себе и кукле, о мысли и кукле) должна воспитывать не социалистов, так сильно хотящих, а—но такого названия нет—*ничего здесь не хотящих*: отступников от мира сего. Розовая кукла—и не розовая Адя, в мягких тонах—диккенсовская тема, в резких—тема Достоевского. И, внезапный отскок: а ведь из-за таких кукол стреляются! И Р⟨озент⟩аль *никогда не влюбится в меня*.

Сильнее души мужчины любят тело, но еще сильнее тела—шелка на нем: самую поверхность человека! (А воздух над шелком—поэты!)

И платочек прелестный—павлиний. Георгий уже в присланном чепце, рубашечка еще велика, подождет.

Еще ни разу не гулял,—проклятый климат! Мы потонули в грязи. На час, полтора ежедневно уходим с Алей за шишками или хворостом,—унылые прогулки. Небо неподвижное, ручьи явно-холодные. Сырость, промозглость. Ни просвета.

Эту зиму я провела в тюрьме, — пусть, по отношению к Чека — привилегированной, — все равно тюрьма. Или трюм. Бог все меня испытывает — и не высокие мои качества: терпение мое. Чего он от меня хочет?

Целую Вас и Адю. Не теряйте письма, которое (по словам Ади) мне пишете.

МЦ.

P. S. Очень прошу Адю написать мне тотчас же, подошло ли письмо Р〈озента〉лю? Относительно халата Невинный бредит, вразумите его, что ОН (и Редакция) мне подарили коляску.

22

Париж — Господи! — *Вшеноры, 4-го апреля 1925 г.*

Дорогая Ольга Елисеевна,

Последнее, что я от Вас получила, было укрепление меня в Георгии — месяца полтора назад, — я тогда только что встала. С тех пор — тишина, глухота, немота. С〈ережа〉 удивлялся, (я — нет), потом беспокоился (я — нет), наконец написал, — я — нет, ибо наконец разозлилась. Недавно отправила письмо Аде (непременно Ад*я*, а не Ади: «Ади» мне напоминает Колю Савинкова[1] и его о-мер-зи-тель-ную мать!)[2] — письмо Аде с твердым обещанием не писать Вам до письма — из чистой злости, п. ч. писать Вам мне часто хотелось. В письме же к Аде спрашивала о судьбе пастернаковского, в нем же — о «дорогом», слышала слухом, что был в Париже. Как видите — полный и явный перерыв. Даже С〈ережа〉, со всей его кротостью, упрекал (такие тихие укоризны — «пени»...) — «Забвение? Занятость? Легкомыслие?», и я, злостно: «Ни то, ни другое, ни третье: четвертое». — Так и оказалось. И, знаете, не удивляюсь — как никогда ничему *минусному* — это в моей жизни *закон.* Скорей удивляюсь, когда письма (особенно заказные) доходят. Остаток Сов〈етской〉 России и итог всей моей предыдущей жизни. Я сама — письмо, которое не дошло.

Итак, ничего, до Адиного недавнего письма, ни о Р〈озента〉ле, ни о П〈астерна〉ке, ни о «дорогом» (он один — с маленькой буквы!) не знала. А обо всем этом — *очень* хочу. «Дорогого» не видала полгода, за все время — короткая записочка: «весь год не радовался, жил один, нечем жить». Мне жаль его (под влиянием национальности начала было жалеть *ему*) — мне жаль его, но ничем на расстоянии помочь не могу, да и тогда — не на рас-

стоянии — не помогла. Но о судьбе его, вплоть до подробностей, очень хочу знать: м. б. нечего жалеть, м. б. — «один, нечем жить» — только для партера (меня).

А чем — я живу? Во-первых — глубоко, до дна — одна. Целый год на необитаемом острове. Без единого, хотя бы приблизительного, собеседника. Без никого. Все эти месяцы — в комнате, погребенная заживо, замурованная, теперь, с весной — в клетке (в беседке), среди кур (курей) и в непосредственном соседстве целого ряда навозных куч (хозяин помешался на удобрениях). Пишу урывками — полчаса в день, почти не сплю: встаю в 6 ч., ложусь в 1 ч., в 2 ч., — читаю Диккенса. Это о себе самой, теперь о себе с Георгием.

Он — чудесен. 2 месяца. Не красив (как Аля в детстве), а — особенен. Очень похож на меня, следовательно — на любителя. Ест все (кроме естественного младенческого корма): манную кашу, лимон (против рахита), чернослив (и то и др⟨угое⟩, конечно, в жидком виде и в умеренном количестве), пьет разбавленное молоко и другое, по системе Черни[3]. Mehl-Milch-Buttersistem*. Это и будет его главной пищей, постепенно переходит. Ведет его Альтшулер, каждое воскресенье навещает.

Морда прелестная: толстая, довольная (Степун, когда наконец окончит Переслегина)[4], нрав тихий, скромный, сон крепкий, — иногда по ночам приходится будить. При мне неотлучно. Гуляем без коляски — не осиливаю! — на руках. Когда подрастет, буду носить на горбу, как цыгане.

Бровей пока нет, т. е. ни приметы! ресницы выросли: редкие и длинные, русые. Глаза слегка монгольские, еще детские: сине-стальные. Будут зеленые:

...Привычные к степям — глаза,
Привычные к слезам — глаза,
Зеленые — соленые —
Крестьянские глаза...

(Стихи 18-го года)[5].

Спит, как сторожит: руки в белых нарукавниках по обеим сторонам, как стороны подсвечника: бра. (Алино сравнение.) Не пишу, что улыбается, ибо, улыбаясь, не сознает. Меня не знает, но, по-моему, знает салфетку, которую ему подвязываю в сладкие мгновения каши.

---

* Система кормления смесью муки, молока и масла *(нем.)*.

Очень большой, громадный. Чистый вес (родился 3-ех кило без чего-то) 4 кило 65 дек*.

Будет музыкантом.

У нас приходящая прислуга — на два, три часа. Чешка, но германского толку (родилась в бетховенском Теплице) — говорит по-немецки — тихая, работящая, очень милая. Дарю ей что́ могу, и она к нам очень привязана. Делает основную черную работу, до Барсика не касается, я ревнива. (Барсик: хвостик Бориса — тайный.)

Дружба с А. И. Андреевой. Какая-то грубая, толчками (дружба). Чем-то я ей нравлюсь, не всем, силой — должно быть. Вся из неожиданностей. Какие-то набеги и наскоки — друг другу в душу. Такой непосредственности: *природности* я в жизни не встречала. Я перед ней — произведение искусства. Внезапно, ночью: «М〈арина〉 И〈вановна〉! Я ведь живу с курами». Я: «В одной комнате?! Ненавижу кур, наплевать на яйца». Она: «Какие яйца? Я о Наташе говорю и о детях». (Наташа — жена брата А〈ндрее〉ва, нечто вроде экономки[6].) Детей, кроме Саввы, не видела никого, знаю только, что свободные часы проводят на деревьях и что мать, чтобы их найти, должна глядеть вверх. И это мне нравится. Впрочем, еще Нину[7] знаю — старшую, ничем не похожую на мать, куколку.

Я понимаю А〈ндрее〉ва, что влюбился. Пуще всех цыганок. Жаль и странно, что не поет.

Барсика о-бо-жает. Пробным камнем нашей дикой (не силой, а качеством) дружбы будет известие о Вас — крестной. Пока не говорю.

Крестного, Вы совершенно правы, нет. Ведь у меня *нет* друзей, я могу «гулять» с кем угодно, но крестить Барсика я любому не дам. Волконский стар и католик. И очень уж отрешен. Сегодня же поговорю с С〈ережей〉 относительно Бальмонта. Я б рада, я Бальмонта люблю. (На днях в этом убедитесь, но только помните, что доказательство это — *до* Адиного письма о его помощи — *чистая* лирика!) Не знаю, подружится ли Адя с Миррой[8], Мирра, при всей прелести, очень поверхностна. Адя, ведь, под знаком: «Tout ce qui n'est pas triste est bête, et tout ce qui

---

* От «дека» (десять) *(греч.)*.

n'est pas bête — est triste»* (Башкирцева), в Мирре этого Tristia** — ни тени: как лицо на солнце.

Деловое, чтобы не забыть: никакой доверенности (или расписки) на (или в) получение (нии) аванса от «Ковчега» ни С⟨ережа⟩, ни я не получали. Когда С⟨ережа⟩ увидит Мансветова[9] — скажет, напомнит.

С⟨ережу⟩ мы видим только вечером. Большая роль в «Грозе» — партнер Коваленской[10] (Александринский театр) — на 2-ой день Пасхи премьера — en grand*** — снят какой-то чешский театр, на несколько тысяч зрителей. Ролью (Вы м. б. помните Бориса — любовника — в «Грозе»?) — не увлечен, и прав: все на личном обаянии, т. е. на его bon pouvoir**** и vouloir*****, сам герой — ничтожество, неприятно играть. «Свои Пути» процветают, выходят каждый месяц без задержки. Но летом кончается у С⟨ережи⟩ иждиве?ние (проклятое слово, единственное в российском словаре мне не дающееся!) — что тогда?

14-го читает в «Едноте» рассказ. Множество бесплатных обязанностей. Худее и зеленее чем когда-либо. Вас и Адю вспоминает с нежностью.

Стихи есть, довольно много. Пишу вторую главу «Крысолова». Первая пойдет в В⟨оле⟩ России. Лирическая сатира — на быт. Место действия в Германии. Старинная немецкая легенда такая — «Крысолов».

Из сплетен:

С⟨ережа⟩ Катю Р⟨ейтлингер⟩ прогнал окончательно. С горя зарылась в чертежи. Была последнее время в своей любви — отталкивающа: просто на шею вешалась. И С⟨ережа⟩ — КРОТКИЙ С⟨ережа⟩! — прогнал.

В. Ч⟨ирико⟩ва выходит замуж — за приземистого квадратного будущего инженера. А. И. А⟨ндрее⟩ва говорит, что хорошо.

---

* Все, что не печально, — глупо и все, что не глупо, — печально *(фр.)*.

** Скорбные песни, элегии *(лат.)*.

*** Здесь: полная, по всем статьям *(фр.)*.

**** Здесь: хороших данных *(фр.)*.

***** Желании *(фр.)*.

(«Поуспокоится, пополнеет...» Кстати, никогда не замечала, чтобы после замужества полнели. Что́ это — детская мука Нестлэ[11], что ль?)

Ч⟨ирико⟩ва-мать играет в пьесе мужа 17-летнюю колдунью — молодку[12]. Вся семья переехала в Прагу, в Профессорский дом. Некоторые профессора, не получившие квартир, скрежещут.

Монах взял у С⟨ережи⟩ пальто и поехал представляться К[13]. Ни монаха, ни пальто. (С⟨ережа⟩ ходит в костюме вот уже полтора месяца.)

Другой собутыльник (помните, аккуратный немчик с тургеневской фамилией? — летний)[14] истратил крупную сумму из журнальных (Св⟨оими⟩ П⟨утями⟩) денег и безвозвратно уехал в Ригу. С⟨ережа⟩ и двое других выплачивают.

В. Н. Савинкова вышла замуж за чеха ученика и живет в Добриховицах.

Лелик учится на скрипке и по воскресеньям играет с Алей в «Машину времени».

Александра Захаровна, связав всем соседкам чешкам белые шерстяные шали, вяжет А. И. А⟨ндрее⟩вой черную шелковую шаль.

Несколько стихов — наугад: (видали ли мою «Полотерскую» в № 1 «В⟨оли⟩ Р⟨оссии⟩»? В следующих двух — юношеские стихи, пристрастие дорогого)[15].

Пела как стрелы и как моррэны...

....

Ноябрь 1924 г.

Приметы («Точно гору несла в подоле...»)

....

Ноябрь 1924 г.

Не возьмешь моего румянца — ...

....

Декабрь 1924 г.

NB! (Этот стих — к жизни.)

Русской ржи от меня поклон...

....

Март 1925 г.[16]

Выбирала самые короткие, — та́к, обзор, как это письмо. Пишу в беседке, на сильном ветру, ветер рвет бумагу, путает мысли и волосы. Сегодня ждем М⟨аргариту⟩ Н⟨иколаевну⟩ с Ирусей, а м. б. и — с Л⟨ебеде⟩вым! Аля в безумном волнении, штопает единственные приличные чулки.

Писала, не отрываясь, пользуясь Барсикиным[17] сном. Спит тут же в коляске, под В⟨ашим⟩ бел⟨ым⟩ одеялом.

М. б. уже не придется писать, итак: 1) присылайте расписку на «Ковчег» 2) что с письмом П⟨астерна⟩ку? 3) что́ «дорогой»? (однако с порядочным обходом — вести! Из Праги бы ближе!) До Пасхи еще напишу. Да! умоляю: не опускайте сами письмо, давайте Аде. (Знаю, что опускаете их в ящик, а не мимо, дело не в этом.)

Целую нежно Вас и Адю. Она удивительная девочка. Непременно будет писать. Пусть ⟨*часть текста отрезана*⟩ взять в «Свои Пути». Если не очень длинное. Пусть напишет и пришлет. Подписаться можно буквами.

Адя — пророчу! — к 20-ти годам будет, как я, лирическим циником.

МЦ.

23

Вшеноры, 12-го апреля 1925 г.,
Страстной понедельник

Дорогая Ольга Елисеевна,

Был у меня вчера Невинный — с визитом. Выдал аттестацию в молодости и неизменности. Хвалил Георгия, сам обнаружил сходство. (Теперь его вся В⟨оля⟩ Р⟨оссии⟩ перевидала — кроме Дорогого! И Росселя[1].) Сидели в навозной беседке, Невинный не замечал (навоза), наслаждался природой. А рядом козий загон, и козы все время делали. Рассказывал о Париже — как всегда, сплошное общее место: автомобили, конные, десять правил езды. И нарядность («У всех башмаки чищенные, — высшая ступень культуры». И я, мысленно: «А Бетховен?») О вас (вкупе) — следующее: живут средне, нерасчетливы, в общем ⟨тысячи?⟩ полторы в месяц — главное — есть база (квартира). Захвачены общим парижским веянием (православием) — я, мысленно: «эку штуку выдумал Париж, — православие!» — впрочем не О⟨льга⟩ Е⟨лисеевна⟩, — дочери. Гинденбург[2] и Эррио[3]. Сыновья, — один на лоне природы с утятами и поросятами, другой — на́ голову выше отца, «старший брат». Речь лилась, лилась, а я все бегала,

бегала: с Барсиком — вверх и вниз (сад со ступеньками) — то молоко греть, то бутылочки полоскать, то сцены с переодеванием. Думаю, у Невинного в глазах рябило, как у меня — в ушах.

Потом ушел к Пешехоновым[4] (здесь живут), с обещанием, если найдет номер в гостинице, придти, если же не найдет, вновь приехать завтра. А завтра — сегодня, и я в задумчивости: гулять ведь нельзя, значит — сидеть: сидеть и слушать.

Да! для справедливости: умиленно и даже умно вспоминал ту весну: гору, Пасху, приходы и проводы, сумасшедшие рукописи и сумасшедших кукол (Кочаровского)[5], — все на фоне Вас, конечно. Единственный час в беседе, когда был человечен. «Любовь — слепа». Нет, — зряча и заставляет видеть. Он никогда не любил Вас, конечно, — не любовь, — фоксов обрубленный хвостик ее! — и уже общее место точнеет, *общее* становится *местным*, «ins Blaue hinein»* — точным, и уже мне, *всю жизнь* скучающей с людьми, с этим, скучнейшим из них — не скучно.

Бедный Невинный! Жалуется на свою волероссийскую клетку: «с весной — еще темней». И нет Ваших лисьих волос и львиных (определение Сережино: гениальное) глаз, чтоб осветить. У него отношение к Вам явно двоится: напетое в уши «товарищами» (непрактичность, неумение жить, неправильное воспитание Ади и т.п.) — в ушах — с той весны — оставшееся. И он путается, с одних рельс на другие. — Толчки —

Это меня возвращает к Анд⟨рее⟩вой. Вы, пожалуй, во всем правы. Оценка, для нелюбови (ибо Вы ее не любите), даже великодушная. Она мне чужда, чувствую это всем существом: чуждостью женщины — мужчине. Притягательной чуждостью. Влюбиться я бы в нее могла, любить — нет[6]. С ней не взлетаешь, с ней — срываешься. (Помните у Гумилева):

И уста мои рады
Целовать лишь одну —
Ту, с которой *не* надо
Улетать в вышину!
(курсив мой — и в нем все дело)[7].

А о дарении ненужного — до смешного правы. Принесла нам с Алей целый узел нелюбимых вещей (как цыганка — краденое, к которому остыла) — нам очень, ей явно не нужных. Красная куртка для Али, Верина юбка (для меня), что-то Нинино, в к⟨отор⟩ое даже я не влезаю. Конечно, могла бы продать, и — конечно — благодарна, ннно…

---

* Здесь: неизвестность *(нем.)*.

Я ей нужна, потому что ей скучно, и потому что в меня, как в прорву — все прегрешения, особенно *вольные*. Я ей нужна такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года, во Вшенорах, в таком-то часу. Я ей нужна временно, местно и срочно. Я ей нужна для себя. Иначе бы она меня в бытовой жизни *вызволяла*. (То, что всегда так героически делали Вы. Вообще, руку на сердце положа, так, как Вы — по силе и по умению — меня никто не любил, — только, шести лет, Аля.)

Для меня (советую и Вам, и Аде, и Оле, и Наташе) мерило в любви — помощь, и именно *в быту*: в деле швейном, квартирном, устройственном и пр. Ведь только (хорошо «только»!) с бытом мы не умеем справиться, *он* — Ахиллесова пята. Так займитесь им, а не моей душою, все эти «души» — лизание сливок или, хуже, упырство. Высосут, налакаются — и «домой», к женам, к детям, в свой (упорядоченный) быт. *Черт* с такими друзьями!

К чести женщин скажу, что такими друзьями бывают, обыкновенно, мужчины.

Так Оля — Байрона? Нет, Шелли, утонувшего 23 лет в голубейшем из озер?[8] Или — еще лучше — Орфея? Что ж, рукоплещу. А Аля — Зигфрида. А Адя — кого?

Да и я не лучше — после всех живых евреев — Генриха Гейне — нежно люблю — насмешливо люблю — мой союзник во всех высотах и низинах, если таковые есть. *Ему* посвящаю то, что сейчас пишу (первая глава в следующем № «Воли России»)[9] — с прелестной надписью, которую в «В⟨оле⟩ Р⟨оссии⟩» опускаю.

Продолжаю 14-го. Вчера в 5 ч. вечера, явление Невинного. Ночевал на диванчике у Пешехоновых. Пришел, несколько жеманный и жантильный*, — пили кофе — (он у меня *ничего* не ест, но не знает, что пьем из медного, годы не луженного — кофейника!) — так и просидели, за кофе, дотемна. (Барсик на этот раз спал.) Уехал с головной болью, думал — от вольного воздуха, думаю — от быстроты моей мысли и речи. Обещал навещать все лето, — м. б. исправляет грехи дорогого? Тот — как помер. До странности. (Ах, пора на другие рельсы! Знаю ведь — сразу — как рукой снимет!)

На днях С⟨ережа⟩ вышлет Вам новый № «Своих Путей» (выходит в пятницу). В следующей книге «На Чужой Стороне» — его

* От фр. «gentille» — вежливый, обходительный.

«Октябрь»[10]. Мякотин пригласил, до-олго глядел (С⟨ережа⟩ истолковал: «врет или не врет?») и попросил продолжения. Я *очень* рада, — оправдательный документ добровольчества.

Сейчас в Праге ген⟨ерал⟩ Брусилов[11] — говеет. Глубокий старик. Едет, а м. б. уже проехал, в Карлсбад. Единственный сын расстрелян добровольцами. Заказывал панихиду. С⟨ережа⟩ видел его в церкви, чудно рассказывал, пусть сам напишет.

На 2-ой день русской Пасхи — Сережина «Гроза» в «Мещанской Беседе». Играет Бориса (любовника). М. б. Адя помнит «Грозу»? (Вы, наверное, нет.) Катерина — Коваленская (из Александринского театра). В первый раз за три месяца увижу Вшенорский вокзал — и деревья в окне поезда — и людей.

Нежное спасибо за бумагу, — очарована. Але о ждущем ее подарке ничего не сказала, но предупредила, что в письме — тайна, и нарочно кладу его на виду — для соблазна. (Адя! вроде «Rosalie et la souris grese»*.)

Просьбу с тетрадкой, по возможности, исполню, хотя времени нет *совсем.* (Как понравились стихи в последнем письме? Ответ, по-моему, на мое письмо к Аде. NB! Не забудьте про дорогого, всё, что знаете.)

С⟨ережа⟩ сейчас едет. Письмо Вы получите накануне Пасхи. Итак — Христос Воскресе!

МЦ.

24

Вшеноры, 27-го апреля 1925 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Нынче утром — мы гуляли, и почтальон приходил без нас — три письма: элегантным почерком Волконского, скромным — Оболенского (оцените этот «цветник князей»!) и — что-то совсем безграмотное, ибо я там даже не Марина, а Мария. (Штемпеля: Прага, Рим, Париж.) Начинаю, конечно, с последнего. Штамп Пламени — на машинке:

«Редакция журнала «Воля России» настоящим просит Вас пожаловать на чашку чая, устраиваемую ею в помещении Редакции для друзей и сотрудников во вторник, 28-го с⟨его⟩ м⟨есяца⟩, в 7 часов вечера.

С совершенным почтением»

---

* «Розали и серая мышь» *(фр.).*

и — от руки — подпись дорогого. Сверху, не его рукой (на Ъ) — мое имя.

Первое движение: не ехать! Мне — не своей рукой! — меня — на чашку чая! мне — с совершенным уважением! Как Папоушке или еще кому- (какой-)нибудь!..

И эта свалка, жара, все эти чужие, — М〈ансве〉товы, Я〈ковле〉вы, все эти чужие. Не лучше ли домой, с Барсом? (Пре-лестен!) Но — любопытство побеждает. Не любопытство, страсть к растраве, — tant pis tant mieux!* — Поеду! Помучусь. Посмеюсь. Зная его слабое сердце, знаю, что упадет — (NB! не он, а сердце!) при виде меня. И, зная свое сильное, знаю, что мое от этого — не разорвется!

Не виделись с ним полгода, последний раз мельком, три минуты в «В〈оле〉 Р〈оссии〉» — и вот, через полгода, «на чашке чая», — элегантно, если бы *не* — не очень многое!

Самое забавное, что он м. б. вовсе и не ждет моего приезда, подписал 50 бланков сразу, потом кто-то надписал имена.

— Что Леонард?[1] Ибо близится лето, следовательно и осень, следовательно — опять Вшеноры. Боюсь для Барсика Чехии: слякоти наружи, сырости в комнатах, то раскаляющихся, то леденеющих печей. Не уберечь. С ним мне будет везде хорошо (*абсолютно* люблю), в нем моя жизнь, но важно возможно лучше обставить — *его* жизнь. В Праге копоть, дороговизна, хозяйки, здесь — сырость, неустройство, тоже хозяйки. И не хочу на его устах чешского, пусть будет русским — вполне. Чтобы доказать всем этим хныкальщикам, что дело не *где* родиться, а *кем*.

Не встречаетесь ли с Ариадной Скрябиной[2] (в замужестве Lazarus). Недавно получила от нее faire part** о рождении дочери (3-го февр〈аля〉, двумя днями моложе Георгия) и розовую для него кофточку — (шепотом: «шершть!») Вот мы и сравнялись — она, в 1922 г. девочка (16 л〈ет〉), и я, такая же, как сейчас. У меня сын, у нее дочь. Возрасты стерты.

28-го апр〈еля〉, вторник

Нынче — нежная открытка от Невинного: зовет, ждет.

Скоро еду. Целую Вас.

МЦ.

P. S. Тетрадок Невинный не передал — или не с ним посылали?

---

* Чем хуже, тем лучше *(фр.)*.

** Записку *(фр.)*.

Получаю *прелестные* письма от Оболенского. О всех вас пишет с нежностью, особенно об Аде. (Лучше Вади[3], Адя, а? И недурно: дочь эсера, – Княгиня Ариадна Оболенская.) Адя, Вы будете замужем за *собакой*. Вроде Beau Miron*[4]. Только – обратное превращение.

25

Вшеноры, 10-го мая 1925 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Во-первых – сплюньте три раза, потому что все – хорошо. (*Знаю*, что сплюнете, уже плюете: раз, два, три.)

Крестин еще не было, так что Вы с крестиком и образом не опоздали. Я Алю тоже медлила крестить, может быть – то, что называют моим язычеством («даром учили, даром крестили» – Эренбург), моя свобода, мое вне-все-верие, может быть, страх перед обрядом вообще и Б⟨улгако⟩вым в частности[1]. (Недавно была Муна, сам вызывается приехать.) Может быть – неуверенность в крестном: у меня *никого* нет, кого бы я Муру в крестные отцы хотела: нет спокойного мужского друга. Волконский стар, я должна думать не о себе, а о мальчике, мне нужен кто-нибудь, помимо очарования, Муру *на выручку*. (А есть ли, вообще, такие?) И такой, каким бы я хотела, чтобы Мур – был. Написала и рассмеялась: быть тем, кто уже был?! Non, pas de ça!** Словом, крестного пока нет. (Мур у меня на вес платины, боюсь продешевить!)

О Муре: во-первых – Мур, бесповоротно. Борис – Георгий – Барсик – Мур. Все вело к Муру. Во-первых, в родстве с моим именем, во-вторых – Kater Murr***[2] – Германия, в-третьих – само, вне символики, как утро в комнату. Словом – Мур. 3 мес⟨яца⟩ 10 дней, вес – 7 кило, т. е. на русские деньги 17 1/2 фунтов (вес *годовалой* Ирины, но она была скелетом: 1918 г.!), характер – ангельский, улыбается, узнает салфетку, бутылку (меня – нет!) и… А. И. А⟨ндрее⟩ву, – так она утверждает. Дни проводит на шоссе, в maison roulante**** (коляске) или в maison croulante***** (в состоянии постоянного крушения) – т. е. у меня на руках. Ходим с ним вдоль ручьев, под елками и безымянными

* Красавица Мирона *(фр.)*.
** Нет, только не это *(фр.)*.
*** Кот Мурр *(нем.)*.
**** Дом на колесах *(фр.)*.
***** Рушащийся дом *(фр.)*.

кустами, лазим по скалам, когда я сажусь — он рычит. Иногда, если в коляске засыпает, тогда пишу или слушаю Алино чтение бесконечного «Ourson». («Blondine»*, слава Богу, одолели. Сплошное молоко и слезы! И, определение: le lait Carmoyant du repentir**.)

Хотите напугать, *уступите* Веру Зайцеву[3] и К°? Мур перед каждой едой получает по чайной ложке лимона, живого, без сахара, а ест пережаренную дочерна муку на масле, разведенную в 200 граммах воды и молока (125 воды, 75 молока — разовая порция). Это — система герм〈анского〉 профессора Черни (я до сих пор знала только этюды Czerny[4], играла в детстве), спасшая в Германии во время войны сотни тысяч детей. Ведет Мура Альтшулер, с гордостью и любовью. Навещает каждое воскресенье, выстукивает, выслушивает, производит какие-то ариф-м〈етические〉 выкладки — расписание еды на неделю (мука и масло постепенно повышаются), помнит каждый предыдущий вес. У меня временами безумное желание просто взять и поцеловать ему руку — что я еще могу?! Денег он не берет — но — 1) за ним по пятам, как луна за солнцем (или землею? забыла) ходит А. И. А〈ндрее〉ва, влюбленная в Мура, а всякий поцелуй, на глазах, теряет, 2) боюсь смутить: он руки никому не целует. Но есть у него две девочки — Катя (4 г〈ода〉) и Наташа (1 1/2 г〈ода〉, тоже Черни) — если кто-нибудь из знакомых случайно что-нибудь для этого пола и возраста предложит, нет: если у кого-нибудь из знакомых неслучайно можно что-нибудь вытянуть — тяните. Семья нищая, от такого бескорыстия тяжело.

Если фланелевые кофточки, о к〈отор〉ых Вы писали, не очень малы, очень прошу: присылайте. Еще очень нужны чепчики: из всех вырос, до полголовы. (Подумайте, у Вашего крестника уже есть наследники! Я горжусь.)

Это я все о черновиках, а вот — беловик: Алей я в детстве гордилась, даже — чванилась, этого — страстно — люблю. Аля была несравненно красивее, сразу — красавицей (помните годовалую карточку в медальоне?), прохожие заглядывались, на Мурку тоже заглядываются — из-за загара: Mohrenkind***. Но у этого *свое* (а м. б. — мое? или это то же самое?) лицо, вне красоты и некрасоты, вне породы и непороды: уже сейчас — горбатый нос, с настоящим хребтом, сильноочерченный подбородок, сторожкие уши, синие глаза чуть вкось, — С〈ережа〉 зовет его Евразией. Кроме того — отсутствие няни, стены: я у него одна — понимаете это чувство? Если я не сделаю — никто не сделает (С〈ережа〉 рад бы,

* «Медвежонка», «Русоголовку» *(фр.)*.

** Молоко, источающее слезы раскаяния *(фр.)*.

*** Негритенок *(нем.)*.

да его никогда нет, задушен делами, Аля все-таки мала). Сейчас Аля на радиоконцерте (во Вшенорах!!!), С‹ережа› — в городе, на Степуне[5], я одна с Муром, — выкупала, накормила, уложила, пишу. Такие часы мои любимые. И еще — самые утренние, начало пятого, пять. Мурка, проснувшись, добр, повторяет: «heureux, heureux»*, я разогреваю молоко, утро входит в комнату. Вообще, у меня чувство с Муром — как на острове, и сегодня я поймала себя на том, что я уже мечтаю об острове с ним, настоящем, чтобы ему *некого* (оцените малодушие!) было, кроме меня, любить. А он, конечно, будет любить всех актрис («поэтесс» — нет, ручаюсь, и не потому, что объестся мной, в *ином* смысле — вкус отобью: испорчу), всех актрис подряд и когда-нибудь пойдет в солдаты. А может быть — займется революцией — или контрреволюцией (что при моем темпераменте — то же) — и будет сидеть в тюрьме, а я буду носить передачу. Словом — terra incognita**. И эту terr'у incognit'у держать на руках! Когда мы одни, я ему насказываю:

— «Мур, ты дурак, ты ничего не понимаешь, Мур, — только еду. И еще: ты — эмигрант, Мур, сын эмигранта, так будет в паспорте. А паспорт у тебя будет волчий. Но волк — хорошо, лучше, чем овца, у твоего святого тоже был волк — любимый, этот волк теперь в раю. Потому что есть и волчий рай — Мур, для паршивых овец, для таких, как я. Как я, когда-то, одному гордецу писала:

Суда поспешно не чини:
Непрочен суд земной!
И голубиной не черни
Галчонка — белизной.

Всяк целовал, кому не лень!
Но всех перелюбя! —
Быть может, в тот чернейший день
Очнусь — белей тебя![6]

Это я не тебе, Мур, ты мой защитник, это я одному ханже, который меня (понимаешь? ме-ня!!!) хотел спасти от моих дурных страстей, то есть чтобы мне никто, кроме него одного, впредь не нравился. Ты понимаешь, Мур?!»

— и т. д. —

И еще о России, о том, что Россия — в нас, а не там-то или там-то на карте, в нас и в песнях, и в нашей русой раскраске,

* Счастлив, счастлив *(фр.)*.
** Здесь: нечто неизвестное *(лат.)*.

в раскосости глаз и во всепрощении сердца, что он — через меня и мое песенное начало — такой русский Мур, каким никогда не быть X или Y, рожденному в «Белокаменной» — Да.

Устали?

Спасибо за письмо к Б⟨орису⟩ П⟨астернаку⟩. Скоро, через мать А. И. А⟨ндрее⟩вой (проведет здесь неделю и — в Россию) отправлю ему «Мо́лодца», а Вам — для верности — другой экз⟨емпляр⟩, умоляю — с первой оказией! Подарить кому — найдется, там у меня много друзей. Книгу можно вне тайны, т. е. при жене. Адр⟨ес⟩ Бориса: Волхонка, 14.

Посылаю Вам: «Мо́лодца» (пока — одного с Адей)[7], чешскую «ванночку» и Аля — Аде татарские чувяки, у Ади узкая нога, надеюсь — подойдут. Скажите Аде, что попирали черноморские берега.

Тетрадей еще не получила, но знаю, у кого. Пишу мало, нет времени, целиком его с Муром прогуливаем. Но «Крысолов» подвигается.

И еще «Мо́лодца» для Ремизова. И для Ариадны Скрябиной в благодарность за вязаную кофточку для Мурки. (Адр⟨ес⟩ узнаете у Веры Зайцевой.)

Кажется, всё — о делах.

О Леонарде боюсь спросить: жив ли?

Это письмо Вам передаст М⟨арк⟩ Л⟨ьвович⟩. Мы с ним «помирились». Из многих людей — за многие годы — он мне самый близкий: по не-мужскому своему, не-женскому, — третьего царства — облику, затемняемому иногда — чужими глазами навязанным. А что больно мне от него было (и, наверное, будет!) — Господи! — от кого и от чего в жизни мне не было больно, было — *не* больно? Это моя линия — с детства. Любить: болеть. «Люблю-болит». Береги он мою душу как зеницу ока — все равно бы было больно: всегда — от всего. И это моя главная примета.

И если бы не захватанность и не *страшность* этого слова (не чувства!) я бы просто сказала, что я его — люблю.

Сейчас Аля придет с радио. С⟨ережа⟩ приедет из города. Мур проснется. (Всех кормить!)

Бахраха на Пасху не было. Был режиссер Брэй с женой, и я злилась. А ту Пасху плакала — помните? — потому что С⟨ережа⟩

заявил, что меня похоронит, а я требовала, чтобы меня сожгли. Помните эти злостные слезы? И испуг в комнате?

«Тело свое завещаю сжечь» —

это будет моим единственным завещанием.

Об А. И. А⟨ндрее⟩вой в другой раз. Есть чтó рассказать. Искушение послать «Мóлодца» Вадиму[8]. И моему Кесселю. А Бахраху — rien*. Кажется, так и сделаю.

Целую Вас нежно. Замещать Вас на крестинах будет кроткая Муна. (Р⟨одзевич⟩ в Риге — или в Ревеле — ворочает большим пароходом. Не знаю адреса, а то бы я ему послала «Мóлодца», — уязвить его грошовую мужскую гордость.)

МЦ.

P. S. Не ищите Мура в календаре и не пытайтесь достать ему иконки. (Кстати, что должно быть на такой иконке? Очевидно — кот? Или, старший в роде — тигр?)

Обещаю, что это — последнее имя! (А все оттого, что не Борис).

Адр⟨ес⟩ Бориса: Волхонка, 14.
Борису Леонидовичу Пастернаку

Можно и на Союз Писателей, только не знаю адреса — как угодно — лишь бы только дошла (книга).

⟨*Приписка на полях:*⟩

Посылаю Вам шелковую курточку. Са-ма вязала. (Подочтите пропущенные петли: это мысль — или сердце — делала скачок.)

26

Вшеноры, 25-го мая 1925 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Только что получила от Вас письмо, которым мое, подписанное и запечатанное, упраздняется.

Не писала так долго, потому что рассчитывала на скорое прибытие М⟨арка⟩ Л⟨ьвовича⟩, но он, увы, в последнюю минуту поехал через Женеву (задержка 8 дней) — увы, потому что не взял с собой чудесного чешского хлеба-монстра, приготовленного и привезенного (на диспут) для Вас. Так и пришлось везти

---

* Ничего *(фр.)*.

обратно во Вшеноры. — Съели, но без удовольствия. — А что не взял — прав: довез бы плюшкинский сухарь.

Поздравляю с издателем и журналом. Назв⟨ание⟩ «Огонек»[1] — приветствую: читатель любит уменьшительные (спокойнее). И гонорар (1 фр⟨анк⟩ строка) приветствую. И стих посылаю.

Мое письмо с М⟨арком⟩ Л⟨ьвовичем⟩ теперь, думаю, получили. И нищенские подарки (куртку — Вам, туфли — Аде. Куртку вязала сама).

Скоро в П⟨ариже⟩ будет А⟨нна⟩ И⟨льинична⟩[2] — и Исценеловы — и Ал⟨ександра⟩ Вл⟨адимировна⟩[3] (все врозь, конечно). Целая вереница пражских гостей и вестей.

Во Вшенорах сейчас нечто вроде волероссийского центра: Пешехоновы, Мякотины, Гуревичи[4], скоро перебираются Яковлевы. Я не знаю их партийной принадлежности, но в одном я точна: *возле* эсеров (м. б. от их стола кормятся?) Бывает — из возле-эсеров, а вернее из Доброховиц на собственном велосипеде *прибывает* и Коля Савинков — веселый, элегантный, нахально-цветущий. А 22-го, в соборе св⟨ятого⟩ Николая, была отслужена панихида по *тому* Савинкову[5]. Террорист — коммунист — самоубийца — и православная панихида — как по-русски! Любопытно, кто пришел? Будь я в Праге, я бы пошла. Есть чувство — над всеми: взаимочувствие *личностей*, тайный уговор единиц против масс: каковы бы эти единицы, каковы бы эти массы ни были. И в каком-то смысле Борис Савинков мне — брат.

Каждый день видимся с А⟨нной⟩ И⟨льиничной⟩. Многое и главное — молча. Бродим по спящей деревне (полуспящий С⟨ережа⟩ стережет спящего Мурку), рассказываем друг другу мерзостные истории про котов и мертвецов. Она абсолютно зара — и заряжаема, т. е. *утысячеряет* каждый звук.

Недавно была Нинина[6] свадьба: вышла замуж за здешнего студента-виолончелиста. Было большое пирование, а на другой день она уже, на собственном примусе, варила суп (первый в жизни).

Как кто встретил «Мо́лодца»? Обрадовался ли Кессель? Вадим? Пусть Вадим мне устроит где-нибудь книгу стихов «Умыслы» (1922 г. — 1925 г., последняя), мне это *важней* всего[7]. Согласна на новую орфографию, ибо читатель ее — в России. Попросите Вадима! М. б. Гржебину предложить?

А насчет Р⟨озен⟩таля и трилогии — дело гиблое, ибо написана всего 1-ая часть[8]. Передано ли прошение?

Целую Вас.

МЦ.

⟨*Приписка на полях:*⟩

С⟨ережа⟩ Вам писал последний — большое письмо. Деньги за Раковину[9] получит и вышлет на днях.

P. S. Аля, растрогавшись Нининой молодостью, поднесла ей того «мопса».

27

Вшеноры, 9-го июня 1925 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Вчера, в Духов день, в день рождения Пушкина[1] и день семилетия с рукоположения о. Сергия — стало быть, в тройной, в сплошной Духов день — было крещение Георгия. Дня я не выбирала, как не выбирала дня его рождения (1-го — воскресение — полдень) — вышло само. Булгаков должен был приехать в Псы служить на реке молебен, и вот заодно: окрестил Мура. Молебен на реке отменили (чехи в купальных костюмах и, вообще, *пляж* [нарочно пишу через *я*]) — а Мур окрещен был. Замещали Вас и Ремизова — А⟨лександра⟩ З⟨ахаровна⟩ и актер Брэй, рыжий[2]. Был чудесный парадный стол, в пирогах и рюмках и цветах (сейчас жасмин). Чин крещения долгий, весь из заклинания бесов, чувствуется их страшный напор, борьба за власть. И вот, церковь, упираясь обеими руками в толщу, в гущу, в живую стену бесовства и колдовства: «Запрещаю — отойди — изыди». — Ратоборство. — Замечательно. — В одном месте, когда особенно изгоняли, *навек* запрещали (вроде: «отрекаюсь от ветхия его прелести...»), у меня выкатились две огромные слезы, — не сахарных! — точно это *мне* вход заступали — в Мура. Одно Алино замечательное слово накануне крестин: «Мама, а вдруг, когда он скажет „дунь и плюнь“, Вы... исчезнете?» Робко, точно прося не исчезать. Я потом рассказывала о. Сергию, слушал взволнованно, м. б. того же боялся? (На то же, втайне, надеялся?)

Мур, во время обряда, был прелестен. Я не видела, рассказывали. Улыбался свечам, слизнул с носа миро и втянул сразу:

крестильную рубашку, ленту и крест. Одну ножку так помазать и не дал (не Ахиллесова ли пята — для христианина — вселенскость? Моя сплошная пята!)

Иногда, когда очень долго (был голоден) — подхныкивал деликатно, начиная с комара, кончая филином. Был очень хорош собой, величина и вид семимесячного. С головой окунут не был, — *ни один* из огромных чешских бельевых чанов по всему соседству не подошел. Этого мальчика с головой окунуть можно было только в море. Крестильную рубашечку — из парижского шитья, с голубыми лентами в виде платьица — принесла А⟨лександра⟩ З⟨ахаровна⟩, а я ей взамен для Лелика подарила Алины чулки и носки, Ваши, пришедшиеся ей ровно на полноги (уже 38! недавно покупала сандалии) — так что рубашечка вроде как Ваша. Крестик и иконку мы получили как раз накануне, за день, ровно и крайне в срок, от М⟨арка⟩ Л⟨ьвовича⟩, приехавшего, наконец, к нам с другими волероссийцами — в последний день Муриного язычества — познакомиться с моим наследником и своим сотрудником. Было, случайно, много гостей, сидели в курино-козьей беседке: вся «Воля России» (за исключением В. И. Л⟨ебеде⟩ва), актриса Коваленская с сыном[3], пара Брэй-ев (англичане), семейство (с детьми) Я⟨ковле⟩вых, Ал⟨ександра⟩ З⟨ахаровна⟩ с Леликом и д⟨окто⟩р Альтшулер, мой и Муркин добрый гений. М⟨арк⟩ Л⟨ьвович⟩ был мил, все были милы, я бы на его (и на их — всех — вообще всех — всего мира!) — месте меня бы больше любила. И вот, передал крестик. И чудесное Адино-Алино платьице, и бумагу, и всю любовь. Я всюду очень громко хвалю Адю — как *я* умею, когда люблю: упорно, тоном обвинительного акта. И все смущены. И я *люблю* это смущение. М⟨арк⟩ Л⟨ьвович⟩ — «Но ведь Адя… молчит»… И я: «Но ведь *я* говорю!» Говорила об Аде и Булгакову, он умница, ему все редкое нравится, о любви ее… (гм! гм! — в детстве…) к чертям. Он улыбался улыбкой *знающего*. Едет со всей семьей 1-го июля в Париж насовсем. И так неожиданно вдруг, об Аде *просто*: «Я ее увижу в церкви» — вне символики, а вышло больше. Мне жутко понравилось, как штейнеровское тогда — мне: «Auf Wiedersehen!»*[4]

На крестинах были: о. Сергий, Муна, Катя Р⟨ейтлингер⟩, Новелла Чирикова, Алекс⟨андра⟩ З⟨ахаровна⟩ с Леликом, пара Брэй'ев — и мы трое. Моя цыганская страсть уехала[5] — и лучше — она бы не стерпела своего *заместительства*, а другому (другой) бы заместить не дала. Сейчас она в Париже, м. б. будет у Вас,

* До свидания *(нем.)*.

я не просила, только дала адрес. Это, в здешней скудости, моя живая вода — огневая вода!

А в Париже нам, конечно, не жить. Я так и знала.

Это у нас, в день русской культуры, старушка песенку пела, с припевом:

Не живи как хочется,
А как Бог велит.

— Утешение. —

Но, может быть, погостить — выберусь. Погостить и почитать. Только не раньше ноября-декабря, Муркиного десятимесячия. И, увы, без Али, п. ч. Алин билет уже взрослый и всё вдвое. — И всё — планы. — Денег в обрез, я сейчас лечу зубы, ставлю коронки, и в лавки долг около тысячи.

Но мечтой себя этой — тешу. Вами, Адей, Вадимом, собой, свободой. И Муркиным *парижским* туалетом! И подарками, к⟨отор⟩ые привезу домой. И почему-то мне кажется, что всюду, где меня нет — Пастернак.

О Вадиме. Грусть о единоличном «Мо́лодце» пусть бросит. Или всю мечту обо мне. Их союз — их дело, как брак, т. е. «ваша великая тайна и ваше частное дело» (моя формула)[6]. Дружить, если буду, буду врозь, — м. б. и с обоими, но четко и точно — врозь. И Вадим, конечно, предпочтет мне — друга, как А⟨ндрее⟩ва мне — сына, как все мои мужские друзья — мне — своих жен, п. ч. «это не для жизни»: ненадежно, — правы. Я абсолютно бывала любима в жизни только издалека, вне сравнений, п. ч. в воздухе, а в воздухе не живут, стоило мне только ступить на землю, как мне неизбежно предпочитали — да эту же самую землю, по которой я ступаю.

А мне земля необходима, как Антею: оттолкнуться. И потому — *правы*.

28

10-го июля 1925 г.

Предгрозовой вихрь. Подвязываю в саду розовый куст. Почтальон. В неурочный час. «Pani Cvetajeva»*. Протягиваю руку: бандероль. И — почерк Пастернака: пространный и простор-

* Госпожа Цветаева *(чешск.)*.

ный — версты. Книга рассказов[1], которую я тщетно (40 кр⟨он⟩!) мечтала купить на сов⟨етской⟩ книжной выставке.

А до этого сон — буйный и короткий, просто свалилась, сонная одурь, столбняк. Проснулась в грозу, потянуло к розе и получила в раскрытую руку — Пастернака.

Адр⟨ес⟩ здешний, — значит, то письмо дошло. Ах, еще бы «Мо́лодца»! И шарф. Но денег Ховин (?)[2] наверное не платит? Тогда стихов не давайте. Зеленый шарф — от всей Романтики и последнего (в этой стране всё — последнее!) глашатая, нет, солдата ее — меня.

Книгу отложила. С радостями, как знаете, не тороплюсь. Радость — иной вид горестей, м. б. — острейший.

Но из колеи выбита — надолго. Мало мне нужно.

Любит ли Вадим произведения своего отца? Вообще — от Андреева? И похож ли на Савву? Савва — сласть, *сласти*. Хотелось бы, чтобы Вадим был горечью. Огорчайте и горчите его мной, — большим на пользу.

Целую Вас и Адю.

Да! перед сном (столбняком) вздрогнула, т. е. уже заснув, проснулась от ощущения *себя* на эстраде Политехнического Музея — и всех этих глаз на себе. — Слава?

МЦ.

⟨Приписка сверху:⟩

Тетради дошли давно, я уже дважды писала. Но времени на переписку стихов нет. В красной Аля пишет свои воспоминания о раннем детстве, — вымолила! Все три обольстительны. Спасибо. (Тут Аля усмехается.)

Как Адино писание? Пусть не остывает!

29

Вшеноры, 14-го августа 1925 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Обратное Вам, а не обратное мне, — я ведь тоже себялюбец, хотя и в другом. Но и мне обратно достаточно, — этим и прельщена. Кроме того, единственный человек (из чужих), кто сам

тянется ко мне, без меня скучает и — что главное — меня не судит[1]. Она меня определенно любит, по-своему, рывком, когда с натиском, но — любит, зверь чужой породы — зверя всем чужой породы — меня. И лицо прелестное. И голос. (С таким должны петь, *чист* только в пенье.) И не навязывает мне своей семьи, дает себя мне — вне, только по ночам, *в свои* часы. Все это ценно. И я не умею (еще как!) без чужой любви (чужого). А «Мариночка» тот же захват, что и во всем, что и вся. Ее, как меня, *нельзя* судить, — ничего не останется.

Живу трудно, удушенная черной и *мелкой* работой, разбито внимание, нет времени ни думать, ни писать. Кончаю воспоминания о Брюсове. «Крысолова» забросила (мой монархизм). С〈ережа〉 скоро возвращается. Ему *необходимо* не жить в Чехии, уже возобновился процесс, здесь — сгорит. О зиме здесь *не хочу* думать: гибельна, всячески, для всех. Аля тупеет (черная работа, гуси), я озлеваю (тоже), С〈ережа〉 вылезает из последних жил, а бедный Мур — и подумать не могу о нем в копоти, грязи, сырости, мерзости. Растить ребенка в подвале — растить большевика, в лучшем случае вообще — бомбиста. И будет прав.

Да! Вы спрашиваете о том, достоверна ли я с А〈нной〉 И〈льиничной〉. — Пожалуй, нет. — О моем отношении к П〈астерна〉ку она знает, п. ч. отправляла, через мать, письмо и книгу. Об остальном, по-моему, ничего.

В дружбе ли с «дорогим»? Не знаю. М. б. в очень далекой. Он все пытается устроить свою жизнь, точно это так важно — устройство его жизни, жизни вообще. От Ст〈алин〉ского и Лебедева вижу, во всяком случае, больше внимания и человечности. Он занят только собой, данным собой, мне в данном тесно.

Живу без людей, очень сурово, очень черно, как никогда. Не изменяет, пожалуй, только голова. Знаю, что последнее, когда буду умирать, будет — мысль. П. ч. она от всего независима. Для чувств же нужны поводы, хотя бы мельчайшие. Так я, без намека на *розу*, не могу ощутить ее запах. А «роз» здесь нет. (Полные кусты, не те.)

Мур чудный. 6 1/2 мес〈яцев〉. Начинает садиться (с ленцой). Говорят (ваш сон в руку), похож на Алю. Раскраска, пожалуй,

та — светлота масти — черты острей. М⟨аргарита⟩ Н⟨иколаевна⟩, уезжая (едет в Париж насовсем), оставила ему целое приданое.

Кесселю очень хочу написать, и — пожалуй еще больше — о нем. Есть места гениальные. (Юсупов — Распутин[2].) Но боюсь ввязываться — мало писать не умею, в «В⟨оле⟩ Р⟨оссии⟩» с «Крысоловом» по пятам. Если ему пишете, передайте мое восхищение и причину (невозможность *мало* сказать!) молчания. Ибо чтó о статье — то же о письме.

Только что — большое письмо Ади с описанием велосипедов, — Оли на жердочке — кабинки — одеяла — дождя. Да ведь это моя жизнь — с кем-то — куда-то — ни за чем. У нас с Вами и Адей, кроме всего остального, чудесно совпадает темп жизни. О, как давно, как давно, мне кажется — годы! я не была, *в жизни*, собой.

Вадиму не ответила не из невнимания, ненаписанное письмо не на совести, а в сердце (пишется!). И Вадима и Володю[3] считаю своими, одной породы, мне с ними, им со мной будет легко. Лиц их не вижу, голоса слышу.

Ольга Елисеевна, это будет чудесная жизнь, когда я приеду! Вдруг поняла, п. ч. сказала: *голоса*.

К литераторам ходить не будем, не люблю (отталкиваюсь!) кроме Ремизова никого из парижских. И, м. б., еще Шмелева[4]. К литераторам ходить не будем, будем возить Мура в коляске, а по вечерам, когда он спит, читать стихи. (Хорош Париж? Но ведь живешь не *в городе*!)

Пусть Адя не обижается, что не пишу ей сегодня отдельно, сейчас купать Мура, готовиться к завтрашнему иждивению, мыть голову, писать С⟨ереже⟩ письмо — так, до глубокой ночи. Сплю не больше пяти часов вот уже полгода.

Стихи пришлю, как только доперепишу Брюсова[5]. Не сердитесь, что не поздравила с именинами, это ведь только день рождения Вашей святой, — не Ваш. И, ради Бога, ради Бо-га — никаких подарков к минувшим моим! Не надо растравы, все вещественное от близких *растравляет*, я еще не совсем закаменела.

Аля огромная (стерьва Мякотина — м. б. от стервозности — ей дала 16 лет), с отросшими косами, умная, ребячливая, великодушная, изводящая (ленью и природной медлительностью).

Ей очень тяжело живется, но она благородна, не корит меня за то, что через меня в этот мир пришла. С 4-ех лет,—помойные ведра и метлы—будет чем помянуть планету!

Целую всех: Вас, Адю, Наташу (разъединяю, п. ч. близнецы), Вадима (разъединяю, п. ч. братья), Олю и Володю. (А Володя—в хвосте.)

МЦ.

〈*Приписки на полях:*〉

Скоро пришлю снимки—Алины, Муркины и свои, завтра куплю пластинки, снимает А〈лександра〉 З〈ахаровна〉.

Одновременно пересылаю «В огнь—синь»[6]. Пометки чернилами—слонимовские, карандашные—мои. Подробности—Аде на отдельном листочке.

Был бы жив Гуковский[7]—взяли бы в «Совр〈еменные〉 Зап〈иски〉».

Рецензии в «Звене» не читала, но знаю от вегетар〈ианца〉-председателя С〈оюза〉 Пис〈ателей〉 Булгакова, что есть таковая. Но так как в «Звене» меня всегда ругают—не тороплюсь[8]. («Я люблю, чтобы меня до-о-лго хвалили!»)[9]

30

Вшеноры, 7-го сентября 1925 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Поздравляю Вас и Адю с Вадимом, вернее—Вадима с Вами и Адей,—со всеми вами[1]. Вы—семья, на которой можно жениться целиком.

Адя решительно подражает мне: 16-ти лет пишет блестящие статьи и 16-ти лет выходит замуж. Адечка, лучше рано, чем поздно: матери Гёте не было 17-ти лет, когда он родился, и она, позднее, говорила ему: «Ты хитрец, ты мою молодость взял в придачу». Но раньше 16-ти нельзя—тогда уже Комсомол.

Аля очень озабочена Вашим свадебным нарядом, будущими детьми, переправкой коляски, всем бытом брака, который, по моему опыту—знает, труден. Новость узнали от Анны Ильиничны, начавшую со словами: «Мы с Вами будем родственниками». И, знаете, я только потом усомнилась, вернее задумалась,—каким это образом?—так сильна, должно быть, убежденность внутреннего родства.

Наседает осень. С угольщицей в ссоре, — дважды взяла за метраж углей — не знаю, чем будем топиться. Париж туманен. Надо решать: либо муравьиные запасы здесь, на зиму, либо стрекозиный танец по визам. Предлагают здесь, во Вшенорах, целый ряд квартир, — духу не хватает! Единственное поме- и перемещение, которое я хочу — поезд! Но бесконечно жаль С⟨ережу⟩, который три-четыре месяца должен быть здесь, срок подачи докторской работы — ноябрь, после чего еще три месяца иждивения.

У него, кстати, объявилась астма. Что с ним дальше будет — не знаю. Но томить Мура в сырости и копоти тоже духу нет. Не знаю, чтó делать.

Сейчас ему 7 мес⟨яцев⟩ с неделей, если ехать в середине октября — будет 8 1/2 м⟨есяцев⟩. Доехать можно, он веселый и тихий.

Встает также вопрос детской кроватки. Мур уже сидит, через месяц будет вылезать, везти отсюда нет смысла, здесь очень средняя — 375 кр⟨он⟩, а я хочу хорошую, надолго. (Аля в своей спала до 6-ти лет.) М. б. узнаете, на *всякий случай*, дорогая Ольга Елисеевна, цену хорошей и средней кроватки — там? (Для меня «там», для Вас — здесь.)

Ехать Мурке, если в октябре, есть в чем: чудесное голубое вязаное пальтецо, связанное А⟨лександрой⟩ З⟨ахаровной⟩, позже — не в чем, а покупать здесь дорого и жалко.

Простите за скучные мелочи, всё это не я, но моё.

Самый мой большой ущерб — отсутствие одиночества. Я ведь *всегда* на людях, и днем, и ночью, никогда, ни на час — одна. Никогда так не томилась по другому, как по себе, своей тишине, своему одинокому шагу. Одиночество и простор, — этого до смешного нет. На таком коротком поводу еще не жил никто. Я не жалуюсь, а удивляюсь, с удивлением смотрю на странную — хотела сказать: картину, — какое! — на мельчайшую миниатюру своей жизни, осмысленную только в микроскоп.

Видела Катю Р⟨ейтлингер⟩. Кокетливо-омерзительна в замужестве, о муже[2] говорит, как о трехлетнем, сюсюкает, и, между прочим, — «На которой из Ч⟨ерно⟩вых женится Оболенский?» Я, задумчиво: «На мне».

Когда Адина свадьба? Будет ли венчаться в церкви? (По-моему — да.) Что от меня хочет в подарок? (Кроме детской

коляски, — это уже от Али.) Дошло ли Алино наглейшее письмо к *своему* дню рождения? От Вас очень давно нет писем, даже не знаю, по какому адресу писать.

Хорош Мур? Только очень бело отпечатано, совсем белые глаза. Фотографию очень прошу сохранить.

Целую всех, пишите.

МЦ.

31

〈Середина сентября 1925 г.〉[1]
〈1-я страница письма отсутствует〉

〈...〉Встает в 6 1/2 — 7, молчать не заставишь. Ложится — окончательно — между 7-ью и 8-ью, если здоров — спит крепко до утра. Но сейчас, с зубами, беспокоится. Если комната проходная — просто нельзя ехать, это не каприз, он изведется. Вы же знаете мое спартанство, приучала — не приучила. Необычайная отзывчивость на звук, с первых недель. К голосу А〈нны〉 И〈льиничны〉 никак не может привыкнуть, — руки за голову — рев.

Да! Пришлось нам с Алей ей покаяться в злоупотреблении ее добрым именем — ведь мы на нее сослались, поздравляя Адю. Она не обрадовалась, но не рассердилась. В задумчивости говорила нам вслух возмущенную открытку Вадима: «Ты все перепутала!» С этого началось, — пришлось признаваться.

Теперь о С〈ереже〉. Необходимо его вытащить. Он и так еле тянет, — все санаторское спустил, худ, желт, мало спит, ест много, но не впрок, недавно на пирушке у соредактора «Своих Путей» (получили ли??) ел привезенные из Парижа сардинки — и обмирал. И тихо, кротко, безропотно — завидовал. Его кроткие глаза мне всегда нож в сердце. Хотя б ради сардинок — необходимо.

В «Чужой Стороне» напечатан его «Октябрь». В «Своих Путях» несколько статей — тесных, сжатых, хороших. Но времени писать, естественно, нет. Начата большая повесть.

Ольга Елисеевна, как Вы думаете, нельзя ли было бы получить на поездку что-нибудь из парижского фонда литераторов? За все годы здесь я однажды получила от них 250 фр〈анков〉. По-моему — могут еще. И не 250 фр〈анков〉, а 500 фр〈анков〉, — так давали Чирикову, я не хуже. М. б. — через Карбасниковых? А то ведь я не знаю, на что поеду. Иждивение не в счет: долги, жизнь, нужно оставить С〈ережу〉. По-моему — парижский

фонд литераторов. Добиться можно. За три года — первая просьба. (Те 250 в 1923 г. прислали без моей просьбы.) По-моему идея — а? Только *не прибедняйте меня слишком*, а то дадут 50 фр⟨анков⟩.

Алины именины давайте праздновать вместе с Адиными, когда приедем? 18 сент⟨ября⟩ — 1-го окт⟨ября⟩ — давайте передвинем на 1-ое ноября. А потом Рождество — елка — Муркина первая — хорошо? Ему уже будет 10 месяцев.

Опишите жилище: расположение комнат, этаж, соседство. Тиха ли улица? Близка ли даль (застава)? Когда Олина свадьба? Неужели без нас? Мур был бы мальчиком с иконой.

От Володи чудесная тетрадь, которой мы все чураемся, п. ч. слишком хороша. Але, ради Бога, ничего не присылайте, что есть — есть, чего нет — заведем. М. б. купим у той же А⟨нны⟩ И⟨льиничны⟩, у которой грандиозная распродажа. Она скоро едет, раньше нас, с заездом в Берлин.

Не забудьте прицениться к кроваткам и складным (раздвижным) стульчикам. Это будет первая покупка.

Целую нежно, привет всем.

МЦ.

P. S. Будете писать — перечтите все мои вопросы.

⟨*Рукой С. Я. Эфрона:*⟩

Дорогая Ольга Елисеевна,

Исхожу доброй завистью (не злостной) к Марине и Але. Париж представляется мне источником всех чудодейственных бальзамов, к⟨оторые⟩ должны залечить все Маринины ⟨...⟩ обретенные в Чехии от верблюжьего быта и пр., и пр., и пр. Хотелось бы и самому очень. Но раньше весны вряд ли удастся.

О Вашей семье, даже о незнакомых членах ее, думаю, как о совсем родной. Кумовство наше прочное и нерушимое.

У Мура, кажется, прорезаются зубы, и он кричит так зычно, что заглушил бы и Шаляпина. Марина не спускает его с рук.

Сергей Яковлевич (тот)[2] изъявляет свое согласие на бракосочетание Ольги Викторовны с Вадимом Леонидовичем и посылает благословение благодетеля.

Целую Вас и Аденьку. Остальным сердечный привет.

Ваш С.Я.

Получили ли последний № журнала? Послал из санатории.

32

Вшеноры, 21-го сентября 1925 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Наш отъезд начинает осуществляться — о, чуть-чуть! В виде просьбы М⟨арк⟩ Л⟨ьвович⟩ немедленно представит ему[1] пру́каз* (еще помните?) и с дюжину фотографий. Мы с Алей снялись, посылаю. У Али губы негра, не собственные. Думаю, через месяц паспорт и виза будут. Теперь думайте Вы — тверд ли в Вас — наш приезд? Ведь Мур нет-нет — да попоет, иногда и басом. Кроме того — «зубки». Сейчас он, например, на полном зубном подозрении: хныкает, ночью просыпается и пр. Все это в тесном соседстве — мало увеселительно, иные совсем не выносят крика — как Вы? И в доме ведь не только Вы́, — что́, если Мур надоест? Труднейшая вещь — в гостях. (Пока пишу, Мур, гремя погремушкой, *воет* — долго — по ⟨*неразб*⟩ — настойчиво. Сквозь вой — всхныки.) У него моя манера — сдвигать брови, и морщина будет та же. Сидит. Ругается: скороговоркой, островитянски, интонациями. И почти всегда — мужчин. Будет — «феминист». ⟨...⟩ светлое, но ресницы темные, очень длинные. Сейчас он старше и четче карточки. В Париже снимем.

У нас осень, хорошие ветра, сбивающие сливы, темнеет рано (мы за горой), гора в полосах паршивого медведя, расчесанного и изгрызанного. Пора помидор — дикого винограда — первых печек — последних жар.

Кончила Брюсова, принялась за «Крысолова», иные дни удается только присесть, весь день в колесе, вечерами голова пуста (от переполненности мелочами), сижу, грызу перо. Мои утра, мои утра! То, чего я та́к — никогда — никому — не уступала! Первая свежесть мозга, омытость мысли. Ночью может случиться *лавина* вдохновения, но для труда — утро. Ночи — прополохну́т! — впустую.

Но есть в этой жизни уют — сиротства. Сироты — все: и С⟨ережа⟩, и Аля, и я, и Мур. Сиротство от внешней скудости, загнанности в нору, в норе — сбитости. Уют простых вещей при восхитительном неуюте непростых сущностей. Уеду — полюблю. Знаю. Уже сейчас люблю — из окна поезда. Самое сильное чувство во мне — тоска. Может быть иных у меня и нет.

---

* Удостоверение личности *(чешск.)*.

Теперь — что́ брать? Хлам — брать? Множество. Ехать навек или на́ три месяца? Есть, напр⟨имер⟩, огромный серый клетчатый шерстяной распорок с Веры Андреевой, — Аля в нем тонет. Может выйти хорошее платье. — Связываться? А летнее — подозрительного свойства — бросать? Всякие ситцевые линялости. Ход чувствований таков: как платье — зазорно, но могут выйти Але штаны. И не одни, а трое. И вечные. Но шить я не умею, следовательно будут лежать. А за это лежание — в багаже — платить. И везти в Париж — дрянь. В Париж, в котором… И неужели же ни я ни Аля не заслужили — раз в 100 лет! — новых — за́свежо — штанов?!

Пишу нарочно, чтобы Вы меня презирали, как презираю себя — я.

А коляску брать? У нас две: одна лежалая, волероссийская, рессорная, громоздкая, красивая, в которой пока еще спит, но из которой, явно, вырос. Другая — деревянная, сидячая, складна́я, тарахтящая, собственная, облезлая, но верная, — преданный урод — без рессор. Или бросить (передарить) обе? Не представляю себя переходящей с коляской хотя бы коровий брод в Париже? Верю в свои руки и ноги, коляска уже стороннее. И, вообще, *подробно*: каков квартал? Есть ли невдалеке (и в каком невдалеке?) сад — или пустырь — лысое место без людей, где гулять. Какой этаж? Рядом с «нашей» (наглость!) комнатой — кто будет жить? Через нас — будут ходить? Тогда не поедем, п. ч. у Мура (будущий музыкант, всерьез) трагически-чуткий слух и сон. От всего просыпается и всего пугается.

Большое поздравительное (и нравоучительное) послание *того С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩* к Дооде[2] в последнюю минуту затерялось. Отыщется — дошлем. Для доброго дела никогда не поздно. Никогда не поздно.

⟨*МЦ.*⟩

33

Вшеноры, 30-го сентября 1925 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Паспорт на днях будет. Дело за визой. Визу обещал достать М⟨арк⟩ Л⟨ьвович⟩. Виделась с ним 15-го, с тех пор ни слуху, ни духу. На какие деньги поеду — не знаю. Отъезд, ведь, не только билет, но уплата долгов, покупка и починка дорожных вещей, переноска, перевозка и пр. Сделайте все, чтобы фонд литераторов — дал. Председатель — Ходасевич[1]. Где он сейчас — не знаю. Но Вам адрес достать, думаю, будет нетрудно.

Отъезд решен. Вся совокупность явлений выживает. Повысили квартирную плату, на стенах проступила прошлогодняя сырость, рано темнеет, угля нет, п. ч. в ссоре с единственным его источником, — много чего!

Да *(между нами!)* содержание мне на три месяца сохраняют, но жить на него не придется, так как С⟨ережа⟩ не может жить на 400 студенческих кр⟨он⟩ в месяц. Ему нужна отдельная комната (д⟨окто⟩рская работа), нужно хорошо есть — разваливается — нет пальто. Много чего нужно и много чего нет. Я не могу, чтобы наш отъезд был для него ущербом, лучше совсем не ехать.

Вся надежда на вечер[2] и на текущий приработок, — сейчас зарабатываю мало, нет времени даже на переписку стихов. В свободные минуты — «Крысолов». Пишу предпоследнюю главу. Бедная «Воля России». Героизм поневоле или: «bonne mine au mauvais jeu»* (что — то же). Убеждена, что никто из редакторов его не читает, — «очередной Крысолов? В типографию!»

Да! Первая размолвка с А⟨нной⟩ И⟨льиничной⟩, кстати очень и очень ко мне остывшей. Недавно, по настойчивой просьбе С⟨ережи⟩, прошу ее извлечь мой паспорт из какого-то проваленного места в министерстве. (Ей легко, п. ч. ни с кем и ни с чем не считается, и для себя такие вещи делает постоянно.)

И ответ: «Нет, не могу. Придется ждать в двух канцеляриях. Невозможно». Через 10 мин⟨ут⟩ С⟨ережа⟩, просивший совсем другим тоном (*улещая*, как умеет *тот* С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩), добился. А мой тон — Вы знаете: в делах — деловой, вне лирики. Лирика — как предпосылка. (Молча:) «Зная, как Вы ко мне относитесь, *зная, что я — вообще* и что — для Вас, прошу Вас...» (Вслух:) «А⟨нна⟩ И⟨льинична⟩, у меня к Вам большая просьба: не могли бы Вы» и т. д. Впрочем, на этот раз, такой предпосылки не было; слишком знаю, что я для нее: если не раз-влечение, то от-влечение, м. б. просто — влечение. И только. Ради этого времени не теряют. — Хотите конец? Она просьбу («С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩») исполнила, а я ее не поблагодарила. *Не смогла.* Но не улыбайтесь, торжествующе: все это я знала с первой минуты, теперь — узнала. *Нелюбимую* Нину она всегда — житейски — предпочтет любимой (?) мне. Словом, я для нее — тот, кого в случае бури первым выкидывают из лодочки. Семья — одно, я — другое: второе, десятое, нечислящееся. — По-мужски. —

К Муру тоже остыла. (Была — страсть!) Боязнь привязанности? Чувство моего — здесь? — единовластия? Огорчение (смягчаю), что не позвали в крестные? Видимся редко, — раз в неделю, не чаще. Раньше, при встрече, она — *сияла*, сейчас на лице оживление — и только. (NB! *Оживляю* — даже мертвецов!) Мне не грустно,

* Хорошая мина при плохой игре *(фр.)*.

п. ч. я ее не любила, и не досадно, п. ч. не самолюбива. Нечто вроде удовлетворения большой кости в собачьей глотке: «Ага! подавился мною!» Иногда я думаю, что я бессердечна, до такой степени все мои любови и нелюбови вне всякого добра (мне) и зла. «Тянет», «не тянет» — всё. Обоснование животного — или чистого духа, могущего, за отсутствием платы, разрешить себе эту роскошь тяготения. Вообще, у меня душа играет роль тела: диктатор.

Читайте или не читайте Вадиму, Вам виднее. Только — остерегаю — чтобы никогда — ей — ни звука. Все равно дойдет (до меня). Думаю, учитывая все сказанное, — она меня больше любит.

⟨*Приписка на обороте:*⟩

Везти ли примус? Есть ли в Париже керосин? По утрам разогреваю Мурке еду — лучше всякой спиртовки. (А газ взрывается.) Не смейтесь и ответьте.

Целую Вас, Адю, Ооолу[3] и Наташу. Вадиме (*е*) и Володе привет.

P. S. Будут ли они учить Алю? Необходимо, чтобы она сдала экз⟨амены⟩ в IV кл⟨асс⟩.

МЦ.

Того же 1-го окт⟨ября⟩ 1925 г., четверг

Письмо второе

Только что вложила письмо в конверт — как Ваше (Ваши). Самое сомнительное — коляска. Очень велика и тяжела: дормёз*. Но Мур сам очень велик и тяжел, носить на руках — руки отвалятся. Не справитесь ли Вы, дорогая Ольга Елисеевна, и о цене сидячей коляски, легонькой, для гулянья, — но с пологом, т. е. верхом, от дождя? М. б. — не так дорого, — вместо кресла. Минус кресло и минус провоз — вот и коляска. С нашей трудно управляться: на Александра III в детстве. А спать он в ней все равно на днях перестанет: уже упирается ногами. Купим все на следующий же день по приезде. Кроватку хочу хорошую, надолго. А с нашим дормёзом — не то, что в 15 мин⟨ут⟩ до парка — и в час не доползешь.

Умилена двойным распоряжением касательно тряпок. Одарю кого-нибудь. Градации нищеты ведь неисчислимы! Кому-нибудь (хотела бы посмотреть!) наши отребья будут пурпуром и горностаем. (Мур проснулся и скромно, но громко стучит копытами об коляску — знак, чтоб брали!)

---

* *От фр.:* dormeuse — дорожная карета.

Да! Забыла рассказать. В квартире, покидаемой А⟨нной⟩ И⟨льиничной⟩ — чудесной, на вилле, в каштановом саду, над ручьем — м. б. будет жить В⟨иктор⟩ М⟨ихайлович⟩[4]. Сообщила с неопределенным смехом. В иные минуты передо мной вскрыты все черепные крышки и грудные клетки, обнажая мозги и сердца. А⟨нна⟩ И⟨льинична⟩: большая тропическая кошка. С⟨ережа⟩ с ней управляется отлично. Я (остывает) — разучиваюсь.

Только что получила письмо от М⟨арка⟩ Л⟨ьвовича⟩, советует в фонд литераторов обращаться через Зензинова. Пишу ему нынче же. С нескольких сторон — хорошо. Действуйте — через кого Вам легче. На днях увижусь с М⟨арком⟩ Л⟨ьвовичем⟩ и после разговора напишу. У нас, увы, 600 кр⟨он⟩ долгов. (У Маковского, кажется, было около 60.000 крон!) Просить нужно не меньше 500 франков.

Читаю сейчас Башкирцевой — Cahier intime*. Суета и тщета. Жаль ее чудесной головы. Ничтожные молодые люди и замечательные чувства по поводу них. Неправы — издавшие и неправы — так назвавшие. «Intimité»** Башкирцевой — ее голова, а не маскарадные авантюры. Хотелось бы написать о ней. Прозаик ревнует меня к поэту и обратно. — Раздвоиться. —

Кончаю. Мои письма сухи, не мои. Торопясь, нельзя чувствовать, хотя чувствование — молниеносно. Иная быстрота.

От чтения Башкирцевой — две досады: за нее, знавшую только эту жизнь — и за себя, никогда ее не знавшую. (Сужение круга выбора.)

Целую всех. Спасибо Вадиму за клочки письма. Буду постепенно сообщать Вам все новости. Аде спасибо за план.

МЦ.

P. S. Как понравилась моя фотография?

Клетчатое платье — подарок С⟨ережи⟩ на редакционные деньги.

Об «Октябре» — благожелательный отзыв Айхенвальда[5] в «Руле».

---

* Дневник *(фр.)* (дословно: личная тетрадь).

** Здесь: личность *(фр.)*.

34

Вшеноры, 18-го Октября 1925 г., чешский праздник посвящения *гуся.*

Дорогая Ольга Елисеевна,

Поздравьте крестника с двумя зубами сразу (в один день) и стребуйте с крестного *на зубок*. Быть Ремизовым (и Серафимой Павловной!)[1] обязывает. Шутка—шуткой, а по-моему, стребовать надо. Что́—Вам видней. (Обезьянья грамота—само собой, ею *не* отыграется!)

Муру привили оспу, длится 12 дней, сегодня, слава Богу, восьмой. Думаем выехать 27-го—28-го, главное—деньги. Зензинов очень милым письмом обнадеживает. Квартиры у нас до 1-го. О дне выезда известю ⟨sic!⟩ телеграммой, а Вы, тотчас же по получении письма, ответьте: на каком вокзале слезать, т. е.—будете встречать. Поезд из Праги отходит в 10 с чем-то утра. Как поедем—один Бог знает.

Тотчас же после «Крысолова» (осталась одна глава) принимаюсь за статью о Кесселе. До того *мой* мир, что буду писать о нем, как о себе: с той же непреложностью и убедительностью. Не читая ни одного отзыва—совершенно свободна. Да—прочти всё—мой упор все равно другой. Убеждена, что напишу о нем абсолютно. Только вчера поставила вместе с ним последнюю точку «Les Rois aveugles»*. Знаю, что ему нужно писать дальше. Передайте, если встретится, мой привет и радость встречи с ним. Думаю, он вне нищеты мужского и авторского тщеславия.

Паспорт и виза есть. Как в Париже с молоком? Муру ежедневно необходим литр. Вернувшиеся из экскурсии говорят, что с молоком сложно,—только сливки. Очень попрошу Вас, дорогая Ольга Елисеевна, ко дню нашего приезда (будете знать) по возможности молочное дело наладить. Ничего, кроме молочного, есть не хочет,—сопротивляется.

Все новости—при встрече. Теперь уже мало осталось—хотя и самой не верится. Шлю привет всем.

МЦ.

— Мур приедет девятимесячным.—(1-го ноября.)

---

* «Слепые короли» *(фр.)*.

35

26-го Окт⟨ября⟩ 1925 г., понедельник

Дорогая Ольга Елисеевна,

М. б. займу деньги под иждивение. На высылке парижских настаивайте, иначе, узнав, что без них обошлась, совсем не дадут. Пусть высылают (если уже не выслали на мое) на Сережино имя: — иначе он умрет с голоду. (Уезжая, забираем все — вплоть до ноябрьского иждивения.) Зензинову же объясните, что я ввиду отъезда часто бываю в городе, и почтальон может не застать. О сроке моего выезда лучше не говорите, иначе скажут: поздно — и вовсе не пришлют.

Выезжаем, с Божьей помощью, 31-го, в субботу, в 10 ч. 45 м⟨инут⟩ утра.

У Мура очередные зубы и оспа, — м. б. за эти дни обойдется. Жар. Очень похудел. Ждать с отъездом нельзя, — 1-го уже въезжают в нашу квартиру, и А⟨нна⟩ И⟨льинична⟩ с Саввой уезжают 31-го. С ними — как в раю (условном).

Муру, *очень* прошу, приготовьте: литр молока, сливочн⟨ого⟩ масла и обыкновенной муки белой. Как приеду — так жарить.

Колясочку Людмилы[1] *непременно* берите, пригодится. А спать одну ночь он может в нашей маленькой. Большую не берем — провоз — цена кроватки.

Итак — дай Бог — увидимся в воскресение. (О приходе поезда, пожалуйста, узнайте.)

Целую всех.

МЦ.

36

— Аденька, перешлите!

St. Gilles, 9-го июня 1926 г.

Дорогая Ольга Елисеевна,

Сердечное спасибо за чудные подарки. С рыбкой Мур купается, с зайцем гуляет, а костюмчик, увы, лежит, — ветра и дожди. Длина и ширина как раз. Морды котов грозны́ и сини́, как туча.

Приехал С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩, живет вторую неделю, немножко отошел, — в первые дни непрерывно ел и спал. Подарили ему с Алей chaiselongue*, лежит в саду. Жизнь простая и без

* Шезлонг *(фр.)*.

событий, так лучше. Да на иную я и неспособна. Действующие лица: колодец, молочница, ветер. Главное — ветер.

Понемножку съезжаются дачники, иные уже купаются, — глядеть холодно. Кабинка сто́ит 300 фр⟨анков⟩, обойдемся без. Сюда собираются Бальмонты. Русских здесь, оказывается, бывает много.

О людях:

13-го М. С. Б⟨улгако⟩ва выходит замуж.

26-го у Кати Р⟨ейтлин⟩гер родилась дочь.

Нужно бы третью новость — нету!

У Мура загон. Только вчера прибыл. Поправился. Стоит не держась и явно ожидает похвалы. Ходит, но не твердо, — шагов двадцать (очень спешных!) и садится. Многое понимает, но говорит мало, — занят ходьбой. Я не спешу, и он не спешит.

Аля завалена кин⟨ематографи⟩ческими журналами, другое читает менее охотно. Жизнь лучше, чем во Вшенорах, если не легче, то как-то краше. Если бы не погода!!!

Оканчиваю две небольших поэмы[1], времени писать мало, день летит. Читаю по ночам Гёте, моего вечного спутника.

Сейчас иду к С⟨ереже⟩, он будет читать вслух, а мы с Алей шить. — Где Вы? Пишу в пространство, т. е. на Rue Rouvet. Что Пиренеи? Каковы планы и сроки?

Целую нежно.

МЦ.

37

⟨11-го декабря 1926 г.⟩[1]

Милая Ольга Елисеевна,

Оказалось, что в воскресенье Аля идет на Лелькин[2] спектакль, поэтому у М⟨аргариты⟩ Н⟨иколаевны⟩ были в четверг и завтра не поедем. Думаю быть у Вас завтра (в воскресенье) с Муром около 3 ч., если только погода окончательно не разлезется. Пока до свиданья, привет всем.

МЦ.

Суббота.

Колбасина-Чернова Ольга Елисеевна (1886 — 1964) — писательница, журналистка, жена одного из основателей партии эсеров, министра земледелия Временного правительства, председателя Учредительного

собрания Виктора Михайловича Чернова (1873—1952). Фамилию и отчество В. М. Чернова носили сестры-близнецы Ольга Викторовна (в замужестве Андреева, 1903—1979) и Наталья Викторовна (в замужестве Резникова, 1903—1992), дочери Колбасиной-Черновой от первого брака с художником М. С. Федоровым.

О. Е. Колбасина-Чернова познакомилась и подружилась с Цветаевой в Чехии, где в 1923—1924 гг. была ее соседкой по дому в Праге, в Смихове (подробно см. воспоминания О. Е. Колбасиной-Черновой — *Воспоминания о Цветаевой*. С. 292—298). С осени 1924 г. жила в Париже.

Узнав о намерении Цветаевой переехать в Париж, Ольга Елисеевна приняла близкое участие в связанных с этим приготовлениях. Она раздобыла ей денег на дорогу, предложила Марине Ивановне пожить какое-то время у нее, на улице Руве, 8.

Приехавшим во французскую столицу 1 ноября 1925 г. Цветаевой с девятимесячным Георгием (Муром) и тринадцатилетней Ариадной Черновы отдали самую большую из трех комнат их квартиры в новом доме. Цветаева прожила здесь до конца апреля 1926 г., то есть до ее отъезда с детьми на отдых в Вандею. С переездом всех в Париж повод для переписки отпал. К тому же вскоре в отношениях Цветаевой с О. Е. Черновой наступило некоторое охлаждение.

Впервые — письма 1—9, 11—15, 17—31, 33—35 в *НП* (в некоторых письмах перепутаны отдельные отрывки); письма 10, 32, 36, 37 — «Wiener Slavistisches Jahrbuch», Wien, 1976, Bd. 22. С. 109—115 (публикация Хорста Лампля). Последние печатаются по текстам первых публикаций, остальные (с использованием комментариев в *НП*) — по копиям писем, предоставленным В. Б. Сосинским. По этим копиям впервые публикуется письмо 16. Вторая половина письма 22 — по оригиналу, хранящемуся в частном собрании.

1

[1] См. комментарий 4 к письму 1 к А. В. Черновой.

[2] *Жорес* Жан (1859—1914) — руководитель Французской социалистической партии, основатель газеты «Юманите». Стал жертвой политического убийства накануне первой мировой войны.

[3] *Шершть* — в шутку произносимое в семье Цветаевой слово «шерсть». В письме к А. В. Черновой маленькая Аля Эфрон писала: «Знаете, Ади, нашлась такая вещь, что излечила маму от боязни автомобилей: шершть. Вот в чем дело: какой-то добрый мокропсинский ангел научил маму вязать, причем не удовлетворилась уже одной голубой ею связанной шалью, а сейчас без передышки принялась за другую, цвета какао на воде. 〈...〉 Так вот, если мама стоит посредине Vàclavskeho nàmesti или Nàrodni třidy и видит шершть, то она, не взирая ни на какие автомобили, мчится напролом и ищет, какая будет будущая шаль: будущая шаль будет цвета какао... на молоке» (*НП*. С. 208). В дальнейших письмах Цветаева употребляет слово «шершть» неизменно в такой форме.

[4] *Вацлавское наместье* — центральный проспект Праги.

[5] В. М. Чернов. К этому времени О. Е. Колбасина-Чернова и В. М. Чернов уже разошлись.

[6] *Карбасниковы* — Николай Николаевич (1885—1983) — сын известного дореволюционного издателя, и его жена Анна Самойловна (1886—1986).

[7] Речь идет о предстоящем отъезде Карбасниковых в Париж.

[8] См. комментарий 4 к письму 5 к А. В. Черновой.

[9] С. В. Завадский. См. письмо 1 к В. Ф. Булгакову и комментарий 2 к нему (т. 7).

[10] Дети Карбасниковых: *Игорь* (8 лет), *Наталья* (11 лет), *Софья* (13 лет).

[11] В разделе «Литературные заметки» журнала «Звено» (Париж. 1924. № 88. 6 октября) была помещена отрицательная рецензия Г. Адамовича на статью Цветаевой «Кедр. Апология» о книге С. М. Волконского «Родина» (1923) и подборку ее стихов, опубликованных в пражском сборнике «Записки наблюдателя» в 1924 г.

[12] Роман «Последний день». См. также письмо 15.

[13] *Гапон* Георгий Аполлонович (1870—1906) — священник, агент охранки. Повешен рабочими дружинниками.

[14] Ср. стихотворение М. Цветаевой «Тебе — через сто лет» (1919). См. т. 1.

2

[1] Название площади в старом городе Праги.

[2] По «Ковчегу». См. письма к В. Ф. Булгакову (т. 7).

[3] Заключительные строки стихотворения М. Цветаевой «Та ж молодость, и те же дыры...» (1920). См. т. 1.

[4] А. З. Туржанская. См. письмо 11 к П. П. Сувчинскому.

[5] См. комментарий 2 к письму 5 к А. В. Черновой.

[6] Аде 25 декабря должно было исполниться 16 лет, а Але в сентябре пошел 13-й год. Поздравляя подругу с днем рождения, Аля писала 29 декабря 1924 г.: «Вы уже совсем большая, мне как-то странно, что Вам 16 лет. По церковным законам уже можно выходить замуж. Представляю себе Вас через год, когда Вам будет 17 лет тагда мина забудись, загардисься...»* (Архив составителя).

[7] Имеется в виду, вероятнее всего, *Сермус* (урожденная Педдер) Ида Самойловна, приятельница О. Е. Колбасиной-Черновой, ставшая затем третьей женой В. М. Чернова. После революции поселилась в семье Черновых, где с первых дней вызывала неприязнь у Ольги и Натальи Черновых (Новый журнал. 1975. № 121. С. 145, 156).

[8] Двухтомный труд немецкого ученого Эрвина *Родэ* (1845—1898) «Психея: культ души и вера в бессмертие у греков».

---

* См. комментарий 5 к письму 1 к А. В. Черновой.

[9] Название книги на греческом языке.

[10] Дзен *Петр Адамович* — друг О. Е. Колбасиной-Черновой. Болел туберкулезом; уехал сначала во Францию, а затем в Швейцарию, где умер в санатории (*НП.* С. 210).

[11] *Кессель* Жозеф (1898—1979) — французский писатель русско-еврейского происхождения, журналист. С 1962 г. член Французской академии. Ж. Кессель относил Цветаеву в ряд «наиболее заметных русских поэтов» (Звено. 1925. № 140. С. 2).

[12] *Августейшая* («священное царское Величество») — императрица Мария Александровна (1824—1880), супруга Александра II.

[13] Поэма «Переулочки», напечатанная в сборнике «Ремесло», имела посвящение А. А. Чаброву-Подгаецкому (см. т. 3).

3

[1] Речь идет о пересылке О. Е. Колбасиной-Черновой в Париж ее чешского «иждивения».

[2] О М. Л. Заблоцком см. комментарий 2 к письму 1 к Е. А. Ляцкому.

[3] Цветаева предполагала назвать будущего сына Борисом в честь Б. Пастернака.

[4] См. комментарий 11 к письму 3 к А. В. Оболенскому.

[5] Воспоминания С. В. Завадского «На великом изломе» были напечатаны в «Архиве Русской революции» (1922, № 8; 1923, № 11), издаваемом И. В. Гессеном в Берлине (1921—1937).

[6] Имеется в виду рассказ О. Е. Колбасиной-Черновой, предназначавшийся для второго сборника «Ковчега», который так и не вышел (см. письма к В. Ф. Булгакову в т. 7).

[7] См. комментарий 5 к письму 1 к А. В. Черновой.

[8] Племя североамериканских индейцев.

[9] *«Каноник Шмидт»* — сборник сказок немецкого католического писателя Йохана Христофа фон Шмидта (1768—1854), переведенный на французский язык.

[10] *«Своими путями».* Литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал. Под ред. А. К. Рудина, А. И. Федорова и С. Я. Эфрона (с № 3 — вместо А. И. Федорова — Н. А. Антипов и А. А. Воеводин; с № 10 — П. М. Вжесинский, но без А. К. Рудина). Прага. 1924—1926 (вышло 13 номеров). Подробнее см.: Саакянц А. О журнале «Своими путями» и участии в нем Сергея Эфрона. (Главы из неопубликованной книги «Марина Цветаева») — *Рус. мысль* (1991. 31 мая; 7 июня).

4

[1] Л. Е. Чирикова, по мужу — Шнитникова.

[2] Здесь, очевидно, имеется в виду стихотворение Ш. Бодлера «Альбатрос» (1858).

[3] *Зензинов* Владимир Михайлович (1880—1953)—один из лидеров эсеров. Соредактор газеты «Воля России» (1920—1921 гг.), активно сотрудничал в «Днях» и «Современных записках». *Геллер*—мелкая монета, сотая часть кроны.

[4] См. комментарий 10 к предыдущему письму.

[5] Союз русских писателей и журналистов создан в Праге в 1922 г. С. Я. Эфрон был принят в Союз на его годичном собрании 21 ноября 1924 г. Дважды (в 1924 и 1925 гг.) избирался в правление Союза.

[6] Ср. с заключительными строками письма к П. П. Сувчинскому и Л. П. Карсавину от 9 марта 1927 г. («Евреев я люблю больше русских...») в т. 7.

[7] В. Ф. Булгаков 21 ноября 1924 г. сменил С. В. Завадского на посту председателя Союза русских писателей и журналистов.

[8] А. З. Туржанская.

[9] *Булгаков* Сергей Николаевич (о. Сергий Булгаков. 1871—1944)—философ, богослов, публицист, литератор. Отец М. С. Булгаковой. В декабре 1922 г. выслан за границу. В 1923—1925 гг. читал лекции на Русском юридическом факультете в Праге. В 1925 г. переехал в Париж в связи с основанием там Богословского Института.

[10] Неточная цитата из «Песни опьянения» Ф. Ницше («Так говорил Заратустра», ч. 4). У Ницше: «Мир—глубина,//Глубь эта дню едва видна» (пер. Ю. М. Антоновского).

[11] *Лапшин* Иван Иванович (1870—1952)—философ, историк литературы и музыки. В 1922 г. был выслан из России. Поселился в Праге.

[12] См. комментарий 2 к письму 2 к А. В. Черновой.

[13] Далее следует переписанное Цветаевой ее стихотворение «Попытка ревности» (19 ноября 1924 г.). См. т. 2.

5

[1] *Белобородова* Александра Владимировна—секретарь Е. А. Ляцкого по издательству «Пламя».

[2] По-видимому, имеется в виду цена одной стихотворной строки.

[3] М. Н. Лебедева.

[4] *...студия*—см. комментарий 8 к письму 8. «Метель» Цветаевой поставлена не была.

[5] *«Нибелунги»*—художественный фильм (1924) немецкого режиссера Фрица Ланга (1890—1976). В роли Зигфрида снялся П. Рихтер (1896—1961).

[6] *Исцеленновы**—Н. И. Исцеленнов (см. комментарий 3 к письму 5 к А. В. Черновой) и его жена М. А. Исцеленнова—*Лагорио* Мария Александровна (1893—1979), художница, ученица И. Я. Билибина и Е. Н. Лансере.

[7] По-видимому, это марка папиросных гильз, которые Цветаева набивала табаком.

[8] Правильно: *Каллиников* Иосиф Федорович (1890—1934)—прозаик, поэт, переводчик. Переводил чешские, моравские и словацкие

* М. И. Цветаева писала фамилию с одним «н».

сказки, которые вошли в сборник «Святоянские огни». После 1918 г. в эмиграции. Работал корректором в Пражской типографии.

6

[1] А. А. Тесковой. См. письмо 2 к ней.

7

[1] Из последней строфы стихотворения И. Северянина «Это все для ребенка...» (1911): «...Вы всегда под охраной. Вы всегда под надзором. Вы всегда под опекой.//Это все для ребенка... Это все для ребенка... Это все для ребенка...»

[2] Квартира Черновых на улице Руве находилась неподалеку от городских скотобоен Ла Виллетт.

[3] *Минахорьян* Вахан — бухгалтер журнала «Воля России». По словам М. Л. Слонима, «замечательный человек» и «наш общий друг» (*НП*. С. 217).

[4] Лицо неустановленное.

[5] Дочь В. И. и М. Н. Лебедевых.

[6] См. и ср. комментарий 2 к письму 101 к А. А. Тесковой.

[7] *Пьерро* — сын Яковлевых (*НП*. С. 217).

[8] См. письмо 3 к А. В. Черновой.

8

[1] А. В. Оболенский. См. письма к нему.

[2] Богатство лидийского царя Креза вошло в поговорку.

[3] См. комментарий 2 к письму 24 к А. А. Тесковой.

[4] Возможно, имеется в виду еще одна пьеса А. М. Ремизова — «Действо о Георгии Храбром».

[5] *...в ...ночь (Сильвестрову)* — то есть с 1-го на 2-е января (день Святого Сильвестра). *...«все позволено»* — из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

[6] См. комментарий 8 к письму 2.

[7] *«Как живется Вам...»* — начальная строка стихотворения М. Цветаевой «Попытка ревности». См. т. 2. *«Гипсовая труха».* — М. Л. Слоним писал по этому поводу, что Цветаева «...помнила, как я однажды ответил ей: „Одна голая душа! Даже страшно“. Она этого не могла мне простить, а еще пуще ее обижало, что я не испытывал к ней ни страсти, ни безумной любви и вместо них мог предложить лишь преданность и привязанность, как товарищ и родной ей человек. ⟨...⟩ А я знал, что наши жизненные пути не совпадают, только порою скрещиваются и что у нас обоих совершенно неодинаковые судьбы. Отсюда ее ошибочное мнение, будто я ее оттолкнул, более того, променял на ничтожных

женщин, предпочел „труху гипсовую каррарскому мрамору“...» (*Воспоминания о Цветаевой*. С. 324).

[8] Труппа, созданная группой актеров Московского Художественного театра, которые отказались возвращаться в Советскую Россию после зарубежного турне.

[9] Лавочник Балоун (так правильно) держал лавку на площади в Горних Мокропсах (*НП*. С. 216).

[10] *Ася* — Александра Владимировна Оболенская (1897 — 1974), приняла в 1937 г. монашество под именем Бландины.

[11] *Лейкин* Николай Александрович (1841 — 1906) — писатель-сатирик, журналист. Его роман «Наши за границей: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно» (1890) выдержал более 20 изданий.

10

[1] Статья-рецензия Саши Черного на книгу А. Ремизова «Кукха» (Берлин, 1923) была опубликована в «Русской газете» (Париж. 1924. 6 ноября). В своем эссе «Поэт о критике» Цветаева назвала эту статью «непристойной».

[2] Речь идет о дневниковых записях, опубликованных под заголовком «Вольный проезд» в № 21 журнала «Современные записки» за 1924 (см. т. 4).

[3] Стихи 1921 — 1922 гг. (см. т. 2).

[4] Издание сборника пьес в издательстве «Пламя» осуществлено не было.

[5] См. комментарий 6 к письму 5, а также комментарий 3 к письму 5 к А. В. Черновой.

11

[1] *Мельгунов* Сергей Петрович (1873 — 1956) — общественный деятель и историк. С 1921 г. за границей. Соредактор журнала «На чужой стороне».

[2] «Мои службы» все-таки были позднее напечатаны в журнале «Современные записки» (1925, № 23).

[3] Ф. А. Степун одно время фактически был редактором литературного отдела «Современных записок», и рукописи обыкновенно посылались ему на отзыв в Германию, где он жил.

[4] *Туринцев* Александр Александрович (1896 — 1984) — поэт, критик, участник евразийских изданий. Позднее — протоиерей, настоятель Патриаршего Трехсвятительского Подворья в Париже.

Недзельский Евгений Леопольдович (1894 — 1961) — писатель, переводчик, критик. Сотрудничал в журналах «Воля России» и «Своими путями».

25 Зак 30

Рафальский Сергей Милиевич (1896—1981)—писатель, журналист. В 1922 г. эмигрировал в Прагу, где окончил юридический факультет. С 1929 г. жил в Париже.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1844—1936)—старейший писатель русского зарубежья. Жил в Праге.

Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881—1925)—писатель-сатирик, театральный критик. В эмиграции с 1920 г. Жил в Праге (с 1922 г.).

Долинский Семен Григорьевич—прозаик. Публиковался в журналах «Воля России» и «Своими путями».

Кожевников Петр Алексеевич (1871—1933)—беллетрист, литературный критик. За границей—с 1914 г., в Праге—с 1928. Автор книги «Пражские рассказы» (Прага, 1932).

Нечитайлов Василий Николаевич—очеркист, поэт, переводчик с болгарского.

Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933)—историк, публицист, политический деятель. В 1922 г. выслан из России. Читал курс русской истории в Карловом университете.

Савинов Сергей Яковлевич (1897—?)—поэт-переводчик.

Из перечисленных Цветаевой авторов в первом выпуске «Ковчега» были напечатаны: С. Маковский, М. Цветаева, Е. Чириков, С. Эфрон, Д. Крачковский, А. Аверченко, В. Булгаков и С. Савинов.

[5] В начале января в Праге торжественно праздновалось 80-летие В. И. Немировича-Данченко.

[6] Под таким названием Цветаева собиралась издать сборник своих пьес 1918—1919 гг. Издание это не осуществилось. В письме к Г. П. Струве М. Л. Слоним отрицал, что он когда-либо давал такое обещание Цветаевой (*НП*. С. 219).

[7] Из стихотворения М. Цветаевой «Сивилла—младенцу» (1923). См. т. 2.

[8] С. Н. Булгаков.

[9] М. С. Булгакова.

[10] Цитата из первой части «О монашеском житии» «Часослова» Рильке.

[11] Литературно-художественный журнал «Русский современник» (Ленинград—Москва) издавался при ближайшем участии М. Горького, Евг. Замятина, А. Н. Тихонова, К. Чуковского и Абр. Эфроса в 1924 г. Стихи Цветаевой «Занавес» и «Сахара» были опубликованы в 3-й книге журнала. См. т. 2.

[12] В конце письма Ариадны Эфрон, датированного тем же числом (8 января) и адресованного А. В. Черновой, рукой С. Я. Эфрона сделана приписка для О. Е. Колбасиной-Черновой, в которой он сообщает, что «удалось и на январь месяц получить Ваши деньги (400 кр〈он〉)...» (Архив составителя).

12

[1] См. письмо 7.

[2] См. письмо 3 к А. А. Тесковой и комментарий к нему.

[3] Родзевич позже говорил в частной беседе: «Моя женитьба—это оппортунизм, мне нужно было устроиться в Париже. У меня не было

любви к М. Б⟨улгаковой⟩, но женитьба обеспечивала быт» (*Лосская В.* С. 92). См. также письмо 9 к Черновой.

[4] *Беранек* — гостиница в Праге. В ней часто жили русские.

[5] А. И. Андреева.

[6] Речь идет о журнале «Своими путями», в № 3—4 которого (январь—февраль 1925) была опубликована статья С. Я. Эфрона «Церковные люди и современность».

[7] См. комментарий 1 к письму 4 к А. В. Черновой.

[8] См. «Поэму Горы» (т. 3).

14

[1] *Катерина Ивановна* Мармеладова — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Мармеладовы снимали угол у Амалии Федоровны Липпевехзель.

[2] Цитата из стихотворения французского поэта-романтика Альфреда де Мюссе (1810—1857). Цветаева приписывала ее авторство разным лицам (см. также письмо 20).

[3] *Юлия* — сестра К. Н. Рейтлингер.

[4] Речь идет о книге Е. А. Ляцкого «Роман и жизнь: Развитие творческой личности И. А. Гончарова. Жизнь и быт» (Прага: Пламя, [1925]).

[5] Жена молодого доктора Г. И. Альтшуллера — Вера Александровна (урожденная Пелопидас; 1895—1943). (Сведения Е. И. Лубянниковой.)

[6] *Сетон-Томпсон* Эрнест (1860—1946) — канадский писатель, художник-анималист.

[7] О какой «второй» книге «Психея» идет речь, не установлено.

15

[1] *Папоушка* — Мельникова-Папоушек Надежда Филаретовна (1891—1968) — критик, жена Ярослава Папоушка, чиновника чехословацкого министерства иностранных дел, которому было поручено заниматься вопросами издания «Воли России», сотрудничала в этом журнале. В 1920 г. составила двухтомную «Антологию русской поэзии».

[2] Персонаж «Мертвых душ» Н. В. Гоголя, слуга Чичикова, имел «благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся» (Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М.: Худож. лит., 1978. С. 19).

[3] Речь идет о главе книги С. М. Волконского, посвященной Советской России, и ее сравнении с соответствующими главами из романа генерала Петра Николаевича *Краснова* (1869—1947) «От Двуглавого Орла к Красному знамени» (Берлин, 1921—1922).

16

[1] Приписка Цветаевой на обороте письма С. Я. Эфрона. Сергей Яковлевич писал:

«Дорогая Ольга Елисеевна,

Хорошо, что хорошо кончается. Начало же было престрашное. В 9 ч. (Воскресенье) я был разбужен Мариной, к⟨отор⟩ая очень спокойно мне объявила,

что «началось». Я вскочил как ошпаренный. М⟨арина⟩ же меня, не переставая, успокаивала, уверяя, что времени на все хватит. Из этого «всего» — ничего, кроме пеленок, приготовлено не было. М⟨арина⟩ сумела обмануть и врачей и всех окружающих своей уверенностью: что до события осталось не менее трех недель. И вот началось. Я ураганом понесся к Чириковым, Андреевым, Игумновой, взывая о помощи. От них к Альтшуллеру. К счастью, застал его дома. Вернувшись менее чем через час домой с Григ⟨орием⟩ Исаак⟨овичем⟩, я нашел Марину лежащей и ожидающей с минуты на минуту. Наши две комнаты были перевернуты вверх дном. Мылись полы, из комнаты М⟨арины⟩ выбрасывались лишние вещи, кипятились баки с водой, хозяйничали отважно две женщины. Меня послали за доктором в Дольние Мокропсы, и когда я через сорок минут вернулся, меня встретили возгласами:

— Мальчик! Мальчик!

Альтшул⟨лер⟩, спасибо ему, действовал прекрасно. М⟨арина⟩, как и следовало ожидать, вела себя героически, не испустила ни одного крика, ни одной жалобы. К моменту появления мальчика пронесся ураган со снегом, градом и дождем. Когда все было кончено — нѐбо стало ясным, без облачка» (Цит. по копии из архива составителя).

В тот же день, 2 февраля, письмо О. Е. Колбасиной-Черновой о рождении брата написала и Аля Эфрон:

«Вчера, 1 февраля, в воскресенье, в полдень родился мой брат Борис. 31 янв⟨аря⟩ мы с мамой возвращались пешком почти что из Карлова Тына, где мама лечила зубы. Когда мы вернулись, приехала Катя Рейтлингер, которая маму усиленно приглашала в Прагу, к себе, через неделю, но мама находила этот срок слишком ранним, и боялась стеснять Катю. Уговорились, что мама приедет 7-го.

На другое утро в нашей комнате оказалось дикое количество женщин, и меня вытурили. Когда я пришла, у меня уже был брат. Брат мой толстый (тьфу-тьфу не сглазить), совсем не красный, с большими темными глазами. Я удивляюсь, как из такого маленького может вырасти большой! Он счастливый, т. к. родился в воскресенье, в полдень, и всю жизнь будет понимать язык зверей и птиц, и находить клады. Ему подарила А. И. Андреева моисеевскую корзинку. Все за мамой ухаживают.

Пока целую всех крепко.

Ваша Аля.

Я очень рада, что у меня брат, а не сестра, брат как-то надежнее...» (Цит. по копии из архива составителя).

17

[1] А. Эфрон писала в тот же день О. Е. Колбасиной-Черновой: «Мой брат растет не по дням, а по часам, у него белокурые волосы (белокуро-русые). Он спит днем, а ночью плачет. Сегодня ему исполнилась 1 неделя. (Как это для него много!) ⟨...⟩ Мама уже может садиться и поворачиваться, и все ест. Мало-помалу наш дом начинает освобождаться от всех женщин, они появляются все реже и реже (кроме А. И. Андреевой, и еще одной)». (Архив составителя).

18

[1] А. С. Карбасникова и С. С. Морковина. Не исключено, что вторая «Самойловна», пражская — И. С. Сермус, см. комментарий 7 к письму 2.

[2] Н. А. Тэффи. См. письмо к ней в т. 7.

[3] Возможно, Ф. Б. Скворцов, сотрудничавший в журнале «Своими путями».

[4] То есть четыре редактора «Воли России» (В. И. Лебедев, М. Л. Слоним, Е. А. Сталинский, В. В. Сухомлин).

[5] *Ирина* — младшая дочь Цветаевой.

[6] См. письмо 4 к М. С. Цетлиной и комментарий 3 к нему.

[7] См. «Четверостишия» М. Цветаевой в т. 1.

[8] С. Л. Андреев. См. комментарий 9 к письму к А. И. Андреевой (т. 7).

[9] Остров, на который был сослан Наполеон.

[10] А. А. Тескова.

[11] См. комментарий 2 к письму 5 к А. А. Тесковой.

[12] Замок XIV в. в центре Праги.

[13] *Соломон* — израильский царь, сын и преемник царя Давида, отличался необыкновенной мудростью (библ.). *Перстень Соломона* — талисман мудрости и колдовства. *И это пройдет* — в Книге Премудрости Соломона (2, 4): «И жизнь наша пройдет».

19

[1] *Кондаков* Никодим Павлович (1844—1925) — выдающийся историк византийского и древнерусского искусства. С 1921 г. жил в Праге. В его семинаре по истории византийского, средневекового и восточнославянского искусства занимался С. Я. Эфрон.

20

[1] Описка Цветаевой, так как в феврале 1925 г. было 28 дней.

[2] Ср. стихотворение М. Цветаевой «Прокрасться...» («А может, лучшая победа...», 1923). См. т. 2.

[3] См. письмо 4 к А. В. Черновой и комментарий 3 к нему.

[4] См. там же, комментарий 5.

[5] *1 марта* 1881 г. в Санкт-Петербурге бомбой был убит народовольцами Александр II.

[6] См. комментарий 4 к письму 4 к Б. Л. Пастернаку.

[7] Дружеские прозвища своих знакомых Цветаева писала как с прописной, так и со строчной буквы.

[8] См. комментарий 2 к письму 14.

[9] Старший сын Иакова, отличавшийся невинностью и простосердечием (библ.).

[10] Цитата из стихотворения «Лжец» немецкого поэта Людвига Генриха Николаи (1737—1820).

[11] По-видимому, речь идет об актрисе еврейского театра-студии *«Габима»*, основанной в Москве в 1918 г., Шошане Авивит. Летом 1924 г.

актриса выступала в Париже. Бальмонт посвятил ей стихотворение «Шошана Авивит».

[12] Строка из стихотворения В. Брюсова «Женщине» (1899).

22

[1] *Савинков* Николай Викторович (1910—1984)—сын художника В. В. Савинкова, брата Бориса Савинкова. В эмиграции с 1922 г., в 1939 г. окончил медицинский факультет Карлова университета.

[2] *... его ...мать*—Савинкова (урожденная Рукина, во втором браке—Штомпфе) Вера Николаевна (?—1973)—юрист. Осенью 1923 г. и зимой 1923—1924 гг. она с сыном жила в Праге в одном с Цветаевой доме на улице Шведской.

[3] *Черни* Адальберт, немецкий педиатр. См. также письмо 25.

[4] См. комментарий 1 к письму 7 к А. В. Черновой.

[5] Первая строфа стихотворения М. Цветаевой «Глаза». См. т. 1.

[6] См. комментарий 1 к письму 34 к А. А. Тесковой.

[7] *Карницкая.*—См. комментарий 1 к письму 74 к А. А. Тесковой.

[8] М. К. Бальмонт.

[9] *Мансветов* Федор Северьянович—член Земгора в Праге, занимался книжными делами. Одно время при «Воле России» издавал нечто вроде книжной летописи (*НП.* С. 222).

[10] См. письмо 6 к А. В. Черновой и комментарии 9, 11 к нему.

[11] *Нестлэ* (Нестле)—швейцарская пищевая компания.

[12] *Чирикова* Валентина Георгиевна (урожденная Григорьева, 1875 — 1966), жена Е. Н. Чирикова. Пьеса Е. Н. Чирикова — «Колдунья» (1909).

[13] О ком идет речь, установить не удалось.

[14] А. К. Рудин. Переехав в Ригу, публиковался в журнале «Перезвоны» и газете «Сегодня». *С тургеневской фамилией*—по названию романа И. С. Тургенева «Рудин» (1856).

[15] Под общим заголовком «Из книги *Юношеские стихи»* в «Воле России» были напечатаны в 1925 г. стихи «Аля» («Юля!—Маленькая тень...») в № 2 и «Уж сколько их упало в эту бездну...») в № 3.

[16] Более точная датировка. В «После России» под этим стихотворением, заключительным в сборнике, стоит 7 мая 1925 г. Эта дата, скорее всего, может обозначать окончание работы над книгой.

[17] *Барсик*—одно из семейных прозвищ сына Цветаевой.

23

[1] *Россель* Леонид Владимирович (1896?—1943?)—помощник администратора журнала «Воля России» в Праге. После 1932 г. работал в русской секции Всеобщей конфедерации труда во Франции. Участник Сопротивления, погиб в концентрационном лагере (*НП.* С. 223).

[2] *Гинденбург* Пауль фон (1847—1934)—президент Германии (1925—1933).

[3] *Эррио* Эдуар (1872—1957)—лидер французской партии радикалов. Премьер-министр в 1924—1925, 1926, 1932 гг.

[4] См. комментарий 8 к письму 6 к А. В. Черновой.

[5] *Кочаровский* (Качоровский) Карл-Август Романович (1870—после 1940)—публицист, экономист. Сотрудничал в «Воле России»,—возглавлял в Народном университете в Праге Общество по изучению сельской России. В 1930-е годы жил в Югославии.

[6] Ср. письмо 74 к А. А. Тесковой.

[7] Заключительная строфа стихотворения Н. С. Гумилева «Канцона первая» (1919) из сборника «Огненный столп» (1921).

[8] Тридцатилетний П. Шелли утонул в заливе Специя (Италия).

[9] Первая глава поэмы М. Цветаевой «Крысолов» была напечатана в № 4 за 1925 г. Теме гаммельнского крысолова Г. Гейне посвятил стихотворение «Бродячие крысы».

[10] См. комментарий 8 к письму 10 к Р. Б. Гулю.

[11] *Брусилов* Алексей Алексеевич (1853—1926)—генерал. В первую мировую войну командовал армией, с 1916 г.—Юго-Западным фронтом. В 1917 г.—Верховный главнокомандующий. С 1920 г.—в Красной Армии. В эмиграции бывшие офицеры относились к нему, как к изменнику. В журнале «Воля России» (1924, № 18/19) были опубликованы материалы «А. А. Брусилов о себе и своих судьях».

24

[1] Л. М. Розенталь.

[2] *Скрябина* (в первом замужестве—Лазарюс, во втором—Мажен) Ариадна, по принятии иудаизма—Сарра Александровна (1905—1944)—русская поэтесса, дочь композитора А. Н. Скрябина. Третьим браком была за поэтом Довидом Кнутом (1900—1955). Активная участница Еврейской боевой организации. Убита в июле 1944 г. в Тулузе в стычке с коллаборационистами.

[3] Вадим Андреев.

[4] *Красавица Мирона.*—Вероятнее всего, Цветаева имеет в виду работу древнегреческого скульптора *Мирона* (V в. до н. э.) «Афина и Марсий», где страшному, пугающему Марсию противопоставлена Афина, полная величавой красоты и достоинства.

25

[1] Сына М. Цветаевой крестил о. Сергий Булгаков.

[2] См. комментарий 2 к письму 9 к Б. Л. Пастернаку.

[3] Жена Б. К. Зайцева.

[4] *Черни* (Czerny) Карл (1791—1857)—австрийский композитор, пианист, педагог. См. также письмо 22.

[5] См. комментарий 1 к письму 8 к А. А. Тесковой.

[6] Стихотворение, написанное 17 мая 1920 г., из цикла, обращенного к Н. Н. Вышеславцеву (см. т. 1). Имеются разночтения в последней строфе.

[7] См. комментарий 2 к письму 4 к А. В. Черновой.

[8] В. Л. Андреев.

26

[1] См. комментарий 3 к письму 7 к А. В. Черновой.

[2] А. И. Андреева.

[3] А. В. Белобородова.

[4] *Гуревич* Виссарион Яковлевич (1876—1940)—юрист, публицист, печатался в журнале «Воля России». В Русском народном университете в Праге читал лекции по социологии. Заведовал Архивом русских эмигрантов при Земгоре.

[5] Б. В. Савинков 7 мая 1925 г. якобы выбросился из окна тюрьмы, где содержался после тайного перехода границы и ареста советскими пограничниками.

[6] Н. Карницкая.

[7] Книга вышла под названием «После России» (1928).

[8] Речь идет о драматической трилогии «Гнев Афродиты». *1-я часть*—«Ариадна» (см. т. 3).

[9] То есть за рассказ, предназначавшийся для альманаха «Ковчег». См. письмо 11.

27

[1] День рождения А. С. Пушкина—6 июня.

[2] По поводу крестных Мура ср. письмо 44 к А. А. Тесковой.

[3] Возможно, об этом визите писала Н. Г. Коваленская в письме к Г. П. Струве от 21 октября 1971 г.: «Хорошо помню первое впечатление. Марина Ивановна—небольшого роста, ладной фигуры, привлекательной внешности, с большими глазами на очень загоревшем лице, серебряные браслеты—на так же загоревших руках, облик слегка цыганский. Она сидела за столом, раскинув по сторонам руки, предупреждая паденье маленького—месяцев 6—сына, очень живого, тоже обожженного солнцем. Марина Ивановна показалась мне тогда слегка застенчивой и очень самоуглубленной. Как всегда, при первой встрече, говорилось о разном, между прочим—об их намерении переехать из Праги в Париж. Помню точно его (С. Я. Эфрона.—*Ред.*) слова: „Надо уезжать отсюда. Здесь Марина может сделаться кухаркой“» (*НП*. С. 223).

[4] Р. Штейнер дважды выступал в Праге с докладами, на одном из них, 30 апреля 1923 г., присутствовала Цветаева (см. письмо 5 к Л. Е. Чириковой). Возможно, между Цветаевой и Штейнером после лекции состоялся разговор или они обменялись репликами, после чего Штейнер и произнес запомнившиеся Цветаевой слова прощания. См. также письмо 23 к А. А. Тесковой.

[5] А. И. Андреева.

[6] Имеется в виду намерение Вадима Андреева жениться на Ольге — дочери О. Е. Колбасиной-Черновой.

28

[1] См. письмо 10 к Б. Л. Пастернаку.

[2] *Ховин* Виктор Романович (1891 — после 1940) — поэт, критик, издатель. Выпустил в Париже в октябре 1925 г. один номер журнала «независимых» «Напролом» и в 1928 г. четыре номера журнала «Звонарь». Возможно, что неосуществившееся издание упоминаемого в письмах Цветаевой «Огонька» связано также с его именем.

29

[1] Речь идет о А. И. Андреевой.

[2] Имеется в виду роман Кесселя «Слепые короли». *Юсупов* Феликс Феликсович, князь (1887 — 1967), организовал убийство Распутина. *Распутин* (настоящая фамилия Новых) Григорий Ефимович (1872 — 1916) — фаворит царя Николая II и Александры Федоровны.

[3] В. Б. Сосинский. См. письма к нему в т. 7.

[4] *Шмелев* Иван Сергеевич (1873 — 1950) — один из виднейших писателей русского зарубежья. В эмиграции — с 1922 г. После переезда Цветаевой в Париж их отношения не сложились. Г. П. Струве объясняет это политической позицией Шмелева, «близостью его к «Возрождению» и, без сомнения, резко-отрицательным отношением к настроениям и деятельности С. Я. Эфрона в те годы» (*НП*. С. 227).

[5] То есть «Героя труда» (см. т. 4).

[6] Название рецензии А. В. Черновой на «Мо́лодца», опубликованной в журнале «Благонамеренный» (1926, № 1). См. также письмо 5 к Д. А. Шаховскому (т. 7).

[7] *Гуковский* Александр Исаевич (псевдоним — А. Серов; 1865 — 1925) — соредактор и один из основателей журнала «Современные записки». Покончил с собой 17 января 1925 г.

[8] Скорее всего, имеется в виду рецензия Г. Адамовича на поэму «Мо́лодец», напечатанная в рубрике «Литературные беседы» в «Звене» (1925. № 129. 20 июля). Вопреки предположениям Цветаевой, Адамович на этот раз дал в целом высокую оценку поэме.

Критик писал: «Нельзя сомневаться в исключительной даровитости Марины Цветаевой. 〈...〉 По редкому дару певучести, по щедрости этого дара ее можно сравнить с одним только Блоком. Конечно, шириной, размахом, диапазоном голоса Цветаева значительно превосходит Анну Ахматову. 〈...〉 «Мо́лодец» в целом – очаровательная вещь, очень свежая, истинно-поэтическая».

[9] Реплика Ниночки Бальмонт, дочери поэта; приводится в очерке Цветаевой «Бальмонту» (1925). См. т. 4.

30

[1] Цветаева, по недоразумению, думала, что Адя Чернова выходит замуж за Вадима Андреева. Вадим «сватался» к сестре Ади Ольге, что позднее разъяснилось. См. письмо 31.

[2] 14 июня 1925 г. К. Н. Рейтлингер вышла замуж за инженера Киста Александра Александровича (1901 – 1965).

31

[1] Датируется по содержанию.

[2] См. комментарий 5 к письму 1 к А. В. Черновой.

32

[1] Французский консул, знакомый М. Л. Слонима.

[2] Д. Г. Резников.

33

[1] Цветаева ошибается. Председателем Союза русских писателей и журналистов в Париже был в то время П. Н. Милюков.

[2] Вечер, на котором Цветаева читала свой очерк о В. Я. Брюсове «Герой труда», состоялся 22 октября 1925 г. в Чешско-русской Едноте.

[3] Ольга Чернова.

[4] В. М. Чернов.

[5] Главу «Октябрь» из книги С. Эфрона «Записки добровольца» («На чужой стороне». 1925. № 11) Ю. Айхенвальд назвал «яркой и живой» (Руль. 1925. 30 сентября).

34

[1] *Ремизова* (урожденная Довгелло) Серафима Павловна (1876 – 1943) – жена А. М. Ремизова, палеограф. С 1921 г. за границей. В школе восточных языков в Париже читала курс по славяно-русской палеографии.

35

[1] Л. Е. Чирикова.

36

[1] «С моря» и «Попытка комнаты». См. также письмо 9 к А. В. Черновой.

37

[1] Письмо датировано по почтовому штемпелю.
[2] *Лелик* — см. комментарий 2 к письму 5 к А. В. Черновой.

О. Е. КОЛБАСИНОЙ-ЧЕРНОВОЙ и А. В. ЧЕРНОВОЙ

Вшеноры, 30-го июня 1925 г.

Дорогие Ольга Елисеевна и Адя,

На этот раз Аде кофту (Адя, Вы не сразу поймете, в чем дело: скрещивается и завязывается сзади). Цвет, по-моему, Ваш.

Пишу второпях, утром под шум примуса и Муркин тончайший, нежнейший, протяжнейший визг (деликатное упоминание о том, что мокр).

Ваши последние письма получила (О⟨льги⟩ Е⟨лисеевны⟩ с письмом Вадима и вчера Адино — Аля). Отвечу как следует, но сейчас спешная оказия, не хочется пропускать, едут Булгаковы[1] и Исцеленновы (оказ⟨ывается⟩, два Н)[2].

Мур цветет: громко смеется, хорошеет, тяжелеет, очаровывает всех. Катя Р⟨ейтлингер⟩ неожиданно вышла замуж. У Веры Андреевой[3] скарлатина, увезена на 1 1/2 месяца в барак, в Прагу, с А⟨нной⟩ И⟨льиничной⟩ беседуем через забор. Скоро пришлю карточки Катиной свадьбы, мы с Алей были и снимали. Еще из новостей: монах: задолжав всем (в частности, Беранеку тысяч десять) и пропавший без вести который месяц, оказался «сидящим на земле» (т. е. вспахивающим ее) в Словакии. Увез безвозвратно Сережино непромокаемое пальто. Честнейший Р⟨у⟩дин до сих пор не выслал ни кроны долга, и С⟨ережа⟩, покрывая, до сих пор без редакторского жалования. В следующем письме напишу о «дорогом» (кажется — все-таки в кавычках!). Сталинский живет рядом, в Ржевницах, и навещает исключительно Пешехоновых (нашел!).

Починила себе все зубы (три золотых коронки) и задолжала врачу 800 кр⟨он⟩. (В лавки долг — больше тысячи.)

На этом кончаю и целую.

МЦ.

⟨*Приписка на полях:*⟩

У С⟨ережи⟩ флегмона: вся рука изрезана. На перевязи. Не сможет писать еще больше месяца.

Впервые — *НП.* Печатается по тексту первой публикации.

[1] С. Н. и Е. С. Булгаковы.

[2] В своих комментариях Г. П. Струве отметил, что Цветаева здесь ошиблась (*НП.* С. 225). На самом деле Цветаева была права. Правильно: Исцеленнов. (См. заметку «Памяти Н. И. Исцеленнова». — *Рус. мысль.* 1983. 3 марта.)

[3] См. комментарий 3 к письму 74 к А. А. Тесковой.

О. Е. КОЛБАСИНОЙ-ЧЕРНОВОЙ, Н. В. и А. В. ЧЕРНОВЫМ

Париж, 18-го апр⟨еля⟩ 1926 г., воскресение

Дорогая Ольга Елисеевна, Наташа, Адя,

Не примите за злую волю, — у меня просто нет времени, нет времени, нет времени. Никогда ни на что.

Скоро отъезд[1]. Завалена и удушена неубранными вещами — чемодан без ключей — тащиться к слесарю? а где он? — хочется курить — гильзы вышли — пропали Муркины штаны — и пр. и пр. А посуда! А обед! А рукописи!

С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ всецело поглощен типографией, у Мирского[2] заболела мать, кроме того — живет за городом. *Неорганизованный быт* — вот моя единственная трагедия. Не помогли бы и деньги. Или уж — без счета!

Точного дня отъезда не знаю, не позже 22-го, а то придется пережидать Пасху, а Мур и так зелен, как все дети Парижа. («C'est l'air de Paris qui fait ça*».)

Едем мы в St. Gilles-sur Vie. 2 комн⟨аты⟩ с кухней — 400 фр⟨анков⟩ в месяц. Газ. (Везде керосин и топка углем.) Место ровное

* В этом виноват парижский воздух *(фр.).*

и безлесое — не мое. Но лучшее для детей. Пляж и море — больше ничего. В глубь страны — огороды и лужайки, но какие-то неопределенные (пересеченная местность, выгодная для войны, но — когда войны нет?).

Сняла на полгода и уже внесла 1/2 суммы. Вторую — при выезде. Те же комнаты в сезон ходят по 700—800 фр〈анков〉. В общем, не дешево, но дешевле, чем все по соседству (была везде). Хозяевам вместе 150 лет — рыбак и рыбачка. Крохотный, но отдельный садик для Мура. Это даст мне возможность утром, готовя, писать. Дети будут пастись в саду. После обеда — на́ море.

Новости: М. С. Булгакова выходит замуж за моего знакомого Радзевича. Видела и того и другую. С обоими встретилась очень хорошо. Хочу помочь, пока здесь, чем могу. С свадьбой торопятся, оба из желания закрепить: она — его желание, он — свое. Ни у того ни у другого, конечно, ни carte d'identite*, ни метрики. Необходимо добыть.

У нас ярмарка, — последний привет La Villette**[3]. Сегодня Аля идет с Володей[4].

Спасибо за чудное мыло, фартучек, яичко, веточку. (Два листика последней, увы, ушли в суп!) Давно поблагодарила бы, если бы не заколдованный круг суток.

Мур вырос и похудел, явно малокровен, скорее нужно увозить.

Недавно заходил Невинный — проездом из Цюриха в Париж. Просил кланяться всем.

Пока до свидания. Напишите — как ваши планы? Очень хочу осенью жить в Hyères***[5], если не уеду в Чехию. В Париж не хочу или — возможно меньше.

---

* Удостоверение личности *(фр.)*.

** Ла Виллетт *(фр.)*.

*** Йер *(фр.)*.

Чернова Наталья Викторовна — см. комментарии к письмам к О. Е. Колбасиной-Черновой.

Впервые — Wiener Slavistisches Jahrbuch, Wien, 1976, Bd. 22. С. 113—114 (публикация Хорста Лампля). Печатается по тексту первой публикации.

[1] Имеется в виду отъезд с детьми на летний отдых в вандейскую деревушку Сен-Жиль-сюр-Ви.

[2] Д. П. Святополк-Мирский. См. комментарий 2 к письму 4 к П. П. Сувчинскому.

[3] Название парижского квартала, где жила Цветаева.

[4] В. Б. Сосинский. См. письма к нему в т. 7.

[5] Курортный городок на средиземноморском побережье Франции.

Е. А. ЛЯЦКОМУ

1

Вшеноры, 18-го декабря 1924 г.

Дорогой Евгений Александрович,

Огромное спасибо за Ольгу Елисеевну[1]. Сегодня Ваше письмо Заблоцкому будет доставлено, посмотрим, заартачится или нет[2].

Если деньги все-таки удастся получить, непременно сообщу Черновой, чьему участию она обязана этой удаче.

Сердечный привет и благодарность.

М. Цветаева

2

Вшеноры, 23-го февраля 1925 г.

Дорогой Евгений Александрович,

— Выручайте! —

17-го февраля, во вторник, умер Никодим Павлович Кондаков (смерть замечательная, при встрече расскажу)[1], а 18-го в среду С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ должен был держать у него экзамен[2]. Узнав, я, несмотря на горе по Кондакову, сразу учла трудность положения и посоветовала С⟨ереже⟩ обратиться к Вам. Он же, по свойственному ему донкихотству, стал горячо возражать против устройства своих личных дел в такую минуту («что значат мои экзамены рядом со смертью Кондакова» и т. п.).

Поэтому, беря на себя неблагодарную роль Санчо-Пансы[3], действую самостоятельно и сердечно прошу Вас подписать ему экзаменационный лист, который прилагаю. Остальной минимум (греческий, Нидерлэ[4]) сдан блестяще.

— Суждено Вам быть благодетелем моего семейства! —

Не удивляйтесь незаполненности экзам⟨енационного⟩ листа, — боюсь напутать с точным названием Вашего курса[5] и чешской орфографией.

Сердечный привет и — заранее — благодарность.

МЦ.

Адр⟨ес⟩: Všenory, č⟨islo⟩ 23 (p.p.Dobřichovice) u Prahi.

Ляцкий Евгений Александрович (1868—1942) — литературовед, профессор русского языка и литературы Карлова университета в Праге.

Знакомство М. Цветаевой с Е. А. Ляцким произошло, вероятно, в 1922 г. в Берлине. В Праге их встречи продолжились. В 1923 г. Е. А. Ляцкий организовал в Праге издательство «Пламя», в котором год спустя была выпущена отдельной книгой поэма-сказка Цветаевой «Мóлодец».

Сохранилась запись Цветаевой, сделанная в альбоме Е. А. Ляцкого по его просьбе:

Не хочу, чтоб ты ушел,
Не хочу, чтоб ты остался.
Но чтоб ты меня оставил,
Но чтоб ты меня увлек.

Я всего хочу — и значит:
Не хочу я ничего.

(Испанская песенка)

Дорогому Евгению Александровичу Ляцкому — некая попытка духовного ⟨*неразб*⟩ портрета.

МЦ.

Прага, 29-го июля 1924 г.

Письма, как и приведенная выше запись, впервые были опубликованы и прокомментированы в газете «Моя Москва» (1991, август) Галиной Ванечковой. Печатаются по тексту первой публикации.

1

[1] О. Е. Колбасина-Чернова.

[2] Е. А. Ляцкий ходатайствовал о помощи для О. Е. Колбасиной-Черновой перед Михаилом Лазаревичем *Заблоцким* (?—1938), членом Объединения Российских земских и городских деятелей в Чехословацкой республике (пражский Земгор).

2

[1] Рассказ Цветаевой о смерти Н. П. Кондакова см. в письме 19 к О. Е. Колбасиной-Черновой.

[2] См. комментарий 1 к письму 19 к О. Е. Колбасиной-Черновой.

[3] Персонаж романа испанского писателя Мигеля де Сервантеса (1547—1616) «Дон-Кихот».

[4] Правильно: Нидерле. См. комментарий 2 к письму 5 к А. А. Тесковой.

[5] Речь идет об одном из курсов по истории славянских литератур.

СОДЕРЖАНИЕ

	Текст	Коммен-тарии
Письма поэта	5	—
От составителя	9	—
Сокращения, принятые в комментариях	11	—
М. А. МЕЙН	15	15
〈20 мая 1905〉	15	15
А. А. ИЛОВАЙСКОЙ	15	16
1. 〈Лето 1905〉	15	16
2. 8 января 1906	16	17
П. И. ЮРКЕВИЧУ	17	26
1. 22 июня 1908	17	26
2. 13 июля 1908	20	28
3. 4 августа 1908	23	29
4. 21 июля 1916	24	29
В. К. ГЕНЕРОЗОВОЙ	30	30
〈Начало 1909〉	30	30
В. И. ЦВЕТАЕВОЙ	31	31
〈Апрель 1909〉	31	31
ЭЛЛИСУ	31	35
1. 22 июня 1909	31	35
2. 2 декабря 1910	34	36
3. 3 декабря 1911	34	37
В. Я. БРЮСОВУ	37	38
15 марта 1910	37	38
М. А. ВОЛОШИНУ	39	68
1. 23 декабря 1910	39	68

2. 27 декабря 1910	39	68
3. 28 декабря 1910	40	—
4. 30 декабря 1910	40	69
5. 5 января 1911	40	69
6. 7 января 1911	42	69
7. 10 января 1911	42	70
8. 28 января 1911	43	—
9. 21 марта 1911	43	70
10. 23 марта 1911	43	70
11. 28 марта 1911	43	70
12. 1 апреля 1911	44	70
13. 6 апреля 1911	44	71
14. 18 апреля 1911	46	71
15. 8 июня 1911	48	72
16. 15 июля 1911	49	72
17. 26 июля 1911	49	72
18. 11 августа 1911	51	73
19. 14 августа 1911	52	—
20. 22 сентября/5 октября 1911	52	73
21. 1/14 октября 1911	53	74
22. 28 октября 1911	55	74
23. 3 ноября 1911	56	75
24. 19 ноября 1911	57	75
25. 3 декабря 1911	57	75
26. 10 января 1912	58	76
27. 27 декабря 1913	59	76
28. 7 августа 1917	59	76
29. 9 августа 1917	60	76
30. 24 августа 1917	61	77
31. 25 августа 1917	62	—
32. 21 ноября/4 декабря 1920	62	77
33. 14 марта 1921	63	78
34. 7 ноября 1921	65	79
Е. О. ВОЛОШИНОЙ	80	82
1. 8 июля 1911	80	—
2. 13 мая 1917	81	—
3. 17 августа 1921	81	82
4. 10 сентября 1921	82	83
М. А. и Е. О. ВОЛОШИНЫМ	83	84
10 мая 1923	83	84

Е. Я. ЭФРОН 84 96
1. 〈Июль 1911〉 84 96
2. 9 октября 1911 .... 85 96
3. 〈24 апреля/7 мая 1912〉 85 96
4. 19 октября 1913 .... 85 97
5. 18 марта 1914 .... 86 97
6. 〈1914〉 87 97
7. 30 июля 1915 .... 87 97
8. 〈21 декабря 1915 г.〉 88 97
9. 12 июня 1916 .... 90 99
10. 〈Апрель 1917〉 92 99
11. 〈29 апреля 1917〉 92 100
12. 27 июля 1917 .... 94 100
13. 3 октября 1940 .... 94 100

А. М. КОЖЕБАТКИНУ 101 101
1. 4 апреля 1912 .... 101 —
2. 26/13 апреля 1912 .... 101 —

Ж. Г. и К. Ф. БОГАЕВСКИМ 101 102
24/11 апреля 1912 .... 101 102

В. Я. ЭФРОН 102 103
1. 〈Июнь 1912〉 102 104
2. 〈13 сентября 1917〉 102 104
3. 1 февраля 1940 .... 103 104

Е. Я. и В. Я. ЭФРОН 104 105
28 февраля 1914 .... 104 105

М. С. ФЕЛЬДШТЕЙНУ 105 114
1. 27 мая 1913 .... 105 114
2. 28 мая 1913 .... 106 115
3. 28 мая 1913 .... 107 115
4. 7/8 июня 1913 .... 108 115
5. 20 сентября 1913 .... 111 116
6. 11 декабря 1913 .... 112 116
7. 23 декабря 1913 .... 113 116

Е. А. ФЕЛЬДШТЕЙН	116	117
7 сентября 1913	116	117
Е. А. и М. С. ФЕЛЬДШТЕЙНАМ	117	117
〈Октябрь 1916〉	117	117
М. П. КУДАШЕВОЙ	117	118
14 сентября 1913	117	118
В. В. РОЗАНОВУ	119	128
1. 7 марта 1914	119	128
2. 8 апреля 1914	121	129
3. 18 апреля 1914	127	130
П. Я. ЭФРОНУ	130	132
1. 10 июля 1914	130	132
2. 14 июля 1914	131	132
С. Я. ЭФРОНУ	133	139
1. 4 июля 1916	133	139
2. 19 октября 1917	133	139
3. 25 октября 1917	135	140
4. 〈2 ноября 1917〉	136	141
5. 28 ноября 1917	137	141
6. 11 декабря 1917	138	142
Б. С. ТРУХАЧЕВУ	143	143
10 февраля 1917	143	143
А. С. ЭФРОН	143	147
1. 16 апреля 1917	143	147
2. 〈1917〉	144	—
3. 〈28 апреля 1917〉	144	147
4. 29 апреля 1917	145	—
5. 12 апреля 1941	145	147
А. А. и А. Ф. ЛЕБЕДЕВЫМ	148	148
27 декабря 1918	148	148

В. К. ЗВЯГИНЦЕВОЙ	148	150
1. 11 июля 1919	148	150
2. 18 сентября 1919	149	151
3. 12/25 февраля 1920	149	151
В. К. ЗВЯГИНЦЕВОЙ и А. С. ЕРОФЕЕВУ	151	155
1. 〈22 января/4 февраля 1920〉	151	156
2. 〈Начало февраля 1920〉	151	156
3. 7/20 февраля 1920	153	156
4. 〈3 июля 1920〉	155	157
5. 〈17 октября 1920〉	155	157
Е. Л. ЛАННУ	157	183
1. 6 декабря 1920	157	184
2. 29/31 декабря 1920	165	186
3. 15 января 1921	171	187
4. 19/22 января 1921	174	187
5. 16 июня 1921	181	189
6. 10 сентября 1921	183	190
А. И. ЦВЕТАЕВОЙ	190	195
1. 17 декабря 1920	190	195
2. 3 мая 1928	193	195
3. 〈Июнь 1928〉	194	196
В РЕДАКЦИЮ 〈«ВЕСТНИКА ТЕАТРА»〉	197	197
〈Февраль 1921〉	197	198
М. И. КУЗНЕЦОВОЙ	199	200
16 марта 1921	199	200
А. А. АХМАТОВОЙ	200	204
1. 26 апреля 1921	200	204
2. 31 августа 1921	201	206
3. 12 ноября 1926	203	207
М. А. КУЗМИНУ	207	211
1921	207	211

И. Г. ЭРЕНБУРГУ	211	215
1. 21 октября 1921	211	215
2. 11/24 февраля 1922	213	215
Е. Ф. НИКИТИНОЙ	216	216
22 января 1922	216	216
П. Н. ЗАЙЦЕВУ	217	217
〈Март 1922〉	217	217
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. Н. ТОЛСТОМУ	217	219
3 июня 1922	217	219
А. С. ЯЩЕНКО	220	221
1. 26 июня 1922	220	221
2. 6 июля 1922	220	222
Б. Л. ПАСТЕРНАКУ	222	278
1. 29 июня 1922	222	280
2. 19 ноября 1922	225	281
3. 10 февраля 1923	228	281
4. 11/14 февраля 1923	233	282
5. 〈После 14〉 февраля 1923	236	283
6. 8 марта 1923	237	283
7. 9/10 марта 1923	237	283
8. 14 февраля 1925	242	285
9. 26 мая 1925	245	285
10. 14 〈19?〉 июля 1925	247	285
11. 22 мая 1926	249	286
12. 23/25/26 мая 1926	251	286
13. 21 июня 1926	258	287
14. 1 июля 1926	260	288
15. 10 июля 1926	262	290
16. 31 декабря 1926	265	291
17. 1 января 1927	266	291
18. 12 января 1927	267	291
19. 9 февраля 1927	268	291
20. 15 июля 1927	272	292
21. 4 июля 1928	274	292
22. 31 декабря 1929	275	293
23. 〈Конец октября 1935〉	276	293
Л. О. ПАСТЕРНАКУ	294	298
1. 29 июня 1922	294	298

2. 11 октября 1927	295	299
3. 5 февраля 1928	295	299
4. 9 февраля 1928	297	299
5. 20 марта 1928	298	299
Л. О. и Р. И. ПАСТЕРНАКАМ	300	301
21 декабря 1927	300	301
Л. Е. ЧИРИКОВОЙ	301	309
1. 4 августа 1922	301	309
2. 16 октября 1922	302	310
3. 3 ноября 1922	303	310
4. 4 апреля 1923	304	310
5. 27/30 апреля 1923	305	311
6. 〈Ноябрь 1926〉	308	311
П. Б. СТРУВЕ	311	313
1. 21 сентября 1922	311	313
2. 〈Январь-февраль 1923〉	312	313
3. 4 декабря 1924	312	313
П. П. СУВЧИНСКОМУ	314	325
1. 5 ноября 1922	314	326
2. 25 января 1926	314	326
3. 〈Февраль 1926〉	314	327
4. 11 марта 1926	315	327
5. 15 марта 1926	316	328
6. 29 марта 1926	318	328
7. 2 июня 1926	319	329
8. 〈Начало июля 1926〉	320	331
9. 〈Лето 1926〉	321	331
10. 〈3 сентября 1926〉	322	331
11. 4 сентября 1926	322	332
12. 26 августа 1927	324	333
13. 〈Начало февраля 1928〉	325	333
14. 〈Лето 1928〉	325	333
А. А. ТЕСКОВОЙ	334	480
1. 2/15 ноября 1922	334	481
2. 5 декабря 1924	334	481

3. 11 января 1925	335	481
4. 2 февраля 1925	335	—
5. 10 февраля 1925	336	481
6. 15 февраля 1925	337	482
7. 26 февраля 1925	338	482
8. 3 мая 1925	338	482
9. 9 сентября 1925	339	482
10. 1 октября 1925	340	483
11. 26 октября 1925	341	483
12. 28 октября 1925	342	—
13. 7 декабря 1925	342	483
14. 19 декабря 1925	343	484
15. 30 декабря 1925	344	484
16. 24 марта 1926	345	484
17. 9 мая 1926	345	484
18. 8 июня 1926	345	485
19. 20 июля 1926	347	485
20. ⟨1926⟩	349	485
21. 24 сентября 1926	349	485
22. 18 декабря 1926	352	486
23. 15 января 1927	353	486
24. 21 февраля 1927	354	486
25. Третий день Пасхи 1927	356	487
26. 4 октября 1927	358	487
27. 20 октября 1927	359	488
28. 28 ноября 1927	360	488
29. 12 декабря 1927	362	488
30. 3 января 1928	363	488
31. 10 февраля 1928	364	—
32. Февраль 1928	365	488
33. 11 марта 1928	366	489
34. 10 апреля 1928	367	489
35. 1 августа 1928	368	489
36. 9 сентября 1928	369	490
37. 18 ноября 1928	371	490
38. 29/30 ноября 1928	372	491
39. 1 января 1929	373	491
40. 9 января 1929	374	491
41. 22 января 1929	374	491
42. 19 февраля 1929	375	491
43. 17 марта 1929	377	492
44. 7 апреля 1929	378	492
45. 19 июня 1929	379	493
46. 7 августа 1929	380	493
47. 6 сентября 1929	381	494

48. 30 сентября 1929	382	494
49. 26 октября 1929	384	494
50. 〈1929〉	385	494
51. 25 декабря 1929	385	495
52. 21 апреля 1930	386	495
53. 〈Сентябрь 1930〉	387	495
54. 17 октября 1930	387	495
55. 22 января 1931	389	496
56. 25 февраля 1931	390	496
57. 27 февраля 1931	392	—
58. 12 марта 1931	392	497
59. 20 марта 1931	393	497
60. 3 июня 1931	394	497
61. 31 августа 1931	395	497
62. 14 сентября 1931	396	497
63. 8 октября 1931	396	497
64. 1/27 января 1932	398	498
65. 8 апреля 1932	401	499
66. 16 октября 1932	402	499
67. 7 марта 1933	404	499
68. 5 июля 1933	405	—
69. 24 ноября 1933	406	500
70. 11 декабря 1933	408	500
71. 26 января 1934	410	500
72. 2 февраля 1934	411	501
73. 9 апреля 1934	412	501
74. 26 мая 1934	412	501
75. 24 августа 1934	414	501
76. 24 октября 1934	415	501
77. 21 ноября 1934	415	502
78. 27 декабря 1934	417	502
79. 24 января 1935	419	502
80. 18 февраля 1935	419	502
81. 23 февраля 1935	420	502
82. 12 марта 1935	422	503
83. 23 апреля 1935	423	503
84. 2 июля 1935	424	503
85. 12 июля 1935	426	504
86. 11 августа 1935	427	504
87. 30 сентября 1935	429	504
88. 28 декабря 1935	430	505
89. 20 января 1936	431	505
90. 15 февраля 1936	433	505
91. 19 марта 1936	434	506
92. 29 марта 1936	436	506

93. 7 июня 1936	437	507
94. 10 июля 1936	439	507
95. 16 сентября 1936	440	507
96. 24 сентября 1936	442	507
97. 26 октября 1936	443	—
98. 14 ноября 1936	443	508
99. 2 января 1937	447	508
100. 26 января 1937	448	508
101. 2 мая ⟨1937⟩	450	509
102. 14 июня 1937	452	509
103. 16 июля 1937	453	509
104. 27 сентября 1937	455	510
105. 3 января 1938	456	—
106. 7 февраля 1938	456	510
107. 23 мая 1938	457	—
108. 24 сентября 1938	458	510
109. 3 октября 1938	463	510
110. 24 октября 1938	464	511
111. 10 ноября 1938	465	511
112. 24 ноября 1938	467	512
113. 26 декабря 1938	471	513
114. 3 января 1939	474	513
115. 23 января 1939	475	514
116. 28 февраля 1939	476	514
117. 22 мая 1939	476	514
118. 31 мая 1939	477	514
119. 7 июня 1939	478	514
120. 12 июня 1939	479	514
Р. Б. ГУЛЮ	515	540
1. 12 декабря 1922	515	541
2. 21 декабря 1922	517	541
3. 4/17 января 1923	518	542
4. 9 февраля 1923	518	542
5. 17 февраля 1923	521	—
6. 5/6 марта 1923	523	542
7. 11 марта 1923	524	542
8. 28 марта 1923	526	—
9. 27 мая 1923	527	543
10. 27 июня 1923	529	543
11. 30 марта 1924	532	543
12. 6 апреля 1924	534	545
13. 10 апреля 1924	534	546
14. 11 апреля 1924	535	546
15. 29 июня 1924	538	546
16. 11 августа 1924	539	546

М. С. ЦЕТЛИНОЙ 547 554
1. 9 января 1923 ..... 547 555
2. 31 января 1923 ..... 548 555
3. 17 марта 1923 ..... 549 556
4. 31 мая 1923 ..... 549 556
5. 8 июня 1923 ..... 551 556
6. 11 августа 1923 ..... 553 557

А. В. БАХРАХУ 557 626
1. 9 июня 1923 ..... 557 627
2. 30 июня 1923 ..... 560 629
3. 14/15 июля 1923 ..... 565 629
4. 20 июля 1923 ..... 568 629
5. 25 июля 1923 ..... 572 630
6. 25/27 июля 1923 ..... 576 630
7. 17 августа 1923 ..... 582 —
8. 27 августа 1923 ..... 583 633
9. 28 августа 1923 ..... 586 633
10. Бюллетень болезни. 9 августа 1923 ..... 589 633
11. 5/6 сентября 1923 ..... 600 634
12. 9/10 сентября 1923 ..... 604 635
13. 20 сентября 1923 ..... 608 636
14. 25 сентября 1923 ..... 611 636
15. 27 сентября 1923 ..... 613 636
16. 29 сентября 1923 ..... 615 637
17. 4 октября 1923 ..... 618 637
18. 10 января 1924 ..... 620 637
19. 6 ноября 1925 ..... 624 —
20. 6 мая 1928 ..... 624 638
21. 29 июня 1928 ..... 624 —
22. 5 июля 1928 ..... 625 638
23. 7 ноября 1928 ..... 626 —
24. 10 декабря 1928 ..... 626 638

Г. П. СТРУВЕ 639 639
1. 30 июня 1923 ..... 639 640
2. 29 ноября 1925 ..... 639 641

Ю. Ю. СТРУВЕ 641 642
30 июня 1923 ..... 641 642

А. К., В. А. и О. Н. БОГЕНГАРДТАМ	643	652
1. 21 августа 1923	643	652
2. 21 сентября 1923	644	653
3. 29 октября 1923	645	653
4. 2 ноября 1923	647	653
5. 11 ноября 1923	647	653
6. 17 мая 1924	648	653
7. 12 июня 1929	649	653
8. 25 марта 1938	649	654
9. 10 июня 1938	650	—
10. 28 июня 1938	651	654
11. 7 июня 1939	651	654
А. В. ОБОЛЕНСКОМУ	654	657
1. 8 сентября 1923	654	657
2. 2 января 1924	655	658
3. 5 января 1925	655	658
4. 16 апреля 1925	656	659
К. Б. РОДЗЕВИЧУ	659	662
1. 〈22 сентября 1923〉	659	662
2. 〈23 сентября 1923〉	661	—
В КОМИТЕТ ПОМОЩИ РУССКИМ ПИСАТЕЛЯМ И УЧЕНЫМ ВО ФРАНЦИИ И В СОЮЗ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ЖУРНАЛИСТОВ	662	664
1. 4 марта 1924	662	665
2. 14 января 1927	663	—
3. 25 марта 1927	663	—
4. 18 марта 1928	663	666
5. 12 декабря 1928	663	—
6. 6 января 1931	664	666
7. 6 января 1933	664	—
8. 2 января 1937	664	666
А. В. ЧЕРНОВОЙ	666	678
1. 21 июля 1924	666	678
2. 〈1924〉	668	678
3. 〈29 декабря 1924〉	668	678
4. 24 февраля 1925	668	679

5. 1 апреля 1925	670	679
6. 25 апреля 1925	673	680
7. ⟨Конец мая—июнь 1925⟩	675	681
8. 9 июня 1926	676	681
9. 1 июля 1926	677	682
О. Е. КОЛБАСИНОЙ-ЧЕРНОВОЙ	682	763
1. 17 октября 1924	682	764
2. 2/6 ноября 1924	684	765
3. 16/17 ноября 1924	687	766
4. 25 ноября 1924	690	766
5. 3 декабря 1924	694	767
6. 11 декабря 1924	697	768
7. 26/27 декабря 1924	698	768
8. 27 декабря 1924	700	768
9. 2 января 1925	704	—
10. 4 января 1925	705	769
11. 8 января 1925	706	769
12. 16/19 января 1925	709	770
13. 22 января 1925	712	—
14. 25 января 1925	712	771
15. 26 января 1925	716	771
16. 2 февраля 1925	717	771
17. 8 февраля 1925	718	772
18. 14 февраля 1925	719	772
19. 19 февраля 1925	723	773
20. 29 февраля 1925	724	773
21. 7 марта 1925	728	—
22. 4 апреля 1925	730	774
23. 12 апреля 1925	735	774
24. 27 апреля 1925	738	775
25. 10 мая 1925	740	775
26. 25 мая 1925	744	776
27. 9 июня 1925	746	776
28. 10 июля 1925	748	777
29. 14 августа 1925	749	777
30. 7 сентября 1925	752	778
31. ⟨Середина сентября 1925⟩	754	778
32. 21 сентября 1925	756	778
33. 30 сентября/1 октября 1925	757	778
34. 18 октября 1925	761	778
35. 26 октября 1925	762	779
36. 9 июня 1926	762	779
37. ⟨11 декабря 1926⟩	763	779

О. Е. КОЛБАСИНОЙ-ЧЕРНОВОЙ и А. В. ЧЕРНОВОЙ	779	780
30 июня 1925	779	780
О. Е. КОЛБАСИНОЙ, Н. В. и А. В. ЧЕРНОВЫМ	780	782
18 апреля 1926	780	782
Е. А. ЛЯЦКОМУ	782	783
1. 18 декабря 1924	782	784
2. 23 февраля 1925	782	784

Цветаева М.

Ц 25 Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. Письма/Вступ. ст. А. Саакянц. Сост., подгот. текста и коммент. Л. Мнухина — М.: Эллис Лак, 1995. — 800 с.

ISBN 5-7195-0017-0 (Т. 6)

В шестой том вошли письма М. Цветаевой.

Ц $\frac{4700000000-016}{130(03)-95}$ Без объявл. **ББК 84Ря44**

Цветаева Марина Ивановна

Собрание сочинений в семи томах

Том шестой

Редактор *Т. А. Горькова*
Художественный редактор *В. Н. Сергутин*
Технический редактор *Л. В. Жигульская*
Корректоры *Ю. П. Баклакова, Э. С. Корчагина*
Мл. редакторы *О. А. Мычко, Д. Р. Памфилова*

Сдано в набор 08.04.94. Подписано в печать 03.03.95.
Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 50,0. Усл. кр.-отт. 52,5. Уч.-изд. л. 50,1.
Тираж 26 000 экз. Заказ 30. С 18.
ЛР № 040571 от 19.01.93.

Издательство «Эллис Лак»
123242, Россия. Москва, ул. Большая Грузинская, 4, стр. 1
Тел: 254-74-72, 254-26-11. Факс 227-59-40

Типография ИПО «Полигран»
125438, Москва, Пакгаузное шоссе, 1